

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ФОНД «ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ»

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Под общей редакцией И.М. Клямкина

МОСКВА 2007

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)
Р76

Российское государство: вчера, сегодня, завтра /
Под общ. ред. И. М. Кляшкана
М.: Новое издательство, 2007. — 624 с.

ISBN 978-5-98379-092-6

Книга «Российское государство: вчера, сегодня, завтра» объединяет материалы дискуссии, инициированной Фондом «Либеральная миссия» и объединившей ведущих российских политологов различных идеологических направлений вокруг вопроса о специфике российской государственности.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)

ISBN 978-5-98379-092-6

© Фонд «Либеральная миссия», 2007
© Новое издательство, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	Игорь Клямкин Постимпериалистское государство	11
Часть I Правовые основы неправового государства		
	Михаил Краснов Фатален ли персоналистский режим в России? <i>(Конституционно-правовой взгляд)</i>	31
	Персонализм против персонализма? Обсуждение статьи Михаила Краснова «Фатален ли персоналистский режим в России?» экспертами «Либеральной миссии» (выступления Алексея Лудима, Владимира Лопкина, Георгия Сатарова, Илья Шаблинского, Лилии Шевцовой, Игоря Яковенко)	61
Часть II Шаги вперед или попятное движение? (Монологи о президентстве Владимира Путина и его итогах)		
	Виктор Кувалдин «Путин пришел как стабилизатор, поэтому реформы Путина призван завершить его преемник»	93
	Иосиф Дискин «Сегодня впервые в российской истории возникают предпосылки для конкурентного рынка и политической демократии»	103
	Александр Архангельский «Если государство не справляется со своими функциями, то оно будет отвергнуто и на его месте возникнет другое»	114
	Евгений Гонтмахер «Судьба Российского государства зависит от того, способен ли будет новый президент обновить российскую политическую элиту»	126

ДМИТРИЙ ТРЕВИН	138
«Причину консервации персоналистского режима надо искать не в конституционной конструкции государства, а в обществе»	
Часть III ИДЕОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО: PIVO ET CONTRA	
БОРИС МЕЖУЕВ	147
«Российское государство может быть лишь сочетанием идеократии и демократии»	
ДМИТРИЙ ВОЛОДИКИН	151
Нам нужна самодержавная монархия, несколько смягченная рядом представительных учреждений	
МАКСИМ АРТЕМЬЕВ	160
Слабость демократии и утопии ее противников (О «русском консерватизме» Дмитрия Володихина и необходимости конституционной реформы)	
МИХАИЛ ЮРЬЕВ	165
«Естественным для русских вариантом государственного устройства является смесь идеократии и имперского патернализма»	
АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР	183
«Основная проблема российской государственности — в слабой способности русских к общественной самоорганизации» (Ответ Михаилу Юрьеву)	
СЕРГЕЙ КУРГИНИН	191
Лукавое обсуждение (Реальная повестка дня и вынесенные этой повесткой государственности и вынесенные этой повесткой под видом ее обсуждения)	
АЛЕКСАНДР ДУГИН	198
Евразийский союз — демократическая империя постмодерна	
ВАЛЕРИЙ СОЛОВЬЕВ	202
От империи — к русскому национальному демократическому государству	
АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР	210
Демократия этнического большинства? (О русском проекте Валерия Соловья)	
СИМОН КОРДОНСКИЙ	215
«Патриоты» и «космополиты» в ресурсном государстве	

**Часть IV Проекты кремлевских политологов:
ИСПЫТАНИЕ ПУБЛИЧНЫМ ДИАЛОГОМ**

СЕРГЕЙ МАРКОВ «Европеизировать институты, сохранив русскую идентичность»	235
ИГОРЬ КЛЯМКИН Путь в Европу в обмен права? (Вопросы Сергею Маркову)	251
ВИКТОР ШЕЙНС Чему нам следует учиться у Византии? (Вопросы Сергею Маркову)	255
АЛЕКСЕЙ КАРА-МУРЗА «Византизм» — это исторический тупик	261
ПАВЕЛ СОЛДАТОВ Почему гарант Конституции не выполняет свои прямые обязанности? (Доправочной патернализм Сергея Маркова против правового патернализма Михаила Кривоша)	265
СЕРГЕЙ МАРКОВ Неизбежность традиции и необходимость модернизации (Ответы участникам дискуссии)	277
АЛЕКСЕЙ ЧАДАЕВ Необходим переход от персоналий к институтам	295
ИГОРЬ КЛЯМКИН Оппозиция власти или оппозиция при власти? (Вопросы Алексею Чадаеву)	313
АЛЕКСЕЙ ЧАДАЕВ «Власть приходит в те сферы, где самостоятельность общества ничего дееспособного породить не в состоянии» (Ответ Игорю Клямкину)	317
АНДРАНИК МИГРАЦИЯ «Нынешняя конституция свой потенциал еще не исчерпала»	325
ЛИЛИЯ ШЕВЦОВА Что охраняют наши охранители? (Российский путь к демократии в представлениях Сергея Маркова, Алексея Чадаева и Андраника Миграция)	334

Часть V В ПОИСКАХ ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

ЭМИЛЬ ПАВИ «Устойчивое развитие России может гарантировать только овладевший государством народ»	353
ВИКТОР ШЕЙНИС Когда же придет настоящий день?	369
ГЛЕБ МУСИКИН «Надо начать движение, закончив бесконечную рефлексию по поводу возможных сложностей»	389
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВ «Уже сейчас следует определить и продвигать программу возрождения российской политики»	399
АЛЕКСАНДР АРЗАН «Пора решаться на переустройство государства»	407
МАРГАРИТА БОРОДЯНСКАЯ Еще раз о переустройстве государства, или Мирный способ разделения власти и бизнеса	423
ВЛАДИМИР ЛЫСЕНКО «России нужна президентская республика американского типа»	432
ВАЛЕРИЙ ГАВРИЛОВ «Что смогут сделать, придя к власти, приверженцы правового государства?»	437
ВЛАДИСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ Порвать с традицией!	444
ЛЕВ ГУДКОВ «Новое государство — это новый тип политика и чиновника»	457
СЕРГЕЙ ЦИРЯЛЬ Ждем 2035 года	476

Часть VI История и теория

ИГОРЬ Г. ЯКОВЕНКО «Глобализация ликвидирует структуры, неэффективно использующие ресурсы, и включает эти ресурсы в глобальный оборот»	481
АЛЕКСАНДР ЯНОВ Миф о тысячелетней государственной традиции	488

АРКАДИЙ ЛЯПКИН Самодержавие vs. культура, массы vs. личность	501
ВАДИМ МЕЖУЕВ «Секрет русского самовластия — не в эксплуатации и угнетении народа, а в „отеческой любви“ к нему»	518
НИКОЛАЙ РОЗОВ Печальный консенсус при дефиците теории	532
ВЛАДИМИР ГЕЛЬМАН Выбор между двумя недемократическими моделями	550
ВЛАДИМИР ЛАПКИН История и современность: российский казус	560
СВЯТОСЛАВ КАСИЭ Империал, нация и свобода	570
АЛЕКСАНДР ФИЛИПОВ Империал в состоянии распада	578
ЮРИЙ ПИВОВАРОВ «Будущее каждый раз идет в ногу, нежели было предсказано, сторону»	591
Михаил Краснов «Стоило бы договориться о презумпциях»	600
Справка об авторах	619

Заключение

ПОСТМИЛИТАРИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО Предисловие

В этой книге представлены материалы большой интернет-дискуссии, инициированной фондом «Либеральная миссия» и проходившей на его сайте и сайте журнала «Полюс» в 2006–2007 годах. Тема обсуждения — российская государственность, ее прошлое, настоящее и перспективы развития в обозримом будущем.

Дискуссия началась со статьи Михаила Краснова «Фатален ли персоналистский режим в России?» В ней утверждалось, что существование этого режима в значительной степени предопределено действующей российской Конституцией и что без ее коррекции преодоление персонализма невозможно. Статья была обсуждена экспертами «Либеральной миссии», близкими автору по политико-идеологическим ориентациям, и даже среди них встретила возражения. Особенно сомнительным показался им тезис, согласно которому персонализм может быть устранен самой персоналистской властью, призванной инициировать необходимые конституционные изменения. Читатель, который незнаком с этим начальным обсуждением статьи М. Краснова, может найти его в первой части книги, равно как и саму статью.

А потом мы пригласили принять участие в дискуссии всех желающих, независимо от их политических и идеологических предпочтений, равно как и профессиональных специализаций. И большинство ведущих экспертов приглашение приняли, за что всех их хочу поблагодарить. Возможно, приняли они его и потому, что мы сознательно расширили тематический диапазон обсуждения, оставив единственное ограничение — представляемые тексты не должны отклоняться от проблематики, касающейся российской государственности. Естественно, что в дальнейшем обсуждение хотя и возвращалось периодически к статье М. Краснова, ушло от нее довольно далеко, причем в самые разные стороны.

Три позиции в монологах и диалогах

По ходу дискуссии нам пришлось выслушать немало упреков по поводу размытости, недостаточной сфокусированности ее предмета. Высказывалось недовольство и составом участников: бессмысленно, мол, дискутировать с людьми, исповедующими другие базовые ценности, а также с теми, кто скомпрометировал себя «ренегатством», продемонстрировав отсутствие каких-либо ценностей и убеждений вообще. В ответ на это могу сказать, что в обществе, где отсутствует ценностный консенсус, уместен и спор о ценностях. Людвиг Эрхард, считал для себя важным и важным по-прежнему с традиционалистами о «немецкой духовности», а у нас некоторые (не все) «западники» считают почему-то мировоззренческо-идеологические споры занятием недостойным.

Еще более уместен, по-моему, диалог с аналитиками, обосновывающими нынешний курс российских властей и получившими привилегированный доступ к массовым

медиааудиториям. Их называют кремлевскими политологами, в чем я, в отличие от М. Краснова (см. его заключительную статью в дискуссии), не вижу никакой заведомой предвзятости уже потому, что сами они против этого не возражают. Диалог же с ними уместен хотя бы потому, что позволяет перевести разговор о создаваемой и укрепляемой Кремлем государственности на экспертный уровень, выслушав аргументацию ее защитников и их ответы на критику в их адрес. И если они готовы принять вызов (а они такую готовность обнаружили), то отказ от публичного анализа их позиций свидетельствовал бы не столько об интеллектуальном или нравственном превосходстве, сколько о бессилии. А отказ предоставить им слово — тем более.

Что касается более четкой и жесткой фокусировки тематики, то ее сужение как раз и сказалось бы неизбежно на идеологической репрезентативности участников обсуждения. Ведь проблемы, которые считают главными, скажем, Лилия Шевцова или тот же Михаил Краснов, для Александра Дутина или Сергея Кургина вообще никак не проблемы. И, соответственно, наоборот. Мы, разумеется, не рассчитывали, что люди, озобоченные утверждением в России вместо персоналистского режима демократическо-правового порядка, будут обсуждать вопрос о том, как превратить ее в еurasийскую «имперно постмодерна» или восстановить в стране самодержавную православную монархию, а сторонники такого превращения и такого восстановления будут дискутировать на темы демократической конституционной реформы. Мы рассчитывали на то, что широкая тематическая рамка обсуждения позволит высказаться всем желающим, свободно выбирая «объекты» для полемики либо от нее уклонясь. В результате же мы получили много идеологических монологов, претендующих на простоту, и их критику, нередко содержательную, ответов на которую, за редкими исключениями, не последовало.

Зачем же все-таки, могут спросить (и некоторые спрашивают), такая дискуссия, участники которой избегают друг с другом дискутировать? Ну, во-первых, это не совсем так. В книге читатель найдет, повторю, немало полемических текстов, свидетельствующих о готовности многих экспертов к содержательному диалогу. Во-вторых, дискуссия — это противопоставление позиций, которое в данном случае нашли и которое вовсе не требует обязательного оспаривания тех или иных тезисов противостоящей стороны. В-третьих, само отсутствие готовности к диалогу только в ходе дискуссии и могло обнаружиться. И свидетельствует оно о том, что в нашем экспертном сообществе сохраняется слои, причем достаточно широкий, носители монолитной культуры — замкнутой, самодостаточной и нечувствительной к инокультурным сигналам, отталкивающей их как нечто чужое, чуждое и заведомо неистинное, а потому и не заслуживающее серьезного внимания.

Читателю, который впервые знакомится с текстами, представленными в книге, советую посмотреть на них и под этим углом зрения. Советую, говоря иначе, помимо их содержания, обратить внимание и на то, как выглядят они именно в пространстве дискуссии, которая выявила не только интеллектуальные возможности отдельных участников, но и их ментальные особенности.

Не может не броситься в глаза и очевидная корреляция монолитности с идеологическими предпочтениями. Приверженность ей демонстрируют прежде всего (хотя и не только) те авторы, которые образ будущей российской государственности ищут и находят в ее прошлом и которые считают утопическими и пагубными для страны политические проекты, предполагающие утверждение в ней государства-нации западного типа. Поэтому и спорить всерьез с приверженцами таких проектов они полагают бессмысленным, равно как и отвечать на их критику в адрес проектов собственных.

Оба эти идеологические течения («патриотическое» и «космополитическое», как назвал их один из участников дискуссии), непримиримо друг другу противостоящие, в той или иной степени дистанцируются от государственной системы, которая сложилась

лась в последние годы в России. И оба они (тоже в той или иной степени) противопоставят течению третьему, в публичном пространстве ныне доминирующему, которое представлено в дискуссии кремлевскими политологами. Но по ходу обсуждения становилось очевидным, что это третье течение самостоятельным не является, ибо заимствует основные идеи у первых двух и так или иначе их комбинирует. Более того, его представители, закрывая нынешнюю форму российской государственности и считая ее на данный момент оптимальной, рассматривают ее как преходящую, а будущий образ государства тоже ищут либо в западном настоящем, либо в его сочетании с отечественным политическим прошлым.

А отсюда, в свою очередь, следует, что все три течения растут из одного и того же корня, представляя собой разные реакции на одну и ту же проблему. Проблему, которая обнаруживает себя именно в нынешнем состоянии нашей государственности, выходящей в глазах едва ли не всех участников обсуждения ситуативной или, по меньшей мере, неустоявшейся. И вместе с тем проблему не только трудно разрешимую, но и трудно-уловимую в ее конкретном современном содержании и в ее исторических истоках.

В этой вводной статье я не собираюсь задним числом включаться в дискуссию и в дальнейшем ограничусь лишь некоторыми критическими замечаниями общего порядка. Тем более что многие возражения, которые я мог бы сделать отдельными ее участникам, в ходе обсуждения были уже сделаны. Главную же свою задачу усматриваю в том, чтобы попробовать обозначить саму проблему, о которой сплетаются все предьявленные в ходе обсуждения политические проекты независимо от того, осознают это их приверженцы или нет.

Некоторые участники называют ее «проблемой колен», в которую на протяжении столетий втиснуто развитие отечественной государственности. Вопрос, однако, в том, как понимать саму эту колею в ее нынешних и прошлых особенностях.

История и историческое сознание

Участники дискуссии часто и охотно обращаются к отечественной истории, которую видят неодинаково.

В глазах одних она выглядит историей «тысячелетнего рабства» и государственного произвола. В глазах других — историей подвигов и побед, в которых проявилась особая духовность народа и которые позволяли создать могучую и влиятельную государственность.

Для одних это история европейской страны, сбившейся с первоначального пути. Для других — история азиатской деспотии, интегрировавшей в себя европейскую культуру и тем самым обрешавшей себя на хроническое системное заблуждение, которое как раз и проявляется как «проблема колен», т.е. циклического чередования либеральных реформ и авторитарных контрреформ, «перестроек» и «застоев».

Одни считают, что сущность отечественной государственности на протяжении веков остается неизменной, меняются лишь ее формы. Другие полагают, что в эволюции формы проявляются трансформации самой сущности.

И все это — не просто разные интерпретации прошлого. Это разные типы исторического сознания, предполагающего соотносительность образа прошлого с образами настоящего и будущего.

Дискуссия в очередной раз показала, что разнотипность исторического сознания на сегодня сохраняется. В том числе и потому, что оно предельно идеологизировано. Однако в ходе обсуждения были и попытки такого рода идеологизированность преодолеть, объясняя ее саму специфическими особенностями отечественной государственности и ее развития, на разных этапах востребующей разные типы идеологий и, соответственно, интерпретаторов прошлого. Думаю, что пафос объяснения продук-

тивнее и перспективнее оторванного от реальности пафоса должествования. Но дискуссия выявила и то, что при этом возникает соблазн методологически репрессировать должествование как таковое, о чем мне еще предстоит говорить. А главное, она показала, что и при установке на объяснение сама реальность, подлежащая объяснению, не очень-то ему поддается и не столько укладывается в те или иные объяснительные схемы, сколько вываливается из них.

Эта реальность отторгает теоретический язык, изобретенный западной гуманитарной наукой для описания европейской истории. Она отторгает и язык, созданный той же наукой для интерпретации истории Востока и фиксации ее отличий от европейской. Потому что в России было то, чего ни на Западе, ни на Востоке не было. Ни Запад, ни Восток не знали форсированной принудительной модернизации в духе и стиле Петра I, проложившей историческое русло для российского великодержавия, и даже не предполагали, что таковая возможна. Ни Запад, ни Восток не знали и модернизации типа сталинской, превратившей страну в одну из двух мировых ядерных сверхдержав. Нигде не было и прецедента распада такой сверхдержавы в мирное время. Но если для описания российской истории нет адекватного ей теоретического языка, то невозможна и рационализация исторического сознания: оно обречено быть на разный манер идеологизированным.

Проблема усугубляется еще и тем, что изобрести особый язык для описания реальной отдельно взятой страны невозможно в принципе. Потому что знание, претендующее на статус научного, имеет дело не с единичными объектами, а с классами явлений и процессов. Дискуссия показала, что проблема эта некоторыми участниками осознается. Предлагались и ее решения, причем не только с помощью уже существующих в мире подходов, но и посредством понятийных новаций. Я вижу в этом плодотворную тенденцию к преодолению идеологизированности нашего исторического сознания и его расколотого состояния. Но я вижу и то, что отмеченные выше и многие другие особенности отечественной истории объяснено так и не подданы. Более того, эти особенности развития не попадали даже в число фактов, интерпретируемых с помощью предлагаемых объяснительных схем. А если и попадали и даже оценивались как беспрецедентные (я имею в виду упомянутые выше форсированные модернизации), то вопрос о том, почему такой маршрут стал возможен именно и только в России, интереса все равно не вызывал.

Нам предстоит научиться описывать уникальный объект, каковым является российская государственность и ее история, не изолируя его от других, а как уникальный объект в ряду этих других. Как объект, чьи особые свойства свидетельствуют лишь о том, что в нем превышена некоторая мера того, что само по себе вовсе не уникально. Именно к такой постановке вопроса вплотную подводит, мне кажется, наша дискуссия, и я надеюсь, что внимательный читатель книги со мной согласится. Во всяком случае, вариант ответа, который я хочу предложить, явился непосредственным результатом размышлений над текстами ее участников: дискуссия заставила задуматься многое из того, к чему раньше только подступался.

Рельефнее всего уникальность России проявилась в советскую эпоху, отмеченную высшим государственным взлетом и последующим падением, сопровождавшимся территориальным распадом. И потому именно советский период может служить той точкой обзора, с которой лучше всего просматривается и многое из того, что было характерно для периодов предшествовавших. Речь, разумеется, идет не о властных институтах, лишь внешне сходных с самодержавно-монархическими, а тем более не о коммунистической идеологии, в отечественном прошлом аналогов не имевшей. Речь о том, какое историческое и культурное содержание было облачено в советские институциональные и идеологические формы.

Вспомним об «осажденной крепости» и других особенностях официальной политической лексики сталинской эпохи. Вспомним обо всех этих «штурмах», хозяйственных, культурных, бытовых и прочих «фронтах», не говоря уже о всепроникающей «борьбе». Вспомним об искусственно насаждавшемся образе врага и культуре секретности. Вспомним, что даже достижения в труде поощрялись на военный манер — «медаль за бой, медаль за труд из одного металла лют». Вспомним, наконец, о «сохдатах партии» и о том, что сама партия во всех редакциях своего устава именovala себя боевой организацией. Все это свидетельствует о том, что Советское государство было милитаристским и что именно в этом заключалась главная его особенность.

Но милитаризм, фиксируя уникальность советской государственной организации, позволяет и сравнивать ее с государственными образованиями иного типа. Потому что сам по себе милитаризм ничего необычного собой не представляет: в разное время он имел место в самых разных странах. Он становится уникальным лишь тогда, когда меры милитаризации позволяют говорить о появлении нового исторического качества, аналогов не имевшего. Это новое качество и было продемонстрировано миру «первой страной победившего социализма».

Раньше милитаризм понимался как сдвиг экономической жизни в сторону увеличения расходов на армию и производство вооружений при одновременном насаждении в массовом сознании образа внешнего врага и предположения неизбежной войны с ним. Но в сталинском СССР было не только это. Там было еще и то, что можно называть милитаризацией повседневного жизненного уклада, т.е. выстраивание мирной жизни по военному образцу, что и позволяет говорить об уникальности советского типа государственности. Интересно, что некоторые немецкие идеологи предлагали Гитлеру заимствовать русский опыт милитаризации и героизации труда («административно-командную систему», как стали говорить во времена перестройки), но он к их советам не прислушался.

Почему же в Советском Союзе стало возможным то, что до того считалось невозможным? Это стало возможным потому, что большевики получили в наследство культуру народного (прежде всего — крестьянского) большинства, в которой ценности военной и мирной жизни не были расчленены. Речь, разумеется, идет не о том, что в глазах населения не было никакой разницы между крестьянином-хлебопашцем и воином. И, тем более, не о том, что мирный и ратный труд в его сознании как-то совмещались. Наоборот, когда русским крестьянам такое совмещение было навязано посредством организации военных поселений, их возмущению не было границ. И от рекрутчины они были отнюдь не в восторге. Речь идет о том, что по военной модели выстраивались отношения людей с государством и что политической альтернативы этой модели в народной культуре изначально не было, а ее формирование властями блокировалось.

Славянофилы в свое время правильно указали на негосударственный, неполитический характер этой культуры. Но они не заметили, что она была догосударственной и дополитической, так как именно в таком состоянии столетиями консервировалась крестьян. Не заметили они и того, что в вопросах, касающихся отношения населения с государством, в ней ценностно не отчленились друг от друга военная и мирная составляющие. Однако после советско-коммунистического эксперимента не замечать это — значит закрывать глаза на очевидное. И, соответственно, оставлять наше историческое сознание в том расстрепанном состоянии, в котором оно сегодня находится.

Культуру, о которой идет речь, насадили не большевики. Да, они использовали ее так, как никто до них, но отсюда не следует, что до них она в государственном строительстве не использовалась. Взгляд на досоветскую историю с советской точки зрения как раз и позволяет осмыслить эту историю иначе, чем обычно делается. Причем осмыслять в ее динамике, потому что сама советская государственность тоже менялась,

пройди в своем развитии два цикла — сталинской милитаризации и постсталинской демилитаризации. Но ведь то же самое без труда обнаруживается и в досоветской истории.

Во времена большевистского переворота Россия тоже успела пройти длинные циклы милитаризации и постепенной демилитаризации жизненного уклада. Первый начался после освобождения от монголов, и это своеобразно начальная стадия развития давно зафиксировано историками самых разных направлений. Либерал В. Ключевский писал о «боевом строе государства» в Московской Руси, а есаулец Н. Алексеев — о том, что оно «имело характер военного общества, построенного как большая армия». Читая выступления участников дискуссии, ищущих аналогии послемонгольской Московии в Европе, Византии или средневековом Китае, примите во внимание и эти констатации старых историков, вызывающие скорее ассоциации с древней Спартой или империей инков. И тогда, возможно, дискуссия станет стимулом для дальнейших полезных размышлений о нашей истории, нашей самобытности и идентичности и, соответственно, о нашем историческом сознании.

Этот цикл милитаризации завершился при Петре I, который довел ее до предельных для своего времени глубины и масштабности, осуществив с ее помощью беспрецедентную по меркам той эпохи принудительную модернизацию. И возможной она стала только потому, что в культуре с размытыми границами между ценностями военной и мирной жизни в отношениях людей с государством для сопротивления такой модернизации не было и не могло быть необходимых ресурсов. Ее истоком и аналогом можно считать не знающую таких границ культуру родо-племенную, но в постоянно воевавшей Московии она была приспособлена — с учетом опыта оккупационного ордынского правления, осуществившегося с помощью московских князей, — к нуждам государства и навязана всем его подданным. Поэтому на Руси и стал возможен уникальный феномен Петра, благодаря успешным войнам сумевшего заложить основы новой — державной — идентичности. Но при отсутствии культурной почвы, обеспечивающей непротипичное государственному диктату и предписанному сверху радикальным переменам, не было бы ни модернизации, ни победной войны со Швецией, ни державности. Упадок всецельной Османской империи, в которой такой почвы для появления своего Петра не оказалось, — достаточно убедительное тому подтверждение.

Однако у такого рода милитаристской государственности есть ахиллесова пята. И обнаруживается она именно после того, как державный статус оказывается достигнутым. С одной стороны, его уже нельзя не поддерживать, став даром государственной идентичности, он становится для власти важнейшим легитимирующим фактором. С другой — сверхнапряжение, которым сопровождается его достижение и которое требует полного, как на войне, растворения частных интересов в интересе общем, не может продолжаться бесконечно долго. Частные интересы рано или поздно начинают претендовать на признание — прежде всего интересы элиты. Поэтому после Петра она стала настоятельно просить самодержцев о послаблениях. Результатом и стало иступление страны в длинный цикл демилитаризации, начавшийся с роскрепощения дворянства и дошедший до упразднения крепостной зависимости крестьян, декларация прав и свобод в Октябрьском манифесте 1905 года и учреждения выборного института народного представительства. Поверя о том, что происходило в СССР после смерти Сталина, мы получаем основание утверждать, что история страны представляет собой циклическое чередование милитаризаций и демилитаризаций жизненного уклада. И, тем самым, важный импульс для формирования рационального исторического сознания.

Такое сознание исключает как нигилизм по отношению к прошлому, так и его апологетику. Оно чувствительно к величию военных побед, имевших место в милитаристских циклах и даже за их пределами — правда, лишь до тех пор, пока достигающийся в этих циклах военно-технологический уровень не становится уровнем вчерашнего дня. Чувствительно оно и к величию культурных взлетов, которыми

отмечены циклы демилитаризации. Но такое сознание не может быть и апологетичным. И не только потому, что отдает себе отчет в цене, которой оплачивались модернизация и победы. Оно без труда обнаруживает и стратегическую неустойчивость российской государственности, которая к демилитаризованному состоянию оказывалась плохо приспособляемой. После обусловленных внешними и внутренними факторами нескольких зигзагообразных колебаний между либеральными реформами и авторитарными контрреформами, сопровождаемыми порой частичной поверхностной ремилитаризацией (скажем, в духе Павла I или Николая I), она вновь обваливалась.

Эти колебания давно уже привлекли внимание историков, которые возвели их в ранг некоей закономерности и распространили ее на всю постмонгольскую историю страны. Некоторые участники дискуссии пошли еще дальше и, под влиянием опыта двух последних десятилетий, перенесли данную закономерность не только в настоящее, но и в будущее. Но при подобном понимании «проблемы колен» стирается разница между таковыми «контрреформаторами», как Петр I и Сталин, с одной стороны, и Николай I или Брежнев — с другой: все они, вместе с Павлом I, Александром III и Владимиром Путиным, оказываются в одном ряду. Иными словами, милитаризаторские циклы, отмеченные форсированными модернизациями петровско-сталинского типа, растворяются в колебаниях внутри циклов демилитаризаторских. В результате же мы получаем не только концептуальное насилие над историей, но и искажение содержания современной проблемы, перед которой оказалась страна.

Ведь «проблема колен» сегодня вовсе не в том, как вырваться из порочного круга сменяющих друг друга либеральных оттепелей и консервативно-авторитарных подморозаний. Ее содержание иное. И заключается оно в том, существует ли в России альтернатива милитаристской модернизации на манер петровской или сталинской в условиях постиндустриальной эпохи, когда сам тип подобной модернизации выглядит, мягко говоря, нереалистичным.

При такой постановке вопроса историческое сознание актуализируется и фокусируется на «проблеме колен» не только в ее прошлых истоках и вариациях, но и в ее принципиальной новизне, а сама проблема неизбежно обретает и культурное измерение. Дело в том, что в отечественной культуре, в силу обозначенных выше особенностей эволюции страны, не получило и не могло получить развития понятие об общем интересе, как интересе национальном, государственном. Точнее, некоего понятия о нем. Именно поэтому в демилитаризаторских циклах и российской социум, и Российское государство начинали рассыпаться.

Понимаю: терминология не модная, напоминающая о временах, когда предвещалось «подпоиение личных интересов общественным». Но конкретный смысл, которым наполняются в ту или иную эпоху те или иные слова, еще не повод для отказа от самих слов. Ведь понятие общего интереса придумали не коммунистические вожди, оно задолго до них, начиная с Античности, стало одним из базовых в европейской политической мысли. Если в отношениях между различными группами общества, социально или пространственно друг от друга отделенными, нет ничего, что этому понятию соответствовало бы, то неоткуда этому понятию взяться и в культуре. При таких обстоятельствах никакие апелляции к ценностям, идеалам, традициям, идеологическим принципам или правовым нормам устойчиво консолидировать общество не могут, что и произошло уже в первом отечественном демилитаризаторском цикле.

Демилитаризация означала легитимацию частных и групповых интересов, которые сами по себе в органическую целостность не склеивались. Поняли же в культуре немилитаристских аналогов коллективистского «Мы-мировоззрения», о котором упоминалось, со ссылкой на С. Франка, в ходе дискуссии, успехом не увенчались. Славянофильская идея соборности фиксировала не столько то, что в данной культуре наличествовало, сколько то, что в ней отсутствовало, и призвана была это отсутствие

идеологически компенсировать. Соответственно, были мимо цели и апелляции к крестьянскому общинным устоям, как живяновоплощению принципа соборности. Потому что общинный коллективизм изолированных друг от друга крестьянских миров был локальным коллективизмом малых общностей, за деревенской околицей обнаруживавшим свою догосударственную, анархическую природу. Наконец, не принесло ожидавшегося эффекта и новое, немилитаристское толкование принципа законности как универсальной ценностной основы общественной консолидации.

В милитаризованном состоянии закон — это способ оформления приказа, не предполагающего субъектности тех, кому он адресован для исполнения. Ни в смысле их участия в законодательстве, ни в смысле валиции каких-либо прав по отношению к государственной власти кроме права «беззаветного служения» ей. Демилитаризация же начиналась с дозированного предоставления прав, законодательно закрепляемых, и завершалась юридическим самоограничением верховной власти в пользу выборного института народного представительства с законодательными полномочиями. Но тут-то и выяснилось, что при отсутствии укоренившегося невоенного понятия об общем интересе интересы частные и групповые, освобожденные от дисциплинирующей милитаристско-закрепостительной скрепы, оказываются непримиримыми. Институты народного представительства, союзов которых завершалась оба демилитаризаторских цикла (и постпетровской, и постсталинской), не столько консолидировали общество, сколько выжидали его неконсолидируемость. Но и старые институты, будь то самодержавие (монархическое либо коммунистическое) или церковь (православная либо в виде коммунистической партии и ее идеологии), при трансформации военного понятия об общем интересе в невоенное обнаруживали в конечном счете свое бессилие, что, в свою очередь, подточило их авторитет. Это — и к вопросу о том, насколько плодотворно сводить природу отечественной государственности к таким институтам и насколько убедительными можно считать подобные попытки, неоднократно предпринимавшиеся в ходе дискуссии.

Вместе с тем выступления многих ее участников вилотную подводят к выводу: до тех пор, пока невоенное представление об общем интересе в культуре не укоренится, «проблема колен» будет оставаться проблемой, шансов на решение не имеющей. Но рациональное историческое сознание фиксирует не только это. Оно фиксирует и то, что сама колея измелчала и что прежние ресурсы для модернизационных прорывов в ней полностью выработаны. Дополнительная культура, позволявшая предписывать представление об общем интересе посредством милитаризации повседневного жизненного уклада, т.е. выстраивания мирной жизни по военному образцу, осталась в прошлом. Однако и культура политическая, предполагающая закрепление понятия о таком интересе как о подлинной равнодействующей интересов частных и групповых, в стране не сложилась. Поэтому третьей милитаристской модернизации в России не будет, но вопрос о том, какой именно эта модернизация может быть и какая государственность способна ее обеспечить, остается открытым.

Этот вопрос в явном или неявном виде присутствует в выступлениях всех участников дискуссии, какую бы из трех групп они ни представляли. Посмотрим, как они на него отвечают (и отвечают ли) и попробуем понять, как такие ответы (или их отсутствие) соотносятся с особенностями исторического сознания дискуссионтов.

Вызовы реальности и ответы интеллектуалов

1

Начну с тех, кто ищет ответы в прошлом или по аналогии с прошлым. Похоже, им трудно абстрагироваться от его милитаристской матрицы. Они могут о ней не думать, но полностью освободить от нее свое сознание, а тем более подсознание, они не в состоянии. И наша дискуссия это лишний раз убедительно продемонстрировала.

Знакомясь с позициями и аргументами представителей данной группы экспертов, обратите внимание не только на то, чем проекты и установки этих экспертов друг от друга отличаются. Обратите внимание и на то общее, что их роднит. Я имел в виду преломление в их мышлении опыта советской эпохи. Не в конкретном его идеологическом или институциональном проявлении (сторонников реставрации коммунистических порядков среди участников дискуссии не оказалось), а в его сущностных особенностях. Как правило, отношение к этому опыту позитивное, а те исключения, которые тоже встречаются, из разряда подтверждающих правило.

Сознание, ищущее ответы на современные вызовы в отечественном прошлом, не может игнорировать советский эксперимент, доказавший возможность самобытной модернизации незападного типа и создания на ее основе могучей военной державы. Однако такое сознание не может игнорировать и итоговые исторические результаты эксперимента, отнюдь не столь впечатляющие. Поэтому, проектируя будущее, оно оказывается перед нелегкой проблемой: из прошлого предстоит заимствовать то, что было в нем успешным, устранив то, что обнаружило свою несостоятельность.

Но конкретного решения такие задачи не имеют. Поэтому предлагаются решения абстрактные. Скажем, в виде призыва в творчески обогащенном варианте «повторить эксперимент на новом историческом витке». Или в виде идеи возрождения России как «состоятельного носителя некоего нового универсалистского замысла». Или, более скромно, как «идеократического государства» без имперских претензий, т.е. в нынешних границах Российской Федерации. Но, в отличие от авторов советского проекта, у которых вдохновлявшая их идея изначально была, у нынешних сторонников идеократии есть лишь вера в то, что такая идея нужна, а какой она может и должна быть, они не знают. В этом и заключается главная проблема, на сегодняшний день, как показала дискуссия, для них неразрешимая.

Правда, некоторые из них в поисках конкретных ответов обращаются к более отдаленному, досоветскому прошлому, где находят не только нужную идею, но и соответствующий ей базовый институт государственности. Речь идет о возрождении в православной монархии самодержавного типа. Но я хотел бы обратить внимание читателя на одно обстоятельство. На то, что в описании данного варианта идеократии тема модернизации, которой озабочены сторонники творческого развития советского опыта, отсутствует вообще. И не потому, думаю, что отечественных монархистов тема эта не интересует. Возможно, отсутствие упоминания о ней свидетельствует об адекватности их исторического сознания особенностям и возможностям той государственности, которую предлагается реанимировать.

Дело в том, что технологические модернизации, сопровождавшиеся военными победами и державными взлетами, происходили в России не тогда, когда идеи самодержавия и православия друг с другом соединялись, а тогда, когда они разъединялись. Модернизация Петра I осуществлялась государством, презащитным им в светское, а советская модернизация — и вовсе атенстическим. И, наоборот, попытки эти две идеи соединить (достаточно вспомнить о триаде графа Уварова) относятся к армянским не державным взлетам, а национальным катастрофам. Ведь первое в послепетровской России военное поражение на ее собственной территории случилось именно тогда, когда православие и самодержавие (дополненные «народностью») в государственной идеологии находились рядом.

Так что, повторяю, историческое сознание современных приверженцев православного самодержавия, обходящих в своих проектах тему модернизации, вполне соответствует модернизаторскому бессилию этой государственной модели. Но уход от проблемы, в прошлом уже обнаружившей свою нерешимость, лишает такого рода проекты той конкретности, на которую они претендуют. Не знаю, насколько убед-

тельной оказалась их авторам критика со стороны других участников дискуссии, остававшаяся безответной, но я бы на их месте к ней прислушался.

Тем более что возрождение православного самодержавия само по себе не решает и ту главную задачу, ради решения которой его, собственно, и предлагается возродить. Непонятно, почему оно вернет атомизированному российскому обществу утраченное им понятие об общем интересе. Непонятно уже потому, что такого не наблюдалось и прежде. Православие, призванное в послепетровском демилитаризаторском цикле на помощь самодержавию, чтобы компенсировать размывание военного представления об этом интересе, с задачей не справилось. Почему же тогда православное самодержавие сможет справиться с ней сегодня?

Итак, историческое сознание, проектирующее государственное будущее из элементов государственного прошлого, не имеет твердых точек опоры и в самом этом прошлом. В данном отношении абстрактные идеи творческого обновления советского опыта выглядят, как ни странно, более конкретными именно потому, что ориентируют на трансформацию прежних государственных форм, а не на их копирование. Ведь в самой неопределенности этих идей проявляется осознание сложности и новизны проблемы, не содержащей в отечественной истории готовых идеологических и институциональных решений. В ней нет ответа на вопрос о том, как консолидировать страну и обеспечить ее модернизацию в условиях, когда милитаризация жизненного уклада населения выглядит заведомо нереальной. Но об этот вопрос спотыкаются и те приверженцы идеократии, которые ориентируются на повторение в иной форме советского эксперимента. И дело не только в том, что они не знают, какой именно эта форма может и должна быть.

Похоже, они понимают, что идеократия и милитаризация — вещи неразделимые. Но они понимают и то, что милитаризаторские проекты шансов на общественную поддержку сегодня не имеют. Поэтому, возможно, эти проекты и не оформляются в программные целеполагания, а выдвигаются в виде пугающих предупреждений и прогнозов, призванных вернуть в культуру советскую нерасчлененность ценностей военной и мирной жизни. Предупреждений о том, что без «креативно-жертвенного мегапроекта» российской государственности грозит гибель, и прогнозов, согласно которым в обозримом будущем «мир войдет в жесткую эпоху войн и конфликтов», побуждающих мобилизационной готовности государства и общества.

В тех же случаях, когда милитаристские целеполагания примеряются к нынешней социальной реальности, они смягчены дополнениями, заимствованными из современной немилитаристской культуры. Например, читатель найдет в книге проект неомилитарской «постмодернистской» государственности, соединяющей в себе наследие Чингисхана, Византии и практику Евросоюза. Или, говоря иначе, военную экспансию, православную веру и современную либеральную демократию. А суть этого проекта его автору видится, между прочим, как раз в том, чтобы повторить советский эксперимент «на новом историческом витке».

Обратите внимание на эти ходы мысли, равно как и на то, что даже над сторонниками православного самодержавия, отторгающими советский вариант идеократии, довлеет советский опыт милитаризации. Они полагают, что их политическая (или протополитическая) организация, прокладываемая стране дорожку в будущее (она же прошлое), «должна напоминать кадровую военную часть», которая, в свою очередь, очень уж напоминает другую такую организацию, вошедшую в отечественную историю как «партия нового типа». Так что, при всех различиях между экспертами данной группы, все они сознательно или подсознательно ориентируются на третий цикл милитаризации, отдавая себе отчет в ее слабой сочетаемости с современными социокультурными реалиями, но и не видя ей стратегической альтернативы.

Реакцией на трудности, которые при этом возникают, можно считать проект формирования общего интереса на *экономической* основе, т.е. посредством радикального перехода от имперской государственности к государственности русской. Показательно, однако, что преодоление имперско-милитаристской традиции опосредуется в данном случае межэтнической войной, которая эту традицию неизбежно реанимирует.

Таким образом, дискуссия показала, что и установка на возрождение идеократической государственности в ее имперской форме, и идея государственности русской, с такой установкой радикально порывающая, вопрос о формировании невоенного понятия об общем интересе оставляют открытым. Более того, сам вопрос, похоже, ни империалистами, ни националистами не воспринимается как актуальный. А раз так, то нет потребности и в диалоге: милитаристская матрица такового не предполагает, вступление в диалог уже само по себе означает начало ее разрушения. Поэтому, наверное, и не выступают, оставляя критику в свой адрес без ответа. А еще, возможно, потому, что невоенное понятие об общем интересе, которое было бы востребовано обществом и его культурой, не удастся пока обосновать и критикам.

2

Другая группа участников дискуссии — кремлевские политологи, входящие в Общественную палату и объединенные представлением о том, что внешняя российская государственность может исполнить роль субъекта экономической и технологической модернизации. Более того, признавая очевидные изъяны этой государственности, они, тем не менее, считают ее способной трансформироваться в государственность демократическо-правовую — либо после завершения экономико-технологической модернизации, либо параллельно с ее осуществлением.

Историческое сознание данной группы экспертов заметно отличается от сознания тех, кто ищет точки опоры в милитаристской традиции. О них нельзя сказать, что они мыслят в логике третьего милитаризаторского цикла. Однако именно это и создает для них трудноразрешимые проблемы, отчетливо вынырнувшие по ходу дискуссии.

Дело в том, что их проекты «модернизационных прорывов» должны, согласно замыслу, осуществляться государством, причем в мобилизационном режиме. Но это — советская модель модернизации *без ее милитаристской составляющей*. Не знаю, насколько фиксируется такая частичная преемственность историческим сознанием проектировщиков, но и сама преемственность, и ее частичность сомнений не вызывают. И возникают естественные вопросы. Во-первых, о том, насколько данная модель работоспособна, будучи лишенной своего милитаристского элемента. Во-вторых, о том, насколько она вообще переносима из индустриальной эпохи в постиндустриальную, мобилизационных модернизаций не знающую. На эти вопросы, задаваемые участниками дискуссии, ответов не последовало, но и убежденность проектировщиков такого рода вопросами поколеблена, похоже, не была.

Потому что у них есть то, чего нет у их критиков. Исторический оптимизм кремлевских политологов продуцируется наличием положением вещей. Это положение вещей — не плод экспертной фантазии, оно действительно реально существует, будучи созданным при непосредственном участии самих кремлевских политологов. Речь идет о феномене Владимира Путина, сумевшего консолидировать вокруг себя элиту и население. Сама возможность данного феномена и его эмпирически подтвержденная устойчивость оказываются достаточным основанием для оптимистического мироощущения, в котором будущее выглядит как продолжение настоящего в улучшенном виде.

Такое мироощущение позволяет, если рассматривать ситуацию под избранным мной углом зрения, считать вопрос о формировании невоенного понятия об общем интересе в принципе решенным. Есть персонафикатор этого интереса, который вос-

принимается таким большинством общества, остающимся атомизированным, во от распада авторитетом персонафикатора удерживаемым. Или, говоря иначе, сохраняющим устойчивость в демилитаризаторском цикле. А это, в свою очередь, позволяет не думать о новой милитаризации жизненного уклада и возникших в ходе исторической эволюции культурных барьерах, такой милитаризации препятствующих. Но на чем все же основана уверенность политологов в том, что нынешняя модель государственности пригодна не только для поддержания статус-кво, но и для осуществления модернизационных прорывов, так и остается непродуманным.

Эксперты этой группы (хотя и не все) не уклонялись от публичного диалога, и читатель может судить, насколько они выдержали испытание им. Здесь же достаточно указать на то, что трудности, с которыми они сталкиваются и которые дискуссия сделала очевидными, проявились не только в обосновании проектов экономической и технологической модернизации. Они проявились и в вопросах, касающихся пороков современной российской государственности и путей их устранения при избранном способе легитимации верховной власти.

Ведь феномен Путина стал возможен благодаря тому, что изначально опирался именно на *военное* представление об общем интересе. Опять-таки ничего не могу сказать о том, фиксируется это историческим сознанием кремлевских политологов или нет. Но это — факт. Вторжение чеченских боевиков в Дагестан, взрывы жилых домов в Москве и других городах и вторая чеченская кампания актуализировали в массовом сознании образ врага и стали главным источником легитимации власти первого лица, периодически представлявшего перед согражданами в военной форме в самолете, на корабле, подводной лодке и других негражданских объектах. Политическое лидерство должно было восприниматься как лидерство Верховного главнокомандующего, энергично и эффективно отвечающего на угрозы общей безопасности.

А потом, когда эти источники легитимации начали иссякать, инерция милитаристского сознания стала постоянно подпитываться целенаправленными намерениями о победе в Великой Отечественной войне и попытках внешних сил пересмотреть ее итоги, державно-патриотической антизападнической риторикой в СМИ и на официальном уровне, отыскиванием «шпионских камней» и другими акциями, демонстрирующими враждебность окружающего мира. Об этом способе легитимации власти, когда отношения России с миром преподносятся населению как «отношения осажденной крепости с осаждающей ордой», говорилось и в ходе дискуссии. Говорилось и о том, что тем самым легитимируется и вся нынешняя государственная система со всеми ее пороками. Однако кремлевские политологи на эти суждения и оценки не реагировали, из чего следует, что такой способ легитимации выглядит в их глазах приемлемым, но публично обсуждать его они не считают полезным. А отсюда, в свою очередь, следует, что феномен Путина предполагается продлить в будущее — если и не в нынешнем, то в ином персональном воплощении. Но здесь опять возникают вопросы, на которые у экспертов данной группы нет ответов.

Дело не только в том, что легитимационный ресурс инерционного милитаристского сознания не бесконечен и в мирное время без милитаризации жизненного уклада имеет свойство иссякать. Дело и в том, что в границах демилитаризаторского цикла такой ресурс позволяет авторитарному правителю символизировать общий интерес, но не позволяет консолидировать элиту и население вокруг стратегических целеполаганий и добиваться их жизневоплощений. Потому что «вертикаль власти», которая выстраивается в таких случаях якобы для обслуживания общего интереса, может быть лишь коррупционной вертикалью интересов частных и групповых, не мотивированных ни на экономико-технологическую модернизацию, ни, тем более, на модернизацию самой государственной «вертикали».

Из таких ситуаций Россия дважды в своей истории находила выход в тотальной милитаризации, когда целенаправленно правительством реализуются посредством превращения закона в приказ, неисполнение которого карается репрессивными. Если же этот путь отвергается (а он отвергается), то ничего другого не остается, как мотивировать на модернизацию общества, что, в свою очередь, предполагает трансформацию имитационно-правовой и имитационно-демократической государственности, скрепленной инерцией милитаристского сознания, в правовую и демократическую. Однако и такой выход кремлевских политологов не устраивает. Они ищут третий путь.

Все они декларируют приверженность демократически-правовым ценностям. Все признают, что нынешняя «вертикаль власти» тотально коррумпирована, что в ней доминируют не функционально-деловые, а личные отношения, основанные на частных материальных интересах, что суды вмонтированы в эту вертикаль и действуют по тем же, что и она, понятиям. И тем не менее вопрос о системной трансформации никак из них не ставится.

Все они исходят из того, что популярный лидер авторитарного типа может осуществить не только экономическую и технологическую, но и политическую модернизацию. И до тех пор, пока высокий рейтинг лидера, кто бы им ни был, будет воспроизводиться, никто их переубедить не сможет. До тех пор они будут придерживаться с своей сегодняшней позиции в отношении демократии и права. Сегодняшняя же позиция заключается в том, что либо утверждение демократических и правовых норм откладывается на неопределенный срок; либо предусматривается их дозированное использование для очищения «вертикали власти» от коррупционных наростов, не покушаясь на ее устои; либо предполагается коррекция этих норм в соответствии с «русской идентичностью», что сближает отдельных представителей этой группы с теми, кто проецирует будущую отечественную государственность из элементов государственного прошлого. С той, правда, разницей, что в историческом сознании кремлевских политологов не обнаруживается ностальгии по милитаризаторским идеям.

В своих попытках совместить ориентацию на персоналистский режим с ориентацией на демократически-правовую государственность эти политологи не оказались в ходе дискуссии в полной изоляции. Более того, среди экспертов, близких к ним по политическим убеждениям, встречаются люди, полагающие, что в сложившейся при Путине системе правления происходит реальное движение к правовому государству. Суть такой позиции в том, что между жизнью по понятиям и жизнью по закону пролегал промежуточный этап, на котором элитные группы соглашались подчиняться неким неформальным «конвенциям», определяющим для каждой из групп, в зависимости от ее близости к власти, меру допустимого беззакония. Этап, на котором и находится якобы сегодня российская власть и российская элита. И эту позицию можно было бы анализировать, будь она подкреплена информацией о том, что «конвенции» и формируемая ими «конвенциональная этика» ведут, скажем, к фактическому снижению уровня коррупции. Но так как таких сведений предьявлено не было, то неудивительно, что участники дискуссии отреагировали на данную позицию лишь несколькими жвантальными репликами.

Что касается кремлевских политологов, то их идеи и проекты вниманием обойдены не были. И об обоснованности их суждений читатель может судить не только по их выступлениям, но и по жесткой критической реакции на эти выступления со стороны экспертов-либералов, равно как и по ответам на такую критику. Я же в заключение хочу еще раз обратить внимание на то, что в позиции кремлевских политологов главный акцент делается на субъектности государства при исключении (по крайней мере на неопределенное время) политической субъектности общества. И это тоже родит

их с представителями первой группы экспертов, ориентирующихся на государственный опыт прошлого. Что же смогли противопоставить в данном отношении тем и другим аналитики либерально-западной ориентации?

3

В историческом сознании этой группы участников дискуссии не обнаруживается даже бледных следов мобилизационно-милитаристского прошлого. Но это сознание, как правило, глубоко пессимистично; в отечественном прошлом оно ищет чаще всего не точки опоры для проектирования будущего, а объяснения того, почему российская государственность в очередной раз повернулась спиной к демократическо-правовым стандартам и снова оказалась в колее «особого пути».

Однако внимательный читатель обнаружит в выступлениях некоторых представителей данной группы и нечто большее. В них установка на объяснение доводится до принципиального отторжения проектных целеполаганий как таковых. То, что «должно быть», объявляется недостойным экспертного внимания; исследователям настоящим (не идеологизированным) предлагается сосредоточиться исключительно на углубленном изучении того, «что есть». Но, как и всегда в таких случаях, изгнанныя в дверь природа находит для возвращения обходные пути.

Ценностно нейтральное изучение того, «что есть», приводит к тому, что это «что есть» превращается в причину обусловленное и неизбежное, с чем следует примириться. Такой объективизм — скрытая форма апологетики доминирующей на данный момент политической тенденции. Точно так же, как и объективизм, не порывающий с ценностью окрашенным «должно быть», но отодвигающий его в неопределенное будущее в расчете на поступательный ход истории, смеху поколений или что-то еще. В обоих случаях то, «что есть», превращается в то, «что будет» (всегда или неопределенно долго), в «никого не дано». В обоих случаях перед нами своего рода стыдливое гегельянство, которое в классическом своем виде апологетично не тайно, а открыто.

Если же в анализ того, «что есть», ценности все же включаются и объективный анализ становится одновременно и критическим, то это значит, что нормативное «должно быть» было изгнано не всерьез, а «как бы». Оно сохранило себя в виде должного, заимствованного из другого (западного) сущего: то, что наблюдается «у нас», плохо, ибо не соответствует норме, которая утвердилась «у них». А не соответствует потому, что не может соответствовать. Поэтому... Поэтому то, что «у нас», остается лишь углубленно изучать, отложив всякие целеполагания до лучших времен. Непонятно только, благодаря чему также времена, даже умственная устремленность к которым объявляется предосудительной, когда-либо наступит.

И уж совсем невнятно, почему они наступят, если преодоление косного сущего и утверждение на его месте либерально-демократического должного будет поручено «автономной от общества власти», т.е. просвещенному герою-автократу, в расчете на то, что итогом его исторической работы станет «разложение основ» самой автократии. Не буду повторять сказанное выше по поводу аналогичной позиции кремлевских политологов. Не буду спорить и с тем, что в отечественной и мировой истории можно найти примеры того, как авторитарные лидеры продвигали свои страны по пути прогресса. Но не было еще в этой истории такого, чтобы автократы уходили со сцены при отсутствии людей, чьи политические ценности с автократией несовместимы. Если же эти ценности передать на хранение авторитарному лидеру, то на время его правления появление подобных преждевременных людей должно быть квалифицировано как объективному ходу истории (и, соответственно, конечному торжеству либерализма и демократии) препятствующее. Такие вот парадоксы неогегельянской методологии.

Все эти варианты исследовательского объективизма в дискуссии представлены, и читатель может судить о том, насколько я прав в их оценке. Вместе с тем я не хотел бы, чтобы мой краткий комментарий воспринимался как призыв отнестись к ним исключительно критически. Все они отражают неподатливость исторической реальности, с которой сталкивается в России современная либеральная политическая мысль.

Ее представители, в отличие от представителей двух других экспертных групп, не принимают имплантации в мировую жизнь военного представления об общем интересе ни в последовательно милитаристском, ни в нынешнем имитационном воплощении этого представления. Но, в отличие от своих предшественников 1980-х и 1990-х годов (или от самих себя прежних), нынешние либеральные аналитики отдают себе ясный отчет и в том, что понимание общего интереса как альтернативы пониманию военному — это понимание его как интереса общества, обретшего субъектность. Или, что то же самое, общества не как некоего нерасчлененного монолита «народных масс», а как общества, с одной стороны, дифференцированного по интересам (частным и групповым), а с другой — умеющего согласовывать их, находя их приемлемую для всех равнодействующую. Но такого общества, имеющего обычно гражданским, в России нет, как нет и массового стремления населения к его формированию. Что, в свою очередь, позволяет властям вытраивать и те его ростки, которые появляются, удерживая монополию на представительство общего интереса за бюрократической властью вертикально.

Понятно, что появлению оптимистического либерально-демократического мироощущения такие обстоятельства не благоприятствуют, как понятно и то, почему либеральный гражданский пессимизм находит утешение в исследовательском объективизме. Ведь приращение научного знания о реальности целостности охвачено в современной культуре и само по себе — независимо от того, какова сама реальность.

Поэтому, возможно, именно на этом фланге отечественных интеллектуалов наблюдается отчетливо выраженная установка на поиск новых теоретических подходов (и нового теоретического языка), адекватных именно российским реалиям — прошлым и современным. На мой взгляд, такие попытки представляют безусловный интерес. Тем более что поиск ведется в разных направлениях, и результаты его у разных авторов разные, что проявилось в том числе и в полемике между ними в ходе дискуссии.

Жанр вводной статьи, накладывающий определенные ограничения, не позволяет мне углубиться в содержание предложенных подходов. Читателю же, который будет с ними знакомиться (они представлены в основном в последней части книги), могу предложить сопоставить их с тем подходом, который я в этой статье в общих чертах попытался наметить. Замечу лишь, что и теоретические новации участников дискуссии претендуют, как правило, только на объяснение того, что было и есть, а их авторы открыто либо по умолчанию дистанцируются от какой-либо проектности.

Однако и на либеральном фланге проектировщики все же окончательно не перевелись. Среди либералов тоже есть люди, интересующиеся не только тем, «что есть», но и тем, как приблизить его к тому, что «должно быть». И свой поиск они ведут в двух основных направлениях, друг с другом пока слабо сопрягающихся.

Представители первого направления делают основную ставку на преобразование российской государственности сверху, рассчитывая на то, что ее очевидная для них стратегическая несостоятельность в ее нынешнем виде рано или поздно станет очевидной и для властей. Исходя из этого выдвигаются проекты конституционной реформы, призванной демонтировать персоналистский режим и устранить юридические преграды, блокирующие свободную политическую конкуренцию и формирование политически ответственного правительства по итогам парламентских выборов. Предла-

гается и целый ряд других, вполне конкретных мер, направленных на дебиюрократизацию государственной системы, отделение власти от бизнеса, выведение политики из теневой сферы в публичную.

Представители второго направления подобные упования на «верхи» считают иллюзорными и утопическими. Они исходят из того, что системная природа сложившейся в современной России государственности исключает ее трансформацию сверху, а потому главная ставка должна быть на низовую активность, на развитие гражданского общества и выработку им собственной политической повестки дня, альтернативной официальной. Однако при этом отчетливо осознается и то, что у самого российского общества такая установка проявлена очень слабо, а потому властям не так уж и сложно удерживать его в атомизированном «объектном» состоянии.

Историческое сознание либералов не меньше, чем сознание кремлевских политологов, чувствительно к отсутствию у россиян навыков самоорганизации. Но если вторые на этом основании делают вывод в пользу замещения общества государством и создания им управляемых общественных организаций, то первые рассматривают такое историческое наследие как главную проблему российского либерального западничества. И, как показала дискуссия, пытаются искать способы ее решения.

Да, результативность этих поисков на сегодняшний день, мягко говоря, не впечатляет. Но результат все же есть, и он заключается в осознании самой проблемы. Ведь в 1990-е годы считалось, что высвобождение частных интересов из-под опеки государства чуть ли не само по себе приведет в светлое либерально-демократическое будущее. Ведь вопрос о новом понимании общего интереса и его опосредованности интересами групповыми тогда не ставился вообще. Плодом же такой интеллектуальной и политической установки и стал постсоветский атомизированный социум, довольно быстро ощутивший потребность в авторитарной склейке. Сегодня же, как показала дискуссия, «либерализм» 1990-х оставлен в прошлом и вытеснен либеральными установками без кэпчек, что не так уж и мало.

Но дискуссия выявила и другое. Она выявила противоположность интеллектуального противостояния тех, кто ставит во главу угла институциональные (в том числе конституционные) изменения, и тех, кто приоритетным считает развитие и консолидацию гражданского общества.

С последними трудно спорить, когда они говорят о том, что формальные нормы могут работать только тогда, когда опираются на неформальные и когда разные группы интересов (в обществе, а не только в элите) обретут способность договариваться без посредничества и арбитража государства. Трудно спорить и с тем, что при отсутствии общественного консенсуса относительно общих правил игры любое их изменение окажется бессмысленным. Действительно, при таких обстоятельствах сдвиг, скажем, конституционных полномочий от президента к правительству и переход к его формированию по итогам парламентских выборов приведет не к торжеству принципа разделения властей, а к появлению дополнительной политической площадки для бюрократии. Но ведь есть своя правда и у сторонников конституционных изменений. Ведь общественный консенсус предполагает и согласие по поводу Основного Закона, а оно, в свою очередь, не может быть достигнуто, если вопрос о конституционных изменениях объявляется производным и потому заведомо неактуальным.

Трудности и препятствия, с которыми сталкивается сегодня в России либеральная мысль, приводят к тому, что разные аспекты одной и той же задачи искусственно друг другу противопоставляются. Развитие гражданского общества и достижение общественного консенсуса — конституционной реформе. Изучение того, «что есть», — проектированию того, что «должно быть». Углубленное изучение отечественной исто-

рин и логики ее развития — исторической злобе дня. В совокупности же все эти и другие раздран свидетельства о том, что либеральное западничество даже в интеллектуальном его воплощении всерьез не претендует в России, по словам одного из участников дискуссии, на модальное лидерство.

Риску предположить, что отсутствие таких притязаний в значительной степени обусловлено неадекватным российской истории историческим сознанием. Либеральная политическая традиция имеет в России глубокие корни; она была заложена еще в первом (послепетровском) демилитаризаторском цикле. И если в 1917 году он (вместе с этой традицией) мог быть прерван, то из второго демилитаризаторского цикла, в котором застряла сегодня страна, выхода в третий цикл милитаризации уже не существует. Это значит, что «проблема колен» в прежнем ее виде снята ходом исторического развития. Это значит, что осталась в прошлом и возможность реанимации в мирное время военного понятия об общем интересе. Но и нынешняя имитационная милитаризация массового сознания, на повседневный жизненный уклад не распространяющаяся, стратегически тупиковая, что для рационального исторического сознания должно быть очевидно.

Имитация милитаристской традиции, апеллирующая к державной идентичности, успели уже продемонстрировать в отечественном прошлом свою несостоятельность. И потенциал самой российской державности, как со временем выяснилось, они не обогащали и даже не сохраняли, а лишь растрчивали впустую. Тем более бессмысленно уповать на такие имитации в постиндустриальную эпоху. Никакая «вертикаль власти», легитимизируемая с их помощью, ответить на вызовы этой эпохи при лишенном субъектности обществе заведомо не сможет. Поэтому российской либерально-демократической перспектива не просто мыслима; она — безальтернативна. В том числе и с точки зрения патриотизма, если понимать под ним нечто иное, чем интересы самосохранения бюрократической «вертикали», понятие патриотизма приватизировавшей.

Но рациональное историческое сознание должно учитывать не только это. Будучи историческим, оно должно включать в себя и представление о том, что трансформация военного понятия об общем интересе в невоенное — задача не просто сложная, но и уникальная, аналогов не имеющая. И сегодня она если в чем-то и облегчилась по сравнению с досоветскими временами, то в чем-то, наоборот, стала еще труднее. Ведь вторая отечественная милитаризация сопровождалась разрушением традиционного жизненного уклада и традиций как таковых, никакой замены им после себя не оставившим. Подобного не было ни в Европе, ни в Азии, ни где бы то ни было еще. Поэтому искать ответы на задачи нашей модернизации в опыте Испании, Японии, Бразилии, Мексики, Тайваня или каких-то других стран, вопреки мнению некоторых участников дискуссии, вряд ли продуктивно. Разве что ответы очень приблизительные.

«Проблема колен» осталась в прошлом только в том смысле, что наша «колен» больше не ведет в будущее. Но «проблема колен» остается с нами как задача выхода из этой колени ради обретения исторической перспективы.

Решением задачи может стать только сознательный выбор российского общества. Оно же может быть подготовлено к нему только сознательными действиями просвещенной и ответственной элиты, которой еще тоже нет. Но это, в свою очередь, означает, что ниша стратегического национального лидерства сегодня свободна. И пока политические силы, достойные и способные ее занять, в стране отсутствуют, основная тяжесть исторической ответственности ложится на интеллектуалов, которым предстоит осуществить экспертную и идеологическую подготовку системных перемен. В данном случае я лишь повторю тезис, в ходе дискуссии уже прозвучавший. Но заинтересованного отклика он пока не нашел. Остается надеяться, что найдет.

О структуре книги

Материалы дискуссии представлены в книге не всегда в той последовательности, в которой они размещались на сайте «Либеральной миссии». При этом мы руководствовались несколькими соображениями. Во-первых, для удобства читателя тексты, авторы которых полемизируют друг с другом, должны располагаться рядом. Во-вторых, выступления представителей каждой из трех экспертных групп, о которых говорилось выше, тоже желательно сконцентрировать в одном месте. В-третьих, тексты, в которых преобладает политическая злоба дня, целесообразно отделить от тех, авторы которых претендуют на теоретическую концептуальность. В-четвертых, переструктурирование не должно лишать читателя возможности следить за ходом полемики в той последовательности, в которой она реально развертывалась.

В результате структура книги приобрела следующий вид.

В первом разделе представлена статья Михаила Краснова, отрывшая дискуссию, и материалы обсуждения этой статьи за круглым столом «Либеральной миссии».

Во втором разделе размещены тексты, авторы которых с разных позиций оценивают период правления Владимира Путина и роль его президентства в развитии российской государственности.

В третьем разделе представлены выступления сторонников идеократического типа государства и их оппонентов.

В четвертом разделе — тексты кремлевских политологов и их критиков.

В пятом разделе размещены материалы, в которых представлены политические идеи и проекты экспертов либерально-демократической ориентации.

В шестом разделе собраны выступления, в которых в той или иной степени затрагиваются теоретические проблемы, касающиеся изучения истории и современного состояния отечественной государственности.

Завершает книгу заключительная статья М. Краснова.

Отдаю себе полный отчет в том, что такая структура не идеальна и что размещение текстов в том или ином разделе в ряде случаев не соответствует тем критериям, которыми мы пытались руководствоваться. Скажем, в соответствии с этими критериями место концептуальной статьи Симона Кордонского — не в третьем разделе, а в шестом, а текста Алексея Кара-Мурзы — не в четвертом, а в пятом. Однако перенесение статьи С. Кордонского в заключительный раздел создало бы неудобство для читателя, так как на этого автора есть ссылки в предыдущих разделах, а выступление А. Кара-Мурзы нельзя было изъять из контекста его полемики с Сергеем Марковым. Есть и определенная размытость самих критериев структурного членения материалов дискуссии. Так, тексты, размещенные в пятом разделе, по своей общей политико-идеологической направленности не отличаются, как правило, от текстов, размещенных в шестом, и некоторых материалов других разделов, сформированных по иным критериям. Тем не менее сохраняю надежду, что плюсы предложенной структуры перевешивают ее минусы и что последние не помешают читателю составить целостное представление о дискуссии и мировоззренческих позициях различных групп ее участников.

В заключение хочу еще раз выразить благодарность всем им, а также модераторам дискуссии Леониду Иосифовичу Бяехеру и Владимиру Валентиновичу Лапину, без огромной организаторской и редакторской работы которых эта книга не могла бы состояться.

ЧАСТЬ I

**ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ
НЕПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА**

ФАТАЛЕН ЛИ ПЕРСОНАЛИСТСКИЙ РЕЖИМ В РОССИИ? (Конституционно-правовой взгляд)

Опасности персонализма

Под персоналистским режимом автор понимает несбалансированное сосредоточение властных прерогатив, как явных, так и скрытых, в руках института-личности (в российском варианте — Президента РФ) при формальном сохранении принципов и институтов, свойственных конституционному строю. Если политическая система, т.е. система институтов и правил для выработки и проведения политики внутри страны и на международной арене, основана на чем-то монопольном положении, то о политике, в современном ее смысле, говорить не приходится. То, что именуется в таких условиях политикой, является скорее лишь формализованной позицией одного институционального субъекта, или политического моносубъекта.

Никакие видные черты, особенности демократии не могут отменить ее родовых черт, а родовым признаком демократии как раз и является система выявления, представительства и учета разных позиций, которые, переплавляясь посредством специальных институтов и правил, «на выходе» являют собой политику как компромисс¹.

Персоналистский режим не может быть признан особенностью демократии, поскольку он приводит к некрозу ее существенных черт, в том числе: равных возможностей для политического представительства; самостоятельного функционирования органов государственной власти, относящихся к разным ее ветвям; политической конкуренции; выработки крупных государственных решений на основе согласования интересов.

Наиболее ярким индикатором персонализма при формальном наличии демократических институтов является не объем президентских полномочий, а практически полное отсутствие зависимости реальной политики от результатов парламентских выборов. При этом не играет особой роли, настроено ли парламентское большинство критично по отношению к данному президенту или абсолютно ему лояльно. В таком случае обесмысливается и сам принцип разделения властей. Даже если счесть нынешнее состояние обеих палат Федерального собрания, ставших своего рода «подразделением» президентской администрации, временной флукутуацией, хотя само возникновение такой флукутации говорит о многом, то и при «оппозиционном» парламенте теряется смысл разделения властей, поскольку законодательная власть не имеет возможностей реально противостоять президентско-правительственной политике. Так что при господстве персоналистского режима парламент в обоих случаях имеет черты, при которых презрительная характеристика («говорилица»), данная ему В.И. Ленин², становится справедливой.

¹ Об этом хорошо говорится в книге: Варламова Н.В., Ласлово Н.Е. Между единством и волей большинства (политико-правовые аспекты консенсуса). М., 1997.

² См., например: Ленин В.И. Марксизм в государстве // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 46, 271.

На это мне могут возразить следующее: поскольку Россия до сих пор переживает период реформ, постольку доминирующее положение Президента РФ и периферийное положение парламента оправдано. Это чрезвычайно опасное заблуждение. Разумеется, ненормально, когда существует легальная оппозиция даже не политическому курсу, а самим основополагающим принципам политического и экономического строя. Например, КПРФ в своих программных установках предполагает восстановление советской власти, хотя пока не педалирует такое требование и тактически действует как парламентская партия. Причины подобной ненормальности различны и лежат в той исторической конфигурации, из которой родилась постсоветская Россия. Но, «обезопасив» себя от антидемократического реванша путем институционального гипертрофирования президентского поста, общество, от которого раньше еще кое-что зависело, прозевало другую опасность: создало условия для всевластия бюрократии.

Сосредоточение политической власти в руках института-личности, а значит девальвация парламентаризма, при том что этот институт еще и ограден практически от всяких сдержек и противовесов (см. ниже), неизбежно порождает единственную опору для проведения политики — бюрократию. Впрочем, было бы еще полбеды, если бы бюрократия проводила политику президента. Властный механизм так устроен, что бюрократия определяет еще и стратегические цели и методы их достижения, не давая при этом возможности обществу контролировать власть. В результате как минимум:

- народ отстраняется от своих суверенных прав, закрепленных за ним в ст. 3 Конституции РФ;
- президент объявляет «новостку дня»³, но формирует такую «новостку» именно бюрократия, не важно, какая из ее групп — «либеральная» или «антилиберальная». Тем самым страна лишает себя всякой долгосрочной, последовательной и преемственной политики;
- демократические институты, используемые бюрократией для своих нужд, дискредитируются, что особенно опасно в стране, где демократические традиции далеко еще не укоренены;
- политическая конкуренция заменяется «подковерной» конкуренцией «групп влияния», кланов; институты государственного принуждения разлагаются, поскольку, с одной стороны, используются бюрократией для удаления с политического или экономического поля «несанкционированных» фигур, с другой — лишены гражданского контроля. Тем самым эти институты поставлены в такие условия, когда они вынуждены служить не закону и обществу, а бюрократии, взамен получая от нее «свободу действий», которая используется для произвола и коррупции;
- ротация политических лидеров становится проблемой для страны: даже если действующий лидер не устанавливает для себя новую легислатуру с помощью лукавых юридических приемов, его уход в отставку становится как минимум стрессом для общества, как максимум — поводом для нелегитимной борьбы за власть.

³ Меньший пример из личного опыта: несколько депутатов еще в 2003 году внесли мой проект закона о парламентских расследованиях (см.: Краснов М. Попытки новой заимки. Проект Федерального закона «О парламентских расследованиях» // Закон. 2002. № 6. С. 108–110), который, хотя и был принят в первом чтении, остался неиспользованным, поскольку в то время позиция Кремля была негативной в отношении этого института. Но стоило президенту в последние Федеральному собранию 2005 года упомянуть о целесообразности введения парламентских расследований, как «машинка заехала». При этом грубо был нарушен Регламент Госдумы, в ст. 110 которого говорится: «В случае, если в Государственную Думу после принятия законопроекта в первом чтении поступит законопроект по тому же вопросу, такой законопроект Государственной Думой не рассматривается и возвращается субъекту права законодательной инициативы по истечении срока рассмотрения аналогичного законопроекта в первом чтении».

Однако самая большая опасность персонализма в нынешних условиях состоит в том, что в отличие от монарха, обладающего сакральной легитимностью, у избираемого народом президента нет такого «резерва прочности». Президент может сколько угодно заявлять, что он «президент всех россиян», но, хотя и не в равных долях, народ всегда будет делиться на сторонников данного конкретного президента и на его противников, при этом не важно, что значительная часть общества остается нейтральной. Если же избираемый глава государства действует в режиме абсолютизма, повторю, не имея той же степени монархической легитимности, он неизбежно становится осью антагонистического разделения общества, причиной радикализации оппонентов, не находящих для себя легальных путей учета их позиций. Поэтому рано или поздно такой режим приводит либо к безвластию, влекущему за собой открыто авторитарное правление, либо к такому же правлению, мимую этап безвластия.

Можно и дальше перечислять негативные следствия политического персонализма, но гораздо важнее попытаться найти ответ на один принципиальный вопрос, без решения которого невозможно определить путь дальнейшего движения. Сформулировать его можно так: насколько объективны для нас персоналистский режим? Или, говоря конкретнее, что именно предопределяло его существование — исторические традиции и особенности общественного сознания либо некие институциональные пороки государственной организации, обусловленные конкретной политической ситуацией в России в начале 90-х годов XX столетия?

Россия в «матрице»?

Этот вопрос является частью более фундаментального вопроса — о «социогенетической» предрасположенности или степени такой предрасположенности тех или иных обществ к тому или иному типу развития. Обсуждается этот вопрос в России весьма охотно, поскольку, с одной стороны, в нашем обществе остается актуальными разделение, условно говоря, на «традиционалистов» и «модернистов», а с другой — среди «модернистов» все чаще проливает себя скепсис относительно возможности создания в России демократии без всяких лукавых прилагательных типа «управляемая», «суверенная» и проч. И если «традиционалисты» вообще употребляют слова «либерализм», «демократия» и т.п. не иначе, как с негативными коннотациями, то «модернисты» скептики, наблюдая безуспешность попыток российского «модернизационного проекта», видимо, решили пойти на «интеллектуальный компромисс». Отсюда — выдвигание гипотезы о неких «метаусловиях», влияющих на демократическое строительство в России.

Сошлюсь, в частности, на гипотезу С.Г. Кирдиной о двух типах институциональных матриц («X» и «Y-матрицы»). Согласно ее позиции, «институциональная X- или Y-матрица содержит в себе генетическую информацию, обеспечивающую воспроизводство общества соответствующего типа. Самовоспроизведение, хранение и реализация информации в процессе роста новых институциональных форм, т.е. создание «плоти социальной жизни», происходит на основе взаимодействия матрицы базовых институтов и матрицы вспомогательных институтов, имеющей в данном случае характер реплики (отзыва, реакции, необходимого элемента диалога). При этом матрица базовых институтов образует генетическую основу. Каждый из базовых институтов взаимодействует с определенным комплексным (дополнительным) институтом (выполняющим ту же функцию в альтернативной институциональной системе) и «маклайдует» на него свою информацию, характер, отпечаток»⁴.

⁴ Эта и последующие цитаты взяты из работы: Кирдина С. Институциональная структура современной России: эволюционная модернизация // Вопросы экономики. 2004. № 10. С. 89–98 (последнюю дневную статью автором анализировалась в ее электронной версии, в ссылках на цитаты не указаны страницы журнального варианта).

Основываясь на этой теоретической посылке, С. Кирдина утверждает, что если в Y-матрице сочетаются экономические институты рынка, политические институты федерации и ценности, в которых закрепляется приоритет Я над Мы, а такая матрица доминирует в большинстве стран Европы и в США, то X-матрица образована экономическими институтами редистрибуции⁵, политическими институтами унитарного устройства (построения общества «сверху» на основе иерархической централизации) и идеологическими институтами коммуитарности, в которых закрепляется приоритет Мы над Я. Россия, страны Азии и Латинской Америки отличаются доминирующим X-матрицей⁶.

С. Кирдина, впрочем, не настаивает на жестком детерминизме «матрицы», наоборот, видит «особенности проявления механизма самоорганизации социально-экономических систем, т.е. систем с участием сознательного человека» в том, что «для подстройки институциональной структуры посредством использования комплементарных репликативных форм необходима целенаправленная и взвешенная деятельность социальных субъектов. Иначе стихийное действие доминирующих структур хотя и будет обеспечивать развитие, но только через кризисы. Они хорошо описаны в экономической теории как кризисы перепроизводства (в рыночных экономиках) и кризисы недопроизводства (в редистрибутивных экономиках). В первом случае к ним приводит стихийное действие рыночных сил, но компенсируемое редистрибутивными механизмами централизованного (государственного) регулирования. Во втором случае — экономические кризисы являются следствием недостаточного внедрения в практику редистрибутивной экономики обменных рыночных институтов». Поэтому выход исследователь видит в том, чтобы «формировать оптимальный институциональный баланс и каждый раз находить требуемые пропорции базовых и комплементарных институтов»⁷.

Я не собираюсь вступать в дискуссию по поводу самой теоретической конструкции, хотя именно здесь и возникает ряд вопросов, например: какие институты или социальные группы являются собственно «генами», т.е. носителями «кода»? где следует искать причины возникновения той или иной «матрицы» — в истории, антропологии, религии и т.д.? из чего следует именно такая география «X-матрицы», к которой относятся страны с доминированием совершенно разных культур, и входит ли в эту «компанию» Япония? Тем не менее предположим, что данная гипотеза верна. Но согласиться с отнесением России к такому типу институциональной матрицы трудно.

И тут дело не в эмпириальном неприятии⁸. Дело в том, что усомниться в верности вывода С.Г. Кирдиной для России заставляет одна ее исходная посылка. «Изучая развитие государств, мы обнаруживаем, — пишет она, — что доминирование X

⁵ Редистрибуция — перераспределение — в данном контексте можно обозначить как экономической гегемонизм.

⁶ Кирдина С. Указ. соч.

⁷ В качестве примеров такого баланса С.Г. Кирдина приводит административную реформу и реформу РАН — ЕЭК, которые, по ее мнению, с одной стороны, предусматривают «использование соответствия общей системы управления и системы управления энергетическим комплексом, а с другой — выужены встраивать «второезидные» элементы в «X-матрицу», предусматривая «неравноценность». Другими словами, «институты Y-матрицы встраиваются в нашу систему как необходимые и способствующие ее динамичному развитию, но их действие все более определяется, определяется, ограничивается действием институтов базовой X-матрицы российского государства».

⁸ Как раз на эмпириальном уровне я готов согласиться с С.Г. Кирдиной, хотя соглашусь надо скорее с В.С. Черномырдиным, гениально сформулировавшим «теорию матриц» своим знаменитым «как всегда». Все мы великаны свидетели того, как, казалось бы, проверенно мировой практикой принципы и институты («Y-матрицы») на российской почве если и не превращались в свою противоположность, то уж точно не дают ожидавшегося от них эффекта.

или Y-матрицы носит „вечный“ характер и определяет социетальный тип общества. Именно доминирующая матрица отражает основной способ социальной интеграции, стихийно найденный социумом в условиях проживания на данных пространствах, в определенной окружающей среде».

Вот в этом «способе, стихийно найденном социумом», кажется, и кроется главное заблуждение. Тут важно даже не то, что неизвестно, когда этот «способ был найден». Важно, что стихийность социального поиска предполагает все-таки субъектность социума. Была ли эта субъектность в России? Более или менее точный ответ могла бы дать историческая социология, но у нас ее нет, а есть лишь робкие попытки социологических изысканий у историков и исторических — у социологов. Разумеется, нельзя утверждать, что в России начиная с момента образования нашей государственности, т. е. с IX века, власти полностью игнорировали мнение подданных. Как заметил Х. Ортега-и-Гассет, «правление — это нормальное осуществление своих полномочий. И опирается оно на общественное мнение — всегда и везде, у англичан и у ботокудов, сегодня, как и десять тысяч лет назад. Ни одна власть на Земле не держалась на чем-то существенно ином, чем общественное мнение. <...> Даже тот, кто намерен управлять с помощью яничар, вынужден считаться с их мнением и с мнением о них остального населения»⁹.

Больше того, древняя русская история, если ее очистить от названной как советским, так и досоветским официозом мифологии «царей и героев», показывает, что на Руси были и развивались и горизонтальные связи, и живое предпринимательство, и терпимость, и демократические институты представительства, конечно соответствовавшие своему времени. Развивались — в целом до тех пор, пока не началась эпоха активной централизации (Иоанн III), вскоре совмещенная с эпохой расширения пространственных пределов страны (Иоанн IV, известный как Иван Грозный).

Но ведь и многие европейские страны переживали похожие процессы. Почему же там идеи ограничения власти в конечном счете пробили себе дорогу, а у нас такого рода интеллектуально-политические попытки повторялись с XVI века почти при каждом самодержавии: правительство А. Ф. Адашева при Иване Грозном; российско-польский договор 1610 года; долгоруковская «оппозиция» Петру I; Кондиция Верховного тайного совета для Анны Иоанновны; Н.И. Панин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев при Екатерине II да и сама молодая Екатерина с ее «Наказом»; тот же Н.И. Панин и масонство при Павле I; М.М. Сперанский, тайные кружки аристократов при Александре I; конституционные проекты декабристов; аристократы-реформаторы и сами реформы Александра II; Манифест 17 октября, Государственная дума, С.Ю. Витте и П.А. Столыпин при Николае II. Попытки повторялись, но не имели своего воплощения, а нередко даже становились поводом для переориентации политики на право противоположную. А сам факт массовой поддержки большевизма в начале XX века — он был еще одним проявлением «X-матрицы» или ее следствием? Если кто-то скажет, что здесь налицо просто набор роковых исторических случайностей, то я первый усомнюсь в этом, так как такое их количество и последовательность свидетельствуют как раз о некой закономерности.

Получается, автор сам себе противоречит: ведь если соглашаться с тем, что в России имеет место сопротивление институтам «Y-матрицы», то тогда, действительно, следует признать, что развитие страны обусловлено содержанием «X-матрицы». Однако противоречия тут нет! Пусть на исторических развитиях Россия избирала путь, отдающийся ее от общеевропейского пути, — это еще не означает цивилизационной предопределенности ее развития. Стихийность предполагает хотя бы относительную свободу — личную и общественную. Но степень такой свободы как раз и была у нас минимальной, начав неуклонно уменьшаться по мере становления и укрепления единовластия.

⁹ Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2002. С. 119.

Г.А. Сатаров дал, на мой взгляд, точное онтологическое определение демократии, назвав ее институализирующей случайности¹⁰. Однако в истории России случайность практически никогда не была институализирована. *Империализированной* у нас всегда была воля правителя. В данном случае неважно, как формировалась сама эта воля — под влиянием ли ближайшего окружения, психофизиологических особенностей правителя, еще каких-то субъективных факторов или всего этого, вместе взятого. Важно, что отнюдь не социум находил некую парадигму. Она ему навязывалась, и он вынужден был вписаться с нею, тем самым постепенно ее легитимируя.

Сегодня мы оказались в исторической ловушке: общество, завоевавшее и заслужившее свободу и демократические институты, могло покончить с политическим персонализмом, означаящим в пределе не что иное, как всевластие. Однако персонализм не предстал перед обществом как зло. Наоборот, он пробил себе дорогу, облекаясь в «демократическое платье», и потому сумел вновь себя легитимировать. И «виновата» в этом, повторю, отнюдь не «матрица» — «виновата» отсутствие в обществе причинной связи между качеством жизни и устройством властного органа. А связь эта отсутствует потому, что и дореволюционная, и советская, и постсоветская элита прикладывала и продолжает прикладывать все возможные усилия к тому, чтобы убедить народ — альтернативой единовластию, т.е. бесконтрольному единоличному правлению, является лишь смута.

И это элите до сих пор удается. Обратите внимание: каждый претендент на президентский пост, в том числе и из либерального лагеря, обращается к обществу не с обязательством пересмотреть традиционный принцип властвования, который за много веков и несмотря на разные формы правления, разное общественно-политическое устройство ничуть не изменился, а с обещанием проводить другую, нежели предшественник, политику или, наоборот, быть верным продолжателем его политики.

Итак, мой вывод: не патриархальные взгляды обществом востребуют персоналистский режим, а персонализм консервирует патриархальные отношения в обществе и патриархальный взгляд общества на устройство власти.

Как же выскочить из этой ловушки? Полагаю, что с помощью часто используемого метода — аннигиляции. То есть персонализм может быть преодолен с помощью персонализма. Другими словами, в наших нынешних условиях, только обладая президентским постом и при этом высокой популярностью, лидер может инициировать изменение самих институциональных условий, продуцирующих персоналистский режим, т.е. перейти к модели организации публичной власти, которая бы, конечно, учитывала силу исторической инерции, но не в смысле потакания феодальным стереотипам, а в смысле нейтрализации их.

В таком случае логично поставить вопрос: что сегодня институционально мешает созданию механизма политического маятника с относительно небольшой амплитудой? Ведь модель власти, и шире — модель политической системы, закрепленная Конституцией Российской Федерации, не является какой-то уникальной. Российская модель принадлежит к типу смешанной, или полупрезидентской, или парламентско-президентской республики. Таких государств, например, в Европе не так уж и мало — более 10, в том числе Франция, Португалия, Хорватия, Польша, Словения, Украина.

И хотя в каждой из этих стран есть своя модификация — некоторый крен либо к президентской модели, либо к парламентской, тем не менее, при всех особенностях, сохраняются главные институциональные признаки:

- наличие президента, избранного народом, т.е. имеющего собственный политический мандат;

¹⁰ Сатаров Г.А. Как возможны социальные изменения. Обсуждение одной гипотезы. (Эта статья не опубликована, и ссылка на нее дается по рукописи с согласия ее автора.)

- самостоятельная исполнительная власть, возглавляемая правительством, несущим ответственность как перед президентом, так и перед парламентом, включая рассмотрение последним вопроса о доверии;
- участие президента в формировании правительства;
- некоторая конкуренция полномочий между президентом и правительством;
- как правило, возможность роспуска парламента президентом для выхода из тупиков.

Все это в целом свойственно России. Свойственно, кстати, закономерно, ибо, как отмечается в научной литературе, «двузлая» модель — президент и правительство — обычно рождается в ходе революционных событий или кризисов, когда на политической арене появляется харизматическая фигура лидера¹¹. Но европейская практика показывает, что такая модель работает и в более спокойные периоды. Она, конечно, более сложная, чем иные модели, поскольку предполагает участие большого числа политических «игроков». Но в этом и ее преимущество, одно из которых — более широкие возможности для преодоления кризисных ситуаций. Другое дело, что, в силу сложности, модель эта требует, во-первых, четкого понимания и нормативного отражения того, чем является институт президента, и, во-вторых, ювелирно отточенного баланса полномочий. В том, как эти два обстоятельства отражены в нашей Конституции, и кроются главные проблемы.

Президент как гарант

Президент России, как того требует логика смешанной модели, является институтом, предназначенным, во-первых, для традиционного олицетворения завершенности государственной конструкции; во-вторых, для принятия оперативных мер по защите конституционного строя, государственного суверенитета, целостности страны; в-третьих, что особенно важно, для независимого политического арбитража. Именно в последнем состоит большое преимущество модели смешанного типа. В конце концов, никто не гарантирует от парламентарно-правительственных кризисов¹². В государствах с развитыми традициями компромиссов, со стабильной политической системой, с устоявшимися и доминирующими в обществе демократическими ценностями такие кризисы и тупики не представляют собой особой опасности, во всяком случае пока. А вот в государствах, где таких традиций и такой системы еще нет, подобные кризисы могут привести к весьма опасным последствиям. Поэтому охранительная и миротворческая, стабилизирующая роль президента тут нецензурна.

Вопрос в другом: как такая роль трактуется и не есть ли это скрытое приращение главе государства доминирующего положения над всеми ветвями власти? Такое опасение некоторым образом подтверждает и сама Конституция РФ, которая в ст. 10 провозглашает: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную». А поскольку Президент РФ не является составной частью ни одной из этих ветвей власти¹³, постольку он официально не входит в систему разделения властей и как бы стоит над всеми ветвями власти. В то же время, несмотря на то что Президент Рос-

¹¹ См., например, Конституционное (государственное) право зарубежных стран в 4 т. / 3-е изд. Т. 1-2. Часть общая / Отв. ред. проф. Б.А. Страшун. М., 1999. С. 351.

¹² Такой кризис образовался, например, осенью 2005 года в Германии. То, что ФРГ — государство с парламентской формой правления, сути дела не меняет.

¹³ В российской науке, кстати, до сих пор идут споры о том, представляет ли институт президентства самостоятельную, но не формализованную ветвь власти. Автор придерживается позиции, что институт президента может быть охарактеризован как ветвь власти.

сия не входит в классическую «триаду ветвей власти», он назван первым среди институтов, которые осуществляют, согласно ст. 11 Конституции РФ, государственную власть в стране.

Не есть ли это признание некоей надинституциональности российского президента как главы государства, теоретическое основание его права на контроль за деятельностью всех других институтов? Нет. Несмотря на не вполне удачно встроившуюся в текст Конституции теоретическую конструкцию, ст. 11 еще не предопределяет президентского единовластия.

Во-первых, потому, что само провозглашение принципа разделения властей и самостоятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти свидетельствует о том, что никто, в том числе и Президент РФ, не вправе принимать к своему ведению вопросы, отнесенные к компетенции соответствующих органов власти.

Во-вторых, надинституциональности президента не может быть в силу того, что Конституция вручает ему его собственные властные prerogatives — функции и полномочия, перечисляемые прежде всего в главе 4.

Наконец, в-третьих, фактическое нахождение президента в системе разделения властей подтверждается его обязанностью издавать указы и распоряжения в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами, а также правом иных субъектов власти обжаловать в суде акты главы государства.

И тем не менее институт президента в смешанной модели действительно особый. Имея свою компетенцию, как и любой другой властный институт, президент — это все-таки глава государства. Глубинный смысл феномена главы государства, думается, слабо изучен в современной теоретической юриспруденции. Как правило, авторы останавливаются просто на его констатации, видимо, полагая, что само данное понятие все объясняет. Не все. Но, поскольку анализ данной проблемы не составляет предмета настоящей работы, ограничусь лишь утверждением, что статус главы государства как раз предполагает выполнение фундаментальной роли хранителя государственности и стабилизатора политической системы. Все дело, однако, в том, какими президент для этого наделяется полномочиями.

Риску в исследовательских целях разбить эту фундаментальную роль на два, так сказать, ролевых модуса. Модус хранения государственности прямо отражается в ст. 80 Конституции, согласно которой глава государства:

- является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина (ч. 2);
- принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности (ч. 2);
- представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях (ч. 4).

Этим функциям корреспондируют конституционные полномочия, в соответствии с которыми Президент РФ:

- вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов Федерации в случае противоречия этих актов Конституции РФ и федеральным законам, международным обязательствам России или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом (ч. 2 ст. 85);
- вправе отменить постановления и распоряжения Правительства РФ в случае их противоречия Конституции РФ, федеральным законам и указам Президента РФ (ч. 3 ст. 115);
- является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации (ч. 1 ст. 87);

- в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной думе (ч. 2 ст. 87);
- назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Российской Федерации (п. «а» ст. 83);
- при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной думе (ст. 88);
- формирует и возглавляет Совет безопасности Российской Федерации (п. «ж» ст. 83);
- осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации (п. «а» ст. 86);
- ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации (п. «б» ст. 86);
- подписывает ратификационные грамоты (п. «в» ст. 86);
- принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем дипломатических представителей (п. «г» ст. 86);
- назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального собрания дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях (п. «м» ст. 83);
- вносит представление в Совет Федерации о назначении судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, Высшего арбитражного суда Российской Федерации (п. «е» ст. 83);
- назначает судей других федеральных судов (п. «е» ст. 83);
- вносит представление в Совет Федерации о назначении на должность и освобождении от должности Генерального прокурора РФ (п. «е» ст. 83);
- наряду с другими субъектами вправе вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ (ст. 134);
- решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища (п. «а» ст. 89);
- награждает государственными наградами Российской Федерации, присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и высшие специальные звания (п. «б» ст. 89);
- осуществляет помилование (п. «в» ст. 89).

Разумеется, все перечисленное отнюдь не способно превратить институт Президента РФ, как бы ни хотел того человек, занимающий эту должность, в институт единовластного правителя. Больше того, некоторые из названных полномочий оба российских президента либо до сих пор не использовали, либо использовали крайне редко. Повидно, что военное положение не вводилось, поскольку не было агрессии или угрозы агрессии. А вот почему президенты, как первый, так и второй, не склонны использовать (известны лишь единичные случаи) право приостановления актов органов исполнительной власти субъектов Федерации в случае их противоречия Конституции РФ и федеральным законам, международным обязательствам России или нарушения ими прав и свобод человека и гражданина до решения вопроса соответствующим судом — остается непонятным.

Модус стабилизатора политической системы, в том числе политического арбитра, отражается главным образом в функции обеспечения согласованного

функционирования и взаимодействия органов государственной власти (ч. 2 ст. 80). В свою очередь, эта функция выражается в полномочиях, согласно которым Президент РФ:

- может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации до разрешения вопроса судом (ч. 1 ст. 85);
- может созвать заседание Государственной думы ранее чем на тридцатый день после ее избрания (ч. 2 ст. 99);
- наряду с другими субъектами обладает правом законодательной инициативы (ч. 1 ст. 104);
- подписывает и обнародует либо отклоняет федеральные законы (п. «д» ст. 84, 107);
- в случае роспуска Государственной думы назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная дума собралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска (ч. 2 ст. 109);
- наряду с другими субъектами данного права может вносить запросы в Конституционный суд РФ по делам о соответствии Конституции РФ:
 - а) федеральных законов, нормативных актов Совета Федерации, Государственной думы, Правительства РФ;
 - б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ;
 - в) договоров между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, договоров между органами государственной власти субъектов РФ;
 - г) не вступивших в силу международных договоров РФ (ч. 2 ст. 125);
- наряду с другими субъектами данного права может вносить запросы в Конституционный суд РФ о толковании Конституции РФ (ч. 5 ст. 125).

Согласимся с тем, однако, что для выполнения миссии политического арбитража названных полномочий маловато. Не в смысле их количества, а в смысле, так сказать, силы политического влияния. Поэтому не только российская Конституция, но и конституции других государств со смешанной моделью наделяют глав государств полномочиями с более огульным эффективностью благодаря в первую очередь тому, что это в основном полномочия кадрового характера, хотя и не только. К таким полномочиям президента по российской Конституции относятся:

- назначение Председателя Правительства РФ с согласия Государственной думы (п. «а» ст. 83);
- право председательствовать на заседаниях Правительства РФ (п. «б» ст. 83);
- представление Государственной думе кандидатуры для назначения на должность Председателя Центрального банка РФ; постановка перед Государственной думой вопроса об освобождении его от должности (п. «г» ст. 83);
- назначение на должность и освобождение от должности по предложению Председателя Правительства РФ заместителей Председателя Правительства и федеральных министров (п. «д» ст. 83);
- принятие или отклонение отставки Правительства РФ (ч. 1 ст. 117);
- право давать поручение Правительству РФ в случае отставки или сложения полномочий действовать до формирования нового Правительства (ч. 5 ст. 117).

Эти полномочия, при всем их весе, также не предопределяют моноцентризма власти. Практически во всех европейских конституциях президенты обладают примерно такими же полномочиями, но ведь там они не ведут к персонализму. И дело тут не только в демократических традициях, политической культуре и проч. Дело в том, что эти полномочия, хотя и применяются в политической сфере, остаются стабилизационными, т.е. не превращают главу государства, так сказать, в «правящую партию», поскольку их применение оговаривается вполне определенными условиями, выступающими как сдержки и противовесы.

Итак, даже сложенные вместе, приведенные здесь полномочия никоим образом не способны быть основой для превращения Президента РФ в институт, нейтрализующий принцип разделения властей¹⁴. Что же тогда институционально предопределяет персоналистский режим в России? Не то ли обстоятельство, что в нашей Конституции существует большая недоговоренность в отношении оснований, на которых должны осуществляться президентские полномочия; что многие полномочия сформулированы не вполне конкретно; что в реальности президент использует иные властные рычаги за ширмой неопределенно сформулированных полномочий?

Что ж, рассмотрим эту гипотезу. Для начала имеет смысл классифицировать правовые возможности Президента России. Назову их полномочиями, хотя, строго говоря, не все они подпадают под эту категорию. Если использовать главным образом такой критерий, как форма юридического закрепления правовых возможностей (полномочий), то представляется, что их можно разбить:

- на конституционные;
- «скрытые»;
- законодательные;
- «имплицитные».

Конституционные полномочия. Уже по наименованию видно, что речь идет о полномочиях, закрепленных в Конституции РФ, хотя и с разной степенью конкретности. Здесь нет особых теоретических проблем. Однако при реализации этих полномочий огромную роль играет обстоятельство, что их реализует именно глава государства, за которым закреплены такие широкие функции, как гарантирование Конституции, прав и свобод человека и гражданина, охрана государственной целостности, независимости страны, обеспечение согласованного функционирования органов власти. И данное обстоятельство обуславливает зыбкость реальных границ полномочий, побуждает главу государства вторгаться в спорные области компетенции либо легитимизировать дополнительные полномочия под предлогом того, что это является конкретизацией его конституционно закрепленных функций и полномочий. Вопрос в том, что и как противопоставит и противопоставит ли такому вторжению. Я попытаюсь в дальнейшем доказать, что, хотя формально и существуют возможности для противостояния, при системном взгляде можно увидеть их обреченность и, соответственно, бессмысленность, а то и опасность для «противостоящего» института.

«Скрытые» полномочия. Это полномочия, которые прямо не закреплены в Конституции, но предположительно вытекают из функций президента и ряда его конституционных полномочий. С проблемой правовой квалификации «скрытых», или «подразумеваемых», полномочий в России впервые столкнулся Конституцион-

¹⁴ Разумеется, здесь не рассматривается вариант, при котором глава государства, воспользовавшись своим статусом Верховного главнокомандующего, вводит в стране чрезвычайные или военные положения для установления собственной диктатуры. Это уже не относится к области конституционного права и права вообще.

ный суд РФ, рассматривая летом 1995 года дело о конституционности актов, на основе которых начались вооруженные действия федеральными властями в Чеченской Республике¹⁵. В тексте самого Постановления КС РФ от 31 июля 1995 года не применяется понятие «скрытых» полномочий, но говорится следующее: «...из Конституции Российской Федерации не следует, что обеспечение государственной целостности и конституционного порядка в экстраординарных ситуациях может быть осуществлено исключительно путем введения чрезвычайного или военного положения. Конституция Российской Федерации определяет вместе с тем, что Президент Российской Федерации действует в установленном Конституцией порядке. Для случаев, когда этот порядок не детализирован, а также в отношении полномочий, не перечисленных в статьях 83–89 Конституции Российской Федерации, их общие рамки определяются принципом разделения властей (статья 10 Конституции) и требованием статьи 90 (часть 3) Конституции, согласно которому указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции и законам Российской Федерации».

Таким образом, Суд не увидел противоречия Конституции в том, что Президент РФ не объявил в Чеченской Республике чрезвычайное положение, а обязал соответствующие органы и структуры осуществить меры по наведению конституционного порядка, т.е. применил полномочия, прямо не закрепленные в Конституции. При этом Суд ввел два условия, легитимирующие применение «скрытых» полномочий: а) ограниченность рамками принципа разделения властей (фактически речь идет о том, что такие полномочия должны логически вытекать из функционального предназначения данного института и не затрагивать компетенцию других институтов); б) отсутствие противоречия Конституции РФ и федеральным законам.

Однако не все конституционные судьи поддержали такую концепцию. Вслед постановлению было высказано беспрецедентно много особых мнений — семь, и в большинстве из них речь шла о несогласии либо вообще с легитимацией «скрытых» полномочий, либо с их легитимацией *ad hoc*. Приведу три особых мнения.

Н.В. Витрук написал: «Институт „скрытых (подразумеваемых)“ полномочий органов государственной власти известен мировой конституционной практике, однако он используется с достаточной степенью осторожности и лишь в целях обеспечения эффективного действия принципа разделения властей, системы сдержек и противовесов с тем, чтобы не допустить произвольного усиления одной ветви власти за счет другой. Признание существования „скрытых (подразумеваемых)“ полномочий Президента Российской Федерации в условиях действия только что принятой федеральной Конституции и писаных законов, конкретизирующих нормы Конституции, означает неправомерное расширение полномочий Президента как главы государства за счет полномочий федерального парламента и федерального правительства».

¹⁵ См.: Постановление Конституционного суда РФ от 31 июля 1995 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 2137 „О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики“, Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 1994 года № 2166 „О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне Осетино-Ингушского конфликта“, Постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1994 года № 1360 „Об обеспечении государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разрушении незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа“, Указа Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 года № 1823 „Об основных положениях военной доктрины Российской Федерации“.

Еще более резко высказался В.Д. Зорькин: «Суд не исследовал формат чеченских событий и не соотнес качество случившегося с уровнем принятого мэр¹⁶. Апелляция к скрытым полномочиям всегда опасна. Ни рагул банд, ни интервенция такой апелляции не оправдывает, а то ее оправдывает (т.е. сложно построенный митеж), нам не доказано и Судом не выявлено. И если мы это примем сегодня, то завтра для использования так называемых скрытых полномочий окажется достаточно ничтожных поводов, может быть развитых вопреки универсалам. А это путь не к господству права и закона, а к произволу и тирании. Этого допустить нельзя».

Б.С. Эбзеев вообще отрицает возможность таких полномочий, говоря: «Действующая Конституция Российской Федерации не предусматривает появления в периоды кризиса исключительных, или скрытых, полномочий главы Российского государства на основе надзаконного права государственной необходимости. Согласно части 2 статьи 80 Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности не по личному усмотрению, а в установленном Конституцией Российской Федерации порядке».

Интересно, что дискуссия о «скрытых» полномочиях не завершилась данным делом. В 1996 году Конституционный суд РФ рассматривал другой Указ Президента РФ Б.Н. Ельцина (тут существенно, что именно Ельцина), согласно которому устанавливалась возможность временного назначения Президентом РФ глав администраций (губернаторов)¹⁷. Кстати, тогда Суд признал конституционным право президента назначать их лишь до принятия соответствующего законодательства и проведения выборов в регионах, подчеркнув принципиальную необходимость избрания губернаторов. Однако судья В.О. Лучин вновь выразил особое, причем эмоционально окрашенное, мнение: «Президент присвоил себе не только право назначать глав администраций субъектов Федерации, но также право разрешать или запрещать проведение выборов глав администраций. Таким образом, Президент сам устанавливает свои полномочия по принципу: „Своя рука — владыка“. Это „саморегуляция“, не ведающая каких-либо ограничений, опасна и несовместима с принципом разделения властей, иными ценностями правового государства. Президент не может решать какие-либо вопросы, если это не вытекает из его полномочий, предусмотренных Конституцией. Он не может опираться и на так называемые „скрытые (подразумеваемые)“ полномочия. Использование их в отсутствие стабильного конституционного правопорядка и законности чревато негативными последствиями: ослаблением механизма сдержек и противовесов, усилением одной ветви власти за счет другой, возникновением конфронтации между ними».

Почему я сделал акцент на фамилии президента? Не потому, что хочу обвинить кого-то в обусловленности негативной позиции личной или/и идейной неприязнью к первому Президенту РФ, отягощаемой событиями 1993 года. Акцентирую только потому, что сама политическая ситуация середины 1990-х годов не могла не диктовать над судьями, высказавшими особые мнения. Отсюда распливчатость, субъектизм и неко-

¹⁶ Возможно, но было бы и самого запроса в КС РФ по «чеченскому делу» или его рассмотрение не вызвало бы таких противоречивых позиций, если бы удалось восстановить конституционный порядок в Чеченской Республике действительно «двумя батальонами», как обещал тогдашний министр обороны. — М.К.

¹⁷ См.: Постановление Конституционного суда РФ от 30 апреля 1996 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 года № 1969 „О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в Российской Федерации“ и пункта 2.3 Положения о главе администрации края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа Российской Федерации, утвержденного названным Указом».

торых их правовых аргументов. Таких как «отсутствии стабильного конституционного правопорядка», «формат чеченских событий», «достаточная степень осторожности» и проч. А ведь такая расплывчатость позволяет и прямо противоположить, т.е. положительно, оценивать действия любого другого президента по применению «скрытых» полномочий, в зависимости от общей социальной и политической ситуации.

Названное выше решение Конституционного суда 1995 года вполне обоснованно с правовой точки зрения. Ведь, возлагая на президента, как главу государства, такие фундаментальные задачи, как обеспечение стабильного функционирования всего государственного организма, всей системы управления страной, охрана демократической правовой федеративной государственности, Конституция не могла предусмотреть, какие именно меры глава государства должен применять в той или иной ситуации. Ни один правовой акт не способен описать все разнообразие публично-правовой жизни. Если бы восторжествовала догматическая концепция, предписывающая следовать принципу исчерпывающего конституционного перечня полномочий, появилась бы опасность, что могут пострадать более приоритетные ценности, корни являются «человек, его права и свободы», «независимость, целостность государства», «конституционный строй».

В конце концов, глава государства в смешанной форме правления является и должен являться отнюдь не только представительским институтом, а значит, должен обладать всем правовым возможностями для выполнения своей главной задачи — охраны государственности во всех ее ипостасях. Замечу, что возможность реализации такой сверхзадачи главы государства без регуляции методов ее решения закреплена, например, в Конституции Франции, являющей собой ныне классической образец смешанной модели. В ее ст. 16 сказано: «Когда институты Республики, независимость нации, целостность ее территории оказываются под серьезной и непосредственной угрозой, а нормальное функционирование конституционных публичных органов прекращено, Президент Республики принимает меры, которые диктуются этими обстоятельствами, после официальной консультации с Премьер-министром, председателями палат, а также Конституционным советом». Тут стоит обратить внимание на то, что Конституция обязывает президента Франции и в кризисных ситуациях советоваться с руководителями основных государственных органов, пусть и без указания процедуры.

Законодательные полномочия. Так и назвал полномочия, которые напрямую не указаны в Конституции РФ, но дипломатично предоставляются президенту в федеральных законах. Некоторые из такого рода полномочий начали появляться еще в эпоху первого Президента России. Для примера упомяну ФЗ от 17 декабря 1997 г. № 2-ФЗ «О Правительстве Российской Федерации», в ст. 32 которого сказано, что «Президент Российской Федерации руководит непосредственно и через федеральных министров деятельностью» некоторых федеральных органов исполнительной власти. Имеются в виду МИД, Минобороны, МВД, Минюст, ФСБ и т.п. Но «расщела» практика наделения такими полномочиями в эпоху второго президента¹⁸. Видимо, конституционные судьи в середине девятых не могли представить себе, что наступит время, когда для президента не составит никакого труда проводить даже самые важные с конституционно-правовой точки зрения инициативы через Федеральное собрание, легитимируя свои дополнительные полномочия посредством законов. А с формально-юридической точки зрения это должно считаться уже не «скрытыми» полномочиями, а осуществлением функций Президента РФ «в установленном порядке». Ведь «скрытые» полномочия, как

¹⁸ Наиболее известные среди них полномочия: увольнять от должности глав субъектов РФ, в том числе за утрату доверия; представлять кандидатуры для назначения на должности председатели и заместители председатели Счетной палаты РФ; наконец, представлять кандидатуры для наделения их полномочиями глав исполнительной власти субъектов РФ (глав субъектов РФ).

можно понять из решений КС РФ и особых мнений судей, представляют собой полномочия, которыми глава государства наделяет себя своими же актами и/или реализует *de facto*, являющимся парадоксом, и к тому же они не являются дополнительными.

Таким образом, дискуссия о «скрытых» полномочиях ныне явно потеряла свою остроту и вообще актуальность... Надеюсь, не навсегда, ибо сама такая дискуссия является индикатором наличия хоть какой-то политико-правовой жизни.

Конечно, образ демократии ни политически, ни эстетически не является с внешней скоростью и стопроцентной вероятностью «проходимости» в парламенте президентских законодательных инициатив, встает, касающихся не только его собственных полномочий. Однако не следует на основе этого выстраивать систему доказательств вредности и опасности самих законодательных полномочий. Здесь применима та же аргументация, что приводилась по отношению к «скрытым» полномочиям: дело не в самих законодательных полномочиях, а в политических условиях, в которых они появляются и реализуются.

В конкурентной политической среде, в условиях сбалансированной системы сдержек и противовесов далеко не любая законодательная инициатива главы государства «обречена на успех».

Тут действует все тот же политический маятник: при одной расстановке политических сил маятник качнется, скажем, в сторону большей централизации полномочий, при другой — в сторону децентрализации. Однако при нормальной системе демократии эти отклонения обычно не путают ни общество, ни элиту, поскольку сама конструкция, гарантирующая от монополизации власти, остается в неприкосновенности.

«Имplied» полномочия. Автор долго перебирал варианты условного наименования полномочий, которые никак не регулируются ни в Конституции РФ, ни в законах, ни в указах и распоряжениях самого главы государства, но проявляются в повседневных его решениях и действиях. Можно было бы назвать эти полномочия «скрытыми», если бы термин не был уже занят, поскольку именно он более всего подходит к полномочию, о которых я хочу сказать, ведь оно действительно скрыто от общества, а часто скрыты и их ближайшие последствия. Пришлось остановиться на термине «имплицитность», т.е. неявность, подразумеваемость. Действительно, это самая закрытая, но едва ли не важнейшая часть президентской компетенции — именно по ней совокупный государственный аппарат и аналитическое сообщество могут судить о реальной направленности президентской деятельности, степени его аппаратной силы, пределах «свободы действий» для самой бюрократии и т.п.

Вообще, юридическая природа «имплицитных» полномочий довольно туманна. Может быть, вообще неверно называть полномочиями, поскольку ни они сами, ни порядок их реализации никак не описаны в правовых актах. Но такой подход будет неправильным, так как речь идет об осуществлении президентской власти, причем о презюмируемом осуществлении в рамках Конституции и законодательства. При этом управленческие решения и действия президента непосредственно или опосредованно порождают правовые последствия. Полагаю, мы имеем дело с равнозначностью «скрытых» полномочий. Просто, в отличие от них, «имплицитные» реализуются не в режиме публичности, т.е. не в указах и распоряжениях, а в режиме, так сказать, аппаратном — в поручениях — как письменных, так и устных, резолюциях на документах¹⁹,

¹⁹ Резолюция может иметь как вид прямого указания совершить конкретное действие (например, «продолжить разработку») или опосредованного выражения позиции (например, «одобрено»), так и вид символический (например, крестик, галочка или восходятельный знак рядом с чьей-то просьбой, предложением, фамилией и т.п.). Разумеется, ближайшему президентскому окружению такие символы должны быть понятны, дабы они могли перевести их на язык конкретных поручений или сами предпринять некие действия.

которые, впрочем, можно отнести к разовидности поручений, и устных указаний, даваемых как на встречах с теми или иными должностными лицами, так и в телефонных разговорах.

Утверждение, что такие полномочия осуществляются в рамках Конституции и законодательства, повторно, является теоретической презумпцией, т.е. на деле так может и не происходить. Но в демократическом правовом государстве существуют механизмы, способные нейтрализовать правовые ошибки любого властного института, в том числе происходящие из неверного толкования, понимания пределов собственной компетенции. Если у нас этого не происходит, то это еще не повод считать сами «имплицитные» полномочия нелегальными.

Специфика «имплицитных» полномочий в то же время такова, что не всегда и далеко не сразу можно оценить законность их использования. Например, если Президент РФ дает какое-то устное поручение Генеральному прокурору РФ, то это вряд ли можно считать законным, учитывая теоретическую независимость прокуратуры, хотя такая независимость — вещь довольно странная, но по нашей Конституции она существует. Однако глава государства может ведь просто «предложить» внимательнее разобраться с конкретным делом» и тогда формально оно вряд ли может быть сочтено незаконным, поскольку у Президента РФ есть конституционный аргумент: он является гарантом прав и свобод граждан.

Итак, правовые возможности президента, конечно же, не безграничны, но в то же время они шире, чем если судить о них только по нормам Конституции РФ. И это опять-таки не наша специфика. Повторю: невозможно «загнуть» главу государства в прокрустово ложе зафиксированных конституционных норм. Точнее, границы этих норм невозможно очертить с той же степенью определенности, какая свойственна математике (границы фигур) или физике (границы тел). Но *не обесмысливается ли при таком релятивистском выводе идея разделения властей, идея самостоятельности тех или иных публично-властных институтов, идея компетенции в целом?*

Нет! В политической и шире — социальной — модели действует иной принцип определения границ полномочий, правовых возможностей, свободы управленческих действий. Его можно сформулировать следующим образом: *границы возможностей субъекта права заканчиваются там, где начинается несогласие с такими возможностями со стороны иных субъектов права, при споре подтвержденное решением суда.*

Именно по тому, как действует данный принцип, прежде всего в отношении главы государства, и действует ли он вообще, можно судить о степени реальности конституционной характеристики России как правового государства. Поэтому наша политическая проблема, еще раз повторю, не в наличии иных полномочий Президента РФ, формально находящихся за рамками конституционных полномочий, а фактически — вытекающих из них. Проблема в том, что о своем несогласии властные институты не заявляют, а если заявляют, то их несогласие, как и институтов гражданских, остается втуне.

У автора есть гипотеза о причинах такого явления.

Институциональную причину персонализма, монополизации реальной власти в руках одного института и объективно вытекающей из этого ограниченности представительства следует искать в том, что *Президент РФ конституционно наделяется второй фундаментальной ролью — активного политического актора («шрока»), и при этом актора доминирующего.*

Президент как политический актор

Институт российский президента так конституционно обустроен, что он объективно поощряется вести политическую борьбу на стороне одной из политических сил, не важно, оформленной или не оформленной как партия, т.е. из субъекта policy

Президент РФ превращается в субъекта *politics*. Таким образом, «арбитр» становится одновременно «игроком».

Чтобы показать особенности нашего устройства, целесообразно в табличном виде сравнить «политические» полномочия президентов разных государств со смешанной моделью²⁰. Замечу, что в таблицу попали также полномочия, о которых говорилось выше, прежде всего кадровые, и которые определяют перекос в системе сдержек и противовесов лишь в совокупности с другими, в зависимости от того, какими условиями оговорена реализация таких полномочий.

Взаимоотношения президента с парламентом и правительством по вопросам формирования и роспуска (отставки) последних

Страна и год принятия Конституции	Формирование кабинета министров	Основания для отставки премьер-министра (правительства), помимо добровольной отставки	Основания для роспуска парламента (нижней палаты)
1	2	3	4
БОСГАРИЯ (1992)	После консультаций с парламентом президент поручает кандидату в министры-председатели, рекомендованную большинством по численности парламентской группы, составить правительство. После этого (если кабинет составлен) президент Народному собранию избирает кандидата министром-председателем. Народное собрание проводит изменения в правительстве по предложению министра-председателя.	1. При волеизъявлении. 2. Если вотум о доверии не избран необходимом большинством. 3. В случае смерти главы кабинета. 4. При избрании нового состава Народного собрания.	Роспуск не предусмотрен.
МАКЕДОНИИ (1992)	Президент назначает кандидата для определения состава правительства, т.е. вручает мандат на формирование кабинета кандидату партии или партии, избранной большинством в Собрании. По предложению кандидата Собрание избирает правительство.	1. При волеизъявлении. 2. В случае смерти главы кабинета или его стойкой неспособности выполнять полномочия. 3. При избрании нового состава Собрания.	Роспускается по собственному решению Собрания.

²⁰ Автор использовал, в несколько измененном виде, таблицу, которая была опубликована в работе Крашкова М.А. Россия как полупрезидентская республика: проблемы баланса полномочий (опыт сравнительно-правового анализа) // Государство и право. 2003. № 10.

1	2	3	4
ПОРТУГАЛИЯ (1976)	Президент назначает премьер-министра после консультаций с партией, представленной в Ассамблеи Республики, и с учетом результатов выборов. Президент назначает члена правительства по предложению премьер-министра, освобождает министров от должности	<ol style="list-style-type: none"> 1. При отставке нового депутатами, т.е. при избрании нового состава Ассамблеи Республики. 2. При смене или дублировании полномочий премьер-министра, используя свои полномочия. 3. При отклонении парламентом программы правительства. 4. При отсутствии кворума двора. 6. При одобрении резолюции парламентом абсолютным большинством депутатов 	Для роста Ассамблеи Республики президент должен назначить «чужака» из другой партии в Государственный совет (политический консультативный орган при президенте)
РОССИЯ (1993)	Президент представляет Государственной думе кандидатуру председателя правительства и при согласии назначает его. По предложению премьера назначает и освобождает от должности министров и вице-премьеров	<ol style="list-style-type: none"> 1. При избрании нового президента. 2. По решению президента без всяких условий. 3. При повторном вынесении вопроса вдовцами (президент выбирает между отставкой правительства и роспуском Думы). 4. При отставке в доверии по инициативе премьера (президент выбирает между отставкой правительства и роспуском Думы) 	Рассуждается президентом: <ol style="list-style-type: none"> 1) после прекратилось отклонения Госдумой кандидатуры председателя правительства; 2) после повторного вынесения вопроса вдовцами (президент выбирает между отставкой правительства и роспуском Думы); 3) после отставки в доверии по инициативе премьера (президент выбирает между отставкой правительства и роспуском Думы)
СЛОВЕНИЯ (1991)	Президент после консультации с лидерами фракций в Государственном собрании предлагает кандидатуру премьера. Если кандидатура не набирает нужного большинства, президент проводит повторные консультации и предлагает ту же или другую кандидатуру. Кандидатуры в этом случае могут предлагать также фракции и депутатские группы. Если и в этом случае премьер не избран, Государство может принять решение о проведении в течение 48 часов повторных выборов.	<ol style="list-style-type: none"> 1. При вынесении вопроса вдовцами, в том числе после образования коалиции. 2. Если премьер был избран на повторных выборах в Государство, но последние избраны затем новым премьером. В этом случае считается, что прошлый премьер получил вопрос вдовцами. 3. При отставке в доверии по инициативе премьера, если после этого Государство в течение 30 дней избирает нового премьера. 	Рассуждается президентом: <ol style="list-style-type: none"> 1) если не одна кандидатура на должность премьера, в том числе на повторных выборах в Государственном собрании, не наберет нужного числа голосов; 2) если Государство, отставив в доверии по инициативе премьера, в течение 30 дней не избрало нового премьера или не выдало доверия действующему премьеру

1	2	3	4
	претем при выхождении из строя. Министры назначаются и освобождаются по предложению главы кабинета	4. При избрании нового состава Государственного собрания	
ФРАНЦИЯ (1958)	Президент назначает премьер-министра без всякого официального основания с тем бы то ни было. Президент назначает и увольняет министров по предложению премьер-министра	Правительство уходит в отставку. Премьер-министр обязан вручить президенту заявление об отставке, если Национальное собрание приняло решение о таком выводе: 1) приняв резолюцию порицания (каждое утро понедельника); 2) не одобрит программу или общеполитическую декларацию правительства	Рассуждается президентом после консультации с премьер-министром и председателем палат
ХОРВАТИЯ (1990)	Президент назначает и освобождает от должности председателя правительства, по его представлению назначает и освобождает члена правительства. Через 15 дней с момента назначения премьер представляет правительство палате представителей (законодательной) и ставит вопрос о доверии правительству. Национальные председатели и члены кабинета считаются одобренными при получении волеизъявления	1. При выражении недоверия председателю правительства или правительству в целом (по выбору президента между отставкой кабинета и роспуском нижней палаты). 2. Премьер может подать президенту заявление об отставке, если выражено недоверие отдельному члену правительства	Рассуждается президентом, если палата представителей: 1) выразила недоверие правительству (фракция избирает между отставкой кабинета и роспуском нижней палаты); 2) не приняла посылки в течение месяца. В обоих случаях президент предлагает решение по предложению правительства и при наличии контрсигнатуры его председателем, а также после консультации с председателем палаты представителей

Что же следует из сопоставления данных, представленных в таблице, т.е. чем принципиально отличается российская версия модели смешанной, т.е. полупрезидентской, республики?

У нас нет конституционных рычагов, обеспечивающих зависимость формирования правительства (кабинета), а на самом деле — политического курса от результатов парламентских выборов. Если такой зависимости нет, то теряют смысл и сами эти выборы, и публичный смысл существования партий, у которых не создаются логичные для развития. В итоге невозможна политическая конкуренция, представляющая собой движитель демократии.

Из таблицы видно, что полупрезидентские республики Европы озаботились либо вообще недопущением роли президента как активного политического актора, либо сведением этой роли к сбалансированному минимуму. В одних странах (например,

Португалии, Македонии) президенту прямо предписано формировать правительство на основе итогов парламентских выборов; в других предусмотрены более тонкие механизмы, как в Хорватии или Польше, где почти сразу должно быть проведено голосование о доверии кабинету; в третьих всего этого нет, как во Франции, где даже не требуется согласия нижней палаты для назначения премьера, зато рычаги для отставки правительства находятся в руках либо премьер-министра, либо нижней палаты. И это не говоря уже о других полномочиях премьера, например его праве активно участвовать в принятии законов, обязанности контрастировать некоторые акты президента и т.д.

На это можно возразить следующее: поскольку нормально, что в разных странах существуют разновидности смешанной модели, недопустимо говорить о том, что Россия со своей модификацией стоит особняком. Просто наша Конституция построена с учетом нашей исторической и культурной специфики, и эта специфика выразилась в «утяжелении» политического веса президента.

Чтобы понять, идет ли речь о российской специфике демократии или все-таки об органическом пороке, нужно проанализировать не то, насколько собственные полномочия президента превращают его, по сути, в единственную политическую фигуру, а то, насколько другие властные институты могут правовым образом противостоять такому превращению, или, иными словами, почему они не выражают своего несогласия.

Выдвину гипотезу: институционально у других институтов нет достаточных средств и противовесов относительно президентских прерогатив. Поэтому им остается либо прозвать единовластие президента, либо, при его малой популярности, лишь продемонстрировать свою оппозиционность. Они практически не влияют или влияют в минимальной степени на реальную политику, а в периоды охватываемого их отчаяния пытаются запустить конституционные механизмы, предназначенные совсем для иных целей. Такова была, например, попытка отрешения от должности президента Б.Н. Ельцина в 1998 году, когда политические претензии были натянуты на формулы уголовного обвинения.

Чтобы проверить эту гипотезу, зададимся вопросом: способна ли политическая партия, получившая большинство мест в Государственной думе, сформировать свое партийное (коалиционное) правительство? А если нет, то что этому препятствует?

Смоделируем политическую ситуацию. Представим себе, что на очередных парламентских выборах, т.е. выборах в Государственную думу, большинство получает партия Z. Чтобы модель получилась более рельефной и в то же время реалистичной, вообразим, что эта партия отстаивает изоляционистскую экономическую политику, милитаризацию экономики, деприватизацию (национализацию) крупных и средних предприятий и т.д. в том же духе. А для характеристики политического лица президента Q возьмем за основу хотя и противоречивую, но в целом рыночную экономическую политику нынешнего Президента РФ. Допустим также, что Президент РФ собирается реализовать идею правительства парламентского большинства (тем более что это соответствует мотивам установления полностью пропорциональной избирательной системы).

Итак, в полном соответствии с Конституцией РФ, президент Q представляет Думе кандидатуру председателя правительства, рекомендованную партией Z. Хотя у нас конституционно не предусмотрены политические консультации по этому поводу, ничто не мешает президенту их провести с руководством соответствующей фракции. Правда, в моделируемой ситуации придется сначала отправить в отставку действующее правительство, которое и не думало реагировать на парламентские выборы, поскольку согласно ст. 116 Конституции Правительство РФ слагает свои полномочия вовсе не перед новой Думой, а перед вновь избранным президентом. Но, допустим, ради новой традиции президент идет на такую отставку и предлагает кандидатуру премьера из парламентского большинства.

Вопрос в том, сможет ли такой кабинет реализовывать социально-экономическую программу или хотя бы следовать лозунгам, выдвинутой партией Z, ставшей правящей, а следовательно, возьмет ли эта партия на себя реальную политическую ответственность за проведение соответствующего курса? Или партия удовлетворяется моральным призом, усадив своих представителей в министерские кресла, но оставив их полностью послушными воле главы государства?

Будем исходить из варианта принципиальной позиции: представители партии Z в исполнительной власти решили проводить свою партийную программу. Опираясь на парламентское большинство, правительство инициирует антирыночные законы и самостоятельно принимает в том же духе собственные постановления и распоряжения. Может ли, опираясь на Конституцию РФ, что-то противопоставить этому президент Q? Может! Причем без особых политических усилий, ибо для этого у него имеется огромный арсенал средств, которым, в свою очередь, ничто не противостояно.

Прежде всего, нужно напомнить, что в нашей Конституции есть весьма странное положение, согласно которому Президент РФ определяет основные направления внутренней и внешней политики (ч. 3 ст. 80 и п. «е» ст. 84). Такого полномочия не только нет в конституциях европейских стран, кроме некоторых на пространстве СНГ, но и не может быть. Ведь даже чисто логически это полномочие не укладывается в принцип разделения властей, ибо последний предполагает, что уж в чем, в чем, а в определении политики участвуют как минимум все легально представленные политические силы. Данное полномочие было попросту заимствовано из Конституции РСФСР — РФ. Таким полномочием обладал Съезд народных депутатов, что закономерно, ибо данное полномочие характерно именно для советского типа власти.

На это могут ответить, что Президент РФ не входит в систему разделения властей, что пусть он, как глава государства, определяет основные направления, а в их рамках ветви власти «конкурируют» между собой. Эти аргументы несостоятельны. Если речь идет об определении направлений политики во всех сферах, это уже есть партийность, пусть и не оформленная. Кроме того, что такое «определение основных направлений политики», коль скоро кандидат, ставший президентом, уже объявил о своих политических приоритетах? Ему остается лишь повторить их? А если президент меняет направления политики, значит, он попросту обманул избирателей. Конечно, в России не так все прямолинейно. У нас и кандидат в президенты может не объявлять о своих приоритетах, ограничившись лозунгами, и президент может поменять приоритеты, сознавая, что его «и так любят больше». Все так. Но я как раз и веду речь о том, что такая аномалия страшна для государства, ибо создает под ним пороховую бочку с наклеивкой «непредсказуемость».

Разумеется, к данному полномочию можно относиться как к пропагандистскому «украшению». Главным образом потому, что, если сравнить послания Президента РФ Федеральному собранию, а именно в этой форме публично оглашаются основные направления, с бюджетными приоритетами, нетрудно заметить, насколько они расходятся. Не случайно еще в середине 1990-х годов появился такой не предусмотренный Конституцией жанр, как бюджетные послания президента, даже формально расходящиеся с основными посланиями. Да, само по себе полномочие определения политики осталось бы «украшением», если бы не подреживалось целой системой президентских рычагов, делающих такое полномочие вполне весомым. Сначала перечислю, так сказать, «технические» рычаги.

Во-первых, Президент РФ вправе отменять постановления и распоряжения Правительства РФ (ч. 3 ст. 115), причем по мотивам их несоответствия не только Конституции РФ и федеральным законам, но и указам самого президента.

Во-вторых, президент в соответствии с ФЗ о Правительстве РФ непосредственно руководит рядом министерств и других федеральных органов исполнительной власти.

В-третьих, Правительство РФ обязано издавать постановления и распоряжения на основании и во исполнение не только Конституции РФ и федеральных законов, но и нормативных указов Президента РФ (ч. 1 ст. 115).

В-четвертых, премьер определяет основные направления деятельности Правительства РФ опять-таки в соответствии не только с Конституцией, федеральными законами, но и с указами президента (ст. 113).

В-пятых, президент утверждает структуру федеральных органов исполнительной власти (ч. 1 ст. 112), а фактически и их систему²¹, хотя формально он вправе это делать по представлению председателя правительства, как, впрочем, и назначать министров.

В-шестых, президент вправе председательствовать на заседаниях правительства.

Разумеется, не все перечисленные полномочия обуславливают дисбаланс властных прерогатив в нашей конструкции. Например, президент Франции по должности председательствует на заседаниях правительства. Однако есть и принципиально важные президентские рычаги в отношении исполнительной власти. Равно как и в отношении власти законодательной.

Итак, что должен делать Президент РФ, видя, что правительство проводит курс, расходящийся с определенными им направлениями политики? Конечно, есть различия и различия. Я как бы для модели, возможно, крайнюю ситуацию, намекал на программные положения внешних коммунистов. Но взял-то не из любви к экзотике, а в силу нашей с вами реальности. Ведь что мы видим в парламенте? Партию бюрократов, что, конечно, не означает отсутствия у ее отдельных членов некоторых убеждений, партию советской ностальгии и партию нездорового национализма. Как тут не вспомнить И.А. Ильина, еще в 1938 году предрекавшего: «Напрасно думать, что революция готовится в России буржуазную демократию. Буржуазная особь подорвана у нас революцией (большевистской. — М.К.); мы получим в наследство пролетаризованную особь, измученную, ожесточенную и деморализованную»²².

Вспомнил я эти слова потому, что еще раз хочу подчеркнуть: отнюдь не в «матрице» наша драма, а в непосредственно предшествовавшей эпохе, влияние которой следует учитывать, в том числе и путем соответствующей институализации власти. О таком учете не думали, точнее, думали с противоположным знаком: сохранить некоторые советские конструкции, стереотипы и кадровый состав, но совместить их с технократическим познаваемым либерализмом, забрав о «пролетаризированной особи». Потому и столкнулись с невозможностью идентифицировать существующий в России строй и с соответствующей этой невозможности причудливой картиной общественного сознания...

Вернемся к развилке, перед которой стоит президент Q, решивший перейти к кабинету парламентского большинства. Президент, конечно, может обратиться к народу и сказать: «Раз большинство избирателей проголосовало за партию Z, то и получите политику этой партии. Я, как гарант Конституции, конечно, не позволю им вернуть советскую власть, но и не буду влиять на политику правительства, чтобы вы на следующих парламентских выборах сами решили, устраивает ли вас такая политика». Но ведь тогда, во-первых, президента Q можно будет упрекнуть в нарушении Конститу-

²¹ Именно таковы два указа Президента РФ (от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти»), установившие трехведную систему органов.

²² Ильин И.А. Основы государственного устройства. Проект Основного закона Российской Империи. М., 1996. С. 45–46.

ции РФ, сказав, что он не исполняет некоторые из своих полномочий. Равным образом, конституционные претензии могут быть предъявлены и к правительству, в частности за то, что оно не следует определенным президентом направлениям политики. А во-вторых, народ, среди которого не только электорат партии Z, просто не поймет «исторического замысла» президента и справедливо упрекнет его в бесхарактерности, слабости, невыполнении своих обещаний. Такому президенту на следующих выборах, если речь идет о первом сроке, не светит переизбрание, а если речь идет о второй легислатуре, он не будет иметь ресурса для поддержки «продолжателя своего дела».

Поэтому ни один здравомыслящий президент в существующей конструкции власти не пойдет на согласие не только с правительством, проводящим политику, которая в корне отличается от президентских направлений, но и с любым правительством, чье мнение хотя бы на вбоду формально расходится с мнением президента. Поэтому глава государства вправе будет сказать: «За меня проголосовало также большинство избирателей. Я определяю основные направления внутренней и внешней политики. Я несу ответственность за... («за все», как говорит президент В.В. Путин). Поэтому я отправляю такое правительство в отставку».

В европейских государствах со смешанной моделью даже при институционально большом политическом весе президента последний не может отправить в отставку кабинет просто потому, что тот его не устраивает. В табл. 2 можно видеть, какими условиями обставляется президентская отставка. Условия разные, но это конкретные условия: главным образом несогласие большинства депутатов с правительственной программой, проектом бюджета или курсом в целом. У нас же отставка правительства по воле президента возможна вообще без всяких мотивов (п. «в» ст. 83 и ч. 2 ст. 117), не исключена даже отставка вполне лояльного президенту кабинета. Отставки практически всех кабинетов начиная с марта 1998 года, за исключением, пожалуй, лишь отставки правительства С.В. Кириенко после дефолта, обоими президентами так и производилась. — без всякого видимого повода. Особенно «забавно» смотрится такая отставка, когда президент, объявляя о ней, говорит, что в целом доволен работой правительства. И эта свобода мотивов отставки правительства — вторая существенная особенность статуса российского президента, работающая на формирование персоналистского режима.

Итак, правительство отправлено в отставку. И при этом никто официально возразить не может. Все — в полном соответствии с Конституцией. Однако ведь перед президентом Q остается, казалось бы, труднейшая задача — как в условиях большинства в Думе его идейных противников провести через такую Думу (получить согласие на назначение) кандидатуру нового премьера. У президента, конечно, есть вариант предложить партийному большинству выдвинуть для назначения президентом фигуру другого председателя правительства. Но такой вариант маловероятен, ибо политически бессмыслен: поскольку вопрос не в неспособности премьера организовать работу, а в шой политике кабинета, вновь будет предложена кандидатура, заведомо не подходящая президенту. Таким образом, он приходит к необходимости сформировать не просто идейно близкое, а полностью послушное ему правительство.

Спрашивается: почему же тогда сегодня президент не спешит составлять партийное правительство из собственных послушнейших партийцев-чиновников? Остается лишь догадываться: то ли стыдно так открыто превращать «партию власти» в «правящую партию» (смеяться будут), то ли нужна свобода рук для политических назначений, то ли еще какой мотив. Но это и не важно. Seriously анализировать внешнюю ситуацию — значит соглашаться с тем, что демократия с ее сдержками-противовесами, процедурами, реальными политическими консультациями, уважением оппонентов, гарантиями прав меньшинства и проч. существует, но только с национальными особенностями.

Нет никаких особенностей! Ибо без политической конкуренции нет самой демократии.

Само же отсутствие политических конкурентов обусловлено отнюдь не нежеланием их иметь. Нежелание, конечно, есть, как есть оно у правящих во всем мире. Вот только при демократии это желание пречтут куда-нибудь, подальше, ибо осуществиться оно не может, а политической карьере навредит. Вопрос в другом: почему такое нежелание у российского правящего класса вполне продуктивно? Для ответа на этот вопрос вернемся к моделированно ситуации, при которой думское большинство завоевывает партия, идейно чуждая президенту Q.

Как поведет себя Дума (думское большинство), униженная отпоятой у нее возможностью сформировать правительство парламентского большинства? Теоретически у Думы есть несколько конституционных «линий обороны», но для президента все они конституционно преодолимы.

Линия первая. Дума отказывает в назначении нового премьера, не представляющего уже парламентского большинства, но тем самым она подписывает себе «смертный приговор», поскольку третий отказ означает ее обязательный роспуск (ч. 4 ст. 111). Для системы сдержек и противовесов это нонсенс, ибо тем самым Конституция открыто и заведомо победителем «назначает» президента. Разумеется, принципиальные депутаты из партии большинства могут пойти и на роспуск. Но, во-первых, наша политическая культура за советский период опустилась до такого уровня, что ождать подобной принципиальности не приходится. Не случайно даже при оппозиционной в целом президенту Ельцину Думе ни одна кандидатура премьера не стала поводом для роспуска. Проходит все! Во-вторых, такое «самопожертвование» имеет смысл, когда досрочные выборы могут привести к иной политической ситуации. А у нас, если даже большинство еще больше укрепит свои позиции после новых выборов или объединится с другой партией в коалицию, для президента это не будет иметь большого значения, ибо ему никто не помешает точно так же поступить и с новой Думой. Правда, такое развитие событий чревато обширным политическим кризисом, напоминающим кризис 1992–1993 годов, когда каждый из институтов власти сможет апеллировать к примерно равной доле общества. Но это лишь демонстрирует, что действующая конструкция опасна не только тем, что формирует персоналистский режим, но и тем, что конституционно не предусматривает модели выхода из кризиса²³.

Линия вторая. Дума, дав согласие на назначение председателя правительства, заведомо формируемого не на партийной основе, во всяком случае без учета итогов парламентских выборов, обладает конституционным правом выразить недоверие (отказать в доверии) правительству. Сдержала, противовес? Да, безусловно. Ведь таким способом нижняя палата может сказать президенту: «Такое правительство мы поддерживать не будем, никакие его законопроекты принимать не будем. Поэтому вам, г-н президент, лучше сформировать кабинет из победителей». Но почему же процедура вотума недоверия (отказа в доверии) ни разу даже не была доведена до конца?

Да все по тем же институциональным причинам. Ведь Президент РФ вовсе не обязан, в отличие от президентов других стран, отправлять в отставку кабинет, пусть даже не имеющий политической поддержки в нижней палате парламента или такую поддержку потерявший. Вместо этого глава государства после первого выражения недоверия в соответствии с ч. 3 ст. 117 сначала «исключает процесс примирения», т.е. по-

²³ На это указывал В.Л. Шейнис еще до голосования по Конституции РФ, предлагая «запретить эту чрезвычайную президентскую акцию, ввести, допустим, положение, по которому должны быть одновременно или через короткий срок назначены новые выборы президента, если роспуск Думы осуществляется впервые» (Шейнис В.Л. Новый Основной закон: за и против // Независимая газета. 1993. 9 дек.).

казывает, что не согласен с мнением Думы, и дает ей время «одумать». А уж через три месяца (кстати, почему три? не слишком ли долгий срок для выхода из кризиса?) может отправить такое правительство в отставку... или распустить Думу. И все прекрасно понимают, что для президента естественнее второе, ибо правительство-то его, президентское.

Таким образом, и вотум недоверия есть не более чем «гильотина» для депутатов. Учитывая, что партия, даже получившая большинство мест в Думе, все равно не сможет, как мы выяснили, сформировать правительство, зачем, спрашивается, вновь собирать деньги на выборы, мучиться с регистрацией и агитацией, опасаться включения административного ресурса, тем более от разгневанного президента? Не спокойнее ли сохранить те депутатские должности в комитетах и в руководстве Думы, что уже есть? Никто не заинтересован в такого рода потрясениях, потому у нас угроза вотума и является, с одной стороны, пропагандистской акцией для избирателей, а с другой — предметом закулисного торга с президентом.

Львиш третья. Дума решает посредством принятия соответствующих законов повлиять на президентский курс, а самостоятельного правительственного курса у нас, как уже сказано, быть просто не может. В эпоху Ельцина крупная коммунистическая фракция вместе с союзниками инициировала, а нередко и проталкивала законы, заведомо нереалистичные, но досаждавшие президенту и заодно представлявшие коммунистов «защитниками народа». Однако о реальном влиянии на политику при этом говорить не приходится. И все потому, что у президента есть свои контррычаги, которых как раз нет у Думы.

Первый контррычаг — возможность влиять на Совет Федерации. Эта палата Федерального собрания в соответствии с ч. 4 ст. 105 Конституции РФ имеет право отклонить принятый Думой закон. Конечно, члены Совета Федерации не обязаны следовать указаниям из президентской администрации. Но, как показывает практика, следуют. И не потому, что иначе вообще все властные институты стараются выказать свою лояльность президенту, а президентская администрация сама имеет много рычагов для контроля за «сенаторами». Теперь контроль становится системным, так как в Совете Федерации будут заседать представители, зависящие от президентских назначенцев-губернаторов. Положение принципиально не изменится, даже если «сенаторов» станет выбирать население. И при менее популярном первом президенте члены Совета Федерации прислушивались к мнению Кремля. Прежде всего потому, что для регионов важнее мнение тех институтов, которые не «правила сочиняют», а осуществляют повседневные управленческие функции, выдают трансферты, контролируют федеральные органы на местах и т.д. А кто это, как не правительство, за которым стоит президент? Кроме того, Совет Федерации, будучи объективно палатой «регионов», оценивает тот или иной закон с позиций не столько «политических», сколько социально-экономических, поскольку большинство законов приходится реализовывать именно властям регионов.

Второй президентский контррычаг — его право отклонять законы (ч. 3 ст. 107). Конечно, Дума может преодолеть «вето» президента, повторно приняв тот же закон большинством не менее чем в две трети голосов от общего состава. Но, во-первых, такое большинство бывает весьма трудно набрать. А во-вторых, для этого требуется еще и одобрение отклоненного президентом закона таким же большинством Совета Федерации. Ясно, что ситуации солидарности двух палат в противостоянии президенту могут быть лишь единичными, экстраординарными.

Наконец, у президента есть рычаги, которые не описаны в Конституции РФ, но действуют последние иных конституционных и уж во всяком случае серьезно подкрепляют конституционные полномочия главы государства.

Во-первых, президенту целиком подчиняется такая структура, как Управление делами Президента РФ. И хотя даже из названия этого органа исполнительной власти в статусе агентства следует, что УД должно технически обеспечивать деятельность Президента РФ, в реальности оно обязано²⁴ осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности практически всех федеральных органов власти и социально-бытовое обслуживание «членов Правительства Российской Федерации, членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации», а также сотрудников аппаратов этих органов. Не надо обладать особыми аналитическими способностями, чтобы понять, как разделение властей эффективно нейтрализуется благодаря обычным человеческим слабостям.

Во-вторых, в руках президента находится такой рычаг, как подчиненная ему Федеральная служба охраны. А в соответствии с Положением о ней²⁵, ФСО России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной связи и информации, предоставляемых федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и другим государственным органам. Таким образом, все эти символы аппаратного влияния целиком зависят от Президента РФ.

В-третьих, в соответствии с законодательством о государственной службе президент является фактически главой всего российского чиновничества. Следовательно, от президентских структур во многом зависит присвоение классовых чинов служащим, работающим в разных ветвях власти, зачисление в кадровый резерв и проч.

Итак, в условиях, когда на парламентских выборах «призом» для политической партии оказывается лишь возможность захватить побольше дуэсных портфелей, но никак не портфелей правительственных, становление реальной, а не марионеточной многопартийности, возникновение ответственных парламентских партий, способных и к самоочищению, и к реальному управлению страной, невозможно. Соответственно, невозможна и политическая конкуренция, вместо которой мы имеем либо ее имитацию, либо конкуренцию личных амбиций. Характерно, что до отмены региональных выборов губернаторов на них между собой зачастую соперничали представители одной и той же партии «Единая Россия».

Соединение двух сверхкласов в институте президентства искажает и такое обычное для демократии понятие, как оппозиция. В нормальных условиях, при отсутствии персоналистского режима, оппозиция выполняет две основные роли. Первая заключается в том, что оппозиционная деятельность позволяет проводить более взвешенную политику, тем самым резко уменьшая амплитуду политического маятника, и, соответственно, обеспечивает предсказуемость и преемственность власти. Вторая роль заключается в том, что оппозиция в условиях реального парламентаризма является основным каналом, через который общество способно контролировать исполнительную власть и государственный аппарат в целом. В наших условиях «оппозиция» либо становится сервильной, лукаво провозглашая, что она критикует правительство, а не пре-

²⁴ См.: Положение об Управлении делами Президента Российской Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 7 августа 2000 г. № 1444 (в ред. указов Президента РФ от 12.01.2001 № 27, от 20.05.2004 № 650).

²⁵ Утверждено Указом Президента РФ от 7 августа 2004 г. № 1013 (в ред. указов Президента РФ от 28.12.2004 № 1627, от 22.03.2006 № 329).

зидента, хотя самостоятельного курса у правительства быть не может; либо радикально противопоставляет себя главе государства. Но ведь президент не только определяет и осуществляет политику в разных сферах жизни, но и гарантирует основы конституционного строя, конституционный порядок. Отсюда — возможность считать участников такой оппозиционной деятельности «врагами государства», «пятой колонией», «экстремистами» и т.д., что ныне и происходит.

Все системы политической конкуренции государственный аппарат, т.е. служащие, подпадающие под действие законодательства о государственной службе, теряет одно из своих главных свойств, необходимых для устойчивости государства и обеспечения гарантий законности, — политическую нейтральность. Аппарат вынужден, ибо вся система отношений мотивирует его к этому, служить не обществу, не стране, а соответствующему патрону. Не случайно многие эксперты говорят, что у нас служба не государственная, а, как и прежде, государева. Любопытно, кстати, что большинство чиновников искренне не понимают разницу между этими понятиями. Большую часть общества и это не пугает: здесь как раз находит выражение традиционалистская логика — раз есть «главный начальник», то пусть ему и служат. Но при этом люди не учитывают, что такая служба, такая лояльность — мнимая, ибо аппарат, контролируемый «внутри властной вертикали», в реальности не только остается вообще без контроля, но и фактически контролирует самого президента. Последний получает информацию, препарируемую аппаратом; объявляет о политических и социально-экономических приоритетах, определяемых аппаратом; вынужден полагаться на оценку эффективности решений, даваемую аппаратом. Наконец, в такой среде (в том числе в институтах государственного принуждения) аппарат попросту разлагается, поскольку коррупционные сети становятся вертикальными, захватывая все этажи государственного управления.

Институциональный персонализм неизбежно подавляет и самостоятельность судебной власти. Последняя, испытывая финансово-материальную зависимость от властвующей политической бюрократии, находясь под опосредованным давлением через судебное руководство, связанное зримыми и незримыми нитями с политическим руководством, и обладая фактическими гарантиями от необоснованных репрессий за непослушание отдельных судей, перестает выполнять свою основную функцию — творение правосудия и превращается в «юридическое подспорье» политической власти.

Подводя итоги

Мои мировоззренческие единомышленники никак не могут согласиться с отстаиваемым мною выводом, что секрет консервации персоналистского режима кроется в конституционной конструкции, а не в особенностях личности лидера страны и не в особенностях нашего политического мышления. В каком-то смысле могу их понять. Нам, выросшим при отсутствии даже намека на конституционный строй²⁶, видевшим, что какие-то, хоть микроскопические, изменения возможны только с приходом нового вождя, действительно непонятно, как может «какой-то» документ обусловить поведение политических деятелей, а тем более «самого главного деятеля». Понятно, что такой конституционный детерминизм отвергается.

Я бы и сам еще несколько лет назад отверг такие объяснения. Но, попытавшись разобраться с институциональными причинами и пройдя к выводу именно об их существенной, а лучше сказать — решающей роли, я могу понять, но никак не принять альтернативное объяснение того, что с нами происходит. Ибо эта альтернатива лежит

²⁶ При этом вполне на полном серьезе рассуждают о том, что, воп. ставшая или бражниковская конституция были вполне демократическими, вот только не соблюдались.

в плоскости вечных и многим удобных аргументов, которыми в России всегда обставлялся страх перед ее системным преобразованием: «не доросли», «не созрели», «народ не поймет» и т.д. и т.п. Можно понять и этот страх: а вдруг преобразование породит хаос, а вдруг ничего не получится и при новой конструкции?

Отвечая на это, могу сказать, что, конечно же, «голый конституционный реинжиниринг» не даст ожидаемого демократического эффекта. Но речь шла только об одном аспекте преобразования — о необходимости ликвидировать условия, которые не дают вырвать Россию из горючей смеси патриархальности и постмодернизма. Только ликвидировав условия для персонализма, мы можем начать что-то выстраивать.

Ведь мы уже имеем доказательство того, что персоналистский режим в нынешних условиях объясняется отнюдь не личностными особенностями и мировоззрением лидера, а объективными условиями, в которые поставлена сама политическая система. Непредвзятый анализ показывает, что и во времена первого президента России правление, по сути, было таким же бюрократическим. Свидетельством нашей органической институциональной аномалии могут служить и крупнейшие государственные решения, принимавшиеся узкой группой политических чиновников, и внезапно ночью не оправданные отставки почти всех кабинетов, и публичная непредсказуемость назначений на высшие должности в исполнительной власти, и, наконец, сам характер «передачи» президентской должности в 1999/00 году.

Конечно, та легислатура стилистически больше соответствовала представлениям о демократии. Но только стилистически, ибо, как и сегодня, критически настроенные в отношении президентского курса политические силы практически не допускались в «святая святых» — определение и проведение реальной политики. Как и сегодня, не было нормальной политической конкуренции. Как и сегодня, административная власть контролировала саму себя, «информационные войны» не демонстрировали влияния СМИ, а лишь оттеняли бюрократический характер контроля, ибо апелляции предназначались не для общества, а для кланов вокруг «первого лица». Как и сегодня, пусть и либерально настроенная, но все же бюрократия готовила для президента основные вопросы «повестки дня». Да, Государственная дума времен президента Б.Н. Ельцина не была откровенно сервильной, как ныне. Но опять-таки дело тут лишь в стилистике, а не в принципе. Тем более что и тогда предпринимались попытки превратить Думу в послушный инструмент. А их неудача объясняется несомненным в середине девяностых политическим ресурсом президента, но никак не торжеством принципов демократии.

Вот почему настоящая работа — еще одна попытка доказать, что от личности главы государства и его популярности зависит лишь степень силы или слабости персоналистского режима, но не его суть. В какие условия ставится политика и чиновничество — такие общие результаты мы и получаем. Нынешние институциональные условия будут и впредь формировать только бюрократию.

Каков же выход? На первый взгляд он вроде бы лежит на поверхности: президент должен сам быть представителем какой-либо партии, и тогда политическая ответственность будет реализовываться в ходе президентских выборов. Допустим. Хотя не случайно ни первый, ни второй президенты не хотели себя связывать членством в какой-либо партии, позиционируя как «президенты всех россиян», во влияя на партии из-за кулис. Что же все-таки произойдет в таком случае?

Уступится противоречие между двумя названными сверхзадачами президента, ибо институт, призванный к политическому арбитражу, окажется еще и формально партийным, т.е. «судья официально будет играть на стороне одной команды». Это происходит и сейчас, но не так открыто для общества. Парламентские выборы станут еще более бессмысленными, ибо партийный мандат президенту при его полномочиях и от-

существовании системы сдержек и противовесов окончательно избавит его от необходимости считаться с мандатами всех других партий. Короче, даже при партийном президенте принципиально ничего не изменится, а противоречия лишь усугубятся.

Тут оппоненты резонно могут сослаться на французскую политическую систему. Действительно, Президент Французской Республики традиционно представляет конкретную партию или блок партий и при этом является сильным «политическим игроком». Тем не менее во Франции деятельность главы государства все же сдерживается другими ветвями власти, что заставляет, в случае разнопартийных президента и премьера, искать компромисс либо выходить из кризиса путем досрочных парламентских выборов. Но и на это глава государства может пойти фактически лишь с согласия основных политических игроков: после консультаций со спикерами палат и премьер-министром, когда каждая из сторон считает, что исход выборов может оказаться положительным для нее.

Почему же такое невозможно в России? Потому что, когда популярный лидер Шарль де Голль в сложных политических условиях инициировал конституционную реформу, она привела в 1958 году к созданию Пятой (!) республики. То есть во Франции уже более ста лет действовала политическая конкуренция, породившая такие институты, как оппозиция, устойчивые электоральные ядра, влиятельная пресса, политическая ответственность, судебная независимость и т.п. Французы не испугались наступления авторитаризма, поскольку к тому времени политика во французском обществе не воспринималась как безраздельное господство одной партии и тем более одной фигуры. При таком состоянии политической мялки не возносятся к власти клан и его патрона, а только меняет роли: ты властвуешь — я контролирую; я властвую — ты контролируешь. Именно поэтому взаимоотношения во французском властном треугольнике «президент — парламент — правительство» описаны не очень конкретно. Ведь Конституция тут уже не призвана выполнять роль «инструкции по осуществлению власти» и быть главной гарантией от политического монополизма, ибо такая гарантия заложена в самом обществе.

У нас пока совершенно иные условия. Подчеркну: не наша «матрица», а именно конкретные условия, вытекающие из недавней истории. Эти условия, безусловно, требуют сообразовываться с ними. Но не в смысле отсрочки демократического строительства под предлогом «неготовности общества» и тем более не отказа от него под предлогом «нашего особого пути». У каждого государства и без того всегда свой путь, но у нас «особый путь» превращается в «особые цели». Сообразовываться с условиями нужно в смысле создания очень конкретной и при этом ювелирно сбалансированной системы построения власти и отправления властных функций. Только когда и если это произойдет, в России появятся ответственные партии с ответственными лидерами во главе, устойчивые электоральные группы, политика из цезаристской превратится в компромиссную, а оппоненты в свою очередь не станут перебегать всякий раз в лагерь победителей, к «статусному корыту» или, наоборот, маргинализироваться, а будут сознавать свою ответственную миссию оппозиции.

Мы, сами того не замечая, по-прежнему, т.е. архаично, воспринимаем демократию как мажоритарность, преходящую перед понятием большинства. Порой это понимание довлечет над политиками и над многими избирателями даже в развитых демократиях. Между тем магистральный путь представляется иным. Риску называть строй, который в гораздо большей степени убергает от персонализма, демократией, т.е. властью закона, что, разумеется, не имеет ничего общего с «диктатурой закона».

И это не так банально, как может показаться. В 1910 году замечательный русский юрист А.С. Алексеев, возражая немецкому классику правовой мысли Г. Еллинеку, утверждавшему, что народ в республике является высшим суверенным органом, писал: «В правовом государстве не существует ни суверенной власти, ни суверенного органа, а существует лишь суверенный закон. Этот же закон не является предписанием того или иного учреждения — монарха или парламента, — а представляет собою результат сложного юридического процесса, в котором принимают участие несколько органов, и притом в степени и в формах, установленных конституцией. Постановление ни одного из этих органов само по себе не создает обязательных правовых норм, а производит юридический эффект лишь под условием его согласованности с постановлениями других органов. Ни один из таких органов в процессе правотворчества не занимает преимущественного пред другими положения; все они между собою координированы в том смысле, что участие каждого из них одинаково необходимо для того, чтобы закон получал юридическую силу»²⁷.

Этот принцип достоин того, чтобы распространить его и на всю политическую жизнь. И тогда политика, в гораздо более полной мере сделавшись результатом компромиссов и солидарности, будет надежной гарантией как против нигилизма, так и против монополизма власти.

²⁷ Алексеев А.С. К вопросу о юридической природе власти монарха в конституционном государстве. Ярославль, 1910. С. 67–68.

ПЕРСОНАЛИЗМ ПРОТИВ ПЕРСОНАЛИЗМА? ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ МИХАИЛА КРАСНОВА «ФАТАЛЕН ЛИ ПЕРСОНАЛИСТСКИЙ РЕЖИМ В РОССИИ?»

После публикации статьи на сайте Фонда «Либеральная миссия» состоялось ее обсуждение группой экспертов. На обсуждение были вынесены следующие вопросы:

1. Правомерно ли утверждать, что персоналистский режим для России исторически и культурно предопределен и безальтернативен? Насколько сложившаяся в стране институциональная политическая система и, шире, тип государственности соответствуют нынешнему состоянию политической культуры и интересам российского политического класса и общества, его различных групп?

2. Можно ли говорить об устойчивости и эффективности этой государственности, ее способности отвечать на современные внешние и внутренние вызовы?

3. Обеспечивают ли нынешняя политическая система и персоналистский президентский режим движение к правовой государственности или блокируют его? Если блокируют, то кто может инициировать такое движение, стать его субъектом?

4. Какие институциональные изменения необходимо осуществить для трансформации нынешней государственности в правовую?

В дискуссии, помимо автора, участвовали:

Зудин Алексей Юрьевич — кандидат политических наук, доцент кафедры публичной политики Высшей школы экономики, заместитель заведующего кафедрой по научной работе, руководитель Департамента политологических программ Центра политических технологий.

Лавкин Владимир Валентинович — старший научный сотрудник ИМЭМО РАН.

Сатаров Георгий Александрович — президент Фонда «ИНДЕМ».

Шаблинский Илья Георгиевич — доктор юридических наук, профессор кафедры публичной политики Высшей школы экономики.

Шевцова Лилия Федоровна — доктор исторических наук, профессор, ведущий исследователь Московского центра Карнеги.

Яковенко Игорь Александрович — генеральный секретарь Союза журналистов России.

Вел обсуждение вице-президент Фонда «Либеральная миссия» Игорь Монславин Клявонин.

Игорь Клявонин:

Вопрос о реформировании политической системы и переходе к формированию правительства парламентским большинством, еще несколько месяцев назад поднимавшийся даже лидерами «Единой России», был снят президентом Путиным на его январской пресс-конференции с политической повестки дня. Снят с этой повестки

и вопрос о реформировании российской государственности в целом — кремлевские идеологи и политтехнологи насаждают в обществе мнение, что все необходимое в данном отношении Путиным уже сделано. Тем не менее существует более чем достаточно весомых аргументов, ставящих под сомнение стратегическую устойчивость и эффективность постсоветской государственности в России. Убедительное подтверждение тому и статья Михаила Краснова.

На обсуждение выносятся четыре вопроса. Первые два касаются особенностей российской политической системы и внешнего политического режима, исторических и культурных причин их возникновения, их эффективности и устойчивости. Поэтому эти вопросы можно объединить и обсуждать одновременно. Другие два вопроса касаются путей, способов и направленности трансформации этой системы и этого режима, а также субъектов, в такой трансформации заинтересованных. Эти вопросы в ходе обсуждения тоже можно объединить.

Алексей Задин: «Мы навывали попытку второго издания „Государства развития“»

Хотя Игорь Моисеевич и объяснил, почему трансформация существующего политического режима сделана предметом обсуждения, лично для меня остались некоторые неясности. Проблема сама по себе в высшей степени актуальна. Но одновременно почему-то утверждается и обратное, причем со ссылкой на то, что «Единой России» указали на более скромное место, чем то, на которое рассчитывал Олег Морозов. Еще есть упоминание каких-то веназванных кремлевских политтехнологов. Ну и что, что они что-то говорят, — у них работа такая. На мой взгляд, наоборот, трансформация существующего режима неизбежна, и это является прямым следствием отказа главного игрока от третьего срока. Весь режим центрирован даже не на институте, а на личности, не на президентской власти, а на конкретном действующем президенте Путине. Михаил Краснов абсолютно прав, когда ставит вопрос о персоналистском режиме. Если действующий президент, руководствуясь теми или иными соображениями, решил уйти со своего поста, все конструируется просто «подписает» и неизбежно будет трансформироваться. И в этом смысле постановка вопроса совершенно оправдана и своевременна.

Конечно же, персоналистский режим в том виде, в котором он сложился к настоящему времени, не является ни безальтернативным, ни тем более культурно предопределенным. Особенность нашей культуры, в широком социологическом смысле, состоит в том, что там можно найти представления и ценности, которые могут стать опорой для движения по самым разным политическим траекториям. В то же время, не будучи ни безальтернативным, ни культурно предопределенным, становление персоналистского политического режима было достаточно закономерным. В 1990-е годы сначала западные, а потом и российские авторы много говорили о низком уровне институционализации в России. О том, что, возможно, определяющей чертой нашей трансформации, в отличие от трансформации у соседей на Западе, являются очень слабые институты. Свято место пусто не бывает, а то, что заняло место слабых институтов, называли по-разному: «неформальные отношения», «теневые практики», «персоналистские сети». Другими словами, сами по себе учреждения, организации, институты по большому счету значения не имеют, имеет значение конкретная сила тех конкретных людей, которые в данный момент эти организации, институты и т.д. возглавляют. Сочетание слабого общества со слабым государством — в этом наша особенность. Низкий уровень институционализации был важнейшей характеристикой не только системы власти, но и формирующихся политических партий и групп интересов. Слабые институты были характерны для полицентрического режима Бориса Ельцина, а при Владимире Путине превратились в определяющую характеристику нового моноцентрического режима.

Конечно, такой режим по определению устойчивым быть не может. Но, как мне кажется, в настоящее время он не рассматривает себя в качестве окончательного. Более того, риску утверждать, что персоналистский режим с самого начала не рассматривал себя как нечто окончательное. Политическое развитие последних шести лет не вполне адекватно рассматривать через призму одной политической реформы, которая началась после 2000 года и была легализована задним числом только после Беслана. Содержанием этой реформы было формирование моноцентрического режима — политической централизации, концентрации политической власти в Кремле и превращение действующего президента в доминантного политического игрока. Но есть основания говорить не об одной, а о двух политических реформах. Вторая началась немного позже первой, ее начало можно датировать принятием в 2001 году закона о политических партиях, инициатором которого была Администрация президента. Эта реформа существенно отличается от предыдущей по своей направленности: если первая укрепляла персоналистский политический режим, то вторая создавала условия для деперсонализации власти; если первая реформа осуществляла демонтаж элитинского режима, то вторая, предположительно, закладывает основы нового режима, который пока еще не создан. Путинский персонализм отличается откровенной переходностью и ничем, кроме переходного, быть не может. В этом отношении он не может быть устойчивым и не в состоянии быть эффективным. Другое дело, учитываем мы наличие этой второй реформы или нет? Вот в чем вопрос.

Когда я говорю об альтернативах, то имею в виду реальные, а не нормативные политические модели. Так вот, по моему мнению, все альтернативы персоналистскому режиму носили откровенно недемократический характер. Одной альтернативой было закрепление состояния политической системы конца 1990-х годов. Ее называли, может быть не вполне удачно, олигархической. Другая альтернатива — различные варианты откровенного авторитаризма. Эти сценарии продолжают сохранять актуальность. Но сейчас, как мне кажется, делается попытка переориентации на новую модель, которую условно можно назвать «государством развития».

Какое-то время назад казалось, что время подобного рода конструкций прошло, потому что постиндустриализм и глобализация очень сильно поменяли и внутреннюю среду, и внешний контекст. Традиционное «государство развития» выполняло две основные функции: обеспечение экономического роста (вместе с модернизацией структуры экономики) и социальной интеграции. Сейчас выполнение обеих функций невозможно. И тем не менее на Западе происходит возвращение к этой идее. Причем речь идет не о старом «государстве развития», а о его модификации. В качестве синонимов употребляются понятия «государство как брокер развития» и «государство кооперации». Идея состоит в том, что государство возвращается как осмысленная сила, которая пытается каким-то образом влиять на экономическое развитие. В отличие от старой модели главная функция государства состоит в том, чтобы встраивать наиболее перспективные куски национальной экономики в глобальный рынок. Потому что специальной интеграции не всегда может устраивать и политической элите, и основную часть граждан.

Мне представляется, что по совокупности признаков у нас предпринимается попытка второго издания «государства развития». Насколько это получится — другой вопрос, хотя и самый главный. Потому что, с одной стороны, есть запрос, а с другой — ресурсы, которые могли бы обеспечить вписывание российского развития в эту модель, недостаточно. И самая главная проблема — это качество государственного аппарата.

Игорь Клямкин:

Мне показался интересным тезис о том, что нынешний российский режим заведомо ситуативный, привязанный к конкретному персонажу и он неизбежно будет

меняться вместе со сменой персонажа. Из этого следует, что сложившаяся в стране политическая система предоставляет президенту достаточно широкое поле для резких трансформаций. Так ли это? И от чего зависит направление таких трансформаций? Только от политических установок того, кто приходит к власти? Или существует системная логика и системные ограничители, президенту неподвластные? Короче, прошу обратить внимание на этот тезис А. Зудина.

Людмила Шевцова: «Персоналистский выход из персоналистского режима невозможен»

Я считаю, что наш друг и коллега М. Краснов написал очень своевременную и смелую работу. Несомненно, своевременным является и обсуждение, которое организовал Игорь Моисеевич Клямзин. Почему я подчеркиваю факт своевременности? Да потому, что мы в России, как обычно, отстаем от мирового дискурса по стратегическим вопросам развития. Обсуждаем частности, следим за муравьиной возней на политической сцене и упускаем главное — концептуальные проблемы посткоммунистической трансформации, и в первую очередь трансформации России, ее будущей роли в мире и зависимости этой роли от эволюции российской системы.

Каждый из нас в какой-то степени следит, конечно, за последними статьями в транзитологической литературе, в журналах типа «Journal of Democracy». Так вот, можно увидеть, что аналитики вновь, по прошествии 15–20 лет после начала посткоммунистических транзитов, начали размышлять о том, что в этих транзитах было неизбежного, что — случайного и что было определено субъективными факторами и обстоятельствами. Многие исследователи вынуждены пересмотреть свои прежние выводы относительно этих транзитов. Так, немало бывших советологов вынуждено сегодня по-иному взглянуть на развитие новой России, и большинство из них корректируют свои прежние позиции в сторону большего пессимизма.

Я бы обратила внимание на то, что наблюдатели, которые размышляют о России, придерживаются, как правило, двух разных точек зрения.

Одних, назовем их упрощенно «фаталистами», полагают, что Россия достойна того, что имеет, что она заслужила ту систему и то государство, которые появились в последние годы, и что российское общество не созрело для большей демократии. Нужно продвигаться вперед постепенно, шаг за шагом — именно так и делали развитые демократии, убеждают «фаталисты». Именно они говорят об исторических традициях и культурных препятствиях, которые осложняют более решительный прорыв России к новой цивилизационной парадигме. Не стоит упоминать то, что это любимая позиция кремлевских пропагандистов, которые считают, что Россия и так двигалась слишком быстро в демократическом развитии, а теперь ей нужно «отдохнуть» и сконцентрироваться.

Другие, назовем их «инженерами», следом за Джузеппе ди Пальма и другими основателями теории более активного демократического прорыва полагают, что, несмотря на отсутствие определенных предпосылок демократизации, Россия могла продвинуться гораздо дальше по пути либерально-демократических реформ, чем она сделала. Отмечу, что «инженеров» на российской сцене гораздо меньше, совсем мало. В зарубежной науке и политике часть «инженеров», т.е. сторонников более активного продвижения демократии, призналась, дискредитировала себя тем, что поддержала эксперименты с продвижением демократии в арабском мире, и мы знаем, чем такие эксперименты закончились в Ираке.

Я не хочу вдаваться в подробности спора между «фаталистами» и «инженерами», а хочу лишь заметить, что внимание исследователей вновь обращено к посткоммунистической трансформации и тому, что в результате этой трансформации получилось.

К сожалению, дискуссии вокруг российской демократизации нередко кончатся констатацией того факта, что в «России не получилось» и Россия «развернулась в противоположном направлении». Но о причинах того, почему «все не так», мало кто задумывается. А если кто и задумывается, то его выводы не кажутся убедительными. В западных политических кругах в ситуации того замешательства, которое возникло вокруг российской вектора, все больше усиливается скептицизм относительно перспектив демократизации России, так же как десять лет тому назад в этой среде превалировал неоправданный оптимизм по поводу наших реформ. В конкретной политике этот скептицизм ведет к своего рода прагматизму, который заключается в имитации со стороны Запада партнерства с Россией и фактической поддержке в России любой стабильности, даже стагнирующего типа. Создается впечатление, что Запад махнул рукой не только на Россию, но и на все постсоветское пространство. В этом контексте попытка М. Краснова возобновить дискуссию о том, насколько неизбежным было российское развитие после падения коммунизма и что можно было сделать по-другому, исключительно полезна. Сама эта попытка заставляет нас задуматься с высоты имеющегося опыта поражений и разочарований о том, были ли мы безнадежны в 1990-е годы либо нет.

Полностью согласна с основным тезисом автора о том, что конституционно-правовая конструкция в какой-то момент обязательно приобретает свою логику и инерцию. И кто бы ни был в Кремле, вне зависимости от его установок и настроений, персоналистский фактор начинает работать на интересы самой конструкции, если ее логику не удалось изменить в самом начале. То, что я сегодня вижу, наблюдая за эволюцией российской политической системы и российской системы, заставляет меня прийти к выводу, что персонализм является средством осуществления интересов правящей корпорации, как бы мы эту корпорацию ни назвали — система, государство либо режим. Да, в начале «цепочки» именно вынесенное наверх и неподконтрольное обществу единичное лицо создает политическую и правовую конструкцию. Но уже вскоре единичное тернет над ней контроль и подчиняется ее законам.

Другой вопрос — возможен ли персоналистский выход из персоналистского режима? Автор считает, что да. Я в этом не уверена. Не исключаю, что можно представить себе случаи, когда носитель персонализированной власти осознанно начинает ее демонтировать и открывает осязание для демократизации общества, за которой следует либерализация и затем построение основ демократической системы. Именно так действовали испанский реформатор Суарес и южноафриканский реформатор де Клерк. Но, во-первых, такой прорыв делали те, кто не строил режим персонализированной власти, кто его унаследовал и начал тиготиться им. Во-вторых, системщики, которые стали антисистемщиками, начали демонтировать свои режимы, когда последние себя полностью исчерпали. Может ли эта история повториться на каком-то этапе в России?

Говоря иначе, может ли сам авторитарный Субъект стать могильщиком своей Моносубъектности? Для меня этот вопрос остается открытым.

Несколько замечаний по ходу дискуссии. Прежде всего, мне хотелось бы высказаться по вопросу предопределенности и альтернативности в посткоммунистической России. Перечислю несколько факторов, которые явно играли против формирования в России плюралистической и составительной системы. Начну с того, что в России до падения СССР не было попыток реальной «декомпрессион» режима, которые имели место в 1950–1970-е годы в других коммунистических странах — в Венгрии, Польше, ГДР, Чехословакии. Давайте отметим и то, что в России впервые в мировой истории была осуществлена попытка провести одновременно три революции: создание рыночной экономики, создание демократического режима и реформирование геополитической роли, т.е. формирование новой модели внешней политики. Не менее важно

и то, что Россия принадлежит к тем редким странам (наряду с Югославией и Чехословакией), где одновременно проводились совершенно разноплановые реформы — формирование государства одновременно с попыткой формирования демократического режима. Подавляющее число мировых наблюдателей считают, что это совмещение невозможно в принципе. Лишь один Лейхарт полагает, что это возможно, указывая на успешный опыт Чехословакии. Но ведь существует и совсем драматический опыт совмещения государственного строительства и демократизации — опыт Югославии. Наконец, мы имеем дело с трансформацией ядерной сверхдержавы. Никакого исторического опыта такого рода преобразований не было. Именно этот фактор сегодня наиболее серьезно блокирует переход России к плюралистической системе. Словом, это все препятствия, которые осложняли и осложняют осуществление либерально-демократического проекта в России.

Но одновременно присутствуют и факторы, которые создавали благоприятные условия для разрушения логики фатализма, о чем говорил А. Зудин. Среди этих факторов — фактор существования опыта посткоммунистической трансформации в странах Восточной Европы, которая к тому моменту, когда на путь реформ встала Россия, уже научилась находить консенсус по вопросам реформ через проведение круглых столов, формировать независимые институты даже при поддержке прежних компартий. Ельцинская команда могла бы использовать этот опыт, который говорил о том, что вначале нужно проводить политическую и конституционную реформы, а потом все остальное. Если бы мы сумели заметить опыт других трансформаций, он мог бы нас кое-чему научить. Однако мы этот опыт проигнорировали. Мы его даже не заметили, что свидетельствует о том, в какой степени наша правящая элита была конденсирована на собственных проблемах. Впрочем, и весь российский политический класс не был готов рассматривать имеющийся опыт демократического прорыва, видимо, считая Россию особым случаем. Словом, когда Россия выбирала свой вектор в начале 1990-х годов, она оказалась совершенно вне мировой дискуссии и мирового контекста.

Отметим и фактор огромнейшей популярности Ельцина и его поддержки в обществе в начале 1990-х годов, что также могло помочь хотя бы нейтрализовать вышеупомянутые препятствия на пути демократизации. Напомним и о стремлении мирового сообщества облегчить для нас муки рождения новой системы. Конечно, были и попытки отдельных стран и отдельных сил использовать российскую слабость для того, чтобы вытеснить Россию из ее прежних ниш. Но было и сочувствие, и желание помочь России встроиться в западную систему. Международный фактор, как показал опыт Центральной и Южной Европы, мог компенсировать отсутствие недостающих предпосылок демократизации.

Наконец, еще один фактор — это фактор лидерства. Существует масса литературы и немало авторов, в частности ди Пальма, Хиршман, Шмидтер, которые считают, что совершать демократический прорыв и обеспечивать гарантии его необратимости можно и при отсутствии основных предпосылок и условий для демократизации. Но для этого нужно трансформационное лидерство. В качестве примера можно упомянуть восточноевропейские страны — в Польше и Венгрии ощущение правящей командой своего лидерства и своей миссии компенсировало отсутствие необходимых предпосылок трансформации. Что касается России, то у нас факторов прорыва оказалось недостаточно для того, чтобы нейтрализовать блокирующие факторы, и в результате мы пришли к тому, что А. Зудин назвал «закономерностью», а я называю упущенным шансом.

Отражают ли система, режим, государственность, которые оформились в России, чьи-либо интересы? Несомненно да. Мне кажется, они отражают заинтересованность подавляющей части политического правящего класса и части общества в сохранении стагнирующего статус-кво. Любопытно и занимательно то, что в рамках тех социаль-

ных групп и слоев, которые поддерживают стагнирующее статус-кво, мы можем найти представителей самых разных политических и идеологических ориентаций: компрадоров, изоляционистов-почвенников, либералов-технократов и умеренных государственныхников, — отдельные их интересы могут не совпадать, но стратегически все они заинтересованы в сохранении статус-кво.

Теперь об устойчивости системы. Я не буду повторять то, что говорил в статье М. Краснов и о чем размышлял А. Зудин. Замечу лишь, что существует ряд ситуационных факторов, которые в принципе облегчают сохранение стабильности и поддерживают устойчивость такого типа конструкции, однако в любой момент могут начать работать против стабильности, фактически подрывая ее. К этим факторам следует отнести, например, высокую цену на нефть, консенсус среди правящего класса относительно статус-кво, президентскую «вертикаль». Но заметьте, что нефть в любой момент может сыграть ту роль, которую она сыграла в 1986 году, когда произошел шестикратный обвал мировых цен. Поддержка правящим классом статус-кво ситуативна и не содержит в себе элементов устойчивости — в первую очередь, отсутствует согласие относительно национально-государственных интересов и базовых ценностей развития. Следовательно, наша власть в поисках ежеминутного выживания не может предвидеть те обстоятельства, которые возникли, например, в результате газового конфликта в Украине, приведшего к подрыву идеи Путина о «России как энергетической сверхдержаве». Что касается пресловутой «вертикали», то ликвидация независимых институтов, по сути, выталкивает протест в несистемное и антисистемное поле.

Таким образом, сама система возбуждает и стимулирует протестные настроения, направленные против нее самой. Следовательно, ситуационные факторы стабильности весьма ненадежны. Одновременно есть и системные факторы, которые в гораздо большей степени подрывают устойчивость и стабильность возникшей в России системы. Среди этих факторов я называю, пожалуй, три. Первый — это системный конфликт между персонализированной властью и демократическим способом ее легитимации, т.е. между несоместимыми принципами. Второй — это конфликты, которые порождаются тенденцией к формированию беззипового или нефтяного государства («петростейт»), со всеми его характеристиками. Третий фактор — Россия все больше возвращается к традиционалистской политике, от которой Европа и либеральная цивилизация начинают отказываться. Это опора на суверенитет, территорино, военную и ядерную мощь, т.е. средства «местной власти» (hard power). А в это время, по крайней мере, Европа разрабатывает другую модель политики, основанную на договоренности, компромиссах, диалоге, опоре на культурные ценности, на элементы привлекательности образа жизни, — словом, на soft power. На этом фоне Россия может стать тем, чем сейчас стала арабская цивилизация, — догоняющей цивилизацией и одновременно фактором сохранения мирового традиционализма.

Недавно в своей статье министр иностранных дел Сергей Лавров сделал попытку отказать даже от той весьма аморфной формулы многовекторности, которая обосновывала российское сотрудничество с Западом, заявив, что Россия не может принадлежать ни одной (!) цивилизации и будет претендовать на роль моста между ними. Собственно, в который уже раз мы имеем попытку обосновать «особый путь» России.

И последнее. В любом случае уже сейчас, несмотря на то что западная цивилизация согласилась иметь Россию в роли своего сырьевого придатка, Запад начинает размышлять о России как о новом глобальном вызове. Пока, правда, этот вызов для Запада не столь актуален, как, скажем, исламская цивилизация, особенно радикальная ее часть. Но сам факт появления настороженности Запада по отношению к России заслуживает внимания. В этом контексте я хочу упомянуть о Всемирном экономическом форуме в Давосе — он не играет прежней роли в формировании умонастроений рос-

сийской элиты и перестал быть для нее важным событием. Но он остается важным событием для элиты мировой. Пока в мире нет другого дискуссионного клуба, который мог бы в таком концентрированном виде представлять основные тенденции и основные опасения Запада по поводу этих тенденций.

Так вот, на последних форумах мировая политическая и экономическая элита изучала основные политические, экономические, геополитические риски для мира на ближайшую и отдаленную перспективу. И если в 1990-е годы Россия перестала быть глобальным вызовом и фактором риска для мирового сообщества, то после «газовой войны» с Украиной Россию вновь стали рассматривать в этом качестве. Запад начинает серьезно прорабатывать сценарий развития России как фактора глобальных рисков и вызова для мирового сообщества. Между тем исход упомянутых событий на Украине российской политической класс почему-то считает своей победой, в чем можно усмотреть неадекватность самовосприятия российской элиты.

Игорь Клямкин:

Обозначилось два, на мой взгляд, взаимоисключающих подхода. С одной стороны, А. Зудин фиксирует тенденцию к формированию «государства развития», с другой — Л. Шенцова говорит о государстве стагнирующего статуса-кво.

Людмила Шенцова:

Я бы хотела добавить, что после завершения нынешнего политического цикла в 2007–2008 годах путинский режим, несомненно, будет трансформироваться в новый политический режим, в этом я согласна с А. Зудиным. Но и этот новый режим, при условии сохранения нынешних принципов упорядочивания власти, станет способом сохранения единовластия. Мы имели возможность наблюдать смену ельцинского режима на путинский, смену форм лидерства. Но эта смена, т.е. отрицание предшествующего лидерства, оказывается эффективным средством сохранения все той же персонафицированной власти.

Григорий Сазонов: «Демократия — это способ случайной игры с неопределенным будущим»

Нынешний российский режим мыслит себя как «государство развития» в момент своего зарождения, причем мыслит достаточно своеобразно: одновременно и как субъект, и как объект развития. Вот в чем была причина его превращения, довольно быстрого, в режим ситуативный. Предполагалось, что государство должно развиваться силами государства и по единственно возможному проекту, который задает само это государство. И такая философия смыкается с понятием персоналистского режима. Я хотел бы рассмотреть ту грань проблемы, которая в обсуждаемой статье не рассматривается. Я имею в виду не институциональный фактор, а фактор общественного сознания. И вот в каком аспекте.

Михаил Краснов ссылается на мои слова о демократии как институционализированной случайности. Я хотел бы эту мысль уточнить. Что такое демократия? Это способ случайной игры с неопределенным будущим. Из теории игр мы знаем, что против случайной стратегии противника оптимальна только случайная же стратегия. Нет дарвинистских стратегий, которые выигрывают у случайной стратегии. Таким образом, если будущее не предопределено, если оно неопределенно, случайно, если мы не можем его предсказать и т.д., то оптимальная стратегия в игре с будущим — это случайная стратегия. Эту институционализированную случайность обеспечивает демократия. И именно потому наши российские выборы нельзя считать демократическими, что их исход предопределен.

За этой практикой просматривается тысячелетняя рационалистская христианская позиция предопределенности будущего. Но если будущее известно, то должен быть фиксируемый носитель того, что известно, на которого мы перекладываем ответственность за это знание. Это может быть персона, «единственно верное учение», все, что угодно. Ему известно — пусть ведет. Очень удобно. Но именно это и есть тот самый цивилизационный тупик, который отвергает возможность случайной игры со случайным будущим.

Режим всегда «говорит», что он знает будущее и ведет нас туда. Однако в какой-то момент выясняется, что обещанное будущее входит в конфликт с настоящим, так как обещания оказываются невыполненными. Советский конфликт состоял в том, что носители обещаний своих обещаний не выполняли, постсоветский конфликт — в том же самом. Демократы не выполняли своих обещаний, и демократическая система была отвергнута, как до того коммунистическая, потому что мы привыкли вместе с олицетворяющими систему людьми отторгать и саму систему. Это простой способ объяснения разочарований: вы — сволочи, которые неправильно обещали нам будущее в рамках этой системы, потому ваша система никогда не годится.

А дальше совсем грустно. Путин, как известно, сказал, что жизнь на самом деле очень простая штука. Когда все сложно и абсолютно непонятно, человеку, которому сложно видится простым, конечно, хочется верить. При этом обратите внимание, какой ошибкой избежал Путин: он не рисовал идеальной модели будущего для граждан, только для государства. У него «государство развития» — это государство в узком смысле: «вертикаль власти». Не граждане, не их развитие, не их возможности это развитие самостоятельно осуществлять. В такой ситуации равно или поздно граждане поймут, что они не «субъект» и не «объект». То есть последние пару лет они уже начали понимать, что они — не объект внимания и заботы, но это не очень их пока смущает, поскольку есть вера в человека, который сказал, что жизнь на самом деле очень простая штука. А вот когда выяснится, что они и не субъект, тут уже будет полный, как говорится, атас.

Михаил Краснов:

Статья-то не о Путине и не о его режиме.

Григорий Сказаров:

Но она о том, что любой на его месте тоже скатился бы в персоналистский режим. Я почти согласен с выводом, но не во всем согласен с обоснованием. Меня не устраивает обоснование чисто нормативное, поскольку нормы и институты отражают состояние общества.

Игорь Яковенко: «Искать корни персоналистского режима только в Конституции — значит впадать в юридический эстивизм»

Я, как давний поклонник М. Краснова, получил огромное наслаждение от чтения его статьи и хотел бы зафиксировать для ее достоинства. Во-первых, потрясающая научная добросовестность, а во-вторых, высокая информативность. Однако оба эти достоинства позволяют очень легко выделить и основные недостатки текста. Остановлюсь на двух, на мой взгляд, самых важных.

Первый я бы назвал юридическим и правовым фетишизмом. Цель исследования — проанализировать, понять причины постоянного воспроизводства в нашей стране авторитарного режима, а метод исследования — юридический анализ текстов. Это абсолютно неадекватный метод для решения данной проблемы. В силу того что общество вообще, а российское общество в частности основано на принципе полинор-

мативности, любые социальные отношения регулируются набором разных нормативных систем — тут и корпоративные нормы, и политические, и нормы традиций и т.д. При этом правовые (юридические) нормы далеко не базовые и не единственные, а уж в России точно не базовые. Кроме того, особенность России заключается в чрезвычайно низкой степени автономности правового поля вообще. Примеров можно приводить множество. Ни в одной системе, где правовое поле обладает хотя бы минимальной степенью автономности, т.е. защищенности, невозможно было бы назначить на одну из высших юридических должностей в стране (председателя Арбитражного суда) человека, который ни минуты не работал судьей. Поэтому правовой анализ внешней ситуации должен быть последним, а не первым.

Второй недостаток — это идея о том, что «клин клином вышибают», что персоналистский режим может быть преодолен персоналистским же режимом. Мне эта идея кажется чрезвычайно спорной, если не сказать неверной. Это из области чуда, из области синдрома барона Мюнхгаузена.

Теперь о том, predetermined ли и безальтернативен ли персоналистский режим для России. Совершенно очевидно, что можно вести разговор лишь о степени predeterminedности и безальтернативности. Глубокая укорененность в России персоналистского авторитарного режима очевидна. Но в то же время Россия — одна из самых непредсказуемых стран. Можете привести хоть один пример, когда какой-либо судьбоносный поворот в жизни нашей страны кем-нибудь был предсказан? Прогнозы типа Нострадамусовых, с возможностью их универсальной интерпретации, мы не рассматриваем.

Есть и еще одно обстоятельство. Любой персоналистский режим является по определению уникальным, «сделанным» под персоналию. Думаю, что нынешний наш персоналистский режим связан с его носителем не в меньшей и не в большей степени, чем сталинский режим был связан с личностью Сталина, а ельцинский — с личностью Ельцина. Вот, кстати говоря, еще один аргумент против конституционной обусловленности нашего персоналистского режима: сколько было сменено за последнее столетие конституций и к чему они привели? почему каждый раз возникает такая персоналистская Конституция авторитарного типа? Видимо, причина не в самой Конституции.

Мне представляется очень правильным рассуждение Г. Сатарова о непредсказуемости и неопределенности, но, на мой взгляд, оно нуждается в продолжении. Если отсутствуют рельсы, которые ведут из прошлого в будущее, и, следовательно, возможны варианты, если существует свобода воли социального электората, где эта свобода воли «помещается»? Тут есть определенная ловушка, в которую попадают профессионалы. М. Краснов, будучи высочайшей квалификации юристом, попал в эту ловушку, избрав методом исследования юридический анализ. Многие высочайшего класса политологи, со своей стороны, выбирают методом исследования анализ политической элиты и ждут именно там проявления свободы воли политического и социального электората. Я же глубоко убежден, что ждать и рассчитывать только на то, что вдруг, случайно, благодаря какому-то чуду произойдет смена политических элит, появится супердемократичный лидер, который изменит Конституцию и откажется от авторитарного персоналистского режима, — это значит ждать невероятного.

Очень интересен вопрос, насколько сложившаяся в стране институциональная политическая система и тип государственности соответствуют нынешнему состоянию политической культуры и интересам политического класса. Дело, однако, в том, что не политический класс как некая данность формирует определенный институциональный политический режим, а все происходит ровно наоборот: сложившийся политический режим определенным образом формирует соответствующий ему политический класс. Обратите внимание, как стремительно изменился состав Государственной

думы, изменился тип депутата, более того, даже тип чиновника и тип криминалитета, доминирующей сегодня в стране. Криминальные структуры, характерные для середины 1990-х годов, вытеснены, и на наших глазах элита криминального мира миниатюрирует под тот тип политического режима, который у нас сейчас существует.

Короче говоря, возможность трансформации заключена не в политическом классе, не в государстве — оно лишено способности к саморазвитию. Вероятность того, что при нынешнем механизме элитообразования, при нынешнем механизме государственного строительства во главе государства или в политическом классе окажется сколько-нибудь склонная к самореформированию структура, мне кажется, близка к нулю. В качестве смешного примера приведу тот государственный объект, который, в силу моих должностных обязанностей, находится в зоне моего пристального внимания постоянно. Это Министерство печати. Каждый (без единого исключения) новый министр, приходя, говорил о том, что Министерство печати необходимо реформировать, а затем ликвидировать. С этим приходил Полторанин, с этим приходил Лесин, с этим приходили все. И ни один из них палец о палец не ударил для того, чтобы реформировать объект собственного руководства. Ни один из них ничего не сделал для того, чтобы действительно ликвидировать это бессмысленное образование. Это так же невозможно, как для Мюнхгаузена было невозможно реально вытащить себя за волосы из болота. В государственных структурах нет никакой свободы воли социального и политического электората. Она коренится совсем в другом месте.

Она коренится в тех институтах гражданского общества, в тех институтах общественного сознания, где формируются те социальные и интеллектуальные «приспособления», отсутствие которых отличает нас от развитых стран. Я считаю, что это иная философия истории. Я глубоко убежден в том, что судьбы истории всегда определяли те, кто изобрел эти самые социальные «приспособления», дававшие толчок развитию страны или изменявшие вектор этого развития. В России также свобода воли политического электората не в политико-образующем классе, а в тех структурах, которые сегодня могут сформировать нормально действующую систему гражданского контроля над властью.

Власть устроена везде одинаково. Абсолютно убежден в том, что Уотергейтский скандал был возможен не потому, что Конституция Америки отличается от российской, а потому, что там существуют такие институты гражданского общества, как институт репутации, институт доверия, институционализированная система гражданского контроля над властью. У нас сын министра мог сбить женщину и после этого продолжать процветать вовсе не потому, что правовая система такая плохая, а изрядской начальник дорожной полиции ушел в отставку через 15 минут после того, как превысил скорость на пять километров в час, не потому, что такое поведение диспугуется юридической нормой, а потому, что существуют абсолютно непреодолимые институты в общественном сознании и в гражданском обществе, которые просто не позволяют поступить иначе. Когда на глазах всего мира убивали НТВ, в нашем обществе не нашлось ни сил, ни механизмов, чтобы этому противостоять, отсутствовала мобилизующая сила. Так что переменная свободы воли находится в обществе, а не во власти, которая суть константа.

Игорь Клямкин:

Игорь Александрович Яковенко говорил о том, что анализировать заведомо неправую систему в юридических терминах не очень корректно. И это так, если речь идет о системах типа советской, в которых верховная власть легитимизируется не юридически, а другими способами. Но М. Краснов пишет о системе институтов, в которой власть, в том числе и высшего должностного лица, легитимизируется именно юридически,

т.е. конституционно. В такой системе многое зависит и от того, какими конституционными полномочиями тот или иной институт наделяется. Более того, от распределения полномочий зависит и характер самой системы. Если мы возьмем Конституцию РФ, действовавшую до 1993 года, то она узаконивала иную систему, чем Конституция нынешняя. И я бы не решился утверждать, что различие конституционных норм никак не сказывается на политической практике. Хотелось бы, чтобы критика соответствовала объекту критики — в данном случае, тому, о чем говорится в статье.

Владимир Лапкин: «Не рванула на „революцию сверху“, власть провоцирует радикальную революцию снизу»

Позволю себе порассуждать о некоторых особенностях природы персоналистского режима. Оттолкнувшись от важного тезиса М. Краснова о том, что, стремясь «обезопасить себя от антидемократического рванула путем институционального гипертрофирования президентского поста, общество проедало другую опасность, создало все условия для всевластия бюрократии». Любопытно то, что ключевой термин *общество* в данном случае используется как в известной мере противостоящий *населению*, так называемому *электорату*.

Действительно, как мы помним, в ситуации начала — середины 1990-х годов угрозу антидемократического рванула содержал в себе лишь всенародно избираемый «олигархический» парламент, обладающий ресурсом демагогической апелляции к неразвитым политическим инстинктам постсоветских масс, от чьих «порывов», направляемых социальной демагогией против новых властно-собственнических элит, сформировавшихся в основном в ходе так называемой номенклатурной приватизации, и требовалось обезопасить «новое общество». Таким средством и стал гипертрофированный по своим полномочиям институт президентства. И именно «новое общество» выстроило под себя к середине 1990-х годов эту политическую систему.

Но вскоре система вошла в противоречие с интересами активной части более широких слоев населения, тех, кто в новых условиях принуждения к хозяйственной автономии получил определенные возможности для самореализации. В результате мы наблюдали на рубеже 1990–2000-х годов появление персоналистского режима нового качества, который обрел уже известные черты бонапартизма, понимаемого как режим, претендующий на представительство интересов не столько олигархии, сколько атомизированного мелкого частного производителя-предпринимателя на той стадии его развития, когда сам он еще не в состоянии обеспечить механизм собственной политической консолидации. Политическая незрелость этого нового общественного слоя, по сути, и санкционировала процессы форсированной «персонализации» президентской власти, реализующей закономерно в российской политической системе возможности и стремительно возвышающейся над всеми прочими политическими институтами, не контролируемые этим пришедшим в движение массовым «народным-российским» предпринимательством и потому непонятными ему и «бесполезными» с точки зрения его интересов. Об этой особенности природы нашего персоналистского режима стоит помнить всякий раз, когда мы пытаемся спрогнозировать его эволюцию.

Вместе с тем я хотел бы более внимательно рассмотреть условия формирования эффективной и устойчивой демократической системы. Проблема не сводится лишь к конструированию оптимальной институциональной структуры, обеспечивающей разделение и баланс властей. Решающую роль играет состояние общества и готовность его элит к диалогу и компромиссу при выработке политических решений, а это предполагает, соответственно, некий консенсус политической власти, бизнеса, гражданского общества, на основе которого формируются и Конституция, и институциональные формы политической демократии в стране. Но такой консенсус, в свою оче-

редь, может сформироваться лишь на основе уже сложившегося в обществе элементарного правового порядка, т.е. только тогда, когда авторитет права преобладает в сознании и практике общества над авторитетом власти или по крайней мере реально претендует на такое преобладание.

Эта правовая основа политического консенсуса, формирующего основы демократического режима, имеет, в свою очередь, необходимой предпосылкой укорененность в обществе отношений частной собственности, или института частной собственности, который выступает в этом случае основным средством общественной консолидации и интеграции, средством формирующего политическое сообщество общения.

Иными словами, выстраивается некая последовательность обуславливающих друг друга факторов, когда демократия формируется на основе политического консенсуса власти и структур самоорганизации бизнеса и гражданского общества, а этот консенсус, в свою очередь, складывается на фундаменте правовых отношений, возникающих по мере становления института частной собственности. Причем попытка выстроить верхние этажи этого здания, при отсутствии надежного фундамента, грозит сползанием и обществу в целом крупными историческими неурядицами.

Неспособность видеть эту проблему, этот фундаментальный изъян российского проекта модернизации ведет к тому, что формально правильные институциональные формы насаждаются в России, невзирая на сохраняющиеся вопиющие лакуны в правовом и частнособственничском обеспечении этой модернизации. Приведу два весьма характерных, на мой взгляд, примера. Это, с одной стороны, отсутствие до сих пор сколько-нибудь полноценных кадастров земли и недвижимости в стране, а с другой — стремительное распространение феномена рейдерства как практики использования институтов судопроизводства в условиях неправового общества. Примеры эти из сегодняшней практики, но проблема возникла не сегодня, более того, ее можно считать традиционной для России.

Так, в начале XX века в России один из основных социальных конфликтов был связан с сосуществованием общинно-передельных механизмов земельной собственности и формально-правового крупного частного землевладения. Симпатии тогдашней российской власти были, безусловно, на стороне последнего, в том числе и потому, что в нем выделась гарантия грядущего окончательного торжества принципа частной собственности на землю. Но роковое по своим историческим последствиям лукавство власти состояло в том, что, стремясь избежать обострения социального конфликта, она «другой рукой», или, как сказали бы сегодня, «в рамках проводимой социальной политики», длительное время поощряла общинно-собственнические илюзии крестьянства, пребывавшего в условиях катастрофического и все нарастающего аграрного перенаселения. Иные, более жесткие и рациональные решения аграрного вопроса, по существу, блокировались. Именно эта политика привела в конце концов к революционному решению проблемы. Иными словами, не решався на глубокую и последовательную «революцию сверху», власть спровоцировала радикальную революцию снизу. И, как мы помним, основу мобилизационного ресурса этой антирыночной и разрушающей отношения частной собственности революции составили протестные настроения крестьянства, ориентированные на уничтожение института частной собственности на землю.

Похожим образом можно интерпретировать и трансформации двух последних десятилетий. С середины 1980-х годов власть своей политикой опять же поощряла конфликтное существование двух протособственнических институтов. Одного, формирующегося на основе так называемой собственности трудовых коллективов — своего рода «передельных общин» подсоветского периода. И другого, формируемого теневыми практиками складывающихся отношений собственности, центрируемых

руководителями и администрациями предприятий и связанных с ними, так сказать «крышующих» их, структур патронажиста. Причем в данном случае позиция власти была не менее лукава, нежели в последние десятилетия правления Романовых. Ее интересы, конечно, определялись стремлением к приватизации государственности, но сделать это хотелось как-нибудь незаметно. В результате власть усиленно поощряла иллюзию справедливого распределения собственности между всем населением, что в конечном счете приобрело форму научерной приватизации. Последующее осознание ее содержания и ее итогов и сформировало нынешнее крайне негативное отношение значительной части населения к институционально-правовым основам новой собственности. В целом же проблема легитимации частной собственности в России за два последних десятилетия существенно усложнилась.

Были ли все эти процессы безальтернативны? Исторические альтернативы предполагают возможность принципиально иного выбора политических стратегий ключевыми акторами в критический момент развития. В какой мере российские политики обладали такими возможностями — вопрос сложный. Скорее, при крайне ограниченных ресурсах легитимности, они в первую очередь были озабочены собственным политическим выживанием, зачастую в ущерб потребностям модернизации общества.

Какова устойчивость и эффективность этой государственности и ее способность отвечать на современные вызовы? Разумеется, крайне незначительная, поскольку с этой точки зрения в России плохо все. И главная причина неоследовательности и «самобытности» форм текущего этапа модернизационного процесса — это 75 лет существования в условиях политического искоренения частной собственности и тем самым разложения естественных институтов социальной интеграции. В этом смысле проблема правового нигилизма населения России, равно как и ее бизнеса и ее власти, в том, что для торжества права нет необходимой естественной основы в виде повсеместно распространенных и освоенных в повседневной практике отношений частной собственности. Причем, как мне кажется, парадоксальность сегодняшней ситуации в том, что на низовом уровне готовность общества к принятию этого ключевого условия модернизации гораздо выше, нежели на уровне власти, где принцип неизблемости частной собственности вступает в непримиримый конфликт с общинно-передельными инстинктами ее многочисленных персонафикторов и всей ее постоянно разрастающейся бюрократической машины.

Традиционная, но сохраняющаяся до сих пор модель реализации власти в России, основанная на нерасторжимости власти-собственности, несовместима с господством частнособственнических отношений в обществе. Поэтому неколебимы монополии на потребительском рынке, поэтому не идут реформы ЖКХ, поэтому невозможно решить проблемы производительных инвестиций в условиях избытка нефтедолларов, поэтому крайне затруднена капитализация доходов. Иными словами, современный капитализм как таковой у нас в стране по существу не возникает и не функционирует. Отсюда и недоступность кредитов внутреннему потребителю, и неэффективность банковской системы в деле накопления и мобилизации капиталов. Поэтому, не имея устойчивых основ современного общества, Россия вряд ли может рассчитывать на эффективность своего государства.

Илья Шавлинский: «Доминирование „Единой России“ выглядит нелепо, но если она освоит свое политическое пространство, кто это займет?»

Я, как и М. Краснов, хрюст, поэтому мне удобнее вернуться к институциональным особенностям нынешнего российского политического режима, к той основе, с которой мы начинали и о которой идет речь в статье. Мне кажется, если вспомнить эти

особенности, будет легче перейти к вопросу об их возможной трансформации. Легче перечислить их в хронологическом порядке, хотя и логически они выстраиваются в той же последовательности.

Во-первых, необходимо отметить тихую ликвидацию условий для губительной критики власти. Это то, что постепенно стало происходить в 2000 году и что, на мой взгляд, является опаснейшей институциональной особенностью. Причем данная тенденция персонафицируется. Некоторые эксперты исчезли из эфира, и их заменили другие — в основном более или менее умело «подпевающие» власти, разными голосами, разными тембрами, но «подпевающие». Это, повторю, основное и самое опасное.

Во-вторых, была такая правовая комбинация, как ослабление роли Совета Федерации. Изменение порядка его формирования привело к ослаблению его роли, однако для меня это второстепенный фактор.

В-третьих, президент у нас получил право назначать глав регионов. Это на самом деле опасное сосредоточение власти в одних руках. Были приняты некоторые меры по ужесточению условий регистрации и функционирования политических партий, произошло ужесточение условий политической конкуренции. Эта тенденция показала себя в 1999 году на примере схватки двух «партий власти». В условиях раскола властной элиты уже тогда полное доминирование одной политической группировки в телеэфире выглядело уродливо.

Но в 2003 году стало еще хуже. Преференции стали носить подавляющий характер. Преференции для конкретной корпоративной силы — единой «партии власти», это в-четвертых. И это свело политическую конкуренцию к минимуму.

В-пятых, полное подчинение и размытое использование Генпрокуратуры в качестве политического инструмента. Да, отношения президента и прокуратуры носят у нас административный характер: вызывается прокурор, и перед ним ставятся задачи. С судебским корпусом — по-другому. Мы знаем, что на судей всегда можно давление оказать, не грубое, а мягкое, обволакивающее, так сказать, но настойчивое. И это достаточно эффективно.

Насколько все перечисленные фундаментальные, институциональные особенности режима были характерны для времени Бориса Ельцина? Мы с М. Красновым обсуждали этот вопрос. Скажем так: тогда тенденция обозначилась, теперь она проявилась в полной мере. Генпрокуратура стала рычагом президентской власти до Путина, и Борис Николаевич, в общем, стремился к этому. В 1994 году, когда Ельцин уволил Казанника без согласия Совета Федерации, я, поскольку работал замначальника Правового управления верхней палаты, обсуждал с Ю. Батуриным основание для того, чтобы отказать Совету Федерации принимать решение по этому вопросу. Мне сейчас не очень ловко за это. Лучше бы Казанника не уволили так, как его Ельцин уволил в январе 1994 года. И все же тот режим был другим, хотя некоторые тенденции наметились уже тогда.

Для развития каких из этих тенденций изменяются основания в Конституции? Прежде всего, для полного контроля президента над прокуратурой. Для всех остальных перечисленных мною институциональных особенностей непосредственной основы в Конституции нет. Зато есть простор для свободного правового творчества экспертов из референтной группы президента. Я прекрасно понимаю их политическую психологию. Они ощущают себя искателями некой «золотой середины», строителями новой государственности, и, думаю, в их сознании эта государственность и это государство — прав А. Зудин — обозначается как «государство развития». Они так видят, полагают, что перечисленные мною особенности и есть путь к «золотой середине». Кажется, что действительно юридический анализ тут вторичен и речь надо вести исключительно о политической психологии. Но этим ограничиться — значит распуститься в совершенном бессилии и свести все к пустому говорению.

Конечно, нравы мы не изменим. И вышеперечисленные особенности не вызвали у широкой общественности ни протеста, ни каких-то иных явно выраженных реакций. Они легко были восприняты политическим сознанием тех, кто голосует за статус-кво и «Единую Россию». Но я полагаю, что статья М. Краснова заставит — скажу словами В. Ланкова — все-таки поразмышлять над оптимизацией институциональной структуры, обеспечивающей взаимодействие, а не иерархию властей, чтобы как-то вернуть утраченное.

Да, доминирование «Единой России» выглядит нелепо, но если она освободит свое политическое пространство, кто его займет? Его займут партии, которые присылают мстить и делить, и не знаю, что для нас хуже. Поэтому имеет смысл говорить о конкретных институциональных усовершенствованиях, очень аккуратных, которые легче всего ухватить со сменой вех 2008 года.

Итак, что необходимо в первую очередь сделать для трансформации нынешней государственности в правовую? Думаю, можно сосредоточиться на том, о чем сказал И. Яковенко. Необходимо создать общественный совет по обеспечению контроля за использованием эфирного времени Первым каналом или каналом «Россия», например на основании федерального закона об общественном телевидении. Достижение этой локальной цели позволит добиться некоторого расширения информационного поля, создать площадки для оппонирования власти. Закон о средствах массовой информации вполне удовлетворителен, надо только развить заложенную в нем правовую базу. Если получится, это можно будет считать скромным шагом вперед.

Игорь Клямкин:

Завершен первый круг обсуждения. Мы пока не говорили о том, как нынешний режим трансформировать, а просто пробовали с разных позиций его описать и почти все сошлись на том, что он неэффективен и неустойчив. Значит, перед обществом рано или поздно встанет вопрос о его изменении, а перед самим режимом — вопрос о самозменении. Но как, в каком направлении и темпе институциональные перемены должны и могут происходить? М. Краснов описал много систем, сходных с российской. Все они отличаются от нее статусом и местом исполнительной власти, местом правительства. Следует ли России двигаться к этим моделям? Можно ли вообще формировать правительство, ответственное перед парламентом в такой ситуации, как наша, т.е. при слабости местного самоуправления и других институтов гражданского общества? И существует ли альтернатива такому варианту, движение к которому наметилось уже, если вспомнить о Молдове или Украине, и на постсоветском пространстве? Некоторые политики и аналитики предлагали в свое время заимствовать американскую модель. Насколько это перспективно?

Теперь что касается субъекта перемен. М. Краснов твердо стоит на том, что в сложившейся ситуации это может быть только президент. Хочу обратить внимание автора статьи на то, что это противоречит другому его тезису: какой бы президент ни был, институциональная система диктует ему жесткую логику поведения. Что заставит его вдруг вырваться за пределы этой системы, на какие ресурсы, на какую базу он будет опираться? И. Яковенко заметил, что народ как раз заинтересован в таком персонаже и в таком режиме, как нынешний. Так ли это? Давайте обсудим все эти вопросы.

Алексей Зудин: «Первым шагом на пути выхода из персоналистского режима станет ротация власти, хотя бы в управленческой форме»

Прежде всего хочу заступиться за институциональный анализ. Он принципиально правомерен и вдвойне правомерен применительно к нашей системе. Для описания российского общества японский политолог С. Хакамада использует метафору «общест-

во песка». Разумеется, как любая метафора, она основана на преувеличении и не вполне справедлива, поскольку мы знаем, что ростки гражданского общества у нас есть, но тем не менее данный образ имеет под собой рациональное основание. Так вот, в подобном рода ситуациях институциональный подход и неинституциональные стратегии как раз и дают повышенную отдачу. А если правовые нормы не срабатывают, не надо из этого делать вывод об их принципиальном бессилии, нужно просто обратить внимание на контекст. И если мы это сделаем, то, скорее всего, увидим, что никто всерьез не занимается правоприменением.

Л. Шенцова справедливо напомнила об особенностях нашего транзита — он был тройной, т.е. предполагал переход к рынку, переход к демократии и новое геополитическое самоопределение. К этому тройному переходу я бы добавил еще одну характеристику, которая позволит нам более реалистично оценить коридор возможностей для осмысленного движения. Давайте не забывать, что наш переход не только был тройным по степени сложности, он еще был навязанным. Это означает, что в момент перехода ни в обществе, ни в элитах не было большинства, которое бы этот переход поддерживало. В этом кардинальное отличие начальной фазы нашего перехода от «бархитных» революций, с которыми нас так любят сравнивать.

Хочу поддержать автора статьи и немного с ним поспорить. Действительно, когда перспектива перемен связывается с единственным действующим лицом, это приводит довольно тягостное впечатление. Вместе с тем Герман Длингенский в свое время высказал интересную мысль о лояности распространяемых среди политологов и социологов стереотипных представлений о повышенном коллективизме современного российского общества. Длингенский оценивал его как глубоко атомизированное и индивидуализированное. Это означает, что при отсутствии сложившихся коллективных акторов повышенное значение будет иметь индивидуальная инициатива. Добавим, что эта индивидуальная инициатива может проявляться в самых разных областях и на разных уровнях. Не только в попытках создания частных предприятий вопреки административным барьерам, но и в проектах политических реформ, которые соответствуют диффузным общественным запросам, но противоречат сложившимся интересам.

Еще один тезис в обоснование подхода М. Краснова. Мне кажется, что в ходе нашей дискуссии произошла некоторая подмена понятий: высшее политическое руководство постоянно отождествляется с бюрократией. Понятно, что оно на бюрократию опирается, это его естественная опора. Но когда ставится знак тождества между сверхэлитой и бюрократией — это, на мой взгляд, неверно, потому что интересы у них разные. Расхождение интересов обусловлено прежде всего особым положением в системе власти, которое занимает высшее политическое руководство. Положение сверхэлиты в самом центре системы власти сильно и, я бы сказал, принудительно расширяет кругозор и побуждает к действиям, ориентированным на более долгосрочную перспективу. Таким образом, реформа сверху в принципе возможна. Можно также указать и источник давления в сторону перемен.

Во-первых, это рыночная среда, которую никакое «государство развития» отменить не способно да и не собирается этого делать. Причем рыночная среда не только международная, но и, что бы ни говорили, внутри страны.

Во-вторых, фактор Запада. Политическая стратегия внешнего российского руководства во многом вытекает как попытка избежать двух крайностей, которые одинаково его пугают. Одна крайность называется failed state, когда Россия перестает быть игроком и на мировой арене, и внутри страны — она превращается в совокупность ресурсов, которые потребляют другие политические акторы, а высшее политическое руководство лишается привычной работы. Противоположная крайность — «государство-исгой». Оказаться в этой категории также неприемлемо. Политический

курс выстраивается как движение между этими полюсами. То есть Запад в качестве значимого фактора продолжает работать для политического руководства и как соперник, и как партнер. Вышеописанные действия, начиная с газового конфликта с Украиной, которые побуждали западную элиту в Давосе задуматься о России как о вызове и угрозе, на мой взгляд, связаны с ее попыткой вернуться в качестве активного игрока в мировую политику. Наша старая роль в 1990-е годы многих устраивала, к ней успели привыкнуть и не хотят позитивно воспринимать возросшую самостоятельность России. Как известно, из старой роли не выходит, из нее «выламываются».

Наконец, есть третий фактор. Он постоянно служит объектом презрительных комментариев и травматических переживаний, но тем не менее существует. Этот фактор — российский избиратель. Можно как угодно ограничивать политическую конкуренцию, но выборы все равно остаются единственным способом легитимации власти, а многопартийность — эталоном нормальной политики. Российский избиратель сохраняет положение «хранителя ключей» от власти. Он слаб, не уверен в своих силах, дезориентирован и дезорганизован. Он не доверяет институциональным посредникам, но продолжает оставаться привратником власти, а импульсы, которые от него исходят, сохраняют политическое значение.

Преимущественными возможностями для улаживания этих импульсов располагает именно сверхэлита — у нее больше мотивов, стимулов и ресурсов. Да, власть медленно, с трудом и буквально «на ощупь» формулирует новую политическую повестку, но оппозиция полностью продолжает жить десятилетиями. Теоретически, в случае дезинтеграции существующего политического режима, она может реально воспользоваться ситуацией, но для этого ей придется либо обмануть избирателя, либо возмещать повестку, формируемую властью. Нишкой новой повесткой, альтернативой той, которую медленно формирует власть, оппозиция в настоящее время не располагает.

На мой взгляд, первым шагом по пути выхода из персоналистского режима станет ротация власти, хотя бы и в управляемой форме. Потому что если этого не будет — не будет и ничего остального. Это определяющее условие для начала разрыва с персоналистским режимом.

Второй шаг — укрепление реальных стимулов для укоренения многопартийной системы. Создали пропорциональную систему, а она может работать по-разному. И не только в зависимости от высоты отсекающего барьера, но и по другим причинам. Скажем, многое будет зависеть от того, на каком варианте политического позиционирования в конечном счете остановится «Единая Россия»: будет ли она по-прежнему настаивать на «социальном консерватизме», гарантирующем сохранение фактической политической монополии, или переориентируется на «либерально-консервативную» политическую нишу и освободит больше места для других политических сил. Существуют и такие стимулы для развития партийной системы, как величина «приза» для ее участников. Я бы не делал никаких особых выводов из того, что «Единая Россия» лишила «сладкого сна» в лице правительства парламентского большинства. Движение в направлении партизанской системы власти будет происходить по той простой причине, что никакой внятной альтернативы ему не существует. Нынешняя система, расколотая по клановому принципу, функционировать не может. Так что партизанская власть — вопрос не принципа, а времени и скорости движения в данном направлении.

Потому третий логичный шаг — это появление партийных министров в беспартийном правительстве, и лучше всего, если они будут представлять не одну, а разные партии.

Последующие шаги, условно четвертый и пятый, более всего вероятны не в системе власти, а в системе отношений государства и гражданского общества. Они могут быть связаны с новой волной дерегулирования — я имею в виду делегирование гос-

полномочий саморегулирующимся организациям. Или с повышением дееспособности судебной системы, а именно совершенствованием ее возможностей обеспечивать адекватное правоприменение. Или с восстановлением реальных правовых гарантий для нормальной работы средств массовой информации. Но это, скорее всего, может стать реальностью только в среднесрочный период.

Игорь Клямкин:

Вы назвали предпосылки трансформации режима — рыночную среду, Запад и российских избирателей. Но на сегодняшний день ни по отдельности, ни все вместе эти предпосылки к трансформации не ведут. Более того, события развиваются в прямо противоположном направлении. Мы видим, что сейчас происходит с общественными организациями, со СМИ, несмотря на рыночную среду, фактор Запада и российского избирателя. К тому времени, когда эти факторы должны будут заработать по-новому, система может заостреть еще больше, ее инерционность усилится. Возможно ли будет повернуть ее в том направлении, о котором говорит А. Зудин? В расуждениях, по-моему, не учитывается та системная эволюция, которая происходит и будет происходить в оставшиеся до выборов два года. Насколько оправдан расчет на то, что после выборов произойдет какой-то поворот под влиянием тех объективных факторов, которые сейчас, повторю, почему-то не действуют?

Алексей Зудин:

Когда речь заходит об ограничении средств массовой информации, обычно справедливо говорят о действиях власти. Но был еще один фактор, и социологи его хорошо знают. К концу 1990-х годов СМИ разошлись с общественным мнением. Они все больше ориентировались на запросы достаточно узкого социального круга и оказались в политической изоляции. Кремлевские планировки ведут себя как «вершители судеб» не только из-за особенностей политической психологии: каждый — обязательно «Наполеон» — и действует без оглядки на обратные связи, коалиции и перемены. Существует и сложившаяся расстановка политических сил, которую мы совершенно не обсуждали. Ведь по каким-то причинам одни политические силы проиграли, а другие выиграли.

Есть и еще одна причина, которая, к сожалению, работает на модель трансформации персоналистского режима «сверху»: мы вступили в период слабых элит. Это произошло не столько по воле «великого и ужасного» В. Суркова и его политтехнологов, сколько в результате эволюции поддесоветских элит, их возросшего несоответствия общественным запросам. Если мы посмотрим, как ведет себя власть по отношению к элитам, то увидим, что она действует во многом в тех рамках, которые заданы общественным мнением. Не всегда, но во всем, но во многом.

Кремлевский агитпроп не столько производит какую-то оригинальную политическую продукцию, сколько «индуцирует» уже существующие тенденции и настроения. Сигналы из общества он улавливает достаточно чутко, потому что в противном случае все его политические проекты оказались нежизнеспособными. Неорганизованное российское общество обладает не только символической силой «привратника», оно осталось, пожалуй, единственной автономной политической силой в персоналистском режиме. Все это придает реальность фактору, который носит название «российский избиратель». Именно как доказательство реальности этого фактора следует рассматривать массовые протесты против монетизации льгот в начале 2005 года. Совокупность упоминавшихся мною факторов: рыночная среда, Запад и российский избиратель — не позволит укрепляющемуся государству снова «покрыть» российское общество и будет подталкивать персоналистский режим к постепенной децентрации власти после 2007–2008 годов.

Лидия Шевцова: «У меня нет сомнений в том, что Россия обречена на кризис бюрократического авторитаризма»

Прежде всего, мне хотелось бы прокомментировать то, что А. Зудин сказал о роли Запада. Попутно хочу попросить И. Климкина собрать группу аналитиков, чтобы обсудить, влияет ли западное сообщество на процессы, происходящие в России, и если да, то каким образом. А сейчас ограничусь лишь некоторыми соображениями.

Западное сообщество расколото в своем отношении к российской трансформации. Меньшинство на Западе, если речь идет о политических кругах, бизнес-элите и транснациональных корпорациях, придерживается точки зрения на Россию, которую можно охарактеризовать так: трансформация элиты через интеграцию. Это означает следующее: мы вас интегрируем в наши структуры и будем надеяться, что эта интеграция приведет к вашему изменению. Эта часть Запада еще недавно надеялась, что по мере интеграции в западное сообщество российская элита сможет принять либерально-демократические правила игры.

Вторая, более массовая часть западной элиты говорит по-другому: сначала трансформация, а затем интеграция. Это означает, что Запад считает необходимым подождать, пока Россия решит свои проблемы, трансформируется, и только после этого начнет думать о том, чтобы реально интегрировать Россию.

Есть и третья группировка, которая, к моему сожалению, расширяется и серьезно влияет сейчас на конкретную политику западного сообщества в отношении России. Позиция этой группы такова: давайте законсервируем нынешнее положение на некоторое время, пока Россия не созреет для нового витка реформ. А еще лучше — дистанцируемся от нее. Эта группа начинает требовать более жесткого давления на российскую власть, вплоть до исключения России из «Восьмерки». Думаю, что такой подход, который ведет к маргинализации России, может только усилить в самой России авторитарно-бюрократический кризис. Как бы то ни было, в последнее время Запад, и в первую очередь США, начал довольно серьезно давить на Россию по поводу Закона о неправительственных организациях. Это фактически первая попытка за последние 15 лет вмешаться в кремлевский механизм осуществления внутривнутриполитических решений с целью предотвратить принятие решения, которое, по мнению западного сообщества, может ограничить не только возможности российского гражданского общества, но и возможности самого Запада влиять на Россию.

Есть и другой индикатор, который покажет, в какой степени Запад готов оказывать влияние на политику российской власти. Я говорю о Грузии, Украине и Беларуси. Отношение Кремля к этим государствам является источником беспокойства на Западе. В случае с Грузией и Украиной западные правительства опасаются попыток России вмешательства во внутреннюю политику этих стран с целью поддержки про-российских сил. В случае с Минском Запад обеспокоен поддержкой Москвы режима Лукашенко, который считается в Европе единственным политиком-изгоем. Смогут ли западное сообщество повлиять на содержание российской внешней политики по отношению к упомянутым странам, мы увидим уже в ближайшие два года. Как показал «газовый конфликт» между Россией и Украиной в конце 2005 года, именно постсоветское пространство, скорее всего, станет полем напряженности между Россией и Западом.

А теперь мне хотелось бы прокомментировать прозвучавший термин «оптимизация» в отношении российской системы. Честно говоря, сомневался в том, что ее оптимизация действительно возможна. Не исключаю, что любая попытка такой оптимизации, т.е. реформирования российской системы, в конечном счете сведется к частичному ее обновлению без изменения сущности либо к откровенной и осознанной имитации реформирования. Я лично считаю, что российскую систему нельзя

оптимизировать, т.е. ее нельзя реформировать ни по частностям, ни по блокам, а можно только реструктурировать как совокупность, как целое, изменив ее матрицу — основные принципы ее построения.

Что касается формулы «выхода», т.е. того, как реструктурировать российскую систему и кто может стать субъектом этих усилий, я полностью согласна с М. Красновым в том, что нынешняя политическая и конституционная конструкция блокирует все реформы. Но учтем и то, что одновременно эта несущая конструкция задает тон либо делает неизбежными изменения через кризис». Очевидно, мы должны это осознавать и, как аналитики, должны быть готовы реагировать на возникновение системного кризиса, понимать, через какие этапы он должен пройти и каковы его возможные последствия.

У меня уже нет сомнений в том, что Россия обречена на кризис бюрократического авторитаризма. И самое главное в нашем скатывании к этому кризису — предотвратить переход к еще более традиционалистской системе. Я полагаю, что первой стадией будущего системного кризиса будет кризис гибридности. Я имею в виду кризис той достаточно противоречивой модели, в которой заложены несовпадающие векторы, в том числе и либерально-технократическая составляющая. Именно наличие в нынешней российской системе либерально-технократической составляющей (либерал-технократы в правительстве, использование властью либеральной риторики) как части гибрида, по существу, препятствует попыткам реформирования этой системы и создает иллюзии относительно ее реальной сущности.

Что станет толчком к этому кризису? Сочетание разноплановых явлений: падение цен на нефть, техногенные катастрофы, увеличение разрывов в доходах, повышение тарифов на жилье и т.д. Но, кроме появления признаков социального недовольства, кризис предполагает и неспособность правящей элиты к контролю за ситуацией. Если в обществе не окажется сил, способных предложить модернистское видение выхода, не исключено, что кризис гибридности приведет к повальному гораздо более одноцветному, жесткому национал-популистскому режиму власти. И в этом случае лишь следующий кризис режима, возможно, создаст условия для либерально-демократической трансформации, о которой говорит М. Краснов в конце статьи.

Автор рассматривает основной субъект власти — возвышающегося над обществом президента, как возможный инструмент для обновления. Он считает, что персонализм должен стать средством разрушения персонализма. Но опыт мировой трансформации свидетельствует, что такая модель выхода оказывается успешной исключительно редко. Можно назвать несколько стран, в частности Испанию, где лидер, вышедший из авторитарной системы, осознал ее исчерпанность и создал условия для ее дегерметизации и переводу в демократический цикл. Но это может произойти только в том случае, если, во-первых, лидер не несет ответственности за исчерпанную себя систему, т.е. не он был ее создателем; во-вторых, наличие все признаки исчерпанности системы и недовольство ею как сверху, так и снизу. Горбачев тоже начал медленно «открывать» советскую систему, не будучи ответственным за ее создание и не желая ее обвала.

Практически все успешные трансформации авторитарных и тоталитарных обществ включали в себя следующие элементы: трансформационный лидер, который приходит к власти в момент кризиса системы с ощущением своей миссии; фрагментация правящего класса, выделение из него прагматиков, готовых к реформированию; давление снизу в виде протестного движения. Только эта «трехчленка» может привести к успешному выходу из прежнего режима. Во всяком случае, я не знаю ни одной успешной и необратимой трансформации при наличии лишь одного элемента этой схемы.

Для меня основная гарантия в процессе структурного реформирования бюрократически-авторитарной системы — это верховенство закона. Мы уже видели, к чему свелась российская трансформация, которую сами либералы и демократы восприняли как преимущественно выборы. Любое искусственное вычлечение одного принципа либеральной демократии и игнорирование остальных элементов и принципов неизбежно ведет либо к появлению имитации, либо к деформации демократии, что почти одно и то же.

Теперь несколько слов по поводу преимуществ парламентско-президентской системы. Существующий мировой опыт доказывает, что смешанная система создает больше возможностей для учета разнообразных интересов общества и менее болезненного его продвижения к новым стандартам, для консолидации демократии и обеспечения гарантий ее необратимости. Хотя в то же время становится более осязаемой угроза популистских поворотов, особенно в ходе экономической реформы, она все же относительно невелика в сравнении с рисками, которые возникают в рамках президентской системы, работающей по принципу «победитель получает все».

Любую систему нужно встраивать в контекст страны. У нас есть печальный опыт функционирования смешанной системы в 1991–1993 годах. Правда, тогда речь все же шла о несвязующихся фрагментах разных исторических эпох и институтах, которые претендовали на монополию власти. В любом случае Россия придется выходить из суперпрезидентства, которое, как доказал М. Краснов, и с политической, и с конституционной точек зрения блокирует модернизацию общества.

В каком направлении нам двигаться? Какая форма властвования и какой политический режим окажутся в российских условиях наиболее эффективными, если говорить об интересах модернизационного проекта? Можно только приветствовать идею М. Краснова относительно премьерско-президентского режима, пусть необязательно повторяющего французскую модель. Можно рассмотреть и вариации португальской либо финской модели смешанных режимов власти, доказавших свою эффективность. Мне очень близка идея дуализма лидерства и распределения обязанностей между президентом и премьером, которое должно предотвратить авторитаризм власти. Но в таком случае мы должны подумать и о том, как избежать другой угрозы — распыления ответственности и воспроизводства безответственности, перетягивания каната между премьером и президентом, особенно если окажется, что они будут членами разных партий. При размышлениях о новой политико-правовой конструкции нужно думать о том, как создать эффективный механизм взаимосвязи между выборами, партиями, правительством и президентом, причем выстраивая ее снизу, а не сверху, как сейчас. Однако в этой связи у меня возникает следующий вопрос, возможно риторический, которым я и завершу свое выступление.

Давайте взглянем на те процессы, которые происходят с мировой политикой и ее основными атрибутами. Кажется, Кардозо был первым, кто заявил, что старая политика себя исчерпала и наступает время новой политики. Он имел в виду, что политика, основанная на традиционных институтах — партиях, парламенте, выборах, начинает устаревать. Об этом свидетельствует кризис европейской модели политического развития, когда европейские партии, представленные в Европарламенте, проголосовали за европейскую конституцию, а лоббистские группировки регионов, органы самоуправления, представители СМИ выступили против нее и убедили в этом население в целом ряде стран, включая Францию. Обратим внимание, что медиа, локальные сообщества могут быть гораздо эффективнее в продвижении своих интересов, чем партии. Так вот, мой вопрос: должны ли мы, размышляя о новой российской системе, повторять традиционный цикл XIX–XX веков, по которому шли либеральная демократия, либо следует учесть и новый зарождающийся опыт, в первую очередь опыт европей-

ской политики? В таком случае гражданское общество, экологические организации, Комитет солдатских матерей, Союз журналистов и другие подобные организации населения могут оказаться важнее, чем партии в сфере представительства интересов.

И последнее. И. Шаблинский поднял очень интересную проблему, которая связана с темой нашего обсуждения. «Единая Россия» действительно «своим брюхом» лежит на той массе населения, которое готово проголосовать за «Родину» либо другую национал-популистскую силу. Точно так же и президент Путин и его команда сегодня не дают прийти к власти гораздо более жесткому авторитаризму. Все это так. Но мы понимаем, что чем больше «Единая Россия» заполняет политическое пространство, тем больше угроза того, что население, устав от «партии власти», будет поддерживать экстремистские силы. Чем дольше нынешняя команда сидит в Кремле, тем сильнее угроза, что она будет стимулировать запрос на более агрессивный тип авторитаризма. Тем более что политическая конструкция толкает к такому сценарию: при гибридной системе, если страна не идет вперед, к демократии, то она неминуемо откатывается назад.

Глебов Серафим: «Единственный обнадеживающий фактор состоит в том, что спрос на демократическую альтернативу по-прежнему существует»

Перспектива демонтажа персоналистского режима представляется мне вполне реальной. Даже если нам предстоит иметь дело с преемником Путина, у которого будет единственная квазилегитимность, а именно сам Путин, то все равно он вынужден будет Путина отрицать в поисках новой легитимности. Точно так же как Хрущев должен был отрицать Сталина, в результате чего последовала оттепель, а Горбачев — Брежнев и застой, после чего опять наступила оттепель. При этом каждый из них не понимал последствий своего отрицания и последствий этой оттепели, они только реагировали на сложившуюся до них ситуацию.

Игорь Клявин:

Если Путин уйдет при 70-процентном рейтинге, то зачем преемнику его отрицать?

Глебов Серафим:

Чтобы утвердить себя. Не более того. Сценарий оттепели как инструмент поиска новой легитимности после отрицания предшественника использовали чуть ли не все наши цари — каждый новый царь поначалу пытался ввести послабления для какой-нибудь группы. При Хрущеве это были одни группы, при Горбачеве — другие. Аналогичные процессы — с поправками на время — будут, возможно, происходить и после Путина. Я говорю про планый сценарий при стражающем, управляемом наследовании режима. Но такой тип наследования может приводить и к сценариям дестабилизирующим.

Для этого в России уже есть основания, потому что в стране растет средний класс. В такой большой стране, как наша, затормозить этот рост принципиально невозможно, это неконтролируемо. Средний класс начинает организовываться с фантастической скоростью и с не меньшей скоростью — политизироваться, потому что его неуспехи в решении своих проблем посредством самоорганизации неизбежно приводит его к политизации. Я наблюдаю разные такие группы, которые на три порядка эффективнее тех, что были 15 лет назад. Например, прагматики-менеджеры с отличным знанием всех современных технологий и с очень жесткой реакцией на происходящее, потому что они уже реально владеют собственностью среднего размера, за которую люди перегрызают слотки. Это все, повторю, развивается непредсказуемо и может вылиться как в фашизм, так и в демократию — шансы пока назову равными, потому что они непонятны.

Единственный обнадеживающий фактор состоит в том, что спрос на демократическую альтернативу по-прежнему существует. Как ни странно, он не уменьшается.

Уменьшился спрос на тех, кто пытается ее имитировать. Таких людей посылают куда подальше, но не нужно это выдавать за кризис идеи либерализма и демократии в стране. Его нет. Точнее, нет кризиса спроса, а есть лишь кризис предложения. И с этим надо работать.

Игорь Яковлев: «Имитация демократической модернизации придет только из общества, где нет ни „вертикали власти“, ни „системы назначений“»

Мне кажется, все-таки надо договориться насчет метода анализа. Во-первых, я по-прежнему возражаю против сведения институционального подхода к правовому, это неправильно. Поэтому я и говорил о необходимости дополнить правовой анализ, который имеет право на существование, другими методами, в частности социологическим. Во-вторых, сами правовые нормы начинают работать только тогда, когда на что-то опираются. Сами по себе они не работают. А опираются они не только и не столько на насилье, сколько на упругую среду гражданского общества. Если такая среда, которая проваливается прежде всего в том, что люди обращаются в суд, объединяются в какие-то корпорации, в значительной степени автономные, способные себя защищать, — если такая среда существует, то в этом случае работает и закон. Только так и не иначе.

Один пример. У нас лучший в мире на сегодняшний день закон о средствах массовой информации. Поэтому, когда говорят о том, что нужна правовая защита свободы СМИ, я просто не понимаю, о чем идет речь: у нас, повторяю, лучший в мире закон о СМИ, это показывает экспертный анализ с участием ведущих зарубежных экспертов. Чего еще желать? Да, нужна регуляция в области телевидения, нужен закон об общественном телевидении, но с точки зрения базовых законов ничего лучшего во всем мировом законодательстве нет. Так почему закон не работает? Потому что не опирается на упругую среду гражданского общества.

Если же говорить о необходимости правового анализа в целом, дефицит которого ощущается, то напоминаю М. Краснову, что за ним остался долг с момента нашей совместной работы над проектом «Конституционное обустройство России». Мы тогда установили, что одна из фундаментальных проблем России заключается в том, что это самая гетерогенная в мире страна. Разница между двумя субъектами Российской Федерации по всем показателям огромна. Вы не найдете двух европейских стран, которые больше бы отличались друг от друга, чем, например, Калмыкия и Пермская область. Отсюда резкие колебания исторического маятника: от унитарии до конфедерации. То у нас абсолютно унитарная страна, какой был Советский Союз, то маятник молниеносно проскакивает уровень федерализма, и мы «попадаем» в конфедерацию. Это проблема, которая действительно нуждается в решении, в том числе и методом правового анализа.

Факторы, о которых говорил А. Зудин, — рынок, Запад и избиратель, безусловно, не являются константой. Но если сейчас они действуют именно так, то почему завтра они должны начать действовать таким образом, чтобы уменьшить степень авторитарности нашего режима и изменить его персоналистский характер? Тем более что каждый из этих факторов проявляет себя неоднозначно. В частности, Запад частично готов интегрировать нашу элиту, но не готов интегрировать Россию в целом.

Г. Сатаров говорил, что следующий президент будет отрицать нынешнего. Да, он обречен на такое отрицание, это совершенно очевидно, но от чего именно он будет отказываться, что именно будет отрицать в сегодняшнем Путине? Будет ли он рубить остатки демократии и двигаться дальше в сторону персоналистского режима более жесткого толка, или он будет рубить некоторые конструкции персоналистского режима? Кто ему вектор задаст?

Михаил Краснов:

Мы, аналитическое сообщество.

Игорь Яковинко:

Степень автономности экспертного сообщества за эти годы резко уменьшилась, равно как и его роль и влияние на политическую элиту. И состав советников существенно изменился в Администрации президента, и структура самой администрации изменилась, и роль этих советников в Думе и в политических партиях тоже изменилась. Их вытеснили, подобно тому как в СМИ произошло вытеснение журналистики политтехнологиями. Так что эта гипотеза не представляется мне убедительной.

Людмила Шапкова:

На трансформацию режима может повлиять обвал нефтяной цены.

Игорь Яковинко:

Может быть. Но это не очень предсказуемая вещь. Я не слышал точных прогнозов, когда это «счастье» с нами произойдет. Это может случиться завтра, а может — через двадцать или тридцать лет. Поэтому эта гипотеза мне неинтересна, во-первых, в силу моего глубочайшего дилетантизма в данной сфере, а во-вторых, потому, что это не случится в ближайшее время.

Мне представляется, что искомой точкой роста может быть только гражданское общество. Оно развивается по своей внутренней логике, которая в правовой системе не работает, потому что там в нее вмешиваются, там низкая степень автономности. Между тем в системе гражданского общества существуют достаточно автономные образования. Вот вдруг автомобилисты объединяются, и не стоит над этим смеяться. Речь идет о реальных и совершенно неожиданных поворотах, которые являются фундаментом и внутренним источником преобразований, поворачивающих судьбы народов. Источники, конечно, бывают разные. Иногда это изменение внутри религии, чему масса примеров и что проанализировано в истории социологической мысли. Иногда это изменение, допустим, в СМИ, дающее толчок всему обществу, — таких факторов тоже немало. Но это могут быть и автомобилисты, и профсоюзы, и солдатские матери, которых достанет наша армия. Приходится слышать: с чего вдруг они начнут самоорганизовываться и действовать? Всерьез заденет — начнут.

Людмила Шапкова:

А нужно, чтобы задело?

Игорь Яковинко:

Нужны два обстоятельства. Во-первых, нужно, чтобы бюрократическая система совершила то количество глупостей, на которые она обречена, будучи лишеной способности к прогнозированию, и которые рано или поздно заденут огромные массы людей. Во-вторых, нужны усилия по структуризации гражданского общества. Ничего не делается само. Я могу сослаться на пример самоорганизации медийного сообщества. Точками его кристаллизации могут быть самые разные вещи, роль исторической случайности свободы воли социально-политического электората здесь фантастически велика. Если бы в 1998 году я не создал национальную тиражную службу, которая сертифицирует тиражи, ее бы не было до сих пор, это я точно знаю.

Аналогичным образом, точки роста, точки кристаллизации структур гражданского общества могут быть разбросаны по всему социальному полю, и где именно произойдет концентрация социальной энергии, как она повлияет на будущего преемника

Путина и в каком направлении заставит его действовать — это я предсказать не могу. Но я убежден в том, что источником и стимулом перемен может быть только то, о чем я сказал.

Что же касается деградации политических элит, то это рукотворный процесс. Есть исследования, которые это подтверждают. Была проведена тотальная зачистка целого ряда полей. Создан политический лифт, поднимающий наверх антиэлиты, т.е. лифт, работающий от кнопки «плохая репутация». Происходит отбор антиэлиты, в среде которой не могут инцидироваться модернизационные инновации. Поэтому точка роста находится за ее пределами. Импульсы демократической модернизации придут только из общества, где нет ни «вертикали власти», ни процедуры назначений: солдатских матерей не назначают. Такие импульсы могут быть и во властных структурах, но там они отторгаются. Это мертворожденные структуры, которые не являются точками роста.

Людмила Шевцова:

Как же этот импульс приведет к реорганизации системы?

Игорь Яковенко:

Есть два сценария, и они известны. Мне незнакома теория управляемого социального взрыва, и я не хочу рассматривать сценарий такого взрыва именно потому, что не знаю, как им управлять. Что касается другого варианта, то речь идет о создании более или менее нормального политического рынка. Когда существует элесторальный рынок, тогда любой политик должен будет прийти к автомобилистам, к солдатским матерям, в профсоюз, в Союз журналистов, т.е. прийти к владельцам голосов и сказать, чего он хочет, а также услышать то, чего от него требуют. И это реальная перспектива не пятидесяти, а ближайших пяти лет. Это возможный сценарий, потому что здесь есть точка роста. Если же общество останется атомизированным, тогда наиболее реальная сценарии — либо воспроизводство ухудшенного варианта персоналистского режима, либо социальный взрыв.

Игорь Клямкин:

Все сказанное И. Яковенко представляется мне очень важным. По крайней мере, просматривается перспектива, которую, кстати, чувствует и персоналистский режим. Чувствует и пытается заблокировать, причем не только посредством давления на гражданские организации, но и посредством создания имитационных структур гражданского общества, подконтрольных режиму. Более того, во власти и обслуживающих ее пропагандистских институтах появляются люди, готовые поддерживать спонтанную низовую активность тех же автомобилистов в их протесте против несправедливого судебного решения. Но делается это для того, чтобы не допустить вмешательства гражданских организаций непосредственно в сферу политики. То есть не для того, чтобы осуществлять трансформацию персоналистского режима, а для того, чтобы сохранить его, представив вполне совместимым с гражданским обществом.

Владимир Лапкин: «Определенный „откат назад“ — это наиболее реалистичный вариант политического развития России в обозримой перспективе»

Я начну с тезиса о неустойчивости и неэффективности персоналистского режима, что было отмечено И. Клямкиным в самом начале обсуждения. Но если этот режим неустойчив, то он обречен на перемены. При этом качество предстоящих изменений остается под вопросом, а возможность улучшений в процессе такой трансформации представляется неочевидной. Что же тогда придет на смену нынешнему персоналистскому режиму?

В связи с этим не могу согласиться с утверждением А. Зудина, что наша бюрократия — это такой инструмент в руках власти, который имеет чисто функциональное значение. На мой взгляд, бюрократия и есть ключевой общероссийский политический институт согласия, который сейчас интенсивно набирает силу и становится решающим в процессах выработки политического компромисса во властной элите. Он формируется как вполне очевидная конкурирующая альтернатива проектам самоорганизации в рамках структур гражданского общества или в рамках бизнес-структур мелкого и среднего уровня. Во второй половине 1990-х годов казалось, что такой альтернативы уже не существует, что все это в прошлом, что бюрократия никогда уже не будет претендовать на роль демиурга российской политики. Но вскоре после прихода к власти нового президента и экспертное сообщество, и широкая публика «неожиданно» обнаружили: то, что, казалось бы, ушло в прошлое, возвращается. Перспектива движения по пути властно-бюрократической консолидации общества представляется с каждым годом все более реальной, а структуры, напрямую олицетворяющие власть бюрократии, становятся главными игроками на российской политической сцене. Это возвращение бюрократии на первые роли в политическом процессе и является для меня самым сильным доводом в защиту тезиса о реальности ее (бюрократии) претензий на роль ключевого института политического согласия в сегодняшнем российском обществе.

Каким в этой новой ситуации окажется итоговый выбор интенсивно растущих сегодня структур мелкого и среднего бизнеса? Станет ли таким выбором политическая консолидация под колпаком властвующей бюрократии федерального или регионального уровня? Либо, заведомо бросая вызов бюрократии, бизнес предпочтет стратегию формирования автономных структур политической самоорганизации?

Это очень серьезный вопрос с точки зрения перспектив российской политической жизни, и основная политическая игра идет сейчас именно на этом поле. Нет никаких сомнений в том, что в интересах российской властвующей бюрократии — блокировать всякое движение к правовой государственности. Альтернативой этому для страны является самоорганизация тех самых слоев среднего и мелкого предпринимательства. Их сверхзадача, если временно отстраниться от вопроса о ее реализации, заключается в том, чтобы последовательно отстаивать свои права собственности и двигаться к легитимации и даже кодификации сложившихся практик владения.

Но проблема в том, что затянувшиеся и крайне непоследовательные постсоветские социальные трансформации сформировали не очень благоприятные условия для того, чтобы право собственности получало активную поддержку в обществе. Особенно с учетом нарастающего давления на эти процессы со стороны бюрократии. Казалось бы, мы имеем дело с естественным, достаточно длительным процессом постепенного, но чрезвычайно глубокого социального изменения. Исторические механизмы такой трансформации хорошо известны. Но, как показывает исторический опыт, наиболее эффективные и форсированные изменения обусловлены, как правило, внешним принуждением к этой самой трансформации отношений права и собственности.

Если говорить о России, то очевидно, что ни в 1991 году, ни сейчас, ни в ближайшем будущем условий, необходимых для реализации такого форсированного варианта, не было, нет и не будет. Поскольку условия реализуемости такого варианта требуют, во-первых, недвусмысленного геополитического поражения той страны, в отношении которой осуществляется принуждение к трансформации; во-вторых, столь же недвусмысленной решимости мирового лидера на долговременные и последовательные усилия и значительные ресурсные вложения в проект такой трансформации; и в-третьих, гораздо большей внутренней готовности объекта принуждения к предстоящим преобразованиям, чем это было и имеется сегодня в России.

Людмила Шевцова:

Все эти предпосылки существовали в свое время в Японии.

Владимир Лапкин:

Япония действительно уникальный случай ранней и в целом вполне успешной модернизации, осуществленной не на западноевропейской социокультурной основе. Японское общество оказалось внутренне подготовленным к такой трансформации, и после 1945 года внешней администрацией осталось «всего лишь» осовременить институциональные формы в политической и экономической сферах, которые успешно прижились и стали основой послевоенного «японского чуда».

Если же вернуться к России, то наиболее вероятный, с моей точки зрения, вариант развития событий, тот, о котором говорила Л. Шевцова. Я говорю не о желаемом, а об имеющем наибольшие шансы реализоваться. Выход из нынешнего стратегического кризиса российского политического развития, скорее всего, возможен лишь через некий этап частичной (надеюсь, не тотальной) деструкции сформировавшихся в последние 15 лет демократических институтов. Мне кажется, что такой вариант развития (через определенный «откат назад») надо рассматривать как наиболее реалистичный. Не в смысле полной покорности неизбежному, напротив, он позволит проанализировать и понять причины деструктивных тенденций развития страны и возможные механизмы их сдерживания, а также выявить точки роста политической субъектности, способной в будущем сформировать более эффективные стратегии российской модернизации.

Причину неизбежности и, по существу, необходимости такой эволюционной паузы в российском развитии я вижу в том, что ни существующий политический режим, ни его радикально настроенные оппоненты не готовы к преодолению нынешнего политического кризиса, более того, нечувствительны ко многим его симптомам и безразличны к пораздающим его социальным противоречиям. При этом первый практически не способен к качественному улучшению, а второй явно преуменьшают свою способность управлять революционной стихией, на мобилизуемый потенциал и сокрушительную мощь которой они рассчитывают.

В этом отношении очень поучителен, на мой взгляд, опыт «оранжевой революции» в Украине. Идеализм ее массовых участников все более уходит в тень, а неприглядные прагматические последствия все более проявляются. И самое главное, не происходит принципиального улучшения качества политического класса Украины. Это очень плохой признак. Структуры, самопроизвольно возникшие в ходе «оранжевой революции», так и не смогли добиться реального политического представительства. Сплоченность политического класса, сформировавшегося в первое постсоветское десятилетие на основе принципов олигархического правления, оказалась несокрушимой. Это не только украинская политическая драма, это очень плохой симптом и для России.

Игорь Клямкин:

При анализе системных трансформаций не исключена опасность попадания в ловушку объективизма. Ведь всегда есть возможность доказать, что трансформация системы — в том виде и с теми результатами, какие хотелось бы получить, — невозможна. Строго говоря, при таком подходе не остается места для логики целенаправлений, для акторской логики. Если бы люди могли просчитывать заранее все «неприглядные последствия» своих действий, то не было бы в мире никаких революций, в том числе и княжеской «оранжевой». У нас получается, что лучше бы этой революции не было вообще. Но как вы тогда себе представляете трансформацию систем и роль в этой транс-

формации визовой активности? И надо ли понимать так, что для Украины было бы лучше, если бы она вместо Майдана пережила «этап частичной деструкции демократических институтов» и «откат назад»?

Владимир Латкин:

Еще раз повторю, значение «оранжевой революции» колоссально для России и очень важно именно потому, что это историческое событие дает уникальный опыт глубокой институциональной трансформации политической системы, сложившейся в постсоветский период. Значение этой попытки, этого уникального социального эксперимента трудно переоценить. Тем более что этот опыт по многим параметрам может быть использован при моделировании процессов политической трансформации в России. И не только может, но и должен быть использован. И очень хорошо для России, что Украина прошла по этому пути первой, взялась испытывать на себе рискованные технологии и практики такого рода.

В то же время мне представляется, что искусство политического целеполагания и целодостижения отнюдь не сводится к спонтанному принятию волевых решений. Всякий раз политическое действие предваряется неким мысленным экспериментированием и моделированием ситуации. И «оранжевая революция» предоставляет отличную возможность уточнить ограничения и инварианты социально-политических трансформаций на постсоветском пространстве. Потому что всякое разумное, осмысленное действие возможно только тогда, когда есть адекватное представление о граничных условиях и коридоре возможностей. В этом смысле опыт «оранжевой революции» проанализирован пока что явно недостаточно.

Игорь Клямкин:

Если бы можно было все заранее просчитать и смоделировать, то «оранжевой революции» не было бы. Если бы люди знали, что будет происходить потом, они не стали бы сутками на площади. Но тогда не удалось бы добиться и того частичного результата, которого они добились, — утверждения демократической процедуры выборов. Трансформация систем снизу иначе и не происходит, кроме как через идеализацию частичных целей, через иллюзии относительно их универсальности.

Илья Швагинский: «Необходимо создание новой консолидированной демократической партии»

Я предпочитаю оставаться в рамках реальных возможностей. Во-первых, реально возможно, как я уже говорил, создание общественного совета по использованию эфирного времени государственными телевизионными каналами, вещающими на определенной частоте. Есть мировые стандарты, скажем стандарт Би-би-си, которые, пусть не в полной мере, могут быть использованы. В формировании этого совета должны принять участие все крупнейшие политические силы.

Второе. Никакие законодательные инициативы не помогут в преддверии 2007–2008 годов, если не будет создана сила, способная реализовывать некоторые подразумеваемые идеи. Необходима новая консолидированная демократическая партия. Ее созданием занимаются многие опытные люди, пока у них получается плохо, но есть и некоторые локальные успехи, например формирование единого демократического списка на выборах в Московскую городскую думу. На мой взгляд, лучше создать совсем новую партию на основании всех имеющихся — нужны новые идеи, новые бренды, новые лица. Если к 2007 году такая партия не будет создана, на что тогда сетовать?

Игорь Клямкин:

Подводя итоги дискуссии, хочу сказать, что между участниками обсуждения не обнаружилось существенных разногласий в оценке российской политической системы и персоналистского режима. В то же время они разошлись в оценке темпов и способов трансформации, равно как и в представлениях о возможных субъектах последней.

Михаил Александрович Краснов просил предоставить ему возможность присутствовать на обсуждении, активно в нем не участвуя. Он намерен изучить стенограмму и подготовить развернутые ответы на прозвучавшие замечания и предложения. Я бы просил его более обстоятельно представить свой проект институциональных изменений. В обсуждавшемся тексте проведена информация о том, как устроены президентско-парламентские системы в других странах, показано их сходство с российской системой, как и отличия от нее. Однако каким мог бы быть оптимальный вариант политической системы именно для России, автор статьи не говорит, ограничившись предельно общим соображением о необходимости создания правового государства, где в законодательстве участвуют разные субъекты. Михаил Александрович обещал представить детальный проект реформирования персоналистского режима, и я надеюсь, что вскоре мы сможем с таким проектом ознакомиться. Думаю, было бы также полезно, если бы автор, с учетом высказанных здесь критических замечаний, вернулся к вопросу о субъектах трансформации.

Апрель 2006 г.

ЧАСТЬ II

**ШАГИ
ВПЕРЕД
ИЛИ ПОПЯТНОЕ
ДВИЖЕНИЕ?**

Монологи о президентстве
Владимира Путина и его итогах

«ПУТИН ПРИШЕЛ КАК СТАБИЛИЗАТОР,
ПОЭТОМУ РЕФОРМЫ ПУТИНА
ПРИЗВАН ЗАВЕРШИТЬ ЕГО ПРЕЕМНИК»

О природе нынешнего Российского государства

Начну с вопроса о природе нынешнего Российского государства. Если подразумевать под ним политическую конструкцию, создававшуюся после разрушения СССР на территории Российской Федерации, то здесь надо выделить два периода: 1990 годы и время после 2000-го. Безусловно, между ними существуют связующие нити. И, может быть, первой из их числа следует назвать Конституцию 1993 года. Она создавалась в условиях жесткого противостояния президента и парламента и без помех доделывалась после его кровавого завершения (т.е. событий октября 1993 года), исходя из потребностей Ельцина и его окружения. И уже тогда многие отмечали, что и заложенные в этой Конституции нормы, и легко прогнозируемая практика их применения будут мало соответствовать американским и французским образцам, использованным при ее разработке.

Так в итоге и получилось. Полагаю, что в период правления Ельцина не предпринималось сколько-нибудь серьезных усилий для формирования прочных институциональных основ российской государственности. В этом, заверное, и заключался основной интерес окружения Ельцина — сохранить «размытое» состояние политических институтов и особое, вознесенное над остальными ветвями власти положение президента.

Для президентства Путина характерно иное. В первую очередь следует отметить создание им так называемой моноцентрической системы. Думаю, что во многом это было продиктовано обстоятельствами прихода к власти, тем тяжелым наследием, которое он получил от Ельцина. Первая задача, которую он, как президент, поставил перед собой, заключалась в том, чтобы собрать страну и любыми средствами обеспечить управляемость политическими и, по возможности, другими общественными процессами. Наиболее простой и опробованный в России способ решения проблем — это, конечно, усиление режима личной власти. Но сейчас президентство Путина подходит к концу. Считаю, что свое место — и неплохое — в российской истории он себе обеспечил. В то же время полагаю, что созданная им система персональной верховной власти окажется наиболее дискуссионным элементом его политического наследия.

В частности, результаты проведенной политической реформы, как мне представляется, в конечном счете окажутся лишь «временной» с невысокой степенью эффективности, под которую наследникам Путина так или иначе придется подложить другой фундамент. Может быть, ставить все сразу на надежное основание было слишком трудно, но уже сегодня потребность в такой «переделке» представляется очевидной.

Наглядное подтверждение тому — нарастающий драматизм проблемы передачи верховной власти в стране. Если бы у нас была сложившаяся, эффективно функционирующая система, то личность лидера была бы не столь важна. Все понимают, что от того, кто окажется, скажем, в Белом доме или Елисейском дворце, зависит многое, но ни

в США, ни во Франции никто не ждет прихода нового президента как светопредставления. У нас же ожидания, надежды и опасения, порождаемые фигурами возможных «наследников», принимают чуть ли не эсхатологические черты. И для этого есть определенные основания, поскольку в нашей политике сложилась система ручного управления, полностью зависящая от того, кто «у руля». Президент и его Администрация стали основными политическими институтами страны. Возможно, подобная конструкция имеет смысл для решения текущих проблем, но для следующего этапа модернизации российского общества это отнюдь не самая эффективная система.

Такая система плохо совместима (если вообще совместима) с федеративным государством, которое подразумевает иную модель отношений центральной власти и субъектов Федерации, чем та, что сложилась у нас за последние годы. Такая система слабо стимулирует и партийное строительство в стране, не способствует организному формированию партийно-политических институтов. Наконец, засилье бюрократии и разгул коррупции, ставшие притчей во языцех и воспринимающиеся одной из первопричин наших бед, в рамках сформировавшегося политического режима предстанут неизбежным злом, справиться с которым не представляется возможным.

Впрочем, решающее слово в этом вопросе сможет сказать только история. Но уже сейчас ясно, что историческая оценка деятельности Путина не может и не должна определяться только изъянами моноцентрической системы.

Мифы о Путине versus то, что было им реально сделано

Путину часто приписывают — в том числе и некоторые участники данной дискуссии — стремление возродить некую прерванную традицию российской государственности, обеспечить преемственность с ней, используя для этого традиционные механизмы централизации власти. Однако в моем представлении Путин — весьма прагматичный политик, вряд ли склонный мыслить в таких категориях. Да и какую традицию восстанавливать? Советскую? Вроде бы неуместно. Дорезволюционную? Слишком романтично и несolidно для серьезного лидера.

Думается, что Путин решал сугубо практические проблемы, сводившиеся к тому, чтобы а) обеспечить управляемость политической системы страны и консолидацию элиты и б) побыстрее нейтрализовать последствия действий тех субъектов российской политики, которые несли в себе угрозу российской государственности. В ряду последних выделю прежде всего 1) так называемых олигархов и 2) региональные элиты.

Что же удалось ему изменить в российской политике за два президентских срока? Полагаю, что немало.

Прежде всего, произошло определенное переформатирование элит. Сегодня они прочнее связаны с отечественной почвой, их поведение в большей мере определяется факторами внутренней политики. А те, кто хотел убежать из страны, это сделали или делают в ближайшее время.

Важно также, что Путину удалось добиться значительных изменений в том, что касается позиций региональных элит. Сегодня это уже не те «бароны», которые заседали в верхней палате парламента и разговаривали с федеральной властью на равных. Все они отправлены на места и занимаются там хозяйственными делами.

Конечно, правящую элиту не может не тревожить вопрос о гарантиях устойчивости власти в переходный период. Такой гарантией может стать достаточно активно формирующаяся система интересов и их согласования во всех составляющих нашего социального организма. Достигнут определенный консенсус между интересами «элиты», стремящейся сохранить существующий порядок вещей, и интересами молчаливого (а иногда и не очень) пропутинского большинства. Высокий рейтинг Путина — не фикция, равно как и его поразительная стабильность.

Путин оказался своего рода «тефлоновым президентом» — так же, как в свое время Рональд Рейган. Общественное мнение не признает в расчет ошибок и неудач таких лидеров, их нереализованные замыслы, но зато записывает им в актив все то хорошее, что произошло при них в жизни страны. Постоянно соотнося Путина с Ельциным (а другого метра для сравнения у них пока просто нет), люди инстинктивно готовы оградить его от критики политических противников.

Если сравнивать с 1990-ми годами, то структурирование общества и групповых интересов и в самом деле осуществлялось в период правления Путина достаточно успешно в самых разных направлениях, причем не в последнюю очередь за счет решения социально-экономических проблем. Поэтому, возвращаясь к вопросу о гарантиях устойчивости власти и ее преемственности, можно сказать, что серьезных объективных причин для беспокойства сегодня нет. Если уж в 1998–1999 годах, когда ситуация в стране была гораздо хуже, удалось обеспечить передачу власти в соответствии с Конституцией и без особых потрясений, то есть основания полагать, что это удастся сделать столь же спокойно и в 2007–2008 годах. К тому же в этом отношении накоплен и определенный опыт.

Для исторического анализа Путин и его президентство представляют большой интерес. Пытаясь понять природу выстроенной им политической системы, аналитики говорят нередко об ее институционально-правовой обусловленности, о том, что она является производной от действующей Конституции. Эта тема стала в нашей дискуссии одной из главных, и я к ней еще вернусь. Но не менее важным в президентстве Путина мне кажется и другое, а именно — то отношение, которое он продемонстрировал к унаследованному им правовым институтам, ограничивающим время его пребывания у власти. Он давно заявил: «Я менять Конституцию не буду». И тогда, и сейчас у меня не было и нет серьезных сомнений в его верности своему слову. Мне кажется, что сегодня к этой точке зрения так или иначе склоняется большинство экспертов.

Как удастся Путину устоять перед соблазнами власти? Можно обнаружить самые разные причины такого его отношения к правовым нормам: здесь и его юридическое образование, и опыт жизни в Германии, и свойственное ему лично уважение к закону, для России нехарактерное. Конституция для него — не просто формальная рамка. Он воспринимает ее серьезно, она — органичный элемент его мировоззрения.

И еще Путину свойственно чувство меры. Как политик, как человек с определенным профессиональным опытом и, в конце концов, как дядюшка, он очень осторожен, не терпит ощущения пределов своих возможностей и старается за эти пределы не заходить. Поэтому он адекватно и реалистично воспринимает себя в «предлагаемых обстоятельствах».

Как изменять и выправлять недостатки сформировавшейся системы?

Теперь о том, как изменять и выправлять уже упоминавшиеся мною пороки и изъяны сформировавшейся системы. Осуществляя в России политические перемены, следует быть предельно осторожными. За минувшее столетие страна пережила два трагических катаклизма — 1917 и 1991 годов. Их результаты — две национальные катастрофы — должны нас чему-то научить.

По какому пути пойти? Можно поспособствовать формированию в стране ответственных политических субъектов, что могло бы позволить сделать первые шаги от суперпрезидентской республики (это моя давнишняя точка зрения: у нас не президентская, а суперпрезидентская республика) к нормальной президентской республике. А президентская республика станет гарантом того, что уважение к Конституции и Закону будет нормой для любого президента и любого политика.

Но такой переход означает, что нам надо всерьез озаботиться и состоянием нашего парламента, превратившегося в значительной мере в машину для голосования. Хорошо, что он является надежным партнером президента, но он должен также иметь возможность выполнять и функцию оппонента. Учитывая же, что мы живем в федеративном государстве, в этом качестве должны выступать обе палаты — и нижняя, и верхняя.

Наконец, проблема свободы средств массовой информации. Не думаю, что можно просто ограничиться заявлением, что Кремль подмял под себя СМИ. Я не в восторге от того, как средства массовой информации использовали свою свободу в 1990-е годы. Свобода вроде бы была, но для кого? Была свобода олигархии, поскольку, за редчайшим исключением, за всеми сколько-нибудь влиятельными СМИ стоял крупный капитал. Но вряд ли можно признать нормальным и такое положение дел, когда все общенациональные каналы стали государственными.

Мы вступаем сейчас в особую фазу, в очередной избирательный цикл. Чем в такое время должны заниматься СМИ? Формировать многочисленные площадки для общенациональной дискуссии по ключевым вопросам, которые через год будут определять политический выбор сообщества: куда мы пришли, каким путем и почему, что нам делать дальше и как это сделать наилучшим образом, какие политические инструменты выбрать для достижения поставленных целей?

Но сегодня такая общенациональная дискуссия, даже если она будет расширена, может разворачиваться, учитывая состояние наших СМИ, только в очень редуцированных и превращенных формах. Иными словами, все ограничится зашифрованной полемикой где-то в кулуарах власти. Потому что в сформировавшейся у нас политической системе подобные дискуссии не стали нормой. Ни одно важное решение, принимаемое властью после 1991 года, не подвергалось проверке общенациональной дискуссией.

Правда, есть разница между ельцинским и путинским периодом. До 2000 года было много дискуссий, но они не имели практического значения для принятия политических решений. А после 2000 года и сами дискуссии стали сходять на нет как вроде бы пустое занятие. Но это ведь ненормально и даже нелепо: что ни говори об особенностях сегодняшнего моноцентричного режима, мы живем в гораздо более свободной стране, чем, скажем, СССР 1985 года. Почему же мы не можем открыто и широко обсуждать наши проблемы?

Несколько слов о самой моноцентричной системе. Ее создание было обусловлено чрезвычайной ситуацией, но всякая чрезвычайщина имеет короткое историческое дыхание. Моноцентричная система — система ручного управления, созданная под одного человека. И если мы действительно думаем о будущем нашей большой и чрезвычайной сложной страны, надо создавать эффективные институты.

Это тем более необходимо, что управлять постсоветской Россией становится все сложнее. Пространство свободы на повседневном уровне постепенно, но неуклонно расширяется. Да, конечно, по-прежнему бедность прижимает к земле. Но экономической свободы, мне кажется, становится больше хотя бы потому, что тиски нищеты все же ослабевают, люди начинают что-то искать, пробовать. Однако они действуют на ощупь, интуитивно, по-прежнему не располагая эффективными инструментами самореализации в различных сферах деятельности. Эти инструменты надо тщательно и упорно создавать, они просто так не появятся. Я не верю в чудодейственные способности стихийного рынка, задачу псевдоромантическую утопию первой половины 1990-х. Строительство институтов — задача и ответственность политической элиты страны; именно она должна создавать соответствующие инструменты для общества, и это в первую очередь в ее же интересах.

Под элитами я понимаю влиятельные бизнес-группы, наиболее дальновидную часть государственной бюрократии, экспертное сообщество. Конечно, по поводу возможности нынешней бюрократии существует спорный и вполне обоснованный скепсис, но есть основания полагать, что ее эволюция в позитивном направлении все-таки возможна. К тому же, как мне кажется, после 2000 года этот верхов начал меняться.

Публично не афишируемый, но, увы, реальный этос наших, с позволения сказать, элит в 1990-е годы был таков: «кашнуть и убежать». Однако в последние годы в элите идет внутреннее размежевание, смена век, новое формулирование приоритетов. Медленно, мучительно формируется набирающее силу, хотя и не преобладающее направление, представители которого понимают, что их будущее определяется здесь и сейчас. И не потому, что они такие большие патриоты, а потому, что трезво понимают, что за пределами России никому не нужны — там им светит разве что положение благополучных рабов. Да и то неизвестно, как еще может повернуться дело.

Михаил Краснов обратил внимание на серьезную коллизию, заложенную в нашей Конституции, на то, что реальное функционирование институтов в заданных ею рамках неумолимо ведет к утрате персонализма, преодолеть который, оставаясь в этих рамках, практически невозможно. Я полагаю, что ситуация все же не столь безотрадна. Хотя бы потому, что в Конституции заложен и механизм ее изменения. Запускать его сегодня было бы политически неверным, поскольку неизбежно возникло бы подозрение, что коррекция осуществляется под Путина. Но мне думается, что уже сейчас можно было бы начать подготовку Конституционного собрания, призванного выработать проект изменений. Время для этого вполне подходящее. Следует инициировать созыв Конституционного собрания с таким расчетом, чтобы было заранее ясно, что его решения не затрагивают срока полномочий действующего главы государства.

Почему это лучше сделать сегодня? Потому что именно во время избирательного цикла основным претендентам на пост президента следовало бы высказаться по поводу желательных изменений в Конституции и политической системе страны. Сделать это им следует до 2008 года, т.е. до того, как граждане начнут делать свой выбор. Это позволило бы в 2008 году уйти от сомнительной практики «голосования сердцем», а вместо этого осознанно выбрать определенную стратегию политического развития, ясно представляя и то, какие институциональные механизмы будут задействованы для решения поставленных задач.

Согласен: с нынешней Конституцией мы далеко не уедем. Но принять Конституцию в 1993 году, потом менять ее, скажем, в 1998-м и еще раз в 2003-м — это было бы еще хуже. Лучше ее вообще не менять, а использовать механизмы конституционных поправок, не переписывая текст целиком. Тем более что там есть вполне достойные главы. И надо тщательно взвесить возможности и последствия внесения корректив. Поправляя, надо быть предельно осторожными и с Конституцией, и с политической системой страны.

Мы отошли от пропасти, чреватой разрушением Российского государства, но отошли недалеко. Мы все еще идем по тонкому льду. В результате какого-нибудь ошибочного или просто непродуманного политического действия можно вновь столкнуться Российское государство к катастрофическому состоянию середины 1990-х. К примеру, поссорится «Иван Иванович» с «Иваном Никифоровичем», а за каждым из них стоит своя, в широком смысле слова, «партия власти». И — повзятилось. К тому же предстоящий электоральный цикл и сам по себе может стать дестабилизирующим фактором. Да, ситуация в целом достаточно благоприятная, чтобы этот рубеж преодолеть. Но при существующей политической конструкции такого рода риски нельзя и недооценивать.

Сейчас, накануне выборов, мы вряд ли сможем найти эффективные способы нейтрализации этих угроз. И тем не менее нам необходимо пройти через испытания выборами, сохраняя демократию в качестве базового ориентира. Все другие стратегии лишь заведут в тупик. Иное дело — трезво отдавать себе отчет в том, что представляет собой сегодня демократия в России, как и кем используются ее возможности, чего стоят получаемые результаты.

О роли внешнего фактора

Стоит упомянуть и о роли внешнего фактора в определении направления нашего политического развития.

У нас под внешним фактором подразумевают, как правило, в первую очередь США, во вторую — Запад в целом. Но можно взглянуть на проблему шире. Дело в том, что внешний фактор может проявиться порой совершенно неожиданным образом.

Например, важное значение для внутренней политики России может иметь успех или провал политической реформы на Украине. Если наша элита увидит, что ее интересы, достижение их взаимоприемлемого баланса и внутриаппаратного компромисса более эффективно и надежно обеспечиваются в условиях парламентской республики, если она убедится, что парламент является гибкой политической формой, лучше приспособленной для сегодняшней фазы развития постсоветских обществ, чем институт президентства, то в ее настроениях могут произойти серьезные изменения. Впрочем, лично я не считал и не считаю, что в обозримый период для нас разумно было бы отказаться от президентской республики. Но роль парламента должна стать иной, более значимой, причем не только как законодательного органа, но и как института, представляющего общественные интересы и в этом качестве контролирующего и формирующего исполнительную власть. Здесь есть о чем подумать и над чем поработать.

Опыт Украины во всем его многообразии крайне важен для России. Украинские парламентские выборы весной 2006 года, по оценке многих, были самыми свободными за всю ее постсоветскую историю. Как известно, на них победила оппозиция. Там, конечно, было много подковерной борьбы и закулисных интриг. Но тот факт, что парламентское большинство, сформировавшее правительство Украины, определилось по результатам выборов и отражает волю народа, — серьезный аргумент в пользу пересмотра принципов организации нашей политической системы, целиком замкнутой на фигуре президента.

Украина последовательно проходит электоральные испытания, определенные ее Конституцией. На горизонте 2009 год — год очередных выборов ее президента. Надеюсь, что и они пройдут вполне достойно, не хуже, чем выборы 1994 года, когда Л. Кучма сменил Л. Кравчука. Вполне возможна законная смена власти. Поучительность же опыта Украины для России заключается в том, что, несмотря на многочисленные пророчества, сомнения и спелсис, Украина не развалилась и, более того, в настоящее время, при правительстве В. Януковича, вновь демонстрирует неплохие экономические показатели.

Иной фактор внешнеполитического порядка обусловлен возможностью в обозримом будущем глобальных экономических потрясений. Думаю, что было бы неправильно полностью исключать такую перспективу. И дело здесь не только в экономике. Сегодня мир на пороге кардинальных изменений всей структуры и конфигурации глобальной политической мощи. Впервые за последние 250 лет (т.е. с середины XVIII века) ее перераспределение происходит не внутри Запада, а между Западом и не-Западом. И это не может не породить серьезные политические и экономические пертурбации. Здесь кроется важный урок и для нас: из таких потрясений без больших потерь может выйти только сильная страна. Сильная — наличием конкурентоспособной

экономики, эффективных политических и социальных институтов, а также тем, что ее население составляют не подданные, а граждане, сознательно и активно творящие будущее своей страны.

Чтобы нам стать по-настоящему конкурентоспособными в глобальном мире, должно уменьшиться и влияние традиционных для российской политики факторов силы и властного произвола. А для этого должно измениться наше понимание соотношения традиционных и современных факторов в сохранении и упрочении Российского государства. И в данном отношении тоже важно извлекать уроки из того, что происходит в окружающем мире.

Вот, скажем, США не знают себе равных по силовой мощи. По военным расходам они превосходят следующую за ними десятку государств, вместе взятых. С точки зрения обладания самым современным оружием пятого поколения, ударной мощи военной машины, другого такого государства (или даже коалиции государств) просто нет. С их превосходством в могуществе несомненно даже превосходство Британской империи в период ее расцвета (т.е. в конце XIX века). Единственная возможная аналогия — античный Рим. Ну и что из того? Посмотрите, что происходит в Ираке. Обеспечивает ли военно-силовое могущество успешное решение внешнеполитических проблем США?

Наша внешняя политика становится важным фактором внутреннего развития. В ней проявляется субъектность государства, которая, в свою очередь, является важным показателем и его внутренней устойчивости.

После 2000 года мы восстановили субъектность во внешней политике, она стала содержательной и интересной. Есть такое французское выражение, в переводе звучащее: «по мере человека». Так вот путинская политика оказалась по мере страны, взятой на вырост. Он прекрасно понимает, что сегодняшняя Россия — это не Советский Союз, понимает ограниченность наших возможностей после разрушения СССР. И в то же время в границах объективных возможностей старается действовать, более того — заранее осторожно поднимать «на вырост» планку стратегических задач российской внешней политики.

Конечно, было бы безумием спорить с американцами — этого могут желать только «патриоты», не понимающие или не желающие понимать, что играют с огнем. И в своей внешней политике мы не переходим эту тонкую, невидимую грань — напротив, последовательно заявляем о своей заинтересованности в развитии партнерства. Другое дело, что в нашем понимании партнерство — не улица с односторонним движением, как это часто было *de facto* в 1990-е годы. Эту новую позицию мы предъявляли и западным партнерам, и соседям по СНГ, которые порой видят нас в роли доноров и только доноров.

Наша нынешняя внешняя политика разумна: играть по всему полю, но при этом жестко контролировать себя, не «заигрываться». Иными словами, мы развиваем отношения с Китаем, но видим проблемы и даже опасность, подстерегающие нас на этом пути. Помним о том, что Индия — наш друг, но понимаем, что, если придет американцы и предложат более выгодную сделку, наши индийские друзья не будут долго колебаться. Мы пытаемся пройти между Сциллой и Харидой в отношениях с Израилем и арабским миром, не занимая ни проиранльскую (как американцы), ни проарабскую (как европейцы) позицию. И т.д. и т.д.

Я надеюсь, что преемник Путина продолжит этот внешнеполитический курс. Тем более что у него на руках будут более сильные карты. Например, Путин выдвинул идею России как энергетической сверхдержавы. Она оказалась перспективной. Но значит, когда мы реально идем по данному пути, это можно уже не повторять, тем более — президенту страны. Лучше действовать в том же направлении, но без лиш-

них слов. Все и так поймут, что, создавая «газовый ОПЕК», мы сможем уверенно определять мировые цены на газ. При этом вовсе не обязательно акцентировать наши возможности в сфере энергетики, особенно учитывая болезненную реакцию во внешнем мире.

В целом же я склонен смотреть в будущее с осторожным оптимизмом — при всех очевидных трудностях, связанных с сегодняшним состоянием нашего общества и настоятельной необходимостью его модернизации.

О воле к жизни российской элиты

Чтобы справиться с этими трудностями, мы должны трезво оценить стоящие перед нами проблемы и вызовы. Не разделяю суждений о том, что наша государственность в ее нынешнем виде — это стагнирующая система, что она лишена потенциала самоизменения и может лишь деградировать. Попытаюсь объяснить, почему.

Последним достижением перестроенной радикальной публицистики была констатация неререформируемости системы. В итоге мы получили национальную катастрофу 1991 года. Не верю в то, что в мире есть неререформируемые социально-политические системы. Такие заявления звучат скорее как индульгенция на проведение радикальных социальных экспериментов. При всех изъянах нашего государственного устройства, если наши общество и элита хотят жить (а я встречал не так уж много желающих покончить жизнь самоубийством), они смогут превратить малоэффективное ныне государство во вполне жизнеспособное.

В этом отношении нынешняя элита принципиально отличается от позднесоветской номенклатуры. Та была не очень жизнеспособной, у нее не было серьезной заинтересованности вести прежнее существование в рамках советской системы. У новой российской элиты с этим все в порядке. Вслед за Клавдией она может повторить: «Со мною все, зачем я убивал: моя корона, трон и королева». Полный набор земных благ, причем нередко даже более полный, чем у представителей западной элиты. Так что у нее (по крайней мере, у ее значительной части) есть очень веские, существенные причины стремиться стабилизировать ситуацию.

Однако, чтобы двигаться дальше, чтобы проводить глубокую модернизацию страны, нужно создать критическую массу перемен, способную обеспечить перелом в социально-экономической политике. Для этого не обязательно иметь поддержку большинства населения, нужно не арифметическое, а политическое большинство. Создание его — особая задача.

Да, заинтересованность в изменениях — по разным причинам — есть далеко не у всех. Но вопросы выбора политической стратегии решают не те, кто готов рыдать на себе тыльшью и кричать «за что боролись?», а те, кто формируют критическую массу перемен и готов предложить обществу свое видение, свое представление о правильном направлении движения. Эта критическая масса определяет вектор движения, в которое затем включаются и те, кто поначалу был равнодушен или даже находился в оппозиции. Конечно, только в том случае, если происходящие перемены учитывают их интересы. И, само собой разумеется, осуществляются демократическими методами.

Но это лишь один из возможных сценариев. Может быть, не из числа наиболее вероятных. Существуют и всякого рода факторы, которые увеличивают вероятность негативного развития событий. Такие, как раскол элиты, обострение межэтнических противоречий, крупный мировой кризис, в воронку которого мы можем оказаться. И еще надо опасаться самих себя, потому что мы толком сами не знаем, что в нас сидит.

И все же ситуация конца 2006 года представляется мне значительно более благоприятной, чем ситуация конца 1999-го. Дело даже не в том, что народ не в такой нищете, как прежде. Скорее — в том, что за последние годы изменился настрой общест-

ва. К 1999 году люди осознали масштабы прошедшей катастрофы, но еще в достаточной мере не прониклись сознанием своей ответственности за происшедшее. За прошедшее с тех пор время социально-экономическая ситуация заметно улучшилась, и это благотворно отразилось на тонусе страны.

Приведем во внимание и то, что мы все-таки приобретаем опыт политических действий без использования чрезвычайных методов, что принципиально отличает путинскую эпоху от ельцинской. Да, был создан достаточно жесткий персоналистский режим, упрощена моноцентрическая система власти, взята на вооружение модель управляемой демократии — все так, все верно. И до либеральной демократии нам еще шагать и шагать. Но при этом в послужном списке Путина-политика нет расстрела парламента, нет сфальсифицированных выборов 1996 года, нет дефолта 1998-го, нет той постоянной лжи, которая стала нормой в прошлые десятилетия. Произошло заметное изменение внутренних установок элиты, прежде всего той ее части, которую обычно называют силовиками: сегодня многие ее представители ощущают неадекватность современным условиям традиционных российских методов управления путем прямого насилия.

О программе-минимум и программе-максимум

Короче говоря, обстановка в стране такова, что при всех опасениях в связи с предстоящим электоральным циклом у нас, повторю, есть реальные шансы пройти его без серьезных потрясений. Опасности, пронтекающие из особенностей нынешней политической системы, существуют, но они преодолимы. Если, конечно, не надеваем глупостей. Другое дело — стратегические задачи, которые придется решать после 2008 года, другой вопрос — как нам преодолеть барьер модернизации.

Сегодня еще рано выносить суждения о политическом наследии Путина, но все-таки полагаю, что он оставляет своему преемнику серьезный задел в решении этой ключевой проблемы. Вместе с тем считаю, что в период правления Путина было сделано немало шагов и в неправоильном направлении. Так, например, была серьезным просчетом отмена выборности губернаторов. И изменение порядка формирования Совета Федерации не укрепило, а ослабило законодательную власть. То же можно сказать и об изменениях в избирательном законодательстве, которые прежде всего определялись интересами одной партии. Мне кажется, что в этом отношении необходимо аккуратно выправлять ситуацию. Последовательно, но без спешки. Вспомним, что в США к выборности сената пришли лишь в 1913 году, а ведь к тому времени в США была зрелая политическая система, сложившаяся государственность, достаточно развитое гражданское общество.

Поэтому еще раз: выправлять ситуацию надо, но — осторожно и взвешенно, помня в том числе и об особенностях российского общества.

Мы часто склонны сводить наши проблемы к авторитарности верховной власти. Упуская из виду, что страна гораздо авторитарнее, чем ее президент. Ведь импульсы, идущие к Путину от страны, направлены в сторону усиления авторитаризма. Посмотрите, что показывают все опросы: народ ждет от президента коррекции политического курса в направлении более решительных и самостоятельных действий. Путин же, сохраняя своим рейтингом, действует достаточно осмотрительно, сохраняя приоткрытой дверь демократии. Он же, как «единственный европеец в России» (принимая во внимание, что *de facto* президент является у нас реальным правительством и потому к нему применимо известное высказывание Пушкина), старается поступать по закону и в рамках Конституции. Недаром Александр Вар назвал его «немцем в Кремле». И это тот стиль лидерства, который важно сохранить при осуществлении будущих необходимых «переделок» политической системы.

В данной связи проблема преемника («проблема 2008») распадается, на мой взгляд, на две. Во-первых, речь должна идти о программе-минимум, состоящей в том, чтобы найти Путину преемника не хуже его самого по таким качествам, как уважение к праву и нормам европейской политической культуры, способность в этом отношении противостоять давлению общества и своего окружения. Но должна быть и программа-максимум. Она заключается в том, чтобы создавать надежно функционирующие демократические институты, которые позволили бы стране в следующий раз вообще избежать рисков подобного рода «русской рулетки». Иными словами, надо сделать так, чтобы судьба страны не зависела столь фатально от качества лидера, снизить влияние личного фактора в российской политике.

Эти две задачи отнюдь не противоречат друг другу, это всего лишь два последовательных этапа решения одной задачи. Сегодня Путин как минимум должен обеспечить преемственность политического курса, но так, чтобы в обозримом будущем его преемник смог осуществить его необходимую ревизию и коррекцию.

Сам Путин сделать это не может. Он пришел после ельцинского хаоса как президент-стабилизатор, ему выпало решать другие задачи. Нельзя от одного человека требовать, чтобы он был одновременно и стабилизатором, и реформатором, — это чревато политической шизофренией. Поэтому искать решение проблемы следует в рамках преемственности и развития путинского курса.

Именно преемник Путина должен стать реформатором, начать осуществление программы далекоидущей политической, экономической, социальной и культурной модернизации России, для чего путинская стабилизация создала необходимые предпосылки. Иначе можно незаметно впасть в новую застой.

**«СЕГОДНЯ ВПЕРВЫЕ В РОССИЙСКОЙ
ИСТОРИИ ВОЗНИКАЮТ ПРЕДПОСЫЛКИ
ДЛЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ»**

Прежде чем отвечать на поставленные инициаторами дискуссии вопросы о природе и перспективах Российского государства, позволю себе предложить читателю небольшое методологическое предупреждение, необходимое для понимания казуса российской государственности.

Дело в том, что обычные представления о классических схемах модернизации и демократического транзита плохо применимы к России. Поэтому без учета специфических механизмов трансформации российского общества и государства классические теоретические модели модернизации, выработанные на основе осмысления западноевропейского опыта, оказываются совершенно бессодержательными.

Специфика же России заключается, не в последнюю очередь, в том, что в ней до сих пор не завершился процесс секуляризации общественной и государственной жизни и не сложились окончательно многие другие предпосылки модернизации. И прежде всего, этические. Это накладывало и накладывает отпечаток на все историческое развитие страны. Это предопределяло и во многом предопределяет его отличие от развития западноевропейских стран, описываемого с помощью классических теоретических моделей модернизации.

О модернизации «вообще» и модернизации России

В соответствии с этими моделями, по мере разрушения традиционного общества активизируются механизмы социального действия (групповые, общенациональные и другие этосы), основанные не на следовании традиции, а на рациональном индивидуальном выборе. В результате в недрах «старого порядка» формируется макросоциальная опора для новых государственных институтов. Следующая затем секуляризация, снятие религиозной этической рамки создает основу для светского государства современного типа. В той же логике естественно появление рационализированной бюрократии, как специфического института, скрепленного собственным этосом. Наконец, результатом секуляризации оказывается и идея гражданского общества: при снятии религиозной этической рамки обнаруживаются уже сложившиеся этические, социальные и всякие иные основы нового государственного и общественного порядка.

Это универсальное представление об известной завершенности процесса секуляризации подрамуется всякий раз, когда используются классические модели модернизации. И сегодня в большинстве случаев, когда западные или отечественные исследователи размышляют о том, что происходит с Российским государством, в нежном виде, в интенции они исходят из все той же базовой трансформационной модели, впитавшей соответствующий западноевропейский опыт. При этом упомянутые выше особенности России в расчет, как правило, не берутся. Не учитывается, что европей-

ский тип модернизации, в отличие от российского, имел под собой именно прочный *атласский* фундамент, возводившийся долго и трудно.

Известна диссертация Павла Николаевича Милокова, в которой автор подробно рассматривает этот сюжет. Основа современной европейской цивилизации была заложена в ходе Реформации, резко проблематизировавшей фундаментальные этические проблемы, связанные с легитимностью государства, государственным принуждением и т.п. Последующая контрреформация проходила уже на фоне заданного предшествующей эпохой высочайшего нравственно-этического напряжения. В итоге реформация и контрреформация полностью упряднили весь тот возрожденческий тип сознания и социальной организации, где вопросы нравственности занимали далеко не первое место. Результат нам хорошо известен, в частности, по романам эпохи Просвещения, поднимающих вопросы нравственного долга, причем прежде всего высших классов.

В этом смысле можно сослаться на совершенно уникальный трагический «эксперимент», поставленный волею случая и показавший разительный контраст между элитой и массовых групп общества. Я имею в виду трагедию «Титаник» и статистику спасшихся в этой катастрофе. В целом картина такова: из пассажиров первого класса спаслись в основном женщины и дети, а из пассажиров второго и третьего классов — преимущественно мужчины. Выводы очевидны. Это был страшный натуральный эксперимент, обнаруживший особый этос элиты общества. Результаты такого эксперимента, показывающие наличие в действительности западной элиты прочных этических оснований, очень трудно опровергнуть.

Итак, с эпохи контрреформации на Западе был сформирован довольно суровый этос элит — этос, так сказать, «пассажиров первого класса», которые, в свою очередь, задавали образцы и определяли этосы всех западноевропейских государств. А что же в России?

В России все было существенно иначе. В XVII веке после никоновских реформ, как показал тот же Милоков, в стране практически исчезла подлинная религиозность. Точнее, исчезла вера, осталась лишь религия как государственный институт. Можно сказать, что Россия стала страной с религией, но без веры. Это подтверждается тем, что проблема спасения души оказалась отодвинута на второй, третий, пятый план. Напомним, что в России в течение целого столетия представляли высшей аристократии, т.е. тех самых трех тысяч семей, которые правили страной, пожимали руку царевичам. Традиция эта пошла с 1762 года, с убийства Петра III. Пожимали руку царевичам, обрекая свою душу на вечное проклятие. Это — к вопросу о вере.

Тем самым мы получаем основание для сравнения: с одной стороны, суровый этос элит Запада, выросший из европейской религиозности, а с другой — отсутствие подлинной религиозности в высших классах России. Все те в России, для кого было значимо спасение души, ушли в раскол. И именно в расколыщечей среде потом появился подлинный капитализм: все московские текстильные фабрики и заводчики вышли из раскола. Не тот «капитализм», о котором писал Владимир Ильич Ленин, — он всего лишь ловко обманул весь мир, назвав «капитализмом в России» крупное промышленное производство, не имеющее отношения к рынку. Но об этом подробнее как-нибудь в другой раз.

Пойдем дальше. В отсутствие религиозности и с учетом того, что свято место пусто не бывает, российское общество обзавелось особым квазирелигиозным институтом. Мы его хорошо знаем. Он называется «русская интеллигенция».

Слово «интеллигенция» ввел, как известно, писатель Боборыкин для обозначения образованных слоев населения, обладающих определенными нравственными позициями и критически относящихся к власти. Именно этот институт стал сосредото-

чением нравственных исканий, задающим нравственные критерии и выносящим нравственные оценки. И именно на этот институт стали со временем ориентироваться и более широкие слои общества: даже придворные самого близкого государю круга писали доклады на «своих» Гершену в Лондон...

Если западное религиозное сознание было основано на убеждении в необходимости совершенствования государственных институтов и установлений, то российская интеллигенция, как квазирелигиозный институт, стояла на позиции «нет власти, аще чем от диавола». В результате Российское государство терпело в обществе всякую этическую опору, встречая со стороны интеллигенции квазирелигиозную нетерпимость, нежелание сотрудничать, отказ от диалога с властью, расцениваемого не иначе как «предательство идеалов». Александр Ахизер называет это отсутствием срединной культуры. Но если в таком обществе снять рамки, накладываемые государственным принуждением, то останется пустота.

Повторю: не гражданское общество, а пустота. Что, собственно, мы в последние два десятилетия и могли наблюдать повсеместно.

Эту извечную российскую пустоту необходимо было как-то удерживать, организовывать, структурировать. Поэтому российская государственность всегда и была исключительно удерживающей. Она не наполнялась рациональным содержанием некоего этического проекта, а лишь блокировала крайние антисоциальные действия подданных. Показано, что при этом не возникало и не могло возникнуть общенационального консенсуса по ключевым проблемам национального развития, предваряющего постановку целей модернизации. Как же она в таком случае осуществлялась?

Она осуществлялась государством принудительно посредством насильственного воплощения в жизнь различного рода идеологических проектов. Это неизбежно была модернизация сверху, когда реформаторы исходили не из рационального анализа реальной практики, а из неких приносимых в эту практику некие идеологических доктрин. В условиях жесткого противостояния государства и всех живых сил общества подобный анализ был невозможен.

Все российские реформы происходили именно по такому сценарию. Идеологии могли быть самыми разными («третий Рим», православная или славянская империя, коммунизм), но механизмы их реализации всегда были насильственными. И чем больше был разрыв между реальной этической основой общества и требованиями к этическим нормам, предъявляемыми государственными институтами и обслуживающими их (и их породившими) идеологиями, тем больший уровень насилия был необходим для того, чтобы снимать возникающее социальное напряжение.

Вот, собственно, те теоретические предпосылки, из которых я буду исходить, выстраивая свои рассуждения по теме дискуссии. Не обозначив их, я рисковал бы остаться непонятым, поскольку зачастую в рассуждения о модернизации мы вкладываем совершенно разные смыслы. Модернизация «вообще» и модернизация в России — это, повторю, далеко не одно и то же.

Безусловно, идейно вдохновленные модернизации происходили не только в нашем отечестве. Они имели место и на Западе, причем не раз. Это и государство нулунтов в Парагвае, и режим, возникший во Флоренции в результате реформ Савонаролы. В данный ряд можно включить и муссолиниевский, и гитлеровский режимы, идеологически вдохновлявшиеся перспективами модернизации сверху. Но все эти западные казусы осуществлялись в условиях отчетливо выраженного и достаточно организованного общественного сопротивления, накладывавшего на существующие структуры гражданского или protoгражданского общества. В России же насильственная модернизация сверху сталкивалась либо с пустотой, либо с неорганизованным, хаотическим, но тотальным неприятием и сопротивлением всего народа или значительной его части.

А теперь — о современной России, ее государственности и особенностях ее (и России, и государственности) модернизации. Об условиях, в которых эта модернизация протекает, и ее своеобразии как в сравнении с классическими мировыми образцами, так и с прошлыми отечественными воплощениями.

«Новая Россия» и путинская конвенция

С чем столкнулось Российское государство в тот момент, когда Путин пришел к власти? В 1990-е годы было до конца, до основания разрушено традиционное общество. Традиционной России, т.е. самого предмета, наличие которого позволяло бы говорить о сохраняющихся традициях российской государственности, больше нет (это я тем, кто призывает на эти традиции опираться). Идеологически ее подрывал Горбачев, а довершил разрушение Ельцин, сделав тем самым неизбежной инстинктивную адаптацию страны и ее населения к новым социально-экономическим условиям и новым институтам. При этом на месте разрушенного возникло совершенно новое явление, без оценки которого невозможно понять исторический смысл режима Путина.

Возникло то, что я называю «новой Россией».

В процессе адаптации населения к изменяющейся реальности появились слои и группы, социальное функционирование которых стало определяться индивидуальным рациональным выбором моделей поведения. Это показали исследования И. Кликина и Т. Кутювец, а также мои и еще многих других, изучавших особенности постсоветского общества.

Такого рода слои и группы, противостоящие разрушенному, но исторически и ментально не преодоленному традиционному обществу, составляют 25–30% населения. И именно при Путине эта «новая Россия» упрочила свое положение и перестала опасаться угрозы реставрации России «старой».

В данном отношении путинскую стабилизацию правомерно считать не только политической, но и, что более существенно, социокультурной. В 2000-е годы, а уже установившихся и мало меняющихся условиях, новые социальные слои и группы смогли прочувствовать и осознать состоятельность собственных механизмов социального функционирования.

Это дает мне основания утверждать, что впервые в многовековой российской истории сложились предпосылки для конкурентного рынка и политической демократии. Раньше таких предпосылок никогда не было. Потому что раньше принципы рынка и демократии адресовались традиционному обществу, для которого эти принципы воплощали чуждые ему способы существования и потому воспринимались им как идеология, не имеющая отношения к повседневной жизнедеятельности. А в путинский период произошла инверсия. Да, идея демократии в минувшее десятилетие оказалась дискредитированной, но именно она определяет сегодня реальную практику «новой России», для которой свобода стала важнейшим жизненным императивом ее повседневного бытия.

Думаю, что мы еще не до конца осознали значимость этого фундаментального поворота, происшедшего, повторю, впервые в российской истории. А также то обстоятельство, что реакция новых социальных слоев и групп на происходящие в обществе и государстве изменения становится точным и надежным индикатором укореняемости реформ.

Представители этих новых слоев и групп, движимые рациональным выбором и исходящие из оценки соотношения собственных ресурсов и притязаний, не обязательно бизнесмены. Речь идет обо всех людях, которые адекватно понимают свое место в новой социальной среде и принятые в ней правила игры. Более того, в «новой России» появился и специфический, конвенциональный по своей природе этос.

Можно сказать, что период правления Путина стал периодом формирования конвенциональной этики. Этики, не идущей ни от религии, как было когда-то в Европе, ни от какого-то иного авторитета, а формирующейся и упрочивающейся именно на конвенциональных началах.

Конвенция — не договор. Потому что договор рационален и формален, между тем как конвенция складывается из тысяч различных представлений, из множества локальных этик «для своих», для ближайшего окружения и дружеского круга. Они противопоставляются «чужим», а также тотальному беспределу, существующему вовне и таковым всеми «своими» солидарно признаваемому. И вот буквально на наших глазах эти локальные этики стали складываться — первоначально в бизнесе — во все более расширяющееся единое этическое пространство на основе некоей системы конвенций, т.е. добровольно принимаемых взаимных обязательств относительно правил деловой игры и необходимости их соблюдения.

Формирование этой конвенциональной системы обуславливалось не законом, а мерой допустимого нарушения формальных законов в зависимости от близости к власти. Путин же стал своего рода верховным арбитром, удерживающим единую конвенциональную рамку, гарантирующую от особо грубых отступлений от новой деловой этики.

Кстати, и дело Ходорковского было связано не столько с защитниками и какими-то иными правонарушениями, сколько с попыткой пренебречь этой рамкой. В 2000 году все договорились о том, что сохранение огромных состояний ельцинских олигархов обуславливается их невмешательством в политику. Ходорковский эту договоренность грубо нарушил, за что его били и добивали сами олигархи, купившие ради такого важного дела все необходимые информационные и юридические ресурсы. Ходорковский, а до него Гусинский, потом Березовский были нарушителями конвенции. И их били, чтобы ее сохранить и упрочить.

Как бы то ни было и что бы ни говорили критики «персоналистского режима Путина», именно при Путине впервые стали утверждаться действительные нормы деловой этики. Приведу в качестве метафоры анекдот, рассказанный в кулуарах Высшего арбитражного суда. Анекдот такой. После открытия заседания суда ему предлагается следующая информация: «Господа, пришел Иванов, дал сто тысяч. Пришел Рабинович, дал сто пятьдесят тысяч. Что будем делать?» Суд совещался на месте и постановил: «Вернуть Рабиновичу пятьдесят тысяч и судить по закону». Это и есть метафора конвенции.

Ее результатом стало не понизившееся, а, наоборот, явно повысившееся уважение к закону, который перестал быть полностью игнорируемым. Он тоже стал рамкой, с которой соотносятся все решения. Однако мера соответствия того или иного решения закону оставалась нежесткой, подвижной.

Это, в свою очередь, стало главным признаком стабилизации существующего политического режима, упрочения новой российской государственности. Появилась некая стабильная система принятия решений, которая иногда давала сбой, но нарушителя быстро возвращали в конвенциональную рамку. Иными словами, социально-культурные нормы, формирующие институциональную среду, стали более определенными, делая, к примеру, невозможным тотальную приватизацию отдельных министерств и ведомств, как то практиковалось в ельцинский период. Стал необходим постоянный переговорный процесс, соответствующим образом уплывающий этическую среду. Но при этом надо отдавать себе отчет и в том, что конвенция — самая мягкая и, следовательно, самая расплывчатая институциональная рамка.

Она сформировалась после того, как было до основания разрушено российское традиционное общество. Но ее особенности предопределялись и тем, что традиционность сохранилась на уровне государственного управления и некоего «политического рефлекса», сидящего во всех нас.

Людям, жившим и живущим в России, всегда свойственны синдром смутного времени, пугачевщины, постоянное ожидание распада государства и превентивная гиперпрофилированная реакция на любые признаки его слабости. В основе этого — ощущение отсутствия прочного фундамента, отсутствия социальных субъектов, способных своей собственной активностью восстанавливать государственность, что побуждает все силы, заинтересованные в порядке, поддерживать ее привычные формы. Именно этим я объясняю, например, восстановление при Путине элементов прежней советско-имперской символики. Естественно также и то, что и само государство действует, учитывая наличие такого рефлекса.

Российская политическая стабильность носит негативный характер

Россия, говоря словами маркиза де Кустина, — страна фасадов. Ее сильная государственность — тоже не более чем внешняя рамка. Вопрос в том, что там, под поверхностью моря.

С конца ельцинского — начала путинского периода все время нарастало фундаментальное противоречие между инерцией модернизации сверху, движимой идеологическими стереотипами, и интенциями «новой России». В этом смысле «Единая Россия» — она ж не зря единая. Я, между прочим, резко выступал против такого названия, будучи одним из учредителей этой партии. В нем как раз и проявилась инерция прежней России.

Дело в том, что эмпирически проблемы единства, как и угрозы ему, в то время не было. А было совсем другое. Была прежняя российская государственность, пронизанная, во-первых, идеей авторитарной модернизации, ведомой некими идеологическими представлениями (в данном случае — либеральными представлениями реформаторов начала 1990-х), во-вторых, охранительными инстинктами, дисциплинирующими общество на старый традиционный манер, и, в-третьих, мощной системой коррупции, обеспечивающей стимулирование любого содержательного действия. К лавированию между этими тремя позициями и сводилось, по существу, функционирование государства. Но в этом контексте слово «единая», навешенное охранительным инстинктом, воспринималось как вполне уместное и даже необходимое. Разумеется, оно не только не снимало фундаментальное противоречие между новой реальностью и прежней российской государственностью, но, наоборот, выявляло его, делало более рельефным.

О чем свидетельствует данное противоречие? Прежде всего — о том, что сложившаяся при Путине государственная система крайне неустойчива.

Российская политическая стабильность носит негативный характер. Что значит негативный? Это значит, что она держится лишь на страхе перед потенциальными угрозами. Но отражать она способна лишь угрозы незначительные, будучи абсолютно беспомощной при возникновении сильных системных напряжений. И именно потому, что в ней отсутствуют силы, способные по собственной инициативе, самостоятельно заниматься ее поддержанием и восстановлением в случае кризисов. Сегодня она удерживается лишь конвенцией («давайте не будем раскачивать лодку»), а также возможными санкциями против ее нарушителей.

Однако в связи с приближением сроков переизбрания президента обостряется вопрос: действительно ли Путин продолжает оставаться держателем и гарантом конвенции, или это уже лишь миф? И что будет при преемнике Путина, сможет ли он удерживать конвенциональную рамку? И еще один вопрос: в состоянии ли он будет обеспечивать стране конкурентоспособность в условиях глобализации?

На первый взгляд этот последний вопрос с предыдущим никак не связан. Но это лишь на первый взгляд.

Говоря о конкурентоспособности России, сегодня следует различать два подхода к ее оценке. Первый из них, общераспространенный, предполагает, что речь идет о выходе российской продукции и российских капиталов на мировые рынки. А при втором акцент делается на обладании Россией крайне дефицитными энергетическими ресурсами. Но ведь в этом случае никакая конкурентоспособность не требуется вообще. Какая уж тут конкуренция, когда из доклада Национального совета по разведке США следует, что ближайшие 20 лет будут периодом острой конкуренции за российские энергетические ресурсы. И, стало быть, вопрос о российской конкурентоспособности претерпевает инверсию: конкурентная борьба будет идти за возможность управлять этими ресурсами.

В данной ситуации конвенция как раз и состояла в том, что российская власть от имени России говорила всем своим зарубежным друзьям и недругам: ребята, наш энергетический пирог делить мы будем сами. И именно благодаря этой конвенции Россия оказалась единственной посткоммунистической страной, сохранившей национальный контроль над своей экономикой. Подчеркиваю — единственной!

На Западе сначала считали, что риски инвестаций в Россию при таких условиях слишком высоки. Но я должен прямо сказать, что со стороны российских миг то была осознанная или неосознанная стратегия на преувеличение этих рисков: образ бандитской России был способом повышения защитного барьера против иностранных инвестций — так же, как девальвация рубля была способом защиты ее внутреннего рынка от импорта. В результате этой страноватой стратегии дележки российского зльдорадо — своего рода «междусобойчия» — политические риски были искусственно завышены в разы.

Теперь, думаю, становится понятно, почему так важно не только то, сумеет ли преемник Путина удерживать конвенциональную рамку, но и то, сможет ли он и в какой мере обеспечить защиту отечественного энергетического сектора от внешней конкуренции. Для становящегося российского капитала это ключевой вопрос. Потому что только победа в борьбе за российские энергетические ресурсы гарантирует его финансовое благополучие и возможность превращения России в конкурентоспособную страну в общераспространенном смысле.

Как правило, говоря о конкурентоспособности, подразумевают только эту зредую ее форму и «перескакивают» (или просто забывают) через ту первоичную конкуренцию за контроль над национальными ресурсами, которая, с точки зрения интересов национального капитала, несопоставимо важнее. Путин — не важно, сознательно или бессознательно — обеспечивал эти интересы. Он был политическим брандом тех, кто говорил: энергетический пирог мы будем делить сами. За ним была прочно сплавная команда — своего рода «Russia Incorporated». За ним стоял — плечо к плечу — весь российский бизнес. А как поведет себя преемник? Вот в чем вопрос вопросов. И вот почему так важно, кто именно преемником будет.

Здесь возможно несколько вариантов.

Политическим наследником Путина может оказаться умеренный либерал, который будет говорить (уже говорит), что ему неизвестно, что такое легитимность, поскольку в гражданском кодексе такого понятия нет. При таком лидере, который не понимает, что такое легитимность, и, следовательно, не будет заботиться об ее политических основах, о стабильности в России можно будет забыть. Успешная политика вообще-то в том лишь и заключается, чтобы наращивать легитимность политической системы. Тем более в условиях России, политическая система которой сегодня тотально нелегитимна: ни один значимый социальный слой в стране, включая и главных бенефициариев этой системы, не признает ее справедливой. Такой лидер может разрушить хрупкую путинскую конвенцию и ее основание, которое заключается в этом вот «будем делить сами».

Наследником Путина может быть и политик с какими-нибудь геополитическими блоками в голове. К примеру, если он увлечется играми с Китаем, выстроив одновременно конфронтацию с Западом, то нам могут амалать так, что мало не покажется. В разговоре с человеком, лично отвечающим за отношения США и России (есть у нас такой человек), мы с ним пришли к выводу, что формирование глубокого стратегического союза России и Китая стало бы крахом российско-американских отношений. Пойдя на это, Россия перешла бы черту, за которой разрушение всей системы отношений с Западом (а значит, и ее энергетическо-сырьевого бизнеса) стало бы неминуемым. И, соответственно, разрушение конвенции, на которой зиждется наша нынешняя внутренняя стабильность.

Наконец, наследником Путина может быть человек, пользующийся безусловным доверием ядра российских элит. И — шире — всей «новой России». Речь идет вовсе не об олигархах. «Новая Россия» сегодня — это не олигархия. За время путинского правления поднялся региональный бизнес, крупный и средний, возник его глубокий альянс с теми региональными политическими группами, которые выдвигают из своей среды и приводят к власти губернаторов. «Новая Россия» — это не Москва и не Чуколка, это — широкое географическое и социальное пространство. Это уже упоминавшиеся 25–30% населения, куда входят представители не только верхних эшелонов власти и бизнеса, но и бизнеса среднего и мелкого, равно как и менеджмента. Это, по аббату Сильесу, то самое третье сословие, которое желает стать если не «всем», то «чем-нибудь». Это та действительно новая, пока еще безызыкая Россия, которая ждет, чтобы пришел тот, кто даст ей язык.

Именно такой лидер был бы для страны наиболее предпочтителен. Говоря так, я исхожу из того, что и после завершения электорального цикла 2007–2008 годов функция держателя и гаранта конвенции не будет исчерпана.

Сегодня все признают ее недостатки, точнее — недостатки самого принципа конвенциональности. Но факт и то, что она постепенно сокращает разрыв между номинальными легальными нормами и истинными конвенциональными установлениями. Благодаря ей под легальными нормами впервые стала ощутима реальная социальная мощь. В итоге появилась возможность быстро и эффективно решать практические вопросы. В итоге страна стала богаче. Появились возможности реальной борьбы с коррупцией.

Да, эта конвенция, как и всякая другая, не универсальна, а ситуативна. Подобно любому социокультурному механизму, она не отличается жесткостью. Она срывает с запаздываниями, у нее долгие обратные связи. Но нам сейчас важно осознать не столько минусы конвенции как таковой, сколько то, что в путинском ее исполнении она не завершена, не построена. И это придает «проблеме преемника» еще большую масштабность и остроту.

Сценарии предстоящего выбора

Вот откуда наблюдаемая нами нервозность всех групп правящего класса России. Но она усугубляется еще и тем, что два главных бойца за трон вознамерились переиграть и Россию, и Путина.

Они решили, что смогут запустить такие политтехнологические механизмы, которые поставят Путина перед отсутствием выбора. В результате Дмитрий Медведев, судя по данным Фонда «Общественное мнение», уже набирает рейтинги, сопоставимые с путинскими. И это — в присутствии Путина в рейтинговом списке!

Отсюда следует, что Медведев получает собственный электоральный ресурс, независимый от Путина. Тем самым ему, Путину, как раз и показывают, что выбора у него уже нет. И это — почти правда: если нынешняя ситуация продлится еще какое-то, очень недолгое, время, то выбора действительно не будет.

Понятно, что такая развязка мало кого устраивает. Потому что держателем и гарантом конвенции, а тем более достигающим ее субъектом может быть лишь человек, который мыслит ее не теоретически, а исходя из ее реального содержания, который «изнутри» ощущает, что означает удерживать равновесие между злитями. А человек, сформировавшийся в юридической среде и рассуждающий о том, что категория легитимности отсутствует в гражданском кодексе, — это человек из другого мира. Это — как В. Ющенко для Украины.

Разница между В. Януковичем и В. Ющенко состоит в том, что один прекрасно понимает, что такое конвенция, а второй, выучившийся по американским учебникам, твердит, что главное — это закон. А до следующего тома институциональной экономики, где речь идет о том, что закон живет только тогда, когда под ним стоят этические нормы, он просто не дошел, его он выучить не удосужился. А может быть, даже и не знает о его существовании.

Вслушайтесь, господа «законники», в то, что один умный человек написал ровно 150 лет назад (моя любимая, кстати, цитата): «У нас самый закон заклеивен неискренностью; не обозначивая определенностью прав и ясностью выражений, он прямо и последовательно требует невозможного». Это — граф П. Валуев, прототип Каренина, прототип министра в «Сне Полкова», автор первого проекта конституционной реформы Александра Второго. Литая формула, найденная полтора века назад.

Судьба путинской конвенции пока еще зависит от самого Путина. При этом и у него самого есть желание остаться ее держателем после ухода с поста президента. Он полагает, что может сохранить нынешний уровень своего влияния и при новом руководителе, при необходимости корректируя его действия. Думаю, однако, что это сомнительно. Во всяком случае, многое, если не все, здесь как раз и будет зависеть от сценария поведения, который Путину предстоит выбрать.

Какие же это могут быть сценарии? Их не очень много, выбор невелик.

Первый сценарий — ничего не делать, пустив все на самотек, что пока и происходит. Но здесь очень легко попасть в ловушку «двух бойцов» и оказаться перед возможностью совершать только вынужденные, навязанные ситуацией ходы.

Второй сценарий — выбрать и предложить фигуру, способную выстоять в геополитической конкуренции, сохранять и достроить конвенцию, не совершая роковых ошибок.

Третий — попробовать пойти путем Ельцина, перебирая претендентов и наблюдая их в деле. Вспомним, как поставили Степашина, потом ужаснулись и кинулись искать другого.

Скажу сразу, что третий сценарий представляется мне наименее вероятным. На то, чтобы менять премьеров до тех пор, пока не выветится компромиссная фигура, уже нет времени. Да и не в характере Путина, в отличие от Бориса Николаевича, такой политический стиль.

Что касается первого сценария (Путин решает, что пусть все идет как идет), то вероятность его реализации я оценил бы на 70%. Быть может, она уже и выше. Последствия же будут тяжелейшими. Россия окажется ввергнутой в острейший кризис, потому что те игроки, которые придут к власти при этом инерционном сценарии, не смогут соответствовать масштабу нынешних вызовов. Скорее всего, они проиграют переговорную борьбу за контроль над национальными ресурсами, что вызовет крайнюю озлобленность всей российской элиты. Ведь если уже соглашение о вступлении в ВТО рассматривается как сдача позиций, то провал переговоров в области сверхресурсов неминуемо спровоцирует глубочайший кризис. При таком варианте путинская конвенция обречена. И сам Путин, перестав быть президентом, ее не удержит.

Второй сценарий более благоприятен уже потому, что только он подразумевает возможность инерционного развития. Если осмысление сложности проблемы заставит Путина всерьез отнестись к консультациям по кандидатуре преемника, то с высокой степенью вероятности можно ожидать, что среди ближайших друзей президента (за пределами их круга поиск исключен по определению) будет найдена компромиссная фигура, способная и удержать конвенциональную рамку, и найти верную геополитическую стратегию развития. За реализацию такого сценария я готов ставить свечки по всем храмам. Если же в итоге гарантиями конвенции согласится стать «два бойца», то ее прочность только возрастет, сращивание различных сегментов элиты станет еще более тесным, интенсивность социально-политического диалога и его реализм усилятся.

Но, к сожалению, времени на реализацию этого замечательного сценария практически тоже не остается. Его шансы я оценил бы в каких-нибудь 5%.

Перспективы, что и говорить, небогатые. Но других я не вижу. Длинные же разговоры о том, как хорошо было бы иметь другое государство, другую модернизацию и вообще все другое, считаю лежащими за пределами нашей дискуссии.

Перспективы консолидированной демократии в России

В заключение отмечу, что конвенция — не самоцель. Это путь, ведущий дальше, к утверждению в России консолидированной демократии. Но такая возможность опять-таки открывается лишь в случае появления осмысленно действующего лидера, который стратегически будет ориентироваться на «новую Россию». В данном случае проблема содержательного становления консолидированной демократии в значительной степени была бы решена уже в ближайшие пять лет. Но вероятность этого, как я уже сказал, где-то на уровне 5%.

Однако процедурной демократии, с формальной точки зрения, в стране станет гораздо больше и при реализации иных вариантов. Мы получим некую неоэлитарную демократию с большим, чем сейчас, плюрализмом прессы, с меньшим контролем над средствами массовой информации, с введением чисто рамочного контроля над действиями политических партий. Политические силы будут опять лишь «перчатками» сегментально-олигархических и элитных группировок. Что в целом тоже не так уж плохо. Но это может в итоге подорвать финансовые ресурсы страны, а в условиях финансового стресса опять приведет к искажению демократических, легальных, правовых институтов, поскольку в условиях кризиса неудобно решать дела по закону. И тогда опять возникнет запрос на нового Путина, нового держателя конвенции. Если, разумеется, не вмешаются какие-то внешние факторы, что обернется катастрофическими для страны последствиями.

И последнее. До сих пор я сознательно не затрагивал тему парламентских выборов. С точки зрения «проблемы 2008» их роль ничтожна. К моменту их проведения все уже будет решено, все карты будут сыграны. Но стратегически это один из ключевых вопросов.

Задача парламентских выборов не только и не столько в выстраивании диспозиции политических сил в Государственной думе (само по себе это дело второстепенное), сколько в той самой легитимации государственной системы, о важности которой я говорил выше. Ведь такая легитимация, о чем часто забывают, как раз и является одной из фундаментальных функций выборов в условиях политической демократии.

Выборы предполагают эмоционально переживаемую идентификацию гражданина или личности с государственной системой, что и есть воспроизводство ее легитимации. Если же выборы эмоциональных переживаний не вызывают, то они оказываются, напротив, механизмом углубления отчуждения человека от государства.

Парламентские выборы, не затрагивающие эмоций электората, не сопровождающиеся глубокими личными переживаниями в связи с их результатами, станут лишь свидетельством загнания политической системы, усиления, соответственно, узкопартийной тенденции к негативной стабилизации. Если же на политической сцене проявится весь спектр политических сил, с которыми люди готовы отождествлять себя (и тем самым отождествлять себя с государством), то это будет шаг к углублению легитимации этого государства и этой власти.

Но пока, к сожалению, движения в данном направлении не просматривается. В российской политической системе зияет гигантская дыра. В «новой России» по мере роста благосостояния главной становится проблема социальной справедливости, справедливого раздела национального пирога. В ситуации, когда никакое действие власти не считается справедливым, эта проблема в ее разных проявлениях неизбежно выходит на передний план. Заработал закон дележки, и необходима политическая сила, которая выдвинет идею социальной справедливости в качестве главного пункта новой политической повестки дня.

Между тем все представленные сегодня в Думе партии — это партии прошлой повестки дня. Партия стабилизации. И не только они, но и их оппозиция с либерального фланга.

Сегодня не может быть обеспечена общественная динамика, если вопрос о справедливости будет ставиться в прежнем виде, унаследованном от советских времен. Он должен быть откорректирован применительно к «новой России». И в этом смысле даже мироновская «Справедливая Россия», к которой я стоял до недавнего времени достаточно близко, пока еще является партией прошлой повестки дня. Она единственная, которая выдвинула правильный лозунг, но он должен предполагать новое понимание справедливости, новое понимание социально-политической ситуации и, самое главное, новую повестку дня. Партия справедливости должна, повторно, непосредственно адресоваться к «новой России».

Только этот путь может привести к обретению российской государственностью этической опоры в обществе, чего в нашей стране до сих пор никогда не было. Сегодня у нас впервые появился шанс изменить многовековой маршрут. И желательно использовать его по максимуму.

**«ЕСЛИ ГОСУДАРСТВО НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ
СО СВОИМИ ФУНКЦИЯМИ,
ТО ОНО БУДЕТ ОТВЕРГНУТО
И НА ЕГО МЕСТЕ ВОЗНИКНЕТ ДРУГОЕ»**

Современное Российское государство отнюдь не случайно сформировалось как государство, сосредоточенное — в вертикальном измерении — на одной фигуре, на главном лице. Обсуждая вопрос о перспективах его трансформации, который оказался в центре дискуссии, надо помнить о том, что его возникновение было, на мой взгляд, исторически вполне закономерным.

Постсоветский персоналистский режим не принесен в Россию извне. Он возник на обломках прежнего в тот момент, когда ни общество, ни элиты не были готовы к новой исторической эпохе. Поэтому нужна была некая политическая фигура, которая могла бы обеспечивать равновесие между накопившимися в обществе взаимоисключающими интересами различных (зачастую полярных) экономических, культурных, ментальных страт.

Ельцин и силовики

Такой фигурой стал Борис Николаевич Ельцин. К нему могли относиться как угодно, но минимально приемлемой и признаваемой в этом качестве компромиссной политической фигурой он был для всех. Он был условно своим и для демократов, и для партocrats. Да, для последних он мог быть и врагом, но «своим» врагом — удобным и понятным.

А затем наступил неизбежный постреволюционный синдром, когда нужно было вытягивать страну и элиту из того тупика, в который они зашли после 1993 года. Несомненно, что никакой вариант государственности, предполагающий формирование правительства парламентским большинством, в тот момент всерьез рассматриваться не мог. Во-первых, не сложилась еще эффективная многопартийная система, которая могла бы стать основой политического представительства различных социальных групп. Во-вторых, не было и самих структурированных групповых интересов, равно как и отчетливо выраженного общественного самосознания. Да, 1990-е годы справедливо характеризуются обостренной политической рефлексией. Однако глубокого осмысления социальной реальности, масштаб происходивших перемен и места различных групп в динамичной структуре общественных отношений, т.е. того самого общественного самосознания, необходимого для перехода к современным формам парламентаризма, не было почти ни у кого.

В результате мы получили то, что должны были получить, а вместе с тем и простекающие из этого последствия. Борису Николаевичу Ельцину хватило мужества сокрушить две основы прежнего режима — компартию и Советы. Замечу, кстати, что Верховный Совет был отнюдь не парламентом, а специфическим — в рамках советской системы — инструментом проведения политики компартии в жизнь. Но, сокрушив эти основы политически, первый президент России вынужден был строить

новое государство, опираясь на то, что осталось от старого. И он предпочел сделать ставку на спецслужбы.

Все разговоры о том, что выходы из спецслужб хлынули во власть широким потоком лишь при Путине, — неправда. Они стали возгоняться в верхние слои политической атмосферы в середине 1990-х, и это было связано не только с тем, что Ельцин опасался спецслужб, но и с тем, что ему нужно было опираться на какую-то реальную и надежную силу, которая его не сдаст. И когда речь зашла о преемнике, возможности выбора оказались предельно узкими. Все кандидаты были из силовых структур: Евгений Примаков — генерал и бывший руководитель ГРУ, Сергей Степашин — генерал и бывший глава ФСБ, Владимир Путин — тоже понятно, а на раннем этапе в этом списке фигурировал еще и генерал Николай Бордюк. Все разговоры о том, что приемышем мог стать Николай Алексеенко или кто-то иной, — это были разговоры пустые. Крут претендентов жестко и однозначно очерчивался выходящими из спецслужб и других силовых структур. Причем именно персонализация власти определяла спецслужбы как ту единственную силу, на которую эта власть могла опереться в переходный исторический период.

Что же касается самого факта такой персонализации и предпосылок, создаваемых для нее конституцией 1993 года, о чем написал Михаил Краснов, то, повторяю, все это не случайно. Люди, которые сочиняли конституцию, решали поставленную Ельциным задачу и конструировали политическую систему под персону «заказчика». Правда, они, скорее всего, не предполагали, что создадут институциональные условия, облегчающие вхождение представителей спецслужб в высшее политическое руководство страны. Досадовался ли об этом сам Ельцин? Думаю, что догадывался. Вряд ли он мог все просчитать, но он обладал гениальной интуицией и, кроме того, точечным видением ключевого звена стоящей перед ним политической проблемы — как орел, который летит и видит только те точки на огромном пространстве, которые ему нужны. Ельцин, по-видимому, представлял себе возможные последствия принимаемых решений, но, как большой политик, действовал в тех рамках, которые определила ему история.

В итоге на рубеже 1990–2000 годов страна столкнулась с проблемой, которую можно обозначить так: могла ли политическая элита, обновленная Ельциным перед его уходом, преобразовать созданную им политическую систему и вывести нас из 1990-х с наименьшими потерями?

Шанс раннего Путина

Путин реально пришел к власти 16 августа 1999 года, когда Дума утвердила его главой правительства. И в тот же день было объявлено, что он будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Иными словами, он пришел к власти, когда решение о преемнике было фактически обнародовано уже официально. Так вот, в 1999 году, с моей точки зрения, у нации в лице ее политической элиты был колоссальный шанс избрать для страны новый путь. Шанс этот был вполне реальным, потому что Ельцин освободил своего преемника от каких бы то ни было обязательств перед олигархической машиной, которой сам он после выборов 1996 года был повязан по рукам и ногам.

Более того, с его уходом новая элита освобождалась и от неразрешимых экономических проблем, потому что самый страшный поворот, ведущий к необратимому распаду экономики, в августе–сентябре 1998 года удалось миновать. Страшный удар, который нанес по России капитализм «эпохи первоначального накопления», страна выдержала. Было ясно, что 17-летний период понижательной тенденции цен на нефть вот-вот закончится, и впереди, по крайней мере на несколько лет, страну

и ее экономикку ожидает рост мировых цен на энергоносители. Было ясно также, что реформы заработали, а неприятные издержки первоначального периода приняли на свой счет ельцинские элиты. Так что у новых элит руки, в известном смысле, были развязаны.

К тому же и в обществе к тому моменту сформировался запрос на новую политику и новое политическое лидерство. Суть его, с моей точки зрения, аккумулировал Никита Михалков (человек, очень точно чувствующий конъюнктуру) в фильме «Сибирский цирюльник» — слабым профессионально, но чутким к духу общественных перемен: «Он русский, и это многое объясняет!» А я бы добавил: он свободный русский, и это многое объясняет. В обществе вырел запрос на свободного и патристичного лидера, и Путин, не произнося ни слова и не формулируя собственную политическую программу, тем не менее идеально встроился в востребованный образ. На почве принятия этой новой идеологии, заявленной в фильме (его премьера прошла во Дворце Съездов, фактически — в Кремле), сошлись все: и элита, и народ. И в этом был определенный шаг на общенациональное согласие.

Путин не был либералом, но у него появилась возможность, примиряя собою нацию, постепенно менять структуру управления и модернизировать страну в соответствии с теми задачами, которые ей предстоит решать в XXI веке. Единственное, чего Ельцин ему не дал и не мог дать — это свободу от той среды, которая Путина возрастила, — я имею в виду среду чекистскую. Но это уже был вопрос политического масштаба личности: хватит ли Путину решимости последовать примеру Ельцина, разорвавшего в свое время отношения с возрастившей его компартией? Это — вопрос политической воли, и насколько я могу судить на основании имеющихся в моем распоряжении фактов, такая воля в достаточной мере проявлена не была.

Ставка на «вертикаль власти»

Впрочем, выбор Путина мог быть и вполне осозанным. Не исключено, что он просто подчитал последствия и понял, что не может позволить себе разрывать отношения с доставшейся ему политической системой. При этом он, ориентируясь на силовиков, оставил в руководстве экономической политикой исключительно либералов. Однако в дальнейшем, чем либеральнее был экономический курс, тем жестче и охранительнее становилась политическая среда, обеспечивающая либеральные реформы. Но когда вы делаете такой выбор, т.е. ставите на равные позиции взаимноисключающие политические силы, вы оказываетесь обречены сохранить «вертикаль власти».

Уязвка появления термина «вертикаль власти» с Бесланом — случайность, недоразумение. Просто наступил срок завершения продолжительной подготовительной работы, а удачной ли то был момент для объявления о новом политическом повороте — вопрос особый: с этической точки зрения, может быть, и неудачный, но политически абсолютно точный и закономерный. И в этот момент модель политической системы, которую Ельцин создавал как вынужденную и переходную, закрепляется необратимо и окончательно. Внутри системы поменять ее становится уже невозможно: когда приоритетной задачей провозглашается построение «вертикали власти», система для перемен закрывается. Этот момент маркирован двумя знаковыми событиями: заявлением о том, что отныне мы строим вертикально ориентированную государственность, и арестом Михаила Ходорковского.

Здесь вряд ли уместно обсуждать, хорош Ходорковский или плох. Более того, у меня нет полной уверенности в том, что победа Ходорковского была бы лучшим вариантом в сравнении с тем, что произошло. Но случилось то, что случилось. И случившееся, с моей точки зрения, — не просто преступление. Это — хуже, чем преступление, это — ошибка.

В тот день и час, когда было принято решение об аресте Ходорковского, пришел в действие механизм, остановить который уже нельзя. Он вывел наверх силовиков и спускал вниз либералов, нарушая пропорции внутри правящего класса и побуждая оба слоя элиты закрываться: решение о «вертикали власти» переключало каналы вертикальной мобильности, решение по Ходорковскому — уничтожало прозрачность системы «по горизонтали», разрушало ее связь с обществом.

До перехода к открытому выстраиванию Путиным «вертикали власти» еще можно было смикшировать, повернуть, остановить соответствующие процессы. Но как только этот принцип был сформулирован в качестве политической задачи, властная бюрократия обрела организующее начало и стала выстраиваться в упорядоченную, закрытую и устойчивую к внешнему дестабилизирующему воздействию систему.

При этом потребовалось наложить узду на общественное мнение, поскольку люди, которые фокусируют его, хотя и являются меньшинством, но очень активным, и их активность представляет серьезную угрозу для бюрократии. Пришлось также прервать реформирование судебной системы, причем на стадии близкой к завершению. Реализация плана Дмитрия Козака приостанавливается. А сам Козак, который, с моей точки зрения, мог бы стать в момент окончания первого президентского срока оптимальным преемником для Путина (с одной стороны, как человек системы, а с другой — как более открытый политик), исчезает с главной политической арены страны, уходит в политическое небытие.

Вслед за этим запускаются процессы отъема собственности, в которые вовлекаются на равных как либералы, так и силовики. Потому что либо ты ловлен, либо — уходишь. И когда умный и энергичный экономический политик Игорь Шувалов открыто сетует, адресуясь западным политологам, что силовики побеждают, что Роснефть уходит из государственной системы, остается лишь развести руками. Когда он, в составе общей команды, принимал участие в отъеме Юганскинефтегаза, он не понимал, чем это закончится? Он не понимал, что на то они и силовики, чтобы быть сильнее и не останавливаться на достигнутом?

Это, безусловно, довольно поверхностный анализ, всего лишь мои наблюдения, но я формулирую итог: все, крышка захлопнулась, ловушка закрыта, из мышеловки выхода нет. Правда, пока в мышеловке есть сыр, ситуация выглядит почти нормальной, внутренние напряжения и конфликты почти незаметны. Но если и как только сыр закончится, мы все столкнемся с очень большими проблемами: мышки в мышеловке захотят выйти из нее, а выхода нет. И хотя в истории возможно всякое, я смотрю на ближайшее будущее нашего государства в его нынешнем виде пессимистически. Государства, которое с судьбой страны, однако, не отождествляю.

Разумеется, если цены на нефть хотя бы еще лет десять продержатся в районе 60 долларов за баррель, не очень превышая этот порог, но и существенно не снижаясь, если цены на газ будут вести себя так же, тогда все мои опасения беспочвенны. Мне не нравится, как выстроилась система, но я готов буду признать, что ее создатели угадали экономический тренд и построили под него жизнеспособную государственность. Саудовская Аравия, например, вполне жизнеспособная страна, а у нас в России есть преимущества, которых нет у Саудовской Аравии: это просторы, это интеграция в западную экономику и многое другое. Однако в том, что еще лет десять продержится нынешний ценовой уровень на энергоносители, я сомневаюсь. Цены могут либо зашкалить, и тогда мы вместе со всем миром просто не выдержим таких затрат на энергию, либо упадут, и тогда мы полетим вверх тормашками, потому что уже привыкли жить в условиях высочайшей доходности экспорта. А перенастроится созданная система не сможет.

Предчувствие грядущего кризиса

Значит, нас ждет кризис. В какой форме он будет протекать? Я не верю в реальность сценария «оранжевой революции» в России. Этого не произойдет по нескольким причинам.

Во-первых, революция, подобная украинской «оранжевой», в России уже была в августе 1991 года. «Оранжевая революция» — это способ ухода страны от прежнего контролера с помощью другого, нового контролера. В 1991 году мы с помощью Америки уходили от Советского Союза. Грузия с помощью той же Америки уходит от России. Украина уходит от России через Евросоюз. Но от кого, посредством кого и куда будет уходить Россия — мне совершенно непонятно. Да и политических сил, которые способны выполнить эту функцию, я не вижу.

Во-вторых, деградация либерального крыла российской политики сегодня такова, что в сравнении с ней состояние силового политического блока покажется просто идеальным. Во всяком случае, Игорь Иванович Сечин как политик-бюрократ даст сто очков вперед любому демократическому политику. Он свои функции знает куда лучше, а свои цели отслеживает куда внимательнее, чем тот — свои.

Безусловно, вплоть до ареста Ходорковского, о чем я уже говорил, существовал и иной вариант развития политического процесса. Была практически идеальная модель: власть сама выращивала номенклатурную оппозицию во главе с Михаилом Касьяновым, которая при помощи той же власти постепенно трансформировала (но не ломала) существующую систему. Можно предположить, что таким путем страна в течение двух президентских сроков могла выйти к какому-то новым политическим горизонтам, вплоть до подготовки почвы для перехода к парламентской республике. Но сегодня я уже не вижу никаких шансов для движения в этом направлении.

А симптомы приближающегося кризиса явны. Похоже, уже возникают определенные экономические проблемы. Прежде всего, они связаны с существенным понижением мировых цен на энергоносители в конце лета и начале осени 2006 года (примерно на 18% за три недели) при неясных перспективах на будущее. Резко снижались за последние месяцы капитализация Газпрома. Очевидны и непосредственно политические риски, обусловленные вступлением страны в очередной электоральный цикл. Какова же может быть реакция на эти вызовы и риски?

Есть «стратегия Кутузова»: ничего не делать и позволить истории течь самой — тогда, возможно, все придет туда, куда нужно. И есть «стратегия воли», когда политический актор ломает естественный ход истории и пытается развернуть ее в нужном направлении. Если бы после Ельцина был избран первый вариант — ничего не делать (как, например, поступал Примаков, когда был премьером), то, может быть, мы смогли бы 2008 год проскочить. Но власть пошла иным путем, который и привел к нынешнему предкризисному состоянию. Она выбрала «стратегию воли», но такую, которая оказалась стратегически бесплодной и быстро выдохлась, сменившись отсутствием какой-либо стратегии вообще. И сегодня в Кремле пугают друг друга «оранжевой революцией», страшилками про то, что Америка готова поглотить Россию, что завтра будет война... В закрытом клубе под названием ЗАО «Кремль», судя по косвенным данным, уже началась внутренняя лавина, раздраз там хуже, чем в оппозиции, и друг друга члены этого клуба ненавидят больше, чем оппозиция ненавидит их совокупно.

Более того, там уже явным образом сформировались две группировки, которые можно обозначить (пометая о выборах 2007–2008 годов) как «выборную» и «антивыборную». Первая настаивает на проведении выборов путем продления кандидатуры премьера. Вторая — не хочет отпускать Путина с президентского поста ни при каких обстоятельствах.

Путин — человек очень умный, он прекрасно понимает, что ему в любом случае в 2008-м необходимо уходить, что только при таком условии он получает надежную международную гарантию безопасности. Известна красивая историческая параллель, которая, конечно, условна как все исторические параллели. Суть ее такова: с разрывом ровно в 200 лет основные этапы Великой французской революции и новейшей российской истории обнаруживают поразительное сходство. 1789 год — созываются Генеральные штаты, 1989 — первый съезд народных депутатов СССР. В том и другом случае открывается клапан кадрового обновления власти, появляются новые люди, действия которых тотчас входят в противоречие с интересами старых кланов; в обществе начинается разброд и шатания. 1791 год — неудачное бегство короля, 1991 год — Форос. 1793 год — казнь Марии-Антуанетты и Людовика XVI, 1993 — попытка переворота и обстрел парламента (насташаю: обстрел, а не расстрел, которого как такового не было). Пропускаем несколько этапов... 1799 год — фактический приход Наполеона к власти, 1999-й — фактический приход Путина к власти. 1804 год — пожизненное консульство Наполеона, 2004-й — второй срок с перспективой пожизненного президентства. 1808 год — Тильзит, вершина побед Бонапарта, а дальше 1812 год и за ним 1814-й и 1815-й. Итог — остров Св. Елены.

Чтобы превратить аналогичный ход событий, надо вовремя уходить.

Дилеммы Путина

Парадокс, однако, состоит в том, что на сегодняшний день в своем противостоянии «антивыборной» группировке Путин может апеллировать только к той силе, которую сам же затоптал, т.е. к медиаресурсам. Напомним, что на всем протяжении своего правления Ельцин никогда медиа не трогал, потому что прекрасно понимал, что свободные медиа защищают эффективнее, чем подконтрольные. Сегодня Путин объективно нуждается в СМИ. Именно через них он транслирует свои обещания уйти после второго срока, понимая, что только посредством апелляции к населению он может заставить себя от принуждения остаться. Но ресурс медиа работает плохо, потому что разрушена связь между ними и обществом. А разрушена она потому, что СМИ перестали быть свободными. При таком положении вещей лидер остается один на один со своими «друзьями», которые не могут допустить его ухода.

Возможные сценарии, которые они могут попытаться реализовать, — это внутреннее беспорядок в последующем введении чрезвычайного положения или внешней войной. Сейчас идут своего рода военные учения (я имею в виду Кочдопону и то, что происходит вокруг Грузии), опробуются разные варианты, какой работает. Несомненно, вы не можете точно спланировать поведение господина Савашвили, вы не можете спланировать раздражение отморозков в Кочдопоне, но вы можете эти точки напряжения использовать, чтобы посмотреть, как развивается ситуация, каким образом можно ее локализовать или, напротив, позволить беспрепятственно развиваться дальше.

В Кочдопоне — классический случай, когда ситуации дали взорваться, до определенного момента не мешали, а потом резко одернули. Это похоже на ирригационные учения. А с Грузией, полагаю, отработывается некий вариант использования «внешнего» фактора. Иначе невозможно объяснить, почему такое внимание уделяется столь политически ничтожным державам, как Молдавия и Грузия. Я ничего плохого о грузинах и молдаванах сказать не хочу, но в политическом отношении эти державы России вообще не должны волновать. Договариваться, чтобы интересы абхазцев и осетин как граждан России (но не Абхазии и не Осетии) защищались, — необходимо. Но отстаивать интересы территорий — это как-то странно, с моей точки зрения.

Итак, на сегодняшний день силовая («антивыборная») группировка во власти побеждает. Но она пока еще не победила окончательно. Более того, Путин уже дал этой

группировке первый бой, когда аккуратно убрал Владимира Устинова с поста генпрокурора. Война во власти, с моей точки зрения, уже идет по полной программе. Тот факт, что Газпром был вынужден купить Сибнефть по завышенным ценам, прямо указывает на это. Прежде расчет был на инкорпорирование в структуру Газпрома Роснефти и использование дивидендов в ходе предвыборной кампании. Силовики этот ресурс отобрали, и Газпрому пришлось покупать Сибнефть по ценам выше рыночных у ее реальных владельцев. С этого момента ситуация уже вышла из равновесия, и дальше процесс пойдет по нарастающей.

Силовики неизбежно захотят приватизировать Роснефть до окончания предвыборного цикла, т.е. до 2007 года. Либералы вынуждены будут дать им бой, в котором полетит голова.

Путин пытается минимизировать ситуацию: то, что он свыл с поста Устинова, не убирая его из политической системы, показывает, что он пока предпочитает демонстрировать обеим сторонам, кто в доме хозяин. Одним он показывает, что если они намерены спустить с цепи бульдога, то он в состоянии посадить бульдога снова на цепь; другим — что если они надеются с его помощью навсегда избавиться от этого бульдога, то ошибаются: он будет сидеть на цепи там, где ему указано.

Есть и другой сигнал от Путина — 17 отставок в высшем эшелоне власти с конца лета 2006 года. Среди них — две в руководстве ФСБ и еще две — в Администрации президента. Иными словами, борьба уже идет не на жизнь, а на смерть. И пока победителем в этой борьбе остается сам Путин. Он демонстрирует всем, что главный вопрос окончательно еще не решен.

Тем не менее я, повторяю, наблюдаю симптомы нарастающего кризиса, выходом из которого будет не «управляемая революция», а что-то совсем иное. Я не пророк, но это будет не просто политический кризис в его привычных для нас проявлениях. Это будет кризис, развивающийся по схеме недавних событий в Будапеште или тех, что назревают в Варшаве, — неуправляемый порыв стихийного недовольства людей, но в гораздо более жестких формах.

Смута в верхах имеет свойство распространяться и на более низкие этажи общественного здания. А смута в российских верхах не ситуативная, обусловленная только предстоящими выборами. Она системная. В подтверждение — один лишь пример.

У меня есть свои идеологические симпатии и антипатии. Но, отдавая предпочтение либеральной модели государства, я понимаю, что можно жить и при антилиберальной. Человеческая жизнь, в конце концов, протяженнее любого отдельно взятого исторического периода. Но у антилиберальной (номенклатурно-бюрократической) модели, как и у либеральной, есть свои законы функционирования. Они просты: своих не сдают, из системы не выбрасывают, если ты ее не предал. Но сегодня этот принцип нарушается точно так же, как нарушается принцип свободных выборов.

Поговорите с людьми из номенклатуры: они за свою шкуру, за свое положение дрожат так, как никогда ни один советский чиновник не дрожал. Советский парткомрат дрожал, потому что все время должен был думать: понизят — не понизят, какой номер пайка будет — по первому разряду или по второму, переведут ли в какой-нибудь город, где нет ресурсов, а есть только сельское хозяйство, или не переведут, хороший обком дадут или так себе. Но что его вышвырнут из системы в поле голого и как врага, он не мог такого предположить.

Такое было только в среднесталинский период. Послевоенный Сталин уже не мог позволить себе подобного. Более того, даже во время большого сталинского террора у опальных, но не репрессированных представителей номенклатуры был шанс вернуться в элиту: номенклатура знала, что существует некая граница падения. А где эта нижняя граница проходит сегодня, номенклатура не знает. Нарушены все базовые

принципы ее формирования — и демократические, и недемократические. Сегодня невозможно нормально жить и тем, кто хочет жить при демократии, и тем, кто хочет жить при номенклатурных порядках.

Иными словами, система перестала быть самонастраиваемой, она управляема изнутри лишь до тех пор, пока Путин держит рычаги управления в своих руках. Но самоизмениться она не в состоянии.

О роковых моментах истории и свободе политического выбора

Читатель может заметить, что около 1999 года оптика авторского анализа ситуации меняется. На процессы до 1999 года я смотрю одними глазами, а на процессы после него — другими. Причина тому следующая.

С позиции политического актора, с одной стороны, всегда есть некий набор исторических обстоятельств, которые вы не можете обойти, некая историческая закономерность. Но, с другой стороны, есть и определенная свобода исторического решения. Однако соотношение этих факторов бывает различным и меняется в зависимости от решений, принятых ранее, и изменяемых обстоятельств. К примеру, у Ельцина наибольшая свобода была в 1991 году, она сохранялась и в 1993-м, но чем дальше, тем в большей степени все определяла своего рода железная необходимость. С моей точки зрения, в 1991 году Ельцин сделал правильный выбор. И в 1993 году — тоже правильный. Это позволило сохранить страну, пуская ценой потрясений, за которые мы до сих пор расплачиваемся. Но в 1999 году должен был быть заново сделан еще один свободный выбор, т.е. выбор в пользу развития, преобразования, а не консервации системы.

Этого не произошло. Напротив, после некоторых колебаний 1999–2000 годов был сделан своего рода отрицательный выбор. При этом страна проходит две уже упоминавшиеся мной точки невозврата: арест Ходорковского и Беслан. Дальше — снова действует логика железной необходимости, но если тогда, в 1991 и 1993 годах, мы, принимая очень тяжелые решения, выходили из тупика, то теперь целенаправленно движемся по горизонтали из тупика в тупик.

Тем не менее и сегодня сохраняется известная свобода политического выбора. Сохраняется, говоря иначе, возможность для реализации новой «стратегии воли». Теоретически мыслям, например, «царский» путь, когда Путин, оказавшись в патовой ситуации и поняв, что загнан в тупик, идет на-банк и сам ломает свою собственную политику, демонтирует им самим выстроенную политическую систему. Я почти не верю в этот вариант, но в истории такое случалось. Это должен быть шаг великого политического деятеля, который ставит на кон весь свой политический капитал, понимая, что вероятность проигрыша очень велика. В 1999 году для такого шага были очень благоприятные обстоятельства. Сейчас шансов на успех гораздо меньше.

Альтернативой же этому опять-таки может быть лишь глубокий системный кризис, который приведет нас к новой развилке с возможностью сделать новый свободный выбор. Правда, при гораздо худших стартовых условиях, чем в 1999–2000 годах.

Определенные симптомы формирования запроса на новое решение и новую парадигму политического лидерства (такого же, как путинское, но более крутого) уже наблюдаются. Сказываются постоянные разговоры о противостоянии окружающему миру, о нарастающей внутренней напряженности. Люди начинают ощущать растущую угрозу, но не понимают, от кого она исходит, в чем ее причина. Более того, у них начинает двоиться сознание, потому что они искренне любят Путина, самого популярного политика по данным массовых опросов. Экономика вроде бы налаживается, но жизнь по-прежнему плохая, жить в стране неуютно. Вроде бы при Путине такого быть не должно, но это есть. Как удержать систему, если такие настроения получат развитие, непонятно. Я, по крайней мере, этого не знаю. Если бы знал, сам бы стал политиком.

Попытка политического консультирования

Что в этой ситуации можно посоветовать российскому лидеру? Я бы ему посоветовал, пока не поздно, создавать номенклатурную оппозицию. По своей природе она может быть неотличима от нынешней элиты — как от ее силовой, так и от либеральной страны. Она будет такой же меркантильной, но при этом — несколько более гибкой и не столь связанной различными обязательствами ни по отношению к силовикам, ни по отношению к либералам. И, главное, она будет способна дать необходимые гарантии сохранения контроля лидеров нынешнего режима за значительной частью ресурсов, имеющихся на сегодняшний день в их распоряжении. Сменяя нынешнюю элиту во власти, она должна быть ориентирована на решение своей главной исторической задачи — обеспечить постепенную адаптацию общественного устройства к неизбежным переменам.

Сейчас формирование такого рода номенклатурной оппозиции (реальной, а не имитационной) по существу блокируется. Система следит за всем, что может представлять угрозу ее стабильности, уничтожает и вытравливает все подозрительные ростки. Но кадровый ресурс для такой оппозиции имеется. В первую очередь это люди, прошедшие через административные структуры существующего режима, находящиеся на его обочине, имеющие опыт работы в среднем и крупном бизнесе, достаточно лояльные, чтобы гарантировать безопасность представителям режима, и достаточно обиженные, чтобы стремиться к его изменению.

Это те, кому сегодня 45–55 лет. Люди, представляющие средний и мелкий бизнес, которым обещали все, но не дали почти ничего. Не надо бояться того, что отчасти это националистическая и даже, я бы сказал, национал-демократическая оппозиция. Во главе ее должны быть прежде всего русские люди. На ее знамени должно быть написано: «Родина, сила, солидарность». Но со временем цели такого движения должны быть несколько скорректированы. Примерно так: «Свобода, вера, солидарность».

Солидарность здесь — слово ключевое. Дело в том, что все разговоры о российском коллективизме — полная ерунда. Россия — страна не коллективистская, а солидаристская. В нужный момент составляющие ее индивидуумы способны объединиться ради какого-то дела. Но жить в коллективе они не способны и никогда не смогут. В России ни одно коллективное начинание не приводит к успеху, она в этом смысле больше похожа на Америку, чем на Европу. Это, повторюсь, солидаристская страна.

В каких политических формах могут реализоваться описываемые преобразования? Думаю, начинать в любом случае придется в рамках существующей модели, характеризующейся как персонафицированная власть с очень сильным бюрократическим ресурсом. Необходимо переориентироваться на новую среду для формирования политического заказа, на неудовлетворенных людей среди молодежи, среднего и мелкого бизнеса. Нужно создавать новые партии. А для того, чтобы партии возникли, нужна общенациональная дискуссия. Для этого, в свою очередь, нужно освободить медиа... Ну и т.д.

Есть и еще одна альтернатива: новая элита могла бы пойти не политическим, а гуманитарным путем. Существует огромное количество гуманитарных проектов, способных объединить нацию, но беда в том, что до настоящего времени они реализуются исключительно бюрократическими методами. Вот, например, Путин попытался в последнем послании Федеральному собранию подойти к решению демографической проблемы. Но у него целеполагание, как у бюрократа: главное — средства и кто их будет осваивать. А подойти следует иначе, акцентируя гуманитарные аспекты проблемы: ведь это позор страны, когда 600 тысяч детей воспитываются в детских домах. Необходимо проект усыновления основной массы воспитанников российских детских домов в течение ближайших десяти лет. Причем, поскольку наша страна патерналистская, лидер должен подать ей пример, чтобы усыновление вошло в моду.

Существуют и проекты, ориентированные на малый и средний бизнес, активизирующие его конкурентный потенциал и личные амбиции его представителей. Если власти удастся вернуть доверие этой важной социальной группы, это будет серьезным шагом в нужном направлении.

Но у проблемы грядущей трансформации есть и другая сторона, связанная с возможностями общественной альтернативы проектам, выдвигаемым властью. Мы, видимо, не смогли вовремя зафиксировать тот момент, когда в России идея собственности завладела умами. Эта идея, так проливаемая массами, на самом деле, как только дело доходит до реальных проблем, в момент овладевает умами конкретных представителей самих масс. Пример тому — ситуация, с которой столкнулось московское правительство в Южном Бутово.

Юрих Михайловича Лузкова вообще следует назвать родоначальником гражданского общества в России: уничтожая Москву, он заставляет людей, интересы которых затрагиваются действиями власти, объединяться, формируя реальную силу гражданского противостояния. Мы зачастую просто не замечаем, как на наших глазах меняются фундаментальные основы общественной жизни. Между тем обновление почти очевидно, вопрос лишь в том, будет ли у этих гражданских инициатив, формируемых на основе идеи собственности, исторический шанс дозреть и сформировать полноценное гражданское общество, или власть предпочтет затоптать его ростки.

Если оценивать предарительные итоги правления Путина, то оно характеризуется протекавшим двух противоположно направленных процессов: идет быстрая деградация политической системы и медленное вызревание гражданского общества. Причем в последнем власть сознательно искореняет его политизированную компоненту, опасаясь возможности воспроизведения в России сценария «цветной революции» по примеру, скажем, Грузии. Но такие опасения ни на чем не основаны.

Да, в Грузии общественные организации действительно были напрямую наняты для осуществления государственного переворота. Но это стало возможным потому, что в стране была колоссальная безработица, делать людям было нечего, а в общественных организациях они могли получить средства к существованию. В России все иначе: активные люди вкалывают по 12 часов в сутки, и их трудно вовлечь в политические акции. Но непolitизированные общественные организации, объединяющие людей по конкретным поводам защиты их конкретных интересов, формируются в России независимо от власти и активно развиваются. Основой их объединяющего потенциала выступает собственность граждан, являющаяся гарантом их независимости и от государства, и от бизнеса. Это и есть базовая идея гражданского общества.

О шансах России на будущее

Однако, в отличие от некоторых участников дискуссии, я не вижу никаких шансов на то, что нашу государственную систему удастся модернизировать силами общества. Ни путем «оранжевой революции», которой, конечно, не будет, ни какими-либо иным. Шансы модернизировать систему изнутри — еще меньше. Наиболее вероятно то, что она развалится сама, обнаружив свою нежизнеспособность. А ее крах спровоцирует глубокий социальный кризис, преодолевая который мы придем к необходимости воссоздать государство заново. При этом очевидны высокие риски соответствующего переходного периода, когда к власти может прийти такая популистская сила, по сравнению с которой власть нынешняя покажется чуть ли не идеальной. Но в истории всегда так: либо все меняется медленно, либо — очень быстро, а быстрые роды, как известно, могут привести к смещению шейных позвонков. И тем не менее выбор, стоящий перед нами, таков: родиться или не родиться.

Примем во внимание и то экономическое давление, которое будет испытывать Россия со стороны глобальных процессов, а в них она включена еще очень слабо.

Посмотрите, как нынешняя элита описывает взаимоотношения России с миром. Это, с одной стороны, отношения ослабленной крепости с осаждающей ее ордой, а с другой стороны, как говорит Владислав Сурков, отношения с нашими конкурентами на политическом рынке, где соперничают государства. Тут очевидна логическая несообразность: глобальная экономика не предполагает конкуренции между державами, она предполагает конкуренцию лишь между производителями; идея державы в глобализирующемся мире вообще утрачивает какую-либо определенность. Нельзя быть конкурентом на мировом политическом рынке, если ты участник глобализации.

Даже метафора державы как единой метакорпорации в данном случае не срабатывает: метафора эта заимствована из индустриальной эпохи и неприменима к глобализованному постиндустриальному обществу. Надо отдавать себе ясный отчет в том, что мы в него еще не вошли. Ведь даже Газпром — единственная российская компания, имеющая транснациональное распространение и стремящаяся позиционировать себя в качестве транснациональной, таковой не является. Это — национальная корпорация, действующая в транснациональных масштабах. Корпорация, еще не вошедшая в глобализацию.

Возможно, что такой разрыв между желаемым и действительным и определяет многие удивительные особенности мировоззрения российского правящего класса. В России все перепутано, и ее элиты не понимают, что значит быть полноценным участником глобализации. Более того, они не знают, что необходимо делать, чтобы изменить ситуацию.

Впрочем, Америка и Запад в целом еще хуже представляют, что им делать с Россией, чем Россия представляет, что ей делать с самой собой. В этом смысле в советские времена было больше определенности. Например, ядерные боеголовки, направленные СССР и США друг на друга, были нужны для взаимного сдерживания. А зачем они нужны сегодня? Политики Запада не могут понять, что для них предпочтительней: инкорпорировать Россию в западное сообщество или изолировать ее. И, на всякий случай, не делают ничего. Забавно, что Путин говорит сегодня об отношениях России с Европой, слово в слово повторяя то, что говорил Ходорковский в 2002 году. Но подобно тому, как у Ходорковского в те годы попытки выйти на глобальные рынки через Америку закончились ничем, так и у Путина из этого ничего не получится. Как в политике, так и в экономике России пока можно наблюдать лишь имитацию современных форм.

Конечно, жизнь идет своим путем. Главная наша проблема, связанная с властью, — помещает она нашей жизни или нет. То, что власть давно потеряла связь с реальностью, — медицинский факт. Она замкнулась сама в себе, она парит, словно шаровая молния над поляной. Вопрос в том, взорвется она или не взорвется, долбанет или не долбанет. Если ее унесет куда-нибудь — так в добрый путь, забирайте ее и летите отсюда.

История — субстанция экономная, она отвергает все лишнее. Если государство не справляется со своими функциями, оно будет отвергнуто и на его месте возникнет другое. Точка. Я, как и всякий нормальный человек, не хочу платить своей судьбой и судьбой своих детей по счетам такого государства. Я не хочу судить, хорошее оно или плохое, нравится оно мне или не нравится, — все это не более чем фантом моей биографии. Даже если это государство мне персонально не нравится, я готов бы был с ним сотрудничать, если бы его существование шло на пользу жизни, прорастающей снизу. Но я знаю, что за кризис выстроеной системы я заплачу частью жизни своих детей. А я не хочу за это платить. Поэтому я не хочу, чтобы кризис, в который власти затаскивают страну, был серьезным, по-настоящему тяжелым.

Помните, Солженицын писал: «Пробили часы на башне коммунизма, и обвал неизбежен, главное, чтобы нас не погребло под этими обломками». Сегодня масштаб кризиса, конечно, иной. И все-таки... Когда башня коммунизма рухнула, плиты образовались крупные. А сейчас крупные остатки тех плит, среди которых мы живем все эти годы, в свою очередь начнут разрушаться, и новые обломки будут совсем мелкие. Погибнуть под такими обломками нельзя, но вполне можно задохнуться в пыли. Вот этого я и хочу избежать.

Жизнь на российском пространстве при любом исходе событий все равно будет продолжаться. Из истории мировой цивилизации России ничто и никто не вычеркнет, она в любом случае будет участвовать в строительстве глобального будущего. Вопрос в том, какова будет цена нашего участия в этом строительстве и как надолго мы задержимся, пытаясь преодолеть собственную неготовность и те неурядицы, в которые свергнет нас очередной кризис.

**«СУДЬБА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, СПОСОБЕН ЛИ БУДЕТ
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ОБНОВИТЬ
РОССИЙСКУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭЛИТУ»**

Размышляя по поводу состояния современного Российского государства, я осознаю сложность своей ситуации, поскольку много лет пребывал внутри институтов этого государства в качестве его маленькой частички, винтика. И сейчас, хотя я все равно включен в его колесо, мне предстоит попытаться беспристрастно взглянуть на него со стороны.

В отличие от большинства участников дискуссии я хотел бы поговорить не столько об институциональной структуре Российского государства и особенностях его конституционного устройства, сколько о том, как оно реально работает, как функционируют его кадры, какие цели оно перед собой ставит и сколь эффективно их добивается, как, наконец, соотносится то, чем оно должно заниматься, с тем, что оно делает «на самом деле». Осознавая особость своего подхода в рамках данной дискуссии, полагаю, тем не менее, что он может оказаться полезным для более ясного понимания обсуждаемых проблем.

**Российское государство сегодня не выполняет ни одну
из своих базовых функций**

Скажу сразу: я склонен к радикально негативным оценкам нынешнего российского государства и результатов его деятельности. С моей точки зрения, оно сегодня не выполняет ни одну из тех своих функций, которые должно было бы выполнять в соответствии с классическими представлениями о современном государстве.

Начну с такой его функции, как принуждение к порядку посредством использования монопольного права на легитимное насилие. Что мы наблюдаем? Всем известны ужасающая криминогенная ситуация, широко распространенная практика заказных убийств, коррупция. Государство этому препятствовать не в состоянии. Более того, своими действиями оно только усугубляет беспорядок. Скажем, с Нового года запретили торговать на рынках нерезидентам, не приняв во внимание, что на этих рынках господствуют криминальные, мафиозные порядки. Мы ничего не изменили, если просто поменяем одну мафию на другую, только усилим общий хаос.

Так что самую элементарную свою функцию поддержания законности и порядка наше государство не выполняет. Можно даже сказать, что в этом качестве оно фактически отсутствует, поскольку превратилось в особый элемент рыночной экономики. Вот прочитал недавно интервью с председателем Комитета Госдумы Владимиром Васильевым — человеком весьма весьма толковым. И он открыто говорит: понимаете ли, на каждом рынке существуют свои миллионеры, которые берут с торговцев деньги. Говорит спокойно, не рвет на себе волосы. Но ведь он — бывший первый замминистра внутренних дел... Иными словами, открыто признается, что репрессивная часть Российского государства сегодня в принципе в экономике и никаких функций, кроме обслуживания своих собственных корыстных интересов, не выполняет.

Другая функция государства — проведение внешней политики. В отличие от Виктора Кувайдина я считаю, что она у нас полностью провалена. Мы исхитрились поспорить со всеми вокруг. Потому, видите ли, сейчас Россия становится сильной и должна диктовать свои условия окружающим. В результате — серьезные геополитические потери. Мы тернем постсоветское пространство: кавказские дела провалены, то же с Украиной, в ближайшие годы, уверен, от нас отпадут Казахстан, Белоруссия. Вся российская внешняя политика какая-то подростковая: получили толкучку нефтяного рынка и начинаем считать, что всем все можем диктовать. Это закончится тем, что мы перестанем в страку-изгои и с нами никто не будет считаться.

А что у нас с экономикой? Как известно, функцией государства в условиях рыночной экономики является установление правил игры, а также контроль за соблюдением законов. Чтобы понять, как у нас с этим обстоит дело, достаточно вспомнить о сохранившемся в России колоссальном неформальном, теневом секторе. Мы видим, далее, как даже хорошие законы могут работать у нас против рынка и либеральной экономики. Вот, к примеру, несколько лет назад Герман Греф продавал и продавал бизнес о регистрации в одном окне для малого бизнеса. Считалось, что теперь малый бизнес расцветет. А потом был проведен эксперимент, инициированный Игорем Шуваловым — тогдашним руководителем аппарата правительства. Он попросил одного из своих сотрудников якобы зарегистрировать свой бизнес «в одном окне» в городе Москве. Процесс растянулся не на дни и даже не на недели. Это был сплошной ужас. Так «работают» у нас законы.

В итоге мы видим, что малый бизнес, составляющий сегодня основу нормальной рыночной экономики, не может занять в России достойного места. На малых российских предприятиях работает лишь 20–25% занятых. Между тем в Германии, к примеру, эта цифра составляет более 60%, причем речь идет не только о занятых в сфере услуг и торговли, но и об инновационных предприятиях. У нас же значительная часть населения по-прежнему держится за свои места на старых предприятиях советского периода, которые сегодня «лежат на боку» (как, например, АвтоВАЗ). О какой конкурентоспособности несырьевого сектора российской экономики можно при этом говорить? И о какой высокой зарплате?

И, наконец, социальная сфера. Здесь главная роль государства заключается в перераспределении доходов в пользу бедных и малоимущих. Но и эту роль оно в России не выполняет, поскольку у нас различия между богатыми и бедными, как известно, продолжают возрастать даже по официальной статистике. К тому же в стране существуют колоссальные межрегиональные различия по уровню доходов.

Резюмируя, я вынужден констатировать, что по всем основным пунктам — правоохранительная сфера, внешняя политика, экономическая и социальная политика — никакой другой оценки, кроме двойки, наша власть не заслуживает. А ведь эти провалы в политике государства таит в себе колоссальную угрозу для будущего страны. Не считая себя клясым патриотом, я, безусловно, выступаю за целостность России. Но то, что происходит сейчас с нашим государством, — это прямая дорога к ее развалу.

О причинах государственной немощи России

Каковы же причины этой государственной немощи? Я не буду мазать грязью обоих наших президентов — они соответствуют тому обществу, в котором мы все находимся. Очевидно, было бы наивно пытаться представить на месте Путина какого-нибудь Бисмарка, который бы все выстроил как положено. Дело, конечно, не в конкретных персонах. Однако и от персональных особенностей зависит многое — тем более в такой стране (и с таким государственным устройством), как Россия. В частности, надо учитывать фактор непрофессионализма.

Я верю в то, что Путин, став в 2000 году президентом, хотел выстроить компактное и эффективное государство. Программные задачи, которые он ставил перед правительством на ближайшие 15–20 лет (а я участвовал в подготовке соднального раздела «программы Грефа»), — вполне достойные и благородные. Но эта программа была принята правительством просто «к сведению», что в переводе с бюрократического языка на русский означает: «положить в стол и забыть». Путин мог настоять на ее одобрении и начале реализации. Но почему-то настаивать не стал нужным. Вместо этого страна стала жить по ежегодным президентским посланиям и среднесрочным (на три года) программам правительства. Тем самым был утерян стратегический посыл, потеряна столь необходимая России перспектива.

А потом резко пошли вверх цены на нефть. И, соответственно, начали поступать огромные деньги в бюджет, став большим соблазном для президента. По своему характеру он человек чрезвычайно осторожный, очень не любит резких движений, каких-то чрезвычайных событий — вспомните его поведение во время трагедии «Курска». Он вполне нормальный человек, у него нормальные человеческие реакции, но в критических ситуациях он долго не может решить, что делать. Он опасается совершить какой-то неосторожный шаг, который может стать поводом для кривотолков. Он следит за своим имиджем, тщательно и умело подбирает свои знаменитые фразы. И все же я думаю, что если бы не эти колоссальные цены на нефть, то он вполне мог бы — вместе со своей командой — осуществлять прорыв в направлении современного государства и современной государственной политики. Но цены на нефть все спутали.

Что же произошло? А произошло вот что.

Во-первых, при таких бюджетных поступлениях появляется соблазн воздерживаться от любых реформ, которые хотя бы для некоторых групп населения неизбежно болезненны и вызывают их естественное недовольство. Во-вторых, сработал эффект зависти. Многие причастные верховной власти люди, наблюдая, как вокруг ходит олигархи, у которых при повороте нефтяного краника текут реальные деньги, тоже испытывали непреодолимое желание немножко состричь. Первой значительной жертвой этого их желания стал Михаил Ходорковский. Разумеется, последствия его посадки и разорения ЮКОСа заранее никто не просчитывал. А зря! Ведь 2003 год стал действительно поворотным в нашей новейшей истории, после чего заработала неумолимая логика событий.

Стало понятно, что с надеждой на создание эффективного современного государства придется расстаться до следующей смены режима. В том виде, в каком оно формировалось, оно ничем, кроме передела собственности, всерьез заниматься не могло и не хотело. А чтобы народ безмолвствовал во время начавшейся вторичной приватизации, было решено с ним чуть-чуть поделиться. Стали почаше проводить коевые индексации пенсий, зарплат бюджетников.

Но этот поворот имел и другие последствия. Он сопровождался изменением позиций ключевых игроков в самой властной команде. К концу своего первого президентского срока Путин в значительной мере разочаровался в ее либеральном крыле, олицетворяемом фигурами Г. Грефа и А. Кудрина. Но продолжал действовать осторожно — в том смысле, что не вполне последовательно. Не давая либералам полной свободы в осуществлении необходимых преобразований, он, с другой стороны, требовал и ожидал от них каких-то реформ. Но никаких реформ при отсутствии у реформаторов достаточной свободы действий, разумеется, не происходило. Правительство же, почивая на лаврах, лишь подсчитывало доходы от нефтяного экспорта.

Самым простым и логичным решением для Путина в 2004 году было бы всех прежних прогнать и набрать новую команду. Но он на это не пошел, если не считать отставки Михаила Касьянова. И по очень простой причине. Этих, по крайней мере, он

хорошо знал. И именно поэтому не только не отправил в отставку, но даже не отпускал, когда они сами просились: тот же Г. Греф заявления об уходе подает регулярно. Более того, каждый раз успокаивает их: ребята, надо еще поработать. Потому что он буквально боится новых лиц, боится тех, кого не знает по старым дорежидентским временам.

Это его большой минус как лидера, который скакался, например, на политической судьбе М. Касьянова.

Бывший российский премьер стал жертвой элементарной провокации. Она состояла в том, что буквально накануне президентских выборов 2004 года на самый верх пришла докладная записка о подготовке олигархами срыва 50-процентной явки, необходимой — по тогдашнему законодательству — для признания президентских выборов состоявшимися. Предусматривалось, что при недостаточной явке избирателей они объявляются недействительными, все кандидаты выбывают из дальнейшей борьбы, а руководство страной на три месяца до следующих выборов переходит в руки премьера. Понятно, что этот премьер (в тот момент М. Касьянов), пользуясь СМИ и прочими подручными средствами, получил бы возможность нарастить свой политический капитал и стать следующим президентом.

Записка была прочитана, и адресат ей поверил. Помните, как внезапно председатель правительства был отправлен в отставку накануне выборов?

Вот как сбывается сложное переплетение особенностей личности лидера и нюансов текущей политики. А тут еще эти цены на нефть... В результате Россия пропустила весьма благоприятный момент для восстановления и наращивания своего экономического потенциала, а государство в лице производителей подобных записок вместо необходимых реформ начало решительно овладевать экономикой.

Государство и прежде контролировало ее через компании типа Газпрома, где имело контрольный пакет. Но делало это не столь активно, как сейчас. Теперь же оно пытается контролировать все: либо напрямую, либо через подставные структуры типа Роснефтегаза. Причем речь идет не просто о большом государственном производстве и экспорте в экономику. Речь идет именно об использовании группой лиц, которые сидят на соответствующих государственных постах, доходов бюджета в своих частных интересах.

Никто, разумеется, не отрицает необходимости небольшого числа государственных концернов. Но они должны работать на страну и, что не менее существенно, для этого должны развиваться сами. А что происходит у нас?

Возьмем тот же Газпром. Во-первых, в нем нет прироста добычи газа. Сейчас мы отказались от помощи Запада в разработке Штокмановского месторождения и, с моей точки зрения, садим в лужу. Сами мы не потянем. Во-вторых, Газпром имеет дефицит бюджета. У него огромные непогашенные внешние долги (десять миллиардов долларов), под которые заключены многолетние обязательства по поставкам газа в Западную Европу. Но так как новых мощностей не появляется, то у нас назревают проблемы с внутренним рынком. Инвестиций на разработку новых месторождений не хватает, потому Газпром настанавивает, и, кажется, безуспешно, на либерализацию внутренних цен на свою продукцию. Что это значит с точки зрения снижения инфляции и чем обернется для рядового потребителя — понятно без лишних объяснений.

Правительство с упоением рапортует, что в Россию приходят невиданные инвестиции, но их значительная часть — это кредиты, которые привлекают наши гигантские государственные монополии. Иными словами, Газпром в долгах как в шелках. Так же как и Роснефть, которая сейчас захватила значительную часть ЮКОСа, одолев денег. Кому же на пользу такая политика, кроме тех, кто ее непосредственно осуществляет?

Или другой пример: РАО «ЕЭС». Весьма уважаемый мною Анатолий Чубайс уже больше пяти лет всем там управляет, но только сейчас вдруг понял, что упустил главное — техническую политику. Он пришел в компанию как финансист и экономист.

Разобрался с долгами, навел порядок, сделал прозрачными финансы. Все это абсолютно правильно, но — недостаточно. Оказалось, что у нас не хватает генерируемых мощностей. И сегодня Чубайс открыто говорит, что в 2007 году будет перебои с электро-снабжением на Урале, в Сибири, в Москве... Но если так обстоят дела, то где же, извините, государственная политика?

А как принимаются у нас важнейшие государственные решения? Вот, скажем, Транснефть. Возглавляющий ее Семен Вайншток — очень квалифицированный менеджер, в его профессионализме усомниться нельзя. Но вопрос о том, прокладывать нефтепровод в Китай или в Японию, решился фактически без него. Не говорю уже о том, как был откорректирован маршрут нефтепровода на участке к северу от Байкала...

Я не в состоянии поверить в полный непрофессионализм людей, управляющих государственным имуществом. Очевидно, что функции, которые им вменяются и которые должны соответствовать государственным интересам, в реальной деятельности этих управляющих деформируются тем, что ключевые решения принимаются на политическом уровне.

Вывод: государство, соблазненное благоприятной экспортной конъюнктурой, вместо формирования и реализации экономической политики в интересах всего общества фактически произвело вторичную приватизацию в пользу кучки высокопоставленных чиновников и их обслуги. Естественно, что такому государству некогда, да и не хочется заниматься своими прямыми обязанностями.

Неизбежность политического землетрясения

Есть ли выход из этого положения? Можно ли переломить ситуацию? И кто это может сделать, выступив субъектом перемен?

Думаю, что президент Путин на такую роль давно уже не претендует. Он явно не собирается баллотироваться на третий срок. Все проблемы, которые при нем накопились, он переложит на плечи своего преемника. И груз этих проблем гораздо внушительнее того, который Путин унаследовал от Ельцина.

В свое время нынешнему президенту достаточно было сказать несколько правильных слов (Борис Николаевич в последний период своего правления даже и на слова уже был не щедр) и кое в чем немного навести порядок. Этого оказалось достаточно, чтобы Запад затрепетал в восторге от того, что наконец-то в Москве появился достойный и способный к диалогу партнер. Да и у российского общества понемногу были какие-то надежды. А что в итоге?

Период правления Путина — это период неиспользованных возможностей. Но если они не используются вовремя, они перестают быть возможностями. Или, во всяком случае, существенно уменьшаются. Своевременные не решенные проблемы становятся трудноразрешимыми или неразрешимыми вообще. Сегодня большинство людей об этом еще не подозревает — мировая экономическая конъюнктура позволяет скрывать от них реальное положение дел. Но скоро тайное станет явным. И тогда... Это как перед землетрясением — на глубине нарастает напряжение, но с поверхности пока ничего не видно.

Я глубоко убежден в том, что России не избежать повторения событий типа государственной катастрофы августа 1991-го или октября 1993-го. О неизбежности грядущего глубокого кризиса некоторые участники дискуссии (например, Александр Архангельский) уже говорили, и я с ними согласен. И в обоснование этого мрачного прогноза хочу привести некоторые дополнительные соображения.

Тяжелейшие проблемы, которые достанутся будущему президенту, — это проблемы прежде всего экономической, связанные с нашей зависимостью от цен на нефть. Я более чем уверен, что цены эти в ближайшие пять–десять лет существенно понизятся.

А по расчетам экспертов известно, что при их падении ниже 40 долларов за баррель у нас возникнут серьезные трудности. Но когда возникают трудности и что-то выходит из-под контроля, у нашей власти начинается истерика. Вспомним, как было на начальном этапе монетизации льгот: едва люди вышли на улицы, власть забилась в истерику и сразу вывалила для успокоения недовольных жуткую кучу денег.

Бюджетные проблемы, связанные со снижением цен на нефть, скорее всего обнаружат себя в конце нынешнего — начале следующего десятилетия. И президенту, который с ними столкнется, не позавидовать. Государство, не подумав толком, набрало колоссальные социальные обязательства и со страхом ожидает времени расплаты. К примеру, наш пенсионный фонд половину своих денег получает напрямую из федерального бюджета, он не может за счет единого социального налога обеспечить выплату пенсий. Иными словами, они выплачиваются опять-таки благодаря ценам на нефть, причем с каждым годом зависимость от этого источника усиливается.

Но уже и сейчас государство не в состоянии выполнять все взятые на себя социальные обязательства. Вот поймали недавно ребит из Фонда медицинского страхования, но само по себе это в данной сфере мало что изменит. Потому что дело не только в чиновничьих злоупотреблениях, хотя и в них тоже. В бюджете на 2007 год не заложено достаточного количества денег для бесплатных лекарств всем льготникам, не покрыты долги перед дистрибьюторами. Даже при нынешних ценах на сырье государство испытывает затруднения. А что будет, когда эти цены упадут?

К тому же по-прежнему плохо обстоит дело с налогами, они не выходят из тени. Рассматриваются предложения замены НДС, который не удается эффективно администрировать, налогом с продаж. Но это если и будет принято, то уже следующей администрацией, которая вынуждена будет разоружать и все социальные последствия этого довольно рискованного шага. У нас ведь такая практика уже была: пойдешь в магазин, а местные власти к ценам новую надбавку ввели. И радости у населения это не вызывало.

Последствия неизбежного падения доходов от сырьевого экспорта будут тем более драматическими, что значение несырьевых отраслей российской экономики остается незначительным. Она так и не смогла приспособиться к конкурентной среде. У нас чуть ли не половина рабочих мест с точки зрения рыночных критериев неэффективна. Люди занимают непонятно чем и производят то, что не имеет спроса ни на внутреннем, ни, тем более, на внешнем рынке. Это касается и негосударственной сферы: классический пример — уже упоминавшийся АвтоВАЗ. Или возьмите наше авиастроение — о его плачевном состоянии тоже хорошо известно. Уж не говорю о каких-то мелких вещах: почти все безделушки, продаваемые в российских магазинах, сделаны либо в Китае, либо в Турции. Мы стали страной, самостоятельно производящей только нефть, газ, какие-то металлы и небольшую часть еды. Что касается лекарств, то 80% субстанций, из которых эти лекарства делают, — из Китая или Индии. И чуть ли не половина мяса у нас импортная. А Герман Греф не так давно сообщал, что к 2009 году российский импорт будет больше, чем экспорт.

В 1990-е годы так и не решились на жесткую структурную перестройку экономики. Боялись массовой безработицы, да и политическая ситуация была крайне сложной. Вспомним: в Верховном Совете, а потом и в Думе большинство было против президента. Не сделали этого, убавляющие высокие цены на экспортное сырье, и за истекающие путинские годы. Но такое положение вещей не может продолжаться до бесконечности. Если Россия хочет выжить, то нам точно следует половину экономики закрывать.

Возникает вопрос: куда девать людей — в том числе и тех, которые заняты сегодня в бюджетных отраслях? Ведь и очень многие учителя нынешние не годятся, и врачи. Когда проводили перепись терапевтов, которым теперь положены 10 тысяч рублей

надбавки, обнаружили работающего врача 1919 (!) года рождения. А что в школах? Сегодня историю и литературу, физiku и математику там преподают люди пенсионного и предпенсионного возраста, воспроизводя отсталость и рутину. И в вузах то же самое. Особенно по современным специальностям, связанным с экономикой, юриспруденцией, медициной.

Во всех бюджетных отраслях нужны новые кадры. Колоссальная, титаническая задача — от одних освободиться, обеспечить другой работой, других — набрать, предварительно подготовив. И для ее решения тоже, кстати, понадобится всемерное развитие малого бизнеса, который должен взять на себя трудоустройство миллионов высвобождаемых людей. Помогать же ему должно опять-таки государство — через создание льготных налоговых условий, предоставление бесплатных помещений, активизацию центров занятости. Только вот очень сложно представить себе в этой благородной роли нынешнее государство — насквозь коррумпированное, потерявшее (за ненадобностью) даже подобие профессионализма.

В результате бюджетная сфера пребывает в депрессивном состоянии, а в экономике в целом накапливаются критические диспропорции. Существует, например, проблема инфляции, подавить которую мы не можем. Все говорит о том, что она у нас сохранится на уровне 8–9%. Кстати, для бедных она еще больше — где-то на уровне 12–15%. Получается, что реальные доходы тех же пенсионеров не растут, и они либо выживают за счет общего дохода семьи, либо, если одинокие, просто бедствуют. А теперь еще раз представим себе, что будет, когда цены на сырье поползут вверх. А это ведь произойдет! И тогда никому мало не покажется. С моей точки зрения, похлопать должно где-то в период следующей legislatury, в 2009–2010 годах, причем непременно.

Думаю, что власть до конца не осознает реальность такой перспективы. Потому что она озабочена другим. Тем, чтобы сохранить главенствующие позиции в экономике, которые входили в высшие властные эшелоны люди начали захватывать с 2003 года и в данном отношении весьма преуспели.

Что касается технократов типа Г. Грефа и А. Кудрина, то они, скорее всего, это понимают. Но они молчат, надеясь на какое-то чудо. Возможно, думают, что пронесет. Не пронесет! Фактически в стране складывается революционная ситуация. Я не люблю этих слов, я не сторонник революции, но боюсь, что следующему президенту придется действовать в экстремальных обстоятельствах. Страна ниша, к сожалению, вождейская, и это, видимо, будет последний раз, когда от вояды будет очень многое зависеть.

Следующий президент тоже, конечно, сможет попробовать закрыть на все глаза, надеясь, что и на его политический век путинской стабильности хватит. Но это, во-первых, вряд ли, а во-вторых, последствия такой бесечности могут стать для лидера трагическими, а пронсекающие из нее беды для страны — неисчислимыми. Поэтому хотелось бы надеяться, что он сразу же озаботится тем, чтобы срочно и резко поменять политику, поменять команду, поменять методы управления.

Так, например, как это сделал Хрущев после Сталина. Аналогия, конечно, условная, но тогда политика за каких-то два-три года действительно радикально изменилась, позволив СССР выйти на качественно новый уровень развития. Поэтому аналогия с тем временем сохраняет свою поучительность.

Активизировать бизнес — главная задача нового президента

Что, однако, означает сегодня «резко поменять политику»? Это означает, что новый президент должен будет пойти на риск. Он должен будет резко активизировать политическую роль бизнеса. Такую, убежден, главная задача будущего руководителя страны. От его способности осознать ее зависит очень многое, если не все.

Бизнес — это сфера, где работает большинство нашего населения. И это сфера, которая должна не только выживать, но и интенсивно развиваться. В том числе и потому, что нам необходимо сокращать работников бюджетной сферы, сокращать армию. Трудоустройство сокращаемых лежит на плечи бизнеса, никто другой это сделать не сможет. Но сегодня он, с одной стороны, стал дойной коровой для нашей бюрократии, а с другой — представляет собой стадо онемевших овец, которые боятся властям сказать лишнее слово.

Более того, у бизнеса вообще нет какой-либо возможности политического представительства. Предприниматели, которым дозволено его представлять, по-прежнему ходят на цыпочках к Путину и полупешотом вымаливают очередные административные послабления в налоговой или тарифной сферах (это когда уж совсем достанет). Вопросы же политического представительства интересов бизнеса не ставятся вообще: страшат последствия. А чтобы не выглядеть трусоватыми, говорят о том, что политика, дескать, не дело бизнеса, его дело — представлять интересы акционеров и наращивать прибыль, ничто иное волновать его не должно.

Впрочем, бизнес неоднороден. Описанные мною страхи характерны в основном для крупных предпринимателей, которым есть что терять. Что касается малого бизнеса, то он погружен в текущую, и ежедневную борьбу за выживание, и ему не до политики. Но есть еще средний бизнес, который тоже, в свою очередь, неоднороден и распадается, условно говоря, на две группы — средне-мелкий и средне-крупный. И именно эта вторая группа с интересующей нас точки зрения особенно важна.

Речь идет об относительно преуспевающей страте людей, которые самостоятельно выстроили свой бизнес, не используя возможности приватизации или залоговых аукционов. Так вот, представители данного слоя имеют определенные политические запросы, но не имеют адекватных средств их реализации. Лишь только они пытаются эти запросы артикулировать, как тут же местные власти и друзья по бизнес-сообществу начинают увещевания: слушай, дорогой, тебе что, свое дело совсем не жалко? Ведь развалить любой бизнес сегодня никакой проблемы не составляет: появится налоговая служба, выставит штрафы за какой-нибудь мохнатый год и вынудит заниматься всем этим, коль у тебя нашлось время мечтать о политике. Так что ни эта, ни, тем более, какая-то другая группа предпринимателей сама по себе субъектом перемен стать не может. Но не использовать накопленный нашим бизнесом колоссальный потенциал, держать его в стороне от политики может лишь безответственная власть.

Перед страной стоит важнейшая задача — формирование новой политической и управленческой элиты. Государством все же не кушарки управляют — мы это уже прекрасно понимаем. Но та политическая (в широком смысле) элита, которая у нас сейчас существует, включая и депутатов обеих палат Федерального собрания, и лидеров якобы политических партий, — все это лишь приводные ремни от очень узкой действительно правящей группы. Удручающие результаты деятельности и этой группы, и ее приводных ремней у всех перед глазами. Поэтому следующей президент должен взять курс на формирование общественной политической элиты, ввести новых людей в свою Администрацию, в правительство.

Вопрос в том, где таких людей взять. Сразу скажу, что это не может и не должно быть интеллигенция. Не надо повторять ошибок 1990-х годов, когда она была призвана наверх. Интеллигенцию во все времена и во всех странах отличало и отличает полное отсутствие навыков государственного управления. А вот у бизнеса, точнее — у среднего бизнеса, сумевшего пробиться «из-под глыб», такие навыки есть. И их надо использовать в интересах страны.

Я полагаю, что этими людьми движут не только сугубо частные интересы. Думаю, у них есть и некий общий интерес. Представьте себе типичного представителя данного

слон — владельца какого-нибудь завода в провинции. У этого завода нет отделений в других регионах, поэтому его владельца там не знают, но в своем областном центре он является человеком важным, заметным. И у него есть сегодня два пути. Первый: рост и превращение в бизнесмена крупного, из обладателя десятков миллионов — в миллиарды. Этот путь похвален, но только в случае, если ты действуешь по закону. Но есть и второй путь, особенно в надвигающейся критической ситуации, — спасти Родину. Потому что если этого не делать, то рухнет и то, что было неизмеримыми усилиями достигнуто за 15 лет новой России. Тем более что навыки для такой деятельности имеются — навыки кризис-менеджеров, из которых и может быть сформирована будущая элита.

Но для ее рекрутирования и сплочения нужны общенациональные лидеры, которым бизнес, претендующий на политическую роль, доверял бы и которые понимали бы важность обновления элиты. И я имею в виду не только будущего президента.

Вот, скажем, тот же Михаил Касьянов. Он не выиграет выборы в 2008 году: его либо не допустят к ним, либо «правильно» посчитают результаты в пользу официального преемника. Но когда подступит и разразится кризис — как после войны: дом обрушился и торчит только одна труба, — тогда Касьянов останется тем единственным из прежней ельцинско-путинской элиты, которого все знают и которому по-прежнему в глубине души все доверяют: и бизнес, и губернаторы, и Запад. Тем «единственным дымоходом», оставшимся от прежнего здания. Он может стать кризис-менеджером, знающим технологию спасения, вокруг которого все снова сложится. Не президентом, но, к примеру, премьер-министром. Однако опять-таки лишь в том случае, если у нового президента хватит разума понять, что иначе все развалится.

Нам сейчас в первую очередь нужны именно технологи спасения: экономические, финансовые и прочие. Нам нужен очень высокий уровень менеджмента, потому что мы себя сами загнали в тупик собственным непрофессионализмом. А профессионализм сохраняется сегодня только в среде регионального средне-крупного бизнеса. Не того средне-мелкого, который погружен в пучину ежедневной борьбы за выживание, а того, представители которого чувствуют себя относительно независимыми. Которые уверены, что завтра к ним не придут и не заберут их предприятия. Которые уже всем, кому надо, заплатили.

Я надеюсь только на эту страну бизнес-сообщества.

«Проблема преемника» как проблема обновления властвующей элиты

Проблему преемника Путина, столь широко и эмоционально сегодня обсуждаемую, просто бессмысленно рассматривать вне проблемы обновления властвующей элиты.

Я лично при всем желании не могу представить себе, как будет действовать наш нынешний правящий класс, когда начнутся процессы неуправляемого и непредсказуемого распада, когда начнутся массовые волнения, когда выйдут из подчинения отдельные элементы силовых структур. У сегодняшней власти нет и, думаю, у которых нет ответов на эти вопросы. Она просто не понимает, что ей делать в такой ситуации. Тем более что большинство ее представителей считают, что все шито-крыто, все довольны, а идотская телепропаганда уже оглушила всех до состояния полного дебилизма. Но есть пенсионеры, которым нужны лекарства, есть эти вот дольщики, у которых увели деньги и жилплощадь, есть масса недовольных — по самым разным причинам — людей. Пока еще нет условий для возникновения цепной реакции, но они могут созреть в результате самых простых, будничных событий.

Вспомним февраль 1917 года в Петрограде. Тогда за два дня до начала в городе волнений все вроде бы было управляемо, находилось под контролем. А через неделю

государство рухнуло. Тогда, правда, шел четвертый год войны, народ устал. Сейчас, слава богу, войны нет. Но к концу текущего десятилетия колличество и груз проблем, одолевающих рядового человека (ЖКХ, цены, проблемы со здравоохранением, с образованием, коррупционный беспредел даже на бытовом уровне, преступность), могут перерасти в опасное качество социальной нестабильности.

Нынешняя правящая элита, повторю, ко всему этому не готова и подготовиться не способна. И озабочена она, похоже, совсем другим. Думаю, ее планы очень простые: высотить, сохранить приобретенные финансовые ресурсы. Собственно поэтому, к сожалению, нормальный политический процесс, который должен был бы сопровождать смену властных команд, сейчас подменен другим — ловском стратегиям лживого выживания. Эти люди хотят повторить опыт Бориса Николаевича и его семьи, которая получила гарантии на весь путинский период. И никакой другой стратегии за годы правления нынешнего президента у политической элиты сформироваться не могло.

В начале своего президентства Путин сделал, быть может, максимум того, что мог при присущем ему уровне кругозора и стратегического мышления. Но когда в его окружении вымыслили дефицит интеллектуальной поддержки, а присущее ему недоверие к незнакомым помешало расширению круга доверительного общения, он сам себя загнал в ситуацию неспособности к стратегическому планированию. Показательна судьба идеи об «энергетической сверхдержаве», претендовавшей на статус внешнеполитической стратегии России. Где эта идея сейчас? Путин же сам от нее отстранился, когда пронаблюдал реакцию Запада. Но неужели сложно было предвидеть, какова будет реакция на нововидное отключение газа Украине? Теперь Запад навсегда унизил идею «энергетической сверхдержавы» с перспективой подобных отклонений.

При всех различиях в возрасте и прочих обстоятельствах, Путин по многим воспроизводит политический путь позднего Ельцина, подходя к концу своего второго срока предельно уставшим и абсолютно не желающим продолжать играть назначенную ему обстоятельством роль. Он, конечно, стремится сохранить свое нынешнее влияние на решение принципиальных вопросов, касающихся интересов близких ему людей. Но никаких резких движений он делать уже не хочет, а хочет лишь спокойно уйти и быть поминаемым немалым тихим словом. Поэтому ему не нужны никакие «прорывы»: все реформы им практически приостановлены.

Это весьма удобная тактика: ведь если после его ухода с поста президента в стране начнутся какие-то неурядицы, он может вновь выйти из тени и выступить в качестве некоего гуру-спасителя. Впрочем, если у него хватит на то идей, людей и прочих необходимых ресурсов. Но сейчас главный вопрос в том, в каком состоянии он страну оставляет и к чему ее своими действиями либо бездействием готовит.

На финальной стадии правления Бориса Николаевича мы стали свидетелями серьезного раскола элиты. Сейчас, наблюдая за предвыборными бодраниями двух «Россий» — «Единой» и «Справедливой», — мы можем констатировать, что намечился новый элитный раскол. И вот уже даже некоторые кремлевские политтехнологи в сердцах заявляют, что в результате формирования второй партии власти («Справедливой России») ситуация может окончательно выйти из-под контроля, что две партии власти — это погребель для нынешнего политического класса. И они правы. Потому что народ полностью дезориентирован.

Долгие годы ему пытались внушить, что есть одна партия сторонников политика Путина — «Единая Россия». И вдруг появляется вторая, выступающая по отношению к первой как оппозиционная, но тоже заявляющая, что она говорит от имени Путина. Появились уже и перебежчики в нее из «Единой России», в политике отчетливо обозначились проявления стихийности и неопределенности, что для нынешней политической элиты, неспособной управлять в условиях кризиса (не говорю уж о чем-то по-

добном революционной катастрофе), смерти подобно. Для избирателя, конечно, это даже интереснее: у него появляется возможность выбора, а вместе с ней и стимул быть политически активным. Но злит — в полном смысле, поскольку вертикаль власти, выстроенная под «Единую Россию», начала рассыпаться.

Пока, правда, риски сводятся к тому, что «Единая Россия» может не получить большинство в Думе. Поэтому главная интрига на сегодня связана все же не с парламентскими выборами, а с тем, что будет потом. Речь идет не просто о том, кто будет премьером Путина и на какую фракцию внешней элиты он сделает ставку, а о том, будет ли способен на обновление элиты в соответствии с внутренними и внешними вызовами, перед которыми оказалась страна.

На Путине сейчас очень большая историческая ответственность. Одно дело, если он выберет человека, приятного и удобного ему во всех отношениях, того, кто будет потом говорить правильные слова в адрес Владимира Владимировича. Другое — если Путин сделает свой выбор, понимая, какая колоссальная ноша, какие проблемы лягут на плечи его преемника. Причем, повторяю, не только внутренние, но и внешние.

Мы живем в едином глобализованном мире. В ближайшие годы американцы, думаю, решат проблему Ирака, выведут оттуда войска. Скорее всего, они решат свои проблемы и на Ближнем Востоке, и в Афганистане. А когда у них высвободятся силы, они займутся Россией. Займутся по-настоящему.

США, в частности, крайне обеспокоены нашим позиционированием в отношении Китая. Поскольку гораздо больше, чем нас, они боятся именно Китая, опасаются рисков, связанных со стремительным ростом его могущества. Россия же беспокоит их постольку, поскольку демонстрирует готовность стать сырьевым придатком Китая. В такой связке с Россией он имеет реальные шансы стать второй супердержавой, воспроизвести ситуацию биполярного мира полувековой давности, когда друг другу противостояли США и СССР.

В этой ситуации для России риск двойной: с одной стороны, оказаться под плотным прессингом американцев, а с другой — стать энергетическим придатком Китая. Да, последний пока не намерен претендовать на наши территории. Разговор о такого рода угрозах — глупости, китайцы не готовы их заселить, о чем некоторые участники дискуссии уже говорили. Но политическое влияние Китая плюс товарная экспансия — это вполне серьезно. Ведь Россия может просто утратить свой суверенитет в части обеспечения своего населения потребительскими товарами.

Европа, с моей точки зрения, допустила в 1990-е годы колоссальную стратегическую ошибку, упустив возможность включить Россию в сферу собственного общеевропейского рынка. Нужно было более активно вести политику интеграции, нужно было приглашать Россию и в НАТО, и в Европейское сообщество, начинать соответствующие переговоры, которые затем могли бы идти хотя бы и 20 лет. Но этого, к сожалению, не произошло.

Можно ли сегодня исправить ситуацию? Полагаю, что какие-то эфемерные шансы пока еще сохраняются. Путин мог бы, уходя, сделать грандиозный исторический шаг, оставив преемнику договор с ЕЭС о том, что должна делать Россия, чтобы стать членом Европейского сообщества лет через 25. Своего рода дорожную карту. Я понимаю, что даже для этого необходимо выполнить много разного рода условий и проработать разного рода договоренности, но такое наследие Путина было бы чрезвычайно важным для страны.

Что касается грядущего нарастания напряженности между Россией и США, то она сегодня нами явно недооценивается. Американцы не только влияют на нефтяные цены. Многими путями и разными способами они влияют и на внутреннюю ситуацию в России. Тут нет необходимости говорить о каких-то заговорах — все гораздо проще

и очевиднее. Ну, например, достаточно вспомнить, что деньги всех наших нуворишей хранятся на Западе. А после 11 сентября 2001 года для американцев не существует банковской тайны, даже имея в виду швейцарские банки. Все наши миллиардеры просто-напросто на крючке у американцев. Иными словами, разговор с нашей элитой — после того, как Россия станет для них главной целью, — может быть достаточно коротким.

В этих условиях наша власть использует националистическую, антизападную, антиамериканскую риторику для того, чтобы якобы сплотить народ. Точнее — чтобы было чем занять его головы. Вот иностранцы на рынках засели, вот грузины опять Россию обижают, вот на митинг необходимо собраться, чтобы выразить свою солидарность с властью. Простые тактике отвлекающие маневры. Парадокс же в том, что вся эта борьба за «национальные интересы» ведется элитой, которая на самом деле не является национальной, российской. И потому, что все ее деньги хранятся там, на Западе. И потому, что российская экономика давно уже предельно открыта, и ее «капитаны» стремятся делать БРЮ, причем в Лондоне. Им же начхать на наш внутренний рынок, они намерены повысить внутренние цены на газ в пять раз за пять лет. Если это всерьез, то, значит, экономика страны и ее будущее им абсолютно безразличны. Это абсолютно компраторская стратегия, с национально ориентированной политикой не имеющая ничего общего.

Таковы цели нашей элиты — сохранить деньги и не попасть в заключение при выезде к месту их размещения, не повторить судьбу какого-нибудь Маркоса. Отсюда и историческая ответственность Путина — осуществить переход 2007–2008 годов таким образом, чтобы не закрыть путь к формированию новой политической элиты, способной остановить набирающие силу процессы, которые угрожают самому существованию России как суверенной и благополучной страны. Если Путин это сделает, то ему достанется все-таки почетное место в нашей и мировой истории.

**«ПРИЧИНУ КОНСЕРВАЦИИ
ПЕРСОНАЛИСТСКОГО РЕЖИМА НАДО
ИСКАТЬ НЕ В КОНСТИТУЦИОННОЙ
КОНСТРУКЦИИ ГОСУДАРСТВА,
А В ОБЩЕСТВЕ»**

Я рад приглашению Игоря Моисеевича Клямкина принять участие в обсуждении чрезвычайно богатой мыслями статьи Михаила Краснова. Дискуссия по фундаментальным проблемам политической власти в России не может не быть актуальной в год парламентских выборов и менее чем за год до выборов Президента РФ. Кроме того, окончание второго срока полномочий второго президента страны позволяет подвести итоги развития политической системы России и обсудить причины «трудностей перехода» и возможности их преодоления.

Главный итог последних двух десятилетий: на рубеже 1980–1990-х годов Россия вернулась на естественный для нее путь развития. Ведущие факторы этого развития — формирование и постепенное укоренение института собственности («центральная роль денег») и растущая включенность в мировые процессы («открытость страны»). Основное «дело» на данном этапе жизни России — становление капитализма.

Отличие России от стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину и даже Белоруссию, заключается в том, что у России отсутствовала и отсутствует реальная возможность ускорить и закрепить внутреннюю модернизацию посредством международной институциональной интеграции через вступление страны в Европейский союз и НАТО. Таким образом, российский транзит опирается главным образом на внутренние факторы развития, что делает его более длительным и тяжелым, не исключаящим срывы и полетные движения.

Конституция «на вырост».

Российское общество между подданством и гражданством

Нынешний политический режим РФ не только опирается на традицию, но и отражает состояние общества и поэтому «объективен». Этот режим — царский по сути, по форме и по стилистике. Власть консолидирована, ее разделение представляет собой конституционную фикцию. Президент РФ — современный царь — выступает единственным функционирующим институтом политической системы. При этом особенностью российского авторитаризма является то, что авторитарное правление опирается на согласие управляемых. Роль легитимирующего фактора в этой «цепочке» исполняют выборы.

Президент РФ не является, конечно, абсолютно независимым субъектом. Он выступает в роли арбитра между различными группами интересов, обладающими финансово-экономическим весом и административным ресурсом. В этом узком смысле политика в России существует, и ее результирующая представляет собой внутрилиберальную компромисс. Однако ничего принципиально нового и специфического здесь нет: любая свобода, как свидетельствует мировая история, начинается со свободы «баронов» и постепенно распространяется вниз, в конце концов охватывая рядовых обывателей.

Россией управляют те же люди, которые ею владеют. В меньшей степени это владение формализовано и публично, в гораздо большей — формализовано, но непублично, в еще большей — не формализовано и представляет собой «лишь» контроль над финансовыми потоками. Этой более или менее консолидированной властью корпорации в России противостоят все еще довольно аморфное, но быстро структурирующееся общество. Имущественное расслоение ведет к социальной стратификации и постепенному оформлению групп интересов. Дело не в фетишизации среднего класса как «золотого ключика» модернизации, а в том, что Россия во все большей степени и на всех уровнях превращается в страну материально выраженных интересов.

Наше общество, если понимать под ним совокупность управляемых, не столько прозевало персонализацию власти и восстановление всевластия бюрократии, сколько не было готово к участию в политической жизни. Такая готовность основывается не на абстрактном желании «установить демократию», а на осознании реальной, конкретной ответственности перед собой и своей семьей. Воля к ответственности способна породить лишь владение собственностью. Политическое участие — не только регулярная «отдача голосов» на всевозможных выборах, но прежде всего самоорганизация для достижения значимых конкретных результатов на уровне повседневной жизни. О выходе на этот рубеж могло бы свидетельствовать, например, массовое появление в России товариществ собственников жилья.

Пока процесс вызревания миллионов индивидуальных волей не завершился, общество будет склонно мириться с волей правителя и с всевластием бюрократии. Поддержка правителя со стороны управляемых, однако, не гарантирована автоматически. Более или менее равнодушное к вершущей политике, массовое сознание вырабатывает «мнение» по важнейшим для себя вопросам (прежде всего социально-экономическим), игнорировать которое не может позволить себе ни один «государь». Да, Кремль предпринимает активные усилия по воздействию на общественное мнение в нужном для правящей элиты направлении. Однако возможности манипулирования массовым сознанием в обществе, где существуют частная собственность и свобода передвижения, существенно ограничены.

Конституция РФ — это конституция «на вырост». Российское общество 1990-х и 2000-х годов в большинстве своем — уже не масса подданных, но еще и не корпус граждан. Картина, которую РФ пыталась являть внешнему миру в 1990-е (демократия, рынок, независимые СМИ), слабо соответствовала реальности. Вместе с тем институты разделения властей, парламентаризма, независимой судебной власти, зафиксированные в Конституции, — не ширма, подобно многим положениям советских конституций, а своего рода местоблюстители, которые, вероятно, будут заполнять по мере формирования условий для существования перечисленных институтов. В этом смысле демократия и права человека в России — не прошлое («свободные 1990-е»), а будущее, хотя и не очень близкое.

Попытка «срезать исторические углы», искоренить персонализм с помощью персонализма, отрицающего самое себя, бесперспективна. На случай расчитывать нельзя; «заслать казака в Кремль» не получится, даже если глава режима личной власти решится на его демонтаж. Без поддержки организованных сил общества он добьется немногого. Уверенное движение вперед — это обязательно движение, поддержанное снизу.

Итак, ключ не в руках героя, сумевшего пробраться в Кремль, а в самом обществе. И дела здесь не столь безнадежны, как многим кажется.

Генератор такого общественного движения — частная собственность. Логика ее развития свидетельствует, что количество собственников увеличивается в геометрической прогрессии. Условно говоря, страна, «принадлежащая» дюжине олигархов (групп, семейств, кланов), через 10 лет будет иметь сотни «владельцев», через 20 лет —

сотни тысяч. И т.д. Для владельца же естественно воспринимать себя хозяином. Это значит, что со временем у земли Русской будет появляться все больше хозяев. Невозможно представить себе, что политический режим при этом не будет становиться все более плюралистическим.

Развитие в данном направлении, хотя и объективно обусловленное, не будет идти в автоматическом режиме. Кризисы не просто вероятны; они неизбежны. Но при этом если вначале политический режим будет оцениваться по критериям уровня компетентности (Ельцин — Путин; Путин — его преемник), то в дальнейшем — все чаще также и по степени представительства основных групп интересов.

Политический режим России непосредственно после выборов 2008 года будет, вероятно, менее консолидированным, чем в 2004–2007 годах. Авторитет третьего Президента РФ будет в первое время опираться на авторитет его предшественника, выдвинувшем которого он будет поначалу восприниматься. Новый премьер-министр также окажется, по-видимому, назначенцем Владимира Путина, а не его преемника. Значительная часть высших чиновников останется на своих постах. Наконец, важнейшей новацией станет фигура самого бывшего президента, который будет играть роль не только «гаранта» и «арбитра», но какое-то время также и «шефа» (в его советском значении), т.е. в каком-то смысле соправителя.

Это обстоятельство существенно изменит «живую конституцию» России и даст стране шанс сделать шаг вперед в формировании институтов власти. Кроме того, сам факт активной политической роли бывшего президента был бы для страны позитивным. Ведь расширение пространства для «бывших первых» является важным индикатором расширения свободы для остальных: сравните «уходы» конкурентов Сталина, отправку на пенсию Хрущева, создание Горбачевым Фонда социально-политических исследований, периодическую публичную активность Ельцина после его добровольной отставки.

Кстати, обсуждаемая возможность избрания экс-президента Путина Председателем Конституционного суда РФ в случае реализации могла бы существенно укрепить авторитет судебной власти и постепенно создать условия для того, чтобы конституционная норма разделения властей стала в РФ реальностью. Необходимость в независимом судебном арбитраже в условиях современной России очевидна. Конечно, на сегодняшний день КС РФ — сравнительно скромное учреждение. Но ведь и в США Верховный суд первые 14 лет своего существования играл незаметную роль. Своим внешним положением ВС США обязан верховному судье Джону Маршаллу, превратившему Суд за 34 года председательства в интерпретатора Конституции США.

Национальная элита и новый либерализм

Ключевой вопрос российской государственности — становление в России национальной элиты, способной контролировать правящую верхушку и толкать ее к модернизации режима. Речь идет о появлении в сравнительно близкой исторической перспективе группы современных, состоятельных и самостоятельных собственников, готовых взять на себя общественное лидерство. Такое лидерство уже востребовано на всех уровнях — от муниципального до общедолевого, но пока отсутствует его субъект. Можно ожидать, что необходимость защиты собственных интересов и — одновременно — возможность думать шире и смотреть дальше, чем личные интересы, будет заставлять российских «лучших людей» соединять свои усилия. Появятся партии, созданные на фундаменте базовых принципов федерации интересов, и лobbисты крупных программ. Нынешняя российская «федерация кланов» станет похожей на федерацию регионов.

Задача уже существующих сил, которые в будущем могут составить национальную элиту России, — способствовать тому, чтобы более разреженная среда на вершине власти не привела к одному из (или обоим) возможных результатов: ожесточенной борьбе после 2010 года за обладание всей полнотой власти и утверждению нового единовластия. Этого можно добиться, настойчиво подталкивая корпоративных «баронов» — в их же собственных интересах — к политическим компромиссам и «легалитизму», образовывая и проследя их и — одновременно — ставя в жесткие рамки. Легализация капиталов, международное признание (или, напротив, санкции за нарушение законов и норм) — вот инструменты такого воспитания.

Сказанное позволяет утверждать, что либерализм вновь становится для России актуален. Историческое время «консерваторов», подморозивших (по их терминологии, «стабилизировавших») на время страну, истекает, и они сами начинают это осознавать. Что делать дальше? Очевидно, что мобилизационные проекты не способны решить задачу модернизации из-за сложности самой задачи и невозможности управлять развитием из одного центра. Более того, их реализация под вопросом из-за колоссальной коррупции в государственном аппарате. Авторитарный мобилизационный поворот («диктатура развития», в которой значимым является только первое слово) способен, скорее всего, окончательно развалить страну. И гражданское общество в принципе не может быть создано государством, на что надеются некоторые высокопоставленные чиновники, сколько бы денег государство в него ни «закачивало». Государство может лишь создать более или менее благоприятный режим для самоорганизации общества.

Именно либерализм с его упором на институты собственности и конкуренции способен повести страну вперед по пути модернизационных реформ. Российские власти совершенно справедливо указывают на необходимость конкуренции на международной арене, где их лозунгом дня стала многополярность. В принципе, мир именно в этом направлении и развивается. Еще большая потребность в конкуренции, однако, существует внутри России. Без внутренней конкуренции невозможна внешняя конкурентоспособность. В свою очередь, внешняя неконкурентоспособность страны обрекает ее на исход за границу элиты (в критериях меритократии, т.е. самых лучших), а затем и массы трудоспособного населения. Современный опыт самых разных стран — от Узбекистана до Зимбабве — тому яркое свидетельство.

В XXI веке с его колоссально расширившимся пространством свободы «единицей успеха» является уже не государство (как в XIX) и даже не компания (как в XX), а человек. Соперничество между государствами и компаниями — это в конечном счете конкуренция за человека.

Субъектом нового либерализма могут быть те группы и лица из среды новой буржуазии, государственной бюрократии, «новых людей», добившихся личного успеха, которые решили остаться в России и, естественно, стремятся поэтому к улучшению среды, в которой они живут и от которой зависят. Главные ценности этих людей и групп — свобода и сочетание с ответственностью и достоинством личности. И важнейшая задача либералов — формирование современной национальной элиты, поддержка успешных и перспективных людей, разделяющих общие с ними ценности.

Новым либералам требуется соответствующая стратегия и тактика. Им не обязательно претендовать на общенародный характер своей организации. Нет особой необходимости и в создании парламентской партии. Россия — не демократия и еще долго ею не станет. Пале деятельности либералов — верхние слои общества, которые должны подать пример и в конечном счете повести за собой все общество. Речь идет о верхнем слое на всех уровнях — федеральном, региональном, городском, муниципальном. Сетевая организация либералов должна стать локомотивом развития.

Исторический путь длиной в три поколения

Нет никаких оснований считать Россию органически неспособной генерировать демократию. Полностью согласен с Лилией Шендиковой в ее неприятии фатализма. В свое время практикой были отвергнуты представления о демократической бесперспективности немцев, католиков, православных вообще и восточных славян — в частности. На наших глазах процесс вестернизации охватывает все больше стран и регионов не только Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, но также Азии и Латинской Америки. Формируется то, что можно назвать потенциальным новым Западом. Пресловутый БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) — его возможный костяк. Эти страны идут по пути, проложенному до них Японией и Южной Кореей, Тайванем и Турцией, а еще раньше — Западной Европой и Северной Америкой. Российский путь — как индийский или бразильский — специфичен, но не уникален.

За двадцать лет хождения по этому пути Россия добилась существенных успехов, которые нет смысла недооценивать. Россия переживает одновременно несколько фундаментальных трансформаций: социально-экономическую; внутри- и внешнеполитическую; национально-государственную. Ни одна из этих по сути революционных трансформаций не завершена, есть опасность стагнации, но есть и закреплённые результаты. Главный результат — перенос центра внимания и интересов на частную жизнь.

Атомизированная Россия сегодняшнего дня, в отличие от общинной, коллективистской России прошлого, становится все больше индивидуалистичной. Ею фактически движут не идеология и не Кремль (роль первого лица государства неуклонно снижается), а конкретные интересы конкретных людей и их групп. «Свобода воли социального электрона», о которой говорит Игорь Александрович Яковенко, а еще раньше — другими словами и на другом языке — говорил Адам Смит, в условиях глобализации обладает большей силой, чем когда бы то ни было в прошлом.

Не могу согласиться с теми, кто считает, что Россия находится в исторической ловушке. Напротив, после 1991 года она возобновила движение по естественному для нее пути развития, которое идет в общем направлении вестернизации, иначе говоря, восприятия наиболее эффективных экономических, социальных и политических институтов. Становление демократии участия — важный, но не ранний продукт этой эволюции. Капитализм, деньги, собственность формируют основу будущей российской демократии. Вероятная траектория при этом пройдет от нынешней царской (моносубъектной) модели к «конституционной монархии» (наличие нескольких субъектов власти и, главное, укоренение законодательства) и, далее, к представительной демократии, т.е. к российскому аналогу современных западных политических режимов. На всю «дорогу» может уйти примерно три поколения. Если брать за точку отсчета начала «процесса» провозглашение Михаилом Горбачевым курса на перестройку, то первая треть пути близка к завершению. В этом смысле и все последующие, постперестроечные режимы — Ельцина, Путина, следующего президента и его преемников — были и будут переходными.

Переходом к новому качеству, «точкой невозврата» в движении страны будет достижение согласия в правящей элите и в наиболее значимых общественных группах относительно верховенства закона. Магистральный путь лежит в продвижении от России порядка, обеспечиваемого традиционными способами, к России закона, к тому, что Михаил Краснов называет лезократией. Это означает переход от неформальных отношений и теневых практик, о которых говорит Алексей Зудин, к преимущественно формальным и прозрачным отношениям в государстве и обществе.

Секрет консервации персоналистского режима, повторю, кроется не столько в конституционной конструкции государства, сколько в обществе. Следовательно, и «решать вопрос» нужно главным образом не в сфере конституционного права. В то

же время укоренение авторитета Закона, усиление судебной власти — главный фронт продвижения вперед. На данном этапе в фокусе находится не объем полномочий Президента РФ, а комплекс вопросов собственности. Именно здесь — основной участок работы «инженеров» российских реформ.

Тем не менее по мере создания условий для более равновесной политической конструкции коррекция властных полномочий абсолютно необходима. Первое окно возможностей открывается, как уже упоминалось выше, сразу после выборов 2008 года. Так что предложения Краснова очень актуальны.

Последнее замечание касается международного аспекта проблемы. Я всегда воспринимал Россию как часть Европы, но не часть Запада. Принадлежность России к европейской цивилизации — не предмет дискуссий. Это — факт. Сейчас, однако, когда Европа идет по пути объединения и все больше отождествляется с Европейским союзом, невозможно говорить о России — на всю обозримую перспективу — как о части единой Европы. В то же время Россия очевидно идет по пути вестернизации, она все глубже включается в мировые процессы и международные комплексы интересов. Итак, от России европейской, но не западной к России западной, но не европейской — вот тот путь, по которому идет страна.

Она, конечно, никакой не мост и не «внецивилизационное» образование. Географически евро-тихоокеанская, политически расположенная между Европой и Америкой, непосредственно соседствующая с Восточной Азией и с исламским Югом и включающая в себя растущий мусульманский элемент, это страна глобального уровня. Будущее России и благополучие остального мира во многом зависят от того, будет ли соответствовать этому уровню качество российской элиты.

ЧАСТЬ III

**ИДЕОКРАТИЧЕСКОЕ
ГОСУДАРСТВО:
PRO ET CONTRA**

«РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ БЫТЬ ЛИШЬ СОЧЕТАНИЕМ ИДЕОКРАТИИ И ДЕМОКРАТИИ»

Отвечая на вопросы относительно природы и перспектив современной политической системы в России, поставленные организаторами дискуссии, должен сразу сказать, что эта система представляется мне крайне неэффективной, причем по целому ряду параметров. Вместе с тем мне очень сложно соотносить мою позицию как с традиционной западной, так и с почвеннической точками зрения, принятыми среди наших экспертов. Эту позицию вряд ли можно однозначно охарактеризовать по двумерной шкале оценок «патриотизм-либерализм».

Наша политическая система содержит на самом деле множество родовых паттернов в целом традиционной для России модели правления — самодержавно-бюрократической. Включая и те новации, которые внесла в эту модель бюрократическая рационализация самодержавия, начавшаяся еще в эпоху Павла I и достигшая своего предела в «псевдоконституционной» системе думской монархии образца 1906–1917 годов.

Общая черта этой модели, в несколько обновленном виде воспроизводимой и сегодня, — исключение реальной политической конкуренции. Бюрократ, технический исполнитель занимает место политика. Технический расчет замещает политический выбор. Прочность системы непосредственно связана с популярностью, рейтингом доверия верховному главе государства. Пока его правление кажется успешным большинству населения, система худо-бедно работает. Но как только его власть по тем или иным причинам теряет привлекательность для избирателя, тут же возникают системные сбои, преодолеть которые оказывается крайне сложно и без особых, чаще всего незаконных, политических усилий просто невозможно.

Никакой серьезной разницы между режимом Б. Ельцина и режимом В. Путина в этом смысле усмотреть нельзя, за исключением определенных изменений в региональном управлении. Однако, централизованную систему и создав так называемую вертикаль власти, действующий президент замкнул ее на себя, т.е. на собственную Администрацию, одновременно превратив обе палаты парламента фактически в департаменты исполнительной ветви власти. Вместе с тем утратили серьезное значение политические партии, а также независимая судебная власть. Не будучи либералом западного толка, для которого первоочередное значение имеют права и свободы личности, а интересы государства стоят на втором месте, я считаю данную модель не просто антидемократической, но что при определенных условиях можно было бы согласиться, а именно дисфункциональной, угрожающей целостности и стабильности государства.

Во-первых, данный режим не может без каких-то искусственно создаваемых кризисов воспроизводить сам себя. Наши руководители упорно боится идти на отмену президентских выборов, и, думаю, причина этого заключается отнюдь не только в страхе потерять расположение западных лидеров и общественности, как предпола-

гают некоторые эксперты. Существует, может быть, и более весомая причина для сохранения института выборов главы государства. Я имею в виду опасение, условно говоря, «либерального», хотя правильнее сегодня было бы говорить «интеллектуально-го», крыла правящей элиты оказаться в полной зависимости от «силовой группировки».

Понятно, что в случае нелегитимного продления полномочий главы государства силовик, как и в 1993-м, выходит на первый план, а вся разветвленная экспертно-интеллектуальная инфраструктура, так или иначе соотносящаяся с общественным мнением и публичной политикой (скажем, мобилизующая массовые политические организации в целях противодействия электоральным революциям), оказывается просто ненужной. В свою очередь, такой поворот напередка приведет к отчуждению от власти активной части интеллектуального класса, что, в свою очередь, еще в большей мере будет способствовать делегитимации режима, особенно при неизбежном осложнении внешнеполитической обстановки. Все это уже имело место быть в 1994–1996 годах, и к этой полукатастрофической ситуации режим явно не намерен возвращаться.

Во-вторых, подавление открытой политической конкуренции при отсутствии механизмов транзита власти делает довольно невнятной всякую правительственную политику. Проще говоря, непонятно, кто несет ответственность за принятие тех или иных ответственных решений, прежде всего в области экономической политики. Министры сейчас — это тезкаческие исполнители, назначаемые и снимаемые президентом, лидеры партий — точно такие же чиновники, полностью зависящие от Администрации. Выходит, вся ответственность за политические решения ложится на плечи главы государства. Именно он отвечает за провал или успех национальных проектов, поскольку именно им были назначены лица, призванные реализовывать эти президентские начинания. Провал экономического курса, как в августе 1998 года, способен поколебать всю пирамиду власти.

Понятно, что система, способная пошатнуться от малейшего сбоя в работе исполнительной власти, непрочна по определению. В любой оппозиции себе по любому из экономических вопросов власть справедливо угадывает признаки будущей революции, а любой критик правительственной политики, даже в целом лояльный сложившейся политической системе, неизбежно превращается во врага. Я не очень верю в близость падения «цен на нефть», предсказанное экспертами, но если таковое падение по тем или иным причинам произойдет, тщательно возведенная Путиным система политической стабильности рассыплется как карточный домик. Чиновники немедленно снимут с себя ответственность за рост цен и невыплату зарплаты, возведут всю вину на главу государства, которому в такой ситуации окажется уже крайне сложно обеспечить победу на парламентских выборах («партии власти» и, тем более, провести преемника).

Причиной и вместе с тем отягощающим признаком данной политической системы является почти неизбежно сопутствующая ей политическая коррупция: власть оказывается орудием извлечения личных доходов, в том числе посредством постоянного перераспределения собственности. При таком положении вещей частное лицо никак не может получить гарантии неприкосновенности своей собственности от государства, а власть видит в любых претендентах на высшие места во властных эшелонах прежде всего конкурентов в борьбе за законы куски собственности.

В-третьих, крах политической системы, вызванный возможным экономическим коллапсом, поставит под угрозу целостность страны, в которой каждый региональный руководитель на сегодняшний день является президентским назначенцем.

Наконец, в-четвертых, подавляющая политическую конкуренцию система плодит внутри себя множество различных квазиконституционных органов, обладающих

разной степенью власти и влияния. Это в первую очередь так называемая Общественная палата, симулирующая реальное представительство гражданского общества, а также пресловутая Администрация президента, которая, насколько можно судить, и является в настоящее время реальным правительством страны. Внутри этого института и совершается реальная государственная политика, там идет подлинная борьба за власть между различными сегментами политической элиты. Разумеется, никакой продуманной и ответственной перед своей страной политике функционирования такой квазиконституционной системы не соответствует.

В том-то и беда нашей политической системы, что она не может решиться ни на откровенный авторитаризм, ни на открытую политическую конкуренцию, зависая где-то посередине и продолжая существовать в большей степени по инерции. С другой стороны, вся эта, на самом деле, разболтанная и плохо отлаженная машина оказывается еще и лишенной четкого идеократического оформления, ибо ее лидеры не могут сойтись в фундаментальных вопросах исторического бытия России — скажем, в вопросе о том, относится она к Европе или представляет собой особую уникальную цивилизацию. Поэтому не очень понятно, как поведет себя Россия в тех или иных международных коллизиях и каковы принципиальными соображениями будет руководствоваться при этом ее политическое руководство. Возникает ощущение, что как во внутренней, так и во внешней политике наша страна будет лишь оперативно реагировать на возникающие вызовы, устранимая от выработки стратегической линии, основанной на каких-то идеологических константах.

Все это в совокупности свидетельствует о крайней необходимости для России смены конституционного строя. Думаю, оптимальной мерой было бы наделение президента страны правом избираться на третий или же четвертый срок в обмен на формирование кабинета министров победившей на парламентских выборах партии при утверждении правительства главой государства. Причем на какой-то переходный период режим «управляемой демократии» может быть даже сохранен — в том смысле, что к выборам будут допускаться только те партии, программы которых будут соответствовать основным принципам общегосударственной политики. Сами же эти принципы должны быть сформулированы и утверждены неким надпартийным идеократическим органом, не претендующим на оперативное вмешательство в политический процесс (подобные функции в США исполняет Верховный суд, а для европейских стран — высшие органы ЕС и Совет Европы).

С другой стороны, следовало бы отказаться от института губернаторов, переложив функции регионального управления на избираемые субъектами Федерации правительстве земель, главы которых должны быть, подобно главе кабинета, утверждены федеральным президентом. При такой системе вертикаль власти сохранилась бы, но она не превращалась бы в нынешнюю систему бюрократической безответственности. Эти и другие вполне рациональные политические предложения по трансформации системы власти в России были сформулированы в Конституции Института национальной стратегии 2005 года.

Россия, по своим историческим и геополитическим характеристикам, не может считаться частью Европы или какой-то иной цивилизации. Как единое целое она может существовать лишь в качестве отдельного государства-цивилизации, не интегрированного ни в какую иную цивилизационную семью народов. Вские попытки интеграции в европейский мир будут способствовать только продолжающему кризису российской государственности. Европа не хочет, не может и, главное, не обязана включать в себя Россию, не обязана считать нашу страну полноправной участницей европейского содружества наций. Но если это так, то уже одно это должно раз и навсегда исключить любые попытки России найти свое место в общеевропейском доме.

По той же причине наша страна не может слепо копировать и политическое устройство европейских демократий, которые на сегодняшний день являются полусуверенными государствами. Это предполагает, что Россия, как и всякая другая устойчивая демократия, не может быть лишена своих собственных надпартийных идеократических инстанций, корректирующих политический курс страны в зависимости от основных установок ее цивилизационной идентичности. Полагаю, что таковыми установками должны быть господствующая роль в обществе православной религии, целостность страны, национальное равноправие.

Однако наличие идеократического компонента государственного строя России не отменяет необходимости конкуренции политических сил, представляющих несопадающие интересы разных слоев населения страны, а также их различные представления об оптимальном социально-экономическом и международном курсе государства. Здесь очень важно пройти между Сциаллой и Харибдой. Если политические силы внутри страны будут сталкиваться по принципиальным вопросам ее цивилизационного самоопределения, в частности о том, следует ли России интегрироваться в военные и политические организации Запада, то Российское государство окажется перед опасностью фундаментального раскола — у сторон просто не окажется общей основы для коэзюса. Однако подавление всякой свободной конкуренции в конечном счете рано или поздно приведет к государственной катастрофе — российские граждане не обладают тем безотчетным чувством доверия к действующей власти, какое имеют жители различных успешных в экономическом отношении азиатских автократий и полуавтократий. Для России отнюдь не любая власть является легитимной в глазах населения, таковой легитимностью обладает лишь власть успешная.

Нужно быть реалистами: в ситуации хаотических и зачастую непредсказуемых флуктуаций мировой экономики, в которую худо-бедно вписана Россия, власть не может быть застрахована от сбоев и кризисов, зачастую происходящих даже не по ее вине. При отсутствии же гибкой управляемой демократической системы, экономические кризисы почти неизбежно перерастают в политические. Поэтому оптимальная форма Российского государства и должна всегда строиться на сочетании компонентов идеократии и демократии.

**«НАМ НУЖНА САМОДЕРЖАВНАЯ
МОНАРХИЯ, НЕСКОЛЬКО СМЯГЧЕННАЯ
РЯДОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ»**

В российском политическом спектре постепенно выкристаллизовывается новое направление, идеологической основой которого является то, что условно можно назвать «русским консерватизмом». Я считаю эту силу растущей, перспективной и солидаризуюсь с соответствующими ценностями и политическими приоритетами. Поэтому прежде, чем приступить к полемике с Михаилом Красновым и другими либералами, хочу кратко изложить базовые положения русского консерватизма.

Очевидно, что он вырос на оттаивании от уже существующих маршрутов, проложенных по современной политической карте, постепенно осознавая себя как «четвертый путь», т.е. как нечто совершенно самостоятельное, отличное и от коммунизма, и от либерализма, и от ряда «густых» националистических организаций — архаичных и неконструктивных. Таких, например, как НДПР. В ближайшее время будет сформирована повестка «политического консерватизма» (термин Бориса Мезюева), или, иначе, программное формулирование нового субъекта российской политики.

Вместе с тем на этом пути есть целый ряд чисто идеологических препятствий. Прежде всего, ясно, что русский консерватизм идет «широким фронтом», подбрав самые разнообразные группы и идеологические концепты, но границы, за которыми происходит очевидное «размывание ядра» идеологии, еще не очерчены четко. Премах программных высказываний русских консерваторов относительно немного. Отношение к евроамериканскому консерватизму едва прописано. Очевидно отталкивание от «либеральных консерваторов» в духе создателей рейгановки и тэтчеризма; консерваторы-традиционалисты, наподобие Патрика Бьюкенена, вызывают сочувствие, neo-консерваторы (на самом деле ультрадемократы) спровоцировали противоречивые оценки. Как бы то ни было, русский консерватизм — «русская вещь», это далеко не реинкарнация тори на территории РФ.

Несколько размытыми остаются представления о взаимодействии с Русской православной церковью, умеренными националистическими группировками, социал-демократическими организациями, об отношении к наследию дореволюционного отечественного консерватизма и т.п. В данном тексте я попытаюсь дать ответ лишь на некоторые из этих вопросов.

Русский консерватизм versus либерализм

По отношению к либеральному русские консерваторы определялись достаточно твердо.

Слова «либерализм», «глобализм» и «демократия» вызывают у огромных масс народа и большей части интеллигентности не то чтобы отторжение на уровне инстинкта — это уже пройденный этап. Открытое высказывание по поводу того, до какой степени комплекс перечисленных понятий откровен, становится моветоном: окружа-

ющие и так давно все осознали, так к чему тельник на себе врать? Всерьез критиковать либерализм сейчас все равно что браниться по поводу неудачной моды, спешив с витрины три года назад...

Недавно я видел серьезного политехнолога, читавшего лидерам лоялистской молодежной организации лекцию на тему: «Почему демократия не так омерзительна, как может показаться». Ему удалось добиться признания обозначенного тезиса, но, боюсь, при этом он выдал версию «чистой демократии», или, иначе говоря, «демократии-в-потенции», которая вышедших «штатных» идеологов демократического лагеря и нынешних практических политиков вряд ли устроит. Конечно, находится люди, способные вполне серьезно говорить: мол, нельзя же с водой выплескивать и ребенка! Но после полутора десятилетий реализации либеральных проектов на территории России подобное высказывание напоминает пропаганду герцога в качестве отличного средства от простуды.

Слово «либерал» приобрело бранный оттенок, поместившись в обличительной лексике где-то между «большаном» и «ворогой». «Полный либерал» — выдающийся глупец. Если кто-то «либерализлся», всем ясно: был честным человеком, а вот привакулялся, купили его гады. Некоторые, как, например, Александр Елисов в статье «Срочно требуется либерал», наивно пытаются извлечь из истории дореволюционного либерализма в России нечто полезное для современности. Напрасно: степень дискредитации либерализма такова, что никакое хорошее начинание нельзя сейчас приближать к этому понятию. Протухнет моментально. Что же касается Михаила Краснова, воспевшего в статье «Фитален ли персоналистский режим в России?» преодоление персоналистской организации власти в России во имя торжества демократии, то он выглядит как верующий, коленипреклоненно возносивший гимны сакрализованному объекту культа.

Мне много раз приходилось слышать: «Россия как не знала, так и не знает ни настоящего либерализма, ни настоящей демократии!» А народ видит нечто криминально-кабачное, путанно-аляптерское, хапуг, лжецов и мошенников. Во главе их волнства — совсем уж исповматы из Кунсткамеры: Чубайс, а прежде того Гайдар... Делается абсолютно адекватный вывод: если настоящие-то либерализм с демократией придут, это ж совсем крапты! И без того общипали, а там вконец перемерзат! Подобное «путрное понимание», наверное, самое правильное. Суть любой идеологии видна по плодам ее.

Поэтому если и есть в демократии и либерализме нечто полезное, то сейчас пора ему найти новые имена, иначе мало кто пожелает к этой самой пользе подойти вплотную, опасаясь измазаться привычной субстанцией. Какой уж там «новый либерализм», упаси господь!

В русском социально-политическом обиходе слова «капитализм», «либерализм», «социализм», «глобализм» означают несколько иные явления, чем в обиходе евроамериканском. Да, у нас это во всех случаях «сниженные варианты». Да, у нас это не только обозначение «идеальных состояний», т.е. чисто теоретических категорий, очищенных от влияния жизни, но в значительной степени и обобщение неудачной практики. Однако проблема в сердцевине своей гораздо глубже. Одна из цивилизаций Земли выработала понятийный аппарат для присущей этой цивилизации политической реальности. Он не только плохо подходит для соседей, поскольку у них иная политическая реальность, но и базируется на опыте таких общественных институтов, которые у самих евроамериканцев работали слишком недолгий срок, чтобы делать сколько-нибудь серьезные выводы об их практической пригодности.

Первые значительные политические шаги либерализм начал делать лишь в последней трети XVIII столетия. Глобализму как выткнутой системе социально-политических и экономических взглядов и всего-то несколько десятилетий. Для мировой истории это два маленьких мальчика, настырных и злых, но оттого ничуть не более

опытных. Века через три-четыре можно будет делать выводы о практической пользе либеральных и глобалистских рецептов, а пока судить просто не о чем. Неужто два столетия способны провизировать какие-то новые глубинные истины в политике или философии?

Тем более если учесть, сколь дорого обошелся либеральный опыт его «родным цивилизациям» в рамках евроамериканского сообщества. Сколько революций пережила Франция? Россия с ее двумя в этом отношении просто дитя. Сколько десятилетий протянет Великобритания без колониальной системы, обеспечивавшей все необходимое для метрополии? Тамашинне шахтеры и доверы давно поняли, почему фунт лиха. А сколь тяжким бременем легла глыба либерализма на Веймарскую республику — настолько тяжким, что она поспешила переродиться в Третий рейх! Истинный либерал всегда свободен в выборе средств давления на соседей... Сколько ненависти вызывают США во всем мире в настоящее время, и как эта ненависть еще отольется американцам? 11 сентября — только начало.

В настоящее время у либерализма нет серьезных аргументов для того, чтобы претендовать на монопольную выработку социально-политической рецептуры.

Русский консерватизм и Российское государство

Что представляет собой российская государственность пострападной эпохи?

При Ельцине она функционировала в основном как механизм легализации иущестственных захватов, осуществляемых криминальными предпринимателями, силовиками и номенклатурой. Она позволяла им свободно бороться друг с другом — вплоть до смертоубийств и очевидного попрания законности. Она давала им возможность подавлять любое сопротивление снизу и сама не раз участвовала в этом. Она в вопросах внешней политики (а во многом и внутренней) была насадкой на манипуляторе андроида, включенного на порядок более серьезными зарубежными игроками.

Что такое российская государственность при Путине?

Политическая организация, игнорировать не переставшая быть «насадкой на манипуляторе», но управляемая более тонко, чем раньше. Определенный круг олигархических кланов выстроил механизм передаточных шкивов, шестеренок и болтиков, приводящих в движение марионетку центральной власти. Те, кто входит в указанный круг, могут относительно мирными методами выяснять вопросы о разграничении полномочий по управляемым марионеткой и получению строго определенных дивидендов по строго определенным каналам. В свою очередь, они, во-первых, отчитываются перед партнерами по бизнесу более высокого статуса; во-вторых, устанавливают правила для всех остальных; в-третьих, «сбрасывают с корабля» тех, кто в круг не вошел, но по предожоженным правилам играть не хочет (от живых национальноориентированных общественных движений до какого-нибудь ивуорниша Ходорковского).

Что же касается так называемой демократии, то в России она представляет собой чисто антуражный элемент политической системы. Конечно, массмедиа и механизм счета голосов всегда требовали и будут требовать своевременных инвестиций, но это в конечном итоге получалось не столь уж дорого. Эффективнее действует угроза отобрать и те крохи, которые падают журналистам, экспертам, политехнологам и менеджерам-счетчикам с барского стола. Года примерно с 1997-го все наши выборы контролируются на девять десятых, если не на девяносто пять сотых. Довольно большой круг лиц представляет себе, каковы тарифы на думское кресло, сколько стоит место в Законодательном собрании, определенный пост в администрации. А главное кому и как дать.

Единственный центр власти, сохраняющий реальную силу, а также реальный контроль за основными финансовыми потоками и средствами принуждения — Администрация президента. Этот орган играет роль закрытого акционерного общества, где представители инвесторов являются «офицерами связи» и координаторами всех поли-

тических решений, принимаемых на самом верш. Иными словами, Канцелярия Его Императорского Величества в современном варианте.

Самодержавие у нас было при императорах, при генсеках, оно осталось и в президентский период. Немножечко подгадали Львов с Керенским, Николая Сергеевич да единственный президент СССР, но и правили они все относительно недолго. Отличие одно: при государе Николае Павловиче, сделавшем Канцелярию главным управляющим органом в России, она действительно подчинилась центральной власти. А сейчас есть основания говорить о ситуации обратного свойства: скорее АП управляет центральной властью.

Главный вопрос российской организации власти состоит в том, кто контролирует государя и его ближайший советников. В дореволюционный период — аристократический слоб. Сейчас — «акционеры» Администрации Президента РФ.

Плохо ли это?

Ответ не очевиден.

Русский консерватизм и перспективные задачи политической трансформации

Современный демократический выборный парламентаризм — одна из худших систем власти, когда-либо придуманных человечеством. Если бы он в России работал на полную катушку, мы бы до сих пор сидели в болоте имени Бориса Николаевича. Демократический парламентаризм обеспечивает абсолютную власть богатых людей. Поскольку перед урной Иван Иванович Иванов должен выбрать одного из двух и более совершенно незнакомых ему персон, чаще всего в равной степени антипатичных, он опирается на информацию СМИ. Поэтому побеждает тот, кто покупает СМИ и готов материально обеспечить «долгое позирование» перед камерами, т.е. чрезвычайно дорогостоящую выборную кампанию претендента. Вот и весь сказ.

Наивысшее политическое устройство вводит как главный фактор работы всей системы «административный ресурс». А значит, политическая власть не распределяется по многим рабочим органам системы и не делится между силами, контролирующими медиасферу. Она вся сконцентрирована на самом верш и является прерогативой крайне узкого круга лиц: «царь», его приближенные и небольшая группа избранных экспертов. Захват контроля над указанной группой означает либо размещение на этом пятачке чистых ландолетов с несколькими «офицерами связи» по главе (современный вариант), либо людей со строго определенными убеждениями: эти сами будут делать все, что нужно.

Следовательно, позиция центральной власти не особенно прочна. И она может быть свержена незначительным по масштабу верхушечным переворотом. Несколько сотен бойцов и несколько десятков специалистов способны справиться с задачей силовой смены правящей элиты; новая устойчивая олигархическая группировка способна решить эту проблему одними финансовыми методами (не считая полудожины «случайных» смертей).

В этих условиях начинают в гораздо большей степени «играть» не «политтехнологические», а «социологические» факторы. Центральная фигура и ее приближенные могут столкнуться с необходимостью массовой поддержки — такой, какая была у Путина в первые два года первого срока. И, следовательно, потребуются реально удовлетворять чаяния весьма широких секторов населения, уважительно относиться к базовым ценностям большинства. Иными словами, принять политический курс, способный создать у подножия трона круг «сил обороны». Как медийных, так и политических. Это единственный способ придать власти прочность в нынешних условиях.

Что в подобной ситуации составляет платформу русского консерватизма?

Русский консерватизм означает прежде всего полное и безоговорочное расставание с проектами «единого человечества», «мирового правительства» и им подобными. Он по сути своей — слятие глобализма с повестки дня. Вариант утилитаризации православия и русской культуры как базовых ценностей для всего человечества, кажется, никто пока всерьез не предлагал, а прочие варианты глобализации заинтересовать русского консерватора не способны в принципе.

Русский консерватизм видит в России, во-первых, территорию самостоятельной цивилизации, новые формы которой сейчас еще пребывают в стадии генезиса; во-вторых, пространство Империи. Под словом «Империя» понимается мультиэтничное государство с ярко выраженным иерархическим устройством, достаточно крупное по территории и мощное в политическом, экономическом, военном и демографическом отношении, чтобы претендовать на ведущую роль в регионе. Государство с развитой системой внутренних силовых структур, с центром, который вырабатывает доминирующую идеологию и устанавливает определенный порядок в ряде вопросов администрирования (транспорт, финансы, суд, важнейшие законы), обязательный и равный для всех провинций. При этом стратегическая деятельность центра опирается на господствующую культуру, являющуюся плодом исторического творчества «несущей нации». В случае России таковой является русская православная культура.

Чтобы оказаться в стратегическом центре, необходимо принадлежать полю господствующей культуры, но не обязательно быть представителем этноса, ее выработавшего. Иными словами, правящую элиту России должны составлять русские по культуре, при этом не обязательно русские по крови. Их конфессионально-культурная принадлежность должна быть прочной, очевидной. Русский консерватор стремится к полной политической, экономической и культурной независимости России, что в ситуации перехода к развитым формам Русской Православной цивилизации может вылиться в умеренный изоляционизм. Он считает главными приоритетами государственной политики придание первенствующего статуса православию, русской культуре, русскому предпринимательству, а также целому ряду программ по нормализации демографии коренных народов страны и реконструкции отечественной промышленности, технологической сферы, вооруженных сил. Он готов в случае необходимости перейти к мобилизационным средствам развития и пойти на значительное сокращение «прав человека» в их евроамериканском понимании.

При Путине значительная часть крупных компаний, в том числе и сырьевых, прошла ренационализацию. Это было сделано, чтобы дать возможность контролирующему олигархическому кругу реализовать материальные активы по неадекватно высоким ценам. Но есть тут и определенное благо: с позиций русского консерватизма государство должно располагать мощным сектором в экономике, дабы исключить давление на страну как внешних, так и внутренних врагов, а также иметь возможность обеспечить России «прожиточный минимум» (энергетика, транспорт, связь, медийная сфера, сельхозпродукция) при любых условиях. А вот развитие среднего и мелкого бизнеса нуждается в освобождении от избыточной опеки государства в первую очередь налоговых органов и милиции.

Внешняя задача России на ближайшие десятилетия — геокультурная экспансия (православное миссионерство прежде всего) и защита интересов нашей диаспоры за рубежом. Усиленный импорт «биоединиц» в рамках «замещающей иммиграции» рассматривается русскими консерваторами как преступная политика, ведущая к подрыву государственной безопасности.

В связи с этим русский консерватор:

1. Стремится создать в информационно-медийной сфере устойчивый сектор, где традиционные культурные и религиозные ценности, а также интересы народа и страны располагают абсолютным приоритетом.

2. Поддерживает силы, способные повернуть нашу властную верхушку к политическому курсу, основанному на национальной консервативной идеологии.
3. Отрицает смену правящей элиты революционным способом, в том числе путем организации масштабного вооруженного восстания.
4. Всеми силами и средствами продвигает близких по духу людей наверх.
5. Если действия государства соответствуют национальным консервативным идеалам и соотносятся с Евангелием, сам готов войти в состав «сил обороны».
6. Он всегда помнит: наступление «реальной демократии», т.е. соревновательной модели власти богатейших кланов над страной, резко снижает его возможности на что-то повлиять.

Политическая тактика

Конечно, русским консерваторам нужны организации для выхода к власти. Но что это должны быть за организации? По всей видимости, гибриды общественных движений и журналистских клубов. Учитывая, как уже говорилось, совершенно антуражный характер высших выборов органов в России и, в первую очередь, полную «простроенность» Госдумы под интересы политической верхушки, представляется крайне малоценным делом прорываться к депутатским креслам. Ведь пребывание одного, десяти или даже сорока русских консерваторов в этих самых креслах не даст ни малейшего шанса на решение сколько-нибудь серьезных политических задач. Попадание нескольких представителей русского консерватизма в Госдуму и региональные выборные органы имеет ограниченную ценность: это признак статификации в качестве самостоятельной политической силы, вот и все. В целом же у русских консерваторов на первом плане должны быть другие задачи. Их цель — работа в администрациях любого уровня, вплоть до высшего, а также постоянная медийная активность, продуцирование определенного «фона» в информационной сфере, поддержка своих во власти.

Общественно-политические организации русских консерваторов, во-первых, ждут удобного момента, а еще лучше — создают удобный момент для рекрутирования единомышленников в структуры исполнительной власти; во-вторых, всегда готовы в случае нестабильности на самом верхе заявить свое право на места в «стратегическом центре»; в-третьих, если центральная власть, не меняя на персональном уровне, поворачивается лицом к чаяниям национальных консервативных сил, она должна видеть перед собой реально действующие группы, с которыми можно как минимум провести политические консультации или договориться о разработке масштабных программ.

Поэтому идеальная общественная организация русских консерваторов должна напоминать кадрированную военную часть. Штаб, небольшое количество охранных подразделений и политуправление (те же журналисты) находится в постоянной боевой готовности. Прочие, когда потребуются, могут быть отмобилизованы быстрыми темпами. Партия территориального типа с многочисленными органами, нацеленными на предвыборную работу, не нужна, да и не по зубам. Нелегальные экстремистские группы — совсем из другой сферы. А вот ориентация на своего рода клубы, как на сетевую основу центров консервативной политики, — гораздо правильнее и реалистичнее.

Духовная основа русского консерватизма

Духовной основой русского консерватизма может быть только православие. Все должно быть пронизано им. Любое политическое действие, любое практическое предложение должно проверяться евангельским духом. Если благое пожелание русских консерваторов противоречит заповедям Иисуса Христа, значит, где-то была совершена ошибка. Значит, необходимо вернуться назад и проанализировать, в чем допущен

присчет, кто худо повлиял на общее дело. И движение к власти, и ее использование суть действия, находящие теоретическое обоснование в концепции теократической симфонии.

По словам современного православного публициста и катехизатора Андрея Кураева, «церковь не может отказаться от своей мечты о симфонии, ибо это вопрос о том, может ли остаться внехрамовая жизнь людей вне соотношения с Евангелием. Идеал симфонии неустрашим из православия. Но вопрос — симфония с кем и с чем. Главный исток размышлений русских философов на эту тему состоит в том, что разговор надо вообще перевести в другую плоскость — не Церковь и государство, а Церковь и общество, Церковь и люди». В статье «Православным пора почувствовать вкус к карьере» он, в частности, развивает идею простую, но эффективную. Суть ее в том, что многое решается духовным настроем, воспитанием. С точки зрения А. Кураева, не будет никакой православной России, если из детей не удастся воспитать православных людей, «которые могли бы, владея всей сложностью современной культуры и техники, сделать ради веры своей, ради народа своего успешную социальную карьеру. Если мы хотим видеть Россию православной, ей нужны православные элиты. Православные депутаты, экономисты, министры, бизнесмены, учителя, журналисты и т.д. Значит, православным людям надо прививать вкус к успеху в жизни, творчеству, карьере».

Совершенно правильная мысль! Лишь постепенное продвижение единомышленников к верхам всех социальных иерархий может создать в России государство-семья, основанное на благодушном и расчетливом патернализме. А это означает воспитание не только «вкуса к успеху», но и чувства духовно-родственного долга: на уровне инстинкта помогать таким же, как ты, поддерживать их повсюду и везде, не ожидая за это никакой благодарности.

Политический идеал русского консерватизма

Какое государство нужно Русской Православной цивилизации в качестве «программа-максимум»? Иными словами, какова оптимальная форма государственности, если отрешиться от возможностей «достроить» и «отладить» современную российскую государственную машину?

В этом вопросе можно сделать лишь несколько «этидных» замков. Он требует серьезной разработки. Сожалеею, что консервативный лагерь может в настоящее время опереться лишь на старые идеи, высказанные Константином Леонтьевым, Львом Тихомировым, Иваном Солоневичем. Приходится излагать частное мнение, а не четкую общую платформу.

Автор этих строк надеется, что желаемый «градус христианства» в политической жизни Русской Православной цивилизации ему удалось показать в статье «Цивилизация второй чашки». Собственно, на любом уровне политической власти никакое серьезное дело не должно решаться без советования с духовными властями, без благословения патриарха, епископа, иерея... Соответственно, Русская православная церковь обретает конституционно утвержденные права первенствующего профессионального учреждения в стране, а православие — первенствующей конфессии. Это означает крупные преференции в области образования, в медицине, да и в культурной сфере, а также возможность обращения к верховной власти с законодательной инициативой, минуя выборные учреждения. В хозяйственном и финансовом отношении Церковь выступает как самостоятельный независимый субъект российской экономики.

Вопрос спорный, но обсуждаемый — о предоставлении «второго ранга» исламу и буддизму, также с определенными льготами и закрепленными в Конституции правами. Во всех трех случаях предполагается внести в бюджет статьи расходов на магистральные нужды конфессий.

Ярослав Бутаков в эссе «Новое иосифлячество» высказал сходные идеи относительно политического положения Церкви: «Итак, в иосифляческой модели Церковь — независимый общественно-политический институт, деятельно и равноправно сотрудничающий с государством в деле утверждения Правды Божьей на земле. Между государством и Церковью есть разделение функций, но нет приниженного положения ни одной из сторон...» Во времена Ивана III, когда св. Иосиф Волоцкий формулировал важнейшие принципы русской версии «симфонии», ничего не могло удивить безраздельное руководство Церкви в духовных вопросах. Такова одна из аксиом раннего иосифлячества. «Когда Иосиф призывал великого князя казнить еретиков, он упирал на то, что государь обязан это делать, и обязан как раз потому, что это велит ему Церковь», — пишет Я. Бутаков. Возврат к подобным формам симфонии сейчас вряд ли возможен. Однако значительное усиление Церкви в политике и культуре — требование для русского консерватора самоочевидное.

Теперь о государственном строе. Суверенитет и право на осуществление всех властных полномочий исходит из сакрального источника, а не из идей о «делегировании полномочий» народом своему избраннику (избранныкам). На власть нужна санкция Высшего Судии. Большинство русских консерваторов считает монархический принцип более эффективным и более соответствующим духу Священного Писания, нежели республиканский. Соответственно, форма организации власти должна быть максимально персоналистичной — самодержавная монархия, несколько смягченная рядом представительных учреждений. Она ограничивается также принципом гражданского неповиновения государству, если оно идет против веры; этот принцип изложен в современной социальной концепции Русской православной церкви.

Два мирных метода перехода к монархическому устройству власти от нынешнего государственного строя таковы: референдум и последующее венчание на царство или просто венчание на царство уже избранного народом президента. Революционный захват власти, как уже говорилось, неприемлем. Очевидно, исключительно важным становится в этой системе принцип престолонаследия. Он должен определяться не только традицией «крови», но и более сложными соображениями — например, способностью монарха отлаживать свои обязанности, его возрастом, физическим и душевным здоровьем, вероисповеданием. Поэтому уместно использование мобильной и динамичной византийской системы, уходящей корнями в подднеринские политические устои.

Это означает введение соправительства. Попросту говоря, монарх-август сидит в Москве, в то время как его соправители-«цесари» могут осуществлять правление крупными региональными единицами — скажем, совокупностью дальневосточных регионов России. При этом они ограничены во власти правами и первенство «августа», а также тем, что территории осуществления власти «цесарями» формируются ситуативно, по мере надобности; они не имеют постоянных органов власти. При кончине «августа» у него всегда есть живой дееспособный преемник — «цесарь».

Принцип парламентарной демократии вместе с принципом «сдержек и противовесов» навсегда уходит из высших эшелонов политической организации страны. На местах остаются назначаемые из центра «губернаторы», т.е. те же «воеводы», как это и было установлено при Путине, а власть выборных органов резко сокращается. Для нее достаточно будет границ, предложенных еще в XIX веке в проекте министра внутренних дел Н.П. Игнатьева. Это значит: Госдума и закондари становятся законодательными органами. Их функции приравниваются к функциям земских соборов: консультирование стратегического центра во главе с монархом и выдвижение законопроектов. То же самое происходит на региональном уровне во всех нынешних субъектах Федерации. Собственно, федерализму приходит конец. Он уступает место унитаризму.

Зато на локальном уровне государственное чиновничество, судебские люди и органы внутренних дел уступают большую часть своей власти институтам самоуправления. Причем нынешний районный уровень — слишком крупный, слишком неудобный для решения простейших задач, хотя бы жилищно-коммунальных. Первичные властные ячейки должны быть сформированы на уровне более мелком, чем современный мегаполисный микрорайон; в идеале — до 1000 жителей для города и до 300 жителей для сельской местности. Здесь все знают всех, здесь ясно видны нужды общины, и здесь могут быть использованы разные формы самоорганизации народа, в том числе выдвинутые старост (исполнительная власть), «голов» (с полномочиями шерифского характера, о чем неоднократно высказывался П. Данилин) и «сотских» для управления народным ополчением (необходимость его формирования обоснована М. Ремизовым). От этих локальных структур должно выбирать должностных лиц на районный уровень, а там — на муниципальный, где они будут делить власть с «воеводой» пониже рангом, чем региональный.

Таким образом, если на высших уровнях власти демократия будет в значительной степени урезана, то на нижних установится господство чистой, беспримесной демократии. Как в эллинических полисах.

Автор этих строк сознает, что его предложения идут вразрез со всей политической философией евроамериканского мира со времен эпохи Просвещения. Так и бес с ней.

**СЛАБОСТЬ ДЕМОКРАТИИ
И УТОПИИ ЕЕ ПРОТИВНИКОВ
(О «РУССКОМ КОНСЕРВАТИЗМЕ»
ДМИТРИЯ ВОЛОДИХИНА
И НЕОБХОДИМОСТИ КОНСТИТУЦИОННОЙ
РЕФОРМЫ)**

Дискуссия разворачивается вокруг двух основных вопросов. Первый: реально ли создать в России прочные государственные институты, не завязанные на конкретную личность или должность? Второй: приемлема ли для России демократия?

Мы обсуждаем эти вопросы после того, как «крепкая власть» в 1990-е годы стала главным требованием населения, и пока нет предпосылок к чему-то иному. Людей не интересуют вопросы разделения властей, четкого разграничения полномочий и многое другое, о чем говорится в статье Михаила Краснова и в выступлениях его сторонников и оппонентов. Люди ждут от государства конкретной помощи, его вмешательства даже в самые ничтожные их проблемы. И при таком состоянии умов всякая дискуссия, подобная нынешней, обречена быть умозрительной, далекой от жизни, академической. Ясно, что под лозунгом «Больше демократии!» или «Нет персоналистскому режиму!» много народу не соберешь. В этом смысле я согласен с Дмитрием Володихиным, что самые слова «демократия» и «либерализм» оказались в общественном сознании скомпрометированными.

Но вот что любопытно. Сами власти придерживающиеся никогда от той же демократии не отказывались и не отказываются. Напротив, почти в каждой значимой речи президент подчеркивает приверженность демократическим ценностям. Да и население в своей повседневной жизни давно уже демонстрирует готовность жить по либеральным принципам — платить за «бесплатные» услуги, требовать максимум сервиса от продавца, надеяться только на себя. Можно сказать, что современная Россия представляет собой в определенном смысле странное образование — с демократией без демократов и либерализмом без либералов. Оттого, что понятия эти оказались скомпрометированными, мало что изменилось. Курс правительства, назначаемого и формируемого президентом, вполне либеральный в социальной и экономической политике. Конституция, как ни крути, демократическая, она не меняется, и слова о приверженности ее принципам в Кремле не утихают. Другое дело — реальные дела его хозяев, но я сейчас не о них.

Итак, никакой явной альтернативы демократическому и либеральному курсу никто еще явно не предложил. Речь может идти (и идет) о его неприятии, но, как только дело доходит до формулирования ответа на вопрос, чего же хочет его противник, начинается сумятица. Иностранцы, приезжающие в Россию, подмечают это сразу. За лозунгом «Мы — не Запад» не следует разъяренный насчет того, кто же мы. Как только начинаешь уточнять, с чем, собственно, не согласны оппоненты демократического государственного устройства, выясняется, что по каждому пункту в отдельности они возражений не имеют. Их неприятие эмоционально, а не рационально. В его основе — всегочеловеческий комплекс по поводу явного превосходства Запада во всех сферах, страх перед «чужим», перед потерей идентичности.

Самым главным недочетом реформаторов 1990-х годов я бы назвал, с позиций сегодняшнего дня, недочет того, как много значило для бывших советских людей чувство принадлежности к великой державе, причем безотносительно к тому, что конкретно им это давало. Человек действительно мог жить в убогом жилье, получать ничтожное жалование, но гордиться сопричастностью к полетам в космос или тем, что его страна — одна шестая суши. Лишившись иллюзий, «хomo постсоветикус» озлобился на весь мир, пытался отрицать все, что идет извне. И в первую очередь отрицается пресловутая демократия — «дерьмократия». Но поскольку козлен ничто не выдвигается, мы и имеем то, что имеем, т.е. непонятное образование — вроде бы демократическое, но без демократов, вроде бы не империя, но с мегстами о том, чтобы вновь ею стать. Плеск заведомо утопические маргинальные проекты вроде того, который представлен в выступлении Д. Володихина и к которому я еще вернусь.

На этот хаос в умах ложится нелегкий груз тысячелетней российской истории. Кто-то полагает, что она дает нам повод для оптимизма и наливает гордостью за «особый путь», кто-то, напротив, считает, что в ней не содержится ничего утешительного, а лишь грустная повесть о несвободе.

Ни в коей мере не соглашаясь с тезисом иных либералов о том, что СССР есть продолжение Российской империи (вся суть его была противоположна монархии Романовых), я не могу согласиться и с мнением Солженицына, что никакие черты дореволюционного устройства не являли негативным образом на судьбу России в XX веке.

«Поимаму — вром, голодуха, тыщу лет демократия нет...» В этих словах Набокова, которого я цитирую по Льву Лосеву, безусловно, отражены реальные особенности нашей истории. К тому же «и живительной чистой латыни мимо нас протекала река». Ведь латынь «мимо нас» несла с собой не только католицизм, но и римское право, развитую теологию с упором на личность. Византия же передала нам не Платона и Гомера, а принцип безраздельной власти государя вкупе с интригами.

Дальше хуже: монархия строилась в России не только как абсолютистская, но и как самодержавно-крепостническая. Конечно, в США рабство негров было отменено еще позже, чем крепостное право в России, но рабство существовало в Америке с развитой правовой системой, с утвердившимся федерализмом и проработанной конституцией. И оно, как это ни парадоксально звучит, было следствием демократии — большинство жителей южных штатов выступали за рабство, и никакой суд, никакой президент ничего поделать с этим не могли. Точно так же, кстати, и сохранение до сих пор в США смертной казни — следствие действия именно демократических принципов. Существует консенсус в обществе по ее поводу, и никакие гуманисты-одиночки не в силах ее отменить, как в Европе. Ни один политик в Америке не рискнет действовать против общественного мнения.

В России ничего похожего ни по части укорененности демократических принципов, ни по части правосознания к XX веку не сложилось, и потому большевикам так легко оказалось захватить и удерживать власть. Сравнивая же дооктябрьской и послеоктябрьской периоды истории государства, можно сказать: до революции оно было органичным (т.е. не навязанным, а сформировавшимся естественным путем), но плохим, а после революции — и плохим, и неорганичным. Так что крах построения современного демократического государства после августа 1991-го во многом объясняется (но не извиняется!) «дурной наследственностью». Ни элиты, ни массы не желали терпеть и мириться с разрушением жизненного уклада во имя непонятной западной модели жизнеустройства, что отличало их от жителей Прибалтики и стран Восточной Европы.

Малозначенная советская государственность была наложена на рыночную и некоммунистическую действительность. Если бы был какой-то консенсус в обществе,

то он заключался именно в этом. Перемальвающий всех и вся аппарат правительства остался прежний (см. любопытные воспоминания Валерия Воронцова), областюлокмы с прививкой людей на обкомов составили ядро областных администраций, райисполкомы — администраций районных. Нетронутыми оказались прокуратура, правоохранительные органы, судейский корпус. Не было даже осознания необходимости что-либо всерьез менять. По ходу дела возникали новые органы — фонды и комитеты имущества, налоговые инспекция и полиция, но функционировали они на прежних принципах. Принятая конституция оказалась конституцией персоналистского режима, что и показал Михаил Краснов. Формально отменен советскую власть, она ничего не изменила по существу и на общественное правосознание никакого позитивного воздействия не оказала.

Несовершенство нынешней ситуации понимают все — и левые, и правые. Но в условиях российской действительности рецепты лечения предлагаются более чем своеобразные. Для большинства «большое государство» — фетиш, значение которого даже не нужно ратывать. «Нормальный» европейский вариант государственного строительства не обсуждается вообще. Уповают на то, что с бюрократией и коррупцией можно справиться бюрократическими средствами, несмотря на всю их тысячу раз доказанную неэффективность, по-прежнему сильны. Трезвых объяснений того, почему необходимо иметь раздутое государство, никогда не показавшее свою полезность рядовому человеку, не дается. Предлагается принимать это на веру: в России, мол, по-другому нельзя.

Тем не менее и «государственники» не могут не замечать, что, несмотря на усиление исполнительной власти, желаемых изменений не происходит. И некоторые из них в поисках выхода обращаются к российской государственной традиции, оборванной в 1917 году. «Русские консерваторы», представленные в дискуссии Д. Володихиным, выступают за восстановление самодержавной монархии и ограничение пространства демократии законосовещательными институтами и местным самоуправлением.

Понятно, что никто и никогда в наше время не сможет реально установить абсолютную царскую власть. Так что предложение это носит чисто умозрительный характер, а потому столь же умозрительным было бы и его обсуждение. Тем не менее на некоторых идеях Д. Володихина я хочу остановиться, поскольку они вполне конкретны и выдвигались другими авторами уже не раз.

Во-первых, речь идет об избрании властей на микроуровне. По мысли Володихина, именно и только так можно в России развить низовую демократию, поделить общество на первичные ячейки: «В идеале — до 1000 жителей для города и до 300 жителей для сельской местности. Здесь все знают всех, здесь ясно видны нужды общины, и здесь могут быть использованы разные формы самоорганизации народа...» Но ведь в том-то и дело, что в городе люди, живущие в больших домах, не знают друг друга совершенно! Житель шестнадцатиэтажной высотки не имеет, чем занимается и как характеризует его сосед по подъезду со второго этажа. Да и соседей по лестничной площадке мы часто знаем очень поверхностно. Наш дом — это место ночного пребывания, а большая часть нашей активности реализуется в других местах — там мы работаем, отдыхаем, социализируемся. Навязная утония в народническом духе разбивается при соприкосновении с житейскими реалиями.

Во-вторых, Д. Володихин предлагает перейти от федерализма к унитарному. Предложение опять-таки популярное и не новое, но как его осуществлять, даже если кто-то возьмется за это всерьез? Как Татарстан и Бурятия, Чечня и Коми поступят своей автономией? Вытекающее отсюда же предложение о православной монархии наталкивается на то же препятствие. Как быть тогда с мусульманами и буддистами, с атеистами и язычниками? Официально объявить их неполноправными гражданами?

Подобные «альтернативы» демократии, заведомо утопические, лишней раз доказывают, на мой взгляд, что реальной стратегической альтернативы светскому государству, учитывающему многонациональный, многоконфессиональный и урбанистический характер российского общества, сегодня нет. Поэтому никто из политиков, рассчитывающих хоть на какое-то общественное влияние, проектами вроде того, что изложен Д. Володихиным, не соблазняются. Всерьез они даже не обсуждаются, и наша дискуссия вряд ли станет здесь исключением. Можно спорить о том, какая республика нам нужна — президентская, парламентская либо президентско-парламентская, но не о монархии или иной утопии.

В современном мире сильная президентская власть — редкость, и свойственна она скорее развивающимся странам. США почти единственное исключение на Западе. В этом смысле Россия скорее соответствует латиноамериканским странам — Мексике, Бразилии, Аргентине, Чили, которым примерно равна по уровню экономического развития. Однако в принципе против сильной президентуры возражать не приходится, учитывая переходный характер нашего общества и отсутствие в нем устоявшихся и общепринятых воззрений на то, чем должна являться Россия. Проблема лишь в том, что, как показал М. Краснов, у нас гиперпрезидентская республика, наделяющая главу государства совершенно исключительными полномочиями, без системы сдержек и противовесов. А также в том, что у нас есть то, чего совершенно нет в Латинской Америке, а именно — трусливо-конформистский правящий класс, воспроизводящий персоналистским режимом и его воспроизводящий. Этот класс априори не способен на публичное возражение или отстаивание собственного мнения; в лучшем случае он в состоянии использовать лишь процедуры непубличных консультаций для снятия противоречий.

Вряд ли можно лучше изобразить нашу государственную «специфику», чем сделал это корреспондент «Фокуса» Борис Райтшустер. Обращаясь к немецким читателям, он предložил им представить себе телевизионный выпуск новостей, который звучал бы примерно так. Федеральный канцлер Германии Герхард Шредер отправился из Берлина на отдых в Нижнюю Саксонию. В Ганновере его радушно встретил премьер-министр Нижней Саксонии. Затем Герхард Шредер провел совещание с представителями местных органов власти и посетил молочную ферму... (камера показывает, как канцлер гладит корову и, слушая главного зоотехника, задумчиво перебирает комбикорм).

Или такой сюжет. Перед отъездом в отпуск Герхард Шредер принял в своей резиденции в Берлине министра финансов Германии Айхеля. Камера показывает стоящего навзрыжку перед канцлером Айхеля. Затем крупным планом Шредер, который говорит: «Я слышал, что у вас проблемы с финансами. Это плохо! Вы должны все сделать для того, чтобы люди вовремя получали зарплаты и пенсии!» Министр финансов в ответ: «Мы немедленно примем все меры!»

Самая ужасная ирония заключается в том, что многое из того, что для нас привычно, непредставимо не только в Германии, но и в Латинской Америке. Ни в Мексике, ни в Буэнос-Айресе уходящий президент не знает, кто станет его преемником, и не способен мобилизовывать для избрания приемлемого для него кандидата все чиновничество и всю бизнес-элиту, как в России. В этих странах много независимых центров влияния, ведущих свою игру, — оппозиционные партии, крупные капиталисты, профсоюзы, церковь, региональные кланы. Как же выйти из сложившейся ситуации, как преодолеть историческую инерцию?

Представляется, что для построения современного государства в России следовало бы предпринять следующие шаги.

Во-первых, отменить все законодательные новации исполнительной власти, продиктованные ее паранойей и желанием контролировать всех и вся. А именно — вернуть Со-

вету Федерации его более или менее избираемый характер. Отменить формирование Счетной палаты президентом. Отменить назначение губернаторов. Вернуться таким образом к конституции 1993 года, так сказать, в ее чистом виде.

Во-вторых, заняться конституционным реформированием путем либо внесения поправок, либо принятия новой конституции. Основной упор сделать на формирование четкого баланса властей, что предполагает:

1. Отмену поста премьер-министра и возложение всей ответственности за правительственную политику на президента либо переход к формированию правительства по результатам парламентских выборов. Нынешняя ситуация, когда премьер по сути дела является второстепенным чиновником при президенте, должна быть признана неприемлемой.

2. Расширение полномочий парламента. Он должен получить право создания следственных комиссий, право на одобрение назначения каждого министра в отдельности. Создание и ликвидация министерств и ведомств тоже должны осуществляться только с согласия парламента посредством принятия им соответствующих законов. Счетная палата должна стать либо органом контроля со стороны парламента, либо совершенно независимым органом. Но в любом случае ее необходимо вывести из-под подписания президенту.

3. Реформирование прокуратуры и правоохранительных органов путем создания Следственного комитета. Должно быть исключено дублирование следствия, как это имеет место сегодня. За прокуратурой следует оставить лишь функцию поддержки обвинения, для чего целесообразно включить ее в состав Минюста.

4. Расширение полномочий региональных властей в области здравоохранения, образования, поддержания общественного порядка при одновременном введении полномочий губернаторов в строго очерченные рамки. Нужно сделать часть высших должностей в регионах избираемыми (по примеру США)¹ и создать реально независимые органы аудита.

5. Запрещение государству (на федеральном, региональном и муниципальном уровнях) быть учредителем СМИ. Альтернатива — создание общественных (парламентских) комитетов по контролю за деятельностью принадлежащих государству ТВ, радио и печатных органов. Этим комитетам должны быть переданы функции подбора и назначения руководящих кадров, а также контроль за редакционной политикой.

¹ В любом американском штате избираются не только губернатор и вице-губернатор (последние могут в некоторых штатах выбираться независимо друг от друга, так что один является представителем демократов, а другой — республиканцев), но и главный аудитор штата, казначей и прокурор. Обычно избираемы руководители органов образования штата, города, графства. В иных штатах избирается до двадцати высших чиновников. Для России, прученной к неразделенности власти и, соответственно, к ее самодурству, подобный опыт был бы особенно полезен.

**«ЕСТЕСТВЕННЫМ ДЛЯ РУССКИХ
ВАРИАНТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УСТРОЙСТВА ЯВЛЯЕТСЯ СМЕСЬ
ИДЕОКРАТИИ И ИМПЕРСКОГО
ПАТЕРНАЛИЗМА»**

Прежде чем приступить к обсуждению поставленных Михаилом Красновым вопросов относительно эффективности и жизнеспособности сформировавшейся в современной России политической и правовой системы, мне хотелось бы сформулировать обсуждаемую проблему несколько шире: в какой мере существующая модель государства решает и вообще в состоянии решать перспективные задачи России? Я хотел бы поговорить о роли государства в России, причем не только того, что сформировалось к сегодняшнему дню, но и традиционных моделей российской государственности, их влияния на процессы нашего самопреобразования.

Три модели государства

Я исхожу из существования трех основных идеальных ролевых моделей государства, имея в виду государство в узком смысле, прежде всего как государственную власть.

Первая, традиционная модель государства рассматривает его в качестве института, поддерживающего в данном социуме жизненный строй и порядок, угодные Богу или богам, и, в свою очередь, опосредующего благорасположение Небес к обществу.

В рамках второй модели государство — это главный мотор развития и механизм реализации всех стратегических задач данного народа, данной страны. Государство здесь — основной институт, обеспечивающий и постановку целей общества, и их последующую реализацию, которая может осуществляться либо непосредственно самим государством, либо другими стимулируемыми и поощряемыми им субъектами.

Наконец, третья, либеральная модель государства; в предельном случае — пресловутая модель «ночного сторожа». В данном случае государство выступает в качестве института, который общество «вычленяет» из самого себя как особую политическую надстройку, призванную обеспечивать общественное благополучие и самосохранение и исключительно в этих функциональных границах наделяемую обществом мандатом на осуществление легитимного насилия над собственными членами.

Эта третья модель устами государства говорит обществу: «Вы сами решаете, как вам жить; я лишь наблюдаю за порядком, за исполнением установленных вами правил игры». С позиции второй модели видение государством собственной роли иное: «Я работаю для вашего блага и лучше вас знаю, что вам нужно и как этого следует добиваться». Наконец, в рамках первой модели государству вообще глубоко наплевать на интересы общества; оно судит так: «Я руководствуюсь высшими интересами, а нравятся вам или нет и идет ли вам на пользу то, что я делаю, меня не заботит».

Исходя из такой классификации, нынешнее Российское государство следует характеризовать как гибрид, сочетающий элементы второй и третьей модели, причем

гибрид, на мой взгляд, абсолютно нежизнеспособный. Я не утверждаю, что гибриды всегда нежизнеспособны, но вот этот сформировавшийся в последние годы гибрид совершенно нежизнеспособен.

Поэтому самоизменение сегодняшнего Российского государства неизбежно. Поскольку мы уже определили состояние этого государства как состояние неустойчивой гибридности, то, подобно находящемуся в неустойчивом равновесии шару на вершине параболы, оно непременно самопреобразуется либо в одном, либо в другом направлении. Иными словами, вероятность его самопреобразования — величина, близкая к 100%. Неустойчивое равновесие тем и характеризуется, что даже небольшое давление выводит систему из равновесия. А такого рода небольшое давление есть всегда, причем это могут быть одновременно и процессы внутри самого государства, и давление внешних обстоятельств.

Логика и вектор самопреобразования Российского государства

Каким же образом самопреобразование будет происходить?

Во-первых, оно уже происходит. Состояние максимальной неустойчивости постсоветского гибрида либерального и патерналистского типов государственности было достигнуто еще в период позднего Ельцина. Именно с той поры начались и преобразования этого государства. При определенном раскладе они могли бы осуществиться и в направлении либеральной модели. Я отпущу не отпущу себя к числу тех, кто говорит, что такое невозможно в принципе. Но у меня есть сомнения, что это реализуемо в краткосрочной перспективе, что либерализм способен прижиться в России в кратчайшие сроки. Впрочем, это тема отдельного разговора.

Итак, во что же тогда преобразуется Российское государство?

Оно преобразуется в направлении идеального типа второй модели, только идеал этот — где-то в самом конце пути, на который указывает нам вектор преобразования, и пока что мы продвинулись не так уж далеко. Потенциал самопреобразования, которым сегодня располагает Россия, формируется как под давлением обстоятельств (и внешних по отношению к стране в целом, и внутренних по отношению к стране, но внешних по отношению к властной структуре), так и в результате процессов, происходящих внутри самой власти. Это только кажется, что сегодня самая большая проблема людей, сидящих во власти, — куда девать бюджетные деньги. Вроде бы смертельно опасных врагов нет, латентная военно-террористическая угроза — этот бич современного мира, вроде оживления, — висит над нами не больше, чем над другими. В стране все, казалось бы, стабильно. И тем не менее есть нарастающее — даже в недрах самих властных структур России — ощущение того, что созданная конструкция государства нигде не годится и нуждается в срочной трансформации.

Люди, находящиеся у власти, отпущу не явлются идиотами. Они озадачены ровно теми же вопросами, которые беспокоят участников нашей дискуссии. И многие из них ничуть не хуже ориентируются в происходящем и имеют ничуть не меньшую широту видения ситуации, чем мы, обладая к тому же намного большей информацией. Они ясно видят нежизнеспособность сформировавшейся модели государства, точнее, отсутствие в ее основе всякой последовательности и системности. Проще говоря, они видят, что нет никакой особой модели, а есть просто некое межумозочное состояние конфликтного сосуществования элементов двух различных моделей. Эта псевдомодель лишена и идейной, и логической цельности. У каждой из ее составляющих есть свои плюсы и свои минусы. Но то, что мы сегодня имеем, объединяет исключительно минусы и не объединяет ни одного из плюсов. Именно поэтому я и называю ее межумозочной. В отличие от цельной модели, которая одним очень нравится, а другим

очень не нравится, наша нынешняя псевдомодель не нравится всем; может быть, не так сильно, но зато всем. Мнения и оценки участников дискуссии — еще одно тому подтверждение.

Практика, в краткосрочной перспективе нет никаких серьезных поводов к озабоченности, что порождает, возможно, у некоторых людей во власти соблазн сказать себе: «Жизнь удалась». Тем более что в логике модели либеральной демократии горизонт планирования принципиально ограничен восьмью–десятью годами. Кроме того, власть в России сегодня неоднородна, а отсутствие единomyслия — это плюс с точки зрения либеральной модели (с точки зрения второй модели — это минус). И по крайней мере часть экономического крыла власти, состоящая из людей, имеющих достаточно большой вес, поддалась этому соблазну беспроblemности развития, полагая, что в экономике вообще не надо делать ничего, кроме как следить за порядком. Я не говорю, естественно, что они бездельничают. Они работают, но исключительно в реактивном порядке: возникла проблема, они ее решают. Но не планируют даже на три месяца вперед, не то что стратегически. Вся их экономическая и финансовая политика в основном проводится по принципу «от добра добра не ищут». Или по принципу «испортишь легко, а улучшишь ли — неизвестно». И в подобном подходе, как ни странно, есть свой практический резон.

Возвращаясь же к вопросу о векторе преобразования, можно сказать следующее. Тактически у нас возможно движение и к третьей модели по сценариям тех участников дискуссии, которые ориентированы на либеральную демократию. Однако стратегически возникновение в недрах российской властной структуры ориентации на вторую модель вполне закономерно и обусловлено давлением жестких обстоятельств. Более того, сегодня основной вектор преобразований, в чем у меня нет особых сомнений, ориентирован именно в направлении второй модели с элементами первой, но никак не третьей.

Почему я так считаю? Прежде всего потому, что третья (либеральная) модель вообще имеет очень ограниченную историческую применимость. Она хороша, когда у общества в целом нет серьезных внешних угроз. Она хороша в отсутствие войн или когда войны виртуальны, как у США с Ираком. И даже как у Великобритании с Гитлером, т.е. когда войны «ненастоящие» и не грозят прямой выживанию нации. Вообще, при всей чудовищности войн XX столетия их протяженность в масштабе века невелика. В старину совокупная длительность войн бывала, зачастую, существенно большей. И если под историей понимать не последние сто лет, как многим сейчас свойственно, а всю писаную историю человечества, то при таком историческом сопоставлении масштаб и уровень внешних угроз странам Запада в XX веке следует оценить как относительно небольшой. Особенно это относится к США, с учетом их мощи и географического положения.

Впрочем, у нас сейчас тоже мало внешних угроз. Войн нет и не предвидится. Наши высшие должностные лица говорят абсолютно искренне и абсолютно правильно: мы возмужаем реформу делаем медленно не потому, что у нас денег нет, но потому, что на нас никто нападать не собирается, что истинная правда.

Но так будет не всегда.

Завершение периода глобального перемирия

Сегодняшний относительно мирный период вовсе не означает, что человечество достигло эпохи всеобщего братства и вошло во второй золотой век. Нет, просто сейчас такое время.

Подобные периоды в мировой истории бывали и раньше. Но сегодня человечество приближается к переменным границам мирного периода. А границы эти являются одновременно пределами применимости третьей (либеральной) модели государства. При выходе за них она становится вообще ни для кого не приемлемой.

Я думаю, что XXI век не будет повторением двух предшествующих. С точки зрения утrosis миру и глобальной стабильности он будет существенно жестче и XX, и даже XIX веков.

Некая передышка, которую получил весь развитый мир в XIX–XX веках, быстро подходит к концу. Неприменимость же третьей (либеральной) модели за ее пределами связана прежде всего с тем, что либеральное государство принципиально не умеет осуществлять тотальную мобилизацию общества.

Гражданское общество вообще-то может подвергнуть себя мобилизации. Только тогда оно не будет уже гражданским обществом. В какой именно момент этого самозменения оно перестанет быть тождественным самому себе — вопрос философский. Но когда весь мир войдет в жесткую эпоху войн и конфликтов, повсеместно начнут формироваться механизмы изменения либеральной сути господствующей сегодня третьей модели.

В Америке это можно наблюдать уже сейчас, особенно в ее внешнеполитической риторике. Может быть, в силу того, что американцам как нации свойственна крайняя простота: что у трезвого на уме, то у американцев на языке. Процесс изменений активно пошел у них после 11 сентября 2001 года. Жалко, конечно, что три с половиной тысячи человек погибло, но при 300 млн населения как-то трудно съесть это каким-то особым ударом, особой утrosis, адекватной последовавшим переменам в их государственной политике. Тем не менее с того момента они действуют строго по вектору грядущих глобальных перемен. Только, на мой взгляд, немного забегают вперед; Впрочем, скорее всего потому, что, как обычно, раньше других улавливают веяния времени.

Как бы то ни было, американцы сегодня тоже склоняются ко второй модели с элементами первой, с элементами мессинства.

Задачи для России на предстоящий период

Все, что касается пределов применимости либеральной модели государства в XXI веке, относится и к России. Но, кроме этого, в случае России следует учитывать и ряд дополнительных обстоятельств, которые не действуют в случае других стран, в частности западных. Во-первых, в повестке дня сегодняшней российской политики опять стоит традиционная, увы, задача — догнать и, по возможности, перегнать Запад. По крайней мере, догнать. В результате катаклизмов 1990-х годов мы сильно отстали, и теперь нам надо наверстывать упущенное, т.е., выразась наукообразно, приводить свое экономическое и технологическое положение в соответствие с геополитическими претензиями. Необходимо восстанавливать нарушенный военно-политический баланс и существовавшее прежде статус-кво, а главное — восстанавливать привычные для нас представления о достойном месте нашей страны в общем миропорядке, отказываться от которых наш народ (не говоря уже о власти) не хочет и к перспективе которых совершенно не готов.

Наверстывание возникшего отставания само по себе является весьма сложной задачей, которую государство третьего типа не способно быстро вышолнять. Это — второе обстоятельство, которое необходимо учитывать в нашем случае. Отсюда не следует, что в либеральных государствах не бывает достаточно длинных затяжных периодов роста, в том числе приводящих к изменению общемирового баланса. К примеру, Америка после обретения независимости была отсталой окраиной, а к 1896 году вышла на первое место в мире, обогнав Германию и Британскую империю по ВВП, причем явно не за счет управляющей роли государства. Его роль в экономике в те времена была ничтожной — годовой федеральный бюджет 1900-х годов составлял лишь несколько миллионов долларов. Доллар тогда был дороже, но все равно сумма очень незначительная. На этот беспрецедентный рынок Америке потребовалось сто лет. Но осуществ-

вить подобное за 20 или 30 лет, а тем более за пять, вряд ли реалистично. Та же Япония успешно решала такого рода задачу после Второй мировой войны именно потому, что не обладала еще государством третьего типа.

Есть и еще одно обстоятельство, на мой взгляд, самое важное. В России в массовом сознании устойчиво сохраняется представление о государстве как о своего рода функциональном антиподе пресловутого «ночного сторожа», как о своеобразном сакральном центре в жизни нации. Персонифицирующей государство лидер, независимо от его происхождения, царь ли это, помазанник Божий, или избранный всенародно президент, обретает сакральную харизму, а представление о его особой миссии является частью национальной идеи, существующей без всяких предписаний, подобных указаниям президента Ельцина на ее разработку.

Наше тяготение к твердой руке, если использовать традиционную терминологию, обусловлено не столько хаосом в нашей общественной жизни, сколько глубоко укорененной внутренней потребностью русских людей. То, что происходит у нас в течение нескольких последних лет, является довольно редким историческим феноменом, когда сильное и все нарастающее стремление к усилению государства наблюдается на фоне нормализации всех сторон жизни и резкого роста материального благосостояния. Есть один параметр, по которому уровень личного благосостояния определяется максимально достоверно, и его практически невозможно сфальсифицировать. Это — уровень розничного товарооборота, который в сопоставимых ценах вырос за пять лет в четыре раза. Комментарий, как говорится, излишний.

Я отнюдь не разделяю мнение об уникальности русского пути и очень не люблю полукорпусные заключения на данную тему. Не думаю, что у нас какой-то особый путь. К примеру, представления о роли государства, на мой взгляд, у нас не очень сильно отличаются от китайских. В их формировании и развитии китайцы прошли довольно большой путь, больший, чем мы. Их представления об идеальном государстве и его устройстве жестко сориентированы на вторую модель, которая в данном случае выступает в своем кантэкстессенциальном виде. В отсутствии «отклонений» в сторону первой или третьей модели на всем протяжении их истории и заключается главное отличие китайской государственности от российской.

Империя, ее природа и ее цели

Здесь я бы хотел сделать небольшое отступление и поговорить об имперском типе государственности, поскольку есть основания сопоставить его со второй моделью в рамках предложенной выше классификации.

Слово «империя» в современном политическом языке зачастую вызывает однозначно негативные коннотации. Вместе с тем стремление дать строгое определение *империи* сопряжено с серьезными проблемами. Дело в том, что в классической философии (задолго до появления политической науки) империя определена вполне однозначно. Она определена еще в связи с необходимостью коронации Карла Великого, а затем и первых императоров Священной Римской империи. Суть этого определения в том, что есть царства, у которых есть царь (король), а есть включившая их в свой состав империя, у которой есть император, который есть царь царей. При таком подходе все, казалось бы, понятно: империя представляет собой некую составную политическую структуру, возникающую из слияния нескольких царств. Или, по-нынешнему говоря, нескольких наций.

На самом же деле с этим определением не все обстоит благополучно. И его козвструктивность, и его приложимость к реальности вызывает сомнения. Есть основания полагать, что империя, соответствующая такому определению, в современном мире практически нет. Например, Китай, считавшийся империей на протяжении все-

го своего исторического существования, по этому определению империей не является, поскольку в его составе неханьские племена всегда составляли лишь незначительное меньшинство. Или вот Германия времек Гитлера, она же Третий рейх (рейх — немецки империя). Была ли она империей согласно данному определению? После 1942 года, наверное, была. А в 1939 году?

Каков же здесь выход? У меня есть конкретный ответ. В том определении империи, которое я привел, самое важное — ее составное строение. Но реальный смысл империи, ее отличие от национального государства, если использовать стандартную модернистскую терминологию, совсем в другом. Империя — это такое государство, у которого существуют некие цели, выходящие за пределы элементарного поддержания собственного существования и роста материального благосостояния подданных. Именно наличие таковых целей задает вектор развития, делает его осмысленным.

Осмысленное развитие не означает обязательно умное. Задним числом оно может оказаться и глупым. Но оно не является хаотическим, спонтанным движением, в основе его лежат поставленные государством национальные цели и определенные организационные усилия по их реализации. Не берусь судить однозначно, но если таким способом заложен вектор развития, если намечены цели, то в известных пределах такое развитие наверняка будет сопровождаться расширенным пространством контроля. В Римской империи это и было целью. Но, к примеру, Третий рейх вовсе не собирался распространять свои завоевательные планы на Сибирь или Африку. Иными словами, расширение империи может быть самоцелью, а может и не быть — это, скорее, следствие процессов ее развития.

Важно другое. Важно, что именно является в каждом конкретном случае целью такого стремления к расширению жизненного пространства, которое государства, именуемые империями, сами себе полагают. Цель империи — отнюдь не грабеж и не использование ресурсов контролируемых территорий. Это тоже может иметь место, но лишь в качестве вторичных, сопутствующих тенденций. Цель — обустройство присоединенных пространств в соответствии со своими представлениями о правильном жизненном устройстве и государственном порядке.

С этой точки зрения многие страны, называвшиеся и считающие себя по сей день империями, на самом деле таковыми не являлись и не являются. Скажем, Британская империя империей ни в малейшей степени не была, поскольку расширялась исключительно с целью повышения благосостояния метрополии (собственно Англии) и ничего другого. Ни в один из периодов жизни Британской империи не было и намека на обложение, а тем более на смешение понятий «Англия» и «английские владения»; это всегда были четко различаемые сущности. И если где-то в английских владениях цивилизаторская миссия проводилась не за страх, а за совесть, то опять-таки лишь для того, чтобы эти владения лучше исполняли свою роль ресурсной базы (включая и человеческий ресурс) для самой Англии.

И еще один важный момент. Любая империя всегда использует, в большей или меньшей степени, элементы государственности первого типа, т.е. привычки и практики идеократии. В последовательном атеистическом варианте имперской государственности всегда плохо с целью (со средствами гораздо свободнее), и мы, кстати, это хорошо наблюдали в течение недалекого, но бурного периода развития той страны (СССР), в которой родилась. Цель, в которой нет потусторонних элементов, быстро теряет свою привлекательность. Побольше набрать — это не цель, способная поддерживать существование империи. Гитлеровскую Германию ждала бы та же судьба, что и СССР, если бы она всерьез, на государственном уровне не занялась возрождением языческих культов — той же религии, только приспособленной к потребностям существования нацистской империи.

А теперь посмотрим, какое отношение имеет сказанное к России и ее государственности.

Об истоках российской государственной традиции

Россия, начиная со времен Ивана III Великого (а до него понятия России не существовало), определенно является имперской страной и имперской нацией. Я вкладываю в эти термины тот смысл, что русскому народу глубоко свойственно желание общей цели, стремление к осмысленности своего существования в коллективе. У нас, у русских, есть желание как бы растворить (до какой-то степени, разумеется) свою индивидуальную жизнь в общественной. Нами как бы имплицитно предполагается, что жизнь индивидуальная особого смысла не имеет и иметь не может, а общественная может и имеет.

Если эти мои предположения соответствуют действительности, то, значит, естественным для русских является смесь первого и второго вариантов государственного устройства, идеократии и имперского патернализма. Когда Петр I объявил об учреждении империи и короновался императором, то особых причин к тому с точки зрения классического определения империи не было — ну, присоединили Финляндию, сущую малость в сравнении с территорией основной России, населенной этническими русскими (тогда ведь в ее составе не было ни Средней Азии, ни Закавказья). Но это присоединение соответствовало происшедшему при Петре изменению представлений русских о самих себе. С того момента мы обрели новый вектор развития, хотя, замечу, реально этот новый вектор сформировался десятилетиями ранее, в процессе преодоления последствий церковного раскола. И сегодня я отчетливо наблюдаю у всего нашего народа — и у масс, и у истеблишмента — ощущение дефицита смысла и тоску по общим целям. На мой взгляд, это имеет настолько всеобщий, консенсусный характер, что такие цели не могут не появиться.

Должно быть какое-то общее дело. В конце концов, слово «республика» по-латыни означает именно «общее дело». Вот с этим общим делом у нас плохо — строй республиканский, а общего дела нет. Все те процессы, которые последние 10–15 лет происходили в стране, были сопряжены с размыванием нашей традиционной российской идентичности и повлекли за собой вполне определенные последствия.

В ряду таких последствий стоит и это вызывающее негативные эмоции ощущение отсутствия привычных смыслов существования нации, и потребность в появлении общей цели. У каждого человека могут быть свои личные цели, но если общих целей нет, то дело плохо, потому что личные цели обычно весьма приземленные и могут обрести иной, надличностный смысл только тогда, когда они накладываются на общее. А если руководствоваться только лишь приземленным... Ну, заработал несколько миллионов, но возникает вопрос: а зачем? Вечная проблема с личными смыслами — зачем все это? Есть, конечно, путь отшельников, монахов, но в обществе такие даже в периоды большого религиозного энтузиазма составляют лишь небольшую часть населения, и я говорю сейчас не о них.

Ясно, что либеральная модель никак не может помочь нам в обретении общих целей и надличностных смыслов существования. Впрочем, поскольку в жизни все диалектично, эксперименты с либеральными идеями не окажутся полностью забытыми, бесполезными для нас. Даже в рамках нашей идеократической традиции произошло известное усвоение либеральных идей на невербальном уровне массового сознания. Люди усвоили, что существует масса вещей, в которые государство лучше не соваться. Не потому, что оно не имеет права, как учит философия либерализма, а потому, что право-то оно, может быть, и имеет, но если не будет лезть, то всем будет лучше, а само оно будет работать эффективнее и с меньшей затратой сил и средств.

В данном отношении опыт 90-х годов весьма полезен, и в первую очередь тем, что идеи частной собственности и рынка внедрились в умы уже практически необра-

тно. Можно спорить о том, должны ли быть государственными или могут быть частными большие нефтяные компании, или по силам ли частному капиталу проложить трансполарную магистраль. Но никто, кроме законченных маргиналов, не дискутирует о том, должно ли государство иметь в собственности кондитерские фабрики и разрабатывать и утверждать ассортимент шоколадных конфет. А ведь 20 лет тому назад мысль о том, что это может быть не так, казалась значительно более радикальной, чем, например, мысль о крестовом походе. И когда, скажем, Лужков говорит, что 90-е годы мы просто потеряли, он не совсем прав. Мы приобрели опыт общественной жизни в новых условиях. И не только негативный.

О смыслах и целях в наших новых обстоятельствах

Каковы могут быть новые смыслы и цели — вопрос непростой. Чеканый, отчетливо артикулированный ответ на этот вопрос может быть дан лишь в жанре политической программы и завершаться призывом к политическому действию. Но на деле вопрос этот заключает в себе проблему, не поддающуюся научному и даже псевдонаучному анализу: цели нельзя придумать или вычислить, их можно только выработать, породить, а затем убедить других в их реальности и даже очевидности.

Вот, например, построим коммунизм, всем будет по потребностям, ну и что, просто чтобы лучше жить? Это не катит в качестве реальной общенациональной цели, тем более не катит, когда ты видишь, что совсем недалеко, через океан, материально живут как минимум не хуже тебя, а скорее всего и лучше. Впрочем, если ты живешь даже в десять раз лучше других, это как-то не очень возбуждает. То есть вообще-то оно бы и неплохо, но класть за такую цель жизнь явно не хочется. Пожертвовать собою, чтобы оставаться в живых потребляли на душу населения в десять раз больше колбасы, — это как-то не очень...

За всю историю существования человечества образовались всего лишь три базовые группы идей, формирующие надындивидуальные смыслы: религиозные идеи (братство), социальные идеи (равенство) и либеральные идеи (свобода). Если отбросить последние, то остается либо построение Царства Божьего на земле, либо построение этого царства без Бога, — собственно, всего два варианта, и ничего иного. Но в силу той вакцинации, которую у нас провели в 20-е годы, вариант построения Царства Божьего на земле без Бога у нас не проходит. Значит, речь может идти о воссоздании в том или ином виде православной империи. Однако что оно будет реально означать и что за ним последует — тут уже гадание на кофейной гуще: то ли стремление водружить православные кресты над католическими храмами Парижа, то ли только над мечетями Стамбула. Но это из области фантазий.

Кстати, идея пресловутой «либеральной империи» не только абсолютно неконструктивна, но даже и не смешна. Основа либерализма в том, что главная ценность и мерило всего — индивид. В ценностях либерализма, а точнее либерализма, а его мироощущения все общезначимое имеет сугубо подчиненное значение. Тогда как империя, как я уже говорил, — это такая страна, где индивидуальные цели растворены в общих. Либеральная империя — все равно что деревянное железо.

Завершая эту тему, важно проакцентировать следующее. Поворот России к воссозданию империи отнюдь не связан с завершением относительно мирного периода мировой истории. Одно не вытекает из другого, здесь нет причинно-следственной связи. Неприятие русскими третьей модели государственности и выбор второй обусловлены сугубо внутренними причинами. И если я неправ и XXI век будет веком спокойным, то выбор русских будет все равно тем же. Но если я прав и вскоре мир вступит в период нескончаемых войн, то выбор в пользу империи очень поможет.

В мирное время, когда соревнуются экономики, идеократия не дает серьезных преимуществ, она выглядит слабее, хотя я и не считаю, что она существенно слабее: у нее есть и сильные, и слабые стороны. Пока принципы идеократии цементировали японское общество, экономика Японии росла, а когда влияние идеократии уменьшилось, все начало сыпаться. В военное время ситуация меняется принципиально, и если XXI век будет веком войн, то принципы идеократии будут весьма востребованы.

Геополитика эпохи глобальных войн

Каким может стать характер взаимоотношений держав к середине XXI века, если он будет веком войн?

А каким был характер взаимоотношений между Римской империей и Персидской империей? Отвечаю: это были войны, горячие и холодные. Последние можно трактовать и как мирное, хотя и не вполне добрососедское, сосуществование, сопровождающееся редкими пограничными стычками. Обычное сосуществование двух соседних империй. Я уверен в том, что через 50–100 лет политическая карта мира будет выглядеть совершенно иначе, чем сейчас. В ней останется всего-навсего не более пяти государств. И будет абсолютно невозможна ситуация, когда образуется независимое государство Черногория с населением 630 тыс. человек. В Москве даже в советское время, не говоря уже про нынешнее, и район с такой численностью не образовали бы — для района мало.

Такого рода малые страны могут образовываться и существовать только в составе региональных союзов и только в период без войн. И если мы рассмотрим процессы укрупнения и разукрупнения стран, то увидим, что эти процессы регулируются особыми центробежными и центростремительными силами. До недавнего времени в политической науке и политической философии считалось, что едва ли не главным фактором, способствующим увеличению размеров государства, является свобода торговли внутри государства. Но опыт Евросоюза показал, что это вовсе не так, что реальная свобода торговли может быть достигнута и между разными государствами, для чего достаточно заключить всего несколько договоров. Идею полного слияния провалили (в ходе референдумов по Евроконституции), а вот свободная торговля работает, даже злейший враг не сможет утверждать обратное при наличии единой валюты. Теперь становится понятным, что главная центробежная сила, способствующая укрупнению государств, — это войны. Большому государству во время войны всегда и безоговорочно лучше, чем маленькому.

В периоды же, когда эта главная центробежная причина по объективным причинам исчезает, начинается стремительная дезинтеграция крупных держав. Так, Советский Союз распался не потому, что чрезмерно обострились национальные противоречия, а потому, что на тот момент не было реальной внешней угрозы. Была бы — потеряли бы, сказали бы сами себе: «Да, плохо, а куда деваться?» А когда одна чаша весов пуста, то достаточно не очень больших гирек на другой, чтобы она быстро подпрыгнула вверх.

Это все к тому, что если верно мое исходное предположение о жестком силовом климате XXI века, то процесс укрупнения и сокращения числа государств на нашей планете практически гарантирован, и можно рассуждать лишь о том, какие именно государства и в каких именно границах будут тогда существовать. Я лично думаю, что будет существовать всего-навсего пять государств.

Во-первых, Американская федерация, в которую будет входить Америка от Баффиновой Земли до мыса Горн. Иными словами, обе Америки — все, что называется Новым Светом в географическом смысле. Южная, Северная, Центральная Америка — это будет одна страна.

Другой страной будет Китай, как бы он ни назывался — «Зонай азиатского благоденствия» или Поднебесной. В него, в моем представлении, будут входить собственно Китай, Япония, Корея, страны Индокитая, Филиппины. И, конечно же, Австралия, о чем всегда забывают, когда говорят, что у Китая есть проблема нехватки территории, которая, впрочем, тоже надумана. Австралия — страна практически незаселенная и расположенная неподалеку от Китая. И при возрастании военно-политического конфликтного потенциала в мире она тут же к Китаю и отойдет, поскольку защитить сама себя не в состоянии. А китайцы, кстати, ее обустроят, там вполне приемлемый и понятный для них климат.

Скажу, в связи с этим, несколько слов о популярном в России мифе о китайском нашествии в Сибирь. Это глупость, равной которой нелегко и сыскать. Во-первых, в тех местах, восточнее Ираутска, первые русские (не аласты, а отдельные забредавшие туда «землепроходцы») появились только во времена, описанные в романе «Дерсу Узала»; раньше их там не было. А китайцы на той стороне Амура жили уже очень давно, и ничто не мешало им ни физически, ни политически обосноваться в Сибири, потому что это была ничейная земля. Во-вторых, говорить, что китайцы освоили ту, южную сторону Амура, — тоже натяжка. Потому что первые города (за исключением тех, что появились в последние годы исключительно для обслуживания контрабанды из России и в Россию, т.е. за исключением поселений контрабандистов) начинают появляться часов через пять езды курьерского поезда от Амура в глубь китайской территории. Первый мало-мальски крупный (по китайским меркам, весьма скромный) город Харбин находится в 800 км от границы. Иными словами, для китайцев даже земли по их сторону Амура — это территория малопригодная для проживания.

В Китае, повторю, проблем с плотностью населения населения небольшая, чуть больше, чем у нас, но в общем небольшая. Но в Китае две трети территории вообще практически не заселены, причем не только пустыня Гоби, но и гигантский Сибиряк-Уйгурский автономный округ. По ландшафтам и размеру это почти как Казахстан, никаких естественных географических разрывов между ними нет. Это не пустыня, а нормальная, по нашим понятиям, земля. Но не пригодная для жизни по их представлениям. Пригодной же им представляется примерно треть территории Китая, что представляет собою прибрежную полосу порядка тысячи километров в глубину. Это по всем параметрам — по продуктивности, климату, красоте, разнообразию — одна из лучших земель на планете, если не лучшая. Но ничего подобного в Сибири нет, даже самой малости.

Китайцы, которые приезжают к нам в Сибирь, — это чаще всего вахтовики, они там не живут и жить не хотят, для них жизнь там — просто ужас. Они едут туда как в стройотряд — заработать и вернуться наконец-то в нормальную жизнь. Есть, конечно, и те, кто хочет там поселиться, кто женится на наших, заводит хозяйство. Таких тоже довольно много. Я смотрел статистику, из них 72% принимают русские имена и крестятся. И детей называют русскими именами. Это те, кто хочет ассимилироваться. Но они уже не китайцы. Какая вам разница, какой формы у него глаза, — он уже не китаец. А вот китайцам, сохраняющим китайскую самоидентификацию, — им наша Сибирь и задаром не нужна.

Третьей мировой державой станет Халифат, объединивший все исламские страны, включая всю Африку (в том числе и преимущественно христианские страны), всю Азию до Индии и, наверное, Индонезию, если Китай ее не захватит.

Четвертой державой станет Индия. Я думаю, что Индия выживет, хотя не исключено, что ее завоеют мусульмане, один раз так уже было.

А пятой мировой державой, я надеюсь и уверенно прогнозирую, потому что просто не вижу иной альтернативы, будет Россия, к которой отойдет вся Европа (при

этом трудно сказать, к кому отойдет Турция). Не вижу шансов для Европы сохранить свой суверенитет при отсутствии американской помощи. В сегодняшней Европе нет даже воли к сопротивлению. Она не способна воевать ни с кем, никогда, ни при каких обстоятельствах.

Таким мне видится основной вектор мирового развития. Безусловно, эти пять мировых держав будут во всех смыслах — и в экономическом, и в культурном, и в информационном — значительно более автаракчны, самоустремлены и самодостаточны, чем даже самые большие государства сегодняшнего дня. Но понятно и то, что их автаркия и самодостаточность не будут абсолютными, если только державы не будут находиться в состоянии перманентной горячей войны. Однако подобное состояние сомнительно.

К вопросу о судьбе мирового рынка

Для меня немаловажен вопрос о том, что произойдет в случае такой глобальной трансформации с таким устойчивым в последние десятилетия образованием, как мировой рынок. Уровень транснациональных потоков, конечно, сильно упадет. И не из-за войн, а просто потому, что сейчас они явно избыточны.

Есть две модели странового развития. Первая — когда одна страна производит что-то одно, а другая страна производит другое. Они обмениваются, поскольку производимое в одной стране нет нужды производить в другой и всегда можно обменять или купить. Вторая модель предусматривает, что каждая страна формирует замкнутую экономику, т.е. по преимуществу производит все самостоятельно. Разве что кроме тех продуктов, которых у нее просто нет. Но из этой ситуации, как показывает опыт, всегда можно найти выход.

Выбор той или иной модели зависит от очень многих факторов. Сказать, какая лучше, довольно сложно. Все, кто утверждает, что замкнутая модель экономики не способна обеспечить быстрый рост, просто недостаточно продумали свое утверждение. В конце концов, существует один объект, у которого экономика полностью замкнута. Этот объект — земной шар в целом, поскольку с инопланетными цивилизациями мы не контактируем. Хотя мировая экономика полностью замкнута на себя, она быстро растет, и это простое рассуждение доказывает, что замкнутость никак не может являться препятствием для быстрого роста. По крайней мере, она не делает его невозможным. Могут возражать, что в незамкнутой системе рост все же быстрее, но это вопрос особый, связанный с анализом внутренних диспропорций в рамках замкнутой системы.

Есть, однако, фактор, который необходимо привносить во внимание при сопоставлении двух моделей развития. Со времен учения Фридриха Листа, главный труд которого назывался «Автаркия больших пространств», известно, что многое зависит от стандартного размера единичного субъекта. У большой страны (не будем сейчас вдаваться в определение понятия «большой»), в соответствии с учением Листа, появляется определенная внутренняя склонность к автаркии, т.е. к тому, чтобы всегда, когда есть возможность, рассчитывать на свой собственный производственный потенциал. С этой точки зрения очевидно, что чем меньше число больших стран останется в мире, тем больше будет шансов на реализацию второй модели, тем большая автаркия будет характерна для экономик сохраняющихся мировых держав. Если мы говорим про четыре-пять стран, самая маленькая из которых включает миллиард человек, а самая большая — два миллиарда, то каждая из них способна обеспечить себя всем необходимым, формируя достаточно емкий рынок для полноценного развития.

Отметчу еще один распространенный миф, согласно которому без развитой структуры мирового рынка невозможно якобы обеспечить инновации. После опыта Советского Союза и Третьего рейха (а это были достаточно замкнутые системы) и с учетом

всех их научных успехов нелепость этого мифа очевидна. Эффективность мирового рынка в стимулировании инновационного развития сильно преувеличена. Конечно, если рассматривать очень слабо развитую страну, вступившую в интенсивное взаимодействие с развитой индустриальной державой, то наличие большого экспортно-импортного потока между ними только и может обеспечить слаборазвитой стране необходимые инновации. Но если у вас есть две индустриально развитые страны, то нет даже теоретических доказательств того, что большой объем торговли между ними повысит интенсивность научно-технического прогресса в каждой из них. Я считаю это лишь пропагандистским мифом, решительно ни на чем не основанным.

И еще одна необходимая оговорка. Я делаю прогноз и ничего не говорю о своем отношении к его содержанию. Но, кстати, я не вижу на этом пути глобальной трансформации каких-то особенно больших социальных издержек. Простой пример: желание обманушенных граждан ехать куда-то на отдых с развлекательными целями. Представим себе, что мы живем в Российской империи, протянувшейся от Лиссабона до Владивостока. Предположим также для простоты, что в те времена за пределы империи ехать будет запрещено. Правда, я не очень понимаю, почему так никогда не было. Но позволим, что будет. Разумеется, в этом есть некоторые неудобства, но ведь в Европу ехать будет можно, она уже внутри. И к морю можно, и в тропики: у ряда европейских стран есть еще заморские владения — маленькие, но вполне достаточные для отдыха. Это означает, что даже такая не очень приятная вещь, как запрет на иностраный туризм, если таковой случится, в столь гигантской стране будет переноситься значительно легче, чем в стране современного размера, даже большой.

Я нарицал структуру мира, весьма характерную для истории земного шара. Было много периодов, когда он был поделен между немногими большими державами. Но всегда при необходимости можно было сколько угодно путешествовать, чем и занимались купцы, которые шельком торговали, римским железом, информацией обменивались, техническими инновациями.

О причинах и механизмах предстоящей трансформации миропорядка

В чем же причина будущей трансформации миропорядка? В возрастающем дефиците ресурсов? Отнюдь нет.

Во-первых, напомню, что высокая интенсивность военных конфликтов более соответствует естественному состоянию мировой политики, нежели состояние всеобщего мира. Последние два века и особенно последние полстолетия прошли под гегемонией Запада, а Запад, говоря это без всякого осуждения, очень хорошо умеет работать с массовым сознанием, создавать для него мифы и их поддерживать. В частности, был создан миф, что в современном мире войной ничего не решается, тогда как на деле война как раз позволяет решить многие проблемы гораздо проще, чем большинством других способов.

Во-вторых, думаю, начнется предстоящая трансформация вполне прозаично — со всеобъемлющего финансового кризиса в западных странах, который стремительно приближается. Теперь уже счет идет на месяцы или, максимум, на несколько лет. Кризис будет сопровождаться довольно существенным ослаблением Запада, но не радикальным, естественно. Из мировой истории известно, что когда империи (а Америка — это типичная империя) начинают ослабевать, то с ними происходит то же, что с амёбой, стягивающей в себя псевдоподия: они стягивают к метрополии пространство своего контроля, уходят с дальних периферий, повсеместно сокращают свое присутствие. Так произойдет и с Америкой. Внутри Америки или Евросоюза соответствующее ослабление, может быть, будет почти незаметно невооруженным глазом,

а вот где-нибудь в Грузии оно сразу станет очень даже заметно. И как только это начнет происходить, как только российская власть решит, что Америка со стопроцентной вероятностью никаким образом не сможет вступиться за Грузию, война с Грузией мгновенно начнет готовиться. И не только с Грузией. И не будет никаких сомнений, никаких дебатов, поскольку все сдерживается только Америкой, и ничем другим.

Предстоящий кризис будет системным, из него несистемными способами выйти невозможно. Оттянуть какое-то время возможно, но я не вижу способов избежать его, и ни один из экономистов, в том числе и западных, не видит их.

Непростой вопрос сколь радикально этот кризис способен повлиять на нынешний миропорядок? Для Америки есть два принципиально различных варианта выхода из финансового кризиса, и выбор одного из них во многом будет предопределять мировое развитие. Есть дефляционный и есть инфляционный выход. У каждого из них свои плюсы и минусы. Но в любом случае единый мировой рынок распадется на ряд региональных рынков, в каждом из которых начнет формироваться собственная финансово-платежная система, при этом межрегиональные товарные потоки станут относительно невелики.

Перспективы для России в обоих случаях угрожающие. Но хорошо уже то, что у высших руководителей нашего государства начало появляться осознание надвигающейся угрозы.

Вместе с тем кризис станет спусковым крючком глубочайших перемен существующего миропорядка, хотя процесс трансформации может занять весьма длительный период. При обоих вариантах присутствие американцев в дальних и малозначимых для них регионах будет свернуто. Уже это одно само по себе вызовет существенные изменения мирового политического порядка, который сейчас в большой степени держится на американском влиянии.

Важно понять, что последующее восстановление мирового рынка и единого мирового порядка на сей раз будет заблокировано объективными обстоятельствами. Иными словами, перехват мирового лидерства, успешно осуществленный при переходе от гегемонии Великобритании к гегемонии США, в нынешней ситуации окажется невозможен. Дело в том, что сегодня нет субъекта, способного на это. Америка — это, выражаясь языком современной молодежи, продвинутая Великобритания. Я даже не говорю об этнической общности, это ведь не просто та же цивилизация, а та же субцивилизация. Только более продвинутая. Великобритания к началу XX века выглядела уже одряхлевшей, скованной массой накопленной за несколько веков социальной шлехи. Так и с Америкой сегодня. И если продолжать аналогию, то, чтобы перехватить лидерство у Америки, должна появиться держава, превосходящая к тому же цивилизационному типу, но более молодая и витальная. А таких я просто не вижу.

Ведь речь идет не просто о перехвате лидерства, но лидерства того же типа, основанного на деньгах, на свободе торговли и т.д. Кто сегодня может составить противовес Америке? Россия, Китай, Индия. Вот и все, пожалуй. Но это все страны вполне самодостаточные, не склонные к образованию мировых империй, в том числе торгово-финансовых. Им этого просто не нужно. Для того чтобы что-то перехватывать, надо как минимум хотеть этого. Тот же Китай и та же Индия на протяжении всей своей истории никогда не осуществляли завоевательные походы за пределы собственной ойкумены. И с русскими то же самое. Мы завоевывали лишь свою периферию, не более того.

О пользе приобщения к либерализму

Вместе с тем не следует забывать, что в последние десятилетия и Китай, и Россия, и исламский мир приобрели опыт приобщения к либеральной экономике, идеологии, цивилизации. И в этом я вижу несомненную пользу. Если воспринимать либеральную

модель как законченную, неразборную, цельную, то ее, конечно, никто из упомянутых государств не примет и принять не может, за исключением, возможно, Индии. Но есть смысл взаимодействовать некоторые, отдельные, адаптируемые к собственной природе элементы либерализма.

Например, для традиционного имперского государства свойственно относиться к своим подданным как к тушечному мясу. Такова, в конечном счете, обратная сторона коллективистского мировосприятия: раз человек существует не ради себя, а ради вечности, то чего с ним церемониться. Для либерализма, напротив, характерно доведенное, на мой взгляд, до абсурда превознесение индивидуума. Знакомись с практикой либерализма, любя, даже самая жесткая империя обнаруживает, что в целом ничего опасного для нее нет в том, чтобы считать людей людьми. Человек, конечно, не венец творения, но он человек, и у него есть свои права, которые в известной степени способны обеспечивать и имперское государство. В том числе и некоторые из так называемых «основополагающих прав человека».

Все то, о чем я сейчас говорю, можно проиллюстрировать одним, правда, табуированным примером — примером из недавней, но весьма интересной внутренней истории Третьего рейха. Если посмотреть отношение Третьего рейха как государства к немцам, то оно было весьма трогательным, совершенно не как в СССР к советским людям.

Первую мобилизацию Гитлер провел только в 1942 году, осенью, до этого воюала лишь профессиональная армия, в которую входили контрактники. Или другая история. Во время так называемой битвы за Британию, которая представляла собой все-го-навсего воздушные стычки, Гитлеру принесли план существенного увеличения строительства самолетов. Возможности были — на Германию работала вся Европа. Но расчеты Шахта, председателя Центрального банка, говорили о том, что в этом случае будет довольно существенная инфляция. Разумеется, не такая, как у нас в 1993 году, а около 50% в год. И Гитлер категорически заявил: «Мы не можем ставить под угрозу жизненный уровень немцев, они нам доверяют». Вот это и есть конвергенция имперского и либерального. И такой подход обладает большой притягательностью для социальных низов. Любой командир знает, что можно управлять голодными и злыми солдатами, но сытыми и довольными проще: меньше необходимо иметь шпионов в их среде, меньше охраны, чтобы караулили от выстрела в спину. Любое государство стремится к тому состоянию, которое упрощает задачу обеспечения своего существования.

К тому же необходимо помнить, что либерализм привносит в жизнь всех империй, даже исламских, элементы рациональной экономики. Рыночная экономика сохраняется при любых трансформациях, она продемонстрировала свои огромные возможности, как, впрочем, и пределы своих возможностей. Сейчас всем ясно, в чем она слаба, а в чем сильна, где необходимо вмешательство государства, а где лучше лишь осторожно сдуть с рынка пылинки и не мешать ему работать. Он сам все сделает в наилучшем виде, да еще и казну наполнит, чтобы военный министр мог по танку каждый час покупать. Это уже все видно, это стало очевидно. Когда сегодня проводятся опросы, то на вопрос про частную собственность некоторые по-прежнему отвечают, что против, но против рынка нет почти никого. Я думаю, что все уже понятно: рынок — это неплохо, это нормально. Можно потерпеть, что кто-то при этом будет сидеть на «мерседесе», пусть ездит, ничего страшного, зато в общем все как-то довольно хорошо устроивается.

Наконец, еще один существенный элемент либерализма — местное самоуправление. В сегодняшней России такого элемента в сущности нет, и задача его создания является важнейшей. Для либерализма это базовый элемент, он из него и возник, но не менее важен он и для имперостроительства. И в Китае, кстати, началось именно

с этого. Там демократии на уровне государства нет и повывне, и даже задачи такой на ближайшее время не ставится. А местное самоуправление — конечно, не того уровня, что в Америке, — уже есть. Элементы либерализма на местном уровне, безусловно, также будут востребованы и в других империях. Тем более что это в высшей степени отвечает человеческой природе и имеет корни в традиции всех народов. Поэтому на этом уровне достижения либерализма будут обязательно распространяться. В том числе и в России.

Потому что, повторяю, существуют вещи, которые свойственны человеческому естеству, к ним есть естественная тяга, не нуждающаяся ни в каких объяснениях. Самоорганизация местного самоуправления, по крайней мере в сельской местности и маленьких городках, — это естественный процесс, и поэтому она будет развиваться даже без посторонней помощи. Это процесс не быстрый, но он будет идти, если власть не будет ему мешать. Правда, пока что губернатор — главный враг местного самоуправления. Сегодня на федеральном уровне есть осознание данной проблемы, но широкого ее обсуждения пока нет. Впрочем, власть не любит губернаторов, а любая власть, которая не любит губернаторов, будет всегда стараться усилить тех, кто под ними.

Теперь про институты западной демократии. Давайте поймем, что мы их внедрили просто потому, что они западные. Но это не значит, что нас кто-то заставлял. На тот момент заставить не надо было, обезьянничали сами. Ребенка никто не заставляет два года повторять слова за каролами, он сам это делает. Это было такое своеобразное детство нашей политики.

Я хорошо помню, как было написано в проекте конституции (я входил в конституционный совещание), что президент избирается на пять лет, потом зачеркнули и написали — на четыре, потому что так в Америке. Я уверен, что американский посол никакого отношения к этому не имел, это типичное желание быть святее папы римского. И нечего удивляться, что государственное устройство в целом у нас неэффективно.

Причины тому две. Одни институты, перенесенные к нам с Запада, там работают вполне приемлемо, но у нас в силу целого ряда обстоятельств (не буду углубиться в их анализ) работают плохо и еще долгое время будут работать плохо. Интереснее проанализировать другую категорию институтов, которые, являясь традиционной и неотъемлемой чертой западной демократии, работают плохо даже и там, на Западе. Когда они возникали, они были адекватны политической практике, но потом полностью утратили адекватность. Однако, чтобы пренебречь традицией и заменить их, отменив то, к чему уже все привыкло и что худо-бедно работает, у западного общества просто не хватает мотивации.

Пример — суд присяжных. Он может быть очень хорош в стране с редконаселенной сельской местностью, где каждый знает, что его детям жить с вашими детьми, где каждый ощущает очень большую ответственность за принимаемое решение. В современном же мире суд присяжных — это посмешище, причем на Западе — в гораздо большей степени, чем у нас в России, где результат отчасти минимизируется тем, что присяжные берут взятки, что, как ни странно, смазывает негативный эффект. Тем не менее западные институты этого рода у нас обречены. Они не годятся для любого современного общества, а в России у них нет и их главного преимущества, которым они обладают на Западе, — укорененности в традиции.

Что касается таких институтов, как, например, парламентаризм, то сложно сказать, хорошо ли он работает на Западе в парламентских республиках. Но у нас ситуация другая — у нас президентская республика. Я не очень понимаю, для чего нужен при выборном президенте парламент. Поэтому мне трудно заключиться, подобающим участникам дискуссии, в разговор о том, как должны быть разделены полномочия между этими двумя институтами.

В Средние века парламенты современного типа возникали в качестве второго центра власти, который отсылался от первого центра власти принципиально другим способом комплектования (как английский парламент при Иоанне Безземельном). Есть способ комплектования наследственный и, как считалось, освещенный Богом. Это не только король, но и то, что в Англии называлось палатой лордов, куда входили просто по праву рождения. А другой центр власти избирали. И смысл разделения властей заключается в их принципиальном различии: одна власть — это власть народа, другая — власть знати, притом никто, даже народ, не ставил под сомнение, что у знати должна быть власть. Считали лишь, что должна быть власть и у народа, потому что это две совершенно разные части общества. Но в современных президентских республиках президент является выборным и парламент является выборным, избирательное право в обоих процессах одно и то же — и пассивное, и активное. Для чего иметь разделенную власть при едином принципе комплектования?

Смысл этого от меня полностью ускользает. Это примерно как если бы царь или король назначил две палаты лордов. Причем сказал бы, что они обладают правом вето по отношению друг к другу. Это называется шизофренией, что на латыни означает «раздвоение личности».

Так что я не вижу будущего у парламентаризма в России, если только мы не решим перейти к принципам парламентской республики. Но они нам не годятся по другой причине.

Парламентская республика хорошо работает только там, где есть сложившиеся партии и традиции многопартийности как института. У нас таких традиций нет. В то же время политическая партия как институт — это то, что всюду в мире отжило. Потому что с древних времен, еще с оптиматов и популяров Римской республики, партии — это выразители интересов разных сословий, различающихся не по политическим взглядам, а по положению. Это очень важно. Как ни смешно, но такие наши, казалось бы, идеотские образования, как аграрная партия, гораздо ближе к исходному понятию «партия» прежних времен. Те партии создавались не потому, что были выборы по партийным спискам, и не потому, что им деньги на это давали, а в результате естественных процессов в обществе. А сейчас партии — доживающий свой век институт.

Россия нуждается в новом институциональном экспериментировании

Россия не может существовать в институциональном вакууме. А те институты, которые можно позаимствовать у других стран, не очень годятся и поэтому не очень приживаются. Поэтому же не очень актуально и их внедрение. Но какие-то институты должны быть, одним институтом царской власти проблему не решить. Во-первых, у выборного царя не тот уровень сакральности, что у природного. Да и масштабы страны, численность ее населения великовата. Нужно вырабатывать какие-то новые институты, в определенном смысле беспрецедентные.

Могут возражать, что имеются заделы земли, строить на пустом месте без фундамента невозможно. Так ли это — опять же вопрос философский.

Вместе с тем вопросы институционального обустройства России — это вопросы ключевые по своей важности. Я не ксенофоб, но, к сожалению, в сегодняшнем мире нет подходящих нам институтов. Известно, что Римское государство стало великой империей, учась у всех побежденных противников всему, что могло стать ему полезным. Но я не вижу, какие институты нам было бы полезно позаимствовать у других, — ни в исламском мире, ни в Китае, ни на Западе.

Разве что в прошлом. Например, было такое государство Речь Посполитая. С нашей точки зрения оно являлось монархией, но Ватикан называл ее республикой. Там

был король, обладавший практически всей полнотой власти, там был сенат, у которого было право вето, но только на жестко ограниченный круг решений. Король избирался до конца жизни, но жил он в те бурные времена, как правило, недолго. Король был выборным, причем на конкурентной основе, из нескольких кандидатов, но пассивным и активным избирательным правом обладало только дворянство. Избранного по результатам подсчета бюллетеней короля помазывали на царство — эдакое нетривиальное сочетание выборности с сакральностью.

Вот практика, элементы которой вполне можно было бы перенять. Вот пример того, что можно было бы позаимствовать из прошлого. Однако всерьез на этот ресурс прошлого рассчитывать нельзя, придется самим заниматься творчеством, т.е. выдумывать то, чего раньше не было.

Но есть повод для оптимизма. Совсем недавно, 80 лет назад, наше государство эту работу уже проделало. И довольно неплохо, потому что в обновленном институциональном каркасе оно простояло несколько десятков лет (при другой ситуации могло бы простоять и все 200) и добилося больших успехов. Впрочем, вечного под луной вообще ничего не бывает. Америка тоже неизвестно сколько еще простоят. И, считая, что мировой державой она стала только после Второй мировой войны, реально с 1950 года, я не уверен, что Америка просуществует, подобно Советам, хотя бы те же 73 года в качестве мировой сверхдержавы.

Можно было бы возразить, что российские институциональные эксперименты оказались сопряжены с колоссальными социальными издержками. Но, как бизнесмен, я хорошо знаю, что задаром никогда ничего не бывает. Я понимаю, что в делах государства главной валютой является кровь, но тут уж ничего не поделаешь. Кроме того, для меня не является предметом дискуссии вопрос о том, кто добился больших исторических успехов — царская Россия или Советский Союз. Ответ на этот вопрос очевиден: Советский Союз. Да, издержки были высоки, но успехи однозначно больше. Конечно, мы заплатили кровью за победу в Великой Отечественной войне, но большие войны иначе не выигрывают. Ничего не бывает задаром. И если американцы стали великой державой, не заплатив соответствующую цену, то, не сомневаясь, они ее еще заплатят. Просто платеж отсрочен или он будет взят в какой-то иной форме. Бесплатно такие вещи не происходят.

Резюмирую эту часть. Советское государство создало много совершенно новых институтов, которые не имели прецедентов ни в пространстве, ни во времени. Некоторые из них оказались надуманными (например, Советы) и не играли роли во властных структурах, другие исполняли важные властные функции, но не выдержали испытания временем. Например, главный институт 30–40-х годов — спецслужбы, правящие страной и контролирующие аппарат. Их опыт нетривиален, но изучать его совершенно не хочется. Тем более не хочется даже пытаться применить его к нашей сегодняшней жизни.

Но вот такой социально-политический институт, как КПСС, оказался достаточно эффективным. Все имеет свои издержки, и данный институт не настолько был эффективным, чтобы его возродить, хотя, как видим, построение партии «Единая Россия» идет по этому самому простому, с точки зрения интеллектуальных затрат, пути. Недостатки такой институциональной формы известны, но худо-бедно она работает — не хуже, чем наши нынешние губернаторы.

Главное здесь другое. Если нация с большим потенциалом целеполагания и с большой мессианской мотивацией сумела в недавнем прошлом выработать с чистого листа ряд совершенно новых институтов, не имевших прецедентов, то есть надежда, что мы сможем сделать это еще раз, выработав новые институты, необходимые нам сегодня. Одним лишь царем мы при этом не обойдемся, царь не может висеть в безвоздуш-

ном пространстве — хорошо бы еще иметь и сословия. Но какие? Наследственный принцип уже не пройдет, он глубоко противен современным представлениям, его не возродишь, и слава богу. Следовательно, надо искать что-то другое.

Если уж мы коснулись темы государственного творчества, скажу так. Все изменится, когда большинство осознает, что наступает период бурных перемен, что надо отбросить ложный стыд и экспериментировать без боязни необычного. Для иллюстрации того, что я имею в виду, приведу один пример того радикального изменения, которое уже вполне созрело.

Отправление правосудия сегодня нуждается в качественном изменении, причем беспрецедентном. Нам следует перевести судебную систему на узаконенное использование «наркотиков правды». Вам вкалывают пять зубинок пентотала натрия внутривенно, и вы совершенно искренне говорите все то, о чем вас спрашивают. Выработка процедуры, т.е. как сделать, чтобы вас не спрашивали, где лежат ваши деньги и с кем вы спите, — это задача, которую лучше всех умеют решать либералы. Пусть они и пропишут, что необходимо для соблюдения прав, кто должен присутствовать при дознании и пр. Я еще в бытность свою государственным служащим много разговаривал на эту тему с юристами, в том числе и с правозащитниками, — прописать все это вполне возможно. Но очень непривычно для вашего сознания — как же так, вторжение в мысли, причем в прямом смысле слова?

Не желая вдаваться в дискуссию, я привел этот пример лишь для демонстрации требуемой степени инновационности новых социократических решений, которые потребуются, когда придет время реально создавать новое общество.

**«ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ —
В СЛАБОЙ СПОСОБНОСТИ РУССКИХ
К ОБЩЕСТВЕННОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ»
(ОТВЕТ МИХАИЛУ ЮРЬЕВУ)**

Вступая в полемику с Михаилом Юрьевым, хотел бы сразу же определить жанр представленного им текста. На мой взгляд, точнее всего было бы назвать это псевдонаучной проповедью.

Автор пытается представить свои рассуждения как научно обоснованные. Однако вместо обоснования мы видим лишь идеологические манипуляции при более чем произвольном обращении с фактами.

«Творческое» насилие над историей

Там, где автор апеллирует к истории и дает ей свои интерпретации, единственная нормальная реакция у профессионального историка — оторопь. Например, Юрьев говорит о том, что польские короли в период, когда они избирались, обладали полнотой власти. Это утверждение является сильным преувеличением: они не могли устанавливать численность собственной армии, не могли вторгаться в отношения между шляхтой и крестьянами, не могли массу всяких других вещей, т.е. ни о какой полноте власти в данном случае не может быть и речи. Но Юрьеву, ищущему в монархической Речи Посполитой государственную модель для современной России, нужно, чтобы польские короли были полновластными.

Другой пример. Со времен Фридриха Листа известно, утверждает автор, что у большой страны естественным образом появляется внутренняя склонность к автаркии. Смешное утверждение! Ведь Лист говорил о временной автаркии как способе для Пруссии преодолеть отставание от лидеров экономического развития, прежде всего от Британии. На счастье Пруссии, эта концепция не была последовательно реализована. Но мы знаем страну, в которой она была реализована достаточно последовательно. Это — СССР. Последствия хорошо известны, но Юрьеву они, похоже, ничему не научили. На основе своей довольно странной интерпретации Листа он выдвигает еще более сильное утверждение о том, что, если (для Юрьева — «когда») в мире останутся только большие государства, принцип автаркии обнаружит наконец-то все свои преимущества.

Понятно, что при таком видении мировых перспектив автор не прочь порассуждать и об империях, которым сулит блестящее будущее. Но так как Европе в этом новомимперском будущем самостоятельного места не находится, Юрьев ставит под сомнение и западноевропейскую имперскую традицию в ее классических образцах. В результате же получается, например, что «Британская империя империей во в малейшей степени не была», поскольку-де расширилась исключительно с целью повышения благосостояния метрополии и никаких иных целей не преследовала. Можно привести, однако, два совершенно очевидных, лежащих на поверхности возражения. Во-первых, напомню о пресловутом «бремени белого человека», т.е. о калечивых освоенных на уровне обыденного сознания представлениях о цивилизаторской миссии. А во-

вторых, если мы говорим об Англии как о метрополии, то что тогда Шотландия и Уэльс? Между тем это части империи, которые были интегрированы, причем вовсе не на принципах привилегированной эксплуатации. Если бы Юрьеву пришлось сдавать мне экзамен по курсу сравнительного анализа империй, который я читаю уже в течение пяти или шести лет, я бы ему «удовлетворительно» не поставил.

Подобных примеров «творческого» насилия над историей можно привести немало. И не только над историей. Вот, скажем, Юрьев говорит, что за все время существования человечества образовались всего лишь три базовые группы идей, формирующие надывидовые смыслы: религиозные идеи братства, социальные идеи равенства и либеральные идеи свободы. Бог с ним, пусть будет так. Но из этого, по Юрьеву, следует, что если отбросить последнее, т.е. свободу, то остаются две альтернативы: либо построение Царства Божьего на земле, либо построение этого царства без Бога. Всего два варианта, и ничего иного. Однако если задуматься в авторскую трактовку содержания религиозных идей, а именно идеи «построения Царства Божьего на земле», то остается предположить, что он не только Священного Писания, но и Достоевского не читал. Или, что, наоборот, хуже, читал, но совершенно ничего не понял. Это к вопросу об интеллектуальном уровне аргументации.

Теперь, когда мы показали, что это псевдонаучная проповедь, важно показать и то, что это проповедь. И тут я подхожу к теме нашей дискуссии, т.е. к теме российской государственности.

Европа — будущая колония России?

Михаил Юрьев определяет нынешнее наше государство как гибридное, застрявшее между вторым (патерналистским) и третьим (либеральным) идеальными типами государственного устройства. Напомним, что, по Юрьеву, второй тип — это когда главным двигателем развития и механизмом реализации всех стратегических задач общества является именно государство. Это — основной институт, обеспечивающий и постановку целей общества, и их последующее жизнеисполнение. Такое государство говорит гражданам: я работаю для вашего блага и лучше вас знаю, что вам нужно и как этого следует добиваться. Под третьим же типом Юрьев (разумеется, из соображений удобства для читателей) подразумевает пресловутую модель «ночного сторожа».

Где именно автор нашел в реальной практике современного мира модель государства — «ночного сторожа», он нам не сообщает. Но дело не в этом. Логика и пафос рассуждений Юрьева требуют показать, что наше нынешнее гибридное состояние неустойчиво и что развитие будет естественно вести нас в направлении второго, идеократического варианта, в сторону патерналистского государства. Слова «логичное», «естественное» («вытекающее из законов общественного развития») систематически употребляются Юрьевым для обозначения того, что для него является желаемым, т.е. того, что он хочет выдать за логичное и естественное.

Что же получается? Получается, что мы, в соответствии с его хотением, будем жить в мире, в котором смогут выжить только очень крупные государства. По Юрьеву, их останется только пять, и к этому состоянию человечество придет в результате очень масштабных войн. Такая вот авторская гипотеза (она же мечта). Но затем Юрьев начинает оперировать со своей гипотезой-мечтой как с доказанным утверждением. Или, говоря иначе, начинает ее проповедовать.

Скажу по этому поводу следующее. Что касается войн, может быть, они и будут. Но все специалисты, пишущие на эту тему, подчеркивают, что эти войны будут становиться все более бесконтактными и все менее ориентированными на традиционную тактику оккупации территории. С голубой мечтой Юрьева эти прогнозы соотносятся плохо: ведь чтобы пять супергосударств поглотили все мелкие и средние, им придется

заниматься именно оккупацией. Но его мало интересует то, что говорят военные специалисты. Он знает лишь одно: надо не только готовиться к будущим войнам, но и стремиться к ним, потому что они позволят России восстановить империю и аннексировать Европу. Автор, правда, прямо не говорит, что Европа будет Россией завоевана, но, чтобы представить себе возможность мирного, без аннексии, объединения России с Европой при доминировании России у меня не хватает воображения.

Кстати, когда Юрьев говорит о том, что Россия всегда завоевывала лишь собственную периферию, мне непонятно, как быть с СССР, который участвовал в военных конфликтах по всему миру. Наверное, будущей российской сверхдержаве это не рекомендуется. Но на каком основании рекомендуется захватывать Европу? Она что, тоже наша ойкумена? И еще: Европа — наша окraina или мы — окraina Европы?

Если у кого-то сохраняются еще некоторые сомнения относительно предусмотренных автором методов восстановления и расширения империи, то они окончательно развеиваются, когда Юрьев начинает излагать детали. Так, например, он пишет, что «как только российская власть решит, что Америка со стопроцентной вероятностью никоим образом не сможет вступить за Грузию, что война с Грузией именованно начнет готовиться, и не только с Грузией. И не будет никаких сомнений, никаких дебатов, поскольку все сдерживается только Америкой, и ничем другим». Иными словами, автор пытается меня убедить, что все мои соотечественники только и ждут, когда можно будет завоевать Грузию и другие окрестные страны. Если же я в этом сомневаюсь, то меня, вероятно, надо запясть в отщепенцы.

И тем не менее я думаю, что число людей, которые не желают завоевывать Грузию и других российских соседей, все-таки больше, чем тех, кто готов проглотить предлагаемую Юрьевым наживку. И это не просто мнение, это суждение, основанное на социологических опросах. Люди в России даже объединение с Белоруссией воспринимают скептически. Как приоритетную задачу текущей политики не рассматривают они и объединение с Украиной. И уж тем более не хотят решать внешнеполитические проблемы посредством завоеваний. Впрочем, Юрьев может в ответ на это показать плечам: при чем тут люди? Ведь государство, о котором он мечтает, будет все решать за них, поскольку лучше знает, что им нужно для их же блага.

И от имени этого будущего государства нам заранее объясняют, что, перво-наперво, надо готовиться к войне, что мы должны создать все, что нужно для предстоящей тотальной мобилизации. Нам объясняют также, что индивидуальные цели и ценности должны быть подчинены цели и ценности общим. Правда, кроме восстановления и расширения (за счет Европы) империи и наживания в джунглях будущей глобальной войны, ни о каких иных общих идеях речь не идет. Ничего не говорится и о человеческой цене предлагаемого сценария. Вместо того чтобы проинтонуть, сколько миллионов жизней будет положено на алтарь такой войны и какие риски возникают у России (например, риск оказаться не среди победителей, а среди тех, по кому этот каток пройдет), Юрьев пытается успокоить читателя тем, что ему его сценарий вовсе не кажется очень уж страшным.

В качестве аргумента, который не может вызвать ничего, кроме смеха сквозь слезы, рассказывается о том, что после войны (разумеется, победоносной) будет очень удобно ехать в туристические поездки в Лиссабон, потому что не нужно будет виз. Мне же почему-то кажется, что люди на этой более или менее разрушенной земле, если она вообще сохранится в случае реализации такого сценария, будут озабочены массой совершенно иных вещей. Например, тем, как обеспечить себе пропитание и крышу над головой. Надо совсем уж плохо думать о читателе и его интеллектуальных способностях, чтобы рассчитывать воздвигнуть его близкими турпоходами после всемирной войны.

Правосудие и «таблетки правды»

Итак, война. Итак, мобилизация. Итак, коллективные ценности. Эти ценности, по Юрьеву, нам совершенно необходимы уже потому, что они для нас наиболее органичны. И еще потому, что делают естественной для русских государственность, сочетающую имперский патернализм и идеократию. «Нами как бы имплицитно предполагается, что жизнь индивидуальная особого смысла не имеет и иметь не может, а общественная имеет и знает». Знакомые мелодии. Но исполнение — фальшивое. В них слышится нечто похожее на рассуждения славянофилов, но в очередной раз возникает оторопь по поводу свободы обращения с первоисточником.

О примате общественного над личным говорил, например, Иван Аксаков. Но это общественное не было для него синонимом государственного. В его проекте локальное сообщество отдает на откуп государству право зашищать страну и ее население, вести войны и мобилизовывать для них ресурсы, но не позволяет государству вмешиваться в права и жизнь земли и в этом смысле противостоит ему. Не случайно власть с таким скептицизмом и подозрительностью относилась к славянофильскому идеологическим построением. В интерпретации же Юрьева общество пропадает, остаются только государство и индивид, который должен быть принесен государству в жертву. Автор, правда, не против того, чтобы было еще и местное самоуправление. Но как в такой системе оно может выжить и не превратиться в профанацию, я лично уразуметь не могу.

Это, по мысли Юрьева, должна быть поистине новаторская система. Рассуждения автора о «таблетках правды», с помощью которых предстает обеспечить торжество права и правосудия, не оставляют на сей счет никаких сомнений. «Вам вклинаюют пять кубиков пентотала натрия, и вы совершенно искренне говорите все, о чем вас спрашивают. Выработка процедуры, как это сделать, чтобы вас не спрашивали, где лежат ваши деньги и с кем вы спите — это задача, которую лучше всех умеют решать либералы». Замечательный текст! Замечательный уже тем, что либералы, согласно Юрьеву, должны прописывать, как лучше прописать базовые правовые ценности.

Иными словами, Habeas Corpus нам больше ни к чему — в этой системе, совершенно очевидно, ему нет места. Право не свидетельствовать против себя, которое является ключевым элементом современного либерального уголовного права и судопроизводства и закреплено в действующей Конституции РФ (ч. 1 ст. 51), тем самым аннулируется. Либералы же, смирившись с поруганием базовых либеральных ценностей, будут следить за тем, чтобы у подследственных не спрашивали, где лежат их деньги. Какой в этом смысл, если огромная масса всякого рода кризисных дел касается именно денег, Юрьеву, возможно, и понятно, а мне — не очень. И с кем вы спите, либералы спрашивать почему-то не позволят, хотя и это до сих пор считалось очень интересной темой для выяснения вопроса о том, кто кого и почему убил, — достаточно почитать Агату Кристи. Короче, как только мы начинаем хоть чуточку задумываться о практическом применении этих замечательных идей, так сразу же и понимаем: стоит только сделать первый шаг и переступить через некоторые базовые принципы, и дальше все покатится, не остановив.

Не получилось у Юрьева найти в его системе место либералам. Не знаю, почему, но ему бы этого хотелось. Возможно, потому, что в экономике он, как бизнесмен, либеральные принципы считает полезными. Но либеральное понимание жизни ему чуждо. Поэтому и возникает перед ним неразрешимый вопрос: ну, заработал человек два миллиона долларов, а дальше что? Ведь само по себе это бессмысленно. Поэтому за пределами экономики, по Юрьеву, теряет смысл и либерализм. Выход же он находит лишь в том, чтобы заботу о высших смыслах передать государству, которое и будет определять, в чем твоё подлинное благо, твои права и во имя чего ты должен жить.

Смысл же самого государства видится в том, чтобы мобилизовывать людей на победоносные войны ради расширения контролируемого пространства. Мобилизовывать с помощью имперской идеи и авторитарно-патерналистского правления. А чтобы это не очень напоминало Советский Союз...

Нацистский опыт человеколюбия

А чтобы это не очень напоминало Советский Союз, автор советует нам поучиться у Гитлера бережливой относиться к собственному населению. Это показывает, где ищутся и находятся для России государственные ориентиры. Действительно, Гитлер к немцам относился несколько бережливее, чем Сталин к подданным Советского Союза. Что, однако, вовсе не значит, что немецкие либералы, социалисты и коммунисты, если они не поспешили «исправиться», чувствовали себя в гитлеровской Германии в безопасности. Гитлер очень бережно относился к немцам как к биомассе, он тоже планировал строить автострасы через Украину (вместо Лиссабона) для туристических целей. Куда он их привел, этих немцев, хорошо известно. Тем не менее теперь нам предлагается уже не просто восстанавливать империю, т.е. Советский Союз, но и прирастить его, по возможности, Европой, немалозначительно поучившись при этом у нацистов бережному отношению к собственному населению. Понятно, почему о человеческой цене, которую придется заплатить, реализуя его проект, Юрьев умалчивает. Потому что цена будет ужасная, причем как при неудаче, так и при успехе столь амбициозного начинания.

Типичный грех многих русских псевдонинтеллектуалов — попытка поиска очень простых ответов на очень сложные вопросы. Дискутировать с Юрьевым только потому и нужно, что кто-то может всерьез увлечься его проповедью. Ведь главная задача этой проповеди — снять ограничения, которые все-таки еще существуют в нашем сознании. Мы все-таки знаем что-то из прекрасного исторического опыта. Мы понимаем, что в очередной раз воевать для покорения сопредельных стран — это контрпродуктивно, это не сделает счастливее ни нас, ни наших соседей. Мы понимаем и то, что приносить собственные личные интересы в жертву государству — значит вредить не только себе, но, в конечном счете, и самому государству: превращаясь в самоцель и высшую ценность, оно рано или поздно, но неизбежно разваливается.

Нам говорит: много все равно не дано. Или, что то же самое, пытаются убедить в том, что единственная альтернатива всемирно господства — это заработать два миллиона, есть на них и плакать об отсутствии смысла жизни. Но, может быть, альтернатива как раз в том, чтобы искать способы гармонизации общественных и личных интересов? Ведь столько проблем в стране, ждущих своего решения! Как защитить личность от государства? Как одновременно создать институциональные, в том числе и идеологические, механизмы, которые поуждали бы личность ограничивать собственные эгоистические интересы в пользу сограждан? Как сделать, чтобы наша нынешняя гибридная государственность развивалась не в направлении очередного упрощения, не в сторону архаичной модели, ориентированной на войну и «таблетки правды», а в сторону постепенного наращивания институтов нефиктивного самоуправления, разделения властей, верховенства права и массы других довольно сложных вещей, о которых Юрьев нам советует забыть?

Он предлагает помнить лишь о патерналистско-идеократических и имперских традициях. И при этом даже не задается вопросом о том, что же именно мы могли бы взять от той же имперской традиции — мировой и отечественной. Я вовсе не то хочу сказать, что у империи нечему поучиться. У римской империи можно поучиться, например, римскому праву. Можно поразмышлять и о первоначальном значении слова «империзм». Оно обозначало суверенную власть, причем не обязательно сложносоставную, предполагающую покорение окраин. Этим императором обладал в своем королевстве

любой суверенный король. И я понимаю, что русскому сознанию эта идея близка, что оно плохо воспринимает идею России как государства подчиненного, как клиента какого-то другого крупного хозяина. Да, это наша специфика, и ее надо уважать. Но отсюда вовсе не следует, что из мирового имперского наследства нам следует заимствовать идеи территориальной экспансии и предаваться мечтаньям о включении Германии, Франции, Великобритании и всех других больших и малых европейских стран в состав России.

Можно не без пользы поразмышлять и о возможных заимствованиях из наследия империи Российской. Она обладала способностью воспринимать и абсорбировать инокультурные элементы, будь то в виде собственно культурных заимствований или в виде абсорбции разных этно-конфессиональных групп. У нее кое-что в этом смысле довольно хорошо получалось. Но современной России не помешал бы и трезвый взгляд на то, какие у нашей империи были провалы. Полезным может быть и более глубокое, чем сейчас, изучение русской мысли, в том числе националистической, которая пыталась эти провалы анализировать и искать решения сложных проблем российской государственности. Очень советовал бы почитать под этим углом зрения труды Каткова 1860-х годов — у него есть много интересного и о том, какой должна быть русская нация, и о представительстве нации (вместо поклонения монаршей власти), и о том, почему неверно считать, что православный и русский — это одно и то же, и о многих других актуальных сегодня вещах. Советую познакомиться с этими трудами и Михаилу Юрьеву, хотя и не очень рассчитываю, что они ему помогут. Ему ведь и так все заведомо ясно на полстолетия вперед.

Если тот дискурс, который он предлагает, станет не просто экзотическим высказыванием на одной из многих интернет-страниц, а приобретет какую-то общественную легитимность, то это повлечет за собой весьма печальные последствия. О внутриполитических я уже сказал. Что касается внешней политики, то возможную реакцию наших соседей на подобные тексты предсказать нетрудно. Они будут вынуждены либо уповать на то, что в России достаточно смысленных людей, чтобы не позволить такому дискурсу возобладать в обществе, либо признать, что Россия — это главный источник угрозы и, соответственно, главный враг, единственный шанс спастись от которого — быстро вступить в НАТО и отплыть от него как можно дальше. На какой внешнеполитической эффект рассчитывает автор и думает ли он о нем вообще, может сказать лишь он сам.

Единственный способ чтения таких текстов, который можно порекомендовать, — продумывание последствий авторских рассуждений на один шаг дальше, чем хочет от тебя автор. Вместо того чтобы восторгаться легкостью поездок на европейские курорты после победы в мировой войне, подумать о том, как ты будешь искать хлеб на развалинах русских городов после очередной, дай Бог, не атомной, бомбардировки. Вспомнить о том, как забота Гитлера о немцах привела к уничтожению Дрездена в 1945 году и к их изгнанию из стран Центральной и Восточной Европы, где прежде они худо-бедно жили веками. Есть 25 млн русских, разбросанных вне России. Может быть, заинтересуемся у них, хотят ли они повторить судьбу фольклорной в 45-м году?

Надо учиться не верить простым ответам. Не верить тому, что Юрьев говорит про империю, русский народ, либерализм и все, что угодно. Обратите, кстати, внимание, что он прекрасно обходится без слова «демократия». Он не знает, зачем нужен России парламент, и не считает нужным это утаивать. Не знает, и ладно. Скажу лишь, что вовсе не обязательно быть завзятым либералом, чтобы защищать Habeas Corpus, отстаивать принцип разделения властей и понимать, что провозглашение неизбежности войны может сработать как самореализующееся пророчество. Для этого достаточно здравого смысла и недоверия к простым ответам и псевдонаучным проповедям. Вера в них опасна, и текст Юрьева — повод об этой опасности еще раз напомнить. Основной же для серьезной дискуссии с автором о серьезных вопросах я не вижу.

Всесильное государство при бессильном обществе?

Российская государственность находится в гибридном состоянии? Привыкнув, это замечательная исходная точка для содержательного разговора о том, в чем конкретно эта гибридность заключается и куда от нее желательно двигаться. Но от такого разговора автор уклоняется. Нам сразу объясняют, что из трех возможных вариантов предстоит выбрать один и что «объективная» логика мировых процессов однозначно диктует, какой именно. И нам остается лишь поверить в спасительность патерналистско-идеократической модели государства — при том, что автор и сам не ведет, какой именно она должна быть, и призывает нас к совместному с ним поиску ее «новаторской» формы. Выходит, что никаких решений нам не предлагается вообще. И это — неизбежный результат ухода от реальных проблем и их подмены квазинаучными спекуляциями.

О тех же войнах, их особенностях и возможной роли в XXI веке существует масса интересных текстов. Но Юрьеву они не интересны, он о них, скорее всего, ничего и не слышал. Ему важно лишь то, что будут войны, в которых большие государства выживут лучше, чем маленькие, а потому останется лишь пить больших государств. Это именно проповедь поверх всяких проблем, не оставляющая читателю возможности поразмыслить, сопоставить альтернативные точки зрения. Вместо этого навязывается готовый ответ, который, как выясняется в конечном счете, вовсе и не ответ, а призывает искать его в намеченном автором «единственно правильном» направлении поиска. И так во всем.

Вместо того чтобы помочь читателю разглядеть безумие самой идеи «таблеток правды» как норм правового судопроизводства, ему предлагается думать о том, как не позволить следователю спрашивать про то, кто с кем спит. Реальная проблема снимается, а внимание переключается на какие-то нелепые частности. Мы как бы уже решили, что «таблетки правды» нужны, и остается лишь обсудить, как мы будем их применять. Мы как бы уже решили, что война будет, но бояться ее не надо, потому что после нее вы сможете поехать туристом в Лиссабон.

Тем самым все проблемы снимаются: ведь если принять на веру то, что говорит Юрьев, дальше спорить уже не о чем. Все предопределено, и от тебя требуется лишь готовность к тому, что государство в России может быть только имперским и патерналистско-идеократическим. И тебе уже не надо думать о том, что государство должно способствовать развитию потенциала индивидуума, заботиться об экологии, медицине, о благосостоянии людей. Но спросите их, живущих в разных точках России: что их по-настоящему волнует? Волнует ли их то, что человек, искупавшись в Амуре, отправляется на былинную койку? Что ты не можешь есть без ущерба для здоровья продукты, выращенные на своем огороде? Что живешь в бесконечной нищете? Что тебе не на что выучить детей? Что тебя перестали лечить и даже диагностировать твои заболевания? Я думаю, что их это все волнует. Юрьева — нет. Об этих естественных обязанностях государства, о том, что оно должно выполнять свои базовые функции, у него нет ни слова. Как и о том, какими оно должно быть, чтобы с этими функциями успешно справиться. Государство, по Юрьеву, призвано заботиться лишь о том, как выиграть предстоящую большую войну и аннексировать окрестные территории. Реальные проблемы людей, реальные цели человеческого существования, реальные сложности общественной жизни замещаются абсолютно умозрительными конструкциями. Это мы уже проходили, это все уже неоднократно с нами проделывалось. Автор предлагает попробовать еще раз.

Юрьев — человек очень хитрый. Вся та логическая непоследовательность, которую легко выявить в его тексте, не оттого, что он что-то недоумал. Полагаю, что он совершенно сознательно использует такую псевдологику, надеясь, что именно она

способна привести читателя к принятию нужных автору идей и установок. Изначально эти идеи и установки высказываются им весьма осторожно, якобы в виде предположения. Но в дальнейшем они используются уже как догматы, как непреложная данность. Это именно индоктринация и проповедничество. Когда он говорит: «Я точно знаю, что будет пять больших государств», как это понимать? Как «символ веры»? А как понимать то, что «русскому народу глубоко свойственно желание общей цели, стремление как бы растворить свою индивидуальность в коллективе», что для него «жизнь индивидуальная особого смысла иметь не может»? В том-то все и дело, что понимать не предлагается. Предлагается принять на веру, как очевидные факты.

В результате же нам навязывается не только сомнительная картина будущего. В результате и картина нашего прошлого, подстраиваемая под это будущее, лишается какой-либо поучительности в осознании и решении современных проблем.

Между тем нам, размышляя об отечественной государственности, полезно было бы, повторю, внимательнее присмотреться к опыту Российской империи. И речь идет не столько об образцах для подражания, сколько об уроках. В частности, стоит присмотреться к тому, как российское общество реагировало в прошлом на смещение политического режима. Например, после 1905 года. Потихонечку началась организация различных политических партий, обществ, клубов — не обязательно политических, но также культурных и прочих. В Риге, например, где жили немецкая, латышская и русская общины, мощные организации быстро возникли у немцев и латышей. Организации же, которые возникали среди русского населения, были слабыми и немногочисленными. Но если так, то, может быть, пресловутый примат коллективности и общественных ценностей у русских — это всего лишь миф? Может быть, надо говорить не о каком-то мифическом примате общественного, а как раз о слабой способности русских к общественной самоорганизации?

Это — огромная проблема, имеющая прямое отношение к теме государства и государственности. Очевидно, что советская власть изюном образом не увеличила способности своих подданных к общественной самоорганизации. И если мы посмотрим на сегодняшнюю жизнь России, то увидим, что эта способность к самоорганизации, к ответственному политическому (или хотя бы общественному) действию у нас не развита. А увидев, поймем, что многие наши проблемы — именно от этого. Между тем Михаил Юрьев предлагает нашу слабость считать силой и продолжать двигаться по наземной колее строительства государства без участия общества. Но шансов на успех такого предприятия в XXI веке еще меньше, чем было раньше.

ЛУКАВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
(Реальная повестка дня в вопросе
о российской государственности
и вытеснение этой повестки
под видом ее обсуждения)

Мне не хотелось бы проявлять предвзятость в вопросе об оптимальном типе российской государственности. Слишком многие путают оптимальное и любимое. А также оптимальное для общества с оптимальным для себя. Это первое.

И второе. Об оптимизации чего угодно, государственности в том числе, говорят тогда, когда бытие гарантировано. Отошли от края, отделяющего бытие от небытия... Отерли пот со лба... И начали капризничать: «Есть у нас, знаете ли, бытие. Но оно нас не вполне устраивает. Давайте вместе подумаем, как его оптимизировать».

А разве мы отошли от края? Если нет (а я так уверен, что нет), то нужно обсуждать не оптимизацию бытия. А соотношение между бытием и небытием. «Бытием и Ничто», как сказал бы Хайдеггер.

С чисто практической точки зрения мне представляется гораздо более своевременным разговор о праве на бытие (в нашем случае — историческое бытие), нежели об оптимизации бытийственного.

Российское государство — уда, не более чем возможность. А вовсе не несомненность. И потому гражданам этого возможного, но вовсе не гарантированного государства лучше бы сверять свое будущее не с благами, а с жертвами. То есть с тем, сколько они готовы заплатить за то, чтобы у них было свое государство. А то, что государство — штука затратная и за это надо платить, мне кажется, понятно всем, кроме тех, кто государство ненавидит. Но причет эту ненависть под маской «минимизации платежей». Мол, ну, государство (тьфу!)... Ну, патриотизм (тьфу, тьфу!)... Но зачем же столько платить? Давайте хотя бы сокротим расходы на эту (тьфу, тьфу и еще раз тьфу!) необходимость!

Возможно ли Российское государство в сколь-нибудь стратегической перспективе? Вот первый вопрос.

Второй. Если возможно, то сколько придется заплатить за эту возможность?

Третий. Надо ли платить за эту возможность?

Выведем третий вопрос за скобки. Тех, кто считает, что не надо платить, убедить, что надо платить, — нельзя. Здесь проходит фундаментальная ценностная черта. Если хотите, линия баррикад. Или демаркационная линия. В любом случае я не готов спорить по этому поводу.

А вот два первых вопроса — вполне годятся для обсуждения. При этом они уж никак не носят умозрительный (а также риторический) характер. Это вопросы а) живые и б) концептуальные, т.е. интеллектуально насыщенные.

Начнем со второго вопроса. То бишь жертвенности. Возможна ли жертвенность в начале XXI века? И не является ли она, как говорит многие, «уродливым атавизмом уродливой советской эпохи»?

Я бы мог сказать о том, что советская эпоха мне вообще не кажется уродливой. Но, сказав это, я уже проявляю предвзятость. И поэтому я отказываюсь от подобного

утверждения и говорю лишь, что даже если эта эпоха была уродлива, то жертвенность — ну уж никак не ее изобретение.

Казалось бы, это очевидно. Но завдлые спорщики (а они-то преобладают) сразу скажут вам, что жертвенность — свойство религиозных эпох (премодерна). А модерн ее отменяет. А дальше кому как хочется: либо советская жертвенность — это измена модерну, либо патология внутри модерна.

Возникает, правда, вопрос: доколе можно вести обсуждение с оглядкой на слишком завдлых спорщиков? И является ли в этом смысле фраза Кеннеди «ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country» («не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя; спроси, что ты можешь сделать для своей страны») уступкой премодерну, патологией внутри модерна?

И еще: как быть, если Хантингтон все-таки прав и мы вступили в мир конфликта цивилизаций, т.е. вернулись к премодерну? Я-то считаю, что Хантингтон неправ. Но многие считают, что прав. И если все мы снова движемся в премодерн, то и жертвенность снова актуализируется. Или же мы движемся в премодерн без жертвенности? Но что это тогда за премодерн?

В конце советской эпохи мне пришлось вести диалог на эту тему. Работников одного модного научно-популярного журнала вызвали аж на КПК по идеологическим вопросам. Кто-то «поплыл», а кто-то проявил неуступчивость. Того, кто проявил неуступчивость, наказали нещадно более сурово, чем того, кто «поплыл». И этот «поплававший» пришел ко мне изливать душу. И почему-то начал говорить о христианстве. Мол, его этика — это Нагорная проповедь. Тогда я спросил, включает ли он в свою этику Голгофу? Жесткость и напористость сказанного в ответ «нет» поразила и меня, и других присутствовавших.

Так мы что же, всей цивилизацией возвращаемся в премодерн, совокушившийся с этим «нет»?

Ну хорошо, допустим, мы туда вернулись столь специфическим способом. А что делать с теми, кто из модерна не хочет уходить? С Китаем, Индией? Их оттуда изымут? Так получается? А радикальный ислам туда и не входит! Выходит, у него все преимущества? И что мы будем делать с этими преимуществами? По части жертвы, в том числе?

А Китаю и Индии для ухода из модерна нужно проделать гораздо более короткий путь, нежели нам. И вполне может быть, что уйдут они не в «премодерн минус жертва». А в «премодерн плюс жертва». И что тогда? Если все поименованные мною «незападные» сообщества готовы идти на жертву, то те, кто на нее не способен по определению, теряют все. Даже при подавляющем техническом преимуществе. Коли Ирака мало, чтобы это доказать, будут и новые доказательства, еще более мощные.

Но все это — «сад раскопанных трюков». Завдлый спорщик на то и завдлый, чтобы изобретать новые и новые разветвления. И нам надо понять, чем отличается спор ради такого разветвления от спора по существу. И в чем-то даже проявить определенность, близкую к предвзятости.

Даже и в естественных науках есть парадигмальные рамки. И не только рамки. Так вот. Жизнь без жертв невозможна. Жертва — не аномалия, а норма. Аномалия (или глубокая патология) состоит в том, чтобы отвергнуть жертву.

Поскольку деструкция СССР осуществлялась в том числе и с задействованием этой патологии, то акторы деструкции (политические, культурные, научные и т.п.) приняли патологию за норму. И теперь пытаются приспособить эту квазинорму к российской жизни. К другой жизни им это приспособить не дают. А к российской — пожалуйста. Приспосабливая эту квазинорму к жизни, выдавая тем самым патологию за норму, подобные акторы патологизируют все на свете. Прежде всего государство и общество. Но и не только. В конце концов, и семью.

На раннем, триумфальном для этих акторов, поддосоветском и постсоветском этапе идеологическая оснстка данной патологии, выдаваемой за норму, была, как мы знаем, квазилиберальной. Теперь эта оснстка идет на слом.

Казалось бы, и патологии должна идти туда же. Ан нет! Изобретена новая, преемственная оснстка, способная спасти патологию. Она называется «уменьшительный национализм», или «ультранационализм». Кому-то это утверждение покажется странным. Но социологи, надеюсь, меня поддержат! Они-то видят, что разговоры о «чурках» и всем, что из этого определения следует, весьма хорошо приживаются в ультралиберальной среде. Так сказать, на почве «Эха Москвы». Если у них по этому поводу мало данных, то я могу подсобить. Но думаю, что данных достаточно.

Но дело не в оснстке, а в сути. В «соблазне некормления». «На фига кормить северокавказских чурок? На фига кормить Белоруссию?» Да мало ли кого еще? Границу в этом вопросе провести трудно.

«На фига кормить стариков?» Когда-то их не кормили. Детей, конечно, вроде надо кормить по законам генетики. Но социогенетика и тут может прооппонировать — отцы кормили детей потому, что потом дети кормили отцов. А поскольку теперь дети не кормят отцов, то и детей кормить — штука безусловная.

Короче, отмена жертвы — это далекоидущая затея. Такая отмена не только автоматически сводит на нет суть всех великих мировых религий, а уж суть христианства — этой несомненной основы западной цивилизации — непременно и первоочередно. Такая отмена несовместима и с более древними культурами, конституирующими человечество и человеческое.

В российской же истории эта отмена сыграла особую роль. Ведь не только окраинные национальные страсти разрушили СССР. При том, что и этих страстях окраины поучаствовали! Украинцы беспокоились по поводу того, что им надо кормить «москалей» своим салом. По накалу страсти обвинений иногда казалось, что салом человеческим. На Кавказе воспылали о нефти и металлах. В Средней Азии — о хлопке и, опять таки, об энергоресурсах, которые «отбирает Москва». Теперь все «разбежалось» и остались «при своих». И все (я говорю не об элитах, а о народах) — нищие. Но без жертв на алтарь единения.

И все же главное — что народ-держатель тоже поддался аналогичному соблазну. Русские всегда такой соблазн отвергали. И не по особой склонности к жертвенности, хотя и это имело место. А по историкофилософской заданности и здравому смыслу. И то и другое подсказывало русским, что надо строить свой дом. А не пытаться размещаться в чужом.

Во-первых, миссия, предназначение и прочее. Говорю об этом без всякой иронии.

А во-вторых, в западный дом просто не пустят. А другого до самого конца XX века не было. Теперь он постепенно появляется. Строить его начинает Китай. Дом этот можно и должно называть азиатским. Выстроит его Китай окончательно где-то к 2017 году. Именно тогда (всего-то осталось 10 лет!) китайские стратегические ядерные силы окажутся конкурентоспособны американским по всем ключевым компонентам ядерной триады.

Американские ВМС, конечно, и тогда будут сильнее всех прочих. Но речь о другом. Всего лишь о так называемой «гарантии взаимного уничтожения». Проблем-то! При китайском финансовом и человеческом капитале!..

Ну так что? Россия будет поочередно пытаться войти то в европейский (евроамериканский), то в азиатский дом? Но у русских нет опыта жизни в чужих домах! У поляков и датчан, например, есть, а у нас — нет. Величие народа как раз и измеряется отсутствием подобного опыта. Потому что великий народ сам строит дом и зовет туда других. Что русские и делали последние 400 лет.

Теперь хотят от этого отказаться. И жить в чужом доме. Желательно, конечно, в евроамериканском. Но тут случилось несколько несуразностей.

Да начала сам этот «общий дом» фактически приказал долго жить. Американцы, особенно при неоконсерваторах, сильно рассорились с Европой. Европа, в свою очередь, с Израилем. Возник евроисламский альянс. Потом и с ним начались проблемы. Короче, в доме серьезные неполадки. Его жильцы между собой не договорились. И им неясно, кого они еще могут впустить. Вот, Турцию не хотят впускать. А как она старается!

Добавьте к этому такой фактор, как «муторность». Это очень важный фактор. Жить в чужом доме всегда муторно. Особенно тем, кто привык жить в своем. Русские привыкли, как никто другой. Теперь нужно ломать привычки. Привычку курить — и то сломать трудно, если она устойчивая. А привычку к своему дому... Кто-нибудь пробовал переезжать из отдельной квартиры в общежитие? Да еще чужое? Да еще на старости лет?

В дом престарелых подобным образом переезжают по необходимости. Но пока-то вроде не об этом речь. А поскольку речь не об этом, то начинаются дополнительные проблемы. То перегиб в одну сторону, то в другую. То глава МИД России Козырев погибает, чтобы поднять носовой платок, который обронил паломник американский чин. То мы волощем, причем по большей части инстинктивно, свой устав в чужой монастырь. Никогда почти буквально.

Западный дом имеет ядро. В ядро мы войти не можем. А те, кто в нем давно находится, не понимают: почему кто-то на периферии должен иметь такие же права, что и они? В ядре — ценности. Ну, священные камни и многое другое. То, за что лилась кровь. Римский папа призывает лить кровь за эти ценности, а московский патриарх — за другие ценности. У римского папы свой дом — называется европейским. У московского патриарха был свой. А теперь Россия вроде хочет войти в дом европейский. И при этом патриарх должен иметь столько же прав, сколько римский папа? Но так не бывает!

В России не понимают, что так не бывает. А нам это даже как следует объяснить не могут. Как в том анекдоте: «Все намеками да намеками». Сначала русские намеков не замечают. А когда замечают, то обижаются.

Заметили у нас это впервые не в 1989 году, когда надо было. В тот момент у нас почти все сходило с ума на почве самоотрицания и присяги западным ценностям. А точнее, западным супермаркетам. Заметили это в 2001 году, когда премьер-министр Великобритании Тони Блэр предложил принять Россию в НАТО, а ключевые натовские игроки это предложение отвергли. Кстати, предложение было сделано в самый подходящий момент — после 11 сентября. В условиях, когда Путин оказал Бушу неслыханную поддержку.

Тут все как-то забеспокоились: «Как же это так? Вроде все отдали! Империя демонтирована! Все сделали, чтобы войти в этот самый западный дом! А они-то нас туда не пускают!»

Забеспокоились-то забеспокоились... Но текущие дела, «бабки» там разные, конфликты, междоусобицы... Короче, по инерции «проехали» еще шесть лет. Невозможность войти в западный дом стала еще более очевидна. А сам этот «дом» стал решительно приближаться к границам России свои вооруженные силы. И нацеливать их так, что и слепой увидит.

Тогда у нас начали говорить, что виноград зелен. Что не надо нам никакого западного дома.

А что надо-то? Логично предположить, что свой дом. Но свой дом надо уметь построить. И это вполне жертвенная затея. Это креативно-жертвенный мегапроект

в условиях, когда нет ни креатива, ни жертвенности. Тут подросли ребята, которые делают «бабки» не с американцами, а с китайцами, и заявили, что вообще проблем никаких нет и можно запросто войти в азиатский дом на привилегированных основаниях.

Если для протрезвления по части подобной возможности понадобится столько же лет, сколько понадобилось для протрезвления по части предыдущей возможности, — дело худо.

Между тем с китайцами в их доме будет жить потруднее, чем с немцами и французами в их доме. И это очевидно. У китайцев есть такое понятие: «потереть лицо». Для китайцев хуже этого ничего в жизни быть не может. Лучше умереть, чем потереть лицо.

Когда Мао Цзэдун отказался разоблачать культ личности Сталина, Хрущев не понял: вроде «младший брат», вроде столько можно от СССР получить... Зачем отказываться? Воля и разоблачил культ, что такого?

Но Великий Коричневый был китайцем. И точно знал, что нельзя терять лицо. Нельзя сначала говорить про Сталина, что он великий, а потом — что он негодяй. Народ не поймет, элита не поймет. А если не поймут, то обязательно скинут. Причем кроваво. Мао Цзэдун рассорился с СССР из-за угрозы потери лица. Из-за малой потери лица. Всего-то Сталин.

Теперь представьте себе, как китайцы относятся к русским, которые 70 лет звали всех под коммунистические знамена, потом вытерли ноги об идеологию и ценности, да еще и предали всех «званых» — от Надживуллы до Хонексера. Китайцы относятся к таким русским (а в их глазах сейчас почти все русские таковы) как к потеревшим лицо. А потерявшие лицо недостойны жизни. Такова ценностная проблема.

Но есть и проблема сугубо прагматическая. Войти в НАТО можно в качестве некоей очень большой величины. Войти в военно-стратегический союз с Китаем тоже можно. Но — в соответствующих пропорциях. Если не военных, то экономических и демографических. Например, для защиты от американцев Дальнего Востока и Сибири китайцы введут свои войска на нашу территорию. Но вряд ли выведут.

Кроме того, есть еще и вопросы собственно политические. У нас политическое сознание вообще находится в каком-то странном состоянии. И потому мне приходится оговаривать очевидное. Вопрос становится политическим тогда, когда возникает субъект его решения. Иначе говоря, когда мы перестаем рассуждать о том, что надо сделать, и начинаем спрашивать себя, кто это может сделать.

Тогда сразу появляется политика как игра сил. Потому что кто-то хочет сделать одно, а кто-то — другое. Китайцы не хотят, чтобы русские вошли в западный дом. А американцы не хотят, чтобы русские вошли в китайский дом. И те и другие имеют определенные возможности. Инфраструктуру. Местных интересантов. И пока кто-то будет куда-то нас вводить, другой будет оттуда же нас выводить. К вопросу о лебедь, раке и щуке. А также всем, что с ним связано.

Но главное даже не в этих частностях, а в фундаментальном мировом разделении труда. Мир существенным образом нуждается в новом мироустроительном слове. Русское место в разделении труда было связано с этим новым словом. Когда русские говорят, что они куда-то входят, они немцам, но очень опасным для себя образом отказываются от своего важнейшего места в мировом разделении труда.

И не до конца понимают, что это такое. Отказался от такого места в разделении труда — отказывайся от бытия. То есть получай небытие. Русские много кому насолили. Почему бы за их счет не отсрочить окончательную «всемирную заваруху»? Так что при отказе от незаменимой роли (роли источника нового слова) можно потерять все.

Такой отказ еще называется «отказом от идеального капитала». Или — от своих нематериальных активов. Россия сейчас в этом отказе преуспевает. Нашим элитарным

кажется, что материальные активы обладают абсолютным приоритетом. Однако это не так! Это не так по многим причинам. Но прежде всего потому, что материальные активы легко изымаемы. На то они и материальные.

Вообще, отказ от нематериальных активов равнозначен отказу от государства. Свой дом на одних материальных активах не создашь. Это очевидно. А те, кому это не очевидно, так ничего и не поймут вплоть до обретения небития. Нет своего дома, не можешь войти в чужой — терять государство. Потерял государство — отдавай материальные активы. Такая вот в мире логика!

На одном высококолом и высокостатусном совещании некая фигура страстно объяснила, как мы богаты и потому будем счастливы. У нас, мол, не только нефть, но и питьевая вода. Не объяснялось только одно: почему при дефиците нефти и питьевой воды в мире русским оставят все это в качестве неизъемемого национального достояния? Уже вовсе говорят, что будет иначе! Уже хартии принимают, парламенты заседают по этому поводу. А у нас все о счастье рассуждают. И о материальных активах.

Возможность государства для России связана с возможностью вновь построить свой дом. То есть стать состоятельным носителем некоего нового универсалистского замысла. Не сумеет Россия его создать — не будет государства через 10–15 лет. А то и раньше. И ничто не поможет.

И здесь я вынужден оговорить, что свой дом возникает не от безысходности, а от страсти по исходу. Не от недостатка, а от избытка такой страсти. И в этом смысле мало доказать необходимость и безальтернативность своего дома. Поймут, признают, но дом-то не построят! Нужен не только разогрев идеального, причем невероятно мощный. Нужно еще, чтобы у этого идеального был массовый носитель.

Борьба с коммунизмом как идеалом велась через снятие всех предпосылок идеального. Не хочу теоретизировать, поэтому ограничусь примером. Активкоммунисты очень глумились по поводу наркома продовольствия Цюрупа, который то ли на самом деле жрал в три горла (а про него гласи, что он голодает), то ли и впрямь падал в голодные обмороки (я тогда, понятное дело, «козел»).

Полемизируя с этой позицией, я говорил, что в каком-то смысле мне все равно, падал в голодные обмороки Цюрупа или жрал в три горла (я-то знаю, что падал, но доказать не могу). Главное же, говорил я тогда, что власть предъявляла народу в качестве идеала голодного наркома продовольствия. И это — правильный идеал. Это идеал некоррупционности. Идеал, в котором принцип значит больше, чем материальное благополучие. Что значит подорвать такой идеал?

Французские революционеры называли Робеспьера «Неподкупным». Потом началась историческая «бодания». То ли действительно неподкупный, аскет и девственник, то ли распутник и коррупционер. И я, опять же, говорю, что мне это неважно. Важно, что власть предъявляла народу образ Неподкупного в качестве идеала.

И никакая власть ничего другого делать не может, если она хочет оставаться властью. В таком смысле все, что происходит в России в последние десятилетия, — это антиформа. Это подрыв любых идеальных оснований.

Признаем, что подорвали сильно. А теперь надо свой дом строить или куда-то входить. А как?

Спорят о богатстве и бедности. Как они должны соотноситься, кто как себя должен вести... Стоп! Давайте определим качество русского богатства и русской бедности. Кто беден? Те, кто не бывает бедным нигде в мире. Где в мире может быть беден профессор, завкафедрой университета, доктор наук? В Америке, в Израиле, в Индии? Где?

Говорят о Латинской Америке и диктатуре а-ля Пиночет. Что, армия Пиночета была армией социальных доходяг, маргиналов? В какой из армий латиноамерикан-

ского (или азиатского) типа высший офицерский состав по официальным заработкам загнан в относительную бедность? В России же это так. При том, что в России давняя относительность имеет решающее значение.

Хорошо жила в СССР или нет — вопрос сложный. Если разделить материальные проблемы на легкие и тяжелые (по аналогии с легкой и тяжелой промышленностью), то легкие материальные проблемы были плохо решены. С теми же «товарами народного потребления» и прочим. Но тяжелые проблемы были хоть как-то решены. Я имею в виду городское жилье, образование, медицину...

Теперь же самая дешевая квартира в крупном городе стоит столько, что средне-оплачиваемый горожанин купить ее принципиально не может. А значит, непонятно, как он может завести семью, родить детей и так далее. То есть по сравнению с недавней советской нормой российский профессор или офицер — нищий.

Короче, все произошедшее в России, вне всяких вкусовых предпочтений, приходится назвать регрессом. Очень сладким регрессом для 10–15 миллионов человек. Но качества процесса эта сладость не меняет. Регрессивное бытие не может сочетаться с государственностью. И уж тем более, регрессивное бытие не может создавать тех идеальных тяготений, без которых свой дом немалым.

Вот такие проблемы возникают, как только ложные задачи оптимизации заменяются действительными задачами «возможизации».

Надо ли обсуждать их решение? Конечно, надо. Но сначала их надо признать. Надо начать национальную дискуссию по реальной повестке дня. Не для того, чтобы кого-то «ущучить», а для того, чтобы не потерять бытие. Пока проблемы не признаны — толку ли обсуждать их решение? Кому-то нравится одно, кому-то — другое.

Я в этой связи могу лишь напомнить известный анекдот, в котором один восточный человек, пришедший в ресторан, плотоядно смотрит на официантку. Та спрашивает: «Вам меню?» А он отвечает: «Тебя, тебя».

Пока мы обсуждаем оптимизацию своего государственного бытия, оно утекает сквозь дырки, которые создает в том числе и это лукавое обсуждение.

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ —
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ИМПЕРИЯ
ПОСТМОДЕРНА

В нашем мире проходит фундаментальный сдвиг парадигм, сопоставимый с тем, который произошел в Новое время. Новое время (модерн) сменило собой «традиционное общество» (премодерн), утвердило программу его полного уничтожения и приступило к ее исполнению. Это была настоящая революция парадигм.

Сегодня на наших глазах складывается новая парадигма, которую принято называть «постмодерном». Смысл этого понятия сводится к обозначению нового состояния цивилизации, культуры, идеологии, политики, экономики в той ситуации, когда основные энергии и стратегии модерна, Нового времени, либо представляются исчерпанными, либо измененными до неузнаваемости. Приставка «пост» отсылает нас к состоянию, следующему за данным. Постмодерн наступает только после конца модерна.

В политологии модерна для «империи» места не было, на ее место пришли «государства-нации» как продукт распада или реорганизации на принципиально новых условиях прежних империй. Концепции Бодена, Локка и Макнавелли, творцов концепции современной государственности, отвергали «империю» и ее политическую онтологию. Политическая логика модерна была направлена на «преодоление империи» как в теоретическом, так и в практическом смысле: разрушение последних империй — Австро-Венгерской, Российской и Османской — стало поворотным пунктом окончательного вступления европейского человечества в политический модерн.

Новое обращение к категории «империя», причем без традиционно уничижительного или чисто историографического подтекста, стало возможным только в условиях постмодерна, когда повестка дня политического модерна была исчерпана и от «традиционного общества» не осталось и следа. Обращение к терминологическому арсеналу, отвергнутому на пороге вступления в модерн, стало возможным лишь тогда, когда процесс модернизации полностью завершился; это обращение приобрело отныне «ироничный» смысл. Свобода обращения с тем, что было главным противником на прежнем этапе, обретена за счет необратимости и абсолютности этой победы. Как же надо «отстать» от ритма развития политологического процесса в западном контексте, чтобы автоматически прикладывать распространенный сегодня термин «империя» как к современным явлениям, так и к политическим формам премодерна...

Обращение к «империи» в постмодернистическом контексте, конечно же, не означает низкого пересмотра политологической установки модерна на ликвидацию этой самой «империи» и ее идейных оснований. «Империя» в актуальном (постмодернистическом) понимании — это концентрированное воплощение отрицания содержания империя в историческом смысле как интегрированной системы общества премодерна. Поэтому, когда мы говорим об «империи» применительно к реальным

сегоднешнего дня, а не к историческим эпохам, относящимся к премодерну, мы должны отчетливо понимать, что речь идет о совершенно новой реальности, устроенной по особому образцу и подчиняющейся совершенно иным законам.

«Империя» в контексте постмодерна является сетевой (а не пространственной) структурой. Эта «империя» отнюдь не противоположна «гражданскому обществу», но практически совпадает с ним. Она основана на абсолютизации либеральных ценностей и принципов, а отнюдь не на архаических системах иерархий. Она продолжает модерн, а не отрицает его, переводя на новой, качественно более высокой уровень, а не предлагает какую-либо альтернативу. Эта «империя» фактически представляет собой синоним глобализации.

«Империя» в современном понимании прямо противоположна не только империям традиционного общества, но и «красной империи», или «империи зла». В этом полемическом ходе либералы критиковали наличие архаических элементов (т.е. скрытые наследия премодерна) в СССР, и к такому явлению относились без иронии и снисхождения, но с мобилизованной ненавистью. «Советская империя» не реабилитируема в условиях постмодерна, так как она была жесткой альтернативой тому, что называется «империей» сегодня. Пока существовала «советская империя», постмодерн еще не наступил и не мог наступить. Именно она и мешала ему. И до 1991 года никто не применял термин «империя» к западному миру и США. Только конец СССР и восточного блока сделал возможной «империю» в постмодернистском смысле.

«Империя» в таком контексте может существовать только в единственном числе. Только единственное число этого термина является политкорректным и относится к конвенциональному языку постмодерна. Термин «империи» во множественном числе провозгласить нельзя.

Постмодерн заставляет нас по-новому взглянуть на все — в том числе и на международную политику. Еще вчера мы оперировали такими понятиями, как «прогресс», «государственный суверенитет», «логика истории», «поступательное развитие». На заре XXI века мы видим, что прогресс в одной области может легко сочетаться с регрессом в другой в рамках одного и того же общества, что бывают государства без суверенитета, а история подчас отклоняется от своего якобы очевидного курса на 180 градусов. Приходится пересматривать почти все из того, что вчера было очевидно. Поэтому вполне уместно задать вопрос: что будет представлять собой Россия в новом столетии? Будет ли она вообще? И даже: а зачем она, собственно, нужна, и если нужна, то кому и в каком качестве?

Россия изначально была чем-то наподобие империи. Она объединяла своей государственною разные племена и народы, которые иногда так и не превратились в однородное гражданское население. С первых дней Еуррика и по настоящее время Русь — Россия — СССР — РФ сохраняла полиэтничность. Русский народ жил в своем государстве всегда вместе с другими народами. Мы так и не стали «нацией», т.е. однородным культурно-политическим, языковым, гражданским образованием. Это принцип всех империй — единое стратегическое пространство, интеграция поперку и этнокультурное разнообразие внизу.

Логика модерна заставляла нас осмысливать эту особенность следующим образом. Империи соответствуют древнейшим формам традиционного общества. Распадаясь, они образуют государства-нации. В них этносы перемешиваются в однородных граждан. Позже эти государства-нации освобождаются от сословий и религиозных институтов и становятся (резко или постепенно) буржуазными. Буржуазные государства постепенно переносят акцент с государственного принципа на общество. И, наконец, государство как таковое полностью растворяется в гражданском обществе, в «открытом обществе».

Коммунисты и социалисты добавляли к этой схеме травматизм перехода от буржуазного государства к социальному, т.е. революцию. Они очень спешили с переходом к открытому обществу и предрекли скорый распад буржуазной государственности. В последние десятилетия поправка на социализм была снята, и советский эксперимент был признан лишь тупиковым отклонением от магистрального курса.

Итак, следуя логике модерна, Россия как империя должна распастись на составляющие, превратиться в государство-нацию, утратить этническую самобытность, развить рассудочность, логицизм и экономку, а потом то, что от нее останется, будет интегрировано в открытое общество «единого мира». Если рассматривать советскую эпоху как блуждание по кругу и новое издание империи, то получается, что нам надо пройти историю заново: после распада СССР построить на базе РФ государство-нацию, потом его модернизировать, сформировать из россиян «гражданское общество» и благополучно раствориться в общечеловеческой цивилизации. Такова логика модерна, и она для нас крайне непривлекательна: чтобы хоть как-то приблизиться к странам «богатого севера», нам надо начать и кончить, построить нечто для России небывалое (национальную государственность), причем построить только для того, чтобы затем как можно скорее растворить.

А западные коллеги еще и поспеивают: ничего у вас, ребята, не получится, лучше и не пытайтесь. «Евразийские Балканы», по выражению Ежекиссагого, гигантские поля распада — такими нас видят пессимисты и недоброжелатели. А оптимисты поощряют: скорее стройте Россию, чтобы потом еще скорее распилить ее на атомарные единицы «гражданского общества». Таковы пределы России в логике модерна, и ничего иного, увы, не остается. Чтобы выйти на иной путь, придется отбросить модерн как таковой.

Это было бы вызывающе, если бы не постмодерн. Он-то и приходит нам на помощь.

Россия в оптике постмодерна совершенно не обязательно должна развиваться по строго определенным историческим траекториям. В некотором смысле она свободна идти в любом направлении — и в будущее, и в прошлое, или же вообще не идти нигуда. Она может оставаться империей и избирать в себя высокие технологии, может жить законами традиционного общества и внедрить демократические институты, может сочетать авторитаризм и свободу, этническую самобытность и системы Интернет. Постмодерн может выбирать и находить пути там, где их никогда не было, ведь основной закон этого стиля — «сочетание несочетаемого», тонкая ирония, дистанция прямого повторения.

Че Гевара, рекламирующий мобильную связь, — это постмодерн. В геополитическом смысле постмодерном является Евразийский союз как «глобальная контримперия» (если использовать терминологию Бернетта-Парето). Евразийский союз — это изощренный обход системы почти непреодолимых исторических препятствий, корректный отказ от участия в состязании.

Не желая двигаться по предписанной логике — тем более к непривлекательной цели, — Россия предлагает в таком случае свою собственную логику. В ней — как и везде — миф будет сочетаться с рассудочностью, привычные методики расчета и анализа с креативным новаторством, учет реальностей с волевым произволом. Надо максимально верно использовать наш исторический шанс.

Россия еще не вступила по-настоящему в современность, она топталась в преддверии, грезела, прищипывалась, старалась, но продолжала стоять там, где и была, — на своем неизменном евразийском месте. И, расширяя пределы, Россия не менялась по существу, а лишь простирала свою внутреннюю неуверенность, свою задумчивость, свою геополитическую вопрошательность на народы и просторы, которые попадали

в русскую зону. Мы отвечали на жесткие вызовы Запада, мимикрировали под его стандарты, но неизменно оставались сами собой.

Постмодерн открывает России уникальную возможность: мы можем ринуться в него и встать впереди «цивилизованного европейского Запада», который, пытаясь, только-только добрался туда и выстроил Евросоюз. Мы же можем, опустив промежуточные этапы, сделать резкий и неожиданный бросок, причем в направлении, где трассы еще не проложены и пока ведутся лишь строительные работы. Россия в невыгодном положении, если рассматривать историю как железнодорожное путешествие. Но как внедорожник она имеет все шансы на победу. Это не по правилам, но воля к победе важнее.

В начале прошлого века мы, кстати, поступили сходным образом: чтобы не тратить время на долгий и нудный путь муторного строительства капитализма, мы шагнули в коммунизм — переступив через формацию. В этом уже был элемент постмодерна. И в целом это дало весомые плоды. Смысл проекта *Бразильского сонма* в том, чтобы повторить эксперимент на новом историческом витке. И ключ к этому в «демократической империи» — такой же демократичной, как Евросоюз, но вместе с тем такой же внимательной к сохранению геополитической субъектности и бережно относящейся к самобытности этносов, как Византия или зулумена Чингисхана.

Постмодерн заморозил историческое время. Недаром Ф. Фукуяма провозгласил «конец истории», а француз Ж. Бодрийяр объявил о начале «постистории». Для них это результат триумфа и цивилизационной усталости одновременно. Для нас — приглашение к новым стратегиям и креативным прорывам. В империи тоже нет истории, она священна, а потому в некотором смысле вечна. Пространство в ней важнее времени.

Демократическая империя — это слияние противоположностей. В этом есть и холодный геополитический реализм взвешенной стратегической оценки постсоветского пространства, и романтизм континентальной воли; партнеры на Западе и на Востоке и опора на собственный опыт; мобилизационный проект и снисходительность к тем — сугубо российским — особенностям, которые делают нас такими, какие мы есть.

Чтобы стать «демократической империей», России надо просто сказать самой себе «да». Это будет самым постмодернистическим жестом, какой только можно придумать. Евразийство на этом пути — единственная надежда.

ОТ ИМПЕРИИ — К РУССКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ ГОСУДАРСТВУ

Некоторые участники дискуссии настаивают на имперском характере русской идентичности и потому полагают, что национальное выживание России может быть обеспечено только имперским государством. Я прекрасно понимаю, на чем основана эта позиция. Действительно, значительный период своей истории Россия существовала как империя. Но ведь этим периодом ее история не исчерпывается.

Россия начала формироваться как империя только с середины XVI века. До этого она была большим политическим государством, самым большим в тогдешней Европе, но империей не была. Она стала ею, когда к государственному ядру (метрополюсу) были присоединены куски, имевшие собственную цивилизационную и государственную традицию, — сначала Казанское и Астраханское ханства, а впоследствии Грузия, Армения, Средняя Азия... Но сегодня можно говорить о том, что имперский период закончился.

Это не моя личная экспертная оценка и не просто мое слово против слова Сергея Курдюмова или кого-то еще из участников дискуссии. Здесь гораздо важнее, что думают по данному поводу сами граждане России, что думают русские. Ведь империя умерла как государственное образование лишь после того, как сначала умерла в их сознании. И произошло это задолго до формальной гибели Советского Союза. Когда в конце декабря 1991 года спустили флаг СССР, то тем самым лишь подвели черту под уже завершившимся процессом.

Ресурсы имперского пути развития полностью исчерпаны

Изменялось ли что-нибудь с тех пор? Нет, не изменилось. Можно взять любые социологические опросы любых центров, и мы увидим одно и то же: не хотят русские жить в империи. Более того, не хотят вообще ни малейшего напряжения во имя имперского государства и имперских целей. Не хотят активной внешней политики, не хотят вмешательства в чьи бы то ни было внутренние дела. Предложите им «защитить пояс» ради «братской Украины» либо «братской Белоруссии», и услышите в ответ: нет, не желаем. Преобладает позиция, во-первых, антиимперская, а во-вторых — изоляционистская.

А ведь массовое настроение — это то, что относится к разряду ключевых факторов. Дело вовсе не в том, что для реставрации империи не хватает экономических, технологических или военных ресурсов — в конце концов, создавая империю, Россия находилась далеко не в лучшем состоянии с точки зрения экономики, технологии, военного дела. Дело в том, что Россия исчерпала морально-психологические и идеологические ресурсы имперского строительства. Сегодня у нее нет идеологии, которая бы легитимировала создание империи. Такие идеологии существуют на уровне идей-конструктов, но они не пользуются популярностью и влиянием, не «завладевают» обществом, не обладают мобилизационной способностью.

И, наконец, главное, чего нет, — это самих русских. Демографический кризис. В свое время я специально исследовал корреляции имперского строительства и биологической силы русского народа. И обнаружил, что создание империи совпало с началом в XVI веке демографического подъема. Он оказался долговременным, продолжавшимся почти четыре века. Это был не просто колоссальный ресурс, но определяющий, решающий фактор имперского строительства. Причем подъем происходил не только на узкобиологическом, но и на морально-психологическом уровне. Мне не очень нравится терминология Л. Гумилева, но если ею пользоваться, то это можно назвать взрывом пассиварности.

Однако теперь все это в прошлом. Теперь вопрос стоит так, как его в иной связи и по иному поводу сформулировал во время оно Бисмарк: «Если хотите построить социализм, выберите страну, которую не жалко, лучше Россию». Если кто хочет построить империю, пусть найдет народ, который ему не жалко. Русские же таким народом быть не хотят, да уже и не могут. Физически и морально они надорвались в ходе имперского строительства, надорвались под тяжестью имперской ноши.

У нас почему-то считается неприличным и неполиткорректным публично говорить о том, что существует отчетливая корреляция между приверженностью имперской идее и этничностью. Среди сторонников этой идеи слишком много нерусских и полукровок. Скажем, Сергей Курзинян — обрусевший армянин, Сергей Марков и Михаил Юрьев — полуевреи. Дело не только в том, что они армяне или евреи. В конце концов, среди имперцев немало и русских. Важна мотивация. Иностранцам и полукровкам нужен имперский горизонт, потому что им было бы некомфортно жить в Русском национальном государстве. Но почему русские должны жертвовать остатками своего народа и своих сил, чтобы армяне и евреи испытывали чувство «глубокого удовлетворения»? Господа, у вас есть желание и силы построить империю? Что ж, вербуйте иностранцев и вперед, а русских оставьте в покое, они обойдутся без «мудрых наставников».

Итак, сегодня у нас отсутствует весь комплекс факторов, определяющих мобилизационные возможности: идеологический ресурс, демографический и, главное, человеческая энергетика. Препятой жертвенности, готовности русских к тотальной мобилизации во имя имперских и вообще каких-либо трансцендентных целей нет и в помине. Более того, нет ни малейшей намек на то, что готовность к жертвам во имя этих целей может появиться вновь.

Нынешняя ситуация принципиально, качественно отличается от ситуации XVI века, когда нарождалась Российская империя. Демографическому подъему того периода соответствовал и подъем идеологический. И дело даже не в формуле «Москва — Третий Рим», а в том, что после падения Византии и освобождения Руси от ордынской зависимости она почувствовала себя государством, которому предвзначена в мире некая особая собственная миссия. Причем это ощущение было характерно не только для элиты, но и для общества в целом. Были различные трактовки мессианства, но, как таковое, оно отвечало массовым настроениям и ожиданиям.

Не стоит забывать также, что Казанское ханство, с покорения которого началась Российская империя, было несравнимо менее развитым государством, чем Россия. И это стало общим принципом ее экспансионистской политики: Российская империя создавалась за счет территорий, которые в технико-экономическом и военном отношении от России заметно отставали; она же, соответственно, имела перед ними очевидные преимущества. А фоном и двигателем экспансии был колоссальный русский демографический рост, беспрецедентная для тогдашнего мира биологическая сила.

Смотрите, начиная с опричнины Ивана IV и до конца Смутного времени Россия потеряла от четверти до трети населения, но за счет своей биологической силы очень быстро восстанавливалась. Петр I снова приносит в жертву четверть населения, и снова

потери очень быстро компенсируются. Но эта сила не могла быть неисчерпаемой. Последний раз она была продемонстрирована в 1920-е годы, когда численность населения страны, резко сократившаяся в годы Первой мировой и Гражданской войны, опять очень быстро восстановилась. Но в ходе последующих индустриализации и коллективизации биологическая сила России была окончательно подорвана, а война добил ее. Рост остановился, а потом началось и скользящее впадение.

Сегодня я не вижу никаких мало-мальски убедительных доводов в поддержку позиции сторонников возрождения империи. На мой взгляд, их аргументация строится на неких историко-культурных презумпциях, сводящихся в конце концов к тому, что Россия была, а потому и обречена быть империей. Это — характерный стиль мышления: «Много не дано». Но, возражаю я, почему, собственно, если так когда-то и было, то обязательно должно быть и впредь? Англия, скажем, перестала быть империей и ее возрождением вовсе не озабочена. И чувствует себя при этом совсем неплохо.

Столь же неубедительными кажутся мне апелляции к величине территории. Я не вижу зависимости между размерами государства и формой его политического устройства. Индия — огромное политическое государство, но при этом считающее себя национальным (nation-state) и демократическим, имея на то основания. Почему же нам такой путь противопоказан?

Есть, правда, еще один довод: если США — империя, то почему бы таковой не быть и России? Да, но Соединенные Штаты — имперское государство не только и не столько в силу своей военной и экономической мощи, сколько по причине психического самоощущения. Американское население — в массе своей христианское (Америка вообще самая христианская нация современного мира) и, главное, мессиански настроенное. Американцы верят в свою христианскую и демократическую миссию, в свое особое предназначение. Другое дело, что этим колоссальным ресурсом они распоряжаются не лучшим образом. Но ведь у России не осталось даже того, чем мы могли бы распорядиться лучше, чем американцы. И уж точно ничего из того, что позволило бы строить империю.

Может быть, в очень отдаленном будущем, лет этак через сто, вопрос о Российской империи и вернется снова в повестку дня. Но я не могу так далеко заглядывать, это в контексте нашей дискуссии было бы безответственно. Сегодня же факт заключается в том, что русское население сокращается. Иными словами, источник пушечного мяса империи, ее тягловой силы иссякает. И о каком универсалистском проекте мы можем говорить, если у нас через десять–пятнадцать лет актуальным может стать вопрос о сохранении Сибири и Дальнего Востока?

Но если нельзя построить империю, придется строить то, что возможно. Как в свое время говорил Горбачев, у нас другой альтернативы нет. Что же именно нам предстоит создать?

Русский выбор сегодня

Русский выбор сегодня неимперское политическое государство. И первый вопрос, который здесь возникает: сможет ли оно, перестав быть имперским, сохранить свою нынешнюю территорию? Я не оптимист, но все же полагаю, что у России нет серьезных поводов опасаться дальнейшего распада. За исключением, возможно, оттока Северного Кавказа.

Первое основание для такого вывода — относительная этническая однородность страны. Если опять-таки отвлечься от Северного Кавказа, откуда отток русских начался еще в 1970-е годы и не прекращается по сей день, она заселена в основном русскими. Это обеспечивает ее культурное единство, включая единство языка, стилей и норм жизни.

Следует учесть и еще один важный фактор — однородный ландшафт. Генная география пришла к довольно необычному выводу: у русских имеется нечто вроде гена русского пространства. То есть ландшафт, в котором мы живем, природен нам, он — часть не только нашего культурного мира, но и нашей биологии. Обратите внимание, что Россия именно после распада СССР находится в зоне относительно единого природного ландшафта — от Смоленска до Владивостока. От «материковой» России отпала преимущественно (хотя и не только) чужеродная ей территория, а остались те, которые в природном отношении однородны. И сейчас мы живем, занимая территорию, которую считаем родной. На этом фоне заметно выделится лишь все тот же Кавказ — это и в самом деле какой-то другой кусок.

Из пространства, расположенных вне России, подобны русским, быть может, разве что пространства Канады. Ну и, конечно, Украины и Белоруссии. Знаменитый анекдот: украинец говорит другому украинцу: «Срубай березу, а то придут москали и скажут: вот они, исконно русские земли». Анекдот этот исполнен глубокого смысла именно потому, что подразумевает наличие единого ландшафта. К тому же следует иметь в виду и крайнюю этническую близость украинцев, русских и белорусов. Да, антропологическая и генетическая они отличаются друг от друга сегодня и отличались изначально, что фиксируется по крайней мере с начала второго тысячелетия. Белорусы ближе к русским, украинцы — дальше. Украинцы — это не просто другие русские в культурном или иным отношении, это действительно другой народ. Но степень родства, единства внутри восточных славян чрезвычайно высока.

Теперь о будущем государстве русского народа. Чтобы быть устойчивым, оно должно стать демократическим. Его государственные структуры должны адекватно выражать волю народа, должны предполагать участие населения в выработке общих решений. В данном вопросе я не выхожу за рамки классических теорий демократии и не вижу смысла придумывать никаких теорий «русской демократии». Классические схемы вполне могут быть адаптированы к России. И это должна быть не имитационная, подражательная демократия, которую мы наблюдаем сейчас, а реально работающая, обеспечивающая свободу экономической и социальной жизни, свободу самоорганизации народа.

У нас же до сих пор любые проявления самоорганизации, особенно исходящие со стороны русских, тут же пресекаются. Либо бьют по рукам, либо пытаются создавать некие имитационные формы, патронизируемые и направляемые властью.

Отсюда вторая характеристика такого Русского государства — либерализм, свобода гражданских ассоциаций, правовой строй. Собственно, этого хотят и все русские, подавляющее большинство граждан России. Они не хотят ничего сверхъестественного. Когда говорят об особом русском пути, все сводится по сути дела к стремлению учитывать культурную специфику страны, что должно приниматься в расчет в любом государстве. Ничего «самобытного», отличающегося от понимания демократии на Западе, социологические опросы не показывают. В этом отношении между Россией и Западом ценностного разрыва не существует.

Повторю еще раз: в идее Русского государства я не вижу ничего сверхъестественного, никакой особой русской доктрины, никакой особой русской модели. Это должно быть нормальное демократическое, правовое государство, где будут работать рыночные механизмы. Правда, с большими, чем на Западе, ограничениями, что обусловливается природной и климатической спецификой нашей страны.

Естественно, такое государство не может проводить диффамационной политики по отношению к русским, поскольку русские и Россия — понятия тождественные. Я нередко предлагаю такой мысленный эксперимент: возьмите Россию и вычтите любой из российских народов. Если этого народа не будет, Россия обеднеет, но не перестанет существовать. Но если вы уберете русских, России просто не будет. Причем в тот же миг.

Россия и русские — это тождество. И стать демократической Россия сможет только тогда, когда русские почувствуют себя хозяевами своей собственной страны, когда им станет здесь жить спокойно и уверенно, когда, как говорилось в советское время, у них возникнет чувство хозяина и уверенности в завтрашнем дне. Они должны обрести, наконец, приемлемый уровень социального оптимизма.

Конечно, это относится ко всем народам, но к русским в наибольшей степени, потому что от них зависит судьба России. Это — фундаментальный и бесспорный факт, краеугольный камень нашего бытия.

Критерий успеха в формировании государства русского народа достаточно прост — увеличение рождаемости. Пример из недалекого прошлого — приход к власти Горбачева и связанный с этим рост рождаемости: с 1985 по 1988 год наблюдался вполне ощутимый скачок. Причиной его — отнюдь не антиалкогольная кампания, а появление у русского народа исторической перспективы. Открылась перспектива, появился социальный оптимизм. Для меня это главный показатель.

Недемократическое государство не в состоянии гарантировать устойчивость социального оптимизма в народе. Мы на собственном опыте могли ощутить, как в постсоветской России такое государство оказалось неспособным обеспечить свободу национальной жизни. Мы испытали и крайнюю степень упадка государства и общества в период ельцинской анархии, и то, что сейчас называют авторитаризмом. Результаты неутешительны, причем не только в первом, но и во втором случае. В народе и сейчас нет никакого оптимизма, нет чувства уверенности в завтрашнем дне. Напротив, после кратковременного всплеска наблюдается новое ухудшение ситуации. Мы вступаем в тяжелейший экзистенциальный кризис, когда утрачивается смысл существования.

В 1990-е годы, когда надо было выживать, было не до смысла жизни. Сейчас лицо социальное и экономическое улучшение, но люди не понимают, для чего им жить дальше. Когда же они поймут, для чего им жить, они ответят на это чувством уверенности, увеличением рождаемости, что и будет вернейшим признаком того, что в России создано национальное государство русского народа. Именно (и только) тогда начнется рост продолжительности жизни, а вместе с ним улучшится и политическое самочувствие. Именно тогда мы сможем увидеть эффективные процессы социальной самоорганизации, а также культурной, интеллектуальной и военной инновации. И только тогда появится, наконец, то, что называют гражданским обществом. Люди смогут сами, не боясь наказаний и подозрений в дурных намерениях, создавать свои ассоциации, для чего опять же не потребуется конструировать и изобретать новые формы: уже имеющиеся вполне жизнеспособны.

В массе своей русские хотят самой обыкновенной работающей демократии. Они хотят компетентной власти, ответственной перед народом, хотят альтернативных конкурентных выборов, хотят иметь многопартийную систему. Да, им не нравится термин «либерализм» и «демократия». И поинтересуйтесь, почему. Но все, что входит в содержание этих терминов, они одобряют и поддерживают. Русское население в подавляющем большинстве (свидетельство тому — многолетние социологические опросы) выступает за все те политические и социальные свободы, которые записаны во всех высоких декларациях. И оно категорически не согласно терять любую из этих свобод.

Наша элита откровенно враждебна интересам русского народа

Что же мешает осуществиться государству русского народа? Ничего с национальных автономий, их возможной реакции на формирование русского национального государства. Не потому, что живу в них главное препятствие, а потому, что именно на них чаще всего ссылаются противники такого государства.

Сегодня во многих из национальных автономий русские подвергаются явной дискриминации. Это происходит не только на Северном Кавказе, но и в Татарстане, в Башкирии, в Туве. Поэтому при создании Русского национального государства речь должна идти не более чем о наведении элементарного правового порядка и реализации принципа гражданского равноправия. Естественно, реакция автономий на эти перемены будет в той или иной мере отрицательной, поскольку они лишатся ряда преференций, ряда рентных преимуществ, получаемых только за свою национальность. Но такое положение вещей противоречит любым нормам гражданского и правового общества.

Серьезного потенциала сопротивления у национальных автономий нет. Рекрутирование этнических элит в федеральные политические структуры помогло бы снять большинство возражений. Обратите внимание, сегодня республиканские элиты фактически в Москве не представлены. Надо предложить им эффективные карьерные лифты. Если хотят оставаться республиками — ради бога, пусть будут республики в составе Российской Федерации. Нет смысла бороться за названия. Важно лишь, чтобы законы были везде одни и те же, действовали без изъятий и исключений. Хотят свой флаг и гимн, символические преференции, символические компенсаторы — пожалуйста. Даже свои конституции.

Это — правник. Но можно использовать и закон. Однако и в данном случае речь не идет о чем-то экстраординарном. Речь опять же идет всего лишь о систематическом исполнении закона, который никаких этнических преференций не предполагает. Так и давайте делать все по закону. А республиканские конституции не должны противоречить Конституции Российской Федерации.

Часто слышу: ну как же, русские должны думать о том, чтобы не обидеть их. Слушайте, говорю, поверните вопрос по-другому: пусть они боятся обидеть русских. Русские — угнетаемое большинство в ряде республик, что не секрет. Почему же они не боятся, а мы должны бояться? Мы, повторю, должны потребовать только одного — соблюдения закона. Всем будет предложен простой и понятный выбор: подчиниться российским законам или лететь на Луну и строить там свое государство.

Но главная проблема все же вовсе не в автономных. Главная проблема — в особенностях высшей российской элиты. Она, на мой взгляд, и есть главное препятствие на пути строительства государства, в котором русский народ наконец-то сможет получить свободу самовыражения, свободу национальной жизни, реализовать свои фундаментальные интересы, не вступая в противоречие с интересами ни одного из народов, живущих в Российской Федерации.

Высшая элита открыто и враждебно интересуется интересам русского народа. Подчеркиваю: именно русского. Потому что именно по отношению к русским проводится кампания диффамации. Я мог бы показать социологические данные о том, что во всех центральных СМИ слова «русский», «русские» используются преимущественно с негативными коннотациями. Даже по отношению к чеченцам не осуществляется такая диффамация. Причем это отнюдь не сознательная политика, нет на сей счет никаких особых указаний Кремля. Можно сказать, что эта линия ведется целенаправленно, но не осознанно. Поэтому, когда я говорю об элите, я имею в виду не только элиту политическую, но, в значительной степени, и культурную.

Смысл такой политики в том, чтобы превратить русский народ в массу, удобную для колониальной эксплуатации. В том, чтобы выкачивать из страны ресурсы и чтобы народ безропотно подчинялся правителям и радовался самому факту своего существования. Буквально как в фильме «Мертвый сезон», где подопытные нацистского ученого должны были радоваться тому, что солнце светит, что помидор красивый, что в полдень они получают питательный бобовый суп, а ночью — женщину. В общем, вести себя как биомасса. Ни для кого же в политическом классе не секрет, что многие из вышних

российских госчиновников (чиновников класса А) говорит: ну, это же баддло, подумаешь, половина вымрет, нам и оставшейся половиной хватит. И эти речи полностью соответствуют их действиям, проводимой сегодня государственной политике.

Итак, осуществиться государству русского народа препятствует прежде всего наша элита, которая отчуждена от основной массы населения социально, культурно, экзистенциально и во многом этнически — надо называть вещи своими именами. Эта ситуация не нова для России. Такое же отчуждение наблюдалось в начале XX века, когда элита и основная (крестьянская) часть общества жили в различных культурно-временных континуумах. Они говорили на разных языках, ориентировались на разные ценности; у них даже время было разное: циклическое — у крестьянства и линейное — у элиты и городского образованного класса.

Сейчас эта ситуация заново воспроизводится в России, формируется колоссальный разрыв — не только социальный, но социокультурный и экзистенциальный. Этот разрыв — главное препятствие для того, чтобы элита изменила свои цели и ориентиры. И в то же время он парадоксально дает надежду, потому что именно элита — главный законопестер всех русских революций. Именно она своей глупостью, жадностью и самомнением толкала в прежние эпохи и сейчас вновь толкает Россию к катастрофе. Только сейчас это происходит более стремительно.

Россия входит в новую эпоху Смуты

Я не думаю, что сегодня у нас возможна революция наподобие Октябрьской. На это, слава богу, у нас просто нет ресурса, даже биологического. Но революция низкой интенсивности, социальная война всех против всех в России вполне может начаться. Более того, вхождение России в новую Смуту я считаю весьма высоковероятным и даже практически неизбежным. В ходе такой Смуты, к сожалению, многие достижения будут пушены под нож. Но я не вижу другого пути решения стоящей перед страной проблемы элиты.

Теоретически существует две возможности. Первая — самотрансформация элиты. Нечто подобное произошло после Смутного времени начала XVII века, когда элита, которая прежде была готова охотно присягать любому иноземцу, поняла, что жить ей все равно здесь, что счастья с Западом не дождешься и, значит, надо меняться самой. И она действительно на время изменилась.

Иной путь трансформации элиты был реализован в начале XX века, когда прежние ее группы были вырезаны. Хотя к ней принадлежало множество людей, искренне любящих народ, в восприятии самого народа тот правящий слой был совершенно чужим — социально, культурно и экзистенциально. И во многом чужим этнически. Та элита, повторю, была вырезана, результаты чего оказались просто катастрофическими.

Если у меня еще и сохраняется хоть какой-то оптимизм в отношении будущего России, то основан он вот на чем: мне кажется, русские и вообще все, кто живет в России, — это очень сильные люди. Ведь чтобы здесь жить и наслаждаться жизнью, надо быть героем. Надо быть очень сильным — психически, экзистенциально сильным человеком. Да, не все выдерживают напряжение, что можно наблюдать по масштабам и динамике девиантного поведения. Но в целом у нас пока сохраняется устойчивое и довольно здоровое этническое ядро. И уж точно более стойкое, чем народы современной Западной Европы.

У тех, по-моему, уже не осталось не только воли к борьбе за существование, но даже воли к сопротивлению. Хорошая жизнь расслабляет... У нас же еще очень много жизненной силы. Ее недостаточно, чтобы воссоздавать империю или воевать за то, чтобы отдать землю крестьянам в Гренаде, но вполне достаточно, чтобы навести порядок здесь, построить хорошую страну для себя.

Кроме того, наши люди за последние двадцать лет стали значительно более трезвыми в своих представлениях. Они очень многое пережили и переосмыслили, пройдя путь от колоссальных, необоснованных надежд рубежа 1980–1990-х годов и отчаяния 90-х к нынешней жгучей трезвости. Почему они, например, делают выбор в пользу Путина? Потому, что боятся радикализма, боятся радикальных решений. Сегодня они — стихийные центристы. И чтобы подтолкнуть их к радикализму, надо очень сильно раскачивать ситуацию. Именно это на самом деле и делает власть. Никакое экстремизма, никакие мифические эмиссары из-за рубежа не сделают столько для раскачивания ситуации, сколько реально делает Кремль и его ставленники. Например, Зюбаров...

Надеюсь, на этот раз мятник далеко не пойдет, хотя без кровопускания уже вряд ли обойдется. Надеюсь также, что первое кровопускание отрезвит элиту. Если бы она, наконец, поняла, что на Западе ей тоже не отсидеться! Иметь там счета хорошо, когда имеешь государственное прикрытие. Если же ты стал эмигрантом, у тебя не будет ни денег, ни, возможно, даже и жизни.

Я понимаю, что в квазиреволюционном механизме перехода от нынешнего государства к нормальному национальному демократическому государству русского народа есть нечто пугающее. Но, боюсь, другого пути не будет. Нам придется пройти через какую-то полосу хаоса, и остается надеяться, что этот период окажется недолгим.

Важно правильно оценить и возможную реакцию внешнего мира на очередное вхождение России в хаотическое состояние. Я думаю, что нынешнее положение вещей в нашей стране вполне устраивает всех наших внешнеполитических партнеров. Напротив, перемены, тем более столь драматические, будут восприниматься негативно и со страхом. Однако вряд ли стоит ожидать действительного внешнего вмешательства. При наличии у России ядерного оружия и хотя бы сохранения видности центрального военного командования никто на такое не решится. Но если хаос затянется, если он займет не месяцы и годы, а, скажем, десятки лет, то страна, безусловно, окажется открыта внешнему вмешательству.

Более того, нельзя исключать неудачи в построении демократического русского государства и неизбежной при этом гибели России — по крайней мере той России, которую мы сейчас знаем. Шансы на то, что все окончится успехом, — 50% на 50%, а может быть, и ниже. В самом неблагоприятном случае Россия сохранится как единое государство только в пределах ее европейской части. Права, с потерей Кавказа, Дальний Восток и Сибирь также будут потеряны. В общем, в территориальном отношении Россия вернется к XVI веку.

Я не считаю, что этот мой прогноз так уж пессимистичен. Как историк, я знаю, что и куда более мощные государства и цивилизации погибали. Почему же Россия должна быть исключением?

У меня нет рациональных аргументов в пользу того, что она непременно выкарабкается. Равно как и в пользу того, что обязательно проиграет. Я могу только, как нормальный человек и русский националист, надеяться и прилагать усилия для того, чтобы исход был благополучным. Но я отдаю себе отчет в том, что мы, похоже, втягиваемся в тяжелейшее испытание. Более тяжелое, чем те, что мы прошли за последние два десятилетия. А может быть, и вообще самое тяжелое в нашей истории. Ведь до этого, во всех прежних Смуты, русские были очень сильным народом. Сейчас же мы впервые вступаем в Смуту, когда народ очень слаб, а наши соседи сильнее нас.

Но что делать, история неравномерна. И наше великолепное прошлое не гарантирует нам блестящего будущего.

ДЕМОКРАТИЯ ЭТНИЧЕСКОГО БОЛЬШИНСТВА?

(О РУССКОМ ПРОЕКТЕ ВАЛЕРИЯ СОЛОВЬЯ)

Я уже комментировал в ходе этой дискуссии текст Михаила Юрьева, и вторично брать в ней слово у меня намерений не было. Но после прочтения выступления Валерия Соловья появилось желание отреагировать и на его идеи. И прежде всего потому, что обнаруживается поразительное сходство между позициями двух этих авторов.

На первый взгляд перед нами непримиримые оппоненты. М. Юрьев утверждает, что Россия может существовать только как империя и потому должна озаботиться возрождением себя именно в этом качестве. В. Соловей, наоборот, полагает, что «Россия истощала морально-психологические и идеологические ресурсы имперского строительства», что призывы к такому строительству утопичны и вредны и что нам нужно думать о формировании государства-нации. И в этом я с В. Соловьем согласен. Но я не могу согласиться ни с тем смыслом, который он вкладывает в понятие государства-нации, ни с аргументами, которые использует для обоснования своей позиции и которые в конечном счете и сближают его с М. Юрьевым.

Попробую это доказать, но начну все же с другого. Начну с того, как представляет себе В. Соловей главных противников своего проекта и где их ищет.

«У нас, — пишет он, — почему-то считается неприличным и непозитивнокорректным публично говорить о том, что существует отчетливая корреляция между приверженностью имперской идее и этничностью. Среди сторонников этой идеи слишком много нерусских и полукровок. Скажем, Сергей Кургинян — обрусевший армянин, Сергей Марков и Михаил Юрьев — полувярен. Дело не только в том, что они армяне или евреи. В конце концов, среди имперцев немало и русских. Важна мотивация. Иностранцам и полукровкам нужен имперский горизонт, потому что им было бы некомфортно жить в Русском национальном государстве».

Это одновременно поразительно лукавый и поразительно честный пассаж.

Его лукавство в том, что тезис об «отчетливой корреляции между приверженностью имперской идее и этничностью» (читай — нерусскостью) вынесен вперед, а дезавуирующая его оговорка («среди имперцев немало и русских») представлена как частность. Равно как и в том, что «обрусевший армянин и полувярен» в следующей фразе становятся «армянами и евреями», которым русского народа не жалко.

На мой поверхностный взгляд телезрителя (ни с одним из называемых далее людей я лично не знаком), С. Маркову и С. Кургиняну не жалко никого, кроме себя. Однако никакие существенных отличий в данном отношении между ними и «арийских чистыми» имперцами А. Дутинным и А. Прохановым я, при всем желании, обнаружить не могу. Наблюдая г-на Проханова в моменты, когда ему в ходе публичных дебатов удается достичь высот душевного волнения, мне кажется, что ему не жалко и себя. Точность моих наблюдений и причины этого явления можно обсуждать. Но в любом случае навязываемое нам мнение о том, что «имперец» Проханов искренне заблуждается,

а Куренин, Юрьев и Марков «имперцы» исключительно потому, что в одном течет армянская кровь, а в двух других — еврейская, по причине чего всем троим «русских не жалко», не просто бездоказательное и жульническое. Мне лично оно представляется намного более неприличным, чем публичное и громкое испускание кишечных газов.

Честность же этого пассажа состоит в том, что В. Соловей открыто признает: ино-родцам и полукровкам «было бы некомфортно жить в Русском национальном государстве», каким его видит автор. Он, правда, нигде и ничего не говорит о том, что именно содаст для них дискомфорт. Но косвенных указаний на то, что полноценными гражданами России, согласно проекту, могут быть только русские, в тексте более чем достаточно. Для других в формулировках В. Соловья («государство русского народа», «гораздо важнее, что думают по данному поводу сами граждане России, что думают русские», «этого хотят и все русские, подавляющее большинство граждан России») места не находится. Курсы, правда, везде мой, но авторскую мысль, думаю, он не только не искажает, но и проясняет.

А русские, как нетрудно заметить (в дополнение к сказанному выше о селекции по составу крови см. критерии, на основании которых фиксируются отличия русского, украинского и белорусского народов), — это для В. Соловья характеристика генетическая. Похоже, он согласился с критикой известного сторонника биологического подхода к нации А. Севастьянова, упрекавшего В. Соловья в том, что тот вортит свой тезис о генетической природе нации оговорами насчет того, что у нее есть еще и обусловленность социально-культурная¹. Во всяком случае, украинцы теперь в глазах В. Соловья отдельный народ прежде всего потому, что отличаются от русских генетически. А если бы генетически не отличались, то на статус отдельного народа претендовать не могли бы? А миллионы обрусевших (т.е. считающих себя русскими) украинцев или татар — они кто? Что, гены у них тоже «обрусели»? Или, может быть, с этими генами в «государстве русского народа» еще предстоит разбираться?

Впрочем, кое с кем предстоит разобраться уже сейчас — иначе никакого такого государства может не быть. «Осуществиться государству русского народа препятствует прежде всего наша элита, которая отчуждена от основной массы населения социально, культурно, экзистенциально и во многом этнически — надо называть вещи своими именами». Что ж, назовем вещи своими именами и мы. В. Соловей сознательно или бессознательно проповедует расовый, нацистский национализм, от которого прямая дорога к замеру черепов, анализу ДНК и шоррибергским законам. Не знаю, облюбовал уже себе автор место обмерщца черепов или где-то рядом с ним либо пока еще на сей счет всерьез не размышлял. Но, судя по всему, надеется, что в «государстве русского народа» жить и творить ему будет комфортнее, ибо с оппонентами и конкурентами в лице «инородцев и полукровок» иметь дело больше не придется.

Кстати, один фрустрированный господин, использовавший этот способ перераспределения статусов, был плохим художником; среди его последователей, насколько можно судить по тексту В. Соловья, могут встречаться и неважные историки. Хороший историк никогда бы не написал, что «общим принципом ее (России. — А.М.) экспансионистской политики» было то, что «Российская империя создавалась за счет территорий, которые в технико-экономическом и военном отношении от России заметно отставали». Потому что хороший историк знает: западные окраины Российской империи в момент их аннексии и в культурном, и в «технико-экономическом» отношении заметно превосходили центральные области. И в других случаях, когда В. Соловей заводит речь об истории, он дает основания усомниться в своей профессиональной квалификации.

¹ Севастьянов А. Соловей русского национализма // Политический класс. 2007. № 26.

Но это, в конечном счете, не главное. Главное в том, что автор, конструируя образ постимперской отечественной государственности, привносит в этот образ черты, свидетельствующие о наличии в сознании конструктора предрасположения к расовым или генным теориям. И при этом он, похоже, плохо осведомлен не только об истории Российской империи, но и о традиции русской националистической мысли, отнюдь не одномерной, равно как и о состоянии современного российского общества.

Особенность всех крупных наций, формировавшихся в ядре империй, — их ассимиляторский, этически открытый характер. В России это хорошо понимали, и поэтому расовые теории, популярные в XIX веке, особенно в Германии, не получили здесь широкого распространения. И потому же такие ключевые фигуры русского национализма позапрошлого столетия, как, например, С.С. Уваров или М.Н. Катков (П.Б. Струве не берем, как «генетически неполноценного»), очень удивились бы тому, как В. Соловей поднимает русскость и как из наличия у человека определенной доли «нородческой» крови выводит антирусскость. «Было бы в высшей степени несообразно <...> с политическими и национальными интересами России, — писал Катков в 1866 году, — отменять от русского народа всех русских подданных католического или евангелического исповедания, а также еврейского закона, и делать из них, вопреки здравому смыслу, поляков или немцев». Но что В. Соловою до какого-то Каткова? Ведь и сам русский народ, от имени которого он выступает, ему, судя по всему, не очень-то интересен в его реальных, а не желательных для автора умонастроениях.

Дело в том, что подавляющее большинство граждан России думает так, как думал когда-то Катков, а не так, как думает сегодня за них В. Соловей. На вопрос, кого можно считать русским, 41% отвечает: «того, кто воспитан на русской культуре и считает ее своей»; 37% — «того, кто любит Россию»; 29% — «того, кто считает себя русским». Стольких того, чтобы считать русскими тех, чьи родители русские, — 26%; тех, «кто русское по паспорту», — 10%. Столько же полагает, что русский есть синоним православного. И это — устойчивая пропорция, воспроизводимая в опросах из года в год².

Нет, не состав крови и не гены, а самоидентификация и культура являются критериями членства в нации, причем не только для большинства современных исследователей общества и русских мыслителей прошлого, включая значительную часть националистически ориентированных, но и для преобладающей части граждан России. Однако В. Соловей не хочет, чтобы люди сами определяли свою национальную идентичность. Это он хочет определять, кто русский, а кто нет. Интересно, уверен ли сам В. Соловей, что какая-нибудь из его прабабок не перестала с немцем, поляком, грузином или, прости господи, евреем? Себе-то анализ ДНК делает?

Обратите внимание, как охотно он ссылается на социологические данные, якобы подтверждающие его тезисы, не приводя при этом ни одной цифры. Думаю, что не случайно. Такие ссылки без ссылок позволяют В. Соловою говорить от имени всех русских — «русские хотят», «этого хотят и все русские». Уверено, нет ни единой вещи, даже самой прекрасной, которой бы хотели все русские, все французы или все немцы; даже жить хотят не все. Но подобные «обобщения» позволяют риторически конструировать образ единой национальной воли, у которой есть свои выразители, говорящие от имени русского народа. В. Соловей, похоже, не сомневается, что роль эта ему подходит. А если некий Миллер имеет иное мнение о том, как большинство населения страны определяет русскость, а также о том, как следует воспринимать национальное государство, то спорить с ним очень легко. Точнее, с ним вообще нет нужды спорить по существу, потому что он полукровка и ему «русских не жалко». Приватно хочу пред-

2 См.: Теклюва Н. Постимперский синдром или поиск национальной идентичности? // После империи. М.: Фонд «Либеральная Россия», 2007. С. 172. Сумма процентов больше 100, потому что можно было дать два ответа.

упредить г-на Соловья, что во мне вполне достаточно «генов» от моего русского деда, разанского кулака, чтобы при встрече ответить на подобные аргументы по-простому, как они того и заслуживают.

Что означает их использование в публичной дискуссии? Оно означает, помимо прочего, что все рассуждения автора о России как полустатичском, правовом и демократическом государстве не стоят ломаного гроша. Будь он озабочен «всего лишь» обеспечением законности и гражданского равноправия, вряд ли, думаю, стал бы городить весь этот идеологический огород с песнопениями в адрес «государства русского (генетически проверенного? — А.М.) народа» и инвективами против «инородцев и полукровок». Неужели достаточно его, государство, так назвать, чтобы оно стало демократическим и правовым? А если недостаточно, то что нужно еще, чтобы оно таким стало? Ответа нет, как нет и обремененности самим вопросом. Учитывая, однако, подозрительное отношение В. Соловья к нерусским этничностям и его же предрасположенность объяснять иные, чем у него, идеологические и политические позиции безжалостным отношением «инородцев» к русским, расшифровка его замысла не покажется очень уж непосильным делом.

Демократия и право, которые предполагают, среди прочего, защиту прав меньшинств, причем не только этнических, у г-на Соловья оказываются демократией и правом для этнического большинства. Именно оно и должно устанавливать правовые нормы, не обращая внимания на то, что думают по этому поводу разного рода меньшинства, и предписывая их исполнение с помощью солоньевских «прищипок» и «жутов». Первые, понятно, должны быть исключительно символическими. А как со вторыми?

Говоря о действительно важной и сложной проблеме, унаследованной Россией от СССР, а именно — о территориализации этничности и связанной с этим дискриминации не титульных этнических групп в национальных территориальных образованиях, автор выражается вполне ясно: «Пусть они боятся обидеть русских»; «Всем будет предложен простой и понятный выбор: подчиниться российским законам или лететь на Луну и строить там свое государство». Ну да, в Казахстан теперь не сойтишь! Очередной пример нашего давнего интеллектуального недуга — всякая сложная проблема должна иметь простое решение. Или соглашайтесь, или отправляйтесь на Луну! А ну как и на Луну не полетят, и не испугаются? Будем учить бояться? Начнем с демократии, а чем кончим? Советую, кстати, г-ну Соловьеву почитать недавно книгу Майкла Маша, в которой он показывает, что геноцид и этнические чистки вполне возможны и даже весьма вероятны именно при демократии, если она понимается как власть этнического большинства³.

Я не изменяю здесь свою точку зрения на проблему территориализации этничности, как и свою позицию по другим вопросам, касающимся строительства в России государства-нации. Интересующихся моим мнением отсылаю к лекции, прочитанной мной в «Библиотеке»⁴, и к статье «Найдя как разика политической жизни», опубликованной в летнем номере журнала «Pro et Contra» за 2007 год. В данном же случае я вижу свою задачу в другом. Чтобы продвинуться в представлениях о том, каким может и должно быть Российское государство (цель, поставленная организаторами дискуссии), нужно, мне кажется, отделить себе ясный отчет и в том, каков оно в современном мире быть не может. Поэтому я счел необходимым высказаться по поводу имперских фантазий Михаила Юрьева. Поэтому же пишу эти заметки по поводу антиимперского национализма Валерия Соловья.

Я начал с констатации поразительного сходства их идеологически разноразрешенных проповедей. Оно не только в том, что они проповедают. И даже не только в том, что оба автора претендуют на выведение России с помощью своих проектов из обна-

3 Mark M. The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge University Press, 2005.
4 <http://www.poll.ru/lectures/2007/04/13/masha.html>

руженного ими экзистенциального тупика, на возвращение русским якобы утраченного ими смысла существования. Сходство прежде всего в том, что им одинаково видится исторический маршрут, на котором может быть возвращен утраченный, по их мнению, смысл, и способы его обретения.

Послушаем В. Соловья.

«Революция низкой интенсивности, социальная война всех против всех в России вполне может начаться, — прогнозирует он. — Более того, вхождение России в новую Смуту я считаю весьма высоковероятным и даже практически неизбежным. В ходе такой Смуты, к сожалению, многие достижения будут пущены под нож. Но я не вижу другого пути решения стоящей перед страной проблемы элиты <...> Я понимаю, что в квазиреволюционном механизме перехода от нынешнего государства к нормальному национальному демократическому государству русского народа есть нечто путающее. Но, боюсь, другого пути не будет. Нам придется пройти через какую-то полосу хаоса, и остается надеяться, что этот период окажется недолговечным».

А теперь вспомните, а если забыли, то перечитайте пророчества Михаила Юрьева. Он ведь тоже видит выход из созданного его воображением экзистенциального тупика в войне всех против всех — правда, не столько внутри страны, сколько в глобальном масштабе. Он тоже начинает с осторожного предположения, что война возможна, а заканчивает утверждением, что этот сценарий неизбежен. Но констатация неизбежности чего-то означает и призыв готовиться к неизбежному, равно как и его упреждающую легитимацию.

Вроде бы один за империю, другой за нацию, а глядишь — оба за войну. Оба хотят срочно помочь русским найти смысл жизни, полагая, очевидно, что без них людям никак не справиться. И обретение этого смысла оба не мыслят без социального катаклизма огромных масштабов, убеждая нас в том, что сценарий более или менее спокойной, нормальной, мирной жизни, где можно заниматься практическим обустройством индивидуального и семейного бытия, а также страны, общества, дорог, городов, сел и придорожной территории, — это не для нас. Наконец, оба подводит читателя к мысли, что многие ограничения, которые принято уважать, уже не действуют: один «таблетками правды» предлагает кормить подозреваемых в преступлениях, другой «инородцев» на Луну отправить. И интеллектуальное качество одинаковое — тот же жанр псевдонаучной проповеди при отсутствии даже намёка на какую бы то ни было положительную программу, которую можно было бы обсуждать.

Впрочем, М. Юрьев, отдадим ему должное, хотя бы не обещает нам торжества демократии как результата всемирной бойни. А В. Соловей обещает вырастающее из Смуты Русское демократическое государство. Смута решит, наконец, «проблему элиты» и, надо полагать, по ходу своего развертывания не только словом, но и делом объяснит «инородцам», что значит «бояться русских». О том, какая «элита» выбрасывается обычно на политическую поверхность в смутные времена, автор предпочитает не распространяться.

Иными словами, В. Соловей обещает то, чего мир еще не наблюдал, — триумф демократии и права как результат войны всех против всех в многонациональной стране. И, можно предположить, готов играть в этой войне роль идеолога русских, воюющих против нерусских, и, в случае победы, принять в знак благодарности за заслуги все, что получают в таких случаях идеологи победителей. Ну а если дело кончится крахом, т.е. новым государственным распадом, то идеолог сможет напомнить о том, что с самого начала выступал и в роли объективного аналитика, предупреждавшего и о возможности катастрофической развязки. Перечитайте под этим углом зрения текст г-на Соловья, и вам многое станет яснее. Такая вот высокоинтеллектуальная игра с судьбой страны, государства и народа. Таковы его, народа, сегодняшние новые друзья.

«ПАТРИОТЫ» И «КОСМОПОЛИТЫ»
В РЕСУРСНОМ ГОСУДАРСТВЕ

В интеллигентском российском обществе вновь обострился спрос на рецепты спасения отечества, о чем свидетельствует идущая дискуссия. Само отечество живет и — особенно если судить по текущей финансовой статистике — в спасении не очень нуждается. Видимо, пришло время образованным и умным людям в который уже раз разделиться на патриотов и космополитов (русофилов и русофобов, западников и славянофилов — не суть важно). Мне такое деление представляется симптоматичным, хотя и эфемерным — ведь эти по видимости противоположные позиции имеют много общего.

Всем известны аномалия восприятия и переживания пространства — такие, как клаустрофобия. Мне представляется, что существуют и аномалии восприятия и переживания времени. Некоторые их носители нечувствительны к прошлому, другие — к будущему, третьи не воспринимают настоящее.

Патриотизм/космополитизм — одно из проявлений такой аномальности. Патриот/космополит не способен воспринимать настоящее. Он не только не чувствует его, но и не склонен верить в то, что другие живут в настоящем, считая прошлое воспоминаниями, а будущее фантазиями. Различие между патриотами и космополитами в том, что патриот погружен в прошлое и считает, что будущее должно стать воспроизведением «великого прошлого», в то время как космополит считает, что прошлое имеет смысл только как провозглашение еще не осуществленного «великого будущего».

Патриоты/космополиты лишены рецензоров настоящего и потому не ощущают той поверхности раздела фаз, которой настоящее является. Они «проскакивают» мимо него в неразличимое месиво событий прошлого или в бессобытийную пустоту будущего. Некоторые космополиты мутируют — в зависимости от политического климата — в патриотов, и наоборот. Другие сохраняют полярность своей аномалии несмотря ни на что и становятся прогрессорами — пламенными революционерками.

Настоящее, приемлемое для патриотов/космополитов, — это такое настоящее, в котором происходит значительные — и позитивные для будущего — события. Но в обычном настоящем, по их убеждению, ничего хорошего не происходит и произойти не может, потому что его нет. Значимые события происходят в прошлом и, возможно, будут происходить в будущем. Патриоты/космополиты славят отечество, которое было и которое будет. Но резко критически относятся к тому, которое есть.

Обычно патриоты/космополиты люди вполне безвредные именно вследствие своей аномалии. Что может быть забавнее для простого человека, чем наблюдать за интеллигентом, заходящимся в истерику по поводу своей любви к неосуществленной родине или ненависти к тем, кто мешает реальной родине приблизиться к идеалу, — разумеется, в том случае, если патриот/космополит не пренебрегает приличиями и не плющит на похоронах. Но патриотизм, как и космополитизм, иногда отягощается прогрессорством, что делает эту аномалию небезопасной для окружающих.

Спасение отечества в патристическом/космополитическом мировоззрении, где настоящее не имеет собственного статуса, много лет означало только одно: бей... Бей не жидов, так красных, не красных, так белых; не белых, так алкоголиков или черных. Но современный патриот/космополит подкован историческо-логическим и знает, что били уже всех жидоподобных по очереди и скипом, а отечество все еще в опасности. И вывод — дело не в жидоподобных, а в самой России, которая скрутилась и которую надо спасти.

Для спасения же, по мнению таких людей, нужны прогрессоры — выдающиеся патриоты/космополиты, пребывающие в постоянной уверенности в том, что именно они знают ту точку опоры, которая позволит направить страну на путь истинный. Поиск и обсуждение качеств лидеров-прогрессоров или условий (в том числе конституционных), при которых подобные лидеры могут обрести власть, и составляет, как мне кажется, смысл не только данной дискуссии, но и многих других, заткнутых в прокрустово ложе патристическо-космополитических представлений.

Это является следствием того, что российская история никак не может стать собственной историей. К сожалению, она всегда политически актуальна и поддерживается в таком состоянии дискуссионцами. Салтыков-Щедрин остается современным писателем, путевые заметки маркиза де Кюстина читаются как репортажи, письма Чаадаева политически актуальны. Тексты выступлений некоторых современных публицистов вполне могли бы принадлежать пламенным революционерам 1920-х годов или реакционерам времен Николая I. Доминирование космополитизма в публичном поле закономерно сменяется доминированием патриотизма, и наиболее выдвигаются репрезентаторы аномального восприятия времени имеют шансы стать классиками отечественной общественно-политической мысли. Может быть, через какое-то время М. Юрьева (или Л. Шевцову) будут цитировать так же, как они явно или скрыто цитируют К. Леонтьева (или Б.М. Чечерина).

Сегодняшнее доминирование патриотов в публичном поле представляется мне одним из симптомов перехода государства от очередной перестройки к очередному застою, последовательно сменяющих друг друга в нашей истории. В конце эпох застоя востребуются, как покаывает эта наша всегда актуальная история, в основном космополиты, в то время как в конце эпох перестроек — патриоты.

Российское мироощущение не самодостаточно и сотни лет строилось по большей части на межстрановых сравнениях. Лозунги «догнать и перегнать» и «вернуться в светлое прошлое» в разных вариантах определяли и определяют мышление элиты. Прогрессоры в разные исторические времена ставили задачи сделать Россию такой, как Голландия, Германия, Швеция, Франция, Португалия, Аргентина, Польша, Чили и пр. Или как СССР и Российская империя времен «расцвета», причем привязка расцвета к календарному времени меняется по прихоти идеологов. На этом пути их преследовали и преследуют катастрофические неудачи, в результате которых бытование граждан остается вызванным в катаклизмах — таких, как петровские реформы, освобождение крестьян Александром II, сталинские коллективизация и индустриализация, ельцинская приватизация, национализация и монетизация льгот.

Россия уникальна, как любая другая страна. Ее уникальность, в частности, в том, что почти любое дело, которое затевают ее идеологически озабоченные граждане, исходя из самых благих намерений, оборачивается своей противоположностью. Как говорит в привающем к этому народу, все идет через жопу. Или, словами известного крепкого хозяйственника, политика и дипломата: «Думали как лучше, получились как всегда».

Почему? В свое время я пытался косвенно ответить на этот вопрос, предложив в качестве российской специфики гипертрофированные административно-рыночные механизмы¹. Но в синхронной концепции административного рынка нельзя объяс-

¹ Кордонков С. Рынок власти. Административные рынки СССР и России. М.: ОГИ, 2006.

нить, почему титанические усилия власти по укреплению государства приводит в конечном счете к какой-либо форме тоталитаризма, а не меньшие усилия по демократизации заканчиваются ослаблением государства, иногда его распадом. Объяснение, основанное на родовых детерминантах социально-экономического устройства России, дала О. Бессонова². Существуют и другие способы и попытки объяснений, однако по большей части они представляют собой варианты патристически/космополитических умозрений.

Разрыв между наблюдаемым настоящим и способами его интерпретации поражает. Феномены нашей жизни имеют мало общего с тем, чему следует быть, если исходить из содержания нынешних дискуссий. Во многом поэтому аргументация в обычном интеллигентском дискурсе строится как противопоставление того, что «есть» (настоящего, устрашающего, неправильного), тому, что «должно быть» согласно исповедуемой дискуссионной теории³. При этом даже самые простые идеологически и политически не акцентированные описания отечественных реальностей пока редкость. Более того, предметное знание о том, что происходит в стране, вызывает у патристов/космополитов реакцию типа «этого не может и не должно быть, потому что не соответствует русской традиции» и «это незачем знать, потому что это пережиток, который исчезнет в ходе реформы». Вместо исследований тиражируется бездумное применение импортированных или архаичных теорий.

Политэкономика социализма и ее наследие

В России, с моей точки зрения, не было той экономики, которая описывается в стандартных учебниках и о которой рассуждают патристы/космополиты. То, что внешне наблюдатели принимают за экономику, вероятнее всего, вообще не экономика, а ресурсная организация государственной жизни.

Я не нашел в экономической литературе адекватного определения такой системы отношений, поэтому использую термины «ресурсы» и «ресурсное государство» без ссылок. Отсутствие определений интересно хотя бы потому, что в обыденных отношениях и в профессиональных дискуссиях термин «ресурсы» неизбежно возникает всякий раз, когда обсуждается «судьба России»⁴.

В. Ильин так определяет отличие ресурсов от капитала: «Категории ресурса и капитала связаны, но не являются тождественными. Ресурс — это возможность, которая отнюдь не обязательно станет реальностью. Любой капитал — это ресурс, но не каждой конкретной ресурс превращается в капитал. Капитал — это рыночный ресурс, реализовавшийся в процессе возрастания стоимости. <...> Там, где нет рынка, возрастание рыночной стоимости ресурсов не происходит»⁵.

В имперской дореформенной России ресурсами были земля и крепостные. «Освобождение крестьян» 1861 года можно рассматривать как начало поэтапного перехода от ресурсного государства к рыночному и как смену институциональных форм ресурсопользования. «Развитие капитализма в России» закончилось менее чем через 60 лет распадом империи и восстановлением ресурсного государства в форме СССР, ресурсами которого были в основном принудительный труд и природное сырье.

² Бессонова О. Родовая экономика России. Эволюция через трансформацию. М.: РОССПЕН, 2008.

³ Хордонский С. В реальности и на своем деле // Русский Журнал. 2002. 4 декабря (http://old.kav.ru/politics/2002/1204_4or.htm).

⁴ Есть совершенно нечеткая, с моей точки зрения, идентификация отечественной реальности с «изменчивым способом производства», при которой в какой-то степени затрагивается вопрос о ресурсах. См., например: Зварев А.В. «Реальный социализм» и «азиатский способ производства» // Общественные науки и современность. 1993. № 3. С. 164–172 (<http://www.vsesocsci.edu.ru/db/mag/112318.htm>).

⁵ Ильин В. Классовая структура: классические концепции и современная Россия // Отечественные записки. 2003. № 3.

Истощение трудовых и природных ресурсов, отказ от системы их государственного распределения, от «руководящей роли КПСС», административного режима (прошлись, прикрепления к месту работы и т. д.), регулирования цен и доходов привели в конечном счете к распаду СССР и к очередной попытке капитализации ресурсов — посредством их расхищения. Какое-то время казалось, что формирование рынков (расхищенные ресурсы) зашло так далеко, что обратного пути нет. Но только казалось. Возврат к прежнему типу организации государства в современной России уже стал социальным, экономическим и политическим фактом. Именно поэтому вновь востребован патриотизм как идеологическая основа ресурсной реинституционализации, а космополитизм, специфичный для эпох перемен и перестроек, уходит на идеологическую периферию.

Застой-безвременья обычно соответствуют периодам максимальной концентрации ресурсов государством, в то время как революции-перестройки соответствуют ослаблению государственного контроля за ресурсами и возникновению их негосударственных распорядителей — новых для своего времени хозяев жизни. Циклы застой-перестройка, как мне кажется, остаются вне поля внимания патриотических или космополитических настроенных исследователей, занятых в основном реконструкцией прошлого и конструированием будущего. Более того, само ресурсное государство если и описывается, то идеологически акцентированно, а не предметно.

С моей точки зрения, ресурсная организация государства нормативно описана в трудах классиков строительства социализма в СССР. Советский социализм был целостной системой управления ресурсами, рационально настроенной, логически связанной и реализованной в системе государственного устройства. Он не умер, вопреки мнению патриотов/космополитов. Более того, очистившись от советской риторики, он возрождается как во многом антисоветский, но — социализм. Даже те политики, которые считаются либеральными, ищут приемлемые формы реализации социалистических по сути тезисов — таких, как необходимость промышленной политики, планирования, справедливого распределения и контроля за ценами.

Этот социализм имеет мало общего с традиционным европейским, потому что основан — как и советский — на ресурсной (или раздающей, по О. Бессоновой) организации государства, а не на капиталистической организации производства, потребления, распределения и обмена. Однако положения нормативной теории ресурсного государства воспринимаются «настающими экономистами» как некий курьез, настолько они выходят за рамки той теоретической экономики, которую преподают сегодня в вузах и бизнес-школах. И как курьез воспринимают реальные операторы ресурсов то, чему учат студентов в этих вузах и бизнес-школах. настолько эти знания не соотносятся с практикой ресурсопользования, соответствующая скорее подготовке студентов к работе за пределами Российского государства.

Ресурсное государство

Основная идея советского социализма, частично унаследованная российскими идеологами, заключается в том, что экономика и социальная организация государства должны быть слиты в единый механизм справедливого распределения ресурсов. Производство должно быть компонентом социальной жизни, а социальная жизнь должна быть организована как самое современное производство. Синкретическая система должна обеспечивать беспрерывную плавность и поступательность развития общества, основанного на рациональной концентрации и распределении принадлежащих общенациональному государству ресурсов.

Настоящее ресурсное государство не имеет рынка с его кризисами перепроизводства и, соответственно, не имеет экономики. Во времена Ленина образцом устройства жизни были технологии второй промышленной революции. Сегодня актуальны

информационные технологии, апологеты которых намерены все учесть, подсчитать и обеспечить контроль за ресурсными потоками. Недавняя попытка применить эти технологии для управления потоками в алкогольном бизнесе привела, как известно, к первому в новейшее время кризису дефицита ресурсов, пусть даже таких специфичных, как алкоголь. Но начало положено.

Задачами Российского государства были и остаются мобилизация и управление ресурсами, которые совсем не товары и чья ценность невыразима в деньгах. Ресурсное богатство меряется натурой, «чужим» и сталью на душу населения страны». Мобилизация ресурсов заключается в том, что государство (в идеале) безраздельно управляет всеми материальными и человеческими потоками. Ресурсное государство типа СССР возникает как инструмент управления этими потоками. Оно создает условия для беспрепятственного перемещения ресурсов и, прежде всего, убирает то, что мешает перемещению, т.е. внутренних и внешних врагов.

Ресурсы по-русски скорее сокровища, которые утаиваются или безболезненно растрачиваются природой и людьми, а то время как они должны быть отоброшены и употреблены на достижение великой цели. Административно-территориальная, отраслевая и социальная организация нашей страны производна от поиска, добычи и накопления ресурсов, их распределения и освоения. Социальные связи при такой организации жизни есть ресурсные потоки между элементами государственной структуры. Население — ресурс для строительства советского или — как сейчас — российского социализма. Образование — тоже ресурс (отсюда, например, разговоры об «утечке интеллектуальных ресурсов»). И здоровье населения. И земля. И труд не является в рамках такой организации жизни товаром, он тоже ресурс. Термин «трудовые ресурсы», изобретенный политекономиями социализма, очень точно отражает место и роль населения в организации добычи других ресурсов и их переработке, а значит, и в социальной системе.

Государство, как Мидас, трансформирует в ресурсы все, что оказывается необходимым для реализации великой идеи. Вместо экономики как системы производства благ в таком государстве есть накопление и управление ресурсами.

Ресурсы самоденны, владение ими — основа власти. Социально значимы те, у кого больше ресурсов, и если ты не имеешь доступа к ним, значит, ты никто. Производство есть разработка ресурсов, социальная жизнь — их накопление. Политика — борьба за ресурсы, в том числе и такое, как территория, геополитическое положение, космос, океанские глубины. Вместо экономики — распоряжение ресурсами, причем эффективность распоряжения определяется по степени приближения к поставленной цели. Формой использования ресурсов является их освоение. Фрагмент социалистического миропорядка, которому они размаржены, должен их освоить.

Результатом освоения является удовлетворение нормативной потребности или создание некоего изделия. Товар при этом не возникает, но сам факт расходования ресурсов есть свидетельство их использования. Будучи израсходованными, они списываются, перестают существовать как единица учета. Формой их хранения является складирование. Запас, как известно любому человеку, пожилому при социализме, карман не тинет, и потому количество ресурсов, накапливаемых государством и его гражданами, огромно. Но это богатство не может быть оценено в терминах товаров и денег по самой природе данного государства⁶.

⁶ Объем накопленного можно представить на простом примере: раскопание и вынос за пределы России металлов, накопленных СССР, дает возможность уже 15 лет неплохо жить разного рода крепким хозяйственным людям сопредельных государств. А запасы соли, слюны, мыла, консервов и сахара, значительных гражданами государства в эпоху последнего дефицита (в 1970–1980-е годы), был — по экспертным оценкам — израсходован лишь в середине 1990-х.

При его ресурсной организации ни о каких собственно экономических инструментах определения эффективности речь не может идти в принципе. Вопросы о стоимости и экономической эффективности не могут быть даже поставлены, они находятся вне ресурсной политэкономической парадигмы. А если ставится, то это симптом зрания великой идеи и начала перехода от очередной стабильности к очередной депрессии.

Использование ресурсов определяется порядком управления, который есть совокупность множества подзаконных актов, нормативов и инструкций, регламентирующих накопление и хранение ресурсов, их освоение и порядок списания. Нарушения этих инструкций, нормативов и регламентов образует состав преступления против порядка управления.

Ресурсная организация государства фрактальна, т.е. на любом уровне устройства она воспроизводит основные свои структурные особенности. Каждый фрагмент государственного устройства, в том числе люди, есть ресурс для другого фрагмента. И перед каждым таким фрагментом государством «ставится» задача быть ресурсом, т.е. быть полезным с точки зрения достижения великой государственной цели, которую конкретизируют иногда вплоть до отдельного человека.

Национальная идея как обоснование необходимости мобилизации ресурсов

Цель (национальная идея) необходима России для обретения государственной идентичности. Вечно возрождающаяся страна никак не может повзрослеть и стать такой же, как другие, юношескими проблемами не озабоченные. Когда-то такой идеей-целью было «самодержавие, православие, народность», потом — коммунизм во всем мире, трансформировавшийся в строительство социализма в отдельно взятой стране. Масштаб цели должен оправдывать издержки продвижения к ней, в том числе ограничение политических и экономических свобод граждан.

Для самобытного воплощения идеи «достижения всеобщего равенства», сформулированной основателями социализма, их российские последователи в начале 20-х годов XX века изобрели принципиально новые схемы мобилизации ресурсов путем их полной национализации с последующим плановым распределением. Задача построения социализма в СССР во многом упрощалась тем, что в стране во время Первой мировой войны были созданы мобилизационные институты. Если следовать концепции О. Бессоновой, то этническая «раздаточная» специфика организации производства, распределения, потребления и обмена в России тоже как нельзя более способствовала введению социалистических новаций.

Но, как показал наш опыт, всеобщее равенство недостижимо методами, разработанными Лениным, Сталиным и их соратниками и последователями. Однако основоположники создали самовоспроизводящуюся инфраструктуру принудительного уравнивания людей в территориальном, отраслевом и сословном аспектах, которая настолько укоренилась в нашей жизни, что мы ее по большей части считаем само собой разумеющейся, естественной.

Сохранность этой инфраструктуры такова, что она может быть генерализована, как только появится мотивировка-идея, которую примут истосковавшиеся по порядку и недостижимому равенству граждане. Консолидация всех ресурсов государством и последующее их прямое распределение согласно критериям социальной справедливости может снова стать всеобщей государственной практикой. После идентификации идеи государство начнет «наводить порядок» в использовании ресурсов, механически уничтожая все, что мешает ему строить очередное светлое будущее и превращая собственных граждан в ресурс для реализации этой идеи.

Опросы общественного мнения показывают, что социалистический народ, как совокупность социально-учетных групп-сослоев, которые власть сейчас витализирует «приоритетными национальными проектами» и сословными законами, с надеждой ждет «наведения порядка» в распоряжении ресурсами, ждет, когда же начнут сажать тех, кто прихватил их в бардаке перестройки. «Честные граждане» при этом не упускают случая, когда можно получить из кормушки помимо очереди или просто немного украсть. Однако они ненавидят отечественных капиталистов, сделавших «запок» главным в своей деятельности. В программы большинства современных политических партий в явной или скрытой форме входит требования «грабить награбленное», национализировать ресурсы и установить одну общую очередь за ними.

Идет масштабный эксперимент, в ходе которого уже опробованы лозунги сохранения целостности страны, борьбы с терроризмом, фашизмом и экстремизмом, повышения уровня жизни, увеличения зарплат бюджетников, улучшения здоровья и образованности населения. Но эти частные цели пока не стали элементами системы целеполагания и принятия решений по распределению ресурсов. В процессе идеологической комбинаторики — скорее подсознательно — обкатываются разные варианты сочетания великих идей предыдущих циклов: «православия, самодержавия, народности» и «всеобщего равенства».

Несмотря на отсутствие великой идеи, ностальгически-социалистическое составление планов социально-экономического развития в разных формах — от архаичных, как программа «Сибирь»⁷, до более современных, как пакеты реформистских законопроектов от Центра стратегических разработок (ЦСР) при Минэкономразвития, — стали источником средств существования гуманитарной интеллигенции. Лет 30 назад нечто похожее уже было. Ситуация в какой-то степени парадоксальная: общей идеей еще нет, а планы по ее реализации уже строятся по образцу планов достижения всеобщего принудительного равенства. На 1970-х годов мне запомнился случайно подслушанный разговор инструкторов райкома КПСС, обменивавшихся мнениями по поводу визита на предприятие: «... Ты не представляешь, насколько все плохо. Рабочие не знают, под каким девизом они сегодня работают...» Сейчас власть еще только ищет девиз, под которым она работает и ради которого она хочет «навести порядок» в огромном ресурсном хозяйстве, частично ей уже неподвластном.

Совсем не исключено, что в ближайшем будущем нас ждет творческое переосмысление политэкономии социализма и, в ходе очередного этапа административной реформы, легализация обновленных практик социалистического строительства, а также возрождение государственных органов планирования, распределения и контроля за ценообразованием и административного режима.

Ресурсные депрессии и репрессии как способ «наведения порядка» в использовании ресурсов

Политэкономия социализма была и остается единственным позитивным систематизированным описанием ресурсного государственного устройства, в котором, кроме прочего, циклы ослабления-укрепления государственности заменили собою обычные экономические циклы. Ведь социализм как теория сформировался в ответ на вызов, брошенный идеологам XIX века катастрофическими последствиями периодических экономических депрессий, — кризисов перепроизводства, сопровождавших становление капитализма.

В построеном ресурсном государстве на смену кризисам перепроизводства пришли кризисы дефицита. Опыт показывает, что такое государство всегда находится

⁷ http://www.obras.nrc.ru/winh/obraspr_sib/

в более или менее глубоком кризисе, имеющем форму перманентного дефицита ресурсов. Государство стремится выйти из кризисов, ужесточая контроль за распределением имеющихся ресурсов, а также мобилизуя новые, однако практически никогда не достигает того, что хочет получить⁸.

Неожиданной для отцов-основателей стороной интеграции экономики и социальной жизни в синкретическую целостность ресурсной государственной системы стало то, что кризисы-дефициты в этой системе чреваты, если не принимать репрессивных мер, ослаблением, а порой и распадом государства. Происходит это, если абстрагироваться от высоконаучных объяснений «настоящих экономистов», из-за того, что консолидированные государством ресурсы используются неэффективно. Причем неэффективность в основном связана не с дефектами планирования, а с тем, что ресурсы используются нецелевым образом или просто расхищаются. Например, Беловежские соглашения легитимизировались тем, что всеобщий дефицит может быть преодолен только путем раздела ресурсов СССР между участниками соглашения, так как союзные власти не могли их эффективно использовать. Раздел (расхищение) ресурсов СССР привел к исчезновению государства и возникновению множества его подобий.

Единственным способом борьбы с нецелевым использованием и хищением ресурсов (кроме масштабированной пропаганды честного труда и клеймения расхищателей) были и остаются репрессии, которые есть действия государства, наказывающие за то, что ресурсы, предназначенные для одного дела, были израсходованы на другое или просто украдены.

Репрессии при советском социализме были примерно таким же инструментом управления, как политика учетной ставки при капитализме. «Посади» могли быть масштабными (массовые репрессии) или локальными в зависимости от задач, которые ставятся государством. Важно, что при отечественном социализме они всегда остаются способом регулирования ресурсных потоков, а не результатом применения закона, перед которым все равны⁹. Ведь усилие государства направляется на такую организацию распределения ресурсов, чтобы их не крали. А крадут их всегда, на то они и ресурсы. Следовательно, государство вынуждено сажать и тех, кто распределит их так, что их украли, и тех, кто украл. Иного, как говорили перестроечные лубянщики, не дано.

Специфика советского социализма заключалась в том, что репрессии стали инструментом формирования «трудовых ресурсов». В ходе репрессий социалистическое государство использует осужденных за нарушения порядка управления (а не закона) как «трудовые ресурсы»¹⁰ и обучает людей тому, как идеологически правильно пользоваться разнородными им ресурсами.

8 Корнел Я. Дефицит. М.: Наука, 1990.

9 Термин «правовое государство» в принципе не относится к социалистическим государствам, где традиционному праву нет места. Вместо права — социалистическая законность, основанная на политической целесообразности. Политическая практика ресурсного государства представляет собой некую форму реализации репрессивной технологии, иногда относительно мягкой, как сейчас, иногда чрезвычайно жесткой. Д. Фельдман, например, отмечает, что в сталинском уголовном праве преступление есть нарушение порядка или режима, а не нарушение закона. Репрессом в социалистической законности были (и остаются) борьбой с нарушением установленного порядка, в первую очередь в использовании ресурсов. Фельдман Д. Терминология власти. Советские политические термины в историко-культурном контексте. М.: Изд-во РГГУ, 2006. С. 496.

10 Принадлежный труд. Исправительно-трудовые лагеря в Кузбассе (30–50-е гг.). Кемерово, 1994. Т. 1. См. также: Колесов М. Военно-опенение в системе принудительного труда в СССР (1945–1960) // Отечественные записки. 2003. № 3 (<http://strana-oz.ru/?numid=12&article=552>).

Совсем не случайно те времена, которые некоторые апологеты советского социализма считают расцветом государства, хронологически совпадают с наибольшим размахом государственных репрессий. Потому мобилизованных государством ресурсов невозможно поддерживать, если периодически не вычищать тех, кто пытается их перенаправить в другие русла.

С другой стороны, в периоды депрессий государственные репрессии исчезают как институт, но на смену им приходит негосударственные репрессии, так как вместе с ресурсами от государства уходит репрессивные функции. И размах репрессий, которые проводят новые негосударственные распорядители ресурсов — как показывает опыт 1990-х годов, — в целом ничуть не меньше, чем при их осуществлении государством, когда оно полноправно рулит ресурсными потоками. С той только разницей, что негосударственные репрессии интерпретируются как рост преступности.

Не исключено, что в ресурсном государстве действует закон сохранения репрессий, обеспечивающий поддержание ресурсных потоков.

Общезвестно, что в СССР были хронические более или менее масштабные дефициты (продовольствия, ГСМ, товаров народного потребления и пр.), из которых социалистическое государство пыталось выходить неспецифическими для социализма методами, минимизируя репрессии или сочетая их с «экономическими реформами». Хрущевские и косыгинские реформы перемежались маломасштабными шелепихинскими и андроповскими посадками директоров магазинов и заводов, несудов и расхищителей социалистического имущества, а также борьбой с алкоголизмом как явлением, ухудшающим качество трудовых ресурсов.

Такие ревизионистские действия только загоняли проблемы концентрации и управления распределением ресурсов вглубь, расхаживали аппарат и способствовали формированию «антисоветских» тенденций в общественном мнении. Ревизионизм руководства СССР, вырвавшийся в отходе от практики широкомасштабного репрессивного регулирования, привел в конечном счете к великой депрессии: всеобщему дефициту ресурсов, перестройке и распаду СССР.

Перестройку и все, что за ней последовало, принято считать полным крахом советского социализма. Но никакого краха его основ (кроме пустой к концу 1980-х годов идеологии) не было. Основы-то как раз остались. Перестройка и последующий период были глубочайшей комплексной депрессией, потерей государством инструментов управления ресурсами, в результате чего страна распалась на фрагменты. Постсоветские государства сохраняли социалистическую инфраструктуру, на базе которой сейчас идет восстановление управления ресурсными потоками, маскированное феноменами, делающими эти процессы сходными с рыночными.

Централизованные репрессии сейчас принимают ситуативные формы борьбы «с самостоятельными застройщиками», «за упорядочение использования торговых площадей», «защиту водоохраных зон», не говоря уже о посадках «незаконных предпринимателей», «нарушителей налогового законодательства» и «политических экстремистов». Это происходит не по чьей-то злой воле. Это происходит само собой при решении конкретных проблем, возникающих в практике управления ресурсными потоками, когда оказывается, что никакими новыми методами, кроме репрессивных, нельзя обеспечить ресурсами социально важное направление государственной работы.

Космополитический ориентированный экономисты и политики, защищаясь от непосредственно данной им в ощущениях реальности, изобрели термин «переходный период», в течение которого остатки ресурсной организации государства якобы соседствуют с ростками капитализма. Но никаких переходных периодов нет и не было. Советские институты науки, образования, здравоохранения, военной организации государства, административно-территориального деления, социальные группы-сословия

бюджетников, сформированные для справедливого распределения ресурсов, сохранились практически неизменными и настоятельно требуют восстановления потоков к ним. Кроме того, полностью сохранилась система хранения ресурсов, так называемые мобилизационные мощности и государственные резервы.

Нынешние власти намерены удовлетворить запросы базовых институтов ресурсного государства. Об этом свидетельствуют «приоритетные национальные проекты» по развитию образования, здравоохранения, сельского хозяйства, строительства доступного жилья¹¹. Национальные проекты формируются и исполняются как привычные по советским временам ресурсные мероприятия. Для идеологов этих проектов численность граждан, уровень их образования и состояние здоровья, количество квадратных метров жилья на душу населения, количество мяса и молока на ту же душу представляют собой функции от ресурсообеспеченности. Ресурсов не хватает для удовлетворения нормативных потребностей, поэтому необходимо создать условия для их увеличения. Условия же создаются тем, что бюджетные деньги (и другие ресурсы) распределяются по социально-учетным группам (сословиям) работников образования, здравоохранения, сельского хозяйства, строительства и культуры пропорционально значимости этих групп для государства.

Однако, в отсутствие великой государственной идеи и Госплана, распределение оказывается нефункциональным. Из шара национальных проектов следует, что технология централизованного распределения ресурсов будет использоваться все более широко. Негативный опыт реализации нацпроектов не помешает расширению этой практики.

Более того, многие трудности в реализации национальных проектов сейчас объясняются тем, что им мешают сложившаяся бюджетная и распределительная системы. Попытки улучшить эти системы и создать правовой эквивалент порядка управления в виде разного рода кодексов (Лесного, «О недрах», Земельного, Водного, Гражданского, Бюджетного, Трудового и пр.) вряд ли приведут к позитивному результату. Весьма вероятно, что именно для исполнения национальных проектов в конечном счете будет создано нечто, обеспечивающее «настоящий порядок» и аналогичное советским органам регулирования ресурсных потоков: Госплану, Госснабу и Госкомзему. Функциональный аналог Госкомтруда в виде сетевой Федеральной миграционной службы с ее квотами на трудовых мигрантов уже создан.

Товары и деньги при ресурсной организации государства

Для того чтобы концентрировать ресурсы, распределить и контролировать их использование, нужно определить фрагменты государственного устройства, локализовать их и описать предназначение в терминах достижения великой цели и реализации национальной идеи. Определить объект в терминах ресурсного мироустройства означает указать его границы.

В СССР отношения между разграниченными фрагментами социалистической вселенной планировались в общем случае как потоки ресурсов между ними, а на практике принимали форму социалистических товарно-денежных отношений. Именно социалистических, так как социалистические деньги и товары виртуальны, они не более чем способ учета ресурсов, пересекающих границы между фрагментами государства. Каждая из этих границ есть бесконечно тонкая черта, по обе ее стороны — ресурсы, которые только в момент нахождения на черте считаются товарами и деньгами. Товарно-денежное измерение ресурсов возникает лишь в моменты пересечения границ. В завершённом социализме, согласно политэкономии социализма, границы сами по себе отмирают, поэтому в товарно-денежном измерении ресурсов не будет необходимости.

11 Национальные проекты. Журнал. <http://ria-reform.ru/?id=48> page=100

Само установление границ нарушает социальную справедливость и вводит неравенство разграниченных фрагментов государственного устройства. Идеологическая задача государства в целом (в отличие от аппарата государства) — ликвидация границ, установление равенства всего и вся, соблюдение социальной справедливости. Задача же государственного аппарата заключается в поддержании границ, так как они дают возможность вести учет и контроль, управлять потоками ресурсов и вести административный торг по их распределению и перераспределению. Собственно, это противоречие между целью и механизмом ее достижения, между государственной идеологией и аппаратом государства было основным при советском социализме.

Каждый факт трансформации ресурсов в товары и деньги и обратно отслеживался органами социалистической государственной статистики и учета. Совокупность всех трансакций такого рода составила товарный и финансовый баланс государства. При советской власти этот баланс с большей или меньшей строгостью соблюдался в текущем режиме и корректировался.

Тем не менее ресурсы всегда были в дефиците, такова их природа. Их добывание было основной деятельностью строителей социализма, поскольку то, что попадало в систему распределения, можно было считать товарами с большой натяжкой. Скорее, это был дефицит. Ресурсы «доставали по благу», зачастую не по необходимости, а для обозначения административно-рыночного статуса, самой возможности «достать». Добытые ресурсы надо было освоить. Освоение было не менее важной деятельностью, чем доставание, так как неосвоенные ресурсы уменьшали шансы на их добычу на следующем цикле этой деятельности.

Такого рода инвариантные соотношения между нормативными (плановыми) потребностями в ресурсах и технологиями их удовлетворения возникали вокруг всех единиц социального учета: отраслей народного хозяйства и отдельных предприятий, регионов любого уровня — от какого-нибудь села до республики в составе СССР. Само планирование создавало дефицит. Для уравнивания дефицитарности в разных регионах и отраслях и возник институт перераспределения ресурсов. Социалистическая система действовала так, чтобы все было в равной степени бедными и ущемленными.

Во времена полного господства распределения (такого, как снабжение фрагментов государства во время войны) внутренние границы ликвидировались, социалистические товары и деньги исчезали, оставались одни ресурсы, распределяемые по фондам или карточкам. Это времена всеобщего дефицита ресурсов.

Напротив, во времена депрессий (перестроек и либерализаций) границы между фрагментами социалистического мироустройства расширялись, формируя социалистическое квазирыночное пространство. Тогда дефициты уменьшались, наступали эпохи изобилия. Так, в 1990-е годы фрагменты государства перестали быть объектами планирования, распределения и контроля. Ранее локальные социалистические законы товарно-денежного обращения, действовавшие только при пересечении границ, превратились в общие правила обращения с ресурсами, которые зависли на границах, трансформировались в товары и деньги и остались ими, не переходя обратно в статус ресурсов. Так существенная часть ресурсов СССР за несколько лет превратилась в товары, сформировалось денежное обращение.

При этом в 1990-е годы возникла иллюзия, что ресурсное государство одним махом пера чиновника, отменившего фондирование и контроль за ценообразованием, превратилось в нормальное рыночно-капиталистическое. Однако это не более чем иллюзия, обусловленная тем, что границы между фрагментами ресурсного государства материализовались и стали настолько широкими, что в них начали безудержно размножаться социалистические паразиты, которых прорабы перестройки и прочие прогрессивные экономисты принимали за адептов капитализма.

В результате «либеральных экономических реформ» базовые институты государства — такие, как вооруженные силы, силовые структуры, образование, здравоохранение, регионы, социальные группы бюджетников, — оказались одновременно и все ублюдочного рынка, и вне распределения ресурсов. Они вынуждены были заниматься сначала перераспределением ресурсов, запасенных ранее, а потом и их расхищением. Это стало в 1990-е годы основным занятием военных и работников оборонных отраслей, милиции, учителей, врачей и других бюджетников.

Сдача в аренду предоставленных государством ресурсов в виде помещений, использование производственного оборудования для получения личных доходов, спекуляция статусными возможностями, прямая распродажа госресурсов были общераспространены и необходимы для выживания ячеек социалистического государства, границы между которыми стали прозрачными для товаров и денег, но непрозрачными для ресурсов. Оборона, здоровье населения и уровень его образования в результате стали, мягко говоря, проблемными зонами, так как все ресурсы, которыми располагали соответствующие фрагменты государства, использовались для обмена на товары и деньги, для выживания.

К концу XX века надежды на то, что всемогущий рынок своей невидимой рукой решит все проблемы, остались, наверное, только у эмигрантов, романтиков строительства капитализма в России. Для решения текущих задач необходимо было восстановить ресурсные потоки к фрагментам государственного устройства. И невидимая рука его ресурсной организации начала «наводить порядок», восстанавливала систему мобилизации ресурсов и их распределения.

Виды ресурсов в современном ресурсном государстве

Наведение порядка началось в 1995–1997 годах с выравнивания финансовой системы как ресурсной. Усилиями «молодых реформаторов» главным ресурсом постперестроечного государства стали деньги, которые сейчас накапливаются, их распределение планируется, выделение фондируется, а контроль за денежной массой ныне такой же жесткий, как контроль за стратегическими ресурсами при советской власти.

Рубли бюджетополучателям распределяются вовсе не как капиталистические, настоящие деньги, а безвозвратно, как ресурс. Распределенные деньги надо осваивать. Неосвоенные деньги свидетельствуют о плохой работе ресурсополучателя. Административная торговля при распределении денежных ресурсов между бюджетами разных уровней и между министерствами и ведомствами уже приобрела вполне легальную форму формирования и утверждения бюджета в представительских органах власти.

Настоящими деньгами рубли становятся только при «пересечении границы», в первую очередь после конвертации в «условную единицу». Рубли невозможно инвестировать, не конвертируя их в «у.е.», которая как раз безусловна, отличается этим от рубля, цена которого зависит от многочисленных внутренних границ, установленных государством и корпорациями. Бизнес в нашей стране во многом организован как конвертация финансовых ресурсов, полученных из бюджетов различных уровней, в «у.е.» с последующим вложением во что-нибудь — безразлично во что, хоть в футбольную команду за рубежом.

Другой ресурс — природное сырье, особенно энергетическое. Переход нефти, газа, леса, рыбы и металлов из статуса государственных ресурсов под юрисдикцию корпораций и частных лиц составил содержание процессов приватизации. Это легализованное залоговыми аукционами расхищение сырья обеспечило ресурсами «новых русских». Обратный процесс — конвертация ранее расхищенного в государственные ресурсы — составляет содержание современного этапа развития нашего государства.

Распоряжение ресурсами постепенно концентрируется в корпорациях, им контролируемых. Политика этих субъектов новых социалистических процессов выстраивается уже исходя не из интересов мифического бизнеса, а из интересов представителей государства — членов правлений и советов директоров корпораций.

Существенное отличие современной ресурсной организации государства от советской заключается в том, что конвертируемым ресурсом стал властный статус. Распределение статусов в системе государственного устройства (в отличие от СССР, где была громоздкая, но эффективная система номенклатуры и кадрового резерва) — самый, наверное, высокодоходный ресурсный бизнес. Другие ресурсы, в том числе и деньги, без статуса мало что значат. Должности государственной службы, а также должности в региональных и местных органах власти, политических партиях и организациях представляют собой самое выгодное вложение ресурсов, сформированных при их расхищении-приватизации и потому подверженных «политическим рискам».

Управление ресурсами сейчас является основной, политически наиболее приемлемой и перспективной для постсоветской России формой организации социальной жизни. Оно базируется на новых постсоциалистических ресурсах: деньгах, сырье и властных статусах.

Ресурсная организация государства вконец не делась. Она мимикрировала под рынок, но в рыночных формах ей тесно.

Мифологема социальной стабильности как форма легитимации расхищения ресурсов

Расхищатели становятся главными героями эпох депрессии, растаскивая государственные ресурсы в свои личные или корпоративные записки. Они формируют уменьшенные подобия ресурсного государства — олигархаты, представляющие собой социалистическое государство в миниатюре с его вертикалями и горизонталями власти, потоками ресурсов и со своими расхищателями: внутрикорпоративными ворами, бандаитами и удалеными князьями.

Однако есть неразрешимое противоречие между формами распоряжения ресурсами и складывающейся практикой огосударствления ресурсопользования. Обладающие финансовыми ресурсами, властные и распоряжающиеся сырьем граждане понимают, что если концентрация ресурсов государством продолжится, то они неизбежно подпадут под регулирующие мероприятия, чистки и репрессии. Прежде всего потому, что их богатство сформировано на основе того, что похищено у государства. И вопрос о том, как остаться богатыми и сохранить свободу, служит предметом бесконечных дискуссий внутри элиты нашего общества.

Богатые всевозможными способами пытаются конвертировать часть своего богатства во властные статусы в надежде на то, что принадлежность к новой номенклатуре или членство в очередной «партии власти» защитит их от неизбежных репрессий. Но опыт показывает, что трансформировать уворованные ресурсы в собственность и капитал весьма непросто.

Вложения в отечественные землю и недвижимость уже не гарантируют сохранности ранее введенных у государства ресурсов и не дают возможности для конверсии их в реальные капиталы. Активная часть населения осознала, что любое частное распоряжение ресурсами в нашем государстве эфемерно. Люди всеми способами выводят собранное в эпоху приватизации за границы государства. Как говорит, нет предпринимателя с капиталом более 10 миллионов «у.е.», который бы не обладал иностранным гражданством и недвижимостью за рубежом. Экспорт ресурсов, конвертированных в товары и деньги, из сел в города, из городов в столицы, из столиц за границы стал постоянным занятием социалистических предпринимателей. Перемещение присвоен-

ных ресурсов, по мнению агентов этих процессов, уменьшает риски, связанные с возможностью новой их мобилизации государством.

Озабочены не только богатые и властные. Расхищенное у государства за 15 лет трансформировалось в ресурсы десятков миллионов людей, которые не намерены их отдавать обратно. И попытки «наведения порядка» в этой нише вызовут неизбежное сопротивление. Многим людям есть что терять. «Кулацкие восстания» начала 1920-х годов показывают, что бывает в таких случаях.

Власть озабочена тем, чтобы обеспечить преемственность в распоряжении ресурсами. Отсутствие преемственности чревато для тех, кто «в процессе», известными всем рисками, в том числе потерей богатства и статуса. Власть стремится удерживать «социальную стабильность», т.е. зафиксировать и легализовать финансовые ресурсы, распоряжение сырьем и принадлежность к властной группе за теми функционерами государства, которые «заслуживают доверия». «Дачная амнистия» и принятие закона о наследовании, отменяющего налоги при передаче собственности наследникам, лишь часть шагов в этом направлении.

Возможно, уже близко время, когда государство скажет, что все нажитое — не суть важно, каким путем, — остается у владельца, но впредь распределение ресурсов будет осуществляться справедливо, т.е. так, как сочтет нужным государство. Необходимо только найти идеологическую оболочку, которая позволит бы ввести основания для мобилизации — тех ресурсов, которыми сейчас распоряжаются безродные и социально не близкие граждане. Патриотизм, как представляется, в любом случае станет основой такой идеологии.

Мировая экономика и ресурсная организация государства

В ходе депрессии, одним из этапов которой был распад СССР, в России сформировалась особая реальность, опосредующая отношения между ресурсной организацией государства, оставшейся в наследство от СССР, и мировой экономикой. Внешний наблюдатель имеет основания для того, чтобы считать Россию страной с рыночной экономикой. Упорядочение использования ресурсов в постсоветских государствах при желании можно сравнивать с процессами выхода из экономических депрессий в обычной экономике. Сходство позволит наблюдателям с реформистским умонастроением говорить применительно к российской реальности о темпах экономического роста, ВВП и прочих экономических индикаторах. Однако похожесть остается всего лишь похожестью.

Нынешнее восстановление народного хозяйства вряд ли имеет полные аналоги в обычных экономиках. Подъем в ресурсной организации государственной жизни происходит в основном потому, что государство начало концентрировать ресурсы и планировать их распределение, а вовсе не благодаря мифической рыночной экономике. Не случайно внешние инвестиции в страну сейчас принимают формы, аналогичные тем, которые использовались в конце 20-х годов XX века, — импорт производств, технологий, идей по организации производства. Тогда СССР переживал подъем после масштабной депрессии ресурсной организации государства, приведшей, в частности, к распаду Российской империи. Похожий подъем сейчас происходит в России. Известно, чему предшествовал «экономический рост» в СССР в конце 1920-х годов: он предшествовал 1930-м с их коллективизацией, индустриализацией и репрессиями.

Устройство отечественных корпоративных систем управления все больше приближается к устройству государственных организаций, и по видимости капиталистические производства самоорганизуются скорее как социалистические предприятия, чем традиционные бизнес-единицы. Сами отечественные капиталисты превратились в ресурсопользователей на доверии у государства и в «руководителей главков» возрож-

дающихся отраслей народного хозяйства России. Те из них, кто не оправдывает высокого доверия, жестоко расплачивается. Государственное рейдерство стало основным способом реинжиниринга результатов приватизации и во многом эквивалентно выборочным репрессиям.

В стране восстанавливается ресурсная организация государства — вопреки общераспространенному мнению о развитии рыночной экономики и практике отечественного бизнеса, никак не могущего принять то, что «полюна сужается». Бизнес пока не хочет верить очевидному и пытается сохраниться или приспособиться, вписываясь в государственное ресурсоустройство, инициируя все новые и новые «либеральные законы» и продавливая формирование особых зон (экономических, рекреационных, технопарков, научных центров и пр.), в которых государственные ресурсные интенции смягчены или нейтрализованы. Однако успех таких попыток маловероятен.

По большому счету, российский капитализм существует только в той ячейке ресурсного государства, в которой «у.е.» и рубль конвертируются без ограничений. Эта ячейка пока велика, но уменьшается, что вызывает вполне понятную саботажность экономистов-космополитов.

Застои и депрессии как фазы государственной жизни

У всех режимов в нашей стране общими были пульсирующие отношения между регионами и столицами, основанные на ресурсной организации государственной жизни. Аналитически можно выделить следующую последовательность фаз: сильное государство-застой — оттепель, перестройка, смута, распад государства — восстановление народного хозяйства — сильное государство.

Эти фазы в ресурсном отношении принципиально различаются. При зastoях накопление ресурсов, их импорт и экспорт, а также распределение среди граждан монополизированы государством. Государство само определяет кто, сколько и какие ресурсы имеет, как и где их хранит, как использует-потребляет. Материальные потоки полностью регулируются государством. Всякое внегосударственное движение ресурсов или обладание ими является противозаконным. Административный рынок унифицирован, пронизывает все отношения между элементами государственного устройства и людьми, компенсируя неизбежные просчеты планирования и распределения ресурсов. Такие периоды характеризуются также слитностью экономики с политикой и жестким ограничением политической самостоятельности населения. Расхитители ресурсов либо включены в административно-рыночные отношения, заняв позиции в торговле, распределении и разного рода силовых структурах, либо вытеснены на обычную государственную жизнь.

Доступ к ресурсам у граждан возможен только сообразно их государственному статусу и нормативам, приписанным к статусу потребностям. Распределение ресурсов по социальным группам (социалистическим сословиям) централизовано. Сами сословия описаны в терминах места в социальной системе, учета и контроля. Все элементы народнохозяйственного устройства, в том числе и люди, определены в терминах социального учета и ранжированы в порядке важности для достижения великой государственной цели. Руководители важнее, чем подчиненные, инженеры важнее рабочих, военные важнее гражданских чиновников.

В следующей фазе, при депрессиях наоборот: увеличиваются политические и экономические свободы, но расхитители ресурсов при этом захватывают существенную часть социального пространства. Мобилизующий потенциал основной идеи уходит в спуску, сама идея становится темой политических анекдотов, государственная машина начинает работать в значительной степени бесцельно. Унитарность государства ослабевает, усиливается роль регионов, которые фрондируют и занимают ре-

курсы. Роль государственного регулирования ресурсной политики уменьшается, дефициты воспринимаются населением как следствие плохой работы отдельных чиновников или государства в целом. Потребности людей выходят за пределы нормативных, определенных статусами, им хочется получать больше ресурсов. И они получают их, «нарушая порядок управления» и «противоправными методами», так как в рамках ресурсной организации государственной жизни легальных способов присвоения ресурсов нет. Начинается их расхищение. От времен стабильности остаются одни воспоминания о том, что «при Сталине был порядок».

В следующей фазе, при восстановлении народного хозяйства, сохранившийся госаппарат, уже в значительной степени лишенный возможности распоряжаться ресурсами, оказывается в ситуациях, когда невозможность их мобилизовать оказывается критической. Поэтому аппарат вынужден вступать в компромиссы с отдельными расхитителями ресурсов, направленные против других расхитителей, для того чтобы получить возможность отоблагодать ресурсы для локализации чрезвычайной ситуации.

Цена такого рода компромиссов всегда одна: ликвидация возрождающимися силовыми структурами государства одних расхитителей в пользу других и перераспределение ресурсов в пользу ситуационных союзников. В такого рода компромиссах преодолеваются автономистские и сепаратистские тенденции. Государство монополизировало право на репрессию и становится снова унитарным, как это произошло в 2000–2005 годах. При этом оно ведет поиск масштабной идеи-цели, которая бы позволила вновь вернуться к консолидированному состоянию, когда все ресурсы подконтрольны, их расхитители ликвидированы как класс, но при этом индивидуально получили государственный статус и вписались в систему государственного устройства.

Государство — пока идет поиск идеи — приступает к переделу собственности и частичной национализации, в ходе которой ресурсы наиболее ушлых людей превращаются из товаров в деньги в ресурсы других людей. Перераспределение мотивируется тем, что у новых собственников более государственническое мышление, чем у прежних. Расхитители ресурсов получают ограниченную временем возможность конвертации накопленных ресурсов — ценной самих этих ресурсов — в статус в новой, еще только становящейся системе управления ресурсами. Некоторые, самые умные, успевают такой возможностью воспользоваться, другие попадают в жернова самовосстанавливающейся репрессивной системы. На этом цикл завершается, вновь возникает сильное государство и начинается очередной застой.

Заключение. О политике и политической системе

Конфликт между собственно мировой экономической реальностью и реальностью ресурсной организации государственной жизни России не может быть разрешен стандартными методами. Стремление руководства страны вписаться в мировую экономику ограничивается ресурсными интенциями государственных институтов и социальных групп. Удовлетворение растущих appetитов осваивателей ресурсов вполне может «съесть» все преимущества централизованного управления ими. И после, как всегда, неожиданного стечения обстоятельств и синхронизации кризисов дефицита в власти уже не будет выбора в дилемме: полный возврат к ресурсной организации государства или столь же полный отказ от нее и переход к обычной экономике.

При любом выборе неизбежны огромные социальные и политические издержки, совершенно неприемлемые для власти. Укрепление государства, т.е. его доминирование в сфере контроля за ресурсами, будет означать государственные репрессии по отношению к их расхитителям. Либерализация будет означать расширение об-

ласти специфической свободы для расхищателей. Так что, в принципе, выбор не велик. Это выбор между государственным террором и разгулом воровства, бандитизма и сепаратизма.

Такой мавтвик — прямое следствие ресурсной организации государства. Сегодняшнее промежуточное состояние не может быть вечным. Ресурсное государство, с высокой вероятностью, либо будет разворовано, разграблено и растащено на части, либо превратится в ходе репрессий в какой-то аналог СССР.

Предположим, что искусство политики будет таково, что удастся сохранить промежуточное состояние, когда только часть ресурсов контролируется государством, и есть большая зона того, что внешними наблюдателями считается рыночной экономикой. Вполне вероятно, что политически это может быть своеобразная диктатура, при которой чрезмерное расширение ресурсов пресекается, а государство, не отпущенное необходимостью достижения великих целей, не полностью централизует доступ к ресурсам, оставляет нашему весьма специфичному бизнесу возможность конвертировать их в товары и деньги. Однако это состояние заведомо нестабильно.

Сегодня содержание текущей политики определяется стремлением удержать ситуацию и как можно дальше оттянуть время, когда надо будет делать выбор. Может быть, если выбор будет в пользу укрепления государства, то концентрация управления ресурсами на этот раз обойдется без массовых репрессий. Но это маловероятно, так как сопротивление новых хозяев жизни попыткам национализации будет весьма ожесточенным. Может быть, если выбор будет сделан в пользу очередной либерализации, страна ее переживет и ее не растащат на фрагменты удельные князья. Все может быть, но мне кажется, что в рамках существующей политической и идеологической системы нет выхода из этой колена.

У чиновников, политиков и обычных граждан, вопреки очевидному, сохраняется иллюзия существования экономики и традиционного государства, как и многие другие иллюзии. Сохраняется и иллюзия демократии, хотя всеобщие выборы манифестируют только интересы фрагментов ресурсного мироустройства при распределении ресурсов.

Совокупность этих иллюзий делает невозможным рациональное обсуждение безвыходной ситуации. Поэтому доминируют иррациональные обсуждения — такие, как навязные в зубах экономические и политические дискуссии между сторонниками разных вариантов реализации социалистической идеи, между патриотами и космополитами. Ясно, что никакие экономические новации не дают шансов на то, чтобы уйти от ресурсной организации государства. Так же как и действия в сегодняшнем политическом пространстве, образованном представителями лаждающих ресурсов групп.

Это значит, что независимо от того, какая политическая сила придет к власти в результате всеобщих выборов, она вынуждена будет отчуждать ресурсы для их последующего распределения. Ведь каждый политик в отдельности, как и политические партии в целом, обещает избирателям более широкий доступ к ресурсам, чем их конкуренты. Не в последнюю очередь, именно поэтому уровень доверия населения к представительским институтам низок, их бесполезность видна невооруженным глазом. Они превратились в атрибуты несостоявшейся трансформации социализма в капитализм — такие же, как российские биржи и банки, которые совсем не биржи и банки.

Сегодня можно сказать, что путь построения капитализма, начатый в 1990-е годы кандидатами наук — специалистами по политэкономии социализма, привел в тушик, к новому социализму. Страна, пережив депрессию-перестройку, вступила в начале XXI века в фазу ресурсного роста и начала новый этап специфическим российским ресурсным строительством.

Как и в советские времена, социальная стабильность ресурсного государства основана на стремлении к справедливому распределению ресурсов. Однако критерии справедливости не выработаны и не признаны нашим обществом. Поэтому любой результат распределения ресурсов представляется населению несправедливым и генерирует социальную напряженность.

Кроме того, как показывает советский опыт, каждый распределяемый ресурс с высокой вероятностью может стать дефицитным. Дефицит денег как ресурса может перерасти в потерю контроля за инфляцией. Дефицит сырья как ресурса может стать из потенциального актуальным, если валютные государством экспортные и внутренние обязательства по энергетическому сырью не будут подкреплены ростом добычи и приростом запасов. И, наконец, статусность как ресурс может стать дефицитной в силу общего кризиса системы власти.

Каждый из этих кризисов дефицита в отдельности вряд ли представляет серьезную опасность для ресурсного государства в целом. В очередной раз ограбив население, оно преодолевает инфляцию и обеспечивает, мобилизуя репрессиями «трудовые ресурсы», необходимый уровень добычи сырья. Оно сможет, если дефицит денег и сырья не выйдет за некие рамки, стабилизировать систему власти и сохранить определенность властных статусов даже в отсутствие государственной идеологии и неизбежной неопределенности при передаче власти в ходе выборов. Но если дефициты синхронизируются и кризис власти по времени совпадет с сырьевым и финансовым, то можно ждать обрушения ресурсного государства, сравнимого с тем, что произошло с СССР в 1991 году.

Очередной цикл нашей истории тогда завершится. Или начнется.

ЧАСТЬ IV

**ПРОЕКТЫ
КРЕМЛЕВСКИХ
ПОЛИТОЛОГОВ:
ИСПЫТАНИЕ
ПУБЛИЧНЫМ
ДИАЛОГОМ**

«ЕВРОПЕНИЗИРОВАТЬ ИНСТИТУТЫ,
СОХРАНИВ РУССКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ»

Мне представляется, что проблема преодоления накопившихся дисфункций нашей политической системы, проблема ее трансформирования поставлена инициаторами дискуссии правильно и своевременно. Почему правильно и почему своевременно? Россия при Путине, образно говоря, отошла от края пропасти, смогла избежать опасности непосредственного социального и политического краха. После периода перемен начался период стабилизации, восстановления государственности.

Было движение куда угодно, лишь бы от пропасти. Сейчас этот период закончился, государство как субъект восстановлено. Уже никто не решается бросить ему вызов: ни чеченские сепаратисты, ни олигархия типа Березовского или Ходорковского, ни внешние силы. Но теперь возникает вопрос: куда идти дальше? От пропасти мы отошли, период стабилизации закончился. Он закончился с момента ареста Ходорковского, когда стало ясно, что нет субъекта, способного бросить вызов власти. С этого момента должен был начаться новый этап. Но до сих пор непонятно: какой именно? Прошло уже два года, но Путин все еще так и не определился со стратегическим направлением этого нового этапа.

При Путине происходит накопление ресурсов для будущего развития. Выплата долгов, восстановление экономики, стабилизационный фонд, вертикаль власти, популярность президента и его курса — все это потенциал, который накапливается. Однако до сих пор не определено, на что, на достижение каких целей он будет направлен. Период восстановления и накопления ресурсов, мне кажется, затянулся.

Наметилось определенное «пронисание» политической воли власти. Именно государство — как главный политический институт любой нации — должно определять направление развития страны, опираясь на ясно выраженную волю народа. Именно оно имеет монопольное право на арбитраж, на насилие и на любые другие действия в случае критических обстоятельств, бросающих нацию вызов. Оно несет главную ответственность за защиту общества от разного рода угроз, в том числе — отставания в развитии. Да, мы смогли отойти от пропасти, и уже этим Путин заслужил достойное место в истории. Но с определенного момента он явно медлит с принятием принципиальных политических решений.

Я в принципе не хочу рассуждать про политический режим Путина. Участники дискуссии, все очень умные и уважаемые люди, критикуют персоналистский режим, но сами — и смех и грех — с утра до вечера рассуждают про Путина. В результате сам их подход к анализу политики оказывается персоналистским. Как-то нелогично слышать все время про Путина да про Путина. Что ок, Господь Бог, что ли?

Жизнь не по закону, или Как работают реальные социальные системы

Что касается существа позиции инициатора дискуссии Михаила Краскова, то я расцениваю конституционно-правовой подход, превалярующий в его концепции, как принципиально неприменимый для России. Как такой, практическая эффективность которого смехотворна. Задан риторический вопрос: у нас вообще когда-нибудь законы исполнялись? В странах, где законы исполняются, такой подход в какой-то мере применим. У нас же, к примеру, красный свет светофора вовсе не означает, что нельзя ехать. Он означает, что ехать не рекомендуется, поскольку вероятность того, что вам ударят в бок, выше, чем если бы вы ехали на зеленый.

У нас люди никогда не жили по закону. Россия пережила несколько колоссальных исторических переломов. Сначала Петр I, ломая традицию и копируя привычные нормы, ценою громадных человеческих жертв привнес в Россию западную модель развития. Потом коммунисты, вопреки всем законам, осуществляли индустриализацию, также потребовавшую колоссальных жертв. Может быть, в России и следует жить по закону, но для того, чтобы учитывать такую же тысячелетнюю историю, изучить этому ее граждан, думаю, потребуются жертвы, равносильные тем, на которые пошли Петр I и большевики. Если кто-то из политиков готов на это, то, пожалуйста, пусть пробует выстраивать стратегию в рамках конституции и права. Я не против того, чтобы бросить Россию в еще одну революцию, теперь — «революцию закона», но я считаю, что сам по себе конституционно-правовой подход в нашем случае является методологически неверным, так как Россия пока еще очень далека от царства закона и конституции. Это пока не про нас.

Наблюдая за реальными социальными и политическими процессами, хорошо видно, что парламентская система в Великобритании на практике работает совсем по-другому, чем в Японии, а тем более в других азиатских и африканских государствах. В основе их практического функционирования лежат одинаковые правовые принципы, но разные политические системы. Дайте африканской стране британскую политическую систему в ее чистом виде, и африканцы возьмут из нее только одно: премьер-министром можно быть без ограничения срока. При этом парламент сойдет с исполнительной властью, а члены парламента будут одновременно и членами правительства — вот что останется от парламентской системы Великобритании. Именно поэтому я считаю, что в каждом конкретном случае конституционно-правовые рамки могут варьироваться от +100% до -100%, тем более что в нашей конституции заложено все, что угодно. Более того, изучая в свое время американскую конституцию, я понял, что и это — не столько закон, сколько социально-политический пакт, предлагающий беспредельно широкие конституционно-правовые рамки. Так что для меня обсуждать приоритетность конституционно-правового подхода в решении наших злободневных проблем — все равно что обсуждать с этой целью сионистско-масонский заговор. Зачем нам обсуждать сионистско-масонский заговор? С тем же успехом мы могли бы обсуждать и конституционно-правовые основы марксистского государства. Как будто во времена Сталина важна была бухаринская конституция, а не ленинско-сталинская политическая режим, никаким юридическим нормам не подчинившийся.

Вместе с тем наши коллеги, участники данной дискуссии, говоря о проблеме российской государственности, совершенно справедливо ставят вопрос о том, каким образом возможно в России сформировать демократическое государство западного типа. Это абсолютно адекватная, правильная постановка вопроса. Тем более что именно так он ставился народами Советского Союза в конце 1980-х годов, но тогда эта задача решения не была. Почему? Потому что не было работоспособной концепции демократизации в многонациональном обществе. В результате страна рассыпалась. Кстати,

не только советское многонациональное общество рассыпалось при переходе от авторитаризма к демократии. В аналогичных ситуациях это нередко происходило и с другими подобными образованиями: с Югославией, с Чехословакией.

Чтобы политическое развитие было успешным, оно должно быть концептуально оформленным. Классическим примером можно считать Соединенные Штаты в ситуации кризиса 1930-х годов: спасительным выходом оказалась концепция Кейнса, блестяще реализованная Рузвельтом. Другой пример: выход Чили из кризиса первой половины 1970-х, когда были реализованы идеи Чикагской школы (Фридмана-Хайека). Есть ли у нас сегодня концептуально оформленная стратегия развития? Я таковой не вижу. И в этом — наша слабость.

О способности русского народа к самоорганизации

Но, оценивая внутренние возможности трансформации Российского государства, следует отметить один чрезвычайно важный фактор — слабую самоорганизацию русского народа, о чем уже говорили некоторые участники дискуссии. Причина того — в колоссальной мощи самого государства, которое и выступало всегда по отношению к народу главной организующей силой.

В свое время Томас Маин сказал: «Есть три понятия: фашист, честный и умный — они несочетаемы. Если умный и честный — не фашист, если умный и фашист — нечестный, если и честный и фашист, то неумный». Аналогично для русского народа можно тоже составить три несочетаемых понятия: способность к добровольному сотрудничеству, способность уважать закон и способность быть самостоятельным, независимым от государства. Способные к добровольному сотрудничеству и самостоятельные обязательно образуют какие-то полукриминальные структуры. Сочетание способности к кооперации с другими и законопослушности лишает самостоятельности и обуславливает зависимость от государства. Сочетание законопослушности и самостоятельности лишает способности выступать в добровольные объединения с другими себе подобными, атомизирует российский социум.

Посмотрите, как слабо русские организованы в других странах: в Германии, США, Франции, в странах Прибалтики. Они везде значимы количественно, но не значимы политически из-за своей неорганизованности.

Итак, при слабой способности русского народа к самоорганизации Российское государство всегда выступало в качестве субъекта организации, а народ оказал от него организующих и управляющих импульсов. Поэтому в России до сих пор столь слабы гражданское общество и рыночные институты — эти важнейшие элементы самоорганизации. Распад экономики, произошедший в результате развала многонационального государства, а также разложение традиционных моральных ценностей и серьезное ослабление государственного начала как такового в совокупности предопределили крах очередного проекта вестернизации России. Но какой мы должны сделать из этого вывод? Должны ли мы считать, что проект развития по западному образцу для России совершенно не подходит? Нет, мы должны. Поскольку, с моей точки зрения, европейские ценности для нас весьма привлекательны, а сама Европа является одним из важнейших образов, которому мы следуем в течение уже многих веков.

Перспективы «западного проекта» в России

Более того, даже если западный проект предполагает приход на российские рынки крупных западных корпораций, способных поставить под контроль сибирские недра, наши нефть и газ, — даже это, с моей точки зрения, не преграда на пути вестернизации. Пусть приходит. Но только если в обмен на это мы сможем получить достаточно высокий уровень жизни, сравнимый с европейским, равно как и право участвовать

в решении судеб Европы и Мира. Такой обмен я считаю вполне равноценным. Поэтому неудача 1990-х годов для меня вовсе не означает, что нельзя попробовать еще раз. И то, что при этом Россия должна будет пойти на частичную потерю суверенитета, для меня также отнюдь не означает, что не стоит и пробовать. Часть своего суверенитета мы должны обменять на участие в глобальном управлении миром. При этом возникают совсем иные, более существенные вопросы, на которые ответы так и не даны, и наши коллеги, как правило, даже не пытаются дать такие ответы. Почему тогда, в 1990-е, проект вестернизации не удался? И что необходимо сделать конкретно, чтобы он осуществился в ходе новой попытки, каков должен быть конкретный механизм его реализации?

Вместо того чтобы отвечать на эти вопросы, сторонники западного проекта для России упирают на то, что Путин — не тот лидер, который способен осуществлять такой проект. Все дело якобы в Путине. И даже когда коллеги рассуждают о закономерности формирования и воспроизводства персоналистского режима, они, по сути дела, сводят все к персональным действиям Путина (в какой мере его власть мешает или не мешает продвижению этого проекта). Такое внимание к его персоне, как я уже говорил, выглядит и нелогичным, и чрезмерным.

Более того, для моих коллег проблема возрождения западного проекта не предполагает преодоления неких объективных трудностей на этом пути — они вроде бы будут преодолены сами собой. К примеру, Георгий Сатаров рассуждает о том, что демократия — это институционализованный случайность, в то время как наша политическая практика базируется на христианском концепте предопределенного пути. Но, противореча самому себе, он начинает вполне «недемократически» рассуждать о политической предопределенности: главное, мол, чтобы Путин не мешал, и тогда процесс пойдет сам собой. Не очень последователен и Михаил Краснов, предлагающий очевидные дефекты персоналистского режима устранять персоналистскими же средствами самому Путину. Этот логический парадокс мне представляется весьма выразительным.

Идея о том, что вестернизация осуществится чуть ли не автоматически, главное — чтобы Путин не мешал, порочна в самой своей сути. Не осуществится! Еще КПСС это продемонстрировала своей политикой. И здесь мы выходим на еще один аспект суверенитета, понятый с точки зрения проблемы нашей цивилизационной идентичности.

Для меня, повторю, суверенитет сам по себе не является сверхценностью. Лично я готов отказаться от суверенитета, если Россия взамен получит что-то большее: станет мощной и богатой страной. Но суверенитет — это исторический выбор нашего народа, и от этого я отказаться не могу. Я признаю исторический выбор своего народа и буду бороться за суверенитет России не потому, что мне он кажется сверхценностью, а потому, что уважаю этот выбор народа. Понятно, что суверенитет я понимаю не в правовом смысле, а в политическом. Так, в правовом смысле Болгария, Япония, Грузия являются суверенными, а политически — нет.

Но проблема идентичности к этому не сводится.

Мы — наследники византийской ветви европейской цивилизации

Мы ясно ощущаем себя, с одной стороны, частью европейской цивилизации, а с другой стороны, отдельной от Запада евразийской ветвью этой цивилизации (православной, восточнохристианской, восточноевропейской). И мы рассчитываем, что наша идентичность должна позволить нам органично войти в объединенную европейскую цивилизацию.

Итак, мы — вместе с украинцами, белорусами, грузинами, армянами, болгарами, румынами — являемся византийской частью большой европейской цивилизации. Но нам сегодня еще предстоит осознать себя в этом качестве продолжателей византийской традиции в европейской цивилизации. Европа, имеющая общий корень — Античность, в свое время разделилась на Западную, образованную различными королевствами и отдельно от них стоящей церковью, и восточную, где было единство империи, соединенной с церковью. И мы, повторю, должны осознать себя как особую часть общеевропейской общности, не размытую, не сметенную историей, не разрушенную и устоявшую в течение полутора тысячелетий. Эта наша особенность должна быть сохранена и — вместе с западноевропейской — должна образовать более богатое единство целостной европейской цивилизации, в которую мы всегда входили и по-прежнему входим.

Наш народ ощущает свою особую идентичность. Сложность — в другом, в исключительной степени европеизации нашей элиты. В предлагаемой сегодня новой версии западного проекта превалирует крайне искаженное представление о его движущих силах. Его идеологи по-прежнему лепечут что-то про средний класс. Господа, я занимался партиями и могу сказать, что почти каждая партия рассматривает в качестве своей социальной базы средний класс. Да она не наберут и по десятку человек из среднего класса на каждую партию. А потом, не стоит забывать, что в свое время именно средний класс привел к власти фашистов в Италии и нацистов в Германии.

Еще одна сложность коренится в нашей многоэтничности. Она принципиально отлична от американской, модель которой — «плавильный котел» с маленькими элементами «салатной миски». У нас же — полноценные большие куски, а не «кусочки салата», т.е. народы, имеющие свою территорию, флаг и герб, культивирующие свой язык, национальную школу и т.д. Наша многоэтничность на несколько порядков сложнее и основательнее, чем в США, а также в любой отдельной европейской стране. Она может сравниться только с многоэтничностью Евросоюза в целом.

Нужны Большие проекты

Каковы же в этих условиях перспективы российской модернизации?

Во-первых, мы должны отчетливо представлять, что она с неизбежностью является догоняющей или, как мы хотели бы, «догоняюще-обгоняющей» (как при Хрущеве). Поэтому модернизация по американскому или европейскому пути России не вполне подходит и вряд ли для нее возможна. Страны Запада опередили нас весьма существенно и могут позволить себе модернизироваться естественным путем посредством нормальной конкуренции, поскольку на их стороне преимущество более сильного и развитого, у них больше ресурсов развития. У нас все это в недостатке, поэтому мы вынуждены так или иначе идти по пути догоняющей модернизации, а для этого нужны мобилизационные механизмы, для этого нужны Большие проекты. Поэтому для меня вопрос, способно ли Российское государство содействовать модернизации, равнозначен вопросу, способно ли оно на Большие проекты.

Ответить на этот вопрос непросто. В том числе и потому, что стратегия Больших проектов категорически противоречит идеологии нынешнего экономического крыла правительств. Эти люди уже привели к деградации экономику России, разрушая, например, российский «Аэрофлот», разделив его на несколько десятков маленьких авиакомпаний. Зачем? Кто-то полагает, что это заговор врагов против России. Ничего подобного, нет таких врагов, которые ставят задачу разрушить российский «Аэрофлот». Но зачем это было сделано? Потому что такова была господствующая в этой среде идеология: нужно, дескать, разукрупнить монополию, максимально поощрять конкуренцию. Но сегодня конкуренцию выигрывает тот, кто выходит на большие рынки, а для

этого самому нужно быть большим. Я, разумеется, не предлагаю разогнать все экономическое крыло правительства: в нем есть хорошие, разумные люди с вполне здравыми идеями. Но нужно провести своего рода гегелевское «снятие» — в том смысле, что все хорошее в их деятельности и в их идеологии взять, а все плохое, вредное — отбросить.

Впрочем, и в имеющейся на сегодняшний день экономике есть зачатки Больших проектов. Например, создание Газпрома — это Большой проект, который с огромным трудом удалось отстоять от желающих Газпром «разукрупнить». Сейчас уже всем ясно, что его сохранение — колоссальная удача. А благодаря успехам в капитализации Газпром сегодня — колоссальный инструмент российского влияния в мире.

Наши сегодняшние национальные проекты — еще только приближение к Большим проектам. Мы только еще пытаемся сформулировать свои национальные задачи. Но уже сегодня население испытывает тяготение к таким проектам. К осознанию их необходимости постепенно подходит также бизнес и государство. Поэтому мне кажется, что, если не произойдет новых катастрофических срывов в нашем развитии, мы неизбежно примем идеологию Больших проектов. А через их реализацию придет к модернизации не только экономического, но и всего социального пространства.

Одним из важнейших таких проектов могло бы быть, как мне кажется, использование отечественных разработок для создания системы подключения к Интернету через спутниковую связь. У нас есть отличная спутниковая группировка, есть своя авиакосмическая промышленность, есть система космической связи, есть огромная малозаселенная территория. Спутниковый Интернет и Россия буквально созданы друг для друга.

Другие подобного рода проекты могут быть нацелены, например, на создание системы политического образования и еще на многое, что способно кардинально преобразовать социальное пространство. Но вместо этого у нас до сих пор доминирует убогая идеология о невидимой руке прогресса в рамках свободного рынка.

Участвовать в глобальном сетевом механизме принятия решений

Второе ключевое условие нашей модернизации — стратегическая жизнеспособность российской государственности в ситуации глобальной конкуренции. Выполняется ли это условие сегодня? Думаю, что далеко не в том объеме, в каком хотелось бы. Что же необходимо предпринять для его выполнения?

Прежде всего, важно упрочить свое присутствие в мировом правительстве. В мире созданы глобальные экономическая, информационная, экологическая системы, система безопасности, создается глобальный политический механизм урегулирования конфликтов и принятия решений. Все это и есть мировое правительство. В основе его функционирования лежат отнюдь не принципы демократического голосования, принятые в официальных структурах ООН. Его работе не соответствуют ни модель демократии с ее конституционно-правовыми механизмами, ни модель всемирного заговора. Мировое правительство строится на основе сетевых принципов взаимодействия, важность, преимущества и само существование которых мы стали понимать только сейчас. Структура его образуется не совокупностью его членов, а ключевыми узлами мировой сети, в числе которых — «Большая восьмерка», Совет Безопасности ООН, Политический совет НАТО, руководство Международного валютного фонда, руководство Мирового банка... Я предоставляю читателю возможность самому продолжить этот список.

Мировое правительство — это открытая система, туда пускают со своими проектами, пускают того, кто готов участвовать вложением ресурсов, кто предлагает реальный вклад в ее развитие. Нам необходимо входить в это правительство; жизнеспособность тех, кто находится вне его, оказывается невелика, если только они не вы-

бирают стратегию автаркии, как, например, Белоруссия. Да, Белоруссия неплохо развивается, но вынуждена замыкаться в себе и в какой-то момент может быть сломана воздействием внешних сил.

Что же следует предпринять для полноценного вхождения России в мировое правительство? Для этого опять-таки нужно повышать эффективность государства. К сожалению, сегодня оно у нас крайне неэффективно, прежде всего из-за высочайшей коррупции, отсутствия стратегии развития и отчетливой общегосударственной идеологии, т.е. разделяемой большинством общества системы ценностей и общенациональных приоритетов, подобно той, что имеют американцы.

Двигаться по пути создания мегакорпораций

Впрочем, определенные усилия в этом направлении уже предпринимаются, в частности — дан импульс созданию глобальных мегакорпораций. На сегодня такой мегакорпорацией уже стал Газпром, к этому уровню подтягиваются Роснефть, ЛУКОЙЛ и ряд других нефтяных компаний, а также Росвооружение, РАО «ЕЭС», Атоммаш, РАО «РЖД», «Норильский никель». Есть основания ожидать появления глобальной алюминиевой (Дерипаска и Вексельберг) и глобальной металлургической (Абрамзон и Мордашов) мегакорпораций. По-видимому, будут созданы два-три мегабанка на базе, я думаю, Внешторгбанка, Внешэкономбанка и Сбербанка, а также, надеюсь, авиационная корпорация.

Все эти тенденции следует рассматривать под углом зрения реального повышения конкурентоспособности и, соответственно, жизнеспособности России. И почти все они инициированы государством. Кто создал Газпром? Государство. Кто сделал его таким, какой он есть? Государство. Кто Роснефть создал? Государство.

Конечно, важной проблемой является способность государства сохранить в новых условиях свою независимость от создаваемых им мегакорпораций и свой контроль над ними. В частности, над тем, чтобы инвестиции этих новых экономических гигантов непосредственно участвовали в развитии России. Иными словами, важно, чтобы государство не утратило способность действовать в интересах нации и не препратилось в орудие интересов мегакорпораций.

Конечной целью здесь является наращивание человеческого капитала. Вопрос в том, будет ли развитие мегакорпораций, пускай через десять—двадцать опосредующих звеньев, сопровождаться увеличением их инвестиций в человеческий капитал — в образование, здравоохранение и прочие необходимые для нормальной жизни людей сферы. Вопрос этот остается пока без ясного ответа, но первые шаги сделаны в нужном направлении.

О субъекте изменений

Существенный вопрос, когда мы говорим о модернизации страны, — это и вопрос о том, кто является субъектом изменений. Мне представляется, что таких субъектов несколько.

Во-первых, это рыночная среда — здесь я солидаризируюсь с Алексеем Зудиным. Проще говоря, это среда, способная создать российской Microsoft: где-то в гараже некие гениальные изобретатели, обладающие вместе с тем и способностями менеджеров, создают некую новую технологию и на ее основе — новую социально-экономическую реальность. По крайней мере, возможности для этого у нас есть. Но, естественно, должны быть предприняты и определенные дополнительные действия для поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы он мог как-то выживать и развиваться.

Второй субъект изменений — это внешняя среда, т.е. давление, идущее извне, в том числе и с Запада. Это и давление экономической конкуренции, поощряющей раз-

витие технологий. И военно-политическая конкуренция, не позволяющая нам дремать. И идейная конкуренция, втягивающая нас на поле идейно-политического противостояния. Очевидно, что большая часть российского политического класса с удовольствием предпочла бы просто продолжать эксплуатировать украинское в 1990-е годы, но необходимость легитимации своего высокого статусного положения заставляет их принимать вызов мирового сообщества и идти на поле идейной борьбы. Именно поэтому влияние внешней среды является важным и в целом позитивным стимулом к изменению.

Но еще более важным мне представляется то обстоятельство, что на данный момент существует явный дефицит реальных субъектов изменений. Многие из них еще только предстоит создать. Причем ключевым среди них, с моей точки зрения, должна стать политическая партия — при том, что у нас сегодня очевидный дефицит и политических партий. «Единая Россия», на мой взгляд, таковой не является; она является, скорее, механизмом голосования за президента на непresidentских выборах и, одновременно, механизмом голосования за пропрезидентские законопроекты в парламентах разных уровней (в Госдуме и в региональных законодательных собраниях). Но это — не партии идей. Недаром ее руководство никак не может определиться по поводу идеологии; это невозможно в принципе, поскольку партию составляют люди принципиально безидейные. Нам нужны настоящие партии. Может быть, и на основе «Единой России», но это должно быть что-то новое, а не «Единая Россия» в том виде, в котором она существует сейчас.

О проекте управления реальностью

Однако главным субъектом изменений должны стать сами Проекты, включающие в себя целенаправленную деятельность различных экспертных групп. Именно в экспертной интеллектуальной среде, являющейся одной из важнейших составляющих этих Проектов, и должны рождаться инновационные идеи.

Нам просто необходимо переходить к проектному управлению, как к наиболее современному способу развития. И когда я говорю о партии, я имею в виду не классические массовые партии XX столетия, но партии XXI века, которые должны стать проектными партиями.

Правящей партией у нас и сейчас является отнюдь не «Единая Россия». Реальной правящей партией является проектная протопартия, своего рода протосубъект российской политики, включающая в себя Администрацию президента, руководство федеральных телеканалов и экспертные центры, близкие к АП. Да и руководителей крупного бизнеса тоже можно считать включенными в эту протопартию — в той мере, в какой они участвуют в ее деятельности.

Реализация Проектов в перспективе должна осуществляться, условно говоря, проектными комитетами. При том, что наиболее сильным среди них, наиболее постоянным и консолидированным останется проектная партия. В целом это будет не чисто государственная структура, а некий комплекс, включающий госструктуры, взаимодействующие и тесно связанные с бизнесом, со СМИ, с экспертными институтами и общественными организациями. Естественно, такая протопартия должна с необходимостью, в качестве своей периферии, включать в себя и сетевые организации.

Классовые альянсы как фундамент государственности

В какой мере перечисленные выше субъекты изменений составляют континуум, достаточный для реализации поставленной задачи трансформации российской государственности? То, что мы имеем на сегодняшний момент, весьма далеко от желаемого идеала. Но я хотел бы подчеркнуть, что мы находимся в процессе вполне доброкачественной трансформации.

Каково нынешнее состояние российской государственности и как оно связано с ее исторической биографией?

У нас традиционно в основе государства был альянс бюрократии с какими-то другим социально-классовым субъектом. В рамках монархии Романовых мы имели альянс аристократии и бюрократии, причем первоначальному создателю государства в соответствии с собственными ценностями выступала аристократия, но в дальнейшем в рамках этого альянса постоянно усиливалась роль бюрократии. В конечном счете бюрократия вступила в противоречие сама с собой, обесмысливая идею государства, поскольку смысл в государственность приносил именно тот, другой, породивший государство член альянса, который постепенно оттеснился бюрократией от управления.

На следующем, советском этапе возник иной альянс — альянс идеократии и бюрократии. Новую государственность создала большевистская идеократия, но для нормального функционирования этой государственности ей потребовалась бюрократия. Далее с большевиками произошло то же, что и с аристократией: в рамках нового альянса бюрократия стала усиливаться, подбирая ресурсы власти под себя, и в конечном итоге советская государственность обесмыслилась. Возможности идеократии были минимизированы, власть оказалась в руках технократов. Государство рухнуло, потому что, став продуктом холостого цикла воспроизводства бюрократии, утратило смысл своей деятельности.

Постсоветским этапом был альянс бюрократии с демократией. Однако и этот проект не удался, поскольку демократия как основа государственности устойчиво и успешно функционирует только в рамках зрелого гражданского общества, а в реальных условиях России таковая предпосылка отсутствовала. В Западной Европе в основе современной государственности лежит альянс демократии, организованной в гражданское общество, и бюрократии. В США — альянс демократии, бюрократии и олигархии. В России же сегодня формируется очередной, четвертый проект государственности на основе альянса олигархии и бюрократии.

Начало этого нового проекта можно датировать примерно 1996 годом. Олигархия повздорившая с бюрократией, которая стала усиливаться и в конечном итоге произвела в 2000 году контрпереворот и к сегодняшнему дню подчинила себе олигархию. Как будет развиваться процесс дальше, пока неясно. Думаю, что в дальнейшем альянс олигархии и бюрократии сохранится, но борьба за первенство между ними продолжится.

Если олигархия возьмет верх, то появится некий смысл развития государственности. Но этот смысл будет антинародным по своей сути. Поскольку наша олигархия основана на монопольном сырьевом экспорте, то в 90% ситуаций ей самой государство не нужно. А стало быть, лишним оказывается примерно 90% российского населения: у олигархов нет никакого интереса в том, чтобы обеспечивать людям образование и здравоохранение; лучше, если те просто перемрут и не смогут мешать. Чем менее населенной будет российская территория, через которую нефть и газ пойдут внешним потребителям, тем спокойнее и безопаснее будет хозяевам-олигархам-сырьевикам. А иной, бюрократический вариант плох тем, что обесмысливает государственность, лишает цели государственного развития смысла и ясности.

Возможны три варианта стратегического целеполагания для России.

Первый вариант — альянс демократии с бюрократией. Для его реализации нужно развивать гражданское общество, нужны осмысленные, масштабные программы поддержки его институтов. Говори прямо, на развитие гражданского общества должны быть направлены колоссальные бюджетные ресурсы государства, поскольку без этого демократия сама по себе не сформируется.

Второй вариант — это формирование идеократии как развитие некоей идеи и превращение российской государственности опять в государственность идеологи-

ческую. Идеология в данном случае может быть разной и не обязательно столь плохой, как большинство. Например, могут предложить для России такую идеологию — стать Европой, сохранив русскую душу, т.е. европеизировать институты, сохранив русскую идентичность. Это была бы грандиозная задача, возвращающая нас к нашим идейным истокам, к Византии. Как я уже говорил, мы являемся наследниками византийской европейской традиции, и наша миссия — обеспечить воссоединение Европы как двух развалившихся частей ранее единого целого: католико-протестантской Европы Рима и православной Европы Византии. Это великая идея и великая миссия — возродить единство и силу европейской цивилизации. Иными словами, в рамках альянса идеократии и бюрократии возможны разные проекты, но в любом случае в основе идеократической государственности должна быть идея, должна быть идеология.

Наконец, третий вариант — превращение олигархии в аристократию. Но для этого у правящего класса должна появиться идеология служения. Иные в основе идеологии правящего класса лежат отношение к России как временно оккупированной чужой стране, которую нужно нещадно эксплуатировать, презирать ее народ и вывозить из нее все наворованное. Естественно, что без высокой идеи общественного служения трансформация олигархии в аристократию произойти не может, а эта идея, между прочим, с неизбежностью включает в себя такой элемент, как значительное ограничение личного потребления. В той мере и до тех пор, пока олигархия проявляет свою неготовность принять такое самоограничение, она демонстрирует свою неспособность управлять страной и остается в России в подвешенном, неустойчивом положении.

Кто и каким путем будет осуществлять выбор того или иного варианта? Думаю, это задача для руководства проектной правящей партии, которая возьмет на себя ответственность за преобразование страны и которая получит поддержку от населения, своего рода карт-бланш на преобразование.

В какой мере такой выбор будет свободным? Как всегда, условно свободным. Он будет ограничен многими факторами, например, тем, что государственный суверенитет представляется для народа России сверхценностью. К тому же у нас есть своя идентичность, которую разделяет большинство населения. Есть и ряд других ограничительных факторов, но определенная свобода выбора все еще сохраняется в достаточно широком диапазоне от проектного строительства гражданского общества до возрождения институтов аристократии и византийского — по сути дела, имперского — проекта.

Для меня, кстати, слово «империя» — очень хорошее слово, обозначающее огромное государственное пространство, где карьера человека не зависит от его национальной принадлежности, где этнические конфликты жестко подавляются центральной властью и где этническое самоопределение осуществляется прежде всего в культурных, а не политических формах. С этой точки зрения США — империя. И Византия. И Китай. И Россия — тоже империя, но потерявшая часть своих территорий, многие из которых деградировали и балансируют на грани хаоса, а некоторые вошли в состав других империй и поэтому выжили (страны Прибалтики).

Проблемы и противоречия административной реформы

Из сказанного, думаю, ясно, что для формирования государственности необходимо вложить определенное сознательное усилие, необходим политический акт. Однако сегодня осуществить его очень сложно, поскольку доминирующей идеологии нет, как нет и никакой стратегии развития, нет концепции государственного строительства. Концепция административной реформы как концепция такого строительства в отсутствие общей стратегии развития страны и ясной идеологии, подчиняющей сознание государственных чиновников, сработать не сможет и неизбежно провалится, что мы и наблюдаем.

Я занимался проблемами административной реформы и вижу в ее концепции явные противоречия. Непонятно, как бюрократия может реформировать сама себя. Весь мой анализ показывает, что для этого необходима внешняя политическая сила. Именно такая сила всегда проводила все подобные реформы в стране. При формировании Советского государства таковой была большевистская партия. У Петра I тоже была своя партия под названием «Офицерский корпус гвардейских Преображенского и Семеновского полков». Именно Гвардия плюс приклучившие к ней менеджеры иностранного происхождения составляли эту партию и вместе осуществляли необходимые реформы.

Кто может стать субъектом преобразования сегодня — вопрос открытый. Вот группа достаточно рыночных парламентариев предложила концепцию административной службы как своего рода сервиса: государство оказывает услуги населению, которое должно их оплачивать. Но в нашем обществе такая схема провисает, поскольку атомизированный гражданин не может быть субъектом контроля над деятельностью государственных институтов и служб. Субъектом такого контроля может быть только гражданин, надежно интегрированный в структуры зрелого гражданского общества. А поскольку гражданское общество у нас слабое, то эта концепция, сама по себе хорошая для США и Великобритании, у нас практически неработоспособна. Условно говоря, для того, чтобы данная концепция государственной службы была реализована, стране нужно потратить примерно 100–150 млрд долларов на развитие гражданского общества. И только после этого она может заработать.

Что касается концепции, которая на сегодня принята, то и к ней у меня есть несколько вопросов. Какова должна быть система власти? Если в основе ее демократия, то где ресурсы на гражданское общество? Это можно посчитать, но это, повторяю, миллиарды и даже десятки миллиардов долларов. Если же ставка временно делается на диктатуру развития, то в каком направлении осуществляется модернизация, чем являются соответствующие Большие проекты и кто будет субъектом модернизации? Должна быть осмысленность в системе и стратегии власти, должна быть концепция осуществления перехода от диктатуры развития к демократии. Кроме того, должны быть соответствующим образом отобранные и подготовленные кадры, должна быть система работы с ними и их продвижения.

Сегодня кадры госчиновничества слишком коммерчески мотивированы, а моральные, внеэкономические факторы сильно деградировали. Необходимо радикально пересмотреть принципы отбора и подбора администраторов. Сейчас такие принципы практически отсутствуют, и в этих условиях, естественно, происходит вымывание кадров, способных укрепить государственный аппарат, подмена их чиновниками-бизнесменами, которые превращают управление государственной собственностью в частный бизнес. А это — основа поголовной коррупции, свидетелями чего мы, собственно, и являемся.

Государство должно стать центром организации демократии в России

Еще один вопрос, на который должна ответить наша концепция государственно-го строительства, касается взаимоотношений государства и граждан. Государственность должна соответствовать ценностям большинства нации. В частности, поскольку способность граждан к самоорганизации слаба, государство должно стать важным центром их организации. Более того — центром организации демократии. Гражданское общество не возникнет само, если не будет массивной государственной работы по его развитию. К тому же, с точки зрения большинства российских граждан, насколько я это понимаю, государство с необходимостью имеет не столько технический, сколько как бы одухотворенный, почти сакральный характер. В России оно олицетворяет собою не столько идею права, сколько идею справедливости.

Концепция государственности должна соответствовать базовым системным ценностям граждан именно потому, что только в этом случае она может быть принята обществом. Люди отвергают идею государства как «ночного сторожа», которое является своего рода наемным менеджером. Мы должны прямо сказать, что с этой точки зрения нынешнее правительство, включая и президента, не вполне адекватно: президент говорит, что государство — это технический менеджер, но граждане ждут от него другого. Поддерживая политику президента и одобряя стиль его лидерства, они ждут от него чего-то большего, чем политика успешного менеджмента. Им импонирует то, что он молодой и энергичный, что не боится брать на себя ответственность, не боится делать работу политика, принимать те или иные решения. Но в то же время техническое отношение к государству как к наемному менеджеру, следящему за соблюдением правил и в этих рамках позволяющему гражданам делать все, что они хотят (собственно, либеральная концепция государства), для большинства наших людей неприемлемо. Они хотели бы видеть роль государства более значительной. Здесь очевидно противоречие между взглядами элиты и основной массы населения, поскольку элита как раз хотела бы видеть государство в роли своего технического менеджера. Как сочетать желание большинства наших иметь патерналистское государство и интерес меньшинства, не желающего иметь государство в качестве ограничителя собственной инициативы? То есть как сильным дать свободу, а слабым — защиту? Как совместить капитализм для сильных и богатых с социализмом для бедных?

Решением, с моей точки зрения, и должно стать государство крупных корпораций, государство Больших проектов, когда желающие рисковать участвуют в конкуренции и получают поэтому высокие, но негарантированные доходы, а нежелающие — участвуют в работе крупных корпораций и получают невысокие, но гарантированные зарплаты и социальные выплаты. Причем мы должны отказаться от концепции страховой медицины, которая использует модель минимального государства, принятие такой концепции было гигантской политической ошибкой.

Страховая медицина, наиболее развитая в США, — это полный провал здравоохранения; кто не знает, езжайте в Америку, поговорите с американцами. Нет хуже системы управления здравоохранением, чем американская: 80% денег идет посредникам, непосредственно к лечению граждан отношения не имеющим. Дело доходит до того, что нормальные люди, которые по нашим меркам являются очень богатыми, просто не имеют возможности платить медицинскую страховку. Сравнительно богатый американец, который богаче обычного нашего гражданина раз в десять, не имеет возможности получить те элементарные медицинские услуги, которые получает наш многократно более бедный гражданин.

Это очень плохая система. Нам нужна нормальная социалистическая система здравоохранения, которая создана в большинстве североευропейских стран и которая была и у нас; вот ее-то и надо развивать. Этим и должно заниматься государство.

От крайностей всевластия государства и абсолютизации прав человека к концепции достоинства личности

Если говорить о системе ценностей, на которых должна базироваться наша государственность, то мне представляется, что сама концепция прав человека должна быть изменена. Большинство населения, мне кажется, воспринимает не столько концепцию прав человека, сколько концепцию достоинства личности, которая, безусловно, включает в себя некий минимум политических прав, но также и гарантии определенного социально-экономического уровня, чего, кстати, классическая концепция прав человека не предполагает. Кроме того, концепция достоинства личности подразумевает

ет определенный уровень свободы развития общин — национальных, соседских и любых других, например, условно говоря, весьма распространенных у нас садоводческих товариществ. Идеология, соответствующая этой концепции, должна вобрать в себя и элементы идеологии прав человека и правового государства.

Известно, что у нас систематически нарушаются права человека. Что нам предлагает сегодня правительство? Идей совершенно безумные. Вот я еду в машине и слушаю радио. Мне говорят: если у вас возникают какие-то проблемы, нужно изучить законы и идти в суд. Извините меня, в нашем случае это стопроцентный тупик. Гражданин не имеет возможности знать все законы и не должен изучать тысячи страниц правовых установлений — специально или естественным образом запутанных. Он должен работать по своей специальности, растить детей, любить жену или мужа, общаться с друзьями, заниматься спортом, участвовать в культурной жизни, а не штудировать законы и посвящать свою жизнь бесконечному сутяжничеству. И даже если у него вся комната *будет* завалена этими законами, он все равно никогда не сможет выиграть у сильной группы интересов, которая способна нанять высокооплачиваемых адвокатов либо привлечь административный ресурс по принципу «против лома нет приема». Никогда простой гражданин у нее не выиграет, тем более в условиях предельной коррумпированности сегодняшней судебной системы. Поэтому нам надо не вбрасывать человека, как котенка, в это море законов, а обеспечить создание системы общин, в которых обеспечивалась бы защита прав и достоинства личности, а не формально-юридических прав гражданина. Это, как мне представляется, должно стать одним из приоритетов развития нашей государственности.

Есть еще одна важная проблема: как создать политическую конкуренцию, которая в любой системе должна обязательно присутствовать? Как создать политическую конкуренцию, когда у нас имеется очень слабое гражданское общество и сильное государство, находящееся к тому же либо под контролем бюрократии, либо под контролем олигархии? Ответа на этот вопрос — как создать политическую конкуренцию? — у меня пока нет. Но я уверен, что в самое ближайшее время он появится — интеллектуальный, во всяком случае. Еще раз подчеркну: в выстраиваемую сегодня систему государственности обязательно должны быть встроены механизмы политической конкуренции. При плюралистическом либеральном государстве это сделать легко, там есть политические партии, а при государстве развития это сделать сложнее, но такая система обязательно должна быть создана.

Почему нам нужна политическая конкуренция? Во-первых, она нужна для развития, для инноваций. Во-вторых, политическая конкуренция — это свобода, а мы хотим свободы, потому что система ценностей достоинства личности включает в себя и свободу. Человек должен быть свободен: он должен подчинить свои личные эгоистические интересы интересам развития социума, общества в целом, общины, но при этом у него должна быть свобода выбора, должны быть определенные возможности выбора. И третье, почему нам нужна политическая конкуренция, — нам нужно единство с Европой. Европа является современным, бурно развивающимся регионом, самым развитым в мире, европейцы близки нам по духу, по культуре. Но как обеспечить необходимую политическую конкуренцию — это отдельный вопрос, на который еще предстоит найти адекватное интеллектуальное решение.

Еще одна проблема связана с выработкой необходимой идеологии. Нам, конечно, нужна некая государственная идеология как система ценностей — разумеется, не как в советские времена, а примерно так, как в США и Евросоюзе. Там доминирующей на сегодня является идеология социального либерализма, обеспечения плюралистических прав и свобод при определенной патерналистской роли государства и бизнеса. Государство играет там патерналистскую роль, создавая социальные программы,

а корпорации — формируя фонды, занимаясь благотворительностью под руководством государства.

Сегодня в России на роль государственной идеологии претендуют концепция управляемой демократии и концепция суверенной демократии. Мне кажется, что они были важными шагами, промежуточными этапами наших идеологических исканий. Но сегодня они уже не соответствуют потребностям и задачам нашего развития.

Так, концепция управляемой демократии вызывает естественный вопрос: управляемая кем и управляемая ради чего, ради каких целей? Кем — поистине, вот эти дни протопартиями. Но ради чего? Вот создали мы вертикаль власти. Ну и что теперь? Что она должна делать, господин президент, эта вертикаль? Как известно, армии, которые не воюют, переходят к мародерству. Так вот, мы являемся свидетелями того, как наша вертикаль власти перешла к мародерству. Создали управление телеканалами, и я задаю вопрос: что теперь должны делать эти телеканалы? Или нам хотят сказать, что они должны делать фильмы, должны быть бизнесом, должны наращивать финансовые средства для аффилированных с ними менеджеров? Они прекрасные люди — Эрст, Добродеев и прочие, наши хорошие приятели, но почему главные телеканалы должны играть роль бизнес-контра? Напротив, они должны работать на всю нацию, которая, в свою очередь, должна участвовать в постановке целей для этих важнейших общенациональных ресурсов. Телевидение производит не фильмы, не телепрограммы и даже не новости. Телевидение производит нацию. Не надо уходить от своей основной работы, господа! Не перебирайте с левой работой!

А теперь — о концепции суверенной демократии. Да, нам нужно как можно больше суверенитета. Ясно, однако, что с прогрессом глобализации его станет меньше у всех. Поэтому на самом деле нам нужна не концепция суверенитета, а концепция управления им. Наш суверенитет должен работать на страну, как и всякой другой политической ресурс. Мы должны создать систему неравноценного обмена: отдавать меньше, получать больше. Нужно управлять передачей суверенитета глобальным структурам так, чтобы у нас избыток всегда был больше, чем убыток. Вот США свято настаивают на своем суверенитете, они платят за него огромную цену. Мы должны понять, какую цену мы согласны и в состоянии платить за него, а какую — нет. Мы должны научиться управлять процессом обмена суверенитета на пакеты акций в глобальном мировом правительстве, т.е. должны научиться за каждую уступку части этого суверенитета получать всегда нечто большее.

Мне кажется, что нам нужна концепция демократии во имя развития, нужна демократия развития. Именно оно должно стать смыслом деятельности государства. Поэтому и смысл любых ограничений демократии может быть только один — во имя качественного развития страны. Его параметры: повышение средней продолжительности жизни, уровня образования, укрепление безопасности, достижение высочайших стандартов уровня и качества жизни в целом. Кстати, в Москве уровень жизни высокий, но ее качество очень низкое — достаточно вспомнить об автомобильных пробках и воздухе, которым мы дышим.

Необходимо переформатировать нашу элиту

И последнее, что я бы хотел сказать относительно субъектов преобразования, — об элите. Мне кажется, что в данном отношении у нас сложилась совершенно неадекватная ситуация.

Элиту можно понимать двояким образом. В рамках меритократического подхода элита — это лучшие. Другой, структурно-функциональный подход рассматривает элиту как тех, кто контролирует ресурсы власти и собственности, кто владеет ими. Я придерживаюсь структурно-функционального подхода и полагаю, что элита у нас,

без сомнения, есть, но она плохо работает, плохо управляет развитием страны. Полагаю, что с нынешней элитой у нас вряд ли будет возможность успешно развиваться. Люди, входящие в нее, крайне эгоистичны и непатриотичны. Конечно, все они патриоты в том смысле, что предпочитают русскую вошку и русских девушек. Однако они предрасположены не к тому, чтобы отдавать стране, а только к тому, чтобы у нее забирать, и в этом смысле они патриотичны на словах, но глубоко антипатриотичны на деле.

Я выступаю не за замену элиты. Потому что заменить ее, собственно, нечем. Речь идет о ее реформатировании. Это и есть то, что я предлагаю: реформатированные элиты.

Наша элита сформирована в соответствии с определенными принципами отбора, в результате которого одни занимают более высокие позиции, другие — менее высокие. А нужно ввести иные принципы отбора, в соответствии с которыми все перестроится.

На основании каких принципов осуществляется у нас продвижение в ряды элиты и внутри нее самой? Первое: деньги, успешность в деле их приумножения; второе: агрессивность и сила, поскольку наша элита преуспела в условиях яростной конкуренции 1990-х годов; третье: лояльность лидеру — принесенный новый подход, при котором неловкие президенту Путину оказались вне игры. Мне представляется, что все перечисленные принципы должны быть сохранены, но к ним необходимо добавить новые, в соответствии с которыми часть элиты отсеется, а часть усилится. Как это происходит, мы уже могли наблюдать: скажем, когда было введено условие лояльности новому лидеру и его политике, Березовский, Гусинский, Ходорковский отсеялись, а ряд чекантов вошли в состав элиты.

Думаю, стоит ввести еще два принципа ее отбора.

Во-первых, это нравственность. Необходимо вернуть элите нравственную обоснованность целей управления, что внесет порядок в жизнь страны и восстановит в умах смысл различения добра и зла. Сегодня же налицо ценностный разлад: большинство населения настаивает на том, что разница между добром и злом существует, а элита встывает и транслирует это через телеканалы, что разницы между добром и злом нет. Именно об этом говорят все эти «ночные и дневные дозоры»: между злом и добром, между подлостью и честностью разницы нет, забудьте, разница только в том, много или мало денег вы заработали. Это создает пропасть между элитой и народом. Да и самой элите нужна нравственная обусловленность своего статуса. К тому же мораль является одним из очень эффективных традиционных институтов, с помощью которого осуществляется управление обществом, поддержание его стабильности. Если управление не включает в себя нравственной компоненты, оно будет страдать хронической нестабильностью и потребует компенсаций или в форме массовых репрессий, или в форме периодических жертв частью элиты, которая будет время от времени выбрасываться на растерзание народу, ненавидящему «бояр».

А во-вторых, это патриотизм, преданность своей родине, своему народу, готовность жертвовать. И то и другое подразумевает, как я уже сказал, очень большую скромность в личном потреблении. Поэтому те, кто роскошествуют, должны быть в процессе реформатирования отсеяны. Только обновленная элита сможет обеспечить становление новой государственности.

Инерция институциональных форм является в нашей политической жизни очень слабым ограничителем

В свете этих задач инерция сложившихся институциональных форм не кажется мне существенной. Говорю, например, о гипертрофированной роли президента как политического института. Но представим себе, что Путин рекомендует Валентину

Матвиенко президентом, сам становится лидером партии «Единая Россия», которая получает, естественно, большинство на выборах и контролирует парламент и премьер-министра, т.е. реальную систему исполнительской власти. Почему в этих условиях руководство федеральных телеканалов должно подчиниться президенту? Оно будет подчиняться премьер-министру или лидеру парламентского большинства. Иными словами, мы, не меняя конституционно-институциональных форм, можем перейти к французской политической системе.

Никаких серьезных ограничений эти формы в себе не содержат. Вот была у нас, скажем, выборность губернаторов — и где она? Была мажоритарная избирательная система — и где она? Хорошо видно, как все это очень быстро трансформируется, подстраиваясь к потребностям власти. Повторяю: у нас нет инверсии институциональных форм. Они не укоренены в массовом общественном сознании и воспринимаются как нечто внешнее по отношению к собственно государственной власти — тем более, когда государство не соответствует своей сакральной функции носителя добра и двигателя позитивных общественных изменений. Личность Владимира Путина важнее для общества, чем институты государства. Поэтому я лично к идее изменения институциональных форм отношусь прохладно. В нашей политической жизни они являются очень слабым ограничителем.

Или еще один пример. Существует конституционная норма, не позволяющая президенту оставаться на своем посту после марта 2008 года. Но он может провести в течение полугода референдум, изменить конституцию и переизбраться на новый срок. Может с легкостью, просто не хочет. Ибо считает себя европейцем и не желает становиться «вечным властителем». Так что формально-юридические факторы в нашей политической жизни сами по себе ничего не определяют: они не первичны, а производны от более весомых политико-культурных факторов.

Конечно, чем больше электоральных циклов будет пройдено по одной и той же процедуре, тем значимее будет сила этой процедуры. Но, тем не менее, мне кажется, что легитимность президента скорее будет определяться тем, насколько он в глазах большинства населения соответствует идеалам возрождения великой и справедливой России. Соответствует — значит, пользуется поддержкой. Не соответствует — значит, не пользуется.

То, что сейчас у населения нет другого достойного кандидата в лидеры, ничего не значит. Если Путин реально оставит пост лидера, то на его место придет другой. На сегодня, насколько мне известно, он не собирается уходить из лидеров. Он собирается уйти из президентов, а не из лидеров.

Но как бы то ни было, пока еще недостаточно делается для того, чтобы сформировать эффективную государственность. Отдадим должное Путину: им проделана огромная работа, субъектность государства восстановлена. Однако впереди — новые задачи. Важнейшая из них — создание государства развития, соответствующего как вызовам современности, для чего нужны европейские институты, так и социокультурным особенностям и идентичности народа России.

ПУТЬ В ЕВРОПУ В ОБХОД ПРАВА? (ВОПРОСЫ СЕРГЕЮ МАРКОВУ)

По мере развертывания дискуссии выявляется все больший разброс мнений в оценках нынешней российской государственности и перспектив ее развития. Мнения эти настолько различны, что эксперты часто даже не считают нужным спорить друг с другом, предпочитая излагать свои проекты государственного устройства и переустройства в жанре монолога. В результате же дискуссия пока выполняет лишь одну из намечавшихся задач, представляя достаточно широкий спектр существующих в интеллектуальном сообществе политико-идеологических подходов и целеполаганий.

Как ее непосредственный организатор, я надеюсь, что в дальнейшем этот спектр будет представлен в еще более полном виде. Но ни у меня, ни у модераторов дискуссии Владимира Ланкина и Леонида Блехера нет возможности перевести ее из режима обмена монологами в режим диалога. Мы можем к этому призывать, что и делаем, но результаты пока не впечатляющи.

Вместе с тем у меня есть возможность поспособствовать хотя бы прояснению позиций участников дискуссии — в тех случаях, когда позиции эти представляются недостаточно ясными и обоснованными. И я хочу такой возможностью воспользоваться.

Не претендуя ни на изложение собственных взглядов, ни на оспаривание взглядов других, я решил предложить некоторым из этих других ответить на возникшие у меня при чтении их текстов вопросы. И первый, к кому хочу обратиться, — член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

1. Свое выступление в дискуссии Вы начинаете и заканчиваете одним и тем же — констатацией недостаточной эффективности восстановленного президентом Путиным Российского государства. Более того, Вы даже сочли возможным обратиться к главе этого государства с прямыми и жесткими вопросами: «Вот создали мы вертикаль власти. Ну и что теперь? Что она должна делать, господин президент, эта вертикаль?» И сопроводяете свои вопрошания не менее жестким оценочным суждением: «...Наша вертикаль власти перешла к мародерству».

А все, мол, потому, что президент не ставит перед этой «вертикалью» масштабных и амбициозных стратегических задач. Но тут одно из двух: либо качество восстановленной Путиным государственности такие задачи выдвигать и решать позволяет, либо не позволяет. Если позволяет, то нынешнего президента придется признать недееспособным. А если нет, тогда не очень понятно, почему Вы демонстративно отказываетесь «рассуждать про политический режим Путина» и возражаете против каких-либо изменений «сложившихся институциональных форм».

Отсюда и мой первый к Вам вопрос: в ком и в чем видите Вы главное препятствие осуществлению намеренных Вами больших проектов? В персональных особенностях главы государства или в изъянах самого этого государства?

2. Трудно понять и то, как приверженность «сложившимся институциональным формам» сочетается в Вашей логике с призывом к «европеизации институтов», к «формированию демократического государства западного типа». Ведь такой тип государства, как напомнил нам о том Михаил Краснов, предполагает, что правительство формируется парламентским большинством, причем так обстоит дело во всех европейских демократических странах не только с парламентской, но и с президентско-парламентской формой правления. А в России — не так.

Конечно, «государство западного типа» может быть выстроено и на американский манер. Но ведь и американская модель, как Вам известно не хуже, чем мне, от российской существенно отличается. Что же означает в таком случае «европеизация институтов» (или их вестернизация) без изменения «сложившихся институциональных форм»?

3. Насколько могу судить по Вашему тексту, единственным проводником и гарантом этой не очень понятной европеизации-вестернизации в Ваших глазах является действующий президент России. Вы так и пишете: «Личность Владимира Путина важнее для общества, чем институты государства».

Правда, политическая воля Путина, по Вашему же свидетельству, «провисела», по Вашей вину в него это не поколебалось. Вы полагаете, что он мог бы после своего ухода с высшего государственного поста возглавить «Единую Россию», которая, завоевав большинство в Думе, получит, благодаря его лидерству, возможность «контролировать парламент и премьер-министра, т.е. реальную систему исполнительной власти». И тогда «мы, не меняя конституционно-институциональных форм, можем перейти к французской политической системе».

Такой видится Вам, похоже, «европеизация институтов», которую предстоит осуществить исключительно благодаря личности Владимира Путина, причем почему-то (почему?) лишь после того, как он оставит свой нынешний пост и возглавит «Единую Россию».

Ну а если Владимир Владимирович лидерством в этой партии не соблазнится? Как и благодаря кому будет тогда происходить европеизация? А если даже соблазнится, то что будет, когда политический срок Путина завершится?

Короче говоря, как долго продержится у нас «французская политическая система», обаявшая своим возникновением и существованием личной популярностью, никому на всю жизнь не гарантированной, одного человека? Да и может ли вообще наша система стать аналогом французской при сохранении нынешних конституционных полномочий российского президента, позволяющих ему, в отличие от французского, формировать правительство независимо от того, какая партия имеет большинство в парламенте и кем она возглавляется?

4. Вы можете в ответ сказать, что я ломлюсь в открытую дверь, ибо прямо и открыто заявили: конституционно-правовой подход к России неприложим и выглядит в ней «смехотворным». Потому что «у нас люди никогда не жили по закону».

Допустим даже, что так. Но почему Вы в подтверждение этого тезиса ссылаетесь на Петра I и Сталина? Чем поучительна сегодня именно их деятельность для государственного творчества наших современников?

Да, тот же сталинский режим и его природу было бы нелепо обсуждать, апеллируя к параграфам бухаринской конституции. Тут Ваша мысль мне ясна. Но надо ли понимать Вашу аналогию так, что реальное государственное устройство и конституция и в сегодняшней России соотносятся примерно так же, как в сталинские времена? И что иного нам на обозримую перспективу не только не дано, но и не нужно?

Как ни стараюсь, не могу взять в толк, зачем понадобилось Вам дискредитировать конституционно-правовой подход к анализу современной российской политиче-

ской реальности. Только затем, чтобы лишний раз предостеречь от покушений на «сликвиншес институты» в форме?»

Колн так, то весь Ваш пафос сводится к апологии действующей конституции (и узаконенного ею распределения властных полномочий) посредством дискредитации конституционных принципов как таковых. Но тогда становится совсем уж непонятно, что же все-таки Вы имеете в виду, призывая к «европеизации институтов» и «формированию демократического государства западного типа». Объясните, пожалуйста.

5. И с «проектной партией XXI века» не все ясно. Точнее — ничего не ясно. Она мыслится Вами как «наиболее постоянный и консолидированный» политический субъект, как некий «комплекс, включающий госструктуры, взаимодействующие и тесно связанные с бизнесом, со СМИ, с экспертными институтами и общественными организациями». Но это — не партия «западного типа».

Это, по-моему, очередная монополично властвующая «партия нового типа». Я не прав? Поправьте. Но в любом случае как совместить все же существование подобной организации с политической конкуренцией, от которой Вы не только не призываете отказываться, а включаете ее утверждение в перечень мер, необходимых для «европеизации институтов»?

Вы честно признаете, что задача не из легких и что Вы ее еще не одолели. Но все же: могут ли быть у такой «проектной партии» реальные конкуренты? Они что, тоже должны быть «проектными», т.е. «наиболее постоянными» и включающими в себя госструктуры и прочие перечисленные Вами элементы?

6. Следующий мой вопрос опять возвращает нас к столь не любимой Вами конституционно-правовой проблематике. Вы отторгаете ее не только тогда, когда речь идет о государственных институтах, их полномочиях и их ответственности. Она не по душе Вам и тогда, когда дело касается прав и свобод граждан.

Признавая, что эти права и свободы в современной России систематически пошатываются, Вы — вслед за некоторыми религиозными и светскими деятелями — предлагаете саму концепцию прав человека подчинить концепции достоинства личности.

Преимущество второй концепции перед первой усматривается Вами в том, что она позволит всем нам раз и навсегда забыть «совершенно безумную» идею судебной защиты: ведь рядовой гражданин, законов не знающий и денег на адвокатов не имеющий, в «предельно коррумпированных» российских судах никаких шансов выиграть дело все равно не имеет. Концепция же достоинства личности тем якобы и хороша, что от обременительного и бесплодного сутяжничества людей избавляет, обеспечивая надежную защиту этого достоинства через «систему общин» (национальных, соседских, садоводческих и прочих).

Таким видится Вам «один из приоритетов развития нашей государственности». Но я, извините, опять-таки не понимаю, как это соотносится, во-первых, с «европеизацией институтов», а во-вторых, с практикой нашей пока еще не европеизированной жизни.

Предполагая, что достоинство чьей-то личности ущемлено чиновником. Или милиционером. Или сослуживцами в армейской казарме. Такое в нашей жизни, согласитесь, еще случается. И чем же поможет этой личности соседская, садоводческая либо какая-то иная община?

К тому же и ей ведь придется апеллировать к конституционно-правовой норме, согласно которой «достоинство личности охраняется государством». А у государства иного инструмента, кроме суда, для этого нет. Так, может быть, лучше все же попытаться, коли уж он так плох, его усовершенствовать, а не консервировать в нынешнем состоянии, объявляя его использование «совершенно безумным» и призывая заменить чем-то другим?

Интересно: Страсбургский суд тоже предусматривается заменить для наших сограждан «системой общины»?

7. Все вышесказанное понуждает меня более внимательно послушаться в Вашу главную идею, которую Вы вынесли в заглавие своего текста: «Европеизировать институты, сохраняя русскую идентичность».

Мне кажется, что первая часть этой формулы для Вас не очень важна и наполнена не столько конкретным политическим, сколько ритуальным смыслом (см. предыдущие вопросы). Однако и вторая часть, касающаяся русской идентичности, нуждается, по-моему, в прояснении. Что именно подразумевается под русской государственной идентичностью?

Ваш ответ: преемственная связь с византийской политической традицией. Но, замечу попутно, эта традиция, которую Вы называете идеократической, не предполагает ни демократии, ни гражданского общества, которые рекомендуются Вами будущей «проектной партией» в качестве одного из возможных стратегических целеполаганий в ходе модернизации отечественной государственности.

Тут — дилемма: либо византийские корни и идеократия (см. тексты Д. Володихина и М. Юрьева), либо демократия с гражданским обществом. И если от корней, из которых произошла русская государственная идентичность, отказываться недопустимо, в чем Вы твердо убеждены, то как можно одновременно выбрать и демократию вместо идеократии, чего Вы тоже для России не исключаете?

Но неясно и другое. Неясно, что значит следовать сегодня византийской политической традиции, уже пять с половиной столетий назад обнаружившей свою нежизнеспособность. Что Вы имеете в виду, когда к этому призываете? Единичную власть императоров и подчиненную им церковь? Бесконтрольное господство византийской бюрократии?

Да, был еще кодекс императора Юстиниана, выстроенный на принципах римского права. Но это как раз то, что Древняя Русь, заимствовавшая у греков христианство, перенимать у них не стала. Не соблазнилась впоследствии наследием Юстиниана и великие князья и цари московские. Впрочем, учитывая Ваше отношение к юридическо-правовым аспектам государственности, Вы вряд ли об этом вспоминаете. И если так, то правильно делаете: формальный культ законности уживался в константинопольской империи примерно с такой же практикой беззакония, какая существует в современной России. Но потому, не в последнюю очередь, та империя и канула в Лету.

Так что же это все-таки значит — следовать византийской политической традиции?

Кстати, некоторые из тех православных народов, которые Вы перечисляете, уже от нее отказались, предпочтя ей идеи демократии и гражданского общества. Они, вслед за современными греками, действительно сделали реальные шаги в направлении «европеизации институтов», что их культурной и религиозной идентичности ущерба не нанесло. Наша очередь еще не подошла?

**ЧЕМУ НАМ СЛЕДУЕТ УЧИТЬСЯ
У ВИЗАНТИИ?
(ВОПРОСЫ СЕРГЕЮ МАРКОВУ)**

Вслед за Игорем Клямкиным, попытавшимся сдвинуть жанр развернувшейся дискуссии от монологов к диалогу, я, в чем-то с ним неизбежно пересекаясь, тоже хочу задать вопросы Сергею Маркову.

Во-первых, потому, что он — один из признанных выразителей официоза, а не идеологический маргинал, спорить с которым в рамках содержательной дискуссии, а не турнира для публики, бессмысленно.

Во-вторых, и это важнее, в исходных пунктах его рассуждений я нашел немало мне близкого. Здесь и утверждения, что «европейские ценности для нас весьма привлекательны», что неудача 1990-х годов «не означает, что нельзя попробовать еще раз», и отказ рассматривать суверенитет как некую «священную корову», и достаточно критические оценки ряда политических сдвигов последних лет.

Значит, почва для диалога у нас есть.

Вместе с тем многие Ваши суждения, Сергей Александрович, мне кажутся по меньшей мере непроясненными, иногда противоречивыми, а главные выводы, извините, неубедительными. Возможно, Вы захотите это впечатление исправить, ответить на мои вопросы.

1. Главный тезис, который Вы вынесли в заголовок, — «европеизировать институты, сохранив русскую идентичность». Но в чем заключается та цивилизационная «особость» России, которая подлежит сохранению?

Вы выражаете надежду, что Россия станет средоточием меж двумя ветвями европейской цивилизации — западной и византийской. Однако мы ведь ведем речь не о культуре вообще и не о религиозной ее составляющей, которая, согласитесь, в секулярных обществах отходит на задний план, а о политической культуре. Что же ценного, подлежащего сбережению, содержит в себе византийская политическая традиция?

Византия, как известно, восприняла в своем государственном устройстве и — шире того — в отношениях императорской власти с населением строй восточных деспотий. Аналогичный порядок на продолжительное время утвердился и в императорском Риме. Современные же политические институты на Западе выдревали, как раз преодолевая эту традицию, развенчивая сакральный образ государства. Здесь постепенно консолидировались национальные центры силы, отстаивавшие свою независимость от абсолютной власти суверена, — церковь, бароны, города, представительные учреждения. Как же сочетаемо это с византийским политическим опытом?

Вы противопоставляете концепции прав человека достоинство личности. Даже не вдаваясь в то, насколько правомерно такое противопоставление, хочу спросить: а как обстояло дело с достоинством личности в Византии и в странах, воспринявших

ее традиции? Советую заглянуть в замечательное эссе С. Аверинцева об «унижении и достоинстве человека»¹. Там немало на сей свет интересного.

И еще: разве Вы не знаете, что народы, которых Вы относите к «наследникам византийской ветви», один за другим на наших глазах уходят от «особости» своей политической культуры и вливаются в западноевропейский поток?

2. Вы предлагаете обменять некоторые прерогативы национально-государственного суверенитета на участие в мировом правительстве. Что ж, это путь, по которому уже около полувека идут многие страны, прежде всего — большие. Но и не только они.

Все западно-, а теперь уже и восточноевропейские страны выстраивают аналогичным образом свой «общий дом», в управлении которым звучит голос и малых государств. Идет этот процесс не без срывов и откатов, вроде голосования французов и голландцев против европейской конституции. Но долговременный вектор движения определился довольно отчетливо.

Однако необходимая предпосылка участия тех или иных стран в мировых властных структурах, выстраиваемых по типу правительства, — не только их вес в мировой экономике и политике, но и принципиальная однородность (при бесконечном разнообразии подробностей) политического строя. В «мировом правительстве» на постоянной, организационной основе могут участвовать США, Европа, Япония, некоторые другие страны. Может быть, завтра и Индия. Но — лишь потому и постольку, поскольку речь идет о перформативировании мирового пространства на основе общих ценностей и предсказуемости партнеров.

Ведь «мировое правительство» — не только площадка для сооставления позиций, умерения амбиций и выработки договоренностей об общих для всех правилах игры. Для этого есть ООН и немало других организаций. А НАТО, Совет Европы — уже нечто другое, не так ли?

Договариваться, в том числе и по острым спорным вопросам, могут разные партии, но входить в состав правительства — только с совместимой политической программой. Несколько лет тому назад один наш общий с Вами знакомый, американский политолог написал: полудемократическая Россия может быть только полусоюзником Запада. Сейчас он утверждает: отступив от демократии, Россия перестала быть союзником Запада.

Поэтому мой к Вам вопрос: кто согласится принципиально менять роль недемократической, незападной страны в мировых делах? И за какие, извините, пряники? За обещания, что энергопоставки не будут использованы как политический инструмент? Даже если в это поверить, не маловато ли?

3. Вы утверждаете, что, раз наша модернизация является договорившей, ее предстоит осуществлять с помощью мобилизационных механизмов в виде Больших проектов. В качестве их прообраза Вы называете Газпром. На подходе — еще ряд «метакорпораций»: государственных или находящихся под плотным контролем государства монополий. Цель Вы им предписываете, несомненно, благую: наращивание человеческого капитала. Но, извините, и тут не все ясно.

Как все же названные Вами хозяйственные монстры успели проявить себя именно в данном отношении, в чем заключаются их «первые шаги, сделанные в нужном направлении»?

Почему я должен верить, что такие акторы займутся модернизацией сколько-нибудь широкого социального пространства? Что они станут наращивать «человеческий капитал» в масштабе страны, а не для узкого круга, на который невзять за что и почему проливаются различные блага вроде пачками доставляемых в Куршевель девиц?

¹ Аверинцев С. Постык равнозначительской литературы. М., 1977. С. 57–83.

Возможно, Вы сошлетесь на достижения Абрамовича на Чукотке, но ведь Абрамович один, а Чукотка мала...

4. Вы, насколько я понял, отдаете себе отчет в том, что Проекты, как бы они ни были заманчивы, сами по себе не заработают. Потому что доброй воли у пригретых государством монополистов для этого недостаточно, а пропрезидентской ЕдРо руководит люди принципиально бездейные, в чем с Вами опять-таки трудно не согласиться. И Вы конструируете в качестве недостающих субъектов изменений некие «проектные комитеты» и консолидирующую их «проектную партию» как объединение государственных структур, взаимодействующих с бизнесом, СМИ, экспертными коллективами, общественными организациями.

Это очень интересно. Но где вы увидели хотя бы прообразы таких структур, способных решать проблемы не только экономической, но и социально-политической модернизации в национальном масштабе?

Как и кем эти структуры будут создаваться?

Как будут соотноситься с уже существующими агентами нашего закодированного политического пространства: бюрократическим аппаратом, клонированными партиями, которым стопроцентно гарантированы «победы» на выборах, институтами гражданского общества?

5. Еще один Ваш тезис, который я всецело разделяю: трансформация российской государственности невозможна, если она не опирается на альянс достаточно влиятельных социальных сил. Надеюсь, правда, что Вы разъясните, как сочетаются два других рядом стоящих утверждения: с одной стороны, «мы находимся в процессе вполне доброкачественной трансформации», а с другой — «сегодня формируется проект государственности на основе альянса бюрократии и олигархии».

Пока же такого разъяснения нет, риску предположить, что Вас обнадеживает не нынешнее состояние, а эвентуальный переход к одному из трех обозначенных Вами возможных вариантов государственного развития, инициируемый одним из трех возможных субъектов. А именно: стратегическое целеполагание предстоит осуществлять либо альянсу бюрократии с демократией, либо идеократии, образовавшейся вокруг какой-то идеи, «не столь плохой, как большевизм», либо олигархии, превратившейся в аристократию, которая, пронизовавшись идеей служения, задаст развитию общественно ценные ориентиры. И, если я не исказил Вашу мысль, давайте кое-что просним.

Первое — кто и на основе каких критериев, исходя из чьих (и каких) интересов осуществит выбор одного из трех Ваших вариантов?

Такую задачу Вы возлагаете на «руководство проектной партии». Но это не дает ответа, а лишь отодвигает его в некую неопределенность. Кем будут эти люди — прилетят мудрецы из Галактики? Если на это надеяться не стоит, то кто из реально присутствующих на политической арене (или угадываемых Вами за сценой) деятелей сможет утвердить и навязать несогласным свое видение?

Я имею в виду не персонажей с именами, а акторов, которые могут подтвердить свои претензии на целеполагание, опираясь на контролируемые ими социально-политические активы. Не забудем при этом, что активны у тех, кто сейчас «в комнате с кнопками управления», не столь уж неколебимы, а в пассиве у них — сомнительные перспективы «нацпроектов», упомянутый Вами провал административной реформы и вероятность раскола.

Но обратимся к самим вариантам. Бюрократия + демократия? Это мы уже имели при переходе от Горбачева к Ельцину. Результат известен.

Соглашусь, что для устойчивой демократии необходимо развитое гражданское общество, а его у нас в те времена не было. Согласен и с тем, что его выращивание —

процесс длительный. Но он ведь требует далеко не только (да и не прежде всего) бюджетных расходов, суммой которых Вы нас так пугаете.

Не могу представить себе альянс бюрократии с демократией и, соответственно, с гражданским обществом при условии, что бюрократия, как у нас сегодня, контролирует каждый его шаг. Или Вы имеете в виду бюджетное финансирование формирующегося на наших глазах союза чиновничества и его «приводных ремней»?

Кстати, откуда Вы взяли калькуляцию — 100–150 млрд долларов? И так ли уж велика эта цена в расчете на ряд лет, если приостановить ее, к примеру, с военными расходами, из года в год увеличивающимися? А коли пройдет недавно внесенный депутатами — радателями военного ведомства — законопроект, расходы эти возрастут до более чем 40 млрд долларов в год. Как Вам такая перспектива?

Но если демократия с гражданским обществом — это долго и дорого, то, может быть, идеократия?

Давайте, однако, подумаем: откуда берется и как утверждается национальная идея? Еще Ельцин давал задание придворным идеологам придумать такую идею. Почему-то не получилось. Вы полагаете, что у «руководства проектной партии» может получиться? Хотел бы я видеть это руководство и воспитаться его идееисозидающей креативной мощью...

Да, с идеологической услугой, судя по текстам Б. Межуева, Д. Володихина и М. Юрьева (да частично и по Вашему), у него особых проблем не возникает. Но претендентам на роль реставраторов византийской идеократической традиции они — вместе с Вами или без Вас — в XXI веке уже вряд ли помогут.

И, наконец, последний Ваш вариант — благородная, пекущаясь об интересах народа аристократия. Двести лет прошло с тех пор, как о том же мечтал Пушкин. Мечта не сбылась. Вы ищите будущих аристократов в нынешних олигархах. Наверное, Вы их лучше знаете, чем я, но мне кажется, что воплотить в жизнь эту идею труднее, чем обратиться (обратить, а не переизвать!) порося в карася. Рад буду, если меня в том разубедите.

Интересно, а Вам самому-то, Сергей Александрович, какой вариант больше по душе? Или Вас устроил бы любой?

6. Пойдем дальше. Гражданин, пишете Вы, в столкновении с противостоящими ему силами — что с группами частных интересов, что с коррумпированными судами — победить не может из-за все той же слабости гражданского общества. Поэтому центром организации демократии в России должно стать государство. Оно только и может утвердить капитализм для сильных и социализм для слабых.

Однако очень многое в Ваших построениях подается в модальном должествовании. Государство должно? Кому? За что? Почему? Кто может предъявить ему счет к оплате? И откуда к нам снизойдет такое идеальное государство, которое сегодня отгоспожено коррумпированными судами, своекорыстной бюрократией, растленными СМИ и подкармливаемыми экспертами?

Вы честно заявляете, что не знаете, как создать режим политической конкуренции. Но, может быть, мы с Вами для начала согласимся в том, что это не может сделать государство, уже несколько лет целеустремленно и небезуспешно вытаскивающее всех независимых от него социальных и политических акторов?

Или европейские политические институты можно вырастить вне режима реальной конкуренции? С помощью имитационных учреждений? Но не сродни ли это обучению плаванию в пустом бассейне?

7. В этой связи еще один вопрос. Не следует ли критически подойти к утвердившемуся в оффициозе воззрению о благотворности перемен, происшедших в нашей стране в последние годы, — к так называемой стабилизации? Для начала, может быть, следовало бы вычленив среди факторов, позволивших нам, как Вы пишете, «отойти

от пропасти», обстоятельства объективные, не зависящие от политического курса властей? Такие, как феноменальное изменение конъюнктуры мирового энергетического рынка или передежки в нашей экономике в результате дефолта 1998 года?

А собственно политические перемены и их последствия целесообразнее, по-моему, рассматривать отдельно. И, грешным делом, я и здесь рассчитываю хотя бы кое в чем найти с Вами общий язык.

Во-первых, мне, кажется, сходится в негативной оценке ряда политических изменений, которые я называю контрреформой. Но дело не в словах. К примеру, я согласен с Вами, что утверждение «вертикали власти» плодит мародерство.

Во-вторых, меня порадовало, что Вы теперь дистанцируетесь от таких оксюморонов, как «управляемая демократия» и «суверенная демократия». Но, может быть, пойдем дальше и попытаемся ужестить, в чем политические актри, которые официальная идеология осыпала этими известными клише, соответствовали и в чем не соответствовали, хотя бы и в прошлом, «потребностям и задачам нашего развития»?

«Управляемая демократия» (governed democracy) — не слишком удачный парадокс позабытой ныне «направленной демократии» (guided democracy), провалявшийся в Индонезии при Сукарно. Если учесть, что прилагательное, а не существительное выражает существо дела, то наша отечественная вариация на индонезийскую тему означала одно: во имя неких высших национальных целей силы, осознающие эти цели, решили ограничить демократические институты и процедуры.

Допустим теоретически, что такое может в какие-то моменты отвечать главным и объективным интересам неких обществ. Но какое это имеет отношение к нашей исторической ситуации начала XXI столетия? Каким именно интересам отвечали ограничения демократии (согласусь: еще очень шаткой, неукрепившейся, не лишённой издержек) и каковы результаты такие ограничения принесли?

Ваше «отойти от пропасти» — не более чем метафора. Готовы ли Вы на листе бумаги в форме «дебет-кредит» описать приобретения и потери нашего общества, связанные с подавлением независимых от властей центров силы и влияния?

Несколько иначе обстоит дело с другим, недавно изобретенным клише — «суверенная демократия». Оно означает, на мой взгляд, следующее: нас ограничили в демократии, зато в порядке компенсации мы обрели суверенитет в таком масштабе, какого не было.

Не будем здесь дискутировать о том, насколько правомерны подобные разнородные компенсации. Вопрос в другом: более или, наоборот, менее надежно и изобретательно власть отстывает сейчас наши национальные интересы на мировой арене, чем в 1990-е годы?

Для меня это, во всяком случае, не очевидно. Мне нужны аргументы и факты. Эминентно, как было сказано, влияние объективных, не зависящих от нас факторов, только и можно решить, что же добавилось к нашей суверенности кроме риторики, способной поднимать толпу и самоощущение людей, мало в чем разбирающихся.

Когда-то мне довелось иронически отозваться о броске российского батальона миротворцев из Боснии в Косово, вызвавшем восторг в той части наших СМИ, которые соабочены «военно-патриотическим воспитанием». Меня тут же упрекнули в ерничестве. Прошли годы. Что имеем в сухом остатке? Батальон, сам оказавшийся под защитой сил KFOR, по-тихому вывели, а его начальник обрел место в Государственной думе. Не таковы ли же по своим результатам попытки наших властей вмешаться в политический процесс на Украине, ущемлять Грузию, детективная выдумка со «шпионским камнем» английских дипломатов?

А теперь совсем уж серьезно: больше или меньше у нас сейчас друзей и союзников за рубежом? И в чем усилила наших властей действительно изменили к лучшему место России в мире?

8. Вы, как я понимаю, не слишком высокого мнения о нашей элите, и это — еще одна точка нашего соприкосновения. Но можно ли исправить положение? И если можно, то как?

Ваш ответ: элиту надо не заменить («менять нечем»), а «переформатировать», добавив к трем существующим принципам отбора (деньги, агрессивность, лояльность патрону) еще два — нравственность и патриотизм. Однако и эта прекрасная идея также влечет за собой ряд вопросов.

Кто и с помощью каких социальных механизмов превратит выдвигаемые Вами дополнительные принципы продвижения в элиту в работающие? Что делать с той ее частью, которая не воспримет такое перевоспитание: ждать, что она физически вымрет, или каким-то образом удалить от власти и влияния?

И, наконец, насколько совместимы предлагаемые Вами принципы рекрутирования в элиту с уже действующими? Например, нравственность с лояльностью начальству — на византийской, надо полагать, манер?

P.S. Вы упрекнули участников дискуссии в том, что они «с утра до вечера рассуждают про Путина». Я, как Вы могли заметить, ни разу не упомянул ни действующего президента, ни лиц, участвующих в схватке за престолонаследие. Говоря словами Игоря Губермана, «мне безразлично, чья возьмет в борьбе мерзавцев с негодимы». Но, погрузившись в логику Вашего изложения, я не могу отделаться от впечатления, что за нею стоит затаенная надежда, что некто придет и, орудуя властными рычагами, все исправит.

Если не так, разубедите меня в этом, пожалуйста.

«ВИЗАНТИЙЩИНА» — ЭТО ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУПИК

Новая дискуссия о судьбах российской государственности показывает, как на смену мифам эпохи «либерализации» пришли и основательно закрепились новые (точнее — подрабываемые старые) мифы эпохи «русской реставрации». Симон Кордонский верно заметил, что времена доминирования «патриотов» и «космополитов» смешивают друг друга, не меняя существа ни российской ментальности, ни российской государственности: «Разница между патриотами и космополитами в том, что патриот погружен в прошлое и считает, что будущее должно стать воспроизведением „великого прошлого“, в то время как космополит считает, что прошлое имеет смысл лишь как проекция еще не осуществленного „великого будущего“». Но ведь нечто подобное отмечал еще 150 лет назад Александр Иванович Герцен: «Одни (западники) хотят насильственно раскрыть дверь будущему; другие (самобытники) насильственно не выпускают прошедшего; у одних впереди пророчество, у других — воспоминания. Их работа состоит в том, чтобы мешать друг другу, и вот те и другие стоят в болоте».

Вот и ныне модернизаторам-космополитам предложено расслабиться и отдохнуть, а на коне снова самобытникам-патриоты. Как говорится, «мели, Емеля — твоя неделя!» Что же сегодня могут предложить новые российские идеологи, взявшие на вооружение два главных реставраторских мифа — «миф спасения» и «миф особости»?

Миф спасения

Как и в былые времена, прояснение позитивной стратегии нынешней государственности все откладывается и откладывается разговорами о том, что о стратегии говорить преждевременно, ибо еще не закончено «сбирание государственности» после очередного «смутного времени». Один из участников нашей дискуссии Сергей Марков так и пишет: «Россия при Путине, образно говоря, отошла от края пропасти, смогла избежать опасности непосредственного социального и политического краха. <...> Было движение куда угодно, лишь бы от пропасти...»

«Куда угодно, лишь бы от пропасти» — этот тезис стал в России традиционной индугагенцией власти на любые ее импровизации. На известный вопрос «куда ты завел нас?» и даже более робкое «куда вы нас ведете?» не сморгнув глазом отвечают: «Куда угодно, лишь бы от пропасти». Подобного рода самоологотика власти имеет в России давнюю историю, собственно говоря, с самого призвания Рюрика править в «страну великую и обильную», в которой, однако, «порядка нет... Пушковская апология Петра Великого в «Медном всаднике» сводилась к тому же: да, «Россию поднял на дыбы»; да, «удрой железной», но ведь «над бедной!»

Демонизация предшествующего правления как «смутного времени» (пропасти, бедны и пр.) — любимая формула самооправдания любого правителя. Но в какой-то момент наиболее нетерпеливые его сторонники начинают поторавливать с определе-

инем позитивной стратегии. Вот и сегодня С. Марков «торопит» Путина: «Путин все еще так и не определился со стратегией. <...> Мы смогли отойти от пропасти, и уже этим Путин заслужил достойное место в истории, но с определенного момента он явно медлит с принятием принципиальных политических решений. <...> Наметьтесь определенное „проникание“ политической воли власти».

Собственно, С. Маркову лучше всего ответил другой участник дискуссии, не понаслышке знающий о настроениях в кремлевской администрации, — уже упоминавшийся С. Кордонский. С присущим ему профессионализмом, он очень четко показал, что тот тип государства, который создан сегодня, по сути своей и не может иметь экономической стратегии, ибо это социум принципиально иного, неэкономического типа — «ресурсное государство». Как принято выражаться у нас в Институте философии, в обществах такого типа власть не функциональна (для реализации определенной стратегии), а онтологична. Говоря же о перспективах такого рода социума, я бы опять согласился с С. Кордонским: «Сегодняшнее промежуточное состояние не может быть вечным. Ресурсное государство, с высокой вероятностью, либо будет разворовано, раздроблено и расщеплено на части, либо превратится в ходе репрессий в какой-то аналог СССР. <...> Сегодня содержание текущей политики определяется стремлением удержать ситуацию и как можно дальше оттянуть время, когда надо будет делать выбор. <...> Все может быть, но мне кажется, что в рамках существующей политической и идеологической системы нет выхода из этой колее».

В таких обстоятельствах вполне объяснимо, что власть не хочет (а во многом и не может) расстаться с мифологией спасения, которая является «спасительным кругом» для ее собственной легитимности. Понятно и то, почему эта власть лишь различает и, как может, совершенствует эту мифологию: от воссоздания образа России как вновь «осажденной крепости» до демонизации «оранжевых революций» на постсоветском пространстве. Характерным примером может служить и спланированная, но явно не удавшаяся в задуманном объеме кампания по дискредитации (в ходе дискуссии о Февральской революции) либеральной альтернативы, существовавшей в России девятсто-сто лет назад.

Однако те, кто ждет от такой власти еще и позитивной стратегии, не могут этим удовлетвориться. И здесь начинает вновь работать другой традиционный миф эпохи русской Реставрации — миф о нашей цивилизационной особости.

Миф особости

Возможно, некоторым достижением очередной эпохи Реставрации можно считать сравнительно слабый удельный вес в нынешней патристической риторике мифологии евразийства, в свое время немало послужившей радикальному противопоставлению российской цивилизации западной. Сегодня многие наши самообытчики предпочитают искать российскую «особость» и «суверенность» все-таки «внутри Запада». И на это есть, на мой взгляд, две главные причины.

Во-первых, стойкое вовлечение российских элит, в том числе правящих, именно в западную модель ценностных предпочтений и бытового поведения. Во-вторых, возросшее влияние на наши идентификационные поиски Русской православной церкви. Задача поиска цивилизационной «особости» таким образом сужается: требуется найти свое самобытное место, но желательно внутри христианской Европы. Искомый ответ напрашивается сам собой: мы — «другая Европа», наследники восточнокристанской ветви европейской цивилизации, мы — законные наследники Византии. И проработка этой идентификационной версии имела бы свой смысл, если бы адепты данной концепции доводили до конца логику своих рассуждений.

В нашей дискуссии убежденным защитником «византийской модели» стал опять-таки С. Марков, ранее представлявшийся мне глубоко светским и рациональным чело-

веком: «Мы вместе с украинцами, белорусами, грузинами, армянами, болгарами, румынами являемся византийской частью большой европейской цивилизации. <...> Европа в свое время разделилась на Западную, образованную королями и отдельно от них стоявшей церковью, и Восточную, где было единство империи и соединенной с ней церкви. <...> Нам сегодня еще предстоит осознать себя в этом качестве продолжателей византийской традиции в европейской цивилизации».

Некоторые участники дискуссии были спровоцированы этой позицией на ряд естественных вопросов и комментариев, оставшихся пока без ответа. Оно и понятно: трудно оспорить контртезис Вinstора Шейниса о том, что многие из тех народов, которые С. Марков относит к наследникам «византийской ветви», «один за другим на наших глазах уходит от „особости“ своей политической культуры и вливается в западно-европейский поток». Что, по мнению В. Шейниса, лишь подтверждает общенсторическую тенденцию: и на самом Западе политические институты демократии вызревали, преодолевая «византийскую» модель, развенчивая сакральный образ государства.

Думано, однако, что смысловая сердцевина позиция С. Маркова, действительно требующая осмысления, но которую он сам предпочитает не акцентировать, состоит не в противопоставлении западной демократии и византийской идеократии, а в противопоставлении западного правового государства и российского пренебрежения правовой сферой — как властями, так и обществом. С. Марков прямо так и пишет: «У нас люди никогда не жили по закону», а потому, мол, и апеллировать к нему бессмысленно. В этом, а не в «византизме» и «идеократии» в конечном счете и обнаруживается автором наша принципиальная самобытность.

Здесь, впрочем, следует обратить внимание на аргументацию еще двух участников дискуссии, которые указывают на то, что византийская традиция, под оболочкой сакрализации власти, напрямую ведет к общественной деградации и распаду. «Формальный культ законности, — справедливо отмечает Игорь Клякин, — ужинался в константинопольской империи примерно с такой же практикой беззакония, каковая существует в современной России. Но потому, не в последней очереди, та империя и канула в Лету». Вывод очевиден: византийская версия нашей самобытности, хотим мы того или нет, узаконивает и сакрализует в отечественной политической культуре вовсе не «государственный порядок», пусть даже идеократический, а, напротив, тенденцию к социальной энтропии и государственному распаду. Непреодоленная византизм — это и есть главная причина нашего общественного неблагополучия.

Как ни парадоксально, к подобному же выводу приходит и Носиф Дискан, который, политически самоопределяясь ближе к адептам современной власти (прошу извинения, если ошибаюсь), интеллектуально оказывается в лагере убежденных западно-универсалистов. Фактически размежевая пути развития Запада и России, И. Дискан говорит о недостатках российской самобытности, не позволившей до сих пор проделать в России ту историческую работу, которую проделал Запад. Автор констатирует, что на Западе «секуляризация, святые религиозной этической рамки создает основу для светского государства современного типа... Результатом секуляризации оказывается и идея гражданского общества: при снятии религиозной этической рамки обнаруживаются уже сложившиеся этические, социальные и прочие иные основы нового государственного и общественного порядка». В России же, отмечает И. Дискан, ссылаясь на труды П.Н. Милохова, после новозванских реформ «практически исчезла подлинная религиозность». И поясняет: «Точнее, исчезла вера, осталась лишь религия как государственный институт. Можно сказать, что Россия стала страной с религией, но без веры».

Я не только солидарен с этой позицией, но и хотел бы дополнить ее одним важным обстоятельством. Крупнейшие российские религиозные мыслители и культурологи (отмечу здесь В. Соловьева, Г. Федотова, Ф. Степуна) в своем анализе эволюции рос-

сийской идеологии пришли к выводу, что те «неевропейские» процессы, которые И. Диксин вслед за Милюковым характеризует как пагубные для России, были результатом победы в ней именно византийской модели взаимоотношений государства, церкви и общества.

Итак, причиной российских бед является именно идеократизм и сакрализация всякой власти, в том числе и «контрвласти», а в пределе — и самой «Революции». На последнее обстоятельство — идеократизацию российских контролит — И. Диксин обращает главное внимание, но ведь, справедливости ради, надо добавить, что первопричиной является вполне «византийский» характер самой действующей власти, которую легче по-византийски же и сломать, чем по-западному реформировать и секуляризировать.

Отметчу еще раз как положительный факт, что несомненный «государственник» И. Диксин в своих размышлениях не только не скрывает, но и открыто прокламирует, что опирается на логику анализа, представленную в исторических и культурологических текстах классика российского либерализма и западничества П.Н. Милюкова. Однако сам Павел Николаевич не только констатировал причины «исторической патологии» российского пути, но и предлагал лекарства для ее лечения, могущие оказаться актуальными и в сегодняшней России.

Подлинным европеизатором России, по мысли П.Н. Милюкова, не может стать персоналистский режим героя-одиночки — даже такого, как Петр Великий. Убедивший европеист, Милюков стал одним из пионеров развенчания этой псевдозападной иллюзии, столь характерной для нескольких поколений отечественных космополитов: «При полном отсутствии той междуклеточной ткани социальных отношений, которая вырабатывается культурным процессом и одна может обеспечить непрерывность социального действия, Петру поневоле приходилось верить в одного только себя и полагаться лишь на собственные силы».

Бытовой, формальный европеизм, закрепившийся в петровской России, — обязательный, но самый низший этап наращивания европеизма содержательного, необходимый пролог к постановке главного вопроса: как сформировать в России эту исконую русско-европейскую «междуклеточную ткань социальных отношений»? Поэтому в знаменитых «Очерках русской культуры» у Милюкова зарождается мысль о приоритетности создания в России европейской гражданско-политической среды. «Россия не хватает политики», полагал Милюков, и в первую очередь ее важнейшего элемента — идеального плюрализма и развитого парламентаризма, опирающихся на либеральное законодательство.

Думаю, неуспех этого правового и конституционалистского проекта в начале XX века, когда напротив склестнулись две наши самобытные «византийщины» — сакрализация Власти и сакрализация Революции, не является окончательным свидетельством того, что Россия фатально не способна снова встать на общеевропейской путь.

**ПОЧЕМУ ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ
НЕ ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ПРЯМЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ?**
(ДОПРАВОВОЙ ПАТЕРНАЛИЗМ
СЕРГЕЯ МАРКОВА ПРОТИВ ПРАВОВОГО
ПАТЕРНАЛИЗМА МИХАИЛА КРАСНОВА)

Уже много позже после прочтения статьи «Фатален ли персоналистский режим в России?», когда дискуссия по этой публикации была в самом разгаре, я осознал, как тонко доктор юридических наук Михаил Краснов, сам того, похоже, не осознавая, «прокачал» наше политическое сознание, профессионально жестко подведя его под «момент истины».

Честно признаюсь, что при первом прочтении у меня сложилось твердое убеждение, что автор статьи просто не справился с задачей, которую перед собой ставил, и завел всех нас в тупик. В какой-то степени это мнение сохраняется и сейчас, о чем ниже скажу подробнее. Но ощущение тупика заставляло вновь и вновь перечитывать статью, в которой Краснов будто нарочно подкладывал нам как можно ближе «доказательную базу», по сути опровергающую, не оставляющую камня на камне от его концепции. В итоге же я пришел к выводам, вытекающим, как мне кажется, из логики Краснова, но несколько корректирующим его собственные выводы.

Ошибка патриархального и правового сознания.

Тест Михаила Краснова

Главный тезис статьи сформулирован автором предельно четко и однозначно: «Персонализм может быть преодолен с помощью персонализма. <...> Только обладая президентским постом и при этом высокой популярностью (рейтингом), лидер может инициировать изменения самих институциональных условий, продуцирующих персоналистский режим». И, в явном противоречии с этим, другой тезис Краснова: «Секрет консервации персоналистского режима кроется в конституционной конструкции, а не в особенностях личности лидера страны и не в особенностях нашего политического мышления».

Но, простите, если личные качества лидера государства, как считает автор, какими бы выдающимися они ни были, все равно не позволяют справиться с консервацией режима, обусловленной конституционной конструкцией, то на чем же тогда базируется утверждение, что персонализм может быть преодолен с помощью персонализма? Иными словами, вся аргументация, на которую опирается Михаил Краснов, со всей очевидностью опровергает главный тезис его концепции. Но именно эта очевидность долго не давала мне покоя. Ну не мог же такой высококвалифицированный юрист не заметить столь явного и очевидного противоречия в своих доказательствах! Тем более что сам же эти опровергающие его концепцию доказательства положил нам, что называется, под нос.

И только в ходе дискуссии, развернувшейся по его статье, я понял, что Михаил Краснов волею или неволею (скорее, неволею) провел тестирование нашего сознания. Собственно, статья и есть тест, который позволяет каждому уловить свой «момент истины», разделяющей патриархально-традиционное сознание и сознание правовое.

Противоречия в тексте Краснова, его бьющая в глаза непоследовательность как раз и свидетельствуют, по-моему, о том, как трудно даже высококлассным юристам вырваться из плена допатриархального патриархального сознания. И пока мы в этом плеску находимся, мы так и будем бесконечно блуждать в поисках причин того, почему же именно в нем пребываем и не можем из него вырваться. «Не патриархальные взгляды общества востребуют персоналистский режим, — пишет Краснов, — а персонализм консервирует патриархальные отношения в обществе и его патриархальный взгляд на устройство власти». Но ведь не менее убедительно и обратное: консервировать можно только то, что в обществе наличествует и на что в нем есть спрос. Это — ловушка патриархального сознания, в котором, однако, уже возникла правовая составляющая, позволяющая посмотреть на него как бы со стороны. Но остаточный патриархальный синдром сужает поле обзора и обрекает мысль на непоследовательность.

Последовательно правовое сознание соотносит то, что происходит в государстве, с теми фундаментальными юридическими нормами, которые определяют и суть режима, и механизм функционирования государственного организма. А что сделал Краснов?

Он сделал не так уж мало, шаг за шагом вскрывая «секреты» конституционной коэволюции и показывая, какое место в Конституции, в системе разделения властей занимает президент России и другие институты власти. Такой анализ очень важен, учитывая, что один из незабываемых принципов основ конституционного строя России — принцип разделения властей. И он тем более важен, что многие авторитетные юристы и даже авторы юридических словарей утверждают, что «глава государства в РФ — не часть системы разделения властей, он поставлен над другими ветвями власти»¹. Но главный вопрос ведь в том-то и заключается, насколько такое положение президента, закрепленное Конституцией, соответствует другим, более фундаментальным положениям самого Основного Закона.

В первой главе первого раздела Конституции, где определены основы конституционного строя России, есть две статьи — 10 и 16, имеющие принципиальное значение для понимания поднятых в дискуссии проблем.

В статье 10 записано: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны».

А в статье 16 (ч. 2) говорится: «Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации».

Отсюда следует, что конституционные положения, определяющие полномочия президента и ставящие его «над другими ветвями власти», противоречат основам конституционного строя и в этом смысле конституционными не являются. Отсюда следует также, что именно президент, как гарант Конституции, призван это противоречие устранить. Так что у меня есть все основания утверждать, что Михаил Краснов не довел свой анализ до выявления противоречий в самой Конституции, которая, узаконивая персоналистский режим, одновременно содержит и положения, предписывающие персоналификатору власти преодоление персонализма. Вместо этого автор статьи, в полном соответствии с канонами патриархального сознания, сделал главный акцент на личности правителя и производной от его индивидуальных качеств популярности, чем и загнал себя в тупик, на который ему и указали некоторые участники дискуссии.

¹ Большой юридический словарь. М., 2001. С. 475.

Конфликт патриархальных и демократически-правовых принципов в Конституции России

Приблизительно год назад я подошел вплотную к данной теме, написав статью «Двойное дно Российской Конституции», которая была представлена на сайте «Либеральной миссии». К этому меня подтолкнула книга Александра Ахмедера, Игоря Клямкина и Игоря Яковенко «История России: конец или новое начало?», буквально перевернувшая мое мировоззрение.

Совершенно оригинальный метод исследования нынешнего состояния Российского государства через его прошлое, через призму четырех обваловых государственных катастроф (я назвал для себя этот метод исследования историко-политической логикой) позволил авторам книги увидеть в нашем настоящем «незавершенное прошлое». Такого рода фатальная «незавершенка» проявляется и в современной российской Конституции. В дополнение к сказанному выше предлагаю посмотреть и на некоторые другие, порой просто анекдотические, противоречия между ее положениями об органах государственной власти и положениями основ конституционного строя Российской Федерации об этих же институтах государственного управления.

Восьмым, скажем, Совет Федерации. Сергей Миронов, председатель верхней палаты, явно испытывает комплекс конституционной неполноценности из-за того, как формируется этот орган Федерального собрания. Если он, как принято считать, формируется в соответствии с Основным Законом, то перед нами констатация конституционный анекдот: одни назначенно-утвержденные чиновники (губернаторы) дают другим выдвигаемым ими чиновникам (так называемым сенаторам) полномочия, которыми сами не обладают и обладать не могут. И какие полномочия? Эти люди, являясь объективно вторичными лицами по отношению к тем, кто их делегирует в верхнюю палату парламента, наделяются полномочиями (посмотрите Конституцию!), сопоставимыми разве что с президентскими. Но если учесть, что реально они представляют тех, кто получает свои должности только с дозволения главы государства, то получается, что они представляют именно его. И это — самостоятельная и независимая представительная власть? О каком вообще разделении властей — основном принципе конституционного строя — можно в данном случае говорить?!

Или обратимся к судебной власти. Основами конституционного строя утверждены забытый принцип, согласно которому она, так же как законодательная и исполнительная, самостоятельна. Между тем в конституционную главу «судебная власть» в вошном противоречии с вышеуказанным принципом разделения властей включили прокуратуру в ее нынешнем состоянии. Как и чем это можно объяснить?

Я думаю, только тем и так, что и в самой Конституции мы наблюдаем ту же ошибку правового и патриархального сознания, к которой я и пытаюсь привлечь внимание участников дискуссии. Но и в данном случае победу одержало начало патриархальное, выступающее под маской правового. Потому что вся система властных институтов и в самом деле выстроена в Основном Законе в соответствии с патриархальной природой персоналистского режима. И, одновременно, в вошном противоречии с основами конституционного строя. Об этом противоречии вскользь упоминает и Михаил Краснов, когда говорит о конституционных полномочиях самого персонафикатора.

«...В нашей Конституции, — отмечает он, — есть весьма странное положение, согласно которому Президент РФ определяет основные направления внутренней и внешней политики (ч. 3 ст. 80 и п. «е» ст. 84). Такого полномочия не только нет в конституциях европейских стран, кроме некоторых на пространстве СНГ, но и не может быть. Ведь даже чисто логически это полномочие не укладывается в принцип разделения властей, ибо последний предполагает, что уж в чем, в чем, а в определении политики участвуют как минимум все легально представленные политические силы.

Данное полномочие было попросту заимствовано из Конституции РСФСР–РФ. Таким полномочием обладал Съезд народных депутатов, что закономерно, ибо данное полномочие характерно именно для советского типа власти».

Однако это полномочие не только логически, но и в правовом звучании не соответствует неизменным принципам основ конституционного строя. Поэтому у нас есть более чем достаточно оснований для того, чтобы констатировать наличие в Конституции России двух разновекторных, по сути уничтожающих друг друга позиций: традиционно-патриархальной, ориентированной на воспроизводство и укрепление персоналистско-самодержавного режима, и демократически-правовой, диктующей, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, что государственная власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви и что каждая из них самостоятельна.

Но это фундаментальное противоречие осталось, по сути, на периферии анализа, предпринятого Красновым. Инерция патриархального сознания давляет даже над лучшими нашими юристами-конституционалистами. Ведь нет же, повторю, никакой надобности апеллировать к личности президента и рейтингу его популярности по той простой причине, что персоналистский режим, определяющийся конституционными полномочиями главы государства, не соответствует принципам, которые сама Конституция провозглашает приоритетными и основополагающими. Какими бы полномочиями ни наделялся Конституцией Президент России, они не должны противоречить основам конституционного строя Российской Федерации. Ну а если противоречат, то, в соответствии со статьей 16 Основного Закона, эти полномочия нельзя признать легитимными.

Очевидно же, что именно сам Президент РФ, являясь гарантом Конституции, и призван, в первую очередь, в установленном законом порядке предпринять меры по устранению тех дисбалансирующих конституционный строй противоречий, о которых идет речь.

Момент истины для Президента России

Статья 16 Основного Закона неумолимо подводит Президента Российской Федерации под момент истины. Эта статья требует от главы государства прямо ответить себе и «источнику власти» — гражданам демократического, правового государства: готов ли, способен ли гарант Конституции исполнить свой государственный долг и защитить конституционный строй России, его демократические устои? Или же он будет и впредь продолжать, вопреки основам конституционного строя, позиционировать себя прямо и косвенно как лицо (институт), стоящее над всеми ветвями власти? Будет, говоря иначе, и дальше продуцировать существование персоналистского режима, сохраняя и охраняя вышеупомянутые высшие органы государственной власти в их нынешнем парадоксально неправоном состоянии?

При таком обвешивании правовой сути проблемы трансформации режима я могу согласиться с формулой Михаила Краснова, согласно которой персонализм может быть преодолен с помощью персонализма. Потому что при таком подходе не личные качества главы государства определяют демократически-правовой вектор движения России, а исключительно приоритеты конституционных обязанностей, возложенных на президента, важнейшая из которых — защита конституционного строя. Именно в 16 статье Основного Закона заложены легитимирующие основания для возвращения президента и государства из той «исторической ловушки», о которой говорит Краснов.

Я отнюдь не хочу преуменьшать остроту проблемы приведения режима (именно режима, а не только президента) в соответствие с основами конституционного строя.

Более того, я вовсе не исключаю, что персоналистский режим уже прошел очередную историческую точку невозврата и что из «исторической ловушки» России опять выбраться не удастся — со всеми вытекающими отсюда катастрофическими последствиями, которые страна не раз и не два переживала в прошлом. Та же книга «История России: конец или новое начало?» на примере четырех системных катастроф, происшедших в нашей стране, очень наглядно и убедительно показывает, в какую бедную ведет инерция неправового государственного мышления.

На фоне одетой в новые наряды, но такой старой для России самодержавности, все более агрессивно проявляющейся в избранном режимом курсе, я увидел в выступлении Михаила Краснова заявку (к сожалению, только заявку!) на очень смелую и сильную политическую позицию. Читая его статью, я особенно остро осознал, насколько важно в патриархально-правовом государстве начать, наконец, говорить с властью языком права, конституционным языком. Но, чтобы разговор получился содержательным и — по отношению к власти — обоснованно требовательным, надо поскорее освободиться от рудиментов патриархального сознания, предрасположенного к подмене законных требований выражением надежд на индивидуальную добрую волю тех или иных конкретных правителей.

Не стоит, конечно, и в данном случае строить иллюзий, что персоналистский режим услышит, примет и рассмотрит высказанные в его адрес конституционные претензии. Такой режим предпочитает слышать преимущественно самого себя. Но те, кто пытается позиционировать себя как оппозиция, именно в конституционно-правовом подходе могут найти базовые элементы позитивной политической программы.

Впрочем, дело не только в этом. Такой подход к анализу нашей государственности позволяет каждому выработать интеллектуальное противоподие как против осточертевших проявлений патриархального сознания, так и против аргументации, призванной это сознание увековечить посредством ссылок на сам факт его существования. Насколько важно выработать подобное противоподие, я лишний раз убедился, читая выступление в дискуссион известном политолога, члена Общественной палаты при Президенте России Сергея Маркова. Он обрушился на Михаила Краснова, исходя из других позиций, прямо противоположных тем, которые я отстаиваю.

Правда от Сергея Маркова

Отметив своевременность и актуальность вынесенных на обсуждение вопросов, Марков сразу же заявил, что расценивает конституционно-правовой подход, презаигрывающий в концепции Краснова, «как принципиально неприменимый для России, как такой, практическая эффективность которого смехотворна». Почему? А вот почему.

«В странах, где законы исполняются, — пишет Марков, — такой подход в какой-то мере применим. <...> У нас люди никогда не жили по закону. Россия пережила несколько колоссальных исторических переломов. Сначала Петр I, ломая традицию и поширя привычные нормы, ценою громадных человеческих жертв привнес в нее западную модель развития. Потом коммунисты, вопреки всем законам, осуществили индустриализацию, также потребовавшую колоссальных жертв. Может быть, в России и следует жить по закону, но для того, чтобы учитывать такую ее тысячелетнюю историю, научить этому ее граждан, думаю, потребуются жертвы, равноценные тем, на которые пошли Петр I и большевики. Если кто-то из политиков готов на это, то, пожалуй, пусть пробует выстраивать стратегию в рамках конституции и права. Я не против того, чтобы бросить Россию в еще одну революцию, теперь — «революцию закона», но я считаю, что сам по себе конституционно-правовой подход в нашем случае является методологически неверным, так как Россия пока еще очень далека от царства закона и конституции. Это пока не про нас».

Конечно, в дискуссиях, да еще в такой, где в центре внимания власть, народ, право, у каждого, как говорится, Павла — своя правда. Дело, однако, в том, что правда от Сергея Маркова, согласно которой «наши люди никогда не жили по закону» и потому «царство закона и конституции пока не про нас», выталкивает Россию на задворки правовой цивилизации. Может быть, там ей и место, но тогда надо бы набраться смелости и заявить об этом прямо. Марков, однако, такой смелости не демонстрирует.

Далее, если народ у нас никогда не жил по закону, то как же он может быть (см. статью 3 Конституции РФ) единственным источником власти? Точнее, источником какой власти может быть народ, таким вот образом идентифицированный? Знаем, конечно, какой, но все-таки... Все-таки очень уж непривычно звучит: народ — источник беззакония и коррумпированности власти!

Впрочем, Бог, как известно, не в силе, а в правде. И, может быть, стоит послушаться в нарек Маркова и посмотреть, наконец, этой правде в глаза?

Попробуем. Учитывая же, что политолог в подтверждение своей мысли ссылается на прошлый отечественный опыт, обратимся к нему и мы. Для этого воспользуемся уже упоминавшейся выше книгой «История России: конец или новое начало?».

Обращение именно к ней объясняется следующими причинами.

Во-первых, в этой книге впервые, насколько могу судить, прослежены роль закона и ее изменение в нашей стране, начиная от первых Рюриковичей и заканчивая нынешним временем, в котором нам довелось жить.

Во-вторых, историческое движение законодательных, правовых потоков прослеживается авторами в русле общемирового цивилизационного течения — прежде всего, в сравнении с опытом Западной Европы и Византии.

В-третьих, что особенно важно в свете умозаключений Сергея Маркова, движение этих потоков исследуется в книге в сопряжении с анализом как народного правового сознания, так и соответствующего сознания российских правителей и элит.

Остановлюсь лишь на двух исторических периодах, к которым апеллирует политолог для эмпирической иллюстрации своих констатаций. Начну с Петра I и его преобразований.

Утверждать, что люди в ту пору не жили по закону, — это, мягко говоря, преувеличение. Потому что как раз при Петре все сферы жизни, включая и предписанные самодержцем ее изменения, начали регулироваться законодательно. При нем даже власть самодержавного царя впервые стала легитимизироваться не от имени Бога, а от имени закона.

Именно закон стал в руках реформатора тем инструментом, с помощью которого он осуществлял вестернизацию жизненного уклада элиты, принуждал ее к освоению европейских знаний и европейской культуры. Петр пытался придать этому инструменту универсальное значение, декларируя обязательность законопослушания для всех, включая самого себя. Конечно, деятельность верховного правителя никакими юридическими нормами не регулировалась, его власть была ничем не ограниченной (хотя, тоже согласно закону!), что создавало возможности для деспотического произвола. И тем не менее есть не так уж мало примеров того, как Петр признавал над собой власть закона и отказывался от действий, его попирающих.

Что касается подданных, то им при Петре жить не по закону было рискованно. Поэтому крестьяне, например, платили введенную реформатором разорительную для них подушную подать (своего рода налог на жизнь) и отдавали своих сыновей на пожизненную солдатскую службу. Узнай они от Маркова, что жили не по закону, очень бы удивились.

А вот российскую властную элиту и бюрократию принудить к такой жизни не удалось и Петру, как он ни пытался. И если бы политолог говорил только о них, то он

был бы стопроцентно прав. Но он-то говорит обо всем народе, косвенно эту злиту и эту бюрокративо оправдывая: ведь все живут не по закону, а не только большие и малые чиновники.

И ссылка на Сталина, мне кажется, вовсе не доказывает то, что хочет доказать с ее помощью Сергей Марков. Могли ли наши люди жить в сталинскую эпоху не по закону? Если кто и мог, то разве что сам великий вождь и учитель. Его власть не только не регулировалась юридическими установлениями, но, в отличие от власти российских императоров, даже не легитимировалась ими. А все остальные... Всем остальным неправо было жить по закону в том смысле, что он не гарантировал им защиту и тогда, когда они его не нарушали. Но это вовсе не значит, что они пренебрегали его запретами.

Ну вот, скажем, был такой закон от 7 августа 1932 года, известный как закон «о колхозах». И что же — советские крестьяне и после этого продолжали ходить по колхозным полям, собирая зерно для собственного пропитания? Разумеется, находились смельчаки, готовые рисковать — голод ведь в стране был ужасный. И десятки тысяч крестьян и их детей по этому закону были отправлены в ГУЛАГ. Но остальные-то с новой юридической нормой предпочли считаться.

Да, в сталинские времена законодательство было репрессивным, допускавшим возможность самого широкого толкования. Да, «социалистическая законность» была так устроена, что гражданское, уголовное, хозяйственное право обслуживало в первую очередь интересы государства, а не граждан. Да, «социалистическое правосудие» осуществлялось нередко внесудебными органами. Да, авторы упоминавшейся книги имели все основания утверждать, что в сталинском СССР в духе традиции, идущей именно от Петра I (а в чем-то и от более ранних времен), была осуществлена милитаризация повседневного жизненного уклада, означавшая выстраивание мирной жизни по военному образцу. Но все это имело место вовсе не потому, что иное, неказарменное законодательство и нормальная правоприменительная практика были для народа неприемлемы. Они были неприемлемы для власти, которая не умела и не хотела управлять иначе. А что же народ? В противоположность Сергею Маркову, я склонен утверждать, что при любой власти, любых законах и любой правоприменительной практике большинство людей в России всегда считалось с действовавшими правовыми нормами и нарушать их остерегалось.

Допускаю, что в ответ Марков может напомнить, к примеру, о миллионах «несунов» брежневской поры — вот, мол, что происходит с народом, когда репрессивное законодательство сменяется более щадящим. Ответу известной поговоркой насчет рыбы, гниение которой начинается с головы. Это не значит, что оно не добирается до хвоста. Но начинается — с головы. А в обществе — с власти и элиты, которые свое самоопустительство в беззаконии легитимируют определенным попустительством по отношению к «низам». Неужели в них, «низках», нужно искать причины коррумпированности той же брежневской системы?

Сомнительна, очень сомнительна та правда о народе, которую решил донести до нас член Общественной палаты Сергей Марков. И это касается не только прошлых поколений, но и наших современников.

Презумпция виновности народа

После того как Сергей Марков положил в основу своих концептуальных построений полную и исторически обусловленную презумпцию виновности всех граждан нашей страны в неправомерном характере отечественной государственности;

после того как он на основании этой презумпции виновности всего народа заявил: чтобы научить россиян жить по закону, потребуются жертвы, равноценные тем, на которые пошли Петр I и большевики;

после того как он открыто предупредил об этих новых миллионных жертвах закона политиков, готовых выстраивать стратегию в рамках Конституции и права, — после всего этого как-то даже неловко говорить о том, что такая стратегия определена в 1993 году нашей Конституцией, а миллионов ее жертв что-то не наблюдается. Или, может быть, россияне живут вопреки Основному Закону?

А вот жертв беззакония властей разного уровня, жертв коррумпированных правоохранительных органов, «басманного правосудия», высокомерия судей на совести нынешнего режима тысячи и тысячи. Так что не стоит народу приписывать то, что совершает наша власть и наша элита, у которой, по признанию самого политолога, пока не все обстоит хорошо с нравственностью и патриотизмом. Можно, конечно, вспомнить о том, что многие люди, к элите не принадлежащие, берут, например, зарплату в конвертах, с которой не платят налоги. Но кто им, интересно, эту зарплату выдает? И как им платить налоги с нигде не зафиксированного дохода?

Да, жить нынче, как, впрочем, и вчера и позавчера, по закону рядовому гражданину в России очень непросто. И что же предлагает им член Общественной палаты Сергей Марков? Он предлагает им отказаться от отстаивания своих прав в суде, называя такое поведение «совершенно безумным». Удивительная логика! Людям предлагается отказаться от того, что они уже привыкли делать!

Вы, Сергей Александрович, хотя бы раз были сами в российском суде? Суды по Вашей позиции, Вы просто не представляете, сколько Ваших сограждан ищут защиты своих законных прав и интересов в гражданских, уголовных, арбитражных судах. Это не единицы, имеющие «талу» или «рышу», а миллионы! Если неохота самому идти в суд, то поговорите хотя бы с юристами, заседающими вместе с Вами в Общественной палате, полистайте «Вестники Верховного суда». И Вы, надеюсь, поймете, что «совершенно безумием» является и отрицание значимости судебной защиты, и провозглашение презумпции виновности граждан России, по закону якобы никогда не являвшихся и жгущих неспособных, и анафема на этом основании конституционно-правовому подходу, эффективность которого в условиях «смехотворна».

Давайте все-таки сверить фактами. Тем более что у Вас, как у члена Общественной палаты при президенте, наверняка имеются достаточные возможности для анализа именно фактических данных. Обратитесь хотя бы в Конституционный суд России. И Вы узнаете, что за время своего существования им вынесено значительное количество постановлений именно по обращениям и жалобам граждан, отстаивающих свои конституционные права и свободы. Понтересуйтесь, сколько раз Конституционный суд удовлетворял такие обращения и жалобы, в которых указывалось несоответствие принятых законов нашей Конституции.

Надеюсь, что даже этого знакомства с судебной практикой будет достаточно, чтобы признать: в России конституционно-правовой подход, в том числе и для индивидуальной защиты прав личности, не только принципиально возможен, но и является весьма действенным средством регулирования законодательства. Замечу, кстати, что я, опираясь именно на постановления Конституционного суда, вынесенные по жалобам граждан, смог в двух очень трудных процессах — гражданском и уголовном, не прибегая даже к помощи адвоката, доказать свою правоту и защитить свои интересы. Так что и для меня, и для тех Ваших соотечественников, кто отстаивал свои права в Конституционном суде, кто сумел использовать постановления этой судебной инстанции при разрешении своих конкретных дел в гражданском, уголовном или арбитражном суде, эффективность конституционно-правового подхода, смею Вас уверить, отнюдь не смехотворна. И она будет тем выше, чем больше людей будет сталкиваться с нашей судебной системой и вырабатывать свое к ней отношение и свои требования. Чем Вам не нравятся такие развитие событий и почему Вы хотите его заблокировать?

Говоря все это, я не собираюсь Вас переубеждать. Если Вы готовы мириться с тем, что окружающая Вас элита, о которой Вы в своем выступлении сказали много справедливого, никогда не жала и не хочет жить по закону из страха стать его жертвой, то мне Вас ни в чем убедить не удастся. Но так как Вы в угоду ей поддели под презумпцию виновности весь российский народ, то я напомню Вам все же Слова Спасителя: «...Каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить».

На этом я мог бы и остановиться. Однако в позиции Сергея Маркова есть и еще один нюанс, который не позволяет считать нашу злую беседу бесцельной. Ведь политолог не только признается в том, что для него обсуждать «приоритетность конституционно-правового подхода в решении наших злободневных проблем — все равно что обсуждать с этой целью сионистско-масонский заговор». В его выступлении обнаруживается и некий концептуальный излом, который показывает, что обсуждать конституционно-правовой подход и сионистско-масонский заговор — это все же не совсем одно и то же.

Я имею в виду тезис Маркова, согласно которому «нам нужно единство с Европой». Интересно, на какой основе такое единство может быть обеспечено? Игорь Клямзин об этом уже Маркова спрашивал, но ответа я на сайте до сих пор не нашел. А вопрос-то резонансный! Надо ли «единство с Европой» понимать так, что России предстоит вместе с ней и другими западными странами «решать судьбы Европы и Мира», оставаясь в положении, при котором царство закона и конституция — это «не про нас»? Или так, что едва нам позволят на равных участвовать в определении судеб человечества, российский народ тут же, без всяких многомиллионных жертв обретет до сих пор отсутствующую у него способность жить по закону?

Что-то несладко у Вас получается, Сергей Александрович. Ознакомьтесь в той же Европе с Вашими суждениями о смехотворности конституционно-правового подхода, о народе, никогда по закону не жившем, о «безумии» судебной защиты прав человека и скажут: вет уж, вы сначала станьте Европой, а потом будем обсуждать ваши амбициозные планы и предложения. А то как-то близко: если уж у вас такой народ, что его без нового Петра или нового Сталина к правовому порядку приучить нельзя, то лучше уж живите по советам политолога Маркова. И не слушайте юристов вроде Михаила Краснова, стремящихся, по примеру змея-искусителя, обречь этот народ на страдания и жертвы с помощью закона и конституции. А мы, европейцы, будем сами по себе.

Я же думаю, что при таком отношении к конституционно-правовому подходу, которое демонстрирует Сергей Марков, немалосмысленно не только «единство с Европой». При таком отношении трудно представить себе вообще какое-либо единство суверенных субъектов права. Вот, скажем, попытались создать союзное государство с «батькой» Лукашенко без конституционно-правового обеспечения. И что получилось?

Мне кажется, есть смысл посмотреть на недавний российско-белорусский конфликт и с позиций, изложенных в статье Краснова. Картина выветрится более чем учительная.

Что стоит за конфликтом двух персоналистских режимов?

В этой статье, напомню, автор обращает наше внимание на то, что положение Конституции, наделяющее исключительно Президента РФ полномочием определять основные направления внутренней и внешней политики, противоречит принципу разделения властей. Применительно же к реальной политике узаконенное Конституцией положение вещей означает, что функции правительства и парламента оказываются неясными, а сферы их политической ответственности размытыми и неопределенными. «Такая аномалия, — предупреждает Краснов, — страшна для государства, ибо создает под ним пороховую бочку с наклейкой „непредсказуемость“». Эта вполне

предсказуемая непредсказуемость и бабахнула на всю Европу под Рождество, нанесла серьезные раны и престижу России в мире, и самому президенту страны, поскольку именно он определяет основные направления внутренней и внешней политики.

В соответствии с политической волей российских президентов, создание союзного государства с Белоруссией, несмотря на отсутствие сколь-нибудь серьезной конституционно-правовой проработки проекта, стало для институтов власти приоритетной политической задачей. И вдруг на наших глазах, через очень много лет после принятия политического решения, разворачивается настоящая холодная война между двумя славянскими государствами. А при «разборе полетов» на заседании российского правительства под председательством президента, которое состоялось в самый разгар кризиса, выясняется, что в ходе реализации политики главы государства правительство просто закрывало глаза на те фантастические убытки, которые несли при этом Россия.

Показательно, как ключевые министры В. Христенко и А. Кудрин объясняли Путину, почему правительство не добивалось взимания пошлин на ввозимую в Белоруссию сырую нефть. Министры очень деликатно интерпретировали президенту, что бездействие правительства было обусловлено политическим курсом на интеграцию двух стран. Вот он, момент истины! Только этот момент истины «прокачала» уже не конституционная конструкция, а живая реальность, обнаружившаяся в ходе кризиса: глубинные пороки персоналистского режима, установившегося в России. Хотя, безусловно, именно конституционная конструкция эту аномалию во многом и предопределила.

Поскольку основные направления внутренней и внешней политики по Конституции определяет только президент, то правительство никакой самостоятельности проявить в ходе реализации его политического курса объективно не может. А ну как оно своей жесткой позицией взорвет этот курс! Тут шаг вправо, шаг влево от патриархальных устоев «вертикали власти» очень дорого может обойтись топ-чиновникам. В внешней конституционной конструкции такая самостоятельность кабинета министров, которая может противоречить политической воле президента, просто невозможна.

На этом заседании правительства президент и вся страна узнали и цену такого политического курса, который не имеет конституционно-правового оформления. Каждый год только на этих неработающих пошлинах Россия теряет почти 4 млрд долларов. Таким образом, за пять последних лет наше государство не досчиталось около 20 млрд долларов. И это лишь на одном участке «интеграционного процесса».

Только наступив в очередной раз на «грабли» государственного конституционно-правового нигилизма, наши облеченные властью топ-чиновники начали бурнить: а где же правовая база для строительства союза двух государств? Где правовая база для интеграции? Кто у нас вообще работает над Конституцией союзного государства? Почему разбазариваются миллиарды?

Но в своих гневливых филиппиках чиновники благоразуменько все валяли на «батьку» Лукашенко. И Ваше, г-н Марков, выступление по ТВ, которое я слышал, в той же тональности. Но я Вас прошу все-таки ответить по существу: Вы и после этого межгосударственного конфликта по-прежнему считаете конституционно-правовой подход при анализе государственных проблем принципиально неприменимым для России? Вы по-прежнему полагаете, что практическая эффективность такого подхода смехотворна, несмотря даже на потери для государства миллиардов и миллиардов долларов?

Как бы то ни было, именно Ваши собственные подходы к теме позволили мне увидеть за рождественским конфликтом России и Белоруссии сшибку двух персоналистских режимов, пытавшихся в спекулятивно-политических целях построить отношения поверх универсальных принципов права. Говорю о спекулятивно-политическом характере проекта потому, что воодушевлявшая для славянских народов идея объединения изначально не находила конституционного решения.

Система и люди

Я не случайно остановился на текстах Михаила Краснова и Сергея Маркова. Мне кажется, что они, при всей несовместимости их пафосов, в чем-то существенном содержатся пересекаются. Чтобы понять это, воспроизведем еще раз логику рассуждений того и другого.

Все доводы, которые Марков выдвинул против Краснова, кажутся на первый взгляд слишком уязвимыми и даже беспомощными. Но я бы не стал их недооценивать. Марков проговаривает вслух то, о чем власть и ее более осторожные защитники из экспертной среды предпочитают умалчивать. Он раскрывает главную тайну персоналистского режима, его принципиальную нетрансформируемость в режим правовой. А причины этой нетрансформируемости переносит на факторы, по отношению к режиму внешние. Прежде всего — на российский народ, при котором правовое государство можно выстроить, лишь проведя его, народ, через кровавую «революцию закона».

Да, это выглядит уязвимым. Ведь это говорится в то время, когда общество буквально стонет от того, как исполняются законы органами власти. И они не могут исполняться иначе не потому, что народ у нас «не тот», а потому, что сама власть устроена так, как устроена. Причем никакими коррекциями отдельных юридических норм и процедур такое положение вещей изменить нельзя. Даже если коррекции эти формально соответствуют критериям правовой государственности.

Так, лишь прокуратура права давать санкции на арест и возложить принятие решений о заключении под стражу подозреваемых и обвиняемых на суды, законодатель поступил в полном соответствии с конституционными принципами правового государства. Известно, что прокуроры поначалу резко протестовали против введения этой процессуальной нормы. Однако довольно быстро успокоились: суды в подавляющем большинстве случаев удовлетворяют ходатайства прокурора. Не хочу искать здесь прямой связи с тем, что прокуратура в нашей Конституции парадоксальным образом занимает место в «судебной власти». Факт лишь то, что такая практика распространена повсеместно, равно как и то, что никакого равенства сторон (государственного обвинения и защиты) в этой практике не обнаруживается. Но в таком случае скепсис Маркова относительно эффективности в наших условиях конституционно-правового подхода, доведенный до скепсиса относительно возможностей судебной защиты прав и свобод граждан, может быть, не лишен оснований?

Однако это можно было бы обсуждать, если бы политолог предложил альтернативу тому, что отвергает. Воспринимать же всерьез его призыв заменить «абстрактные» права человека «конкретным» достоинством личности, защищаемом не судами, а соседскими, этническими и садоводческими общинами, у меня лично не получается.

Правда, справедливости ради следует еще раз отметить, что Сергей Марков ищет и находит причины замечаемых и не замечаемых им несообразностей российской государственности не только в народе, но и в элите, в комплексовании которой призывает в большей степени, чем сейчас, руководствоваться критериями нравственности и патриотизма. Предполагается, что те, кто формирует, нравственны и патриотичны по определению. Короче говоря, дело не в системе и не в режиме, который Марков категорически отказывается обсуждать, а в людях. Но при таком видении ситуации конституционно-правовой подход Краснова и в самом деле должен вызывать раздражение. Ведь он вскрывает именно системную подноготную царящего в стране произвола, наличие которого не отрицает и сам Марков.

Можно ли, однако, утверждать, что его позиция и позиция Краснова исключают друг друга? Думаю, что нельзя.

Да, острые критики Конституции направлены против политической системы и ее правовых основ, а не против обслуживающих ее людей и групп. Да, его оппонент из

Общественной палаты расставляет акценты прямо противоположным образом. Естественно при этом, что, делая упор на подборе людей (нравственных и патриотичных), Марков возлагает все свои надежды на того, кто находится на самой вершине. «Личность Владимира Путина важнее для общества, чем институты государства», — утверждает он. И так должно быть и после Путина, при новом главе государства, легитимность которого «будет определяться тем, насколько он в глазах населения соответствует идеалам возрождения великой и справедливой России». От него, от человека на вершине, все и зависит. И подбор кадров, и реализация «Больших проектов», и «европеизация институтов» — все с сохранением русской идентичности, и все остальное. Но раз так, то с какой стати менять конституционно-правовые основания системы? Ведь они лидеру ничем не мешают, ведь они для него, как пишет Марков, «являются очень слабым ограничителем».

Перед нами — одна из разновидностей того самого патриархального сознания, о котором я говорил в самом начале моей статьи. Но речь-то там шла не о Маркове, а о Краснове!

Различия между ними в том, что первый хочет видеть персоналистский режим проводником прогрессивных преобразований, а второй, усматривая в этом режиме главное препятствие на пути таких преобразований, призывает к его реформированию. Но при этом и у него единственным субъектом перемен выступает личность персонификатора персоналистского режима. Что, как я уже отмечал, не выводит автора за границы патриархального сознания, а свидетельствует о силе его инерции, не позволяющей встать на последовательно правовую позицию.

Думаю, что эта инерция работает не столько на Краснова и его сторонников, с которыми я солидарен, сколько на Маркова и его единомышленников. Их отрицанию конституционно-правового подхода надо противопоставить не персоналистское преодоление персонализма, а текст Конституции, которой персонализм противоречит. Уповать надо не на личность президента, его прогрессивность и популярность, а на вмененную ему правовую функцию гаранта Конституции. И если в самом ее тексте существует несоответствие между основами конституционного строя и другими положениями, касающимися в том числе и полномочий самого гаранта, то именно его обязанность это несоответствие устранить.

Надо научиться говорить с президентом на строгом правовом языке. И тогда экспертам вроде Сергея Маркова тоже придется, чтобы защищать президента, этот язык осваивать. После чего, в свою очередь, появятся принципиально новые возможности для продолжения дискуссии о судьбах российской государственности.

**НЕИЗБЕЖНОСТЬ ТРАДИЦИИ
И НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ
(ОТВЕТЫ УЧАСТНИКАМ ДИСКУССИИ)**

Прежде всего я хотел бы поблагодарить своих коллег за внимание, за то время, которое они сочли нужным потратить на то, чтобы прочитать и обдумать сказанное мною, сформулировать свои контрдоводы.

Мне кажется, что самое важное сегодня — ввести диалоговый формат общения между представителями различных идейно-политических течений. И я, со своей стороны, тоже попытаюсь его поддержать не только своими ответами, но и встречными вопросами.

**Нужно четко сформулировать вопросы,
которые нас взаимно интересуют, и отметить ответы,
которые нас заведомо не устраивают как некорректные**

Начну с того, что изложенное мною в моем первом выступлении не следует рассматривать как некую завершающую систему. Некоторые авторы находят в моем изложении противоречия, и это совершенно правильно. Я и сам нахожу в своих суждениях определенные противоречия, но на данном этапе не вижу в этом ничего страшного, поскольку не ставил перед собой задачи построения завершающей системы. Я всего лишь размышлял о проблемах развития российской государственности.

Противоречивость наших суждений о такой сложной проблеме, как российская государственность, — это нормально. Пройдет еще немножко времени, мы сформулируем свои вопросы и так или иначе получим на них ответы, и количество противоречий уменьшится. В результате, я уверен, мы сможем продвинуться к более систематизированной позиции.

Вместе с тем некоторые авторы находят у меня противоречия, которых на самом деле нет. Они говорят о том, что я поддерживаю недемократический политический режим и недемократические практики и при этом декларирую приверженность демократии. Но я не обнаруживаю такого противоречия, поскольку являюсь убежденным сторонником демократии. Более того, я считаю, что Россия не сможет войти в состав «мирового пранительства» с общими демократическими ценностями, если сама не будет демократической. Но я задаю коллегам встречный вопрос: почему идеи демократии не смогли реализоваться в 1990-е годы?

Убедительного ответа я не получаю. Мне предлагают в качестве ответа по сути дела те же самые рецепты развития демократии, которые предлагались реформаторами 1990-х, хотя их реформы полностью провалились. Был такой универсальный рецепт: «Больше свободы!» Но он не работал, и потому повторяю этот рецепт предлагать не надо, нужно что-то другое.

И, перво-наперво, нужно осмыслить, почему демократия тогда не удалась? И как, с учетом этого негативного опыта, возможен переход к демократии в России? Кто мо-

жет стать субъектом такого перехода? Какие практические действия должны быть предприняты?

Меня категорически не устраивают ответы вроде того, что ничего, мол, не надо делать, все сделается само собой, надо лишь убрать препятствие в лице Путина. Не устраивает, потому что мне необходим содержательный ответ на вопрос: как мы можем построить демократию? Равно как и на вопрос о том, в чем специфика российской демократии и российского перехода к ней.

При этом ответ «нет никакой специфики» меня не устраивает тоже. Специфика есть, причем не только у нас. Мы видим, например, что демократические институты в США и Евросоюзе во многом родственны, но, тем не менее, существенно друг от друга отличаются. Особенно если проанализировать содержательные механизмы политического процесса. И дело не только в том, что конституционно США — президентская республика, а в Евросоюзе преобладают республики парламентские. Посмотрите на их партийные системы, они различаются принципиально. В США партии — это скорее большие коалиции неправительственных организаций без общего управления, а в Европе партии более массовые и организованные, они сотрудничают с НПО, но политически от них дистанцированы. И политические системы в США и в странах Евросоюза работают по-разному. В Европе конституции, как правило, полные, а в США это почти памфлет. Лишь поправки к американской конституции имеют еще какое-то конкретное содержание, а все остальное — общие рассуждения, вроде нашей газетной публицистики. Но наши газетчики все же не претендуют на авторство конституции. Американцы же по сути взяли текст для хорошей статьи и приняли его в качестве Основного Закона. В Европе конституции проработаны значительно лучше. Если, конечно, отвлечься от специфического опыта Великобритании.

А ведь сказанным различия не исчерпываются. Они касаются также правовой системы (в США она прецедентная, а в Евросоюзе кодифицированная) и механизмов судопроизводства. Столь же различны взаимоотношения общества и бизнеса. В США государство и общественные процессы находится под контролем крупного бизнеса, а в Евросоюзе, напротив, крупный бизнес находится под контролем общественных и государственных организаций. Даже свободные СМИ свободны в США и Евросоюзе неодинаково. Точнее, неодинаковы механизмы ограничения их свободы. В США свобода ограничивается прежде всего свободной конкуренцией, рынком и — дополнительно — моральным авторитетом некоторых влиятельных общественных структур. В Евросоюзе ограничения свободы обеспечиваются прежде всего государственными институтами и институтами общественными, олицетворяющими идеи государственности. То есть в целом в США и в Европе все работает по-разному. Можно сказать, что и сама демократия там разная. При том, что существуют и общие принципы: приоритет гражданских прав, политическая конкуренция, власть закона.

Еще разительнее контраст между демократиями западными и незападными. Сошлюсь на Андрея Зубова, который в своей фундаментальной работе «Парламентская культура в странах Востока» проделал блестящий анализ парламентских демократий в странах восточного культурного ареала, в странах с особой, незападной идентичностью. Посмотрите хотя бы на Японию, где одна партия находится у власти почти без перерыва в течение 50 лет. Лишь сейчас, возможно, там начинается переход к чему-то другому. Но это — тема отдельного разговора.

И вот, помня о такого рода различиях, я и спрашиваю: в чем будет заключаться своеобразие демократии российской? И не будут ли ее отличия от известных образцов несколько большими, чем отличия демократических систем в США и странах ЕС? Не предопределяется ли это особенностями нашей цивилизационно-культурной идентичности?

Теоретически можно, конечно, представить, что наша демократия ничем от западной отличаться не будет. Но это не снимает вопрос, а лишь переводит его в иную плоскость. Ведь для реализации европейской или американской модели нам предстоит сменить свою идентичность. Но как это сделать?

Правда, некоторые люди говорят, что у русских якобы вообще не было никакой позитивной идентичности. Были лишь препятствия да затруднения на пути прогресса. Было и есть то, что нам мешает. Но если так, то и ответьте тогда на вопрос: как сменить эту мешающую нам некую «негативную» идентичность России? Или вы предполагаете, что это просто?

Я так не думаю. Я думаю, что Россия обладает своей идентичностью, с которой нельзя не считаться. И, соответственно, российская демократия должна быть с этой идентичностью связана. Одна из причин краха реформ 1990-х годов — неадекватность предлагавшейся модели демократии: то ли европейская, то ли американская, то ли абстрактная какая-то. А главное — тогдашняя модель никак не соотносилась с российской традицией, не находила отклика у населения и не могла поэтому стать функционально работающей. В этом, кстати, и причина моего скепсиса по поводу конституционно-правового подхода к анализу нашей государственности и перспектив ее развития.

Мои оппоненты упрекают меня в том, что я, дескать, выступаю против конституционных норм и игнорирую закон. Это — недоразумение. Еще раз поясню свою позицию.

Во-первых, я полагаю, что у нас люди по закону никогда не жили, точнее, закон систематически нарушался всеми — и властями, и обществом. Нарушался в такой большой степени, что трудно считать такой закон работающим. Это, конечно, не значит, что он вообще не работал, были дополнительные механизмы регулирования. Но как бы то ни было, о наличии эффективного правового государства речь у нас никогда не шла. И хотя принято говорить, что при Сталине жили по закону, все согласны, что при Сталине никакого правового государства не было, а был произвол диктатора.

Во-вторых, я считаю, что конституционно-правовые нормы в анализе всегда должны быть интеллектуально отделены (анализ — это разделение) от реальных социально-политических механизмов. При этом надо отдавать себе ясный отчет в том, что базовым элементом в политической системе является не конституция, а политические механизмы ее реализации. Как, например, в США, где Конституционный суд занимается тем, что бесконечно трактует абстрактные и, как я уже говорил, довольно убогие конституционные нормы.

Вспомним хотя бы об узаконенной системе выборщиков, демократичность которой весьма сомнительна, поскольку фактически она лишает граждан США возможности непосредственного участия в избрании президента. Или, скажем, об избрании депутатов конгресса по одномандатным округам. Такая система в перспективе может привести к расколу страны и однажды уже к этому пришла, содействуя началу гражданской войны между Севером и Югом. Однако откровенно несовершенная конституционная система США оказывается вполне работающей, поскольку она погружена в среду весьма эффективной американской политической системы.

Да, в США граждане не выбирают, выбирают выборщики. Но общество добилось того, что эффективное представительство мнения народа тем не менее осуществляется. И даже если этого не происходит, как мы наблюдали во время противостояния Гора и Буша (за демократа Гора проголосовало большее число избирателей, чем за республиканца Буша, но президентом стал Буш), сама политическая система (Верховный суд при наличии доверия к нему) предложила рациональные средства, позволившие разрешить политический кризис, гарантируя неизлечимость американской политической традиции.

Отсюда вывод: главный фактор политической стабильности США надо искать в механизмах функционирования социально-политической системы, а не в конституционном строе, который значим лишь во вторую очередь. В такой ситуации можно даже пойти на изменение конституции: при условии, что социально-политическая система работает эффективно, она приспособит к себе практически любую конституцию. Именно поэтому я и считаю, что для формирования демократии в России нужно прежде всего менять политическую практику, а конституционно-правовые факторы здесь играют в крайнем случае второстепенную роль. Размышления же о необходимости укрепления демократии в рамках конституционно-правового дискурса бесполезны и смешотворны. Проблемы формирования и реального функционирования демократии могут обсуждаться лишь в рамках политического дискурса. Вот то, что я хотел сказать в своем первом выступлении и что вынужден повторять в ответ на возражения оппонентов.

Нам нужен синтез латинской и византийской традиций

Перейду к ответам на конкретные вопросы. Мне лично больше всего понравился вопрос Алексея Кара-Мурзы, с которых я и начал.

Вопрос первый: является ли кризисное состояние России своего рода индульгенцией власти на любые ее действия, в том числе и ошибочные?

Мой ответ таков: если речь действительно идет о движении от пропастей, — да, власть должна иметь индульгенцию. Пример — сверхмобилизация российского общества в период борьбы с гитлеровским нацизмом, воплощением абсолютного зла. Власть тогда имела и должна была иметь индульгенцию на любые свои ошибки и даже преступления. Главное было — оттащить страну от пропасти поражения в Великой Отечественной войне. Та же индульгенция была, когда в 1999–2001 годах Путин тащил страну от пропасти нового этапа распада. Столь же оправдана была бы и жесткость в 1990–1991 годах, если бы она помогла спасти страну от развала, и политики, которые решились бы на это, также получили бы индульгенцию. Но когда кончается кризисный период, заканчивается и действие индульгенции. Окончилась Великая Отечественная война — надо срочно сворачивать сверхмобилизацию. Нет сегодня реальной угрозы распада России — нет и индульгенции: «Граждане политики, действуйте по обыденным правилам».

Здесь, кстати, я хотел бы вступить в значимый спор с некоторыми представителями реальной исполнительной власти, которые, с моей точки зрения, преувеличивают угрозы, стоящие перед страной, причем как раз с целью получить такую индульгенцию. Это — не интеллектуальная ошибка, а основанная идейно-политическая установка. Это некая идеология, продвигаемая ради увеличения своих политических и экономических дивидендов. Нам расписывают ужасы грядущего-де распада страны в то время, как мы уже отошли от пропасти! Быть может, на следующем этапе возникнет какая-то новая угроза суверенитету или устойчивому развитию, что опять даст основания требовать от общества индульгенцию. Но не нужно сегодня пугать людей, создавая таким образом атмосферу для собственной политической монополии. Наоборот, сейчас нужно все ресурсы бросить на развитие, чтобы снизить риск возникновения подобных угроз в будущем. Проблему вызывания Путин решил, теперь нужно просто нормально жить.

Второй большой вопрос, поднятый Алексеем Алексеевичем и другими участниками дискуссии, это вопрос об идентичности России, связанный с отношением к византийскому идейно-политическому наследию. Многие мои коллеги априорно полагают, что Византия — это плохо, что в основу ее государственного устройства заложены принципы идеократии, пренебрегающей законом и поштрафующей демократию, практика слияния церкви и государства при сакрализации последнего. И что весь мир движется сегодня прочь от византизма, преодолевая его традиции. Что ж, давайте разберемся.

Я по-прежнему утверждаю, что Россия является продолгательницей византийской традиции, присущей также многим другим народам. И вместе с тем я считаю Россию частью европейской цивилизации. Но — особенной частью. Об этих ее особенностях подробнее скажу ниже. Главное же то, что нам необходимо добиваться возрождения целостности европейской цивилизации. С моей точки зрения, Запад, римская традиция — это прежде всего материализм, плюрализм частных интересов, а Византия — это прежде всего духовность, единство ответственности за общие интересы. Мы должны найти формулу объединения латинской и византийской традиций. Запад должен научить нас плюрализму, а мы должны приобщать его к нашей духовности.

Конечно, нет общепринятого определения духовности. Можно даже сказать, что нет общего представления по поводу того, что такое духовность. Я лично исхожу из того, что духовность — это характеристика общественной и личной жизни, которая акцентирует внимание не только на интересах, но и на нематериальных ценностях личностного развития и творческого освоения мира. Что же мы видим сейчас в этом смысле на Западе? Мы видим там, с одной стороны, определенное возрождение духовности, видим медленное увеличение значимости нематериальных ценностей (общения, креативных форм досуга и др.). Но, с другой стороны, в западной цивилизации происходит стандартизация и омашивание жизни, одиффование социальной реальности. Человек становится там придатком самых разных технологий, требующим все меньше творчества и все больше — следования стандартам и шаблонам. Поэтому мы можем говорить и о снижении духовности западной цивилизации, к которой отчасти принадлежит и наша страна.

Между тем именно духовностью была сильна Византия, именно этим всегда сильна была и Россия. Византия ставила государственность в зависимость от духовно-религиозной правды. Россия — тоже. Вспомним рассуждения Достоевского о русских мальчиках, которые, если у них есть свободное время, рассуждают о Боге и социализме.

Мне скажут: какая сейчас в нашей стране духовность? Наоборот, российская элита — наиболее бездуховная и циничная во всем мире. Российское телевидение бездуховно и цинично, как никакое иное. Я с этим соглашусь, однако здесь не обойтись без ссылок на некоторые «но».

О духовности в современной России

Во-первых, мы имеем дело с временным явлением. Оно будет преодолено, в чем у меня нет ни малейших сомнений. Это будет достигнуто путем реформирования элиты, изменения функционирования ведущих телеканалов. Оценка эффективности их работы будет осуществляться не по количеству произведенных ими фильмов и разработанных на рекламу денег, а по их вкладу в формирование нации и ее духовных ценностей. Такой видят роль СМИ в обществе большинство наших граждан.

Представление о СМИ как прежде всего о медиарынке — это представление, господствующее лишь в США, да и то не в таком карикатурном виде, как у нас. Во всех других цивилизованных странах мира (прежде всего в Европе) победило представление о СМИ как о социальном благе, которое должно находиться под общественным контролем. В этих странах ведущие СМИ отчасти выведены из-под влияния рыночных механизмов. И, кстати, эта концепция СМИ как социального блага принята Организацией Объединенных Наций, соответствующий доклад для ЮНЕСКО, называющийся «Многоголосый, но единый мир», был подготовлен и утвержден еще в 1980 году. Уверен, что Россия по мере своего возрождения будет демонстрировать примеры подлинности основных институтов массовой коммуникации и информации нравственным и духовным ценностям.

Во-вторых, само отношение современных россиян к деньгам носит квазирелигиозный и потому духовный характер. Это не использование денег как простого инструмента для удовлетворения своих материальных потребностей. Это, скорее, поклонение знаменитому золотому тельцу как противнику Бога. Современный русский человек по-прежнему воспринимает богатство как данное не Богом, а дьяволом. Достоевский говорил: «Раз Бога нет, то все позволено». Современный русский говорит: «Раз деньги есть, то все позволено». Наличие денег и отсутствие Бога воспринимаются как синонимы. Слово «деньги» в современной России надо писать с большой буквы; Деньги — это новый бог. Или, что точнее, антибог.

Потребительские модели поведения богатых людей, так называемых «новых русских», тоже являются квазирелигиозными. С одной стороны, они безудными тратами как бы пытаются избавиться от денег в явном ощущении, что деньги — это грех, это предикаты Сатаны, их надо бросить. С другой стороны, обладание деньгами для современного русского человека несет в себе не просто увеличивающуюся свободу досуга, а своего рода новую обязанность. А именно — обязанность поклоняться этому антибогу, не только идя на преступления ради добычи денег, но и попирая нравственные принципы, данные Богом. Их нарушение современным богатым русским — это не возможность, а почти обязанность квазирелигиозного свойства. Трата денег в современной России выступает часто как принципиально аморальный поступок, как реализация установки на максимально аморальное поведение. Иными словами, безнравственность выступает как богоборчество.

Другая, численно пока небольшая, часть богатых русских пытается, напротив, в максимально возможных масштабах заниматься благотворительностью. В отличие от западного обывателя, который умеренно помогает нуждающимся согласно христианским заповедям, русский благотворитель не знает границ. Он не просто помогает бедным, он фактически жертвует большей частью своего состояния, остро ощущая, что его деньги греховны и что благотворительностью он этот грех искупает.

В-третьих, огромная часть населения сохраняет последние 15 лет верность нравственным принципам не так, как на Западе, где общество навязывает мораль посредством поощрения нравственных поступков и наказания за нарушения нравственных норм. Напротив, современное российское общество через свои каналы массовой коммуникации и информации пропагандирует и навязывает аморальные представления типа того, что «любые преступления возможны и ненаказуемы», «единственная ценность — деньги», «предательство, жестокость, воровство, уродство — это норма, а честность и милосердие — удел дураков и неудачников». Поэтому быть элементарно нравственным в современной России, как будто отданной на виртуально-медийное растерзание силам зла, — это не буднично, это высокий духовный подвиг. И такой подвиг, вопреки внешнему социальному давлению, в нашей стране каждодневно совершают десятки миллионов людей.

Только потеряв что-то, можно по-настоящему это оценить. В одночасье потеряв свою государственность и пройдя через жестокие страдания, русские опять осознали истинный смысл государства как главного политического института. Они очень остро ощущают необходимость государства именно потому, что в 1990-е годы на своей шкуре почувствовали, каково это — жить почти без государства. То же самое относится и к морали. Попав в ситуацию господствующей аморальности и прославления греха, жители нашей ойкумены, в которую я включаю и Россию, и Украину, и большинство других осколков Большой России, научились ценить простые нравственные чувства. Сейчас отрывок любого скучнейшего старого советского или западного фильма радует глаз только потому, что там нет ни убийц, ни извращенцев, ни монстров, ни насилия, нет аудиовизуальной агрессии. Следовать простым нравственным принципам в совре-

менной России — это, повторю, высочайший духовный подвиг. И он оказался по силам миллионам наших сограждан.

Это — к вопросу о духовности в современной России.

И снова о Византии

Мне кажется, противопоставлять византийскую идеократию западной демократии ошибочно, потому что они существовали в разные времена, будучи отделенными друг от друга столетиями. Во времена Византии Западная Европа не то что демократия, но и цивилизации толком не знала. Пренебрежение законом в западноевропейских королевствах, разделенных на герцогства и баронства, было в те времена значительно большим, чем в Византийской империи. Беззаконие и недемократичность не являются характерными особенностями Византии, это — особенности времени. К тому же, повторю, в Византии закон уважался больше, чем в западной латинской Европе.

Да, для Византии было характерно слияние церкви и государства. Но ведь именно церковь выступала в Средние века главным носителем духовности и одним из главных мест формирования ценностей. И когда сегодня в России мы слышим требование слияния государства и СМИ, то мы должны помнить о том, что в современном обществе, в отличие от средневекового, именно СМИ являются главным пространством формирования ценностей. Безусловно, СМИ должны быть одним из важнейших инструментов модернизации страны, реализуя эту задачу в том числе и будучи центром духовности, а не аморальности, как сейчас.

Другая особенность Византии — сакральность государства. Что это значит для нас? Это значит, что в соответствии с традицией — как византийской, так и российской — государству у нас отводится важная, очень большая роль. В этом особенность нашего развития в течение многих веков. Так оформилась российская идентичность. От нее-то и предлагают отказаться мои оппоненты: она, дескать, нам только мешает, она исторически сформировалась неправильным образом, а потому ее надо разрушить и установить на ее месте новую. Думаю, что это в корне неправильный подход.

Концепция модернизации России должна соответствовать нашей традиционной идентичности, сочетаться с ней. Такие страны, преуспевшие в модернизации, как Япония или Китай, не ломали свою идентичность, а использовали ее особенности для модернизации. Современное общество в этих странах сохраняет специфические социокультурные особенности. Нельзя собственную идентичность ломать через колено. Ведь уже пробовали: сначала большевики, потом, в 1990-е годы, попробовать еще раз. И что получилось? Получилось очень плохо. Так что не будем повторять этот эксперимент. Идентичность, предполагающая большую роль государства, — это нормально. Так уж у нас сложилось, и что в этом плохого?

Государство — не зло и не добро, а инструмент достижения целей. Цели же не могут быть ценностью нейтральными. И если это главный инструмент их достижения, то он тоже становится безразличным к дилеммам «добро — зло», «прогресс — традиция». Если государство — ведущий актор развития, то оно не может быть ценностью нейтральным уже потому, что не может быть ценностью нейтральным направление развития, которое государство определяет. Смысл сакрального образа государства заключается в том, что оно принимает на себя функцию целеполагания и носителя духовных ценностей. И если оно таковым не является, то не имеет права на доминирование. Государство — это не просто механизм, не просто наемный менеджер, как в западной традиции. В нашей традиции оно является неким сверхменеджером, лидером общественного развития. Наемный менеджер может быть нейтральным в смысле ценностей, лидер не может. В основе признания за лидером его роли лежит признание тех ценностей, носителем которых он является. Поэтому государство в России, которое судьбой

определено как лидер общественного развития, не может не быть носителем духовных ценностей. А признание ценностной роли государства в истории России и есть не что иное, как сакрализация государства.

При этом оно, конечно, подчинено народу, но фактически отношения народа и государства напоминают в данном случае отношения в сегодняшних транснациональных корпорациях, где менеджеры *de jure* подчинены собственникам, но — за исключением критических ситуаций — *de facto* главнее их. Однако такое лидерство государства, в соответствии с российской и византийской традицией, оправдано лишь до той поры, пока его действия соответствуют идеалам добра, красоты и правды. Как только это соответствие нарушается, как только государство ставится на службу олигархам, — извини, дорогое государство, не имеешь права нам ничего диктовать. Чтобы иметь такое право, ты должно соответствовать нашим духовным ценностям. В этом, как мне кажется, и состоит наша идентичность.

Вместе с тем я не считаю, что идея смены идентичности России является абсолютно вредной и нереалистичной. Я полагаю, что такие идеи имеют право на существование, и многие наши коллеги, как убежденные западники, их предлагают. Я сам не так давно почти полностью разделял подобные взгляды, но, столкнувшись с неуспехом нашего модернизационного проекта 1990-х годов, сказал себе: если не получалось изменить идентичность, то, может быть, теперь следует попробовать реформатировать демократию с учетом этой идентичности?

Повторю: если принять интеллектуальные и политические предложения об изменении идентичности, то надо ответить на вопрос: как именно это сделать? Не надо вторично предлагать то, что уже было опробовано и не принесло успеха в 1990-е. Скажите, как эту идентичность скорректировать. Найдите реальные политические инструменты. И пока вы их не найдете, не возвращайтесь снова и снова к своему старому проекту вестернизации. Не думайте, что в деле модернизации все так просто — написали законы, и все пошло строго по написанному. Так не будет. Задача не сводится к тому, чтобы убрать препятствия с пути развития. Нужна реалистическая программа трансформации российской идентичности. Пока ее нет, сидите, думайте, ищите. И когда найдете, приходите с аргументами.

Короче говоря, на вопрос о моем понимании современного значения для нас византийской модели я отвечаю: оно заключается в возрождении духовности и поддержке ключевой роли государства в развитии общества. И еще, добавлю, в наличии больших имперских проектов.

Слово «империя» для меня, безусловно, является позитивным. Империя — это огромное надгосударственное, наднациональное образование, где представители разных наций живут не в войне, а в мире друг с другом, сохраняя свою идентичность. Поэтому империя состоит из многих народов, не растворяющихся в ней, но подчиненных неким общим правилам игры. И, что для меня важно, представители любой нации могут сделать в этой империи карьеру. Здесь нет никаких ограничений. Представители всех наций равны. Хорошо работаешь в рамках имперского государства — вперед, становишься императором. Сталин был грузин, Хрущев и Брежнев — украинцы, Горбачев и Ельцин — русские, императоры Романовы — обрусевшие немцы. Но именно так было и в Византийской империи, где представители самых разных этнических групп становились императорами. Это уникальная и весьма полезная особенность византийской государственной практики — мягкое включение в империю различных народов без потери ими своей идентичности. В случае других форм государственности такое оказывалось невозможным.

Большинство проектов предполагают значимость идей и, стало быть, осмысленность жизни. А если роль идей высока, то нет и оглушительной пляски перед золотым тельцом,

обожествления доллара, обожествления голой силы, как это мы видим в западной традиции, в наиболее вульгарной форме представленной в продукции Голливуда. На Западе этому тоже пытались противостоять — тот же римский папа, например. Но — не очень успешно. В конечном итоге весь Запад подчинился золотому тельцу, папы стали мелкими феодалами, папский престол показал примеры падения нравственности.

Еще раз подчергну: один из главных вопросов нашего развития заключается в том, есть ли у России своя собственная идентичность, и если есть, то в чем она состоит. Если таковая существует, то она должна получить продолжение, и нам, соответственно, необходимо развитие на собственной основе. Какие-то ее особенности могут быть преодолены, но она не должна быть просто отброшена. У меня еще нет стопроцентного ответа на вопрос о том, как соблюсти в данном случае пропорцию традиции и новаторства. Совсем недавно я считал, что должно быть эталонное западничество. Сейчас я больше склоняюсь к тому, что мы должны построить нашу политическую систему на основе собственной идентичности, но, повторю, и сегодня у меня нет стопроцентного ответа, как это сделать. Этот ответ должен выработать интеллектуальный класс России, опираясь на некие сигналы, которые подают нам общество, обладающее высшим суверенитетом и выносящее окончательный вердикт по поводу практических результатов наших усилий.

Как я уже говорил ранее, мы — Европа, но особенная часть Европы. Это не я придумал — так, согласно социологии, считает большинство россиян. Исходя из чего я и выдвигаю лозунг: стать Европой, сохранив свою собственную идентичность. Иными словами, воспринять и понять Европу не только и исключительно как Запад, не только как Европу католическо-протестантскую, но как Европу общехристианскую, в которой мусульмане, конечно, являются гостями. В этой большой Европе мы должны сохранить собственную идентичность, переосознав ее.

В связи с этим я категорически не согласен с тем, как Алексей Кара-Мурза и Иосиф Дискин трактуют мысль П.Н. Милокова об исторической патологии российского пути. Те, кто считает, что мы — патология, будут отвергнуты российской историей. Нельзя всерьез претендовать на власть в России и считать при этом, что русский народ и Россия являются патологией. 1990-е годы показали политическую нереалистичность такого пути. И то был не единственный случай в нашей истории. А Кара-Мурза признает, что в начале XX века в России случились два типа византийщины — сакрализация власти и сакрализация революции. Алексей Алексеевич, если у Вас в решающие моменты истории России всякий раз появляется византийщина, ну так признайте, что мы и есть византийщина. Признайте это, и в рамках существующего мы вместе с Вами попытаемся нашу византийщину сделать приемлемой для нормальной жизни, т.е. соответствующей нашим ценностям и, одновременно, способной воспринять многое полезное из западноевропейского опыта — например, политический и идеологический плюрализм. Юго-Восточная Азия смогла свое конфуцианство совместить с модернизацией. А ведь еще совсем недавно казалось, что одно с другим несочетаемо. Сегодня Вам кажется, что с модернизацией не сочетается византизм. Но мы должны их совместить, как совместили свою идентичность с модернизацией многие народы.

Нам никуда не уйти от того, что Россия — продолжатель византийской традиции. Подобно тому, как суть личности, согласно классикам экзистенциализма, проявляется в критические моменты, так проявляется в такие моменты и сущность нации. И в эти критические моменты Россия всегда становится стопроцентно византийской. Поэтому я и привычно думаю не о том, как отринуть нашу национальную сущность, а о том, как этой сущности придать удовлетворяющие нас формы существования. Давайте размышлять не о том, как изменить содержание своей исторической традиции, остающейся неизменной на протяжении многих веков, а как придать этому содержанию

новую форму, которая бы удовлетворяла нашим сегодняшним потребностям и задачам. Так, ховерик должен думать не о том, как стать меланхоликом, а как свою ховерическую идентичность оформить в социально приемлемые формы, не взрываясь руганью на подчиненных, но эмоционально украшая совещания, взбадривая сотрудников.

К тому же вопрос об идентичности напрямую связан с проблемой суверенитета. Если Вы говорите, что наша идентичность должна быть изменена, неужели вы не понимаете, что за этим следует отказ от суверенитета? Так произошло, например, с Болгарией. Но я утверждаю, что суверенитет — это исторический выбор народа России. Для меня, например, он менее важен, чем для народа, а лично был бы готов отказаться от суверенитета ради каких-то более хороших вещей. Но я хочу быть со своим народом и понимаю, что нет политической судьбы за пределами выбора народа. Тем более, если этот выбор утвердился прочно и со всею решительностью. И выбор нашего народа — суверенитет. Поэтому все реальные политические проекты мыслимы у нас только при условии сохранения суверенитета.

Ограничил ли Путин демократию?

Перехожу к ответам на вопросы Виктора Леонидовича Шейнсона.

Первый его вопрос: в чем заключаются цивилизационные и политические особенности России? Отвечаю: в слабой роли писаного права и большой роли идеи «жить по правде», большой роли идеи социальной справедливости, большой роли государства и большой роли неписаных правил и нравственных норм социальной регуляции. Плюс, конечно, имперский характер государственности. Империя, как я уже отмечал, — это в моем понимании дополнительная надгосударственная структура. Полагаю, что такой империей, хотя и немного недоделанной и несколько постмодернистской по своей конструкции, является Евросоюз. Империей является Индия. А является ли империей США — вопрос особый, его я здесь касаться не буду.

Далее, у Виктора Леонидовича речь идет об обмене суверенитета на право участия в мировом правительстве, о чем я тоже говорил в своем первом выступлении. Виктор Леонидович утверждает, что это возможно только при однородности политического строя вступающих в такой обмен сторон. Но я, повторяю, вовсе не против современной демократии, и чем ближе в ценностном отношении мы будем к США и Евросоюзу, тем теснее и эффективнее будет наше взаимодействие. Потому пафос моего высказывания состоит в том, что необходимо сделать нашу страну более демократической, найти реальный путь усиления демократии, но при этом сохранив современную суть России, ее ценности, ее суверенитет. К тому же демократия нужна России не столько для внешнего применения, сколько по внутренним причинам, чтобы противостоять засилью бюрократии и политическим притязаниям олигархического бизнеса.

Но у проблемы участия в мировом правительстве есть и другая сторона. Дело в том, что в этот особый «клуб» могут приниматься и недемократические страны. Думаю, что Китай, по европейским стандартам демократической страной не являющийся, вскоре, без сомнения, будет принят в мировое правительство. В ближайшее время в него войдет и Индия, в которой демократия тоже весьма своеобразна. Впрочем, как и в Японии. Так что дело, полагаю, не в нашей демократичности, а в нашей готовности принимать реальное участие в решении мировых проблем, в способности предложить Западу необходимые гарантии его энергетической безопасности. Это — главное, что нужно от нас мировому правительству: надежные гарантии поставки энергоносителей в требуемом количестве, отказ от использования имеющегося ядерного потенциала, безопасность оружия массового поражения, прекращение региональных конфликтов. На этих условиях мы можем стать частью мирового правительства независимо от того, демократичны мы или нет.

Важный вопрос Виктора Леонидовича — о мегакорпорациях. Почему, спрашивает он, нам следует верить, что эти мегакорпорации будут заниматься модернизацией, развивать человеческий потенциал? Разве что-то подобное в их деятельности мы уже наблюдали? Ответ: нет. И я согласен: не надо им верить на слово, это очевидная ошибка демократов-идеалистов. Этим грешили многие из наших коллег, рассуждая о «светлом будущем» нашего бизнеса, о том, что представители первого поколения российских капиталистов будут грабителями, а их дети окончат Оксфорд и станут цивилизованными. Увы, этого не случится никогда. Если они были бандитами, то перерождение из бандитов в нормальное цивилизованное состояние займет 100 лет, а за эти 100 лет страна может рухнуть. У нас просто нет возможности столько ждать.

Так что не надо верить ни мегакорпорациям, ни демократам-идеалистам. Надо требовать, чтобы российский бизнес был ориентирован на модернизацию и наращивание человеческого капитала страны, надо ставить стратегические цели и повышать эффективность политического контроля над бизнесом. Для этого, кстати, тоже нужна демократия. А ей, в свою очередь, нужен дееспособный политический лидер.

Однако мегакорпорации не стоит рассматривать и как нечто заведомо враждебное. Они действуют в соответствии с рыночными условиями. Если мы им говорим: делайте что хотите, хоть изнасилуйте всю нашу страну, нам все равно, то они, может быть, и изнасилуют. А если мы потребуем от мегакорпораций эффективных вложений в модернизацию страны, в развитие человеческого капитала, то они вынуждены будут следовать этим требованиям: им все равно, по каким законам жить. Но только дайте им эти законы и не меняйте их. Если такие законы и политические требования будут им предъявлены, они с удовольствием впишутся в программу модернизации страны. Они в любую программу впишутся. Но они являются крупными акторами мирового развития. Это те солдаты, которые готовы выполнить любые поставленные цели, но им нужно эти цели поставить. Причем поставить именно перед ними, потому что они являются самыми тренированными, лучше всех вооруженными и лучше всех подготовленными для того, чтобы быть акторами процесса модернизации под общественным контролем и в тесном сотрудничестве с государством.

Отвечая на следующий вопрос — о прообразах проектной партии и проектных комитетов, могу назвать, например, группировку вокруг журнала «Эксперт». Она включает в себя сам этот журнал, плюс Институт национального проектирования, плюс клуб «4 ноября», плюс три канала ТВ и «Инженерную газету», создание которых намечено, плюс теснейшую связь с либеральной фракцией «Единой России» и с Администрацией президента. Это — пример хорошего проектного комитета.

Еще один прообраз такого комитета — комитет Гражданского форума 2001 года. Туда вошли представители неправительственных организаций, реальной власти и бизнеса, которые совместными усилиями смогли достичь некоторых успехов. Во всяком случае, все бюрократы выучили слова «гражданское общество». Сейчас в направлении гражданского общества потекли даже кое-какие ресурсы. Но работа этого проектного комитета была приостановлена. Отчасти он сохраняется в рамках Общественной палаты, но, к сожалению, в форме, не вполне идентичной первоначальной.

Далее, сама Администрация президента является примером своего рода крупной проектной партии или совокупности крупных проектных комитетов. Их проекты носят не только политический и экономический, но и бизнесово-административный характер.

Кроме того, я полагаю, что и среди участников нашей дискуссии есть те, кто сейчас реально работает над созданием таких проектных комитетов, а быть может, и те, кто считает себя таким комитетом. Проекты в стране есть, в том числе и имеющие общенациональный характер. Есть и группы людей, организовавшиеся вокруг таких проектов.

Следующий вопрос — о социальных субъектах государственности, способных обеспечить ее модернизацию. Используя в трансформированном виде идеи Аристотеля о трех парах политических режимов, я, напомню, писал о трех возможных парах правящих коалиций: бюрократия плюс демократия, бюрократия плюс идеократия, бюрократия плюс аристократия. Вопрос Виктора Леонидовича заключается в том, кто определит выбор из этих трех возможностей. Отвечаю: тот, кто будет смел и силен, тот и делает решающий выбор. Это — роль политического лидера. Но политический лидер решает такого рода вопросы отнюдь не волонтаристски. Он опирается в своем решении на волю большинства народа. На сегодня таким политическим лидером является Владимир Путин. Позже, быть может, появится кто-то еще, кто будет так же популярен в народе. Политическое лидерство формируется не автоматически и определяется не интеллектуалами, хотя ими оно во многом подготавливается.

Виктор Леонидович спрашивает, какой вариант ближе лично мне. Скажу прямо: меня устроит любой из них при условии, что он работающий. Пока не работает ни один.

Что значит работающий? Это значит, что он обеспечивает стабильный экономический рост, бескризисное развитие страны, достоинство личности, богатство культурной и духовной жизни. Если политический режим обеспечивает все это, значит, он работает. Поэтому дело не в том, что нравится мне или кому-то еще, а в том, какой из трех вариантов предпочтительнее для страны. Разумеется, опять-таки тот, который при минимальных затратах принесет для нее максимальный эффект. А какой именно, давайте размышлять вместе — сразу сказать трудно. Давайте еще внимательнее присматриваться к опыту других стран и народов. Я, например, считаю, что в Евросоюзе мы наблюдаем вариант «демократия плюс бюрократия», а в США — «демократия плюс аристократия». Имеется в виду, конечно, не родовая аристократия, а опять же, по Аристотелю, «хорошая власть немногих достойных». У нас, может быть, будет «бюрократия плюс идеократия», может быть, какой-то вариант, близкий к европейскому или к американскому, может быть, что-то еще. Сегодня, повторю, точнее сказать трудно. Я лишь обозначил три модели, между которыми предстоит выбирать. Быть может, кто-то предложит какие-то другие. Пусть предложит. Помня о том, что нет такой страны, где демократия существует без бюрократии. А также о том, что выбор стратегия в любом случае останется за политическим лидером, опирающимся на большинство нации.

Следующий вопрос, связанный с предыдущим: каким образом государство может вырастить демократию? Отвечаю: хорошо известным способом, т.е. так, как Франко и Хуан Карлос выращивали демократию в Испании. Как это делали бразильские перевороты посредством создания двух управляемых партий, которые назывались «си» и «си, сеньор». Таких же, кстати, как у нас «Единая Россия» и «Справедливая Россия». А потом, спустя много лет, политический водоворот свободной политической борьбы вырывается наружу, и происходит консолидация демократического режима. Все это хорошо известно, как известно и то, что в Германии и Японии демократия строилась в условиях оккупационного режима, который является сверхавторитарным. Но он тоже выращивал демократию.

Так нужно выращивать ее и у нас. Мне, правда, говорят, что вот-де «Марков путает нас» тем, что если мы хотим демократии, то мы должны потратить 100–150 млрд долларов на развитие гражданского общества. Но я не путаю, а просто призываю потратить такие суммы на это дело. Не вижу ничего плохого в том, чтобы потратить 100 млрд долларов на развитие гражданского общества. Это только 20% наших накопленных резервов. И я настойчиво призываю потратить эти деньги, если гражданское общество — наш стратегический выбор.

Наше развитие без демократии и гражданского общества трудно реализуемо. А просто так все это не возникнет. То есть можно, конечно, ждать еще лет сто, но за это время случится много такого, что при сохранении нашего межумочного положения приведет страну куда-то не туда. Если развития не будет, то вероятнее всего, что наши природные ресурсы будут постепенно браться под контроль другими нациями, которые не боятся иметь свои стратегии развития, реализовывать их и тратить на это сотни миллиардов долларов. Если не обеспечивать развития, то году примерно в 2016-м за спиной ведущих кандидатов в российские президенты будут стоять уже внешние силы, и все будут знать, кто кандидат американский, кто — от ЕС, а кто — китайский. Примерно так же, как сейчас в борьбе за кресло мэра на выборах и за кресло губернатора на административном рынке всегда просматриваются реальные корпорации, которые нередко базируются совсем не в этом регионе. Тот, кто не имеет своей стратегии развития, работает на чужую.

На что конкретно необходимо потратить названные мной суммы денег, если мы решим пустить их на развитие демократии и гражданского общества в России? Ответано: на гранты, на общественную активность, на создание общественных организаций, на систему образования: практике демократии и гражданского общества необходимо учить не только в вузах, но и в школах. В университетах должна быть введена новая специальность — активисты неправительственных организаций, в экономических учебных заведениях — менеджеры неправительственных организаций. Если мы хотим, чтобы число таких организаций увеличилось у нас, условно говоря, раз в сто и чтобы они стали во сто раз сильнее и эффективнее, мы должны увеличить ресурсные вложения в эту сферу эдак раз в тысячу. И средства массовой информации должны заниматься массовым гражданским образованием. Ну, например, учить, что делать, когда в вашем дворе началась точечная застройка. Американцы или европейцы прекрасно знают, как действовать в таком случае. А наши граждане не знают, и их надо учить. На решение этих вопросов должна быть сориентирована огромная часть экономики. Сегодня на развитие гражданского общества идет 1–1,5% бюджета, а должно быть 6–8%. Я никого не путаю. Будь моя воля, я бы просто сделал то, к чему призываю.

Теперь — об укреплении суверенитета России в годы правления Владимира Путина. Виктор Леонидович связывает это укрепление не с политикой Кремля, а с ценами на нефть. Не согласен. Подумайте, ведь даже если бы были такие высокие цены при Ельцине, все равно бы все разорвали. И стало бы еще хуже. Потому что от высоких цен на нефть олигархи стали бы все сильнее и сделали бы страну заложницей своей ожесточенной политической борьбы за право доминирования. Мы знаем: приличным и умным людям дашь деньги — они на дело потратят, а глупым дашь деньги — им только хуже будет. Вот и нам при Ельцине стало бы от этих нефтяных денег только хуже. А при Путине они пошли на благо. Сегодня мы сами определяем свою судьбу. Раньше у нас на совещаниях в МИДе сидел какой-нибудь второй секретарь американского посольства и указывал, что нужно делать. Например, советовал разделить Газпром и раздать его кому-то по частям. Сейчас этого стало меньше. А суверенитета, соответственно, больше. Почитайте западную прессу, она пишет о колоссальном усилении России при Путине. Почитайте последний доклад директора ЦРУ, он пишет о том же. Запад фиксирует эту перемену. Зафиксируйте ее и вы. Его это усиление беспокоит. А вас не должна беспокоить сила России, ведь вы ее граждане.

Еще один вопрос — о механизме реформирования элит. Мой ответ достаточно прост. Такое реформирование происходило у нас уже не раз, в частности при Путине, когда к прежним параметрам отбора — сила, жесткость, ориентация на деньги и приемлемость государства как главного инструмента — добавлялись еще и лояль-

ность государству, признание неизбежности государственного суверенитета России. Те, кто этим новым принципам соответствовал больше, начали восхождение наверх. Те, кто не соответствовал, начали сходжение вниз. Те, кто не соответствовал категорически, были выброшены. Так и должно быть.

Кто все это осуществил? Политический лидер. Каким образом это было сделано? Всем жестко сказали: не признаете государство — нами займется генпрокуратура. Для реформирования элит лидером должны быть введены новые общебюджетные принципы — работа на страну в целом, социальная ответственность за нее. Плюс нравственность, включающая нормы пристойного личного потребления.

Несколько огрубляя, можно сказать, что всем идет сигнал: покушаешь «бенгли» — тобой займется генеральная прокуратура. Покушка «бенгли» является преступлением, причем не уголовным, а политическим преступлением против страны. В условиях, когда люди нищают, тебе должно быть стыдно. Продай свой «бенгли», а деньги отдай в детские сады, школы, на хорошие дела. Или просто вложи их в инвестиционные проекты в российскую экономику. Надо ездить на более скромных машинах. Не надо оскорблять десятки миллионов сограждан, не надо их толкать в революцию. Или вы можете ездить только на «бенгли»? Вас что, ваши деньги душат, заставляя тратить их на потребительские излишества? Если так, извини, дорогой, тобой займется генпрокуратура. Ты не достоин обладать этими десятками миллиардов, если ты с проститутками по Куршевелям шляешься.

Тем более что многое из этой частной собственности сделано еще в советские времена и приватизировано не для того, чтобы несколько сотен могли кутить без чести и совести за счет миллионов, а для ускорения экономического роста. Рядн этого миллиона наших граждан согласились с приватизацией. Если кто-то не понимает социальной роли частной и корпоративной собственности, должен сдать ее назад, откуда получил.

Все богатые люди должны жить в России скромно. Так должно быть и в других богатых странах, где элита не хочет довести дело до революции. В России лишние деньги должны идти в инвестиционные проекты, а не в роскошь. Богатство имеет право на существование только в том случае, если оно не противоречит развитию страны. Если противоречит — прочь с дороги.

И такой механизм реформирования нашей элиты сегодня уже запущен. Первый принцип, который был введен: признание ведущей роли государства. И его реализация, мы знаем, прошла нормально. Теперь предстоит следующий этап реформирования.

Кстати сказать, возвращаясь к вопросу о демократии, хочу спросить: действительно ли Путин ее ограничил, как полагают все мои оппоненты? Так вот, с точки зрения населения, он ее не ограничил. Его действия не воспринимаются демосом как антидемократические. Напротив, народ расценивает их как ограничение антидемократов, к которым относятся эти самые олигархи и бандиты. Но Путин ограничил некие считающиеся демократическими процедуры, что оппонентами подмечено верно. Я полагаю, что это свидетельствует лишь о кризисе процедурной модели демократии, которую в наших условиях просто нельзя реализовать. Процедурная модель демократии при неравном гражданском обществе и слабых традициях компромисса и солидарности ведет к захвату свободы самыми наглыми и сильными. То есть олигархами. Что и подтвердила наша страна в 1990-е годы.

И, наконец, итоговое замечание Виктора Леонидовича: я, дескать, уповаю на то, что некто придет и все сделает. Да, именно так: некто придет и все сделает. Но он придет не один, а со своими союзниками, которыми, я полагаю, мы, участники дискуссии, должны быть. Политическое единство большинства нации и лидеров политического

класса вокруг определенных ценностей развития необходимо, и оно будет достигнуто. Без него невозможно решить важные для всех нас проблемы. И это должно быть единство, подготовленное и оформленное политически. Более того, я полагаю, что эти новые изменения все мы, участники данной дискуссии, подготавливаем и оформляем самой этой дискуссией. Точно так же, как в 1980-е годы мы подготавливали и оформляли отмену монополии КПСС и демократизацию страны, а в 1999-м — программу восстановления государства, доказывая, что это первостепенная историческая задача, стоящая перед страной.

Сегодня нам нужно убедительно показать, что стране нужна модернизация, нужна стратегия развития. Нужно предложить реальные варианты ее осуществления, провести своего рода интеллектуальную экспертизу возможных и невозможных вариантов, показать, что желательно, а что — нет. Ранее я уже сказал, что, на мой взгляд, крайне желательно возвращение к византийской традиции — естественно, в новых формах, сочетая эту традицию с западноевропейской. И такой путь отнюдь не будет попыткой построить новый тоталитаризм. Наоборот, это будет попытка построить современное развивающееся общество, которое обеспечивает людям высокие жизненные стандарты, достоинство личности, богатую культурную и духовную жизнь.

Переход к правовому государству — это на сегодня задача неподъемная

Теперь переходю к ответам на вопросы Игоря Моисеевича Клявзина.

Он спрашивает: *позволяет ли путинская государственность выдвигать стратегические задачи?* Если не позволяет, то это свидетельствует не в пользу созданной государственности. А если позволяет и Путин этого не делает, то его, мол, придется признать недееспособным. Очевидно, что вопрос поставлен весьма лукаво, по принципу: «Вы перестали пить стакан коньяку по утрам?» Тем не менее, отвечаю. Если нечто не делается, это не значит, что тот, кто должен делать, не способен. Просто не сформированы соответствующие условия, есть препятствия.

Каковы главные препятствия для выдвижения и реализации больших проектов?

Во-первых, по-прежнему сохраняется слабость государства. Она не в том, что оно маленькое (оно огромное), а в том, что оно слишком коррумпировано.

Во-вторых, общество еще не определилось относительно необходимости больших проектов. Еще нет консенсуса по этому вопросу. Но он непременно сформируется — подобно тому, как в 1980-е годы сформировался консенсус по вопросу о необходимости свободы, а позже, в конце 1990-х — о необходимости возвращения государства. Сейчас формируется консенсус по вопросу о необходимости социальной справедливости, о приоритете национального развития, о важности иметь возможность гордиться своей страной. Мы хотим, чтобы у нас были достойные позиции в космосе, в образовании, в сфере биотехнологии, во многом другом. В формировании такого общественного консенсуса важнейшую роль играет дискуссия во время выборов. Поэтому, думаю, после выборов 2007–2008 годов будет больше определенности и с направлением развития, и с большими проектами.

В-третьих, у руководства страны есть опасения относительно возможной перегрузки социального организма. Их можно понять. Мы сначала перегружались на строительстве коммунизма, потом, в 1990-е годы, на строительстве рынка и демократии. Может быть, следует дать народу отдохнуть? Может быть, не следует спешить с большими проектами? Тем более что Солженицын говорит нам о необходимости сбережения народа.

Все это, конечно, саггитивает переход к стратегии больших проектов. Есть и еще одно препятствие: возможно, мы сейчас переживаем период накопления ресурсов, ко-

торые чуть позже будут использованы при реализации таких проектов. Недавно у меня в «Московских новостях» вышла статья, которая называется «Пружина Путина». Накопление ресурсов — это и есть некая сжимающаяся пружина.

Какие же ресурсы сегодня накапливаются? Укрепление суверенитета — ресурс. Вертикаль власти — ресурс, кстати сказать, неиспользуемый. Управление телеканалами — ресурс. Золотовалютные резервы — ресурс, используемый лишь частично. Стабилизационный фонд — ресурс, вообще никак не используемый. Уменьшение внешнего долга — тоже ресурс, поскольку является частью укрепления реального суверенитета. Популярность Путина — ресурс, опять-таки используемый лишь частично. И мегакорпорации — тоже огромный ресурс. И взятый под контроль нефтегазовый сектор, поскольку такой контроль не дает утекать из страны прибылям. Список можно продолжать...

Все эти ресурсы накапливаются. Но они и должны у страны быть, если мы хотим, чтобы большие проекты были реализованы! Однако об их использовании на полную мощность необходимо еще чуть-чуть подумать. Необходимо подождать, поскольку сегодня еще нет общественной уверенности по поводу тех больших проектов, которые Путин в готовом виде мог бы реализовать. Это не тупик государственности и не отсутствие дееспособности у лидера. Государство способно выдвинуть такие проекты, а Путин вполне дееспособен. Просто сегодня мы имеем некий период неопределенности, и мы должны поспособствовать достижению консенсуса в нашем обществе по вопросу о том, какие же большие проекты нам нужны.

Второй вопрос Игоря Моисеевича: как совместить сложившиеся в России институциональные формы государственности и институты европейского типа? Отвечая: очень легко совместить. Наша конституция близка к французской. А конституция — именно форма, которая должна наполняться конкретным содержанием. Я уже говорил, что конституция США представляет собой просто шамфлет, ее главное политическое содержание лежит все же в виде самой американской политической системы. Точно так же и наши институциональные формы могут стать формами для политической системы авторитаризма, а могут — формами для демократии. Сама конституция не мешает ни тому, ни другому. Чтобы у нас была демократия, не нужно менять конституционную конструкцию. Для формирования у нас политических структур европейского типа необходимо соответствующее политическое содержание. Наши партии действуют в режиме управляемой демократии, но для их перехода в режим свободной политической конкуренции не требуется большого изменения самого института партий, требуется изменение вне их. И база для демократических институтов очевидна: развитая экономика, развитое гражданское общество, соответствующая культурная среда, включая доминирующие нравственные и общесоциальные ценности.

Следующий вопрос Игоря Моисеевича — о взаимоотношении практики «жизни не по закону» и переходе от нее к жизни по закону с Петром Первым и Сталиным. Связь — в той цене, которую платит общество за те гражданские скачки, которые совершались при Петре и Сталине. За сверхускоренную скачкообразную индустриализацию пришлось заплатить сверхмобилизацией. И если мы признаем, что для нас в течение многих столетий важнее были не законы, а другие самобытные институты, то переход к институту закона я тоже не могу представить себе иначе, чем в виде большого скачка. Такой быстрый переход к новому состоянию невозможен без сверхусилий. А сверхусилия означают сверхцену, и я не уверен, что наш народ готов ее добровольно заплатить. Тем более что огромную цену он уже заплатил в период распада 1990-х годов. Поэтому я и полагаю, что ставить сейчас задачу перехода к правовому государству нереально и неконструктивно. Это — неподъемная задача. Нам, очевидно, следует сказать так: мы будем иметь эту цель в виду в качестве перспективной задачи, будем

работать над ее реализацией, но это потребует времени. А пока сосредоточимся на других задачах — на обеспечении экономического роста, достоинства личности и развития богатой культурной среды.

Далее Игорь Моисеевич спрашивает о том, как совместить проектную партию с политической конкуренцией. Отвечаю: пока никак. Это на сегодняшний день несовместимо, это разные проекты. Если есть проектная партия, значит, политическая система формируется вокруг доминирующей партии. Если есть политическая конкуренция, значит, о проектных партиях и разговора вести не следует.

Но то, что выглядит несовместимым сегодня, в будущем, полагаю, может стать совместимым. Я думаю, все партии будут эволюционировать от традиционных массовых и клубных партий (их еще называют электоральными) к партиям проектного типа. И в будущем именно они и будут между собой конкурировать. А в сегодняшней нашей реальности нормальная политическая конкуренция вообще отсутствует. Как она будет обеспечена в дальнейшем, мне пока еще не вполне ясно, но если нам удастся избежать деградации страны, то будут разные проектные партии. Сейчас у нас есть проектные комитеты, и политическая конкуренция может возникнуть между ними. Но проектной партии пока нет. Поэтому у проектных комитетов нет точки приложения.

Еще один вопрос Игоря Моисеевича касается того, как совмещается концепция прав человека с предлагаемой мной концепцией достоинства личности и обеспечивающей его системой общин. Объясняю. Прежде всего, для меня это две довольно разные темы. Мне кажется, что концепция прав человека тесно связана с человеческими интересами, но она не очень согласуется с нашей российско-византийской традицией. У наших людей нет достаточной энергии в борьбе за права человека, а вот борьба за достоинство личности, причем не только своей, но и чужой, у нас в достаточной мере обеспечена энергетикой. А достоинство личности, как мне представляется, может быть защищено разными способами, не только посредством формального права.

Теперь о системе общин, которая, на мой взгляд, вполне совместима с концепцией прав человека — по крайней мере, исходя из моего понимания нынешней юридической системы. Под общинами в данном случае я подразумеваю не их традиционные формы, а, скорее, самоорганизующиеся общины гражданского общества. Есть ситуации, в которых такие общины являются абсолютно необходимыми. Вот, скажем, власть призывает граждан защищать свои права в суде. Мне же кажется, что это ложный путь — не по цели, а по средствам. Потому что в современной России человек чаще всего не может защитить свои права в суде, поскольку он, как правило, сталкивается с сильными контрагентами, которые располагают ресурсами, позволяющими им обеспечить свою победу. Иными словами, у нас не создано простое, быстрое, дешевое и простое судопроизводство, при наличии которого простой человек только и имеет шансы на победу. В существующей же ситуации человек не в состоянии отстаивать свое право. Поэтому я и говорю: посылая его в суд, ему предлагаю ложный путь.

Если отстаивать свои человеческие права в суде сам человек не в состоянии, то еще до того, как призывать его идти для этого в суд, надо озаботиться созданием системы, которая помогала бы эти права обеспечивать. Речь идет о системе неправительственных организаций, которая могла бы противостоять команде хитроумных адвокатов. Вот это — реальная задача. Если же мы не предложим людям некий реальный механизм защиты, то они не смогут защитить свои права в суде. Как человек может верить суду, если каждый раз, когда он туда попадает, его ожидает там «облом»? И с каким чувством он будет при этом слушать речи о демократии и правовом государстве? Повторяю еще раз: демократические институты, коими являются права человека и независимый суд, не работают без гражданского общества. Атомизированный гражданин не способен отстаивать свои права в суде.

Отсюда и вытекает необходимость общины, преодолевающей атомизацию и ощущение беспомощности атомизированного человека, его колоссальную фрустрацию перед лицом сильных мира сего. Дайте человеку помощь, и тогда он и сам будет помогать другим, создавая тем самым институты гражданского общества.

Гражданское общество и византийская традиция

И последнее. Игорь Климов и другие мои оппоненты говорят, что византийская политическая традиция показала свою несостоятельность. Это неправда. Да, Византия была ликвидирована, пала под напором Османов. Но ведь и афинская демократия была ликвидирована Македонией. Стало ли это доказательством ее несостоятельности? Нет, не стало! Демократия как принцип сохранилась и получила признание и развитие в дальнейшем.

Также и римское право. Римская республика и Римская империя ушли из истории, распались. Но показало ли свою несостоятельность римское право? Ничего подобного, оно сохранилось и получило развитие. А политический строй итальянских городских республик доказал свою несостоятельность? Нет, хотя они и пали под ударами Наполеона. Потому что республиканизм как политический принцип был подхвачен другими и утвердился в современной политике. На сегодня в ней все эти идеалы афинской демократии, римского права и республиканизма итальянских городов оказались реализованными.

Византия повезло меньше, потому что ее змидж в истории складывался прежде всего под влиянием западной исторической и политической мысли. Западная Европа многие столетия была конкурентом Византии, западноевропейские войска обманом захватили Константинополь, установили там оккупационный режим и несколько десятилетий грабили империю. Западноевропейская традиция обогнала Византию, искажила ее идеи и принципы, спрятала ее историю. И мы тоже до сих пор находимся в плену этой традиции. Куда из наших исторических учебников делась история великой империи, откуда в Россию пришло христианство, пришла культура, принципы государственности? Наши студенты про римов знают больше, чем про ромеев. Нам нужно восстановить реальный образ Византии, очистить его от клеветы и поставить на службу задачам развития России, которая сформировала свою государственность под мощнейшим влиянием именно Византии.

Нам нужно подхватить идеи Византии, согласно которым гражданская власть имеет право на существование только тогда, когда она освящена высшей духовностью. Бездуховная власть никому не нужна. С этим соглашается большинство народа России. Духовность не обязательно религиозная, важна лишь ее нравственная составляющая, ценность достоинства личности. Именно это должно стать мерилом и экономических реформ, и деятельности государственной власти. Если экономические реформы не ведут к улучшению жизни населения, зачем они нужны? Если государственная власть не действует в интересах нации, она должна быть сброшена и заменена другой. Власть имеет смысл, если она служит высшим ценностям. Вот в чем сущность византийской традиции в моем понимании. И она отнюдь не противоречит ценности гражданского общества, как склоны считать мои оппоненты.

Позволю себе еще раз обратить внимание участников дискуссии на важную идею, которая касается давнего вопроса и на которую многие читатели мой предыдущий текст не обратили внимания. Если особенность России, как наследницы Византии, составляют прежде всего приоритет государства и духовность, т.е. стремление жить по правде, в соответствии с нравственными принципами, а особенность Запада — прежде всего жить по писанным правилам, по закону и опираться на собственные частные интересы, то очевидно, почему мы никак не можем сформировать гражданское общество.

Мы все время пытаемся решать эту задачу, следуя западноевропейской (и отчасти американской) модели и полагая, что гражданское общество должно опираться на частные интересы, на основе которых должны формироваться интересы групповые, которые, в свою очередь, и станут основой полноценного гражданского общества. Но наша реальность, мне кажется, иная.

Посмотрите на большинство российских неправительственных организаций. Они создаются не столько как организации, скажем, инвалидов, сколько как организации для помощи инвалидам, не столько как организации детей, сколько как организации для помощи детям. И мне кажется, что в России развитое гражданское общество будет базироваться не столько на интересах (хотя, конечно, и на интересах тоже), но в значительной степени — на чувстве ответственности за судьбы слабых социальных групп. Защита собственных интересов не будет в этом вопросе главным фактором.

Главным фактором российского гражданского общества станет не интерес, а ответственность. И такое решение послужит лишь усилению общества.

Безусловно, невозможно рассчитывать на развитие гражданского общества, призывая людей забыть про свои частные интересы. Но если мы предложим людям взять на себя часть ответственности за развитие страны, найти себе свой участок приложения сил на общее благо, добровольно кому-то помогая и проявляя тем самым свою гражданскую ответственность, то, мне кажется, люди на это согласятся. Моя уверенность основывается на знании психологии и поведения русских людей, психологии и поведения россиян.

НЕОБХОДИМ ПЕРЕХОД
ОТ ПЕРСОНАЛИЙ К ИНСТИТУТАМ**В главном Михаил Краснов остался непонятым**

Я с огромным интересом читал материалы дискуссии о персоналистском режиме в России. О том, что в свое время называли «гипертрофированным личностным статусом» в российской политике и социальной жизни. Но меня опечалило то, что пока никто, кроме инициатора дискуссии Михаила Краснова, не попытался предложить конкретные политические механизмы выхода из сложившейся ситуации. Дискутирующие предъявили лишь собственные, закрытые для дальнейшего обсуждения, позиции.

Конечно, по поводу «фактора личности» были заявлены разные версии. Но все сходится в том, что нынешняя ситуация неправильна — потому-де, что не соответствует некоей идеальной для России модели. При этом идеальная модель у каждого своя. У либералов — модель современного цивилизованного общества или, иначе, нормальной страны. Нормальная страна — это у них такой версификс, обозначающий небесный Иерусалим, недостижимый и невозможный в практике. У патриотов же, начиная с Бориса Межуева и кончая Михаилом Юрьевым, другая идеальная модель, у каждого со своими вариациями, но сходная в том, что все беды страны — от несоответствия нынешней действительности требованиям этой правильной модели.

Что касается М. Краснова, то он, как мне кажется, остался не понятым участниками дискуссии. Ведь если расшифровать политический, а не только юридический смысл его тезиса, то он означает буквально следующее. Вся конструкция постсоветских политических режимов фактически заложена и определена в 1991–1993 годах. Те, кто данную конструкцию таковой сделал, несут за нее полную политическую ответственность. И, следовательно, с них в первую очередь должен быть спрос за то, что получилось. Такая постановка вопроса — серьезный удар по магистральной идее современного российского разномыслия о некоем наметившемся лишь в последние несколько лет «поправлении» России в ее движении к демократии. Что, дескать, все 1990-е годы страна шла по пути демократического развития, но вдруг почему-то сошла с него в результате какого-то поправления в 1999-м и с тех пор так и продолжает двигаться в неверном направлении. Этот миф М. Краснов ломает об коленку, за что ему большое человеческое спасибо.

Правда, он, будучи юристом, не обращает внимания на некоторые важные политические нюансы. Скажем, у него много рассуждений о правовой ограниченности парламента, лишения, например, возможности формировать правительство, — это будто бы делает бессмысленной межпартийную конкуренцию за победу на выборах. О том, что парламент превращается в некий департамент Администрации президента. Но ведь если буквально следовать тезису самого Краснова о системообразующем значении Конституции 1993 года, то надо отдавать себе отчет в том, что она была специ-

ально «заточена» под тогдашний социально-политический контекст, когда рейтинг президента составлял 3%, а абсолютное большинство было у протестных и рваных сил. Поэтому Конституция была устроена так (и сейчас все это знают), чтобы дать президенту возможность управлять страной в ситуации, когда большинство в парламенте имеют антипрезидентские силы.

Эта логика предопределила и то, что мы имеем сегодня. Несмотря на то что в настоящий момент правом законодательной инициативы обладают несколько политических субъектов, фактически 90% принимаемых Думой законов, в том числе и ключевые, — это законы, написанные в правительстве или в АП. Но такое положение вещей диктуется именно особенностями созданной в 1990-е годы системы.

Эта система изначально была устроена так: есть правительство, которое пишет законы, а есть оппозиционная Дума. И задача правительства — «протасовать» свой закон через Думу, торгуясь с ней за размер особого коэффициента — «поправки на популизм». Иными словами, правительство подготавливает некий заведомо «антинародный» закон, заранее зная, что изменения, примиряющие его с народными чаяниями, в него будут обязательно внесены Думой. Так работала при Ельцине вся система, так устанавливался политический баланс государственно-реформинской модернизации и социал-популистской инерции. Ясно, что в рамках такой системы, заданной Конституцией 1993 года, правительство управляет и живет не по законам, ему измененным, — оно само пишет законы. А задача парламента состоит в том, чтобы, в меру своих малых сил и ограниченных законодательных возможностей, сделать эти законы несколько менее «антинародными», примирить их с реальной жизнью людей.

Но что же произошло дальше и откуда в рамках созданной политической системы появился такой феномен, как «партия власти»?

Напомним, что уже в 1994 году большинство населения молчаливо отказалось поддерживать всю эту конструкцию с антинародным правительством и народным парламентом. Последний постепенно начал восприниматься как вредоносный, бессмысленный орган, тормозящий и блокирующий возможность осуществлять какую бы то ни было политику. Стало быть, необходимо было выбрать в парламент тех, кто не воюет с властью и за власть, а уже участвует в ее осуществлении. Тем более что если по партийным спискам люди все еще голосовали за ту или иную идеологию, то в одномандатных округах к этому времени избирали уже того, кто мог бы провести свет, починить дорогу, проложить трубы. А кто мог сделать это? Тот, кто умел договариваться с начальством. В результате парламент начал активно заполняться чиновниками. А к 1999 году этот процесс получил свое окончательное оформление.

Однако инерция системы, узаконенной действующей Конституцией, продолжала сказываться. В итоге мы и пришли к сегодняшней конструкции, когда абсолютно лояльное власти большинство Думы поневоле вынуждено по-прежнему выполнять роль КПРФ или ЛДПР образца 1994 года. Сохранилась теперь уже абсолютно абсурдная практика, когда пропрезидентское думское большинство по-прежнему накладывает популистский коэффициент на «антинародные законы», которые писались и пишутся правительством в ведомствах Кудрина, Грефа, Шувалова, Козака. И по-прежнему этот коэффициент закладывается в разрабатываемые правительством законопроекты, особенно в статьи бюджета: в его расходных статьях заранее предусматривается некий процент, который будет позволено добавить думскому большинству для усиления народной к себе любви. В этом по сей день и состоит законотворческий процесс, поскольку в борьбе за упомянутый дополнительный процент как раз и концентрируются все основные лоббистские, провокативные, «распылительские» и прочие интересы. Таков один из основных политических результатов, к которому привела Конституция 1993 года.

Моя совесть чиста: в тот момент, когда президентским указом внедрялась эта Конституция, я стоял на баррикадах возле Верховного Совета. Мне было тогда совсем мало лет, но одну вещь я понял вполне определенно: политические ярлыки «демократы» — «недемократы» не имеют ничего общего с реальной демократией.

Главная идея, к которой сводятся предложения Краснова, — это просто новое издание учредительной процедуры образца 1993 года. Смысл в том, чтобы предложить некоего «правильного» политического моносубъекта, который, опираясь на ресурсы собственной моносубъектности, установит-таки в России демократию. Эта идея уходит корнями к 1917 году. Тогда также был хаос, бардак, неопределенность. И был поиск субъекта, который сможет, вопреки всему, обеспечить проведение Учредительного собрания и учредить новое государство — нормальное, демократическое, правильное. Но когда, наконец, обнаружился такой субъект, он, получив власть в свои руки, почему-то не захотел уходить. Почему-то вместо демократии пришел матрос Железняк и объявил, что «караул устал».

У Краснова есть сильная сторона — то, что центральным звеном в его конструкции выступает закон. Закон, легальность и легитимность процедур как таковые. Ведь если в интересах установления демократического режима в жертву приносится процедура, то потом, когда дым рассеивается, обязательно обнаруживается, что режим, установившийся в результате слома прежде установленной процедуры, оказывается гораздо менее демократическим, чем тот, который был раньше. В этом смысле московские майдан 1991 года и расстрел 1993-го являются комплементарной парой. Грубо говоря, на первом этапе толпа на площади переступает через решения, принятые большинством по процедуре, а заодно «сдает в утиль» и саму процедуру. А на втором этапе лидер толпы расстреливает ее из пушек, чтобы она ему больше не мешала. Мы сейчас имеем удобную возможность наблюдать за украинской ситуацией, которая неизбежно подталкивает Ющенко к тому, чтобы в некий роковой момент сделать решающий выбор: либо ввести танки и восстановить единовластие, либо свергнуть страну в новый раскол. Все это означает, что в базовом своем тезисе Краснов действительно прав: закон может быть основой тех или иных искажений политической конструкции, но вместе с тем работа по совершенствованию законодательства, в том числе и Конституции, может многое улучшить.

Теперь о том, что изменилось после 1999 года. Главное — это то, что президент фактически сам стал премьером (главой правительства). При Ельцине порядок был другим. Ельцин назначал премьера, тот брал ответственность за проводимую в стране политику, а когда груз такой ответственности становился невыносимым, глава правительства отправлялся в отставку. Напомним, что при Ельцине сменилось шесть премьеров.

Путин сам стал лидером проводимой политики, стал *de facto* руководить всем правительством. Правительство же в узком смысле превратилось в финансово-хозяйственный департамент Администрации президента, о чем мне еще предстоит говорить подробнее. Это — главное, что изменилось. Иными словами, Ельцин в большей степени царствовал, а не правил, Путин же, наоборот, скорее больше правит, чем царствует. И все претензии к нему в последние годы — это претензии по поводу того, что он слишком много правит и слишком мало царствует.

О сути демократии

У Краснова есть и интересный реплика о том, что у нас демократия архаически понимается как мажоритаризм, т.е. как власть большинства, а в то время как на самом деле главной ценностью демократической системы является компромисс. Да, любая политика — результат компромисса между разнообразными группами в рамках принятой заранее процедуры. Если интерпретировать этот тезис политически, то смысл

его в том, чтобы исключить возможность формирования устойчивого большинства, сделать большинство невозможным, а возможным — только консенсус меньшинств, разным образом организованных, противопоставленных друг другу, взаимно уравновешенных и взаимообусловленных. Сделать так, чтобы любое меньшинство всегда имело приоритет и, как только возникала бы ситуация «меньшинство против некоторого большинства», вся система тут же «сломя голову» бросалась бы на защиту интересов этого самого меньшинства. Что мы, собственно говоря, и видим в бесконечной борьбе за права разнообразных меньшинств на Западе. И, соответственно, главной задачей при построении такой политической системы является концептуальное оформление императива формирования политических субъектов из разного рода организованных меньшинств. «Больше меньшинств хороших и разных!»

Естественно, пытаюсь решить эту задачу в России. Мы сталкиваемся с серьезными проблемами системного порядка. Например, катастрофическую системную угрозу для демократии в России представляет идея русского большинства. Как только данная идея начинает политически оформляться, тут же выявляется ее принципиальная враждебность системе демократии. Ибо в этой системе большинство запрещено. Не потому, что оно националистическое, а потому, что запрещено любое большинство с ясно выраженными и агрегированными интересами. Следование интересам большинства, следование субъектности, построенной как единое большинство, — это и есть фашизм, нацизм, тоталитаризм, коммунизм, т.е. зловеще узнаваемые обличья соответствующей политической практики. И если построить большинство из бедных, а не из русских, то ситуация будет та же самая. И если построить его из нерусских, получится та же ерунда. Иными словами, любое большинство, любым образом собранное, является, исходя из принципов демократии, запрещенным, так как оно для нее разрушительно. И когда, прикрываясь демократической риторикой, нам говорят: «Мы — большинство, а вы, кто не с нами, идите сторонкой», следует жестко возразить: «Нет, это не демократия. Демократия строится только через коалицию».

Есть и еще один важный аспект данной проблемы. Демократический тип общественного устройства предполагает, в известном смысле, запрет на политику, понимаемую как реализация какой-то одной стратегии. В рамках демократической системы невозможно прийти и сказать: я считаю, что надо делать так-то, и буду действовать так, и никак иначе. Такого рода менеджерский, целенаправленный способ осуществления политики противоречит сущностям принципам демократии. В тексте Краснова я обратил внимание на любопытное место, где он иронизирует по поводу оппозиционной критики власти, которая сводится к тому, что власть-де проводит не ту политику. При этом Краснов отмечает, что монособъектная самоконструкция власти оппозиционно по существу устранивает: просто власть проводит не ту политику, а нужно, чтобы она проводила именно ту. Вот когда-де оппозиция придет к власти, она отложит в сторону неправильную политику и станет проводить правильную. Думаю, что ирония по поводу таких «демократов» вполне уместна.

Понятно, почему демократическое мировое сообщество так заинтересовано в победе демократии в прочих отдельно взятых странах. Страна, в которой субъект политики выстроен на основе большинства, естественным образом опасна для окружающих. Именно потому, что она может хотеть чего-то своего собственного, может осуществлять какие-то осмысленные действия. Может, например, войну объявить. Или еще что-нибудь запрещенное устроить. Беда, собственно, в том, что у такой страны вообще есть собственный консолидированный интерес. А у демократической страны таковых интересов нет. Поскольку ее политика складается из разнообразия групповых интересов путем достижения соответствующего компромисса.

Предугадывая резонные возражения, скажу, что, по моему мнению, современный глобальный лидер (США) давным-давно не является демократической страной. Это всем известный «сезарет», так сказать, большая конспирологическая тайна.

Есть ли тогда вообще страны, которые сегодня могут называться демократическими? Нет. Есть глобальный политический субъект, каковым является «прогрессивное человечество» в целом, движущее мир к устойчивому развитию. У этого «прогрессивного человечества» есть политический лидер. Он же — ведущая мировая держава. Это не означает, что в стране-лидере отсутствует демократия, ибо там — в полном соответствии с ее современным каноном — правит не устойчивое большинство, а подвигают коалиция интересов. Просто эта страна является мировым имперским градом. Как в феодальной системе: есть земли *Rex patrimonium* и — все прочие земли. И в данном качестве у США наличествует собственный интерес, который и не позволяет считать их страной демократической.

Соединенные Штаты Америки претендуют представлять интересы не только своих граждан, но и большинства людей всего мира. Это напоминает Советский Союз, который — особенно до 1945 года — выступал своего рода суверенном трудящихся планеты, т.е. представлял не собственных граждан, а мировой революционный пролетариат. Соединенные Штаты просто заменили в данной конструкции слово «трудящийся» словом «человек», которому, кстати, изменили не только права и свободы, но и его ведущего глобального суверена.

Эта извращенная конструкция существенно более сложная, нежели старая модель имперской метрополии и ее колоний. Если существует мировой имперский град, значит, существует и глобальная периферия. Но, главное, нет больше системы, где есть главная страна и прочие страны. Ее нет, потому что демократия понимается как запрет на национальные интересы и национальную политику, если под нашей понимать консолидированное большинство, построенное определенным образом по определенной технологии, известной еще с XVIII века.

Россия отнюдь не является исключением, и формирование ее национальных интересов посредством консолидации ее большинства в такой политической парадигме является запрещенным. Поскольку где бы, в каком бы месте ни началась работа по сплочению большинства, такая работа становится — и объявляется — опасной для демократии как принципа построения политической системы на основании идей свободы личности, прав человека, политкорректности и мультикультурализма. Так что проблема демократии, в том числе и применительно к России, есть сегодня изначально проблема глобальная, а каждый конкретный случай национального государства — просто некий фрагмент глобального демократического процесса. Именно в этой логике надо, например, интерпретировать высказывания представителей ОБСЕ о том, что референдум в Тирасполе не соответствует демократическим стандартам.

Если сравнивать референдум в Тирасполе и референдум в Ираке по формальным, классическим критериям демократии, то ясно, что референдум в Тирасполе на несколько порядков ближе к демократическим стандартам, чем референдум в Ираке. Но именно потому, что демократия — глобальная система, лишь исторически случайным образом поделенная, «попичленная» на государственные территории (пересмотр границ в ней сегодня тоже запрещен), — именно поэтому референдум в Приднестровье «по определению» не может быть признан соответствующим демократическим нормам. Ведь субъект, который его проводил, не является демократическим в смысле его принадлежности этой глобальной демократической системе.

Мы поднимаем знамя раскола

Здесь — самое время обратиться к рассмотрению такого, пока еще несколько экзотического для нашего политологического экспертного сообщества понятия, как «суверенная демократия». Что имеется в виду? Почти то же самое, что имели в виду наши предки, когда использовали словосочетание «православное христианство». А оно означало: мы верим во Христа, но Риму не подчиняемся. На что они получали ответ: ах, так, ну тогда вы — схизматики! И на них посылались войска Ливонского и Тевтонского орденов.

Иными словами, настаивая на собственном праве на суверенную демократию, мы поднимаем знамя раскола. Мы ясно заявляем о том, что разделяем ценности демократии, включающие определенный набор заповедей и, в частности, приоритет интересов личности над интересами государства и любого иного коллективного субъекта, что является в демократии более важным и правильным, чем принципы ее политической организации. Мы манифестируем себя участниками этой ценностной системы. Но одновременно заявляем о том, что не хотим участвовать в глобальной системе демократических институтов на тех правах, на которых нам предлагают в ней участвовать. Тем самым мы идем по пути отмежевания, раскола, а значит, мы в очень большой степени оказываемся зависимыми от наших внутренних ресурсов.

Но главный парадокс нашего выбора в том, что таким образом поставленная идея суверенной демократии означает, что мы не имеем права строить «демократию с российской спецификой». Мы обречены строить модель, имеющую глобальное значение, которой сможет воспользоваться любой, кто угодно. В противном случае мы совершенно напрасно все это затевали, мы тогда действительно всего лишь еретики, достойные в лучшем случае грозной эдиктики.

Одной из проблем, возникающих при решении данной задачи, оказывается и предаление персонализма российской власти. Краснов видит возможность такого преодоления в похвалении своего рода «антиперсона», которая возьмет да и отменит персонализм. Но этот проект не учитывает ни негативного опыта прошлого, в том числе и совсем недавнего, ни тех позитивных тенденций, которые отчетливо проявились в последние годы.

Мы все еще не смогли извлечь необходимые уроки из опыта 1991 и 1993 годов. Ведь те попытки построения политического субъекта, который, наплевав на разнородность мнений и разнообразие групп, смог бы железной рукой ввести в стране правый, свободный и демократический порядок, оказались неудачными. И нет никаких оснований утверждать, что новая попытка будет более успешной.

С другой стороны, кто сказал, что у нас и сегодня продолжает возрастать роль личностного фактора в политике? У меня есть ощущение, что маятник качнулся как раз в другую сторону.

Роль личностного фактора и личностного статуса росла все 1990-е годы. Все без исключения партии тех лет строились вокруг персоны их лидера. Я сам лично участвовал в создании СПС и видел, как он из массовой силы на глазах превращается в клуб телезвезд. В этом процессе (условно говоря, начиная с 1991-го и заканчивая 1999 годом) на взходе было достаточно массовое движение, в которое было вовлечено много людей, низового актива, разнообразных сил, активно работал интрапартийный лифт вертикальной мобильности. Но что произошло к 1999 году? На вершине любой партии — будь то демократическая или патриотическая — застыли две-три телезвезды, а при них — обслуживающий аппарат (секретарша плюс шофер), да по паре городских сумасшедших, гордо несущих знамя партии, на каждой из субъектов РФ. Всех остальных из этих партий вымыло. И лидеры принимали активнейшее участие в этом вымывании своих потенциальных конкурентов.

Складывалось ощущение, что политикой как бы просто так заниматься нельзя. Мол, какие нормальные люди станут заниматься ею не за интерес, не за деньги, а за идею? А в рамках таких партий политикой заниматься может только тот, кто имеет интересы, т.е. имеет властные или финансовые ресурсы. Только он может отвечать по обязательствам и заниматься политикой.

Иными словами, все эти годы шла ползующая деполитизация, департизация и дедемократизация политики. На фасаде ничего не менялось, но фактически вместо первоначально возникших массовых низовых движений получились довольно узкие структуры, не имеющие никакой связи с избирателями и осуществляющие коммуникацию со своими сторонниками исключительно через медиаканалы. Сформировалась медиакратия, связанная с главным ее ресурсом — контролем за «медиаарбульником».

Но в 2000-е годы произошло неожиданное: матинки качнулись от партий к институтам.

Старые и новые «адаптанты». Об электорате партии власти и «третьем президентском сроке»

Хорошим примером происшедшего является «партия власти», поскольку у этой партии и связанных с ней структур трудно назвать политических лидеров. Ее формальным политическим лицом и знаменем является президент Путин. Но вряд ли можно сказать всерьез, что ее вождем являются Грызлов, Шойгу, Лужков или кто-то еще из ее руководства.

Правомерно ли партию власти считать партией? Думаю, что правомерно, ибо она представляет определенную социальную группу, своего рода «профсоюз госслужащих». А поскольку в нашей системе до сих пор госслужащим оказывается и учитель, и врач, то эта группа весьма многочисленна и разнообразна.

Кто голосует за партию власти в стране? Среди прочего там есть любопытная — массовая! — прослойка людей, которые получают по две тысячи рублей в том месте, где у них лежит трудовая книжка, и на работу почти не ходят. Им за эти две тысячи рублей просто надо раз в полгода сходить куда-нибудь и поставить правильную галочку. А по жизни они добирают свое совершенно где попало. Это и есть анатомия того самого «админресурса». Он основан скорее на договорных отношениях, чем на прямом управлении. Если место, где зарабатывают деньги, в сознании человека располагается совершенно отдельно от так называемой официальной работы, то что это означает? Работа — это место, где тебе присваивается социальный статус. Ты кто? Я работаю в школе, в колхозе, на заводе и т.д. А как я при этом выживаю — другой вопрос. Может быть, на огороде картошку сажаю, может — шмотками торгую, в Турции езжу за чаем, еще как-то. Потому что на работе денег не платят. Но оттого, что их не платят, она не перестает быть работой, своего рода портом приписки. И вот так формируется огромный слой населения, который, собственно говоря, и обеспечивает решающие проценты голосов за партию власти.

Однако в последнее время наметилось некоторое видоизменение ее социальной базы. Если раньше человек, условно говоря «учитель», в принципе готов был сорваться и сменить свою групповую принадлежность, перейдя, скажем, в категорию «предприниматель», то сегодня усиливается более жесткая привязка людей к их социальным нишам. Возникает то, что на советском языке называлось классовыми интересами (или социальными, стратовыми и т.д.). Естественно, при этом возникает и риск того, что общественный слой, который до того являлся базой партии власти, после такой трансформации перестает ее поддерживать, что он может изменить свои политические пристрастия. Именно поэтому во власти возникают инициативы типа национальных проектов. Не случайно они адресованы именно тем сферам: селу, школе, больни-

це, где и складываются новые устойчивые сообщества (единственное исключение — жизнь, это особый случай). Речь идет о своего рода «новых адаптантах». Они формируются из тех, кто, может быть, и не является богатым и успешным, но кто в принципе ориентирован на адаптацию к нынешнему порядку вещей. Из тех, кого он в целом устраивает, чьи претензии к нему не носят фундаментального характера.

Если человек голосует за какие-то другие партии, то он обычно манифестирует этим свою идеологическую позицию. А голосование за партию власти — нечто иное: он манифестирует свое отношение к сложившемуся порядку вещей.

Разумеется, у сформировавшейся в стране политической системы есть определенные проблемы, видимые даже невооруженным глазом. Намечившаяся деперсонализация политики на партийном уровне не означает, что то же самое происходит и на уровне государственном. Данная дискуссия возникла не на пустом месте. Не вдаваясь в анализ природы нашего персонализма, скажу лишь о его довольно частном случае, о проблеме так называемого «третьего президентского срока». В чем заключается связанный с этой проблемой устойчивый невроз, характерный сегодня уже не только для элиты, но и для массового избирателя?

Дело в том, что 1990-е годы породили достаточно узкую группу обеспеченных людей, но далеко не все они достигли этого благодаря эффективной адаптации к новым условиям: многим просто повезло, но от этого они не перестали чувствовать себя маргиналами. В 2000-е годы возник иной, достаточно массовый слой хорошо адаптированных к новым условиям россиян — быть может, не столь сильно повзрослевших своей материальный статус, но в принципе вписавшихся в новый порядок вещей. У этих людей теперь есть что терять.

Но им говорят, и говорят все настойчивее, что вот, значит, товарищ Золушка, у тебя уже есть карета, кучер, лошади, платье, но скоро наступит полночь, и лошади превратятся в мышей, кучер в крысу, карета в тыкву, а во что превратится платье — и говорить неудобно. Эти «новые адаптанты» — словно Золушка на балу: она пыталась танцевать, на нее смотрят принц, но она понимает, что не может стать принцессой, потому что в двенадцать все кончится, все рассыплется, и надо будет срочно куда-то бежать. Чтобы этого не произошло, нужно что-то делать, нужно останавливать время. Третий срок — это и есть попытка остановить время. Бузовально — подойти к часам, остановить маятник и держать, не дай бог, не начал двигаться.

Золушка, убегая, оставила туфельку, которая, что характерно, в тыкву в полночь не превратилась. Зная женщин, могу сказать, что она ее оставила специально, будучи заранее уверенной в том, что туфелька та, в отличие от всего остального, в тыкву не превратится. И по этой самой туфельке ее, Золушку, найдут и осознают. Иными словами, в чем выход из невроза? В том, чтобы создавать вещи, которые наверняка не рассеются как дым в ходе транзита 2007–2008 годов.

На месте гражданских структур и всякого рода общественных сил я бы просто написал систему требований к политикам — всем без исключения, и провластным, и оппозиционным — по поводу того, что гарантировано не должно измениться, кто бы ни пришел к власти. Что хотите делайте, но свободный выезд за границу должен сохраниться, жизнь у людей должно остаться в их собственности, ну и т.д. Короче говоря, необходимо сформировать систему неизменных, инвариантных позиций, своего рода Конституцию. Входит ли в эту систему неизменного Конституция 1993 года? Пока, на данный момент, всеми, начиная от президента, по умолчанию признается, что входит. И даже, в каком-то смысле, стоит во главе списка. Так что при наличии формальной возможности изменить Конституцию реального политического мажордта на это у Путина вроде бы нет. Потому что действующая Конституция как бы относится к числу туфельек и в полночь не исчезает.

В отличие от многих, я тем не менее не исключаю третьего срока. Но для меня такой исход будет однозначно поражением нынешнего президента. Поясню. Я допускаю ситуацию национальной катастрофы, в которой Путину необходимо будет, как библейскому Иисусу Навину, остановить солнце, чтобы добить этих злостных моавитян, поскольку если солнце не остановить, то добить их не получится. Тогда, как известно, Иисус Навин обратился к Богу, и случилось чудо... Но при этом произошло то, что в нормальной жизни Богом запрещено. Оказался нарушенным порядок вещей. Было ли это поражением Иисуса Навина или его победой? Ответить непросто, но искать ответ нужно.

От персоналий к институтам

Мой ответ (и здесь мы совпадаем с Красновым) таков: закон — не просто некая норма, по которой мы живем, закон — это и есть цивилизация. Закон — это хрупкая ткань культуры, которую все мы создаем и поддерживаем и которая все время рвется, а нам приходится ее постоянно латать и восстанавливать. Мы постоянно выходим за эти границы цивилизации, все время преступаем их, но мы должны постоянно в них возвращаться.

Да, устойчивых цивилизаций не бывает. Да, есть места, где действие закона проявляется сильнее, а есть места, где он действует слабее. Но везде закон — это такая штука, которую трудно поддерживать и очень легко поломать. Ломать легче. Это великое достижение культуры, что мы по умолчанию не бьем друг друга дубинками по голове — несмотря на то, что бить гораздо проще, чем не бить. И в какой-то момент мы перестаем сознавать такое «небитье» как достижение культуры. Но лишь до тех пор, пока не обнаруживаем, что по улице ходят люди с дубинками, и необходимо тоже обзавестись таковой, иначе нечем будет ответить, когда кто-то другой на тебя с дубиной наскочит.

Усиление роли законов, роли институтов — вот в чем главный ресурс в решении проблем нашего политического развития. Поэтому я считаю абсолютно деструктивной и навязываемую обществу тему преемника. В ней есть нечто подлое: кого-де назначу, того и выберете. Полагаю, что альтернативный лозунг момента, лозунг дня сегодняшнего — переход от персоналий к институтам. Главное, что должно исчезнуть и раствориться в полночь, — это замкнутость всей коммуникация между властью и населением на одной личности. Вместо дискуссии о том, кто будет «работать Путиным» (если понимать «Путина» как должность), должен быть разговор об институтах, которые поддерживают систему социально-политических коммуникаций в стране.

Короче говоря, я хотел бы, чтобы преемником Путина стал институт. Не Сидоров и не Петров, а определенная устойчивая институциональная система. Конечно, велики шансы, что у нас опять получится «как всегда». Но это не повод прекратить попытки сделать как лучше.

Мы сегодня находимся в ситуации, в чем-то очень близкой началу 1720-х годов. Тогда половина Петербурга обсуждала вопрос о том, кто будет продолжателем дела Петра. Но как показал дальнейший XVIII век, собственно российский самодержец (зовись он Петр, Павел или Иоанн) больше трех или четырех лет на престоле усидеть не мог. Его довольно быстро сводили в могилу. А устойчиво на престоле могли усидеть лишь императрицы.

Но кто оказывался при этом преемником Петра I? Не Екатерина, не Анна и не Елизавета. Преемником был его Город. Город, построенный и устроенный иначе, чем вся остальная Россия. Соотнесенный с ней как некая «внутренняя Европа», поставленная в углу России на ее границе, как пресловутое окно в нее. И, покидая этот город, отъезжая в Москву, любой человек во многом терял свой статус приближенного к элите.

А элита, согнанная в Петербург, собравшая в нем и обученная жить по другим правилам, чем вся остальная страна, была не в состоянии покинуть его, потому что вместе с ним она теряла свой элитный статус. И за тот век, в течение которого город выполнял роль преемника правителя, в стране с нуля сформировались все необходимые предпосылки для ее вхождения в новый XIX век.

Эта историческая аналогия может показаться слишком вольной — другое время, другой контекст, другие проблемы. Но я так не считаю. Вопрос о роли личностей и институтов (правил, норм, законов) в политике для нас по-прежнему актуален, хотя коварное содержание его за три столетия, конечно же, существенно изменилось.

Одни должны писать законы, другие — управлять государством

Я предпочитаю воздерживаться от конкретных прогнозов. Прогнозы дают наблюдатели, а я хочу быть участником событий. И я хочу поломать ту политическую конструкцию (кстати говоря, не прописанную в Конституции), которая сложилась de facto, ту управленческую практику, когда законы пишутся в правительстве и формально утверждаются в Законодательном собрании, о чем я уже говорил.

Я считаю главной политической задачей 2007 года вернуть законодательной власти сущностно присущие ей функции законодателя, исполнительную власть ограничить ее исполнительными функциями. Одни должны писать законы, другие — в соответствии с ними — управлять государством. При этом первые не участвуют в управлении, а вторые не пытаются изменить законы. И данная задача, повторю, чуть ли не центральная.

Сегодня для ее решения есть все условия, есть все то, чего не было в 1994 году. Тогда, если бы решились действительно предоставить депутатам Думы возможность сочинять законы, страшно представить, что бы они там написали. Мы могли наблюдать схожую ситуацию в 1993-м, когда Верховный Совет был параллельным центром власти. Сегодня все уже не так. Сегодня существует реальная возможность сделать парламент местом производства законов. Перенести это производство из Министерства экономического развития и Министерства финансов и прочих министерств в Государственную думу.

Потому что сегодняшние парламентарии уже полностью встроились во власть и бизнес и являются наиболее заинтересованными в наличии правил людьми. В предпарламенте образца 1993 года, да и в парламенте 1994-го не было никого, кто был бы заинтересован в наличии правил как таковых, поскольку борьба шла не за правила, а за власть и собственность. А сейчас абсолютное большинство заинтересовано в наличии правил, в их уточнении и в их ясности.

Правда, сегодня законы реально создаются в Администрации президента, а проводятся правительством, которое является одним из подразделений Администрации. Существует даже мнение, что Администрация президента и является тем институтом, который приходит на смену персонализму президентской власти. Не партия власти, не парламент, который всякий раз выступает всего лишь неким департаментом этого главного Института, а сам он все более последовательно выходит на передний план. Может быть, Администрация президента и есть главный секрет нашей грядущей суверенной демократии, наш будущий главный институт?

Действительно, АП в современной конструкции — это своего рода интеграл от правительства. И вместе с тем институт, вполне явный, имеющий колоссальное политическое влияние, колоссальную эффективность, во многом соответствующий нашей политической системе, ее традициям. Но, на мой взгляд, все гораздо проще и банальнее.

Чтобы не путаться в словах, скажу так: Администрация президента — это вовсе не какой-то особый институт, являющийся уникальным производением русской политической культуры. Это просто правительство. Сегодня так называется правительство России. А то, что формально именуется у нас правительством, является всего лишь одним из подразделений реального правительства, т.е. АП.

Скажу более: фактически Администрация президента несет ответственность перед президентом за результаты выборов в парламент, а президент в нашей конструкции есть представитель воли большинства, воли нации, которую он олицетворяет. Как и в случае перехода к назначению губернаторов, президент выступает во время парламентских выборов не столько субъектом верховной власти центрального правительства, сколько агентом, репрезентирующим социум, который иначе не может политически паразитить собственную волю. Президент здесь — некая вспомогательная конструкция, некая подпорка для не вполне дееспособного социума.

Я считаю, нужно называть вещи своими именами. Администрация президента по факту является полноценным правительством России, объединяющим в себе силовую, внешнеполитическую, финансово-хозяйственную, кадровый, региональные блоки и прочие необходимые элементы. Но написание законов нужно отдать парламенту. Необходимо, чтобы те люди, которые и так сейчас пишут законы в структурах АП, шли работать в Думу непосредственно, путем прохождения по спискам партии власти, и там занимались бы своим привычным делом — писали законы.

От политики, контролируемой медиакратией, к политике прямой коммуникации с массами

Я — сторонник массовизации политики. Меня категорически не устраивает ситуация, когда политикой, как сегодня, занимаются очень узкие команды, привлекают при этом наемников, пиарщиков, имиджмейкеров, черт знает кого. Я за массовую политику и за массовый политический актив, за снижение влияния медиакратии. Необходима диверсификация каналов политической коммуникации, развитие разнообразия медиасреды, а значит — необходим переход от политики, контролируемой большинством медиакратическими каналами, к политике прямой коммуникации с массовым партийным активом.

Я считаю, что, несмотря на все сложности, определенные успехи на данном направлении в последние годы есть. Это, в первую очередь, новый закон о партиях, который фактически навязывает им необходимость работы с низовым активом. В Германии ХДС/ХСС насчитывает 600 000 членов. Германия — страна, которая в два раза меньше нас по населению, а ХДС/ХСС — только одна из четырех ведущих партий. У нас же партии не могут, зачастую, собрать по стране даже 10 000 своих сторонников.

Массовизация партий — это к тому же шаг к сворачиванию рынков партийных брендов, когда тот или иной бренд отдается в регион по франчайзингу. Бизнесмен, которому нужна политическая крыша, покупает подходящий политический бренд федерального уровня, ну, например, «Яблоко», или КПРФ, или ЛДПР, и строит под ним региональное отделение из сотрудников своей фирмы. За счет этого появляется возможность объявить любой наезд на его бизнес борьбой с политической оппозицией.

Наша большая проблема связана с каналами коммуникации. На языке оппозиции она маркируется неросифом «государственный контроль за СМИ», но на самом деле она куда серьезнее. Дело в том, что у государства нет контроля над СМИ. Утверждать ответственно: ведь для того, чтобы получить такой контроль, Администрации президента нужно встать в очередь за Петросином и «Визит-Билль-Дашком». Все последние годы политическая дискуссия изгойлась и заменилась шоу, обеспечивающим массовую аудиторию, и навязываемой этой аудитории рекламой. Иными словами, общенациональ-

ных СМИ у нас нет. Те, что так называются, превратились в чей-то частный бизнес, выдаваемый за общенациональные СМИ. Они выполняют развлекательную функцию, но не выполняют коммуникационную. И власть на общих основаниях покупает рекламное время — отчасти, конечно, в обмен на административный ресурс, политическую крышу, но фактически у СМИ отношение к власти как к обычной частной компании.

Не удалось создать для решения общенациональных задач и параллельные коммуникационные среды. Попытки были, но все они провалились. А ведь мы помним еще и эпоху самодата, и ту пору, когда центральные СМИ вообще не играли никакой роли по сравнению с той повсеместной коммуникационной средой, которую формировали клубы, многочисленные публичные дискуссии. В этом смысле культура коммуникаций тоже деградировала.

И тем не менее желаемая мной массовизация политики уже происходит. Во-первых, людей, которые занимаются ею (профессионально, полупрофессионально, любительски), стало больше. Во-вторых, в последнее время — буквально в 2005–2006 годах — политика стала насыщаться свежей кровью. Происходит поколенческое обновление, в политику активно входит первое постсоветское поколение. Дети последнего советского демографического бума конца 1970-х — конца 1980-х годов. Их не было еще даже на выборах 2003 года. Сейчас они пришли, и их отличие от всех остальных не только возрастное. Они выросли в другой системе, при других условиях, восприняв другие ценности. Вопрос в том, как они предъявят себя в своей первой избирательной кампании. Управляема ли энергия этого поколения? На Украине, например, она оказалась в целом неуправляемой. Может статься, что и у нас новое поколение сформирует некий запрос, к ответу на который действующая политическая система окажется не готова. Хотя обязанность политической системы — быть готовой к обновлению, заранее выстраивать «кадроприемников» разного типа и сорта, различные «лифты вертикальной мобильности» для нового поколения.

К сожалению, у этого нового поколения есть одна отрицательная особенность, о которой я говорю как его представитель. В отличие от старших возрастных групп, у него нет внутреннего морального запрета на использование насилия в политике. Не случайно единственным его представителем, который к сегодняшнему дню пробился в первый эшелон политики, является Рамзан Ахмадович Кадыров. У этого поколения — я имею в виду как славян, так и неславян — нет внутренних барьеров. Именно поэтому мы видим студентов-химиков, которые торжуют рынки, каких-то чеченцев, которые превезжают разбираться в ресторан и режут там кого попало, и т.п.

Если бы события 1991 года случились сейчас, они могли бы перерасти в кровавое побоище. Я боюсь, что приход нового поколения неизбежно будет сопровождаться ростом насилия в политике. Ростом отнюдь не буцафорского терроризма. Есть много симптомов нарастания такого рода тенденций.

Для инициации процессов массовизации политики нам необходимо качественно разнообразить роли и позиции политических игроков. Одна из серьезных проблем — убожество форматов нашей политики и демократии в целом. В свое время был задан невероятно узкий диапазон ролей. Ты можешь быть политиком действующим, т.е. тем, кто идет на выборы. Далее, в какой-то момент появилась роль пиндосика, которому платят деньги за то, что он раскручивает действующих политиков. И еще ты можешь быть чиновником, назначенным в политику по административной линии. Вот, пожалуй, и все основные роли.

Сегодня, однако, появляются и совершенно новые роли. Например, роль гражданского активиста-общественника в политике — я имею в виду диспенсер автомобилей, экологистов, правозащитников и т.п. Появилась роль эксперта, не претендующего на политическую позицию, но дающего объективную экспертную оценку тем или

иним политическим решениям. Появилась роль политического журналиста, не скрывающего свою ангажированность, открыто выступающего с партийных позиций. Теперь, когда журналисты принадлежат к разным партиям, сравнивая их позиции, мы можем выбирать. Такая партийная журналистика, на мой взгляд, интереснее, чем прежняя псевдообъективистская, систематически нас обманывающая. Наконец, появилась роль регионального политика: наряду с федеральной политической площадкой оформились площадки регионального уровня, причем именно в связи с упразднением губернаторских выборов. Сейчас для того, чтобы взять регион, нужно брать местный парламент, а значит, появилось пространство для работы и реальной конкуренции региональных политических команд.

Вообще, становление демократии — это всегда определенное усложнение политической системы. Но в конце перестройки у нас тоже шел бурный процесс усложнения нашей политической системы, а в итоге все это привело к «взрыву реактора». Такова опасность любого усложнения системы. Задача институциональных строителей состоит в том, чтобы «взрыва реактора» не допустить.

Наше будущее может появиться только в результате столкновения настоящего с прошлым

Безусловно, есть факторы, принципиально затрудняющие продвижение по избранному пути.

Первый фактор — абсолютная организационная деградация, организационная беспомощность политического класса и социальной среды. Для того чтобы строить институты, нужна хоть какая-то минимальная организационная культура. Но она у нас, особенно в политической сфере, за период с начала перестройки только деградировала. Деградировала способность строить команды, сети горизонтального управления, иерархии соопределения, способность распределить функции и ответственность. Черномырдин сказал: какую партию из строя, все получается КПСС. На самом деле он сделал необоснованный комплимент нашим партиям. Потому что строится, как правило, не КПСС, а то, что осталось в памяти строителей от известной им низовой ячейки — их родного райкома, месткома или профкома. Остался тот уютный срез КПСС, который успели узреть эти люди к тому моменту, когда уже все рушилось. Поэтому с точки зрения организационной культуры все наши партии являют собою сильно урезанные, ухушенные, лишенные большинства достоинств подлей КПСС уродцы.

Другой фактор — очевидная деградация политического языка. Язык, на котором велась политическая дискуссия, все это время деградировал. Поветия засорились, нивмывались, исчезали, пакостились. Сегодня невозможно использовать традиционные понятия: «правые», «левые», «либералы», «консерваторы», «социалисты». Все это сегодня абсолютно неадекватно. И поэтому разговор переходит на новорусский сленг: «бабос», «разводки», «планца», «группы», «наезд», на смесь шаровского с бандитским. Но зато все понятно.

Еще один фактор — это сложившиеся в 1990-е годы практики и соответствующие социальные страты, которые сегодня ушли в тень, но в общем-то никуда не делись. Если буквально воспринимать аргументы защитников Ходорковского, что якобы в те годы так, как он, вели себя все, а остальных почему-то не посадили, то это означает, что люди типа Пегутина до сих пор сидят в любой из контор, сложившихся в прошлые десятилетия. Для них естественна практика решения вопросов путем заказных убийств. Меня поразила история про пойманного коклера, который убил Квантришвили. Ему в конторе, где он работал, платили 5 тысяч долларов в месяц; он получал деньги не за заказ, а в качестве зарплаты, сидит на окладе. Должность такая, только что в трудовую книжку не записанная. Эта сформировавшаяся среда криминального биз-

неса сегодня чувствует себя не у дел, не понимает, что ей делать в новых условиях. В принципе она может организовать и дать нам бой. В этом смысле в повестке выборов 2007–2008 годов будет не столкновение настоящего с будущим, т.е. 2000-х с 2010-ми годами, а столкновение настоящего с прошлым — 2000-х годов с 1990-ми. И будущее может появиться только в результате этого столкновения.

«Хулиганище» вместо оппозиции

Я очень люблю следить за постреволюционной Украиной. Это, как сейчас любят говорить, развернутой в реальном времени учебник по политическому или конституционному строительству. Там в какой-то момент была очень интересная дискуссия о политических гарантиях оппозиции. Темой или предметом разговора являлось состояние оппозиции как института. Можно считать оппозицией людей, в данный момент не согласных с политическим курсом власти и ему оппонирующих. Но есть и представление об оппозиции как об институте, предполагающее, что на месте нынешних оппозиционеров может оказаться каждый — при неблагоприятном для себя результате очередных выборов.

Правящая партия, руководствуясь таким представлением, должна заранее обустроить институт оппозиции (ровно в той же мере, что и оппозиционнах), поскольку должна понимать, что в перспективе обустроит его для себя. Между тем для описания того места, которое занимает оппозиция в российской политике, больше подходит слово «хулиганище»: грубо говоря, есть те, кто принимает участие в политике, а есть другие — некая толпа юродивых на паперти, которая бранит цепями и кричит, что нельзя молиться за царя Ирода, — то самое «хулиганище». Это — люди, при одном взгляде на которых становится ясно, что передавать им власть — настолько страшно и безрассудно, что лучше уж ничего не менять. И уже не важно, как ты относишься к действующей власти. Потому что, как бы ты к ней ни относился, она-то уж наверняка лучше, чем «эти».

Но, с другой стороны, когда мы обвиняем оппозицию в неконструктивности, мы упускаем из виду то, что люди, которые в прошлом принимали участие во власти, оказавшись в оппозиции, через какое-то время становятся абсолютно органичными персонажами этой паперти, этого «хулиганища». И ведут себя там не как адезватные государственные управленцы, а как шуты и юродивые. Некоторые из них долго сопротивляются этому, но, как правило, безуспешно. Я, например, видел человеческую трагедию такого сопротивления в лице Георгия Сатарова, умного и принципиального политика. Но когда в каком-то из последних илдемонских бюллетеней о коррупции обнаружилось, что, по данным Сатарова, наши бизнесмены дают взятку в три раза больше, чем зарабатывают, я понял, что он окончательно превратился в пропагандиста-скажочника. Порог перейден.

На самом деле пребывание в реальной оппозиции дает определенные преимущества. Пока правящая партия осуществляет текущее управление страной и реализацию своих программ, оппозиционер имеет время построить для себя программу на будущее. То есть сформировать политическую стратегию лет на 15–20 вперед, которую можно будет пытаться осуществить последовательно, сосредотачивая для этого время, возможности, ресурсы. В результате возникает своего рода маятник: когда один управляет, другие строят перспективные программы, потом первые, поручив, уходят строить свою перспективную программу, а вторые, напротив, приходят во власть и начинают реализовывать свои замыслы. При этом все является частью единой системы, поскольку в чем-то самом главном и неизменном согласны между собой. Если же такое согласие отсутствует... Например, если в политической системе есть те, кто именует себя демократами (в нашем, российском, а не американском смысле), то получа-

ется, что в системе проблема с демократией. Потому что если таких проблем нет, то демократами должны признавать себя — по умолчанию — все без исключения участники политического процесса. А когда есть демократы и недемократы, когда победа одних — это хорошо, а победа других — плохо, то, значит, никакой демократии нет. Это, мне кажется, понятно.

На практике мы имеем дело с систематической проблемой русской политической управленческой культуры. Как в анекдоте про психов: что сначала — плавать учиться или воду наливать? Вот создали, скажем, местное самоуправление, а полномочий ему не дали. Во-первых, потому, что управлять не умеют, а во-вторых — дашь, так все разворуют. Но как можно научиться управлять, если не дадут то, чем управлять: вы-де сначала научитесь, а мы вам потом позволим порулить? Повотню, что еще немного, и оставшиеся еще энтузиасты местного самоуправления разбегутся по стране, и придется на их место назначать уполномоченных из района или из области. Тем самым реформа будет окончательно похоронена, а идея скомпрометирована. И все потому, что испугались налить в бассейн воды, чтобы люди попробовали плавать самостоятельно.

Очевидное узкое место — дефицит экспертизы. Причем дефицит не столько на уровне систем, сколько на уровне компетенции. Никто не мешает, коль скоро вышел, например, закон или объявлена политика тех же нацпроектов, развернуть по поводу их политическую дискуссию. Но оппозиция не спешит такую дискуссию разворачивать. То, что делает власть, оппозицией всегда игнорируется. Никто не претендует на позиции губернаторов и мэров, все претендует исключительно на управление страной в целом, требуя «весь капитал сразу», поскольку-де все в целом неправильно, так что незачем подправлять что-то по частностям. Оппозиция живет сегодня по своей повестке дня, власть — по своей. Власть решает какие-то повседневные проблемы: трубы текут, их надо чинить, а так как чинить некому, нужно произвести реформу коммунальной сферы и т.д. А оппозиция живет вне этого. Ей это неинтересно: какие-то трубы, колодцы... Она занимается другими вещами — борьбой за права человека, внешней политикой и проч. Такая позиция оппозиционеров возмутительна.

Единственный способ создать в России оппозицию — учредить ее указом президента

Казалось бы, чего еще недостает нынешним оппозиционерам? Практика показывает, что, если появляется именная экспертиза, она принимается. Любой отклик на конкретные действия и шаги власти принимается и рассматривается. Не принимаются разговоры типа «у вас все неправильно, дайте мне порулить». А тезисы типа «если уж решать этот вопрос, это надо было сделать так-то и так-то, а не так-то и так-то» — принимаются. Проблема в том, что в самой власти всегда имеется острый дефицит кадров и, как только в рядах оппозиции появляется некто хоть сколько-нибудь способный говорить на языке и в манере решения практических задач, его немедленно рекрутируют, закрывая глаза на его отношение к президенту, демократии, парламенту и т.д. Даже абсолютно невменяемых, но профессиональных экспертов типа Илларинова и тех рекрутируют во власть, рискуя получить потом кучу проблем.

И это тоже — к вопросу о политическом образовании и политической культуре. Дело не только в том, как бороться за власть, но и в том, что делать, когда находишься в оппозиции.

Я не вижу оппозиционных политиков на общественных советах при министерствах, куда сейчас чуть ли не слишком зовывают экспертов. Я не вижу организуемых оппозицией круглых столов по вопросам образования, здравоохранения, культуры, экономического развития. Я вообще не вижу никакой повестки дня, кроме абсолютно набившего оскомину обсуждения одних и тех же тем с 2001 года: об авторитаризме,

нарушениях прав человека, войне в Чечне и черт его знает еще чего. Поэтому становится понятно, что даже если вдруг случится апокалипсис и эти люди придут во власть, то реальный аппарат управления и реальный стиль управления останется теми же, что и сейчас. Аппарат, конечно, окажется слегка потрепан, кто-то сворует и сбежит, кто-то просто сбежит, кто-то обвиняет, кто-то пересидит и злит злобу, но случится примерно то же, что случилось в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда политическое руководство сменилось достаточно существенно, а государственный аппарат остался прежним. В результате управленческая культура быстро деградировала, перестав соответствовать той политике, которая проводилась с помощью этого аппарата. И в конечном счете он стал сам диктовать методологию политических решений новой власти. Стало быть, для того, чтобы что-то изменить, оппозиция должна быть готова копать рычаги власти на уровне этих самых конкретных сред и контролируемых ими практик, должна обладать своим пулом экспертов в самых различных узких областях.

По сути дела власть должна поставить перед собой задачу формирования нормальной, с точки зрения ее, власти, оппозиции, которая могла бы конструктивно и эффективно работать по развитой политической системе страны. И здесь, в этой точке, мы натыкаемся все-таки на так называемую «проблему России», на те клятвые и ненавидимые мною «российские особенности». В других странах власть, грубо говоря, занимается задачами поддержания status quo, а лучшие силы общества — задачами развития. У нас ситуация — чуть ли не прямо противоположная: лучшие силы общества занимают консервативную позицию, хранят традиции, а власть вынуждена заниматься развитием общества. В силу этого все без исключения нововведения, новые институты, новые значимые изменения в укладе, в культуре, в социальной структуре могут состояться и реализоваться только через власть.

И если попытаться создать нормальный институт оппозиции в России, то, боюсь, в результате разных экспериментов мы придем к неизбежному результату. Единственный способ создать оппозицию — учредить ее указом президента и назначить ответственным за это, т.е. главным оппозиционером «по должности», условно говоря, Сидорова П.П. Учредить с этой целью министерство оппозиции, а он станет соответствующим министром. И тогда оппозиция действительно состоится как институт и будет честно работать в этом своем качестве. Это, кстати, показали недавние события с «Партией Жизни», которая смогла организовать фронт «Единой России», перепугав региональных начальников куда сильнее, чем прочие.

Проблема в том, что в России власть — видимо, на уровне культуры и ее норм — обладает неким мистическим правом монополии на производство новых социально-политических институтов. Только будучи созданными ею, они признаются обществом. Поэтому если ты хочешь создать новый институт, то единственный способ это сделать — оформить его создание через решение власти. Единственный способ создать новый рынок — это стать по данной категории товаров поставщиком двора его императорского величества. Так, например, никто не признавал социологию массовых опросов как полноценный институт до тех пор, пока не состоялась устойчивая смычка кремлевской власти с Фондом «Общественное мнение», после чего возник новый рынок. Причем открытый не только для власти, но и для всех остальных. А там подтянулся бизнес, началась коммерческая социология.

Единственный способ улучшить действующие законы — это соблюдать их

Я закончу тем, с чего начал, а именно — звать обращусь к тексту Краснова. Чем мне так понравился пафос его текста? Тем, что он подводит вдумчивого читателя к неопровержимому выводу: единственный способ изменить и улучшить существующие

законы и обычаи — это соблюдать их, а изменяя — неукоснительно следовать тем процедурам, которые они предписывают. Напротив, путь к улучшению законов и обычаев через их насильственный слом ведет лишь к их ухудшению. Это — та самая дорога в ад, широкая и просторная, на которую очень просто вступить, но потом очень трудно с нее свернуть. Поэтому единственный способ изменить, например, Конституцию (если мы, положим, хотим ее изменить) — это соблюдать ее и организовать процесс конституционной реформы строго в рамках действующего Основного Закона.

И, выходя за пределы правовой сферы на более обобщающий уровень, отмечу, что самое уязвимое наше место — слабость действующих институтов и норм. Тех, в соответствии с которыми мы сегодня занимаемся политикой. Поэтому самой главной задачей для меня является не победа, условно говоря, «наших» над «чужими» или «хороших» над «плохими». Главное — увеличить базовую устойчивость тех норм и правил, которые только и создают возможность функционирования демократии, т.е. участия большого количества субъектов в принятии политических решений.

Собственно, наш персонализм обусловлен необходимостью ограничивать круг таких субъектов из-за невозможности организовать между ними эффективное взаимодействие и обеспечить выработку согласованных решений в деперсонализированном формате. Ибо как только власть начинает расширять их круг, все вдруг начинает болтаться и сыпаться. Вот почему расширение демократии, т.е. круга лиц, групп, сил, участвующих в принятии политических решений, возможно только на основе укрепления норм и институтов. Если удастся закрепить и удержать нормы, значит, мы будем защищены от сползания в авторитаризм, персонализм и т.п. А если не удастся, то даже в случае прихода к власти самого главного демократа всех времен и народов мы обречены на существование в рамках авторитарной модели. Поскольку альтернативой этому может быть только тотальный коллапс всей политической и социальной системы.

ОППОЗИЦИЯ ВЛАСТИ ИЛИ ОППОЗИЦИЯ ПРИ ВЛАСТИ? (Вопросы Алексею Чадаеву)

1. Ваша позиция радикально отличается от позиции Вашего коллеги по Общественной палате Сергея Маркова. Он, напомню, считает, что «личность Владимира Путина важнее для общества, чем институты государства» и что в условиях современной России это нормально и правильно. Вы же такой персоналистский подход оцениваете однозначно негативно и призываете к «переходу от персоналий к институтам».

Это — Ваша главная мысль. Но она, мне кажется, нуждается в конкретизации.

Михаил Краснов попытался доказать, что российский политический персонализм предопределен действующей Конституцией, т.е. теми властными полномочиями, которыми она наделяет главу государства. Вы с этим согласны? Если нет, то почему? А если да, то придется солидаризироваться с Красновым и некоторыми другими участниками дискуссии насчет необходимости изменения Основного Закона.

Вы настойчиво предупреждаете: коли уж менять, то в соответствии с юридической процедурой, предусмотренной самой Конституцией. Иначе непременно появится очередной матрос Железняк, исполняющий волю очередного претендента на роль политического монособъекта.

Это — понятно. Вопрос в другом: надо ли ее вообще менять, чтобы, как Вы пишете, «преемником Путина стал институт», т.е. «не Сидоров и не Петров, а определенная устойчивая институциональная система»?

Ответ я у Вас не нашел. Вместо него Вы ссылаетесь на ситуацию 1720-х годов, сложившуюся в стране после смерти Петра I. Мол, преемниками преобразователя были не конкретные царствующие особы, преемником был оставленный Петром «его Город», который и диктовал власти и элите определенные правила игры. Но что это значит применительно к нашим сегодняшним обстоятельствам? И какой такой Город предстает оставить после себя президенту Путину? Или, может быть, этот Город им уже выстроен?

Исторические аналогии хороши тем, что позволяют уходить от сути современных проблем в их конкретности и своеобразии. Но в этом же, наверно, и их недостаток?

2. Вы считаете «абсолютно деструктивной навязываемую обществу тему преемника». Более того, видите в ней «нечто подлое: кого-де назначу, того и выберете». И с точки зрения «перехода от персоналий к институтам» этот Ваш пафос понятен. Однако...

Однако как совместить его с другим Вашим утверждением, согласно которому президент «в нашей конструкции» выступает во время выборов своего рода «агентом, репрезентирующим социум, который иначе не может политически выразить собственную волю», как «некая подпорка для не вполне дееспособного социума»?

Если социум недееспособен и собственную волю без помощи президента определить и выразить не в состоянии, то «тема преемника» выглядит не деструктивной, а конструктивной. Разве нет? Президент, указывая на преемника, как бы говорит

всем нам: вы сами свой выбор сделать не можете, поэтому я вам подскажу, кого нужно выбрать в соответствии с Вашей же «собственной волей». Чего тут сердиться, чем возмущаться?

Или форум у нас уже превратился из «не вполне дееспособного» в дееспособный вполне? Но тогда, может быть, не только на президентских, но и на парламентских выборах не стоит его больше «репрезентировать», вырвав его «собственную волю» посредством объявления президентом наиболее предпочтительной им, президентом, партии?

3. «Переход от персоналий к институтам» для Вас, насколько я понял, означает прежде всего утверждение законности. Первоочередной и главной задачей в данном отношении Вы провозглашаете разделение законодательной и исполнительной властей. «Одни должны писать законы, а другие — в соответствии с ними — управлять государством. При этом первые не участвуют в управлении, а вторые не пытаются изменить законы».

В принципе все ясно и недвусмысленно. Но дьявол, как и всегда, в деталях.

Согласно Вашей же констатации, «сегодня законы реально пишутся в Администрации президента». Вы видите свою миссию в том, чтобы эту практику «поломать». Как? Пересадит людей, которые сочиняют законы в АП, в думские хресла, для чего рекомендуете предварительно включить их фамилии в избирательные списки партии власти. И Вы действительно думаете, что тем самым будут обеспечены разделение властей и их самостоятельность?

Ведь Вы же сами выразительно изобразили ту роль, которую играет в нашей политической системе АП, контролирующая все и вся. И пока ее деятельность юридически не регулируется, я не могу себе представить, что она позволит своим бывшим сотрудникам, ставшим благодаря ей парламентариями, сочинять законы по своему усмотрению.

Может быть, Ваш замысел включает в себя и законодательное ограничение полномочий АП? Но тогда почему об этом умалчивается?

4. Не могу уразуметь, как у Вас вообще сочетается апология законности и здравницы в адрес президентской Администрации. Вы даже готовы предположить, что АП — это и есть «наш будущий главный институт». Но в таком случае без изменения Конституции уж точно не обойтись. Потому что Ваш основной кандидат на роль «главного института» выполняет сегодня функции, которые Конституцией предписаны другой структуре, что, отдаю должное, Вы тоже не считаете нужным утаивать.

Нет у нас и таких законов, которые позволяли бы АП, цитирую Вас, быть «реальным правительством России», превращая «то, что именуется у нас правительством», в одно из подразделений президентской Администрации. Что же это за институциональная система такая?

Я бы Вас еще понял, если бы Вы предложили реальное правительство в лице АП узаконить, т.е. превратить в номинальное. В таком случае российская форма государства стала бы напоминать американскую. О том, насколько это уместно, можно спорить. Но Вы, похоже, не усматриваете в узурпации одним властным институтом полномочий другого, Вами же зафиксированной, никакой проблемы.

Не смущает Вас и то, что номинальное правительство отвечает за все, что происходит в стране, и подвергается постоянной критике, а правительство реальное остается вне зоны политической ответственности. И это называется институционализацией политики? Что Вы все-таки под такой институционализацией подразумеваете?

5. Помимо призыва превратить сотрудников АП в думских законодателей, я обнаружил в Вашем тексте лишь один конкретный ответ на этот вопрос. Имею в виду Ваше предложение насчет института оппозиции, его учреждения указом президента в форме особого министерства с назначением министром. «И тогда оппозиция действительно состоится как институт и будет честно работать в этом своем качестве».

Интересная идея. Остается лишь прояснить, по отношению к кому оппозиция Его Президентского Величества будет оппозиционной.

К самому главе государства? Не уверен: он ведь как назначил главного оппонента, так и уволить может.

К реальному правительству, т.е. к президентской Администрации? Тоже сомнительно, потому что кандидатуры на должности министров подбираются не без ее участия.

К правительству номинальному? Но оно же проводит курс того, которое реальное, и оппонировать ему как главному ответчику за принимаемые решения и их жизнеоплодотворения — значит превращать политику в технологию освобождения реальной власти от ответственности посредством перенесения этой ответственности на технических исполнителей властной воли. То же самое можно сказать об оппонировании «Единой России» и любой аналогичной ей партии.

Насколько понимаю, политическая оппозиция — это все-таки оппозиция власти, а не ее приводным ремням. Вы думаете иначе?

6. Помню, помню: у Вас есть и пассаж про «хулилице» — сборище оппозиционных крикунов, способных лишь хулить власть и чурчающихся какой-либо конструктивной деятельностью. Вот, мол, что такое у нас оппозиция. И именно поэтому — назначить президентским указом! Крик души, можно сказать.

Но у меня вопрос: может ли оппозиция быть другой, если она административными и прочими способами лишается возможности претендовать на власть? Может ли она быть другой в условиях, когда сама власть устроена так, как она сегодня устроена?

Вы же сами поведали нам о том, как обеспечиваются «решающие проценты голосов» за «Единую Россию»: людям платят по две тысячи рублей по их официальному месту работы, которая самой работы не предполагает, а заключается лишь в том, чтобы время от времени ставить галочки в избирательных бюллетенях. И это Вы, подобно представителям «хулилицы», возмущаетесь: как же, мол, так — создали местное самоуправление, а полномочий ему не дали?!

Поэтому я и спрашиваю: может ли оппозиция при таких обстоятельствах (а Вы упомянули не о всех) не хулить персоналистскую систему властной «вертикали», которую даже Сергей Марков не стесняется называть «мародерской»? Систему, в которой ей, как оппозиции, правомочной претендовать на власть, к тому же вообще не предусмотрено места?

Вы объясняете существование такой «вертикали» и ограничение круга субъектов, допускаемых к принятию политических решений, тем, что при расширении этого круга «все начинает болтаться и сыпаться». Что, в свою очередь, происходит потому, что при большем количестве таких субъектов «невозможно организовать между ними эффективное взаимодействие и обеспечить выработку согласованных решений в деперсонализированном формате». А чтобы невозможное сегодня стало возможным завтра, предлагается опять-таки «укрепление норм и институтов».

Но — еще и еще раз: станут ли они крепче после того, как несколько человек переберется из Кремля и со Старой площади на Охотный Ряд, а президент назначит министра оппозиции?

Безответственные политические субъекты, как давно написано о том понимающими людьми (например, Максом Вебером), превращаются в ответственных лишь тогда, когда «нормы и институты» ставят их в ответственное положение. Поэтому, например, в 1998 году оппозиционная Кремлю коммунистическая Дума, она же «хулилице», поддерживавшая правительство Примакова и получившая возможность делегировать в это правительство своих представителей, голосовала за закон, которые в другой ситуации отвергла бы как «антинародные».

Так, может быть, к Михаилу Краснову все же есть смысл прислушаться? Может быть, без права парламента формировать и контролировать исполнительную власть никакого расширения круга ответственных политических субъектов у нас не получится?

Что же касается оппозиции, то станет ли она полноценным цивилизованным институтом при отсутствии свободной политической конкуренции? Или, говоря иначе, станет ли она таковой при наличии у партии власти административной, финансовой и информационной монополии, позволяющей ей оплачивать значительную часть своего электората и принимать законы (это тоже к вопросу о роли «норм и институтов»), запрещающие в ее адрес публичную критику?

7. И последняя группа вопросов. Они касаются отстаиваемой Вами концепции «суверенной демократии».

Оригинальность Вашей ее интерпретации видится мне в том, что концепция эта выдвигается не как локальная («демократия с российской спецификой»), а как универсальная: «Мы обречены строить модель, имеющую глобальное значение, которой может воспользоваться любая, кто угодно». Надо ли Вас понимать так, что «суверенную демократию» еще только предстоит построить, что в реальности она пока не совсем суверенная или не совсем демократия?

Похоже, Вы имеете все-таки в виду некий идеал, а не нашу нынешнюю политическую действительность. Но каков тогда сам идеал, претендующий на «глобальное значение»?

Ваш ответ: «Мы ясно заявляем о том, что разделяем ценности демократии, включающие определенный набор заповедей и, в частности, приоритет интересов личности над интересами государства и любого иного коллективного субъекта, что является в демократии более важным и правильным, чем принципы ее политической организации». Из этого следует, что универсальные демократические ценности «мы» заново не изобретаем, заимствуя их в готовом виде, а принципы демократической «политической организации» — тоже претендующие на универсальность — предлагаем свои, «наши». Я правильно понял?

Если нет, то поправьте. А если да, то поясните, пожалуйста, какое «глобальное значение» может иметь «политическая организация», в которой существуют два правительства, причем одно из них, реальной власти не имеющее и выступающее лишь подсистемой другого, несет всю полноту политической ответственности, а это другое, будучи всевластным, не отвечает ни за что?

Или, скажем, насколько может быть «образцом для всех», как говорили когда-то большевики о советской форме правления, идея, согласно которой президент уполномочивается назначать министра оппозиции?

Вы ведь и сами, вопреки своему неприятию «демократии с российской спецификой», в данном случае именно к этой специфике и апеллируете. Заключается же она, по Вашему мнению, в том, что власть в России первична, а все остальное, в том числе и оппозиция, может быть лишь вторичным и производным. Или, что то же самое, быть оппозицией при власти, а не оппозицией власти. И я, повторю, хочу понять: как все это соотносится с претензией «суверенной демократии» на «глобальное значение»?

А главное — как и благодаря чему демократия с подобной «политической организацией» сможет не только декларировать, но и защищать такую ценность, как «приоритет интересов личности над интересами государства»?

Надеюсь, что на этот и другие вопросы у Вас есть продуманные ответы. И что Вы сочтете для себя возможным и полезным их обнародовать.

P.S. Для справки: в 1993 году рейтинг Ельцина был не 3%, как Вы утверждаете. Вспомните хотя бы результаты референдума, который состоялся в апреле того года и на котором большинство поддержало не только Ельцина, но и проводившийся им социально-экономической курс.

И Конституция утверждалась не президентским указом и не в те дни, когда Вы и Ваши единомышленники защищали Верховный Совет.

**«ВЛАСТЬ ПРИХОДИТ В ТЕ СФЕРЫ,
ГДЕ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
НИЧЕГО ДЕЕСПОСОБНОГО ПОРОДИТЬ
НЕ В СОСТОЯНИИ»
(ОТВЕТ ИГОРЮ КЛЯМКИНУ)**

Есть два положения, которые я, отвечая Игорю Клямкину, хотел бы оговорить с самого начала.

Во-первых, больших сущностных различий между моей позицией и позицией Сергея Маркова по ключевому вопросу о роли в политике персоналий и институтов на самом деле нет. Просто мы говорим о разных вещах. Марков описывает наличествующую реальность, то, как она устроена сегодня, и в целом я, пожалуй, согласен с его описанием. Я же, не забывая о необходимости четкого разграничения между сущим и должным, исхожу из логики должного, т.е. стремлюсь говорить не только о том, что есть, но и о том, как должно быть.

И, во-вторых, по поводу самого подхода Игоря Монсеевича. Следует признать, он задал содержательные и тонкие вопросы, но при этом оставаясь в рамках той же самой логики, против которой я выстроил все свое предыдущее выступление в данной дискуссии. Такая позиция Игоря Монсеевича меня довольно сильно огорчила. Из его вопросов я увидел, что он точно так же, как и большинство внешних кремлевских руководителей, мыслит в логике персоналий и персональных перемещений.

Лояльность и компетентность — что важнее?

Главный вопрос, повторяющийся рефреном во всех семи пунктах его обращения ко мне, — что изменится, если некоторых людей пересадить из одних кресел в другие? Такая последовательность, на мой взгляд, непосредственно свидетельствует о том, что логика моего оппонента именно такова и увидеть ситуацию в другой логике он не хочет.

Я, напротив, возражаю против подобной редукции. Но если все же, в порядке допущения, принять такую упрощающую существо дела логику и поразмышлять о том, что изменится, если некоторое количество законодателей пересадить из кресел в Администрации президента в думские кресла, то я утверждаю, что изменения будут весьма существенные. Потому что в отношении нашей государственной бюрократии я склонен придерживаться идеи де Местра о том, что у нас не человек красит место, а место человека. И поскольку я работал как в правительстве, так и в Думе и имею возможность сравнивать, я могу ответственно заявить, что работа депутата Госдумы существенно отличается от работы кремлевского чиновника. И это отличие, касающееся формата работы, ее ритма, предмета и роли, очень сильно сказывается на их восприятии действительности. Поэтому даже такая простая операция, как пересадка одних на место других, способна изменить многое.

Естественно возражение: как может что-то измениться при сохранении прежней конституционной структуры? Отвечая, позволю себе задать моим оппонентам слегка провокационный вопрос: а почему до сегодняшнего дня реальная передача функций

законотворчества в парламент вообще не мыслилась, считалась невозможной? Мой ответ: потому что главной проблемой, главным препятствием к этому был кризис доверия. То, что оппоненты власти ошибочно принимают за боязнь утратить контроль и стремление к монополизации ресурсов контроля, на самом деле есть следствие масштабного кризиса доверия внутри политической и управленческой элиты, утрата доверия всех ко всем.

Так что если Игорь Моисеевич Климыкин посадить в кресло в Кремле, то он будет думать точно так же, как думают сейчас его нынешние обитатели. Он окажется в ситуации, когда лояльность важнее, чем профессионализм в кадровой политике. И обусловлена такая ситуация не идиотизмом или недалекостью тех, кто эту политику осуществляет, а скорее наоборот. Отсутствие среди властной элиты единого взгляда на ту или иную проблему в общем-то само по себе вполне нормально. Но при неспособности договариваться о совместной работе и делегировать друг другу полномочия в тех или иных сферах требование дополнительных ресурсов контроля оказывается единственной возможностью обеспечить управляемость. Если ты начинаешь тянуть воз в другую, чем остальные, сторону, то твой профессионализм тебе только помогает в этом растаскивании и ослаблении команды.

Яркий пример — кометная траектория Андрея Николаевича Илларионова во власти. Он — человек со странностями, но совершенно точно, что профессионал в своем деле. Однако именно в силу этого попытка инкорпорировать его в структуры, формирующие государственную экономическую политику, оказалась неудачной. Причем наиболее неудачной именно по тем направлениям, где его профессионализм был наиболее очевиден. Оказалось, наиболее катастрофична отнюдь не некомпетентность, а прежде всего невольность, когда даже профессионализм не спасает ситуацию.

Метафора города и перспективы городских сообществ в России

Чтобы содержательно отвечать на первый вопрос Игоря Климыкина, необходимо раскрыть метафору города. Я употребляю ее не случайно и вовсе не только в контексте исторической аналогии с началом XVIII века. Город — это универсальная метафора государства и политической системы как таковой: политика — она же происходит от полиса, и, пожалуй, все попытки построения политических систем мысленно осуществлялись в городских рамках. Тема города как метainститута или как суперинститута для меня очень важна, поэтому здесь я использую представление о городе не только метафорически, но и полня об этой исторической аналогии.

Характернейшая черта современной России и ее политической системы, заложившая, видимо, в ее конституции и представляющая действительно хроническую болезнь страны, — это присутствующий в каждом втором регионе конфликт между губернатором региона и мэром столичного города. Я лично недавно наблюдал аналогичную битву и на более низком уровне — между главой Угличского муниципального района Ярославской области и мэром города Углича. Такого рода конфликты, повторяю, являются хронической болезнью нашей политической системы, свидетельствующей о том, что на самом деле мы до сих пор российский город не видим и в терминах города не мыслим. Представление о нем у нас унаследовано от старой, дурбанистической аграрной модели политического устройства, когда есть земля, на которой производится основной продукт, а город — это просто административный центр контроля над данной территорией, где сосредоточены учреждения власти, силовые ведомств и все то, что эту территорию держит. Эдакая центральная, узловая точка на карте. Но сегодня такие представления безнадежно устарели.

Сегодня в городах живет большинство населения, они производят большую часть продукта в денежно-товарном выражении, и в них возникают сообщества, которые получают голос и хотят быть услышанными. Но при этом все города у нас по-прежнему остаются административными центрами контроля территорий, т.е. жестко встроены в рамках этой самой территориальной модели. Поэтому в России невозможно построить ни один новый город. Он не сможет выжить, если не является областным или хотя бы районным центром. Исключение — советская модель промышленных городов при заводах, но там все еще хуже. Грубо говоря, если жив завод, то жив и город, а если завод умирает, то вслед за ним умирает город. Но даже если завод еще как будто бы жив, такие города нередко превращаются в заброшенные руины. Может быть, имеет смысл говорить о корпоративных городах, может быть, стоит вернуться к дискуссии о том, что такое город в институциональном смысле. Так или иначе необходимо найти ключ к теме городских сообществ. Необходимо найти возможность превращения городского сообщества в самостоятельный центр силы.

Я считаю, что логика путинских реформ на самом деле неизбежно подрывает нас именно в такой системе, в которой суверенитет и власть транслируются вниз не по территориальному признаку (территория объявляется единой и неделимой, как единая и неделима наша страна в целом), а городам. Отсюда следует, что людям предстоит жить не в административных субъектах или округах, а в городах, в населенных пунктах — больших, средних или маленьких. И городским сообществам на самом деле можно отдать весьма значительные ресурсы власти, очень существенные полномочия. Тогда вертикаль, выстроенная сверху донизу, обеспечит усиление территориального единства страны. Она предоставит власти многие доволнительные возможности: например, центр управления, скажем, Свердловской области можно будет перенести из Екатеринбурга в какой-нибудь специально выстроенный на 50 тысяч человек город чиновников где-нибудь в глубинке. Я имею в виду ситуацию, когда, как известно, город Нью-Йорк не является центром штата Нью-Йорк, но при этом выборы мэра Нью-Йорка и позиция городского главы более значимы, чем даже позиция штата в целом.

Так, по крайней мере, лично я вижу возможности и перспективы административной реформы. Но административная реформа — только один из аспектов, которые следовало бы рассмотреть. Есть и другие: строительство властной вертикали, реформа местного самоуправления и прочие. Я подозреваю, что те люди во власти, которые сегодня все это пытаются реализовать, толком этих проблем и этих перспектив не видит и не понимают. Но сама логика процесса выстраивается в том направлении, которое я пытаюсь обозначить. Все идет к тому, что диалог будет вестись между единой территориальной властью, выстроенной именно как обеспечивающей общее территориальное единство (назначаемые губернаторы, назначаемые главы районов и вообще любых территориальных образований), и избираемыми главами городов. Недавний публичный отказ от закона о назначении мэров стал решающим аргументом, укрепившим меня в реалистичности такого прогноза.

К вопросу о дееспособности российского социума

Резюмирую ранее сказанное. Целью (по некоторым признакам — вполне осознанной) нынешней политической системы становится создание и развитие городских сообществ как протополитических структур самоуправления. Именно в этом смысле — отычаю Игорю Клямкину — возможна, полагаю, ситуация, когда Путин оставляет после себя город как институт. И именно в этом смысле вопрос о дееспособности или недееспособности социума оказывается вопросом о том, в какой мере эффективна наличествующая в нем система политической коммуникации. Эта дееспособ-

способность социума сильно снизилась за последние 15 лет, причем в первую очередь по объективным причинам, важнейшая из которых — результаты запущенных в 1992 году экономических реформ.

В ходе этих реформ было выстроено множество разнообразных барьеров и перегородок, затрудняющих коммуникацию в обществе. При этом система коммуникации сама по себе не совершенствовалась, а нагрузка на нее возрастала. Ситуация та же, что в городском хозяйстве, когда строятся новые дома, а сети водоснабжения, канализации или электричества остаются старыми, не обновляются и не расширяются. Наш социум за 15 лет стал намного более сложным, дифференцированным, резко возросло разнообразие как на уровне отдельных людей, так и на уровне территорий. Но система коммуникаций в социуме изменилась незначительно, обуславливая его недееспособность в целом.

Поэтому, повторяю сказанное в первом моем выступлении, сегодня проблемой является не контроль власти над общенациональными медиа, а, скорее, полное отсутствие таких медиа. Отсутствие в том смысле, что даже при полном контроле над медиасредой очень трудно сделать какие-либо темы или сюжеты общенациональными. У власти — и это далеко не случайно — все более популярной и востребованной становится глубинная социология, оказываясь своеобразным резервным каналом обратной связи и свидетельствуя о том, что прежние основные каналы обратной связи забиты и не функционируют.

Пример — выборы в представительные органы. В идеале это — наиболее прямой и точный канал обратной связи, более прозрачный, нежели социологическое исследование. Но сегодня он у нас не работает, потому что сигнал обратной связи искажается — в первую очередь, манипулятивными технологиями, бороться с которыми власть оказалась не в состоянии. Поэтому по известной логике, согласно которой «не можешь бороться — значит, возглавь», пришлось возглавить, ставшая главным пиарщиком, политтехнологом и манипулятором.

Можно сказать, что относительно института выборов серьезная работа по существу еще только предстоит, это дело будущего, повестка следующих президентств, следующих циклов. А на данный момент, действительно, государство пользуется общедоступными каналами — и для инновации тех или иных общенациональных тем, и для налаживания обратной связи. Как это происходит? Яркий пример — как технологично Путин использует тему преемника.

Кто был в египетские времена вице-премьером по социалке? Тот, кого назначали на расстрельную должность, отправляли в политическое небытие, обрезами «на смерть». А сама «социальная сфера» — это престолулат египетская королева, которая будет жрать все, что угодно и сколько угодно, и все равно останется тощей. Но вот с помпой презентует новое направление деятельности, так называемые нацпроекты, и во главе их ставится не кто-нибудь, а очевидный для всех кандидат в преемники, вышисанный специально для этого из Администрации президента, которому в придачу предлагается во всей своей полноте машина государственного агитпропа. При этом что есть нацпроекты? Всего лишь текущая расшивка застарелых проблем той же социальной сферы, ничего революционного. Но бюрократия получает ясный мобилирующий сигнал: как же, государственное дело, возглавленное самим преемником, а потому требующее результативная работа под пристальным контролем общественности. Прозрачность ситуации оказывается совершенно иной.

Если бы я был Путиным, мне в этой ситуации было бы глубоко безразлично, получится ли у Медведева стать следующим президентом или не получится. Это — тема для жрета. А то, что важно для меня, как главы государства, — это получается или не получается улучшить что-то в сфере здравоохранения, образования и так далее. Ины-

ми словами, проект «презюмента» используется как еще один, своего рода обходной канал коммуникации верховной власти и общества. У Путина есть масса форматов такой коммуникации, которые в других странах встречаются очень редко: общение с населением по прямой линии связи, проведение больших пресс-конференций на 1200 человек и еще масса всякого (например, традиционные ежегодные послания Федеральному собранию). Он вынужден постоянно поддерживать у каждого человека в стране ощущение прямой коммуникации с президентом. И на эту задачу работает особая структура Администрации.

Конечно, такое ощущение прямой коммуникации с президентом есть во многом иллюзия, точнее — иллюзия практически во всем. Но это такого рода иллюзия, которая обеспечивает единство и связь государства и общества, которая создает для власти возможность действовать, возможность справиться с чудовищной проблемой нашей политики, когда 80% населения живет в своей стране словно в эмиграции.

Функциональная роль Администрации президента

Именно с этой точки зрения и предлагаю взглянуть и на проблему законодательного ограничения полномочий Администрации президента, тоже затронутую в адресованных мне вопросах.

Администрация — это в каком-то смысле коллективный Путин, адский Левинаф, у которого много рук, ног, «приводных ремней». Ее конструкция формирует инфраструктуру обслуживания института президента страны. И деятельность этой структуры законодательно регулируется в той мере и постольку, в какой и поскольку законодательно регулируется деятельность президента.

Список его конституционных полномочий таков, что человек из плоти и крови за отведенный период времени большей их частью в принципе не в состоянии воспользоваться. Почему их у президента такое количество — это вопрос к Михаилу Краснову и к тем, кто писал Конституцию в 1993 году. Но ответ всем более или менее ясен: в 1993 году в наделении президента всеми мыслимыми полномочиями видели единственную гарантию от перспективы формирования множественных центров власти, неспособных договариваться друг с другом и конкуренция между которыми легко перерастала бы в откровенную вражду и войну. Гарантом стабильности решено было сделать одного единственного человека — пусть сам с собой выискивает отхожения. Администрация же президента — не более чем машина, делающая возможным осуществление первым лицом огромнейшего списка его конституционных полномочий.

Если АП — это коллективный Путин, то не нужны специальные ограничения, потому что они уже заложены в Конституции, и данный институт выполняет функции, предписанные президенту. Именно поэтому, кстати, весьма сомнительно звучит утверждение Клишвина, что у нас номинальное правительство отвечает за все, что происходит в стране. Это неверно. Выйдите на улицу и спросите у людей, так ли это. Даже если вам скажут «да», то после второго навязывающего вопроса о том, кто у нас реальный глава правительства, вам станет ясно, что в этом качестве люди имеют в виду Путина. А если вы поинтересуетесь мнением элиты — политической, медийной, интеллектуальной, то увидите, что всем более или менее понятна сфера реальной ответственности правительства: экономическая и социальная политика. Две его основные функции — собирать деньги и раздавать деньги. Иными словами, следить за хозяйством. Все прочее, лежащее за рамками этой сферы, находится в ведении президента.

Президент, т.е. реальное правительство, отнюдь не остается вне зоны политической ответственности, с него спрашивают за то, что значит для них и в Конституции, и в массовом сознании. Но естественным риском и слабостью, своего рода ахиллесовой пятой этой системы является то, что глава государства несет личную ответственность за

действия не только свои, но и огромного количества людей, и нужно прилагать немалые специальные усилия к тому, чтобы их контролировать, страдуясь от возможности повторения 1993 года. Я имею в виду в том числе и эту самую Администрацию.

В ряду таких усилий стоит вопрос и об организации института политической оппозиции. Игорь Моисеевич спрашивает меня: если оппозиция формируется президентом, то по отношению к кому эта президентская оппозиция будет оппозиционной? Мол, раз президент ее назначил, то и уволить может. Но опять-таки это не так. Как говорит в таких случаях на телевидении, открыть вещание — вопрос технический, а закрыть — политический. Иными словами, одной из особенностей того, что у верховной российской власти есть монополия на учредительную функцию, оказывается то, что многие из институтов, ею созданных, упразднить она уже не может. Почему так? На этот счет есть разные версии. Воспользуюсь версией В. Найшула, который в данном случае использует формулу XVII века: «Не нами положено, лежать ему вовек». Яркий пример ее действительности: Путин ничего не может сделать с ельцинской Конституцией. Точно так же как и российские цари могли бы вроде сказать, что батюшка-де сделал, а мы переделаем, но такого себе практически никогда не позволили. Дело в том, что любые переделки разрушительны для уже созданного института, а издержки его демонтажа — социальные и культурные — огромны.

Меня приятно поразило, сколь серьезно Игорь Клямкин воспринял мое предложение об учреждении института оппозиции сверху, — предложение это, признаюсь, носило несколько запатаивший характер и, кроме прочего, имело целью описать качество попыток критически настроенной политтусовки самостоятельно сформировать дееспособный институт оппозиции. Необходимость учреждения сверху связана с функцией власти заполнять лакуны в нашем политическом обустройстве. Она приходит со своими инициативами в те сферы, где самостоятельность общества ничего дееспособного породить не в состоянии.

Скажу даже более определенно. Эта лакуна политической оппозиции возникла не сегодня и сотворена не самой властью; она уже много лет как сформировалась и ничем не заполняется. Власть действует, отнюдь не опережая события, а реактивно, делая то, что без нее сделать просто некому. Причем, насколько я понимаю, в России так было всегда. Именно потому, что власть в России берет на себя всю ответственность за происходящее, она вынуждена, теряя инициативу, переходить на реактивную политику.

Какой может и какой должна быть оппозиция в России

Я, безусловно, удовлетворен тем, что Игорь Моисеевич признал мою характеристику существующей до настоящего времени оппозиции как «хулиганца» — сборища глашатаев, способных лишь к резонерству и чурающихся какой-либо конструктивной деятельности. Признание это означает, что такая характеристика имеет право на существование. Но удручает то, что полемика со мной свелась к детальному описанию причин, по которым оппозиция дошла до жизни такой — тем более, что само описание меня категорически не удовлетворило.

По моему мнению, политический субъект должен быть не только ответственным, но еще и по возможности самостоятельным. И когда в качестве единственной причины бедственного положения оппозиции называются те или иные действия власти, это выглядит весьма неубедительно. Если все сводится к действиям власти, то такой подход как раз и закрепляет за оппозицией статус несамостоятельной, зависимой и реакционной силы, неспособной на политическую инициативу как таковую.

Мне известно множество режимов, гораздо более жестких в отношении оппозиции и интеллигенции, чем наш, где, однако же, находится место и оппозиционерам, и оппозиционной политике, и оппозиционным инициативам. Именно в силу того, что

в этих странах никто не пытается разговаривать с властью в логике «вы не оставили нам другого выбора» или, иначе, «мы такие, потому что вы нас такими сделали».

Игорь Клишкин предлагает, причем уже в течение довольно долгого времени, свое решение проблемы: поделить властными ресурсами с оппозицией, сделав тем самым не только ее, но и себя (российскую власть) более творческой силой. Мне такое предложение представляется сомнительным. В любой нормальной, стабильной политической системе у власти и оппозиции всегда есть общий интерес, есть точка консенсуса, пусть даже не вполне артикулированная. Но есть ли такая точка консенсуса в нашей сегодняшней политической системе? Есть ли у нас некая базовая система принципов, относительно которых все политические игроки согласны и никаких споров не ведется? А если этого нет, если нет ясности даже по поводу признания или непризнания территориальных границ страны, в которой мы живем, то в такой ситуации даже частичная политическая уступка будет трактоваться как капитуляция и бегство, как повод для дальнейшего развития наступления. Уступка в нашей ситуации не становится поводом для участия и совместной деятельности.

Даже приведенный Клишкиным пример того, как российская политическая система среагировала на дефолт и последующий политический кризис 1998 года, меня не убеждает. Я наблюдал ту ситуацию «вблизи» (из группы информационного сопровождения одного из руководителей правительства) и более или менее помню ее подоплеку. Депутаты, заседающие в Думе, как тогда, так и сейчас — в том числе и коммунисты, — люди в значительной части все же грамотные, именитые, которые прекрасно понимают, что нельзя увеличивать расходную часть бюджета, если под нее нет денег. Но все они, именно как прагматики, помнили о необходимости выигрывать следующие выборы, а поэтому всегда устраивали obstructionism правительству по бюджету, всегда раздували по максимуму расходную часть, чем, помимо прочего, в 1998 году и раньше активно пользовались компания, игравшая на рынке государственных обязательств.

Более того, власть тоже абсолютно всеядна и беспринципна. Как только она видит, что тот или иной политик действует с умом, не является совсем уж сумасшедшим, она немедленно берет его в оборот, интегрирует, вовлекает в дело. Именно в силу хронического дефицита кадров везде и на всех позициях. Поэтому любой оппозиционер, даже практически незначительный, когда он хоть в чем-то оказывается экспертом, тут же немедленно рекрутируется, и никто уже не обращает внимания на то, кого он незадолго до того называл земляным червяком. Но как раз поэтому внешней части оппозиции очень трудно сохранить себя в оппозиционном качестве.

О суверенной демократии

Наконец, про суверенную демократию и российскую специфику.

Мне представляется, что Игорь Моисеевич не столько задает мне вопрос, сколько маскирует под вопрос утверждение о том, что наша система является несовершенной и потому неразботоспособной, а значит, на какой-либо универсализм претендовать не может. Что я могу ответить? Да, на данный момент это так. Но что это доказывает? Логика примерно такая: женщина смотрит на себя в зеркало, видит на коже морщины либо прыщи и говорит, что вот, я не фотомодель, на обложку глянцевого журнала меня не поместят, а потому пойду-ка я топиться. На мой взгляд, на месте этой женщины правильнее было бы сделать вывод, что, если у тебя проблемы с внешностью, значит, что-то неладно в организме. И сосредоточиться в первую очередь на своем здоровье.

Если же в рамках этой аналогии вернуться к российской политике, то нам следует не столько «следить за фасадом», чем мы занимались все 1990-е годы (снаружи все выглядело просто идеально: многопартийность, выборная демократия, политиче-

ская борьба, оппозиция, свободные СМИ), а внимательно следить за «здоровьем» нашей политической системы. А ее «здоровье» — это нормально работающие каналы коммуникации, прямой и обратной связи власти и общества. Это нормально работающий «желудок» — бюджетные механизмы, формирующие национальный доход. И это «печень», которая чистит кровь», т.е. в нашем случае правоохранительная система.

Сегодня у нас, на мой взгляд, появляются некоторые признаки выздоровления: наша политическая система уже не та прищипанная восьмиклассница с тоннами косметики на лице, какой она была в 1990-е годы. Сегодня это уже взрослая женщина, у которой, конечно, есть проблемы с внешностью, но ее здоровье окрепло, и организм работает гораздо лучше, чем раньше. Однако привычка неумеренно пользоваться косметикой по-прежнему дает о себе знать, и по-прежнему мы обсуждаем политические проблемы не с точки зрения их реальных пружин и механизмов, а с точки зрения внешнего соответствия наличной ситуации неким изменяющимся у нас в головах эталонам.

Вот именно против этого метода я и возражаю. Азбука работы наладчика: если в системе что-то не работает или работает «не так», то не в схему надо лезть, а смотреть, что приборы показывают. Так что давайте займемся приборами.

«НЫНЕШНЯЯ КОНСТИТУЦИЯ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕЩЕ НЕ ИСЧЕРПАЛА»

Проблемами перехода от тоталитаризма к демократии, составляющими содержание данной дискуссии, я занимаюсь в течение уже весьма длительного периода. С конца 1980-х годов я развил и модифицировал свою концепцию авторитарной трансформации, т.е. перехода от тоталитаризма к демократии через авторитаризм. Впервые она была изложена в сборнике, который редактировал Игорь Кляшын и который был издан в 1988 году в институте, возглавлявшемся в то время Олегом Богомоловым. Потом я представил ее в статье, напечатанной в «Новом мире». Но наибольшую известность она получила благодаря публикации в «Литературной газете», хотя в той публикации концепция по существу изложена не была, а содержались только отдельные тезисные, достаточно жесткие формулировки.

Я предполагал тогда, что должны быть две фазы авторитаризма: первая при выходе из коммунизма, а вторая — при переходе к модернизации и трансформации экономической и политической системы. Но авторитарная фаза при выходе из коммунизма у нас не состоялась из-за того, что началась радикальная политическая реформа, о чем я в те годы тоже много писал. XVIII партконференция и все последующие события привели к тому, что страна рухнула, как я и предвидел.

Еще в «Новом мире», а также в целом ряде последующих публикаций я предупреждал: если мы пойдем путем радикальной политической реформы, то страну не удержим. А в сентябре 1990 года в «Известиях» в статье «Союз нерушимый?» я уже констатировал, что стране не быть. Я описывал двойное крушение центра: союзного центра и центра политического. Сохранить страну было уже невозможно, поляризация шла и по линии «центр — республики», и по линии «радикальные демократы — охранители». К августу 1991 года это привело к полной катастрофе. В итоге нам не удалось осуществить плавный выход из прежнего состояния — такой, который китайцы осуществляют из коммунизма, а страны Юго-Восточной Азии — из авторитаризма.

Безусловно, плавность в данном случае — вещь относительная. Понятно, что на каком-то этапе все равно должен был произойти разрыв, после чего должно было состояться нечто подобное пакту Монклоа в Испании. Или тому, что произошло в Аргентине после ее поражения в Фолклендском кризисе, когда генералы вынуждены были отойти от власти. Но предпосылкой и того, и другого сценария является формирование к моменту разрыва определенных основ гражданского общества, необходимых элементов для перехода к демократии. Ничего подобного ни в СССР, ни в образовавшемся у нас после августа 1991 года хаосе не было. Вышедшая из СССР Россия была всего лишь протогосударством, а не реальным государством. Она имела крайне слабые институты, и вся ее политическая система держалась некоторое время исключительно на харизме и массовой поддержке населением Ельцина.

Собственно, он один и олицетворял в тот момент всю российскую политическую систему. А после реформ 1992–1993 годов у нас получилось то, что Гильермо О’Донелл называет делегативной демократией. Суть ее в том, что в условиях реальной слабости политических институтов все держится на харизме и авторитете одного человека, политического лидера страны, но в связи со сложностями проведения реформ его харизма неизбежно и последовательно уменьшается, авторитет падает, что ведет к резкому и еще более серьезному ослаблению институтов. Обратной связи нет, хаотизация политического процесса нарастает, слабость лидера и тех политических институтов, на которые он опирается, становится угрожающей, страна оказывается не в состоянии ставить и решать какие-либо серьезные политические задачи. Не случайно я потом назвал этот период периодом потери государством своей субъектности.

Он продоллся с 1993 по 1996 год. 1996 год — низкая точка, полная потеря субъектности. Это — приватизация власти олигархами, «приватизация» ими семьи президента, это образование внеинституционального центра принятия решений. Я имею в виду пресловутую «семибанкирщину», когда Гусинский, Березовский и им подобные определяли стратегию политического развития России. Это были люди, которых никто не выбирал, которые ничьи интересы, кроме своих собственных, не выражали. И они были принципиально настроены на то, чтобы не допустить усиления государственной власти, восстановления ее субъектности, потому что только в отсутствие таковой они могли присваивать все большие и большие сегменты прежде государственной собственности. Паралич государственной воли и государственного начала в стране их устраивал, иное им было не нужно.

Этому предшествовали события осени 1993 года, на которых следует остановиться особо. Как раз к тому времени была сформулирована концепция делегативной демократии, описывающая ситуацию, когда харизма лидера уже не помогает, а институты слабы и к тому же вступают во взаимные конфликты, причем все это происходит в отсутствие политической культуры горизонтальных отношений. Россия оказалась неспособной столь быстро освоить разделение властей и сформировать на основе данного принципа механизм сдержек и противовесов в политике. Вместо того чтобы о чем-то договориться и прийти к взаимоприемлемому компромиссу, политические институты сталкивались друг с другом, пытались, видимо, воспроизвести более привычную для России иерархическую структуру власти, когда всем предельно ясно, who is the boss, кто хозяин.

Столкновение институтов закончилось танковым обстрелом Белого дома и принятием конституции, которая не столь уж плоха — во всяком случае, я был ее сторонником и защитником. Она закладывала модель авторитарной власти. Поэтому ее называли даже суперпрезидентской конституцией (см., например, работы Игоря Клямкина и Лилии Шевцовой). Но я и сам не хуже других знаю плюсы и минусы этой конституции, потому что участвовал в Конституционном совещании, писал ее и ратовал за нее, а потом жесточайшим образом критиковал те ее положения, которые не удалось прописать должным образом, требовал ее усовершенствования. Тем не менее для переходного периода нынешняя конституция оказалась очень эффективной, хотя и не сразу.

Плюсы и минусы ельцинской конституции

В ней, конечно, нет ни реального разделения властей, ни механизмов сдержек и противовесов. Более того, президент фактически выведен ею за рамки политической системы, поставлен над ней. В связи с этим многие либералы в свое время говорили: не дай бог, попадет эта конституция в руки «какого-нибудь Жириновского» или, того хуже, жестокого автократа, диктатора, он же с ее помощью сможет творить что угодно и совершенно бесконтрольно. Да, конституция оставляет огромное поле для

автономных действий президента, для его произвола. Но дело все же не только в этом. Дело и в том, что ельцинская конституция, как со временем выяснилось, не страхует государство от упоминавшейся выше утраты субъектности.

Такая конституция необычайно эффективна в руках умного, сильного, волевого лидера. С ее помощью он может все: он формирует правительство, формулирует национальные задачи и мобилизует весь государственный ресурс для реализации поставленных целей. Но если президент слабый, если он уклоняется от решения насущных проблем, если передоверит каким-то непонятным людям кадровые и другие важнейшие вопросы, то такая конституция становится чудовищной силой, разрушительной для государства.

Вспомним, что происходило при Ельцине. В последние годы своего правления он, видимо, хотел только наслаждаться властью, устраняя все, что этому препятствовало. Он уже ничего не хотел делать. Но для нашей системы, учитывая особенности отечественной политической культуры, такая позиция лидера очень опасна. В ситуации, когда пост вице-президента был упразднен, политическим конкурентом бездействующего президента становился глава правительства. При неработоспособном президенте происходило перетекание власти именно к нему, что хорошо видно на примерах ельцинских премьеров, начиная с Черномырдина, но особенно в случае с Примаковым. Ельцин, который сам уже не хотел, да и не мог работать, делал все, чтобы не допустить усиления премьера. Он создавал противовесы ему внутри самого правительства, внутри парламента. Иными словами, последовательно разрушал эти институты, которые должны совместными усилиями способствовать преобразованию страны. Для ослабления Черномырдина в правительство вводились Сосковец и Чубайс, в парламенте коммунисты натравливались на антикоммунистов...

Все это позволяло бездействующему президенту удерживать власть. Лишь когда он стал совсем слаб и нависла угроза полной ее потери, когда эта власть начала стремительно перетекать к Примакову (а был период, когда вокруг Примакова объединились почти все, и только его личная нерешительность не позволила ему стать хозяином Кремля), — только тогда было принято решение о передаче власти преемнику. Вспомним события первой половины 1999 года. Парламент начал импичмент против президента. Генпрокурор Скуратов был против президента. Совет Федерации выступил против президента, отказавшись уволить Скуратова. Мир Москвы был против президента. И правительство было против президента. Устоять ему помогла тогда только трусость всех их, вместе взятых... Если бы Скуратов начал свои разоблачения в Совете Федерации, а Примаков публично заявил, что власть в стране узурпирована коррумпированной и никуды не представляющей «семьей», то эта власть ни на секунду дольше не просуществовала бы. Но они все боялись, что в результате повторится август 1991-го, что все начнут предавать друг друга, что президент все-таки законно избран и может воспользоваться своими конституционными полномочиями. Самого Ельцина также опасения никуда бы не оставили. А этих остановили их собственная нерешительность, страх и трусость.

Таковы особенности устройства нашей исполнительной власти: когда президент работает, то все хорошо, а когда не работает, он сам парализует все властные институты, чтобы не работал никто и чтобы власть от него никуда не перетекала. Эти особенности я описал в те годы во многих своих публикациях. Но я был и против концепции Игоря Климона и Лилии Шевцовой, которые считали, что проблема может быть решена посредством трансформации нашей политической системы в систему президентско-парламентскую. Они считали, что для нас такая система была бы наилучшей. Я же, напротив, полагал, что для России она совсем нехороша. И дело не только в нашей политической традиции, хотя и о ней забывать не следовало бы. Ведь даже для Франции принятие президентско-парламентской системы таило в себе серьезные угрозы.

Это была некая аномалия, обусловленная опасениями французов, что президентская система американского типа приведет их к диктатуре и к восстановлению монархии: де Голь дружил с графом Парижским, наследником, и все думали, что Пятая республика станет прологом монархической реставрации. Однако и парламентская система для Франции в перспективе была бы губительной. Она означала бы множественность партий, фрагментацию политического спектра, бесконечные кризисы, поляризацию, угрозу со стороны левых. Поэтому и был найден компромисс в виде такой вот уродливой президентско-парламентской системы, постоянно чреватой расколом в случае, если президент из одной партии, а правительство — из другой. Неясно было, смогут ли французы в подобной ситуации сохранить единые общие правила игры и общие ценности или пойдут стенка на стенку.

Да, довольно длительный период времени система эта работала без сбоев, но только потому, что президент и правительство представляли одну партию. Когда же много лет спустя впервые возникла кризисная ситуация (президент из одной партии, а правительство из другой), то все политические силы уже успели притереться друг к другу и смогли найти политический выход из кризиса. Здесь сыграла свою роль французская политическая культура, хотя и для Франции этот кризис был очень опасным. А при нашей политической культуре идти путем президентско-парламентской республики было бы просто глупо. Поэтому я предлагал, чтобы политическая система у нас была такой: президент (без вице-президента) и он же глава правительства. Иными словами, чтобы президент нес за все ответственность.

Меня всегда удивляют наши либералы и особенно либеральные политологи, которые говорят: как же можно президенту брать всю ответственность на себя? А зачем, собственно, нам нужен президент, который не хочет брать всю ответственность на себя? Почему мы должны облегчать ему задачу и позволять перекладывать ответственность на правительство?

Архетип российской власти

Наша политическая система уникальна. Мы воспроизводим одну и ту же архетипическую конструкцию власти. Вне зависимости от того, царистский у нас режим, коммунистический, антикоммунистический или какой-то еще, у нас всегда есть первый руководитель, который принимает все политические и кадровые решения и не несет за это никакой ответственности. Вместе с тем у нас есть правительство, которое не принимает никаких политических и кадровых решений, но отвечает за все. Так было при царе, так было при генсеках и осталось при демократических президентах. Эту ненормальную систему надо разрушить. Разрушение же может быть осуществлено только посредством отказа от всех этих квазигибридных режимов. Нам нужно, чтобы конкретный лидер имел конкретную программу и конкретно нес ответственность за свои действия перед парламентом и правительством, перед обществом, законом.

Любая другая из известных систем была бы для многонациональной и многорегиональной России очень опасна. И президентско-парламентская, и, тем более, парламентская. Доказательство тому — политическая судьба Горбачева. Если бы он был избран народом, страна бы не развалилась. Но он не решился довериться народу, и республика смогла без каких-либо последствий отозвать своих депутатов из союзных структур, СССР, и России «до свидания». Вот почему Ельцин, когда готовили его импичмент и хотели вообще ликвидировать пост президента, повторил фразу, которую я вписал в его выступление: в России нельзя ликвидировать пост президента, потому что завтра республика отзовет своих представителей и скажут Москве «до свидания».

Повторю: в нашей стране избираемый народом президент сам должен быть главой исполнительной власти и, конечно, сам должен формировать правительство и от-

вечать за все. Только тогда можно будет преодолеть «двулость» нашей исполнительной власти и не на кого будет перекладывать ответственность. Это очистит нашу государственность от мешающих наслоений и впервые создаст в России реально ответственную перед страной высшую власть.

Разумеется, в рамках действующей конституции это сделать невозможно. Но и она ведь не может и не должна быть конституцией навсегда. Я, кстати, предлагал Ельцину (во время встреч при работе над конституцией, когда я был членом Президентского совета), чтобы она официально называлась «конституцией переходного периода». Не может быть длительное время эффективной конституция, в которой президент поставлен над политической системой, в которой нет разделения властей и реального механизма сдержек и противовесов. И тем не менее не могу сказать, что нынешняя конституция исчерпала весь свой потенциал до конца.

Меня за эту мою позицию тот же Игорь Клямкин назвал кремлевским пропагандистом, что абсолютная чушь. Меня причисляли и к сторонникам какой-то особой, российской демократии. И здесь все не так. Я никогда ни от кого не срывал, что считаю: есть лишь одна, либеральная демократия. Либеральные ценности универсальны, это защита прав, свобод и так далее. Не надо придумывать что-то новое, фантастическое. Есть универсальный идеальный тип, и мы все должны стремиться ему соответствовать. Напротив, те, кто меня упрекают, сами боятся сказать народу, что есть лишь одна демократия, одни ценности. Но в России эта демократия должна еще вырасти.

Содержательная основа наших разногласий сводится к тому, что я имел и имею свою точку зрения по поводу того, является ли нынешний российский режим авторитарным, и его роли в развитии демократических институтов. Она изложена в моей статье в «Известиях» от 20 июня 2006 года. Я считаю, что сегодняшний режим, конечно, не имеет достаточных оснований для того, чтобы называться консолидированным демократическим режимом. Ему для этого не хватает нескольких очень важных вещей. В первую очередь, недостаточно развиты институты гражданского общества, нет достаточного разделения сфер экономики и политики. Политическая сфера не должна контролировать экономическую. Ведь гражданское общество — это, собственно, и есть экономические интересы и экономические институты, которые должны быть независимы и способствовать агрегированию интересов, в политической сфере представляемых партиями и группами влияния и осуществляющих тем самым контроль гражданского общества над государством. Но у нас все это не сформировалось. Так вот, мои оппоненты говорят мне, что нынешний режим не заинтересован в дальнейшем развитии этих институтов и контроле гражданского общества над государством, а я, напротив, считаю, что действующая конституция с расширенными полномочиями президента позволит сформировать то, что у нас еще не существует.

Для чего нам нужен такой авторитарный режим? Я сохраняю уверенность в том, что харизматический лидер, опираясь на поддержку масс, может пробить сопротивляемую бюрократию и осуществить модернизационный прорыв. То, что нам нужен прорыв, очевидно всем. Его основные задачи: снять страну с нефтегазовой иглы и осуществить всеобъемлющую технологическую модернизацию. Об этом много говорил президент, об этом пишет и Сергей Глазьев в своем докладе о шестом технологическом укладе, о био- и информационных технологиях и о том, что если мы в этот уклад не выйдем, то вскоре окажемся на глубокой периферии глобального мира. Но для реализации подобных задач нужна сильная и эффективная власть, обладающая большими ресурсами.

Наша конституция тем и ценна, что предоставляет президенту достаточно возможностей для такого прорыва. И если мы осуществим его в экономике, если появятся новые отрасли, новые высокие технологии, новые социальные слои, то на этой ос-

нове и возникает возможность российского пакта Монклоа. Это и будет разрывом на договорной основе со старым политическим режимом и переходом к иному, т.е. к иной конституции, к новой конфигурации сил и взаимоотношений в политике. Это и будет расставание с прошлым, которое произойдет бескровно, без столкновений, на основе цивилизованных договоренностей элитных групп. Такая практика имеет большую историю: вспомним первый такой договорный разрыв, каковым была Славная революция в Англии 1688–1689 годов.

Думаю, что наш нынешний политический режим в достаточно большой степени обладает потенциалом политической модернизации. Конечно, многое зависит от просвещенности лидера и политического класса. Это — решающее условие. Но многое зависит и от тех вызовов, которые бросают нам как внутри, так и извне. Это вызовы того же порядка, которые в свое время привели к краху железобетонного тоталитарного коммунистического режима, — и у нас, и в Китае, и во многих других странах.

Каковы сегодня наши шансы достойно ответить на такие вызовы? С одной стороны, наш политический класс достаточно образован и открыт. Российское общество тоже сохраняет открытый характер, открыта миру наша экономика, мы включены в мировые связи и уже не можем вернуться к замкнутой на себя дозвонной системе Советского Союза. Есть давление мировых рынков, есть потребность сохранения конкурентоспособности в военной сфере. Все это вынуждает страну идти курсом модернизации. Но, с другой стороны, сращивание экономической и политической сфер и монополизация власти в этих сферах серьезно уменьшают модернизационный потенциал государства. Его уменьшает то, что в России сосуществуют силы, ориентированные на модернизационный ресурс и на охранительный ресурс.

Высокие цены на нефть, золотовалютные резервы создают идеальные условия для прорыва. Но прорыв, пугают охранители, — это возможная новая нестабильность: стоит ли от добра искать добра? Любой прорыв, любые модернизационные трансформации, говорят они, дестабилизируют общество и разрушают status quo. Так всегда в России: когда плохо, то говорят, что не надо дестабилизировать, а то вообще рухнет. А когда хорошо, тогда говорят, что незачем дестабилизировать, потому что и так все хорошо, надо сохранять равновесие. Выбор здесь зависит, конечно, не от народа; у меня давно ни на народ, ни на интеллигенцию никаких надежд нет. Но в этом вопросе — большая ответственность политического класса. Напомним, что успешная модернизация России Александром II шла по инициативе царя и его окружения. Ее осуществляли люди, понимавшие свою ответственность перед страной, мыслявшие стратегически.

Стратегия прорыва и условия ее реализации

С позиции задач сегодняшнего дня и с учетом сказанного мною выше и сам прорыв, и необходимая конституционная реформа отодвигаются в некоторое будущее. Потребность в изменении конституции определится тем, насколько успешно и быстро будет проходить модернизация. Но какое-то время на это все равно потребуется.

Посмотрите, у де Голля было два срока по семь лет, это же огромный промежуток времени. Мои идеологически ангажированные оппоненты, неглупые люди, упрекают «Единую Россию» в том, что она доминирует в Думе и управляется из Администрации президента. А что делала голлистская партия? То же самое. 14 лет с де Голлем, а потом еще столько же с Помпиду. Итого — 28 лет доминирования одной партии. Ну и что тут такого? В Италии это продолжалось 50 лет, а в Японии — те же 50 лет и продолжается до сих пор. Что делать, если транзит еще не закончен? А когда он заканчивается, когда перемолотыми оказываются коммунисты с социалистами, когда с политической арены исчезают все антисистемные силы, тогда пожалуйста. Президентский срок ста-

новится пятилетним, президент может представлять одну партию, а премьер другую, левых можно допустить к власти, они уже не страшны, они не посягают уже на экспроприацию собственности и пересмотр институциональной системы.

Всего этого совершенно не понимают наши так называемые либералы. Я себя считаю, возможно, единственным либералом в стране, который знает, что такое либерализм, знает, как он развивался и становился неолиберализмом, как он становился социал-демократией, как формировался сегодняшний либерально-консервативный синтез. Я знаю каждую фазу развития этих процессов в Англии, каждую фазу в Америке, каждую фазу в континентальной Европе. Знаю, почему в Англии либералы стали неолибералами, а потом — социал-демократами, почему английский либерализм был фактически поглощен лейбористской партией. Но у нас полутрагические люди выходят и несут всякую ахинею, не очень понимая, о чем они вообще говорят. Когда-то я даже хотел написать апологию либерализма, чтобы защитить его от либералов, от тех, кто себя так называет, но ничего в либерализме не смыслил. Мне смешно и неинтересно говорить и полемизировать с такими людьми.

Они не понимают, что если наш сегодняшний модернизационный ресурс будет эффективно использоваться и страна слезет с нефтяной иглы, если начнут формироваться элементы шестого технологического уклада, то это само создаст предпосылки для того, чтобы покончить с авторитаризмом. Когда-то Й. Шумпетер в своей книге «Капитализм, социализм и демократия» писал: капитализм умрет, но не от своих слабостей, а от своих успехов (в этом — коренное отличие Шумпетера от Маркса). И все авторитарные режимы погибают в результате своих успехов. Они создают всю необходимую инфраструктуру для перехода к состоянию полностью консолидированной демократии. Если же этого не происходит, то ситуация скатывается к более жесткому авторитарному режиму.

Главная наша задача сегодня — обеспечить целенаправленное расходование средств, развивать аэрокосмическое, космос, нанотехнологии, информационные технологии, биотехнологии, получать там реальные результаты, формировать на этой основе новую рабочую силу, сокращать зависимость от нефти и газа. Нас обвиняют в том, что мы стали «петростейт», нефтегазовым государством. Но отсюда следует лишь то, что мы должны постараться изменить структуру своей экономики, а значит, и качество собственного народа. Есть задачи и в политической сфере — добиться того, чтобы политические партии реально отражали изменение социальной структуры и идеологических предпочтений своих избирателей. Именно тогда у нас появятся реальные либеральные и консервативные партии с реальными ценностями, понятиями и их лидерами, и их сторонниками. Именно тогда партии смогут поставить реальные задачи перед обществом.

Политические маргиналы вроде Явлинского постоянно говорят нам о необходимости независимого суда, независимого парламента, реального разделения властей. Да, все это нужно. Но только совершенно ничего не понимающие люди станут утверждать, что все это сегодня можно реализовать. Для этого просто нет никаких возможностей. Чтобы был независимый суд, нужны две равные по силе противоборствующие стороны. Тогда он может быть независимым и свободным. Но если одна сторона слишком сильная, а другая слишком слабая, то суд не сможет быть независимым: испытывая давление этих двух сторон, среди которых одна явно преобладает, он будет склоняться под ее напором. Если общество слабое, если бизнес слабый, если слаба партийная структура, суд всегда будет принимать решение в пользу более сильного. Реально независимым он становится лишь тогда, когда в обществе противодействуют равные силы и есть определенная политическая культура, которая не позволяет, чтобы судью покупали.

Коррупция есть и в Италии, и в Англии, и в США, но массового характера она там не принимает. Общество не допускает, чтобы госчиновники преступали определенную черту. Макс Вебер писал о том, что лучшие госчиновники — те, что рекрутируются из аристократов, по крайней мере аристократов духа, из юристов, из сферы мелкого бизнеса, из числа материально независимых людей, приверженных определенным моральным ценностям, которых трудно будет купить, втянуть в коррупционные сделки. Когда же таковых в обществе нет, борьба с коррупцией будет весьма проблематичной.

Если нам удастся создать все необходимые экономические и политические предпосылки современного общества, то вопрос о естественном демонтаже авторитарного режима встанет в повестку дня автоматическая. История многому учит. Первые несколько десятилетий после Славной революции англичане описывают как период хаоса. Английское общество из одномерности входило в многомерность. Усложнение его строения и состава обуславливалось и стремительным ростом городов, и появлением слоя нувориншей (аналога наших олигархов), и расцветшей коррупцией — английское правительство того периода считалось самым продажным. И вдруг в 1716 году наступила стабилизация, хаос закончился. Начали складываться более или менее эффективно работающие политические институты — при том, впрочем, что до 1832 года только 4,5% англичан имели право участвовать в политическом процессе. Шло медленное, но неуклонное приручение политического класса. А что есть демократия? Демократия — это способность договариваться, способность идти на компромисс, способность сдерживать себя тогда, когда очень хочется подставить своему противнику подножку. И это, как подчеркивал уже упоминавшийся Й. Шумпетер, наличие демократического самоконтроля. Даже если вы знаете, что можно нарушить закон, не рискуя быть наказанным, вы его не нарушаете, потому что у вас есть внутренняя сдерживающая сила, есть самоконтроль. Общество же, которое близко к этому не стоит, развитую демократию иметь не может.

Я знаю все аргументы критиков моей позиции, но я хочу спросить этих критиков: а вы что предлагаете? Лозунги типа того, что хорошо быть здоровым и богатым? Кто спорит! А если у вас нет ни того ни другого, а вам говорят, что у вас все должно работать как «бензин»? Да ведь ваш организм даже как трехколесный велосипед работать не может!

Такова реальность. И я всегда пытаюсь быть реалистом. Будучи сам либералом, я считаю, что ангlosаксы дали миру законченную модель либеральной демократии. Эта модель — самая эффективная, надежно защищающая индивидуальные права. И уже на этой основе они пришли к коллективизму другого, чем известен вам по советским временам, уровня — сознательному, а не предписанному. И более солидаристского общества, чем английское или американское, в мире нет. Такого солидаристского общества, в котором сохраняется индивидуализм каждого из его граждан. Но они этого достигли не сразу.

После свободной конкуренции и всех глупостей «минималистского государства» они поняли, что так нельзя жить, что это будет лишь подтверждением правоты Маркса о капитализме. И тогда они пришли к идее интервенционистского государства, к необходимости социального законодательства. На этом и была построена современная Великобритания. Вот почему им удалось искоренить марксизм самим и помочь искоренить его другим — уже Бернштейн вынужден был стать последователем английского фабианского социализма, осуществившим его перенос на европейскую почву. А вот на российской почве, где никогда ничего похожего на европейской политической опыт не было, мы вряд ли сможем «по-быстрому» выстроить самую лучшую модель демократии. Что бы там ни говорили все эти либеральные кретины пери-

ода перестройки и вучерной приватизации, эти многочисленные идеологи марзаметического примитивного либерализма, эта шантрапа, которая понятия не имела и до сих пор не имеет ни о правах, ни о левах, ни о либерализме, ни о консерватизме...

Вернемся к вопросу о том, что в нашей ситуации можно реально сделать, т.е. к вопросу о возможности просвещенного авторитарного правления. Действительно, с опорой на нашу конституцию умный и волевой президент может практически все. У него имеется и институциональный, и финансовый, и информационный ресурс для реализации задач модернизации страны. Это и есть модель для прорыва. Но, конечно, существует и угроза, что она может стать моделью бюрократического авторитаризма, которая сработает только на самовоспроизводство власти бюрократии. И это было бы для страны трагедией.

Кто же именно может стать реализатором стоящих перед Россией задач? Мой ответ содержится в статье, которая называется «Преемником Путина может быть сам Путин» («Известия» от 9 октября 2006 года), к которой и отсылаю читателя. В ней я предложил вариант, при котором мы осуществим необходимое партстроительство, выстроим политическую систему, и нынешний президент уйдет. Но при этом и останется. Останется, например, в качестве председателя правящей партии и одновременно премьер-министра. А президентом, очевидно, будет тот, кого он поддержит, потому что никто из кандидатов сам по себе не обладает столь крупными личными достоинствами, чтобы выдвигаться без поддержки действующего главы государства. И новый президент будет позиционировать себя как ученика, соратника, продолжателя дела Путина, став реализатором идей и главным помощником премьера, каковым, как я уже сказал, может быть Путин. И это, без сомнения, устроит все элитные группы, особенно политические и бизнес-структуры, потому что позволит избежать резких нарушений существующего баланса сил и интересов.

Разумеется, это лишь мое предложение, своего рода политической проект. Но он вполне может быть осуществлен, потому что соответствует желанию самого Путина, который, как известно, неоднократно заявлял, что хочет и после 2008 года оставаться решающим актором российской политики. Как теоретик и аналитик, я могу конструировать различные варианты, но то, что я предлагаю, как раз и обеспечивает, на мой взгляд, максимальное присутствие Путина в качестве решающего актора российской политики. Я все еще надеюсь на эту возможность, поскольку не вижу рядом с ним других политиков, которые могут реализовать стратегию прорыва. И ряд инициатив, о которых он заявил в последнее время, — демографическая программа, развитие морских портов, дорог, инфраструктуры, разворот на науку, высокие технологии, нанотехнологии, — дает мне основания думать, что он, пусть и очень осторожно, уже движется в данном направлении.

Следует дать ему этот шанс.

ЧТО ОХРАНЯЮТ НАШИ ОХРАНИТЕЛИ?
(РОССИЙСКИЙ ПУТЬ К ДЕМОКРАТИИ
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СЕРГЕЯ МАРКОВА,
АЛЕКСЕЯ ЧАДАЕВА
И АНДРАНИКА МИГРАНИНА)

Среди участников дискуссии есть несколько человек, которые делают ставку на нынешний российский политический режим. При этом рядом оказались люди на первый взгляд несовместимые, принадлежащие к разным профессиональным весовым категориям. Возможно даже, что кто-то из них не хотел бы находиться в такой компании. Тем не менее в данной дискуссии Андраник Мигранян, Сергей Марков и Алексей Чадаев продемонстрировали, что все они являются сторонниками одной и той же позиции, пусть и формулируемой по-разному и по-разному обосновываемой. И можно предположить, что эта позиция имеет прямое отношение к их общественному статусу.

Все трое — члены Общественной палаты, этого неформального органа российской власти, который призван играть в нынешней политической реальности немаловажную роль: быть и экспертным советом Кремля, и назначенным президентом «гражданским обществом». Там нет случайных людей, а есть только те, кто прошел мелкое сито отбора и доказали, что могут осуществлять функцию идеологического и интеллектуального обременения власти и что она им может доверять. Поэтому высказывания членов Общественной палаты, принадлежащих к официальной российской элите и являющихся не только рупорами власти, но и ее советниками, представляют определенный интерес. Тем более если речь идет об их представлениях о настоящем и будущем российской государственности.

Объединяющая А. Миграняна, С. Маркова и А. Чадаева позиция сводится к тому, что нынешний российский политический режим имеет потенциал, пока еще полностью не раскрытый, и способен модернизировать Россию, сделать ее современной страной, развитой во всех отношениях. И ради этой желанной перспективы, отослав, правда, в неопределенное будущее, все трое выступают за сохранение статус-кво, что дает основание рассматривать уважаемых дискуссионтов как выразителей охранительской тенденции. Я не вкладываю в эти слова никакого негативного смысла. Охранительная тенденция существует во всех системах, даже несомненно демократических. Вопрос лишь в том, какое именно системное статус-кво защищается.

Политический режим Путина глазами его защитников

Надо отдать должное нашим охранителям — они отнюдь не апологеты нынешней российской политической реальности. И приукрашивать ее они вовсе не склонны. Они защищают статус-кво, отдавая себе ясный отчет в том, насколько далеко защищаемое от совершенства. Попробую воспроизвести их констатации и оценки.

В России имеет место «сращивание экономической и политической сфер и монополизация власти в этих сферах», что «серьезно уменьшает модернизационный потенциал государства» (А. Мигранян).

-Вот создали мы вертикаль власти. Ну и что теперь? Что она должна делать, господин президент, эта вертикаль? <...> Мы являемся свидетелями того, как наша вертикаль власти перешла к мародерству» (С. Марков).

-Сегодня кадры госчиновничества слишком коммерчески мотивированы, а моральные, внеэкономические факторы сильно деградировали <...> Принципы отбора и подбора администраторов. <...> практически отсутствуют, и в этих условиях, естественно, происходит вымывание кадров, способных укрепить государственный аппарат, подмена их чиновниками-бизнесменами, которые превращают управление государственной собственностью в частный бизнес. А это — основа поголовной коррупции, свидетелями чего мы, собственно, и являемся» (С. Марков).

В кадровой политике российской власти «лояльность важнее, чем профессионализм» (А. Чадаев).

Налицо «масштабный кризис доверия внутри политической и управленческой элиты, утрата доверия всех ко всем» (А. Чадаев).

Российская элита «плохо работает, плохо управляет развитием страны. Полагаю, что с нынешней элитой у нас вряд ли будет возможность успешно развиваться. Люди, входящие в нее, крайне эгоистичны и непатриотичны. Конечно, все они патриоты в том смысле, что предпочитают русскую водку и русских девушек. Однако они предрасположены не к тому, чтобы отдавать стране, а только к тому, чтобы у нее забирать, и в этом смысле они патриотичны на словах, но глубоко антипатриотичны на деле» (С. Марков).

«...Российская элита — наиболее бездуховная и циничная во всем мире. Российское телевидение бездуховно и цинично, как никакое другое» (С. Марков).

-Вот создали <...> местное самоуправление, но полномочий ему не дали. Во-первых, потому, что управлять не умеют, а во-вторых — дашь, так все разворуют. Но как можно научиться управлять, если нам не дали то, чем управлять: где-де сначала научится, а мы вам потом позволим порулить? Понятно, что еще немного, и оставшиеся еще кому-то из местного самоуправления разбежусь по стране, и придется на их место назначать уполномоченных из района или из области» (А. Чадаев).

-Чтобы был независимый суд, нужны две равные по силе противостоящие стороны. Тогда он может быть независимым и свободным. Но если одна сторона слишком сильная, а другая слишком слабая (речь идет о нынешних российских реалиях. — Л.Ш.), то суд не может быть независимым: испытывая давление этих двух сторон, среди которых одна явно преобладает, он будет склоняться под ее напором. Если общество слабое, если бизнес слабый, если слаба партийная структура (речь опять-таки о нашей действительности. — Л.Ш.), суд всегда будет принимать решения в пользу более сильного» (А. Митранян).

-Кто голосует за партию власти в стране? Среди прочего там есть любопытная — массовая! — прослойка людей, которые получают по две тысячи рублей в месяц в том месте, где у них лежит трудовая книжка, и на работу почти не ходят. Им за эти две тысячи рублей просто надо раз в полгода сходить куда-нибудь и поставить правильную галочку» (А. Чадаев).

Таковы российская власть, российская бюрократия, российская элита, российский суд и их взаимоотношения с обществом в описании А. Митраняна, С. Маркова и А. Чадаева. Порой такое впечатление, что читаешь Владимира Рыжкова либо даже Гарри Каспарова.

Из приведенных выше высказываний ясно, что охранители понимают сами и не считают нужным скрывать от других: нынешняя политическая система, мягко говоря, не идеальна. Они явно не хотят оказаться в роли пропагандистов советского образца, они озабочены своей профессиональной репутацией и потому в оценках реальности

старается быть объективными, что, разумеется, достойно уважения. Но ведь если признается, что система негодная, то естественно было бы предположить, что мысль экспертов сосредоточится на том, как эту систему изменить. Однако нашим охранителям такая логика явно не близка. Правда, кое-какие рецепты лечения системных болезней они предлагают, и я этих рецептов еще коснусь. Но пафос их выступлений все же в другом. Он в том, чтобы использовать именно эту систему для достижения Российской амбициозных технологических, экономических и внешнеполитических целей. Предполагается, что такое возможно.

О великих прорывах и Больших проектах

Андраник Мигранян — давний и последовательный сторонник авторитарной модернизации. Им diskutiert не козырьные соображения, а козметуальные убеждения. И он находил в себе мужество отстаивать их даже тогда, когда они могли вызывать лишь всеобщее отторжение. Поэтому Андраник Мовсесович имеет все основания обижаться на тех, кто называет его «кремлевским пропагандистом». Но сегодня его кощунства вошли в резонанс с доминирующей политической тенденцией, и потому автономно от нее он восприниматься не может. Да ведь и сам А. Мигранян не считает нужным скрывать, что желаемый им авторитарный режим сегодня в стране налично, и готов в меру сил его поддерживать. Инструмент модернизации, по его мнению, создан, и дело теперь лишь за самой модернизацией, которая автору видится дикутанной.

«Для чего нам нужен такой авторитарный режим?» — спрашивает он, упреждая возможные вопросы. И отвечает: «Я сохраняю уверенность в том, что харизматический лидер, опираясь на поддержку масс, может пробить сопротивляемое бюрократии и осуществить модернизационный прорыв. То, что нам нужен прорыв, очевидно всем. Его основные задачи: снять страху с нефтегазовой иглы и осуществить всеобъемлющую технологическую модернизацию. Об этом много говорил президент, об этом пишет и Сергей Глазьев в своем докладе о шестом технологическом укладе, о био- и информационных технологиях и о том, что если мы в этот уклад не выйдем, то останемся на глубокой периферии глобального мира. Но для реализации подобных задач нужна сильная и эффективная власть, обладающая большими ресурсами».

Это — первый этап: технологический прорыв, который, в свою очередь, создаст предпосылки для второго, когда должно «состояться нечто подобное пакту Монклоа в Испании», призванного подвести историческую черту под авторитаризмом и стать исходным пунктом развития страны на демократической основе. И Андраник Мовсесович, объявивший себя «единственным либералом в стране», который, в отличие от самовольно присвоившей себе это имя «шантрапы», познал в либерализме толк, пытается через головы своих не очень вменяемых коллег довести до читателя истину, коллегам этим недоступную. «Они не понимают, — сетует он, — что если наш сегодняшней модернизационный ресурс будет эффективно использоваться и страна слезет с нефтяной иглы, если начнут формироваться элементы шестого технологического уклада, то это само создаст предпосылки для того, чтобы покончить с авторитаризмом».

Я с пониманием и сочувствием отношусь к амбициям моего оппонента. Он искренне верит в то, что говорит о себе и других, и у меня нет ни малейшего желания эту его веру подрывать. Но высказать некоторые соображения и сомнения по поводу программы Андраника Мовсесовича я все же рискую.

Мне не очень понятно, на основании каких фактов и реальных тенденций автор делает свой вывод о том, что нынешний российский авторитаризм способен снять страну с сырьевой иглы и ввести ее в шестой технологический уклад. Почему тогда Путин не пытался до сих пор начать модернизационный прорыв? Почему его второе президентство было сплошной чередой мер по концентрации власти, которую он исполь-

зовал для защиты самой концентрации? Напомним, что инновационная продукция как составляла в ВВП России менее 1%, так и составит (для сравнения: в Италии, Испании, Португалии от 10 до 20%, в Финляндии — 30%). Напомним и о том, что доля нефтегазовых доходов в нашем федеральном бюджете сейчас составляет 44,5%, а доля товаров ТЭК в экспорте — 63,3%. И есть достаточно оснований предполагать, что в данном случае мы имеем дело, вопреки предположениям А. Мигранова, не с законом обратного пропорциональной связи, согласно которому усиление авторитаризма может будто бы сопровождаться бурным развитием высоких технологий при ослаблении наркотической зависимости от «опиума», а с законом прямо пропорциональной связи, который действует во всех авторитарных «петростейтах». И где же гарантии, что новый лидер либо сам Путин, но в новой роли, этот не им учрежденный закон сумеет отменить?

Но это еще не все. Ведь «отменить» придется и другой закон, который до сих пор нигде не был поставлен под сомнение. Я имею в виду то, что мир не знает пока ни одного примера постиндустриальной модернизации, осуществленной авторитарным режимом. Индустриальные прорывы были, а постиндустриальные — нет. И чтобы доказать их возможность, недостаточно провозгласить себя первым на Руси либералом. Для этого надо обладать способностью теоретического обоснования проектов, опережающих наличный мировой опыт и ему противостоящих. Не исключаю, что такой способностью Андраник Мигранов обладает. Тогда остается лишь приложить ее к делу и объяснить, каким образом шестой технологический уклад, возникший в развитой инновационной среде при свободе бизнеса и его правовой защищенности, может появиться в стране, где, как объяснил нам сам Андраник Мовсесович, экономическая власть срощена с политической, бизнес слаб, общество беспомощно, а суд судит несправедливо. Ведь все это предполагается оставить неприкосновенным до тех пор, пока успешный технологический прорыв не создаст предпосылки для перемен. Но мне все же не хватает доказательства, что сам прорыв возможен и при таких обстоятельствах.

На год, интересно, будет опираться при этом авторитарный лидер? Допустим, что на «поддержку масс», которая призвана помочь ему, во Мигранову, «пробить сопротивление бюрократии». Но мы знаем, что такое «поддержка масс» при отсутствии гражданского общества и административно управляемой судебной системе. Это модель легитимации репрессий против тех, кто назначается на роль «врагов». А чтобы осуществлять такие «назначения», нужны соответствующие структуры, которые называются репрессивными. Как они действуют при зависимых судах и подконтрольных СМИ, Андраник Мовсесовичу известно не хуже, чем мне, причем не только из советского прошлого, но и из нынешней «правоприменительной» практики. Равно как и то, что означает при таких обстоятельствах «поддержка масс».

Да, опыт репрессивно-мобилизационной технологической модернизации в истории существует. Но он имел место не в любимой А. Миграновым Англии и вообще не на Западе, а в России времен Петра I и в Советском Союзе времен Сталина. Однако то была индустриальная модернизация, а постиндустриальная не случилась пока и в нашей стране. Если проект Андраника Мовсесовича, считающего себя «реалистом», станет реальностью, то России в очередной раз суждено будет стать первопроходящим, превращающим сказку в быль. В таком случае первый этап из двух им намеченных завершится успешно. Но даже в этом фантастическом случае мне трудно представить переход к этапу второму, предполагающему трансформацию авторитарного режима в демократический.

Ведь при успешной модернизации ни авторитарному лидеру, ни кому бы то ни было в стране и в голову не придет менять модель управления и начинать дегерметизацию общества. С какой стати? От добра, насколько известно, люди в здравом уме

добра не шлут. Что-то не пришло, чтобы после сталинской модернизации 1930-х годов последовало что-то похожее на пакт Монклоа. Наоборот, авторитарная модернизация сопровождалась еще большим упрочением и ужесточением авторитарной власти.

Трудно сказать, на основании чего А. Мигранин выводит закономерность, согласно которой «все авторитарные режимы погибают в результате своих успехов». Зная об отношении Андраника Мовсесовича к отечественным экспертам, которое он не считает нужным узнавать, сошлось на зарубежных. По их мнению, последние две волны демократизации в Латинской Америке, Южной, Восточной и Центральной Европе были следствием не успехов, а экономических и прочих неудач авторитарных режимов. Так считают Алфред Штепан, Хуан Линч, Терри Карл, Филипп Шмиттер — признанные в мире авторитеты по вопросам транзита. А Клаус Оффе, Джузеппе ди Палма и Альберт Хиршман давно на огромном историческом материале показали роль независимых институтов в демократизации общества, а также то, как важна роль политического лидерства не в концентрации ресурсов, а, напротив, в их распределении между политическими акторами. Наконец, о соотношении демократии, авторитаризма и экономического прогресса можно прочитать у Адама Пшеворского и Фернандо Лимонджи; их выводы открытую А. Мигранином «закономерность» тоже не подтверждают.

Возможно, на подсознательном уровне он руководствуется воспоминаниями о том, что в России авторитарные технологические прорывы до сих пор сопровождались новыми отставаниями. Или, говоря иначе, о том, что успехи сменялись отсутствием таковых и, соответственно, кризисами и обвалами авторитарных режимов. Но если расчет на это, то тогда хорошо бы перенести такие представления из подсознания в сознание и включить в свой стратегический проект. А задано объяснить, какие предпосылки для демократии и становления гражданского общества будут созданы на стадии авторитарной модернизации, или демократии, или гражданского общества не предусматривающей. При таком историческом маршруте у Андраника Мовсесовича в эпоху будущего постмодернизационного кризиса (если, разумеется, сама модернизация состоится) наверняка найдутся благодарные последователи, которые будут говорить всякие обидные слова будущим отечественным либералам, неспособным уразуметь то, что Россия до демократии не дозрела, так как никогда при демократии не жила.

А теперь — о другом проекте модернизации, представленном Сергеем Марковым. В отличие от Андраника Мигранина, этот проектировщик не склонен членить наше будущее на модернизационные этапы, предпочитает синхронизировать предлагаемые им преобразования во времени. Правда, при некоторых исключениях, которые в большей степени характеризуют проект в целом, чем его остальные составляющие. Но — обо всем по порядку.

Начну с того, что у обоих экспертов, несмотря на различия их подходов, есть и нечто общее. Это общее заключается не только в охранительной позиции, но и в том, что приоритетной они считают модернизацию технологическую и экономическую, которая обним видится в мобилизационном исполнении. Свообразие же творческого метода С. Маркова не только в том, что он считает нужным сочетать такую модернизацию с параллельным «выращиванием демократии», но и в том, что в этом методе политологические целеполагания дополняются конструированием организационных форм. Для реализации больших нужд мирового уровня нужны мегакорпорации, нужны проектные комитеты и, наконец, нужна проектная партия, что в совокупности должно сделать Россию одним из главных игроков на международной арене, полноправным членом «мирового правительства».

Вера Сергея Александровича в то, что громаде его планов возвеличит страну и осчастливит ее народ, впечатляет. Но проекты отличаются от проектов тем, что

они, во-первых, опираются на уже обозначившиеся в жизни тенденции, а во-вторых, наличием мотивированных исполнителей. Начнем с тенденций.

В качестве примера успешно осуществляемого проекта Сергей Марков упоминает такую мегакорпорацию, как Газпром. Пример, по-моему, не очень убедительный. Напомним проектанту широко известные цифры. Российские государственные компании накопили более 216 млрд долларов долгов, причем основным должником является как раз Газпром. Не для кого не секрет и то, что за последние пять лет Газпром увеличил производство лишь на 2%. Равно как и то, что более половины российских газопроводов были построены несколько десятилетий назад и нуждаются в обновлении. И это — успешный проект? Может быть, в актив корпорации следует записать рост мировых цен на ее продукцию?

Что же касается другой идеи Сергея Александровича об использовании Газпрома как «колоссального инструмента российского влияния в мире», то с этим, на мой взгляд, дело обстоит еще хуже. Давно уже Россия не проводила такую провальную внешнюю политику, пытаясь орудовать Газпромом, как ломом. Это же надо было так зацугать Европу его медвежьими хватками, что она начала строить общую энергетическую политику, чего Европейский союз раньше не мог добиться. Так что пока мы вместе с Газпромом живем по принципу лучшего российского политолога, по ходу дискуссии уже упоминавшегося, Виктора Степановича Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда!» И где гарантия, что и остальные Ваши, Сергей Александрович, Большие проекты в очередной раз не будут осуществлены в полном соответствии с этим принципом?

Таких гарантий не может быть, потому что «вертикаль-мародер» (Вы сами ее так назвали), которой предстает воплощать Большие проекты в жизнь, будет действовать не в соответствии с Вашими благими намерениями, а в соответствии со своей собственной природой. Конечно, я внимательно читала оба Ваши выступления в дискуссии и заметила, что в число Ваших проектов (правда, статусом «Больших» Вы их не наделяете) входит и улучшение этой вертикали, т.е. очищение ее от мародеров. Насколько могу судить, решению данной задачи в Ваших концептуальных предложениях должна служить в том числе и демократия, по причине чего Вы, в отличие от А. Миграняна, и не откладываете ее «выращивание» до лучших времен. Но Вы отличаетесь от своего коллеги по Общественной палате не только этим.

Представления Андрианки Мовсесовича о будущей российской демократии не вызывают сомнений в том, что у него речь идет именно о демократии. Вы же предлагаете считать таковой нечто очень уж специфическое, что свидетельствует о том, что в Общественной палате нет консенсуса даже в понимании смысла слов. Поэтому я и позволю себе сопоставить Ваше их толкование с толкованием А. Миграняна, что, в свою очередь, позволит мне более четко обозначить водораздел между двумя основными вариантами современного российского политологического охранительства.

Русские проекты в контексте мировой политической истории

Андрианка Мигранян категорически возражает против причисления его к «сторонникам какой-то особой российской демократии». Он убежден в том, что «есть лишь одна, либеральная демократия», что «либеральные ценности универсальны» и что поэтому «не надо придумывать что-то новое, фантастическое»; стремиться надо к тому, чтобы соответствовать «универсальному идеальному типу». Но, в который уже раз огорчается Андрианка Мовсесович, «в России эта демократия должна еще вырасти».

Не спорю: должна. Мне непонимание, как я выше попыталась объяснить, касается не темпов движения к демократии, а возможности ее вырастания в горниле автори-

тарной технологической модернизации. В данном отношении А. Мигранян конквизитский довод не предъявляет. Их у него заменяют отсылки к истории некоторых западных стран. Однако также исторические аналогии у меня лично вызывают лишь новые вопросы.

Честно говоря, не могу взять в толк, что же все-таки хотел сказать уважаемый политолог, отсылая нас в Англию XVII и начала XVIII столетия. Он упоминает Славную революцию 1688 года, в которой усматривает давний аналог паста Монклоа. Пусть так. Но какое поучение мы должны извлечь из этого события для понимания происходящего в России начала XXI века? Ответа нет. Еще в тексте А. Миграняна говорится о том, что и после Славной революции почти три десятилетия ситуацию в стране не удавалось стабилизировать. «И вдруг — цитирую автора — в 1716 году наступила стабилизация, хаос закончился». Потому, надо полагать, что «медленное, но неуклонное приручение политического класса» именно к этому времени было завершено. Но кто же его приручал и приручал? Авторитарный правитель? Если бы Андриан Мовсесович это утверждал, то заслужил бы упрек в том, что вводит нас в заблуждение. Потому что «хаос кончился» не при авторитарном режиме (откуда ему вообще взялся после заключения паста Монклоа?), а, наоборот, именно тогда, когда король Георг I перестал участвовать в формировании правительства и председательствовать в нем, т.е. когда оно в полной мере стало правительством парламентского большинства. Андриан Мовсесович об этом не говорит, и благодаря такому умолчанию его исторический экскурс как бы остается на службе его концепции авторитарной модернизации. Но — разве что «как бы»...

Однако главный мой упрек автору заключается, повторю, в том, что он оставляет читателя в полном неведении относительно того, какое же отношение к нашей сегодняшней жизни имеют Славная революция и то, что было после нее. Ведь нам, чтобы добраться до ее российского аналога, надо еще пройти период авторитарной технологической модернизации. Поэтому лучше бы Андриан Мовсесович просветил нас насчет того, что же происходило в Англии до Славной революции. Какая авторитарная технологическая модернизация имела там место? Кто ее осуществлял? Кромвель? Карл II? Яков II? Однако об этом периоде А. Мигранян даже не упоминает. И правильно, между прочим, делает.

В десятилетия, предшествовавшие Славной революции, можно найти борьбу аристократического парламента с королями и борьбу парламентских партий (тори и виги) между собой, но уж точно не то, что должно там быть согласно концепции Андриана Мовсесовича. Поэтому он в своем экскурсе в английскую историю, призванном вроде бы эту концепцию обосновать, о ней забывает и акцентирует наше внимание на том, что демократия нигде быстро не строилась, а потому и нам надо бы научиться историческому терпению, т.е. уменью ждать, пока она «вызреет». О том, что демократия везде, в том числе и в Англии, вызревала в борьбе за демократию, а не в терпеливо-покорном ожидании ее вызревания, политолог забывает тоже. Более того, нам предлагается не просто ждать, а на время и отказаться от демократии в пользу авторитарного правления, чего, однако, в английском образце, рекомендованном для подражания, вообще не просматривается.

Чувствуя, возможно, некорректность этой аналогии, А. Мигранян переносит нас из Англии XVII и XVIII веков во Францию середины XX столетия. В данном отношении ассоциация с нашей сегодняшней политической практикой гораздо более очевидные и прозрачные. Ведь во Франции был де Голль, которого его ближайшие соратники называли «выборным монархом», а его режим — «выборной монархией»; эти понятия использовал, в частности, советник французского президента Режи Дебре. Однако и тут мы имеем дело с натяжками. Да, де Голль добился принятия новой конституции, увеличившей

властные полномочия главы государства. Но голландская Пятая республика лишь внешне похожа на нынешнюю российскую политическую конструкцию. И дело не только в том, что там не было ни административно насажденной монополии верховной власти, ни передачи ее президнику. Дело и в том, что там не было и доминирования президентской партии в том смысле, в каком оно имеет место в современной России.

Между тем А. Миграция отсылает отечественную либеральную «шантрапу» именно к французскому политическому опыту. Посмотрите, призывает он, во Франции ведь был прямой аналог нашей «Единой России». И напоминает о голландской партии, доминировавшей на политической сцене 14 лет при президентстве де Голя и столько же — при президентстве сменившего его Помпиду (при де Голе, посправлю коллегу, на несколько лет меньше, учитывая его досрочную вынужденную отставку, однако это в данном случае не столь важно). Но, позволю себе возразить, во Франции тех времен, в отличие от нынешней РФ, существовала серьезная политическая конкуренция, а президентская партия, хотя и формировалась при самом активном участии президента, имела реальную социальную базу и не была, подобно «Единой России», профсоюзом бюрократии, покупающей голоса избирателей по описанному А. Чадаевым методу. Поэтому она продолжала добиваться успехов и после того, как ее основатель покинул Елисейский дворец. Точно так же и в Италии послевоенного периода, и в современной Японии, тоже упоминаемых А. Миграцией, система доминирующей партии не исключала и не исключает ни острую политическую борьбу, ни свободу СМИ, предполагающую существование независимых от правительства телевизионных каналов. В интерпретации же Андраника Мовсесовича разница между доминированием одной партии в условиях демократии и ее доминированием как альтернативы демократии полностью стирается.

Что же в итоге? В итоге ориентации на «универсальный идеальный тип» демократии, накладываясь на логику охранительства, оборачивается тем, что мышление эксперта передевает в одежде универсального нечто особое и «самобытное». Не осознанно, разумеется, а по причине исходной установки на то, чтобы рассматривать нашу политическую практику как совместимую с движением в направлении этого «идеального типа».

Казалось бы, Сергей Марков, в отличие от своего коллеги по Общественной палате, в таком допущении попадать не должен уже потому, что является не только «убежденным демократом» (по его самооценке), но и вполне состоявшимся почвенником (по моему представлению), хотя еще и не очень органичным. Но и ему, тем не менее, избежать их не удалось.

Сергей Александрович тоже любит ссылаться на западный политический опыт. Но — лишь для того, чтобы доказать: западная демократия не есть нечто универсальное, т.е. одинаковое для всех стран, где она утвердилась. Наоборот, в каждой из них она устроена по-разному, сообразно национальным особенностям и традициям: в США она не такая, как в странах Евросоюза, в Японии — не такая, как в США и странах Евросоюза. Поэтому, мол, и в России демократические институты должны соответствовать ее идентичности. И все было бы хорошо, если бы Сергей Александрович решил на полное отрицание каких-либо единых стандартов и критериев демократии. Но он не решился. В результате же читателю, который хочет разобраться в том, как сочетаются в мышлении С. Маркова эти стандарты и критерии с его проектом самобытного российского народовластия, не позавидуешь. Политологи Игорь Клямкин, Виктор Шейнин, Алексей Кара-Мурза и предприниматель Павел Солдатов просили Сергея Александровича разъяснить политический смысл его лозунга: «Европеизировать институты, сохраняя русскую идентичность». Он разъяснил — добросовестно и обстоятельно, но ясности от этого не прибавилось.

Впрочем, кое-что Сергей Александрович все же прояснил.

Во-первых, под натиском участников дискуссии он вынужден был признать, что переход к правовому государству его концепцией не предусматривается, ибо «это на сегодня задача неподъемная». Отсюда следует, что все соображения проецианта о необходимости для России европейской ориентации лишаются какого-либо актуального содержания. Неудивительно поэтому, что С. Марков не стал отвечать П. Солдатову, напомнившему политологу о заглавной роли права в европейской цивилизации. Обошел он и категорические возражения того же автора, касающиеся фактически провозглашенной С. Марковым презумпции виновности российского народа в отсутствии в России правовой традиции. И понятно, почему: член Общественной палаты не может позволить себе объявить народ главным источником беззакония, а представитель околоэлитной элиты не может признать, что таким источником являются российская власть и сама российская элита, на чем настаивает оппонент Сергея Александровича. Для нее переход к правовому государству — и в самом деле «задача неподъемная», а потому она под пером одного из представителей этой элиты превращается в неподъемную для страны.

Во-вторых, С. Марков своими ответами на вопросы и возражения оппонентов дал понять, что же он все-таки понимает под определяющей ролью государства в строительстве российской демократии и формировании гражданского общества и почему предлагает выделить на развитие последнего огромные бюджетные средства — 100–150 млрд долларов. Дело в том, что само гражданское общество видится ему не в виде множества автономных от государства организаций, отстаивающих интересы входящих в них людей, а в виде организаций, специально созданных для помощи тем, кто в ней особенно остро нуждается, т.е. наиболее слабым социальным слоям. Тем самым «слабые» и самодостаточные автоматически лишаются права на самоорганизацию ради достижения собственных целей, а гражданское общество выстраивается по модели Общественной палаты сверху и «наших» элиту, помогающих государству «заботиться о людях». То есть речь идет о «приводных ремнях» патерналистской власти, от нее зависящих и ей подконтрольных. Речь идет о гражданском обществе, действующем внутри бюрократической вертикали и призванном смягчать чиновничий произвол в государстве, обреченном, по Сергею Маркову, быть неправым, не покушаясь при этом на его устои. Такие «приводные ремни» от власти к населению хорошо известны по советским временам, и ничего принципиально нового в данном случае не предлагается.

Правда, проект С. Маркова предусматривает еще и учреждение дополнительных критериев отбора в элиту, а именно — патристичности и нравственности. Но как эти критерии соблюдаются в неправом государстве, мы опять-таки знаем по опыту советской эпохи. Из той же эпохи — и идея «проектной партии». Считая себя «убежденным демократом», политолог не прочь бы соединить эту идею с идеей политической конкуренции, однако вынужден признать, что в обозримом будущем они несоединимы. Но и при отсутствии такой партии С. Марков не знает, как ввести политическую конкуренцию в нынешнюю элитную систему, в чем опять-таки откровенно признается. И что же остается в его проекте демократического, кроме демократической риторики?

Ничего не остается. И я не думаю, что Сергей Александрович отдает себе в этом ясный отчет. Но кое-что его, похоже, все-таки смущает. Иначе мне трудно объяснить, почему в какой-то момент он решил переклочить наше внимание с политических целей на политические средства их достижения, причем также, которые политическую конкуренцию исключают по определению. По крайней мере — на неопределенное время. Политолог напоминает о «выращивании демократии» генералом Фрашко, бразильскими военными в 1960–1980-е годы и даже... Но лучше процитирую: «... Хорошо известно <...> и то, что в Германии и Японии демократия строилась в условиях оку-

пационного режима, который является сверхавторитарным. Но он выращивал демократию. Так нужно вырастить ее и у нас».

Итак, перед нами проект авторитарной демократизации, аналог которой отыскиваются в деятельности диктаторских либо оккупационных («сверхавторитарных») режимов. При этом, правда, остается загадкой, к какой из двух разновидностей авторитаризма ближе нынешний российский режим, равно как и то, соответствует ли он хотя бы одной из них, или ему еще предстоит подтянуться до их уровня. Но главное даже не в этом. Главное в том, что российским авторитарам, в отличие от зарубежных, предстоит вырастить не просто демократию. Им предстоит создать демократию особого типа, в которой идея права не является приоритетной, а гражданское общество выступает не как автономная от государства самоорганизация граждан, отстаивающая свои интересы и контролирующая власть, а как совокупность организаций для граждан. Организаций, возглавляемых специально подготовленными в государственных вузах менеджерами и финансируемых из бюджета со всеми вытекающими отсюда для этих организаций ограничениями. Естественно, что в Испании, Бразилии и в Германии с Японией аргументы в пользу такого толкования народолюбивости отыскать непросто. Поэтому у этих стран и предлагается заимствовать лишь средства движения к цели, но не саму цель.

Цель же, соответствующую «русской идентичности», Сергей Александрович ищет и находит в Византии. В его проекте она выступает источником духовности, которая и призвана заменить нам право и в очищении вертикали власти от мародеров, и в воспитании активистов гражданских организаций, чувствующих свою ответственность перед теми, кого они должны защищать, и в обеспечении достоинства личности, и во всем остальном. По сути же речь идет о том, чтобы создать систему, в которой каждый индивид принимает ценности и интересы власти не только как общезначимые (государственные), но и как свои собственные. Напомню Сергею Александровичу, что нечто похожее пытался делать в свое время император Николай I с помощью ведомства графа Бенкендорфа, одним из результатов чего стал катастрофический для России исход Крымской войны. Кроме того, под псевдонимами идеальности и сознательности «духовности» целенаправленно насаждалась и в советские времена — и «проектной партией», и ее «приводными ремнями», и ее «карающим мечом». Определенных результатов в виде могущественной военной державы на этом пути удалось достигнуть, что, похоже, и вдохновляет С. Маркова. Но неплохо бы помнить и о том, что случилось потом. В том числе и с нашей «духовностью». И к напоминаниям участников дискуссии о судьбе Византии тоже не стоило бы относиться легкомысленно.

Многим, очень многим отличается Сергей Марков от Андраника Миграняна, которого трудно представить призывающим синтезировать Запад и Византию, да еще таким образом, что от «Запада» в этом синтезе почти ничего не остается. Андраник Мовсесович по своим общественным идеалам и ценностям — западник, Сергей Александрович — «самобытие», по целому ряду позиций сближающийся с Михаилом Юрьевым, Александром Дугиным, Дмитрием Володихиным. Но перед нами стоит один и тот же вопрос о том, как приспособить нынешнюю государственную систему для решения задач, которые ей противопоказаны. И ответ они ищут в одном и том же направлении. Они ищут внутри самой системы такого субъекта, который был бы способен реализовать их проекты вопреки очевидным для них порокам этой системы, гасящей любые модернизационные импульсы.

Владимир Путин как наше все

Таким надсистемным субъектом в построениях обоих политологов выступает президент России. Но — не как государственный институт, а как конкретная persona. «Личность Владимира Путина важнее для общества, чем институты государства», —

утверждает С. Марков. Но раз так, то не стоит удивляться тому, что он предлагает варианты продления лидерства Путина после того, как тот покинет свой нынешний пост. Можно предположить, рассуждает Сергей Александрович, что Путин возглавит «Единую Россию» и, учитывая ее легко прогнозируемое доминирование и в будущей Думе, сможет контролировать деятельность исполнительной власти, уменьшив тем самым влияние на нее будущего президента. И тогда, заключает С. Марков, наша политическая система станет средня французской, что очень хорошо, так как это сблизит нас с Европой.

Думаю, однако, что самим европейцам такая логика, согласно которой личность правителя важнее институтов, приемлемой не покажется. Да и некоторые участники нашей дискуссии просили Сергея Александровича разъяснить, как долго может существовать политическая система, в которой распределение властных полномочий и влияние на принятие решений определяется персональными особенностями и степенью популярности одного человека. А как перераспределение реальных полномочий будет соотноситься с номинальными конституционными полномочиями главы государства? Не подорвет ли это роль института президентства со всеми сопутствующими последствиями? К сожалению, все такого рода вопросы остались без ответов. Похоже, дальше, чем на ход вперед, околокремлевские политические шахматисты считают варианты не предрасположены.

Это относится и к Андриану Миграняну. Он полагает, что Путин, перестав быть президентом, может сохранить политическое лидерство, став не только председателем правящей партии, но и премьер-министром. При этом «новый президент будет позиционировать себя как ученика, соратника, продолжателя дела Путина, став <...> главным помощником премьера». Хочется надеяться, что Владимир Владимирович пребывает в здравом уме и удержит страну от возвращения к вождинской модели правления, при которой формальная государственная должность правителя не имеет значения. Превратить главу государства, наделенного конституцией почти царскими полномочиями, в техническую фигуру, в помощника вождя — это не слабо. Сразу включается воображение: а что, если всенародно избранный помощник с царскими полномочиями разойдется во взглядах с тем, кому должен помогать? Или, скажем, случится кризис — кто будет восприниматься ответственным за него? Вождь или царь?

Андриан Мовсесович популярно разъяснил нам, что в сложившейся политической системе президент «принимает все политические и кадровые решения и не несет за это никакой ответственности», в то время как правительство «не принимает никаких политических и кадровых решений, но отвечает за все». Реальный же смысл идеи политолога заключается, похоже, в том, чтобы освободить президента не только от ответственности за принимаемые решения, но и от самого принятия решений. Помощник — он и есть помощник. Пусть читает от имени вождя послания парламенту, с высочайшего дозволения подписывает законы и выполняет поручения хозяина Белого дома (или премьер переберется в Кремль?) на переговорах с зарубежными лидерами. Ну а все-таки если кризис? Вождь ведь за неудачи не отвечает, отвечают нерадивые помощники. Но если одним из них является избранный населением глава государства с монархическими полномочиями, то он ведь может на роль стрелочника и не согласиться. И что тогда будет? Как поведут себя Администрация президента, главы регионов, палаты парламента, руководители федеральных телеканалов? Сохранится ли между этими институтами и внутри каждого из них нынешнее «монolithicное единство»?

Я могу понять А. Миграняна. Кроме Путина, он не видит в стране «политиков, которые могут реализовать стратегию прорыва». И ради сохранения лидерства Путина политолог готов мириться с нынешней конституционной конструкцией, которую считает «ненормальной» и в перспективе рассчитывает на ее замену президентской

ковструкцией американского образца. Он готов с ней временно мириться, потому что она не мешает, по его мнению, передать реальную власть премьеру, сделав президента техническим исполнителем при главе правительства. Но такая «тактическая» коррекция институциональной системы уж точно ее не улучшит. А рассчитывать на то, что это может способствовать осуществлению модернизационного прорыва, по меньшей мере наивно. Потому что модернизационные прорывы всегда сопровождаются обострением конфликтов в элитах и обществе. При таких обстоятельствах идея отделения реального главы государства от номинального выглядит, прощу прощения, авантюристической. Я уже не говорю о том, как скажется ее воплощение на правовом сознании политического класса и населения. Создаст ли это дополнительные предпосылки для продвижения к демократии английского типа или уменьшит и те немногие, что есть? Похоже, что подобными вопросами Андриан Мовсесович не задается.

Его ставка на нынешний режим — это ставка на одного человека, призванного компенсировать несостоятельность самого режима. Институциональная логика без остатка растворяется в логике персоналистской. Плененный ею, политолог не замечает, что в институциональном смысле его рекомендации воспроизводит то, что сам он считает категорически неприемлемым.

Он, скажем, называет «глупой» нашу с Игорем Клязминным идею 1990-х годов о трансформации российской политической системы в президентско-премьерскую систему французского типа. Но ведь Ваша, Андриан Мовсесович, собственная нынешняя идея, согласно которой президент выбирается всенародно, а премьер представляет (и возглавляет) партию парламентского большинства, лежит в той же плоскости. Не верите мне, проконсультируйтесь у С. Маркова, он в этом разбирается. Правда, в отличие от нас, Вы предлагаете институциональную «временку», оставая читателям в полном неведении насчет того, как, куда и когда из этой «временки» потом выбираться. Ну и, конечно, мы не додумались до того, чтобы президента сделать подмастерьем премьера.

«А как же предлагать?» — спрашивает Андриан Мигранян неуважаемых им либералов, будучи уверенным в том, что альтернативами его единственно реалистической программе могут быть лишь фантазии и утопии. Но мы могли убедиться в том, что единственной объективной реальностью, на которую опирается реалистичный проект Андриана Мовсесовича, является человек по фамилии Путин. Равно как и в том, что историческую миссию модернизатора этому человеку предлагается исполнить, деформировав конституционную институциональную структуру, т.е. отделив реальную верховную власть от узаконенной. Тем самым главную системную болезнь, которая заключается в отсутствии или несоблюдении правил политической и деловой игры, предполагается лечить посредством ее предельного усугубления. Результаты такого лечения предсказать нетрудно. Превращение юридически всевластного главы государства в помощника одного из его подчиненных станет не началом прорыва в шестой технологический уклад. Оно станет началом агонии государственной системы.

А на вопрос А. Миграняна ответ есть, и Андриан Мовсесович, уверена, его тоже знает. Ответ заключается в том, что приоритетным направлением развития России должна быть не авторитарная технологическая модернизация как предпосылка модернизации государства, а модернизация государства как предпосылка всего остального. С точки зрения нашей власти и элиты (точнее, их частных и групповых интересов), такая постановка проблемы выглядит, разумеется, нереалистичной. Но с точки зрения мирового опыта и потребностей развития страны только она стратегически реалистичной и является. А то, что предлагают кремлевские политологи, как раз из области фантазий и утопий.

Институционализация по Чадаеву

Я пока ничего не говорила об идеях Алексея Чадаева. Между тем они заслуживают внимания уже потому, что оба выступления этого участника дискуссии свидетельствуют о понимании им ущербности персоналистской политической практики. Он прямо призывает осуществить «переход от персоналий к институтам» и пытается наметить пути такого перехода. Благодаря этому появляется возможность увидеть, что такое институционализация политики при исходной установке на сохранение системного статус-кво.

Первое впечатление, возникающее при чтении текстов А. Чадаева, — человек героически срывается с не имеющей решения задачей. Ведь речь идет об институционализации институционально не расчлененной (на независимые ветви) власти, об институционализации внутри бюрократической вертикали. Поэтому вопросы, которые задавал А. Чадаеву И. Клишкин, и ответы на них выглядят беседами людей разных политических культур. Вопросы предлагаются человеком, в глазах которого институционализация неотделима от разделения властей, а отвечает ему человек, руководствующийся логикой системы, в которой предусматривается лишь имитация такого разделения. Поэтому и ответы А. Чадаева интересны разве что тем, как проявляется в них базовая охранительная установка дискуссионта, вынужденного реагировать на вызов со стороны носителя принципиально иной политической парадигмы.

Его, скажем, спрашивают о том, приведет ли к реализации принципа разделения властей принятие его предложения о перемещении юристов, пишущих законы в Администрации президента, в кресла думских законодателей. Вопрос резонный, если учесть, что контроль Кремля за законотворчеством ниско, в том числе и А. Чадаев, менять не собирается. Ответ политолога показателен. Он объясняет нам, что работа в Думе существенно отличается от работы кремлевского чиновника, и потому превращение последнего в парламентария «способно изменить многое». Но что именно? Станет ли в результате законодательная власть независимой от исполнительной?

Ответов нет. Вместо него — упрек автору вопроса в том, что тот сам руководствуется персоналистской логикой и потому не способен разглядеть за перемещениями людей системные сдвиги. Думаю, что таким собеседникам понять друг друга не суждено. Ведь то, что для А. Чадаева системные сдвиги, для его оппонента — внутрисистемные кадровые «перестройки». Первый озабочен разделением законодательных и исполнительских функций внутри вертикали власти, их более глубокой специализацией, а второй мыслит в парадигме разделения властей. Какой у них может быть общий язык?

Другой пример. В первом своем выступлении Алексей Чадаев высказался в том смысле, что институционализация оппозиции возможна в России лишь в том случае, если она будет учреждаться президентом. Последовала просьба разъяснить, предполагается ли, что учрежденная оппозиция получит возможность быть оппозиционной по отношению к самому президенту. Или, говоря иначе, идет ли речь об оппозиции власти или об оппозиции при власти? Однако А. Чадаев уклонился от ответа и в данном случае. Охранительная позиция не предполагает, очевидно, даже обсуждения подробных сюжетов. Призывать президента назначать оппозицию самому себе — значит призывать к подрыву системного статус-кво. Но нельзя признаваться и в том, что назначенная оппозиция будет не более оппозиционной, чем Общественная палата.

Чем, однако, мотивирована сама идея назначаемой оппозиции? Оказывается, наличием таких сфер жизни, в которые власть вынуждена вторгаться лишь потому, что в них «самодельность» общества ничего дееспособного породить не в состоянии». Вот и вместо конструктивной и ответственной оппозиции оно производит на свет некое «хулиганье», способное лишь ругать Кремль и заведомо неспособное пред-

ложать что-либо путное. Но может ли, спрашивали А. Чадаева, оппозиция быть конструктивной и ответственной в тех условиях, в которые она поставлена, т.е. при отсутствии свободной политической конкуренции и, соответственно, возможности претендовать на доступ к ответственным должностям?

В ответ последовала ссылка на другие страны, где власти обходятся с оппозицией еще покруче, чем у нас, что не мешает ей оставаться вменяемой. Жаль только, что сами страны, в которые отечественные оппозиционеры могли бы отправиться на выучку, названы не были. Зато было сказано, что открывать этим оппозиционерам доступ к власти и вообще в чем-либо уступать им нельзя, потому что у них другие ценности, а потому, в свою очередь, с ними невозможны ни договоренности, ни компромиссы, ни доверительные отношения. Короче говоря, власть имеет право на монополию, потому что ее конкуренты власти недостойны. Монополию, которая позволяет ей самой решать, что из рожденного обществом правомерно именовать жизнеспособным, а что подлежит решительному выкорчевыванию и государственному общественному изгнанию.

Такая откровенность заслуживает благодарности. Она, кстати, проявляется и в других случаях, когда А. Чадаев описывает мотивацию действий властей. Но я не могу не обратить внимание на то, как он прокомментировал прецедент с правительством Е. Примакова, которое поддерживалось коммунистическим большинством Думы. И. Клевзин привел этот пример как иллюстрацию того, что «худшее» может становиться вполне вменяемым и ответственным, если оказывается в ответственном положении. Почитайте, если не читали, ответ А. Чадаева. Получите исчерпывающее представление о том, что происходит с охранительной логикой, когда она сталкивается с неудобными для нее фактами. Она становится неадекватной предмету разговора.

В этой логике институционализация означает упорядочивание властной монополии, повышение ее дееспособности, что требует трансформации персональных связей и зависимостей внутри вертикали в связи безличные и функциональные. Институционализация необходима для преодоления повсеместно сложившегося положения вещей, при котором «важность» важнее, чем профессионализм в кадровой политике», а также тотального недоверия «всех ко всем» в государственном аппарате (опять же спасибо А. Чадаеву за ценную информацию), что блокирует даже полезные для системы косметические изменения. Ведь при такой атмосфере, признается политолог, трудно добиться и осуществления его заветной экспертной мечты о пересаживании юристов из Администрации президента в Государственную думу. Надо полагать, ответственные товарищи озабочены: а ну как пересаженные сорвутся с поводка!

В этой логике много странного, в ней разматы границы между политикой и политехнологией, между адаптацией к иррациональному статус-кво и стремлением его рационализировать. Поэтому в ней допускается одобрение таких политических инструментов, как телевизионное общение президента с населением, при одновременной оценке их как «идеологической коммуникации». Поэтому даже описанный А. Чадаевым способ пополнения электората «Единой России», который в иной логике может интерпретироваться только как технологический прием сознательного свойства или, говоря проще, как подкуп избирателей, преподносится как пример институционализации в партийном строительстве: ведь тем самым создается (на «договорной основе») устойчивая социальная база партии власти. Но мы, повторю, все же должны быть благодарны Алексею Чадаеву: он помог прирастить наше знание о том, что и как охраняют околокремлевские охранители.

Этого политолога, судя по всему, «защепила» статья Михаила Краснова, ее юридический пафос ему близок. Потому что институционализация в его понимании представляет собой перевод вертикали власти в правовой режим функционализации. Отдает он себе ясный отчет и в том, что «переход от персоналий к институтам» нево-

можен при сохранении персонализма на вершине вертикали. «...Я хотел бы, — пишет он, — чтобы преемником Путина стал институт. Не Сидоров и не Петров, а определенная устойчивая институциональная система». Хорошо, спрашивали А. Чадаева, но как быть с доводами М. Краснова относительно того, что наш персонализм обусловлен конституционно? Нужны ли здесь какие-то коррективы?

Ответа опять-таки не последовало. Если, конечно, не считать ответом упрек М. Краснову в том, что тот сам играл не последнюю роль в подготовке действующей конституции. Но такие упреки ничего не доказывают — кроме того, что охрана статус-кво может сочетаться с нежеланием брать на себя ответственность за то, что оно именно такое, а не другое.

Либералы, принявшие участие в дискуссии, пытались убедить своих оппонентов в том, что разумной альтернативой правовому государству сегодня в России не существует, что без последовательного продвижения к нему не может быть ни великих модернизаторских прорывов, ни успешных Больших проектов, ни институционализации властной монополии. Но убедить оппонентов им не удалось и вряд ли удастся. Последние будут ждать, пока сработает закон провала. Или, говоря иначе, ждать до тех пор, пока неэффективность нынешней системы власти, при отсутствии реальной политической конкуренции обреченной на медленное гниение, станет общепонятной, и российской элите будет предъявлено единственно убедительное для нее доказательство в виде системного кризиса. Того самого, который прогнозируют Александр Архангельский и Евгений Гонтмахер.

Но кризис, который всегда приобретает в России драматические формы, — это очень высокая цена, которую обществу придется заплатить за неадекватность своей элиты. И мы все будем нести ответственность за то, что одновременно не смогли вывести страну из тупика. И те, кто охранял некачественное статус-кво, и те, кто не сумел убедить общество искать выход до того, как начнется обвал. Так что дискуссия, организованная Игорем Моисеевичем Клямониным, заставляет всерьез задуматься и еще об одном вопросе, который касается всех ее участников независимо от их места в российской общественно-политической жизни. Это вопрос о роли интеллектуалов и экспертов в политике и — прежде всего — во власти.

О политизации экспертизы и ее последствиях

В свое время Ральф Дарендорф, наблюдая за деятельностью интеллигенции в период подготовки и осуществления «бархатных революций» в Восточной и Центральной Европе, а также за их последующим поведением во власти, пришел к выводу, что место интеллектуала и эксперта — не внутри государственного аппарата, а за письменным столом. Их роль — наблюдать, оценивать, давать советы, писать рекомендации, оставаясь при этом на отдалении от пожигающего огня власти и даже ее отблесков.

Опыт Восточной и Центральной Европы продемонстрировал ведущую роль интеллектуалов как в революционном подъеме, так и в формировании новых правил игры после падения коммунизма. Без них не было бы ни польской «Солидарности» (или она была бы совсем иной), ни «бархатных революций» в Чехословакии и Венгрии, ни «круглых столов» оппозиции и уходящей коммунистической власти, которые позволили осуществить мирный переход к строительству новой системы. Но, увы, почти все интеллектуалы-революционеры оказались хилыми политиками и администраторами на этапе консолидации этой системы. Причем нахождение во власти деформировало и искоренило многих из них, заставив разрываться между своими принципами и логикой власти и нередко предавать принципы. Оказалось, что даже при демократическом устройстве государства очень легко поддаться искушению стать профессиональным поставщиком иллюзий (профессия, которую на Западе называли *spin-doctor*).

Советская и постсоветская российская практика тоже дает немало материала для раздумий о противоречивой роли наших интеллектуалов, в том числе либералов и демократов, во власти и при власти. Это касается и тех, кто был в экспертном окружении первого российского президента, и тех, кто находится в экспертном «пуле» Владимира Путина. Вопрос о том, в какой степени нахождение этих часто ярких, талантливых людей при власти облегчает демократизацию и гуманизацию государства и в какой степени они позволяют коррумпированной и антинародной власти продлевать свое существование и имитировать цивилизованность, остается открытым. Есть все больше оснований считать, что роль либералов-технократов как в ельцинских правительствах, так и в правительствах Путина скорее вела к консервации статус-кво, чем к либеральным реформам, и облегчала сохранение системы, которая по сути не является либеральной. Что касается нового поколения экспертов при власти и людей, которые обеспечивают ее интеллектуальное обслуживание в последние годы, то нет никаких сомнений в том, что они играют немалую роль в консервации системы, которая самоопределилась как антидемократическая. И они должны ощущать свою ответственность за эту траекторию. К тому же их пример показывает (и наша дискуссия не стала здесь исключением), что политизация и идеологизация экспертизы уничтожают саму экспертизу.

Но не менее серьезный вопрос заключается в том, какова может быть роль интеллектуалов и экспертов вне поля власти, выброшенных за его пределы либо по своей воле отделившихся от власти, которая не соответствует их принципам. Многие участники дискуссии — именно из этого круга. Какова же может быть их миссия в нынешней России, на что им целесообразнее всего расходувать свои силы?

Сегодня большинство «несистемщиков» и «антисистемщиков» специализируются на критике российской политической реальности. Некоторые из них заняли более активную позицию политического оппонирования Кремлю. И тех и других околовластные аналитики часто обвиняют в отсутствии конструктивного подхода, как делает тот же Алексей Чадаев: мы, мол, не видим вас в числе экспертов, когда обсуждаются вопросы образования, социальной политики, миграции. Но это — неправда.

Неправильственные эксперты тратят массу усилий на то, чтобы донести до Кремля свои предложения. И что толку? Кто их слышит в ситуации, когда власть занята формированием «иллюзии коммуникации» с населением? Достойно вспомнить о судьбе «программы Грефа», о чем поведал в ходе дискуссии Е. Гонтмахер. Или об экспертном анализе программы монетизации льгот, осуществленном в Совете, возглавляемом Элой Памфиловой. В докладе, подготовленном аналитиками, предупреждалось о том, к чему приведет правительственный вариант монетизации, но этот доклад никто не стал даже рассматривать.

Естественно, что либерально-демократическая часть интеллигенции выражает недовольство, на основании чего и делается вывод, что она закосела брьюканием и самодостовом. Да, движение в данном направлении действительно просматривается. Но этому, повторю, есть системные причины: трудно функционировать и поддерживать огонь мысли в период общественной стагнации. Отсюда и слабая энергетика экспертов либерально-демократического фланга. И я не вижу другого выхода из этого состояния кроме того, чтобы начать работу на опережение. Так, как делали наши коллеги в Центральной и Восточной Европе на закате коммунистической эпохи.

Конечно, им было намного легче, ибо они жили в ожидании приближающего прорыва. Но они не просто ждали его, а много работали на его приближение, готовя не только новую концепцию национального консенсуса, но и конкретные предложения относительно того, что нужно делать в экономике, как проводить банковскую реформу и приватизацию собственности, как реформировать систему образования,

какой должна быть новая конституция. Они готовились к длительному марафону. Когда же пробил час перемен, они уже были во всеоружии, чем заметно отличались от российских интеллектуалов 1980-х годов. Ведь факт же, что среди них почти не нашлось людей, которые настаивали бы на необходимости учреждения в России новой государственности после того, как прежняя развалилась. Большинство же пошло на поводу у политиков, которые предпочли сохранить подднесоветские государственные структуры, что во многом и предопределило драматический маршрут дальнейшего развития с последующим откатом к путинской «стабилизации».

Видно, пришло время, с учетом допущенных ошибок, начинать долгий и изнуряющий путь подготовки концепции новой трансформации, чтобы если не мы, то следующее поколение было бы готово к прорыву, который может начаться в любой момент. Он может начаться и раньше, чем мы думаем. Наши диспутанты из числа приближенных к Кремлю помогают нам уже тем, что довольно убедительно доказывают: в кругу власти могут выдвигаться лишь проекты укрепления нынешней системы, но там нет и не может быть стратегии ее трансформации — по той простой причине, что трансформировать ее никто не собирается. Значит, тем, кто понимает стратегическую безальтернативность такой трансформации, надо не просто ждать ее, но и интеллектуально готовить. Нужно начинать, говоря иначе, новый круг жизни.

ЧАСТЬ V

**В ПОИСКАХ
ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ**

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ ТОЛЬКО ОВЛАДЕВШИЙ ГОСУДАРСТВОМ НАРОД»

Выступление Михаила Краснова, выразившего сомнение в фатальной неизбежности персоналистского режима в России, горячей дискуссии пока не возбудило. Многие выступавшие после него не столько дискутировали с Красновым или друг с другом, сколько излагали свои политические взгляды, в той или иной мере укладывающиеся в пару-тройку циркулирующих ныне в России политических доктрин. Дефицит диалогичности, конечно, не украшает дискуссию, но и не подчеркивает ее просветительскую значимость. В конце концов, дискуссия задумывалась вовсе не для того, чтобы переубедить сторонников различных политических взглядов. Да и полезна она может быть не столько участникам дискуссии, сколько сторонним наблюдателям: тем непредвзятым читателям, которые искренне хотят разобраться в сущности нынешнего идеологического противостояния в России. Признаюсь, что именно на их внимание, прежде всего, ориентируюсь и я в этом своем выступлении.

Вначале мне хотелось бы показать, какие суждения участников «дискуссии», высказанные в форме монолога, можно рассматривать как взаимно оппозиционные. Для этого я выделяю — не строго, а весьма условно — несколько таких оппозиций, подчеркивая эту условность полужутливыми названиями.

Кто с кем мог бы спорить?

«Методисты» против «проповедников». Эту линию противостояния подсказал Алексей Миллер. Он пока один и представляет весь класс «методистов», т.е. экспертов, которые больше внимания уделяют анализу методологической, источниковедческой и логической обоснованности суждений своих оппонентов, чем изложению собственного взгляда на проблему. «Проповедники» же, напротив, больше заняты изложением своей политической доктрины, чем ее обоснованием, что, впрочем, не мешает некоторым из них упрекать других в доктринерстве. Так, Дмитрий Володихин походя, не приводя никаких аргументов, упрекает профессора М. Краснова в том, что он «воспевает торжество демократии как верующий, коленапреклоненно возносящий гимны сакрализованному объекту культа». И эта ехидная шпилька брошена человеком, который определяет важнейший принцип своей политической веры следующим образом: «Любое политическое действие, любое практическое предложение должно проверяться евангельским духом». Вот такой насмешник над поклонением сакральным культам.

«Законошники» — «обычкишники» — «маргиналы». По языку и содержанию выступлений все «проповедники» могут быть отнесены к трем категориям: «законошники», опирающиеся на знание конституционно-правовых норм; «обычкишники», опирающиеся на свои представления о русских традициях и «обычном праве», и, наконец, «маргиналы» — официальные эксперты широкого профиля («мастера на все руки»), которые произвольно апеллируют то к правам, то к обычаям, не заботясь о логической непротиворечивости

своих суждений. Например, Сергей Марков говорит о том, что конституционно-правовой подход в России невозможен, поскольку законы в ней никогда не выполнялись («Россия никогда не жила по закону»), а чуть ранее, перечисляя функции государства, рассуждает о «монопольном праве государства на арбитраж». Хотелось бы понять, на чем же основывается такое право и как должен осуществляться арбитраж в стране, не живущей по закону? Да что там арбитраж, в незаконной стране даже президент, который «уже занял достойное место в истории», — и тот ведь окажется незаконным.

«Народники» — «самодержавники» — «современные демократы». По своему политическому идеалу «дискуссанты» могут быть подразделены на «народники» — сторонников «народного суверенитета» (народ источник власти, носитель национальных интересов и, уж по крайней мере, высшая надзирающая инстанция за деятельностью принимаемых им бюрократов); «самодержавников» — сторонников подданнической модели, предполагающей, что власть сама знает (не важно откуда: из религиозных текстов, из Маркова «Капитала» или из кулинарной книги), что нужно стране и подданым сегодня и всегда; и, наконец, «современных демократов», которые заявляют о признании демократии в принципе, но считают, что народ, доставшийся им для управления, «некачественный», до демократии не дозрел и неизвестно, дозреет ли когда-нибудь, поскольку у него такая тысячелетняя история.

«Модернисты» — «особисты» — «экслектики». По взглядам на исторический процесс и на закономерности развития государственности участники дискуссии могут быть отнесены к трем классам. «Модернисты» исходят из универсальных закономерностей развития государства, увязывая его прежде всего с этапами модернизации человечества. Им противостоят «особисты-традиционалисты», опирающиеся на доктрину, которую Марлен Леруа назвала «цивилизационным национализмом». Их дискурс строится на аргументах «изначальной сущности» цивилизаций, которая исключает выбор народами своего политического пути и предопределяет на вечные времена тип государственного устройства. Скажем, русским (и — шире — еurasийцам или евроазиятам), согласно этой теории, положена только империя, а представителям некой «евроамериканской цивилизации» дозволено (кем-то, какой-то высшей силой) строить республиканский режим.

Впрочем, «особисты» в своем натужном альтерглобализме и злитуниверсализме крайне непоследовательны. Скажем, Д. Володинки, многократно повторяя, что Россия — это «территория самостоятельной цивилизации» и что нормы «евроамериканской цивилизации» не подходит для цивилизации русской (православной), одновременно отмечает, что, оказывается, и другим народам неплохо было бы владеть империями: «Сколько десятилетий проталкивает Великобритания без колониальной системы, обеспечивавшей ее необходимым для метрополии? Тамашные шахтеры и докеры давно поняли, зачем фунт лиха». Удержитесь от смеха, а я продолжу.

Михаил Юрьев себя к «особистам» не относит. Однако основным его доводом в пользу имперского патернализма является его «естественность» именно для русских («наше тяготение к твердой руке обусловлено глубоко укорененной внутренней потребностью русских людей»). Вместе с тем в конце своего повествования этот «естественник» описывает глобальный передел мира и появление пяти империй, куда войдут все существующие ныне страны, кроме Турции — автор не знает, в какую империю ее записать.

Следовательно, оба мыслителя признают универсальные, глобальные законы человеческого развития, которые предписывают всем народам (возможно, за исключением турок) один и тот же тип политического устройства — империю. Чего же тогда стоит их рассуждения об «особых цивилизациях», для которых недопустимы формы политического устройства, неорганичные для их вечной, естественной сущности?

Идеологию «особистов» хоть и трудно назвать последовательной, но она все же теоретически более целостна, чем взгляды представителей третьей из выделенных мной групп — «электиков». Последние представлены людьми без определенной места жительства в теории, если не считать теорией подход с позиций «и так и этак». Например, С. Марков со свойственной ему последовательностью объединяет взаимоисключающие позиции в одном предложении: «Мы ясно ощущаем себя, с одной стороны, частью европейской цивилизации, а с другой стороны, отдельной от Запада евразийской ветвью этой европейской цивилизации». «Включенная отдельность» — это второй парадокс после «беззаконной законности», который мы встречаем в произведении Маркова.

Говорят, что парадоксы — друзья гениев. Однако для справки все же скажу, что различия между ветвями цивилизации могут быть не меньшими, чем между цивилизациями. Например, русский и таджикский языки входят в одну индоевропейскую семью, составляя разные ее ветви (славянскую и иранскую). Однако маловероятно, что обычный русский человек лучше поймет язык таджика с соседней языковой ветви, чем узбек с другого языкового древа.

Итак, концепт «отдельной от Запада» цивилизации или ветви очень важен как для «самодержавников», так и для «электиков» (они же «суперенные демократы»). И те и другие с его помощью доказывают невозможность развития в России полноценной демократии. Однако, несмотря на сходство позиций, цели использования этого идеологического конструкта все же разные. Для «самодержавников» он служит основным аргументом в пользу необходимости конструирования «нового порядка» — создания полноценной империи вместо нынешней затухающей, тогда как для «суперенных демократов» — средством защиты существующего режима. При этом сторонники «нового порядка» крайне недружелюбно относятся к существующему и уверены в неизбежности его скорой кончины. Д. Володихин: «...Позиция центральной власти не особенно прочна. И она может быть сокрушена незначительным по масштабу верхушечным переворотом». М. Юрьев: «Состояние максимальной неустойчивости постсоветского гибрида либерального и патерналистского типов государственности было достигнуто еще в период позднего Ельцина»; «...наша нынешняя псевдомодель не нравится всем, может быть, не так сильно, но зато всем»; «Стратегически возникновение в недрах российской властной структуры ориентации на вторую модель (полноценную имперскую. — Э.П.) вполне закономерно и обусловлено давлением жестких обстоятельств».

Себя в этой дискуссии я отношу скорее к «методастам», а моя теоретическая и политическая позиция может быть легко угадана из последующего изложения.

Как обосновывается цивилизационный перпетуум-мобиле (о методологии «матрицы»)

Участники дискуссии — люди многогранные и могут проявлять себя одновременно в нескольких ипостасях. Вот я назвал «самодержавников» традиционалистами, но это — как посмотреть. В отношении к научной традиции некоторые из них совсем не традиционалисты, а скорее либералы (от лат. *liberatus* — свободный). А как еще определить человека, делающего такие, например, заявления: «Автор этих строк осознает, что его предложения идут вразрез со всей политической философией евроамериканского мира со времен эпохи Просвещения. Так и бес с ней?»

Свободен, совсем свободен от оков научной традиции цитируемый мной доцент, кандидат исторических наук Д. Володихин. Представляю, как ему завидуют многие кандидаты технических или биологических наук, изобретатели перпетуум-мобиле или творческие наследники Т. Лысенко. Они тоже хотят свободы от традиций, идущих

с эпохи Просвещения, но не могут себе этого позволить, если хотят остаться в науке или в инженерии. А наш кандидат исторических наук может. И дело тут не в недостатке точности гуманитаристики как таковой, а в том, что некоторые из кандидатов наук как раз наукой и не занимаются. Тексты, подобные тем, которые я процитировал, — это сырье для будущих, более пространных публицистических статей и политических деклараций, рассчитанных на закрытые молодежные тусовки. Они свободны от научной экспертизы, не требуют рецензирования и прочих чуждых им придумок евроамериканского мира.

Когда наука служит лишь декорацией для сугубо идеологических конструкций, нет необходимости проверять достоверность источников, оценивать адекватность научных инструментов или репрезентативность выборок. Поэтому можно позволить себе быть свободным от научных традиций. Эта свобода как раз и позволяет соорудить идеологические перпетуум-мобиле.

Вот тот же Д. Володихин и его товарищи из кружка юных консерваторов-фундаменталистов постановили «снять с повестки дня глобализм». А могли бы принять постановление, скажем, о запрете генетики или компьютеризации как придумок евроамериканской цивилизации и орудия глобализации. Какой с них спрос? Между тем Ахмади Нежад уж какой, казалось бы, фундаменталист, а ведь и он не рискует отменить глобализм — напротив, стремится к тому, чтобы управляемая им страна овладела таким дьявольским порождением евроамериканской цивилизации, как атомная энергия. Иранский лидер идет еще дальше в заимствовании чуждых ему евроамериканских велений, вводя в своей стране программу ограничения рождаемости, что, по сути, противоречит канонам ислама. Оказывается, каковыми бы залихватскими ни были его антизападнические выступления на митингах, он, как руководитель государства, не может не считаться с реальностями. Иное дело вольно практикующие доценты. Они не ограничены ничем. Как известно, через одну точку можно провести бесконечное количество прямых, а когда появляется ограничение в виде второй точки — то только одну.

Несложно принять декларацию об отмене глобализации. Только ведь глобализация не будет ее выполнять, проявляя себя, скажем, в международной конкуренции. Даже в глубокой древности некое племя не могло бы законсервировать свою самобытную традицию использования лука и стрел, если соседи уже освоили ядра и пушки. Да и тип социальной организации, сложившийся в эпоху лука, будет неадекватным в эпоху пушек. Точно так же и империя, сложившаяся в эпоху экономики, основанной на эксплуатации естественных ресурсов (трудовых и природных), не жизнеспособна в эпоху господства ресурсов интеллектуальных.

Однако совсем самобытные консерваторы из числа кандидатов исторических наук могут позволить себе мыслить внеисторическими категориями. История для них застыла и отлита в формулу: «Так было в России тысячу лет, так и будет». Так ли оно было — об этом еще можно поспорить. Но и признание существования многовековых традиций вовсе не означает, что они в принципе не способны к изменению. Вот ведь первобытное общество существовало не тысячу, а десятки тысяч лет, однако же в конце концов уступило место другим историческим типам организации жизни человечества, а затем подобные смены стали происходить с нарастающим ускорением. Неужели только одна особая русская цивилизация застыла?

Вот и С. Марков отказывает своим согражданам в возможности освоить принципы правового государства и даже сомневается, смогут ли они научиться соблюдать правила уличного движения, «учитывая такую тысячелетнюю историю». И шутит: «Если и смогут, то для этого потребуются жертвы, равноценные тем, на которые пошел Петр I и большевики». Однако я знаком с Сергеем Александровичем не только по

его публикациям, и у меня сложилось о нем впечатление как о человеке, который высоко ценит себя и свою жизнь и уже поэтому, как автомобилист, в основном соблюдает правила уличного движения. В связи с этим у меня возникает вопрос: а как же сам Марков выбрался из-под глыбы тысячелетней истории? Или он освоил правила уличного движения под пытками, после жертв, равноценных тем, на которые пошли Петр I и большевики?

Многое хотелось бы сказать о «методологии» наших «особистов» и во многом напоминающих к ним «эксцентриков», но пока ограничусь лишь одной их характеристикой: они напоминают абреков, совершающих набеги на чужие научные территории. О неизблемых свойствах народов, таких жестких, что требуют непременно восстановления империи (для русских) или халифата (для арабов), говорят астрономы, экономисты, предприниматели, партизаны и т.п. Но что-то я не слышал о поддержке идеи вечных цивилизационных сущностей или их аналога в виде «доминирующей матрицы» со стороны авторитетных этнологов (антропологов) Российской академии наук. Между тем вопрос о природе культурных различий и их устойчивости является основным для теоретической антропологии. Из дискуссии по этому вопросу как раз и зародилась почти полтора века назад современная этнология (антропология).

Одна из антропологических школ — эволюционистская — объясняла различия между народами, культурами, цивилизациями, исходя исключительно из их положения на шкале от архаичности до современности, тогда как другая, диффузионистская — их привязанностью к неким ландшафтам, внутри которых растекаются (отсюда слово «диффузия») специфические культурные нормы. В конце 1990-х годов А.С. Панарин по сути воспроизвел эту дискуссию (правда, без ссылок на нее), придав ей характер противостояния западного и восточного менталитетов. На его взгляд, западный менталитет темпоральный (т.е. зависящий от исторического времени), ориентированный на вертикальную мобильность, соответствует прогрессистскому мышлению («опередил» — «отстал»), а евразийский — больше пространственный и горизонтальный — обуславливает несвободность евразийских народов, их склонность к патернализму и жизни в больших империях. Примерно в это же время экономист С. Киридина «открыла» два социетальных типа общества. Или, как она это определила, две доминирующие матрицы, в одной из которых «Я» преобладает над «Мы», а в другой, наоборот, «Мы» над «Я». И опять же свойства матрицы, по ее мнению, закреплены навечно, т.е. это самый настоящий вечный двигатель. «Именно доминирующая матрица, — пишет она, — отражает основной способ социальной интеграции, стихийно найденный социумом в условиях проживания на данных пространствах, в определенной окружающей среде».

Участник нашей дискуссии М. Юрьев упрекает либералов в краткосрочности их исторического мышления, тогда как, по его мнению, «нужно основываться на всей писаной истории человечества». Вполне разумный совет, причем не только для либералов-модернистов. Если бы ему следовали цивилизационные «особисты», то обнаружили бы, что многие народы и цивилизации, которые они сегодня относят к разным типам по их «вечной ментальной сущности», сформировались в одних и тех же условиях. Скажем, финны, по А. Панарину, принадлежат западному типу, это «темпоральные прогрессисты», а тюркские народы — к евразийской, они «пространственные традиционалисты». Но ведь те и другие относятся к одной и той же алтайской семье, сформировались на Алтае и лишь по прошествии веков стали расселяться из Азии в Европу. Финны вкупе с уграми по происхождению такой же евразийский народ, как русские, которые исторически расселялись в обратном направлении из Европы в Азию.

Так когда же и в каком регионе сложилась «изначальная сущность» евразийской цивилизации? А если этих начал было несколько, то какие же они вечные?

Новое — это хорошо забытое старое (теория матрицы)

Современные споры в России хоть и воспроизводят дискуссии конца XIX — начала XX века между эволюционистами и диффузионистами, но отличаются от них одной важной чертой. Антропологи тех лет были учеными и хотели разобраться в научной проблеме, а их современные зингоны — идеологи и лишь используют научную риторику для конструирования идеологических мифологем. Стремление обеих антропологических школ к поиску научной истины привело их к сближению, и уже в 1920-е годы выяснилось, что обе концепции дополняют друг друга и лишь указывают на разные формы развития человеческой культуры, обусловленные как адаптацией к традиционной среде обитания, так и заимствованием культурных норм. Например, скифы освоили ювелирное искусство вовсе не потому, что оно вытекло из их военно-скотоводческой жизни, а позаимствовали его у лондонских греков.

Эволюционисты, бесспорно, один из прародителей современных концепций модернизации, но и диффузионисты не в меньшей мере. Современный неомодернизм отказался от примитивных постулатов раннего эволюционизма с его жесткой универсальностью и строго линейным представлением о прогрессе. Напротив, он уделяет все большее внимание локальной специфике культур в концепциях множественной модернизации. Именно развитие диффузионистского направления показало, что культурные ландшафты и первоначально привязанные к ним цивилизации не были замкнутыми даже в древнейшие времена, а в дальнейшем степень проницаемости культурных ландшафтов лишь возрастала. В рамках синтеза обеих теорий удалось понять и механизмы освоения инноваций, которые признаются в новых культурных условиях, опираясь на существующие культурные нормы и психологические стереотипы, но со временем иногда полностью изменяют исходный культурный комплекс.

Это показал наш выдающийся антрополог С.А. Арутюнов на примере бытовой культуры японцев. Западные нормы вначале как бы тахались в нее в виде декора и аксессуаров (брошь на кимоно, электическое освещение в легком бамбуковом доме), а затем стали ядром бытовой материальной культуры, превратив традиционные элементы в декор и аксессуары (кимоно лишь для ритуальных действий, бамбуковые шторы в жилище европейского типа). Выяснилось и то, что наиболее устойчивыми оказываются вовсе не центральные элементы культуры, а те, которые меньше других соприкасаются с необходимостью адаптации к изменяющимся условиям. Например, у одних народов принято при приветствии пожимать друг другу руки, у других хлопнуть по рукам, у третьих прикасаться руки к груди и т.д. Никто уже не помнит, каков был исходный смысл этих обычаев, но они стали ритуалами и живут, поскольку никому и ничему не мешают. А вот те традиции, которые встают на пути модернизации, исчезают довольно быстро. Так, веками сохранявшаяся у испанцев традиция сиесты (длительный отдых в жаркое время суток) стерлась быстро, как файл в компьютере, когда в испанские города пришло конвейерное производство, а затем утвердился весь современный ритм и стиль трудовой деятельности. Еще три года назад В. Чеснокова в дискуссии «Западники и националисты: возможен ли диалог?» говорила о том, что русским не свойственно самим себе давать характеристики, и назвала это одной из главных ментальных особенностей русского народа. А сегодня миллионы русских людей идут на себя резоме и рассылают их папками.

«Особисты» выводят сущность цивилизаций прежде всего из различных типов религии. Действительно, в прошлом она оказывала существенное влияние на культурное своеобразие народов и цивилизаций. Макс Вебер даже считал, что лишь протестантизм является этической основой современного экономического прогресса. Однако современные исследования подобные предположения не подтверждают.

В Докладе ООН «О человеческом развитии» за 2004 год приводятся данные, показывающие, что в последние десятилетия прошлого века католические страны Франции, Италии, а затем и Испании по темпам развития опередили протестантские Англия и Германия. В зону интенсивного экономического развития втягиваются и страны с православной культурной традицией — например, Греция и Болгария, причем эти страны сравнительно легко выбрались из-под власти персоналистских режимов. Нет никаких доказательств, что какая-либо из мировых религий принципиально несопоставима с тем или иным типом политического режима. В стране с преимущественно протестантским населением (Германия) существовал гитлеровский режим, а в стране с преимущественно мусульманским населением (Турция) установился политический режим менее авторитарный, чем существующий ныне в России.

Пример разделенных народов — китайцев в континентальном Китае и на Тайване или корейцев в Северной Корее и в Южной — не оставляет камня на камне от шаткой концепции «исначальных и вечных сущностей» цивилизаций или доминирующих матриц. Как же матрица или «исначальная ментальная сущность» допустила существование тех гигантских различий, которые проявились у одного народа, одновременно создающего государства разного типа?

В том-то и дело, что эта концепция сугубо умозрительная, она наглухо закрыта от сопоставления с реальной жизнью и рассыпается при попытках ее эмпирической верификации. Отсюда — ее потребность в опоре на мистику.

Вот уже более двух веков, со времен Гердера, доктрина замкнутых цивилизаций опирается на эзотерику. Ее изобретатель в XVIII веке объяснял специфику цивилизаций тем, что каждая из них несет в себе «частицу божественной истины». Идеологи Третьего рейха больше напирали на мистический «голос крови». Ныне в России цивилизационная концепция упаковывается либо в квазинаучную оболочку (и тогда возникают такие мифологизированные понятия, точнее метафоры, как «культурный код», «культурная матрица» неизвестной природы), либо — в фундаменталистскую. В этом — второй — случае мы слышим о «евангельском духе», который в других регионах России легко заменяется на «дух Корана».

Империи Ордуль и Еврусь (о возможных последствиях осуществления имперской утопии)

При анализе обоснованности имперского проекта, разумеется, нельзя не обратить внимания на образ будущей Российской империи, очерченный М. Юрьевым. Образ этот, видимо, должен был, по замыслу автора, поразить воображение читателей своим размахом и амбициозностью: новая, третья Российская империя, прогнозирует М. Юрьев, должна вбирать в себя всю Европу и простираться от Владивостока до Лиссабона. Сразу скажу: мне приходилось читать куда более смелые и яркие произведения в жанре утопии, которые к тому же показывали, что же может произойти, если бы подобные фантазии осуществились.

В 2000 году вышел роман «Дело жадного парвара». В нем описывается еще более грандиозная по масштабам империя, чем та, которую нарисовал М. Юрьев. Она включает в себя не только Европу, но и Китай, завоеванный Россией. Русские эту территорию завоевали и... растворились без остатка: в стране преобладают китайцы, говорят исключительно на китайском языке и думают по-китайски. Лишь две культурные традиции, как отмечается в романе, остались в империи от народа-завоевателя. Во-первых, тексты государственных гимнов пишут потомки семьи Михалковых по прадедовским рецептам, поэтому гимн новой империи так похож на канонический («Союз нерушимый улусов свободных»). Во-вторых, сохранилась норма,

о которой говорит С. Марков, — законы (они в этой империи называются «наказаниями») устанавливаются, но не исполняются. Империя живет не по законам, а по обычаям орды и официально называется Ордо-Русь, а в народном просторечии — Ордусь.

М. Юрьев благодушно не предлагает завоевывать Китай, а китайцы, по его мнению, нас не тронут, поскольку будут заняты завоеванием Австралии (!). Поэтому наша страна сможет сосредоточиться на присоединении к себе Европы. Ну что же, народу там, конечно, меньше, чем в Китае, но не так уж и мало. Если бы империя Европа-Русь (Ордусь) создавалась в нынешнем виде, то русские в ней составили бы менее одной восьмой части населения (116 млн русских к 815 млн всего населения империи). А к тому времени, которое рассматривает Юрьев (через 50–100 лет), доля русских сократится еще больше, поскольку численность населения в Европе растет, а в России уменьшается, и прежде всего за счет ее этнического большинства.

За период между последними переписями численность русского населения в России сократилась на 4 млн человек, а если бы негативная динамика естественного воспроизводства не компенсировалась за счет притока более 3 млн русских из бывших союзных республик, то это сокращение составило бы более 7 млн человек. Между тем резервы миграционного притока русских в Россию начали быстро таять еще в середине 1990-х. Поэтому демографы в один голос утверждают, что даже при самых благоприятных тенденциях во всех других компонентах демографического воспроизводства (рост рождаемости и снижение смертности) переломить тенденцию уменьшения численности как всего населения страны, так и ее русского большинства в ближайшие 50 лет не удастся. Это значит, что, к «часу X», к моменту, намеченному писателем-фантастом для завоевания Европы, русские могут стать этническим меньшинством даже внутри России в ее нынешних границах. Как же нужно не любить свой народ, чтобы пожелать ему судьбу имперского завоевателя в составе Евруси, где его доля в населении изначально будет и вовсе мизерной, а отношение к нему покоряемых народов, мягко говоря, не очень дружественным.

При этом и различия в культурном уровне завоевателей и покоренных будут совсем не похожи на те, которые были у испанцев и индейцев во времена завоевания Южной Америки. Европейских туземцев за стеклянные бусы не купишь и «огненной водой» сводить трудно (это еще кто кого). Что могут предложить завоеватели народам Европы, кроме понижения их жизненного уровня? Даже по обеспеченности российскими газом жители европейских стран превосходят население России, что обусловлено большей платежеспособностью европейцев. В связи с этим возникает вопрос: а на что же будет жить Россия после победы над Европой? Ведь в этом случае она лишится основного источника дохода, получаемого от продажи своего сырья в страны с большей платежеспособностью, чем наша! Автор романа об империи Ордусь откровенно посмеивается над бредовым империализмом, тогда как автор проекта империи Еврусь, возможно, в него и вправду верит. Что это — сон разума?

М. Юрьев строит свои рассуждения на придуманных мифологизированных ограничениях вроде некой неизменной сущности народа и не хочет замечать множества реальных особенностей России. Он рассматривает свой проект с позиций его естественности, как он выражается, для русских и России. Между тем его предложения предельно неестественны именно для нашей страны.

Во-первых, они не адекватны времени. Начиная со времен Петра и кончая временами Сталина, империя расширяла свои границы, затрачивая в войнах больше солдатских жонглеров, чем их противники. Но сегодня Россия этого себе позволить не может — нет таких ресурсов.

Во-вторых, предложения М. Юрьева неадекватны российскому пространству. Нацистская идея «расширения жизненного пространства» была привлекательна в пере-

населенной Германии, а Россия, наоборот, слабо заселенная страна, и площади ее пустотей все расширяются. В настоящее время показатели плотности населения даже в староконтинентальной европейской части страны в 2,5 раза ниже, чем в остальной Европе, а в восточных районах в 30 раз ниже среднего уровня заселенности азиатского материка.

Вся писаная история человечества, на которую советует опираться М. Юрьев, показывает, что территории, теряющие свое население, выпадают и из государства. Даже если бы Россия была столь же моноэтничной страной, как Япония, то и в этом случае перед ней стояла бы проблема сохранения за собой существующей территории, а вовсе не территориальная экспансия. Между тем Россия, в отличие от Японии или Германии, несет на своем пространственном теле рубцы прежних колониальных завоеваний, и эти рубцы периодически и крайне болезненно воспаляются. Если уж ссылаться на естественные для русского народа представления, то стоит вспомнить русскую народную мудрость: «не до жиру, быть бы жинцу».

Национальная идея у России есть, но она спрятана

Национальную идею России не нужно придумывать. Она сама себя проявляет, как бы от нее ни отворачивались иные идеологи. На ближайшие 50 лет в России не сложится иная повестка дня, кроме той, которая диктуется жизненной необходимостью сбережения населения, сохранения целостности страны и роста ее социального и интеллектуального капитала как основы конкурентоспособности России в мире. Иными словами, речь идет о переходе от экстенсивной модернизации к интенсивному типу развития. А с этим переходом, в свою очередь, связано неизбежное уменьшение роли персоналистских режимов.

Петр I мог строить на костях крепостных Петербург, Сталин мог строить Беломорканал и металлургические комбинаты на Крайнем Севере силами заключенных. Но освоение высочайших технологий мобилизация рабского труда не помощник. Да что там хай-тек, обычная пищевая промышленность ныне не может развиваться без снижения управляющей роли государства. М. Юрьев, как предприниматель, это прекрасно понимает, отмечая, что сегодня «никто, кроме законченных маргиналов, не дискутирует о том, должно ли государство иметь в собственности кондитерские фабрики и разрабатывать и утверждать ассортимент шоколадных конфет». Не исключено, что предпринимателя потянуло к геополитической фантастике как раз потому, что он понимает ограниченную возможность персонализма и имперского проекта для решения внутренних задач России. Это наводит на мысль о том, что если бы российские политики больше думали о реальных потребностях и реальных же особенностях нашей страны и ее населения, то имперский проект сравнительно быстро выветрился бы из голов даже самых шальных фантастов.

Вот, скажем, уже упоминавшаяся проблема сокращения численности населения, которая стала заметной еще в 1970-е годы. Она связана в основном с так называемым «демографическим переходом». Можно сколько угодно кликушествовать по поводу особой цивилизационной сущности русских и всящего над ними рока «доминирующей матрицы», но они точно так же, как и другие европейские народы, прошли стадию индустриальной модернизации, стали на 75% горожанами, живут малыми семьями и рожают мало детей. В настоящее время Россия по уровню рождаемости находится в группе таких европейских стран, как Италия, Испания, Греция (кстати, в этих странах уровень религиозности населения, сдерживающего снижение рождаемости, намного выше, чем в России). Но вот другие компоненты демографического перехода — снижение смертности и связанный с этим рост средней продолжительности жизни — запаздывают. По данным ООН, ныне в России самая высокая смертность

и самая низкая продолжительность жизни по сравнению с другими странами Европы. В то же время те новые государства, которые вышли из советской шивели и стали членами Европейского сообщества, смогли обеспечить более высокую продолжительность жизни своим согражданам, хотя стартовые показатели смертности у них были такими же, как и в России.

Если М. Юрьев задумается над причиной этих различий, то легко сможет найти для нее объяснение в собственном же выступлении, в том его месте, где он дает характеристику либерализма. «Основа либерализма, — пишет М. Юрьев, — в том, что главная ценность и мерило всего — индивид». Совершенно с этим согласен. Так вот, только при условии доминирования в обществе подобной ценности оно способно перейти в режим народосбережения. И дело не только в том, что в этом случае происходит перераспределение ресурсов с военного сектора на социальный и культурный. Еще важнее другое: в обществе с доминированием подобной ценности возникает культурная норма, побуждающая человека заботиться о себе и своем здоровье. Следствием этого является изменение образа жизни, характера питания, простотность занятий спортом, а не только «болезни» за свою команду, мотивация отказа от вредных привычек и т.п. Разумеется, для народосбережения у людей должен быть определенный уровень благосостояния, который в странах с либеральной экономикой выше, чем в странах с персоналистскими режимами. Империя же, особенно такая, какой она сложилась в России, по определению не может обеспечить народосбережения. Она развивается экстенсивно по формуле, которую вывел В. Ключевский: «Государство пухнет — народ хиреет».

Так что же такое империя? В политологических ее определенных основное внимание уделяется типу политического режима. «Империя, — отмечает Доминик Ливен, — является антиподом демократии, народного суверенитета и национального самоопределения. Власть над многими народами без их на то согласия — вот что отличало все великие империи прошлого и что предполагает все разумные определения этого понятия». Примерно так же трактует империю и Марк Бейссингер, определяя ее как «нелегитимное отношение контроля со стороны одного политического сообщества над другими». Именно это сущностное определение империи позволяет избежать путаницы, возникающей при попытках ее описания по сугубо внешним признакам, например, как государства (или союза государств), объединяющего многие народы. Так, Евросоюзу нельзя отождествить с империей, поскольку государство-нация записываются в очередь на то, чтобы быть в него принятыми, да еще должны доказать свое соответствие принятым в союзе нормам. Какая же это «власть без согласия народов»? Территориальная экспансия тоже не является универсальным свойством империй, поскольку исторически ограничена периодом их расцвета. Последние века существования Римской империи, последнее столетие жизни Османской империи и более полувека жизни Российской они не осуществляли экспансии, только теряли завоеванные территории и заботились лишь о сохранении остатков имперского тела, но все же еще оставались империями по типу своего режима.

Д. Володихин и М. Юрьев тоже основное внимание уделяют имперскому режиму и рассматривают империю как патерналистский тип государства, в котором юридически закреплено неравенство статусов государствообразующего народа и прочих. Или, что то же самое, но выраженное на языке «цивилизационного национализма», — неравенство статуса доминирующей цивилизации по сравнению с прочими. Зачем нужна такая организация этим самым «прочим» народам или цивилизациям, ни один из моих оппонентов не объясняет — на то она и «власть без согласия народов». Да и трудно было бы придумать в современных условиях какой-либо резон для народов соглашаться на заведомо более низкой юридической статус по сравнению с главными, старшими народами («цивилизациями»). Все аргументы моих оппонентов сводятся

исключительно к многократному повторению все той же басни о мифической «естественности» такого типа государства только для русских. Однако что же может свидетельствовать об этой «естественности»? В какие времена империя была в интересах русского народа? Когда он находился в привилегированном положении?

До 1861 года русские составляли свыше 90% крепостных, т.е. самого закабаленного слоя Российской империи, а затем большую часть безземельного крестьянства и того самого пролетариата, которому нечего было терять, кроме своих цепей. В советское время наибольшая часть тягот — и трудовых, и военных — также лежала на русских. Нет ни малейших признаков того, что сегодня русское большинство проявляет хоть какую-то склонность к державности. Напротив, оно демонстрирует свое стремление уклониться от государства: от выплаты налогов, от квартплаты, от службы в армии, от взаимодействия с милицией и судами, от общения с начальством. Такой стихийный анархизм проявлялся и в советское время, начиная с эпохи Брежнев, когда в ходу была шутка: «Если государство думает, что оно нам платит, то пусть считает, что мы ему служим».

М. Юрьев предлагает поборить державный дух народа войнами. Пробовали — не получается. Чеченская война, которую самодержавники рассматривали как инструмент подъема державного духа народа, этих ожиданий не оправдала. В первую войну более 60% наших сограждан поддерживало идею «отпустить Чечню», а во вторую, когда населению удалось внушить, что «чеченцы сами переедут назад», был взрыв xenophobia (70%, что типично для состояний большой войны). Но при этом не проявилось ни малейших признаков психологической мобилизации, т.е. какой-либо готовности к совместным действиям: ни очередей добровольцев в военкоматах, ни добровольных сестер милосердия, ни сбора пожертвований на нужды раненых — ничего. Многолетнее использование вооруженных сил на Северном Кавказе привело лишь к тому, что зона этнического и религиозного сопротивления расширилась и включает сегодня практически все республики региона, кроме крошечной Адыгеи.

Анализируя такое развитие событий, лидеры национальных движений других республик все чаще приходят к мысли о том, что российские вооруженные силы, которые не смогли усмирить несколько тысяч чеченских боевиков, наверняка не справятся с задачей подавления национальных движений в масштабе всех или большей части национальных республик России. Армию боится, куда она находитесь в казарме, а если она уже десятилетия безрезультатно воюет, то во многом теряет способность к сдерживанию сепаратизма. Наконец, в нынешних условиях становится неработоспособным главный приводной ремень имперской системы — чиновничий аппарат. В былой имперский период чиновник служил государю из веры, из страха, по необходимости, будучи экономически зависимым от правителя. Сегодня не существует ни одного из элементов, обеспечивающих верное служение чиновника государю. Чиновника, по сути, приватизировали власть в стране и не зависят ни от государя, ни от общества. Способность России хотя бы к простому выживанию сегодня напрямую зависит от возможности создания в нашей стране действенной системы общественного контроля над чиновничеством — это и есть первоочередная цель национальной, т.е. общественной идеи.

Имперский проект не способен решить застарелые проблемы России и уже порождает новые. Он основан на иллюзиях и мифах, однако значит ли это, что попытки сделать сказку былью полностью исключены?

Ген смерти

История — это не застывшее время («так было, так и будет»), но и не прямая линия прогресса («все выше и все лучше»). Возвратные процессы в ней скорее норма, чем исключение.

Вотз хотя бы Францию, родившу идею «народного суверенитета». Она пробивалась к демократии через революцию, Термидор, империю и новые революции. Очень может быть, что во времена Термидора какие-нибудь тамошние приват-доценты обосновывали идею неестественности демократии для французской цивилизации и для ее самобытного галльского менталитета, подталкивая Францию к империи. Во всяком случае, Россия никак не может похвастаться уникальностью процесса бурного размножения доктторов-традиционалистов в условиях Термидора.

Не исключено, что и Россия перейдет от него к империи. К тому же и уходить далеко не нужно. Россия и сегодня империя, только гибридная. Это та самая пресловутая «либеральная империя», т.е. империя с либеральным фасадом, декорированная под федеративную республику. У нее есть формальные признаки народовластия и даже Конституция, основанная на идее народного суверенитета («народ источник власти»), однако она сохраняет сущность имперского политического режима — власть, не опирающаяся на согласие народов, на их волю.

Это не означает, что такая власть держится только на насилии. Нет, просто для ее функционирования воля как народов, так и отдельных подданных не имеет значения (читайте М. Краснова). Это страна именно подданных, а не граждан. К тому же сохраняющая свое имперское тело, пусть и сильно усохшее.

Я согласен с М. Юрьевым в том, что такой гибридный тип политической системы неустойчив и неизбежно будет трансформироваться. Согласен и с тем, что вероятность сбрасывания либерального декора в ближайшее время выше, чем движения в сторону изменения имперской сущности. Мы расходимся лишь в оценке пользы для России такого ее тренда: он считает это благом, а я — величайшей угрозой для страны и ее жителей.

Необычным (хотя все же и не уникальным) в нынешнем движении России к де-гибридации, к чистопородной империи является то, что основным двигателем этого процесса выступает фактор, являющийся одновременно и геном смерти империи. Речь идет о национализме этнического большинства. Процесс размножения этого гена, включенный распадом СССР, развивается по законам этнополитического маятника. В условиях распада империи первыми возбуждаются и консолидируются меньшинства, особенно компактно расселенные, а за ними следует большинство. И это — лишь начальный цикл раскачивания маятника, о чем я подробно писал в своей книге «Этнополитический маятник».

Рост этнического самосознания русских после распада СССР наступил позже, чем у других этнических сообществ России, лишь в конце 1990-х. Но процесс этот протекает чрезвычайно быстро. При этом этническое большинство демонстрирует наибольший уровень этнической тревожности, чем меньшинства. С начала 2000-х годов среди русских доля людей, ощущающих ту или иную угрозу себе со стороны представителей других народов, живущих в России, почти в два раза выше, чем у представителей прочих этнических групп. Это поразительно, поскольку этническое большинство, как правило, проявляет меньшую этническую озабоченность, чем меньшинства.

Кстати, бурный рост этнической тревожности у русских тоже опровергает концепцию «вечной сущности» русской цивилизации, поскольку коренным образом противоречит тому, что можно назвать как русской, так и имперской традицией. Многочисленными исследованиями доказано, что русские в Советском Союзе отличались наибольшей толерантностью: в трудовой и бытовой сферах и даже в формировании семей (наивысший уровень готовности к межэтническому и межконфессиональным бракам). Эти процессы, плохо увязывавшиеся с теорией органической сущности цивилизации, хорошо согласуются с современной «конструктивистской» теорией этничности, обосновывающей способность к быстрому перепрограммированию этнического само-

сознания как под воздействием обстоятельств жизни («социальной практики»), так и под влиянием информационных технологий.

Чеченская война, как уже отмечалось, быстро вызвала рост этнофобий. Государственная политика имитации стабильности (об этом я еще скажу) способствовала еще большему усилению и тиражированию стереотипов ксенофобии. Новый ее подъем (я это утверждаю, хотя очень хотел бы ошибиться) Россия может ожидать в ближайшее время. Исследования Института социологии РАН показывают, что к 2004–2005 годам закончилось действие наркола, лошадиными дозами вливаемого в население и обеспечивавшего относительную стабильность, — сравнение нынешнего положения с эпохой Ельцина. Самоидентификация подавляющего большинства людей сегодня осуществляется не столько на основе сравнения себя в прошлом и настоящем, сколько при сравнении себя с другими, ушедшими вперед по социальной и имущественной лестнице. Эти разрывы огромны и возрастают, при этом нефтедолларовый дождь лишь усиливает социальную поляризацию.

Еще важнее то, что быстро рванут социальные лифты, ответственные за вертикальную мобильность. Подняться на высшую ступеньку социально-имущественной лестницы становится все труднее, зато опуститься вниз все легче. Экономика, присоединившись к традиционным сферам производства, слабо диверсифицируется, а сложившаяся — ограничена в возможности предоставления новых трудовых ниш, соответствующих растущим запросам. Кроме того, важнейшим источником материального благополучия и социального продвижения в современной России становится капитал социальных связей, а этот ресурс недоступен подавляющему большинству населения. Так или иначе, уровень неудовлетворенности населения растет, а в нынешних условиях эта неудовлетворенность все чаще приобретает этническую окраску. В ходу мифологизированные объяснения бед: недоступны престижные места занятости, значит, «чужие» не пускают; недоступно новое жилье — «чужие» скупают, растет преступность — «чужие» привезли. И т.п.

Каково отношение все это имеет к продвижению имперского проекта? В теории национализма данное явление всегда рассматривают как антиимперское. Действительно, рост этнической подозрительности плохо сочетается со стремлением удержания народов в едином государстве. Лозунг «Россия для русских!» абсолютно противоположен имперскому лозунгу «Все народы — подданные одного государя». Однако разработчики новых имперских проектов ведь и не ставят перед собой задачу обоснования возможностей сколько-нибудь устойчивого функционирования империй (см. утешно Барука). Их задача — мобилизовать этническое большинство для захвата власти, а там... авось да небось.

Я говорил о том, что новый имперский проект основан на мифах и готов это повторять без устали. Однако выдающийся исследователь античной культуры А.Ф. Лосев справедливо отмечал, что для мифологизированного сознания «миф является высшей, самой конкретной и эмоционально окрашенной правдой». Сон разума рождает чудовищ.

Сегодня уровень мифологизации фрустрированного массового сознания приближается к критической точке. На этом и пытаются сыграть жрецы имперского мифа. Есть в нынешнем развитии этнических процессов в России одна тенденция, за которую они могут ухватиться и уже цепляются, а именно — все более отчетливо проявляющееся стремление болезненного самосознания масс утешиться этническим доминированием. Когда народ лишается возможности чувствовать себя хозяином страны, он находит утешение в стремлении почувствовать себя хозяином по крайней мере по отношению к меньшинствам, особенно к приезжим, к «острым». Именно на эту особенность нацеливаются, как на шампур, современные имперские проекты в России.

Они представлены в двух основных разновидностях, хотя центральным элементом обеих конструкций является одна и та же идея — иерархия народов и якобы доминирующей в ней роли русских. В проекте, базирующемся на «цивилизационном национализме», эта иерархия задается по религиозному признаку, а в этнонационалистическом проекте — по этногенеалогическому принципу (т.е. по крови). Причем отчетливо просматривается тенденция сращения обоих проектов.

Так, в середине 1990-х годов проект империи, вытекающий из «незыблемой сущности евразийской цивилизации», предлагал уже упоминавшийся выше А.С. Панарин. В его концепции империя — это этническое образование, в котором есть место как православной, так мусульманской религиям, лежащим в основе евразийской цивилизации и, соответственно, евразийской империи. Д. Володин представляет уже иной проект, более соответствующий нынешней моде. В нем «правящую элиту России должны составлять русские по культуре, при этом не обязательно русские по крови». Однако автор подчеркивает, что «их конфессионально-культурная принадлежность должна быть прочной, очевидной». Уже в этом проекте российским мусульманам, численность которых в России за полвека удвоилась и продолжает быстро расти, в элите имперского государства места нет.

Потенциально еще большей популярностью для воспаленного массового сознания может пользоваться совсем простая и понятная конструкция, предложенная А. Севостьяновым, сопредседателем нелегальной, но открыто действующей Национально-державной партии России (НДПР). Он предлагает принадлежность к русскому народу определять без уязвлений, по крови, чистота которой должна проверяться до третьего колена. Это уже проект империи, откровенно списанный с модели Третьего рейха. Впрочем, эта модель становится все популярнее. Вот ведь и М. Юрьев, не стесняясь, восторгается идеократическим новаторством Гитлера, который «всерьез, на государственном уровне» занялся «возрождением языческих культов». И говорится это так, как будто бы бесноватый фюрер, используя свою новацию, победит.

Между цивилизационным национализмом и этническим различий немного. И сегодня цивилизационная его разновидность служит лишь быстрорастворимой оболочкой, с помощью которой легче проглотить таблетку национализма этнического, пока еще для некоторых горьковатую. Об этническом превосходстве пока не принято говорить по контролируемым государством СМИ. О цивилизационной же исключительности ныне не говорят только ленивые. Ее прославляют все: от митрополитов до московского пасечника; от главного кремлевского идеолога до исполнительного ветеринара, не говоря уже о гибких интеллектуалах, вроде участника нашей дискуссии С. Маркова. Этнонационалистическая теория хоть и распространяется в многочисленных изданиях и больших тиражах, но все же не вполне легальна. Между тем цивилизационная ее версия вошла во все школьные учебники истории, а как идеологический фундамент имперского проекта представлена в книгах популярного ныне А. Дугина — в тех самых, которые рекомендованы в качестве учебных пособий для военных учебных заведений страны.

Если говорить в терминах цивилизационного национализма, то федеральная власть уже националистична и использует стандартные для такого идеологического течения методы реализации «мобилизационного общества» — консолидацию военно-героическим прошлым, консолидацию страхом и консолидацию силой. Однако эта политика для внешней власти самоубийственна. Власть поражена типичным для персоналистских режимов недугом — самонадеянностью. Многие ее идеологи полагают, что если можно было соорудить управляемую демократию, то возможен и управляемый национализм. Глубокое заблуждение — у национализма совершенно иная природа, он опирается на слабо управляемое мифологическое сознание и требует по-

стойного эмоционального разогрева. Его нетрудно возбудить, но очень тяжело направить на цели сохранения власти. Он уже выходит из ее подчинения.

Власть создала новый праздник для консолидации людей прошлым, а теперь сама же его боится, загода стигматизирует мильшино и читает на праздник боевые сводки о разогнанных митингах националистов.

Власть пытается консолидировать людей образом прага, но уже сама стала служить этим образом в многочисленных националистических листовках, объясняющих людям, что все их беды заданы активизационным правительством, в котором преобладают люди с нерусскими фамилиями.

Владислав Сурков изо всех сил старается поддержать идею особой российской цивилизации, а вместо благодарности его занесли в список врагов русского народа.

В расчете на «управляемый национализм» власть создала умеренно националистическую партию «Родина», а она почти тут же превратилась в неумеренную. Властям удалось расщепить верхушку этой партии, но что делать с ее электоратом? А ведь он может перестать быть электоратом, превратившись в толпу погромщиков.

Власть чрезвычайно боится такой толпы. Она может «мочить в сортирах» националистов и фундаменталистов там, в республиках Северного Кавказа, а по отношению к населению, которое уже официально называется «коренным», эта метода не подходит. И вот уже власть тащится в хвосте нарастающей ксенофобной стихии: после погрома в Кондопоге, воспетого даже в пропрезидентской прессе как проявление подъема русского духа, власть заговорила о необходимости «обеспечения преимуществ коренному населению» (вот вам и доминирование), о введении процентных квот для проживания иностранцев (как легко заменить это слово на «инородцы»).

Власть, безусловно, сегодня дрейфует в сторону имперского национализма, а на пороге уже стоит молодая смена — голодные волчата, обученные по учебникам Дугина, с дичиства промывками мозгами, да еще и ксенофобы не чета кондопожским. Почему бы им для начала не попытаться занять место в правительстве тех, с «нерусскими фамилиями»? А помогут им продажные журналисты, пусть и совсем с нерусскими фамилиями. Поддержат, пусть косвенно, теоретики особой цивилизации из числа святошущихся на постмодернизме или напуганных исламской угрозой, да и просто из числа выпендривающейся интеллигенции. О гибких интеллигентах и говорить не приходится — как финшка ляжет, так они и заплюют.

И снова можно констатировать, что и в своем дрейфе в сторону имперского национализма Россия совсем не похожа на «особую цивилизацию»: сплошное подражание Германии конца 1920-х годов. Не исключая пошагового разыгрыва нацистской дебютной идеи в России. Однако напомню, что она не привела к победе тех политических шахматистов, которые разыгрывали эту партию. Нет сомнения в таком же зидшине и для России. Разрыв между имперской политикой и реальными запросами страны станет очевиден, долго национал-имперская власть не удержится. Ведь и Гитлер правил всего 12 лет (в нашем исчислении — всего три президентских срока), а его проект расширения жизненного пространства осуществлялся менее шести лет. При этом Германия, начиная свою экспансию, была совсем не похожа на этнотерриториальную матрешку, какой является Россия.

Империи могут долго сопротивляться национализму меньшинств на окраинах или в колониях, а против национализма большинства они бессильны и быстро разрушаются. Провоцируемый защитниками империи и поддержанный властями подъем русского национализма в начале XX века, его оформление в организованное политическое силы стали началом конца Российской империи. Попытка Османской империи свернуться в условиях кризиса на турецкой национализм, возглавляемый генералом армян, стал предвестником краха и этой имперской системы. Парадокс имперского на-

ционализма состоит в том, что он конструируется для спасения империи, но реально является основным орудием ее разрушения. Если нынешний подъем русского национализма так или иначе приведет его к власти, то спасти целостность России не удастся. И данное обстоятельство еще раз указывает на непреодолимую хрупкость имперской или «квазиимперской» системы. Это, во всех отношениях, колосс на глиняных ногах.

Угроза фашизации России, к сожалению, вполне реальна. Но все же такой сценарий ее развития вовсе не предопределен. У страны есть выбор.

Пробуждение

Когда говорят «уснул навеки», то подразумевают — умер. А живой организм всегда пробуждается и постоянно изменяется. Вот и сон разума не вечен, и ксенофобия рано или поздно спадает. Перерастание этнического национализма в гражданской, когда противостояние «Мы—Они» по этническому признаку трансформируется в противостояние социальное («Мы — народ, а Они — власть, узурпировавшая наши права») — один из самых типичных процессов в новейшей истории. Так было и в прошлом веке: многие из тех, кто в 1905 году участвовал в погромах под лозунгом «Россия для русских!» (это лозунг «Черной сотни»), затем участвовали в Гражданской войне под антиимперскими лозунгами: «Долой самодержавие!» и «Долой тюрьму народов!». Так происходит и в наши дни.

Партия националов, зарождающаяся как имперская и националистическая, сегодня выступает, пусть и весьма экстравагантно, с позиций борьбы с самодержавием и даже защиты этнических меньшинств. Раскалывается левое движение: в рядах коммунистов, помимо особой мажорского типа, появились группы, вступившие в Российское антифашистское движение. Если требования участников российских бунтов, да хоть того же кодовского, отшелушить от грязи ксенофобия, то под ними явно просупает антисамодержавная основа — сопротивление произволу. Совсем немного отделяет людей от понимания, что источником произвола выступают не «те, повакавшие», а «эти» — местные начальники, приватизировавшие власть в своих корыстных и, следовательно, антинациональных, т.е. антиобщественных, интересах.

Самая большая моя надежда — на рост гражданского общества, которое развивается в России точно в такой же последовательности, как это было во многих других странах, десятилетиями находившихся под властью тоталитарных и авторитарных режимов. Вначале возникают организации «общественной самозащиты» вроде обманутых вкладчиков, дельцов, застройщиков и т.п. Затем они трансформируются в широкую сеть «национального спасения», при этом термин «национальный» понимается ими не в этническом, а в гражданском смысле. Угроза фашизации страны может ускорить этот процесс.

Я бы не стал сбрасывать со счета и возможность трансформации самой власти в направлении, прямо противоположном тому, которое было описано в предыдущем разделе. Я имею в виду укрепление и активизацию тех сил, которые сегодня служат лишь либеральным декором режима. Уж в чем нельзя отказать нынешнему политическому истеблишменту, так это в прагматическом отношении к себе, любимым. Фашизация страны, безусловно, не в интересах большинства из них. Пока эти люди слабо осознают реальную угрозу фашизма, но уже очень скоро это поймут.

Никакая высшая или внешняя сила не может гарантировать России долгую жизнь, а тем более — устойчивое развитие. Такую гарантию может дать только народ, овладевший государством и превративший его в орудие реализации общественных — и в этом смысле национальных — интересов.

КОГДА ЖЕ ПРИДЕТ НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ?

«Когда же придет настоящий день?» — этим и другими мучительными вопросами («кто виноват?», «что делать?») российская интеллигенция задается по меньшей мере со времен Добролюбова. Меняются исторические условия, меняются и дробится представления о том, каким может стать и будет «настоящий день». Возникают проблемы, когда кажется, что день этот если и не пришел, то вот-вот наступит.

Во второй половине XX века перед нашей страной дважды открывалась возможность выйти за пределы исторически сложившегося стереотипа существования и взаимодействия общества (народа) и государства. Впервые — в 1950–1960-е годы. Тогда такая возможность была скорее теоретической. Воля и действия реформаторов оказались ограниченными, а общество, подвергнутое серьезному разложению в период сталинизма, не смогло выдвинуть силы, способные перехватить инициативу и власть. Вторично — в 1980–1990-е годы — дело обстоит значительно сложнее. Но прорыв не состоялся и на этот раз. Обречены ли нынешние поколения до конца своих дней жить с таким государством и в таком обществе, какие утвердились сегодня?

О пользе дискуссий, или Фантазии современной антиутопии и реалии общественной жизни

Затевая дискуссию, необходимо отдавать себе отчет в том, что станет ее предметом, как будут выглядеть, хотя бы в самом общем виде, постулаты, от которых отправляются ее участники, и каково ее назначение. Последнее особенно важно, ибо от смешения жанров ничего хорошего ждать нельзя.

Дискуссия, конечно, могут быть самого разного рода. В одном случае эксперты, приверженные определенным ценностям и разделяющие определенные базовые постулаты, пытаются найти ответы на вопросы, которые ставит жизнь, — так сказать, прирастить знание, а нередко и пересмотреть некоторые сложившиеся представления. Подобные дискуссии вовсе не исключают острые столкновения мнений. Но предметом спора не могут стать основы обсуждаемой концепции — такие, например, как закон всемирного тяготения, естественно-исторический процесс происхождения человека или того же уровня представления о наиболее общих закономерностях общественного развития (которые, разумеется, не сводятся к плоскому детерминизму).

Право на существование имеют и иные дискуссии, когда сталкиваются несовместимые концептуальные подходы. Переубедить друг друга участники таких дискуссий не могут. Аргументы спорщиков ориентированы на значительно более широкую аудиторию, включающую тех, кто «не в теме». С приглашением к такой дискуссии, например, выступили летом 2006 года Игорь Клямкин и Татьяна Кутюковец в серии статей,

опубликованных в «Новой газете»¹. Хотя адресаты, располагающие широкими возможностями обитать с миллионами телезрителей, вызов не приняли, публикации московских ученых стали фактом идущей в нашем обществе дискуссии не только благодаря яркой полемической форме, в которой была изложена их позиция, но и потому, что своими оппонентами они избрали главных адептов официоза.

Дефектом же нашей дискуссии является не только смешение жанров, но и выбор на ее начальной стадии в качестве оппонентов идеологических маргиналов. Спор с ними не интересен ни с какой точки зрения и ведет лишь к растрате времени и интеллектуальной энергии. Перед искушением заняться легким и увлекательным делом — побиванием очевидных нелепостей — не смогли устоять некоторые другие участники дискуссии. Признаться, такое искушение посетило и меня, но нижеизложенные реплики призваны лишь проиллюстрировать непродуктивность спора с такого рода оппонентами. Всего несколько примеров.

Contradictio in adjecto — элементарная логическая ошибка, распознавать которую учат школьники. Каким образом рассчитывает Борис Мезуев в чаемой им «идеократическо-демократической» модели государства совместить господствующую роль православия с территориальной целостностью страны? Монополия одной конфессии с национальным равноправием? И насколько влиятелен и устойчив будет «надпартийный идеократический орган», которому надлежит определить, какие партии следует допускать к выборам? Ведь сам автор справедливо замечает, что «российские граждане не обладают тем безотчетным чувством доверия к действующей власти, какое имеют жители различных успешных в экономическом отношении азиатских автократий и полуавтократий». И что в России «в глазах населения <...> легитимностью обладает лишь власть успешная».

Еще более отвлечена от реалий и императивов современного всемирного развития политическая модель, придуманная Дмитрием Володихиным. В ее основе — увлекательные фантазии на темы изоляции нашего геополитического пространства, мобилизации средств развития при отказе от прав человека (как будто это не звание уже однажды нашу сверхдержаву в тушик) и восстановления церковности в общественной жизни, как то было до «времен эпохи Просвещения». Не имея других аргументов, автор все последующее развитие «философии евроамериканского мира» отправляет «к бесу». И у меня к г-ну Володихину лишь один вопрос: какое, милый, у нас тысячелетие на дворе?

Но где конкуренция, конечно, найдется конструкция, которую смастерил Михаил Юрьев. К тому, что сказано по ее поводу Алексеем Михалером и Эмилем Павшим, содержательно добавить что-либо трудно, да и незачем. Поделюсь лишь самым общим впечатлением.

До недавних пор я думал, что образы героев поэмы Гоголя «Мертвые души» строго индивидуализированы и друг на друга не накладываются. М. Юрьеву же удалось в своих построениях соединить несовместимое: прекраснородушные мечтания Манцлова с нахрапистой агрессивностью Ноздрева². А представления автора о войнах про-

¹ Фонд «Либералы на миссии» позднее опубликовал эти статьи отдельной брошюрой «Кремлевская школа политологии. Как нас учат любить Родину» (М., 2006).

² «Вот француз! — сказал Ноздрев. — Все, что ни выйдет по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, ведь этот лес, который вы видите, и все, что за лесом, все мое» (Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 8 т. М., 1984. Т. 5. С. 73). Не таковы ли и мечтания М. Юрьева: «А плетя мировую державу, я надеюсь и уверенно прогнозирую, потому что просто не вижу иной альтернативы, будет Россия, к которой подойдет вся Европа? Впрочем, мысль автора идет по пути, проторенному в не столь давние времена советским Генштабом. Свои планы продвижения в Европу он подкрепил оканцентрированными у границ промодными арсеналами оружия. Один из них, в конфликтной зоне Приднестровья, до сих пор доставляет неуловимую головную боль».

шого и будущего ближе всего к уровню понимания одного из персонажей «Ревизора», предположившего, что Россия «хочет вести войну, и министеря-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены»³. За все эти открытия я бы присудил Юрьеву если не Государственную премию, то уж Антибуфера точно.

Но шутки в сторону. Спорить с такой ненаучной фантастикой скучно и бессмысленно, ибо здесь нет ни предмета, ни партнеров для дискуссии. А серьезное обсуждение исключительно актуально, ибо мы не всегда умеем не только дать убедительные ответы, но и правильно сформулировать вопросы.

Уроки недавнего прошлого, или У разбитого корыта

Нелишне для начала зафиксировать то, что ныне многими забыто или отвергается. На рубеже 1980–1990-х годов в нашей стране был достигнут феноменальный прогресс в продвижении к демократическому, правовому государству и — более того — к современному обществу. Была обрушена сталинская идеократическая модель «партия-государства», несовместимая с императивами мирового развития во второй половине XX века. Произошло это с немалыми социальными потерями, но все-таки без гражданской войны на большей части территории СССР. Была введена Конституция, хотя и содержащая перекосы в организации государственной власти, но зафиксировавшая передовые демократические принципы в отношениях власти и общества. На месте административно-распределительной экономической системы — материальной базы государственного деспотизма — появились ростки рынка и частной собственности. Страна открылась войне и сделала ряд шагов навстречу сообществу демократических государств. Возникли независимые от государства общественные организации и СМИ. После 1985 года политика стала публичной. Россия поднялась на такой уровень свободы, на какой она не выходила никогда в своей истории.

Все это, однако, оказалось в значительной мере обратимым. Поразительно быстро и круто в середине 1990-х годов началось и после 2000 года ускорилось восстановление авторитарного строя в России и большинстве бывших республик СССР. Утверждается традиционная социально-политическая модель: многовластный и непререкаемый лидер — доминирующая в центре и в регионах партия бюрократии (хотя и в ином идеологическом оформлении, но все тот же «приводной ремень») — политически пассивное, разочаровавшееся в своих возможностях общество. Процесс реставрации набирает силу. Демократическое законодательство подрывается или обращается в фикцию. Осуществлена контрреформа избирательного права. На месте парламента, суда, общественных институтов выстраиваются мушкетеры, а бизнес и главные СМИ поставлены под жесткий контроль государства. Развернуто наступление, в том числе средствами, напоминающими работу спецслужб прошедшего времени, на независимые неправительственные организации. Политика снова перестала быть публичной. Многого поменялось во внешней политике — от завлеченных целей и используемых средств до риторики. Возрождается даже сталинский миф в официальной историографии и в сознании значительной части народа.

Что же обусловило скатывание России к персоналистскому режиму, ставит вопрос М. Краснов: историческая традиция и особенности общественного сознания или конкретная политическая ситуация начала 1990-х годов, предопределившая порочную государственную организацию? На мой взгляд, и то и другое. Или, точнее, историческая традиция, запечатленная в сознании и элит, и пришедших в движение масс, действовала не сама по себе, а накладывала свой отпечаток на поведение тех и других

³ Герой этой — судья Липкин-Талкин, по авторской ремарке, «человек, прочитавший пять или шесть книг и потому несколько вольнодумец» (Толстой Н.В. Указ. соч. Т. 7. С. 7, 9).

в сложной политической ситуации с ее неожиданными поворотами. Вот эти повороты, может быть, всего интереснее мысленно пройти вновь, задаваясь вопросом: «Где не так мы сказали, ступили не так и пошли. И в каком часу, на каком трикдае проклятом месте мы ошиблись... и поправить уже не смогли?» Подобная рефлексия, может статься, будет не только умственной игрой — одной из тех, которым за неимением теперь более интересного дела любит предаваться наша интеллигенция, — но и позволит осознать некоторые уроки на будущее. Попробую изложить свой взгляд на вещи — взгляд не только аналитика, но и, волею обстоятельств, участника событий.

В последние десятилетия XX века советско-большевистская система вступила в полосу общего кризиса⁴. Исторически она была обречена, но ее «умирание» могло продолжаться достаточно долго. Толчком к преодолению этой системы стал приход на высшие посты в партии и государстве группы реформаторов во главе с Михаилом Горбачевым. Субъективный фактор предопределил время и импульсы перемен. Точка отсчета современной истории России (и других бывших республик СССР) — не 1991 год и не Конституция со всеми ее дефектами, принятая на исходе 1993 года, а год 1985-й, откуда пошла череда исторических развилков.

Люди, давшие старт переменам, плохо представляли себе и масштаб неизбежно возникающих проблем, и те последствия, к которым должны были привести их действия. Так, собственно, бывало всегда и везде во время крутых исторических поворотов. Но как только были провозглашены новые цели, снят идеологический контроль и отключены репрессивные механизмы, возникло независимое от властей многослойное общественное движение. Массы людей, которые представляли границу между желаемым и достижимым еще более смутно, чем руководители партии и государства, и не обладали собственным политическим опытом, оказались буквально выброшенными в политику. Объяснить пришедшему в движение обществу, как в его интересах реализовать возможность, лишь второй раз открывшуюся в XX столетии, — такова была задача, вставшая перед демократической интеллигенцией. Но и она к ее решению была не готова. Единственное, что она смогла предложить быстро политизировавшимся массам, — сломать монополию КПСС. Не так мало, раз три четверти века эта монополия была непререкаемой. Но не так уж и много. Как бы то ни было, требование это попало в резонанс с настроением миллионов людей.

В результате реформаторская часть руководства КПСС и СССР, до поры удерживавшая рычаги государственного управления, оказалась между двух огней: уличной стихии и нарастающей оппозиции номенклатуры, физически ощутившей, что почва уходит у нее из-под ног. Лидеры и актив демократов, опиравшиеся на массовое движение в главных центрах страны и задававшие ему ориентиры, уже в 1989 году оказались перед необходимостью выбора: либо использовать оказавшиеся в их руках инструменты для давления на партийных реформаторов, ориентирясь на длительный эволюционный процесс и консолидируя себя как самостоятельную политическую силу, либо повести борьбу за власть, сделав ставку на лидера-харизматика, вышедшего из той же номенклатурной среды. Любой из этих вариантов был сопряжен с серьезными рисками.

С 1989 года и в особенности в 1990-м фокус событий стал перемещаться в парламент. Силы, политически оформившиеся в Межрегиональную депутатскую группу в союзном парламенте, а затем добившиеся кратковременного перевеса в российском, сломали систему, установленную после 1917 года. Здесь, казалось, открывалась перспектива учреждения парламентской республики. Но в ожесточенной борьбе, опираясь

⁴ Формула эта, придуманная, когда провозглашалась идея мировой пролетарской революции, для истолкования того, что происходит с капитализмом, оказалась полезной для выявления характеристик процессов, развернувшихся в СССР и подчиненных странах.

на народные настроения и ведомые собственным нетерпением, не оценив последствий своих действий, демократы приложили немало сил для создания альтернативного центра власти, замесенного за пределы парламента и фактически от него мало зависящего, — российского президентства. Это, а также начавшийся распад СССР подталкивали консервативные силы к выходу за рамки закона.

В августе 1991 года была сорвана попытка ревизионского переворота. Страна в очередной раз оказалась перед исторической развилкой. Но демократический потенциал августовской победы не был реализован. Политическое развитие сразу же пошло по нисходящей линии. Возникли две коалиции, между которыми уже с весны 1992 года свачала в парламенте, а затем и на улицах развернулась ожесточенная борьба. Обе коалиции были разнородны. В одной доминировали консервативные и национал-демократические силы. Другая являла амальгаму новой бюрократии и демократов первого призыва, которые сразу же были отодвинуты на периферию воссоздаваемой власти, превратившись сначала в ее эшелон поддержки, а затем — в ее обоя. Попытки сформировать «третью силу» не удалась. По мере обострения политической ситуации в обеих коалициях все большее влияние приобретали радикальные силы и подходы.

В 1992–1993 годах эта ситуация обострялась непрерывно и стремительно. Изначально заявленные цели отходили на второй план, разворачивалась схватка за власть. В России, где никогда не было ни уважения к правовым принципам, ни культуры компромисса, обе стороны конфликта пренебрегли соблюдением закона, преступили запрет на насилие. Ставка была сделана не на поиск компромиссных решений, а на победу: чем сокрушительнее, тем лучше. Трагические события осени 1993 года, за которые несут ответственность обе стороны, повлекли за собой тяжкие последствия и наложили отпечаток и на нашу Конституцию, и на последующую эволюцию российского государства.

Таков был ход событий. Общество и его демократический актив действительно «проглядели» опасность возрождения авторитарного режима. Но и опасность с другой стороны — антидемократического, антиреформаторского режима уже на рубеже 1980–1990-х годов была реальной. Создавая рычаги противодействия, демократы в полной мере мобилизовывали персоналистскую традицию народа, скандировавшего на многотысячных демонстрациях имя доставшегося ему лидера. Было ли это опрометчиво? Пожалуй, да. Но в эпоху революционного перехода нормальные, упорядоченные, правовые механизмы, как правило, оказываются непригодными.

Действительная ловушка была в том, что персонализм вплоть до 1996 года не представлял в глазах сторонников радикальных реформ как зло, а был облачен в демократическое платье. Объяснение происшедшему следует искать в качестве не только российского президентства и его носителя, но и противостоявших ему сил, отивравшихся на парламент и дискредитировавших парламентаризм⁵. Выбор был жестким: не из широкого диапазона возможностей, а между двумя узкими коридорами. Ельцин не был «компромиссной фигурой для всех», как утверждает Александр Архангельский, ни в 1991–1993, ни в 1996 году. Под его знаменем действительно собрались и партукраты, и демократы, но только часть тех и других. Утверждение Ельцина у власти как раз и исключило компромисс, формирование широкой коалиции, за пределами которой в идеале следовало бы оставить лишь «левую» и «правую» экстремы. А главным орудием утверждения персоналистской власти были механизмы по форме демократические — выборы и референдумы, которыми, как палицей, радикалы крушили препят-

⁵ Сопоставив с В. Платониным в 1992–1993 годах российский парламент превратился в демократическое собрание, обладавшее ресурсом демократической агитации к неравным политическим институтам постсоветских масс.

ствия на пути. Те и другие в конкретных условиях представляли разновидность плюралистической демократии, которая не раз приносила немало бед не только в России.

Я согласен с Игорем Александровичем Яковенко в том, что проблема персоналистского режима в России — не в его безальтернативности, а в степени предопределенности. В момент его учреждения эта степень была высока. Перебирая факторы, «работавшие» на установление авторитарного либо плюралистического режима, Лилия Шенцова называет среди первых — четыре, а среди вторых — один. Получается соотношение 4:1. На деле вероятность демократического прорыва была еще меньше, если учесть вес каждого фактора.

Никто не даст нам избавленья

Как и большинство участников дискуссии, я надеюсь, что раньше или позже Россия вернется на магистраль, прочерченную европейской цивилизацией, что здесь также утвердятся строй либеральной демократии. Альтернатива тому — к сожалению, видимо, не исключенная — крушение государства, распад страны и общества. Можно обсуждать, на чем основано такое убеждение, но это, на мой взгляд, лежит за пределами данной дискуссии. Я принимаю его в качестве исходной точки и пытаюсь размышлять, когда, как и при каких условиях переход может или не может произойти.

Факторы возврата на магистраль уже были перечислены в ряде выступлений. Попытаюсь классифицировать и оценить их потенциал. Среди них можно выделить «долгосрочные», проявляющие себя опосредованно и на большом историческом пространстве, и «быстродействующие», непосредственно влияющие на ход событий.

К первой группе обычно относят экономическое развитие: с 1999 года наблюдается относительно высокий рост, увеличиваются инвестиции, в страну приходит иностранный капитал, зарплаты и пенсии растут и выплачиваются вовремя. Перспектива, по мнению Анатолия Чубайса, экономически детерминирована и потому выглядит оптимистично. «Реформы 90-х, — утверждает он, — были чудовищно болезненными для десятков миллионов людей. <...> Отсюда и «свертывание демократии», «свертывание реформ». По нашим российским традициям, маятник должен был поехать в другую сторону. Но качнулся он не так далеко, как можно было ожидать. А сейчас российский капитализм завершает свой первый и, наверное, самый сложный этап своей жизни. <...> Все то, что должно было отмереть, — уже умерло, а та основа, которая необходима для новой жизни экономики, — уже создана. <...> Что будет дальше? Если вы хотите услышать одно слово, которое вбирает в себя суть всего, что будет делать российский капитализм дальше, — то это слово: *развитие*»⁶.

Я избегаю употреблять понятие «капитализм» применительно к нашему времени, но если использовать терминологию Чубайса, то кое в чем с ним можно согласиться: политическая надстройка над развитым капитализмом — демократия. Все дело, однако, в том, что российский капитализм был ушибен не только в 1990-е годы. Он ушибен и в 2000-е. Его ущербность — не в том, что он недостаточно развит, а в том, что в нем доминирующей фигурой является не предприниматель, хотя бы и «олигарх», а чиновник. И государственно-монополистическая его составляющая, если использовать известную терминологию, не убывает, но усиливается. А такой капитализм вовсе не обязательно в политике создает демократическую надстройку.

К числу долговременных факторов перемен следует, видимо, отнести также и связи со странами Запада, которые расширяются и диверсифицируются. Восстановить самодостаточную хозяйственную систему, политические и идеологические

⁶ Беседка А. Чубайса с А. Прохановым: www.polt.ru/bolex/2006/04/20/zavtra.html/ (20 сентября 2006 года).

барьеры невозможно. Запад — если вывести равнодействующую сталкивающихся там разнообразных интересов и устремлений — заинтересован в том, чтобы в России утвердился демократический, а потому предсказуемый режим. Но способы воздействия демократических государств Запада на политическое развитие в нашей стране ограничены. К тому же они неплохо взаимодействуют с нашей властью в обеспечении того, что для них наиболее насущно. Энергопоставки практически гарантированы, режим, сдерживающий угрозы ядерной безопасности, распространение локальных конфликтов и т.п., худо-бедно поддерживаются. Осторожные выступления западных политиков и протесты общественных организаций против нарушения гражданских прав и антидемократических законов в России, возможно, сдерживают наше скатывание к авторитаризму. Но известное российское присловье: за граница нам поможет — типичный пример политической наивности. Не помогла в критический момент, когда задыхалась горбачевская перестройка⁷. Не поможет — во всяком случае, непосредственным воздействием на политическую ситуацию в России — и впредь.

Но если так, то можно ли рассчитывать на «скорое действие» каких-то внутренних социальных и политических факторов? Я бы не решился дать категорически отрицательный ответ. Однако, в отличие от некоторых коллег, готовности каких-либо общественных сил в стране к действиям, способным утвердить демократический правопорядок, я пока не вижу. В самом деле: кого можно считать такой силой?

Общество в целом, представленное российским избирателем, на которого рассчитывает кое-кто из участников дискуссии? Но ведь «он слаб, неуверен в своих силах, дезориентирован и дезорганизован», как вполне реалистически оценивает его нынешнее состояние Алексей Зудин. Из чего же вытекает, что он способен быть «хранителем ключей от власти»? С ролью ключника отлично справляются избирательные комиссии и другие подразделения государственного аппарата, а большинство избирателей соглашается быть соучастником квазитоталитаризма на управляемых выборах.

Средний класс, который, по наблюдению Г. Сатарова, «начинает организовываться и политизироваться с фантастической скоростью»? Возможно, Георгию Александровичу известно то, что пока не проявляется открыто в политической жизни. Однако авторы одного из капитальных исследований среднего класса, сочувственно процитировав слова А. Токина («дух среднего класса в соединении с духом народа или аристократии может творить чудеса, но сам по себе он никогда не даст ничего, кроме правления без доблести и размаха»), приходят к заключению: средние классы выглядят «чуть ли не пассивнейшим образованием» только «на фоне тотального ранодушия». И приводят сокрушительные данные: активистами общественных движений числят себя 2% граждан России и 4,4% ядра средних классов. «Нет никаких оснований, — заключают они свою работу, — для идеализации средних классов. <...> Средние классы активны, когда другие нарушают закон, ущемляя их права, но они не считают для себя обязательным подчиняться силе закона»⁸. Динамику процессов, совершающихся в среднем классе, несомненно, важно исследовать и обобщать, но пока что он явно не готов стать системообразующей силой демократической оппозиции.

⁷ Напомню горькое слова Горбачева, говорившего президенту Бушу в дни лондонской встречи в мае 1991 года: «Странная вещь. 100 млрд брошены были на конфликт локального значения (война в Персидском заливе). А такой «проект», как трансформация Советского Союза, который перестал быть промисловской силой и угрозой, и его включение в мировую экономику, в мировое сообщество, — этот «проект» еще же примет наши и исполнителю (В. Политков) ЛК КПСС. По заказам А. Чернышова, В. Медведкина, Г. Шаханазарова (1985–1991). М., 2008. С. 693–694.

⁸ Средние классы в России: Экономические и социальные стрателиты. Колл. монография / Под ред. Т. Малековой. М., 2003. С. 362, 366.

Может быть, такой силой, способной дать толчок демократическим преобразованиям, являются российские элиты, политический класс? То, что упрятано — в духе стародавней отечественной традиции — «под ковром», ввиду аналитика недоступно. Видимая же часть картины более чем безрадостна. Произведена записка целого ряда людей. Дело Михаила Ходорковского, к примеру, погасило политические амбиции главных фигур нашего бизнеса, если таковые у них были. Изрядная часть вчерашних реформаторов и прогрессистов с обезкураживающим бесстыдством торопится заставить свидетельствовать свою поддержку побеждающей реставрации. В особенности это заметно среди тех, кто на виду: ученых, деятелей культуры, журналистов. В отличие от перестроечного времени, политический лифт, как замечает И. Яковенко, поднимает вверх антиэлиты, имея в виду ее интеллектуальные и моральные качества, а не административные способности, умение выстраивать PR и т.п. Все так. И все же... Все же из памяти не стерся еще пример раскола правящей номенклатуры в годы перестройки, хотя на что уж советская система «подбора и расстановки кадров» была изощрена, долго рекрутируя, как замечает Е. Гайдар, в состав руководства страны особо некомпетентных⁹ (и, добавлю, особо послушных) людей. При определенных условиях история может повториться, создав определенные предпосылки для демократической трансформации системы. Но — лишь предпосылки...

Кто еще? Демократы? Совсем уж сомнительно. Вытолкнутые из политики и из правящей элиты или перешедшие к ней на службу, растерявшие своих избирателей, постоянно выискивающие отношения меж собой, упрямно уклоняющиеся от эффективного объединения и занятые поиском сомнительных союзников на стороне, демократы первой волны (или, точнее, те, кто от них остался) при их нынешнем состоянии едва ли могут стать серьезным фактором перемен. Дай им Бог сохранить знания, орбиту, унаследованные от прошлого, какие-то позиции в политической жизни и обеспечить приток молодых кадров, который хоть в какой-то мере мог бы компенсировать рассеяние прежних рядов. Демократы справедливо жалуются на то, что отсечением от средств массовой информации, имеющих широкий ареал распространения, драконизмским законодательством и незаконными действиями властей они изолированы от широких масс народа. Но виной тому — не только объективные, не зависящие от них обстоятельства, но и собственная неспособность действовать в круто изменившейся ситуации.

Опубликованы исследования, показавшие, как демократы первой волны, совершившие, по выражению Анатолия Собчака, «хождение во власть», стали довольно быстро вытесняться выходцами из силовых и других бюрократических структур. Однако свидетельствует это не только о сопротивляемости и обволакивающей силе прежней номенклатуры, восстановившей свои позиции еще при Ельцине. Дело еще и в том, что среди либеральной интеллигенции квалифицированных управленцев почти не было. Зададимся вопросом: случись завтра в обществе новый демократический подъем, смогут ли люди демократических убеждений выдвинуть из своей среды необходимое число специалистов на властные позиции? Власть, говорит А. Архангельский, давно потеряла связь с жизнью. А как с этим обстоит у демократов?

Наконец, сам персонафикатор верховной власти. Большинство участников дискуссии не согласилось с М. Красновым, возложившим главные надежды на аннигиляцию: «персонализм может быть преодолен с помощью персонализма». Критика была во многом справедлива. Добавлю, что персонализм — не единственная форма авторитарного режима, имеющего у нас многообразные корни и способного подвергнуться модификациям, которые далеко еще не будут означать возвращения на демократическую магистраль. Но я не стал бы наотмашь, ссылкой на рассказы барона Мюнхгаузе-

⁹ Гайдар Е. Письма в интернет. Уроки для современной России. М., 2006. С. 134.

на, перечислять вариант, при котором персонафикатор мог бы стать ведущим актором перемен. Такое уже было при Горбачеве. Правда, для этого необходимо, как минимум, три условия. Во-первых, далеко зашедший кризис системы. Во-вторых, определенный тип взаимоотношений если и не внутри всей бюрократии, то хотя бы среди тех, кого А. Зудин называет «сверхэлитой» (т.е. высокая степень ее управляемости). И, в-третьих, определенные качества личности персонафикатора. Но о них мы ничего не знаем даже применительно к фигурам, которые рассматриваются как претенденты на главный государственный пост.

Обязательно ли преемник Путина в интересах собственной легитимации, как предполагает Г. Сатаров, займется отрицанием своего предшественника, результатом чего может стать «сценарий оттепели»? Исключить это, по-видимому, нельзя. Так нередко бывало, и примеры Хрущева и Горбачева (я бы добавил Ельцина) в таком контексте вполне уместны. Но на память приходят и иные случаи, когда преемник закреплял свою легитимность, педалируя действительную или мнимую преемственность. Вспомним: «Сталин — это Ленин сегодня», не говоря уж о сонме мелких диктаторов. Поэтому рассматривать вариант президента — демократического реформатора можно лишь как абстракцию. Но даже и ее как не слишком вероятную.

Пресловутая стабилизация

Когорта официальных идеологов и пропагандистов («кремлевская школа политологов», по И. Клычанову и Т. Кутковец) не устает противопоставлять хаос и эксцессы 1990-х годов наступившей и сохраняющейся уже в течение ряда лет стабилизации. Об этом в ходе нашей дискуссии смел необходимым еще раз напомнить один из представителей данной когорты Сергей Марков. В обоснование приводятся обычно как реальные факты (экономический рост, хотя и с падающими темпами, оживление некоторых отраслей национального производства после дефолта 1998 года, упорядочение с выплатами зарплат и пенсий), так и фантомы (ласкающая «патриотические» чувства внешняя политика, удаление из политики «олигархов» и др.). Коронный довод — устойчивое, сохраняющееся в течение ряда лет доверие и одобрение деятельности нынешнего президента большинством наших сограждан, столь выгодно контрастирующее с отношением к первому российскому президенту в последние годы его правления. Стабильность на базе так называемой «управляемой» или «суверенной» демократии (то и другое, конечно же, оксюмороны) в этой идеологии перевешивает и оправдывает выстраивание джепартийной системы сверху, вытеснение публичной политики, гипертрофию исполнительной власти и теневых структур внутри нее, создание муляжей на месте парламента, суда, общественных институтов.

Однако такая стабильность — надолго ли?

Во-первых, никто еще не научился прогнозировать конъюнктуру мирового рынка энергоносителей, который сейчас обеспечивает нашей стране высокие рентные доходы. Доходы эти, хотя и используются, по мнению многих специалистов, далеко не самым эффективным образом, обеспечивают государству значительную свободу распоряжения большими резервными ресурсами. Но курс на закрепление за Россией статуса «энергетической сверхдержавы», или, что то же самое, ставка на «экономику трубы», форсирует разнотипное развитие социально-экономического организма. Экономическую основу стабильности подрывают процессы «демократизации» (Г. Ядлинский), «игра в модернизацию сверху» (Е. Ясин), «выстраивание корпоративного государства» (А. Илларионов), чудовищный размах коррупции (Г. Сатаров) и расширение казенных денег (В. Путин).

Во-вторых, если даже допустить, вслед за некоторыми прогнозистами, что высокая конъюнктура мирового энергетического рынка будет сохраняться в течение 10–15 лет,

нельзя исключить воздействие на устойчивость политической ситуации неэкономических факторов. Так, внешние позиции России могут резко ухудшиться под давлением агрессивного исламского экстремизма и фундаментализма и/или непредсказуемой экспансии поднимающегося на восточных границах гиганта, отложившего, но не позабывшего разнообразные претензии к нашей стране, стоявшие в повестке дня в 1960–1970-е годы. Дефицит стратегического мышления во внешней политике Российского государства очевиден: игры в «многовекторность» внешнеполитического курса, раздувание мифической угрозы со стороны Грузии или проблематичного вступления Украины в НАТО, уклончивая позиция по отношению к диктаторским режимам и террористическим организациям. Все это при достаточно вероятных обострениях международной обстановки может еще более осложнить наши отношения с сообществом демократических государств, создать трудноразрешимые кризисные ситуации.

В-третьих, довольно вероятны обострения и внутри правящего класса. Разгром ЮКОСа, претензии, предъявляемые одному за другим иностранным инвесторам, силовые игры вокруг выставленных на продажу объектов собственности, схватки по поводу Земельного и Лесного кодексов — сигналы, свидетельствующие о том, что борьба за передел собственности вступила в новую фазу. На арену выходят обделенные при первичном растаскивании лаковых ее кусков или считающие себя таковыми. Ставки в этой борьбе по сравнению с «тубайсовским» этапом приватизации повысились в разы. Теперь речь идет не о предприятиях, «лежащих на боку», а об объектах, цена и прибыль с которых неманово выросли. Разворачивается «война без правил», регулируемая не законом, а «понятиями». Преимущество в ней получает тот, кто имеет доступ в высокие кабинеты и способен насильственно сметать с пути конкурентов, не останавливаясь перед уголовщиной. Все это колеблет устой государственного порядка, поскольку власть и собственность тесно переплетены. В связи «предпринимательчишкой» ключевые позиции вернул себе представитель государственной власти, а поскольку не гарантировано соблюдение закона и отсутствуют механизмы общественного контроля, узлами оба.

Понятно, что система, в которой последовательно отсекались обратные связи и выстраивалась пронизывающая «вертикаль власти», потенциально неустойчива. Жесткие конструкции и в природе, и в технике, и в обществе, как правило, оказываются менее прочными, чем гибкие и пластичные, менее способными выносить сверхнормативные нагрузки. Государство, которое не имеет устоявшихся, законодательно закрепленных и защищенных независимыми судами процедур разрешения противоречий и конфликтов, живет на пороховом погребке. Трудно сказать, когда произойдет взрыв, что его спровоцирует и какой силы он будет.

Нам объясняют: группы, утвердившись у власти, потому будто бы удаляют составительные механизмы и автономные институты, что рассчитывают авторитарными методами проще и быстрее осуществить модернизацию экономики и общества. Но ведь объективным результатом этого курса является как раз демодернизация. Что же касается субъективных мотиваций властных элит, то они всего более озабочены самосохранением и перераспределением собственности на высокодоходные активы и обладают, как некогда сказали про нашего президента его бывшие начальники, «пониженным чувством опасности». И, похоже, не только они. По справедливому замечанию Л. Шевцовой, «ни государство, ни оппозиция, ни гражданское общество не готовы к нештатным ситуациям, когда слетает резьба и болты летят во все стороны»¹⁰.

Итак, пришедшая вслед за «эпохой бури и натиска» экономическая и социально-политическая стабильность относительна, неустойчива, ведет в тупик и чревата пар-

¹⁰ Новая Газета. 2006. 24–26 сентября.

вом. Значит, в интересах общества — сменить тип и основания стабильности. Но только безумец может форсировать взрыв, не задумываясь, откуда он может исходить.

Самая очевидная внутренняя угроза стабильности — поднимавшаяся националистическая, ксенофобская волна. Националистические настроения вылились на улицу, стали явлением политической жизни еще на излете перестройки. Впервые я столкнулся с ними в дни избирательной кампании 1990 года. Шовинистическим пьяным утаром дышала изготовившаяся к погрому толпа у Белого дома осенью 1993-го. Но все-таки то были отдельные всплески на периферии общественной жизни. Сегодня же социологические службы фиксируют небывало широкое распространение отторжения от людей «чужой» нации и расы. Более половины респондентов соглашались с лозунгом «Россия для русских!»: можно представить ответную реакцию среди других народов России. Пока это происходит преимущественно в пассивных формах. Но уже функционируют различные организации, сами названия которых варьируют от квазизаконных (ДПНИ) до откровенно антиконституционных («Русский порядок»). Проводятся тысячи (что немало по нынешнему уровню уличной активности) шовинистические марши и митинги. Рядовым явлением становится нападения на иностранцев, российских граждан с иным цветом кожи и разрезом глаз и антифашистов — вплоть до убийств.

Совладать с этой волной власть не может или не хочет. Не отдавая себе отчета в опасности, которая угрожает им самим, выборные и назначенные начальники на разных ступенях иерархии, пытаясь решать какое-то свои синопсические задачи, либо стимулируют ксенофобскую активность, развязав, например, поисторную антигрузинскую кампанию, либо пасуют перед ней — достаточно вспомнить о расплывчатости официальных заявлений, о вызывающе мягких решениях судов, о пассивной позиции правоохранительных органов. А когда пытаются пресечь отдельные проявления ксенофобии, действуют неумело, непрофессионально.

И все же государственные структуры — в значительно большей степени, чем малодовольные митинги и пресс-конференции антифашистов, — сдерживают пока погромную волну, представляют собой плотину, худо-бедно ограждающую от анархической стихии общественный порядок, хотя как-то коррелирующей с нормами Конституции. Но, с другой стороны, именно государство консервирует и наращивает разрушительный потенциал, таившийся в глубинах общества.

Мечта о конституционном оптимуме, или Программа на послезавтра

Текст М. Краснова, открывший дискуссию, содержит замечательный анализ дефектов нашего конституционного устройства и программу его реформирования. Автор справедливо утверждает, что конституционные нормы, а не личностные особенности и мировоззрение лидера лежат в основе персоналистского режима. Необходимо подчеркнуть, однако, что само появление этих норм определялось в свое время сложившимся раскладом сил, взаимоотношениями внутри группировки, утверждавшейся у власти еще до декабрьского референдума 1993 года, и персоналистскими (я бы даже сказал — вождистскими) ориентациями вовлеченных в политику масс. Лишь на следующем этапе сама Конституция стала одной из скреп, хотя и не единственной, установившегося режима.

О том, как и почему это происходило, сказано выше. Добавлю только, что попытки вывести правительство из полного подчинения президенту предпринимались дважды. Впервые — еще в СССР в июне 1991 года, когда со своими предложениями о передаче части президентских полномочий правительству в ВС СССР выступили будущие гласхачисты. Мини-кризис был быстро разрешен, но опасность, которая не бы-

ла одновременно распознана Горбачевым, вскоре реализовалась в виде путча. Во второй раз — на Съездах народных депутатов РФ, начиная с VII (декабрь 1992 года), когда парламентская оппозиция, борющаяся за контроль над правительством, шаг за шагом двигалась к своей цели. Оба раза это были попытки реваншистов остановить демократические преобразования. Чтобы дальновидно оценить и реализовать преимущества парламентской (или парламентско-президентской) системы, демократы и реформаторы должны были иметь в парламенте либо твердо поддерживавшее их большинство, либо цивилизованную оппозицию, переход власти к которой не грозил бы реставрацией. Отсутствие того и другого подпитывало антипарламентские настроения — и в этом парадокс — у демократов.

А теперь уместно напомнить, хотя бы схематично, как протекал конституционный процесс¹¹. Когда Конституционная комиссия осенью 1990 года опубликовала свой первый проект, организация федеральной государственной власти в нем была представлена в двух параллельных вариантах. Сторонники варианта А, шедшие под девизом: «Президент — глава исполнительной власти», отклонили не только парламентскую, но и полупрезидентскую республику. В противовес был выдвинут вариант Б: «Ответственное перед парламентом правительство», во многом совпадающий с тем, что сейчас предлагает М. Краснов. Авторы обоих проектов — депутаты демократических фракций — исходили из того, что нужен баланс, при котором президент и парламент должны сосуществовать, согласовывая позицию и улаживая возможные конфликты через конституционные институты и процедуры, но расхотелись в том, как этот баланс лучше и надежнее обеспечить. Как я полагаю, в 1990–1991 годах возможно было согласовать эти проекты на основе, приближенной к варианту Б, что было более приемлемо и для большинства депутатов.

Утверждение Конституции посредством конституционной же процедуры через Съезд народных депутатов, когда еще не обострился конфликт между президентом и парламентом, избавило бы нас от многих бед. Но этот путь, к сожалению, оказался перекрыт. Каждое депутатское объединение стремилось обеспечить свой интерес: коммунисты-ортодоксы стояли насмерть, отстаивая «социалистические» прививалы (и даже бантики), представители автономий — абсурдные претензии на «суверенитет» своих образований. В результате разработка приемлемого для большинства проекта в течение трех лет продвигалась со скоростью телеги.

К 1993 году стало очевидно, что в условиях обострявшегося чуть не ежедневно противостояния в парламенте в нем не будет большинства ни под какой проект Конституции. И тогда на обсуждение сформированного президентом Конституционного совещания был брошен швырь, так называемый «президентский» проект, подготовленный группой экспертов под эгидой известных политиков — сторонников Ельцина. Это был проект такого «сверхпрезидентского» государства, аналогу которому трудно сыскать в конституционной истории демократических государств.

Конституционное совещание было по сути законосовещательным институтом, не предусмотренным Конституцией. Однако не считаясь с его рекомендациями в политической обстановке лета 1993 года президент, сформировавший его в довольно представительном составе (832 человека разных политических ориентаций), не мог. Опыт работы на Совещании убедил меня, что там можно было добиваться многого: в итоговом проекте был убран ряд крайних, подчас даже экзотических положений проекта исходного и добавлены важные нормы из проекта, готовившегося Конституционной комиссией Съезда народных депутатов. Возможно, удалось бы добиться боль-

¹¹ Подробно см.: Шейнис В. Валет и падение парламента. Переломные годы в российской политике (1986–1993). М., 2006. Гл. 6, 20, 21.

шего, если бы оппозиция, рассчитывавшая на решительную победу, не объявила бойкот всем президентским инициативам. Участие ее экспертов в изумительных многодневных дискуссиях помогло бы отодвинуть текст, в конечном счете вынесенный на референдум, еще дальше от первоначального замысла наиболее радикальных сторонников президента. Но завершение работы происходило уже после подавления октябрьского митинга, и это также наложило отпечаток на окончательный вид документа. В результате мы получили то, что имеем, хотя, подчеркну, не в самом худшем из предлагавшихся тогда вариантов.

Так обстояло дело вчера. Сегодня же заниматься исправлением Конституции — дело не очень актуальное, не слишком вероятное и, может быть, даже опасное.

Не очень актуальное — потому что содержащиеся в ней перекосы не являются ни единственным, ни главным препятствием для корректировки баланса властей: Конституция не столько «сверхпрезидентская», как мне не раз приходилось писать, сколько «недопарламентская». И поправить дело можно было бы изданием актов, в правовой системе располагающихся ниже Конституции: конституционными и федеральными законами, постановлениями Конституционного суда и т.д.

Не слишком вероятное — ибо осуществлять его некому. При сложившемся соотношении политических сил никто без сигнала из Кремля к Конституции не притронется. Если же такой сигнал поступит, то, учитывая нынешнее направление политико-правовых веяний, изменения могут быть только к худшему: лиха беда — начало! Так что нежелание президента заняться правкой Конституции — ко благу. Возможно, приподнять влияние парламента на правительство можно было в 1998–1999 годах, когда многие, в их числе и М. Краснов, готовили поправки к Конституции. Но окоя быстро захлопнулось. А чтобы приступить к «системному изменению конституционной матрицы» (в отличие от внесения частных поправок), надо снять запоры с встроеного в Конституцию неплохого механизма ее самосоцеты, пересмотреть статью 135, в которой этот механизм прописан, а для начала — провести конституционный закон о Конституционном собрании, проекты которого, слава богу, пока отлеживают в каких-то записках. При нынешних обстоятельствах это означало бы открыть ящик Пандоры.

Нимало не преуменьшая полезность замены «плохого» закона «хорошим», не следует забывать о различии между «конституцией в книгах» и «конституцией в жизни». «Власть закона» — вещь великолепная. Но закон сам по себе не действует — к нему нужны руки и ноги. Наши беды в большей степени проистекают из неисполнения законов, нежели от их несовершенства. Потому что вполне приличные законы не соблюдаются, как о том напомнил И. Яковенко, на «упругую среду гражданского общества» и на впечатанные в его сознание традиции. Появление же такой среды, которая потребует также и соответствующего конституционного оформления, дело не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня. Путь к тому долг. Поэтому конституционный проект М. Краснова — великолепная (говорю без иронии) программа на послезавтра. Ее реализация зафиксировывает итог пройденного пути и застрахует общество от рецидивов авторитаризма.

«Долгая дорога в дюнах»

Так назывался полузабытый советский фильм, герои которого мучительно искали выход на жизненную магистраль. Этот образ вспомнился мне по причудливой ассоциации: дорога пролегает где-то рядом, но за дюнами ее не видно. Поэтому маршрут неочевиден, а путь длинен. На рубеже 1980–1990-х годов наше общество попыталось сделать прорыв, но с ходу — не получилось. Теперь перед сторонниками эволюционных, реформистских преобразований вопрос стоит иначе: что могут и должны они де-

лать в условиях контрреформации и «разорванного» массового сознания, в котором недоверие к большинству властных и общественных институтов и низкая оценка их «достижений» сочетаются с устойчивым доверием к президенту, воплощающему безальтернативность надежды, как это убедительно показано в исследованиях Юрия Левады и его центра.

Вопрос: реформаторы и общество, демократы и народ — ключевой. Ностальгические воспоминания о многочисленных демонстрациях на улицах наших крупных городов в 1989–1990 годах берет душа. «Никому не интересны ни мы, ни демократия», — с горечью сказал мне недавно один из активистов демократического движения тех лет. Но от расслабляющих lamentаций, которым склонны предаваться потерявшие себя люди, давно пора переходить к трезвому анализу общественных настроений, какими они были и есть. Прежде всего — освободиться от романтического флера, которым в сознании многих из нас окутаны драматические события «демократической весны», — по контрасту с тупой неизменностью времен застоя. «В конце 80-х многим казалось, — писал Ю. Левада, — что из-под обломков коммунистического режима появится нормальный, активный человек, готовый для свободной жизни. <...> Человек, которого мы начали изучать в 1989 году, оказался скорее растерзанным и встревоженным, чем освобожденным»¹². Именно такой человек, увидев, что его надежды обмануты, ушел из политики или, того хуже, пошел под совсем иные знамена.

Его далеко не убагатовляет «стабилизация» последних лет. Достаточно вспомнить вспышки протеста в ответ на безумные действия властей по отъему льгот в 2005 году. Но для тех, кто не склонен ими обольщаться, я воспроизвожу выводы, содержащиеся в последней опубликованной при жизни статье Ю. Левады¹³.

Во-первых, в отличие от времен двух российских переломов в начале и в конце XX века, «общественное недовольство и протесты сосредоточены в наиболее консервативных слоях и имеют скорее традиционалистский, чем авангардистский характер. <...> Под маской „левых“ выступают люди и группы, ориентированные на консервативно-советские порядки, при которых никакой „борьбы за права“ просто не существовало». Так что если бы кому-либо удалось разворочить улицу сегодня, демонстранты собрались бы вовсе не под демократическими знаменами.

Верно, конечно, что в нашей политической культуре есть, как напоминает А. Зудин, представления и ценности, которые могли бы стать опорой движения «по демократической траектории». Но сегодня они востребованы значительно меньше, чем во время выборов в Учредительное собрание в 1917 году и в союзный и республиканский протопарламенты в 1989 и 1990-е: история, к сожалению, знает не только подъемы, но и откаты. И если обращаться к прошлому, то надо согласиться с А. Мидлером: главные уроки российской истории — не в примате общественного над личным, а в слабой (я бы добавил: дискретной) способности наших людей к самоорганизации.

Во-вторых, собственно протестный потенциал не следует переоценивать. Между недовольством и готовностью переходить к активным действиям — колоссальная дистанция. Ю. Левада иллюстрирует это следующим образом. В 2005 году с одобрением или пониманием к акциям протеста относились 76% опрошенных, а готовы были принять в них участие 27%. Реально же в них участвовало по всей стране в 100 раз меньшее число людей — около 0,2% взрослого населения или 0,3% сочувствующих. Надо

¹² Новая газета. 2006. 20–22 ноября.

¹³ Левада Ю. Человек невзрослый? // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2006. № 5. С. 12–17. Я процитировал и члпала за пространное цитирование: к несчастью, этот выдающийся ученый и гражданин, «нравственная позиция которого была безупречна во все времена, не сможет теперь сам сказать свое слово.

согласится: постсоветское общество оказалось чрезвычайно десолидарным и социально деструктурированным¹⁴.

В-третьих, и это самое главное, «рассеянное и беспомощное массовое недовольство» (его «позитивная» точка отсчета — в мифологизированном прошлом, а протест направлен прежде всего против «чужих» и «чуждых») «на деле служит средством нейтрализации и обесценивания протестного потенциала, а в более широком плане — средством оправдания сложившейся системы государственного произвола и общественной беспомощности». Сама слабость протеста и его низкая результативность могут восприниматься как сила и даже как правда тех, против кого он направлен.

И, наконец, заключительный вывод: «Никакой перебор сегодняшних компонентов общественной жизни, в том числе и с помощью массовых опросов, не способен обнаруживать ни в „озабоченных“ изхах, ни в более удовлетворенных „элитарных“ слоях реальных „ростков“ иной системы отношений между человеком, обществом и государством, которая может и должна быть сформирована с изменением обстоятельств и в результате целенаправленных усилий».

Здесь-то и зарыл корень проблемы. Как могут измениться обстоятельства и к чему должны быть приложены целенаправленные усилия? Попробую продолжить размышления Ю. Левады.

Неконструктивными, более того — контрипродуктивными представляются мне попытки объединить всех недовольных существующим режимом безотносительно к их социальной и политической природе, призывы к демонстративным формам противостояния властям, включая акции, грубо нарушающие закон и общественный порядок. Ни из чего не вытекает, что из этого родится режим либеральной демократии или хотя бы будут заложены к тому предпосылки.

Прав В. Лапкин: некоторые оппоненты режима преувеличивают свою способность управлять революционной стихией в обществе, не имеяем иммунитет к заразе национализма. Развязать бунты и погромы в России не раз получалось легко, выхлестать из них было трудно. «Управляемый социальный взрыв» в интересах российской демократии — пустая и вредная иллюзия. Он-то непосредственно или через ряд промежуточных ступеней скорее всего и приведет к «еще более традиционалистскому, одноцветному, жесткому национал-популистскому режиму», на кановую грозную опасность справедливо обращает внимание Л. Шевцова.

Большинство участников дискуссии сходится в том, что верное и в сегодняшней ситуации, и на перспективу решение — в формировании структур гражданского общества. Это кажется бесспорным: наступило время не разбрасывать, а собирать камни на развалинах неудавшейся стройки. Необходимо, однако, оговорить два момента.

Во-первых, это долгий, не обещающий вскорости впечатляющих результатов процесс. Не только из-за малой способности к самоорганизации нашего общества, в котором сознательно и целенаправленно долгое время выкорчевывались ростки иной традиции, но и потому, что и сейчас государство с немалым рвением занимается тем же самым: держит реальные общественные организации на осадном положении, заполняя открытое пространство муляжами.

Во-вторых, не стоит поддаваться широко распространенному в обществе антипартийному синдрому. В его основе — и воспоминания о «руководящей и направляющей», и отторжение от имитации чего-то подобного в лице современных кремлевских

¹⁴ Лепар «Независимой газеты» обращает внимание на то, что за годы прошедшие после распада СССР, у нас не было ни одной всеобщей забастовки. В других странах повышение цен на хлеб и/или на топливо чаще всего приводит к восстаниям, «в России же легко протолкнуть дефолт». См.: Галкин В. Сжатая груда нечужих // Независимая газета, 2006, 23 октября.

квизпартийных клонов, и разочарование в не слишком удачных попытках низового демократического партстроительства. К тому же меняется (некоторым кажется — падает) роль партий на Западе. И тогда решение пытаются изыскать в других местах. «Старая политика, основанная на традиционных институтах — партиях, парламенте, выборах, себя исчерпала, и наступает время новой политики», — обмолвилась (верю, что только обмолвилась) Л. Шевцова, высказывая предположение, что эти институты по части представительства интересов различных групп населения будут заменены более эффективными непартийскими гражданскими организациями. Довольные — безусловно. Замечены — едва ли. Потому что речь идет о неотъемлемых атрибутах государства, которое нигде не собирается «отмирать».

Сами по себе непартийские гражданские структуры, как бы эффективны они ни были в своей области, не могут изменить характер власти. Над или рядом с ними должна существовать надстройка — нормальный политический, электоральный рынок, как его называет И. Яковенко, включающий все перечисленные институты: выборы, партии, парламент (непартийный парламент в наше время — нонсенс). Но такого рынка в России сегодня нет. И. Яковенко отводит на его создание пять лет. Прогноз, по-моему, сверхоптимистический, если привести во внимание тотальную зачистку политического поля в преддверии федеральных выборов и такую переделку избирательной системы, при которой, как заметил Владимир Рыжков, «Чавес и Мубарак просто отдыхают».

Итак, вырисовывается довольно безрадостная картина: прямой штурм власти малореален и опасен, создание структур, которые могут обеспечить действенный гражданский контроль над властью, — процесс необходимый, но долгий и трудный, победа демократических сил на выборах заблокирована. Понимаю, что в глазах тех, кого бесит бесчинства властей и кто хотел бы увидеть перемены глубокие и скорые, во всяком случае при собственной жизни, автор нарисованной картины заслуживает обвинения камнями. Но сошлюсь на вышедшего из моды классика: страшни иллюзии и самообман, хуже всего — приукрашивание действительности.

Что же делать людям активным и неравнодушным к судьбам собственной страны, которые не видят себя в бизнесе, эмиграции или замкнувшимся в частной жизни? Ничего вдохновляющего и неожиданного я сказать не умею. И все же.

Миссия интеллигенции — хранить демократические традиции и своей деятельностью приближать «другие времена». Надо не давать сбить себя с толку, пристально следить за ходом событий, которые могут принять неожиданный оборот, как это не раз бывало в нашей истории, быть способным адекватно оценить происходящие изменения и их последствия. Роль интеллигенции в том и состоит, чтобы формировать во кругу себя микроклимат познания происшедшего и транслировать свое понимание обществу, используя для этого все доступные каналы. Участвовать в различных гражданских инициативах на уровне «корней травы» в надежде, что на этот раз их ни вырвать, ни затоптать не удастся. Противостоять, насколько зовут мужества и сил, безалапно и прощолу и, уж во всяком случае, не предписывать пожелания начальства, не уподобляться тем вчерашним прогрессистам, которые перебежали на сторону побеждающей реставрации. Задать образцы нравственного поведения актуальны молодым поколениям, которые проходят социализацию в не слишком благоприятных условиях. Поддерживать, продлевать жизнь тех научных, политических, общегосударственных структур, которые сохраняются со времен демократического подъема и кому-то могут показаться реликтовыми. Это фатальки, которые важно не дать загасить, чтобы их не пришлось зажигать заново, когда придут другие времена.

Сейчас предпринимаются попытки зажечь в разреженном воздухе новые фатальки, дать жизнь новым демократическим, политическим и непартийским струк-

турам. Важно не противопоставлять их уже существующим, имеющим за собой определенную традицию. И не размывать принципиальные основы демократической оппозиции, саркастичная ее бог знает с чем и с кем в угоду дурной тактике. Кто знает и может — пусть расширит этот перечень.

А теперь о том, при каких условиях могут измениться обстоятельства, которые описал Ю. Левада.

Что там, за поворотом?

«Российскую систему нельзя оптимизировать, т.е. нельзя реформировать ни по частностям, ни по блокам, — пишет Л. Шевцова. — Ее можно только реконструировать как совокупность, как целое, изменив ее матрицу — основные принципы ее построения». Пусть так. Я готов согласиться и с предложенной М. Красновым принципиальной схемой построения власти, замещающей нынешнюю, — частности можно корректировать, когда дойдет до дела. Проблема, однако, заключается в том, как это может произойти — одновременно или через ряд промежуточных сдвигов.

Драматической сценарий развития событий, по-видимому, исключить нельзя. Острый кризис может быть спровоцирован экономической либо экологической катастрофой, внешней угрозой или каким-то особенно громким скандалом наподобие дела об убийстве Гонгадзе, внесшего немалый вклад в дестабилизацию режима Л. Кучмы. Наиболее вероятный алгоритм такого сценария: серьезные социальные и политические потрясения — схватка за власть — решительная победа одной из сторон — реорганизация режима. Только вот ожидать, что при нынешнем (да и на обозримую перспективу) состоянии общества в условиях разразившегося кризиса победитель введет либеральную демократию, сбалансированное разделение властей и т.д., по меньшей мере, наивно. Намного вероятнее, почти гарантировано, что в этом случае мы получим значительно более жесткий авторитаризм, по сравнению с которым нынешний режим покажется чуть ли не царством свободы. И тогда придется ждать, когда уже этот, накопивший свежий кровавый строй пройдет, как прежде сталинизм и постсталинизм, все фазы саморазрушения (ибо в XXI веке, да еще в Европе — он не жалец). Но кто может сказать, какую цену будет платить за реализацию такого сценария народ? И кто даст гарантию, что при этом не обрушится страна?¹⁵

Другой вариант перехода (о нем говорил И. Шаблинский) — через «предельно аккуратные, частные и конкретные институциональные усовершенствования» — тоже вряд ли может быть инициирован иначе, чем кризисом, и едва ли будет осуществляться планомерно и безболезненно. Однако уставшее от передряг общество, в отличие от радикалов и ветераницев, объективно заинтересовано в том, чтобы переход происходил мирно, с минимальными потрясениями, с возможности на основе максимально достижимого консенсуса. По-видимому, непременное условие начала такого перехода — раскол в элитах, в экономической и политическом господствующем классе. Причем раскол глубокий, а не просто вызов, который может бросить вчерашним соотарицам одинокий протестант, хотя бы он и был в недавнем прошлом знаковой фигурой. То есть речь идет об известном ленинском «верхи не могут», что может открыть дорогу и революции, и глубоким реформам.

Только раскол в элитах может создать условия для мирного, т.е. постепенного, с последовательной заменой отдельных «частностей» и «блоков», процесса преобразования. И, соответственно, открыть пространство для возвращения на политическое

¹⁵ Мне трудно разделить optimism А. Архивельского, который, с одной стороны, справедливо рассуждает о превратности и рисках переходного периода, а с другой — почему-то выражает уверенность, что обломки падающего строя будут — в отличие от крушения СССР — совсем мелкими, погибнуть под которыми нельзя.

поле сил, способных выдвинуть демократическую альтернативу существующему порядку. Теоретически мыслимо, например, что столкновение между антиамериканскими, антизападными, имперски мыслящими и более дальновидными и ответственными группами у власти в понимании национальных интересов (а их понимание сейчас различно, если не противоположно) может создать условия для открытой политической дискуссии, в которую вступят более широкие общественные силы. От такой дискуссии до выдвижения разных предвыборных программ, мобилизующих социальную активность ушедших из политики людей, — всего несколько шагов.

«Оранжевая революция» на Украине победила не только потому, что сотни тысяч людей вышли на Крещатик и улицы других украинских городов. Сам этот выход оказался возможен и результативен, потому что до этого произошел глубокий раскол, примерно надрез, в украинских политических элитах. На последних выборах белорусского президента манипуляции и фальсификации были более наглыми, чем на Украине в 2004 году, и протест, вероятно, мог бы привлечь на улицы значительно больше людей, чем их в Минске оказалось. Но режим Лукашенко сумел консолидировать белорусскую элиту. Если Россия в предстоящие годы не будет втлута в «неслыханные метели» стихийного происхождения, на что хотелось бы надеяться и чему демократы в меру своих сил должны асически противодействовать, то рассчитывать на возобновление широкого демократического процесса до возникновения серьезного раскола в правящих элитах, вероятно, не следует.

Россия, конечно, не Белоруссия. Но она и не Украина. Отличаются не только элиты, но и общества. Потому в России раскол в элитах — условие необходимое, но недостаточное. Элиты не существуют в замкнутом пространстве. Проблема в том, с какими лозунгами могли бы выйти и кого в тех же эвентуально расколовшихся элитах могли бы поддержать толпы на улицах российских городов. Выше я уже касался этого вопроса. Заострю его еще раз, коль скоро Г. Сатаров настаивает, что «спрос на демократическую альтернативу по-прежнему существует <...> он не уменьшился <...> нет кризиса спроса, а есть лишь кризис предложения».

На деле наша сегодняшняя ситуация хуже не только той, что сейчас на Украине, но и той, что была в СССР в начале перестройки. Подъем либерального и демократического общественного движения снизу и извне сложившейся политической системы, которое придремывало бы мирных и конституционных принципов, способно было побудить реалистически мыслящую часть правящей бюрократии произвести переоценку ценностей и собственной роли, а затем и прорвать задвижки «управляемой демократии», — подъем такого движения, на мой взгляд, сейчас совершенно невозможен. При этом сохранение status quo — еще не худшая перспектива. Нельзя не видеть, что на строителей «управляемой демократии», переименованной теперь в «суверенную», оказывается и, вероятно, будет усиливаться давление и с другой стороны. Шовинистические, ксенофобские, а порой и открыто фашистские настроения в обществе набирают силу не без попустительства, а нередко и прямого пособничества наиболее реакционных элементов правящей группировки. На волне социальной неудовлетворенности демагоги и экстремисты, не чурающиеся экстралегальных призывов и действий, будут пытаться оседлать протестные настроения и сформировать соответствующие движения. Горячий материал для этого в стране постепенно накапливается.

Искушение растрести ситуацию, в той или иной форме ассоциируя с националистическими и сталинистскими силами на основе антинацальной позиции и ради усиления нажима на правящую группировку, к чему выказали склонность некоторые общественные деятели демократической ориентации, представляет серьезную опасность. Такая ассоциация может привести не только к дискредитации российских де-

мократов, но и к дезорганизации социальной жизни, из которой может вырасти еще более жесткая и реакционная диктатура. Ибо возможности ухудшения так же безграничны, как и улучшения.

Консолидация демократических (а не любых оппозиционных) сил в политике, равно как и забота об институтах гражданского общества, — задача сверхактуальная при любом развитии событий, при любой политической погоде. В этом, кажется, у демократов нет разногласий. Разночтения, однако довольно значительные, появляются при оценке того, чего можно ожидать от эволюции правящего режима, перестановок внутри соединившихся под его эгидой социально-политических сил и более конкретно — от предстоящих федеральных выборов.

До недавнего времени мне казалось, что ничего интересного от этих выборов, особенно парламентских, ожидать нельзя — все жестко запрограммировано, а кто будет назначен в 2008 году наследником, не столь важно. Однако так ли это?

Нашу политическую жизнь сегодня, как было в России почти всегда, можно уподобить кибернетическому черному ящику: что происходит внутри, неизвестно не только обществу, но и сторонним аналитикам. Но профессиональный опыт должен помочь в интерпретации поступающих «на выходе» сигналов, хотя и от ошибок никто не застрахован.

Упомяну некоторые из таких сигналов. Чрезатая неожиданными поворотами неопределенность: какое место займет нынешний президент в государственной системе после 2008 года и как в связи с этим может быть модифицирована сама система. Вступившая в острую фазу борьба за передел крупной собственности. Разворачивающиеся конфликты за рычаги влияния в регионах и возникающие на этой основе перегруппировки. Череда громких политических убийств. Криминальные скандалы. Сюрпризы последнего этапа партстроительства, которые заставляют задуматься: удовлетворится ли новообразованием декоративной ролью клонов партии большинства?

Исходной точкой новой политической динамики, утверждает И. Яковенко, могут стать «глухости» власти. Кажется, за ними дело не станет. Возникает вопрос: не стала ли легка разматываться в обратном направлении и не возвращаются ли отношения внутри правящего класса, консолидировавшегося вокруг президента, к тому состоянию, в каком они были перед думскими выборами 1999 года? И если российская политика вдруг станет хоть в какой-то мере зависимой от итогов парламентских выборов, то не откроет ли это дорогу — учитывая реально существующие противоречия между различными кланами и группами господствующего класса — к возвращению конкурентного начала на выборах и, через ряд промежуточных ступеней, к ослаблению, а затем и преодолению политического монополизма?

Все это сейчас может показаться оторванными от жизни фантазиями. «Кнут ведь истреплется, скажем народу, лет через сто ты получишь свободу», — издевался над постепенщиками Ю. Мартов. Не забудем, однако, что именно тогдашние политические друзья, а впоследствии противники Мартова как раз и отказали российским свободам на сто и более лет назад.

Но вернемся к сегодняшнему дню. В своем выступлении А. Зудин, перечислив ряд интриг, прорисовывающихся в близкой перспективе, высказывает предположение, что избирательные кампании могут стать точкой бифуркации, за которой — три различных сценария: политическая децентрализация, новый моноцентризм и третий срок¹⁶.

¹⁶ Текст А. Зудина «Предвыборная кампания 2007–2008 годов: ключевые интриги и сценарии трансформации политического режима» размещен на сайте Центра политических технологий и был дублирован на научно-практическом семинаре им. А.М. Салмина «Полития» 7 ноября 2006 года. Такое же предположение он высказал и в нашей дискуссии: за ротацией власти последует ее «партизация».

Вскоре мы увидим, насколько справедлив этот прогноз. Но известную, хотя бы и частичную фрагментацию нашего политического режима в не слишком отдаленном будущем исключать не стоит. А если так, на смену монополярной политической конфигурации может прийти новая динамика. Вытекающие из этого возможности «реформ сверху» не надо переоценивать, но какую-то принципиально отличную от сегодняшней перспективу они могут открыть.

Основные усилия демократов — политиков и экспертов — должны быть, как мне кажется, сориентированы не столько на непосредственное достижение ближайших, в том числе электоральных, результатов или еще менее значимых театрально-зрелищных эффектов, сколько на создание и поддержание в мобилизационной готовности структур и заделов, способных использовать проективные возможности, которые могут возникнуть завтра. Впереди — не спринтерская, а стайерская дистанция. Однако сам выход за пределы архаичной, не отвечающей современным общественным потребностям социально-политической модели может осуществляться достаточно неожиданно и разными путями. Ход вещей часто ломает и извращает логику человеческих намерений. А чтобы российское общество не было в третий раз достигнуто врасплох, необходимо понять, что и почему с нами произошло в последние два десятилетия, в какой точке исторического цикла сегодня находится страна, насколько неустойчива обманчивая стабильность, пришедшая на смену потрясениям перестройки и постперестройки, и как сохранять ростки гражданского общества перед натиском сил, ему враждебных.

**«НАДО НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ,
ЗАКОНЧИВ БЕСКОНЕЧНУЮ РЕФЛЕКСИЮ
ПО ПОВОДУ ВОЗМОЖНЫХ
СЛОЖНОСТЕЙ»**

Впечатление от знакомства с материалами дискуссии двоякое. С одной стороны, целый ряд проблем, на которых она сфокусирована, обсуждается ее участниками достаточно профессионально. С другой стороны, в представленных на сайте текстах я не обнаружил ничего, о чем ранее так или иначе уже не дискутировали бы в российском политологическом сообществе. Отсюда, на мой взгляд, следует, что оно блуждает по замкнутому кругу, обсуждая каждый раз один и тот же набор тем и вопросов. Но если так, то либо это проблема политологического сообщества, которое не может выйти на новый этап своего развития, либо — проблема страны, которая застряла на определенном историческом этапе. В реальности, естественно, слетены элементы и того и другого, но я бы сделал акцент на первом, т.е. на проблемах сообщества.

Дело в том, что страна в целом по объективным причинам не может стоять на месте. Она либо движется вперед, либо, стагнирует, опускается вниз, потому что для страны остановиться — значит начать движение вниз. Сегодня, если судить по обобщенным экономическим показателям, открытого движения вниз уже не наблюдается. Между тем у нашего профессионального сообщества дела обстоят значительно хуже.

Это сообщество оказалось в очень сложной ситуации. По сути дела — в ситуации интеллигентской элиты стран третьего мира, где очень остро стоит вопрос о востребованности самой такой элиты. В развитом мире, в странах «золотого миллиарда» интеллигентская элита (политологическая в том числе) формирует повестку дня для всего общества. Там мы наблюдаем то, что Йозеф Шумпетер назвал демократией экспертов. Именно экспертное сообщество задает для демократии коридор целей и смыслов, внутри которого обсуждаются ее реальные перспективы. Но это характерно лишь для стран начавших с определенного уровня развития, понимаемого в широком смысле, когда жизненный уровень подразумевается лишь как один из составных элементов.

Проблема же России состоит в том, что она в предыдущий исторический период своего существования смогла создать развитую интеллигентскую элиту — то самое сообщество экспертов. Но на известном этапе (начало 1990-х годов) в развитии страны произошел перелом, и по большому числу показателей она спустилась ниже того уровня, при котором интеллигентская элита оказывается востребована и ценима. Иными словами, сегодня у нас интеллигентское сообщество имеется, а подобающий уровень развития страны отсутствует. Поэтому сообщество это прежде всего сталкивается с проблемой воспроизводства самого себя в ситуации своего драматического несоответствия окружающей действительности.

Поясню, о чем идет речь. Для меня, как человека, прошедшего школу марксистского интеллигентского воспитания, первичны объективные параметры, та социально-экономическая реальность, которая на данный момент сложилась в России. И именно этой социально-экономической реальности не соответствует российская

элиты. Она сложнее данной реальности. В результате наблюдается парадоксальная вещь: страна развивается, но по своему устройству и используемым методам управления остается отсталой в сравнении с тем устройством и теми управленческими задачами, к которым в свое время готовилась ее интеллектуальная элита. И поэтому для участия в решении тех или иных конкретных проблем элите этой предлагается стать менее сложной, более «прикладной», а по большому счету — более принятивной. Если она не опустится до уровня общественно-политической и экономической реальности, то такая, какая она сегодня, она этой реальностью востребована не будет. Ни в количественном отношении, ни в качественном. Для того чтобы снова стать востребованной, она должна опуститься и соответствовать уровню страны.

Но это внешний, предъявляемый элите обществом (точнее — его активной частью, так или иначе причастной к выработке принципиальных решений) императив. Исходя же из ее собственных интересов и потребностей, утрата прежней сложности, которая, естественно, постепенно происходит, представляется нежелательной. Интеллектуальная элита хочет поддерживать и воспроизводить свое прежнее качество в условиях, когда жизненные обстоятельства принуждают ее к постепенной деградации.

Перед экспертным сообществом — своего рода дилемма. Интеллектуальная экспертиза калечной реальности и осмысление стратегических проблем развития России с логической неизбежностью подводит к выводу, что при нынешнем уровне государственного и общественно-экономического развития та элита, которая существует сегодня в стране, просто не нужна. Но, фиксируя этот очень жесткий для себя вывод, экспертное сообщество должно сделать и следующий логический шаг: реально оценить положение, в котором оно оказалось, и определить для себя приоритетное направление своего дальнейшего движения.

Российская интеллектуальная элита должна признать факт своей невостребованности нынешним российским обществом

Однако наша интеллектуальная элита — думаю, в силу инстинкта самосохранения — не в состоянии признать как непреложный факт даже свою принципиальную невостребованность. Естественно, у меня нет никакого морального права ее за это осуждать. Во-первых, потому, что я сам лишь себя надеждой принадлежать к этой самой элите. А во-вторых, я тоже не готов вот так выйти на всеобщую трибуну и признать: друзья мои, в общем-то я этой стране не нужен. Но если элита не может сделать даже первый шаг, то она не может начать и реальное осмысление проблем, которые стоят перед страной, и всерьез обсуждать, куда той дальше двигаться. Отсюда все эти недоговоренности, которыми переполнены наши аналитические тексты.

Но дело не только в неукоренности интеллектуальной элиты в сегодняшней российской действительности. Не менее существенна и позиция правящей политической элиты, которая заинтересована в сохранении духовного контроля над обществом и потому не склонна поощрять какие бы то ни было интеллектуальные «самокопания». Прежде всего — у так называемой «широкой общественности», динамика ориентаций и настроений которой — это что-то вроде кругов на воде: кто-то должен бросить первый камень, чтобы изменять ее стереотипы. Но бросать его никто либо не хочет, либо не может.

Итак, общая диспозиция такова: страна в целом опускается в третий мир, а ее интеллектуальная (экспертная) элита продолжает позиционировать себя как принадлежащую к «золотому миллиарду». При этом установка политической элиты далеко не тождественна установке экспертного сообщества. Какова же позиция политической элиты?

Должен сразу предупредить, что все мои размышления на сей счет во многом гипотетические, поскольку я выступаю лишь как внешний наблюдатель за процессами в этой среде умозаконосообразия. Так вот, если для интеллектуальной элиты вопрос о том, где мы находимся — внизу, в третьем мире, или наверху, в «золотом миллиарде», — крайне принципиален, то для элиты политической он второстепенный. Главное для нее — контролировать страну, а будет ли это страна третьего мира или страна, принадлежащая «золотому миллиарду», — малосущественные нюансы.

Что же отсюда следует? А следует то, что мы должны признать: внешнее движение России задается не интеллектуальным сообществом, а непосредственным хозяйным положением — ее политической элитой, представленной в основном высшей бюрократией. И движение это идет по линии наименьшего сопротивления, т.е. в направлении страны третьего мира. «Государственным управленцам» так легче и удобнее, ибо с точки зрения общей управляемости такая цель является более достижимой.

Очевидно, что в этой ситуации экспертное сообщество само подрывает основы собственного существования. Оно вынуждено выполнять две конфликтующие между собой функции: обслуживать политическое сообщество и одновременно поддерживать свое невостребованное экспертное качество. Но, обслуживая властное сообщество, интеллектуалы не в состоянии продиктовать ему собственную повестку дня. И поэтому вынуждены принимать ту повестку, которую задает сама власть и в которой им, как сложной социальной целостности, нет места.

Можно ли переломить эту вполне объективную ситуацию? Думаю, что можно. Однако для этого экспертное сообщество должно попытаться сформировать собственную повестку дня, а для начала хотя бы решиться обсуждать те проблемы, которые являются значимыми сегодня для большинства людей в России. И если оно вознамерится обсуждать такие проблемы, то первое, что оно должно сделать, — это признать, что в том виде, в каком оно сегодня существует, оно неадекватно не им заданному вектору развития страны.

Чтобы еще более наглядно представить суть стоящего перед российской интеллектуальной элитой выбора, позволю себе маленькое отступление.

Существует множество способов понимания «элиты», но попробую свести их к двум. Первый: элиты — это влиятельные группы, обладающие ключевыми ресурсами общества или контролирующие их. Второй: элиты — это группы людей, воспроизводящие и транслирующие базовые ценности и цели данного общества. Подтверждая методологическую значимость различий между двумя подходами, я, тем не менее, не вижу между ними принципиальной разницы. Поскольку для того, чтобы наиболее адекватно выразить национальную идею и определить цели развития данной страны, нужно обладать соответствующим весьма высоким ресурсом — интеллектуальным, материальным, организационным. Здесь и зашифрована главная особенность экспертного сообщества. Дело в том, что в развитом мире оно очевидно образом влияет на выработку целей общественного развития и при этом использует все ресурсы общества — в том числе, естественно, и материальные. Оно ими не владеет, но участвует в управлении ими. У нас же оно от такого управления отстранено.

Свое отношение к этим двум подходам я сформулировал бы следующим образом. Люди, которые придерживаются второго подхода к элите, пытаются определенным образом ее мифологизировать. Одновременно они склонны и весь процесс интеллектуального творчества рассматривать как процесс мифологизации. А я в такой логике размышлять пока не готов. Я понимаю, как она работает, но она чужда моему исследовательскому методу. Первый подход, делающий акцент на распоряжении и управлении ресурсами общества, мне гораздо ближе и понятнее. Во всяком случае, при таком подходе мне легче представить экспертную элиту, способную сформировать собствен-

ную повестку дня. Или, говоря иначе, самостоятельно распорядиться в интересах общества тем единственным ресурсом, которым она в России сегодня может управлять, — ресурсом интеллектуальным. Альтернатива — поступиться и этим ресурсом в пользу злота властной, помогая ей формулировать ее цели и интерпретировать их — в том числе и посредством их мифологизации — как общезначимые.

Государственный капитализм с минимумом социальных гарантий

Теперь, когда я описал ситуацию, в которой находится участники дискуссии и которая позволит лучше понять причины определенной недоговоренности их суждений, есть смысл вернуться к базовому сюжету дискуссии. Прежде всего отмечу, что анализ природы Российского государства и ресурсов его самонаменения представляется сегодня чрезвычайно актуальным и непосредственно связанным с состоянием экспертного сообщества. Если говорить о нынешней российской государственности, то я бы определил ее как государственный капитализм с минимумом социальных гарантий. Подчеркиваю: речь идет не только о хозяйственном укладе и хозяйственных целях государства, но и о типе самого государства, который этим укладом и этими целями жестко предопределен.

Что я подразумеваю под государственным капитализмом с минимумом социальных гарантий? Во-первых, это экономика, построенная на крупных монополизированных отраслях, прежде всего энергодобывающих, которые находятся под контролем высшего государственного топ-менеджмента. Во-вторых, это минимальные затраты на социальный сектор, на поддержание самых необходимых социальных программ. И трудново понять, почему дело обстоит именно так, а не иначе.

Если государство ставит себе задачу создать высокоэффективную производительную экономику (а оно, на мой взгляд, такую задачу ставит), то для ее реализации нужна дешевая и мобильная рабочая сила. То общество, которое существует на данный момент в России (я говорю не только об элите, но о российском обществе в целом), для этого не подходит. Оно для этого слишком образованное, у него слишком завышенные ожидания и стандарты обыденной жизни, завышенные нормативные представления о ее желательном качестве. Иными словами, для той успешной (настолько на этом!) модели государственной модернизации, которую ставит своей целью российская власть, такое общество категорически не подходит. Оно, как и интеллектуальная элита, досталось нынешней российской власти «по наследству» от прежнего периода. И перед сегодняшним правящим классом действительно стоит весьма сложная задача: как Россию в ее нынешнем виде опустить до требуемого состояния, не допустив ее раскола и развала. К тому же имен в виду, что общество вряд ли на это согласится.

Исходя из сказанного, понятнее становится и природа нынешнего российского персоналистского режима, опирающегося на бюрократическую «вертикаль власти» и стремящегося интегрировать в нее все другие государственные и общественные институты. Он вполне органичен для реализации той модели развития, о которой я говорю. Все действия властей, которые мы наблюдали в последние годы, все эти многочисленные реформы — и в области избирательного законодательства, и в сфере взаимоотношений центра и регионов — работают на осуществление именно данной модели. Сами разработчики этих реформ порой, возможно, даже не подозревают, какому долгосрочным целям на самом деле служат их проекты, инициируемые зачастую под конкретную избирательную кампанию. Тем не менее все это полностью соответствует стратегии нынешней политической элиты и отвечает природе созданной ею властной системы. Все здесь вполне согласованно и непротиворечиво — все, кроме

настроения общества, которое испытывает глухое раздражение и может в конце концов осознать, что реализация подобной стратегии сопряжена для большинства его членов с отсутствием реальной перспективы улучшения их положения.

Чем обусловлен такой выбор целей нашей политической элиты? На мой взгляд, тут сработали два фактора. Первый фактор — базовый стереотип мышления советских руководителей: успешная экономика — это экономика промышленного производства, опирающаяся на крупные предприятия, которые производят современную промышленную продукцию. А второй фактор — это влияние глобализации и уже существующее в мире глобальное разделение труда, которое ставит нашу политическую элиту, как говорится, перед фактом. В структуре такого разделения труда в ряде ключевых отраслей России отстала навсегда и стать конкурентоспособной уже не может в принципе. Для того чтобы изменить ситуацию, нужна совершенно иная страна и совершенно иная политическая элита.

Теперь — о стратегии поведения интеллектуальной элиты при допущении, что она способна адекватно оценить свою перспективу, которая, если называть вещи своими именами, связана с неотвратимой деградацией и встраиванием в логику развития третьего мира. При наличии способности к такой оценке элита может освободиться от прежних иллюзий и сформировать новую для страны повестку дня. Она может обратиться к обществу и к власти с прямым и нелицеприятным вопросом: *а с какой стати мы строим капитализм с минимумом социальных гарантий и почему мы должны поддерживать такую модель развития, которая ведет нас к общественной деградации?*

Ведь для того, чтобы вернуть себе общественную значимость, необходимо, как минимум, сказать вслух о тех болезненных проблемах, о коих все предпочитают умалчивать, бовся додумать их до их сокровенной сути. Все говорит об удвоении ВВП, о строительстве в России крупных производств, новых автомобильных заводов и транснациональных компаний, но никто не говорит о том, что это путь социальной примитивизации. Никто не говорит о том, что по такому же пути идут сегодня Бразилия, Перу и прочие успешные страны третьего мира. Мне скажут: ну и хорошо, пусть и у нас будет как в Бразилии. Ответчу: «у нас» ничего хорошего из этого не получится.

Дело опять-таки в том, что качество российского общества существенно выше, нежели бразильского. И намного выше, чем в Китае. Китай сегодня подает нам как образец для подражания, умалчивая, как правило, о том, например, что в Китае нет пенсионной системы, что там старые люди целиком находятся на попечении своих детей и что государство о них вообще никак не заботится. А говорить об этом нужно. Как и о том, что нынешний пекинский курс успешного и эффективного экономического развития (а оно действительно таково, намеченные задачи будут последовательно реализованы) закономерно приведет Китай к общественной деградации. То есть, целенаправленно воспроизводя стратегию Китая или Бразилии, Россия может добиться экономического успеха, но при этом российское общество деградирует. Такова неизбежная цена этого успеха.

Я не говорю уже о том, что и сам успех такой стратегии отнюдь не гарантирован. Вовсе не обязательно, что Россия в результате этих преобразований станет еще одним эффективным чехом единой фабрики мира. Но если даже и станет, то, повторю, ценой неминуемой общественной деградации. Вот о чем должна со всей определенностью заботиться российская интеллектуальная элита. И, соответственно, предъявить обществу в качестве новой повестки дня следующую задачу: как спасти себя и все общество от угрозы деградации в случае реализации нынешнего курса российской власти? Что необходимо для этого изменить в стране?

И тут я, рискуя разочаровать читателя, обращусь к весьма банальным рецептам, о главном из которых сегодня говорит все, включая нынешнего президента: необходимо развивать структуры гражданского общества. Как хорошо известно, гражданское общество — это сетевой ансамбль общественных ассоциаций, которых на данный момент в России практически нет. Поэтому ее политическая система «провисает», не находя себе адекватной точки опоры. Власть, не обнаруживающая границ своего произвола в институтах гражданского общества, оборачивается самовластием. В этом и заключается главная проблема российской государственности, на что уже неоднократно и справедливо указывалось в ходе дискуссии.

На вопрос, из кого создавать гражданское общество, ответ не менее банален: из тех граждан, которые есть в России. С тем, что такие граждане со своими интересами в стране существуют, тоже никто не спорит. Причем большинство из них проживают в крупных городах и характеризуются достаточно высоким образовательным цензом. Условия для формирования общественных ассоциаций фактически идеальные. Есть люди с четким осознанием своих гражданских интересов, испытывающие неудовлетворенность материальным уровнем своей жизни и при этом достаточно образованные. Проблема, на мой взгляд, состоит лишь в некотором переформатировании их жизненных установок. Необходимо помочь им объединить их личные интересы с личными интересами других людей. Чтобы эти их интересы, оставшись личными, стали бы одновременно коллективными.

Почему до настоящего времени, как справедливо констатируют многие наблюдатели, это не удается? Вряд ли по тем причинам, на которые указывают некоторые участники нашей дискуссии, ссылаясь, например, на якобы заложенную в глубинных основах менталитета русского народа неспособность к добровольному коллективному действию. Про «глубинные основы» я распространяться не буду, потому что эти рассуждения скорее в логике доктора Геббельса; я в таком ключе рассуждать не готов по своим мировоззренческим установкам. А не удается соединить личный интерес с коллективным, думаю, потому, что людям в нашей стране до сих пор не было предложено проекта, в ходе реализации которого они могли бы реально своими собственными усилиями изменить собственную жизнь. Предложить же такой проект может лишь интеллектуальная элита страны.

Но предварительным условием этого является то, о чем я уже говорил: чтобы обрести способность инициировать формирование гражданских ассоциаций хотя бы внутри самой себя, интеллектуальная элита должна решиться на то, чтобы адекватно оценить свое нынешнее драматическое положение. Здесь очевидно некоторая логическая проблема, как бы замкнутый круг, который не разорвать, поскольку нет столь необходимого центра кристаллизации общественных перемен.

Однако все не так безнадежно, как кажется. Дело в конкретных деталях. Вот я для себя решил, что с готовностью буду заниматься проблемами собственником жилья, поскольку прекрасно понимаю, что меня эти проблемы коснутся непосредственно: никто не придет и не отремонтирует текущий вран в моей квартире, если я сам не займусь этой проблемой совместно с жильцами моего дома. Так что я с готовностью кожу на собраниях, вдумчиво изучаю все документы, которые нам предлагают, анализирую надежность управляющих компаний, которые стали вдруг предлагать свои услуги: выяснилось, что такое компания есть и их не так уж и мало. Это — реальные, осязаемые вещи, которыми нужно конкретно заниматься. Однако наши граждане, особенно представители интеллектуальной элиты, заниматься ими не хотят, полагая, что все как-нибудь организует само собой. К тому же существует устойчивая традиция уповать в подобных вопросах на государственные структуры. Но при таком условии социальный организм страны деградирует окончательно. И если наша интеллектуаль-

ная занта рассчитывает прожить только в качестве интеллектуальной obsługi государственного интереса, то у нее нет будущего. Для нынешнего государства, повторю еще раз, она в этом качестве слишком сложна и многочисленна.

Времени на раздумья и ожидания у интеллектуалов нет. Наше общество поставлено сегодня перед необходимостью безотлагательного решения-выбора: взять на себя функцию самоуправления и определенную долю ответственности за собственное будущее или предпочесть инерционное движение к неизбежному коллапсу. Возвращаясь к жилищно-коммунальной сфере, замечу: коллапс означает в самом ближайшем будущем отказ от центрального водоснабжения, канализации, горячей воды, тепла. Если мы готовы жить в таких условиях, с печками-буржуйками, то можем позволить себе не брать ответственность непосредственного управления всем этим хозяйством. И так во всех прочих аспектах нашего повседневного бытия.

Об эффективности в условиях глобализации

Ранее я определил состояние нашего сегодняшнего государства как капитализм с минимальным социальным гарантией, используя универсальную схему классификации современных государств. Означает ли это, что природа, равно как и все прословутые «особенности» Российского государства, никакого особого языка не требуют и вполне поддаются описанию с помощью инструментария современной политической науки?

Начну свой ответ издалека. Однажды во время очередного общения с народом через Интернет президент Путин допустил весьма характерную фрейдистскую оговорку, сказав, что Россия, «к сожалению», является частью глобального мира. Об этом, учитывая отечественную традицию самодостаточного существования, можно «сожалеть», но это нельзя изменить: в современных условиях глобализация — уже не чей-то проект, а вполне объективная реальность, действующая как некий самостоятельный фактор нашей жизни. И вы либо пользуетесь ее плодами, либо другие пользуются вашей слабостью и неуверенным.

Так вот, в этих условиях говорить о каких-то особенностях той или иной конкретной государственности, той или иной национальной культуры, на мой взгляд, можно только в узкопрофессиональном культурологическом смысле слова, когда под национальной культурой понимаются литература, фольклор и т.п. Но утверждать сегодня, что какое-то уникальное историческое стечение обстоятельств формирует некое «самобытное» государство, которое может автономно существовать и быть успешным, — это нововещ, это что-то из области фантастики. Вы либо победитель в глобальной конкуренции, либо занимаетесь уборкой мусора; либо вы пользуетесь плодами глобализации, либо вами пользуются. Или, если не хотите считать формулировку, могут быть разные модальности, в том числе и политические, культуры, но показатели их эффективности в условиях глобализации универсальны. Под эффективностью же я понимаю прежде всего экономическую конкурентоспособность и организационную адекватность требованиям этой самой конкурентоспособности. Иными словами, когда вы способны добиться социально-экономического успеха и адекватно осуществлять процесс управления, чтобы преуспевать и в дальнейшем. Причем речь идет о таком социально-экономическом успехе, который может быть обеспечен только в условиях реально действующего гражданского общества.

Поскольку на примере. Китай экономически эффективен в условиях глобализации. А Швейцария эффективна в условиях глобализации социально-экономически. То есть Китай действительно превратился в глобальную мастерскую мира. Но — за счет ухудшения социального положения внутри страны. А Швейцария способна сочетать экономические успехи с эффективной защитой интересов собственного общества. Безусловно, в глобальном мире никого, кроме швейцарцев и, соответственно, китайцев не

интересует, за счет чего достигнута экономическая эффективность. Но самих-то китайцев и швейцарцев это должно интересовать! Этот вопрос должен интересовать любое общество любой конкретной страны. А ответ на него напрямую влияет на базовые условия существования данного общества. Мы можем сколько угодно восхищаться Китаем, сохраняющим свой традиционный уклад и вместе с тем добившимся фантастических экономических успехов. Но мы не должны забывать и о том разрушительном социальном кризисе, который постепенно вырывает в Китае в ходе этого фантастического экономического развития.

Для того чтобы достижение экономической эффективности в условиях глобального мира не оборачивалось социальным взрывом, общество должно поддерживать баланс между экономической эффективностью, социальной справедливостью и политической управляемостью. Это банальным образом возвращает нас к необходимости освоения универсальной модели политической системы, называемой либеральной демократией. Хочу уточнить свою мысль. Я считаю, что есть универсальные критерии эффективности экономики и общества в глобальном мире, но не утверждаю, что все культуры и общества одинаково способны этим критериям соответствовать. Моя мысль в том, что Россия на данном этапе весьма близка этим универсальным критериям, она соответствует им в гораздо большей степени, нежели, к примеру, арабский или африканский миры. И в гораздо большей степени, чем та же китайская цивилизация.

Что же необходимо, чтобы обеспечить уже полное соответствие этим критериям? Нужно отказаться от сегодняшней повестки дня, от стратегии, ведущей страну по пути государственного капитализма с минимумом социальных гарантий, от того направления развития, которое задает России ее властная элита. Альтернатива хорошо известна: те самые универсальные критерии экономического и социального развития, обуславливающие устойчивое развитие общества и высокое качество жизни. Этим путем шли страны Запада. Этот путь был навязан Японии и Южной Корее. Особенность нашего положения в том, что у нас фактор внешнего принуждения не срабатывает. И мы сами должны отказаться от тех ложных целей, которые поставлены сейчас правящей элитой, должны проделать работу выбора альтернативной стратегии развития самостоятельно.

Здесь бессмысленно ссылаться на возможные помехи, на собственное несовершенство и сбивающее нас с правильного пути обстоятельство. Необходимо прекратить бесконечно рефлексировать по поводу сложностей, возникающих перед обществом, вставшим на путь устойчивого развития. Нужно просто начинать действовать.

Часто утверждается, что все успешные варианты такого развития характерны только для стран западноевропейской цивилизации и что пресловутой универсальности современной глобальной цивилизации пока лишь весьма условный, нуждающийся в обогащении социальным и культурным опытом других, незападных цивилизаций. Думаю, однако, что главное условие успеха заключается сегодня не столько в культурно-цивилизационных особенностях тех или иных стран, сколько в упорном стремлении этого успеха добиться, начав движение в избранном направлении. Считаю показательным в этом смысле пример некоторых стран Латинской Америки, которые, благодаря собственному упорству, сформировали для себя благоприятную перспективу, сочетающую экономический рост с социальным развитием. При том, что стартовые условия там были хуже, чем в постсоветской России.

К тому же учтем и то, что универсализм отличается достаточной простотой. Это всего лишь схема, которую мы можем наполнить каким угодно содержанием, своего рода «дорожная карта», перечисляющая некие контрольные пункты, которые предстоит пройти. Она задает только направление движения. А по поводу сложности в английском языке есть выражение «training in movement» — обучение в процессе деятельности.

Грядущий электоральный цикл и проблема раскола элиты

Помимо долгосрочных целей и задач, хочу затронуть и некоторые тактические, краткосрочные проблемы, прежде всего связанные с нынешним электоральным циклом. Он несет определенные риски сложившемуся порядку вещей. Основной риск обусловлен стратегической слабостью любого авторитарного режима в ситуации общенациональных выборов. Существованию такого режима могут угрожать две опасности. Первая — поражение в ходе того или иного внешнеполитического конфликта (думаю, в обозримое время такая угроза для России не актуальна). Вторая — передача власти от одного лидера другому. Любой авторитарный режим переживает критический момент в своем существовании, когда сталкивается с неизбежностью передачи власти. Поскольку эта процедура обусловлена пересмотром теневого внутрисистемного соглашения, осуществляемого в узком кругу причастных к принятию принципиальных политических решений. Именно в этом пункте для нынешней политической элиты возникает реальная опасность не договориться по персональным кандидатурам.

Обычно рассматриваются три сценария развития событий: выбор либерального преемника, выбор преемника-реакционера и раскол элиты. Первый и второй сценарии я объединяю, потому что их различия, если следовать избранной мною логике рассуждений, не принципиальны. Остаются два различных сценария: первый, когда внутрисистемное согласие по кандидатуре преемника так или иначе достигается (пусть даже путем принуждения к нему части элиты), и второй, когда вплоть до момента выборов сохраняется раскол правящего класса, выходящего на избирательную финишную прямую с двумя кандидатами. Для властной системы это уже чревато непредсказуемым развитием событий.

Я далек от мысли, что оно может привести к принципиальному изменению всей политической системы. Я также далек от мысли, что это создаст ситуацию реальной альтернативы, реального выбора, запустит механизм политической конкуренции. Теоретически, конечно, можно смоделировать вариант, при котором раскол элиты ведет к изменению институциональных правил игры. Но подобное мыслимо лишь в случае потери страной своего национально-государственного единства, что имело место, например, в декабре 1991 года. Полагая, что на ближайший электоральный цикл такой сценарий развития неактуален, хотя теоретически исключать и такого рода возможность я бы не решился.

Как бы то ни было, риски раскола вряд ли будут восприниматься властной элитой столь значительными, что она сочтет за благо пойти на нарушение политических приличий ради сохранения преемственности власти. Говоря прямо, элита не пойдет на переизбрание Владимира Путина на третий срок. Хотя бы потому, что третий срок не устроит ни одну из конфликтующих сторон. Ни так называемые либералы в правительстве, ни так называемые силовики, которых уже вряд ли можно считать традиционными силовиками (поскольку главное в их поведении — претензия на роль ключевых игроков в мировой экономике), не готовы рисковать своим имиджем. Они не желают ограничивать свои интересы границами одной страны, им в этих границах уже тесно, они хотят выйти на просторы мирового рынка. А соглашаясь на третий срок В. Путина, они теряют свою легитимность в глазах нынешних лидеров мировой экономики. Они рискуют опуститься до положения президента Маркеса, когда на их счета в любой момент может быть наложен арест. Поэтому третий срок, чреватый потерей легитимности в рамках глобального мира, для них — неприемлемое решение.

Таким образом, политическая элита должна выбрать либо компромисс, т.е. договориться о преемнике, либо согласиться на внутренний конфликт, разрешение которого будет отдано, что называется, на волю народа. Достаточно ли готова она к тому,

чтобы себя дисциплинировать? Не уверен. Более того, если этот внутрисистемный конфликт не удастся разрешить до выборов, то я не уверен и в том, что по окончании электорального цикла удастся сохранить хотя бы прежний уровень консолидации правящего класса. Вполне возможно, нас ждет очередной раунд передела собственности — на сей раз уже внутри того узкого слоя политической элиты, который на данный момент выглядит относительно единым.

Однако все это само по себе меня не очень интересует. Говорю же я об этом лишь затем, чтобы актуализировать важный для меня вопрос о том, как должно относиться к возможному расколу элиты интеллектуальное сообщество. Думаю, что оно должно относиться к такому расколу как к дополнительному шагу ввязать обществу и власти собственную повестку дня. Не претендую на ее формирование здесь и сейчас, что выглядело бы пустым прожектерством, намету лишь некоторые ее контуры — в той форме, в которой они видятся моему субъективному взору.

Итак, эта повестка дня может состоять в предложении обществу определенного проекта, который представлял бы собою конкретный механизм реального изменения жизни людей к лучшему за счет их же собственных осмысленных усилий. Для людей должно стать ясно, что им делать и какие шаги предпринимать, чтобы жить лучше. Возьмем тот же проект «Доступное жилье». Всем понятно, что это название никак не соответствует его существу, поскольку о реально доступном жилье можно говорить, когда семья из врача и, допустим, инженера или учителя с двумя детьми сможет взять кредит на покупку квартиры и его выплатить. На данный момент это нереально. Но это вполне реально для России с ее потенциалом. Так вот, должны быть разработаны и предложены обществу механизмы, чтобы хотя бы этот проект начал осуществляться. Реальное жилье — национальная задача, и если она будет адекватно поставлена, все общество — ведь всем надо где-то жить — начнет на эту задачу работать.

Еще раз повторю: принцип «training in movement» очень неплохо бы взять на вооружение. Надо начать движение. И закончить бесконечную рефлексию по поводу возможных препятствий и сложностей, с которыми это движение может быть сопряжено.

**«УЖЕ СЕЙЧАС СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ
И ПРОДВИГАТЬ ПРОГРАММУ
ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИКИ»**

Прежде чем сформулировать свои ответы по вопросам дискуссии, поделюсь несколькими выводами, к которым я пришел, внимательно прочитав материалы предстоящего обсуждения. Сначала несколько слов об общем характере дискуссии.

Мне по работе пришлось в течение последнего года внимательно следить за политическими дискуссиями, ведущимися в ближней и небезразличной нам Украине. Поэтому, знакомясь с высказываниями и текстами коллег на сайте Фонда, я, конечно, сравнивал нашу дискуссию о судьбах Российского государства с украинскими дебатами по вопросам их конституционной системы, национальной стратегии и геополитического выбора. Сразу бросается в глаза различие дискурсов. Споры украинских коллег крутятся вокруг вполне конкретных стратегических альтернатив и соответствующих интерпретаций национального интереса, посредством которых обосновываются дебатлируемые альтернативы. Между тем наша обществоведческая мысль, не задерживаясь на реальных альтернативах и проектах решений, привычно воспаряет к высотам историко-философских абстракций.

О дефиците национального чувства

Чем объясняется такое дискурсивное различие? Тем, что в Украине идет напряженное публичное обсуждение национальной политической повестки, а в России сегодня такого обсуждения нет. Будучи исключены из процесса обсуждения стратегических решений, наши интеллигенция сосредоточились на обмене идеологическими манифестами.

Хотя автор стартовой статьи М. Краснов предлагал как раз сосредоточиться на конкретике. Его подход таков: давайте оставим разговоры о национальной политической культуре, с которой все неясно, а обсудим конституционную реформу, поскольку Конституция 1993 года не только не предотвращает, но и в значительной степени предопределяет авторитарную эволюцию российского политического режима. Этот взгляд на действующую Конституцию как главный источник нового российского абсолютизма представляется мне чересчур узким и узким для критики. Ведь гораздо легче доказать, что наша Конституция является порождением традиционной авторитарности российской политической культуры, чем обратное.

Многие участники дискуссии именно этим и занялись, часто забывая либо не желая ответить, так нужно все-таки изменить Конституцию или нет? Я думаю, что конституционная реформа нужна, ее следует обсуждать и готовить, но ею нужно не начинать, а завершать и закреплять необходимые политические преобразования. Почему не начинать, а завершать? Во-первых, потому, что конституционный процесс по определению должен быть консервативным. Во-вторых, потому, что сегодня сторонникам национальной модернизации лозунг конституционной реформы несет

больше неприемлемых рисков, чем реальных возможностей. В-третьих, потому, что необходимые политические изменения можно начать проводить в рамках действующей Конституции.

В ходе дискуссии было много ссылок на специфику национальной политической культуры. На мой взгляд, попытки определить эту самую специфику в категориях православноности, соборности, *выдающийсяности* выглядит крайне несерьезно. Их авторы ограничились манифестацией своей любви к реминисценциям литературной жизни позапрошлого века, но доказать социологическую актуальность риторических концептов и выстроить на них хоть сколько-нибудь связанную программу государственного строительства они даже не пробовали. Не вызывают возражений, пожалуй, только негативные определения: наша политическая культура не западная и не традиционалистская, не коммунитарно-общинная и не гражданско-демократическая; наши публичные институты не крепки (в том числе и традиционно представленные в России церкви). Все это характеристики качественной неопределенности и противоречивой переходности национальной культуры, в нашем российском случае очень затянущейся и залуптавшей.

В обществах, переживающих транзитные состояния, обычно актуализируются отношения взаимной поддержки близких, патрон-клиентные связи, а также роль лидера — это хорошо известно всем историкам и антропологам. Такие общества ищут и находят новые исторические синтезы, ссылаются в архаику, воснеют в тоталитарных новообразованиях — у всех по-разному. Что касается российской недемократичности и слабости гражданского потенциала — это социологический факт, от которого не спрячешься, который необходимо изучать и учитывать, в том числе для того, чтобы противостоять невольному или специальному мифотворчеству. (Мои предложения по коррекции стратегии российской модернизации изложены в статье «Эффективное государство: стратегия для потребителей»¹.) Указанный социологический факт создает ограничения для одних и дополнительные возможности для других, но он ничего не предопределяет. Да и сам-то «факт» постоянно изменен: самодержавие с дыбой и самодержавие с адвокатурой — одно это явление или разные? То есть в нашей политической культуре можно искать и найти основания для дыбы и крепостничества, а можно — для адвокатуры и свободолюбия, — выбор есть.

Теперь о слабости российского либерализма. Если под либерализмом понимать любовь к частной собственности и свободе личности, то он в России победил — при Ельцине в основном, а при Путине окончательно. Другое дело, что у нас очень часто зарятся на собственность чужую, а свободу любят только собственную, потому наш российский либерализм нужно еще долго окультуривать и очеловечивать. Снижение политического влияния либералов — бери их хоть узко, хоть широко — это, безусловно, тренд. Судя по уже полученному кумулятивному эффекту, сворачивание политического либерализма несет большой, ничем не оправданный вред для качества, темпа и перспектив российской модернизации. Историческая ответственность за это президента Путина, его окружения, партии власти совершенно очевидна. Винаовность в политическом ослаблении либерализма самих либералов, однако, также существенна.

Не вдаваясь в частности, скажу о главном: многим российским либералам вообще и либеральным политикам особенно не хватает национального чувства. Только не говорите мне об отвращении к этнической ксенофобии и близкому патриотическому офансиону! Такие отвращения для создания здоровой, сильной и человеколюбивой нации необходимы, но вовсе не достаточны. В России недостаток национального чувства наблюдается, конечно, далеко не только у либералов, но многие прочие этот

¹ http://www.journal-apologia.ru/news.html?id=33&id_issue=81

недостаток стараются скрыть, а вот среди либералов принято его не скрывать и еще теоретически обосновывать. Что ж, привычное оппонирование любым национальным пределам и определенным интеллектуально правомочно, даже полезно, но такая роль совершенно не годится для борьбы за национальное лидерство.

С недостатком национального чувства претендовать на национальное лидерство бесполезно. Какое-то время можно править, «под собою не чужь страны» (хотя бы, как раз политическая точность этого политического обвинения Сталину довольно сомнительна), но вот эффективно опарывать правление, «под собою не чужь страны», совершенно невозможно. Впрочем, претендуют ли наши либералы на правление? Пожалуй, что нет. Добровольный отказ от национального лидерства — вот диагноз.

То, что «чужь страны» у многих либеральных политиков и интеллектуалов скверное, показывает и текущая дискуссия. Только странным идеологическим аутизмом можно объяснить ту ситуацию, когда уважаемые мною коллеги при оценке эффективности и перспектив правящего режима в упор не видят очевидный и главный успех второго президентства. Ведь при Путине-президенте произошло идеологическое и психологическое объединение россиян в ощущении принадлежности к российской нации-цивилизации, во всеобщем предчувствии и чаянии национального возрождения. Не призывая записывать подъем национального духа в персональные заслуги В. Путина, однако уверен, что именно этот психологический национальный подъем составляет основу — вполне нормальную, повзятую, ситуативную основу — легитимности и популярности его президентства.

А теперь, скажите на милость, зачем сегодня фокусировать все обсуждение возможностей и путей эволюции политического режима на оппозиции демократия/авторитаризм? Разоблачение авторитарной сущности правящего режима тогда, когда сам режим кокетничает авторитаризмом, когда подавляющее большинство россиян хотят не демократии, а усиления власти и порядка, — занятие заведомо неэффективное, а потому ограничиваться им нецелесообразно, если, конечно, мы хотим не сидеть в печали, а двинуть дело вперед. Да, есть вещи для россиян куда более актуальные, чем критерии и меры демократичности власти: например, качество жизни, эффективность хозяйственных и государственных учреждений, национальная конкурентоспособность. С этим следует согласиться и перейти к оценке полезности и порядка заведенного правления, годности нынешней правящей элиты исходя из критериев, которые признаны самой властью и значимы для всего общества.

И тут, ознакомившись с материалами представительной и разноголосой дискуссии, мы обнаруживаем довольно неожиданное и оттого еще более выразительное единодушие интеллектуалов. Никто, ни один участник дискуссии — ни из либералов, ни из консерваторов, ни из чужих для президентской власти, ни из обязанных ей — не взялся доказывать социальную и экономическую результативность путинского правления, эффективность путинских округов, кабинетов, палат и вертикалей. Если называть вещи своими именами, это не произнесенный пока вслух, отложенный приговор второму президентству. Все понимают, что стране выпал шанс перейти к новому качеству развития и шанс для страны этой властью бездарно упущен.

О настоящей проблеме 2008 года

Сейчас модно говорить о том, что стране нужны большие общенациональные проекты. На этот счет в экспертной и управленческой среде есть много толковых идей, предложений и развернутых программ. То есть проектов развития хватает. А вот осуществлять эти проекты некому. Наша власть сокрушила уже все преграды на широких просторах Родины, но за какое дело ни возьмется — пенсия ли, льготы, лекарства ли, водка — получается все через пень-колоду и шиворот-навыворот. Кабинет министров,

говорили, будет техническим — оказался потешным. Социально-экономической стратегии ни от правительства, ни от президента больше никто не ждет, все понимают, что теперь не до того. Место правительственной программы заняли «национальные проекты», прицельная дальность которых для всех очевидна — выборы 2007–2008 годов. Уны, кремлевские надпроекты похожи не на пусковой комплекс для обновленной российской экономики, а на банальную раздачу денег из нефтегазовых сверхдоходов. Победоносная политика с обескураживающим стратегическим результатом — вот парадоксальная формула нынешнего правления, которая обнаруживает ключевое противоречие кремлевской властной механики.

Постоянная задача с реализацией длинных сценариев совсем не случайна и связана с разрушением механизмов воспроизводства адекватных таким сценариям социальных субъектов. Длинные стратегии можно конструировать где угодно и когда угодно, но реализуются они лишь в определенных социальных условиях. Формулировать и претворять в жизнь долгосрочные стратегии могут политические режимы двух принципиально различных типов: во-первых, это режимы, где действует основанный на политической конкуренции механизм отбора и ответственности правящих групп; во-вторых, режимы, где срабатывает авторитарный контроль над правящим классом и привычная дисциплина среди управляемых.

Нынешний президентский режим под лозунгом обеспечения суверенитета и конкурентоспособности России на глобальной арене свернул всякую публичную конкуренцию в обществе и в самой правящей элите, после чего «вдруг» оказался не в силах вынудить заматеревшую многоэтажную бюрократию. Кремль может «нагнуть» олигарха, посадить несколько «оборотней», но не способен обеспечить реальную исполнительскую дисциплину ни в верхах, ни в низах российского общества. В этом запоздалом и показушном абсолютизме, собственно, нет никакой иной энергии, кроме общей привычки к негражданскому бюрократическому правлению. Поэтому регулярно повторяемые лозунги национального «прорыва» уже не рождают ни в ком надежды, вернулись навязчивые воспоминания о брежневской номенклатуре, пиравшей на трех китах: негражданском согласии верхов и низов, тотальной коррупции и нефтяной премии.

Многие толкуют о том, что такое болото хорошо бы подморозить, но практически никто в нынешней России не готов платить за такое замораживание своим интересом и удобством. В потребительском обществе возможности авторитарно-мобилизационного сценария принципиально ограничены, а риски неприемлемы для самих верховников. Если так, то для реализации длинных сценариев национального развития нет другого пути, кроме как выстраивание широких сетей социального доверия, сотканных не из вертикальных связей патронажа и подданства, а из горизонтальных отношений солидарности и кооперации. Однако так называемая «выборная монархия», о которой у нас в последнее время говорят много и чуть не с гордостью, таких сетей гражданского доверия не создает. «Доверие», которое культивирует и которым летует нынешний президентский режим, совсем иного свойства. Высочайший рейтинг уже перестал быть рейтингом надежды. У него остались две некрепкие опоры: с одной стороны — согласие подданных не мешать властям в обмен на то, чтобы власти «позаботились о людях» либо просто «не мешали жить»; с другой стороны — расчет разрабатываемой бюрократии и бюрократической буржуазии на нестесненное извлечение административной ренты. На таком доверии можно царствовать, но нельзя изменить национальную судьбу.

Официальные и прочие уполномоченные лица сообщают нам, что главным вопросом сегодняшней национальной повестки выступает обеспечение преемственности государственной власти. То есть россияне должны хорошо видеть и понимать опасно-

сти, которые их подталкивают при ходе с единственно правильного пути. Не знаю, удастся ли уполномоченным лицам сделать наш выбор осозванным, но в том, что они делают его легким, нет никаких сомнений. Никто не сомневается в том, что действующая администрация победно завершит операцию «президент». С точки зрения рядового россиянина вообще нет никакой проблемы с преемственностью государственной власти: на кого укажет Путин, за того и проголосуют. Власть должна позаботиться о том, чтобы не было хуже. А о том, что может быть лучше, сегодня говорить как-то не принято.

Тут мы снова упираемся в парадокс победоносной политики с ничтожным стратегическим результатом. Правящий слой всецело сосредоточен на «проблеме 2008 года» и привычно решает ее как спецоперацию. Такое привычное решение сопряжено с полным обесмысливанием публичной политики и выборов. Зачем нужны политические дебаты и выборы, если заведомо ясно, что лучше быть не может? Ведь если допустить, хотя бы теоретически, что у страны может быть лучшее правление, необходимо понимать, откуда ему взяться: кто, почему и как готов такое лучшее правление обеспечить? Однако характер и логика правящего режима требуют устранения всякой политической альтернативы, в том числе внутри самой партии власти. Российский патронат вертикально выстроен и приведен к присяге на личную верность — разговорчики в строю исключены. Тем временем реформы, призванные модернизировать чудовищно неэффективный госаппарат и переориентировать государственное управление на запросы потребителей, задвинуты в долгий ящик. Вот она настоящая проблема 2008 года: в российском обществе отсутствует политический субъект, способный к проведению национальной стратегии, и в 2008 году ему взяться неоткуда, так как сломан политический механизм для формирования национально ответственной и стратегически годной элиты.

Вместо того запущен другой механизм — отчуждения политической «самости» и последовательной подмены публичных институтов их имитациями. В самостоятельные технические органы превращены палаты Федерального собрания, правительство, суды. И вот теперь очередь дошла до самого президента. Нынешнему кремлевскому режиму нужно сохранить себя и минимизировать транзакционные издержки, связанные со сменой первого лица. То есть нужен надежный преемник. Но «надежный преемник» — это всегда не очень надежно. Путин сам был «надежным преемником», соблюдал договоренности, обижал Кремль и перестраивал власть под себя. Однако тогда восходящая популярность Путина была нужна как ему, так и выведшей его на орбиту старой «семейной» элите. Сегодня все иначе: путинская власть не в пример крепче ельцинской, Путин сохраняет высокий персональный рейтинг и далеко не стар. Вероятность его возвращения на президентство в 2012 году выглядит высокой. В любом случае, Владимир Путин и сложившаяся вокруг него олигархическая коалиция, думая о преемнике, совершенно не озабочены поиском нового национального лидера. Наоборот, чересчур способный продолжатель «дела Путина» — это главный риск предстоящего политического предприятия. Ясно, что преемник своим восхождением на президентский пост должен быть обязан олигархической коалиции во главе с Путиным, но отнюдь не собственной силе и яркости. Личная харизма, политическая успешность и свой, независимый от Путина, рейтинг популярности являются для любого претендента в преемника нежелательным обременением. Нетерпеливый вопрос — кто будет преемником Путина? — следует существенно скорректировать: кто будет техническим президентом?

Однако мы привыкли считать, что наши президенты почти самодержцы. Возможно ли, чтобы преемник, пусть даже самый тихий, оставался самостоятельным, получив такой огромный объем полномочий? Возможен ли технический президент при российской системе суперпрезидентства?

Думаю, такое вполне реально в ситуации, когда основные ресурсы распределены между главными олигархическими группами и на ключевых постах расставлены люди, которых новый президент не сможет сбить в течение первого своего срока. Ведь у него не будет такой популярности, как у Путина, пафоса укрепления порядка на него явно не хватит, зато ему предстоит платить по многим счетам и обещаниям предыдущей администрации. В такой ситуации преемник будет очень зависим от держателей основных ресурсов — как минимум до перевыборов, которых у него может и не быть.

Свое место в системе номенклатурно-политических обременений для путинского преемника может найти и «Единая Россия». Под разговоры об усилении роли партий как цивилизованного механизма политического представительства «правища партия» наконец сможет предложить будущему техническому президенту кандидатуру нового технического премьер-министра. Вот вам готовый механизм номенклатурного правления, который совершенно не годен для обеспечения публичной ответственности, зато идеально подходит для олигархического контроля и теневого торга.

С высокой вероятностью можно предположить, что Путин после президентских выборов 2008 года будет сосредоточен на том же, на чем уже сосредоточился, — на реализации корпоративной стратегии энергетического лидерства. Технический же президент с остальными техническими ветвями государственной власти будут заняты выяснением и определением новых границ дозволенного. Спрашивается, кто тут будет заниматься долгосрочной стратегией развития страны?

Отсутствием стратегии, однако, проблема не исчерпывается. Представьте себе независимого, мущегося и оглаживающегося президента во главе системы, в которой никакой иной орган, никакое другое официальное лицо не обладают политической субъектностью, не несут публичной ответственности, и при том все эти лица блудят собственные партикулярные интересы. Именованное этой системы президентской вертикалью прямо указывает на то, что без президента в ней ничего работать не может и не должно. Собственно, с сильным и не мущимся президентом в ней тоже толком ничего не работает, до пока это «военная тайна». Появление технического президента во главе такой системы неизбежно введет властную машину в ступор, а чиновный люд в разброд и шатание. Тайное станет явным. Отечественный патронаж, конечно, перестроится — пожалуй, заговорит о коллегиальности, вспомнит о коллективном руководстве. Но Россия распухшего государства и потешного президента не терпит.

Программа политического выживания

Надо надеяться, что в российском обществе и элитных группах хватит сил воспринять номенклатурному вырождению. Можно надеяться, что путинский преемник будет нормальным человеком, которому не захочется играть роль голого короля, а захочется стать лучшим российским президентом (как говорят в народе, «Бог троичу любит»). Этот человек должен прекрасно понимать, что он заложник системы, которая выставляет его сильным правителем, но никогда не даст ничего сделать. Незавидная судьба третьего президента может быть изменена лишь в том случае, если ему удастся запустить механизм политической конкуренции и создать работоспособные элементы новой политической конструкции, на которые он сможет опереться.

Уже сегодня следует определять и продвигать программу возрождения российской политики. Это должна быть программа-минимум, которую могут поддержать все противостоящие номенклатурному вырождению общественные силы вне зависимости от их идеологических разногласий и которая объективно выгодна президенту-преемнику. Такую программу следует сконцентрировать на самых необходимых изменениях, которые вместе создадут условия для развития политической конкуренции.

На мой взгляд, сосредоточиться нужно на следующих необходимых изменениях.

Перво-наперво необходимо объявить и реально обеспечить правило: прокуратура — вне политики. До тех пор пока прокуратуру можно использовать для давления на политических оппонентов или бизнесменов, складывающихся «не в ту команду», цивилизованной политики в стране не будет. Действительно исключение прокуратуры из политики требует довольно продолжительной эволюции всего политического режима, однако надо с чего-то начинать. Публичное политическое обязательство дела, конечно, не решит, но и оно имеет значение. Определенной институциональной гарантии должна стать реформа прокуратуры, о необходимости которой говорится много и давно. Структурные решения могут быть различными, например, с формированием федерального следственного комитета или без него, но в любом случае дознание и надзор за его законностью должны быть институционально разделены и прокуратуре следует сосредоточиться на функциях государственного обвинения в суде. За последние восемь лет прокуратура стала главным инструментом олигархических разборок и политических зачисток. Так что президенту-преемнику стоило бы задуматься и провести не только пересуду прокурорских начальников, но и назревшую реформу. Вообще-то, об этом стоит подумать и уходящему президенту Путину.

Второе условие для возрождения цивилизованной политической конкуренции — решительная либерализация законодательства о партиях. Действующий закон и основанная на нем правоприменительная практика создали механизм довыборного административного отбора коллективных участников избирательного процесса. В значительной мере политический рынок заменен рынком административным. Что мы получили в результате такой подмены? Во-первых, созданы самые широкие возможности для верховного произвола и манипуляций по продвижению удобных и блокированию неудобных партий или партийных лидеров (самые известные примеры: «Либеральная Россия» и В. Березовский, Партия пенсионеров и В. Гартунг, Демократическая партия России и М. Кисьянов, «Родина» и Д. Рогозин). Во-вторых, многократно повысилась вязкость сложного и хитроумного процесса регистрации политических партий в Минюсте и территориальных управлений юстиции (плюс неофициальные, но обязательные согласования в Администрации президента). В-третьих, «допущенные» партии быстро превращаются в рентополучателей, участвующих в шоу с заранее расписанными ролями. В итоге сформирована закрытая, глухая к социальной динамике, скорее декоративная, чем работающая партийная система. Отмена беспрецедентных и открыто ангажированных цензов — пятидесяти тысячного барьера численности партий; запрета на формирование предвыборных блоков; семипроцентного проходного барьера на парламентских выборах — совершенно необходима, без нее трудно рассчитывать на оживление и перезапуск политической системы, на формирование новых политических субъектов, адекватных масштабу национальных задач. Думаю, президенту-преемнику будет легче на это решиться, поскольку партия-моновласт «Единая Россия» создавалась не под него.

Даже в случае либерализации законодательства формирование новых политических партий потребует времени. Между тем заменить механический кабинет кабинетом политическим необходимо как можно быстрее, поскольку без этого невозможно, во-первых, обеспечить дистанцию, отделяющую президента от исполнительной власти и бюрократии, во-вторых, усилить самостоятельность и ответственность правительства, в-третьих, определить политическую ответственность Государственной думы. Конечно, руководители «Единой России» всегда готовы взяться за формирование правительства парламентского большинства, но такое парламентское правление ничем не будет отличаться от нынешнего застоя и гниения олигархических группировок. Номенклатурная природа и политическая монополия «Единой России» обесмысливают принцип партийного кабинета. Практиковать парламентскую ответственность

правления и правительственную ответственность Государственной думы в любом случае нужно, однако в наших условиях формальный принцип партийности явно не достаточен.

Можно предложить следующее решение этой проблемы. Нужно установить порядок, при котором не менее двух конкурирующих за правительственные посты команд представляют свои программы в Государственной думе и та выражает свое отношение к ним «мягким рейтинговым голосованием». Президент таким голосованием не связан, но может его учитывать, представляя в Государственную думу кандидатуру на пост председателя правительства. Ежегодно правительству следует представить отчет, а Государственной думе проводить обсуждение и голосование: признать ли работу правительства удовлетворительной. Такое голосование опять же не обижает президента, но он будет его учитывать и решать, менять или оставлять эту управляющую команду. Замечу, что для внедрения предложенного порядка не нужно сразу менять Конституцию — нужно просто внести в обычай такую практику.

Конкурсный выбор правительства с регулярной оценкой его работы в парламенте дает ряд важных стратегических преимуществ. Во-первых, элементы конкуренции обеспечиваются при любом составе Думы, выбор правительственной команды становится публичным и более понятным для граждан. Во-вторых, конкуренция не заканчивается с утверждением правительства, поскольку ему придется ежегодно доказывать свою годность и конкурентоспособность. В-третьих, конкурирующие команды и их стратегические проекты могут стать ядрами новых партий. Такими публично конкурирующими командами и партийными ядрами могли бы стать, например, заявленные, но не раскрывшиеся крылья «Единой России». С завершением второго президентства в любом случае предстает большая перегруппировка всей партии власти. И лучше, чтобы эта перегруппировка шла на основе конкурентных проектов правления.

Принцип конкурентного выбора целесообразно распространить и на порядок замещения должностей глав исполнительной власти в субъектах Федерации. Главную роль в этом процессе должны играть региональные парламенты, а за президентом было бы целесообразно оставить право вето. При этом нужно обязать каждого претендента представлять в региональном парламенте свою управленческую концепцию и свой вариант стратегии развития региона. При назначении на должность с главой исполнительной власти следует заключать контракт, фиксирующий основные обязательства и целевые ориентиры, критерии оценки успешности правления. Одновременно необходимо закрепить основания и порядок досрочного расторжения контракта, гарантии самостоятельности регионального правительства.

Предложенные меры, конечно, не решают всех проблем, но позволяют сделать верные шаги к цели — укрепить институциональные основы политической конкуренции и публичной ответственности, создав тем самым саморазвивающийся механизм злитного отбора и стратегического лидерства.

«ПОРА РЕШИТЬСЯ НА ПЕРЕУЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВА»

Характеризуя нынешнее состояние российской государственности, прежде всего отмечу, что самая главная неопределенность и самый главный вызов будущему России связаны именно с состоянием этой государственности. В ней, несомненно, воспроизводится отечественная политическая традиция: ведь практически любому политическому режиму в России свойственны тенденции самодержавия, которые проявляются в неприятии разделения властей и, что наиболее существенно, в стремлении к сращиванию политики и экономики. Самодержавное государство, в отличие от абсолютной монархии европейского типа, непосредственно включено в специфические экономические отношения (об этом в ходе дискуссии уже говорилось), неизменным элементом которых является закрепление человеческого ресурса при земле или при заводе.

Вместе с тем наблюдаемое воспроизведение некоторых черт российского самодержавия, разумеется, не буквально. К примеру, как неоднократно говорил Виталий Найшуль, у «классического» самодержавия были определенные системы ограничений — такие, как Боярская дума, представление о «нецарском деле» и некоторые другие. Однако сегодня прежние ограничения не работают. Так, прежде самодержавие ограничивалось аристократией, которой в настоящее время нет. Но главное все же в другом.

Поскольку сегодня XXI, а не XVI век, специфику режима Путина вообще нельзя сводить лишь к воспроизведению самодержавной политической традиции. Следует обратить внимание и на собственный российский опыт освоения демократии, соотнося его с опытом мировым.

Политическая модель без обратной связи

В 2001 году в полемике с германскими интеллектуалами мне приходилось убеждать их, что в России все обстоит совсем не так хорошо, как им кажется, а в 2004-м, напротив, надо было доказывать, что у нас все обстоит не так плохо, как им теперь представляется. Я предложил им сравнить политический режим в России с республикой Октавиана Августа, с началом принципата в Римской империи. Формально все демократические институты республики при Октавиане Августе еще существуют. Но особенность в том, что принцепс уже несет на себе всю полноту лидерских полномочий (и военных, и гражданских, и сакральных) и временный характер этих полномочий фактически остался в прошлом. Более того, главным, как, скажем, работают те же избирательные системы в Римской республике. Проводятся ли выборы? Проводятся. Но голоса чиновник считает только по тем кандидатам, которые есть в списке принцепса.

Мы можем обнаружить аналоги таких политических режимов не только в античной, но и в западной демократии Нового времени, и классифицировать их непросто. На мой взгляд, их вряд ли можно характеризовать как диктаторские. Это, скорее, опре-

деленного рода авторитарные республиканские режимы, сохраняющие внешние институты демократии, но без реального разделения властей. Да, в России такой режим отягощен исторической традицией самодержавия, но, скорее, в форме политического мифа, нежели реально действующих политических механизмов.

Показательно, что в России в 1990-е годы стихийно складывалось своеобразное разделение властей: в парламенте большинство было у коммунистов, а исполнительную власть контролировали активкоммунисты. При этом Конституционный суд реально исполнял функцию арбитра. Правда, иногда, когда он упорно отстаивал позицию, не соответствовавшую интересам доминировавшей стороны, его деятельность приостанавливалась. Тем не менее в 1990-е годы известны многочисленные факты преодоления президентского вето в Совете Федерации, обусловленные не столько логикой политического противостояния власти и оппозиции, сколько реальным ограничением президентского самодержавия интересами регионов. Так что хорошо ли, плохо ли, но система разделения властей работала. Она в известной степени работала и в первый срок президентства Владимира Путина: ведь даже в третьей Государственной думе, в ее внутренней жизни еще действовал принцип политической конкуренции, т.е. она была все же не такой, как четвертая.

Ту политическую модель, которая возникла у нас за последние несколько лет, вред ли целесообразно обсуждать с точки зрения того, насколько соответствует она тем или иным абстрактным критериям. Стоит обсуждать лишь то, насколько она жизнеспособна. Полагаю, что модель эта оказалась нежизнеспособной, потому что она лишена обратной связи.

Я не утверждаю, что только при демократии политическое управление обладает функцией обратной связи. Это не так. Скажем, в постсталинское время (а с точки зрения способов политического управления я разделяю сталинский и постсталинский периоды) в советской модели управления имелась и эффективно работала система сдержек и противовесов. Партаппарат, аппарат Советов разного уровня и аппарат КГБ в известной мере уравновешивали друг друга. При этом определенную роль в обеспечении обратной связи играла пресса. Не в том смысле, что она публиковала то, что люди думают, а в том, что письмо в газету работало как инструмент жалобы. Письмо становилось на контроль и служило дополнительным поводом для проверки деятельности тех или иных органов.

Наличие механизма сдержек и противовесов, равно как и обратной связи, — это, повторю, условие эффективной работы любой политической системы, не обязательно демократической. Но режим управляемой демократии, сложившийся в основном во второй период президентства Путина, таким свойством обратной связи не обладает и никаких сдержек и противовесов действиям доминирующего политического актора не предусматривает. Неудивительно, что это сразу же отразилось на эффективности системы и, начиная с 2004–2005 годов, проявилось в провале всех инициированных с того времени реформ.

Фактически все они были остановлены либо в результате вызванных ими социальных конфликтов и порождаемых ими колоссальных социальных издержек, либо еще до того, как эти конфликты и издержки в полной мере себя проявили. Что касается новаций последних лет, так называемых «национальных проектов», то они реформами не являются. Это не реформы, а механизмы перераспределения денег, которые, впрочем, опять-таки дают непредсказуемые результаты.

Скажем, проект «Доступное жилье» оказался непосредственной причиной того, что жилье стало недоступным. И не потому, что власть не хотела давать на его реализацию деньги, а, напротив, потому, что она, не удосужившись установить новые, соответствующие провозглашенным ею же целям правила игры, выбрасывала деньги в сфе-

ру недвижимости и строительства при калечив в ней рынок с высокими издержками входа, монополизированных и аффилированных с местной властью. Эти рынки, естественно, реагируют на массовый спрос не ростом предложения, а ростом цены. А власть продолжает вбрасывать деньги, уводя цены за пределы всякого разумного соотношения спроса и предложения и фактически формируя в данной сфере спекулятивный рынок.

Это — пример моделирования национальных проектов, не учитывающего обратные связи, интересы общественных групп и накладываемые ими реальные ограничения. Что в итоге дает эффект, противоположный ожидаемому.

Можно привести примеры такого «политического проектирования» и в других сферах, в частности, рукотворные кризисы: монетизационный 2005 года, алкогольный 2006-го. Все это — свидетельства того, что система фактически не пропускает обратные сигналы, не реагирует на результаты собственной деятельности, не обладает механизмами сдержек и противовесов.

Дело не в том, что управляемая демократия не соответствует какому-то идеалу. Дело в том, что она неэффективна. С одной стороны, элементы системы, отвечающие за коррекцию управляющих импульсов, фактически отключены: парламент принимает без всякой шифровки то, что в него вливали. С другой стороны, выстроенная исполнительная «вертикаль» не работает по своему прямому назначению, и если спускаемое сверху задание не сочетается с полезными денежными интересами тех или иных ее элементов, то приказ напрямую пройти не может и подвергается обязательной бюрократической коррекции.

Необходимость восстановления институтов российской государственности

В такой ситуации приоритетной становится задача восстановления институтов российской государственности. Но это не означает, что их надо восстанавливать в прежнем или похожем на прежний виде. Выход из нынешнего нежизнеспособного состояния, являющийся жизненной необходимостью для страны, может происходить по разным направлениям в зависимости от того, какие силы смогут оказать решающее воздействие на процесс, какого рода запрос на восстановление государственных институтов окажется наиболее востребованным. На мой взгляд, доминирующие сегодня политические силы вынуждены будут пойти на определенное разделение властей просто потому, что иначе они не смогут поделить между собой власть. Чтобы расстаться по властным ветвям, необходимо, по крайней мере, наличие таких ветвей у властного дерева.

Но при этом открытым остается вопрос о принципах разделения властей, которые могут быть различны. Если говорить о более широких общественных интересах, то мы, вообще говоря, заинтересованы не в том, чтобы просто расширить функции парламента или правительства, как предлагают некоторые участники дискуссии. Простое расширение функций правительства не означает соответствующего увеличения объема услуг населению. Оно лишь означает создание еще одной площадки для бюрократии. Равно как расширение функций парламента не означает более эффективного учета общественных интересов. Поэтому, если судить с позиции этих интересов, нужно одновременно и расширить полномочия парламента, правительства, суда, и ограничивать их.

Например, исполнительная власть (в данном случае правительство) должна быть ограничена заявлениями ею же целями. Что я имею в виду? Административная реформа в принципе предполагает наличие целевых показателей эффективности исполнительной власти. Но, на мой взгляд, последовательность реализации нашей административной реформы выстроена с точностью до наоборот. Если мы берем так назы-

заемный новый публичный менеджмент в Западной Европе, то там исходной является Хартия граждан, определяющая, что, собственно, нужно населению от власти. В разных странах все это выглядит по-разному. Скажем, для ирландцев очень важна доброжелательность аппаратов власти. Для французов же доброжелательность не столь существенна, им важно лишь то, чтобы на пятый звонок официальный представитель власти обязательно поднял трубку... А кто слышал о такой Хартии у нас?

Поэтому если в России выстраивать систему ограничения исполнительной власти по заявленному образцу нового публичного менеджмента, то нужно начинать с Хартии граждан и определения того, что в нашей стране является целью администрации. Затем на этой основе должен формироваться стандарт оказания властных услуг. А не так, как у нас сегодня, когда стандарты — это часть административных регламентов. Причем стандарт властных услуг должен существовать на основе закона, а не правительственного решения. А вот дальше — пожалуйста, ведомства правительства могут принимать административные регламенты, которые определяют технологию производства услуги по заданному приоритету.

То же самое касается и парламента. У нас полностью утрачены критерии и механизмы оценки положительных и отрицательных эффектов законодательной деятельности. Поэтому в России может быть принят закон, который никому не нужен или который принесет больше вреда, чем пользы. Ведь само по себе принятие закона не всегда благо.

Между тем в Австралии, например, создана замечательная методика оценки регулирующих воздействий законодателей. Для того чтобы принять закон, нужно сначала зафиксировать наличие проблемы, потом доказать, что она не решается и не будет решена сама по себе, а затем доказать, что эта проблема не может быть решена путем создания механизмов саморегулирования. И только четвертая возможность — принятие законодательного акта. А дальше начинается расчет издержек и эффектов такого принятия. И подобная практика действует не только в Австралии. Скажем, в законодательстве по вопросам бизнеса в США обязательно рассчитываются транзакционные издержки налогоплательщиков, создаваемые принятием законодательного акта.

У нас же никакие последствия законодательской деятельности никем не просчитываются. Зато придумана ритуальная, магическая фраза: «Не потребует дополнительных бюджетных средств», подразумевающая, что государство может абсолютно не заботиться о возможных издержках введения в действие нового закона. А что в результате? Вот люди, соблюдал закон, приобрели машину с правым рулем, а теперь им говорят, что такой машиной пользоваться нельзя. Хорошо, но тогда компенсируйте переоборудование машины или необходимость покупки другой, потому что законопослушные граждане имеют право на компенсацию нанесенного им властью имущественного ущерба. Или закон о неправительственных (некоммерческих) организациях, который, по данным специально проведенного нами исследования, наносит ущерб в 15–20 млрд рублей в год. Этот ущерб должен быть компенсирован, но законодатель заявил, что закон «не требует дополнительных бюджетных средств». Так что компенсировать ущерб нечем.

Можно привести еще множество примеров, подтверждающих, что с позиций общественных интересов нужна экспертиза не только на коррупциогенность, но и на генерируемые законом издержки, его положительные и отрицательные внешние эффекты, а также экспертиза самой необходимости принятия закона. Вот еще один пример. Сейчас по указанию президента готовится закон о торговле. Я убежден, что определенные действия власти в этой сфере нужны, но я совершенно не вижу предмета для закона. Не очевидно, что должен быть еще один особый закон, потому что уже есть масса других, регулирующих эту сферу.

Повторю: само по себе законодательное регулирование не есть благо, его эффект амбивалентен. Необходимо выяснить потребность в нем, а используя его, иметь возможность судить о его эффективности.

Если же говорить о государственной системе в целом, то главное здесь, пожалуй, — это ясное представление о функциональной приоритетности властных институтов. С позиции общественных интересов, на мой взгляд, приоритетом номер один является власть судебная, а не законодательная, не правительство и не президент. Потому что судебная власть — единственная, которая приводится в действие непосредственно самим гражданином. Причем по проблеме, интересующей именно данного гражданина или хозяйствующего субъекта.

Суд — это первичная услуга, которую можно получить от государства. Если же возникают проблемы с ее получением, то начинают формироваться альтернативные, негосударственные практики. Хорошо, если в форме третейских процедур. Много хуже, если в виде посредничества криминального авторитета.

О наличии гражданского общества и гражданской нации в России

Как известно, предпосылкой решения этой и многих других проблем является наличие современной гражданской нации. Существует ли таковая в России? Прямой ответ: на сегодняшний день — нет, не существует. Но отсюда вовсе не следует, что то же самое можно утверждать относительно российского гражданского общества.

Безапелляционное утверждение об его отсутствии в России есть явное преувеличение, обусловленное чаще всего распространенным мифом о гражданском обществе. Точнее, этот миф был популярен лет пять тому назад, сейчас он уже маргинален. Чтобы пояснить, что я имею в виду, я бы сравнил историю понятия гражданского общества и историю других нормативных понятий — не таких, как коммунизм, а, скажем, таких, как демократия и рынок.

У этих понятий в нашей стране были разные судьбы. И с демократией, и с рынком в конце 1980-х — начале 1990-х годов связывались представления о том, что с их воцарением все станет хорошо. И наоборот: когда все хорошо — это, мол, и есть демократия и рынок. Но вскоре выяснилось, что и с ними не все хорошо. И даже очень не хорошо. А дальше судьба этих понятий, как, впрочем, и соответствующих институтов, в массовом сознании расходится: к демократии по-прежнему отношение мифологическое, а от рынка люди уже не ждут того, что завтра он принесет всеобщее благоденствие, и не рассматривают его как универсальное средство решения всех проблем. К рынку возникло вполне прагматичное отношение, отнюдь не озабочивающее его полное и безоговорочное принятие, но предполагающее его необходимость в качестве социального института, который всех проблем решить не в состоянии, но быть должен.

Возвращаясь же к теме гражданского общества, хочу сказать: мне бы хотелось, чтобы историческая траектория этого понятия в России оказалась подобной траектории понятия рынка, а не понятия демократии. Потому что гражданское общество — это довольно функциональная вещь, обусловленная возможностью и способностью людей решать какие-то свои проблемы не путем принуждения со стороны власти и не путем частной сделки, а посредством самоорганизации, которая, соответственно, и формирует элементы гражданского общества. Если же мы признаем, что элементами гражданского общества, его институтами являются такие-то и такие-то виды самоорганизации, то, вообще-то говоря, все их мы найдем и в России. Они могут быть слабыми, неразвитыми, уродливыми, искаженными, но все они есть. Поэтому и речь может идти не об отсутствии гражданского общества в России, а об оценке его состояния.

Теперь — о гражданской нации. Тут дело сложнее. Потому что, когда мы говорим «нация», мы имеем в виду социокультурную форму, в которой выступает общество. То есть гражданское общество в виде его многочисленных элементов может иметь место, а нация при этом нет, так как соответствующая социокультурная форма не возникла. На мой взгляд, мы сейчас проходим как раз эту болезненную фазу социального и политического развития.

Почему же эта форма до сих пор у нас не возникла? У Пелевина в одном из последних романов есть образ сообщества людей, живущих в советской многоэтажке, построенной в последние годы советской власти. Советская власть построила этот дом и померла, а люди продолжают жить в его бетонных ячейках. Превзойти связь между его обитателями распадается, и они оказываются в вакууме. А потом между теми же людьми, живущими в тех же ячейках, начинают возникать совершенно иные связи, формируемый ими мир становится совсем другим.

Этот образ, на мой взгляд, очень хорош и точен. Мы действительно вышли из прежнего социокультурного состояния, прошли какую-то фазу социального вакуума и начали создавать новые сети социальных взаимодействий. А теперь речь идет о формировании некоей общей социокультурной рамки, которая бы упорядочила эти объединяющиеся общество совокупности связей. И, среди прочего, нынешний подъем национализма (а он будет продолжаться и впредь) есть очевидный симптом поиска такой рамки, поиска идентичности.

Вместе с тем для большинства понятие национального пространства России остается весьма неясным и слабо актуализированным. Гораздо понятнее, что есть «пространство Империи», но возможность восстановления империи, вопреки надеждам отдельных участников дискуссии, в XXI веке следует практически исключить. Аналогия с СССР, воссоздавшим имперское пространство после крушения царизма, здесь не проходит. Тогда империя просто еще не успела распасться, два-три года — это не срок для такого исторического процесса. Связь бывших имперских территорий начала восстанавливаться уже в ходе Гражданской войны. Иными словами, в 1917–1922 годах преобразование империи осуществилось в целом в тех же пространственных пределах и без распада прежних связей. А сегодня мы имеем несомненный распад империи, мы находимся в постимперской фазе. И до тех пор, пока кто-нибудь не приведет хотя бы один пример восстановления империи в современных условиях — у португальцев, англичан, у турок, в конце концов, — говорить о таком восстановлении по меньшей мере, нелепо и безответственно.

Я считаю, что данный вопрос закрыт. Пока еще, как показывают некоторые транснациональные экономические модели, тяготение между Россией и сопредельными государствами оказывается больше, чем между этими государствами и внешним пространством. Действует инерция институциональных норм: легче, дешевле, проще общаться со «своими», чем с европейцами или, например, с китайцами. Но это заглушающий эффект, он скоро исчезнет.

Остается вариант обустройства национального пространства. Нация может иметь под собой как территориальное, так и этническое основание. Российская империя в известном смысле была больше похожа на Австро-Венгерскую или Турецкую, чем на Британскую или Французскую империи. Посмотрим, скажем, на тех же турок. Как они решали эту проблему?

В ходе реформ младотурок и Кемали Атаатюрка они ушли от исламской основы, которая была имперской, и выстроили нацию на этнической основе. Причем заплатили за это и чужими, и своими жизнями. Переход был оплачен геноцидом армии, войной с греками в 1920-е годы, но, тем не менее, то был во многом весьма успешный переход. Однако в сравнении с Россией Турция по этническому составу была исходно

гораздо более монолитным государством. Поэтому и считаю, что в России построение нации на этническом основании крайне маловероятно и крайне опасно по возможным последствиям.

К тому же турки в начале XX века были в фазе демографического подъема. Мы же сегодня находимся, как известно, в фазе демографического спада, у нас огромные территории, которые не могут эффективно контролироваться нашим этническим сообществом. Так что если путь восстановления имперского единства практически неверен, то и путь образования этнической нации крайне маловероятен. Речь должна идти, скорее всего, о территориальной гражданской нации, хотя в этом случае возникает очень сложный и болезненный вопрос о территориальных границах.

Здесь я позволю себе сформулировать суждение, которое может показаться весьма неожиданным и странным. Я считаю, что роль государства в процессах формирования гражданской нации в России вовсе не первостепенна и даже не вторична. Потому что природа этих глубоких, внутренних процессов связана с отношениями между разными группами населения в стране, с тем, каким образом такие отношения выстраиваются и кто является субъектом этой деятельности.

В первом приближении в России можно обнаружить разные группы интересов сверху, на уровне элит, и снизу, на уровне широких масс, причем на протяжении всех 1990-х годов коммуникации между ними практически не наблюдалось. Начало их взаимодействию было положено в первый период президентства Путина, когда олигархические группы пытались освоить массовые отрасли промышленности вроде автопрома, а также вступить в какие-то отношения с населением, проживающим в так называемых «их городах». Так стала возникать какая-то коммуникация. Однако вскоре в эти процессы вмешалась власть, оставив их под свой контроль.

Сейчас, как мне кажется, начинается новый раунд движения к взаимодействию, в ходе которого решается очень тяжелый для российского сознания вопрос о способности различных социальных групп разговаривать друг с другом без посредничества государства. Подчеркиваю: не соглашаться, но просто разговаривать. Ведь самая страшная и крайне популярная в России фраза: «Я с этим на одном поле не сижу». Такой вот агрессивный изоляционизм, который с легкостью отдает все третейское полномочия власти. Своего рода форма доносительства по-русски: мы-де к компромиссу не способны, без нас в своих делах не разбираемся, «придите и владейте нами». И власть, которую никто не любит, тем самым ставится в положение центрального, решающего субъекта.

Ситуация может измениться только в том случае, если переменится сам тип этих отношений в обществе, само мировоззрение социальных групп. Не в том смысле, что они должны отказаться от своей позиции и своего интереса, а в том смысле, что они должны признать наличие других интересов. Без такого признания гражданская нация сложиться не может.

Говоря об ее формировании, надо учитывать и некоторые другие особенности страны. Распространенное представление о России как о Евразии в корне неверно. Реальность выглядит иначе и не столь тривиально. Мы скорее Евроамерика, потому что за Уралом у нас начинается социокультурное пространство совершенно неазиатское. У нас Азия заключена скорее внутри европейской части. И есть нетипичные для России сообщества в Сибири, в какой-то мере на севере и юге страны, где попавшие в свое время в зону традиционного крепостничества и долго культивировавшие иные формы социальных отношений. В целом это были, конечно, маргинальные линии развития, но нередко они оказывались весьма успешными — вот в чем парадокс. И они не выделялись в особые нации только по той простой причине, что в соответствующих регионах не произошло достаточной демографической концентрации. Иначе мы бы имели сегодня Сибирь отделенной от России, исторический процесс шел именно к этому.

Есть и еще один фактор внутренней неоднородности. У нас, фактически, существуют три страны внутри европейской части. Есть страна больших городов, которая уже в конце XIX — начале XX века была Европой. Есть деревенско-слободская страна — та самая Азия, но она-то как раз находится в состоянии длительной некротической агонии. И есть еще страна, возникшая в советское время, — страна закрытых городов. В ней живет очень странное население с высоким образовательным цензом и склонным к изоляционизму сознанием. Это искусственное образование досталось нам в наследство от советского времени и живо по сию пору.

Учитывая перечисленные особенности России и ее населения, я предлагаю формирование нации, на которое обычно смотрит сквозь призму этнического фактора, рассматривать иначе. Надо считаться и с другими, быть может, более значимыми в нашем случае социально-экономическими и культурными факторами. И помнить о том, что лежащая в основе этого процесса широкая коммуникация разных групп может быть осуществлена только при наличии политических субъектов. А ключевым условием для выработки негосударственной политической субъектности в России является диалог «за одним столом» между либералами, левыми, националистами и прочими. При этом под левыми я подразумеваю не только коммунистов, но и ультралевых, которые сейчас гораздо точнее, нежели КПРФ, представляют интересы многих групп, оказавшихся за бортом в ходе реформ 1990-х годов.

Что касается национализма (как политического феномена), то это особая большая тема. Он пользуется поддержкой значительной части российской буржуазии — и крупной, и средней, и мелкой. Связано это с проблемами роста, когда обнаруживается, что все перспективные ниши заняты, причем в значительной степени неэтническими элементами. Очевидно, что это проблемы не столько этнические, сколько социальные. Поэтому именно в диалоге разных политических групп и формируется некоторый ценностный консенсус о правилах и пределах конкуренции и кооперации, без которого нет гражданской нации.

И еще должен быть диалог региональных элит. Думаю, что в 1990-е годы Совет Федерации давал определенную площадку для этого, но тогда проблема не стояла столь остро. Актуальнее была задача защиты от вторжения в регионы федерального властного центра или федеральных олигархических групп. Сегодня же вопрос стоит именно о необходимости политического диалога территориально-культурных общностей, для чего нет иного механизма, кроме сената.

О роли государства в процессе формирования гражданской нации

Вернемся все же к роли государства в формировании гражданской нации. Она третьестепенна, но она существует. И она не в том, к чему призывают власть в отношении «борьбы с национализмом»: сказать твердое «нет» и какое-то количество людей посадить в тюрьму. Ведь власть уже многожды говорила «нет», но соответствующий процесс это не останавливает. Она и в тюрьму сажала, да только не тех: очевидно же, что не Лимонов является лидером националистической волны, а посадили именно его. Это та же самая история, что и с национальными проектами. Раз вся система правил разрушена, то любое действие направляется не по адресу, реализуя какой-то иной, отличный от декларируемого, интерес.

Власть любит делать то, что ей сделать проще. И она и впредь будет достигать совершенно иных целей, чем те, на которые есть запрос со стороны широких общественных групп. Поэтому и разговор о том, что может и должно делать государство в процессе формирования гражданской нации, я бы начал с того, чего оно делать не может и не должно.

Существование нации, как сформулировал в свое время Ренан, — это совместная гордость за свое историческое прошлое. Или, как он выразился в другом случае, совместное заблуждение по поводу славного исторического прошлого. И еще это согласие относительно общих ценностей, достигаемое через обязательную коммуникацию политических представителей — как социальных, так и территориальных. Если над ними стоит еще какая-то другая власть и пытается решать эту задачу за них, то ничего путного в конечном счете не получится. Это касается и исторического прошлого.

Государство не должно обладать монополией на его интерпретацию. По-моему, у Кочеткова, у барда, есть фраза: «Я сын папаша всех народов, я внучек деда Луизича». Можно добавить: «...и правнук Петра Первого и праправнук Ивана Грозного». Потому что со времени Карамзина мы имеем вместо истории России (ее людей, семей, народа) то, что он назвал историей государства Российского. Или, что то же самое, историю власти в России. Я даже не обсуждаю качество этой истории, про это можно спорить отдельно, но принципиально важна сама подмена субъекта истории.

Гражданская нация формируется другим субъектом. Им должны стать люди, семьи, города, какие-то людские общности, но не административные округа. И эту задачу власть за нас не решит. Она может только воспрепятствовать ее решению, если будет — пусть простит меня великий историк — уснипать «карамзинский» зрел в интерпретации нашего прошлого и его политической актуализации.

И тем не менее есть вопрос, в решении которого власть может принести пользу делу формирования гражданской нации. И касается он экономики. Тут власть очень многое может сделать как для препятствования проявлению активности людей, так и для того, чтобы способствовать этому. В подтверждение приведу два примера.

В 2000–2001 годах решения президента Путина о создании федеральных округов и приведении регионального законодательства в соответствие с федеральным положили начало ликвидации «феодальных барьеров» между областями РФ, что дало положительный импульс не только для экономики, но и для формирования нации. Запущенный этими действиями президента процесс принес определенные результаты, но не был доведен до своего логического завершения, не вывел страну на самый важный уровень социальной интеграции, не создал условия для свободного передвижения ее граждан.

Для успешного развития рыночной экономики недостаточно обеспечить свободное передвижение товаров и капиталов. С товарами и капиталами, встает, тоже не все получилось как надо. Но, главное, с людьми уж точно не получилось. Эту проблему антифеодальная политика раннего путинского режима решить так и не смогла. Устранение барьеров, связанных с неконституционным режимом прописки, создание равных и доступных возможностей при покупке квартиры в любом из городов России (Омске, Екатеринбурге, Петербурге или Москве) независимо от места проживания покупателя — вот государственная задача, которая остается нерешенной, но для решения которой власть может сделать очень многое.

И другой пример того, что может и должна сделать власть. Известно, что расстояние между Москвой и Нью-Йорком, Москвой и Пекином, если измерять его в деньгах, которые необходимо потратить на перемещение, короче, чем между Москвой и Владивостоком, Москвой и Петропавловском-Камчатским. Это — с точки зрения интересов целостности нации — категорически неправильно. Внутреннее дотирование трансконтинентальных рейсов — нормальная и почти обязательная практика. Известно, что трансатлантические рейсы дотируются за счет внутренних перевозок, потому что иначе (и это всем понятно) связь между Америкой и Европой может ослабнуть. Надо ли доказывать, что обеспечить возможность свободной коммуникации внутри страны еще более важно?

Это касается не только аванши. Федеральный бюджет должен поддерживать то, что считается национальным достоянием. Сегодня им поддерживается, скажем, Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Большой театр. Но вот вопрос: может ли школьник из Барнаула хотя бы один раз в жизни за счет государства посетить Третьяковскую галерею? Если нет, то что же это за национальное достояние?

Роль государства и заключается, помимо прочего, в том, чтобы обеспечить своим гражданам доступ к их национальному достоянию. Если такой доступ будет обеспечен, то у нас начнет формироваться совершенно новая культурная ситуация.

Проблема социального капитала и издержки модернизации по-русийски

А теперь — снова об отечественной истории. Выступая против актуализации ее карамзинской версии, я отдал себе полный отчет в том, как важно нам сегодня понять эту историю в ее своеобразии и в ее соотносительности с нашими сегодняшними проблемами.

За последнее столетие Россия уже дважды вслед за этапом либерализации сверху вступала в периоды социальной дезинтеграции и атомизации, сопряженные с утратой накопленного страной социального капитала. Впрочем, смена периодов положительной и отрицательной динамики социального капитала свойственна практически любому обществу. Соплоско на книгу Ф. Фукуямы «Великий разрыв», в которой он анализирует под этим углом зрения изменения, происшедшие в США за последние 20 лет. Радиусы доверия сокращаются, социальный капитал накапливается в маленьких ячейках, куда перетекает из больших ассоциаций, — все это свидетельствует об отрицательной динамике социального капитала в США. Но в таких колебаниях, повторяю, ничего кошмарного нет, социальный капитал именно так и существует.

Однако в России мы имеем дело с иными процессами. Тут я с Фукуямой буду спорить, потому что из советского периода мы вышли отнюдь не с нулевым социальным капиталом, как он полагает, а с хорошим его запасом, который был накоплен за авторитарный период развития Советского государства. Накопление социального капитала стало в этот период, начиная с середины 1950-х годов, решающим средством выживания людей в СССР: если ты никому не доверяешь, тебе и на кухне-то не с кем поговорить, не говоря уже о том, что ты и мяса не достанешь, и сапоги не купишь. Поэтому в тот период формировались весьма плотные социальные сети, которые затем проявились в виде эффективной массовой протестной мобилизации конца 1980-х — начала 1990-х годов.

Именно этот социальный капитал сгорел в 1990-е годы в ходе глубокой социальной реструктуризации. К сегодняшнему дню он находится на минимуме, но видно, что он начинает восстанавливаться. Социология отмечает даже определенный рост радиуса доверия между людьми. Но остается проблема злокачественной повторяемости сценария российского развития в периоды реформ, того, что я — быть может, не очень удачно — называю «проблемой колен» или проблемой инерционной траектории развития, при котором медленное накопление социального капитала чередуется с его стиранием в топках модернизаций.

Из истории мы знаем, что в России возможны два типа модернизации: либо либеральная, которая обычно оказывается неудачной, либо авторитарная, которая поначалу представляется весьма результативной, но затем приводит к отставанию страны. Типичный пример — Петровские реформы. Их результатам посвящен особый раздел в замечательном издании, посвященном 300-летию дома Романовых, который так и называется «После Петра». Ничего более страшного я в жизни не читал. Петр создал флот. Двадцать лет на Воронежских верфях его создавал. А в 1730 году, через пять лет

после смерти Петра, у России флота уже не было. Во время войны с Польшей, когда нужно было блокировать Гданьск от подхода французской эскадры, у России не нашлось ни одного корабля. Катастрофически сократилось население, а падение промышленного производства было таково, что восстановление до прежнего уровня происходит только при Екатерине Второй. Но к этому времени такой уровень был бы достигнут, даже если никаких Петровских реформ не было бы вовсе. Это — типичный результат традиционалистской модернизации.

В чем особенность такой модернизации (сталинской, петровской, может быть, в этот ряд стоит поместить и реформы Ивана Грозного)? В том, что самодержавие и крепостничество как институты, которые сдерживают развитие, начинают использоваться в качестве инструментов его принудительного ускорения. Формально Петр создает в России современную промышленность так же, как Кольбер во Франции. Но по существу — ничего подобного. В ходе реформ Кольбера насилие применяется для того, чтобы загнать дворян в систему наемного труда, а российское самодержавие применяет насилие для того, чтобы, оставив крестьян в крепостном состоянии, свести их с традиционного для них земледелия, переместить на другие объекты, приписать к заводам. Это совершенно иной подход — по характеру, по природе процесса. Внешне в России наблюдается тот же рост заводов, как и во Франции или в Англии, но промышленности, основанной на наемном труде, не возникает. И как только государство ослабевает — а после осуществления им колоссальной социальной мобилизации его ослабление неизбежно, — наступает релаксация, экономические связи размываются, страна некоторое время продолжает двигаться по инерции, затем впадает в застой.

В XX веке мы наблюдаем примерно то же самое. В 1950-е годы — наивысшие успехи: космос, термоядерное оружие. А потом все начинает проседать. Почему? Потому что прекратилось насилие, ресурс которого был уже полностью исчерпан. Не случайно же вожди системы принуждения первыми, как Берия в 1953 году, стали требовать реформ, понимая, что больше так жить невозможно. Но за реформами, ослабляющими принуждение, в России следует неизбежная демобилизация государства и проседание экономики.

Какова же природа этой злокачественной повторяемости сюжетов развития, при котором за накоплением социального капитала в периоды между модернизациями следует его обнуление в ходе модернизаций? Не знаю, прозвучит ли моя констатация утешительно, но большинство стран мира на определенных этапах своей эволюции тоже сталкиваются с «проблемой колен». Особенно те, которые относятся ко второй и третьей группе в статистических таблицах Мэдсона, т.е. страны с низкими траекториями развития. Пытались преодолеть отставание посредством «больших скачков», они затем переживают периоды падений, а в итоге их средние за полстолетия темпы развития оказываются ниже, чем у лидирующей группы стран. Так в чем же причина?

Я могу с ходу перечислить пять объясняющих гипотез, хотя их, наверное, может быть и больше.

Это, во-первых, неошумпетерианская гипотеза, которая все объясняет состоянием и особенностями национального сознания.

Это, во-вторых, нортурианская гипотеза, которая объясняет все неверным институциональным выбором, обусловившим в свое время формирование неправильных институтов.

Это, в-третьих, свежая, 1995 года, идея о своего рода ресурсном проклятии. Про «голландскую болезнь» знали давно, средства ее лечения вроде бы известны, но правительства целого ряда стран категорически поддерживаются от их применения. Значит,

дело не в самой голландской болезни и не в отсутствии средств лечения. Идея ресурсного проклятия указывала на избыток ресурсов в экспорте как фактор, определяющий особый тип развития.

В четвертых, укажем на сотнанскую (de Coto) гипотезу, сводящую все к эффекту демографического перехода, который создает конкуренцию вновь пришедших и старых социальных групп, новых и старых элит. Старые сообщества и элиты начинают использовать правовые механизмы против собственности и против конкуренции, что становится тормозом развития страны.

И, наконец, последняя, пятая гипотеза. Суть ее в том, что в истории возможно маятниковое развитие, как, скажем, в России или в Испании, когда наблюдаются подобные движению маятника колебания «революция — реакция, реакция — революция», формирующие длинные волны реструктуризации социальных правил. Правила нестабильны, все время меняются, и эти, порой весьма резкие, изменения существенно ухудшают условия развития общества.

Если попытаться как-то суммировать эти объясняющие гипотезы, то между ними можно обнаружить нечто общее. Все они так или иначе выходят на ключевой вопрос, касающийся структуры власти и прав собственности. Мы помним, как остро стоял у нас этот вопрос в 1990-е годы, и знаем, что до сих пор он, в отличие от многих других стран, с «проблемой колен» справившихся, в России решению не поддается. А раз так, то общие объяснительные схемы в нашем случае объясняют не все. На самом деле в виде чрезмерно затянувшейся неразрешенности этого вопроса до нас доходит своеобразные «волны» от очень старых российских институтов самодержавия и крепостничества.

Про самодержавие я уже говорил, а про крепостничество следует сказать особо. Его зона в России по-прежнему довольно велика. Она, конечно, не так значительна, как в сталинском СССР, но она существует. В нее включены не только старые вооруженные силы, которые по-прежнему держатся на крепостничестве, ибо крепостнический принцип лежит в основе их хозяйства, работы их ремонтных заводов и проч. В нее включены и гастарбайтеры, в сфере деятельности которых тоже сохраняются крепостнические отношения, охватывающие минимум 5–7 млн человек. В стране, общее трудоспособное население которой составляет 100 млн человек, данный социальный слой выглядит весьма представительным.

Власть и свобода. Возможна ли у нас успешная модернизация несамодержавного типа?

Почему же в России либеральные реформы всегда закачиваются полным или частичным воспроизведением самодержавия и государственного крепостничества? Для меня это открытый вопрос, но некоторые соображения я бы все-таки позволял себе сформулировать. Дело в том, что и либеральные реформы в России проблему сращения власти и собственности тоже никогда не решали. Это относится и к реформам 1990-х.

Логика Гайдара и Чубайса была логикой достижения наиболее быстрым способом точки невозврата, чтобы как можно скорее выйти из ситуации, допускающей возможность реставрации коммунизма. Для этого они решили форсировать создание слоя крупных собственников, владеющих ключевыми ресурсами страны, которые ни при каких обстоятельствах не позволят коммунистам перехватить инициативу. И реформаторы своей цели добились, решив поставленную перед ними конъюнктурно-политическую задачу. Так сказать, обхитрили историю.

Но это было сделано в ущерб гарантиям прав собственности массовых слоев населения, интересам становления эффективной судебной системы и современных инс-

титут гражданского общества. Сейчас, когда реформаторов 1990-х годов не судит только ленивый, мне даже неудобно про это говорить. Тем более что их усилия не были совершенно бесплодными. Но то, что проведенные ими реформы оставили Россию в прежней колее, — это факт. Конечно, задача изменения характера исторического движения страны за три-четыре года не решается. Но для меня очевидно, что стратегия преодоления этой инерционной зависимости нашего развития должна быть принципиально иной, нежели та, что была предложена либеральными реформаторами 1990-х.

В связи с этим хочу обратить внимание еще на одну проблему, которую можно назвать проблемой соотношения власти и свободы. В начале 2000-х годов социология выявила несколько озадачивший исследователей факт слабой востребованности свободы в российском обществе. Реакцией на либеральные реформы стал запрос на власть, обеспечивающую защиту социальных прав, которая и ассоциируется с «порядком». И этот запрос стимулировал возвращение власти и общества в привычную историческую колею, в которой урезается и свобода тех, кем она востребована.

Эта проблема обсуждается в нашей стране уже сто лет. Скажем, Георгий Федотов в работе «Россия и свобода», написанной в 1920-е годы, отметил, что Россия нашла способ стимулировать прогресс, не развивая свободу и избегая ее расширения при расширении образования. Российское самодержавие вопреки раз использовало плоды социального прогресса в качестве ресурса ограничения свобод образованного круга, подрывая тем самым естественный и самопроизвольный процесс их развития, сдерживая становление субъектности аристократии и не позволяя возникнуть цензовой демократии. Между тем все современные сильные демократии возникли именно из демократии цензовой, распространяемой лишь на тех, кто нуждается в свободе для самостоятельного управления своими правами. Именно она со временем сделала свободу и демократические права привлекательными и для всех остальных. Но сегодня перспектива введения цензовой демократии вряд ли может рассматриваться в России как реальная. Это исключено. Сложность проблемы в том, и заключается, что свобода должна распространяться и на тех, у кого она востребована слабо и кто защиты своих прав ждет прежде всего от власти. Тем не менее ее решение существует и лежит в русле альтернативных возможностей успешной модернизации несамодержавного типа.

Обрисую его суть в несколько необычных терминах рыночного торго. Если рассматривать разделение властей как фактор предложения, а ценности прав как фактор спроса, то задача сводится к следующему. Нужно найти компромиссную формулу, сочетающую интересы массовых слоев, которые по причинам преимущественно-образовательным не готовы самостоятельно управлять своими правами и склонны «депонировать» их власти, и интересы активных групп населения, которые чрезвычайно высоко ценят возможность самостоятельно пользоваться своими правами.

Иными словами, нужно искать более тонкую настройку всей социально-политической системы. Что это значит? Это значит, что президентская власть должна обрести у нас функции своего рода суперомбудсмана, которому представители «слабых» групп населения «депонировать» свои социальные права. Эта функция президента должна быть скорее пассивной, функцией своего рода защитника прав, гаранта социальной справедливости с правом вето. В то же время активные социальные группы, готовые и способные управлять своими правами, будут иметь парламентскую демократию. Иными словами, решение заключается в разделении полномочий между ветвями власти, и те группы, которые хотят и могут управлять своими правами, будут действовать через партийно-парламентские механизмы, а те, которые не хотят или не способны, смогут депонировать свои права «управляющей организации».

Ключевая сложность здесь в том, что в новой конструкции исполнительная власть не должна занимать внешнее доминирующее место. Потому, в частности, что, заняв его сегодня, она завела страну в тупик, выжила пределы реформ и фактически продемонстрировала свою неспособность управлять социально-политическими процессами, происходящими в стране. Поэтому от внешней политической конфигурации все равно придется уходить, но уйти желательно не путем «ломки». Вопрос ведь в том, будем ли мы и впредь продвигаться прежними циклами рынков и падений, при «ломке» неизбежных, или все же попытаемся вырваться на какую-то новую траекторию.

Но есть и другая часть задачи, касающаяся собственности. Де Сото сформулировал очень важную истину: для облегчения и ускорения социального развития нужно упрощение права и легализация существующих и востребованных социальных практик. Следовательно, нужна политика всгласных амнистий массовых видов собственности. Власть иногда делает это (например, дачная или налоговая амнистия), но если говорить об упрощении права, то она идет скорее в прямо противоположном направлении. Здесь, правда, следует учитывать и влияние мощной юридической корпорации, заинтересованной как минимум в сохранении существующей сложности.

Неотвратимость переустройства Российского государства

До сих пор и говорил о задачах, которые стране предстоит решить. Теперь же я хочу рассмотреть одно из определяющих условий такого решения. Речь идет о неотвратимости переустройства Российского государства. Тому есть несколько объективных предпосылок. Первая и синонимичная состоит в том, что проблема трансформации власти (говорят также о передаче власти или ее преемственности) в нынешней системе не имеет решения. Поэтому, на мой взгляд, сама власть вынуждена будет идти на преобразование, причем прежде всего в этом заинтересован уходящий президент. Иначе он просто не сможет уйти.

Объясню несколько подробнее. Сегодня в стране существуют пять-шесть доминирующих групп, а не две, как нам нередко пытаются представить: мол, начиная с XIX века при дворе самодержца за его покровительство борются либеральная и реакционная камарилья, и истинным патриотам России следует выбирать сторону либеральной... На самом деле все, конечно, не так.

Наличие пяти-шести доминирующих во власти групп легко установить экономическим анализом, уяснив, на какие ключевые активы сели те или иные «кремлевские башни», как между собой соотносятся ведущие российские госкомпании, кто с кем ведет перманентные торговые войны. По процессам, происходящим в публичной экономике, мы можем видеть, что происходит в структурах власти, как «башни» воюют друг с другом.

Что в этой ситуации может сделать президент? Многие говорят: пусть он назначит конкретного преемника. Но это же означает, что он выкажет свое предпочтение одной из групп, а остальные пять немедленно попытаются начать согласованные военные действия против нее. Предположим даже, что они начнут создавать какие-то коалиции, заключать какие-то договоренности на этот счет, что представляется мне проблематичным в силу отсутствия у нашей элиты способностей и опыта достижения такого рода договоренностей: ведь до сих пор все связи между ее различными группами были опосредованы одним лицом — президентом. При внешних отношениях они смогут договориться только о нулевом, «ничейном» кандидате, а такой кандидат не сможет выполнять функции гаранта достигнутых договоренностей. И эта его неспособность ставит крест на всем проекте.

В ситуации смены лидера элитам в первую очередь нужна гарантия сохранения их политического положения и захваченных ранее активов, а также личной неприкос-

новенности. Поэтому, куда ни кинь, задачка не имеет решения. Значит, фактически решение состоит в том, чтобы пойти на определенный демонтаж управляемой демократии и перекоифигурировать властные ветви, чтобы возродить механизмы публичной политической конкуренции. Резюмирую: первая предпосылка трансформации состоит в том, что прежняя система не в состоянии обеспечить собственное воспроизводство при смене политического лидера.

Кстати, соответствующие трансформации в системе уже начались. Обратите внимание на возникновение мирового проекта «Справедливой России» — это уже непосредственный демонтаж системы управляемой демократии, ибо двухпартийная система принципиально неуправляема. Началась и борьба региональных элит, что видно на выборах в региональные Законодательные собрания. Процесс, как говорится, пошел.

Вторая предпосылка переустройства Российского государства заключается в социально-экономическом банкротстве управленческой системы. Многие эксперты очень низко оценивают возможности управления в нынешних условиях. Поэтому, даже если не было бы проблемы преемственности, что бы мы имели при сохранении этой системы после 2008 года? Кризисы, порождаемые ею, будут только нарастать и могут принять очень неприятный, неуправляемый характер.

Наконец, третья предпосылка — это то, что я говорил в связи с дилеммами свободы и власти. Проблема «выхода из колена» актуальна лишь в том случае, когда граждане не согласны с традиционным порядком, когда большинство из них стремится максимизировать свой социальный и имущественный статус. Сегодня у нас все эти условия налицо, мы фактически имеем национальный консенсус в стремлении к большему. А отсюда следует, что налицо и предпосылки то ли для очередного авторитарного скачка с последующим падением, то ли для неудачной либеральной реформы. Значит, перед нами вновь все тот же вопрос: можем ли мы свернуть с этой траектории на другую или обречены на бесконечное повторение, хождение по замкнутому кругу?

Отвечая: можем, если решимся на серьезные меры по переустройству государства. Трех перечисленных выше предпосылок для этого более чем достаточно.

Что я подразумеваю под переустроенным государством? Это прежде всего формирование социального контракта в стране, т.е. достижение согласия самых разных групп по поводу того, чего мы хотим от государства. Это появление запроса на государство, потому что мы имеем сейчас, как ни странно, падение такого запроса. Люди сами решают свои проблемы, а государство, внешне разрастаясь, все в большей степени оказывается ненужным, оно не решает никаких конкретных проблем, с которыми сталкиваются люди. Напротив, появление запроса на государство и предоставляемые им услуги будет означать, что оно преодолет, наконец, свое безмерное стремление распространиться повсюду и займется специализацией, сконцентрируется на выполнении каких-то конкретных и востребованных социальных функций.

Переустройство государства — это социальный контракт, это согласие различных групп по основным правилам социального взаимодействия в стране, более того, готовность отстаивать их неизменяемость. И именно поэтому это не совсем то, к чему призывают некоторые участники дискуссии.

Возьмем ту же конституцию, с констатацией изъятий которой дискуссия началась. Я совершенно не уверен в том, что можно принимать новую конституцию для того, чтобы в стране что-то переменялось. Потому что я, как институциональный экономист, смотрю на ситуацию несколько особым образом. К примеру, североамериканская конституция на самом деле не лучшая в мире, а южноамериканские не хуже ее. Даже лучше, поскольку они учли опыт французской революции. Причины успеха Северной Америки не в достоинствах и качестве формального документа, а в соответствии фор-

мальных и неформальных правил. В США гражданин готов отстаивать принцип налогообложения соседа даже в отсутствие налогового полицейского. Он сам заинтересован в работоспособности этих правил. А в Южной Америке такой практики нет.

Сегодня мы стоим перед задачей договориться о тех неформальных правилах, которые будут приняты российским сообществом, а стало быть, будут работать внутри него сами собой. И только тогда станет ясно, что именно в нашей конституции неприкосновенно, поскольку по этому вопросу есть общее согласие, а что — факультативно.

Я намеренно формулирую столь неопределенно, потому что согласие еще не достигнуто, не найдено. Не знаю, какие принципы будут приняты, но, на мой взгляд, в этом и заключается процесс переустройства государства, а именно — в достижении согласия разных групп общества по поводу ценности и смысла заложенных в конституции правил.

В заключение хочу сказать, что в ближайшее будущее я смотрю без особого оптимизма. Мы вошли в чрезвычайно сложный, кризисный период, когда возможен любой поворот событий, включая заговоры и перевороты. Но в среднесрочном плане я испытываю большой оптимизм, понимая, что страна выходит из затяжного периода после-революционной реакции, задачи которого она уже решила. Мы дожили до той точки, когда наша российская власть уже не может управлять прежними методами. Выход из периода реакции может происходить в разных направлениях, но этот исторический период закончился.

Начинается новый.

ЕЩЕ РАЗ О ПЕРЕУЧРЕЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВА, ИЛИ МИРНЫЙ СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА

Идея «переучреждения государства», выдвинутая в ходе дискуссии Александром Лузаном, заслуживает, на мой взгляд, самого пристального общественного внимания и широкого обсуждения. А его же более раннее предложение использовать для анализа происходящих в России процессов понятие «общественного договора» позволяет осуществлять как ретроспективный, так и перспективный анализ развития, стагнации или деградации страны. Более того, с помощью такого понятийного аппарата можно в каждый отдельный момент анализировать стратегию проводимых в России реформ, а также тактику и механизмы их проведения с точки зрения соответствия достигнутых или ожидаемых результатов обозначаемым целям.

В идеале распределение ролей в общественном договоре следующее.

Власть в лице трех ветвей (законодательной, исполнительной и судебной) формирует правила игры в обществе, контролирует их исполнение на всей территории страны и самостоятельно осуществляет хозяйственно-экономическую деятельность только в рамках исполнения бюджета при минимальном использовании бюджетных средств для инвестирования в экономику.

Бизнес — основная сила общества, обеспечивающая его экономическую жизнь и отвечающая за развитие экономики, работает независимо от власти. Для успешного выполнения им своих функций регулирующее влияние власти должно быть строго ограничено стимулированием направлений инвестиционной активности бизнеса через налоговый протекционизм и иные опосредованные механизмы.

Гражданское общество с помощью своих разнообразных институтов, а также независимых СМИ (или зависимых, но от разных участников общественного договора) контролирует деятельность власти и бизнеса, включая формы и нормы контроля бизнеса со стороны власти, власти со стороны бизнеса и отдельных институтов самого гражданского общества со стороны их обоих.

Подобное равновесие всех трех сил обеспечивает своевременную корректировку политического курса и, исключая жесткость всей системы, гарантирует ее постоянное саморазвитие. А степень приближения к этому идеалу характеризует стадию развития общества.

При сложившемся сейчас в стране соотношении сил центр тяжести смещен в сторону одного из участников общественного договора — в сторону власти. Точнее — ее исполнительной ветви. Подобно сямским близнецам, она реализует себя и как собственно власть, и как бизнес, а также формирует институты гражданского общества, которые, по определению, должны создаваться не сверху, а снизу, о чем в ходе дискуссии уже говорилось (см., например, выступление Дмитрия Тренина). При этом исполнительная власть фактически подчинила себе две другие ветви (законодательную и судебную), что противоречит российской Конституции.

Приходится констатировать, что жесткая структура СССР с безоговорочным доминированием государства в экономике и общественной жизни, рухнув в силу этой жесткости в 1990-е годы, через 15 лет российских реформ снова возрождается в авторитарно-патерналистской модификации с гипертрофией одной силы в общественном договоре. Возрождается, несмотря на первоначально возникшие бизнес-структуры и институты гражданского общества, несмотря на существование в течение ряда лет свободы слова и, можно сказать, почти разгузданную критичку в СМИ верховной власти.

Почему же так произошло?

Механизм приватизации как причина общественного регресса

Разгосударствление собственности после крушения советского строя должно было и на самом деле стало квинтэссенцией перехода страны на путь построения рыночной экономики. Однако общественно определяющая роль механизма реформирования в успехе преобразований. Реформаторы 1990-х, понимая главенствующее значение приватизации в осуществлении такого перехода, проигнорировали тот факт, что сами правила, по которым появляются крупные частные собственники, предопределяют будущую ментальность и бизнес-этики, и политиков. И если правила отличаются от уже имеющегося мирового опыта, то и поведение новых классов и групп может не отвечать прогнозируемым на основании этого опыта результатам.

Известная из мировой практики лидирующая роль крупного корпоративного капитала в быстром подъеме экономики определила в мышлении реформаторов ошибочное представление о доступности концентрации наиболее прибыльной крупной собственности в частных руках прямым ее переводом из государственной в частную без механизма рыночной конкурентной борьбы. Без механизма, который автоматически отбирает в число крупных собственников наиболее талантливых и рискованных предпринимателей.

Да, на момент проведения так называемых закрытых залоговых аукционов, сформировавших группу крупных собственников, институт частной собственности был настолько слаб, что рыночная конкурентная борьба за управление крупной собственностью исключалась. Но в этих условиях возможны были две тактики.

Первая: разгосударствление и приватизация крупных объектов, определявших доходную часть бюджета страны, осуществляется через последовательные процедуры — акционирование, продажу населению на специальных аукционах акций по безналичному расчету за дореформенные накопления, хранившиеся в Сбербанке, и последующая концентрация этих акций в руках активных предпринимателей путем рыночной скупки их за наличные деньги у населения.

Вторая: непосредственная культурная передача чиновником назначенному им претенденту прав на наиболее прибыльные крупные объекты по способу так называемых закрытых залоговых аукционов.

Реформаторы категорически отказывались даже от обсуждения первой схемы. В течение августа–сентября 1993 года она была опубликована в двух газетах, а в 1995-м подробно изложена в журнале «Рынок ценных бумаг». С начала 1993 года предпринимались многократные безуспешные попытки получить от реформаторов аргументированную критику предлагавшегося механизма. Единственной причиной его неприемлемости была названа неактуальность самой цели «использовать приватизацию для создания в стране как можно большего количества собственников». Главный мотив реформаторов: поскольку, согласно мировой практике, расчет экономики обеспечивается крупным корпоративным капиталом, именно скорость его формирования является определяющим фактором быстрого успеха реформ, а способ обеспечения этой скорости не играет роли.

Возможно, первая схема, с точки зрения механизма реализации, имела свои слабые стороны — прежде всего, связанные со сложностью включения в рыночный процесс приватизации через специальные аукционы больших масс населения, не подготовленных советским прошлым к рынку акций. Предполагалось, что особенность этих аукционов будет определяться действием на них единственного платежного средства — безналичного счета в банке. Таким путем, согласно замыслу, обеспечивались и рыночный принцип, и безинфляционность. Но этот механизм, прописанный с определенной степенью проработанности, ни при каких обсуждениях заинтересованного внимания не привлек и, тем более, не анализировался.

Было множество таких обсуждений в рабочей группе Согласительной комиссии по проблеме компенсации сбережений населения при Правительстве РФ и Администрации президента, было одно обсуждение с А.Б. Чубайсом, но до анализа предлагаемой процедуры ни дело так и не дошло. И это при том, что в ней делался акцент не только на важность соблюдения принципа справедливости в ходе приватизации, но и на разрушение патерналистской ментальности населения при вовлечении в приватизацию его подавляющей части. Между тем в схеме, которая была утверждена, ее возможное влияние на ментальность всех сторон — и населения, и формирующегося бизнеса, и власти — не учитывалось вообще.

По принятому механизму разгосударствления собственности население в массе своей было фактически исключено из приватизации. Ваучерный камуфляж не в счет. После активирования большинства предприятий контингент реальных собственников в стране по существу ограничился численностью директорского корпуса, в большинстве наживавшегося посредством сдачи в аренду зданий. Между тем если бы люди, имеющие накопления в Сбербанке, выкупили за счет их акций прибыльных предприятий (по безналичному расчету) и затем продали эти акции на открытых аукционах за живые деньги, они и их семьи получили бы стартовый капитал для собственного бизнеса. Такая изумительная компенсация обесцененных дореформенных сбережений населения стала бы формой активного воздействия государства на процесс формирования мелкого и среднего предпринимательства.

Однако этот благоприятный механизм государственного протекционизма бизнесу реформаторы прониорировали. В результате формирование среднего класса было обречено на длительные сроки. И, что еще более существенно, на десятилетия затормозилась перестройка патерналистской ментальности подавляющей массы наших сограждан, их переориентация на осознание собственной ответственности за организацию и обеспечение своей жизни.

Заранее оспоруя ссылку на неспособность к индивидуальному поведению так называемых простых людей, привыкших к опеке государства и в смысле получения работы, и в смысле гарантированных зарплат на голодную жизнь. Массовое челночное движение и мелкая торговля продуктами с приусадебных и садово-огородных участков, не обеспеченные со стороны государства никаким протекционизмом, кроме разрешенной свободной торговли, фактически спасли реформаторское правительство в условиях тотального дефицита и враз рухнувших предприятий во всех отраслях, включая производство средств потребления. Что это, как не предпринимательская активность рядовых граждан, которая, к слову, была успешно подавлена в последующий период довольно неграмотной налоговой и прочей полнотной властью?

Опыт самозанятости и достаточно высокой активности населения в играх со всякого рода финансовыми пирамидами, включая государственную с ее кризисом в 1998 году, свидетельствует о том, что приватизация через изумительную компенсацию дореформенных сбережений существенно не затормозила бы разгосударствление собственности по сравнению с закрытыми залоговыми аукционами. Этот меха-

низм, по природе своей рыночный, не ставил бы под сомнение и необратимость перехода государственной собственности в частную, о чем так беспокоились реформаторы. А что получилось в результате у нас?

Мелкий и средний бизнес формировался при реформаторском правительстве и продолжает развиваться при всех постреформаторских кабинетах не благодаря, а вопреки реальным действиям власти, которая ограничивается лишь разговорами о необходимости его поддержки. Пронизавшая государственный аппарат коррупция является кардинальным препятствием для развития частного предпринимательства, поскольку львиная доля прибыли вместо инвестиций в производство идет в карманы чиновников. Именно поэтому так называемый средний класс до сих пор не достиг по своей концентрации в обществе той критической массы, которая способна кивать на формирующуюся власть.

Огромное число граждан с накоплениями советского периода не только лишили возможности стать законными собственниками. Ликвидировав эти накопления (по выражению реформаторов, «сняв дореформенные сбережения населения как денежных наветс») и, одновременно, враз скакнуто обогатив маленькую группу людей, реформаторы вызвали в населении чувство возмущенной несправедливости, создали негативное отношение к реформам и вернули большинство россиян к рабским упованиям на сильного хозяина, который наведет железный порядок. Вместо ускоренного развития демократических институтов общество добровольно отказалось от изначально завоеванных свобод, как только новая власть захотела их свернуть. При отсутствии массового слоя собственников такой исход был неизбежен, о чем некоторые участники дискуссии уже говорили. «Наше общество, если понимать под ним совокупность управляемых, не столько „прозевало“ персонализацию власти и восстановление всевластия бюрократии, сколько не было готово к участию в политической жизни. Такая готовность основывается не на абстрактном желании „установить демократию“, а на осознании реальной, конкретной ответственности перед собой и своей семьей. Волю к ответственности способно породить лишь владение собственностью» (Д. Тренин).

Что касается искусственно созданной группы крупных собственников, то нелегитимность выбранного механизма приватизации предопределила их особую ментальность, не совпадающую с современным опытом развитых стран, на который ссылались реформаторы. Специфика взаимоотношений и непрерывная борьба за предел собственности не имела никакого отношения к здоровой рыночной конкуренции. Первоначальный сепаратный створ на закрытом залоговом аукционе между чиновником и собственником реализовывался через систему взяток и откатов. Коррупционный механизм породил олигархический капитализм с зависимостью власти от крупного бизнеса. Последний же, осознавая нелегитимность полученной таким путем собственности и опасаясь ее потерять, старался увести капитал за рубеж, не оправдывая расчетов реформаторов на инвестиции и развитие экономики. Коррупционная связь крупного бизнеса и верховной исполнительной власти породила практику взяток и откатов и на всех остальных уровнях исполнительной, законодательной и судебной власти в стране.

То, что выбранный механизм приватизации и заложивший в него вирус тотальной коррупции к демократическим принципам отношения не имел и, наоборот, им противоречил именно в силу самого факта неподконтрольности обществу закрытых залоговых аукционов, осталось за пределами анализа и широкого обсуждения. Однако дискредитация рыночных и демократических принципов в массах произошла. Весь крупный бизнес как раз к моменту его частичной эволюции в реальный авангард экономического развития был заклеймен в глазах населения, которое на ура встретило борьбу нового президента и его окружения именно с этим авангардом.

Когда пришла новая власть, сформированная из тех, кто не был исключен в первоначальный дележ прибыльной собственности и руководствовался естественными для живых людей планами имущественного передела, старший коррупционный принцип взяток и откатов стал уже неэффективен. Во-первых, в значительной степени теперь речь шла о переделе уже приватизированного. Во-вторых, дискредитация этого механизма в глазах населения достигла такого уровня, что откровенное возмущение повсеместностью взяток стало всеобщим. И, в-третьих, самое главное — новая президентская команда не хотела подчек от бизнеса и, соответственно, своей от него зависимости. Отсюда следовал вывод: надо самим носителем власти руководить бизнесом, что в условиях рыночной экономики называется государственным капитализмом.

Предполагалось, что идею национализации частных компаний народ, уставший от неэффективности олигархического капитализма, поддержит, что он и сделал. Но под сурдинку массового недовольства реформами власти удалось ликвидировать и свободу СМИ — единственный достойный результат первого постсоветского десятилетия. Объявленная доктрина информационной безопасности, т.е. безопасности верховной власти, не вызвала протеста населения, снова захотевшего хозяина с сильной рукой. Это позволило спрятать от глаз общественности всю подлоготовую государственного управления корпоративами, включая личные чиновничьи присвоения в виде денег и прочих активов в процессе функционирования раздутых госмонополий. И, наконец, кроме подчинения Кремлю телевидения и большинства газет, для обеспечения гарантий своей неприкосновенности исполнительная власть успешно подчинила себе две другие ветви — законодательную и судебную.

Итак, в условиях бюрократического госкапитализма представителям верховной власти, выступающим одновременно в двух ипостасях — чиновника и бизнесмена, не нужна традиционная форма коррупции в виде взяток и откатов, а борьба с ней приносит пиаровские дивиденды. Эта ситуация на высшем государственном уровне привела к эволюции коррупционных механизмов и на всех остальных властных этажах. На смену классической взяточной коррупции, полностью ее, разумеется, не вытесняя, приходит механизм продажи чиновниками прав и полномочий через коммерческие структуры близких родственников: высокий начальник распределяет деньги по госпрограмме, а члены его семьи торгуют профильным оборудованием или организуют иные услуги, реализация которых предусмотрена этой программой. Д. Тренин прав и в данном случае: «Россией управляют те же люди, которые ею владеют».

В итоге же динамичное развитие экономики становится невозможным. Неэффективность государственного управления и экономического пред монополизацией отраслей, давно установленные мировой практикой, подтверждаются аналитической информацией даже в СМИ, лояльных власти. Не может обеспечить такую динамику и частный бизнес — либо из-за своей несамостоятельности, либо из-за незащищенности. Бизнес-структуры слиты с властью, а если относительно автономны, то не защищены от нее судом, от власти зависимы. Формирование институтов гражданского общества, призванных контролировать власть, исключено из-за фактического подчинения властным структурам телевидения и малотиражности свободных СМИ. В результате, как пишет А. Аузан, создана «политическая модель без обратной связи», которая, по его же словам, «оказалась нежизнеспособной».

Страна снова структурируется в жесткую систему с подчинением двух составляющих общества (бизнеса и гражданских организаций) третьей составляющей — власти. В систему, которая именно в силу жесткости своей структуры к саморазвитию не способна. Она будет существовать в период высоких цен на энергоносители и рухнет вместе с их падением.

Кризис, прогнозируемый участниками дискуссии (А. Архангельский, Е. Гонтмахер), однозначно приведет к обнищанию основной части населения и, вполне вероятно, к распаду России, подобно распаду СССР после падения цен на нефть. Не исключено, что тогда случится и пророчество Валерия Соловья относительно неизбежности новой русской Смуты. Поэтому, пока время еще не упущено, необходимо свернуть с этой троеборной к динамичному балансу трех сторон общественного договора — власти, бизнеса и гражданского общества, поскольку только подвижный баланс сил обеспечивает развитие внутри системы.

Ключ к бескровному развороту страны

В силу той же самой нелегитимности обогащения, что и в 1990-е годы, возможность сохранения накопленной частной собственности новые собственники в Кремле видят только в несменяемости власти. И, судя по неадекватности их силовой реакции на весьма слабые выступления оппозиции, они демонстрируют готовность к жестокой борьбе. Но эта неадекватность одновременно свидетельствует и об их неуверенности в собственном будущем. Поэтому носителям власти надо предложить альтернативу, т.е. вариант бескровного разворота страны в ином направлении.

Ключ к такому развороту — разделение власти и бизнеса. Способ же этого разделения должен предусматривать для носителей власти форму вынужденной добровольности, означающей соблюдение их интересов, т.е. гарантированное сохранение активов и свободу выбора между двумя вариантами последующей деятельности: оставаться только во власти или заниматься только бизнесом. При этом требование непричастности к управлению бизнесом в любой, даже скрытой, форме для чиновника должно быть обязательным, а его выполнение — безусловным.

Нынешние носители власти имеют собственный опыт экспроприации частной собственности путем избирательного и волюнтаристического применения законов управляемыми судами. Осознавая нелегитимность своих активов, они, естественно, боятся подобной экспроприации в отношении себя при утрате властных постов. Поэтому предложение добровольного ухода их из аппарата власти должно быть обязательно подкреплено гарантиями в виде общественного признания их прав собственности, т.е. ее легитимации. Для этого потребуются разъяснительная работа среди населения относительно целесообразности такого способа разделения власти и бизнеса, выгодного для страны в целом и каждого ее гражданина в отдельности. Проведение этой работы могла бы взять на себя Общественная палата.

Вместе с тем бизнесмены, ушедшие с властных постов, будут заинтересованы в приватизации и реприватизации госмонополий. И это их стремление тоже должно быть легитимировано. Поэтому и выгодность для населения демополизации государственных корпораций с точки зрения экономической эффективности и, соответственно, увеличения численности рабочих мест и налоговых отчислений необходимо будет разъяснять, привлекая в том числе и научные силы.

В доходчивой форме миллионам зрителей ведущих каналов ТВ должны будут получить информацию об особенностях управления корпорацией с преимущественным государственным капиталом, во главе которой стоит чиновник, в сравнении с управлением частной компанией. Они должны будут получить сведения о разном подходе к рискам инвестирования собственника и государственного служащего. О разной психологии людей в этих статусах при взятии кредита и распределении прибыли и о прочих факторах, в своей совокупности определяющих в большинстве случаев более высокую эффективность частных компаний по сравнению с государственными. Населению надо будет объяснить, что преимущества государственного управления той или иной компанией могут сказываться лишь в определенные периоды, всегда ограничен-

ные по своей продолжительности. Наконец, необходимо будет рассказывать о негативном мировом опыте монополизации в отраслях, независимо от типа собственности монополиста — частной или государственной.

Разделение власти и бизнеса естественно приведет к независимости суда, так как и власть, и бизнес в разделенном виде будут заинтересованы в судебной защите друг от друга. Столь же естественно это приведет и к свободе слова, потому что и власть, и бизнес в разделенном виде будут иметь отдельные собственные СМИ. Разная ангажированность телестудий и печатных изданий, борющихся за свой рейтинг, создаст ситуацию поступления в общество несопадающих информационных и комментариев, при которой каждый человек получит возможность сопоставить разные точки зрения на происходящее и выработать собственную позицию. Последнее будет стимулировать развитие самосознания населения и в обозримом будущем может привести к образованию независимого телеканала.

Сделка между властью и обществом

Бескровный способ разделения власти и бизнеса предполагает, что оно должно осуществляться посредством добровольной сделки между тремя сторонами общественного договора: гражданским обществом, властью и бизнесом. Суть сделки — легитимация нелегальных активов в обмен на разделение власти и бизнеса.

Процедура этой сделки представляется мне таким образом, что власть получает от общественного элита предложение о легитимации всех активов, присвоенных сверх размеров чиновничьих зарплат за счет использования для личного обогащения властного поста и (или) незаконного совмещения работы во власти и в бизнесе. Говоря конкретнее, научно-общественная элита инициирует принятие закона, исключающего в любой перспективе конфискацию собственности, продекларированной, например, до 31 декабря 2007 года, независимо от источника ее приобретения.

При этом казуистическая форма закона должна учитывать разницу между понятиями легализации и легитимации. Просто амнистия капиталов (юридическая форма их легализации) не исключает новые поводы для судебного преследования людей, бывших во власти, — например, за использование государственного поста для обогащения или за незаконное совмещение должности чиновника и бизнесмена. С инициативой таких разбирательств могут выступить новые власть имущие в расчете на то, что народ их поддержит. Легитимация же предполагает некое обязательство народа не только не возвращаться к пересмотру прав собственности, оговоренной определенным сроком ее декларирования, но и не привлекать к ответственности людей, занимающих государственные посты, за использование властного положения в целях обогащения (своего и своих родных), неадекватного официальной зарплате.

Взамен президентская команда соглашается на принятие закона, не допускающего совмещение работы во власти и в бизнесе в любой открытой и скрытой форме. Суть (и механизм действия) такого запрещения — в обязательной для кандидата на любую должность во власти всех ветвей и уровней диверсификации собственности (своей, супруги(а) и их родственников по прямой линии). Эта диверсификация производится с непревзвешенным условием, чтобы удельный вес активов семьи в рамках одной компании исключал возможность влияния чиновника на деятельность этой компании, т.е. возможность фактического управления данной собственностью на весь период его работы во власти. И, можно добавить, плюс один год после увольнения из госаппарата. Контроль же за исполнением сотрудниками госаппарата закона об обязательной диверсификации частной собственности возлагается на некоммерческие общественные организации с регулярной ротацией контролеров. Главные отчеты о результатах контроля публикуются в СМИ.

Такая сделка и призвана обеспечить динамичный баланс всех трех сил общественного договора, сегодня отсутствующий. Ее добровольность предполагает осознание всеми сторонами существования договорезности, своих прав и своих обязанностей по отношению к контрагентам договора. Поэтому всем им предстоит принять участие в тщательном продумывании механизма реализации сделки и гласном обсуждении его деталей. Во избежание непредвиденных побочных эффектов, способных опять сдвинуть результат в сторону интересов одной из сил.

Первоначальное разгосударствление собственности не превратило Россию в страну частных собственников, что и предопределило нынешний регресс по отношению к демократическим достижениям предыдущего десятилетия. Но хочется верить, что у государства и общества достаточно здравого смысла и накопленного негативного опыта, чтобы избежать разрушительных кризисов и революций. Окончательный, раз и навсегда, разрыв связи власти и собственности исключит не только извечный стимул прихода к власти или во власть ради личного обогащения, но и сформирует, наконец, принципиально новое отношение в России к самой власти. Отношение как к бюрократическому аппарату управления, в который общество нанимает на работу людей исключительно для удобства решения задач, общих для всего населения.

Предварительный перечень законодательных актов, принимаемых одновременно

1. Закон, исключающий в любой перспективе конфискацию собственности, продекларированной, например, до 31 декабря 2007 года, независимо от источника ее приобретения.

2. Закон об обязательной для кандидата на любую должность во власти всех ее ветвей и уровней диверсификации собственности своей, супруги(а) и их родственников по прямой линии до такого размера в рамках одной компании, который исключает возможность влияния на ее деятельность, т.е. возможность фактического управления собственностью на весь период работы во власти (плюс один год после увольнения из госаппарата).

3. Закон о праве некоммерческих общественных организаций на тотальный контроль за соблюдением сотрудниками госаппарата закона об обязательной диверсификации частной собственности.

4. Закон о регулярной ротации сотрудников общественных организаций, причастных к контролю за соблюдением закона о диверсификации частной собственности.

5. Программа демополизации государственных корпораций путем их приватизации.

Еще раз о наиболее сложных вопросах, для автора очевидных

1. Понятие «легитимность», не являясь юридическим термином, соответственно не имеет адекватной правовой нормы. Но роль легитимности, т.е. принятия или неприятия населением складывающегося положения вещей, особенно в вопросах собственности, для самих собственников является определяющей в случае, если они уходят из власти. Поэтому формулировка первого из перечисленных законов должна быть продумана с особой тщательностью.

Учитывая возрастающую роль фактора легитимности в жизни современных государств, это понятие, социокультурное по сути, должно наполняться и правовым содержанием. Существуют показатели легитимности в виде результатов референдумов и репрезентативных опросов, но возможны ситуации, когда этого недостаточно. Потому что достижение легитимности того или иного властного действия не всегда обеспе-

чивается только мерой его реального соответствия интересам населения. Дело в том, что в эпоху СМИ в кратчайшие сроки может быть сформировано мнение масс с прямо противоположными знаками. Учитывая силу ТВ в манипуляции общественным сознанием, необходимо, чтобы при состоявшейся сделке стороны общественного договора несли обязательства законодательного порядка по выполнению совместно принятых решений. В данном случае гражданское общество и бизнес должны гарантировать действующей власти и конкретно каждому в ней состоящему, что при смене общей направленности политики и ухода от системы государственного капитализма никто не подвергнется преследованиям за деятельность в этой системе. Разумеется, в разработке конкретных форм таких гарантий обязательно должны принять участие юристы.

2. Требование для чиновников диверсификации собственности при больших размерах активов, исключающей возможность управления ими, не имеет аналогов в мировой практике. Видно, это процесс непростой. Поэтому необходим серьезный анализ возможности такой диверсификации без качественных потерь для собственников.

3. Государственный аппарат состоит из разных людей с разной тягой к бизнесу. Люди из власти, не ориентированные на серьезную работу в нем и не созревшие для жизни рантье, при неясности механизма диверсификации личных активов окажутся в крайне некомфортном состоянии. Поэтому до достаточной проработанности пп. 1 и 2 обсуждение параметров сделки должно осуществляться в узком кругу.

4. Неочевидно быстрое и массовое одобрение идеи добровольного признания за новыми собственниками из власти их прав на крупные активы якобы национализированной собственности. Отсюда — необходимость очень аргументированной разъяснительной работы с доводами о невозможности бескровной экспроприации, с одной стороны, и об эффективности для экономики приватизации и демомонополизации государственных корпораций посредством механизмов рыночной конкуренции — с другой.

Публикуя текст, автор надеется на реакцию научной (и не только научной) общественности на саму идею предлагаемой сделки, а в случае ее приемлемости — на критический анализ высказанных соображений концептуального и процедурного плана. И совсем идеальный вариант — на включение читателей в конструктивную разработку мирного способа «переучреждения государства». Не исключаю, впрочем, что многим все вышесказанное покажется ниванным и утопичным. Но вместо этой «утопии» можем получить лишь системный кризис с непредсказуемыми последствиями, что для многих участников дискуссии уже очевидно. И если есть шанс такого развития событий избежать, то, может быть, есть смысл им воспользоваться?

**«РОССИИ НУЖНА
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АМЕРИКАНСКОГО ТИПА»**

Дискуссия о российской государственности далеко ушла от проблематики статьи Михаила Краснова, с которой дискуссия началась. Вопрос о конституционном устройстве, его влиянии на характер политического режима и возможных вариантах конституционной реформы оказался в ходе обсуждения периферийным.

Некоторые его участники считают сам вопрос важным, но его постановку преждевременной. Так, Виктор Шейнис полагает, что при нынешнем балансе политических сил изменение Основного Закона может обернуться лишь его ухудшением. А Александр Лузан говорит о том, что при институциональной рыхлости российского общества и государства и отсутствии консолидирующих ценностей изменения в тексте Конституции ничего не дадут и могут привести к результатам, противоположным ожидаемым. Скажем, сдвиг властных полномочий от президента к правительству может сопровождаться превращением последнего в дополнительную площадку для бюрократии.

Я готов признать резонанс подобных опасений. Но я не понимаю, почему надо откладывать публичное обсуждение самих проблем конституционного устройства и его различных моделей.

Возможно, участники дискуссии исходят из того, что само направление реформы считается очевидным, предполагающим расширение политических полномочий парламента и правительства. При этом ориентиром выступает президентско-парламентская европейская модель, разные варианты которой описаны М. Красновым в его статье. Но это-то как раз и не очевидно.

Откуда все пошло

Начну с того, что вопрос о форме правления становится актуальным в связи с введением в России пропорциональной системы выборов. Такая система соответствует, как правило, парламентской республике, а не президентской. Но ни В. Путин, ни другие официальные лица ни словом не обмолвились о планах перехода от президентской республики к парламентской. Наоборот, все время говорится о дальнейшем увеличении власти президента. Блуждания по «особому пути» продолжаются.

Сегодня большинство представителей политической элиты и наших сограждан выступают за сохранение в России президентской формы правления, ссылаясь на исторические традиции страны и необходимость концентрации власти наверху при переходе от авторитарного режима советских времен к демократии. Я тоже считаю, что на данном этапе президентская республика наиболее приемлема для России. Но — не такая, какая сложилась у нас по Конституции 1993 года, получившая при Б. Ельцине название «суперпрезидентской», а при Путине — полуавторитарного персоналистского режима «управляемой демократии», переименованной недавно в демократию «суверенную», при которой «суверен» единолично принимает все решения. Российская

модель президентской республики вобрала в себя все худшие черты данной формы правления, эклектически позаимствованные из основных законов других стран. Почему же так получилось?

Виктор Шейнис об этом уже рассказал достаточно подробно. Мне тоже довелось, как депутату Государственной думы России и председателю Республиканской партии Российской Федерации, в 1993 году принимать участие в Конституционном совещании, где выработывался новый проект Конституции РФ. Но после сентябрьско-октябрьских событий того года наши наработки оказались невостребованными. Ельцин написал Конституцию под себя. Она получила наименование Конституции Сергея Алексеева — известного юриста из Свердловска, который, опасаясь дальнейших катаклизмов, написал Основной Закон страны, предоставлявший Ельцину фактически безраздельную власть.

Сегодня, глядя на политическую историю России последних 15 лет, становится ясно, что был выбран ошибочный путь, приведший страну к авторитарному режиму и доминированию одной партии. Кстати, в Конституционном совещании я занимался как раз политикой. Но, кроме пункта о «политическом многообразии и многопартийности» (ст. 13), нам тогда ничего добиться не удалось. Не получилось включить партии в процесс принятия политических решений, конкуренции за властные полномочия. А еще раньше не удалось уговорить Ельцина стать лидером «Демократической платформы в КПСС», а чуть позже — объединенная «Демократическая Россия». Ельцин гнул свою линию: «Я президент всех россиян, а не одной партии». В результате у нас вновь сформировалась самая главная партия — Партия чиновников, которая до сегодняшнего дня является самой влиятельной.

У меня нет никаких сомнений в том, что нынешняя политическая система, узаконенная действующей Конституцией, рано или поздно выявит свою нежизнеспособность. И надо уже сейчас обсуждать различные варианты и модели, учитывающие как мировой политический опыт, так и особенности нашей страны.

Я неспроста вспомнил о Конституционном совещании 1993 года. На нем был предложен проект президентской республики, существенно отличающейся от той, что мы имеем сейчас. Речь идет о проекте известного российского правоведа Августа Мишина.

Проект Августа Мишина

Суть его (и его единомышленников) предложенный заключалась в том, чтобы политические институты в России начали эволюционировать в сторону классической модели президентской власти, которая эффективно работает в Соединенных Штатах Америки. Думаю, что к этому проекту стоит вернуться. Вот его основные принципы.

1. Соединение в руках президента полномочий главы государства и главы правительства при отсутствии должности премьер-министра.

«Как глава государства, — цитирую проект А. Мишина, — Президент является по праву высшим представителем РФ в сфере международных отношений, ведет международные переговоры и подписывает международные договоры и соглашения, которые вступают в силу после ратификации их Федеральным советом (так в проекте именовался парламент. — В.Л.); назначает и отзывает дипломатических представителей РФ, принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических представителей; является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ; обращается с посланиями к Парламенту о внутреннем и внешнем положении страны; предлагает Парламенту проект бюджета РФ; обладает правом помилования, смягчения и замены наказания; присуждает государственные награды; объявляет чрезвычайное положение; издает указы и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции» (ст. 34 проекта А. Мишина).

Полномочия же президента как главы правительства — продолжая цитировать проект — должны выглядеть следующим образом:

- как глава Правительства Президент РФ обеспечивает соблюдение Конституции, законов и международных договоров на всей территории страны;
- Президент РФ возглавляет Кабинет и руководит его деятельностью;
- члены Кабинета назначаются Президентом РФ с одобрения Федерального совета;
- перечень министерств и их полномочия устанавливаются законом;
- отстранение Президентом от должности членов Кабинета не нуждается в одобрении Федерального совета;
- на заседании Кабинета председательствует Президент, а в его отсутствие — Вице-президент;
- каждый член Кабинета несет персональную ответственность за свою деятельность только перед Президентом (ст. 36 и 37 проекта А. Мишина).

2. Жесткое конституционное разделение властей. Высшие органы власти не только структурно обособлены, но и обладают значительной самостоятельностью по отношению друг к другу.

3. Внепарламентский метод избрания президента.

4. Внепарламентский метод формирования правительства и отсутствие института парламентской ответственности.

5. Отсутствие у президента права роспуска парламента.

Из признаков президентской республики, присущих политической системе США, я отказался бы только от косвенной системы выборов (через систему выборщиков), которая на президентских выборах 2000 года показала свои принципиальные недостатки, отдав победу Дж. Бушу, который набрал меньше число голосов американцев, чем А. Гор, но имел большее число выборщиков. Полагаю, что сами американцы вскоре реформируют этот «атавизм» в своей избирательной системе. Внепарламентский метод избрания президента всенародным голосованием должен быть в России сохранен.

Почему я считаю полезным для нас соединение в руках президента полномочий главы государства и главы правительства? Потому что только в этом случае глава государства получит возможность сосредоточиться на проведении социально-экономических и других реформ, которые начинались еще при Ельцине, но не были завершены. Реформы же, инициированные нынешней властью (административная, пенсионная, военная и другие), явно буксуют. Прошедшие семь лет правления Путина показали, что именно двойственность исполнительной власти в стране, ее разделение между президентом и главой правительства приводит к бюрократизации и провалу многих преобразований. «Технический» премьер, кем ранее был М. Касьяков, а сейчас является М. Фрадков, оказались неспособными справиться с гражданскими задачами, стоящими перед страной. И не столько в силу своих личных качеств, сколько в силу малых полномочий при огромной ответственности.

Кстати, предлагаемая модель президентской системы уже была опробована в России в начале 1990-х. После избрания Ельцина в 1991 году Президентом РФ и разгрома ГКЧП Борис Николаевич сформировал и возглавил новое правительство, которое взяло на себя проведение непопулярных, шоковых рыночных реформ. Почти год он возглавлял это правительство, куда входили Г. Бурбулис, Е. Гайдар, А. Чубайс и другие. И благодаря такой мощной политической поддержке, во многом вопреки оппозиционному Верховному Совету РФ, удалось запустить важнейшие рыночные реформы. Когда же через год, в конце 1992-го, Съезд народных депутатов России сместил Гайдара с поста премьера российского правительства, главный экономический прорыв был уже совершен, и дороги назад не было.

А сейчас...

Зачем России конституционная реформа?

Сейчас министры довольно странно разделены между президентом и правительством. Все руководители силовых ведомств, МВД и ряда других подчинены не главе правительства, а президенту. Кроме того, Путин по понедельникам каждую неделю собирает президиум правительства, где и принимаются основные решения. Однако ответственность за ситуацию в стране несет при этом только правительство и его министры, а президент всегда прав: он появляется на экранах телевизоров только в случае успехов. Поэтому большинство наших сограждан доверяют президенту и не доверяют правительству.

Сегодня, на новом витке развития, страна переживает фактически второй этап социально-экономических реформ — тоже не всегда популярных, но крайне необходимых, чтобы перевести на современные рельсы не только экономику, но и социальную и другие сферы жизни общества. Предыдущее правительство М. Касьянова не могло это сделать, хотя и начало двигаться в нужном направлении. Правительство М. Фрадкова также не способно решить эту важнейшую задачу. И именно потому, что оба эти правительства «технические», а не политические. Да иначе и не может быть при таком сильном институте президентства, как в нашей стране, и президенте, имеющем поддержку около 70% граждан.

Приведу конкретный пример. Еще при правительстве Касьянова обсуждался вопрос о реформировании естественных монополий. Однако ни при Касьянове, ни при Фрадкове этого сделать не удалось, ибо мощнейшие лоббисты Газпрома, используя свои связи в Администрации президента и правительстве, блокировали принятие нужных для страны решений. И сегодня многие ведущие экономисты страны полагают, что эту реформу может провести только сам президент Путин.

Сейчас ситуация, несмотря на внешнее благополучие, связанное в основном с высокими мировыми ценами на нефть, остается крайне сложной, а пробуксовка давно назревших реформ в перспективе чревата еще большими неприятностями. А до окончания второго срока президентства Путина остается уже менее года. И очевидно, что об успехе или неуспехе его правления страна будет судить по итогам важнейших реформ.

В этих условиях Россия просто не может позволить себе роскошь иметь в стране два правительства — «техническое» во главе с премьером и политическое во главе с президентом, имеющее все основные властные рычаги в государстве. На президента должна быть возложена ответственность не только за политику, но и за экономику, социальную сферу. Иного пути я не вижу. При нынешней властной конфигурации страна не сможет завершить необходимые постреволюционные преобразования и перейти в разряд постиндустриальных.

Некоторые участники дискуссии, близкие к президентской Администрации (например, А. Чадаев), считают наличие двух правительств — «номинального» и «реального» — вполне нормальным. Но их аргументация выглядит крайне узкой, на что и указали им в ходе дискуссии их оппоненты, получившие в ответ совсем уж неадекватные «разъяснения». Если высшее руководство страны будет продолжать виртуальную политику, не беря на себя прямой ответственности за ход и результаты проводимых реформ, то все кончится глубоким системным кризисом и сползанием к диктатуре, что неминуемо приведет к распаду страны.

Не проведя конституционной реформы, выбраться из этой ситуации невозможно. В каком направлении осуществлять ее, я сказал: в направлении президентской республики американского типа. Напомню еще о некоторых ее особенностях.

С одной стороны, в данной политической модели всенародно избранный президент — глава исполнительной власти — формирует правительство (Администрацию

президента) при номинальном участии верхней палаты парламента (сената). Никакой ответственности перед парламентом (конгрессом) кабинет не несет.

С другой стороны, в ней предусмотрен сильный конгресс, который имеет возможность отклонить законопредложения президента и осуществлять контроль за деятельностью федерального исполнительного аппарата государственной власти. Хотя члены кабинета и главы других общенациональных исполнительных ведомств не являются членами конгресса, они могут вызываться и подвергаться допросу в различных его комитетах, наделенных значительными ревизионными, контрольными и расследовательскими полномочиями. Самым сильным примером влияния конгресса в США было парламентское расследование предвыборных махинаций избирательного штаба Р. Никсона, в результате чего он не стал баллотироваться на второй срок и, не дожидаясь импичмента, ушел в отставку.

К сожалению, в 1993 году проект Конституции, предложенный профессором А. Мишиным, не был поддержан. Тем самым была упущена уникальная возможность создания современной и — в то же время — пригодной для России демократической политической системы. Это была ошибка, плоды которой общеизвестны. В последние годы она, однако, не только не преодолевается, но и углубляется строительством «вертикали власти» и введением прямого подчинения губернаторов президенту. Между тем задуматься следовало бы о реформировании на демократических основах института самого главы государства.

Михаил Краснов правильно и своевременно привлек наше внимание к изъянам персоналистского режима и его конституционной обусловленности. Но в очерченное им смысловое поле почти никто из участников дискуссии не двинулся. А альтернативного конституционного проекта я не обнаружил и в статье самого Краснова. Этот очевидный пробел я и попытался хотя бы отчасти восполнить.

P.S. Когда этот текст был уже написан, стало известно, что Администрация президента отказала в просьбе целого ряда бывших депутатов и внешних политиков выделить средства на собрание и публикацию материалов Конституционной комиссии и Конституционного совещания. Еще не время, передал ответ кремлевский чиновник.

**«ЧТО СМОГУТ СДЕЛАТЬ,
ПРИДЯ К ВЛАСТИ,
ПРИВЕРЖЕНЦЫ ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА?»**

Большинство участников дискуссии хотели бы, чтобы в России утвердилась государственность демократически-правового типа. Эту цель декларируют и наши либеральные партии. Но почему-то ничего не говорят о том, как именно они будут чужое государство строить в случае прихода к власти. Не интересны такого рода вопросы и дискутирующим о государстве экспертам. Мне же именно они представляются главными.

Программы партий

Начну с программных установок СПС и «Яблока», которые вроде бы всерьез заявляют о готовности, придя к власти, строить именно правовое государство.

Из «Программы политической партии „Союз правых сил“ на 10 лет»:

«Главное условие для создания новой России — это осознание того, что государство существует для человека, а не человек для государства.

Второе необходимое условие — это власть закона или правовое государство. Все вопросы экономической и общественной жизни должны быть урегулированы обществом законодательно. Ничто не может быть выше и важнее закона. Для того чтобы это произошло, нужна независимая и сильная судебная власть. В новой России граждане не будут бояться милиции и суда, главной задачей которых станет защита справедливости и прав человека.

Что мы сделаем в первую очередь?

Для частного бизнеса:

- ликвидация всех ненужных ограничений свободы предпринимательства, минимизация числа лицензируемых видов деятельности, упрощение порядка регистрации предприятий;
- сокращение контролирующих функций правоохранительных органов в сфере деятельности малого и среднего предпринимательства;
- *в политической сфере:*
- принятие честного и справедливого избирательного законодательства, не позволяющего никакой власти в будущем заранее определять исход выборов;
- правосудие, правоохранительные органы;
- продолжение судебной реформы: обеспечение подлинной независимости судов, уголовное преследование за любые попытки воздействия на суд, деполитизация деятельности следственных и судебных органов, совершенствование системы суда присяжных и, прежде всего, принципов отбора состава присяжных, внедрение системы электронного правосудия, обеспечивающего его открытость, прозрачность, оперативность и дебиюрократизацию;

- реформа правоохранительных органов с целью резкого снижения в них уровня коррупции и повышения их эффективности».

Из Программы Российской демократической партии «Яблоко»:

«Яблоко» стремится к построению системы взаимодействия гражданского общества и государства, предполагающей разрушение монополии государства на власть. Это предполагает беспрекословное соблюдение прав и свобод человека и гражданина...

Конституция должна дать гражданам гарантию того, чтобы все избранные или органы и должностные лица, включая президента, действовали строго в рамках Конституции и законов. Президент вправе исполнить свои полномочия только в тех пределах, которые предоставлены ему Конституцией. Мы руководствуемся принципом: гражданин может делать все, что не запрещено законом, а органы государственной власти — только то, что им предписано Конституцией и законом».

Заявленные намерения явно благие, спора нет. Только совершенно неясно, как эти благие намерения партии будут реализовывать практически. А чтобы претензии к партийным программам были предметны, следует кратко охарактеризовать государственный режим России, с наследием которого вынуждены будут считаться любые партии, прошедшие к власти.

Государственный режим

Вспомним историю СССР — страна, которая никогда не жила по писаным законам; возможно, это специфика советского режима. И проявлялась она в особой роли террора или реальной угрозы такового, т.е. угрозы того, что «они» могут сделать все, что угодно, — вне всякой связи с личной виной, без всякой меры и соразмерности. Террор был, помимо прочего, и тем инструментом, который позволял обеспечивать стабильность и порядок в неправовом обществе. Для «органов», я думаю, «террор» и «порядок» — синонимы и по сию пору.

Террору в СССР, видимо, можно присвоить высокое звание «государственного», так как он осуществлялся ради общегосударственных целей, формулируемых Центром. Причем не только на уровне деклараций, но и на деле: сотрудники «органов», подвергавших кого-то террору или угрожавших его применением, решали при этом свои личные или корпоративные задачи лишь во вторую или третью очередь. Интересы государства были на первом месте.

Вот такое наследство (в том числе и кадровое, причем по «обе стороны забора») досталось новой России. И, как сейчас можно судить, люди, из которых формировались российские элиты в начале 1990-х, совершенно не озаботились вопросами наведения порядка правовыми методами и, в связи с этим, вопросам преодоления привычек и традиций «проклятого прошлого». Скорее всего, они и не собирались ничего здесь менять. Что же мы имеем сейчас?

С одной стороны, Центр (нынешняя элита) по-советски полагает, что в отношении «врагов» террор необходим и вполне уместен. Конечно, при этом не обязательно каждый раз применять силу — лишать свободы, истязать и т.д. Часто достаточно одного осознания жертвами угрозы того, что с тобой, твоей судьбой и твоим имуществом «они» могут сделать все, что угодно, ибо у «них» есть такие права и возможности.

С другой стороны, судя по печати, террор, как и многое другое в России, приватизирован. Конечно, важна степень, мера приватизации. Какова она сегодня, пусть сообщает товарищи ученые. Моя субъективная (не ученая) оценка — исполнители террора рождаются как хотят, и именно в этом главная проблема. Хотя осладка на Центр, конечно, имеется. В том смысле, что всякого, попавшего в число терроризируемых,

каким-то боком пытаются причислить к «врагам государства». В целом же сейчас право на террор используется «органами» не столько для обеспечения управляемости общества и наведения порядка, в чем и состоит общегосударственный интерес, сколько для решения своих собственных проблем, удовлетворения своих потребностей — насколько хватит фантазии и бесчеловечности.

В связи с вышесказанным естественно характеризовать Россию как страну преимущественно хаотического полицейского террора. Но и государственный террор, конечно, совсем не исчез. Его исполнителями решаются и задачи Центра, но так, чтобы не нанести ущерба своим интересам; по затратам же служебного времени эти задачи, судя по всему, вообще третьестепенны. Самим же Центром (внешней элитой), как я уже говорил, террор, похоже, по-прежнему рассматривается как неизбежность и необходимость, как то, без чего нельзя навести порядок. А «естественно» возникающая при этом приватизация террора воспринимается, вероятно, как «меньшее зло». Возможно, дальнейший рост федерального авторитаризма позволит здесь что-то обратно национализировать.

Безусловно, для осуществления террора — что в СССР, что сейчас — требуется своеобразная судебная система. Суд — необходимая часть механизма террора. Эта роль легко дается российским судам — видимо, благодаря тому, что установление истины никогда не было главной целью отечественного правосудия. Отсутствие независимой, самостоятельной и действительной судебной власти — одно из необходимых условий применения террористических методов.

Центр, если он именован, не может считать современную ситуацию хаотического полицейского террора нормальной. Приватизированный террор не в состоянии обеспечить наведение порядка и управляемость общества — эти задачи в состоянии действительно решать только государственный террор. Но, с другой стороны, иным (не приватизированным) в современной России террор быть не может; общегосударственные цели (задачи Центра) в лучшем случае оказываются всего лишь «на равных» со всеми иными.

Хаотический террор не может устроить и население. Советский государственный террор оставался в каких-то рамках, пусть и не зафиксированных публично, население его научилось понимать, и режим, как правило, оправдывал это понимание своими действиями. К тому же в поднесоветский период часто применялись «гуманные» формы террора: увольнение с работы, запрет на профессию и т.п., т.е. не было так, чтобы обязательно сразу «мочить». Хаотический же террор, при котором «подавление врагов» вполне понятное — оборачивается, к примеру, устраниением ради вымогательства или грабежа, идентифицировать с высшими интересами государства невозможно.

Порядок

Людям нужен «порядок». Механизм, обеспечивающий его, может быть не понятен «простому» человеку и даже — в данный момент — не интересен. Однако что еще более неинтересно «простому» человеку, так это объяснения властей по поводу того, почему порядка нет. На все объяснения типа: механизм хорош, но пока не отработан, мы все учимся и т.д. — народ реагирует однозначно негативно и без «повнимания». Власть, которая указывает на какие-то объективные причины своей неадекватности, для народа власть «не настоящая». «Настоящая» власть должна сразу указать на виновника беспорядка и примерно его наказать, если, конечно, он не успел сбежать (скажем, в Англию). Если этот механизм плохо работает, то для «простого» человека это однозначно свидетельствует о том, что «власть» не хочет наводить порядок, и причина этого, само собой, — злой умысел, корыстные интересы.

Так вот, на следующий же день после прихода к власти демократические партии столкнутся с проблемой установления порядка. И что есть у них для решения этой проблемы, кроме обещания «будет все как в Европе»?

Возможно, кто-то рассчитывает на быстрое принятие «хороших» законов. Однако эти «кто-то» игнорируют, повторяюсь, тот факт, что и в СССР, и в современной России по писаным законам не жила и не живут. Вспоминается забавный случай по поводу попытки в одном аэропорту в конце 1960-х (это был полк ПВО на Дальнем Востоке) жить строго по уставу. Не прошло и месяца, как полк оказался неспособен выполнить рутинную боевую задачу — не набиралось готовых к вылету самолетов. Дело, говорит, дошло до Москвы. Командиру полка (стороннику, надо думать, «правового государства») пришлось дать отбой своему смелому «эксперименту» и вернуться к тому, как жили деды.

Всегда найдутся желающие проверить новую власть «на вшивость», и если у них получится, то это будет сигнал для всех остальных — «не быть дураком». Между тем из документов партий совершенно не ясно, как они собираются решать эту проблему: обеспечение управления в стране, установление порядка. И потому закономерно возникает сомнение в серьезности их намерений строить правовое государство, т.е. решать проблему порядка правовыми методами. Более того, под подозрением оказывается и честность самих намерений; не исключено, что мы имеем дело с вариантом привычной российской демагогии, когда разговоры про благие цели — всего лишь тактический прием все той же правящей элиты. Для той ее части, которая непосредственно властвует, это может быть способом захвата всей политической «полны», чтобы там физически не могло вырасти что-то независимое. Но это может быть и попыткой одной из элитных групп достичь более убедительного, чем ныне, положения в государственной системе (конкуренция, так сказать, внутри элиты — кто лучше одурчит электорат).

Нанеший режим может любого объявить врагом народа и «поставить на место»; по крайней мере, такое впечатление — имидж — старательно поддерживается. Он может также затеять шумную, пусть и скоротечную, кампанию по наведению «порядка» в какой-либо сфере общественной жизни. Этого пока хватает, видимо, для того, чтобы у народа сохранялось убеждение — ведь могут, когда захотят! А если пока не хотят, то на это, значит, есть причины; политика — дело тонкое. Об альтернативе же такому режиму люди всерьез не задумываются. В том числе и потому, что конкретную альтернативу им никто не предлагает.

«Цивилизованный авторитаризм» — что это такое?

Некоторые участники дискуссии выступают за так называемый «цивилизованный авторитаризм» как инструмент утверждения «современного» (правового) порядка. Возможно, на что-то подобное рассчитывают и наши либеральные партии, хотя открыто об этом не говорят и даже выступают против этого. Как бы то ни было, тема для обсуждения здесь есть.

Что такое «авторитарный режим»? Его суть хорошо, по-моему, выражает поговорка «начальник всегда прав». А из двух начальников прав тот, у кого больше прав. Для примера: президент более прав, чем губернатор, а последний более прав, чем мэр. Это закон. Нарушение его подрывает инстинктивное представление народа о сути государственной власти и чревато общественными беспорядками.

«Чисто теоретически» можно жить и при авторитарном режиме, если он способен создать «современный» порядок в обществе. Например, если такой режим способен развивать предпринимательства, формирует условия для возникновения иноваций во всех областях общественной жизни, для роста числа конкурентоспособных

фирм, отраслей и т.д. Но для этого много чего необходимо. Необходимо, в частности, чтобы сотрудники государственных органов, обеспечивающие порядок, были достаточно образованы и «патриотичны». Возможный вариант (вспомним историю) — наличие партии, осуществляющей авторитарное руководство и эффективно контролирующей исполнительный аппарат; но тогда и эта партия должна быть достаточно образованной и «патриотичной».

Короче говоря, исполнительный аппарат авторитарного режима должен понимать и реализовывать «как свои личные» цели Центра, который, как мы предположили, ставит задачу формирования «современного» порядка. Тем самым создание условий для динамичного развития страны становится действительным приоритетом, а не привычной демагогией. Но это, повторяю, при допущении, что наш авторитарный режим стремится к тому, чтобы истина была единственной основой для принятия решений, когда даже «верху» не полагают, что «держат бога за бороду».

Основа авторитарного режима — ничем не ограниченная возможность использования такого политического инструмента, как террор. Проблема же, как уже говорилось, в том, что исполнители террора запросто приватизируют этот субтип государственного инструмента. Да, исполнительный аппарат террора занят не только террором (государственным ли — в интересах Центра, либо иным — в интересах своей корпорации, местной власти и т.д.). Но все остальное — второстепенное. Важно то, что этот механизм есть, действует и, самое существенное, ни к чему другому — в главном — не пригоден. То есть он пригоден только для обслуживания авторитарной власти, а также отдельных групповых и частных интересов, насколько это позволит Центр либо баланс сил во власти в целом. Иначе говоря, в России все эти «слуги закона» на самом деле слуги авторитарной власти, и только в таком качестве они себя сами воспринимают. Но так их воспринимает и общество (народ).

Вопрос, следовательно, заключается в том, можно ли авторитарными методами заставить этих слуг забыть о своих частных и групповых интересах и служить исключительно «общему делу». Или, говоря иначе, вопрос в том, существует ли в России — как говорится, «здесь и сейчас» — возможность установления авторитарного режима, который был бы способен:

- 1) контролировать полностью (держат в узде) исполнительный аппарат террора?
- 2) использовать аппарат террора осторожно и в то же время эффективно?
- 3) осуществлять формирование «современного» порядка, о котором говорилось выше?

По моему, не ученому, мнению, в современной России такой режим, в отличие от советских времен, не способен установить «свой» государственный порядок и бессилен обеспечить определенные качественные характеристики порядка в принципе. На «выходе» будет «сборная солонка» — все, что угодно. Но даже если бы российский авторитаризм был способен создать «свой» порядок, чего нет и не предвидится, то в создании «современного» (правового) порядка он уж точно бессилен. Опять же, разумеется, по моему субъективному мнению. Я не знаю точно, в чем причина; может быть, дело в качестве образования нашей элиты (Оксфордов и Гарвардов не кончали); может быть, дело в недостатке патриотичности; может быть, еще в чем.

Так что вопрос об обуздании хаотического террора и его аппарата остается открытым. Авторитаризм, даже при очень «просвещенном» лидере, здесь не поможет. Тем более что для сотрудников аппарата юридическая истина всегда была карманным инструментом. Деятели российских правоохранительных органов издавна полагают, что если уж кто и «держит бога за бороду», так это они. Разве что присяжные да Страсбург иногда колеблют эту святую уверенность.

Образование

Коррупция, проблемы соблюдения прав человека, пытки в «органах», преследование «грузин» — все это показатели в том числе и того, каков реальный уровень образования в российском обществе. Образование важно не столько, может быть, для того, чтобы дать человеку возможность правильно оценить свои собственные действия. Все-таки часто и «простые» люди, и депутаты, и даже президенты ощущают себя маленькими букашками, действия которых зависят отнюдь не только от их собственных представлений о должном и правильном. На индивидуальное поведение часто более существенно влияет желание быть «как все», не выглядеть «дураком», «белой вороной».

Образование важно прежде всего потому, что в нынешнее время народ («простые люди») так или иначе формирует политическую элиту страны или, по крайней мере, влияет на процесс ее формирования. И от того, какими критериями он руководствуется при выборе политических деятелей, зависит очень многое, если не все. Понятно, что роль образования в выработке таких критериев фундаментальна, ее трудно переоценить.

СПС, надо признать, отдает себе отчет в том, каков реальный уровень политической культуры и электората, и тех, кого избирают, и госчиновников. «Почти весь XX век, — констатирует «Программа СПС (Российский либеральный манифест)», — россияне прозябали под властью самовластного государства, и привычка возлагать на него ответственность за все происходящее в жизни, не только страшится его, но и ожидать от него всевозможных благ глубоко укоренилась в широких слоях населения. Либеральный ответ на этот вызов состоит в том, что мы ставим своей приоритетной задачей воспитание нового демократического гражданского сознания, основанного на понимании государства как важной и далеко не единственной функции самого общества, как инструмента для решения осознанных обществом проблем».

Это, повторю, действительно фундаментальная задача. Однако не видно, чтобы партии (а ранее, до 2001 года, партией «Демократический выбор России», ведущей свою историю аж с 1994 года и являющейся одним из соучредителей СПС) что-то адекватное предпринималось или инициировалось в деле образования народа. Припоминаются скорее частные инициативы — Сороса, Ходорковского... И потому закономерно возникает то самое подозрение, что разговоры о «гражданском сознании» ничего не стоят, а для партий (имея в виду и «Яблоко») на самом деле желанна, как и всегда в России для властных элит, лишь возможность манипулирования гражданским сознанием. Для достижения же успеха на этом поприще шибко образованные люди не столько полезны, сколько вредны. Если же все-таки намерения партий честны, то тогда вообще непонятно, на что они рассчитывают, — ведь другого народа им никто не приготовил.

Мои предложения

Но допустим даже, что наши демократические партии выиграли все выборы, и президент и парламент — «их полностью». И что они будут в таком случае делать с аппаратом террора? Ведь предполагается, что они придут к власти как противники авторитарного режима, между тем как только такой режим и может хоть как-то управляться с этим аппаратом. Например, что они будут делать с саботажем правоохранителей? И с таким неизбежным следствием этого саботажа, как беспорядки на улицах?

Такого рода вопросов может быть задаво много. Однако в программах партий ничего нет о том, какие конкретно шаги должны быть предприняты, чтобы, славаем, и сохранить управляемость в стране, и сделать так, чтобы аппарат стал работать в первую очередь на реализацию установок партий. Ведь даже нынешнему режиму такая задача не по зубам, а другой аппарат они (партии) где возьмут? Кто его для них готовил?

Учитывая такое идеальное «безрыбье», рискуете тезисно сделать партиям пару сутубо замороженных, заведомо не ученых, предложений в отношении того, что им следовало бы предпринять в случае прихода к власти.

1. Усилить «авторитарные возможности» для губернаторов (одновременно срочно организовать демократические перевыборы абсолютно всех первых лиц регионов), путем придания им следующих полномочий, строго ограниченных пределами конкретных территорий:

- а) права назначать и смещать руководителей и их заместителей всех силовых и прочих охранительных ведомств (кроме судебных, вероятно) в их вотчине;
- б) права брать на себя прямое руководство любым ведомством;
- в) права назначать и смещать руководителей администраций городов, районов и т.д.;
- г) права распускать законодательные органы любого уровня;
- д) права вводить у себя в регионе особое положение и, в случае введения такого положения, подчинять себе для использования при восстановлении порядка расквартированные в регионе силы Министерства обороны и прочих силовых ведомств.

У Центра в этом случае практически не останется административных рычагов влияния на ситуацию в регионе, однако он сможет использовать политику бюджетных трансфертов, инициировать судебные процедуры в строго оговоренных случаях и т.д. Автор сознает (хотя бы частично), к чему все это может привести. Но все-таки хочется надеяться, что созданные (всерьез и надолго!) удельные авторитарные режимы не будут совершенно одинаковыми и некоторые из них окажутся вполне приемлемыми на переходный период, т.е. достаточно «современными» и «цивилизованными». И тогда, по крайней мере, людям будет куда бежать из тех регионов, где жизнь станет невыносимой. Невозбежная дифференциация регионов, крайний упадок некоторых из них — цена, которую придется заплатить, не считая сопутствующих «человеческих» издержек.

Безусловное достоинство предложения автора заключается в том, что сохранится привычный народу образ настоящей государственной власти, необходимый для его (народа) успокоения и умиротворения. Сумеет ли какой-то конкретный губернатор «держать в кулаке» доставшийся ему аппарат и, что еще более сложно, сумеет ли придать своему режиму «прогрессивный» характер, наверняка никто заранее сказать не сможет. Но тот или иной порядок, тем не менее, в большинстве регионов будет обеспечен, а именно это и требуется; все-таки губернатор ближе к этим людям, которых надо «держать в кулаке», чем центральное московское начальство, если сравнить с нынешней ситуацией. Не будем также забывать о цивилизаторской деятельности партий и верхних органов государства, которыми наши партии, как мы предположили, руководят.

2. Что-то надо делать с российским судом. Предлагаю использовать потенциал международного юридического сообщества под эгидой, скажем, Совета Европы. Это потребует от России больших денег, но дело того стоит. Если говорить более конкретно, то речь может идти об участии иностранных судей (с правом вето) в процедуре выбора или назначения судей, а также в иных кадровых решениях в отношении судебного корпуса; об участии иностранных судей в судебных процедурах и в принятии судебных решений. Я полагаю, что иностранцы должны участвовать в деятельности всех судов (в том числе и арбитражных) всех уровней (в том числе и Верховного суда). Изложение более подробного плана действий для реализации этого предложения оставляю на долю профессионалов.

Хочу надеяться также, что мои вопросы подвигнут партии, о которых я упоминал, т.е. СПС и «Яблоко», рассказать (если есть что рассказывать) о том, что же все-таки они будут делать (конкретно!), когда придут «возмут власть».

ПОРВАТЬ С ТРАДИЦИЕЙ!

Я благодарен Игорю Монсеевичу Клямкину за предложение принять участие в дискуссии, завязавшейся вокруг обстоятельной статьи Михаила Краснова о характеристиках и причинах возникновения «персоналистского режима» в современной России. Признаюсь, я восхищен тем, что эта проблема не оставила равнодушными многих знаковых участников российской интеллектуальной жизни.

Внимательно ознакомившись с теми из откликов, которые показались мне наиболее типичскими, я понял, что, к сожалению, изучить все материалы дискуссии у меня наверняка не хватит времени. Но и прочитанное, как мне показалось, дает некоторое понимание общего состояния и «градуса» дискуссий по общественно-политическим вопросам, а также позволяет аргументировать вывод, согласно которому не следует надеяться на позитивные итоги этого конкретного обсуждения, т.е. на рождение в споре комплексного и методологически последовательного подхода, разделяемого большинством участников. Думаю, что в этой безнадежности отражается состояние нашего общества, «консолидированность» и «стабильность» которого существуют не более чем в фантазиях некоторых кремлевских политтехнологов.

О дискуссии и дискусантах

Разбираясь в ходе дискуссии, я обратил внимание на четыре ее особенности, которые показались мне существенными.

1. Многие участники обсуждения (если не большинство) сочли за благо уйти от вопросов, поставленных в статье, послужившей поводом к дискуссии. Мало кто попытался непосредственно оппонировать М. Краснову или солидаризироваться с ним; темы, которые он затронул в своем эссе, также редко оказывались в центре внимания авторов, вступивших с ним в диалог. За небольшим исключением, их тексты представляют собой «рассказы о своем заболевшем».

С точки зрения того, о чем и как говорят участники дискуссии, их можно разделить на три группы.

Первая группа, строго говоря, ограничена одним ее инициатором; никто больше не коснулся сугубо институционально-юридических вопросов, обуславливающих перемены в системе российской власти. Это неудивительно и соответствует тому правовому нигилизму, который доминирует в обществе с полного согласия власти, ничем в этом отношении от своих граждан не отличающейся.

Мысль авторов из второй, наиболее многочисленной, группы плавно течет среди абстрактных законов политического процесса, закономерностей формирования национальной идентичности, неочевидных исторических параллелей и «уроков», а также каких-то «высших судебностей» преемственного национального интереса или воли народа. При этом почти все они не приводят обоснование своих позиций исторических фак-

тов, надеясь убедить своих собеседников апелляциями к неким «общепринятым» штампам. Так поступает, например, Сергей Марков, повествующий о том, что «именно духовностью была сильна Византия». Жаль, конечно, что это сокровенное знание, найденное Сергеем Александровичем за годы его политтехнологической карьеры, не было еще доступно собравшимся в Четвертый крестовый поход европейским бастардам, похода захватившим столицу этой благочестивой империи в 1204 году.

Наконец, у тех, кого можно отнести к третьей группе (в частности, у Бориса Межуева) мы видим апологию «идеократии» как главной составляющей российской государственности. Тексты этих авторов до предела перенасыщены указаниями на те или иные должностования и констатациями того, что мы находимся в ситуации, когда существует только один правильный выбор. Нет нужды объяснять, что суть этого выбора излагается только одним правильно понимающим ситуацию автором. Каким — понятно. Непонятным в таких текстах остается то, почему Россия кому-то «должна». Ведь она у этих авторов постоянно что-то должна («держаться подальше от Европы», «не забывать о своих корнях» и т.д.) высшим силам, народу или самому автору...

2. Вызывают по меньшей мере удивление «хронологическая направленность» (если так можно сказать) предлагаемых участниками дискуссии подходов и «мера», которой они руководствуются в своих описаниях и оценках реальности. Оказывается, многие из них смотрят не вперед, пытаясь разглядеть перспективы решения актуальных российских проблем, а назад, разыскивая выход в каких-то исторических аллюзиях. Здесь опять-таки нельзя не вспомнить г-на Маркова с его апологией Византии, суть социальной системы которой он предельно конкретно сводит к стремлению «жить по правде». Исходя из каких-то бредовых представлений о том, что происходило на берегах Эгейского моря полторы тысячи лет назад, некоторые современные политологи считают возможным постичь пути развития России в XXI столетии. При этом они утверждают, что наследие прошлого нигде не исчезло, как не исчезло наследие афинской демократии и римского права.

Последнее верно. Но только потому, что демократия и право — в отличие от набившей оскомину «духовности» — формализуемы и применимы к разным народам и разным историческим обстоятельствам. Будучи основаны на верифицируемых принципах, они позволяют с большой точностью определить, является общество демократическим или нет, действуют ли в нем законы или ими пренебрегают. «Духовность» же, воспринимаемая как «мера» легитимности, удивительна своей некантифицируемостью и даже неопределимостью. Если это и может что-то напоминать, то активизировавшиеся в последние десятилетия размышления убогих африканских диктаторов о высокой «духовности» их народов, поруганной европейской колонизацией. В нашем случае парадокс состоит еще и в том, что о тлетворном влиянии Запада на «духовность» говорят представители русского народа, лишь в течение считанных лет находившегося под «западным» владычеством, зато столетиями унижавшегося теми «евразийцами», которых сегодня ему почему-то настойчиво предлагают на роль поводырей в будущее.

В общем, большинству представленных в дискуссии текстов недостает того, без чего их нельзя, к сожалению, считать сколько-нибудь серьезными. В них не обнаруживается умения авторов соотносить свои мысли с объективной реальностью и замечать несоответствия между этими мыслями и этой реальностью.

3. Для участников дискуссии характерно полное пренебрежение к детальному анализу социальных процессов. Их отличие от антропологов прежних времен (а я до сих пор бы, что и от профессиональных исследователей вообще) ярко подчеркнул Эмилем Панним, считающим, что если те «были учеными и хотели разобраться в научной проблеме, то их современные эпигоны — идеологи и лишь используют научную рито-

рису для конструирования идеологических мифологем». Любые добавления к этой формуле кажутся мне излишними. Поразительно и то, что никто из этих «исследователей» фактически не опускается не то что до изучения, но даже до признания более «мелких» социальных акторов, чем народ или нация. Интересы групп и классов, отдельных частей элиты или профессиональных групп не рассматриваются вообще. Соответственно, и о внешнем мире говорится лишь то, что он стремится помешать развитию России, — как будто он один в этом своем стремлении, а все другие интересы и цели у него вообще отсутствуют.

4. Большинство участников дискуссии прямо или косвенно высказывается в поддержку «цивилизационного» подхода. На мой взгляд, причина этого кроется в желании прикрыть ничету собственных аргументов, поскольку данная теория позволяет говорить об «особом пути» России и не ввязать сравнений с другими странами и народами, что предполагало бы необходимость хоть что-то о них знать. Другая причина — в самолюбии, которое тешится тем, что наша страна представляет-де собой особую цивилизацию. Напомню, что в концепции Самуэля Хантингтона, например, признают лишь три государства-цивилизации — Китай, Индия и Россия; причем только «православная» цивилизация выходит за пределы России, что позволяет нашим апологетам имперскости надеяться на будущую экспансию. Из сомнительного в своей основе и по сути бездоказательного подхода извлекаются дополнительные «аргументы» в пользу выводов, давно и бесповоротно пронизавших сознание отечественной элиты. Что такое пресловутая ось Пекин–Москва–Дели, если не туманная рефлексия «близости» трех держав-цивилизаций? И что еще навеет нашим державникам какая-нибудь новомодная теория, пригодная разве что для досужных домыслов в местах удивленного размышления?

В целом, если суммировать впечатления от дискуссии, то я разделял бы представленные ее участниками тексты на две категории. Часть из них — это выплеснутый на бумагу неструктурированный поток сознания их авторов; другая же часть — поток чего-то вовсе бессознательного и бессмысленного. Никаких выводов и рекомендаций относительно того, что следовало бы делать в сложившейся ситуации (причем не миру или России, а тем конкретным людям, которые хотят понять, как и куда мы движемся) в материалах дискуссии я не нашел. И поскольку вопрос о том, «фатален ли персоналистский режим» в нашей стране, остался без ответа, я хотел бы сосредоточиться ниже именно на нем.

Российское государство в мировом контексте

Я считаю, что «персоналистский режим» не фатален для России в том смысле, что у нее есть вполне зримые альтернативные пути развития. Но он фатален в том смысле, что его сохранение и консервация способны окончательно поставить крест на всяких надеждах на успешное развитие страны, на свободную и обеспеченную жизнь граждан в правовом государстве. В государстве, действующем пусть и не всегда «по правде», которая, как известно, у каждого своя, а по закону, который, напротив, должен быть единым для всех.

Чтобы понять логику возникновения этого «персоналистского режима», более чем достаточно проанализировать историю России, Советского Союза, а потом новой России XX столетия и сопоставить ее с процессами, происходившими в мире в этот период. Что касается «исследований» государственного строя Византии и корней «византийской духовности», то они способны дать для понимания происходящего в нынешней России приблизительно столько же, сколько изучение практики человеческих жертвоприношений у ацтеков для оценки политических и социальных процессов, идущих сегодня в Мексиканских Соединенных Штатах.

Итак, в первую очередь следует сравнить Россию и ее эволюцию в XX столетии с судьбами других стран на том же историческом промежутке. История же этого столетия однозначно указывает на следующие обстоятельства, достойные внимания.

Прежде всего, именно в XX веке оформилось уверенное лидерство открытых и демократических государств на фоне замкнутых авторитарных режимов, причем лидерство как в экономическом и социальном развитии, так и в совершенствовании технологического и инновационного потенциала. Среди первых 25 стран по объему ВВП на душу населения нет ни одного авторитарного государства. В то же время ни одно «не вполне демократическое» государство не может быть названо нетто-экспортером высокотехнологичных товаров и технологий в страны «первого» мира. Характерным для экономики XX века стал тот факт, что ни одна страна, которая являлась бы не вполне демократической или не была глубоко интегрирована в мировое хозяйство, не смогла опередить Соединенные Штаты и Европу по масштабам экономического потенциала. Задача «догнать и перегнать лидера» не была решена ни одной такой страной с тех пор, как Соединенные Штаты лишили Германию статуса ведущей экономики мира накануне Первой мировой войны.

Далее, экономические успехи ведущих стран стали базироваться на двух важнейших факторах: на комплексном и диверсифицированном характере их народного хозяйства и на разработке новых технологий и их массовом использовании в производстве. Сегодня около 2/3 всех торговых сделок между развитыми странами — это торговля продукцией одних и тех же товарных групп. Узкоспециализированными — на производстве полезных или ископаемых, энергоносителей или даже массовой промышленной продукции — остаются лишь экономики «второго эшелона». Успехи хозяйственного развития обуславливаются также и тем, в какой мере те или иные страны стали «экономиками знаний». В мире сложилась совершенно новая система обмена, обеспечивающего существенные преимущества государствам, которые специализируются на создании наукоемкой продукции, потребляемой как внутри страны, так и за ее пределами.

Наконец, XX век продемонстрировал беспрецедентность всех попыток политически (а тем более — идеологически) запрограммированного развития. Все «большие проекты» — от Британской империи до мировой системы социализма, от Третьего рейха до Советского Союза — к концу столетия полностью провалились. Идеологии показали свою полную неспособность служить основой нормально функционирующего общества. Соединенные Штаты — последняя великая держава, идентичность которой во многом имеет ценностно-религиозную природу, — могут столкнуться в нынешнем столетии с серьезными испытаниями. Все без исключения попытки создания новых социальных систем в развивающихся странах закончились бесславно; целью подобных экспериментов стало ухудшение большинства показателей развития этих стран даже по сравнению с теми временами, когда они обрели независимость от европейских метрополий.

Россия совершила в XX веке практически все ошибки, которые могла совершить крупная европейская держава. Ее развитие на протяжении большей части столетия определялось идеологической доктриной, сторонники которой нанесли стране большой урон, нежели экономические потрясения или внешняя агрессия. Огромный хозяйственный потенциал, подчиненный сомнительным целям противостояния остальному миру, был растрачен. Даже в лучшие годы Советского Союза его экономические связи с внешним миром были менее интенсивными, чем связи любой европейской страны в середине XIX столетия. Научно-техническая революция, также исполненная в СССР в качестве «социального проекта», по сути не затронула преобладающую часть экономики, а общество не ощутило ни ее итогов, ни потребности в ней. К концу столетия стало очевидно, что усилия и жертвы, принесенные на алтарь гипертрофированно возведенных целей и задач, оказались напрасными.

Вторым шагом в исследовании российской реальности должно, на мой взгляд, стать перенесение акцента с абстрактного «духа народа» на вполне конкретные особенности и интересы правящих групп. Следует также категорически отказаться от попыток изображать эти группы в виде «защитников национальных интересов». Хотя бы потому, что, прежде чем защищать, эти интересы необходимо понять. Между тем есть много оснований сомневаться, что национальные интересы в наше время достаточно глубоко осмыслены.

Особенностью России XX века стали такие резкие смены элит, которых не переживала ни одна из ведущих стран мира. От традиционных аристократических элит конца XIX столетия, постепенно сдававших свои позиции повсюду в Европе, Россия перешла к исключавшей эти элиты из жизни социальной стратификации, фактически истребив (или изгнав) значительную часть носителей доминировавшей прежде ментальности. Тем самым была оборвана жизненно важная традиция, уходящая корнями по крайней мере к началу XVIII века. Традиция наследственности власти, титулов и собственности, традиция ответственности представителей элиты за судьбу страны, полученной ими в наследство от предков и предназначенной для улучшения и передачи потомкам. Повторю: такая логика развития в XX веке прервалась практически повсеместно, однако в большинстве стран она прервалась именно в силу пересмотра самой этой логики, а не по причине жестокого «исключения из общественной жизни» ее приверженцев.

Парадоксом советской системы оказалось то, что — как и на Западе — политическая элита была практически отделена от собственности и, более того, лишена по сути любой возможности ее присвоения. Отношение к стране как к собственности, характерное для прежних элит, сменялось отношением к ней как к объекту владения, который можно использовать лишь до поры до времени, пусть даже ничем себя не оправдывая в течение этого «периода пользования».

Поведение такого рода, пусть и со многими оговорками, характерно для наемных менеджеров современных американских компаний, стремящихся доказать акционерам и рынку, что дела фирмы идут отлично, и при этом ни в чем себе не отказывающих за счет компании, а время от времени выписывающих себе же многомиллионные бонусы. В случае неудачи они могут быть уволены советом директоров или собранием акционеров, не неся серьезной ответственности.

Однако если на Западе к концу XX века политика окончательно превратилась в аналог менеджмента, то в России историческая память приверженцев жизни «по правде», а не по закону алекса элиты назад.

Это стало бросаться в глаза в конце советской эпохи, когда подверглись эрозии меритократические принципы, которым «равняя» советская власть вынуждена была следовать. В условиях очевидного упадка и деградации системы участие в процессе ее основания или в ее защите уже не рассматривалось как важная заслуга того или иного человека. Идеологическая дезориентация требовала появления новой основы для ранжирования, и таковой стало богатство новых собственников, которое было позволено начинать со второй половины 1980-х. Результат превзошел все ожидания. Третье поколение российской элиты XX века воспылало страстью обогащения, невиданного в истории страны, но не забывало от менталитета временщиков. Открытость России в 1990-х и начале 2000-х годов способствовала превращению ее в государство, в пределах которого идет непрекращающаяся война всех против всех, а призом в этом побойше являются миллиарды долларов, перекачанные в банки далеко за границами страны.

Так что вовсе не «духовность» или «евразийскость», а соединение собственности с властью и их «свободная конвертация» друг в друга представляют собой главную характерную особенность российской власти начала нового столетия. В этом состоит ее

«правда», не совместимая ни с какими законами. Особый драматизм ситуации придает то, что новая «элита» оформилась, во-первых, крайне быстро и, во-вторых, сформировалась вне политической сферы. Под «новой элитой» я понимаю в данном случае элиту образца 2000 года, а не ельцинского периода. Невозможно согласиться с Б. Межуевым, считающим, что в методах управления «никакой серьезной разницы между режимом Ельцина и режимом Путина усмотреть нельзя, за исключением определенных изменений в региональном управлении». Существует именно «серьезная разница» между сформировавшейся при «режиме Путина» властной «элитой» и большинством ранее существовавших и ныне существующих политических элит.

Прежде всего, эта «элита» сложилась не в продолжительной борьбе за какие-либо политические цели, как формировалась большевистская элита в начале XX века, нацистская — в 1920-е годы в Германии и даже «ельцинская» в годы поздней перестройки и подъема демократического движения. Эта элита сложилась в ходе совместного обучения (печально известный юрфак Ленинградского университета), службы (резидентура КГБ в Восточной Германии), коммерческой деятельности (комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга) или жизни по соседству (дачный кооператив «Озеро»). Она собрана совершенно случайным образом и столь падка на самые нелепые «идеологемы» именно потому, что не имеет под собой никакого сущностного основания.

Существенно также, что важнейшим скрепляющим элементом новой «элиты» стали ее бизнес-интересы. Стремление к обеспечению собственного материального благополучия, которого эти парии советской системы были лишены или до которого просто не смогли дотронуться, и желание институционализировать это благополучие — вот главное, что связывает воедино нынешний российский «политический класс».

Еще одна особенность новой «элиты» заключается в том, что она культивирует в своих представителях ощущение вседозволенности и несменяемости в гораздо большей степени, чем любая из элит, известных истории XX века. «Техучесть кадров» на руководящих должностях сегодня гораздо меньше, чем даже в советский период. Причина весьма рациональна: для сменяемости кадров необходимы критерии их эффективности, а так как эффективность большинства высокопоставленных чиновников близка к нулю, то начинать конкуренцию между ними означает, по сути, разрушить систему, наделенную на максимизацию срока получения ренты от «службы российским национальным интересам». Отсюда и преклонение перед государством, которое может существовать у этого типа людей только до тех пор, пока они уверены в том, что «государство — это мы».

Для меня остается загадкой, почему участники дискуссии, обсуждающие российский «персоналистский режим», обошли вниманием его экономические цели и вполне материальные задачи, которые он перед собой ставит.

Третий шаг к пониманию происходящих в России процессов предполагает рассмотрение ситуации в российской власти при категорическом отказе от той парадигмы «понимания», которую она навязывает обществу и которая сознательно либо бессознательно транслируется и отдельными участниками дискуссии. Приведу несколько примеров.

Инициатор дискуссии М. Краснов чуть ли не на первой странице своего текста сообщает, что «было бы еще полбеды, если бы бюрократия проводила политику президента, но властный механизм устроен так, что бюрократия же определяет еще и стратегические цели и методы их достижения, не давая при этом возможности обществу контролировать власть». Это значит, что автор уверен: именно бюрократия задает повестку дня — как для общества, так и для власти. Очень сомнительное утверждение!

Сильно ли изменилась российская бюрократия за последнее десятилетие? Какой была ротация в ее рядах? Статистика показывает, что мобильность представителей бюрократического класса гораздо ниже средней, а количественный рост численности бюрократического корпуса делает эту часть общества еще более консервативной. Между тем основные ориентиры российской политики сейчас далеко не те, какими они были в конце 1990-х. Что же произошло? Обычно этот вопрос даже не ставится, но я уверен, что ссылки на бюрократию применятся сегодня в первую очередь для того, чтобы не раскрывать аудитором истинные замыслы властей, которые исполняются весьма эффективно.

Вспомним, скажем, административную реформу Д. Козака или отмену социальных дотаций по М. Зурабову. Всем известно, что эти проекты провалились или не достигли своих целей. Но я бы сказал, что они не достигли декларированных целей, в то время как само их проведение (и временная дезорганизация органов управления, и резкое увеличение бюджетного финансирования непрозрачных схем закупки и распределения лекарств) принесло инициаторам десятки и сотни миллионов долларов, элементарный «распил» которых и был целью нововведений. В этих случаях — как и в большинстве других — президент, федеральные органы власти, Дума и бюрократия работали в полном согласии друг с другом. А то, что многие социологи и политологи подумали, будто именно бюрократы исказили волю народных защитников из Кремля, — не более чем свидетельство профессиональных качеств этих «гуманитариев».

Или другой пример того, как власть с помощью кремлевских «экспертов» навязывает нам версию происходящего в стране. С. Марков предваряет одно из своих рассуждений риторическим вопросом: почему демократия в 1990-е годы не удалась? И начинает витиевато «раскрывать» эту тему посредством ссылки на недоучтенную «идентичность», которая теперь якобы учитывается лучше. Между тем ответ лежит совсем в другой плоскости: в 1990-е демократия «не удалась» лишь потому, что те, кто сегодня придерживается этой точки зрения, потеряли свои посты после «пролета» г-на Собчака на мэровских выборах в Петербурге в 1996 году. По той же причине 2000-е годы, когда г-н Путин и его друзья заняли все руководящие кабинеты, воспринимаются ими как демократическая эпоха. Но почему мы должны соглашаться со столь странным восприятием и пытаться его «онаучивать»? Разве успехи демократии измеряются уровнем жизни отдельных граждан и масштабом нефтяных доходов?

На деле же, как я полагаю, в России нет ни демократии, ни полномочная бюрократии, а есть трогательный консенсус предпринимательствующей власти и коррумпированной бюрократии. Различия их представителей сводятся к положению в статусной иерархии и в том, каким образом извлекают они из этого положения свои «нетрудовые» доходы. Представители власти, как правило, прямо вовлечены в бизнес-схемы (начиная с Северо-Европейского газопровода и заканчивая распределением участков под строительство в областных центрах по всей стране) и принимают решения, в результате которых вид и характер этих схем, равно как и круг их конкретных участников, могут измениться. Представители бюрократии извлекают доход из создания препятствий по ходу исполнения уже принятых решений, на что власть закрывает глаза, заранее смирившись с тем, что подобная рента является платой за лояльность исполнителей. Единственное, что может вызвать резкую реакцию властей, — это попытки на низовых звеньях внести коррективы в общий план сделок, утвержденных властвующими предпринимателями.

Именно поэтому я не считаю, что российское чиновничество можно рассматривать как единую и сплоченную группу; она жестко разделена на две категории. Говорить о коррупции на самом верху государственной пирамиды не вполне корректно: на этом уровне доход извлекается из установления правил игры, а не из их нарушения или

обхода. Правда, такое положение вещей делает затруднительным вообще говорить о представителях нашей власти как о государственных, но это тоже одна из характеристик, которую они присвоили себе при молчаливом согласии «экспертов» и граждан. Государственным человеком могут сделать только его поступки, направленные на укрепление государства, а не его место в чиновничьей пирамиде или его самооощущение.

В заключение этой части можно сказать: сегодня в России действительно сложился страшный режим, который зиждется на единстве недемократически избираемой власти и коррумпированной бюрократии, — единстве, предусматривающем возможность перераспределения в свою пользу значительной части общественного достояния. Все остальные задачи — как внутри-, так и внешнеполитические — несомненно вторичны по отношению к этой основной цели. М. Краснов совершенно прав, когда говорит о страданиях российской Конституции, наделяющей президента правами как верховного арбитра, так и активного политического игрока. Единственное, что хотелось бы добавить: подобная совокупность полномочий вручалась германскому «фюреру и рейхсканцлеру» Законом о перераспределении полномочий (Ermächtigungsgesetz) от 23 марта 1933 года.

Дальнейшее развитие российской власти может пойти в двух направлениях. С одной стороны, возможна ее консолидация вплоть до установления откровенной автократии, что рано или поздно приведет к протестам населения, которые за каким-то пределом перестанут сдерживать свое недовольство. С другой стороны, обогатившаяся верхушка может осознать собственную заинтересованность в установлении исполнимых правил и процедур, что приведет к формированию квазидемократического, но правового государства. По мере смены одного-двух поколений возникнут предпосылки для более либерального демократического режима. Основная проблема, с которой в данном случае придется столкнуться стране, — это полная утрата модернизационного потенциала и непреодолимое технологическое и интеллектуальное отставание от большинства развитых стран. При этом отсталость не будет следствием «ошибок и недоработок» власти, так как и сегодня *недопущенные отсталости не являются ее истинной целью.*

Правовое ограничение российской власти может быть обеспечено только извне

Но что бы мы ни выяснили о сущности нынешнего российского режима, очень незначительно отличающейся от той видимости, которую легко наблюдать непредубежденному исследователю, гораздо важнее понять, каким мог бы оказаться наименее болезненный выход из сложившейся ситуации и какое направление развития России принесло бы наибольшее блага и процветание ее многонациональному народу.

Размышляя об этом, я прихожу к неутешительному выводу, что в ближайшие годы у нашей страны нет практически никаких шансов встать на путь стабильного и прогнозируемого экономического и политического развития.

В сфере экономики у России нет явных конкурентных преимуществ перед странами сопоставимого уровня развития. Основные ресурсы уже сегодня переоценены, а заработная плата россиян, как ни печально это признавать, завышена по сравнению с реальной ценностью их труда. Уровень жизни в стране, которая не экспортирует практически ничего, кроме нефти и газа, не может быть таким, как сегодня. Для того чтобы российские товары были конкурентоспособными при нынешней структуре промышленности, ее энергоемкости, эффективности государства и качестве инфраструктуры, средние доходы населения должны быть как минимум вдвое ниже, чем сейчас, цены на энергоносители — в 2,5–3 раза ниже, а на сырье и металлы — в 3–3,5 раза. Может ли это стать реальностью при сохранении сложившейся сырьевой конъюнктуры? Разумеется, нет. И, следовательно, деиндустриализация России продолжится.

В политике поворот к демократии выглядит не только маловероятным, но даже опасным. Какой бы несовершенной ни была демократия в 1990-е годы, большинство россиян склонно было смиряться с тем, что основной вектор развития страны «смотрит» в западном направлении. Сегодня масштаб популярности российской политики несопоставим с ельцинскими временами, как несоизмерима и адекватность восприятия большей частью общества реальной внутренней и внешней политики. Следствием возвращения к демократии в 1990-е годы практически наверняка стали бы или закрепление авторитарных методов руководства страной, или приход к власти демократа, оценивающего перспективы развития России исходя из тех «методологических» принципов, часть которых была представлена читателям в ходе дискуссии.

В любом случае нет оснований надеяться, что страна начнет движение в сторону правового государства; законы как переписывались и переписываются под интересы власти, так будут переписываться и впредь. По мере обострения экономических проблем изоляционизм страны будет усиливаться. Итогом станет крах политической системы, предельный срок выживания которой я бы определил в 20–25 лет.

Сегодня никто не знает, какой окажется экономическая и политическая конфигурация мира через четверть столетия. Существуют очень смелые прогнозы: о распаде Соединенных Штатов; экономическом доминировании Китая; «окончательном упадке» Европы; о переходе хозяйственного лидерства к развивающимся странам и т.д. Большинство таких предсказаний не убедительно, но вряд ли можно сомневаться, что за эти годы шагнет далеко вперед технологический прогресс, будут сделаны прорывные открытия в биотехнологиях и разработке новых материалов, в системах передачи информации и компьютерной сфере. Продремав два-три десятилетия в относительной изоляции, теща себя иллюзией «энергетической сверхдержавности», Россия еще больше отстанет от развитых стран мира, и догнать их за рубежом 2030–2040 годов она никогда уже не сможет. Экономика Европейского союза будет превосходить российскую в 8–12 раз, китайская — в 6–7 раз. Страна станет «полем боя» крупных экономических субъектов, затевающих «ресурсные войны» друг с другом.

Есть ли альтернатива такому развитию событий? Мне кажется, что есть, хотя я вполне отдаю себе отчет в том, что выбрана она сегодня не будет. Характеризуя этот альтернативный путь, я исхожу из двух предпосылок, каждую из которых считаю очевидной. Их понимание важно для того, чтобы не искать альтернативу там, где ее нет и не может быть.

Во-первых, на протяжении последних полутора веков Россия постоянно отставала в политической сфере от ведущих европейских стран и государств, принявших западный путь развития. Это снижало и сдерживало реализацию ее человеческого потенциала, снижало его качество, не говоря уже о том, какие катастрофические потери понесла наша страна от Гражданской войны, сталинского террора и нескольких волн эмиграции. Отказ от меритократического принципа отбора кадров стал реальностью, повсеместно закрепленной в наши дни. Нынешняя номенклатура не обнаруживает способности к выбраковке своих членов, и легко можно понять, почему. В условиях, когда в недрах правящей элиты нет идеологической и даже политической борьбы, единственный шанс быть выброшенным из нее возникает в случае профессиональной непригодности того или иного работника. Но если каждый из бюрократов понимает, что занял свое место не по меритократическому принципу, а в целом случайно, то желания осуществлять кадровые чистки ни у кого не возникает просто потому, что при их проведении никто не чувствовал бы себя в безопасности.

Современная российская номенклатура — это сплоченная серая масса, которая рекрутирует из остального населения новых членов по принципу ментального и интеллектуального сходства с нею самой. Ожидать от нее действий, направленных на

расширение пространства свободы остальных членов общества, бессмысленно. Копирование каких-то образцов, существующих в других странах, крайне маловероятно.

На мой взгляд, на протяжении последних полутора столетий главным врагом русского народа было и остается Российское государство, всегда ставившее себя выше своего народа и навязывавшее ему собственные представления и цели. Поэтому важнейшим условием возрождения страны я считаю ограничение власти и полномочий российского государственного аппарата. Альтернатива мыслима только на этом пути. Вопрос в том, как ее реализовать и кто это сможет сделать.

Некоторые участники дискуссии также выражали сожаление по поводу отсутствия в России независимых инстанций типа Верховного суда США или независимых парламентов, которые могли бы ограничивать всевластие элиты. Однако, в отличие от этих коллег, я не вижу шансов на то, чтобы появился механизм, способный ограничить российскую власть изнутри страны. Поэтому я не могу согласиться с главным выводом М. Краснова, который считает, что в России «персонализм может быть преодолен с помощью персонализма, что, только обладая президентским постом и при этом высокой популярностью (рейтингом), лидер может инициировать изменение самих институциональных условий, продуцирующих персоналистский режим». Практика горбачевской перестройки показывает, что это не так. Персоналистский режим скорее возродился в еще более изощренных формах, чем в советский период. Даже российские демократы начала 1990-х не были готовы написать конституцию, гарантирующую подлинное разделение властей, так как писали ее не для блага россиян, а для собственной выгоды.

В связи с тем, что подобный ход событий неоднократно воспроизводился в новейшей российской истории, я полагаю, что эффективное ограничение власти и полномочий отечественной бюрократии возможно только путем. То «изменение самих институциональных условий, продуцирующих персоналистский режим», о котором мечтает М. Краснов, может стать реальностью только тогда, когда Россия будет политической подлинно более крупной общности, распространяющей на нее свои правовые нормы, которые российские власти не смогут игнорировать или изменять. Иначе говоря: если власть не может распоряжаться суверенитетом страны на благо ее народа, она должна найти в себе силы отказаться от него или от его части. Именно в этом я вижу историческую роль «просвещенного главы персоналистского режима». Ошибкой М. Горбачева и, в еще большей мере, его западных партнеров стало то, что они «ограничились» демократизацией и разоружением СССР, но не интегрировали его в западные структуры типа Европейского союза, что только и могло бы гарантировать непотребность авторитарных методов руководства страной.

Исходя из этого, я уверен, что в наибольшей мере интересам российских граждан и национальным интересам страны отвечала бы ее максимально возможная интеграция в Европейский союз. Разумеется, процесс такой интеграции не станет реальностью в ближайшие годы. Однако пример Турции свидетельствует о том, что даже не вступление в ЕС, но развитие в направлении принятия существующих в нем правовых норм способно радикально изменить страну и ее политический строй. Основные нормы российского законодательства должны быть приведены в соответствие с актами *соплипауагаге* и совершенствоваться по мере ее изменения. Высшие судебные инстанции, способные оценивать российское законодательство, тем самым были бы выведены из-под контроля Кремля, кто бы ни занимал в нем главный кабинет. Соблюдение антимонопольного, трудового, гражданского и избирательного законодательства проверялось бы не марionеточной Федеральной антимонопольной службой или Федеральной регистрационной службой, а авторитетными и принципиальными бюрократическими регуляторами.

Повторю еще раз: Россия очевидным образом демонстрирует неспособность власти распорядиться имеющимися у нее полномочиями и возможностями в интересах своего народа, а независимый арбитр не может быть в нынешних условиях найден внутри самой нашей страны. И рано или поздно это будет признано. А какой станет цена такого признания, я сегодня предсказать не могу. Да и не хочу предсказывать.

Во-вторых, необходимость альтернативы существующему положению вещей диктуется тем, что в экономическом отношении современная Россия представляет собой несамостоятельную страну. По данным министра финансов РФ Алексея Кудрина, озвученным им в Высшей школе экономики, только за последние шесть лет доля сырьевых товаров в российском экспорте увеличилась с 67,1 до 84,2%, а доля нефтегазовой составляющей в бюджетных доходах — с 31 до 54%. Как только позитивный эффект повышения сырьевых цен исчез (с начала 2007 года они остаются практически стабильными), вскрылась и другая сторона этой несамостоятельности: за первые четыре месяца того же года экспорт товаров и услуг из России в страны дальнего зарубежья вырос всего на 6,9%, а импорт из них — на 56,2%. По сути, происходит все более активный обмен сырья на готовые изделия, причем через полтора-два года положительное сальдо российского торгового баланса может сойти на нет. К этому добавляется хозяйственная дезинтеграция постсоветского пространства, позиции России на котором становятся все менее властительными, а также усиление Китая и объединенной Европы, причем Китай явно намерен сделать зоной своего влияния Центральную Азию, а ЕС — западные постсоветские государства и страны Закавказья. Всего через пять-десять лет Россия может остаться в хозяйственном одиночестве, «зажатой» между двумя экономическими сверхдержавами. В такой ситуации исторический выбор между «западным» и «восточным» направлениями развития станет совершенно необходимым.

Каким будет этот выбор, гадать не приходится. Уже сейчас больше половины российской внешней торговли приходится на страны Европейского союза, причем Европа же является основным источником инвестиций, а также сама привлекает массивные капиталовложения российских предпринимателей. Китай остается во многом terra incognita. Объем товарооборота с ним минимален, к планируем же инвестициям обе страны относятся с явным подозрением. Сегодня правительство предпринимает попытки переориентировать часть топливно-сырьевого экспорта на Китай, но успех этих усилий еще не гарантирован, а их смысл не вполне ясен, так как ресурсы можно продавать на любых рынках и покупать у кого угодно. В такой ситуации единственно рациональным станет выбор еще более тесного экономического сотрудничества с ЕС, которое только и сможет обеспечить России возможность конкурировать на мировых рынках, находясь в составе одного из самых мощных хозяйственных блоков, а не тратя силы и средства в противостоянии с крупными экономическими игроками. На мой взгляд, экономическая интеграция с Европой является для России такой же жизненной необходимостью, как политическая инкорпорированность в общеевропейскую институциональную структуру.

Способна ли нынешняя российская власть инициировать резкий поворот в сторону Европы? Надо отдать ей должное: отчасти она пыталась осуществить его в 2001–2003 годах, когда наметилось политическое сближение с Германией и Францией и были начаты разговоры о «европейском выборе» России. Однако сами европейцы оказались не готовы к полноценному диалогу; к тому же Россия стремилась апеллировать не к общеевропейским институтам, а к национальным столицам, не вполне осознав масштаб изменений европейских реалий, сделавшего единым центром принятия решений Европейскую комиссию. Со временем «европейский драйв» исчерпался, и сегодня отношения между РФ и ЕС трудно признать хорошими. По мере укрепления уве-

ренности отечественной элиты в собственных экономических и политических возможностях потенциал сотрудничества быстро сокращается и, видимо, будет сокращаться в обозримой перспективе.

Есть ли в российском обществе силы, способные призвать народ к переосмыслению своего отношения к Европе и общеевропейским процессам? Пока их не видно, но они могут выйти из тени. И не исключено, что у них есть неплохая возможность завоевать симпатии избирателей.

Разумеется, усилив властью на протяжении последнего времени порождая в нашем обществе определенный негативизм по отношению к европейской направленности внешней политики страны в частности и вовлечению России в многосторонние институты — в целом. В то же время активность экономических и культурных связей с Европой, практика все более частых поездок россиян в страны Европейского союза, а европейцев — в Россию и постсоветские государства, а также в целом миролюбивая и негегемонистская внешняя политика ЕС формируют в сознании граждан Российской Федерации благоприятный облик Европы. Сейчас лишь 5% наших граждан уверены, что Россия — это скорее «азиатская» страна, которая должна ориентироваться на сотрудничество с соседями в Азии, но гораздо больше заявляют о том, что положительно относятся к той модели, которая реализуется в ЕС (41% против 7%, по данным РОМИР-мониторинга). К самому ЕС «хорошо» или «скорее хорошо, чем плохо» относится 69% россиян, а к гражданам составляющих его стран — 86%. В таких условиях у проевропейски настроенных сил в Российской Федерации есть достаточно широкая социальная база.

Несомненно, в нашем обществе распространены и мифы о том, что Европа — это стареющий и чуть ли не умирающий континент, не понимающий своей исторической миссии, захлестываемый волнами иммигрантов и проигрывающий не только Китаю, но и Соединенным Штатам в экономическом соревновании. Хотя большинство из этих мифов — не более чем идеологические штампы, рассчитанные на сознание восточного рода «наших», их распространенность не следует игнорировать. Для граждан, все еще желающих для России великой миссии, целесообразность вступления России в ЕС может гораздо более убедительно аргументироваться тем, что в этом состоит своего рода высшая миссия России, призванной спасти стареющую, самодовольную и ленивую Европу от атак нового столетия, исходящих с Юга и Востока.

Нужно настойчиво и убедительно объяснять, что Россия стремится в Европу ради придания ей нового динамизма и в состоянии занять достойное положение именно в Европе. Альтернатива — роль сомнительного «лидера» в «стратегической паре» с Китаем, на что могут надеяться только те, кто не понимает ни масштаба возможностей, ни стремлений наших «азиатских друзей». На мой взгляд, идея «изменить Европу изнутри» может оказаться очень плодотворной и стать основой своего рода наднационального проекта, способного увлечь множество россиян.

Краткое резюме

Подведем некоторые итоги.

1. Не существует сколько-нибудь убедительных доказательств, что современное состояние российской политики и экономики в определяющей степени обусловлено историей России за пределами последних ста пятидесяти лет. В нынешних условиях модернизационные проекты, основанные на тщательном изучении опыта других стран и народов, позволяют минимизировать «родимые пятна» истории и свести на нет негативный исторический опыт предшлых столетий. Оправдывать недемократичность или экономическую неуспешность России ее историей X–XVII веков ошибочно и бессмысленно. Искать в ее исторических особенностях и ее особой «духовности» ва-

возможности обоснования того или иного политического курса — значит заниматься безответственной демагогией и ограничивать тот спектр альтернатив, которым сегодня располагают наша страна и ее народ.

2. Есть все основания утверждать, что нынешнее Правительство Российской Федерации не отражает национальных интересов России, причем по двум причинам. С одной стороны, эти интересы нигде не определены и не заявлены; никто и никогда не пытался выяснить представления самого российского населения о том, какое направление развития страны оно считает правильным и какие механизмы такого развития подходящими. С другой стороны, современное руководство России слишком занато реализацией собственных материальных интересов и аккумулярованием личного богатства, чтобы считать его озабоченным проблемами народного благосостояния. Но есть и еще одна причина, все более настойчиво дающая о себе знать, — растущая депрофессионализация элиты, без всякого внятного основания рекрутируемой из «ближнего круга» действующих бюрократов.

3. Предпринимавшиеся в последние десятилетия попытки как демократизации страны «сверху», так и авторитарной модернизации ее экономикой не приводят к успеху. Их общим результатом становится дальнейшая дезорганизация элит, все большее пренебрежение меритократическим принципом в управлении, нарастающее разграбление национального богатства страны и прогрессирующая утрата связи политической элиты с собственным народом. В XXI веке России может выжить только как органичная часть более широкого сообщества, в рамках которого может быть установлен современный политический режим, гарантированы права граждан, восстановлен позитивный «естественный отбор» национальной элиты и рационализировано использование национального богатства страны и ее экономического потенциала. На мой взгляд, эта задача может быть решена «персоналистским лидером», но решенной ее можно будет считать только в том случае, если за счет сокращения суверенитета страны возврат к авторитаризму станет невозможным.

4. Поскольку вероятность появления подобной персоны во главе страны при нынешней логике формирования элит представляется крайне незначительной, задачей российского демократического движения и навал бы создание серьезной политической силы проевропейской направленности. Сила, которая выступала бы за космополитический взгляд на мир и делала бы акцент не на «общие ценности» и «морально-этические принципы», а на конкретные политические практики России и стран ЕС, убеждая сограждан в преимуществах последних и в желательности освоения европейских практик (не «ценностей») на российской почве. Задачей-максимум в таком случае провозглашалась бы вступление России в объединенную Европу; задачей-минимум — реформирование страны на основе европейских правовых норм и политических институтов.

Говоря предельно кратко, мечтой нынешней власти является управление Россией на основе мифологизированных исторических традиций, используемых для дальнейшей изоляции страны от мира. Задачей же российских демократов, напротив, является десакрализация этих мифов и их разрушение ради формирования в нашей стране светского демократического гражданского общества, входящего в семью европейских народов на равных, а не эксклюзивных правах. История России показывает: она ускорялась в своем развитии и выходила на передовые рубежи только тогда, когда решительно порывала с теми традициями, которые сейчас возрождаются российской «православной» и «государственнической» бюрократией.

**«НОВОЕ ГОСУДАРСТВО —
ЭТО НОВЫЙ ТИП
ПОЛИТИКА И ЧИНОВНИКА»**

В обстоятельной статье Михаила Краснова представлен профессиональный анализ ценностных посылок нашей конституции, считающейся у отечественных политологов «одной из самых демократических в мире». Его выводы могли бы стать отправным пунктом для обсуждения особенностей или скрытых пороков российского государственно-правового устройства. Но — не стали. Поскольку, как выяснилось, эксперты, способных обсуждать проблематику российской государственности на том же уровне, что и автор статьи, слишком мало или они не захотели принять участие в данном обсуждении. Общий вывод Краснова: авторитаризм и произвол российской политики предопределены заложенным в конституции персонализмом, предоставляющим главе государства огромные полномочия, сравнимые с царскими, — остался почти без внимания. Может быть, потому, что такая констатация положения вещей показалась участникам дискуссии самоочевидной и бесспорной.

Между тем возводить нынешний авторитаризм к издержкам конституции мне представляется несколько упрощенным объяснением нынешних проблем российской государственности.

Сила власти и бессилie права

Старый тезис: там, где установлена правовая норма, там прекращается политическая борьба — неприменим к России, где, как известно, строгость законов смягчается не-обязательностью их исполнения. Российское государство слишком отягощено своим неуходящим прошлым, генетической связью с советской тоталитарной системой. В конституционную силу права верят в России, кажется, только университетские профессора. Население на своей шкуре познает то, что почему-то не принимается во внимание участниками дискуссии: законы в России пишутся не для тех, кто у власти, а для подданных.

Принятая конституция 1993 года не означала закрепления реального соотношения многообразных сил и интересов. Она должна была, по мысли ее составителей, подготовить возможности переноса западных правовых государственных форм на отечественную почву, обеспечить принуждение реальности к тому, чтобы та укладывалась в намеченные рамки. Это был костюм «на вырост» — вообще-то старая идея идеологического воздействия, ориентирующая на пропаганду, обучение, внесение внешних образцов в тупую и косную среду российского традиционализма. Но из задуманного ничего не вышло и выйти не могло, поскольку писаным нормам мало соответствовала реальная практика управления и господства, которая и подчинила себе писаную конституцию через управляемый и зависимый суд.

Никакой опоры под декларируемыми Основным Законом положениями в виде структуры интересов, морального согласия, групповых представлений в России не было. Поэтому образцово либеральная конституция, провозгласившая гарантии частной

собственности, номинальное разделение властей, парламентаризм, права и свободы человека, очень быстро обнаружила свой декоративно-риторический характер и осталась главным образом на бумаге. Реальностью же, т.е. тем, что учитывают люди в своем понимании происходящего и своих действий, оказывается совсем другое. Реальностью оказываются слабо артикулированные представления о партикуляристских отношениях власти и населения, о средствах ее подкупа или манипулирования ею, о естественности и органичности произвола — короче, все те неписанные правила и нормы поведения и кооперации с властью, которые существовали и раньше.

Правоприменение в остающемся по-прежнему иерархическом и неравноправном обществе зависит от статуса и социального положения заинтересованных групп и лиц. Фактически государственно-политические, экономические и другие отношения складываются на основе неформальных практик взаимодействия держателей власти (судебной, административной, законодательной) или распорядителей властных ресурсов с зависимым населением. Правовые нормы и законы в России будут еще долгое время (для нас, живущих сегодня, исторически «всегда») интерпретироваться под действием интересов правящих или влиятельных группировок и кланов.

В социологическом плане это означает, что внутренние противоречия в законодательстве нельзя относить только на счет плохой юридической работы самих законодателей, их некомпетентности, хотя и это, безусловно, имеет место. В сохранении юридических двусмысленностей либо принципиальной несогласованности правовых норм заинтересованы различные субъекты действия, обладающие значительным влиянием на законотворческий и законодательный процессы. Устойчивость появления разночтений в текстах законов, кодексов, подзаконных актах указывает на систематические препятствия рационализации права или блокировку усилий по его формальной кодификации, вызванные не собственно правовыми причинами.

Неопределенность права отражает природу и само устройство государственной жизни в России, некодифицированность отношений власти и подвластных. А функциональное значение подобной юридической или нормативной многозначности заключается в сохранении для властвующих групп возможностей отказа либо ухода от установления и вменения политической и государственной ответственности.

Разумеется, учитывать характер и качество разработки и изложения законов важно и нужно. Однако без понимания того, как и под действием каких факторов и сил они работают в реальности, их знание и толкование может превратиться в деятельность, удовлетворяющую лишь самих ученых юристов. Вера в силу права, характерная для реформаторов начала 1990-х, их стремление создать правовое государство с чистого листа свидетельствовали в наших условиях не столько о либеральности устремлений и приверженности идеалам такого государства, сколько о слабом понимании социальной реальности советского и постсоветского общества. Это не упрек кому-то лично, а тем более — М. Краснову. Это констатация состояния экспертного сообщества, к которому мы все принадлежим. Состояния, которое тоже имеет свои причины и которое не могло не сказаться и на ходе данной дискуссии.

В выступлениях ее участников под государством понимаются разные вещи. Одни, говоря о нем, имеют в виду персонализированную политику Путина и его будущего преемника, тем самым идентифицируя личность правителя с действующим режимом. Другие рассуждают о природе Российского государства, третьи — о качестве работы исполнительной власти и задачах реформы административной системы, четвертые — о взаимоотношениях государства и бизнеса или государства и «народа»... Такая тематическая неопределенность обсуждения — естественное следствие авторитаризма, при котором разные плоскости функционирования государственной машины четко не разведены ни в практике государственного управления, ни, соответственно, в сознании экспертов.

Главная проблема российской государственности заключается в том, что разделение властей декларировано, но реально не проведено. И в обозримое время оно проведено быть не может, поскольку не произошло разделения «государства» и «общества». Власть, венчаемая президентской Администрацией, ведет себя вполне «по-советской», как полный хозяин государственного аппарата управления и как собственник безгласного населения. Другими словами, более чем за 15 лет после краха советской системы не возникло «общества» как специфического, автономного от власти типа организации людей, системы независимых от нее институтов, как не возникло и самой институционализации связей и отношений, основанных на частных интересах и групповых солидарностях.

Меняется стилистика политических режимов, но характер государственной власти принципиально не меняется. Периоды правления окрашены личностью первого лица государства и манерой его руководства, но сама по себе личность правителя мало сказывается на сложившихся механизмах прихода к власти, а значит — и на принципах подбора кадров исполнителей, на способах поддержки первого лица, на массовых представлениях о легитимности оснований власти. Персональная зависимость от главы государства руководителей всех ее ветвей — правительства, председателей судов, руководителей парламента, заместников в регионах — придает государственной машине внешне централизованный и рациональный вид, но, по сути, свидетельствует об ее глубоко архаичном, патерналистском характере.

Власть в стране централизована, недифференцирована и персонафицирована. Она принадлежит президенту, «вождю» народа и осуществляется посредством неконституционных органов управления и механизмов господства (через Администрацию президента). Она опирается на тайную политическую полицию (ФСБ) и другие спецслужбы, выведенные из-под контроля закона, суда и парламента, на заместников центральной власти в провинции, на систему пропаганды и агитации в лице полностью зависимых от федеральной или местной власти СМИ. Ее резерв — вооруженные силы и директорат крупнейших корпораций и предприятий (рецидив планово-государственной экономики), а также — сегодня еще слабые, но в будущем, возможно, способные играть более значимую роль — парамилитарные или молодежные организации, характерные для начальных периодов тоталитарных режимов, вроде «наших» и тому подобных организованных статистов «народа». Эта власть фактически бесконтрольна, поскольку ей ничто не может быть противопоставлено: авторитет представительских органов, назначаемых из Администрации президента, у населения невысок во всех группах, а их дееспособность вызывает большие сомнения.

В стране сегодня нет автономных, т.е. независимых от Кремля или регионально-го начальства, фокусов морального или символического авторитета. Ни политические партии, ни профсоюзы, ни интеллектуальная или культурная элита («интеллигенция») не пользуется сколько-нибудь существенным влиянием. Остро ощущаемый аморализм и беспринципность сегодняшних «продвинутых» групп, их интеллектуальная стерильность являются причиной отказа в признании за ними авторитетности и сколько-нибудь значимой и самостоятельной общественной и политической роли.

Специфической в наши дни тип публичного политика или журналиста — это человек, сменивший свои «убеждения» (скажем, либерально-западнические на «национально-государственнические»), «ренегат», как его можно назвать в соответствии с известной политической традицией, пытающийся объяснить свое бессмысленное предательство общезначимыми соображениями и высшими принципами (геополитическими взглядами, интересами модернизации страны, патриотическими чувствами и т.д.). Примечательно, что власть охотно подбирает такой «человеческий материал», используя его с чувством глубокого удовлетворения, — подобно тому, как в свое вре-

мя Сталин держал рядом с собой тех, кто был с «пятном». Этот тип человека указывает на вектор происходящего, на направление общественного дрейфа.

Такова «элита», с помощью которой создается сегодня официальная картина власти и образ ее персонификатора. Однако помезность этой картины скрывает реальную беспомощность правителя перед бюрократической системой, равно как и его дилетантизм, проявляющийся в импровизационном решении повседневных задач управления. И при нынешней организации российской государственности такое положение вещей скорее норма, чем аномалия. Если нет институционализированных правил смены высшей власти, то — возвращаясь к сказанному выше — нет и механизмов установления государственной, политической или правовой ответственности за проводимую политику, за действия, совершаемые в период пребывания у власти. Например, за развязывание не только первой, но и второй чеченской войны, более жестокой и кровопролитной, когда, в отличие от 1994 года, было уже ясно, что такое война с собственным населением. Можно назвать и другие политические просчеты или государственные преступления, оставшиеся для представителей власти без последствий. Никто, скажем, не понес наказания ни за «Норд-Ост», ни за Беслан. Нет, соответственно, и критериев оценки эффективности власти. При этом ее безответственность определяется и тем, что вопросы как оперативного управления, так и выбора стратегии при всеобщем молчаливом попустительстве решаются небольшим числом допущенных к власти лиц, ее серым или теневым кабинетом, о чем публичной информации не поступает.

Отсюда, однако, не следует, что устойчивость государственной системы задана и обеспечена теми, кто возглавляют страну, т.е. узким кругом высшего государственного руководства. Она задана и обеспечена инерцией освобожденной от политического и правового контроля бюрократической машины, которая сама устанавливает себе нормы и правила функционирования, а потому слабо управляема, аморфна и неэффективна с точки зрения стратегических национальных целей. Такая система не может не быть коррумпированной, поскольку ей приходится ежедневно разрешать конфликты интересов, согласовывать разнонаправленные мотивы действующих субъектов — населения, бизнеса, корпораций, ведомств. И, не имея твердых норм определения ситуации, каждый конкретный чиновник или бюрократия в целом при отсутствии политического контроля всегда будет решать эти проблемы с учетом собственных материальных интересов. В таком виде система сложилась не сегодня и не завтра может быть изменена. Скорее всего, такой порядок государственной власти сохранится и в будущем.

Отсутствие разделения властей указывает на то, что блокированы источники систематического государственно-политического целеполагания и что декларируемые властью моноволюнтаром цели национальной политики национальными целями не являются. Поскольку нет механизмов открытой конкуренции за власть и ухода из нее, нет механизмов привлечения к ответственности, все усилит тех, кто стоит сегодня у власти, подчинивших задачам ее удержания, т.е. опять же эгонстическим интересам отдельных людей и групп. В такой системе суд и правоохранительные органы всегда будут играть роль средства защиты тех, у кого в данный момент властные рычаги и ресурсы. А какие конкретно способы идеологического обоснования власти, оправдания репрессий против ее оппонентов, мобилизации массовой поддержки будут использоваться — вопросы важные, но не принципиальные для понимания самой природы Российского государства и его конституции.

Такая система оказывается неспособной к внутреннему последовательному изменению, трансформации или модернизации, хотя разговоры о необходимости реформы административного управления, повышении эффективности государства будут вестись до тех пор, пока существует эта система. Даже при самых искренних деклара-

щих о курсе на модернизацию (предположим, что это не туфта и не привычное государственническое пустословие, а намеченный к реализации политический курс) они останутся только декларациями. Более того, и при уже принятых «прогрессивных» изменениях в законодательстве правовые нормы и указы работать не будут, поскольку они не поддержаны соответствующими функциональными связями с другими институтами, нормами, ценностями и интересами других групп и участников.

Образ государства в массовом сознании

Нельзя не согласиться со многими участниками дискуссии, полагающими, что мы имеем сегодня дело с государством уже не тоталитарным, но еще и не демократически-правовым. Это — полицейское государство. Точнее — неэффективное полицейское государство. Заверженная высокими рейтингами президента околоремленская публика рассматривает их как показатель прочности сложившейся композиции власти, массового одобрения политического курса В. Путина, признания успешности осуществляемого им руководства. Однако экспертные оценки, согласно которым нынешний политический курс означает сверпывание самого процесса модернизации государства и его консервирование в бюрократическо-коррупционном состоянии, не очень-то отличаются от оценок населения. Конечно, такие оценки (особенно в условиях, подобных нынешним российским, когда пространство публичной свободы в СМИ крайне стеснено) всегда слабо рационализированы, противоречивы и обусловлены в первую очередь повседневным опытом. Прежде всего — заботами о материальном существовании, личной безопасности, балансом страхов, угроз и надежд, определяющим представления о ближайшем будущем. И тем не менее оценки эти весьма показательны.

За исключением персоны президента, престиж и авторитет институтов власти в глазах населения крайне низок. Особенно негативно оценивается деятельность тех из них, с которыми наши сограждане непосредственно взаимодействуют: милиция, суда, прокуратуры, местных властей. Но и отношение к Госдуме, Совету Федерации, политическим партиям характеризуется явным неуважением, отчасти даже презрением — правда, в сочетании с чувством безнадежности и апатии.

Можно легко отмахнуться от заграничных оценщиков («наблюдателей за правами человека») положення дела в стране, но отмахнуться от собственного населения уже труднее, если вообще возможно: люди не уважают власть, не уважают свое государство, хотя и добавляют его. Причин тут несколько: социальная демагогия, невыполненные обязательства, обман граждан, административный произвол, коррупция и продажность чиновников, их некомпетентность, хамство, чувство социальной несправедливости, а также то, что чиновничество всегда и во всех случаях защищает интересы тех, у кого власть и деньги. Унаследованное от советского прошлого и вместе с тем подпитываемое сегодняшним опытом сознание опасности, исходящей от государства, беззащитности перед любым представителем власти, заставляет граждан держаться подальше от политики и всей сферы государственной жизни.

Высокий рейтинг Путина, образовавшийся из патерналистских надежд и иллюзий зависимого, по-прежнему полукрепостного населения, из отсутствия реального выбора (как в свое время при Горбачеве и Ельцине), сам по себе еще не свидетельствует об удовлетворенности деятельностью президента. Скорее, он свидетельствует о недоверии населения к государству как таковому и его институтам от суда до банков, о низкой оценке работы государственной машины в целом. В феномене рейтинга Путина мы имеем дело с психологическим трансфертом этой неудовлетворенности в надежды на доброго царя, с превращением ее в слабую веру в то, что символический отец нации не позволит государству обрасывать с себя прежние социальные обязатель-

ства, как оно последовательно делало это в последние годы. Поддержка Путина изначально происходила из ожиданий, что он заставит чиновников выполнять свои функции «заботы о простых людях», чего ждет от него население, у которого нет значительных средств и ресурсов для собственного подъема или инициативы.

Бедность и производные от нее упования в данном случае — не вина этих людей. И объясняется она не отсутствием «протестантской этики», ленью, пьянством, традиционализмом и проч., в чем обычно ищется глубинный смысл русской отсталости. Бедность — результат специфической политики советского и постсоветского государства, систематическим образом десятилетиями эксплуатирующего население ради своих идеологических целей или просто ради сохранения самого режима постсоветского образца. В свою очередь, «борьба с бедностью», призванная засвидетельствовать признание государством своих долгов перед населением, — часть легитимационной легенды власти авторитарного лидера.

Эти обстоятельства более или менее четко осознаются и обществом, памятующим о жертвах, которые оно приносило для индустриализации страны, защиты государства, превращения его в сверхдержаву. Поэтому население терпеливо, хотя с каждым новым поколением все меньше и меньше, ждет от власти выполнения ее патерналистских обязательств, оплаты долгов по «общественному договору». Однако объем социальных обязательств, которые государство ранее обещало исполнить (медицина, образование, социальное обеспечение, поддержание культуры), несмотря на все нефтегазовые сверхдоходы, постоянно сокращается, а качество их исполнения становится все хуже. Нынешняя власть втихую скидывает с себя эти функции, постепенно перенося их оплату на население; оно бы сделало это еще раньше, но боится социального взрыва и потери популярности, которая в значительной степени как раз и связана с сохраняющимися с советских времен массовыми иллюзиями.

Если рассматривать с этой точки зрения мнения населения, фиксируемые в ходе регулярных опросов Левада-центра, то говорить о каких-то особых или признанных успехах политики Путина и его правительства трудно. Несмотря на благоприятную внешнюю ситуацию (цены на сырье, изначальное отсутствие враждебного окружения), положение в стране, по мнению основной массы россиян, в принципе не меняется. Да, через 15–17 лет удалось восстановить средний уровень материального благосостояния населения, который оно имело до начала краха советской системы. Примерно 15–20% наших сограждан, по их признанию, стали жить лучше, у них заметно выросли доходы, но основная их часть (45–48%) никакого роста не ощущает. Люди вынуждены работать больше, интенсивнее, чем в советское время, чтобы удержаться на том же уровне — по их мнению, несправедливо низком. Остальные же живут просто бедно, хотя их доля за последние пять лет заметно сократилась (с 40 до 25–27%).

Что бы ни говорили представители Министерства финансов о снижении инфляции, люди воспринимают ее по-своему, полагая, что цены растут быстрее их доходов, причем особенно болезненно это ощущают малообеспеченные группы. Возможно, такое восприятие определяется и тем, что дифференциация доходов и уровней жизни разных групп быстро растет. Если по официальным данным разрыв между верхними и нижними 10% населения составляет 15–17 раз, то по экспертным оценкам — более 25 раз. Другими словами, не общество в целом более или менее равномерно становится богаче, а растет отрыв группы обеспеченных от основной массы людей. То же самое относится и к различиям между регионами. Говоря очень грубо, это означает, что национальный прирост поглощается в основном одним довольно узким социальным слоем, тесно связанным с государством, и зависимым от государства бизнесом. Масса же населения вынуждено оценивать и собственную жизнь, и власть по принципу: «Хорошо уже то, что не стало хуже».

Даже простой перечень основных претензий россиян к российской власти показывает, какой образ государства сложился в массовом сознании:

- 1) руководство страны не справляется с проблемами бедности, оно не может устранить причины социальной несправедливости (так считают 67% опрошенных!);
- 2) власть коррумпирована на всех уровнях (49%), но более всего — наверху;
- 3) высшее руководство не способно обеспечить экономический подъем в стране (44%);
- 4) оно попустительствует расширению государственной собственности (39%)¹.

Сегодня 9 из 10 россиян убеждены в коррумпированности властных «верхов»: 92% респондентов считают, что высшие российские чиновники имеют счета за рубежом. 49% опрошенных полагают, что коррупции и злоупотреблений в верхних эшелонах власти в последние 3–4 года стало значительно больше, чем раньше, 32% думают, что в данном отношении ничего не изменилось, и только 11% верит, что уровень коррупции в последние годы снизился. 67% россиян убеждены, что дела о коррупции если и возбуждаются, то всякий раз не потому, что об этом стало известно прокуратуре и правоохранительным органам, а потому, что это кому-то «выгодно» или что началась борьба за конкретное кресло. В чистоту помыслов и намерений борцов с «оборотнями» верят лишь 20% респондентов.

Люди ощущают, что растет уголовная преступность, а защита от преступников, обеспечение повседневной безопасности граждан (прямая функция государства) стала менее эффективными. Отсутствие чувства личной безопасности на улицах или дома как следствие неспособности правоохранительных органов обеспечить порядок занимает на протяжении последних лет одну из самых верхних позиций в списке наиболее острых проблем, тревожащих людей: как правило, третью или четвертую по рангу после роста цен, социального неравенства и угрозы безработицы.

Опросы показывают также, что в стране, по мнению россиян, становится больше административного произвола и бюрократической волокиты. Ускоряется в массовом сознании и представление о том, что государство не выполняет важнейшей своей функции в сфере экономики: устанавливать единые правила поведения экономических субъектов и следить за их соблюдением. Провозгласив курс на развитие рыночной экономики, власти тем самым косвенным образом взяли на себя обязательства по созданию соответствующих институтов и обеспечению гарантий их «добросовестности» и надежности. Однако реально государство устранилось и в этом отношении от своей ответственности, «кинув» людей, оказавшихся жертвами недобросовестных строителей, аферистов, социальных прожектеров. Никаких «извините», как и в случае спорных в 1992 году сбережений, не последовало, несмотря на все нефтяные прибыли.

Особый случай недовольства людей представляет собой война в Чечне и, что совершенно очевидно для большей части россиян, порожденные ею угрозы терроризма. Абсолютное большинство населения разочаровано ходом этой войны, жестокостью, проявляемой обеими сторонами, и настроено против ее продолжения (60–65% в последние два-три года). При том, что осенью 1999-го россияне бурно отреагировали на обещания будущего президента «замочить» всех мятежников и сепаратистов и, тем самым, вернуть наше чувство самоуважения. Хотя благодаря жесточайшей цензуре на информацию из Чечни в общественном мнении в последнее время укрепляется пред-

¹ Данные майского опроса 2007 года. Среди причин, препятствующих экономическому росту в стране, россияне на первое место ставят «коррупцию, расширение государственных средств» (50%). За этим следует «сопротивление чиновников, бюрократии» (34%), «неисполнение на местах принятых законов, указов» (30%), «слабость власти» (26%) и, лишь затем — «люди разучились работать» (23%). Общественное мнение-2006. М.: Левада-центр, 2006. С. 37.

ставление, что жизнь на Северном Кавказе постепенно нормализуется и входит в мирное русло, глубочайший след от этой войны будет ощущаться еще очень долго. Обидно бесперспективности уже 13 лет идущих боевых действий вызывает чувство смутного протеста и готовности осудить на долгий срок тех, кто ответственен за их разрывание.

Однако на электоральном поведении недонольство людей пока не сказывается. Благодаря феномену Путина и с помощью разного рода махинаций с регистрацией партий или кандидатов в депутаты, использования административного произвола, запугивания, дискредитации либо прямого давления на избирателей и кандидатов Кремль обеспечил практически монопольное положение для партии власти. Но, добившись тактического успеха сомнительными средствами, она тем самым поставила под сомнение легитимность власти в целом, подорвав веру общества в справедливость и честность выборов. Поэтому ближнесрочный прогноз относительно успеха на предстоящих парламентских выборах «Единой России» дать нетрудно, но в ситуации возможного кризиса (а он рано или поздно наступит, поскольку мы имеем дело с явно неэффективной машиной управления) вся конструкция внезапно может оказаться очень хлипкой и неустойчивой. И это путинская Администрация понимает. Именно поэтому действия властей характеризует такой навязчивый страх перед оранжевыми угрозами, несоизмеренное использование силы по отношению к оппозиции или участникам маршей несогласных. И эти страхи совершенно оправданы.

Есть известная логика в развитии политических процессов в стране. Стремясь обеспечить свои позиции и гарантировать себя от угрозы «оранжевой заразы», изрывов массового возмущения против коррумпированного и вороватого режима, как это было на Украине, Кремль стремится централизовать системы управления и контроля, стерилизовать очаги местной или групповой автономии, инициативы и самоуправления. Но тем самым он создает благоприятные условия для административного произвола, коррупции и беззакония, опосредованно через некоторое время бьющих по мелкому и среднему бизнесу, подавляя его развитие или загоняя его в тень. И, соответственно, подпитывая разраставшуюся коррумпированной бюрократией и полицией, в свою очередь провоцирующая ненависть населения к власти в целом.

Почему же в России не получилась «демократия»?

Просматривая материалы дискуссии, нельзя не обратить внимание на то, что мнения участников как-то незаметно сбиваются с анализа фактического положения вещей на рассуждения в духе политической нормативности (в России должно развиваться гражданское общество, президент должен сделать то-то и то-то), уводящие от понимания того, что есть. Мало кто (Е. Гонтмахер и немногие другие) говорит о действующих институтах власти или отношениях людей в них, реальных повседневных интересах этих людей, понимании ими своих задач и целей. Между тем нет ничего более устойчивого, чем структура настоящего. Возможности изменения ограничены существующими институциональными рамками, которые представляют собой чрезвычайно плотные сцепления многослойных отношений. Это и механизмы отбора людей во власть, и ее отношения с другими влиятельными группами и институтами вне системы власти, и идеологические компоненты, равно как и качество человеческого состава правящей элиты и массовые установки и предпочтения населения. Институциональные структуры воплощают в себе спрессованные пласты исторической культуры общества, в данном случае советского и постсоветского российского социума, самоочевидные и потому трудно изменяемые правила социального взаимодействия.

Создать новое государство с чистого листа невозможно даже в случае военного поражения и катастрофы, как это было с другими тоталитарными режимами или им-

ператорской Японией, а также при создании советской зоны в Восточной Европе. То есть даже при самых оптимальных условиях ясного понимания сути и смысла необходимых преобразований, их глубины и последовательности, наличия средств и подготовленных людей требуется определенный переходный период, когда из части прежних управленческих структур и кадров выстраиваются промежуточные системы управления и поддержания социального порядка. Но это, повторю, при самых благоприятных условиях, когда оккупационная администрация победителей могла взять на себя обеспечение социального мира, формирование новых государственных структур, причем не только административных, но и законодательных, судебных, структур публичности, образования и т.п. Это было очень трудно в послевоенных Германии, Италии, Японии, несколько легче — в посткоммунистической Восточной Европе. Поэтому что в последнем случае уже имелся определенный опыт действия, была массовая поддержка необходимых изменений со стороны населения, были мощные антисоветские настроения, социально-политические и общественные движения, направленные на сближение с Западной Европой, были институциональные структуры, обеспечивавшие поддержку реформаторам и смягчение социальной напряженности.

«Решительность» же российских реформаторов, до сих пор называющих себя «революционерами», а происшедшие изменения «революцией 90-х годов», была связана с вежностью того, что следовало делать в политическом плане при крайней слабой массовой поддержке изменений. Население не понимало смысла и плана реформ, относительно которых его и не старались просветить. Не было и результативной поддержки со стороны европейских институтов и организаций. Отсутствие давления реальных социальных движений и политических партий создавало для реформаторов некоторое пространство свободы воображения, но разработка и решение конкретных вопросов определялись интересами тех групп, в руках которых была хоть какая-то власть и которые были озабочены прежде всего тем, чтобы ее укрепить. Поэтому и конституция при всем своем либерализме и декларативной демократичности оказалась вполне самодержавной, «персоналистической».

Зададимся вопросом: кто вообще хотел каких-то изменений в начале 1990-х, отдавал себе ясный отчет в том, какими именно они должны быть? Думаю, что это были очень немногочисленные группы, не пользовавшиеся особым влиянием и вниманием власти. Именно поэтому мало кто представлял себе, что и в каком объеме надо сделать, на какие социальные слои, структуры интересов и институты следует опереться для достижения намеченных целей. Еще меньше ясности было относительно того, какими ресурсами (управленческими, знаниявыми, технологическими, человеческими) располагали реформаторы, равно как и относительно механизмов изменений и механизмов кооперации, сопротивления изменениям. Понятно, что при таких обстоятельствах интересы разных институтов и групп и их возможные реакции на перемены не учитывались, они просто не могли привлекаться во внимание.

Верхушечный переворот, имевший место после августа 1991 года, был вызван разложением отдельных звеньев в системе тоталитарных институтов. Прежде всего — параличом высшего руководства КПСС, связанным с процессами децентрализации управления, крахом плановой экономики, деморализацией и слабостью армии и КГБ. Но ступор на высшем уровне управления не затрагивал самих советских институтов и кадрового состава. Значительная часть аппарата сохранилась, более того — перед номенклатурой второго и третьего эшелонов, как и в ситуации террора 1930-х, открылись перспективы вертикальной и горизонтальной мобильности, новые возможности обретения материальных ресурсов и источников влияния, что вызвало известный энтузиазм среди части бюрократии или, как минимум, отсутствие единства в сопротивлении переменам.

Распад СССР породил иллюзии «революции» 1991 года и, соответственно, веру в «объективную» предопределенность («детерминированность») дальнейших преобразований в России — формирования саморегулирующейся рыночной экономики, становления демократии, развития институтов гражданского общества, сближения новой России с западными политическими и межгосударственными организациями. Но при этом среди различных транзитологических схем предпочтение было отдано наиболее простому, понятному и ассоциировавшемуся с советским опытом варианту «модернизации сверху», или, как ее еще называют, «авторитарной модернизации». Дескать, как сильным загнали в колхозы, так же сильным можно загнать и в капитализм, поставив людей перед выбором, от которого нельзя уклониться: либо приспособиться к новым условиям, либо исчезнуть.

Недостаток «демократизма», авантюрная война в Чечне, верхушечный характер приватизации воспринимались социальной элитой того времени как неизбежные издержки переходного процесса, которые выправятся и компенсируются в дальнейшем преимуществами структурной трансформации экономики. Отглядываясь назад, понимаешь, что популярность «экономического детерминизма» была обусловлена не столько уровнем теоретических разработок у экономистов, сколько бедностью их представлений об устройстве общества и происходящих в нем процессах. «Экономический детерминизм» (как идеологию) в нынешних российских условиях правильнее было бы рассматривать как субъективное оправдание новой элиты своей зависимости от власти. Эта идеология была изначально предназначена для легитимации «новой бюрократии», но не для выработки конкретной политической программы реформ.

Система и люди в системе

Институциональные обновления всегда обусловлены появлением нового человеческого или социального типа, нового образца отношений. Ни техника сама по себе, ни идеологические лозунги или программы не являются ни свидетельством, ни предпосылкой социального развития, структурного изменения общества. Только человек.

Приведшие в правительство младореформаторы представляли собой действительно новый человеческий тип — и чиновников, и государственных деятелей. Однако, как выяснилось позже, ресурсы этого социального типа оказались чрезвычайно ограниченными — прежде всего в ценностно-моральном плане. Не прошло и нескольких лет, как «позолота стерлась, а свиная кожа осталась». Стране и миру были явлены подправленное либерализмом «государствничество», порожденный не реализовавшимися ожиданиями принцип и готовность ради надежд на осуществление своих планов приспосабливаться (хочешь, из высших соображений) к политическому руководству независимо от проводимого им политического курса. Ресурсы компетентности у новых чиновников были, разумеется, посерьезнее, чем у чиновничества старой школы. Но они не были настолько значительными, чтобы переломить характер управления или обеспечить рационализацию его технологий. Тем более в условиях борьбы политических группировок за властную монополию и последующего закрепления ее за одной из сторон.

Яснее всего это видно из характера и обстоятельств принятия новой конституции, которая должна была в первую очередь легитимировать полномочие победившей группировки, прикрик его торжественным изложением основ правового государства. Но как из одномоментной либерализации цен еще не вырастают структуры рыночной экономики, так и из провозглашения демократии еще не образуются правовое государство и сама демократия. И то и другое возникает только из опыта регулирования конфликтов, мирного достижения компромиссов, взаимодействия различных групп интересов. В противном случае «демократия», «свободный рынок», «права чело-

века», «средний класс» и другие понятия западного мира остаются лишь словами, используемыми для легитимации не соответствующей их смыслу реальности. В этом отношении и российская власть, и околовластные политтехнологи и аналитики, замыслившие слова «оттуда», давно уже работают как настоящие фальшивомонетчики.

В идеологическом плане задачи российской верхушки (персонифицируемой Горбачевым, Ельциным, затем Путиным) заключались прежде всего в том, чтобы провести очередную фазу модернизации власти, не меняя самой системы, оставаясь в изоляции от западного мира, не допуская «вестернизации», усвоения основных ценностей современного общества, условно называемого «Западом». Риторика демократизации, возвращения к общечеловеческим ценностям должна была (по существу — на время) лишь нейтрализовать презию имперскую идеологию советского превосходства и исключительности, хранимую наиболее консервативными группами во власти. Присшедшая к власти «демократическая» фракция расколовшейся советской номенклатуры во главе с Ельциным стремилась ослабить и оттеснить, если не удастся убрать совсем, группировки и кланы старой советской административно-хозяйственной системы, представляемой коммунистами. Но после того как это произошло, очищенные от «коммунизма» идеологические ресурсы сохраненной властной организации были завоёваны и актуализированы.

По всем государственным каналам ТВ опыт заучила тухлая риторика патристического воспитания, концентрирующая внимание населения на угрозах безопасности (уже правда, не «государственной», а «национальной»), необходимости защиты национальных интересов и отставания своих приоритетов. Идеологическая основа легитимности российской власти, как и прежде, заключается именно в сохранении изоляционизма, механизмов мобилизационного общества, поддержании в населении представлений об антироссийском враждебном окружении, заговоре западных стран против России, их постоянно повторяющихся усилиях ослабить ее, «поставить на колени», сделать от себя зависимой. Во внутриполитическом плане подобным механизмам сохранения режима закрытого общества соответствовали изначально проводившие в элите представления, что экономические и социальные реформы, «рынок» и «демократия» не самоцель, а средства для восстановления («возрождения») прежнего статуса великой державы, создания более эффективного и сильного Российского государства. Естественно, что при такой установке дальнейшие институциональные преобразования оказались заблокированными.

Введение «демократии» сверху посредством поспешного принятия новой конституции и проведения в 1993 году первых многопартийных выборов с насоро созданными политическими партиями полезало за собой явление, давно известное в политической науке. В ситуации социального разлома сама по себе «электоральная демократия» (без соответствующих культурных, моральных, человеческих оснований и институциональных рамок) в состоянии вывести на поверхность лишь самые массовые и распространенные, а потому — самые консервативные и темные слои, проявить и закрепить присущие им самые простые представления и интересы. В российском варианте — самые слабые и зависимые от государства группы, к менталитету которых изначально приспособлялись российские партии.

Нынешняя «многопартийность» в стране строилась по модулю самой власти, сверху вниз, т.е. представляла собой результат фрагментации презюемой номенклатуры. Партии не выросли из массовых движений, артикулирующих групповые интересы различных слоев населения, будь то малоимущие или более вестернизированные и ресурсообеспеченные. Они не ставили потому своей задачей оформление аморфных сил, не стремились в публичных дискуссиях рационализировать собственные идеи или стремления масс. Электоральное поведение последних (полупринудительное по своему

характеру, особенно в провинции) — это не участие в политике, не поддержка тех или иных «решений» или разделение социальной ответственности, а архаическое, по сути, одобрение той или иной фракции номенклатуры по причинам, совсем не обязательно связанным с материальными интересами или идейными соображениями. Партии могли играть роль популистских или идеологических «заправок» для символической идентификации (проще футбольных команд) или служить каналом социального протеста, ярлыком для обозначения населением социальных надежд. Но они не давали никакой стратегии политических действий, никаких конкретных программ реформ, которые люди могли бы оценивать и обсуждать. На всех прошедших выборах в Думу избирателю предлагалось лишь манифестировать свое принятие или непринятие власти и ее оппонентов, кандидатов во власть.

Роль «электоральной демократии» в кризисном, но не модернизированном обществе заключается не в обеспечении конкуренции политических лидеров и программ, а, напротив, в санкционировании авторитаризма, утратившего источник своей легитимации в миссионерской или экспансионистской идеологии и вынужденного поэтому ограничиваться задачами консервации режима. Признание «законности» власти и всей системы ее организации в подобной ситуации достигается двумя способами. Во-первых, обращением к эклектичному традиционализму, связующему постсоветское настоящее с советским прошлым и, в свою очередь, элементы советской великодержавности с дореволюционной «имперскостью». Плюс православие и ксенофобия в сочетании с изоляционизмом и национализмом. При этом период изменений дискредитируется квалификацией его как времени распада, нестабильности и кризиса. Во-вторых, насаждается атмосфера безальтернативности тех, кто у власти, осуществляется целенаправленная институциональная профилактика, упреждающая появление возможных оппонентов посредством их шельмования или уголовного преследования. Именно для этого и создается громоздкая система имитации демократии (псевдопарламент, псевдо выборы, псевдосуд, псевдосвободные СМИ, псевдопубличность с ее ток-шоу).

Выдвинутая на первый план наименее модернизированные группы, характеризующиеся самым сильным государственно-патерналистскими установками, «электоральная демократия» обеспечивает преимущество партии власти и созданным властью же «заместителям» партий вроде ДДПР или «Едины», связывающих избыточные, т.е. грозящие выйти из-под контроля протестные настроения. При отсутствии альтернативных политических идей и, соответственно, политической конкуренции террор или масштабные репрессии в прежнем своем виде уже не нужны. Для удержания у власти правящей верхушки в демобилизованном обществе без сколько-нибудь четкой оппозиции более чем достаточно тех 30–35% голосов «контрольного пакета» партия власти для проведения ею любого нужного решения и установления своего доминирования или контроля над ключевыми органами государственного управления. «Электоральная демократия» — неизбежный элемент политической конструкции в условиях авторитарного режима или полицейского государства, поскольку, видимо, такая композиция социальных сил и иллюзий замедляет процесс разложения предшествующей тоталитарной системы.

То, за что держались оба постсоветских режима — и Ельцина, и Путина, был сам принцип номенклатурной организации государства, когда высшая власть конституирует структуру управления обществом, задавая ему такие параметры его организации, которые соответствовали бы интересам самой власти, ее самосохранению и воспроизводству. Практически это означает закрепление административного произвола и возведение его в принцип государственного строительства, при котором только исполнительная власть обладает «легальными» ресурсами и средствами управления

и перераспределения, только она решает, что законно и незаконно, в том числе — и для нее самой. Других, альтернативных или параллельных источников контроля над государственной системой, кроме внутриаппаратной конкуренции и латентной борьбы интересов разных приближенных к президенту клан или кланов, так и не возникло. Собственно, это и есть политическое выражение неразделенности государства и общества.

Принципы же формирования правящих элит остались теми же, что и раньше: решающее значение имеют «кланы», партикуляристские группировки, структуры поддержки или лояльности вышестоящему начальнику. Клан объединены вокруг одной символической фигуры авторитета, а их представители управляют нижележащими уровнями — без конкуренции и ответственности перед управляемыми, без разделения формальных компетенций и полномочий. Оттого, что в момент кризиса 1991–1993 годов высшей властью был кооптирован ряд лиц из нижележащих уровней номенклатуры, не имевших до того перспектив быстрой карьеры, суть организации общества и власти не изменилась. Дело не в том, «хорошие» или «плохие», компетентные или безграмотные люди подбираются вышестоящим начальством для своих целей, а в самом принципе неконкурентности, закрытости, а значит — бесконтрольности и безответственности бюрократии перед обществом.

Восхождение централизованного, репрессивного, авторитарного стиля управления с необходимостью вызвало еще несколько следствий, обычно не связываемых непосредственно с путинской Администрацией:

- 1) заметное снижение человеческого качества персонала, деградация деловой и служебной этики госслужащих, «освобождение» ее от таких составляющих, как ответственность, дух служения делу, безличный пафос компетентности и исполнительности;
- 2) ослабление внешнего, ведомственного контроля над деятельностью чиновников, резкое усиление режима закрытости, ведомственной иерархичности, бюрократического формализма и волокиты;
- 3) склеротизация, как в подзвоне брежневское время, каналов вертикальной мобильности;
- 4) быстрое распространение в этих условиях духа корпоративного разложения — цинизма, коррупции, характерного для типа временщиков стремления к митовенному получению материальных выгод, использованию должностного положения для получения частных и незаконных доходов (приватизация государственных функций).

Вышестоящие инстанции нуждаются не просто в послушных исполнителях. Они нуждаются в кадрах, лишенных политических амбиций и потенций, что равно или подобно стерилизует любые критерии компетентности и эффективности, как не соответствующие главным целям держателей ресурсов власти. Даже многие представители элиты, в том числе и самого чиновничества, в ходе опросов дают предельно жесткую и беспощадную оценку человеческому составу путинского аппарата управления: наиболее распространенная квалификация этого персонала — некомпетентная и циничная «шпана». Между тем именно такие наименее ощутимые вещи, как моральные основания и мотивы политической или государственной деятельности (солидарности, ответственности, лояльности), оказываются в длительной перспективе самыми важными характеристиками и параметрами государства как такового.

Итак, вялотекущая инерция тоталитарных институтов, имморальность или даже аморальность элиты и аномичность населения, социальные формы которого съезжились до самых узких сообществ неформальных групп и соответствующих гемайшафтных отношений — семьи и родственных связей, самое большее — полудружеских отношений коллег по работе или соседей, держащихся обязательствами взаимопомощи. При

таких обстоятельствах надеяться на появление каких-то сильных и значимых социальных движений и возникновение могущих быть институционализированными социальными образованиями было бы наивно. Весь массовый опыт отношений с внешними (формальными) структурами — властными, административными, работодателем — формировал и формирует навыки и представления о необходимости пассивной адаптации к внешнему давлению и государственному вымогательству или прессингу. Поэтому рассчитывать даже на медленное развитие гражданского самосознания, способности к солидарности или ценностному зигзагизму не приходится.

Перспективы российской государственности

Задачи ответственной национальной политики сегодня совершенно очевидны для значительной, хотя в абсолютном отношении не преобладающей, части элиты (но не населения!). Они заключаются в завершении модернизации страны, что в нашем случае означает прежде всего ликвидацию структур тоталитарной системы и проведение последовательного трансформирования государственной организации. Речь идет об обеспечении четкого разделения властей, создании их противовесов и сдержек, ликвидации права на вмешательство государства в деятельность СМИ и общественных организаций, децентрализации экономики, демилитаризации общественной жизни, децентрализации управления и стимулировании местного и регионального самоуправления, проведении принципа ответственности политиков за принимаемые решения и действия. Но в каких условиях предстоит решать эти задачи? При каком состоянии общества и власти?

Возможности вестернизации российского общества сегодня ничтожны. Оно не просто не дозрело до принятия европейских ценностей и культуры, но и высказывает недвусмысленную и открытую антипатию этим ценностям, обусловленную прежде всего тем, что рецепция европейских ценностей предполагает другую антропологию, другой исторический фон, очень высокий, недостижимый для России уровень морали и самоопределения. С другой стороны, властвующие кланы и группировки заинтересованы в том, чтобы такое состояние общества законсервировать. Потому что именно это позволит им осуществлять подмену национальных задач своими собственными материальными интересами. Именно это позволит тем, кто находится у власти, мобилизовать массовую поддержку самыми недостойными, с точки зрения этики, культуры, национального будущего, средствами. Я имею в виду эксплуатацию ксенофобии, страха перед Западом и любимыми «чужими», растрясывание комплекса ущербности и обиды в массах, поддержание старых привычек и стереотипов рабского сознания населения, считающего, что свой дракон, свой барин хоть и дурак и самодур, но он свой, а потому лучше, понятней и ближе, чем неизвестный другой или другие, от которых неясно, чего ждать.

Араchieские формы формирования солидарности посредством противопоставления «своих» и «чужих» в примитивном обществе действуют почти безотказно. На этом и строится вся риторика «суверенной демократии» и «особого пути», отличного от пути других стран. Смысл и пафос такой риторики: не смейте нас критиковать, не смейте совать нос в наши дела! Или, что то же самое, — не подрывайте легитимность произвола и безобразия в России! За это мы дадим вам нефть или кусок трубы, ведь вы такие же, как и мы, шиничные и продажные твари, и нечего кичиться своим якобы превосходством по части приверженности демократии и соблюдению прав человека. И в подобных констатациях, если иметь в виду не общественное мнение на Западе, а его ведущих политиков, очень много, надо признать, справедливого.

Как бы то ни было, с социологической точки зрения, возможные изменения в общественной жизни и в политике будут отмечены прежде всего появлением новых

человеческих и социальных типов, опознаваемых в таком качестве: политиков, юристов, общественных деятелей. Дело не в том, будет ли у них за спиной или нет советский опыт приспособленчества, холуйства и сотрудничества с КГБ, прошли они школу номенклатуры или нет и чем обусловлен их приход в политику. Важно то, будут ли они иначе мотивированы в своей деятельности, чем сегодняшние руководители государства.

В советской и родственной ей постсоветской системе мы имели и имеем дело с производным от нее одним и тем же типом руководителей, выступающим в разных вариациях. Сначала — с канцелярским аппаратным паханом, побеждающим во внутривластной схватке, которого А. Зиновьев назвал когда-то «красным волком»². Затем — с членами номенклатуры, заинтересованными в неизменности и консервативном воспроизводстве системы. Далее, на поздних ее стадиях, с «прагматиками», вынужденными расклеивать последствия «застоя» и думать о том, как удержать систему от полного развала или даже, если удастся, конвертировать ее в нечто более эффективное. Когда же и это не удалось, отбор начал осуществляться среди представителей постсоветской номенклатуры (или «дефектных» представителей номенклатуры), способных по тем или иным биографическим обстоятельствам к вариативности, как, например, Ельцин, сочетавший личный антикоммунизм и советское номенклатурное барство. А после них настал черед представителей тех институциональных структур, которые могли «заморозить» начавшиеся трансформации системы, т.е. силовиков, могущих лишь удержать путем различных провокаций и репрессий распад старых структур.

Нет сомнения, что среди теперешних чиновников есть разные функциональные и человеческие типы. И старые управленцы, бюрократы в прежнем понимании этого слова, знающие технологично делопроизводства, порядок отношений с начальством. И новые трудоголики, как правило, перешедшие в структуры управления из науки или высшей школы и внесшие в работу несвойственный ранее этой среде идеализм и заинтересованность, компетентность, деловитость, преданность делу, а не лицам, начитки какой-то иной, чем раньше, этики бюрократии. И чекисты самого разного рода, от сторожевых псов власти до технократов или новых силовых предпринимателей. Но основной массив людей, находящихся сегодня у власти или ее обслуживающих, — довольно серая и коррумпированная публика, представляющая собой остаток третьего эшелона советской или постсоветской номенклатуры, временщики, люди без чувства долга, сознания коллективных интересов и национальных ценностей.

Их подбор и смена ведутся очень осторожно, главным образом исходя из интересов удержания власти, отсутствия опасности для вышестоящих инстанций. Предпочтение отдается тем, кто не имеет открытых амбиций или собственных интересов и готов, по крайней мере на словах, служить начальству ради него самого. Предпочтение отдается людям, чей культурный ресурс представляет собой эклектическую мешанину старых символов, представлений и остатков мобилизационных лозунгов, основанных главным образом на комплексах враждебного окружения, ущемленности и неполноценности. Никаких самостоятельных проектов будущего здесь нет и не предвидится.

Реальные изменения в государственном устройстве России, диктуемые необходимостью решения массы внутренних проблем, будут обозначены появлением нового типа государственного чиновника — профессионально ответственного, компетентного, некоррумпированного, ориентированного на интересы дела, реализацию действительной, а не номинальной национальной политики. Его появление, если оно состоится, будет означать, что в обществе сложились и начали действовать другие, чем сегодня, механизмы отбора людей, что значимыми становятся другая мотивация

² Зиновьев А. Эпохе высшей. Лозанна: Age d'Hortme, 1976.

бюрократического поведения, другие нормы функционирования государственной машины, в том числе — институционального контроля над бюрократической деятельностью. Последнее, в свою очередь, невозможно без складывания собственно политической сферы, предполагающей наличие условий выживания, обсуждения и конкуренции национальных целей и программ их реализации, равно как и появление нового типа политщика, ответственного за осуществление принятых решений. Сам же этот тип, как показывает советская и постсоветская история, может появиться только в ситуации кризиса власти, раскола верхушки, когда ни один из «временщиков» не рискует принимать на себя ответственность за те или иные политические решения и когда власть вынуждена будет вспомнить об обществе. В такой ситуации принудительного выбора решения возможны шаги к балансу сил и движение в сторону демократии и разделения властей. На появление же каких-то «ларягов», способствующих развитию гражданского общества и усвоению либеральных ценностей, надеяться не стоит.

Однако сегодня развитие идет в противоположном направлении. В стратегическом плане коррупционированное российское чиновничество озабочено лишь сохранением и умножением ренты, будь то рента неотъемлемого статуса (выполнение управленческих и бюрократических функций только за особое вознаграждение) или рента монополии сырьевого экспорта. Не контролируемая ничем и никем государственная бюрократия, освободившаяся от страны перед террором, перед контролем со стороны самостоятельного парламента или суда готова превратить государство в «халяву».

Все остальное внешнею властью команду мало волнует и способно вызывать у ее представителей лишь циничные усмешки. И этот чиновный народ любыми доступными средствами будет защищать свое положение, демагогически предлагая всем консолидироваться вокруг власти и ее персонализатора, дабы «не раскачивать лодку». При таких обстоятельствах призыв «возродить» силу и величие государства означает призыв смириться с административным произволом, алчностью высшей бюрократии и господством временщиков. Или, говоря иначе, признать нормой конец политики и общественной жизни.

Сложившееся положение вещей — естественное проявление неразвитости гражданских структур или отсутствия реального разделения властей. Именно отсюда происходят такие явления, как невозможность никакой самостоятельной и независимой от власти моральной или интеллектуальной позиции в российском обществе, возвращение практики административно-бюрократического насилия, цензуры, советского лицемерия. Все это не могло не сказаться на том, как и по каким критериям осуществляется селекция людей в государственный аппарат и какие слои руководства страной. Налицо не просто систематическое понижение интеллектуальных и моральных качеств, компетенция, ответственности и деловой этики. Путинский режим обладает способностью притягивать к себе самый худший из наличного человеческого материал. И вовсе не случайно, думаю, рассуждения Иосифа Диксона о «конденсах» и других принципах организации околовластных связей так напоминают мышление блатных.

Из такого порченного в человеческом плане вещества, которое осталось после десятилетий советской системы и сегодня воспроизводится, построить что-то иное, чем «суверенную демократию», невозможно. Будущее страны на целые поколения вперед задано качествами «лейтенантов караульной службы», ставших политтехнологами, людей пустых и услужливых. Они, вместе с парамилитарными образованиями вроде штурмовиков «Молодой гвардии» или «наших», будут имитировать гражданское «общество», обеспечивая массовость демонстративной поддержки власти. Иного и быть не может, если учесть, что по существу российское общество выстроено из социального «самана».

Можно, конечно, подобно осторожному Дмитрию Тренину, верить в то, что утверждающаяся частная собственность в течение трех поколений преобразует нашу государственность. Но это всего лишь перенос опыта других стран на российскую почву, который пока выглядит бесспорным. Ведь сама по себе частная собственность не стала препятствием для утверждения тоталитарных режимов в Германии, Италии, Ираке, Иране.

Авторитаризм, опирающийся на полицейское государство, — явление в новейшей русской истории абсолютно неслучайное. Помимо уже рассмотренных причин, следует назвать и качества самого населения. Длительное привыкание к репрессивному государству, державшему людей в хроническом состоянии крайне скудного достатка и поддерживавшему их лояльность великодержавной демагогией, не могло не породить определенные черты коллективного постсоветского характера, проявившиеся уже после того, как закончилась фаза перестроечного духовного подъема. Сегодня мы имеем дело со злобной и разочарованной, внутренне опустошенной страной, не верящей никому, в том числе и своим лидерам, настроенной по отношению к окружающему миру одновременно агрессивно, недоверчиво и завистливо. Если и можно говорить о сегодняшнем российском обществе как о целом, то это общество людей, не просто притерпевшихся к злу, но и внутренне принявших его как систему координат реальности и оправдывающих его даже с некоторой страстью шизичного убеждения. Я не буду приводить в подтверждение соответствующие данные социологических опросов, медицинской или уголовной статистики. Это дело, возможно, другой работы. В данном случае мне важно лишь указать на неслучайность того, что страна выбирает себе в лидеры людей определенного морального и психологического склада.

Да, главным фактором, определяющим исторический выбор страны, всегда является то, что представляют собой в человеческом плане ее руководители. Вопрос лишь в том, как и почему они оказываются у власти. Никто ведь не заставлял членов Межрегиональной депутатской группы на Первом съезде народных депутатов СССР выдвигать в лидеры секретаря обкома, а не, скажем, какого-то ученого или общественного деятеля — например, А. Сахарова или еще кого-то из круга тогдашних публичных фигур. Напротив, в странах Восточной Европы, даже в Прибалтике, в национальные лидеры, возглавлявшие процессы обновления, попадали не номенклатурные деятели, пусть даже отклонявшиеся от партийного стандарта, а носители иного символического капитала и иных моральных ресурсов — деятели культуры, науки, общественного сопротивления. Такие, как В. Гавел, В. Ландсбергис, Т. Миховещкий, Л. Валеска, Ж. Желек, Л. Мэри и другие. И это при том, что партийно-государственных прагматиков и «ренегатов» коммунистов в Восточной Европе тоже было немало. Но они выполнили не символические функции, а инструментальные, подчиненные уже поставленным политическим целям.

В России же изначально все было иначе. И продолжалось иначе. Признание в 1999 году в качестве лидера нации недавнего руководителя тайной политической полиции в расчете на то, что этот человек может осуществить модернизацию страны, означало такое состояние коллективного недомыслия, некомпетентности, душевной неразвитости или полного равнодушия к общественным проблемам, которые не могут не накайматься исторически. Причем, подчеркну, имело место не просто пассивное согласие на этот выбор, но и его одобрение в надежде, что он обеспечит выход страны из кризиса, как полагало большинство тогдашних либералов и демократов. При том, что речь тогда шла не об изменении структуры государства, устройства государственного аппарата, не о реформировании бюрократической машины, а именно о выборе символической направленности национальной политики, ясно прочтываемой в тогдашних заявлениях будущего президента России. Речь шла о сочетании традиционализма (консервативной реакции) с задачами модернизации страны.

Нельзя сказать, что обещанное не выполняется. Гипертрофированным образом растет объем репрессивных возможностей государства. На новой, модернизированной, даже как бы рыночной основе происходит восстановление ресурсов централизованной власти. Государство получило новую легитимацию в реконструкции национальных традиций (сочетания православия, народности, самодержавия). Вместо партбюро или комиссаров мы получим в скором времени православных священников, а внутренняя ксенофобия и антизападничество заменят нам брежневскую идеологию «мирного сосуществования двух систем». Авторитаризм же переводит на русский язык уже и не нужно.

О характере дискуссии

Инициированная «Либеральной миссией» дискуссия о российской государственности вызывает противоречивые чувства. Нельзя не признать, что в наших условиях любые попытки рационализации ситуации путем общественного диалога, обмена мнениями о положении дел в стране чрезвычайно важны. Профессиональное сообщество политологов, социологов, экономистов, юристов, как и общество в целом, крайне нуждается в структурах публичности, которые могли бы дать стимул к рефлексии о происходящем, выявить среди экспертов зоны согласия в понимании характера российской государственности, ценностного консенсуса, общность интересов. В стране, где выжжены всякие начатки публичности, демократия должна начинаться с установок на понимание позиций и точек зрения, не совпадающих с твоими собственными.

Однако и в самом по себе высказывании множества общих и не связанных друг с другом мнений тоже нет особого смысла — тем более, если они принадлежат людям, утратившим уважение по причинам интеллектуальной недобросовестности или просто непорядочности. В том, что бывшие либералы или демократы в массовом порядке перешли под знамена партии власти, последовательно уничтожившей ростки свободы и демократии, нет ничего нового. Но, как мне кажется, едва ли имеет смысл всерьез рассматривать их аргументы, оправдывающие административный произвол.

Не понимаю, зачем полемизировать с людьми, специализирующимися на «порче» слов, на адаптации западноевропейских либеральных идей и понятий к условиям отечественной «суверенности». По существу, речь идет о переводе их на язык российской консервативно-державной, геополитической риторики, наделение самих категорий несвойственным им контекстуальным значением с последующим использованием их (уже лишенных присущего им содержательного смысла) исключительно в целях дискредитации и деморализации оппонентов власти. В свое время портили монеты, сегодня портят слова. По большому счету это свидетельствует об исчерпанности, а не просто о дефиците идей или интеллектуальных ресурсов у нынешних «работников агитпропа» при Администрации президента. Поэтому я и не вижу большого смысла обсуждать какие-то проблемы с С. Марковым, А. Чадаевым, М. Юрьевым или И. Дикinson. По меньшей мере это непродуктивно, хотя критерий продуктивности в данном случае вовсе не главный.

Беспрецедентную апологию нынешнего режима можно, конечно, принимать во внимание в качестве эмпирических фактов идеологического сознания, но она не заслуживает того, чтобы к ней относиться так же, как к аргументам других участников обсуждения. Как мне представляется, ложное чувство «справедливости», требование «равновесия сил», «права на слово», «открытости» обсуждения любых проблем стерилизовало аналитический потенциал разбора проблемных вопросов и превратило дискуссию во что-то похожее на спор о ценностях. И при этом «право на слово» было распространено на людей, у многих из которых нет ни ценностей, ни убеждений, ни собственных взглядов на происходящее в России. Я не уверен, что возможен содержа-

тельный обмен мнениями по поводу конституционного устройства правового государства с Гитлером, пришедшим к власти вполне легально, или о демократии и законности с Вышинским. Почему же он возможен тогда с совсем мелкими разновидностями данного сорта людей? Соединение в одном флаконе участников разного типа придает происходящему в лучшем случае гротескный вид свифтовской академии, говорильни, чего-то вроде просроченной «Московской трибуны». В худшем же случае выглядит спуском интеллигентского «пара» («а Васяка слушает да ест»).

Без определенного ценностного консенсуса обсуждать вопросы государственного устройства и целей проводимой политики *сегодня* уже не представляется возможным. Другое дело — есть ли такой консенсус в российском экспертном сообществе?

Именно из-за неясности ценностных и содержательных рамок обсуждаемой темы дискуссия постоянно сбивается на митинговый тон. Обсуждение предметных и деловых вопросов подменяется идеологическими декларациями, фантастическими историко-софскими или геополитическими видениями. В них российская государственность приобретает черты внесторонней и почти космической сущности: оно как бы одно и то же и в XVI веке, и в XVIII, и в XIX, и в XX. В таких разговорах государство теряет свою конкретную институциональную определенность и начинает вести себя как субъект интересов, потребностей, обид. Подобная риторика обычно скрывает вполне определенные клановые или корпоративные интересы тех, кто стоит у власти или хотел бы быть допущенным к обеспечению ее идеологического прикрытия.

Начало дискуссии, положенное статьей М. Краснова, пробудило ожидание соответствующего продолжения. И такое продолжение последовало в множестве глубоких наблюдений и соображений ряда участников. Однако отсутствие развития основной линии в выступлениях других, неуместность появления третьих, общая нефокусированность проблематики вызвали усиливающееся разочарование. Дискуссия, начатая как обсуждение того, что *есть*, продолжалась выступлениями о том, что *должно быть*. Этот «профетизм», если воспользоваться выражением Макса Вебера, во многих случаях заменял трезвый анализ реальности. Разбор фактических особенностей организации государственной власти в России подменялся выражением веры или долженствования, рассуждениями о том, как все должно быть устроено и что должен делать Путин, если он *хочет*... Но почему вдруг он или его окружение должны хотеть того, чего он или «они» до сих пор не просто не делали, а делали прямо противоположное тому, что, по мнению высокоученых экспертов, должны бы делать, — остается за рамками обсуждения.

Сегодня потенциал тех социальных групп или сил, которые хотели бы изменений политического режима, очень ограничен. Ни массы, ни так называемые «элиты» не способны не то что бороться за новую модель государственного устройства, но даже хотеть чего-то иного, нежели нынешний путинский режим. У образованных классов в российском обществе нет ни ценностных представлений, ни воли, ни соответствующих интересов, которые могли бы стимулировать изменения в структуре политической организации России.

А так — «все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут как никогда...».

Во вступительном слове к дискуссии указывается, что она является продолжением большой дискуссии, состоявшейся в 2001–2002 годах и опубликованной в книге «Западники и националисты: возможен ли диалог?» (М., 2003). Поэтому и моя реплика во многом будет продолжением заметки, написанной пять лет назад.

Хотя текст той книги нетрудно найти на сайте «Либеральной миссии», сомневаюсь, что у большинства читателей возникнет желание копаться в старых материалах. Поэтому позволю себе привести короткую цитату, служащую исходной точкой рассуждений: «В последнее время образовалось племя новых российских трудоголиков. Как правило, это люди молодого и среднего возраста (для определенности 25–45 лет), жители Москвы и других больших городов, с высшим образованием, обычно не обремененные очень высокими духовными запросами и чрезмерной моральной щепетильностью, но и существенно отличающиеся от героев криминальной приватизации (по оптимистической оценке они составляют преобладающую часть пресловутого „среднего класса“). Однако в масштабе всей России их мало, и трудно представить, казем образом значительная часть старшего поколения в больших городах и всего населения в провинции сумеет влиться в их ряды. Кроме того, материальные запросы новых трудоголиков по российским меркам относительно велики, и частично они удовлетворяются посредством неадекватного перераспределения доходов в их пользу. Готовности же поделиться своими доходами — ни ради повышения конкурентоспособности других слоев населения, ни в целях достижения большей социальной справедливости — у большинства из них, как мне представляется, не наблюдается».

За прошедшие пять лет на нас пролился золотой дождь нефти- и газодолларов, резко увеличивший внутренний спрос, а рост доходов населения ослабил социальные противоречия 1990-х годов. Конечно, противоречия нигде не ушли, просто за золотым дождем, льющимся в Москве и других мегаполисах, но также капающим в более мелких населенных пунктах, мы почти не видим ни продолжающейся тихой нищеты деревень и многих малых городов, ни истинного механизма разрешения прошлых противоречий — смены поколений.

Однако за эти пять лет мы увидели и другое. Молодые трудоголики заметно увеличились в числе и сумели определить не только свои экономические, но и политические представления. Пессимистический взгляд на мир заставляет говорить, что им не нужна конституция, им достаточно севериковны с хреном. Наши трудоголики либо не ходят на выборы вообще, либо голосуют за чиновников «Единой России», с которыми можно договориться на взаимовыгодной основе, либо, что уж совсем неприятно для либерала, — за откровенных шовинистов.

Мы можем сказать про них еще немало горьких слов. Они сильно заражены национализмом и национальными фобиями, особенно по отношению к кожным народам на-

шей страны, они равнодушны к либеральным лозунгам и совсем не привержены демократии. Их подчеркнутой патриотикой по-прежнему не вызывает у них никакого желания делиться своими доходами с бедными, старыми и больными. Они готовы давать взятки чиновникам (а те готовы их брать и просить о новых), их устраивает персоналистский режим Путина, защищающий их от тихого недовольства бедняков и частенского греющего души антиолигархическими и шовинистическими речами. Рабски подражая американским традициям в офисах и даже квартирах, они подчас пытаются антиамериканизмом в стиле славного президента Ирана. Антиукраинские, антигрузинские и другие пятиминутки ненависти находят живой отклик у большинства населения нашей страны, и наши продвинутые трудоголики среди первых рядов их подпевал.

Но можно сказать и другое. Эти люди, в отличие от нас, воспитанных и живших при советской власти, и экономически, и психологически гораздо более независимы от государства. Идеал государственного патернализма (вместе с коллективизмом, духовностью и соборностью) на словах им не менее близок, чем всем остальным. Но на деле (как нынче говорят, по жизни) они другие. В тех ситуациях, когда мы побегим с челобитными к начальству или, наоборот, сядем писать гневные прокламации, они пойдут в суд или к чиновнику, с которым можно договориться. Они не будут вопить к справедливости и чувству долга начальства, они будут сами решать свои проблемы.

Это антизападное поколение, смеющееся над западниками-либералами и одобряющее персоналистский режим Путина, по сути дела первое самостоятельное независимое поколение с вполне западными бытовыми привычками и даже трудовыми навыками. Они хотят и умеют зарабатывать деньги с помощью напряженного квалифицированного труда.

При этом, в отличие от населения западных стран, у них нет ни желания, ни навыков самоорганизации. Каждый за себя и только для себя. Но даже и здесь мы можем рассмотреть в микроскоп малозаметные перемены — кондоминиумы, другие формы самоорганизации в жилищах, протесты автомобилистов. Этого очень мало, заметнее зреют националистические партии полуфашистского и откровенно фашистского толка, но все же какая-то, пусть мелкая, бытовая и меркантильная, самоорганизация нарождается на наших глазах.

Что ждет нас в ближайшем будущем? Как сможет и сможет ли персоналистский мягкоавторитарный режим Путина перейти в более демократический? Или нас ждет откровенная диктатура? Как считала Л. Шевцова, существует примерно в три раза больше аргументов в пользу худшего варианта, и с ней трудно не согласиться.

Но все же, как и попытаюсь показать, есть и другие, более оптимистические варианты. Только надо набраться терпения и ждать перемен не в масштабах электорального цикла, а в масштабах смены поколений.

У нас нет серьезных оснований надеяться на благоприятные перемены в 2008 году. Какой устойчивый поворот к демократии может произойти в стране, в которой практически нет демократов? Даже лидеры и активисты либерально-демократических партий с трудом могут быть причислены к этой категории; они слишком авторитарны, слишком верят в реформы сверху, слишком мало склонны доверять воле народа. Что уж говорить о всех остальных.

Ловушка 2008 года — это казус, которого в принципе могло и не быть. Хотя ограничение срока власти было распространенным лозунгом в 1980–1990-е годы и в более раннее времена, но, например, если бы Ельцин в 1993 году был на десять лет моложе, то данный параграф мог бы и не войти в окончательный текст Конституции России. Ведь вошли же в нее «принципиально важные президентские рычаги в отношении исполнительной власти, равно как и в отношении законодательной, и двойная роль президента» (М. Краснов), между тем как выборность верхней палаты парламента не вошла. Тем не менее этот казус хорошо отражает специфическое положение политической системы России среди бывших республик СССР.

Одни страны — прежде всего страны Прибалтики — явно идут по демократическому пути, хотя и не без националистических вывертов в стиле Европы 1920–1930-х годов. Другие, наоборот, прератились (остались) откровенно авторитарными, чей авторитаризм лишь слегка прикрыт грубо намалеванными либеральными декорациями. Третья группа стран в метаниях «цветных» революций ищет свой путь, склоняясь к демократическому варианту; сам факт нескольких смен властных элит по воле народа позволяет делать такие утверждения, несмотря на крайнюю слабость и непоследовательность демократического процесса. И лишь одна Россия, растерявшая большую часть демократических завоеваний, по-прежнему пытается изображать неизбывность демократического строя в тот момент, когда скрыть отказ от него почти невозможно.

Нам не дано знать, как разрешится эта коллизия. Возможно, это неизвестно даже В. Путину. Надеться на демократические сценарии, как я уже сказал, особых оснований нет. Но и ждать перехода к жесткому авторитаризму, как мне представляется, тоже нет серьезных оснований. С одной стороны, член «Большой восьмерки» и Совета Европы постарается соблазнить хоть какой-то политикой. С другой стороны, есть экономические ограничения. Здесь не место углубляться в эти материи, но все же нельзя не заметить, что существуют пределы огосударствления экономики, за которыми последуют серьезные экономические и политико-экономические осложнения. И есть надежда, что сам Путин и/или его преемники это понимают.

Рассуждая о более далеком будущем, ограничусь одним — наиболее благоприятным — вариантом. Как известно, существует 50–60-летний цикл — цикл Коэдральева или цикл двух поколений, когда внуки во многих смыслах больше похожи на дедов, чем на отцов. Это не закон истории, как некоторые склонны думать, и весь исторический процесс, даже за последние 300 лет, невозможно однозначно расчертить по фазам цикла. Но, тем не менее, этот цикл отчетливо (статистически значимо) проявляется после крупных событий и после поколений, выросших в условиях перемен. Последние исторические исследования убедительно демонстрируют наличие подобных волн¹. Я надеюсь, что дети наши детей, которые родились буквально вчера или которым суждено родиться завтра, унаследуют самостоятельность своих родителей, их экономическую и психологическую независимость от государственной власти. И в то же время наши внуки вспомнят о политической активности своих дедов и, не уточняя, как недолго она длилась, зададутся простыми вопросами: если государство так малоэффективно, то почему оно имеет столько прав? почему мы так сильно зависим от государства и почему оно так слабо зависит от нас?

Конечно, нельзя гарантировать, что такой момент обязательно наступит, — для настоящих предсказаний надо предвидеть положение во всем мире, включая цены на нефть. Но даже если наступит, то это будет не завтра.

Самый ранний период, на который можно надеяться, — это значимое вступление обсуждаемого поколения (дети наших детей) в политическую и экономическую элиту общества. В революционные эпохи люди вступают в большую политику рано, в возрасте около 30 лет, и в этом случае начало перемен следует отнести примерно к 2025–2035 годам. При эволюционном развитии вступление в большую политику происходит позже, и тогда перемен можно ожидать лишь в 2040-е. В общем, критическая дата — это приблизительно 2035–2040 годы.

А пока нам остается продолжать писать о демократических и либеральных идеалах, чтобы люди не забыли о них, слушая верноподданнические речи и шовинистические выкрики. И, главное, бережно выращивать те слабые ростки гражданского общества, которые все же всходят, пробиваясь сквозь чиновничий произвол, эгоизм и равнодушные граждане.

¹ Turchin P. *Historical Dynamics: Why States Rise and Fall*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003.

ЧАСТЬ VI

ИСТОРИЯ
И ТЕОРИЯ

**«ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
ЛИКВИДИРУЕТ СТРУКТУРЫ,
НЕЭФФЕКТИВНО
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ РЕСУРСЫ,
И ВКЛЮЧАЕТ ЭТИ РЕСУРСЫ
В ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБОРОТ»**

Дискуссия, которая развернулась на сайте «Либеральной мысли», давно и прочно вышла за рамки, обозначенные в статье Михаила Краснова. Иначе не могло и быть. Проблема перспектив персоналистского режима в России не может быть разрешена без погружения в самый широкий междисциплинарный контекст.

Ход дискуссии можно оценивать по-разному. Мне она представляется исключительно продуктивной. Во-первых, ее участники, не всегда отдавая себе в этом отчет, ставят интереснейшие теоретические проблемы. Во-вторых, провоцируют заинтересованного читателя на возражения, а значит, создают пространство движения мысли, заставляют задуматься, разобраться, продвинуть и упорядочить свои собственные представления.

Как заметил Эмиль Панин, выступавшие не столько дискутируют друг с другом, сколько излагают свои политические взгляды. Примем это дисциплинирующее суждение и попытаемся меньше излагать собственные взгляды и больше рефлексировать по поводу суждений, прозвучавших в ходе дискуссии, и теоретических оснований, на которых эти суждения базируются.

Какой тип кризиса мы переживаем?

Одна из захватывающе интересных в теоретическом отношении и остро актуальных в отношении практической проблем, возникающих по ходу дискуссии, связана с оценкой типа кризиса, переживаемого российским обществом. В том, что российское общество переживает кризис, сомнений не возникает ни у кого. Но какой? Это может быть один из кризисов развития, и тогда он преодолим, а может быть последним кризисом исторического тупика, из которого просматривается единственная перспектива — деструкция и снятие субъекта. Никаких рациональных аргументов в пользу того, что Россия вечна, не существует. Нам бы хотелось, чтобы дни ее текли долго и счастливо. Но того же хотели инки, ассирийцы, римляне и многие другие.

Если мы признаем существование такого класса ситуаций, то из этого следует, что эволюционный выход существует не всегда. В таком случае оптимальные по некоторым основаниям проекты политической и социальной трансформации предлагают формально возможное решение национальных проблем, которое, однако, не может быть реализовано на практике по фундаментальным обстоятельствам.

Тут много ценностных и логических ловушек. Сплоть и рядом крахом и полным исчезновением называют снятие одной из государственных форм. Старые русские философы и абсолютно искренне говорили о гибели России в 1917–1922 годах. А потом выяснилось, что СССР — другая Россия. Просто в этой России для многих людей из ее предыдущего издания места не нашлось. Тем не менее, наряду со сменой политических форм, в истории случается и полное снятие государства, народов и цивилизаций. Как

разглядеть эту штуку, как отравочный кризис развития, хотя бы и самый глубокий, от последнего кризиса, за которым следует исчезновение, — научная проблема. Этой проблемой надо заниматься на серьезном теоретическом уровне. Необходимы комплексные исследования и широкое обсуждение в профессиональной среде. Ничего этого пока нет.

В дискуссии несколько раз прозвучал тезис о примитивизации отечественной реальности в результате всего того, что обрушилось на страну с середины 1980-х годов. Причем из контекста следует, что примитивизация — это плохо. Но это же чисто быденное суждение! Как говорили лет тридцать назад, оно не диалектично.

Дело в том, что примитивизация может быть и моментом на пути прогресса. Варварские общества эпохи «темных веков» (V–IX века) были неизмеримо южнее подвоя Рим с точки зрения сложности, богатства и разнообразия культуры, социальной структуры общества. Но в этих обществах содержались ростки перспективного качества и способность к дальнейшему саморазвитию, которую поздний Рим утрачивает к III–IV векам. Культура традиционной деревни неизмеримо выше культурного примитива мигранта первого поколения. Сравните традиционную крестьянскую многоголосую песню и частушку под перебор гармошки. Однако традиционная культура села — тушковый, интрансформируемый социокультурный универсум. А мигрант первого поколения, включаясь в урбанистическую цивилизацию, включается в историческую динамику и обретает шанс развития в ряду поколений. Традиционное же село обречено.

Так что постсоветскую примитивизацию нельзя оценивать примитивно. Вопрос о том, к каким среднесрочным и долгосрочным последствиям она приведет, остается открытым. Ответ же на него можно будет дать лишь тогда, когда удастся прояснить природу переживаемого страной кризиса.

Православный проект в секулярном контексте

Много раз в дискуссии звучал тезис: «Россия — православная страна; глубинная специфика России в православии». Вероятно, идеологизированному на современном лад сознанию комфортно исходить из этого положения. Беда в том, что оно не верифицируется по многим основаниям. Я уже не говорю о скромной статистике воцерковления, о численном росте традиционно придерживающихся ислама турок, о динамике протестантских деноминаций в России. Тезис о православии как ядре нашей цивилизации не верифицируется и геополитической реальностью последних пятнадцати лет. Весь православный мир, за вычетом Белоруссии, сразу же после развала советского блока или по собственному выбору, или после тактического маневрирования (Украина, Молдова), или временного внешнего давления (Югославия) пошел в Европу. Наше же дистанцирование от Запада и самосознание с акцентом на особости спидеельствует об особом качестве, которое к православию не сводится. Либо все эти страны не православные, либо логика нашей эволюции задается какими-то другими основаниями.

Позволю себе высказать собственное экспертное мнение в качестве реакции на суждения, прозвучавшие в ходе дискуссии. Если Россия может быть только православной империей, то народ — носитель этой модели — обречен на историческое небытие. Он либо исчезнет, либо в исторически обозримые сроки снизит свой ранг, превратившись в одно из племен на территории, где жизнь будет устроена другими и по другим системным принципам. Прапнуки реинтеграторов традиции будут верить в других богов и говорить на других языках. Желаящих представить себе этот процесс в деталях можно отослать к истории Османской империи, перемоловшей «ромеев», которые как раз и были народом — носителем модуля православной империи. «Потуречившись» бедняги и язык свой забыли. Едешь по Турции, и дисциплинированный антропологический взгляд фиксирует: вот — потомок славянина, а вот — потомок грека, а вот — выходец из Имеретии. И так далее и так далее.

Русские историки не любили об этом писать. Оскорбительно для православного сознания. Однако подавляющая часть населения Малой Азии после османского завоевания ввиду не делась. Греки ли то были или эллинизированное и христианизированное за тысячу лет автохтонное население — все они остались на своем месте и постепенно «потуречились», перемешались с победителями, сменили языки и идентичность. Я полагаю, что пример Византии поучителен, по крайней мере, в одном отношении. Он ставит вопрос о том, что из базовых характеристик общества и государства для нас дороже всего: родной язык? конкретная модель государственного устройства? конфессия? определенная позиция в противостоянии Восток–Запад?

Незадолго до падения Константинополя последний первый министр Византии, архидук Кир-Лука Нотарас, командующий константинопольским флотом, произнес фразу, которая вошла в анналы истории: «Лучше увидеть царствующей среди города турецкую чалму, чем папскую тиару». Желание адмирала сбылось. Отечественные историки не склонны сообщать о том, как сложилась судьба детей первого министра. А жаль, ибо она в высшей степени поучительна. Через пять дней после падения Константинополя султан Мехмед потребовал от Нотараса его четырнадцатилетнего сына себе в гарем. После категорического отказа сын Нотараса и сам адмирал были казнены. Дочь архидюка Анна бежала в Венецию и там дожила свои дни.

Вот так. Неплохо бы вспоминать об этой истории тем, кто считает исламский мир более близким нам, чем католическо-протестантский, Восток более близким, чем Запад.

Возвращаясь к дискуссии, надо сказать, что в ней критически много суждений, не поддающихся проверке. Поэтому остается доверять собственной интуиции, т.е. рядоположить прочитанному другое суждения того же типа.

К примеру, Борис Межуев утверждает, что Россия «по своим историческим и геополитическим характеристикам не может считаться частью Европы или какой-то иной цивилизации. Как единое целое она может существовать лишь в качестве отдельного государства-цивилизации». По этой причине, умозаключает автор, Россия «не может быть лишена своих собственных надпартийных идеократических инстанций, корректирующих политический курс страны в зависимости от основных установок ее цивилизационной идентичности. Полагаю, что таковыми установками должны быть господствующая роль в обществе православной религии, целостность страны, национальное равноправие».

Полагать можно, но доказать и убедить других — нельзя. К примеру, философ Владимир Кантор или историк Борис Миронов утверждают, что Россия — часть Европы и, при всей специфике, подпадает общеевропейским законамостям. И вряд ли они, как и многие другие, согласятся принять правду Межуева. Я, кстати, тоже склонен считать, что Россия представляет собой самостоятельную цивилизацию. Однако отсюда никак не следует, что Россия не является именно частью христианского мира.

Ученые-цивилизационисты довольно давно выделяют и как самостоятельную латиноамериканскую цивилизацию, которая от этого не перестает быть фрагментом христианского Запада. Не понимаю я и того, как из статуса самостоятельной цивилизации вытекает необходимое наличие «надпартийных идеократических инстанций». Иран ни с какого боку самостоятельной цивилизацией не является, однако именно здесь за последние тридцать лет отработан институт, о котором пишет Межуев. Аятолы и «стражники исламской революции» и есть надпартийная инстанция и военная сила, гарантирующая вердикты этой инстанции. А Индия с Китаем — «отдельные государства-цивилизации», но ни в одной из этих стран надпартийных идеократических инстанций не обнаруживается.

Что же касается «господствующей роли» православия, то и здесь возникают проблемы. Почему эта «господствующая роль» должна попасть в реестр наших базовых идентификаторов? Потому только, что так считает автор? Но этого, очевидно, все же недостаточно.

Православие господствовало — подчеркиваю, не присутствовало и именно господствовало — в течение первых двух веков российской модернизации (XVIII–XIX), а на следующем этапе модернизации русский народ ушел в богоборческую коммунистическую ересь. И за этим стояла объективная историческая закономерность. Русское православие в принципе не兼容уется с императивом динамизации.

Пусть тот, кто думает иначе, опровергает данное утверждение сколько-нибудь аргументировано. На пример староверов просьба не ссылаться. В России старообрядцы стали функциональным аналогом протестантов. И от «нижних» они себя отделили.

Или, быть может, императив исторической динамики для России вообще уже больше не актуален? Возможно, Борис Межуев полагает, что совокупными усилиями фундаменталистов всех стран можно будет остановить динамизацию и глобализацию, и тогда у православия появится какой-то шанс на главенствующую роль в России. Но в противном случае при такого рода притязаниях российское православие в очередной раз ожидает большие испытания.

В порядке заметки на полях: жить в стране, по улицам которой маршируют «стражи православной революции», мне бы не хотелось. Но это, положим, не аргумент. История индифферентна к пожеланиям частного человека. Однако есть соображения и более весомого порядка.

Специальцы, побывавшие в Иране, рассказывают: в иранскую армию набирают горожан — людей, глухих к религиозному горению, а в Корпус стражей исламской революции рекрутируют ребят из деревни, что укладывается в классическую тактику консервативной модернизации. Но как быть в современной России? Деревня, поставшая девственный человеческий материал, очевидным образом кончилась. А Союз православных коруптосцев вкупе с клиром и митряками Анадырско-Чукотской епархии на всю Россию не хватит.

Если же говорить совершенно серьезно, то надо зафиксировать, что в России наступила секулярная эпоха. Не забывая и о том, что примеров массового перехода из одной конфессии в другую в истории множество, а массового отхода от секуляризма история не знает.

Политическая оппозиция и «хуллидзе»

В дискуссии встречаются и другие суждения, провоцирующие на ответную реакцию. Так, Алексей Чадаев утверждает, что правящая партия «должна заранее обустроить институт оппозиции». Это чистая правда. Но дальше он обращается к месту, которое занимает оппозиция в российской политике, и обнаруживает, что это — «хуллидзе». «... Гробо говоря, есть те, кто принимает участие в политике, а есть другие — некая толпа юридикал на паперти, которая бряцает цепями и говорит, что нельзя молиться за царя Ирода... Это — люди, при одном взгляде на которых становится ясно, что передавать им власть — настолько страшно и безрассудно, что лучше уж ничего не менять».

Здесь интересное наблюдение, схватывающее отголоски российской традиционной культуры, переплетается с заведомым лукавством. В средневековой русской традиции существовала такая социальная ячейка — «страдалица за народную долю», который резал правду-матку в глаза владыкам и, при случае, шел за свои слова на плаху. Вообще говоря, это очень древний институт. В дохристианскую эпоху у евреев эту ячейку занимали пророки. В Византии на православной почве возникли юродивые. То са-

мое «хулигище», о котором пишет Чадаев, отработывает глубоко традиционный сценарий. Массовое сознание фиксирует страдальцев за народное дело и наделяет их высоким нравственным статусом. В последние десятилетия на разных этапах это проявлялось в восприятии Солженицына, академика Сахарова, опального Ельцина. Ничего удивительного в том, что и сегодня некоторые политики, выстраивая свой образ, оосознанно или неосознанно укладываются в образ «страдальцев за народную долю».

Но при чем здесь оппозиция? Российская власть повторяет один и тот же нехитрый трюк. Она напрочь переживает кислород у вменяемой, институционально приемлемой оппозиции, вытесняет ее из информационного пространства, режет на подступах к выборам, обрубают источники финансирования, закрывает на ремонт залы, арендованные под выступления неудобных лидеров. В результате происходит неизбежная радикализация оппозиционного лагеря. Тут идеологи «суверенной демократии» и восклицают: «Посмотрите, это же неизменяемые! Как можно отдавать власть в такие руки?»

С подобной политикой можно дождаться и куда более выразительных последствий. Российское общество пассивно и терпеливо без меры, но пропихнуть ему совсем уж откровенный муляж оппозиции, изготовленный в Администрации президента, я полагаю, не удастся. И запрос на «хулигище», сегодня слабый, будет нарастать. Запрос, который власть удовлетворить не сможет. Ведь даже в самые тирангические времена должность юродивого не пылится номенклатурой Администрации московского царя. Юродивый рождался из народной массы. Не стоит преувеличивать глупость и пассивность нашего народа.

Элита и масса

Я говорю об этом еще и потому, что в ходе дискуссии обнаружился очевидный крен к пониманию российской реальности в концептуальных моделях элитистской политологии. Читаешь Иосифа Дискаина и видишь один решающий фактор — элиты. Соответственно, доверие элит, консолидация элит, элитный консенсус оказываются основополагающими для нашего развития обстоятельствами. Что же касается всего остального общества, то в этой картинке оно предстает как абсолютный объект.

Не верю я в это. И дело не в моих ценностных позициях (я демократ и республиканец), а в позициях общефилософских. Не стоит впадать в свойственную элитам аристократам иллюзию и забывать о потенциале субъекта, заключенном в самом забитом, самом пассивном, самом начальствобязанном народе.

Элита устойчиво правит до тех пор, пока ей удается угадывать вектор массовых настроений и удовлетворять некоторому минимуму народных ожиданий. Как только она начинает думать «все схвачено» и что для спокойной жизни достаточно договориться между «своими» (о том, как, чем и с кем «поделиться», как маргинализовать нарушителей «конвенции»), она включает таймер. Люди выйдут на улицы в самый неожиданный момент, и властвующая элита превратится в элиту бышнюю.

На чем базируется убеждение в том, что «пилл схавает» все? Существует ли предел того, что можно проглотить? Я говорю о насилии над конституцией, профанации законодательства о выборах, разыгрываемом отобранной массовой спектакле под названием «политика», чиновничьем беспределе на местах, пароксизмах басманного правосудия. Как долго можно двигаться по такому пути и насколько далеко продвигаться?

Этого не знает никто. Здесь — неопределенность, причем существенно более значимая, нежели неопределенность, возникающая в ходе выстраивания элитного консенсуса. Самые простые люди обладают чувством собственного достоинства, и, если их слишком откровенно, в вызывающей форме дергать за баблы, ситуация в одиночку может стать неуправляемой. И в этом случае форма политического режима значения иметь не будет.

Русский бунт смел монархию с трехсотлетней традицией. Нанно полагать, что не укорененный в традиции или религии персоналистский режим может оказаться препятствием для обальной инверсии.

Теория Симона Кордонского

Так случилось, что последним в ряду прочитанных материалов оказалось выступление Симона Кордонского. Кордонский системен и объемен. Он выстраивает широкую картину, опирается на целостную теорию, высказывает массу верных и точных суждений. Кордонский не плавает в политологическом мелководье, а строит свои выводы на анализе существенных характеристик объекта. Все это подкупает.

Скажем, Кордонский затрагивает важнейшую проблему научного описания российской реальности. Язык для этого исходно возникал в Европе и центрирован на описании изоморфного европейскому гуманитарному знанию материала. Авторский пафос состоит в том, что Россия качественно не Европа, а потому язык для описания европейских реалий с любыми поправочными коэффициентами тут не работает. Возникает ложное знание или иллюзия понимания, когда некоторые фрагменты российского паттерна обозначают именами европейских сущностей и даже стремятся описать их поведение (взаимодействие) в соответствии с европейской логикой. Систематически получается ерунда, но исследователи в силу aberrаций восприятия этого не видят.

Кордонский же предлагает увидеть реальные структуры и реальные процессы. И с этим не поспоришь. Теория должна быть изоморфна объекту исследования. Другое дело, что несовершенство понятийного аппарата объективно задано этапом познания и исследователем изживается, в том числе и усилиями самого Симона Кордонского.

Однако далее самый благожелательный, но не утративший способность критического восприятия читатель начинает ощущать на себе суггестивный потенциал авторской системности.

Кордонский утверждает, что существует мощнейшая историческая инерция, которая задает российский тип государства и тип хозяйства. Она воплощена в системе социальных и технологических связей, в усвоенных моделях поведения и ожиданиях людей. Данной сущности органически присущ цикл «застой-перестройка». Причем доминирующие идейно-политические движения, политические процессы, смена главенствующих дискурсов задаются фазой этого цикла (патриоты доминируют в периоды застоев, космополиты — во времена перестроек). А поскольку сегодня пришла эпоха застоя, то общество обречено эволюционировать в соответствии с характеристиками такой эпохи. Или, говоря иначе, эволюционировать в направлении ресурсного государства, нетоварного хозяйства, национальной идеи как идеологии, ресурсное государство легитимирующей, упразднения частной собственности, рынка и денег в собственном смысле и репрессивной внутренней политики. В противном случае Российское государство, мол, просто развалится.

Давайте примем исходный тезис Кордонского: есть такая инерция. И посмотрим, какова историческая глубина исследования, в рамках которого автор выявил обозначенную цикличность. Глубина исследования примерно 150 лет. Причем «застой» Николая I и «перестройка», включающая эпоху от Великих реформ до октября 1917-го, помпезны в высшей степени обобщенно. По существу, все выводы автора строятся лишь на основании советской реальности, которую Кордонский любит и по-настоящему знает. Нам представлен цикл, в котором эпоха СССР описана как застой, а события после 1985 года как перестройка. Однако для жестких прогнозных суждений единичного цикла недостаточно.

На чем настаивает Кордонский? Российское государство скроено по логике нетоварного, внерыночного ресурсного хозяйства, и другим оно быть не может. Гос-

структуры, чиновники разных рангов, решая задачи выживания, воспроизводит это государство, восстанавливают его после эпох деградации и квазирыночной волюнции. Может быть, так оно и есть. Однако кто же еще, кроме чиновников, является агентом воспроизводства фенокса ресурсного государства из пепла?

Таковых не обнаруживается. Что-то сказано о людях, привыкших растаскивать понемному государственные ресурсы. Упоминается идея, «которую примут истосковавшиеся по порядку и недостижному равенству граждане». Однако аргументов в пользу того, что эта привычка и тоска по недостижному равенству носят решающий характер, что эти сущности побудят массы, за полтора десятилетия основательно отвыкшие от стойла, снова стать госресурсом, в тексте не содержится.

Скажу вещь, для госчиновника страшную: если это государство может быть только таким, как его описал автор, то рано или поздно оно загнется окончательно. Только вот как и какими ресурсами ему удастся сломать миллионы новых собственников (а с членами семей это десятки миллионов), я решительно не представляю. В прошлом цикле государство располагало патриархальной массой, издвоенной эсхатологической идеей. Сегодня такой массы нет, а потому не может быть и мощной эсхатологической истерии. Этот феномен появляется на строго определенном этапе перехода от традиционного средневекового общества к современному, который Россией пройден.

Рассматривая варианты развития событий, Кордонский пишет: государство, «в очередной раз ограбив население, преодолев инфляцию и обеспечив мобилизацию репрессиями „трудовые ресурсы“, необходимый уровень добычи сырья». Но для реализации политики репрессий необходимо согласие населения на репрессии. Это знает любой историк. Какая сила может заставить миллионы людей консолидироваться с властью, проводящей «очередное ограбление населения» и репрессии, а не представляю. Ничего, уступающего по масштабам общенациональной опасности Гитлеру, здесь не работает. Но кто сегодня возьмется уничтожить русский народ? Нет, это чистая химера.

Кордонский конструирует внутреннюю, имманентную логику развития описываемого им объекта. Но кто сказал, что в истории человечества что-либо развивается только по своей внутренней логике? Всегда существуют еще и внешние детерминанты. Жил бы себе Хазарской каганат и здравствовал. Аи нет, пришел князь Святослав, и нет каганата. СССР неэффективно, затратно потреблял подавляющую часть собственных ресурсов и продавал за рубеж минимум, необходимый для закупки того, чего у него не хватало (зерно, хай-тек, престижные товары для элиты, кое-что еще). И где теперь СССР? И только ли внутренняя логика развития «ресурсного государства» подвела его к краху?

Феномен глобализации состоит, в частности, в том, что последняя ликвидирует структуры, неэффективно использующие значительные ресурсы, и включает эти ресурсы в глобальный оборот. Развал СССР заданался в том числе и этой логикой. Почему и как России удастся снова выпасть из мирового целого, автор не объясняет.

Суммирую: в данном случае мы сталкиваемся с эффектом протязания большой объяснительной модели, которая может покорить своей внутренней логикой и заслужить реальность.

Дискуссия, которая развернулась на наших глазах, говорит о многом. Среди прочего, она фиксирует уровень экспертного сознания, меру разработки многих значимых проблем, формирует перечень актуальных исследовательских сюжетов. На этом поле встретились, так сказать, представители разных весовых категорий; далеко не все высказывания равновесны. Но, в целом, для человека, профессионально погруженного в российскую проблематику, дискуссия эта не только полезна, но и захватывающе интересна.

И еще одно наблюдение: лет десять–пятнадцать назад уровень нашего понимания российской и мировой реальности был несопоставимо ниже. Иными словами, время идет не зря. А это означает, что у нас есть шанс.

МИФ О ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ

То, что я намерен сказать, имеет смысл лишь в случае, если читатель согласится с моим общим впечатлением от дискуссии. Впечатление такое. Большинство авторов, принимающих в ней участие, представляются мне защитниками крепости, осажденной варварами. Кто-то вроде античных афинян, атакованных древнеперсидской армией. Варвары предпринимают дерзкие набеги на городские стены и получают отпор, порою сокрушительный, что, впрочем, не мешает им захватывать окружающие территории. Самое тревожное, однако, в том, что и защитники крепости, даже самые доблестные из них, говорят почему-то на языке осаждающих их «варваров», приблывая тем самым их триумф. Не нарочно, конечно. Просто потому, что не озабочены созданием собственного языка.

Нет спора, это сравнение хромает подобно всем сравнениям, как заметил еще разжалованный в родовые генералиссимус. На самом деле в дискуссии есть прекрасные, порою удивительные эссе (ссылюсь хоть на выступления Эмиля Панна или Павла Сходилова), есть изыскательные, чтоб не сказать убийственные, вопросы «варварам» Игоря Климкина и Вислора Шейнса, есть тонкий и коварный анализ Михаила Краснова и Игоря Яковенко.

Но в целом, читая материалы обсуждения, трудно не согласиться с провокативным заключением статьи Ирины и Святослава Каспэ «Поле битвы — страна» в юбилейном номере журнала «Неприкосновенный запас»: «Природа политического организма, измеряемого, <...> Россией, его происхождение и предназначение не намного более ясны [сегодня], чем в 1990 году <...> Пока оппоненты (на моем языке — «варвары», — А.Я.) не слишком преуспели — и по недостатку образования, и по крайней склонности к свирепым междоусобицам, и по гомерической комедийности типажей. Но <...> если мы не хотим жить в стране, которую нам готовят эти клоуны, надо создать свою (курсив мой. — А.Я.). Иначе — равно или поодино — получится у них¹. Так создают ли «свою страну» защитники крепости?»

Тысячелетнее рабство?

Естественно, возможности интеллектуального влияния на объективную реальность ограничены. Но они существуют. Можно, например, хотя бы не уступать без боя «варварам» всю территорию прошлого России и ее государственности. Тем более не поддаваться им козирей, соглашаясь, подобно Борису Немцову, с тем, что «тысячелетняя история России есть история рабства². И далеко ли, честно говоря, ушел от него Михаил Краснов, постулируя в статье, открывающей дискуссию, что «институционализирована у нас всегда была воля правителя (курсив мой. — А.Я.)»?

1 Неприкосновенный запас. 2007. № 50.

2 Цит. по: Johnson's Russia List. 2006. March 18.

Ведь то, что для либеральных защитников крепости рабство, для «варваров» имеет смысл прямо противоположный. Для них это, говоря словами Станислава Белковского, «тысячелетняя традиция доброго царя, пекущегося о своем народе, который отвечает ему преданностью, смиренней и кротостью»³. Или, что то же самое, тысячелетняя история милого «варварскому» сердцу «патернализма, господствовавшего на этой земле со времен Киевской Руси»⁴. И Сергей Марков апеллирует в дискуссии к той же «тысячелетней истории», утверждая, что «наш народ никогда не жил по закону» (сурсов мой. — А.Я.).

Да откуда, скажите на милость, они ее взяли, эту «тысячелетнюю историю», одинаково звучащую и в устах Немцова, и в устах Белковского и Маркова? Ведь это же ключевой аргумент «варваров», их центральная «идеологическая мифологема», как точно заметил в дискуссии Эмиль Панич, последнее оправдание их позиции: «так было в России тысячу лет, так и будет».

Тем более что это очевидная неправда, как с документами в руках доказала еще в 1960-е в отношении даже первого столетия Московской Руси, не говоря уже о Киевско-Новгородской, блестящая плеяда советских историков (А.А. Зимин, С.О. Шмидт, Н.Е. Носов, А.И. Кованев, С.М. Капитанов, Ю.К. Бегунов, Н.Я. Казакова, Я.С. Лурье, Г.Н. Моисеева, Д.М. Маховский). Результаты их изысканий свидетельствуют неопровержимо, что не знала в ту пору Россия ни самодержавия, ни крепостного права, ни империи — тем более в том метафизическом смысле, в каком представляет себе империю Михаил Юрьев в своей пародии на «1984» Джорджа Оруэлла. Не знала, другими словами, ни «рабства» по Немцову, ни «патернализма» по Белковскому. И была она тогда вовсе не «ресурсным государством», как полагает Симон Кордонский, но обыкновенной североевропейской страной, напоминавшей скорее динамичную Швецию, нежели перманентно стагнировавшую и поверженную к тому времени Византию. Во всяком случае всю первую половину XVI века в хозяйственном отношении, как доказали историки-шестидесятники, Россия процветала. В частности, грандиозный строительный бум отмечен во всех источниках.

И элита страны, так волнующие Носифа Дискина, тоже чувствовали себя тогда вполне уверенно. Даже Ричард Пайпс, придумавший для России уничижительный термин «патримониальное государство», и тот не мог не признать, что до середины XVI века «собственность в России была традиционно отделена от службы» и что существовала в ней сильная аристократия, «гордившаяся своим происхождением», — аристократия, какой никогда не было в Византии и вообще ни в какой азиатской империи. И московские государи «вынуждены были уважать эту систему, если не хотели рискнуть восстанием против них объединенной оппозиции ведущих семей страны»⁵.

Да иначе, собственно, и быть не могло, если верить В. Ключевскому, непреодолимому до сих пор знатоку московских элит. Вот что он нам объясняет: «Среди титулованного боярства XVI века утвердился взгляд на свое правительственное значение не как на пожалование московского государя, а как на свое наследственное право, доставшееся им от предков независимо от этого государя. <...> Увидев себя в сборе вокруг московского Кремля, [оно] взглянуло на себя, как на собрание <...> общепризнанных властителей Русской земли, а на Москву, как на сборный пункт, откуда они попрежнему будут править Русской землей, только не по частям и не в одиночку, а совместно <...> и всей землей в совокупности. Значит, в новом московском

³ Moscow Times. 2004. May 27.

⁴ *Ibid.*

⁵ Pipes P. Russia under the Old Regime. N.Y., 1974. P. 90.

бодрстве предание власти, шедшее из удельных веков, не прервалось, а только преобразовалось⁶.

Добавим к этому, что и старые нетитулованные московские бояре были «вольными слугами князя по договору» (курсив Ключевского). И становится совершенно непонятно, каким образом могла в такой стране «институционализироваться воля правителя», говоря в терминах Кривоша.

Так или иначе, правительство Алексея Адашева, находившееся у власти в 1550-е, чувствовало себя достаточно уверенно, чтобы провести в жизнь удивительную по тем временам реформу, отменявшую феодальные кормления и вводившую в уездах страны местное самоуправление и суд присяжных (целовальников). И этим ведь оно не ограничилось. Знаменитая впоследствии статья 98 Судебника 1550 года, юридически запрещающая царю единолично принимать новые законы, тоже ведь никак не является с «институционализацией воли правителя». Даже твердокаменный сторонник «карамзинского» взгляда на русскую историю и автор классического труда по истории русского права проф. В.И. Сергеевич не посмел усомниться относительно смысла статьи 98: «Это несомненное ограничение царской власти и новость: царь только председатель боярской коллегии и без ее согласия не может издавать законов»⁷.

Никаких таких ограничений царской власти не было — и не могло быть — в византийской государственности. Она воплощала персоналистский режим и в то же время символизировала нестольбильное лидерство. Вспомним, что за 1000 лет существования Византии 50 ее императоров было утоплено, ослеплено или задушено — в среднем один каждые двадцать лет. Но это к слову — по поводу «византийских мечтаний» Сергея Маркова.

Как видим, не было в первое постмонгольское столетие в России ни рабства, ни патернализма. И тем более не было его во все пять веков Киевско-Новгородской Руси — ни в годы ее расцвета, ни в годы упадка. Там и в голову не приходило князьям, что термин «самодержавие» имеет какое-либо отношение к абсолютной, а тем более — «сакральной» власти над подданными. Самодержавными полагали они лишь государей, независимых от внешней силы. И куда (единственный известный нам в истории случай) князь Андрей Боголюбский попытался было в середине XII века истолковать это иначе, кончилось все для него трагически: он был убит собственными боярами. «Царь Иван [Грозный] лерный, — свидетельствует Ключевский, — обратил внимание на эту внутреннюю сторону верховной власти, и он глубоко проникся этим своим новым взглядом»⁸.

Иосифляне, нестяжатели и самодержавная революция

Но и царь Иван не сам до этого додумался. Ему помогли — и найти «новый взгляд», и проникнуться им. Как докопались еще историки позапрошлого века и подтвердили шестидесятники в веке XX, позаботились обо всем этом переступившие Иваном III иосифлянские церковные иерархи. Это, впрочем, неудивительно, поскольку именно они практически монополизировали в ту пору интеллектуальные ресурсы страны и вдобавок еще были самой богатой и влиятельной ее социальной группой. При всем том они едва не потеряли в 1490-е свои драгоценные, расквашенные на треть всей Русской земли монастырские владения. Для них это был страшный шок. Именно для того, чтобы такая попытка не повторилась, они и изобрели теорию «сакрального самодержавия, имперскую грезю о III Риме и вселенской миссии России. «Един бо ты

⁶ Ключевский В.О. Сочинения, М., 1957. Т. 2. С. 144.

⁷ Сергеевич В.И. Русские юридические древности. СПб., 1909. Т. 2. С. 369.

⁸ Ключевский В.О. Указ. соч. С. 144.

в подлунном мире христианской царь», как объяснил еще отцу царя Ивану Василию III псковский монах Филофей. Правда, недалекий Василий так толком и не понял, о чем, собственно, речь. Его сын, осиротевший в восемь лет и с младых ногтей воспитанный няньками, оказался сообразительнее.

Впрочем, все это отдельная история, связанная с жесточайшим конфликтом между церковью и государством, достигшим пика в 1490-е. Историко-шестидесятиные выяснили, что Иван III поднял на борьбу с церковным землевладельцем нестяжательскую интеллигенцию, сломав таким образом интеллектуальную — и тем самым идеологическую — монополию иосифлян.

Поклоение спустя его примеру последовали практически все североευропейские государи: в 1523 году Густав Ваза секуляризовал церковные земли в Швеции, в 1536-м началась секуляризация монастырских земель в Дании, Норвегии, Англии и Шотландии, в 1539-м — в Исландии. Но Иван III был первым, европейского опыта церковной Реформации в распоряжении его союзников-нестяжателей еще не было, и они вместе со своим государем потерпели тогда сокрушительное поражение.

Историки церкви трактуют все это как борьбу с ересью. Но для расправы с еретиками не требовались ни яростная полемика с великим князем, ни тем более проклетия в его адрес. Для этого иосифлянской иезуитизации, как провозглашал неустойный Геннадий, архиепископ Новгородский и главный инквизитор, достаточно было еретиков «казнить, жечь и вешать»⁹. В переписке Иосифа Волоцкого, однако, настроение совсем другое. Она напоминает скорее жалобы какого-нибудь секретаря обкома в пору уличных демонстраций 1989 года. И сквозит в ней двойное недоумение — как по поводу того, почему начали вдруг вслух рассуждать люди на улице о том, о чем рассуждать им не надлежит, так и по поводу того, почему верховная власть терпит такое непотребство. И добавок уязвленное подозрение: а не заодно ли эта власть с бунтовщиками? Вот пишет Иосиф епископу Судальскому: «С того времени, когда солнце православия воссияло в земле нашей, у нас никогда не было такой ереси. В домах, на дорогах, на рынках все — инок и миряне — с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении пророков, апостолов и святых отцов, а на словах еретиков, отступников христианства, с ними дружатся, учатся у них злодеству. А от митрополита еретики не выходят из дому, даже спят у него»¹⁰.

Что тут скажешь? Видно, борьба и впрямь была нештучная. Удивительно ли? Судьба страны в ней решалась — на столетия вперед. И то, как горячи, как массовы были споры — «в домах, на дорогах, на рынках», — тоже ведь говорит нам не только о серьезности этой борьбы, но и об ее открытости. Одно за другим выходили на ристалище четыре поколения нестяжателей, первый в истории отряд русской интеллигенции — от Нила Сорского до Максима Грека, — повуда и их не подверстали иосифляне как «пятую колонну» к еретикам.

Вся эта история подробно описана в первой книге моей трилогии «Россия и Европа. 1462–1921». Здесь скажу лишь, что и один из самых выдающихся историков церкви А.В. Карташев в принципе ничего этого не отрицает. С победой над нестяжателями, пишет он, «сама собою явила над всеми верх и расцвела, засветилась безгальским огнем и затрубила победной музыкой увенчавшая иосифлянскую историософию песнь о Москве — III Риме»¹¹. Лишь об одном забыл напомнить своим читателям Карташев — о том, что в числе побежденных оказался и государь московский.

А теперь спросим себя, что должен был делать царь Иван IV со своим «новым взглядом», усвоенным им благодаря иосифлянам, в стране, где аристократия претен-

⁹ Цит. по: Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальное еретическое движение на Руси XIV — начала XVI века. М.: Л., 1955. С. 381.

¹⁰ Цит. по: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1960. Кн. V. С. 120.

¹¹ Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Париж, 1959. С. 474.

довала на совместное с ним правление и где действовал Судебник 1550 года? Верно. Разогнать свое стропливое правительство, устроить государственной переворот, если угодно, революцию сверху, способную разрушить не только ограничивавший его политический режим, но и весь государственный строй, установленный его дедом. То же самое, иначе говоря, что 350 лет спустя сделал в России Ленин.

Естественно, три с половиной столетия — длинный перегон, и все за это время изменилось. Как сюжеты, так и идеи. Грозный ввел «сакральное» самодержавие, Ленин его уничтожил — вместе с наследовавшей самодержавию демократической республикой. Но главное несколько не изменилось — и тот и другой разрубили российскую историю пополам: в случае Грозного — на четыре столетия, в случае Ленина — на 74 года. Надо полагать, историческое ускорение...

В обоих случаях, однако, Россия стала неузнаваемой, практически другой страной, совершенно не похожей на прежнюю.

Какой может быть после этого разговор о «тысячелетней истории» — будь то рабства, патернализма, «институционализированной воли правителя» или чего угодно? Ведь в меньшей степени в дело это самое историческое ускорение и продлился советская «мутация» российской политической культуры не 74 года, а 400 лет, проходу нам сегодня не было бы от «патриотов», уверяющих честной народ, что именно коммунистическая диктатура и есть подлинная «русская цивилизация».

Что первично?

Что же из всего этого следует? Прежде всего, я думаю, то, что российская политическая культура подвержена радикальным и долгодействующим «мутациям» (так же, как, пусть и в меньшей степени, германская). Почему это происходит — самый, наверное, фундаментальный вопрос российской историографии. Одну из возможных гипотез я предложил в своей трилогии. Вкратце смысл ее в том, что, по крайней мере со времени распада Киевско-Новгородской Руси, в основе «мутирующей» культуры не одна, а две древние и легитимизированные временем, но смертельно враждующие между собой политические традиции — европейская и патерналистская.

Я называю эту вторую традицию холопской лишь потому, что ведет она свое происхождение именно от холопов, управлявших, как правило, княжескими доменами на протяжении столетий распадающейся Киевско-Новгородской Руси и монгольского иго. Их вражда с вольными дружинниками, служившими князю по договору (традиция, которая, как мы видели, жила еще и в дни Ивана III), была в те века легендарной. Поскольку князья практически непрерывно тогда между собою воевали, первая традиция, естественно, преобладала (хотя многие бывшие вольные дружинники успели к тому времени превратиться в боярскую аристократию). Этим, надо полагать, и объясняется драма Андрея Боголюбского.

Казалось бы, защитники крепости должны были первыми оценить открытие историков-шестидесятников. Пусть даже не из уважения к гражданскому мужеству предшественников и не из интереса к результатам их работы, пусть лишь из-за ее пропагандистского эффекта. Ведь сам уже факт самодержавной революции во второй половине XVI века означает, что на протяжении шести столетий от начала русской государственности никакого самодержавия в России не было. А стало быть, означает он и окончательное крушение той центральной «идеологической мифологемы», о которой говорил Эмиль Пани. Невозможно, согласитесь, обосновать сегодняшнюю ситуацию мифическим «тысячелетним прошлым», если этих прошлых оказывается несколько, и ни одно из них не продолжалось тысячью лет. Придется либо выбирать между ними, как делаем мы сегодня с советским и дореволюционным прошлым, либо пытаться как-то их между собою примирить.

В 1993-м предпочитали выбирать. В 2007-м предпочитают примирять.

Не знаю, труднее или проще, чем раньше, будет выбрать между прошлым колониальным и прошлым вольных дружинников, но уверен, что примирять их невозможно. Знаю также, что именно этот выбор в значительной степени определит решимость европейской России, которую представляют в нашей дискуссии защитники крепости, «создать свою страну».

В этом смысле моя гипотеза имеет одно преимущество. И дело не только в том, что она освобождает нас от любительских препирательств по поводу Февраля 1917-го. Просто потому, что не девять месяцев, а много веков Россия, согласно этой гипотезе, была страной европейской. Потому что она родилась Европой. И если даже после двух с половиной столетий азиатского варварского ига Россия все еще умудрилась оставаться Европой — со свободным крестьянством, защищенным от заперещения помещиками и монастырями «крестьянской конституцией» Ивана III (Юрьевым днем), с устойчивой и сильной аристократией, со статьей 98 Судебника и без «институционализации воли правителя», то разве не говорит это о силе ее европейской традиции? Или, если угодно, о ее первичности в русской политической культуре?

Это правда, что, оказавшись единственной северо-европейской страной, в которой государство потерпело поражение в борьбе за церковную Реформацию (так же, как оказалась она единственной из стран Антанты, потерпевшей поражение в Первой мировой войне), Россия, как слышали мы от А.В. Карташева, соблазнилась нонсифланской «музыкой III Рима». И заплатила за это порабощением соотечественников, тотальным террором, великой Смутой, православным фундаментализмом Москвитин и несколькими столетиями «институционализованной воли правителя». Но было ведь и другое. Причем не только до самодержавной революции, но и после нее.

Уже четверть века спустя после смерти Грозного именно в России возник первый среди великих держав Европы полноформатный проект конституционной монархии (речь, конечно, о проекте Михаила Салтыкова от 4 февраля 1610 года). Вот как отзывался о нем Ключевский: «Это целый основной закон конституционной монархии, устанавливающий как устройство верховной власти, так и основные права подданных»¹². И даже самый извительный из критиков русской политической мысли Б.Н. Чичерин вынужден был признать, что проект Салтыкова, погибший в огне Смуты, «содержит в себе значительные ограничения царской власти; если б он был приведен в исполнение, русское государство приняло бы совершенно другой вид»¹³. Так откуда, спрашивается, если не из древней европейской традиции, взялся такой государственный проект в Москве начала XVII века?

Да и не в одном ведь этом проекте дело, а в том, что за четыреста лет, протезавших со времени победы нонсифлан, Россия сумела освободиться практически от всех нововведений самодержавной революции, что рухнули все столпы, на которых держалась восторжествовавшая при царе Иване холопская традиция. В XVIII веке был сокрушен православный фундаментализм, в XIX пало крепостное право, в XX рухнули «сакральное самодержавие» и империя, насмерть переплетенная с нонсифланской грезой о III Риме. Проблема лишь в том, что, сокрушенные в реальности, они по-прежнему живы в массовом сознании: четыреста лет «музыки III Рима» — не шутка. И сегодняшние «варвары» делают все, что в их силах, чтобы не дать этой музыке заглухнуть.

Самое обидное, однако, в том, что слишком часто на руку им играют и защитники крепости, отказывающиеся «создавать свою страну». Увы, таких примеров много. Но давайте рассмотрим хоть еще один.

12 Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 3. С. 64.

13 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1899. С. 540.

Николай Данилевский и его последователи

Многие участники дискуссии — независимо от своих убеждений — демонстрируют пристрастие к термину «цивилизация», имея в виду ее самообъясняющую отечественную версию. Зачем это нужно «варярам», понятно: для них «русская цивилизация» — мифологема почти столь же важная, как «тысячелетнее самодержавие». Но вот Игорь Яковенко тоже ведь признается в своем изящном эссе, что «склонен считать Россию самостоятельной цивилизацией». Соглашается, другими словами, говорить на одном языке с «варярами». И не спрашивает, откуда он, собственно, взялся, этот разделимый Игорем Григорьевичем «мультицивилизационный» подход к истории и политике. Между тем его происхождение в высшей степени поучительно.

Основноволожником такого подхода, хотя его современные западные приверженцы и стесняются в этом признаваться, был самый влиятельный из идеологов русского панславизма Николай Яковлевич Данилевский. Начинал он с элементарного вопроса, который всегда на уме у каждого, кто когда-либо атаковал либеральную крепость: «Почему Европа нас не любит?» Данилевский, однако, первый пришел к «новому взгляду»: потому, отвечал он, что она принадлежит к отживающей цивилизации (он назвал ее «германо-романским культурно-историческим типом»: дело все-таки происходило в 1860-е), тогда как Россия принадлежит к цивилизации будущего — Славянской. И вывод из этого «нового взгляда» был, конечно, в духе уже знакомой нам восточнославянской музыки III Рима: «Россия не иначе может занять достойное себя и славянства место в истории, как став главою особой, самостоятельной системы государств и служа противовесом Европе во всей ее общности и целостности»¹⁴.

Если для этого понадобилась бы война против Европы «во всей ее целостности», что ж, полагал Данилевский, «есть нечто гораздо худшее войны, от чего война может служить лекарством»¹⁵. Лекарством, понятно, служила бы гегемония России в славянском мире, добиться которой поэтому было вопросом жизни и смерти, «историческим предназначением России». Не исполнив его, она «конечно, лишится через эту историческую цель своего существования, представит миру жалкий образец исторического недоросля в громадных размерах — без какого бы то ни было «внутреннего смысла и содержания»¹⁶. Больше того, ее неминуемо постигнет в этом случае «участь всего устарелого, ненужного», она потеряет «причину своего бытия, свою жизненную сущность, свою идею, [ей] ничего не останется, как бесславно доживать свой жалкий век, переживать как исторический хлам, лишенный смысла и значения... распуститься в этнографический материал... даже не оставив после себя живого следа»¹⁷.

Немногие из последователей Данилевского оказались честны перед собою и читателями, открыто признав, в чем был для него смысл этого страшного приговора. Профессор К.Н. Бестужев-Рюмин был в 1888 году искренен, когда объяснял в статье об очередном издании «Россия и Европа» Данилевского, что «тесно жить в бараках, душа рвется на простор. Такой простор, такая историческая ширь отрывается только кровавой борьбой. Страшно произнести это слово в наш слабонервный век, но произнести его надобно и надо готовиться к его осуществлению»¹⁸. Цель грядущей «схватки цивилизаций» Бестужев-Рюмин сформулировал вслед за мэтром недвусмысленно: «Славянская Федерация мыслима только под главенством России. Осуществление же ее возможно лишь по решению вопроса о Царьграде»¹⁹.

14 Данилевский Н.Я. Россия и Европа / 6-й изд. СПб., 1995. С. 27.

15 Там же. С. 370.

16 Там же. С. 341.

17 Там же.

18 Там же. С. 453.

19 Там же. С. 457.

Понятно теперь, чем объяснялась единовудшная решимость российской политической элиты в роковом июле 1914-го? Впрочем, происходило это в начале прошлого века, когда еще не было опыта, позволявшего достоверно судить о том, чем обернется для страны следование рекомендациям Данилевского. Сложнее понять, почему до сих пор не усомнился в них, например, проф. А.А. Галактионов, написавший в предисловии к шестому изданию «России и Европы» в 1995 (1) году: «Удивительной особенностью книги Данилевского является то обстоятельство, что... она актуальна даже сейчас в ходе очередного витка социального и национального переустройства России и Европы»²⁰. Следует ли это понимать так, что профессор Галактионов и в наши дни боится презращения России в «исторический хлам» в случае, если она не выйдет в «святую цивилизацию» с Европой?

Но пика своей популярности среди старших научных сотрудников Института российской истории РАН Данилевский достиг, кажется, в 2001 году, когда доктор исторических наук Б.П. Балуев написал о нем удивительную книгу. Прочитав лишь одну фразу, Б.П. Балуев уверен, что откровения Данилевского были «взглядом, брошенным на историю не с „дочки зренин“ европейской цивилизации, а с высоты космоса и одновременно с высоты Божественного устройства всего сущего в человеческом мире и вокруг него»²¹.

Произвол

Данилевский не позавалил бы своего восторженного поклонника за неосторожное упоминание человечества, ибо с точки зрения его теории множественности цивилизаций (культурно-исторических типов) такой категория просто не существует: «Человечество не представляет собой чего-либо действительно конституированного, а есть только отвлечение от понятия о правах отдельного человека, распространенное на всех ему подобных»²². Одним словом, абстракция. Единственная реальность — культурно-исторические типы.

«Типов» этих от начала времен Данилевский насчитал десять. Вот они: 1) египетский; 2) китайский; 3) ассирийско-вавилонско-финикийский, халдейский или древне-семитический; 4) индийский; 5) иранский; 6) еврейский; 7) греческий; 8) римский; 9) новосемитический; 10) германо-романский. Определял он их как «семейство языков, характеризующееся отдельным языком или группой языков довольно близких между собою — для того, чтобы родство их ощущалось непосредственно»²³.

Произвольность классификации ошеломляет. Почему одни народы выделены в особые «типы», а другим в этом отказано? Почему китайский «тип» наличествует, а японский нет? Почему был иранский «тип», но не было тюркского? И, самое главное, откуда вылез «тип» германо-романский, если, скажем, шведский и португальский языки не имеют между собою не только непосредственной, но и вообще никакой близости? Точно так же, впрочем, как голландский с итальянским или норвежский с испанским.

Но если, пользуясь определением самого мэтра, никакой «германо-романской» цивилизации существовать не могло, то что, собственно, призваны были замесить Россия со славянством, чтоб не превратиться в «исторический хлам»? Однако ведь и это еще не все. Дальше мы узнаем, что китайская цивилизация доживает, оказывается, последние дни, прежде чем распуститься в «этнографический матернал». Да и то лишь чудом: «Китай <...> как те старики, про которых говорят, что они чужой

20 Данилевский Н.Я. Указ. соч. С. V.

21 Балуев Б.П. Споры о русской истории / Н.Я. Данилевский и его «Россия и Европа». Тверь, 2001. С. 190.

22 Данилевский Н.Я. Указ. соч. С. 67.

23 Там же. С. 333.

век заживают, что смерть их забыта»²⁴. Как, однако, быть с современным Китаем, расцвет которого категорически противоречит «питому закону культурно-исторического движения» Данилевского? Ведь, согласно данному закону, расцвет этот так же невозможен, как возвращение молодости к дрехлему старика. «Законом» гласит: «Период цивилизации каждого типа... вторично не возвращается»²⁵. А китайская цивилизация, как мы только что видели, уже тысячелетие назад «одряхла в апатии самодовольства»²⁶.

Впрочем, в столь же «драхляющем состоянии» находилась в 1860-е и Индия²⁷. Согласно Данилевскому, будущего у обеих не было. Но у них все-таки было прошлое. Пусть давным-давно, но и они ходили в свое время в генеральском («культурно-историческом») чине. Что до родовых народов, основоположник их и за людей не считал. Например, «финское племя, населяющее Финляндию, подобно всем прочим финским племенам... никогда не жило исторической жизнью»²⁸. Другими словами, с самого начала было жалким «этнографическим материалом», присоединение которого к России «мы уподобили алинию почвенного удобрения на растительный организм». Того же «удобрительного» характера и племена «татарские, самодские, остяцкие». Потому-то «у них нет права на политическую самостоятельность»²⁹.

Как видим, с теорией обстоит дело у «Славянского Нострадамуса», как назвал свою книгу о нем еще один современный поклонник, ничуть не лучше, чем с политическими рекомендациями³⁰. Тот же произвол, та же дискриминация. Странно другое. Сначала многие беззаветно поверили в эту любительскую фантазмагорню в дореволюционной России: сошлось хоть на того же К.Н. Веструева-Рюмина — академика и одного из самых влиятельных в тогдашней России интеллектуалов, ни на минуту не усомнившегося, что история XX века пойдет по Данилевскому, что «восточный вопрос должен вызвать к мировой борьбе и кончиться — мы глубоко верим в это — созданием новой [Славянской] цивилизации»³¹. Сегодня — уверовали снова. Причем не темные массы, а элита, в том числе профессиональные историки.

Между тем дело ведь не только в том, что прогностическая и конструктивная ценность рекомендаций Данилевского, как заключил в свое время В.С. Соловьев, «вполне ничтожны»³². Данилевский был идеологом реванша за Крымское поражение России. Идейственная важность его примера в том, что в эпоху, когда правила бал идея реванша («вставания с колен»), даже их эфемерность не помещала привести (в 1914-м и после) к совершенно реальным — и губительным для страны — последствиям. Дело, следовательно, в том, что они не только велемы. Они еще и крайне опасны. Особенно в странах с «мутационной» политической культурой, как Германия или Россия. Именно поэтому и уделил я здесь столько внимания основоположнику. А еще потому, что у него сегодня много последователей не только в России, в которую его идеи часто возвращаются благодаря западным авторам.

Третья молодость

Занимался ли Освальд Шпенглер свою теорию множественности цивилизаций Данилевского — вопрос открытый. Зато точно известно, что именно под его (я Арноль-

24 Данилевский Н.Я. Указ. соч.

25 Там же. С. 69.

26 Там же. С. 90.

27 Там же. С. 22.

28 Там же. С. 64.

29 Там же. С. 21.

30 Мелюк М.В. Славянский Нострадамус. Ерост. 1999.

31 Данилевский Н.Я. Указ. соч. С. 497.

32 Соловьев В.С. Сочинения В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 569.

да Тойнби) пером обрела эта теория вторую молодость — и всемирную славу — в эпоху между двумя мировыми войнами. Третья молодость пришла к ней в конце холодной войны. В России сделала ее популярной в широких элитных массах «Схватка цивилизаций» Самуэля Хантингтона³³.

Конечно, Данилевского Хантингтон и его коллеги даже не упоминают, Китай и Индию, в отличие от него, не хоронят, Японию не игнорируют, «германо-романскую цивилизацию» предпочитают называть западной и вопросом о том, «почему она не любит Россию», не задаются. При всем том, однако, родство с основоположником скрыть им не удается.

Хотя бы потому, что никаких объективных критериев возведения одних культур в ранг «цивилизаций» и отсеивания других — итеросортных, надо полагать, — у них, как и у Данилевского, нет. И их «мультицивилизационный» подход по-прежнему легитимизирует тот же абсолютный, ничем, кроме фантазии автора, не ограниченный произвол — как в истории, так и в политике.

Например, Японию фигурирует у большинства из них в качестве самостоятельного государства-цивилизации, а Бразилия (или, скажем, Россия) нет, хотя и та и другая превосходит Японию и по населению, и по территории, и самобытной культурой их тоже Бог не обидел. Это правда, что бразильская культура отпочковалась когда-то от португальской, а российская, как полагают Тойнби и Марков, «воспроизводит все рельефные черты Восточно-Римской империи»³⁴. Но ведь и японская культура отпочковалась в свое время от китайской.

Пойдем дальше. Хантингтон, скажем, не устает повторять, что «лишь семь или восемь» из всего множества культур достойны возведения в ранг цивилизаций, тогда как Тойнби насчитал их 21 (поднее даже 28). Допустим, что большинство тойбинских цивилизаций мертва, а Хантингтон имеет в виду лишь те, что и по сию пору живы, но ведь и таких у Тойнби всего пять, а не семь или восемь.

И потом, как же тогда быть с коллегой Хантингтона Филипом Барби в «Культуре и истории», у которого этих цивилизаций одиннадцать?³⁵ И что делать с Керолом Кингли, в чьей «Эволюции цивилизаций»³⁶ насчитывается их шестнадцать? Или с крупным американским историком Уильямом Макналлом, который, как и Фернан Бродель, полагает, что цивилизаций было девять?³⁷ С другой стороны, у Мэтью Мелло в его «Природе цивилизаций» их двенадцать (исторических), из которых до наших дней дожили лишь пять, как у Тойнби, но не те, что у Тойнби (Китайская, Японская, Индийская, Исламская и Западная)³⁸.

Общее, пожалуй, у всех авторов лишь одно: никто из них, включая Данилевского (!), не упоминает «русскую цивилизацию». Николай Яковлевич так даже специально подчеркивал, что не может сам по себе русский народ создать самостоятельную цивилизацию — несмотря на то, что, исходя из его собственной классификации, еврейскому, эллинистическому или римскому народам это почему-то удавалось. Русскому же народу, лишь «на три четверти» самобытному, придется для своей цивилизационной зрелости сначала стать гегемоном во Всеславянском союзе.

Именно поэтому и является, думал Данилевский, эта гегемония вопросом жизни и смерти для русских. И вообще «для всякого славянина: русского, чеха, серба, хорвата, словенца, болгара (желал бы прибавить и поляка) — после Бога и Его Святой Церкви»

33 Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. N.Y., 1996.

34 Toynebe A. Russia's Byzantine Heritage // Horizon, Vol. 16 (August 1947) P. 84.

35 Bugby P. Culture and History. London, 1958.

36 Quigly K. The Evolutions of Civilizations. N.Y., 1965.

37 McNeil W. The Rise of the West. Chicago, 1963; Brodel F. History of Civilizations. N.Y., 1964.

38 Mello M. Nature of Civilizations. Boston, 1963.

ни идея Славяностава должна быть выше идей, выше свободы, выше науки, выше просвещения, выше всякого земного блага»³⁹.

Правда, Борис Межуев с Игорем Яковенко полагают, что все обстоит иначе, что «Россия может существовать лишь в качестве отдельного государства-цивилизации». Отреагирую словами самого Игоря Григорьевича: «Полагать можно, но доказать и убедить других нельзя». Ни зачинатели «мультицивилизационного» подхода, ни сегодняшние постмодернисты «отдельным государством-цивилизацией» Россию не признают. Япония признана, а Россия нет. Другое дело, что спор-то пустой, как и сам «мультицивилизационный» подход...

Цена политического релятивизма

Во времена Аристотеля считалось, что свободные, цивилизованные люди обладают, в отличие от варваров, неотъемлемым правом «участвовать в суде и в совете». Иначе говоря, цивилизованность отождествлялась для Аристотеля с политической модернизацией. Ибо что же и есть на самом деле политическая модернизация (отвлечемся на минуту от ее институциональных сложностей), если не обеспечение гарантий от произвола власти? И как иначе могли эти гарантии в ту пору реализоваться, если не «участием в суде и в совете»? Даже в страшном сне не могло присниться Аристотелю, что варварская Персидская империя, пошатнувшись в V веке до нашей эры стереть с лица земли демократические Афины, есть всего лишь соседняя цивилизация, имеющая по сравнению с ними даже определенные преимущества (например, «опыт имперостроительства», сказал бы Михаил Юрьев).

Как бы то ни было, 24 столетия спустя другой великий европейский мыслитель выразил представление Аристотеля в строгой формуле, гласившей, что «всемирная история есть прогресс в осознании свободы» (и «в обретении человеком внутреннего достоинства», как сказал он в другом месте). Из этой формулы Гегеля вытекало вполне недвусмысленно, что народы, не озабоченные внутренним достоинством человека, цивилизованными не являются. Или, что то же самое, остаются варварами, покаду таковым достоинством не озаботятся. Именно эта гегелевская формула и преаратала бессмысленное течение времени в историю.

Из лексикона постмодернистов XX века «варварство» исчезло. Теоретическую базу под эту операцию подвел все тот же Хантингтон: «Цивилизацию определяют как общекультурные элементы — язык, история, религия, обычай — так и субъективная самоидентификация»⁴⁰. Такова формула Хантингтона. Как видим, «прогресс в сознании свободы», не говоря уже об «участии в суде и в совете», которые некогда отделяли Цивилизацию (с заглавной буквы) от варварства, испарились из этой формулы бесследно. Но дело даже не в этом. Беда в том, что непонятно, по какой, собственно, причине следует отныне именовать «общекультурные элементы» цивилизацией, если испокон веков назывались они своим собственным именем — культурой?

Культур и в самом деле на белом свете много. Столько же, сколько народов: у каждого своя. Ведь даже Хантингтон признает, что «культура есть общая тема практически в каждом определении цивилизации»⁴¹. Признает и больше: «Цивилизация и есть в широком смысле культура»⁴². Так что же, спрашивается, дает нам для понимания истории и политики этот маскарад? И нельзя ведь сказать, чтоб не понимали его смысл и сами постмодернисты. Не назвал же Хантингтон свою знаменитую книгу

³⁹ Данилевский И.Я. Указ. соч. С. 107.

⁴⁰ Huntington S. Op. cit. P. 42.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid. P. 41.

«Схваткой культур». Потому, надо полагать, что слишком многие сочин бы подобное предсказание неслетали.

Но именно такой маскарад позволил Хантингтону объявить, что «каждая из цивилизаций по-своему цивилизована»⁴³. А это опять превращает историю в бессмысленное течение времени. Ибо вместе с категорией варварства исчезают и критерии цивилизованности. Заменяются теми же произволом и дискриминацией, которые первым, как мы видели, продемонстрировал миру основоположник «мультицивилизационного» подхода.

Одно лишь упущили из виду отрезавшие от классиков постмодернистские мыслители: вековой деспотизм не проходит даром. Отсутствие политической модернизации оказалось на самом деле способно законсервировать некоторые культуры в Средних веках. И впоследствии аужалось это страшно. Например, сегодняшним исламским фанатизмом. И той самой «схваткой цивилизаций», которая так огорчает сегодня Хантингтона. Такова, как оказалось, цена политического — и морального — релятивизма.

И тем выше выглядит эта цена, чем ближе присматриваемся мы к подробностям «мультицивилизационного» подхода к истории и политике. Например, к девизу, который сформулировал для него уже упоминавшийся Арнольд Тойнби: «Цивилизация есть тотальность»⁴⁴. Что же может такой девиз означать, если не противопоставление одной «тотальности» другой — со всеми вытекающими отсюда последствиями?

Скажем, с тотальной солидарностью, когда все народы одной «цивилизации» обязаны встать на защиту «своих», каковы бы они, эти свои, ни были. Как встала, допустим, в XVII веке на защиту протестантской «цивилизации» северогерманских князей Швеция, а Франция на защиту католической. И дело ведь не только в том, что довели они в этой своей кровопролитной, затнувшейся на три десятилетия, «схватке цивилизаций» Германию до того, что в Нюрнберге ели человечину.

Еще важнее то, что, будь постмодернисты правы, Германия с ее католическим югом и протестантским севером вообще не состоялась бы как национальное государство. Не состоялась бы и Европа. Ведь знаем же мы от того же Хантингтона, что «важнейшим из объективных элементов цивилизации является религия»⁴⁵. Так каким же, спрашивается, образом две непримиримые европейские «тотальности» слились в единую «западную цивилизацию»?

Но вот вам пример еще более современный, разворачивающийся у нас на глазах. Это правда, что православная Россия и по сей день не примирилась с западным христианством. Зато подавляющее большинство православных народов: греки, болгары, румыны, червогорцы, киприоты, молдаване, македонцы, грузины, украинцы, даже сербы — все, на кого возлагал свои надежды Данилевский, вдруг напереголки устремились в лоно вроде бы чуждой им, если верить Тойнби или Хантингтону, западной цивилизации. Что после этого остается от православной «тотальности» по Хантингтону и, тем более, от «тотальности» славянской по Данилевскому?

Зачем все это защитникам крепости?

Понятно, зачем понадобилось отрицание Цивилизации Данилевскому: он пытался мобилизовать Россию на войну против Европы. Нетрудно догадаться, зачем нужна множественность «цивилизаций» националистам. Они пытаются с ее помощью подменить идею «внутреннего достоинства человека» грезой об «особом пути государства»

43 Хантингтон С. *Op. cit.* P. 42.

44 *Ibid.*, no. Brodie F. *On History*. Chicago, 1960. P. 202.

45 Хантингтон С. *Op. cit.* P. 42.

цивилизации». Понятно, зачем нужен этот маскарад террористам и убийцам какой-нибудь Аль-Кайды. Он дает им возможность чувствовать себя не варварами, но гурдами защитниками своей «цивилизации» от нашествия крестоносцев и союзников, равноправными участниками «схватки цивилизаций». Понятно, наконец, зачем это понадобилось постмодернистам: классика для них как кость в горле.

Никак не возьму в толк, однако, зачем нужен постмодернистский маскарад в современной России либеральным защитникам крепости. Они-то почему предпочитают говорить на языке осаждающих их «варваров»? За примером ходить недалеко. Перечитайте нашу дискуссию, и вы убедитесь, что говорят в ней именно на «варварском» языке, легитимизируя тем самым произвол и дискриминацию, уводящие далеко в сторону от «внутреннего достоинства человека». И вообще от классического языка Цивилизации. Зачем?

То же самое, повторю, можно сказать и о языке, которым описывается прошлое России и ее государственности. Когда о «тысячелетней истории» говорят «варвары», это вопросов не вызывает. Когда же их речи повторяют за ними их оппоненты, это выглядит добровольной капитуляцией. Если будущее Российского государства они хотели бы видеть иным, чем «варвары», то и от «варварской» интерпретации прошлого пора бы уже отказаться.

САМОДЕРЖАВИЕ VS. КУЛЬТУРА,
МАССЫ VS. ЛИЧНОСТЬ

Нетрудно заметить, что участники дискуссии выступают в двух основных ролях: «политиков-пропагандистов» и «аналитиков». Эммануэль Панин называет исполнителей этих ролей «проведенниками» и «методистами», при этом, на мой взгляд, сильно сужая круг последних. К исполнителю первой роли в полной мере относятся слова Симона Кордонского: «Аргументация в обычном интеллигентском дискурсе строится как противопоставление того, что „есть“ (настоящего, устрашающего, неправильного), тому, что „должно быть“ согласно исповедуемой дискуссионной теории». Вместе с тем обе эти роли почти у всех участников дискуссии смешиваются, так что можно говорить лишь о преобладании одной из них в том или ином конкретном случае. Правда, в некоторых выступлениях (Д. Володина, М. Юрьева, С. Маркова) роль «политика-пропагандиста» становится доминирующей.

Я постараюсь придерживаться амплуа аналитика, поскольку считаю, что сегодня задача интеллектуалов — работа над пониманием и адекватным описанием системы, в которой мы живем, ситуации, в которой мы оказались или можем очутиться в ближайшем будущем. Проблема, однако, заключается в том, что сам понятийный аппарат, с помощью которого пытаются описывать российскую реальность, ей не адекватен. Об этом в ходе дискуссии уже говорилось. Предлагались и решения проблемы.

Так, экономист-политолог Иосиф Дикин, прямо заявивший о том, что «классические схемы модернизации и демократического транзита плохо применимы к России», пытается использовать для преодоления познавательных трудностей теоретические подходы институциональной экономики. Он выдвигает в своем анализе на первый план этическую составляющую государственности, а для описания современной российской ситуации вводит понятие «конвенциональной этики». Остается, правда, неясным, как может (и может ли вообще) такая этика, очень напоминающая мораль воровского мира и «зоны», поддерживать общественную стабильность в течение длительного времени, а тем более — перерасти в нечто не столь одиозное. Но это уже другой вопрос. А вышеупомянутый социолог-политолог С. Кордонский полагает, что применительно к России надо говорить не об экономике и политике в западном их понимании, а о «ресурсной организации государственной жизни». В этот ряд понятийных новаций, призванных зафиксировать своеобразие российской политической и экономической реальности, я бы поставил и «русскую систему» Юрия Пивоварова и Андрея Фурсова, еще не представленную в данной дискуссии.

Позиционируясь как культуролог, я тоже введу некоторую «неевропейскую» систему понятий. В центре ее будут понятия *самодержавной системы* правления, *рождающей нас с Востоком* («ресурсная организация государственной жизни», «персонализм» и «русская система» — ее характерные черты), и *высокой культуры*, *рождающей нас с Западом*. Между ними существует системное противоречие, которое и предопреде-

лет отмеченную С. Кордонским цикличность развития: застой — кризис — реформа — контрреформа — застой. Равно как и зафиксированное им чередование определенных идеологем-мифологем, вокруг которых возникают определенные общественные движения.

В связи с этим хочу возразить Виктору Шейнису по поводу ничемной якобы «растраты времени и интеллектуальной энергии» на споры с «идеологическими маргиналами», допускающими «*contradictio in adjecto*» — элементарную логическую ошибку, распознать которую учат школьников». Все дело в том, что политические и идеологические движения имеют в значительной степени эмоциональную основу и во многом руководствуются мифами, а не рациональными проектами — при том, что сами мифы часто маскируются под проекты. Так вот, повторяющиеся циклы российской истории обуславливают появление нескольких таких мифов-проектов, которые в очередной раз воспроизводятся и сегодня, и часть из них представлена в нашей дискуссии в текстах «политико-пропагандистов».

Да, с одной стороны, их участие приводит к тому, что у организаторов дискуссии «нет возможности перевести ее из режима обмена монологами в режим диалога», ибо не может быть диалога между мифами. Но, с другой стороны, сама дискуссия становится благодаря этому более приближенной к живой реальности, «представляя достаточно широкий спектр существующих в интеллектуальном сообществе политико-идеологических подходов и целеполаганий» (И. Клямкин). С точки зрения «аналитиков», все они заслуживают внимания, а их природа нуждается в объяснении.

И здесь нам не обойтись без обращения к прошлому, к истокам того, что именуется обычно спецификой России и ее государственности. Я имею в виду и обозначенное выше системное противоречие, возникшее в петербургский период отечественной истории, и то, что ему предшествовало в период московский.

Первая особенность России: самодержавная система правления

Нередко специфику России пытаются свести к православию. Но резкие перемены идеологии от православия к коммунизму и обратно и формирование мощной светской культуры в XIX веке говорят в пользу того, что религия, влияя на многие стороны культуры и жизни, не определяет цивилизационную специфику страны. Это, кстати, справедливо и в отношении стран Запада.

Но если не православие, то что же? Не находи ответа, до сих пор цитируют точечное «умом Россию не понять». Однако это, с моей точки зрения, объясняется переворотной оптикой, через которую на Россию смотрят. Если усилия ума направить на сравнение российской системы правления не с западноевропейской, а, скажем, с китайской, то встанет на свои места и все остальное. Тогда обнаружится, что мы ищем и находим уникальное отклонение от нормы там, где его нет, после чего объявляем такое отклонение непостижимым.

Дело в том, что не Россия, а Западная Европа является уникальным регионом, где в Средние века благодаря системе вассалитета и свободных городов, существовавшей только в Европе, возникла основанная на *договоре и праве* (не путать с «теорией общественного договора») представительная система правления — сначала сословная, «королевская», а потом и современная демократическая. Соответственно, сформировавшаяся при рыцарских замках куртуазная светская культура и светская городская культура составили основание западноевропейской культуры Нового времени. Именно светские по своей сути субъекты (феодалы, города, короли) модифицируют христианство, подстраивая его под себя и придавая ему соответствующие формы католицизма и протестантизма. Поэтому они, а не религия задают специ-

факту западноевропейской цивилизации: Европа остается собой и в светское Новое время с его веротерпимостью, допускающей любые религии и атеизм на уровне индивидов.

Систему правления территориальных государств-королевств Западной Европы периода Средневековья и раннего Нового времени можно представить с помощью схемы, где двойные стрелки указывают на наличие сложных договорных отношений между основными политическими субъектами и связанными с этим прав их участников, которые (права) и служат, в свою очередь, предпосылкой таковых отношений.

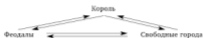


Рисунок 1. Королевская (монархическая) представительная система правления

В остальном же мире, к которому принадлежала и Россия, дело обстояло иначе. Там господствовала самодержавная система правления, образец которой дает Китайская империя. Схематично ее можно представить следующим образом.



Рисунок 2. Самодержавная система правления

Системообразующей здесь является пара «народная масса — царь-самодержец», отношения между которыми строятся по модели «дети — родитель». В этой системе все мажорно и вытекающая из них ответственность, т.е. вся власть, сосредоточены в руках правителя. Его воля является высшей инстанцией в решении всех споров и коллизий. У его подданных никаких прав нет: все они перед государем одинаково бесправны. У них есть только обязанности и привилегии, которые самодержец раздает по своему усмотрению. Понятно, что ничего похожего на договорные отношения между королем, феодальными сеньорами и свободными городами, столь характерные для западного Средневековья, здесь возникнуть не могло.

Была, однако, неиндивидуализированная идея договора между самодержцем-императором и народом в целом, в качестве которого рассматривалось крестьянство. Эта идея входила в совокупность представлений, связанных с государственной религией (в Китае — культ Неба), которая служила идеологической опорой всей этой системы и которую в любых ее вариантах следует отличать от мировых религий, решающих этические проблемы жизни и смерти индивида. «Китайцы свято верили, что в своих действиях император («сын Неба» — А.Л.) ответственен только перед Небом, вручи-

шем ему отцовскую власть над подданными»¹. Суть же «договора» заключалась в том, что, как предполагалось, «Небо видит и слышит глазами и ушами народа». Поэтому и «свержение <...> династии в результате народного восстания рассматривалось как возмездие Неба за пренебрежение государя народными нуждами»².

Существенно при этом, что народ в такой системе выступает как нерасчлененная на индивиды масса. Под массой я имею в виду совокупность людей, практикующих коллективные формы принятия решений и ответственности. В данном случае индивид растворен в коллективе и руководствуется исключительно общими для всех его членов смыслами. Древние «доосевые» культы коллективного служения богам и коллективной ответственности перед богами (в древних Шумере, Египте, Греции) являются хорошими примерами такой формы сознания и деятельности. Что касается корректирующих воздействий народной массы на государственную систему, то их важной особенностью является стихийность. Она носит не рациональный, а эмоциональный, импульсивный характер — как правило, протестного типа.

Разумеется, то, против чего направлен протест, должно накопиться. Крайняя его форма — бунт. Сам по себе он ничего не создает и создать не способен. Это чисто разрушительное действие, но, в отсутствие механизма учета идущих снизу запросов и возникающих ввиду проблем и разрывов, именно народные бунты во многом выполняют роль такого механизма. Результатом же бунта, если он перерастает в победоносное восстание, оказывается смена конкретного самодержца (и его посредников), но не смена самодержавной системы на другую.

Все перечисленные особенности массы характерны прежде всего для крестьян. Их обобщенная организация и многие свойственные им черты общи у разных обществ, будь то Китай, Россия или средневековая Франция. Они заданы изначально и воспринимаются как данность. Но роль крестьянства не везде одинакова. На Западе его малая самостоятельная значимость была связана в первую очередь с наличием свободных городов, которые в значительной степени, хотя и косвенно, служили посредниками между интересами крестьян и остальными субъектами, играя важную роль в воспроизводстве системы правовых отношений и в их распространении на само крестьянство. Города включали его в интенсивные торговые отношения, способствовали процессам урбанизации значительной части сельского населения, поощряли его приобщение к городской культуре. Системообразующая роль феодально-вассальной системы и свободных городов проявилась здесь и в данном отношении. На Востоке же, напротив, системообразующую роль играло именно крестьянство, что не замечается при обычном политологическом анализе, сосредоточенном на изучении политической борьбы за властные места.

В этом — принципиальное отличие концепции «самодержавной системы правления» от концепции «вотчинного (patrimonial) строя» Ричарда Пайпса (и Макса Вебера). Вотчинная власть у Пайпса растет «сверху», от верховного правителя или правительства, в центре его анализа — «господство» и господствующие группы и слои общества. Аналогичный подход обнаруживается и в концепции «русской системы» Ю. Пивоварова и А. Фурсова. У них, как и у Пайпса, «народ суть объект правящей власти». Иными словами, система устанавливается сверху, а не снизу, системообразующим элементом опять-таки выступает Власть, а не «народные массы». Показательно, что и у Пивоварова с Фурсовым, и у Пайпса система правления России сопоставляется с европейской, а не, скажем, с китайской. Сравнение же с Европой неизбежно подталкивает мысль авторов к констатации уникальности российской системы правления,

¹ Сидраменко В.Я. Китай: страницы прошлого. М., 1974. С. 121.

² Матвей В.В. Китайская цивилизация. М., 2000. С. 108, 109.

тогда как сопоставление с Китаем указывает, скорее, на ее типичность для неевропейских обществ, для стран Востока.

Одно из главных отличий описываемого Востока от Запада Нового времени — отношение к индивидуальной человеческой жизни. Если Запад провозгласил ее высшей ценностью, то для Востока характерно представление о низкой цене индивидуальной жизни, разделяемое не только «верхами», но и «низами». И обусловлено это тем, что ни о каких индивидуальных решениях и индивидуальной ответственности, характерных для граждан, здесь не может быть и речи, а потому народ — и в глазах самодержца и его представителей, и в собственных глазах — выступает как масса, а не как совокупность индивидов. К массе же, коль скоро она образовалась, опасно подходить как к совокупности индивидов, жизнь каждого из которых самоценна. У нее, как и у самодержца, другие ориентиры и другая логика поведения. Здесь — глубинная причина «несоизмеримости» восточной и западной культур.

Перейдем к правой части рисунка 2. Для управления массой самодержец использует посредническо-управляющую прослойку, которую часто сам и создает и в которую входит прежде всего чиновничество и офицерство. Эти группы организованы иерархически и занимают в обществе привилегированное положение. Именно на посредническо-управляющую прослойку бывает направлена, в первую очередь, ненависть массы, в сознании которой представители этой прослойки отделены от царя-самодержца, наделяемого положительными чертами заботливого родителя. Поэтому, хотя в рамках общей идеологии «Неба» самодержец, в принципе, отвечает не только за себя, но и за подчиненных ему «посредников», на него ненависть народных масс обращается в последнюю очередь.

Представители данного слоя по роду своей деятельности вынуждены были принимать, в пределах их компетенции, управленческие решения, хотя часто пытались этого избежать. И в любом случае они несли личную ответственность перед вышестоящими начальниками. Поэтому они не были массой в указанном выше смысле. В их среде развивались индивидуализированные формы высокой культуры, связанной с образованием и обращенной к индивиду.

Особое место занимают в системе «кресты» — творцы идеологий, обслуживающие государственную религию (левая часть рисунка 2). Их следует отличать от тех, кто связан с «мировой» религией, философией, наукой, искусством, относимых к высокой культуре и апеллирующих к индивиду, а не к массе.

Типичные сопутствующие болезни такой системы правления — отсутствие внутренних стимулов к развитию и постоянный рост мадонизма. «Императорский абсолютизм с неизбежностью порождает своего извечного спутника — фаворитизм, а вместе с ним фракционную борьбу и злоупотребления на всех уровнях государственного аппарата»³.

Дополнением к модели земледельческого большого государства Востока, за образец которого я взял Китай, является большое кочевое государство, примером которого может служить империя Чингисхана. Здесь мы имеем ту же системообразующую структуру «царь-самодержец — народная масса», но последняя представлена не земледельцами, а воинской массой, коллективной формой деятельности которой является не возделывание земли, а массовые военные действия и — лишь во вторую очередь — скотоводство. Тот же тип правления был характерен и для Золотой Орды, ставшей существенной частью среды, в которой формировалось Московское царство.

Итак, самодержавная система правления выступает в виде системы мест-ролей: народные массы, самодержец, иерархически организованный посредническо-управ-

люющий слой, жрецы, причем все это задается согласием «народных масс», т.е. «снизу». В какие институциональные формы будут оформлены те или иные места, какие индивиды и группы и как их будут захватывать — вопрос второстепенный. Как и вопрос о том, как будет оформлено место самодержца — будет ли оно занято лицом, непосредственно осуществляющим принятие решений, или марионеткой в руках некоей группы. Все это — лишь различные вариации данной системы правления. То, что называется в ней политикой, представляет собой борьбу различных групп и индивидов за то, чтобы занять соответствующие места. Здесь не человек определяет место, а место делает человека. С этой точки зрения «феномен Путина 2000 года» состоял в том, что его поместили в такое место. Поэтому его задача упрощалась — надо было лишь на этом месте удержаться, как в седле, не делая серьезных ошибок.

Народная масса в такой системе часто «безмалствует», т.е. в политической борьбе за власть участия не принимает. Но если ей становится невозможно, то, как уже говорилось, начинается бунт, который может смести и самодержца, и посреднический слой. А после этого на новом человеческом материале и, возможно, с помощью других социальных институтов самодержавная система воспроизводится. В отношении же посредническо-управляющего слоя и культивируемой им высокой культуры здесь напрашивается аналогия с жизнью на склонах пулхана.

Это — классическая структура управления для стран «вне Западной Европы. И именно она была воспроизведена в России, где опиралась на два имевшихся образца: византийский (в русской интерпретации) и ордынский. Первый из них неоднократно провозглашался образцом в плане идеологии, а второй был практическим ориентиром в период становления российской самодержавной системы правления.

О концепции Александра Янова

Понятно, что при таком понимании специфики России и ее государственности я не могу согласиться с утверждением Александра Янова о том, что Россия «родилась Европой» и «много веков <...> была страной европейской». Это утверждение, если судить не только по выступлению Александра Львовича в данной дискуссии, но и по другим его текстам, основано на отождествлении им «европейскости» с традицией «вольных дружинников», «усилением дифференциации крестьянства и перетеканием его в города», а также ростом последних в послемонгольской Московии. Но само по себе все это отнюдь не свидетельствует о европейском векторе развития.

Да, Москва, скажем, была больше многих крупных городов Европы, но это можно сказать и про столицы других больших восточных царств той эпохи. Да, по-видимому, был бурный рост числа городов, но большинство из них, на что указывает и сам Янов, были крепостями и административными центрами. А описание большинства этих городов у А. Зимина, на которого часто ссылается Александр Львович, как и описание Москвы-столицы, очень напоминает описание В. Малевичем городов и столицы Китая тех времен. «Город в Китае не утверждал себя и не пытался утвердить себя в качестве самостоятельной силы. Империя по-своему „признала“ город, введя для горожан особую систему налогообложения, но отказывалась видеть в горожанах особую социальную группу и не допускала даже мысли о возможности особого городского права. <...> Город в Китае никогда не выступал как самостоятельная политическая и социальная сила. Он был скорее фактом повседневной жизни, чем историей государства и общественных институтов. <...> Одним словом, город в Китае не был обособленной горожане»⁴.

Это совсем другая, чем в Европе, «урбанизация» и совсем другие города, «воздух» которых не делал людей свободными. Если же говорить о Руси, то здесь даже Новгород

⁴ Малевич В.В. Указ. соч. С. 50, 53.

и Псков были скорее древними торговыми городами-государствами, чем западными свободными городами, прошедшими «коммунальную революцию» и образовавшими особый массовый субъект внутри большого государства. «В русских городах не возник бюргерский городской патрициат. Этим обстоятельством и княжеским характером города на Руси обусловлено то, что здесь не сложились ни специфическое „городское“ право, ни собственно городские вольности. Вольности Новгорода и Пскова были правами не городов, а земель и боярства. По этим же причинам русские города фактически не знали и гильдейско-цеховой организации»⁵

Аналогичной оказывается и ситуация с дружиной. Да, дружина была одним из исходных пунктов долгого пути, приведшего к X–XII векам к вассалитету и тому, что имеет смысл называть Западом или Европой. Но на Руси ордынское господство способствовало идущему сверху вытеснению дружинных отношений из государственной организации, и к XV–XVI векам последние их остатки исчезают, и рождается новый тип отношений: государь — холоп. Приводимая же Яновым цитата из Ключевского о «сильной аристократии» («вольные слугах князя по договору»), призванная подтвердить сохранение дружинных традиций в постемонгольской Руси, у представителей высоко ценяемой Александром Львовичем когорты историков 1960-х С. Шмидта приобретает несколько иной смысл. С ее помощью проясняется происхождение системы местничества, вводящего принцип коллективной (родовой) ответственности княжеско-боярской элиты и соответствующее ему распределение должностей. Это мало чем напоминало западный индивидуальный вассальный договор с его принципом «сам себе право», на чем и было основано европейское рыцарство. Да, местничество существовало не только в Московии, но и в Литве. Однако не Литва и не местничество определяли вектор европейского цивилизационного развития.

Резюмирую. В Московской Руси еще до Ивана Грозного под влиянием Орды сложилась сильная холопско-дворянская компонента государственной организации. «Самодержавная революция» Грозного закрепила ее, равно как и государственную религию в виде иосифинской линии православия. После этого самодержавная система правления восточного типа становится в стране политической реальностью. И хотя, как справедливо отмечает Янов, в последующие века «Россия сумела освободиться практически от всех нововведений самодержавной революции», система эта сохранилась. Потому что она поддерживается не столько теми или иными нововведенными сверху, сколько «народной массой». Или, в терминах Александра Львовича, «массовым сознанием».

Ключевое, народная масса (крестьянство) не сама устанавливает самодержавие и учреждает соответствующую систему мест. Но коль скоро оно образовалось «сверху», она составляет его опору, делает такую структуру устойчивой. Новгород и Псков, равно как и казачество, на которых любит ссылаться как на альтернативу самодержавию, никогда не претендовали на формирование большого государства. Короче говоря, если на почве западных договорно-вассальных отношений самодержавная система правления длительное время существовать не может, то при наличии народной массы (крестьян и рекрутируемых из них солдат) существовать может только она. И, соответственно, договорные отношения при таких обстоятельствах не могут укорениться, потому что массы всегда предпочтут им самодержавное правление, с подобными отношениями не сочетаемое.

Вторая особенность России: западная культура

Но специфика России не сводится лишь к «восточной» природе ее государственности. Отличаясь от Запада, она со временем стала отличаться и от Востока. И здесь мы вплотную подходим к тому системному противоречию, о котором я вскользь упо-

⁵ Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 236.

минул значаще и которое, возникнув в петербургский период истории России, воспроизводится до сих пор.

Оно образовалось в результате того, что Россия значительно раньше других восточных обществ, еще в XVII веке, столкнулась с военными вызовами со стороны Запада Нового времени, стремительно обогнавшего все другие цивилизации. И поэтому Россия вошла в режим «догоняния», который потребовал освоения военных и технологических достижений Европы. Это успешное «догоняние» и составляет суть бурного развития России в петербургский период, символами которого стали Петр I и Екатерина II. При этом изменения имели место главным образом в посредническо-управляющем слое.

Освоение технических и организационных достижений закономерно сопровождалось освоением и переработанием западной культуры Нового времени. А эта культура, благодаря которой Запад вырвался вперед, в своих основах содержит представление о свободном индивиде и его правах и несовместима с самодержавной системой правления. Поэтому в России постепенно возникает несоответствие между этой системой и необходимым для военно-технического совершенства с Западом образованным слоем. Будучи подключен к европейскому образованию, он стал развиваться по своей логике, чуждой духу самодержавия. В результате и сформировалось основное системное противоречие российского общества — противоречие между развивающейся светской культурой западного типа и самодержавной системой правления, типичной для Востока. Логика формирования этого противоречия схематически выглядит так:

Догоняние => образование => культура => свободная личность
⊕ протест против самодержавной системы правления

Рисунок 3. От догоняния к протесту

Впервые данное противоречие выступило наружу в восстании декабристов, после подавления которого в образованном слое возникает противопоставление двух ролей: «чиновника» и «интеллигента». Вследствие этого посредническо-управляющий слой расщепляется: одна его часть осталась партнером царя в осуществлении власти, а другая составила основу интеллигенции, плохо совместимой и с самодержавием, и с народными массами.

В России укоренилось два различных значения слова «интеллигенция». Первое из них фиксировало ее культурное и нравственное качество. В данном отношении интеллигенция представляет собой, пользуясь удачной формулировкой Ричарда Пайпса, «некое внеклассовое образование, борющееся за всеобщее благо» (в отличие от «общественно-экономической группы, выступающей за свои конкретные интересы»). Интеллигент — «это тот, кто не поглощен целиком и полностью своим собственным благополучием, а хотя бы в равной, но предпочтительно и в большей степени печется о процветании всего общества и готов в меру своих сил потрудиться на его благо»⁶.

Наряду с этим существовало и более узкое понимание интеллигенции, делающее акцент на ее политическом противопоставлении официальной власти. «В 1870-х гг. молодые люди, обладавшие радикальными философскими, политическими и общественными взглядами, стали утверждать, что право носить титул интеллигентов принадлежит им, и им одним. <...> К 1890-м гг. русскому человеку уже мало было иметь образование и участвовать в общественной жизни, чтобы удостоиться этого звания.

⁶ Лайтс Р. Россия при старом режиме. М., 1933. С. 226, 328–330.

Теперь он должен был стойко выступать против <...> старого режима и быть готовым принять активное участие в борьбе за его свержение. Иными словами, принадлежать к интеллигенции значило быть революционером⁷.

Но при любом толковании российской интеллигенции предстает как продукт западной культуры и ее носитель в условиях несочетаемой с ней самодержавной системы. Ни в Китае, ни в других странах с аналогичной системой такого не наблюдалось. Там высокая культура (типа конфуцианства), сосредоточенная в посредническо-управляющей прослойке, не входила в противоречие с системными условиями. Не было его и на Западе.

Итак, российская социокультурная система оказывается кентавром, включающим два несовместимых элемента: восточную самодержавную систему управления и западную высокую культуру, без которой нельзя конкурировать с Западом, практически всегда остававшимся референтной группой не только для российской интеллигенции, но и для российских правителей. Формирование такого кентавра — главный итог петербургского периода отечественной истории. Так я отвечаю на вопрос Алексея Миллера о том, в чем конкретно заключается гибридность российской государственности.

Системное противоречие, заложенное в нее петровскими реформами, закономерно сопровождалось возникновением постоянного колебательного двухфазового процесса внутри самодержавной системы. Желание-необходимость догнать Запад запускает переход к модернизаторско-западнической фазе, осуществляемой самодержавием под лозунгом: «Россия — европейская страна». В этой фазе сверху инициируются реформы (или их разработка) и активизируется либерально-демократическая часть российской интеллигенции: в относительно чистом виде все это можно наблюдать в эпохи Екатерины II, Александра II, а также Горбачева. Но если даже реформы на определенных направлениях оказываются успешными, они ведут к ухудшению положения «народной массы», т.е. базисных для самодержавной системы слоев. Кроме того, логика реформ неизбежно начинает проблематизировать сам принцип самодержавия, ставя его под сомнение. В результате самодержавие при поддержке основной части населения начинает свергаться начавшиеся преобразования и переходить к контрреформам, теперь уже под лозунгом: «Россия — это не Европа». Происходит резкий переход к почвенническо-охранительной фазе, следствием чего оказывается очередной застой и потеря конкурентоспособности по отношению к Западу, порой сопровождающаяся военным поражением. Желание-необходимость ликвидировать отставание приводит к новому циклу.

Однако в области самой высокой культуры, в отличие от социально-политической сферы, эти колебания приводили лишь к неравномерности поступательного развития в европейском русле, а не к свертыванию этого развития. Поэтому в культуре Россия в XIX веке двигалась хотя и с некоторым отставанием, но более или менее в ногу с Европой. Развитие, искусства, науки, философия, а также экономика были прямым следствием европейского образования, формировавшего интеллигенцию в первом значении этого слова, т.е. людей, возмужавшихся идеалом амницированной, сознательной и самоосознающейся личности, служащей общему делу.

Этот идеал многим казался, как кажется и сегодня, противостоящим западной «буржуазности» и присущему ей эгоизму. Чтобы лишний раз убедиться в живучести такого представления, достаточно прочитать тексты Сергея Маркова в нашей дискуссии. Так что попробуем разобраться.

Понятие личности не вписывается в популярную не только в наши дни оппозицию «эгоист — коллективист». Кроме состояния атомизированного индивида, исходя-

⁷ Лайтс Р. Указ. соч. С. 328–330.

щего только из личной выгоды, и коллективным состоянием массы есть еще третье, личностное состояние, в котором индивид не сливается с коллективом, но и не является изолированным атомом, имея общественно значимые ценности и идеалы. Переход из второго состояния в третье в истории народов, начиная с Древнего мира, осуществляется, как правило, через первое (жесточечное) состояние. Но при его доминировании общество долго существовать не может: оно либо сплывается назад, в чисто коллективное архаичное бытие, либо выходит в личностное состояние, связанное со свободой и ответственностью, либо погибает. Учитывая, что в западной цивилизации архаизация не наблюдается и что развивается она достаточно успешно, отождествление всего Запада с «буржуазным эгоизмом» следует признать не соответствующим действительности. Помимо этого там есть еще идеалы свободы и личностного патриотизма, гораздо более глубокого и сознательного, чем предписываемый системами самодержавного типа патриотизм «винтика».

Противопоставление российской высокой культуры, западной по своему происхождению, культуре самого Запада является одним из следствий того положения, в котором находился в России образованный слой, и особенностей той среды, в которой ему приходилось существовать и искать способы своей легитимации. Он всегда оставался крайне тонким, лишённым опоры не только в народной массе, но и в аппарате самодержавной системы правления, даже если отдельные представители этого слоя в него попадали. «Почти непроходимая пропасть лежала между управителями, служившими в центральных канцеляриях Петербурга и Москвы, и чиновниками губернской администрации. Честные управители встречались почти всегда только в центре, в министерствах или соответствующих им учреждениях. Идея государственной службы как служения обществу была совершенно чужда русскому чиновничеству <...>. Поскольку столичное и провинциальное чиновничество почти не общалось друг с другом, дух общественного служения, зародившийся в первом, почти не просачивался в страну, и для подавляющего большинства чиновников своекорыстие и мздоимство были стержнем жизни; им и в голову не приходило, что может быть иначе»⁸.

Западная культура производит западное качество государственности и органически вписанный в нее западный тип интеллектуала, если она имеет опору в массовых образованных слоях. Таковых, однако, в России не было. При всем том, что соотношение «образованных» и «неестественных» слоев общества к началу XX века сильно изменилось в пользу первых, они и тогда концентрировались главным образом в столицах и, в меньшей степени, в губернских центрах, составляя меньшинство городского населения. К тому же и по своим социокультурным характеристикам российский город начала XX века, населенный в основном иерархичными крестьянами, очень мало напоминал европейский свободный город, из которого произросла современная западная цивилизация.

Поэтому системное противоречие российской самодержавной государственности не могло быть разрешено. Что же мешало, однако, выдвиганию идеологических проектов такого решения.

Четыре проекта решения системного противоречия

Из самого характера этого противоречия логически вытекают четыре варианта его решения: 1) отказ от самодержавной системы правления, сохраная и развивая западную российско-европейскую культуру; 2) отказ от западной российско-европейской культуры ради сохранения самодержавной системы правления; 3) создание новой высокой культуры, не противоречащей самодержавной системе правления; 4) смена того и другого.

Этим вариантам соответствуют четыре программы, которые были выданы в среде интеллигенции в XIX веке. Две из них — модернизаторские и две — почвеннические.

Модернизаторские программы были ориентированы на слом самодержавной системы, но ради достижения разных целей.

Первая из них — либерально-демократическая — предлагала на базе выросшей в ходе петровско-екатерининских преобразований русской национальной европейской культуры совершить переход от самодержавной системы правления к республиканско-демократической системе западного типа. Речь шла о трансформации общности, основанной на самодержавной власти, в общность национальную, основанную на культуре.

Использование слова «национальная» здесь обусловлено тем, что базовыми элементами национальных государств, сформировавшихся на месте бывших «территориальных государств», являются заменяющая государственную религию национальная история и адресованная индивиду светская национальная культура. Эти элементы в России на модернизаторских фазах описанного выше колебательного цикла были созданы. Более того, процесс формирования нации («гражданской нации»), который до революции шел во Франции, очень напоминает происходившее в России. Однако здесь он остановился на стадии, соответствующей преддверью Французской революции, т.е. предшествующей ключевому этапу, когда возникает бессловесное светское основание для национального государства. Скажем, «Историю государства Российского» Н. Карамзина можно считать «преднациональной», потому что в первую очередь она была историей русских царей, а не народа. Но это было характерно и для европейской истории периода монархий. Превращение такой истории в национальную — следующий шаг, который в России не сделан до сих пор (см. выступление в дискуссии А. Аузана).

В принципе возможны два варианта реализации национального проекта: реформа сверху (со стороны самодержца) и революция снизу (со стороны интеллигенции). Надежды на первый путь обычно популярны у либерал-демократов на начальной стадии модернизаторской фазы самодержавного цикла, который воспринимается ими как курс на европеизацию. Но по мере осознания ограниченности подобных реформ и иллюзорности связанных с ними надежд все большая часть этой интеллигенции начинает склоняться к революционному варианту. Неудачными попытками реализации последнего были восстание декабристов 1825 года и Февральская революция 1917-го. Неудачи были закономерными, поскольку в крестьянской стране для осуществления этого проекта не было социальной базы.

В основе данного проекта — идеал свободной, ответственной и творческой личности и личного типа патриотизма. В основе другого антисамодержавного проекта — революционно-народнического — идеал «народа», которому отводилась главная роль в осуществлении революции. Этот проект в трансформированном виде реализовался в большевистском перевороте, с которого началась советская новомосковская эпоха.

Природа советского модернизаторского проекта, провозглашавшего своей целью слом самодержавной системы и формирование новой социалистической культуры, двойственна. При внешнем взгляде это великая социалистическая революция, уничтожившая самодержавие, а при взгляде изнутри — это его воспроизводство в радикально обновленном виде.

Почвеннические проекты, в отличие от модернизаторских, на основы самодержавной системы не покушались. Их инициаторы видели свою задачу в том, чтобы освободить эту систему от европейско-российской высокой культуры Нового времени.

Первый такой проект можно назвать самодержавно-православием. Наиболее известный его идеолог — граф Сергей Уваров с его триадой «православие, самодержавие,

народность», ставшей при Николае I официальной идеологией. В политике Николая и его последователей (вплоть до современных), исходя из объективной враждебности европейской культуры самодержавию, этой культуре было противопоставлено православие. Точнее, связанное с государством официальное православие, т.е. православие как государственная религия, как идеологическая основа самодержавной системы правления. Этот проект, по сути, провозглашал отход от петровско-екатерининского европеизма и возвращение к государственной структуре средневековой Московской Руси. «Подобно тому, как Екатерина Великая заявила в 6 статье „Наказа“, что Россия — европейская держава, Уваров настаивал теперь на отличии России от Европы»⁹.

Но такой самодержавной проект не в состоянии был обеспечить необходимые темпы развития и успешную военную конкуренцию с Западом, что произошло в проигранных Крымской и Японской войнах. Ресурса для возрождения московского царства не было. Поэтому этот период стал лишь очередной фазой контрреформ в ходе описанного выше двухфазного колебания внутри самодержавной системы правления.

Второй почвеннический проект можно назвать самодержавно-православно-народным. У него были две версии, ни одна из которых статуса официальной идеологии не добились, — славянофильская и еurasийская, оформившаяся уже в XX веке.

Славянофилы пытались создать незападную высокую культуру, совместимую с самодержавием, но, одновременно, противостоящую николаевско-уваровской «официальной народности» как недостаточно народной. Будучи знатоками и ценителями европейской культуры (многие из них получали образование в европейских университетах), они пытались решать не только русскую, но и общую проблему европейской цивилизации, искали пути ее перевода из приземленно-прагматической «буржуазности» в новое духовное состояние. Применительно к России это проявилось в критике петровских реформ, как разрушительных для народного жизненного уклада и его религиозно-православных устоев, и в выдвижении «Русской идеи», понимаемой как альтернативный западному небуржуазный «особый путь», опирающийся на народно-религиозный идеал «соборности».

Славянофильский проект не предлагал какой-либо программы действий. Социальная база его сторонников вряд ли выходила за границы небольших групп интеллигенции и, по-видимому, была еще более узкой, чем у либеральных демократов. Но славянофилы, введя в русскую мысль тему народа (и народа как идеала), оказали влияние на развитие отечественной религиозной философии и культуры в целом. Кроме того, некоторые их идеи вошли впоследствии в интеллектуальный арсенал революционных народников, в деятельности которых и выяснилось, что «народ» славянофилов (и самих народников) с реальным народом имел мало общего, а идеализированная ими крестьянская община никаким культурно-цивилизационным потенциалом не обладала.

Еurasийская версия этого проекта оформилась после большевистской революции и с учетом ее опыта. Eurasийцы находили его полезным, потому что большевики уничтожили ориентированных на Европу монархистов и либералов и создали новый правящий слой, вышедший из народа и уже тем самым преодолевший тот «разрыв между народом, который со времен Петра не хотел европейской культуры» и носителями государственной власти. Eurasийцы надеялись, что большевики и их коммунистическая идеология — это лишь промежуточный этап на пути к становлению новой Московии¹⁰.

⁹ Иордан Р. Стенарем власти. Мифы и церемонии русской империи. М., 2002. Т. 1: От Петра Великого до смерти Николая I. С. 497.

¹⁰ Друбский Н. Eurasийство. Опыт систематического изложения // Пути Eurasии. Русский интеллигент и судьба России. М., 1992. С. 380, 389.

Как и у славянофилов, центральный пункт идеологии евразийцев — православие и православная церковь, которая «эмпирически и есть русская культура, становящаяся церковью». Поэтому и новомосковское царство выдвинуто им выстроенным на основе «органической и необходимой связи между церковью и государством»¹¹. Но, в отличие от славянофилов, они считали Россию не только «наследницей Византийского царства», но и наследницей империи Чингисхана, в которой «впервые евразийский культурный мир предстал как целое»¹². Светской европейской культуре и ее идеалу свободной личности противопоставлялось нечто принципиально иное: «Весь смысл и пафос наших утверждений сводится к тому, что мы осознаем и провозглашаем существование особой евразийско-русской культуры и особого ее субъекта как симфонической личности»¹³.

Что означала эта идеология с точки зрения государственного устройства? Очевидно, что она не выходила за пределы самодержавной системы, а была попыткой преодолеть ее базовое противоречие иначе, чем сделали (как оказалось, тоже не навсегда) большевики. Судя по признаниям самих идеологов евразийцев, «нечто подобное этому (евразийству. — А.Л.) представляет собой итальянский фашизм, который оценивался положительно»¹⁴. Учитывая же, что православие при этом объявлялось «высшим, единственным по своей полноте и непорочности исповеданием христианства», позволяющим России претендовать на «руководящую и главенствующую роль в ряду человеческих структур»¹⁵, можно представить себе, чем русский (евразийский) фашизм должен отличаться от его других разновидностей.

Старые идеологии и новые идеологи

Сегодняшняя ситуация на первый взгляд кардинально отличается от той, которая была в царской и советской России первой половины XX века. Сегодня мы имеем не крестьянское, а высокоурбанизированное население с всеобщим средним и массовым высшим образованием. Но, похоже, советская урбанизация сильно разнится с западной по своим результатам. Ее базовой моделью был совхоз-колхоз, ибо заводы и НИИ, цеха и лаборатории по структуре отношений очень напоминали совхозы-колхозы и бригады на селе. Советская урбанизация привела к преобразованию крестьянской «массы» в городскую «массу», сохранив основу для самодержавной системы. Гуманитарно выхолащенное советское образование не смогло разложить эту основу.

Однако кроме советских «образованцев» были еще и высококвалифицированные научные и инженерные кадры ВПК. ВПК — этот форпост «догоняния» — и воспроизвел в послевоенном СССР новое поколение интеллигенции, обратившейся к дореволюционной русской и современной западной культуре. Наряду с этим (особенно с 1970-х годов) развивалось ориентированное на западные стандарты потребления индивидуализированное потребительское общество и связанный с ним «средний класс», лишь частично пересекающийся с интеллигенцией. Но на почве возрождающейся в России духовной и материальной культуры западного типа воспроизводилось и старое системное противоречие. А вместе с ним и старые мифологемы, старые культурные и социальные проекты.

Перестройка и Август 1991-го стали прежде всего результатом активности этой порожденной ВПК интеллигенции (с примесью компонента массового народно-

11 Дружинин И. Указ. соч. С. 386.

12 Там же. С. 371.

13 Там же. С. 375–376.

14 Там же. С. 386.

15 Там же. С. 382, 379.

го антикоммунистического бунта). Тон здесь поначалу задавала возродившаяся в 1960-е годы либерально-демократическая линия. Однако этот импульс, как и в феврале 1917-го, оказался непродолжительным.

Спаду либерально-демократической волны способствовало то, что реформы 1992 года ударили в первую очередь по ее социальной базе — квалифицированным бюджетникам (в науке и производстве, особенно в ВПК, а также в образовании и медицине). В результате либерально-демократический слой интеллигенции оказался истощен до предела. Именно этот (а не просто антикоммунистический) слой, относительно массовой и активный в больших городах, был «деклассирован» и деморализован реформами.

Но дело не только в размыкании социальной базы. Хорошо представленные во власти либералы первой волны, не говоря уже о Б. Ельцине, не устояли перед соблазном восстановить самодержавную систему правления. Ельцинская конституция 1993 года стала выражением этого стремления. Оно было реализовано благодаря «опоре на массы»: инструментами утверждения «самодержавной» конституции стали референдум и СМИ, с помощью которых все оппоненты раскрашивались в «красно-коричневый» политический цвет. Что касается В. Путина, то он продолжил начавшееся до него восстановление самодержавной системы — независимо от того, было ли у него сознательное намерение осуществить это. И опять-таки все происходило при «опоре на массы».

Так что мой вывод относительно природы персоналистского режима прямо противоположен выводу Михаила Краснова. Я считаю, что именно патриархальные взгляды «общества» (народной массы) «востребуют персоналистский режим». Не могу согласиться и с тем, что, обладая президентским постом и высокой популярностью (высоким рейтингом), лидер может инициировать изменение институциональных условий. На мой взгляд, это — иллюзия. Если даже такой внесистемный президент-реформатор вдруг объявится, создаваемая им система будет неустойчива. Главный вопрос — сохранится ли при этом неиндивидуализированная «народная масса» или будет преобразована. Яркими примерами такой неустойчивости в нашей истории мне видятся переходы от Февраля к Октябрю в 1917 году и особенно от Августа 1991-го к Октябрю 1993-го.

Среди участников дискуссии много сторонников либерально-демократического проекта, включая и меня, т.е. тех, кто выступает за свободу и достоинство личности и против самодержавной системы правления, предполагающей отношение к человеку как к «винтику» или «материалу». Эта позиция, повторяю, не отменяет личностный патриотизм, хорошо известный в истории как Запада, так и России. И эта позиция, сформировавшаяся в нашей стране в XIX веке, значительно глубже и шире, чем, скажем, нынешняя программа «Союза правых сил», с которой она у многих ассоциируется. В политическом поле России она сегодня раздроблена на различные веточки (от СПС до социал-демократов), но по большому счету эти подробности пока не очень важны. В нашей дискуссии все представители различных ветвей и оттенков этой позиции объединены как противники почвеннических проектов. Это — главный и наиболее глубокий водораздел.

Как же выглядят в дискуссии современные почвенники? Чем похожи они на своих предшественников, о которых говорилось в предыдущем разделе, и чем от них отличаются?

Первое, что бросается в глаза, — размытость и эклектичность их позиций, готовность интегрировать в них идеи и ценности, которым почвенники прежних поколений противостояли последовательно и бескомпромиссно. Исключение составляет, пожалуй, только Дмитрий Володизин, прямо и открыто заявивший, что «Россия — ужасающая самодержавная монархия». Поэтому с него и начну.

Дискутант, по его собственным словам, представляет некое «новое направление» — «русский консерватизм», который противопоставляет «либерализму», «глобализму» и «демократии», как не соответствующим ценностям «Русской Православной цивилизации». Нетрудно заметить, что «русский консерватизм» представляет собой идеологический гибрид старых почвеннических программ (ближе всего он к евразизму). Воспроизведенное сегодня заново системное противоречие российской государственности предлагается устранить посредством устранения западной культуры, а необходимость и жизнеспособность самобытной альтернативы ей обосновывается исключительно тем, что сама западная цивилизация существует слишком недолго, и долговечность ей не гарантирована. Незонитно только, почему альтернатива Д. Володихина, столько раз уже в России испробованная и неоднократно обнаружившая свою несостоятельность, окажется состоятельной на этот раз.

В определенном смысле последователен и Сергей Кургинян, выдвигавший для России единственный выход из тушикового состояния (на моем языке — из системного противоречия) в том, чтобы «стать состоятельным носителем некоего нового универсалистского замысла». Но — какого? Ответа нет. Есть лишь плохо скрываемая ностальгия по временам коммунистического самодержавия и огорчение по поводу того, что свой «универсалистский замысел» большинством реализовать не удалось.

Выступая в роли аналитика, С. Кургинян указывает на необходимость иметь в виду глобальный геополитический контекст, когда для главных игроков-субъектов в лице США, Японии, Европейского союза и Китая Россия оказывается, с одной стороны, чужеродной страной, а с другой — лакомым ресурсом. В такой ситуации ее неконкурентоспособность может обернуться гибелью Российского государства. Иными словами, стимул борьбы за выживание и «догоняние» для России по-прежнему актуален. А борьба требует мобилизации, жертв и соответствующей идеологии. Поскольку же эти сюжеты в дивной дискуссии отсутствуют и речь в ней, по мнению С. Кургиняна, идет лишь об «оптимизации» государства, то и сама дискуссия объявляется им бессмысленной.

Но мы обуждем отвлечь не вопросы «оптимизации». Речь идет о том, какие проекты государственности растут на почве нашей истории и культуры, каков их потенциал и чем они чреваты с точки зрения выживания и государства, и общества. А С. Кургинян предлагает вместо всего этого поговорить о том, возможно ли вообще в современной России государство и какими жертвами такая возможность должна быть оплачена. Очень содержательный и искренний, надо полагать, получился бы разговор, в отличие от наивешнего бессмысленного и «тушавого». Насущный вопрос об «оптимальном типе российской государственности» был бы в нем благополучно утоплен, а те, кому на сей счет сказать нечего или говорить не хочется, получили бы шанс оказаться в нем в центре внимания.

Но если Д. Володихин и С. Кургинян все же ищут выход из системного противоречия самодержавия, надеясь освободить персоналистский режим от чужеродной для него западной культуры и соединить его с культурой, для такого режима органичной (православной либо новоянваралистской), то все другие приверженцы персонализма предпочитают оставаться в границах этого противоречия. Главная отличительная черта их идеологических построений — эклектическое соединение несоединимого, попытки гармонизировать разнородное.

Даже Александр Дугин, до самого последнего времени выступавший как последовательный евразиец, на этот раз представил нам рассуждения о «постмодернистской демократической империи», прообразом которой выступает у него Евросоюз, а о Византии и Чингисхане упоминается лишь вскользь. Не берусь судить, чего тут больше — готовности ревизовать наследие классического евразизма или желания адаптировать свой проект к умонастроениям либеральной аудитории.

Та же электика — у Сергея Маркова, который выступает одновременно как «убежденный сторонник демократии» и приверженец персоналистского режима Путина, как человек, которому близки ценности западной цивилизации и не менее дорога византийская имперская традиция. Но возможность совмещения несовместимого требует обоснования, которого у Маркова нет ни в одном из его пространных текстов. Каким образом надеется он использовать опыт Византии, которая не вошла в Новое время и потому, строго говоря, Европой не являлась, в процессе европеизации России, — ясно разве что ему самому. А как сочетать с византийским персонализмом «достоинство личности», а также «элементы идеологии прав человека и правового государства», не очень повитно, похоже, и Сергею Александровичу. Неспроста же под давлением оппонентов он в конце концов вынужден был признать, что «переход к правовому государству — это на сегодня задача неподъемная». Остается лишь добавить, что при персоналистском режиме или, что то же самое, при самодержавной системе правления она неподъемна в принципе. А не решив эту задачу, Россия сохраняет возможность идентифицировать себя с Византией и другими государствами восточного типа, но идентификация с Европой при таких обстоятельствах будет либо самообманом, либо сознательным обманом.

Примерно то же самое обнаруживается в выступлении Андраника Миграняна — правда, без свойственной С. Маркову духовной привязанности к Византии и вообще без каких-либо следов почвеннической традиции, от которой А. Мигранян дистанцируется. Он хотел бы видеть в России либеральную демократию англосаксонского типа, а персоналистский (авторитарный) режим считает единственно возможным политическим инструментом, с помощью которого эта цель может быть достигнута. Говоря иначе, на самодержца возлагается миссия исторического преодоления самодержавия. Но на чем основаны такие надежды, мне лично понять трудно.

Ссылки на политическую эволюцию Англии и Франции ничего не доказывают уже потому, что там изначально сложились государственные системы принципиально иного, чем в России, типа. Поэтому и историческая эволюция у них тоже до сих пор была иной. А Мигранян счел нужным напомнить об успешных реформах Александра II, но то ведь был всего лишь модернизационный полувихрь, из самодержавной системы не выходящий. Почему на этот раз самодержец пойдет дальше?

Если я правильно понимаю «полутрамотных людей», с которыми А. Миграняну «смешно и неинтересно говорить и полемизировать», то они его спрашивают: «Можно ли носить воду в решете?» В самом деле, очень трудно понять, на каком основании он считает, что в рамках самодержавной системы правления можно ожидать исполнения перечисляемых им «если»: «если наш сегодняшний модернизационный ресурс будет эффективно использоваться» (с чего бы это?), «если начнут формироваться элементы шестого технологического уклада» (с чего бы это?), если удастся «обеспечить целенаправленное расходование средств». Последнее, как и задача «пробить сопротивление бюрократии», вообще похоже на сказку. Как это сделать без разделения властей, свободных СМИ, гражданского общества? Даже при Сталине такое было невозможно. Поэтому я уж не знаю, кто дальше от реальности — Андраник Мигранян, уповающий на «возможности просвещенного авторитарного правления» и на «нашу конституцию», в которой «нет ни реального разделения властей, ни механизмов сдержек и противовесов», или «маргиналы вроде Явлинского», которые «говорят нам о необходимости независимого суда, независимого парламента, реального разделения властей?»

Да, эта альтернативная самодержавию сегодня слаба. Но и самодержавный проект является стратегически тулупком, а его сторонники даже не задаются столь ре-

зонным, казалось бы, вопросом о том, почему то, что уже не раз обнаруживало свою нежизнеспособность, на сей раз окажется жизнеспособным. Впрочем, и большинство из них в этом, похоже, не очень уверено, о чем можно судить по эклектичности их проектов, соединяющих персонализм с демократией, византийскую традицию с западными ценностями и Чингисхана с Евросоюзом. И это дает основания для осторожного оптимизма.

Тем не менее реальный выход из самодержавной системы пока не просматривается. Надеяться можно лишь на то, что для новых поколений базовыми ценностями станут все-таки достоинство человека и личностный патриотизм, которые вытеснят установки, свойственные «народным массам» Востока. Или, говоря иначе, базовыми станут ценности высокой западной культуры, которая давно уже стала российской высокой культурой и которая в левном виде содержит в себе и российскую идентичность. Сколько-нибудь существенно ускорить этот процесс нельзя. Но воспрепятствовать его искусственному блокированию, в том числе и интеллектуальному, можно и нужно. И дискуссии, подобные данной, этому хоть в какой-то степени способствуют.

**«СЕКРЕТ РУССКОГО САМОВЛАСТИЯ —
НЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И УГНЕТЕНИИ
НАРОДА, А В „ОТЕЧЕСКОЙ ЛЮБВИ“
К НЕМУ»**

Когда я прочитал статью Михаила Краснова, инициировавшую дискуссию, у меня возникло сомнение, стоит ли соглашаться на предложение участвовать в ней. Но потом, когда я познакомился с его книгой «Персоналистский режим в России», которая мне показалась очень интересной, у меня появилось желание высказаться по некоторым затронутым в ней сюжетам.

Многое из того, что в ней сказано, не вызывает сомнения. Будучи профессиональным юристом, Краснов дал блестящий правовой анализ нашей Конституции и сформировавшейся на ее основе политической системы. Впрочем, и до него многие отмечали допущенные в Основном Законе отступления от принципов конституционализма, говорили о нарушении баланса институтов власти. Но проведенная Красновым более тщательная экспертиза Конституции позволила ему сделать вывод о том, что именно в ней кроется причина сложившегося у нас, по его выражению, персоналистского режима, ставшего препятствием для формирования конкурентной политической среды.

Я, как и большинство участников дискуссии, не юрист и не правовец и, возможно, в своих высказываниях буду не всегда профессионально точен. Но для меня право — та же математика (была такая книга покойного В. Нерсисянца «Право — математика свободы», вышедшая в 1996 году). Формы конституционно-государственного правления могут меняться от конституционной монархии до президентской или парламентской республики. Но само конституционное право, как я понимаю, основано на некоторых общих и неизменных правилах, на своего рода правовой аксиоматике. Пренебрегаешь ею, и, как в математике, ответ не сходится. Разделение властей, составительность партий, выборность и сменяемость власти, легальность оппозиции — без этих и других аксиоматических принципов конституционного права любая конституция превращается в простую видимость правового документа. И никакая отсылка к исторической «матрице» не может служить оправданием для отступлений от этих принципов.

На ум приходит следующее сравнение: жывая в России или Европе, человек, решая математическую задачу, должен придерживаться одних и тех же правил, потому что никакой суверенной математики не существует. Сказанное верно и по отношению к демократии: при всех возможных различиях в главном она строится на базе правовых принципов, общих для любой части света. Об этом, собственно, и пишет Краснов, с чем я полностью согласен. Тут спорить не о чем. Мои возражения касаются ряда вопросов, возможно, выходящих за пределы чисто правовой проблематики.

Откуда берутся персоналистские режимы

Первый вопрос, который возникает, — это вопрос о том, откуда и почему у нас появился нынешний политический режим. Я не уверен, что именно Конституция является его причиной. Она узаконила этот режим, но не создала его. Ельцин появился

до Конституции, которая, как известно, писалась под него и с учетом одержанной им победы над представительным органом власти. Она как бы узаконила эту победу. Вопрос в том, как стал возможен Ельцин, причем при полной поддержке демократов. Чем руководствовались юристы, создававшие Конституцию? Ведь ее появление нельзя объяснить только их правовой безграмотностью, очевиден и определенный политический расчет, который в то время назывался политической целесообразностью.

Нам объяснить тогда, что Конституция разрабатывалась с целью недопущения прихода к власти коммунистов, т.е. в расчете на исключение из политической жизни поддерживавшей их весьма значительной части населения. А сделать это проще всего, объявив гарантом Конституции одно лицо, сосредоточив в его руках практически всю власть. Конституция основывалась не на правовом рационализме, а на вере в добрые (т.е. либеральные) намерения властвовавшего на тот момент лица. Вот из этого и следует исходить. Персоналистские режимы вообще основываются на вере в «доброе царя», а не на разуме, включая и правовой. И сегодня тоже не разум, а именно вера — «в хорошего президента» двигает большинством людей в их отношении к существующей власти. А ее правовые основания мало кого волнуют.

Но как быть дальше? Кто в состоянии внести в Конституцию необходимые изменения? Краснов уповает опять же на персоналистское решение данной проблемы. Рано или поздно к власти придет человек, который будет руководствоваться в своем политическом поведении правовым разумом. Правда, он забывает, что такой человек в нашей недавней истории уже был. Это — Горбачев. О нем Краснов упоминает вскользь и даже с некоторым пренебрежением, но Горбачев был первым, кто, будучи наделен огромной властью, пошел на ее добровольное ограничение. Все знают, что с ним сделали, и его пример не внушает особой надежды на возможность появления в персоналистской системе власти еще одного такого политика.

Считается, что Горбачев был слабым лидером и без всякой борьбы отказался от власти. Но разве борец с персоналистским режимом должен быть диктатором с железной волей? Им, скорее, может быть компромиссный человек, пытающийся договариваться со всеми. Не могу представить себе человека иного типа, способного добровольно решиться на самоограничение своей власти. Но как он окажется на ее вершине? Казус Горбачева в коммунистической системе был, скорее, случайностью, которой мы, похоже, так и не смогли воспользоваться.

Что же все-таки дингало темн, кто предпочел Горбачеву Ельцина? Я не хочу обвинять их ни в какой сознательной корысти. Возможно, они руководствовались самыми благими намерениями — желанием повернуть страну в сторону демократии и рыночной экономики, порвать с советским прошлым. Но почему они ошиблись в выборе первого? Что заставило их отвергнуть компромиссного и уступчивого Горбачева в пользу «царя Бориса»? Ведь не вслепую они действовали. Была же в их поведении какая-то логика.

Напомню, что большинство наших реформаторов, поддержавших Ельцина в его борьбе за власть, не имело опыта политической жизни в правовом государстве. Они хотели изменить страну средствами, которые с большим трудом можно назвать либеральными и демократическими. Либеральные реформы в любом случае должны основываться на согласии с ними если не всех, то хотя бы большинства населения страны. А достигается такое согласие только в постоянном диалоге власти с обществом. Наши либералы, придя к власти, предпочли иной путь. Столкнувшись в проведении рыночной реформы с психологической и просто исторической неготовностью к ней большинства россиян, с тем, что она шла вразрез с многими привычными для них понятиями и ценностями, с их, по выражению Гиттрима Сорозина, «базовыми инстинктами», они не нашли ничего лучшего, как провести ее сверху, используя, как говорит сейчас, «административный ресурс». Чем не повторение известного тезиса о том, что учение «верно и потому всецельно»?

В итоге развитие событий пошло по накатанному в России пути принудительной модернизации, осуществляемой средствами политического давления. Кризис 1993 года, закончившийся расстрелом здания Верховного Совета и положивший начало полному движению России от демократии к авторитаризму, был вызван именно действиями правительства, проводившего якобы либеральную экономическую политику нелиберальными средствами. Либералы эпохи 1990-х в этом смысле ничем не отличались от царских и большевистских реформаторов. Они и положили начало очередному откату России от демократии.

Понятно, что прямым следствием подобной «либерализации» стал возврат к идее твердой руки, способной навести в обществе порядок и восстановить стабильность. Многие либералы охотно поддерживали эту идею, доказав тем самым, что их связь с либерализмом была весьма поверхностной. Аргументом в пользу сильной власти стала обычная в таких случаях ссылка на извечный сервиллизм русского народа, на его национальный менталитет и специфику российской истории в целом. Парадокс в том, что поворот в сторону «персоналистского режима» был инициирован у нас не народом и даже не властью самой по себе, а именно либералами, которым, казалось бы, по самой их сути такой режим наиболее чужд и противопоказан. Сейчас многие из них помешали, но время-то упущено.

Наши либералы, по моему мнению, не будучи профессиональными политиками, действовали более в духе традиции русской революционно-демократической интеллигенции, всегда отличавшейся фанатической приверженностью своей идее, но не очень разборчивой по части средств ее достижения. Иными словами, они были более идеологами, чем профессиональными политиками.

В таком качестве, придя к власти, интеллигенция часто оказывается причиной новой и еще большей несвободы. Пока она борется с недемократической властью посредством литературного творчества, публицистики, общественно-политической мысли, ее позитивная роль не вызывает сомнений. Но когда она сама идет во власть, превращая ее в средство практической реализации своих идей, возникает реальная опасность установления самого худшего вида диктатуры — диктатуры идей, ограничивающей не только политическую, но и духовную свободу индивида.

В XX веке не дворяне и чиновники, а именно люди, вышедшие из рядов интеллигенции, стали идеологами и создателями тоталитарных режимов, в основе которых лежит идейный деспотизм. Более других интеллигенция склонна к авторитарным формам правления, если они обосновываются верностью той идеологии, которую она считает единственно приемлемой. Либеральная интеллигенция поставила на Ельцина, и стала первой жертвой созданного им с ее помощью политического режима.

Люди, отождествляющие политическую власть с властью идеологии, как правило, склонны мыслить персоналистски и ставить на человека, которому они больше доверят. Любая идеология нуждается в главном идеологе, в том, кто на данный момент служит ее олицетворением. Иное дело, что, придя к власти, такой человек может оказаться безразличным к любой идеологии, посчитав свою власть более важной ценностью.

Наши либералы до сих пор всерьез думают, что именно Ельцин принес с собой свободу, хотя, как мне кажется, им более дингало чувство ненависти к Горбачеву, желание взять над ним реванш. Ради этого он покочил и с КПСС, и с СССР — двумя институтами, руководимыми Горбачевым. Ничто до того в биографии Ельцина не указывает на его антикоммунистические и антисоветские настроения, на его какую-то особую приверженность делу свободы. Приди он к власти раньше Горбачева, мм, я думаю, до сих пор жили бы при старом режиме.

Наш политический режим — корпоративно-бюрократический

Вместе с тем я не уверен, что существующий у нас режим реально является персоналистским, полностью зависимым от одного человека. Будь мы страной патриархальной, подобный режим имел бы под собой хоть какое-то основание. Но мы живем в эпоху индустриализма, когда главным действующим лицом на политической сцене становится новый политический класс в лице бюрократии.

Бюрократизация власти — ведущая тенденция в политической эволюции любого современного общества. Победить бюрократию, я думаю, невозможно, поскольку она — прямое следствие процесса индустриализации и рационализации жизненного уклада. Капитализм в этом смысле столь же бюрократичен, как и социализм, но только бюрократия в условиях демократии является не скрытой от глаз общественности и чуть ли не тайной властной корпорацией, объединенной личными отношениями и интересами, а вполне легитимным институтом власти с общими и понятными для всех правилами и законами.

Такая бюрократия рациональна, функциональна и прагматична. Она управляет государством, согласно Максу Веберу, руководствуясь не традицией или личной преданностью харизматическому вождю, а законом, согласуя свои действия с существующим правом. Именно потому ее действия и носят рациональный характер.

Наш политический режим также представляет собой власть бюрократии. Однако при наличии традиционной для России привычки не считаться с правом бюрократия у нас постоянно принимает форму скрытой от глаз общественности корпорации, сосредоточившей в своих руках управление финансовыми потоками, средствами информации и всеми властными институтами. Отношения внутри этой корпорации строятся по принципу жесткой иерархии во главе с партийным или государственным лидером.

Понятно, что смена лидера — самое большое испытание для такой власти: это то, что она хочет полностью взять под свой контроль. По логике функционирования бюрократической системы, лучшим решением был бы вообще отказ от выборов, но невозможность явного разрыва с конституционным строем побуждает власть использовать чисто административные методы воздействия на избирательный процесс. Во всяком случае, все, что сейчас происходит в стране в плане ограничения прав и свобод, имеет причиной, как мне кажется, не просто волю одного человека, а интересы самосохранения сложившейся у нас бюрократической корпорации, состав и объем которой остаются для общества самой большой тайной.

Что же мешает нашей бюрократии стать столь же открытой и рациональной, как на Западе? Или, точнее, что позволяет ей до сих пор сохранять себя в прежнем виде, существенно не меняясь?

Я не скажу ничего нового, если в качестве одной из причин воспроизводства у нас корпоративно-бюрократического стиля правления назову вошедшую правовую безграмотность нашего общества, его неспособность к рациональному мышлению и поведению в сфере государственной жизни. Но, может быть, для России подобная безграмотность — нечто закономерное? Может быть, это исконное свойство русского человека, привыкшего жить не по законам, а по повелям?

Я так же думаю. Известно, например, что большая часть русского народа — крестьянство — на протяжении долгого времени была безграмотной. Означает ли это, что в «матрице» русского народа генетически заложена ненависть к грамоте и науке? Такой взгляд — явная нелепость.

Безграмотность, как известно, ликвидируется посредством всеобщего образования. Однако и безграмотность бывает разная. Получилось так, что естественным нау-

кам мы обучены лучше, чем общественным. С математикой и физикой считаемся, а в науках общественных обнаруживаем порой полное невежество или весьма заметное отставание от их современного уровня. Особенно в том, что касается права и его роли в современном обществе. Отсюда и правовая безграмотность нашей элиты, не говоря уже о населении. Чтобы ее ликвидировать, Европе потребовалась целая эпоха Просвещения. Именно она заложила основы политической и юридической грамотности людей, сделала их гражданами. А у нас до сих пор, подобно одному из участников дискуссии, посылают эту эпоху «к бесу».

Я не строю иллюзий: политико-правовое просвещение народа — длительный процесс. Но начинать надо с элиты. Пока у нас отсутствует юридически грамотная политическая элита, способная мыслить в правовых категориях и понятиях, изменить природу нашей бюрократии вряд ли возможно. А юридическая грамота, как любая другая, означает знание и строгое соблюдение законов, обязательных для любой страны, желающей жить по нормам и принципам правового государства. Никакой суверенности в данном случае быть не может.

Право — оно везде право, как математика — везде математика. Если мы научились решать физические и математические задачи по законам и правилам, принятым во всем мире, почему бы и в области государственной жизни нам не придерживаться принципов, по которым живет весь остальной цивилизованный мир?

Бюрократия и интеллигенция

В какой мере наши политики и наша бюрократия способны учиться правовым методам управления государством? Стимулом для этого могло бы стать, например, желание вписаться в сложившиеся на Западе стандарты и нормы государственно-правовой жизни. Но такого желания среди тех, кто сегодня правит страной, я пока не наблюдаю. Скорее, происходит нечто обратное: все большая изоляция от Запада именно в плане организации государственной власти и политической жизни.

Конечно, наша бюрократия, чтобы выжить в глобальном мире, вынуждена считаться с действующими в нем правилами и нормами. Но какова будет ее внутренняя политика? На этот вопрос у меня нет пока оптимистического ответа. Все свидетельствует о постепенном свертывании демократических процедур и порядков. Я не знаю, кто на сегодняшний день может переломить ситуацию. Проблема ведь не просто в смене лидера, но в наличии достаточно большого числа людей, признающих над собой власть закона, не выходящих за пределы правового поля. Откуда взяться у нас таким людям? Среди нынешних чиновников, включая и тех, кто выступает в роли политиков, их явно нет, а наша интеллигенция — не слишком подходящий материал для их формирования. И важно понять, что мешает ей таким стать. Поэтому я и хочу продолжить начатый мной выше разговор об интеллигенции.

Дело не только в отсутствии у нее соответствующих знаний и навыков (того же правового образования и воспитания), но и в ее прямой экономической зависимости от государства. Интеллигенция в России — слой людей, созданный когда-то самодержавием для собственных нужд и потребностей, и постоянно финансируемый из государственного бюджета. Лишь в дворянской среде, обладавшей известной экономической автономией, независимыми от власти источниками дохода, могли появиться люди, оппозирующие недемократической власти с либерально-демократических позиций (так называемые западники). Остальные или либо в революцию, либо занимали государственные посты, пополняя ряды чиновничества, либо просто подкупались распорядителями ресурсов. Много выбора практически не было. Все эти люди руководствовались в своей деятельности отнюдь не соображениями формально-правового порядка. Отсюда и отсутствие в России профессиональных политиков, политиков как

профессии, о которой писал М. Вебер. Ее заменяли собой либо чиновники, согласные прислуживать любой власти, либо профессиональные революционеры, захватывавшие власть ради реализации своих идей и целей.

Повторю то, о чем говорил в начале своего выступления: интеллигент у нас — не просто интеллектуал, занятый умственным трудом, а носитель определенной идеологии, человек с определенными идеями и убеждениями. И не то плохо, что они у него есть, а то, что они часто заменяют ему профессиональную политику, считающуюся с законами. Идеи идеями, но ведь надо соблюдать и Конституцию, которая доведет над всеми идеями. Пока ты не во власти, можешь сражаться за свои идеи сколько душе угодно, но, попав во власть, изволь считаться с действующими законами, даже если они не во всем совпадают с твоими убеждениями. Вот это нашей интеллигенции дается труднее всего. Иден ей дороже любых законов. Потому она согласна поддерживать любую идею близкую ей власть, даже если та выходит за пределы конституционного поля.

Так было во времена Ельцина, так часто происходит и сейчас. Почему бы, например, президенту, которому у симпатизирую, рассуждает иной интеллигент, не предоставить сверх конституционной нормы дополнительный срок правления? Подумаешь, Конституция. Она пишется людьми, которые могут переписать ее, когда им этого очень захочется. Когда с такими антиконституционными призывами выступают зависимые от верхней власти чиновники, их еще можно понять (но не оправдать). Когда же подобное слышишь от интеллигентов — людей науки, искусства, культуры, ставится очевидным ее какой-то врожденный политический инфантилизм.

Так рождается правовой нигилизм — прямое следствие идейного максимализма или еще хуже — собственных настроений и эмоций, неподконтрольных правовому разуму. Периодическая сменяемость верхней власти, даже если она осуществляется вопреки желанию большинства, есть безусловное, объективное требование правовой системы, с которым нужно считаться в той же мере, в какой мы считаемся с природными законами. Не отменять же законы тяготения по требованию народа. Аргумент типа того, что игра по правилам, мол, не в ходу у русского народа, меня не убеждает. Если не в ходу, то надо учиться. А если учиться не хочется, то не надо называть наше государство демократическим, правовым и конституционным, а самих себя — свободными гражданами.

Есть, однако, и еще одна причина, которая объясняет, почему наша бюрократия и наша интеллигенция таковы, каковыми являются. И эта причина возвращает нас к тому, что Михаил Краснов называет персонализмом.

Природа российского самовластия

Целью европейского Просвещения был слом традиции, препятствовавшей росту политической свободы и демократии. В России такой традицией является опирающееся на бюрократию и его воспроизводимое русское самовластие — явление более сложное и прочное в сравнении даже с европейским абсолютизмом. По-своему эта традиция воспроизводится и в нынешнем устройстве российской власти, явняя в наш политический язык разного рода оксюмороны — «выборная монархия», «управляемая демократия», «демократура»... В чем же состоит эта традиция и где искать ее истоки?

Самовластие не следует отождествлять с самодурством, произволом лиц, наделенных высшей властью, с тем, что принято называть злоупотреблением властью, хотя последнее часто и сопутствует ему. Оно не обязательно принимает форму личного тиранства или губительного для всех террора. Крайние проявления самовластия может и не быть, но оно сохраняется в виде постоянно действующего института или узаконенной нормы, подобно, например, знаменитой шестой статье Брежневской конституции или статьям нынешней, узаконивших президентскую форму правления.

Самовластие — синоним не беззакония, а власти, наделенной по закону практической неограниченными полномочиями. На языке политической теории оно означает отрицание, неприятие принципа разделения властей — как между ее ветвями, так и между центром и регионами. Делиться властью в России никогда не любила. Самовластие и есть ее главная политическая традиция, постоянно воспроизводимая, пусть и в модифицируемых формах, на всех этапах российской истории, не исключая внешнего. И, кажется, нет в стране политической силы, которая могла бы переломить эту традицию. Что же ее вытеснит?

На мой взгляд, идея договорного (или правового) происхождения власти так и не смогла победить в России идею ее божественного происхождения, хотя уже в Петровские времена сакрализация царской власти дополняется договорной теорией, по которой царь обязан служить народу, заботиться о его благополучии, нравственном здоровье и внешней безопасности. Феофан Прокопович — главный идеолог Петровских реформ — обосновывает такую обязанность ссылкой уже не на Священное Писание, а на «естественный закон». Идея царского служения не отменила, однако, идею божественного происхождения царской власти, а как бы дополнила ее. И в облике монарха, поставленного законом на службу народу, и в образе земного божества, «царя-батюшки», «отца родного», пекущегося о «детях малых», своих подданных, царь оставался единственным источником власти, высшей инстанцией в законотворческой деятельности. Царская власть во многом сохраняла традиционные черты патримониальной — семейной — власти отца, которого почитают и слушаются, но которого никто не избирает.

Такой симбиоз «служения» и «любви» как раз и составляет своеобразие русского самодержавия, отличающее его и от «восточных деспотий», и от европейского королевского абсолютизма. Закон, воплощающий в себе идею договора, так и не стал в России антитезой безграничной государственной власти, хотя и камуфлировал ее под видимость европейской просвещенной монархии.

Вместе с тем ссылка на закон заключала в себе несомненный элемент десакрализации светской власти, определив собой характер взаимоотношения между государством и Церковью. Но это взаимоотношение имело в России свою специфику, в которой, возможно, и кроется главный секрет российского самовластия. В эпоху Петра Церковь была не отделена от государства в качестве возвышающейся над ним духовной инстанция, а подчинена ему, что оказало существенное влияние не только на Церковь, но и на само государство. Вот как это процесс описывает русский религиозный историк Г. Флорский: «Изменяется самочувствие и самоопределение власти. Государственная власть самоутверждается в своем самодавении, утверждает свою суверенную самодостаточность. И во имя этого первенства и суверенитета не только требует от Церкви повиновения и подчинения, но и стремится как-то вобрать и включить Церковь внутрь себя, внести и включить ее в состав и в связь государственного строя и порядка. Государство отрицает независимость церковных прав и полномочий, и самая мысль о церковной независимости объявляется и объявляется „лапизмом“. Государство утверждает себя как единственный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий, и всякого законодательства, и всякой деятельности и творчества. Все должно стать и быть государственным, и только государственное попускается и допускается впрямь. У Церкви не остается и не оставляется самостоятельного и независимого круга дел, ибо государство все дела считает своими. И всего менее у Церкви остается власть, ибо государство чувствует и считает себя абсолютным. Именно в этом избирании всего в себя государственной властью и состоит замысел того „полицейского государства“, которое заводит и утверждает в России Петр...»

Упраздни Церковь в качестве религиозного института, существующего автономно от государства, светская власть одновременно брала на себя ряд церковных функций, относящихся, разумеется, не к исполнению религиозных обрядов, а к нравственно-воспитанию народа и его духовному водительство. «Полицейское государство», задуманное Петром, по словам Флоровского, «не столько внешняя, сколько внутренняя реальность. Не столько строй, сколько стиль жизни. Не столько политическая теория, сколько религиозная установка. „Полицейзм“ есть замысел построить и „регулярно сочинять“ всю жизнь страны и народа, всю жизнь каждого отдельного обывателя ради его собственной и ради „общей пользы“ или „общего блага“. „Полицейский“ пафос есть пафос учредительный и попечительный. В таком попечительном адохиозе „полицейское государство“ неизбежно оборачивается против Церкви. Государство не только ее опекает. Государство берет от Церкви, отбирает на себя, берет на себя ее собственные задачи. Берет на себя безраздельную заботу о религиозном и духовном благополучии народа».

А говорит, что такое государство придумали коммунисты...

Перенесение на государство некоторых функций Церкви многое объясняет в природе русской власти, вплоть до наших дней. Это власть не ради власти, не власть, движимая иррациональным стремлением к расширению своего господства, а власть ради «высокой духовности» и морали, ради «нового человека», свободного от грехов и пережитков прошлого. В этом и заключается ее внутреннее самооправдание. Будучи, однако, светской властью, она утверждает свою духовную миссию средствами власти государственной, сочетая мораль с принуждением, духовность с покорностью. Иными словами, предписывая народу определенные моральные цели, она лишает его одновременно политической свободы, т. е. как бы за него осуществляет моральный выбор. Мораль без свободы, мораль, основанная на принуждении, — самый изощренный вид насилия, породивший наиболее жестокие формы религиозного и государственного терроризма — от инквизиции до якобинства. Здесь же источник и тоталитаризма XX века.

Секрет русского самодержавия, движимого нравственно спасающей идеей, вовсе не в том, что ему обычно приписывают, — не в эксплуатации и угнетении народа, а, наоборот, в «отеческой любви» к нему, в отношении к нему как неразумному ребенку, требующему родительской заботы и опеки, способной охранить его нравственную чистоту и невинность. Народом умиляются, но и строго наказывают, если он ведет себя не так, как надо. И разве можно этому «малому ребенку», «несмышленишу» предоставить полную свободу? Демократия для такой власти — синоним политической свободы без морали, источник нравственной распущенности и порчи. Все идеологи самодержавия обосновывали свою неприязнь к демократическим институтам вовсе не любовью к деспотизму и тирании (то и другое они как раз приписывали демократии — тирании большинства), а соображениями сугубо морального порядка, убеждением в том, что только единоличная власть монарха способна духовно сплотить народ, защитить его веру и нравственность.

В таком качестве власть в России так и осталась объектом чуть ли не религиозного почитания, носителем высшей мудрости и вселенания. При большевиках она уподобилась самой Церкви, но только без Бога. Церковь со своим «священным писанием» (марксизмом-ленинизмом), своими «святыми» и «мучениками» (пламенными революционерами), своими «отцами-основателями» (партийными вождями), своими «еретиками» и «раскольниками» (оппозиционерами всех мастей), своими «священнослужителями» (коммунистами) и «мирянами» (беспартийными). Бога упразднили, а организацию сохранили, приспособив ее для нужд светской власти. На место Бога поставили земных богов, поклонение которым стало официальным государственным культом. В отличие от европейской секуляризации, отделившей Церковь от государ-

ства, наша завершилась своеобразным воцерковлением государства, взявшего на себя одновременно социально организующую и духовно спасающую функции. Подобное отождествление «моральности» и «легальности» еще Кант называл самым худшим видом деспотизма.

Как же разорвать эту связь? И что значит разорвать ее? Прежде всего, это значит осознать саму проблему, которую предстоит решить и которая в мировой политической мысли обсуждается уже очень давно. При всей специфичности ее проявления на отечественной почве, у нее есть и общее измерение.

Этика убеждения и этика ответственности

Совшлось опять же на М. Вебера, согласно которому «внутренним оправданием», говоря иначе, «основанием легитимности» государственного насилия, без чего нет никакого государства, является либо авторитет идущий из прошлого традиции («традиционное господство»), либо авторитет «вождя», наделенного даром харизмы («харизматическое господство»), либо авторитет рационально установленных законов и правил («легальное господство»). Эта классификация основных форм господства — традиционной, харизматической и легальной — известна любому политологу и социологу. Можно сказать, что государство основывает свое право на применение насилия либо на традиции, присущей данной культуре, либо на вере в призвание (дар) харизматического лидера управлять государством, либо на нормах и правилах, устанавливаемых рационально-правовым путем. Переход от первого или второго способа легитимации государственного насилия к третьему и составляет содержание интересующей нас проблемы.

Власть, ориентированная на нравственные ценности, носит, согласно Веберу, рациональный («ценностно-рациональный»), но еще не правовой характер. Она предполагает, что политик, «независимо от возможных последствий, следует своим убеждениям о долге, достоинстве, красоте, религиозных предначертаниях, благочестии или в качестве «предмета» любого рода». Такой политик озабочен не конкретными последствиями и результатами своей деятельности, а ее соответствием разному роду «заповедей» и «требований», в обязательном исполнении которых он и видит свой долг. Ценностно-рациональное действие основано «на вере в безусловную — эстетическую, религиозную или любую другую — самоцельную ценность определенного поведения, независимо от того, к чему оно приведет».

Но это и значит, считает Вебер, что политика, ставящая себя на службу моральным ценностям, ничем не отличается от власти тиранов и диктаторов (примером чему ему служили, в частности, большевики). Ведь средством политики является насилие, а насилие во имя морали, даже абсолютной морали Нагорной проповеди, есть самый страшный вид насилия: когда-то оно породило инквизицию и крестовые войны, а в XX веке стало источником тоталитаризма.

Любая этическая ценность, утверждаемая средствами насилия (а других у государства нет), имеет своим следствием нечто прямо противоположное, влечет за собой подавление свободы и достоинства человеческой личности. Но ведь именно последствиями морально ориентированное действие как раз и не обеспокоено, его интересует только мотив. Какая разница, куда приведет это действие, если оно продиктовано добрыми намерениями? Если реальная политика и может быть этической, считает Вебер, то в силу не морального или какого-то другого убеждения, владеющего политиком (этика убеждения), а его личной ответственности за последствия своей деятельности (этика ответственности).

Политик, руководствующийся моральными убеждениями, ответственность за последствия своих действий возлагает на Бога: Бог повелел, а мое дело послушно ис-

ползать Его волю. Политик же, берущий на себя личную ответственность за эти последствия, вынужден противостоять и продумывать цели, которые он ставит перед собой, соотносить их со средствами и другими целями. С этого момента в его действиях и вмешивается право. Оно не предписывает ему цели, а лишь указывает на допустимые по закону, легальные средства их достижения. Согласно Веберу, цель оправдана в том случае, когда достигается средствами, не выходящими за рамки законов, устанавливаемых рационально-правовым путем. Политика, руководствующаяся правом (легальный тип господства), не ценностно-, а целерациональна, и люди, осуществляющие ее, как раз и образуют собой тип рациональной бюрократии.

Неспособность к целерациональному типу политического поведения и составляет, на мой взгляд, отличительную особенность нашей политической элиты. Она, как правило, на службе если не у Бога, то у определенной идеологии, у некоторой мессианской идеи, оказываясь целиком во власти этики убеждения. Но переход от нее к этике ответственности означает переход к правовому государству, а переход к правовому государству равносителен целой духовной революции, которая и произошла в эпоху Просвещения. Для Европы Просвещение означало начало вхождения в модерн, в современное общество, мы же пока не можем выйти из состояния домодерна. На Западе модерн сменяется постмодерном, а у нас все еще преобладает идеология антимодерна. То и другое — критика модерна, но в случае постмодерна — с позиций нового, приходящего на смену существующей реальности, а в случае антимодерна — с позиций старого, традиционного. По отношению к ним обоим политический модерн как раз и означает легальный тип господства, основанный на праве.

Если Запад справляет «поминки по Просвещению», то мы усилиями многих наших нынешних политиков и идеологов пытаемся предотвратить его роды, как бы абортлируем его. Общество до и после Просвещения — вот примерно та дистанция, которая отделяет нас от современного Запада. Здесь же причина постоянного возрождения у нас традиции самовласти.

Мы переживаем конец «третьего Рима»

Когда решение назревших проблем не просматривается, невольно начинаешь искать исторические аналоги подобных ситуаций.

Я думаю, мы переживаем сегодня период, чем-то напоминающий конец Византии. Последние сто лет ее существования сегодня период, похожий на то, что происходит сейчас с нами. Византия — это продолжение римской империи («второй Рим») в сочетании с христианством. В итоге империя приспособила христианство к собственным нуждам, поставила Церковь себе на службу. В отличие от Византии, Запад пошел по пути соединения христианства с римским республиканизмом, хотя и в его истории были попытки воссоздания тех или иных подобий Римской империи. Но в итоге победили республиканские принципы политического правления. Элементы республиканизма сохранялись и в Византии, но она так и осталась империей во главе с царской властью.

По словам А. Тойнби, тоталитаризм в России был «византийским наследием», а К. Леонтьев называл самодержавие «византизмом» в государственном устройстве. И в России, как и в Византии, Церковь способствовала усилению самодержавной власти, а после Петра оказалась в полном подчинении у созданной им имперской государственности. Для страны с многонациональным составом населения империя была, видимо, наиболее адекватной формой государственного управления. Но как сочетать империю с республикой и конституцией? В Англии и ряде других европейских государств существование империй удалось соединить с парламентаризмом и конституционной монархией, хотя и они не предохранили их от распада. В России же с ее «византийским наследием» именно конституционно-правовой строй не мог (и до сих пор не

может) прижаться ни в сочетании с монархией, ни без оной. Быть может, проблема такого рода и погубила Византию?

Напомню, кстати, как она погибла. Не выдержавшая натиска варваров (турок) с востока, она обратилась за помощью к Западу, заключив с ним знаменитую Флорентийскую унию. Весь православный мир отверг эту унию, после чего от нее откалалась и Византия. Но в критический момент Запад все же послал на помощь свою флотилию. Она повернула назад, увидев, что бои идут уже на стенах Константинополя. И что теперь на месте Византии? Турция. Не будет ли и у нас своей Турции?

Благосклонно относясь к идее российского евразийства, означающей в глазах ее сторонников прежде всего союз православных и мусульман, мы почему-то не особенно жалуем наших «братьев во Христе» — католиков и протестантов. Не доверяем им и не хотим иметь с ними ничего общего. И чем это может для нас закончиться?

Если кто затруднится с ответом, пусть еще раз перечтет историю Византии.

Либералы не должны ссориться с левыми

Как бы то ни было, сегодня перспективы России и ее государственности могут рассматриваться только в общемировом контексте и с учетом тех процессов, которые в мире происходят, тех многообразных тенденций, которые имеют в нем место. Если нам суждено выжить, то уж точно не благодаря очередной самозащиты. Но наши перспективы выглядят сомнительными и в том случае, если представители разных политико-идеологических течений не достигнут согласия относительно базовых ценностей, которые никем из них не ставятся под сомнение.

Я — человек левых убеждений и никогда не скрывал этого. Но левизна для меня — не антиамериканизм и не антизападничество, а, скорее, антикапитализм в смысле осознания исторических границ и пределов существования капиталистического способа производства. Ясно, что экономической альтернативы рынку и капитализму не существует. Но кто сказал, что экономика с ее коммерциализацией человеческих связей и отношений должна распространяться на все общество?

Левая идея в моем представлении есть прежде всего идея защиты от власти рынка двух важнейших сфер человеческой жизни — природы и культуры. Коммерциализация природы порождает экологический кризис, коммерциализация культуры — кризис духовный. Левая идея, если правильно понимать ее смысл, родилась как критика капитализма с позиции культуры. В современном мире она защищает все, что существует в силу не экономической необходимости, а свободы, включающей в себя все виды социального, научного и духовного творчества. Либерализм с его защитой частной собственности обречен на поражение, если не считается с левыми ценностями, особенно в такой стране, как Россия, с ее особым пиететом перед духовностью и культурой.

Либералы, на мой взгляд, не должны ссориться с людьми левой ориентации. Разумеется, я имею в виду не коммунистов типа Зюганова. Для меня они — не левые, а самые настоящие консерваторы, поборники сталинизма и традиционного для России этатизма. В России всегда было плохо с культурой подлинной левизны. Тот, кто называет у нас себя левым, на поверку оказывается часто крайне правым, представляющим будущее страны по аналогии с прошлым — дореволюционным или советским. Но даже при отсутствии в стране настоящих левых партий либералы не должны были в процессе проведения реформ хоронить левую идею. Напротив, они должны были каким-то образом интегрировать ее в свою стратегию экономических преобразований. Я и сейчас убежден, что, не сделав этого, они и обрекли себя на поражение.

Там, где либералы ссорятся с социал-демократами или с социалистами, побеждают националисты и консерваторы. XX век дал тому немало примеров. А преобладающее влияние консерваторов разного толка на власть в современной России очевидно каждому.

В политическом раскладе любой демократической страны правые защищают прошлое, а левые устремлены в будущее. Либералы в этом раскладе — не правые и не левые, а центристы, представляющие настоящее. Они призваны свести напряженность между правыми и левыми от точки зрения политиков, а найти между ними разумный компромисс, наладить их диалог друг с другом. Отсюда огромное влияние либералов в современном обществе. Изгоями социалистов и консерваторов из политики, не считаясь с ними, либералы обрекают себя на поражение, особенно в странах с длительной традицией жизни в патриархальном обществе. Это и произошло с нашими либералами, когда они были у власти.

Либералы, на мой взгляд, — противники не любого государства, а только деспотического. Они защищают власть права, закона, в том числе и над всей сферой экономических отношений. Наши либералы, пришедшие к власти во времена Ельцина, переход к рынку сделали задачей более приоритетной по сравнению с задачей создания правового и социального государства. Недаром многие из них были экономисты, а не политики и юристы. Это и вызвало обратную — консервативную — реакцию со стороны населения, склонившегося в своем большинстве в сторону поддержки политических сил, выражающих эти консервативные настроения.

Почему наши политические споры столь непримиримы? На Западе ведь тоже есть свои левые и правые, либералы, социалисты и консерваторы, которые спорят между собой практически по всем вопросам повседневной жизни. Но есть один вопрос, по которому они не спорят и с ответом на который все согласны. Это вопрос о цивилизационной идентичности Запада. Никто из западных политиков не спорит о том, к какой цивилизации принадлежит Запад. У нас же спорят именно об этом.

Для одних Россия — часть западной цивилизации, для других — во всем ей противоположная цивилизация, для третьих — Европа и Азия одновременно. На нашем политическом пространстве как бы сталкиваются разные России, между которыми трудно найти что-то общее. И каждая из сторон смотрит на другую как на заклятого врага. Недаром Бердяев писал, что история русской интеллигенции с ее идеями разнорасными — это сплошное саморазрушение. Нет у нас пока объединяющей системы ценностей, способной примирить нас не только с самими собой, но и с нашими европейскими соседями.

Сейчас популярна идея о России как особой цивилизации. Для меня эта идея крайне сомнительна. Цивилизация в моем представлении — более универсальная категория, чем отдельная страна. Границы цивилизации не совпадают с политическими границами того или иного государства или с культурными границами существования отдельной нации. Нет, скажем, французской или английской цивилизации, а есть общия для них цивилизации, которая по-разному дает о себе знать во Франции и в Англии. Бокль, например, писал о развитии цивилизации в Англии, но не об английской цивилизации.

Я не сторонник теории локальных цивилизаций, хотя нельзя отрицать многообразия культур. В этом смысле я придерживаюсь немецкой и русской традиции различения цивилизации и культуры (в противоположность англосаксонской, отождествляющей их). То, что называется цивилизацией, имеет универсальную природу, которая по-разному проявляется в разных регионах мира. Эмпирически фиксируемое историками множество цивилизаций — свидетельство не завершенного до конца процесса становления мировой цивилизации, суть которого в преодолении социальных, экономических и политических барьеров, разделяющих человечество.

Проблема в том, как примирить цивилизацию, которая одна для всего человечества, с разнообразием локальных культур. Цивилизация в точном смысле слова — это синоним общества, в котором каждый обретает право на свободное развитие своей

индивидуальности, на ее самореализацию в процессе материальной и духовной деятельности, на свободный выбор своих культурных предпочтений. Такого общества нет еще нигде. Есть лишь большее или меньшее приближение к нему. С этой точки зрения цивилизации еще не стала тем, чем является по своей сути и что образует реальное содержание всей человеческой истории. Идея такого общества и нашла свое предельное выражение в левой идее, которую, разумеется, нельзя реализовать в границах какой-то одной страны или народа.

Как и либеральная идея, она универсальна, хотя предлагает иную перспективу цивилизационного развития. Если либералы ратуют за политическую эмансипацию гражданского общества, усматривая в ней конечную цель исторического процесса, то левые идут дальше: они видят эту цель в свободе индивида и от экономической необходимости, от власти рынка и денег, что означает, разумеется, не ликвидацию рыночной экономики, а освобождение человека от функции рабочей силы, от труда как только средства заработка и физического выживания. Об этой перспективе я писал во многих своих работах и не хочу здесь повториться.

С учетом подобной перспективы и можно решить сегодня проблему цивилизационной самоидентификации. На практике это означает если не полное согласие, то хотя бы политическое примирение либералов с социалистами. Это фактически и происходит сегодня в наиболее развитых странах мира. У нас же, похоже, те и другие пока не в чести. Они и сами отвергают друг друга, хотя им давно пора объединиться, если они хотят противостоять сползанию России в еще один рещдиз исторически бесперспективного «византизма» и тупикового изоляционизма.

Повторю: единственно приемлемым для России условием ее исторического выживания является не ее изоляция и обособление от остального мира, а ее максимальная включенность в этот мир. Надо признать, наконец, что мы живем не только в стране со своими особыми традициями, но и в цивилизованном мире, который требует от каждого соблюдения общих для всех норм и правил политического и экономического поведения — прежде всего, уважения к правам и свободам отдельного человека.

Индивидуальная свобода — не американская или европейская выдумка, а общечеловеческая ценность, с которой обязана считаться любая страна, если хочет принадлежать к цивилизованному миру, а не скатиться обратно к варварству. И России должна решить для себя, с какого рода универсальными социальными, правовыми, политическими и духовного порядка она может и хочет жить.

Даже православие наше — не особая религия, а христианская, с общими для всех христиан моральными ценностями. Равно как при всей нашей исторической и культурной специфике нельзя игнорировать универсальный характер науки и права, с которыми считаются все цивилизованные страны. Можно, конечно, пренебрегать ими, но как долго просуществует такое государство?

Еще раз повторю: признаком цивилизованности любой страны является не ее обособленность, а ее универсальность, т.е. способность жить по правилам, общим для всех людей. Если мы не признаем наличие таких правил, то лишаем себя будущего. Любой народ, неспособный к жизни в мировом сообществе, вместе со всеми, обречен на историческое прозябание и даже вымирание. Сегодня можно выжить, лишь включая в логику развития единой для всего человечества мировой цивилизации. Все локальные цивилизации, не достигшие уровня универсальности, как известно, гибнут от столкновения друг с другом. Либо мы признаем наличие универсальной цивилизации с общими для всех нормами общественной жизни, либо окажемся в ситуации дальнейшего противостояния обособленных друг от друга человеческих миров.

Универсальная цивилизация — отнюдь не плод вестернизации, уподобления себя Западу, как иногда думают. Проблема, как я ее понимаю, не в том, чтобы стать За-

падом, его простым подбьем, а в том, чтобы вместе с ним двигаться в направлении создания такой цивилизации. Сама постановка вопроса о том, быть или не быть России Европой, лозка по своей сути и потому не имеет разумного решения. Она порождена именно отказом от универсального видения истории в пользу локального и особенного. Не в Европу надо стремиться России и не противопоставлять себя ей, а в цивилизацию, которая базируется на общих с Европой и, возможно, со всем человечеством основаниях. Не европейцами или американцами должны стать русские, а теми, кто, оставаясь самими собой, могут жить вместе со всем цивилизованным человечеством, говорить на языке, понятном каждому свободному человеку.

Об этом и следует говорить в первую очередь, обсуждая будущее нашего государства. Не о том, что разделяет, а что может объединить. И не только Россию с Европой, но и остальной мир.

Русская культура всегда ориентировалась на жизненный идеал, выходящий за пределы сознания и образа жизни одного лишь западного человека, преимущественно ориентированного на свои частные нужды и потребности. Если для Европы и Запада в целом общим основанием для любой цивилизации являются права и свободы человека как частного лица, то Россия (в лице своих философов и писателей) искала это основание в сфере нравственной ответственности человека перед Богом и другими людьми. Но в любом случае речь шла не о встраивании России в Европу, а об их взаимном вхождении в цивилизацию, способную объединить человечество в планетарном масштабе, освободить его от остатков варварства, сталкивающего народы в непримиримой борьбе друг с другом.

Лишь сознавая свою прямую причастность не только к собственной судьбе, но и к судьбе всего человечества, к судьбе цивилизации, все более обретающей универсальный характер, Россия имеет шанс сохранить себя в качестве самостоятельного и неповторимого в своей самобытности исторического субъекта.

ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНСЕНСУС ПРИ ДЕФИЦИТЕ ТЕОРИИ

Обсуждение природы и перспектив современного государства в России развертывается вполне содержательно, продуктивно и уж во всяком случае отнюдь не «лукаво» — вопреки мнению Сергея Кургина, показавшего свою неспособность (или нежелание) обсуждать поднятые вопросы по существу. Настораживает также подход уважаемого Симона Кордонского, разделившего всех участников на два лагеря («космополитов» и «патриотов»), а затем зовов объединившего их в соответствии со стародавней риторической формулой: «чува на оба ваших дома». Вполне серьезные и обоснованные рассуждения большинства коллег о надвигающемся кризисе и необходимости его преодоления С. Кордонский обзвал очередным решением интеллигентской болезни «спасения России». Небрежно отмахнувшись от основных тем и линий спора, он предпочел всему этому восхождение в гордом одиночестве к высотам своей эзотерической истины о России как вечном «ресурсном государстве». Не думаю, что такой подход можно считать продуктивным.

Рефлексивный взгляд на ход дискуссии предложили также Эмиль Панин и Виктор Шейнис, причем и с тем, и с другим я согласен. Кроме того, Э. Панин предложил несколько остроумных классификаций участников обсуждения, тем самым удачно обозначив основные линии размежевания. Он убедительно поставил на место прокремлевских «гибких интеллектуалов» (в лице Сергея Маркова), которые «как фишка лжет, так и поют». В компании к Маркову следовало бы добавить Алексея Чадаева, на полном серьезе призывающего назначать официальную «оппозицию»; им обоим в форме четко сформулированных вопросов дали вполне достойную отповедь Игорь Климкин и Виктор Шейнис, в ответ на что получили пространные «разъяснения», от сути их вопросов уходящие. К группе придворных идеологов примыкает и Иосиф Дискин, который посредством апелляции к «этике» и «вере» фактически оправдывает и даже облагораживает получившие в последние годы гипертрофированное развитие теневые коррупционные практики и политику «по понятиям», называя все это непотребство «конвенциями».

Наряду с обычными лицемерием и сервилизмом, «гибкие интеллектуалы» успешно демонстрируют также изощренную технику заблуждения содержательных понятий и ценностей путем замены их пустыми муляжами. В результате дискредитируются не только «демократия» и «патриотизм», но и «этика», «достоинство», «институты», «проектный подход», «европейская культура» и многое другое. Странно было бы ожидать чего-то иного от «птенцов гнезда» г-на Суркова и г-на Павловского, от активистов Общественной палаты, но плюрализм есть плюрализм, и на каждый роток не накинешь платок.

Разоблачение демагогии включившихся в дискуссию официальных апологетов власти и режима — это, конечно, долг каждого честного человека. И к тому же

умственный спорт — не менее увлекательный, чем санитарная работа по опровержению благозвучнейшей проповедников агрессивного имперства и идеократии вроде Михаила Юрьева и Дмитрия Володихина. Но, как совершенно справедливо отметил Виктор Шейнис, слишком увлекаться этим приятным и общественно полезным занятием не следует. Существуют темы и дела поважнее.

Есть время разбрасывать камни и время их собирать. Сейчас настал момент нового сосредоточения вокруг вопросов, вполне только поставленных инициаторами дискуссии. Для этой фокусировки внимания уже накоплен солидный потенциал согласия между участниками обсуждения, к которому я и хочу обратиться. Моя стратегия, таким образом, противоположна подходу Эммануэля Папона. Он выявлял линии размежевания, имея на то полное право уже потому, что конфликт — двигатель интеллектуальных обсуждений и самого мышления. Я же постарался собрать и структурировать основные моменты согласия между участниками (разумеется, не всеми) с тем, чтобы, осозная эту обиду и достаточно твердую платформу, мы могли более прицельно размышлять относительно оставшихся открытых и наиболее острых и сложных вопросов.

Печальная платформа согласия

Согласие обнаруживается в целом ряде констатаций относительно нынешней российской государственности и ее природы. Не все они присутствуют в текстах каждого из авторов, на которых я буду ссылаться. Но никто из них эти констатации не оспаривал.

1. Неаффективность режима и деструктивная направленность изменений

По мнению большинства дискуссионтов, современный политический режим в России не только не способствует созданию благоприятных условий для технологической, социально-экономической и политической модернизации общества, формированию в его лице полноценного субъекта политики, но ухудшает эти условия, ведет к ослаблению российских позиций в жесткой глобальной конкуренции, чреват кризисами и государственным распадом.

«Российское государство сегодня не выполняет ни одну из своих базовых функций. <...> По всем основным пунктам — правоохранительная сфера, внешняя политика, экономическая и социальная политика — никакой другой оценки, кроме двойки, наша власть не заслуживает» (Е. Гонтмахер).

«Система фактически не пропускает обратные сигналы, не реагирует на результаты собственной деятельности, не обладает механизмами сдержек и противовесов» (А. Ауган).

А В. Шейнис суммирует трактовки и оценки известных лиц: «Экономическую основу стабильности подрывают процессы „демодернизации“ (Г. Явлинский), „дуга в модернизацию сверху“ (Е. Ясин), „выстраивание корпоративного государства“ (А. Илларионов), чудовищный размах коррупции (Г. Сагаров) и расхищение клановых денег (В. Путин)».

2. Причина стагнации — «приватизация государства» бюрократией и силовыми структурами

Процесс начался с захвата собственности «олигархов», не особенно легитимной в глазах населения и власти. «Сработал эффект зависти. Многие причастные верховной власти люди, наблюдая, как возмуг ходят олигархи, у которых при повороте нефтяного крана текут реальные деньги, тоже испытали непреодолимое желание немножко состричь» (Е. Гонтмахер).

Затем «процесс пошел» — вширь и вглубь, обретая свою логику и давая системные деструктивные последствия. «Разворачивается „война без правил“, регулируемая не законом, а „понятиями“. Преизущество в ней получает тот, кто имеет доступ в высокие кабинеты и способен насильственно сметать с пути конкурентов, не останавливаясь перед уголовщиной. Все это колеблет устой государственного порядка, поскольку власть и собственность тесно переплетены» (В. Шейнис).

Высокие цены на углеводороды ускорили «приватизацию государства», одновременно устранив направленность на реформы. «Выход государства, соблазнившись благоприятной экспортной конъюнктурой, вместо формирования и реализации экономической политики в интересах всего общества фактически произвело вторичную приватизацию в пользу кучки высокопоставленных чиновников и их обслуги. Естественно, что такому государству некогда, да и не хочется заниматься своими прямыми обязанностями» (Е. Гонтмахер).

3. Всевластие бюрократии — следствие отказа от демократии

Главная причина всевластия бюрократии и силовых структур — фактический отказ «персоналистского режима» от базовых принципов, институтов и практик конституционализма и либеральной демократии, камуфлируемый демократической риторикой.

«Персоналистский режим не может быть признан особенностью демократии, поскольку он приводит к некрозу ее сущностных (родовых) черт, в том числе: равных возможностей для политического представительства; самостоятельного функционирования органов государственной власти, относящихся к разным ее ветвям (на основе принципа разделения властей); политической конкуренции; выработки крупных государственных решений на основе согласования интересов» (М. Краснов).

«Нынешний президентский режим <...> свернул всюкую публичную конкуренцию в обществе и в самой правящей элите, после чего „двур“ оказался не в силах возбудить заматеревшую многоотактовую бюрократию» (М. Афанасьев).

Смерть демократии приводит к тому, что вместо открытых, формальных и легитимных институтов и практик действуют теневые коррупционные практики, привязанные к сиюминутной политической и административной влиятельности конкретных лиц, групп и сетей. «...То, что заняло место слабых институтов, называли по-разному: „неформальные отношения“, „теневые практики“, „персоналистские сети“. Другими словами, сами по себе учреждения, организации, институты по большому счету значения не имеют, имеет значение конкретная сила тех конкретных людей, которые в данный момент эти организации и институты возглавляют» (А. Зудин).

4. «Суперпрезидентский» (фактически самодержавный) перекоп Конституции — орудие эскалации авторитаризма

Последняя российская Конституция создавалась в условиях жесткой борьбы «продемократического» президента с «прокоммунистическим» парламентом (В. Шейнис) и была принята после того, как первый одержал силовую «победу» над вторым. Соответственно, в Конституции все политические «козыри» отданы президентской власти, возвышающейся над всеми остальными, мнимо разделенными ветвями. Причем, как убедительно показал М. Краснов, скрытые prerogatives президента оказались даже сильнее, чем близкие к самодержавным явные и формальные полномочия. И эта «конституционно-правовая конструкция в какой-то момент обязательно приобретает свою логику и инерцию» (Л. Шевцова), и уже новый президент с новыми политическими установками во всю силу использует возможности, предоставляемые Конституцией, рефлексам постсоветской бюрократии и подданными политическими стереотипами населения.

Вместе с тем большинство участников дискуссии, насколько могу судить, полагают, что вопрос о том, необходимо ли, и если да, то сколь срочно следует устранить указанный перекос в Конституции, не является первоочередным и принципиальным. Почти все согласны с тем, что дело не только и не столько в ее тексте, сколько в состоянии общества (Д. Тренан) и существующих политических практиках и что изменение формулировок Основного Закона без существенного изменения этих практик и «переучреждения государства» (А. Аузан) не даст никакого эффекта.

5. Неспособность режима к самоизменению

Михаил Крисов надеется на принцип «клин клином»: будто новый президент типа де Голля или Горбачева вдруг станет резко ограничивать свою только-только захваченную в суровой борьбе власть. Однако лейтмотив выступлений большинства остальных аналитиков иной.

По их мнению, устройство сложившегося режима обуславливает «стабилизирующее статус-кво» (Л. Шевцова) и исключает возможности позитивного самореформирования (И.А. Яковенко). Сам по себе установившийся политический режим не имеет внутренних стимулов к саморазвитию, его ответы на внутренние и внешние вызовы (например, на деятельность «Другой России», «марши несогласных», «цветные революции» на постсоветском пространстве) — крайне нервные и репрессивные, они ведут не к демократизации и расширению диалога с оппозицией, а лишь к попыткам укрепления полицейского государства.

«Нарушены все базовые принципы ее (политической системы. — Н.Р.) формирования — и демократические, и недемократические. Сегодня невозможно нормально жить и тем, кто хочет жить при демократии, и тем, кто хочет жить при номенклатурных порядках. Иными словами, система перестала быть самонастраиваемой, она управляема изнутри лишь до тех пор, пока Путин держит рычаги управления в своих руках. Но самоизмениться она не может» (А. Архангельский).

Не могут привести к изменению порочной структуры и циклические маятниковые колебания, отмечаемые исследователями в российской истории. «Укрепление государства, т.е. его доминирование в сфере контроля за ресурсами, будет означать государственные репрессии по отношению к их расхиителям. Либерализация будет означать расширение области специфической свободы для расхиителей. Так что, в принципе, выбор не велик. Это выбор между государственным террором и разгулом воровства, бандитизма и сепаратизма» (С. Кордонский). С данной позицией фактически солидаризируется и Алексей Кара-Мураа.

Дефицит субъектности для позитивных изменений отмечается, повторяю, многими авторами. От них досталось всем: не только бюрократии, но также правящим элитам, оппозиции, среднему классу и «простым людям».

6. Безответственность правящей элиты

«Парадокс <...> в том, что вся эта борьба за „национальные интересы“ ведется элитой, которая на самом деле не является национальной, российской. И потому, что все ее деньги хранятся там, на Западе. И потому, что российская экономика давно уже предельно открыта, и ее „капитаны“ стремятся делать IPO, причем в Лондоне. Им же начхать на наш внутренний рынок, они намерены повисить внутренние цены на газ в пять раз за пять лет. Если это всерьез, то, значит, экономика страны и ее будущее им абсолютно безразличны. Это абсолютно комрадурская стратегия, с национально ориентированной политикой не имеющая ничего общего» (Е. Голтмахер).

Для российской политической элиты главное — «контролировать страну, а будет ли это страна третьего мира или страна, принадлежащая „золотому миллиарду“, — второстепенные нюансы» (Г. Мусихан).

7. Слабость либеральной и демократической оппозиции

«Деградации либерального политического крыла сегодня такая, что в сравнении с ней состояние силового политического блока покажется просто идеальным. Во всяком случае, Игорь Иванович Сечин как политик-бюрократ даст сто очков вперед любому демократическому политику. Он свои функции знает куда лучше, а свои цели отслеживает куда внимательнее, чем те — свои» (А. Архангельский).

Удручающее состояние демократической оппозиции во многом обусловлено целенаправленной политической правящей группировки. «Российская власть повторяет один и тот же нехитрый трюк. Она напрочь пережимает кислород у изменяемой, институционально приемлемой оппозиции, вытаскивает ее из информационного пространства, режет на подступах к выборам, обрубает источники финансирования, закрывает на ремонт залы, арендованные под выступления неудобных лидеров. В результате происходит неизбежная радикализация оппозиционного лагеря. Тут идеологи „суверенной демократии“ и восклицают: „Посмотрите, это же неменяемые! Как можно отдавать власть в такие руки?“» (И.Г. Яковенко).

8. Средний класс — напрасные надежды

«Они (представители среднего класса. — Н.Р.) готовы давать взятки чиновникам (а те готовы их брать и просить новые), их устраивает персоналистский режим Путина, защищающий их от тихого недовольства бедняков и частенько грешной души антизападническими и шовинистическими речами. Рабски подражая американским традициям в офисах и даже в собственных квартирах, они подчас пашут антиамериканизмом в стиле славного президента Ирана. Антиукраинские, антигрузинские и другие пятиминутки ненависти находят живой отклик у большинства населения нашей страны, и наши продвинутые трудоголики среди первых рядов их подпевал <...>. При этом, в отличие от населения западных стран, у них нет ни желания, ни навыков самоорганизации. Каждая за себя и только для себя» (С. Цирель).

Аналогичных высказываний у других участников дискуссии я, правда, не нашел, но и возражений ни от кого из них не последовало тоже.

9. Низкая способность населения к самоорганизации

Российское общество — отнюдь не «соборное» и «коллективистское», а, напротив, глубоко атомизированное и индивидуализированное. «Все разговоры о российском коллективизме — полная ерунда» (А. Архангельский). «...Способность к самоорганизации, к ответственному политическому (или хотя бы общественному) действию у нас неразвита <...>. Многие наши проблемы — именно от этого» (А. Милнер).

10. Прискорбная приверженность большинства российского населения к «сильной власти, способной навести порядок»

Большинство участников дискуссии отмечают отчужденность широких масс населения от демократических и либеральных ценностей. Вместо надоевшего и ложного мифа о «тысячелетних традициях» («рабства» или «высокого имперского служения», выбирайте по вкусу) М. Краснов предлагает следующее, вполне правдоподобное, объяснение: «Сказалось здесь отсутствие в массовом сознании прочной связи между качеством собственной жизни и устройством властного аппарата (курсив мой. — Н.Р.). Отсутствие же такой связи коренится не в глубинном народном сознании, а в том, что и дореволюция, и советская, и постсоветская элиты прикладывали и продолжают прикладывать все возможные усилия к тому, чтобы убедить народ: альтернативой бесконтрольному единовластию является лишь смута».

В том же ряду и рассуждения А. Кара-Мурзы о самобытной отечественной «мифологии спасения», которую российская власть и российская элита сегодня разными способами развивают и совершенствуют — «от воссоздания образа России как вновь освоенной крепости до демонизации „оранжевых революций“ на постсоветском пространстве».

11. Субъективные и объективные условия препятствуют «перечуждению государства»

Возможности российского общества с учетом характеристик основных акторов (см. выше) и в рамках названного режимом «правил игры» обрести мирным и конституционным путем более эффективную и стратегически более устойчивую государственность крайне ограничены или вовсе отсутствуют. «Никакой перебор сегодняшних компонентов общественной жизни, в том числе и с помощью массовых опросов, не способен обнаружить ни в „слабочечных“ видах, ни в более удовлетворенных „литерных“ слоях реальных „ростков“ иной системы отношений между человеком, обществом и государством, которая может и должна быть сформирована с изменением обстоятельств и в результате целенаправленных усилий» (В. Шейнис цитирует Ю. Леваду).

Однако при наличии социального напряжения и нерешенных проблем политика, будучи изгнана из легального пространства, уходит, как известно, в подполье, радикализуется, прорывается в уличных протестах. Какие же перспективы участия občудения видит на этом пути? Увы, здесь картина, которая вырисовывается в их глазах, не просто печальная, но угрожающая.

12. Опасность стихийного разрушения режима

«Чем больше „Единая Россия“ заполняет политическое пространство, тем больше угроза того, что население, устав от „партии власти“, поддержит экстремистские силы. Чем дольше длится внешняя ситуация, тем сильнее запрос на более агрессивный тип авторитаризма. Дилемма эволюции гибридной системы: если страна не идет вперед, к демократии, то она неумолимо откатывается назад <...>. Кризис гибридности может привести к более одностороннему, жесткому, национал-популистскому режиму» (Л. Шенцова).

«Доминирование „Единой России“ выглядит нелепо, но если она освободит занимаемое политическое пространство, кто его займет? Его займут партии, которые призывают мстить и делить, делить и мстить, и только они» (И. Шаблинский).

«Ожидать, что при нынешнем (да и на обозримую перспективу) состоянии общества в условиях разразившегося кризиса победитель введет либеральную демократию, сбалансированное разделение властей и т.д., по меньшей мере наивно. Намного вероятнее, почти гарантированно мы получим в этом случае значительно более жесткий авторитаризм, по сравнению с которым нынешний режим покажется чуть ли не царством свободы» (В. Шейнис).

Есть «высокие риски соответствующего переходного периода, когда к власти может прийти такая популистская сила, по сравнению с которой нынешняя власть покажется чуть ли не идеальной» (А. Архангельский).

13. Ксенофобия и этнонационализм — угроза фашизации страны

«Уровень неудовлетворенности населения растет, а в внешних условиях эта неудовлетворенность все чаще приобретает этническую окраску. В ходе мифологизированные объяснения бед: недоступны престижные места занятости, значит, „чужие“ не пускают; недоступно новое жилье — „чужие“ скупают; растет преступность — „чужие“ привезли <...>. Не исключая пошагового розыгрыша нарциссической дебатовой идеи в России» (Э. Пани).

«Самая очевидная внутренняя угроза стабильности — поднимающаяся националистическая, ксенофобская волна» (В. Шейнис).

Итак, «вырисовывается довольно безрадостная картина: прямой штурм власти малореален и опасен, создание структур, которые могут обеспечить действенный гражданский контроль над властью, — процесс необходимый, но долгий и трудный, победа демократических сил на выборах заблокирована» (В. Шейнис). Что остается? Поскольку к самоизменению политический режим не способен, цивилизованный диалог с загнанной в подполье оппозицией прекраден, реформы блокированы, оказываются «неизбежными „изменения через кризис“» (Л. Шевцова).

14. Градущий кризис — единственная надежда и смертельная опасность

«Шансов на то, что нашу государственную систему удастся модернизировать силами общества, на мой взгляд, нет никаких. Ни путем „оранжевой революции“, которой, конечно, не будет, ни каким-либо иным. Шансы модернизировать систему изнутри — еще меньше. Наиболее вероятно то, что система развалится сама, просто проявит свою нежизнеспособность, и ее крах спровоцирует глубокий социальный кризис, преодолевая который мы придем к необходимости воссоздать государство заново» (А. Архангельский).

«Я глубоко убежден в том, что Россия не избежать повторения событий типа государственной катастрофы августа 1991-го или октября 1993-го года» (Е. Гонтмахер).

«Если дефициты синхронизируются и кризис власти по времени совпадет с сырьевым и финансовым, то можно ждать обрушения ресурсного государства, сравнимого с тем, что произошло с СССР в 1991 году» (С. Кордонский).

15. Отсроченность надежд

«...Надо набраться терпения и ждать перемен не в масштабах электорального цикла, а в масштабах смены поколений» (С. Цирель). На всю «дорогу» к демократии, ведь отсчет от горбачевской перестройки, «может уйти три поколения» (Д. Тренин). А В. Шейнис подтверждает: «Впереди — не спринтерская, а стайерская дистанция». И приводит целый список желательных практик в этот долгий период ожидания, направленных главным образом на сохранение либерально-демократической культуры, сбережение ее до момента появления новых политических возможностей.

Разумеется, глубокие аналитики, уже показавшие свои блестящие способности в дискуссии (говоря без провозни), могут без труда выявлять внутренние тонкие нюансы в представленных пунктах «печального консенсуса», оспорить тот или иной из них, предложить новые, более точные и емкие формулировки. Однако верным ли будет само переключение нашего внимания и наших усилий на такую работу?

В главном ведь согласие достигнуто, причем, редкий случай, значительным большинством участников! Ясно, что в это большинство не входят радетели агрессивного имперства и идеократии, а также господа придворные идеологи. Даже при некотором согласии с платформой «печального консенсуса» в части критики сложившегося режима, позиции тех и других останутся антилиберальными и антидемократическими, направленными либо на эскалацию авторитаризма, либо на его спасение.

Большинство, о котором идет речь, может быть названо как либеральным, так и конституционно-демократическим. Алогия последнего определения с известной партией кадетов начала XX века вполне преднамеренная. В нее входил цвет тогдашнего образованного общества, кадеты вели дебаты о переустройстве Российского госу-

дарства на высоком интеллектуальном уровне, составляли вполне качественные политические проекты и произносили прекрасные вдохновляющие речи. Чем все это закончилось, в том числе и от самих кадетов, мы знаем. Поэтому, с учетом прежнего опыта и вытекающих из него уроков, моя квалификация «печального консенсуса», выражающего позиции современной конституционной демократии, делает акцент на необходимости политической трезвости и пристального внимания не только к политическим идеалам будущего, но также к реальным и массовым социальным процессам настоящего. В данном пункте я с удовольствием солидаризируюсь с С. Кордонским.

Так вот, некая платформа согласия относительно этого настоящего сегодня существует (она ведь и составлена преимущественно нарезкой штат). Поэтому самое время сосредоточить внимание и силы на главной теме: как при сложившихся удручающих обстоятельствах готовить и осуществлять переход к государственному устройству, более приемлемому хотя бы с точки зрения заданных инициаторами дискуссии критериев. А именно — создание благоприятных условий для технологической, социально-экономической и политической модернизации общества, формирование в его лице полноценного субъекта политики, усиление российских позиций в условиях глобальной конкуренции.

Что делать?

Смейся не смейся, а без таких вопросов и попыток ответов на них ни одна дискуссия о российской политике не проходит.

Многие предлагают пестовать появивающиеся ростки гражданского общества (Г. Сатаров, А. Аузан, В. Шейнис, Г. Мусихин и др.). Высказываются надежды на создание новых партий (И. Шаблинский). Есть предложения соединить усилия на обоих направлениях. «Речь идет о создании более или менее нормального политического рынка. Когда существует электоральный рынок, тогда любой политик должен будет прийти к автомобилистам, к солдатам матерям, в профсоюз, в Союз журналистов, то есть прийти к владельцам голосов и сказать, чего он хочет, а также услышать то, что от него требуют» (И.А. Яковенко).

Еще более радикальное предложение — оформить требования общества к государству. «Нужно начинать с Хартии граждан и определения того, что в нашей стране является целью администрации. Затем на этой основе должен формироваться стандарт оказания властных услуг. А не так, как у нас сегодня, когда стандарты — это часть административных регламентов. Причем стандарт властных услуг должен существовать на основе закона, а не правительственного решения» (А. Аузан).

Большие надежды возлагаются на раскол элит. «Уставшее от всех передрап общество (в отличие от радикалов и нетерпеливых) объективно заинтересовано в том, чтобы переход происходил мирно, с минимальными потрясениями, по возможности на основе максимально достижимого консенсуса. По-видимому, неременное условие начала такого перехода — раскол в элитах, в экономической и политической господствующем классе. Причем раскол глубокий, а не просто вызов, который может бросить вчерашним сотоварищам одиночки протестант, хотя бы он и был в недавнем прошлом знаковой фигурой. То есть известное ленинское «верхи не могут», что может открыть дорогу и революции, и глубоким реформам» (В. Шейнис). Предлагается даже инициировать номенклатурный раскол искусственно (А. Архангельский).

Кроме того, указывается на возможность использовать трудности самих элит при «перетаскивании» власти и собственности через рубеж смены лидера. Нетривиальность этой идеи в том, что ставка делается не на смену президентов «плохих» новыми «хорошими», а на вполне меркантильные интересы вышеназванных элит: предполагается, что ее противостоящие друг другу группы не смогут договориться о приемлемом для всех

«преемнике». «В ситуации смены лидера элитам в первую очередь нужна гарантия сохранения их политического положения и захваченных ранее активов, а также личной неприкосновенности <...>. Задача не имеет решения. Значит, фактически решение состоит в том, чтобы пойти на определенный демонтаж управляемой демократии и переконфигурировать властные ветви, чтобы возродить механизмы публичной политической конкуренции. Резюмирую: первая предпосылка трансформации состоит в том, что прежняя система не в состоянии обеспечить собственное воспроизводство при смене политического лидера» (А. Аузан).

Эти и другие предложения относительно путей «переучреждения государства» я оставляю без комментариев. Причем вполне умышленно. Потому что для их оценки нужны представления о закономерностях социально-политических изменений, которые может дать только теория.

Необходимость теории и ее дефицит в дискуссии

Удивительно: участвуя в дискуссии, в большинстве своем остепененные ученые, аналитики, подвигающиеся в области политических и общественных наук, читающие лекции, имеющие учеников, пишущие книги, знающие, вероятно, десятки теорий, почти не пользуются этим арсеналом в обсуждении. Причины такого парадокса могут быть разные: боязнь демонстрации школярства, привычка рассуждать о политической ситуации на эмпирическом уровне, неверие в адекватность теорий (обычно западных) в применении к России, слабость самого теоретического арсенала... Общая же причина — широко распространенный в социальных и гуманитарных науках современной России антитеоретический консенсус. Природа и пути преодоления этого удручающего явления рассмотрены мной в статье «(Не)мыслимая Россия: антитеоретический консенсус как фактор интеллектуальной стагнации», которая должна появиться в журнале «Логос».

Два явных случая обращения к теории в ходе дискуссии не очень вдохновляют. Сергей Цирель надеется, что, в соответствии с поколенческими циклами, связанными с циклами Коздратьяева, «внутри во многих смыслах больше похожи на дедов, чем на отцов» и поэтому примерно в 2035–2040 годах начнут задавать вопросы: «Если государство так малоэффективно, то почему оно имеет столько прав? почему мы так сильно зависим от государства и почему оно так слабо зависит от нас?» Здесь сомнительны как сама закономерность, так и перспективы столь долгого пассивного ожидания.

Подданная снисходительным и менторским тоном теория «ресурсного государства» Симона Кордонского в целом повторяет концепцию «раздаточной матрицы» (О. Бессонова) и классические модели редуцированных систем (М. Харрис, К. Полаки и др.). Новизна состоит в совмещении «раздаточной» концепции с крайне упрощенной циклической моделью (застой-перестройка) и в смелой, достаточно остроумной перенеприетации множества политических и социально-экономических реалий советской и постсоветской эпох в терминах «перераспределения и освоения ресурсов». С. Кордонский объявляет любой другой способ обсуждения политических, социальных и экономических реалий России, кроме своего, эзотерического, потакающим иллюзиям. Поскольку «ресурсное государство», его раскачивание между фазами репрессий (застой) и массового воровства (перестройка), согласно С. Кордонскому, фатально для России, то возможности использования данной «теории» для политических исследований и размышлений о перспективах Российского государства оказываются, мягко говоря, весьма ограниченными.

Более любознательными и многообещающими представляются незваные обращения к классической либеральной взглядам на ключевую (для государственного устройства) роль взаимоотношений между властью и собственностью. «Либеральные реформы в России никогда не решали <...> проблемы сращивания власти и собственности,

оставляя ее нерешенной. Это относится и к реформам 1990-х» (А. Аузан). Существует «некая последовательность обуславливающих факторов, когда демократия формируется на основе политического консенсуса власти и структур самоорганизации бизнеса и гражданского общества, который, в свою очередь, складывается на фундаменте правовых отношений, в свою очередь, возникающих по мере становления института частной собственности» (В. Лапкин).

Упрочение частной собственности, обеспечение ее защиты и легитимности как фундамент последующих ступеней, венчающихся демократией (на этой позиции стоит и Д. Тренин), — проект, заслуживающий внимания и обсуждения. Правда, стройная иерархическая модель В. Лапкина основывается известным в веберлианской социологии фактом: сама собственность всегда зиждется на гарантирующем ее властном порядке, обладающем легитимностью и способном к эффективному насилию (А. Стинкомб, Р. Колинз и др.). Это означает, что нельзя заниматься упрочением института частной собственности без одновременного реформирования политического режима, которое должно быть направлено как раз на блокирование власти, лишение ее возможностей посягать на собственность, столь для нее привычных. Но, как бы то ни было, А. Аузан и В. Лапкин открывают чрезвычайно интересную и многообещающую область для применения и развития разных моделей и концепций, касающихся взаимоотношения власти и собственности, для создания и критики соответствующих политических проектов и программ.

Несколько слов о подходе к обсуждаемым проблемам Лилии Шевцовой. Она редко обращается к политическим теориям явным образом, но весьма успешно использует эмпирические обобщения. Полемицируя с Михаилом Красновым относительно возможности преодоления персоналистского режима новым лидером («клин клином»), Л. Шевцова указывает на необходимые условия успеха: «Практически все успешные трансформации авторитарных и тоталитарных обществ включали в себя следующие элементы: трансформационный лидер, который приходит к власти в момент дряхления системы и имеет ощущение миссии; фрагментация правящего класса, выделение из него прагматиков, готовых к реформированию; давление снизу в виде протестного движения. Только эта „трехчленка“ может привести к успешному выходу из прежнего режима». Однако в приложении к современной России здесь сразу же возникает множество вопросов:

- что такое «дряхление системы» и как долго его ждать?
- можно ли и нужно ли его ускорить?
- какие есть возможности способствовать преодолению авторитаризма, не дожидаясь «дряхления системы» и ее кризиса?
- при каких условиях «ощущаемая миссия» лидера и деятельность выделившихся из правящего класса «прагматиков» будут направлены именно на самоограничение власти и демократизацию, а не на «омоление сапог в теплых морях» (В. Жириновский), аннексию Европы в целях устранения туристических виз (М. Юрьев) или тринициальной увод «расширенной» казны за рубеж?
- какие есть основания полагать, что «давление снизу в виде протестного движения» будет направлено не на передачу всей полноты власти новому президенту (например, для управы над зарвавшимися «олигархами» или местными губернаторами-феодалами), а, напротив, на ограничение власти, на формирование в ней малопонятных населению «разделений», «сдержек и противовесов» и прочих названных в извие причудцов?

По-моему, эти вопросы заслуживают размышлений и обсуждения. Но сама постановка их стала возможной только благодаря общему и вполне правдоподобному тезису Л. Шевцовой. Что касается ответов... И здесь мы подходим к самому главному.

Мой тезис прост: современное квалифицированное рассмотрение вопросов преобразования государственных режимов (в том числе и в России) должно вестись с учетом накопленных в науке теорий и с опорой на широкие исторические сравнения. Сам я не являюсь политологом и с большим интересом жду, когда, наконец, в нашей дискуссии профессионалы выйдут на теоретический уровень обсуждения. Особые надежды возлагаю на Владимира Гельмана и его коллег по Европейскому университету, на специалистов из Высшей школы экономики и «Шанински», которые удачно совмещают добротную теоретическую подготовку со знанием эмпирических реалий российской общественной жизни и политики, в том числе региональной. Пока же профессионалы раскачиваются, и позволю себе наметить некоторые теоретические идеи, в частности, развить историко-социологические концепции демократической революции и геополитической динамики (Р. Коллинз) как факторов становления коллегиально разделенной власти в приложении к настоящему и будущему российской государственности.

Повышение коллегиальности власти — ключевая проблема

Р. Коллинз выделяет в понятии демократии три измерения: уровень коллегиально разделенной власти, доля населения с правом участия в выборах и политические права¹. В нашей же ситуации прежде всего следует обсуждать:

- пути повышения уровня коллегиально разделенной власти,
- пути повышения честности выборов и
- пути возвращения ответов у граждан политических прав.

На мой взгляд, две последние проблемы напрямую зависят от разрешения первой. И вот почему.

Коллегиально разделенная власть (КРВ) — это не коллегиальный орган власти типа Политбюро ЦК КПСС, правительства или Администрации президента, а взаимосвязь нескольких взаимодействующих властных органов, каждый из которых осуществляет определенный набор функций (например, судопроизводство или заводительство) и может представлять те или иные заинтересованные в политике силы, будь то влиятельный слой, часть страны, большая группа населения или все избиратели. Р. Коллинз поясняет понятие уровня КРВ (далее, для простоты, коллегиальности власти) через воображаемый континуум. На его нижнем полюсе — централизованная иерархия подчинения во главе с автократом (яу не знал Коллинз термина «вертикаль власти»!) По мере же повышения уровня КРВ увеличивается число коллегиальных структур и растет их доля власти в сравнении с властью центральной иерархии, полностью, очевидно, неустраняемой даже в федеративном государстве. Обнаруживается прозрачная связь с начальной темой нашей дискуссии: преодоление «персоналистского режима» — это и есть существенное повышение уровня КРВ.

Почему же коллегиальность власти является ключевым фактором для повышения честности выборов и возврата отобранных политических прав? Воовсе не потому, что во множестве коллегиальных органов вдруг засядут политики и чиновники, гораздо более честные и бескорыстные, чем в единой иерархии подчинения. Причина — сугубо институциональная (поклон А. Аузану). Каждый орган власти при высоком уровне КРВ претендует на легитимность сам и признает легитимность других органов не на основе назначения или одобрения «сверху», а на основе признания за ним самостоятельной силы и влияния, что выражается в выполнении всех формальных процедур формирования соответствующего органа власти «снизу».

Если же таковыми процедурами являются выборы (например, парламентские или президентские), то уровень силы и влияния каждого политического актора и, со-

¹ Collin R. Macrohistory: Essays in the Sociology of the Long Run. Stanford, 1999. P. 114.

ответственно, уровень его легитимности, признаваемой другими акторами, определяется числом полученных голосов. При этом честность выборов поддерживается заинтересованностью основных политических игроков (прежде всего, партий) и контроле над тем, чтобы никто не получал излишнего (незаконного) уровня легитимности.

Этот понятный интерес каждого актора осуществляется как раз через строгий контроль установленных правил. Такой контроль призван в первую очередь предотвращать «перекося» правил в чью бы то ни было сторону. Так, например, перекося, сформированные ранее доминировавшей в парламенте партией, при высоком уровне коллегиальности либо полностью устраняются, либо со всей определенностью лишают саму эту партию легитимности. Разумеется, роль свободной прессы, общественного мнения, политической культуры также велика, но именно эффект взаимоконтроля органов и акторов КРВ представляется структурно главенствующим. Только в таких условиях появляется до сих пор недостижимый в России престиж «честной игры», сулящий политике полную потерю политического лица при любом жульничестве или нелегитимном использовании административного ресурса.

Что касается возвращения отнятых прав — выбирать губернаторов, голосовать «против всех», организовывать референдумы, шикеты, митинги и марши, создавать новые партии и объединяться в избирательные блоки, то оно тоже не может быть следствием вздут проснувшихся у политиков и чиновников либеральных идеалов или филантропии. Ущемление политических прав граждан всегда нужно вполне определенным органам власти, обычно опасаясь протестов и смещения. Ясно, что при низких уровнях КРВ авторитаризме, автократии и, тем более, тоталитарном строе — вся «вертикаль власти» чувствует свою уязвимость и ущемляет права граждан по полной программе. При высокой же коллегиальности власти протесты против одного из властных органов, даже президента или правительства, не колеблют систему, но служат полезными сигналами о проблемах, нуждающихся в решении.

При каких условиях появляется коллегиальность власти?

Общезвестный путь — демократическая революция — может травостаться как протест низовых держателей ресурсов (как крупных, так и мелких) против чрезмерного фискального давления централизованной бюрократии, что приводит рано или поздно, с вероятными зигзагами насилия и реставраций, к согласию влиятельных групп на определенный уровень налогообложения в обмен на реальное участие в коллегиальной власти.

Но революции оказываются не единственными (к тому же ничего не гарантирующими) и даже не основными историческими путями к высокому уровню КРВ. Р. Коллинз убедительно показывает на примерах германских княжеств, Венеции, Швейцарии, Нидерландов и США, что становлению коллегиальной власти неизменно сопутствует особый геополитический паттерн:

- крупные держатели военно-политических и экономических ресурсов вынуждены из-за внешнего давления вступить в коалицию (федерацию);
 - эта коалиция в течение относительно долгого периода достигает умеренного геополитического успеха, который легитимирует именно такую структуру власти, основанную на взаимных договорах, обязательствах и общих «правилах игры».
- Здесь важным оказывается именно умеренный успех, поскольку неуспех ведет к делегитимации федерации или же поглощению внешним завоевателем, а крупный успех дает чрезмерную легитимность лидеру и ведет к династической автократии — резкому снижению коллегиальности власти.

Хорошо, но при чем здесь современная Россия? Казалось бы, давнишние военные пертурбации никакого к нам отношения не имеют, а про возможность «демократиче-

ской революции» при внешних массовых политических установках россиян и говорить неумно. К тому же, как известно, приход в Россию «демократии» (уж какой есть — «управляемой», «суверенной», «византийской» или «конвенциональной») осуществился не первым и не вторым, а третьим, довольно распространенным в XX веке путем подрывания уже имеющимся евроатлантическим демократическим государством вследствие их высокого геополитического, левоэкономического и левокультурного престижа.

Однако теоретический подход потому и выигрывает в сравнении с эмпирическими обобщениями (тоже необходимыми и полезными), что позволяет расширять понятия, строить и проверять новые гипотезы. Оставив эту линию в качестве дальнейших исследовательских перспектив, попробуем имеющимися средствами объяснить основные составляющие нынешнего «печального консенсуса».

Приход демократии в Россию не был поддержан «революционными» структурными факторами, связанными с торгом держателями ресурсов относительно фискальной политики и участия в коллегиальной власти. Разумеется, держатели ресурсов были: руководители главков, директора заводов, удачливые новые коммерсанты — будущие «олигархи». Торг тоже был: «мы вам — согласие на реформы, лояльность и финансирование выборов, а вы нам — «драгоценную» схему приватизации, залоговые аукционы и проч.». Но чего не было, так это формально и легально зафиксированных правил, закрепляющих, с одной стороны, легитимность собственности, а с другой — такую структуру коллегиальной власти, которая исключала бы властный произвол и позволяла влиятельным группам принимать участие в политике, борясь за свою политическую легитимность согласно общим процедурам — прежде всего, электоральным.

В краткосрочном плане достигнутые теплые договоренности (те самые «конвенции», которые так восхваляет И. Дзюкин) хороши, оперативны и по-семейному удобны всем их участникам. Однако в долгосрочной перспективе они не только с неизбежностью саморазрушаются, но и приводят к рецидивам экспроприации собственности и силовой борьбе под судебным прикрытием. Более того, они ведут к монополизации власти во всей ее полноте сильнейшим игроком, к резкому обвалу коллегиальности (уровня КРВ) и естественным мероприятиям захватившей власть группы, стремящейся к закреплению своего доминирования навечно.

Массированное использование административного ресурса на выборах, череда перекосов в электоральных законах и процедурах, подавление независимых СМИ и НКО, фактическая отмена референдумов, запреты и разгоны митингов и шествий, сопутствующие ущемления политических и гражданских прав, наконец, нарастающая практика отъема привлекательной собственности — это системные следствия одних и тех же структурных причин: заимствованный декор демократических институтов и процедур не был подкреплен реальным и формально зафиксированным согласием автономных политических сил. Можно показать, как эти и другие следствия сложившегося режима привели к явлению, зафиксированному в пунктах «печального консенсуса»: неэффективность государства, всевластие и нравственное разложение бюрократии, апатичность и сервильность среднего класса, разочарование широких масс в демократии и демократических институтах.

Приход демократии в Россию не был поддержан чем-то похожим и на представленный выше «геополитический паттерн». Скорее, динамика была обратной. Распад СССР поначалу не вызвал в России широкого протеста: уж точно не было очередей из добровольцев, готовых отвоюывать отпавшие части страны. Однако потеря окраинных территорий всегда со временем воспринимается центральным сообществом как геополитический провал. Отсюда следует не только обвальное падение легитимности лидеров (вначале М. Горбачева, а со временем и Б. Ельцина), но также и спад легитим-

ности ассоциированной с провалом идеологии — в данном случае демократии и либерализма. Тяжелая экономическая ситуация в 1990-х, беспорядки с выплатами зарплат и пенсий — это также важный фактор снижения общего престижа страны (в сравнении с известным чужим благополучием) и, соответственно, дискредитации господствовавшей тогда «демократической» идеологии.

Построение В. Путиным «вертикали власти» совпало и с эффектом закономерной регенерации экономики после кризиса 1998 года, и с подъемом малого и среднего бизнеса благодаря ранее принятому вольно приличному законодательству, и со взлетом нефтяных цен. «Победа» над мятежной Чечней, апелляция новой власти к могучей славе СССР, демонстрируемая способность перекрыть нефтяные и газовые краны соседям и даже Европе — это также факторы роста *внутреннего геополитического престижа* при наличной массовой политической культуре. Сказался эффект того самого «слишком большого» успеха, который ассоциирован с конкретным лидером. Но если в прежние времена следствием было бы установление династической авторитарной монархии, то теперь тот же структурный фактор обусловил давление окружения на лидера и массовые стелания в пользу «третьего срока».

Как видим, «сказка сказывается и про нас». Выявленные механизмы, определяющие динамику роста или упадка демократии, показали хорошую объяснительную силу. Остается самое интересное, но и самое сложное.

Как использовать теорию динамики КРВ в современной российской ситуации?

Рассмотрим вначале модель торга держателей ресурсов за политическое участие. Приходится признать, что в сложившихся условиях такой торг крайне маловероятен. Малый и средний бизнес запуган и деморализован. Представители крупного бизнеса уже и так «сторговались» с бюрократией, но, скептически оценивая надежность и долговременность этих «конвенций», держат свои активы за рубежом, учат там детей, прикупают там виллы и предпринятия. Ситуацию усугубляет нефтяной дождь, который авторитарная власть пропускает только через себя. Сложилась структура «один даритель — много просителей», и ни к какому торгу относительно разделения власти она не ведет.

Всегда ли так будет? Отнюдь. Просматриваются два главных фактора изменения ситуации.

Первый фактор всем хорошо известен: падение мировых цен на нефть, вероятное снижение добычи газа. Очевидно, что посвященную на нефтегазовую иглу экономику будет трасти. Пресловутый Стабфонд, возможно, на какое-то время смягчит ситуацию, но не исправит ее (если он вообще не будет растащен). Чтобы выполнять свои внутренние и внешние обязательства, государство непременно обратится к держателям ресурсов. Вот тогда и возникает возможность торга по поводу разделения власти, участия в ней, гарантий и правил «честной игры».

Но — именно возможность, не более того. Сценарии, подобные опричному террору и большевистской продразверстке, тоже нельзя исключать. Многое будет зависеть от того, как отреагирует на новое фискальное давление бизнес, кого поддержит население. Здесь теория уже ничего сказать не может, нужны полевые социологические исследования. Но в этом же пункте есть и неопределенность, дающая возможности для практического изменения ситуации — через просвещение, формирование ореструктур и сетевых связей, которые позволят бизнесу и населению оказать отпор давлению и насилью, настоять на переговорах о разделении власти и демократизации государства.

Второй фактор, собственно, уже обозначен — это самоорганизация и сплочение держателей ресурсов, начиная от крупного бизнеса и вплоть до простых людей —

собственников квартир, дач, гаражей и автомобилей. Кроме пошлого противодействия со стороны власти (с атомизированными собственниками легче управляться), нет серьезных препятствий для этих процессов уже сейчас, не дожидаясь падения нефтяных цен и фискального кризиса. Такого рода ассоциации как местного, так и общенационального масштаба могут быть созданы бизнесменами для простой цели — препятствовать рейдерству, шантажу налоговых органов. Тут перед каждым возникает принципиальная альтернатива: либо обезопасить лично себя любимого путем «связей» — тех же «конвенций» с местными чиновниками и силовиками, отдавая им определенную мзду, что в России привычно, либо объединиться с товарищами (в старом купеческом смысле) и отстаивать свои права, заключать договоренности с властью, фиксируя их в формальных правилах, призванных действовать долгое время и некарать на лица, что в России непривычно, но, возможно, уже встречается.

Как будут поступать люди? «Каким в этой новой ситуации, — спросим вслед за Владимиром Лавровым, — окажется итоговый выбор интенсивно растущих сегодня структур мелкого и среднего бизнеса? Станет ли таким выбором политическая консолидация под колпаком властвующей бюрократии федерального или регионального уровня? Либо, заведомо бросая вызов бюрократии, бизнес предпочтет стратегию формирования автономных структур политической самоорганизации?»

Здесь, однако, возможности данной теоретической модели опыт кончаются. Зато остается возможность эмпирических исследований и привлечения других теоретических моделей.

Возможности геополитической модели

Применение геополитической концепции становления коллегиальной власти для современной России кажется на первый взгляд еще более безнадежным занятием. Если следовать модели буквально, то вначале страна должна распасться на несколько уделов, затем, в противостоянии внешним угрозам, они должны вновь объединиться, но уже посредством дипломатии и формирования общих органов коллегиальной власти. После этого при условии умеренного геополитического успеха в течение исторически долгого времени такая структура власти будет легитимирована и положит начало росту остальных параметров демократии.

Ясно, что всерьез такой путь никто рассматривать не будет.

Сам Р. Коллинз в заключительном разделе той же работы 1999 года, посвященном как раз перспективам демократизации России, возлагал надежды на воссоединение на новых коллегиальных началах частей бывшего СССР, обретение этой целостности геополитического престижа с последующим эффектом укрепления и развития демократии как в России, так и на постсоветском пространстве. Судя по слабости СНГ, союдам России с Украиной, Грузией, Белоруссией, такой сценарий не реализуется, а если и возможен в принципе, то только в отдаленном будущем, когда сгладятся прославленные придворными идеологами «успехи» путинской внешней политики. Неизбежное доминирование России над остальными партнерами в СНГ, рост ее внутреннего авторитаризма, авторитарность большинства постсоветских режимов, драматические трудности становления демократии на Украине (с негарантированным успехом) — все это препятствует как коллегиальности и крепости отношений, так и успеху коалиции.

Поэтому сценарий Р. Коллинза следует если не отбросить вовсе, то отложить в долгий ящик.

Возможен ли геополитический путь к демократии внутри России без ее предварительного распада? Сейчас почти все факторы действуют против данного направления. Центральная власть — прежде всего президентская — обладает высокой легитимностью, финансовой мощью. Более того, она элиминировала сам федерализм,

отменив выборы губернаторов, которые теперь фактически назначаются президентом. В сложившейся финансово-налоговой системе большинство областей и краев остаются дотационными. Действует та же структура — один даритель и много просителей, — которая никак не способствует равноправному торгу, партнерству и коллегиальности.

Так что приходится вновь соглашаться с участниками дискуссии, присылающими готовиться к «стайерской дистанции» и предрекающими кризис, который откроет новое окно возможностей. В том числе, добавлю, и возможностей геополитического сценария становления демократии.

Сценарии разрешения политического кризиса: мысленный эксперимент

Кризис вовсе не обязательно будет полным разрушением и ужасом, после чего победители в жестокой силовой борьбе навязут новый, еще более жесткий режим, например, фашистского толка.

Кризис (финансовый, экономической, связанный с сериями технологических аварий) или череда таких кризисов непременно делегитимируют центральную власть, и тогда выяснится, что никакой перестановкой губернаторов она ничего не может добиться. Непременно произойдет раскол правящей элиты, о котором говорит В. Шейнис. При наступившем политическом кризисе в игру непременно вступят сохранившие силу и влияние акторы: губернские власти, бизнес-сообщества, промышленные гиганты, возможно, коалиция банков.

Далее опять же все зависит от поведения этих акторов. Они могут по стародавней традиции быть целом: «Придите и правьте нами», отдав всю власть новому Рюрику. Они могут найти нового Ельцина и сказать: «Мы дадим вам всеми править, а вы дайте нам все приватизировать».

Но ведь кроме челобитчиков и приватизаторов могут оказаться (уже есть!) другие, которые скажут примерно так: «Мы сами хотим участвовать во власти, и чтобы на власть, а во избежание междоусобицы, для гарантий от произвола и для защиты собственности будем играть по какому-то формальным и равным для всех правилам. Чтобы не дрожать за свое добро и не думать, кому и какую дать взятку, наладим независимый и справедливый суд. Чтобы парламент принимал нормальные законы, чтобы в нем конкурировали партии, причем ни одной не дадим никаких привилегий. Чтобы избранный президент вновь не задавал нас всех своей властью, затвердим четкие ее границы». И т.д. и т.п. Если когда-то и будет составлена Хартия граждан (А. Лузин), то примерно в этом ключе. Назовем группу с такой позицией приверженцами цивилизованной коллегиальности, а для простоты — федератами.

Естественно, что «челобитчики», «приватизаторы» и «федераты» — продолжим наш мысленный эксперимент — начинают политическую борьбу. По привычке, конечно, призывают силовые структуры. Заметим, однако, что, согласно заданным условиям, в стране политический кризис, армия дезориентирована, и для ее руководителей смертельно опасно «поставить не на ту лошадь». Оптимальная и обычная в таких случаях позиция военных — выжидание.

Но, увы, с учетом господствующего менталитета в современном российском офицерстве, силовое вмешательство армии, ОМОНа и спецслужб, причем на стороне коалиции «челобитчиков» и «приватизаторов» с проявившимся харизматическим лидером типа Б. Ельцина или генерала А. Лебеда все же не исключено. Тогда страна вернется к началу 1990-х (при больших поблажках бизнесу и олигархам) или к началу 2000-х (при восстановлении «вертикали власти» и соответствующем попустительстве бюрократии). «Федераты» как теоретическая надежда конституционной демократии

в лучшем случае будут изгнаны и лишены имущества, в худшем — посажены или убиты, повторив судьбу кидетов столетней давности. Цикл завершен, вновь попали в взаемную колесо, и Силин Кордонский может позавидать лавры интеллектуальной победы. Но неужели из фатальных циклов никак не вырваться?

Мысленный эксперимент дает все же шанс. Армия и другие силовые структуры могут остаться в выжидательной позиции, могут расколоться, но противиться стрельбе друг в друга. Только теперь на сцену выступает простой российский гражданин, которого в разные стороны будут тащить «челобитники», «приватизаторы» и «федераты». Опять же, с учетом известного менталитета российского населения, можно смело предположить: выиграет та сторона, которая выдвинет наиболее яркого лидера, на чью сторону встанут самые референтные в обществе группы и лица (подобно журналистам и кинематографистам в эпоху Перестройки). Но кто именно выиграет?

Здесь возможности теории вновь оказываются исчерпанными. Помочь могут только мониторинговые исследования, причем незадолго до исхода борьбы. Судя же по нынешнему раскладу политических предпочтений, проявившемуся и в нашей дискуссии, следует ожидать раскол в политических предпочтениях народа.

Жаждавшие реставрации Империи (под православным, сталинским или иным соусом) — это те же «челобитники», готовые пойти за новокаленным харизматическим Вождем, если он убедит их, что восстановит Порядок, вернет потерянные территории и захватит новые, следуя геополитическим рецептам М. Юрьева или руководствуясь идеей «нового универсалистского замысла», почерпнутой у С. Кургинова.

Красочно описанные С. Цирелем меркантильные и циничные «новые русские трудолюбивые» — это потенциальные «приватизаторы», готовые терпеть во власти хоть черта, лишь бы получить доступ к финансовым потокам.

Наконец, есть антифашисты и антинацисты, «Объединенный демократический фронт», «Другая Россия», запрещенная Республиканская партия, «несогласные», ратующие за справедливые выборы, за возвращение прав, свобод и демократии. Политически активных на этом фланге не очень много, но они — лишь часть айсберга, т.е. прежнего электората партий либерального и демократического толка мощностью примерно 15%.

Что в итоге? Патовая ситуация. Но, согласно геополитической модели становления коллегиальной власти, это совсем не плохо. Потому что именно в патовых ситуациях развиваются не силовые, а дипломатические, договорные практики, что, между прочим, льет воду на мельницу «федератов». Нужно будет только переманить на свою сторону трудолюбивых-приватизаторов, для чего есть веский козырь: именно коллегиально разделенная власть даст надежную защиту собственности, но никак не новая автократия, не терпящая никаких ограничений в своих принудительных практиках и отъеме ресурсов.

Подход нужно будет найти и к простому человеку — несобственнику, для чего предстоит ухватить его повседневные нужды, основные источники социальной дискомфорта и уменьшения достоинства с устройством местной и не только местной власти, убедить его в реальной возможности влиять на коллегиальную власть при полной беспомощности перед лицом централизованной автократии. При этом коллегиальная власть должна будет допустить политическое участие граждан, обеспечить надежную защиту их прав и свобод. Здесь и получит исключительную актуальность Хартия граждан, предлагаемая А. Аузаном. Так коллегиальная власть вырастает в полнокровную демократию.

Итак, в рамках заданных предпосылок мысленной модели политического кризиса шанс обретения «федератами» влияния и преимуществ и, соответственно, становления коллегиальной власти и демократии существует. И он окажется еще значительнее,

если нынешняя неопределенность будет рассматриваться ими как свободное пространство для практического вмешательства в будущую историю: я имею в виду выращивание лидеров, укрепление позиций в референтных группах, просвещение — насколько позволяет режим — бизнеса и населения. Но праздновать победу, даже виртуальную, все равно рано.

Коллегиальная власть ведь тоже может погрязнуть в конфликтах и сама призвести к череде кризисов. Она может по-компрадорски сдать важнейшие ресурсные территории иностранному капиталу, проиграть глобальную конкуренцию, наконец, утерять земли. Ставки велики: падение геополитического престижа страны автоматически приведет не только к политическому краху «Федератов» и делегитимации коллегиальной власти, но и к новому витку затяжной дискредитации самой демократии и конституционализма. Так что колея российских циклов если и не фатальна, то асфальду рядом.

Вместо заключения:

вопросы к нынешним и будущим участникам дискуссии

- Существуют ли другие, минуящие финансовый и политический кризис, пути становления коллегиальной власти и демократии в современной России? Каким для этого есть теоретические основания и эмпирические предпосылки?
- Если таких путей нет, то как следует готовиться к кризису, чтобы он привнес не деструктивные формы, а стал началом формирования коллегиальной власти?
- Как способствовать ответственности и эффективности коллегиальной власти, если она сумеет установиться в России?
- Каким образом в этом случае должны сотрудничать регионы, промышленные гиганты, добывающие отрасли, банковские группы, органы местной и центральной власти, другие акторы для выигрыша в глобальной экономической конкуренции?
- Как строить это взаимодействие сейчас, в условиях крайне низкой коллегиальности? Ведь и на месте нельзя стоять, и кризис в родной стране негоже приближать. Автоаратно же (персоналистский режим) укреплять пресловутыми «большими проектами» — тоже весьма безрадостная перспектива, сулящая в будущем столь же большие провалы, а при нечаянном успехе — лишь продолжение стагнации.

На эти вопросы у меня уже нет ответа. Честное слово, они не были заготовлены заранее, а высветились только благодаря проведенному рассуждению и исследованию мысленного эксперимента.

Коллеги, не говоря уже об идеологических противниках, найдут в моем тексте ошибки, неточности и противоречия. Это предсказуемо и нормально. Но будет еще лучше, если кто-то продвинется в теоретическом осмыслении проблемы демократизации России и даст обоснованные ответы на поставленные вопросы. Это будет иметь гораздо большую значимость для дискуссии. Уже если сидим часами перед монитором, нужно изобрести что-нибудь стоящее.

ВЫБОР МЕЖДУ ДВУМЯ НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ

Попытка оценить нынешнее состояние российской государственности и политического режима, риски и неопределенности их дальнейшего развития неизбежно выводит на целый ряд различного рода проблем. Отчасти они обусловлены бурными процессами 1990-х годов, которые протекали в условиях «дилеммы одновременности» (Кlaus Offe) — не встречавшейся доселе в истории «тройной трансформации», т.е. одновременной смены и политического строя, и экономического устройства, и границ государства. Хорошо ли, плохо ли, сегодня России эти проблемы удалось если не решить, то, по крайней мере, уменьшить порождаемую ими социальную и политическую напряженность. Однако сегодняшние решения носят, скорее, характер косметического ремонта, в то время как Российское государство требует ремонта как минимум капитального. В краткосрочной перспективе косметический ремонт удался, но решение многих проблем системного характера отодвигается на потом. Поэтому пресловутая стабилизация государственного строя и политического режима в России, приписываемая В. Путину, — мнимая: было найдено краткосрочное решение, но в рамках нынешнего режима не существует решения долгосрочного.

Долгосрочные решения требуют длинного горизонта времени. Горизонт времени, которым оперирует сегодня российский политический класс, чрезвычайно короток. Поэтому-то и откладываются многие решения. Привычка оперировать коротким временным горизонтом сформировалась в 1990-е годы в ситуации крайне высокой неопределенности, перманентных кризисов и постоянных конфликтов. Все это в целом не позволяло строить расчеты далее чем на несколько месяцев. Сегодня объективных причин, препятствующих переходу к долгосрочному планированию, стало гораздо меньше. Экономика в несомненно лучшем состоянии, чем в прошлом десятилетии, цены на нефть высокие, потенциал острых конфликтов, которые угрожали бы территориальной целостности страны, значительно снизился. С социально-экономической точки зрения в России нет ничего, что оправдывало бы краткосрочный подход политических элит к проблемам развития страны. Но сохраняются высокие политические риски, поскольку не решен ряд ключевых вопросов институционализации российского политического устройства.

Здесь мы выходим на проблемы несколько иного рода, имеющие непосредственное отношение к политической теории. Речь идет о том, каковы условия и механизмы стабильности недемократических режимов.

Дилеммы периода стабилизации

Россия — не единственная недемократическая страна, которая сталкивается с угрозой глубокой дестабилизации режима (особенно в ситуации смены лидера). Большинство политических режимов, установившихся в постсоветских странах, реша-

ля эту проблему путем персонализма. Одним удалось найти более успешное решение (Азербайджан при Алиеве-отце и Алиеве-сыне), другие были менее удачливы (Кыргызстан), но все персоналистские режимы в мире чрезвычайно устойчивы в том плане, что срок их существования невелик (по данным Барбары Геддес, в среднем 15–18 лет) и, как правило, не превышает срок жизни самой властной персоны.

Такие режимы в сравнительной перспективе оказываются более опасными для элит, чем другие типы недемократических режимов, поскольку они наиболее репрессивны. Для того чтобы держать элиты в повиновении, персоналистские лидеры, как правило (хотя и не всегда), вынуждены устраивать регулярные чистки, жертвами которых оказываются прежде всего сами элиты. Скажем, «ленинградское дело» времен Сталина — наглядная тому иллюстрация. Сходные явления мы могли наблюдать на примерах режимов Турарменбаши и Лукашенко, когда жертвами становились персонажи из близкого окружения лидера. Кстати, поведение российского режима в деле ЮКОСа — пример из того же ряда.

Но существуют и иные, более устойчивые разновидности недемократических режимов. В постсоветских странах речь не идет о режимах военных: этот вариант здесь нереализуем в силу относительно низкой политической роли и статуса вооруженных сил. Но есть другой тип режимов, обеспечивающих минимизацию рисков, — режимы с доминирующей партией. Более того, у нашей страны есть соответствующий опыт: в постсталинский период мы, безусловно, имели не персоналистский режим, а режим господствующей партии, которая определяла политическую повестку дня в гораздо большей степени, чем лидеры страны, будь то Хрущев или Брежнев. Существует и известный мексиканский опыт, про который мне уже приходилось писать¹.

В Мексике 1930-х годов режим доминирующей партии оказался сознательным выбором элиты в весьма специфических обстоятельствах высоких политических рисков: стране надо было преодолевать последствия тяжелого, длившегося два десятилетия кризиса, включавшего революцию, восстания, ослабление центрального правительства на фоне господства местных боссов, вовлеченность армии в принятие политических решений. По сравнению с мексиканскими постреволюционными кризисами наши кризисы 1990-х выглядят весьма умеренными и непродолжительными. В том выборе, который сделала мексиканская элита, колоссальную роль сыграл Лазаро Карденас, который, собственно, и был генеральным секретарем правящей партии, а потом сделал ее правящей по-настоящему, т.е. не просто «партией власти», а устойчиво доминирующей партией на протяжении многих десятилетий (она находилась у власти с 1929 по 2000 год). Этот опыт оказался весьма успешным: Мексика эффективно развивалась практически в течение всего периода.

Но механический перенос такого рода опыта на российский почву — дело крайне затруднительное. Практика российского партийного строительства показывает, сколь непросто реализовать здесь подобную модель. Тем не менее сегодня выбор происходит только между двумя недемократическими моделями: персоналистской (при этом не важно, будет ли нынешний президент фактически находиться у руля власти после истечения внешнего срока или нет) и моделью с доминирующей партией. Вариант же мирной трансформации нынешнего режима в подобие режима конкурентной демократии на сегодняшний день в повестке дня российского политического класса не стоит.

Повяту, что строительство режима доминирующей партии — не одномоментный процесс. В той же Мексике его институционализация заняла три электоральных цикла, 17 лет, и завершилась только к 1946 году. На этом пути были свои внутренние расколы, свои проблемы, свои сложности. Формирование доминирующей партии

в России — также не вопрос одного дня. Мы видели, как у «Единой России» — основного претендента на эту роль — появился спарринг-партнер в лице «Справедливой России». Более того, президент сказал, что было бы правильно, если бы обе партии выдвинули единого кандидата на президентских выборах. Не исключаю, что так оно и случится. Конечно, многое будет зависеть от исхода парламентских выборов, а также от того, будет ли принято принципиальное решение инвестировать усилия и ресурсы государства в укрепление «партии власти».

Так или иначе, до того, как пройдут ближайшие парламентские и президентские выборы, о выборе того или иного пути эволюции российского политического режима говорить преждевременно. При этом прохождение самой главной, принципиальной разницы обусловлено тем, произойдет ли смена первого лица на посту реального (а не только формального) главы государства. Если она не произойдет, то тем самым будет сделан важный шаг в сторону персоналистского варианта, и нынешний президент будет де-юре или де-факто возглавлять страну и после истечения срока своих полномочий. Шансы на реализацию этого варианта далеко не нулевые.

Оба варианта — и персоналистский, и вариант доминирующей партии — далеко не идеальны. В любом случае кто-то несет очень серьезные издержки. В случае персоналистского варианта эти издержки существенны, но их придется нести немногим представителям элит. В случае варианта доминирующей партии доля людей, которые могут быть отодвинуты от кормушки, будет гораздо больше, но их риски будут не столь велики.

Оба варианта несут свои выгоды и издержки и для страны в целом. Вариант с доминирующей партией может привести (хотя и не гарантирует) режиму долгосрочную стабильность, но при его успехе нынешнему поколению россиян придется забыть о демократии. Вероятность краха персоналистского режима и его последующей демократизации более высока, но едва ли этот крах в российских условиях будет мирным и безболезненным.

Универсальное и особенное в природе российских политических институтов

Сегодня большинство стран мира имеет формально «западный» институциональный «фасад» с президентами, парламентами, конституциями, выборами. Россия ничем не лучше и не хуже этих стран. Но вряд ли стоит приписывать такого рода институты исключительно «западному» опыту, поскольку помимо формального «фасада» они имеют содержательное наполнение, которое может быть различным.

Есть многочисленные исследования, которые показывают, что конституционный дизайн, многие правовые элементы страны Латинской Америки черпали из опыта США. Более того, их конституция писались значительно позже, чем конституция США, и качественно были лучше. Тем не менее в истории латиноамериканских стран далеко не всегда содержание этих институтов соответствовало их демократической форме, а очень часто они отбрасывались вообще, и развитие шло путем военных переворотов. Впрочем, и советская конституция тоже была демократической по форме, предполагала парламентскую республику, однако содержание, выполнявшее эту форму, было принципиально иным, недемократическим.

Но чтобы яснее понять содержание, начинать следует все-таки с формы. Строго говоря, современная российская конституция с этой точки зрения никакой конституцией, конечно, не является. Это некий акт политической воли, который был принят силовым путем после роспуска парламента в 1993 году, и никакого согласия политических акторов с основными положениями конституции в данном случае не предусматривалось. Да, конституция действует, ее никто не может обойти напрямую. Но

вовсе не потому, что она хорошая. И даже не потому, что с ней все согласны. А просто потому, что издержки ее изменения очень велики, изменить ее или привнести новую конституцию очень сложно. Но в то же время мы видим, что эта конституция не выполняет две важнейшие функции: во-первых, функцию согласования интересов и координации действий, а во-вторых, функцию ограничителя действий политиков.

Например, в 1995 году, рассматривая дело по указу Ельцина о вводе войск в Чечню, конституционный суд счел, что Ельцин вообще-то ничего не нарушал, потому что конституция предписывает ему определять основные направления внутренней и внешней политики страны, и он вот так их и определяет. А за исполнение его указов в Чечне ответственность несут конкретные должностные лица, Ельцин тут чист. Это — очень характерный пример, свидетельствующий о том, что функция ограничителя в конституцию не заложена.

К тому же даже самые либеральные ее положения легко могут быть изменены или их содержание может быть извращено до противоположного. В конституции, скажем, есть огромный глава о правах и свободах человека и гражданина, но в то же время одна из ее статей гласит, что вообще-то эти права и свободы граждан могут быть отменены федеральным законом, если того потребуют общественные интересы. Понятно, что, опираясь на такие положения, смысл всех норм о правах и свободах граждан легко изменить с точностью до наоборот. По сути, единственное существенное ограничивающее положение в российской конституции — норма о невозможности одному человеку занимать президентский пост больше двух сроков подряд, хотя уже сегодня в политическую повестку дня поставлен вопрос об ее возможном пересмотре.

Такая дырявая конституция, не являющаяся продуктом согласования общественных интересов, может существовать в течение довольно длительного времени, но при этом она будет иметь отношение к реальной жизни не большее, чем имела конституция советская. В то же время в реальной жизни будут действовать законы *Realpolitik*, дарвиновские законы борьбы за выживание. И естественно, что в такой борьбе и конституция, и нормы права служат не ограничителем, а орудием борьбы. В этой ситуации, например, принятие поправок в избирательные законы оказывается средством недопущения определенных политических сил к участию в выборах, а тот актер или та группа, которая имеет возможность менять правила избирательного процесса, максимизирует тем самым свои политические шансы и минимизирует возможности оппонентов. Иными словами, функции политических институтов в России сводятся до сугубо инструментальных, как отчасти было и в Советском Союзе: они становятся лишь орудием доминирования одного актора, что принципиально отличает их от конституционных систем, где такие институты служат ограничителями для всех акторов.

Впрочем, украинский случай конституционной реформы 2004 года показывает, что иногда удается изменить постсоветские конституции и из механизма, который много не сдерживает, превратить конституцию в важный ограничитель, обойти который не удастся даже при изменении расстановки политических сил, как произошло в 2006–2007 годах. Но украинская ситуация — действительно уникальная, к тому же в 2004 году там положительным образом сработал фактор международного посредничества, вынудивший участников вступить в переговоры и изменить прежние правила игры, сделав тем самым свои риски менее существенными. Однако Украина все же не единственный пример на постсоветском пространстве. Можно вспомнить и Молдову, где конституция также была изменена и также стала важным ограничивающим механизмом. Примечательно, что роль внешних посредников ни в одном из этих случаев не была определяющей: ключевую роль сыграла политическая воля элиты к минимизации рисков в ситуации высокой неопределенности накануне (Молдова) и в ходе (Украина) президентских выборов.

В принципе ничего невозможного в политике нет, и нельзя исключить, что при определенных обстоятельствах нечто подобное может случиться и в России. Однако на сегодняшний день никаких предпосылок для такого поворота не наблюдается.

Поляризация и национальное строительство

Политическое развитие России в решающей степени будет определяться тем, как осуществляется формирование российской нации. А это — процесс очень длительный. До того момента, пока не сойдут со сцены поколение тех, кто «сделан в СССР» и воспринимает себя, свою страну и ее соседей в «советском» качестве, о формировании российской нации говорить преждевременно. Это не вопрос завтрашнего дня или даже ближайших пяти лет. Но в сегодняшней России сложился определенный набор факторов, который способен заметно осложнить этот процесс.

Среди факторов структурного характера, не зависящих от воли и желания политиков, следует отметить, во-первых, колоссальные размеры нашей страны, значимые не только с точки зрения идентичности ее граждан, но и с учетом базальных универсалий повседневности. У нас, например, огромное число молодых людей, живущих на Дальнем Востоке, никогда не бывали и, возможно, никогда не побывают в Москве и в европейской части России; им гораздо легче съездить в Китай, в Корею или в Японию. Именно с этими странами на Дальнем Востоке налаживается огромное количество торговых, экономических, образовательных связей. Есть и другие регионы, где сказывается действие данного фактора. Даже мне из Санкт-Петербурга дешевле доехать на автобусе до финской столицы, чем на поезде до Москвы, — что уж говорить, например, о жителях Калининградской области.

Так или иначе, в таких регионах формируется своего рода особая идентичность. Где-то она будет, условно говоря, европейская, где-то северо-восточно-азиатская. Важно здесь, что граждане, живущие на этих территориях, в значительной степени осознают себя не только и не столько гражданами одной большой России, сколько жителями данной особой местности, обладающими особыми интересами. Но если моя экономическая состоятельность и моя повседневность зависят от европейских или от китайских соседей, а не от происходящего в Москве, тогда мне не так уж важно, кто у нас глава государства или какую политику ведет центральное правительство на Северном Кавказе. Это не значит, что с переориентацией экономического интереса на евро или юань меняется идентичность. Важно другое: в России катастрофически мало институтов, которые реально и эффективно объединяют страну. Это — проблема ее пространственной интеграции.

Второй важной структурный фактор — ресурсная рента, крайне неравномерно распределенная по территории России. Для политического класса, находящегося в Москве, жизненно важны лишь Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где добываются основные объемы российских нефти и газа и откуда поступает львиная доля ресурсной ренты. Плюс те участки других территорий, по которым проходит трубопроводы и где размещены нефтяные терминалы. А то, что происходит при этом в других регионах страны, по большому счету значения не имеет.

Фактор ресурсной ренты работает на увеличение межрегионального неравенства, оно быстро растет в 2000-е годы и по всем прогнозам будет расти и далее. Это неравенство изначально имеет экономический характер, но влечет за собой неравенство социальное, неравенство жизненных шансов. Оно разлагает прежде существовавшие разнообразные лифты вертикальной социальной мобильности, связанные с системой образования, с продвижением кадров в системе номенклатуры и т.п. Сегодня все определяется тем, оказались ли вы или ваши родители случайно рядом с теми местами, где

нефть добывают или управляют ее потоками. Упрощая, скажу, что социальные шансы жителей даже не самых депрессивных территорий страны (скажем, Кострома или Вязки-Кирова) становятся все ниже и ниже по сравнению с жителями не только Москвы, но и, например, Сургута.

Безусловно, чем депрессивнее регион, тем выше мобильность людей, тем более интенсивны потоки миграции из них в Москву и Подмоскovie. Но эта высокая мобильность все равно затрагивает довольно узкий слой людей. Срабатывает то, что называют «эффектом пылесоса»: из депрессивных регионов «высасываются» наиболее энергичные молодые люди. Большинство же жителей этих регионов попросту нигуда не в состоянии ехать. Таким образом, успешные регионы России становятся еще более успешными, а депрессивные — еще более депрессивными.

Рост неравенства оказывает влияние и на российский политический режим, уменьшая и без того не слишком высокие шансы на его демократизацию. У нас почему-то принято считать, что становление среднего класса в России непременно формирует социальную базу демократии. Однако если посмотреть на историю демократических институтов в различных странах мира, то их становление было связано с предоставлением политических прав нижним слоям, прежде всего — рабочему классу. Как показали Дарон Асемоглу и Джеймс Робинсон, в странах Западной Европы, где социальное неравенство было относительно невелико, средний класс в XIX веке поддерживал демократизацию, согласившись с перераспределением власти и ресурсов в пользу нижних слоев. Но, скажем, в странах Латинской Америки, где разрыв в доходах между средними и нижними слоями был крайне высоким, средний класс выступал против перераспределительной политики и ради сохранения своего статуса поддерживал военные перевороты и служил социальной базой антидемократических режимов. Сходные с латиноамериканскими тенденции наблюдаются и в сегодняшней России: растущий благодаря ресурсной ренте российский средний класс ради сохранения своего нынешнего относительного благополучия готов поддерживать недемократический режим и не склонен изменять статус-кво в пользу нижних слоев.

Огромные размеры страны, ресурсная рента и неравенство в развитии — таковы структурные условия, бросающие вызов процессам национального строительства в России и российскому политическому режиму. К ним добавляется еще одно важное структурное условие — полиэтничность, что усугубляется к тому же наличием этнических республик, доставшихся нам в наследство от СССР. Понятно, что ситуация эта в ближайшем будущем не улучшится, проблемы будут нарастать. Их успешное решение потребует долгосрочного проектирования и стратегического планирования. Но поскольку политикам нужны в первую очередь быстрые электоральные результаты, то даже вполне рациональные действия, вроде бы направленные на решение проблем социальной интеграции страны, оказывают эффект зачастую не сопровождаются. Например, ситуация с национальными проектами, которые, в идеальном замысле, безусловно, нужны, представляется по сути скорее предвыборным шармом. Поэтому их реализация даст, конечно, какие-то ограниченные улучшения, но заявленных целей модернизации страны, вывода ее на качественно иной уровень с помощью национальных проектов, на мой взгляд, достичь не удастся.

Фрагментация социального пространства страны, и без того довольно высокая, будет только усиливаться, а проблема создания гражданской нации, соответственно, лишь усугубиться. Тем более что сейчас мы видим попытки решения этой проблемы не вполне продуманными и одномерными действиями, а в последнее время — и чрезвычайно опасные попытки подменить строительство гражданской нации этническим национализмом, превращающим страну в одну большую Кондолопу.

Государство versus общество: от «протеста» к «уходу»?

В условиях, когда, с одной стороны, перспектива формирования гражданской нации сдвигается в отдаленное будущее, а с другой стороны, прежнее имперское пространство уже в значительной степени разрушено, состояние и политическое устройство России, и ее государственности я бы описывал в терминах «мозаичности». Мозаичность — это и не интеграция, но и не распад. Это — параллельное существование разных сегментов политики и общества. И тех, что унаследованы от советской системы, и тех, что возникают заново. Это порождает ряд парадоксов, которые могут быть описаны в категориях «вынужденного принятия» (resigned acceptance): даже если значительная часть общества выражает неприятие нынешнего статус-кво, почти никто против него не протестует.

Как реагируют индивиды или целые страны на кризисы? Согласно Альберту Хиршману, есть две основные модели: «протест» (voice) и «уход» (exit). Протест — это активное противодействие кризисным явлениям, попытка с ними бороться. Примером массового протеста в России была падения советского режима в 1989–1991 годах. Уход — это выход в какое-то другое измерение, в другое пространство, эмиграция, в конце концов. Мне кажется, наша страна на многие кризисные явления 1990-х годов, да и сегодня, реагирует по большей части уходом. Но единого вектора ухода в России нет. Есть различные его варианты. Это — и локализация, замкнутость на местных делах и местной жизни. Это — бегство от политики, уход из общественной жизни в потребительство, в собственный бизнес, в виртуальные миры... Возможностей ухода нынешнее российское общественное устройство создает очень много, более чем достаточно.

Все это позволяет индивидам не грузить себя заботами о проблеме собственной идентичности, о политике, о нации и прочих общественно значимых вопросах. А поскольку векторы ухода разнонаправленные, то и никакого организованного сопротивления не наблюдается, ситуация поддерживается «по умолчанию». Тем более что и российский правящий класс заинтересован в ее поддержании в течение как можно более долгого времени.

Подобным образом существовала и советская система. Она тоже очень многих не устраивала. Но, тем не менее, почти никто активно против нее не протестовал. Условия тогда были другие, но механизм «вынужденного принятия» в общем-то был сходным. Но при этом в Советском Союзе колоссальную роль играли социальные сети, позволяя людям элементарно выживать, добывать продукты, услуги, товары и т.п. и вместе с тем выполнять очень важную функцию противостояния произволу со стороны государства. Сейчас произвол со стороны государства угрожает индивидууму в гораздо меньшей мере (если только вы не ходите на «машин несогласных», не занимаетесь бизнесом и не встали на пути у какого-то крупного или мелкого чиновника). Поэтому прежде острая потребность в социальных связях на сегодняшний день стала меньше.

Сейчас эти связи имеют скорее тот характер, который присущ им во многих зарубежных странах; они лишены мобилизующего значения и не могут стать основой для коллективного действия (за исключением самых примитивных моделей мобилизации, подобных тем, что работали в той же Кондопеге). Поэтому в 1990-е годы, несмотря на колоссальное снижение уровня жизни, мы не наблюдали каких-либо серьезных акций массового протеста. В 2000-е годы стимулы к независимому общественному участию, а тем более к протесту, оказались еще больше подорваны. К тому же улучшилась экономическая ситуация, все начали зарабатывать деньги, протестовать стало некогда.

Кроме того, эффективность коллективных действий сильно зависит от организационных механизмов. Когда есть сильные профсоюзы (как в странах Латинской

Америки), которые требуют изменения социально-экономической политики, то речь идет о серьезных организациях, с которыми государство и правительство могут вести переговоры. Но на сегодняшний день в России не существует организаций, способных к эффективной мобилизации протеста. Структуры, унаследованные от советского периода (КПРФ, те же «официальные» профсоюзы), совершенно неэффективны, в то время как политика государства по отношению к независимым общественным объединениям не дает им «поднять голову» в рамках нынешнего политического устройства.

Показателен пример массовых протестов против монетизации льгот. Люди продемонстрировали свое умение организовываться: в акциях протеста приняли участие десятки тысяч людей из разных регионов, выдвигались лидеры, вступающие в конфликт с органами власти, устанавливались межрегиональные связи. Все это осуществлялось помимо традиционных политических партий и общественных организаций, которые подчас просто не понимали, что происходит. Формировался некий новый спонтанный институт коллективного действия. Но государству удалось довольно успешно подавить протест в зародыше, не допустить перерастания выдвигавшихся требований в более серьезные, не дать закрепиться в социальной практике этим новым формам самоорганизации. Грубо говоря, правительство смогло откупиться от льготников, частично удовлетворив их требования.

Протест не вышел за рамки одной конкретной проблемы, волна протестов была сведена на нет. Успех правительства был обусловлен несколькими причинами. С одной стороны, протест носил локальный характер, и попытки межрегиональной координации не смогли перевести проблему с регионального на федеральный уровень принятия решений. С другой стороны, организационные формы протеста возникали «на пустом месте»: если бы общественные организации, защищающие права социально ущемленных групп (тех же льготников) существовали изначально, а не возникали на волне возмущения, то масштаб протеста был бы гораздо большим. К тому же, возникнув, они не стали постоянным фактором общественной жизни, более того, когда часть требований была удовлетворена, все эти организации «съезжались». Сохранить себя на регулярной основе оказалось невозможным.

Если резюмировать, то протест против монетизации показал, что потенциал для коллективных действий в стране имеется. Тем не менее власти удалось быстро локализовать его и канализировать в нужное и контролируемое русло. Причины недовольства остались, но конкретный повод был устранен. В целом власть справилась с проблемой, отделавшись небольшими уступками. Но социальная политика, дискриминирующая значительную часть населения, по большому счету не изменилась. Изменились лишь конкретные механизмы ее реализации. Поводы к возмущению были устранены, но причины остались. «Червяк в борще» заменили на свежее, и в результате восстание на «Потемкине» не состоялось, более того, даже командование на «Потемкине» сохранилось прежнее.

До тех пор, пока нынешняя структура политических возможностей остается без изменений, российские власти могут не опасаться организованного протеста и при случае кооптировать недовольных, поставив их требования под свой контроль. Но при изменении этой структуры более вероятно возникновение спонтанных волн сетевого протеста, в основе которых, как можно предположить, будут прежде всего этнические конфликты. Угрозы спонтанного протеста, с точки зрения политической и социальной стабильности, гораздо более значимы. Разрушая и/или кооптируя организационные структуры, способные мобилизовать социальный протест, российский политический класс создает для страны довольно серьезный потенциал проблем в будущем.

Российская полития: от детских болезней — к хроническим заболеваниям?

В ходе трансформации российскому обществу не удалось добиться решения фундаментальных проблем страны, особенно тех, что связаны с политическим измерением модернизации. Было бы наивно понимать модернизацию как линейный процесс в духе всеобщего и полного перехода к демократии, как это виделось многим в начале 1990-х годов. Речь идет совершенно о другом. Сегодня, после очень тяжелого периода, связанного с «тройной трансформацией», политическая система России начинает выходить из длительного кризиса. Опыт трансформационных процессов, сопоставимых по масштабу с российскими, но протекавших в иных странах, показывает, что пути модернизации весьма извилисты и новые режимы эволюционируют по направлению к демократии весьма медленно.

Ситуацию российского посткризисного синдрома можно оценивать двояко. Одна точка зрения, условно говоря, оптимистическая, в наиболее концентрированной форме представлена сегодня, например, идеологами, группирующимися вокруг журнала «Эксперт». По их мнению, то, что мы видим сегодня в России, — это трудное выздоровление после тяжелых родовых мук и детских недомоганий, испытанных страной в 1990-е годы. Но есть и другая точка зрения, прямо противоположная. Ее сторонники указывают на то, что «детские болезни» России 1990-х в 2000-е годы привелись лечить так, что они переросли в хронические заболевания, от которых России теперь очень тяжело избавиться. Позицию, близкую этой, я высказывал в одной из своих публикаций, посвященной «партиям власти» в России².

Конечно, вряд ли стоит в ближайшее время ожидать летального исхода для нашей страны: объективных предпосылок на ближайшие годы для него нет. Ситуация в России, скорее, соответствует стабильной «хронике»: ее можно уподобить течению сахарного диабета, при котором тяжелые поражения организма развиваются довольно медленно, но при нарушении диеты коллапс может наступить очень быстро. Хроническое заболевание, лекарство от которого пока не найдено, может длиться очень долго. Некоторые участники нашей дискуссии называют это ситуацией стагнирующего статус-кво; я предпочитаю термин «ловушка неэффективного равновесия», который используют экономисты. Он обозначает ситуацию, когда возможный выигрыш всех участников рынка (в том числе политического) мал, но все боится нарушить равновесие, дабы избежать угрозы больших потерь в случае изменения статус-кво.

Выход из этой ловушки может быть двоякого рода. Либо возникнут внешние условия, нарушающие неэффективное равновесие — не по воле политика, а в результате изменения ситуации в мире, происходивших в нем структурных сдвигов (не берусь судить о конкретных деталях). Либо по мере смены поколений российской политической элиты дозреет до необходимости серьезных перемен, как это произошло после брежневского застоя, когда смена поколений номенклатуры подтолкла за собой преобразование горбачевского периода. Но если речь идет о динамике в рамках персоналистского режима, то судьба страны будет очень сильно зависеть от конкретных персон.

Опыт показывает, что на одного успешного, продвинутого диктатора типа сингапурского Ли Куан Ю приходится огромное количество тех, которые все разворачивают и доводят свою страну «до ручки». Понятно, что такие персоналистские режимы очень плохо поддаются прогнозированию.

Режимы с доминирующей партией (Тайвань, Мексика) эволюционируют несколько иначе. Со временем они последовательно открываются миру, их институционализация проходит параллельно стабилизации общественного устройства, они порой

добиваются реальных экономических успехов. Для этих режимов характерно формирование устойчивых оппозиционных партий, которые могут затем стать решающей политической силой. В любом случае такие режимы обычно более предсказуемы.

В условиях персоналистских режимов личность лидера, повторю, значит неизмеримо больше, чем при режиме доминирующей партии. Да, при персонализме бывают успешные лидеры, которые продвигают необходимые реформы, улучшают качество управления страной. Может быть, России повезет, и олицетворяющий персонализм политический лидер и проведет успешную модернизацию страны. Но статистически шансов на это еще меньше, чем при режиме с доминирующей партией.

Диагностика или рецепты?

Какой из этих режимов может укорениться в России, мы пока не знаем. Я не берусь предсказывать реальное направление эволюции нашей политической системы. Прогностический потенциал политической науки в целом не слишком высок. Очень часто или прогнозы оказываются заведомо неверными, или верные прогнозы делаются на неверных основаниях. Когда Горбачев пришел к власти, лишь единицы представителей экспертного сообщества на Западе предсказывали коллапс Советского Союза. Да и некоторые из тех, кто предсказывал такой исход, строили свои прогнозы, опираясь на неверные предположения.

Любой прогноз в политической науке — это проекция нынешнего положения дел в будущее с теми или иными вариациями. Учет очень большого количества факторов всегда сопряжен со значительными интеллектуальными усилиями по созданию каких-то сложных моделей. Но при этом зачастую из этих моделей выхолащивается суть дела. Пример тому — та же неэффективность многих моделей международной системы периода холодной войны, которые оказались неспособными предсказать распад СССР.

Я вообще скептически отношусь к прогнозированию в политике, тем более если речь идет о долгосрочных трендах политического развития нашей страны и всего мира. И если кто-то считает, что умеет заниматься прогнозированием и готов делать прогнозы на 50 лет, — хорошо, мы встретимся через 50 лет, тогда и поговорим. Но, в отличие от ряда участников нашей дискуссии, я в принципе полагаю неправильным требовать от политической науки практического результата и ждать рекомендаций в духе чудодейственных рецептов выздоровления от всех болезней. Практические выводы пускай делают политики, которые, вообще-то говоря, и призваны заниматься лечением болезней общества.

Цель политической науки — это прежде всего диагностика, поиск ответов на вопрос «почему?» А политологи, желающие изменить мир, должны сами становиться политиками. Но это уже совсем другая профессия.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ: РОССИЙСКИЙ КАЗУС

Сквозь всю многовековую историю России просматривается драматическая коллизия, сопровождающая попытки ее лидеров и возглавляемой ими государственной машины найти решение извечного вопроса российской политики. Вопросы, связанного с настоятельной потребностью преодолеть пространственное отчуждение Руси — Московии — России от ведущих центров мировой экономики, политики и культуры, сформировать устойчивые каналы взаимодействия с этими центрами и воспринять идущих от них цивилизующих импульсов.

Таковыми импульсами, поступающими из разных источников, пронизана вся наша история. Это и воспринятое от варягов и Царьграда первоосновы государственности, а от византийской церкви — религия и письменность. И — столетиями позже — нано-усвоенные от Орды навыки государственного управления и военной организации. И вдохновлявшие российских императоров XVIII века на подвиги заимствования или ученичества (а порой и на откровенное малопродуктивное подражание) опыты Голландии и Пруссии. И, наконец, «самобытное» отечественное прочтение марксизма и неоллиберализма, составившее идеологическую основу российских революций начала и конца XX столетия.

Однако продолжительность этих периодов, в течение которых сохранялись эффективные каналы восприятия цивилизующих импульсов, всякий раз оказывалась недостаточной для органического усвоения их фундаментального содержания. Более того, очень скоро в воспринимавшей их «автохтонной» среде возбуждалась реакция отторжения, следствием чего надолго становились культурная изоляция и хозяйственная атакрия. Такая многократная повторяемость в России периодов устойчивого взаимодействия с ведущими мировыми центрами и периодов самонезлолции побуждает к выдвинутой гипотезе о ритмах российской политической истории. Ритмах чередования ее «раскрытия миру» и самодостаточных «окукливаний».

Попытка исторического обобщения

Речь идет о сложившемся в стране провинциально неустойчивом и чреватом катастрофами механизме циклического развития государства и общества. Механизме, характеризующемся чередованием полярных ориентаций: то — на ученичество и культурное заимствование у чужеземцев, а то — на самобытие, с «опорой на собственные силы» существование, ублаживаемое мифами о своей исключительности. Мифами, вариации которых простирались от «Третьего Рима» до «Третьего интернационала».

Эффект цивилизующего внешнего воздействия всякий раз сильно варьировался, будучи зависимым от реального культурного потенциала той цивилизации, которая в данном случае выступала в качестве эталона, «образца» для подражания и заимствования. Характерно, что устойчивая ориентация России на Западную Европу как миро-

вого лидера обозначилась лишь начиная с реформ Петра I, т.е. с конца XVII века. До Петра в качестве образцов политического и культурного развития Руси-Московии фигурировали и Османская империя (XVI век), и Золотая Орда (XIII–XIV века), и Византия (X–XII века, а также отчасти XV век), и Хазарский каганат (IX–X века). При этом только в случае Византии X–XII столетий можно говорить, да и то с известной осторожностью, о том, что выбор Руси оказался сориентирован на реального мирового лидера той исторической эпохи. По-видимому, именно данное обстоятельство и определило столь поразительное соответствие Киевской Руси, особенно в период ее расцвета, современным ей образцам римско-европейской государственности. В остальных случаях вторичность воспринятых Русью-Россией институциональных форм и культурных стереотипов обусловила неорганичный характер российского развития, сориентированного на ловящие и неадекватные своему времени цели. Поэтому нередко очередной рывок к цивилизации устремлял Россию в направлении, противоположном «магистральному», общемировому вектору эволюции.

Особо отметим, что этот парадоксальный российский эффект — ориентация на ложные цели развития — сохранился и после того, как страна необратимо интегрировалась в европейскую политику. Пожалуй, лишь Петру Великому гениальным образом удалось разобраться в хитросплетениях этой политики и сориентироваться на опыт наиболее перспективных ее центров — Англии и Голландии. В последующие исторические периоды России «не ведало»: ее лидеры предпочитали «уроки французского», «прусского», «германского», эти своего рода уроки любви-ненависти, с опаской и недоверием относились к возможностям прагматического сближения с реальными мировыми лидерами: Великобританией XVIII–XIX веков, США — в конце XIX и XX столетия, Японией — во второй половине XX — начале XXI века. По сути, правомерно говорить о пренебрежении их уникальным опытом хозяйственного и социально-политического обустройства.

Историческая обреченность России на решение фундаментальной проблемы освоения «внутренних пространств» варварской, не приобщенной к цивилизации Евразии, причем в условиях острого дефицита наличествующих у государства политических, хозяйственных и демографических ресурсов, определила своеобразную имперскую форму ее исторического развития. Тем же обуславливалась и особая роль государства, дисциплинирующего общество во имя геополитического «выживания», мобилизующего и монополично распоряжающегося для этого всей совокупностью наличествующих общественных ресурсов.

Такую государственную форму точнее всего было бы назвать особым рода «вторичной империей». Потому что ее цивилизующая миссия по отношению к внутреннему и окружающему варварскому пространствам, проявлявшаяся в распространяемых ею новые властных импульсах (империалах), была принципиально несамодостаточной. Как правило, она лишь транслировала, причем с большими упрощениями и исключениями, правовые, культурные и бытовые нормы ведущих мировых центров — таких, как Византия раннего Средневековья, Орда XIV–XV веков или Запад Нового времени. В историческом масштабе результатом этого становилось формирование специфически российских циклов освоения — посредством внешней и так называемой «внутренней-колониализации» — пространств Евразии. Эти циклы представляют собой закономерные чередования периодов восприятия и освоения накопленного передовыми державами политического и социокультурного опыта и периодов его трансляции на контролируемое российской державой пространство. Или, говоря иначе, чередования фаз осваивающего илоемые новаций «рывка» и самодостаточной «релаксации».

Отметим принципиальную особенность двух этих полярных фаз российского развития, во многом определяющую специфику взаимодействия Руси-Московии-России

с внешним миром в тот или иной период. Именно в фазе «рыбка», т.е. интенсивного обучения и освоения чужого опыта, автохтонные ритмы российского развития довлеют над ритмами мировыми. То есть именно тогда, когда Россия приступает к обновлению собственных социально-политических институтов и принципов устройства жизни путем заимствований во внешнем, окружающем ее мире, формируется устойчивый «самобатный цикл» ее развития. Автохтонная ритмика обеспечивает преодоление внешней цикличности, навязываемой ритмикой развития господствующего мирового лидера. В такие периоды Россия, образно говоря, идет в ученичестве к более успешным народам, но учиться их премудрости предпочитает исключительно по собственному «плану» и, главное, в своем собственном ритме. В определенном смысле фаза «рыбка» представляет собою своего рода квинтэссенцию «договаривающего развития» и позволяет России вновь и вновь решать, казалось бы, неразрешимую задачу: сохранить и воспроизводить традиционные формы властных отношений (так называемого самовластия) и вместе с тем эффективно осваивать инновационный инструментарий, обеспечивающий конкурентоспособность российской власти в противостоянии с сопредельными центрами силы (как правило, посредством пресловутой стратегии «асимметричного ответа»).

Напротив, в «фазе релаксации», следующей за фазой «рыбка», в российском историческом движении наблюдается своего рода затухание «собственных колебаний» и стремление к самобытному прочтению чужеземных премудростей. В развитии страны начинают отчетливо проваливаться ведущие общемировые ритмы. Усвоив на предшествующем этапе новые формы политического устройства, прежде всего формы государственного правления и контроля над обществом, Россия (точнее, ее власть) затем на длительное время «успокаивается», теряет свою былую «пассионарность» и трансформирует то, что прежде было полем отчаянных социально-политических экспериментов, в нечто священно-неприкосновенное.

К примеру, новации эпохи петровских и екатерининских преобразований XVIII века впоследствии (со времен Павла I) надолго, вплоть до правления Александра III, сменились их неспешным «перевариванием». Освоенные прежде формы — такие, например, как русифицированный вариант прусской модели государственной бюрократии и помещичье-крепостнический уклад, — становятся с конца XVIII столетия на длительное время доминирующей и «идеалистическим» (по Максиму Веберу) ядром новой модели российской государственности. Можно сказать, что они становятся своего рода «alter ego» российского самодержавия. При этом происходит медленное разложение элиты, теряющей способность выработать новые формы политической организации. Страна обретает неожиданную глухоту к поступающим извне импульсам. Единственным и все более одиозным, все более социально изолированным субъектом политических изменений в стране становится в этот период государство («единственный европеец», а в соответствующие периоды прошлого — «единственный золотоордынец», «единственный царьградец»), олицетворяющее тот внешний образец, чья модифицированная копия определяет в данную эпоху внешний облик политического строя России.

Эта «фаза релаксации», в которой происходила адаптация навязанного Петром I порядка к социокультурным устоям Империи, завершилась аграрным, финансовым и политическим кризисом 1880-х годов, обозначившим новое колоссальное отставание России от ее «стратегических партнеров» на Западе и свергнувшим страну в очередную фазу «рыбка», продолжающегося и по сей пору. Структурно эта фаза нового (на сей раз завершающего) российского «рыбка» может быть детально сопоставлена с предшествующим петровско-екатерининским «рынком», начало которого восходит к допетровским десятилетиям, к середине XVII века. Для наглядности в приводимой

ниже таблице представлены в сопоставлении ключевые даты петровско-екатерининского и нынешнего, завершающего «рываков», а также составляющих их периодов. Даты эти достаточно красноречивы (обратите внимание на длительность периодов) и говорят сами за себя.

Периоды	Петровско-екатерининский «рывок»	Завершающий «рывок»
1	1653–1689	1881–1917
2	1689–1725	1917–1953
3	1725–1761	1953–1989
4	1761–1797	1989–? (это неясно!)

Рассмотрим логику последовательной смены соответствующих периодов на примере нынешнего завершающего «рывака». Называю его завершающим, поскольку ему суждено исчерпать ресурсы традиционно-имперского механизма российского самовластия и — в итоге — поставить страну перед неотвратимой дилеммой. Либо окончательная и безусловная интеграция в сообщество современных государств — подобно тому, как, к примеру, это произошло с Германией после Второй мировой войны, либо полный и столь же окончательный государственный распад, подобный краху Византии в 1453 году. Симптоматично, кстати, что «византийские» сюжеты стали одной из центральных тематических линий нашей дискуссии (см. тексты С. Маркова, В. Шейвиса, А. Кара-Мурза, В. Межуева, И. Клязина, В. Иноземцева, А. Янова, И.Г. Яковенко).

Первый (начальный) период завершающего «рывака» характеризуется попытками имплантации новейших форм западного экономического и военно-технологического прогресса непосредственно в ткань традиционной российской жизни. Эти попытки закономерно приводят к еще большему, теперь уже катастрофическому обострению социального кризиса и последующему перевороту всего строя российской жизни в 1917 году. Переворотом, императивом которого была необходимость приспособить Империю к поддержанию этих новейших форм в относительно исправном состоянии.

Так Россия вступает во второй период завершающего «рывака», в ленинско-сталинскую эпоху «бури и натиска», структурно во многом аналогичную эпохе петровской. Посредством решительного и беспощадного закрепощения общества и идеологически предписанного всенародного самоотречения стране удается решить двуединую задачу: достичь нового экономического и военно-стратегического паритета с Западом и сформировать новое привилегированное служилое сословие, способное такой паритет поддерживать.

Смерть «вождя и учителя» (И. Сталина) в 1953 году, подобно смерти Петра в 1725-м, обозначившая истечение в третий период, круто меняет представления о смысле и результатах героических усилий предшествующей эпохи. Плоды трудов бескорыстного деспота — ревнителя государственных интересов — достаются пигмеям, утратившим представления о замысле и целях эпохи и чем далее, тем более увлекшимся стихией своих частных, сиюминутных интересов. Весь данный период уходит на медленное «пробуждение» этого нового служилого сословия, которое (пробуждение) должно охватить по крайней мере основную его (сословия) часть, прежде чем оно станет способным к обретению «вольности». При всей кажущейся исторической бессмысленности этого периода, именно в нем происходит крайне важная метаморфоза: верховная власть Империи оказывается во все большей зависимости от «новой элиты», которая постепенно обретает практически «автономные» источники индивидуального благополучия и всячески стремится закрепить их в неотъемлемой собственности.

Наконец, Россия вступает в последний, четвертый период «рывака», в предыдущий раз получивший наименование «екатерининской эпохи», а теперь — «эпохи ран-

ка и демократии». В этот период цели развития страны требуют политического решения, совмещающего, казалось бы, несовместимое. А именно — формирование механизма реализации имущественных интересов новых элит с одновременным упадком авторитарической политической власти. Этот исторический парадокс вновь разрешается тем же способом, что и во времена Екатерины II. Подобно гвардии и дворянству второй половины XVIII века, новое служилое сословие (подднесоветская номенклатура), уже, казалось бы, претендующее из подчиненного инструмента государства стать «сословием для себя», способствует утверждению в стране режима, который после ряда внутренних метаморфоз начинает последовательно восстанавливать политическую монополию верховной власти. В целом этот период, в середине которого мы сегодня пребываем, характеризуется сочетанием двух парадоксально сопряженных тенденций: расцвета «вольности» элиты и укрепления увеличенной авторитаром государственной бюрократической иерархии, отстраняющей общество от власти и подменяющей собой все прочие социальные институты.

Во избежание недоразумений поясню, почему я до сих пор избегал характеризовать развитие России в XX столетии термином «модернизация». Дело в том, что большую часть этого периода страна прошла, акцентируя свои усилия исключительно на индустриальных аспектах модернизации — форсировании урбанизации и ликвидации традиционных аграрных укладов, развитии крупной промышленности и необходимости ей социальной инфраструктуры и т.п. Что же касается социально-политических и ценностно-культурных аспектов преобразований, то они игнорировались. Более того, фундаментальные предпосылки модернизации в этих важнейших сферах общественной жизни порой даже разрушались. Особенность этой форсированной модернизации в том, что она представляла и по-прежнему еще представляет собой наиболее яркий пример последовательной реализации стратегии политического и социально-экономического развития, альтернативной той, которая в современном мире господствует.

И тем не менее, характеризуясь качествами, столь, казалось бы, неадекватными истинной сущности модернизации, это развитие являлось модернизующим по своей функции, по своему историческому предназначению. Оно вполне соответствовало императиву, диктуемому России внешним миром и предопределявшему с конца XIX столетия ее место и роль в системе мировых центров политической и экономической силы. Пребывая в этой своей ролевой функции глобального системного антагониста мировому лидеру (США), Россия вынуждена была — под угрозой национального и социокультурного уничтожения — решать проблему собственного приобщения к Современности. Такова суть нашей эволюционной задачи и сегодня, но процесс нашего приготовления к ее окончательному решению еще не завершён.

В данный момент Россия находится, пожалуй, в наиболее драматическом положении, когда гигантский масштаб предстоящей задачи едва ли соизмерим со все еще сохраняющимися у нее ресурсами и возможностями. Исход этой исторической коллизии отнюдь не предешен. И чтобы оценить конкретные альтернативы российского политического развития, есть смысл с метаисторического уровня абстракции спуститься на уровень происходивших на наших глазах политических трансформаций сегодняшнего дня и обратиться к анализу того особенного, уникального содержания, которым характеризуется текущая эпоха эволюции российской государственности.

Как было сказано выше, мы находимся посредине последнего, четвертого периода завершающего «рынка», неотвратимо влекущего Россию к окончательному краху Империи и самой имперской парадигмы развития. И вместе с тем открывающего перед ней — наконец-то! — возможность вступления в сообщество модернизированных государств. То ли — посредством полного государственного краха и перехода на неоп-

ределенное время к режиму «внешнего управления». То ли — посредством в той или иной мере цивилизованного отторжения страной своего несовременного прошлого. Конкретный путь решения этой проблемы зависит от нашего сегодняшнего и завтрашнего политического благодушия.

Некоторые особенности постсоветского политического режима в России

В последние годы в России происходит важные политико-институциональные трансформации. Конституция 1993 года оказалась эффективным инструментом стабилизации российского политического процесса, позволяющим его ключевым акторам, не выходя за пределы правового поля, в самом широком диапазоне менять правила политической игры. Заложенные в Основном Законе возможности отчетливо проявились в 2004–2006 годах, ознаменовавшихся глубокой перестройкой российской политической системы, радикально преобразовавшей содержательное наполнение и функциональные возможности основных политических институтов, партийной системы, отношений между центром и регионами. По сути дела, речь идет об очередном этапе адаптации исходного персоналистского режима¹, порожденного, как и в ряде других постсоветских государств, «беловежским» механизмом упрощения СССР, к двум структурным ограничениям. С одной стороны, к заимствованной у Запада институциональной демократии, а с другой — к реальным политическим практикам постсоветского общества, его политической культуре, ценностям, присущим ему механизмам политической мобилизации.

Но начался этот процесс гораздо раньше. Уже сам факт принятия в 1993 году новой Конституции, закрепившей доминирование института президента, означал, что изначальный конфликт персоналистской власти и институциональных реликтов советской эпохи (Съезды народных депутатов и Верховного Совета РФ) получил весьма перспективное разрешение. Перспективное с точки зрения интересов персоналистской власти и устойчивости выстраиваемой на ее основе политической системы.

В результате уже к середине 1990-х годов в России сформировался режим соревновательной олигархии (по Р. Даю), консолидируемой президентской властью. Последняя имела возможность монополизировать распоряжаться политическими ресурсами страны и при необходимости делегировать их другим властным институтам в рамках формально выстроенной системы разделения властей. Более подробно я говорил об этом в выступлении за круглым столом, предварившим настоящую дискуссию. Факт такой монополии получил убедительное подтверждение на всех выборах федерального уровня. Они надежно обеспечивали политическую преемственность персоналистского режима и в сущности проходили по единому сценарию, имеющему две «технические» модификации: одна для президентских выборов, другая — для парламентских.

Президентские выборы 1996, 2000 и 2004 годов были выборами с назначением «преемника», которому и передавались ресурсы персоналистской власти. В 1996 и 2004 годах «преемником» был сам действующий президент; он, так сказать, сам се-

¹ В понимании персонализма я склонен солидаризоваться с М. Крисном. Напомню, что главным индикатором институционального персонализма он считает «не объем президентских полномочий», а «трагическое полное отсутствие зависимости реальной политики от результатов парламентских выборов», а секрет его устойчивости усматривает «в конституционной конструкции, а не в особенностях личности лидера страны и не в особенностях нашего политического мышления». Автор правильно, по моему, отмечает, что институт российского президентства так конституционно обустроен, что он объективно поощряется вести политическую борьбу на стороне одной из политических сил «...» т.е. на субъекта ройсу Президент РФ превращается в субъекта ройсу. Таким образом, «директ» становится одновременно и «ди роком».

бы назначал. В преддверии выборов 2000 года «премьерником» стало новое лицо, и уже в августе 1999-го в его распоряжение фактически (и безоговорочно) были переданы все властные ресурсы.

При проведении же парламентских выборов, которые всегда предшествовали президентским, сложилась иная практика. В данном случае глава государства, монополично распоряжавшийся реальным политическим ресурсом страны, делегировал определенную часть этого ресурса так называемой «партии власти» (засякнй раз новой или радикально обновленной), выступавшей проводником политики президента. Напомню, что впервые экспериментальная «протопартия власти» — «Выбор России» — была создана накануне декабрьских выборов 1993 года. Но она не смогла эффективно воспользоваться делегированным ей ресурсом и в роли реально функционирующей «партии власти» себя практически не проявила. В 1995 и 1999 годах «партии власти» создавались под действующих премьеров: ИДР — под В. Черномырдина, а «Единство» — под В. Путина. Примечательно, что, когда в начале 1998 года премьер — В. Черномырдин — без санкции действующего главы государства открыто обозначил свои президентские амбиции, грубо нарушив тем самым неписаные правила персоналистской политики, в отставку были отправлены и он сам, и его «партия». Что касается «Единства», то оно было создано под Путина-премьера, который одновременно был уже и «премьерником».

Правда, на выборах 1999 года конкурировали две «партии власти». В ожидании неминуемой смены первого лица государства часть политической и хозяйственной элиты страны, сохранявшая еще определенный автономный контроль над соответствующими ресурсами, и отчаянно пытавшаяся не допустить нежелательного для себя развития событий, объединилась в блок «Отечество — Вся Россия», одним из лидеров которого стал экс-премьер Е. Примаков. Однако эта «девиация» лишь подтвердила общее правило: победу, как известно, одержала «партия поддержки премьерника», получившая персоналистский ресурс. А сам этот «премьерник», избранный действующим президентом В. Ельциным и ранее практически неизвестный подавляющему большинству россиян, всего несколько месяцев спустя стал кумиром страны и обладателем заурядно высокого (и, как позднее выяснилось, аномально устойчивого) рейтинга.

С упорением режима В. Путина ситуация, однако, несколько изменилась. Новая, интегрированная «партия власти» — «Единая Россия» — пошла на выборы 2003 года не как «партия премьерника», а как «партия президента». Более того, премьер М. Касьянов, заподозренного в «несанкционированных» президентских амбициях, отправили в отставку сразу после парламентских выборов. Но, с иступлением в элесторальный цикл 2007–2008 годов и в ожидании новой смены первого лица государства, мы наблюдаем то, что уже наблюдали в 1999-м, — раздвоение (раскол) «партии власти» и резкую поляризацию политического класса. У «Единой России» появляется конкурент — «Справедливая Россия», причем, в отличие от 1999 года, конкурент санкционированный.

Сегодня, как и ранее, делегирование персоналистского властного ресурса «партии власти» в канун парламентских выборов является прерогативой и инструментом политики самого президента. Вместе с тем ввиду предстоящей смены первого лица и наметившегося раздвоения «партии власти» многими прогнозируется жесткая зависимость решения вопроса о кандидатуре «премьерника» от исхода парламентских выборов. Тем самым предопределенность сохранения персоналистского режима после марта 2008 года ставится под сомнение. Какие же варианты при этом возникают и насколько соответствуют они тому периоду «рыска», в котором находится сегодня страна?

Предстоящая бифуркация российской политической эволюции

Участник дискуссии Владимир Гельман в качестве ключевой российской дилеммы 2007–2008 годов рассматривает «выбор <...> только между двумя недемократическими моделями: персоналистской (при этом не важно, будет ли нынешний президент фактически находиться у руля власти после истечения нынешнего срока или нет) и моделью с доминирующей партией. Вариант мировой трансформации нынешнего режима в подобие режима конкурентной демократии, — подчеркивает аналитик, — на сегодняшний день в повестке дня российского политического класса не стоит». С заключительным тезисом нельзя не согласиться. Однако и относительно открывающихся возможностей, и относительно их политического содержания хотелось бы внести некоторые коррективы.

Поощряемое «с самого верха» позавление и продвижение «Справедливой России», альтернативной «партии власти», по существу торпедирует возможность достижения преимущества власти посредством формирования доминирующей партии, свидетельствуя о выборе инициаторов этого политического проекта в пользу персоналистской стратегии. Ведь практика российской внутриэлитной предвыборной борьбы показывает, что до решения основного вопроса — о персоне нового лидера — никакого согласия между элитными группами, воведшими в состояние конфронтации, достигнуто быть не может. Тем более согласия по ключевому вопросу о «выдвижении единого кандидата».

Тем не менее традиционный предвыборный «раскол» российской власти в текущем электоральном цикле действительно отражает конфликт и конкуренцию двух стратегий властно-политической консолидации страны. Первая проявляется в стремлении «Единой России» к всеобъемлющему контролю над политической жизнью, в том числе и над процессом трансляции верховной власти, что в перспективе с очевидностью ведет к формированию режима доминирующей партии. Вторая — в стремлении, воплощаемом в деятельности «Справедливой России», торпедировать «монополистские» планы «Единой России» и ставящих за ней функционеров из Администрации президента, нейтрализовать претензии единокровов на политическое единовластие в ситуации президентских выборов 2008 года. Реализация этой второй стратегии позволяет персонализму сохранить политическую инициативу и контроль за происходящим в стране политическими процессами и, стало быть, транслировать себя по крайней мере еще на один электоральный цикл.

Вместе с тем сама постановка вопроса о возможности самосчерпания персонализма и переходе к режиму доминирующей партии говорит о том, что институционально-политические трансформации 1999–2007 годов не только усиливали властной вертикали — формировали необходимые предпосылки консолидации обновленной российской бюрократии в структурах «протодоминирующей» партии. Сегодня между нею и реальной властью над страной — всего лишь авторитет действующего президента и эфемерные царисто-самодержавные архетипы, сохраняющиеся в традиционалистских пластах массового сознания. Это, казалось бы, и есть реальный выбор 2008 года. Выбор между просвещенной автократией, по критериям современной эпохи весьма «неприличной», и новым режимом «коллективного руководства» нынешних «верных путинцев», весь «либерально-демократический» потенциал которых, в случае их победы, уйдет в адресованную Западу риторику. Отмечу à propos, что само наличие такого выбора является серьезным вызовом теоретическим построениям Михаила Краснова, поскольку констатирует как данность претензии «Единой России» на реализацию «не запланированного» им варианта упразднения персоналистского режима, оставаясь при этом в формальных границах действующей конституции.

Серьезный успех «Единой России» на парламентских выборах открывает ей не только возможность провести собственного кандидата в приемники на пост президента, ресурсы которого, как нетрудно предвидеть, будут ослаблены целенаправленными усилиями обеих сторон. Она сможет, в качестве дополнительной подстраховки, закрепить за собой, как за партией, победившей на выборах, и право формировать правительство и назначать премьера. Такое сочетание ключевых политических ресурсов позволит в кратчайшие сроки поставить крест на всякого рода попытках институционализации статусной позиции «лидера нации» и резко ослабить возможности влияния нынешнего, а после выборов уже бывшего президента на политический курс. Короче говоря, такое развитие событий создаст принципиально новую, в сравнении с 1999–2000 годами, ситуацию. Механизм трансляции персонализма окажется разрушенным. Новый президент (даже если, будучи выдвиженцем «Единой России», он рискнет вести свою собственную игру) будет лишен возможности выйти из-под опеки доминирующей партии и начать вновь концентрировать «под себя» ресурсы персонализма.

Сказанное позволяет утверждать, что «выбор между двумя недемократическими моделями» в реальности выложит не совсем так, как его трактует В. Гельман. Думаю, не так уж безразлично, «будет ли нынешний президент фактически находиться у руля власти после истечения нынешнего срока или нет». Потому что именно в зависимости от того, «будет или не будет», в значительной степени определяются и политические возможности персонализма, и его тип. С этой точки зрения я рассматривал бы не один, а по меньшей мере, три варианта его трансляции.

Первый — преодоление конституционных ограничений на третий президентский срок. Формально этот вариант уже нереализуем, но по факту он обладает огромным потенциалом популистской поддержки. В данном случае, вопреки навязчиво упоминаемым конституционным ограничениям, действующий президент идет на выборы, избирается и продолжает управлять страной и «всем хозяйством». Все внутренние конфликты прекращаются, всем все понятно, риски минимальны, порядок торжествует. Идержки же связаны прежде всего с непоправимым (а может быть, со временем и поправимым) ущербом для имиджа президента и страны, с определенными внешнеполитическими осложнениями и часто умозрительной (в нынешней и без того «запущенной» ситуации) проблемой прерывания возникшей вроде бы традиции уважения к закону и конституции при решении вопроса о власти в России.

Вторая, более мягкая версия трансляции персонализма учитывает необходимость соблюдения формальных конституционных ограничений, но исходит при этом из примата «преемирности власти» и многократно заявленного с самой высокой трибуны стремления уйти лишь с должности президента, но не с поста «лидера страны». Возникает, однако, вопрос, каким образом столь тонкая операция может быть осуществлена и каковы неизбежные издержки, в том числе и в области конституционно-правовой, которыми будет сопровождаться это властно-институциональное salto-mortале. Ведь президента, когда им станет приемник, придется лишить традиционно присущего ему ресурса властного лидерства и наделить таковым некую иную статусную позицию, которую займет нынешний президент, уйдя в отставку. Думаю, что издержки будут не просто сопоставимыми, но намного превосходящими издержки первого варианта. Да, международный резонанс и удар по репутации экс-президента будут, возможно, в данном случае более щадящими. Но во всем том, что касается порядка и управляемости во внутренней политике, а тем более — эффекта, проваденного таким «трюком» на общественное сознание, политическую культуру и институционально-правовые традиции страны, разрушения будут колоссальными. Впрочем, об этом в ходе дискуссии уже говорилось Лилией Шевцовой.

Наконец, третья версия, предполагающая формальное осуществление трансляции персонализма под этой же реалью (без кавычек) Партии власти (Администрация президента + «Единая Россия»)². Полагаю, что персонализм в этом случае будет, так сказать, чисто номинальным. Ведь с точки зрения корпоративных интересов российской бюрократии лишь режим доминирующей партии остается единственно приемлемым, пробудив к тому же ностальгические воспоминания о «золотом веке» постсталинской КПСС. Только такой режим представляется ей гарантирующим ее неизменное положение главенствующей силы, контролирующей все властно-собственнические ресурсы страны. А нынешний электоральный цикл оказывается счастливой возможностью осуществить воледеленный переход от персонализма к режиму доминирующей партии.

Но нам вряд ли стоит принимать слишком близко к сердцу интересы и чаяния российской властной корпорации. Желательно оценить стратегическую реализуемость и стратегические последствия реализации того или иного варианта.

В связи с этим есть повод вернуться к историко-софской схеме, кратко изложенной выше. В фазе «рынка» лишь в третьем периоде, т.е. при ослаблении автократии и одновременном усилении «автономии» элиты, режим доминирующей партии оказывался востребован и относительно эффективен в течение определенного времени. Однако в целом стратегические последствия политики такого режима следует признавать плачевными во всех отношениях. Причем в обеих его версиях, имевших место в 1964–1981 и 1985–1991 годах.

В нынешний же четвертый, заключительный период тем более востребовано персональное лидерство, а стремление к формированию режима доминирующей партии уже сегодня с этой точки зрения следует рассматривать как своего рода исторический фальстарт. Такое «преодоление персонализма» — совсем не то, что нам нужно. Не забудем, что олицетворением аналогичного периода петровско-екатерининского «рынка» была все же Екатерина Великая, при которой, в отличие от царствования первой русской императрицы Екатерины I, никакого «коллективного» управления страной (по крайней мере — после подавления путчевщины) не практиковалось.

В сегодняшних условиях только автократический режим способен решить двудединую задачу завершающего этапа нынешнего «рынка»: до конца реализовать потенциал автономной от общества власти, разложить тем самым основы автократии (т.е. самое себя) и завершить долгую историю ученичества/зависимости, сформировав, наконец, эффективные и устойчивые каналы взаимодействия с современной глобальной цивилизацией. Как эпоха Екатерины II подготовила относительно свободное поколение дворянской молодежи, сумевшее выстоять и «выжить» вопреки усилиям Павла I, так и сейчас Россия необходимо вырастить относительно свободное поколение обеспеченных людей, способных сформировать «из себя» действительно эффективный и ответственный политический класс страны.

² Характерно, что все функционеры Администрации президента, равно как и сам президент, не члены «Единой России». Так что аналоги с Паскаро Карденасом и его соратниками, созданными в свое время доминирующую партию в Мексике, тут не проходят. Скорее, можно говорить о «Неизвестных Отцах» с «Обитаемого острова» братьев Стругацких.

ИМПЕРИЯ, НАЦИЯ И СВОБОДА

Будущее не предопределено.

Сара и Джон О'Коннор

Вступление на столь поздней стадии в дискуссию, уже привнявшую такой масштаб, приводит на ум один из прекраснейших ирландских анекдотов; в нем Пэдди Фицпатрик, проходя вечером мимо паба, у входа в который бушует многолюдная потасовка, вежливо интересуется: «Простите, пожалуйста, это частная драка или участвовать могут все?» Свистр поднятых вопросов поражает воображение; попытки завязать содержательный диалог, хотя бы и в виде обмена прицельными ударами, чрезвычайно редки; впрочем, сочетание предельной широты тематической рамки, заданной организаторами, с общественной склонностью большинства российских экспертов извольвать по любому поводу одну и ту же глубоко личную и хорошо затверженную песню (в лучшем случае — две-три) вряд ли могло привести к другому результату.

Выбор возможных стратегий участия в подобной драке ограничен. Едва ли не более всего привлекательна позиция наблюдателя, анализирующего схватку со стороны, группирующего по разным основаниям ее участников, подводящего промежуточные итоги происходящего и тем самым производящего экспертный продукт второго уровня. Но высказывания в этом жанре уже несколько раз были сделаны (среди них выделяется блистательной четкостью анализ Эмиля Панна), и, кажется, было бы правильнее отложить окопательный разбор полетов до завершения всего процесса; к тому же и наблюдатели не могут удержаться от того, чтобы спуститься с судейской вышки и, засучив рукава, отсыпать пару-тройку уместных туманов уже в личном качестве (что по-человечески очень понятно). Пополнять ряды кидкоуходящих в бой очертя голову и махать кулаками по всем азимутам решительно не хочется. Выход подсказывает переосмысленный вопрос Пэдди Фицпатрика: стоит попытаться выделить в этом кипищем водовороте зону своей, частной драки. Для меня она определена словом «империя», вновь и вновь всплывающим и в этой дискуссии, и вообще в российском публичном пространстве последних лет.

Почему империя оказалась «in fashion», достаточно ясно. С одной стороны, это хорошо укладывается в русло глобальной тенденции, точное, сразу двух: а) оживления интереса к имперской проблематике в западных социальных науках, начавшегося пару десятилетий назад (примечательно, кстати, что российские специалисты приняли в этом научном движении довольно активное и вполне достойное участие); б) распространяющегося и в научных, и в более широких интеллектуальных кругах ощущения, что именно термином «империя» (под которым кроется мощный пласт более конкретных концепций, моделей и представлений) наиболее адекватно описывается природа

современного мирового порядка¹. С другой стороны, в российском контексте возникла особая, дополнительная чувствительность ко всему «имперскому», лучше всего заметная в словопроизных околополитических элит, но просматривающаяся даже в глаголах массового подражания (ровно перед тем, как приступить к сочинению этого текста, я обнаружил на двери собственной квартиры подметный листок со звучным титулом «Империя пиццы»: увлекательнейшее чтение представляют собой выдаваемые «Яндексом» результаты поиска по этому слову: империи вкуса, колес, керамики, чистоты, холода, тепла, фейерверков, дайвинга, окон, мебели, комфорта и даже — о, мечта несбыточная! — заработка и халмы).

Впрочем, происхождение нашей специальной «имперской чувствительности» тоже вполне прозрачно. Россия была империей на протяжении значительной части своей истории; Россия перестала ею быть совсем недавно; и сам факт, и его причины, и обстоятельства, при которых он совершался, до сих вызывают у значительной части населения эмоции скорее негативные или по меньшей мере неосторожные. В ядре империи ее имя естественным образом коннотирует с величием и блеском, а не с угнетением и чужеземным владычеством, как это происходит на периферии. В таких условиях слово «империя» просто не может не быть весьма ценным символическим ресурсом, приватизация которого и распоряжение которым сулит любому политическому актору ощутимые бонусы и преференции. Именно любому: эксперимент, поставленный Анатолием Чубайсом с выдвижением лозунга «либеральной империи», продолжения не возымел, однако вытесненная ФОМом тогда же, в 2003 году, общественная реакция на этот лозунг в высшей степени показательна. То, что 82% опрошенных вообще не поняли смысла формулы, совсем не удивительно (надо признать, что ее автор не слишком постарался им помочь); но вот то, что среди остальных респондентов безусловно преобладало положительное восприятие (лишь 1% ассоциировал «либеральную империю» с «социальной несправедливостью»), и столько же заявило, что «империя не может быть либеральной», означает, что привлекательность империи (хоть бы и либеральной!) столь велика, что легко перекрывает даже безусловно «черную», с точки зрения большинства россиян, репутацию Чубайса.

Таким образом, «счета» вокруг империи рационально объяснима и политически целесообразна (что никак не исключает наличия у тех или иных ее участников мотиваций, отличных от прагматического расчета выгод и издержек), а потому неизбежна — слово «империя» слишком звучно и весомо, чтобы остаться непротиснутым. Но какое содержание в него вкладывается? Как оно соотносится с тем, что принято понимать под имперским типом политической организации в науке, и с тем, чем были исторические империи, в том числе Российская? Словоупотребление не может быть вовсе произвольным, семантические поля должны быть центрированы хоть каким-то смыслом. Или слова имеют значение, или разговор вообще невозможен. И вот тут начинаются настоящие проблемы. Как показывает дискуссия (впрочем, и другие политические полемике последних лет), то, что в ней подразумевается под империей, к империи, за редкими исключениями, имеет очень отдаленное отношение. В какой пропорции в том или ином случае соединились невежество и ложь — не так важно. Важно, что под этим вымышленным брендом преимущественно впивается фальсификат.

Прежде всего: природа империи не может быть уснена без обращения к ее ценности измерению. Это, конечно, относится и к любой другой политической форме.

¹ Откажусь упоминанием только некоторых особенно выдающихся текстов: Кэри М. Нерп А. Империя. М.: Прогресс, 2004; Ignatieff M. The Burden // New York Times Magazine, 2003. January 5; Ferguson N. Empire: the Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power. N.Y.: Basic Books, 2003; idem. Colossus: The Rise and Fall of the American Empire. N.Y.: Penguin Books, 2006.

Слова Михаила Юрьева «империя — это такое государство, у которого существуют некие цели, выходящие за пределы элементарного поддержания собственного существования и роста материального благосостояния подданных» попросту бессодержательны, поскольку государства, не имеющие таковых целей, никак не апеллирующие к миру ценностей, оказались бы напрочь нелегитимны и потому в природе не наблюдаются. (Отдельный смешок вызывает, конечно, еще и сам по себе пассаж «империя — это такое государство», выдающий полное незнание с предметом. В науке довольно давно общим местом стало понимание того, что империя — вообще не государство *sensu stricto*, что это сущность другой и в некоторых отношениях диаметрально противоположный государству тип политической организации.)

Империя же представляет собой определенный тип сопряженных мира политики с миром ценностей, причем ценностей не локальных и партикулярных (что как раз характерно для государства), а универсальных и абсолютных, при этом с предельной напряженностью переживаемых и воплощаемых в политическом конструировании. Имперскому проекту служат разнообразные и часто изощренные политические технологии; но сама она технологией не является. В определении же Дмитрия Володихина долго и с упоением перечисляются анские признаки чаемой империи: «...Мультиэтничное государство с ярко выраженным иерархическим устройством, достаточно крупное по территории и мощное в политическом, экономическом, военном и демографическом отношении, чтобы претендовать на ведущую роль в регионе. Государство с развитой системой внутренних силовых структур, с центром, который вырабатывает доминирующую идеологию и устанавливает определенный порядок в ряде вопросов администрирования (транспорт, финансы, суд, важнейшие законы), обязательный и равный для всех провинций». Но какая во всем этом внутренняя необходимость, кроме тех специфических наслждений, которые сулит «ведущая роль в регионе», «развитая система силовых структур» и «доминирующая идеология», покамест непонятны. Затем следует дополнение: «стратегическая деятельность центра опирается на господствующую культуру, являющуюся плодом исторического творчества „несущей нации“. В случае России таковой является русская православная культура». Ценности в этой модели так и не появляются; «культуре», причем непременно «господствующей», отводится служебная роль опоры для «стратегической деятельности центра», причем сама культура, в свою очередь, произведена от загадочной «несущей нации». Любопытно было бы узнать, с какого времени Володихин считает возможным использовать термин «нация» применительно к российской истории. Впрочем, нет — даже и не любопытно. Чур меня, чур... Однако изумительную интеллектуальную дееспособность подобных любителей порассуждать об империи, не ознакомившись хотя бы поверхностно с литературой вопроса, прекрасно показал Алексей Миллер (на примере текста Михаила Юрьева), и к сказанному им на этот счет мало что можно добавить. После к теме империи обратился, правда, еще и Александр Дугин, но тут уж уста прямо-таки немеют.

В общем, из текстов Володихина и Юрьева (и многих подобных) хорошо видно, что в них в имперскую оболочку упаковывается довольно банальная этнонационалистическая программа, а имперская риторика играет роль маркетинговой стратегии, призванной повысить объемы продаж на политическом рынке, и не более. Дополнительным подтверждением тут служит изоляционистский вектор этих проектов — вместо империи как открытого, включающего (*inclusive*) политического организма предлагается организм закрытый и исключавший, что соответствует модели национально-государственной, никак не имперской. Но главное — природа тех ценностей, вокруг которых предлагается строить новый имперский проект.

Ценностный голод — безусловно, главная проблема современной российской политики. Однако он вовсе не изливает «неразличения духов», готовности произ-

водить и потреблять любые символические продукты, лишь бы они представляли собой хоть какую-то альтернативу обридной прагматике долларов и баррелей. Если абсолютные ценности подменяются партикулярными, если вместо порока и трансцендентному рекомендуется националистическое идолопоклонство (а это именно так: даже православию и володихинских построениях, несмотря на всю сопровождающую его упоминания благочестивую фразеологию, отводится сугубо инструментальная по отношению к нации роль — оно ведь тоже трактуется как «плод исторического творчества» пресловутой «несущей нации», в полном забвении того, чьим Телом является Церковь), то речь идет вообще не об империи, а о псевдоморфозе с легко предсказуемой судьбой.

Если же обратиться к ценностям действительно абсолютным и универсальным, то ведь и они могут быть разными. Таковы христианские ценности; но таковы и исламские; и буддистские; и коммунистические; и ценности Просвещения; и нельзя исключать появления новых ценностных комплексов, с большим или меньшим основанием претендующих на подобный статус. В аналитических целях допустимо принять доркетиловское представление о сакральном, исключаящее постановку вопроса о сравнительной истинности различных *aspirat'ov*, но политический, моральный и эзистенциальный выбор ответа на него все равно потребует. Это не выбор «за» или «против» империи — империя может строиться вокруг разных ценностей. Именно этим прежде всего отличалась Российская империя и СССР или, скажем, Первый, Второй и Третий рейх. Империя как форма ценностно нейтральна — тут я, к сожалению, вынужден не согласиться уже с точкой зрения Паниа, отождествляющего империю с насилием и угнетением. В подтверждение он цитирует Доминико Ливена («власть над многими народами без их на то согласия — вот что <...> предполагает все разумные определения этого понятия») и Марка Вейссингера («нелегитимное отношение контроля со стороны одного политического сообщества над другим»); но есть ведь и другие, менее оценочные и не менее почтенные дефиниции, скажем, Чарльза Тилли («крупная внутренне неоднородная полиция, элементы которой связаны с центральной властью системой опосредованного правления [indirect rule]»)². Либеральная «империфобия» зеркальна антилиберальной «импернофилии». Отношение к любому политическому проекту для России должно определяться не тем, имперский он или нет, а прежде всего тем, во имя каких ценностей его предполагается осуществлять. Имперский же проект может основываться и на универсальных ценностях свободы и справедливости — почему нет? Ничто в имперской форме не противоречит этому содержанию.

Одновременно с этим уровнем проблематизации разговор об имперских перспективах России должен вестись и на гораздо более приземленном и прикладном — на уровне инвентаризации существующих сейчас и потенциально способных открыться в обозримом будущем «окон возможностей», а также ресурсов, необходимых и достаточных для того, чтобы ими воспользоваться. Участники дискуссии крайне редко размышляют в этом ключе, предпочитая модусу долженствования трезвой оценке наличного положения вещей. Э. Паниа совершенно прав, уподобляя володихинское предложение «снять с повестки дня глобализм» предложению запретить генетику или компьютеризацию (на самом деле тут, конечно, буквально проявилось себя хорошо известное желание «закрыть Америку»).

Наличие же положение вещей описывается прежде всего двумя обстоятельствами. С одной стороны, Россия в ее нынешнем положении не имеет ресурсов для реализации собственного имперского проекта. Ни материальных (Стабилизационный фонд,

² Tilly C. How Empires End / After Empire. Multietnic Societies and Nation-Building / Ed. by K. Berkey. M. von Hagen. N.Y.; London: Westview Press, 1997. P. 3.

при всем уважении к его создателям, на эту роль явно не годится — в масштабах убитой в том смысле, в каком говорит о квартирах, огромной страны он совсем невелик), ни инфраструктурных, ни технологических, ни демографических, ни, что важнее всего, ценностных. Моральный деградация народа и элит, чудовищный дефицит межличностного доверия и тем более доверия к институтам, в первую очередь к государственным, пронизывающая отсюда крайняя степень атомизированности общества etc., etc. исключают возможность реализации какого бы то ни было мобилизационного проекта — в особенности мотивированного идеально, а не прагматически, каким должен был бы быть проект имперский. Конечно, можно уповать, что все эти социальные недуги чудом преобразятся в свою противоположность и миру предстанет обновленная Россия — только желательно отдавать себе отчет в том, что уповаяешь именно на чудо. И даже в его ожидании лучше бы заняться изнурительным многолетним трудом по приведению в порядок собственного дома и нравов его обитателей (в соответствии с приписываемой Леониду Смирнягину формулировкой национальной идеи: «Поправь забор, не сс... в подъезде»), а не ввергать их в очередную авантюру с негодными средствами.

С другой стороны, Россия существует не в геополитическом вакууме, а в мире, в котором уже реализуется имперский проект: империя Запада. Опуская всю аргументацию этого тезиса³, подчеркну одно важнейшее обстоятельство: империя Запада, в отличие от исторических предшественниц, достигла не интенциональной, а фактической глобальности, оплетя своими информационными, финансовыми, военно-политическими, культурными сетями весь мир. Даже ее самые яростные оппоненты находятся внутри империи, а не вне ее. В этом смысле глобализация завершена. Для второй империи теперь просто не осталось места. Оно может освободиться, только если погибнет первая (такие пророчества звучат — впрочем, не первое десятилетие и даже столетие). Ничто из нас может недолюбливать Запад и особенно Америку, которая и впрямь дает для такого отношения немало оснований. Любить Запад, конечно, не обязательно; достаточно любить Россию, чтобы задуматься о том, что ее ждет, если рухнет глобальная гегемония Запада? Россию, которая по вышеописанным причинам никак не сможет мгновенно занять освободившееся место? С кем она останется лицом к лицу (Игорь Яковенко очень к месту напомнил печальную историю византийского архидиака Нотараса...)? И что через некоторое время останется от нее?

Эти сугубо рациональные вопросы, конечно, не охладят горячих антизападных голов — разум, как правило, бессильен против иррациональных, сверхценных установок. Но можно и снова вернуться к разговору о ценностях. Запад, несмотря на далеко зашедший процесс секуляризации, от христианского хоряка (примеч, как показат в своих работах покойный Алексей Салмин, сама возможность секуляризации создана некоторыми уникальными особенностями христианской религиозности). Все разговоры о так называемой «бездуховности Запада» гроша ломаного не стоят — видимо, их любители никогда не видели репортажей о миллионах европейцев, собирающихся на пасхские мессы, ничего не слышали о бескомпромиссной, пламенной вере, которую сохраняли многие протестантские деноминации (хотя о Джордже Буше-мл., право, трудно не слышать совсем ничего), ничего не знают о бесчисленных делах милосердия, вполне бескорыстно творимых якобы погрязшими в материализме и потреблении гражданами западных стран (и не желают сравнивать с российскими хотя бы ста-

³ Она изложена в моих статьях: Империя под ударом. Концы дефилов о политике и культуре // Политик. 2003. № 1. Десять вопросов к империи Запада // Космополис. 2003. № 4 (II); Империя как рутина и строительный материал: nation-building в современной России // Политическая наука. 2004. № 3; в наиболее скажем виде: Размышления у входа в империю // Эксперт. 2005. № 39.

статистические данные по отказам от новорожденных детей и по их последующему усыновлению). Как это ни горько признавать, Россия сегодня, после того XX века, который она себе устроила, гораздо более «бездуховна», чем Запад (апрочем, и сто лет назад, судя по той легкости, с которой народ отдал страну богоборческой большевистской банде, все было тоже далеко не прекрасно).

И все-таки Россия от того же христианского корня, что и Запад. Данные церковные разделения между нами, конечно, очень болезненны, но надо совершенно ничего не понимать в христианстве, чтобы не отдавать себе отчета, скажем, в том, что пропасть, отделяющая восточное православие от западного католицизма, неизмеримо менее глубока, чем пропасть между теми же католиками и отвергающими апостольское преемство протестантами. Тем не менее Запад, пройдя через жесточайшие религиозные войны, сохранил себя как многосложное, составное целое — и даже смог поддвинуть собственную империю. Что мешает России признать эту империю и своей тоже? Тем более что речь тут совершенно не идет ни о каком экumenизме, соединении Церкви и т.п. Находится же в составе Запада, не испытывая от этого сколько-нибудь серьезного дискомфорта и не поступаая собственной идентичностью, вполне православная Греция!

Точно так же вхождение в империю не имеет никакого отношения и к активно обсуждаемой сейчас угрозе «внешнего управления» — Россия по целому ряду самоочевидных причин может занять только место в ядре империи (или даже получить статус второго ее ядра), а никак не на имперской периферии. Вокруг каких еще ценностей, если не христианских, т.е. западных (вновь нужно повторить: даже в своем нынешнем секуляризованном, превращенном в виде западные ценности генетически суть ценности именно христианские, причем наличествуют и силы, ведущие упорную борьбу за восстановление их изначального, неповрежденного вида), предлагается строить альтернативную империю? Не возводятся ли в этом навязчивом желании в абсолют именно ее непремная альтернативность западной, достигаемая любой ценой, даже ценой утраты самой России? Летописные слова «своя же свои не позымаша» имеют грустное продолжение: «... и побыша».

Но Россия не может войти в эту империю (точнее, не может двигаться вообще куда бы то ни было), не преодолев того межумочного состояния, в котором сейчас находится, не самоопределившись как политическое сообщество. Такое самоопределение требует формирования комплекса внятных (и для самих себя, и для окружающего мира) представлений о природе сообщества, о его границах, о критериях и условиях членства в нем, о его происхождении и предназначении, о ценности и символическом фундаменте его солидарности. Самоопределяющееся подобным образом сообщество принято называть политической нацией, а процесс его консолидации — nation-building. Выигран в конкурентной борьбе с иными политическими форматами, нации в современном мире стали общепринятым и, пожалуй, единственным легитимным типом политической организации. Именно из них, как из «кирпичиков», складается миропорядок — сиречь империя.

Собственно, почти об этом говорится в одном из тех немногих фрагментов думинского текста, где присутствуют хотя бы некоторые признаки смысла: «...После распада СССР построить на базе РФ государство-нацию, потом его модернизировать, сформировать из россиян „гражданское общество“ и благополучно раствориться в общечеловеческой цивилизации. Такова логика модерни». При чем тут модерн решительно непонятно; но подход в другом. Перспектива «растворения» — это пугало, размахивать которым можно только от полного неверия в силы собственной страны и культуры (предъявите список уже «растворенных»! Швеция? Греция? Япония? Австралия?). Вхождение в империю означает не отказ от собственной идентичности, а дополнение ее новой, эвхимной, объединяющей многих и разных в их приверженности универсальным ценностям, гар-

монструющим с их собственными и уникальными. Такое вхождение принципиально невозможно только в том случае, если что-то уникальные ценности выступают в непримиримый конфликт с универсальными, в обсуждаемом случае — с христианскими. Тогда это нужно прямо признать. Но откровенные адепты и идолопоклонники в наших широтах встречаются редко. Все больше приравненные.

Что же сейчас происходит со строительством российской нации, какие затруднения, в том числе ценностного свойства, возникают в этом процессе и как его стоило бы скорректировать? По стечению обстоятельств совсем недавно я в соавторстве с Ириной Касть опубликовал статью, целиком посвященную именно и буквально этим вопросам⁴ — пересказывать ее заново было бы глупо. Вместо этого имеет смысл задуматься о другом — о том, кто, какие активные группы и институты могут рассматриваться как субъекты nation-building и одновременно как гаранты его приведения к тому результату, желательность которого тут постулируется (т. е. к формированию консолидированной российской политической нации и ее интеграции в состав Запада)? Вообще тема субъектности в актуальной российской политике — одна из самых болезненных, как то неоднократно констатировалось и в ходе дискуссии. Кто вообще сегодня имеет силу действовать со сколько-нибудь серьезными шансами на результат? Парадоксальный тезис Алексея Чадаева «единственный способ создать в России оппозицию — учредить ее указом президента», естественно, вызвал шквал саркастических комментариев; но ведь нельзя же не признать, что существенная черта нашей политической реальности в нем схвачена.

Разумеется, исчерпывающим и реалистичным образом ответить на вопрос о субъектах nation-building, предъявить их перечень с «явками и паролями» не удастся. Бессмысленно и рассматривать, как это часто делается, в качестве таких субъектов крупные социальные страты («средний класс» вообще, «молодежь» вообще...). Однако следует иметь в виду следующие обстоятельства:

1. Нации как «воображаемые сообщества» создаются интеллигледами — конечно, не только ими, потребны и люди практические, но без участия интеллигентов эта работа не может быть выполнена, просто потому, что конструирование символических форм и образцов и есть их прямая социальная функция. Интеллектуал, как известно, умеет три вещи — читать, писать и говорить, чем и занимаются участники вот этой самой дискуссии. Все они ipso facto являются участниками процесса nation-building. Можно скептически оценивать эффект каждого отдельно взятого текста, доклада или лекции (и он действительно в 999 случаях из 1000 окажется мизерным), но иных вариантов все равно нет. Критическая масса копится по миллиграмму. Интеллектуальное сообщество и есть субъект строительства нации. Правда, какое сообщество, такой, *mutatis mutandis*, окажется и нация — из этого грустного факта, кстати, следовало бы сделать некоторые морально-гигиенические выводы.

2. Сам процесс писания и говорения на соответствующие темы вполне может быть организован более эффективно, превращен из нынешней какофонии в согласованную, когерентную трансляцию определенных сообщений в узловые точки публичного (и непубличного тоже) политического пространства. Кстати, недурным примером такого технологического подхода в первом приближении может служить раздел текста Володина «Русский консерватизм: политическая тактика». Описанные в нем приемы никак не связаны содержательно с самим «русским консерватизмом», вполне адекватны актуальным отечественным реалиям и с некоторыми поправками могут быть взяты на вооружение и другими субъектами.

⁴ После битвы — страна. Nation-building и новые «айзэнбелтеры» // Иностранно-овенный залас. 2008. № 6 (50) (<http://www.nz-online.ru/index.php?aid=80076369>).

3. Те же субъекты, которые смогут обратить слово в дело, в принципе не могут быть идентифицированы а priori — «до опыта». Как заметил Виктор Шкловской, «если бы некто захотел создать условия для появления на Руси Пушкина, ему вряд ли пришлось бы в голову выписывать дедушку из Африки». Это верно и в отношении политики: кто мог предположить, что для низвержения коммунистической власти надо было в 1968 году перенести на партийную работу начальника Свердловского домостроительного комбината? Субъекты действия, конечно, могут и вовсе не появиться — никаких гарантий тут нет и быть не может. Но без подготовленной для них почвы они не появятся заведомо. Именно «окультуриванием» почвы следует заниматься тем интеллектуалам, которые хотели бы, чтобы российская политическая нация организовалась вокруг ценностей свободы (в разных ее измерениях) и благодаря этому заняла бы причитающееся ей, достойное место в составе западного мира.

4. Круг субъектов, потенциально способных сыграть эту роль, несколько шире, чем обычно принято считать, — любить свободу вообще-то способны не только либералы (кстати, откуда еще можно исторически достоверно вывести восприятие свободы как ценности, если не из христианского принципа свободы воли?). Вполне допустимо, например, рассматривать в этом качестве Церковь, которая, кстати, в современной России является одним из немногих действительно автономных акторов. Во всяком случае, внимательное чтение «Основ социальной концепции РПЦ» дает для такого рассмотрения достаточно оснований — и совершенно не позволяет, вопреки распространенному в светских либеральных кругах мнению, автоматически зачислять Церковь в разряд врагов свободы.

И последнее — как раз в связи со свободой воли. Александр Янов хорошо показал, какое значительное место в этой дискуссии занимает представление о некоей самодовлеющей «русской традиции», жестко детерминирующей вектор российской истории и якобы исключающей всякую возможность придать отечественному политическому укладу какие-то еще черты, кроме авторитарно-патриархальных. Но дело не только в том, что сами описания этой традиции (кстати, как и апологетические, так и критические) основаны на радикальном упрощении исторических реалий и не выдерживают элементарной научной критики. Дело и в том, что приписывание какой бы то ни было традиции качество «непреодолимой силы» противоречит тому простому и, кажется, неопровержимому соображению, что история творится людьми. А люди — свободны. Политические культуры и тела пластичны и поддаются в том числе и рациональному (тем более — ценностно мотивированному!) преобразованию. Разумеется, не любому, какое только заблагорассудится, — выше говорилось об «окнах возможностей». Но произвольно исключать целые ветви сценариев, ссылаясь только и исключительно на «вековую традицию», недопустимо.

То, что Россия никогда в своей истории не функционировала как демократическая нация, само по себе не означает, что она вообще к этому не способна (тем более, что первичные предпосылки для ее перехода в это агрегатное состояние наконец созданы). До известного момента Турция тоже не была светским государством, Япония — демократией, а Великобритания и Франция не умели обходиться без колониальных владений, и что с того? В фильме «Терминатор» лейтмотивом звучат слова: «будущее не предопределено». Эта максима в полной мере приложима и к российской государственности. Другое дело, что будущее надо создавать. В частности, создавать нашу. И любить свободу.

ИМПЕРИЯ В СОСТОЯНИИ РАСПАДА

Контекст дискуссии, посвященной прежде всего анализу текущего состояния российской государственности, предполагает знание о политической жизни нашей страны и тем самым создает для меня, как теоретика, определенную проблему. Каких-то конкретных обстоятельств нашей политической жизни я могу не знать. Но, с другой стороны, я могу взглянуть на ситуацию с точки зрения теории общества, критически рассмотреть теоретические ресурсы, которыми мы можем воспользоваться для анализа состояния нашей государственности, исследовать понятия политической и социальной теории на предмет различения тех, что пригодны для этой цели, и тех, которыми в нашем случае пользоваться нельзя.

О применимости понятий гражданского общества и государства к современной России

Осмысление отношений государства и общества предполагает наличие определенного рода теоретической схемы. И такая схема присутствовала в дискуссиях о нашей государственности на протяжении всех последних лет; по моим наблюдениям, с тех самых пор, как у нас начались перестроечные дискуссии. Все это время дискутирующие исходили из того, что существует государство и существует гражданское общество, но государство слишком сильно давит на гражданское общество, подминает его под себя. Поэтому решение состоит в том, чтобы дать гражданскому обществу немного воздуха, дать ему возможность провалить себя, создать условия для его самоорганизации. И как только это будет сделано, жизнь, соответственно, станет лучше, потому что правильная жизнь — это жизнь в условиях минимального государства, которое выполняет функции ночного сторожа (защита от внешней агрессии, социальное попечение над маломощными гражданами, не более того).

Итак, главное — активизация гражданского общества. Но ведь это просто схема, причем перенесенная к нам из зарубежных дискуссий и усвоенная совершенно некритически. Иными словами, прежде люди в России просто не знали, в каких понятиях обсуждать свои политические проблемы, потом появилась эта схема, и все стали оперировать понятиями гражданского общества и современного государства. Но в качестве основы для решения наших проблем сама схема, на мой взгляд, является принципиально неправильной.

Дело не только в пресловутой российской специфике. Находить эмпирический референт этой схеме всегда было нелегко. Тем более нелегко было найти эмпирический референт гражданскому обществу в России конца 1980-х — начала 1990-х годов. Мне представляется, что и сегодня с этим есть некоторые проблемы. И связаны они не только с тем, что, с определенной точки зрения, у нас недоразвито гражданское общество (а может быть, его и просто нет), но и с тем, что то же самое можно сказать и про государство.

Гражданское общество и государство как нечто ему противостоящее — парные понятия. Вспомним, как они появляются в европейской истории. Сначала считается, что гражданское общество — это и есть государство; соответствующая формула хорошо известна в европейской социальной теории. Потом выясняется, что это разные вещи, которые в определенном смысле даже противостоят друг другу.

В нашем же случае речь идет о ситуации, в которой не всегда можно точно сказать, с чем мы имеем дело — с государством или с гражданским обществом. Но если мы не можем этого сказать, то, соответственно, непонятно, о состоянии чего мы говорим. Конечно, когда мы говорим, например, о неких негосударственных правозащитных организациях, то здесь все ясно. Но когда мы говорим о каком-то государственном, скажем, учебном заведении, где профессор по существу является наемным государственным служащим (не чиновником, разумеется, но служащим), то как определить этот случай? Ведь деньги профессору платит государство, поскольку университеты и большинство прочих учебных заведений в значительной степени существуют на его средства — от него зависит, например, количество бюджетных студентов. И куда же все это отнести — к государству или к гражданскому обществу? Принято считать, что к гражданскому обществу. Но на каком основании?

Хорошо, университеты — не политическая система, они выполняют какие-то другие функции. Но есть ли в их основе сколько-либо существенный элемент самоорганизации? Или это всего лишь особый институт, созданный государством с определенным рода целью? Да, он не политический, но, тем не менее, это институт, который создается государством и на который оно, безусловно, имеет преобладающее влияние. И если оно уйдет из российских вузов (не буду говорить, что станет при этом с образованием вообще), то все они в одночасье рухнут, поскольку живут в основном на государственные средства. Коммерческие вузы не рухнут, но подавляющее большинство некоммерческих — рухнет. И сфера высшего образования — это только наиболее близкий мне пример.

Других мест, где то или иное участие, то или иное вмешательство государства или, как мы иногда говорим, властей в высшей степени ощутимо, у нас очень много. Все это формирует мощный институциональный комплекс, где, если угодно, гражданское перетекает в государственно-политическое, а государственно-политическое перетекает обратно в гражданское. И проблема в том, что нормального названия этому комплексу нигде в теории не дается. Мы не можем назвать его правильным словом, а в результате морочим сами себя, принимая за безусловную истину банальную схему разделения и противостояния гражданского общества и государства. И это при том, что не только с первым, но и со вторым в нашей ситуации толком ничего не ясно.

Феномен Российской Федерации

Итак, исходя из Запада мы имеем модель, сочетающую государство-нацию и дополняющее его гражданское общество. Но как нам сегодня описать природу нашего государства?

Если бы мы разговаривали десять лет назад, я, наверное, говорил бы более уверенно, как человек, стремящийся довести до своих оппонентов какую-то свою истину. Сегодня я склонен выражаться более осторожно. Я полагаю, что Российское государство сегодня правильное всего было бы понимать как империю, находящуюся в состоянии распада.

Империю присущи некоторые важные особенности, которые не позволяют характеризовать ее как государство-нацию. Например, неопределенность границ. Империя может иметь четкие охранные границы, признаваемые другими государствами, но в ее устройство эти границы не заложены, она при определенном раскладе может

их либо расширять, либо, наоборот, может коллапсировать. Она, например, имеет возможность распространить свое влияние таким образом, что будет реально присутствовать далеко за пределами своих границ — при том, что это не будет отражено ни в каких юридических формах.

Другая характерная особенность империи — ее внутренняя разнородность, существование в ее рамках отдельных сообществ, отдельных корпораций, культурных или территориальных образований. Она включает их в себя, но не интегрирует в некое однородное целое, не имеет возможности и даже намерения довести этот неоднородный конгломерат до состояния полной однородности. Поэтому упадок империи выражается, в частности, в том, что на ее пространстве образуется множество протогосударственных образований. Собственно, империя — колыбель государств. Так было в Европе, так, по существу, получается и у нас.

Протогосударства становятся государствами именно с разрушением империи, приобретая с этого момента некоторые характерные черты — такие, например, как суверенитет. В империи нет понятия суверенитета, поскольку нет понятия имперского суверенитета; оно появляется только в государствах, возникающих в рамках прежнее имперского пространства. Определяя себя в качестве суверенных, они, следовательно, гораздо более жестко формируют собственные границы, внутри которых обеспечивают столь высокую степень однородности, каковой не было и не могло быть во времена империи. Этот суверенитет государства выражается не только в недопущении им никакого вмешательства в свои внутренние дела и в проведении независимой политики, но также и в том, что внутри государства исчезают (подавляются или как-то иначе унифицируются) все те самостоятельные образования, которые внутри империи могли существовать совершенно спокойно.

Если мы посмотрим на старую карту Европы, то увидим, что там были разного рода герцогства, епископства, вольные города и проч., были самостоятельные средневековые корпорации. Когда же наступает эпоха современного государства, сначала абсолютистского, а потом буржуазного, ничего этого не сохраняется. Самостоятельность цехов в значительной степени редуцируется, все самостоятельные герцогства, епископства, княжества, вольные города упраздняются. Все становится сильно пригнанным. И на этой основе появляется государство-нация.

Если мы посмотрим на то, что происходило у нас, то увидим, что во многих случаях государства, появившиеся на пространстве империи-СССР, пытались идти аналогичным путем. Но я не буду говорить про другие постсоветские республики, поскольку в данной дискуссии нас интересует Россия. Так вот, в ней-то как раз ситуация выглядела совершенно иначе: здесь, говоря кратко, империя не разрушилась.

Именно поэтому Россия и не может до сих пор состоять в полном смысле как государство. И объявление ее государством суверенным, как и вообще недифференцирование вопросов российского суверенитета, часто вызывает насмешки и недобрежелательство либеральных критиков, адептов господствующей сейчас идеологии. Особенно это касается и в самом деле несколько своеобразной формулы *суверенной демократии*. Но нарочитое подчеркивание суверенитета, помимо чисто технологической задачи (декларации наших намерений делать что хотим и предостережения от вмешательства в наши дела), выражает еще и внутреннее ощущение необходимости акцентировать именно суверенитет, подчеркнуть значимость этого наиболее явного атрибута государства, — того Российского государства, к созданию которого мы все так стремимся, но которое до сих пор никак не можем сформировать.

Потому что одного стремления к суверенности мало. Для того чтобы государство появилось, должна существовать определенная степень однородности социального пространства России, произойти его унификация, гомогенизация. Делаются ли какие-

то попытка в этом роде? С одной стороны — да, делаются. Мы видим, как в период нынешнего царствования происходит уничтожение или подавление различного рода самовластных структур, превращение губернаторов в чиновников. Вместо отдельных князьков, как бы их ни называть, появляются государственные чиновники, которые, как ни крути, зависят от суверена. Ликвидируются самовластные хозяйственные структуры, которые прежде опирались на относительно автономные политические и идеологические ресурсы, что позволяло им конкурировать с протогосударством. Мы помним многочисленные истории, которые у нас официально называются борьбой с засильем олигархов. И главное, что в реальности при этом произошло, — не столько восстановление (восстанавливать, собственно, было нечего), сколько изменно установленное государство, т.е. формирование однородного государственного пространства с однородными государственными структурами.

Однако ключевой принцип построения такого пространства — наделение его субъектов не той степенью свободы, которую они могут себе отвоинать, а той степенью свободы, которую считает для них целесообразным государство. И если попытаться посмотреть, что было сделано на этом пути, то выяснится, что очень немного. Да, в одном отношении, т.е. в отношении усиления однородности политического пространства и консолидации государства, было сделано сравнительно много. Но это же, в классическом виде, вещи нечленимые, отдельно друг от друга не существующие, это один комплект: государство как однородное замкнутое пространство формирования гражданского общества в современном смысле. И вот этой второй составляющей было уделено мало внимания.

А откуда следует, что проект государства-нации, видимо, даже не рассматривался всерьез. Такому государству присущ некий специфический базовый уровень солидарности, некое ядро солидарности граждан. Важно именно наличие подобного идеологически оформленного ядра, поскольку все поголовно не могут быть тесно сплочеными. Мы знаем, как появилось понятие «нация» исторически. Когда после победы Французской революции на страну напали враги, интервенции, нужно было найти какое-то слово, которое бы объединяло всех французов: мы из разных цехов, мы разного социального положения и разного вероисповедания, но мы все один народ, мы — нация. А как обстоит с этим дело у нас?

Проблемы построения государства-нации на постсоветском пространстве

Идея единого народа («новая историческая общность — советский народ») один раз уже провалилась в СССР. Да и в постсоветский период попытка идеологически обосновать единство российского народа (ельцинское «россияне») толком не реализовалась. Такое единство не появляется само собой, оно всегда особым образом конструируется, и для того, чтобы его сконструировать, должна быть сформулирована политическая задача. Или, как говорят современные политические мыслители, должен быть некий педагогический импульс, исходящий как от властей, так и от служащих им идеологов. Это должен быть педагогический импульс по конструированию нации из всего, что находится в пределах политического контроля протогосударства. Но от российской власти такого импульса не последовало, никаких специальных усилий по конструированию нации она не предприняла.

Напротив, вместо этого, насколько можно видеть, культивировались разнообразные очаги самобытности. А если и не культивировались, то никак не подаклялись и не принуждались к унификации и политической однородности. Такая (по существу — имперская) традиция государственной политики делает бессодержательным сам разговор о некоем едином ядре солидарности российских граждан. У нас сегодня нет ни-

какого «соднательного» (по Парсонсу) сообщества, нет никакого ядра солидарности, нет никакой, пусть ограниченной, но отчетливо распознаваемой общности людей, являющихся носителями конвексенсусного, мобилизационного, культурного потенциала. Потенциала, который позволил бы власти (государству) говорить: я власть, а это народ, которому я служу.

Здесь я позволю себе немного отклониться от магистральной темы и обратиться к опыту других постсоветских государств — сравнение с ними позволит лучше понять своеобразие проблем, с которыми столкнулась Россия. В отличие от нее, у многих из них есть четкая установка на строительство государства-нации, но — в рамках этнического государства, т.е. формирования нации на основе этноса. Естественно, этничность рассматривается при этом не биологически, а как своего рода социальная конструкция. И независимо от того, согласимся ли мы с тем, что существуют некие внесоциальные основания для этнической консолидации, или не будем соглашаться, признаем очевидное. Заставя некое уже готовое ядро этничности, государство может на него опереться. И, как видно, пытается в ряде случаев довольно активно использовать это ядро солидарности, соотносить себя с ним, подлагает его в качестве своей основы.

Но обращая внимание читателя на весьма характерные причины провалов и мучительных затруднений в реализации некоторых из таких постсоветских проектов строительства государства-нации. Неудачи последовали там и тогда, где и когда эти государства ошибочно (но по вполне понятным причинам) воображали, что они восстанавливают свою государственность. На самом деле любая из бывших советских республик является тем, что она есть, лишь постольку, поскольку в Советском Союзе были проведены определенные границы. А проведены они были в соответствии с проводимой в то время определенного рода национальной политикой. Раз уж Советский Союз определил таким образом, скажем, границы Латвии, затолкав туда громадное количество русских людей, то, освободившись от Советского Союза или от России, Латвия не имеет никаких оснований утверждать: «Мы просто восстановили то, что у нас было до 1940 года». Сегодня Латвия — совершенно другая страна, но с идеологией восстановления старой Латвии (кстати, существовавшей в истории всего лишь 15–20 лет). Историческое обоснование этой идеологии — просто полная чепуха, но политические последствия ее применения в ходе государственного строительства достаточно серьезны, и мы можем вполне четко квалифицировать их как апартеид. Понятно, что устойчиво существовать такое государство не может, что единственная возможность для него — включиться в новые имперские структуры, в данном случае — Европейского союза.

В этом смысле большинство постсоветских стран сталкивается с одними и теми же проблемами, хотя конкретика всякий раз разная. Что же касается Российской Федерации, то она представляет собой очень странное образование. Ведь если такие страны, как Эстония или та же Латвия, прежде существовали в истории хотя бы 15–20 лет, то такой страны, как Российская Федерация, в истории не было никогда. Она вообще ничему не соответствует, ее границы искусственны: с одной стороны, есть искусственно изъятые части, с другой — искусственно присоединенные. Причем эта «искусственность» проявляется лишь в той мере, в которой продвигается процесс формирования государства-нации. В империи ничего искусственного нет, в ней разграничение «провинций» имеет характер административный, определяемый соображениями удобства управления. А при распада империи это обращается тем, что, как мы видим сейчас, административные границы объявляются по факту государственными. И если так, то выстроить государство-нацию исключительно на этнических основах не получится.

Безусловно, это отдельная сложная проблема, и я не чувствую себя в ней специалистом. Также очевидно, что простое численное превосходство, пусть даже подавляющее (количественная несопоставимость русских и всех остальных народов России),

само по себе ничего не решает. Тем более что на конкретных местах этого численного превосходства не наблюдается вовсе, а само определение того, кто является этнически русским, а кто — этнически не русским, тоже является отдельной серьезной проблемой. Но даже если все это убрать в сторону, все равно придется признать, что сконструировать Россию как моноэтническое государство, оставаясь в нынешних границах, невозможно.

Мы знаем, что существует проект разложения нынешнего Российского государства и выделения из него сугубо русских областей. Но, скажем прямо, ему пока не хватает реалистичности. Просто потому, что трудно в России найти такие места, где этническое самосознание русских является достаточно сильным для производства соответствующего ему государства. Один идеолог может переговорить другого идеолога, но когда речь идет о реальной политической жизни, перспектива построения российского государства-нации на этнической основе обнаруживается невозможной.

В то же время теоретически, по-видимому, можно придумать альтернативный проект построения государства-нации на иной, не этнической основе. Взглянем, например, на ту же Америку, на которую мы все время облизываемся и которая, не являясь моноэтническим государством, тем не менее обеспечила завидную базовую солидарность, позволяющую американцам уверенно утверждать, что все они — единый американский народ. Здесь даже нет необходимости добиваться всеобщего единения. Важно лишь единство тех, чей голос и мобилизационная готовность, явно выраженная лояльность и способность транслировать определенные образцы поведения являются ключевыми для продолжения существования страны в том виде, в котором она существует.

Может ли, однако, подобный проект быть реализован в России? Сомнительно. Потому что здесь обнаруживаются две взаимосвязанные трудности, которые не кажутся мне легкопреодолимыми.

С одной стороны, до настоящего времени нет никаких признаков понимания этой проблемы, так сказать, ключевыми потенциальными заказчиками такого рода проекта, понимания того, что без его реализации у них нет политического будущего, что без этого им просто хана. Вся идеологическая жизнь страны последние лет 10–15 строится по принципу реакции *ad hoc*: в ход пускается лишь то, что может сработать сразу, буквально завтра, и что можно продать через разные каналы в срок от нескольких дней до нескольких лет. Стратегически ориентированные проекты не рассматриваются в принципе.

С другой стороны, существует сильнейший разрыв в интеллектуальной среде, отсутствует какой бы то ни было консенсус среди тех, кто мог бы осуществлять педагогическую работу воспитания нации — скажем, не на этнических, а на историко-культурных основаниях. Этот разрыв настолько сильный, что представить реалистическую перспективу подобного проекта я не могу. По моему мнению, наши интеллектуалы просто не смогут договориться между собой.

Так что перспектива построения гражданской нации в России на сегодняшний день актуальна как проблема, но не актуальна как задача, как проект. Поэтому сама проблема со временем лишь обострится. Все тренды тревожные, ни одного благоприятного не вижу.

Конечно, в такой ситуации можно попытаться спуститься с политического уровня на уровень социальной, посмотреть состояние дел с точки зрения развития социальных сетей доверия в стране. Но тут обнаруживаются, помимо прочего, и значительные теоретические трудности. Я хотя и люблю слово «сети», но не умею пока работать с ним как с понятием, не знаю, какие на основе анализа развития сетей следует делать выводы. Что касается доверия, то оно представляет собой эмпирический феномен, ко-

торый достаточно очевиден для всех. Не нужно быть ученым, чтобы обнаружить падение доверия и на межличностном уровне, и на уровне институциональном. Во всех случаях и во всех случаях доверие размывается.

Доверие — это некоторого рода стратегия, стратегическая установка. Здесь неуместна аналогия с ситуацией, когда человек, пользующийся вашим доверием, совершил некий поступок, которого вы от него не ожидали, и вы ему отказываете в дальнейшем доверии. Стратегия доверия лучше характеризует другие реакции на эту ситуацию: оступился человек, с кем же бывает. Вот что такое стратегия доверия. Но как раз в этом смысле она используется в межличностных отношениях все меньше и меньше. То же — и в отношении к разного рода институтам. Когда в опросах спрашивают, доверяете ли вы такому-то, интерпретировать результат очень сложно. Мы доверяем президенту — что это означает? Ведь люди точно не знают, что означает слово «доверие». Они не знают, идет ли речь о ресурсе сохранения определенной линии поведения даже при совершении тем, кому оказывается доверие, неожиданных и не одобряемых поступков. Неясно также, в течение какого времени и до какой степени они готовы сохранять доверие в этом случае.

Другой пример — рост количества вкладов в банках — говорит об определенном росте доверия финансовым институтам, подорванного в начале 1990-х годов, а затем дефолтом 1998 года. И если мы видим рост не только количества вкладов, но и депозитов, широкое использование определенными группами страховых и пенсионных вкладов, то это, безусловно, свидетельствует о росте доверия. Подчеркну, что вису здесь прежде всего симптомы появляющегося нового стратегического поведения, причем как со стороны населения, так и со стороны банковской сферы. Увеличение объемов кредитования означает, что речь идет уже не только о доверии людей банковской системе, но и о доверии банковской системы населению, которая рассматривает его как сравнительно надежного партнера и готова доверить ему свои деньги, рассчитывая на то, что не будет обманута и рано или поздно вернет их с процентами.

Однако для социолога, который мыслит чуть более широко и чуть более абстрактно, вопрос заключается не в том, есть ли эти очаги доверия. Они есть, и игнорировать их наличие было бы по меньшей мере безответственно. Вопрос в том, насколько существенно их значение в более широком социальном контексте. Если мы наблюдаем бум потребительского кредитования в нескольких крупных городах, то давайте посмотрим, насколько серьезный отклик это имеет в стране в целом, а с другой стороны, насколько свое доверие к банковской системе люди готовы перевести на межличностные отношения или, скажем, на отношение к конкретным чиновникам. То есть проблема доверия — многосторонний феномен, и если говорить о нем «в целом», то приходится ограничиться констатацией эмпирически существующего и зафиксированного многими исследователями увеличения межличностного недоверия между людьми, увеличения атомизации общества. Рост отмечен даже по сравнению с 1990-ми годами. У меня нет сейчас под руками данных конкретных исследований, но они публикуются постоянно, и игнорировать их нельзя. Они надежно фиксируют то, что в социологии традиционно называют аномией.

Необходимость новой парадигмы социальной теории

Для того чтобы эффективно изучать проблемы формирования государства-нации в России, мне кажется, нужно более широко использовать ресурсы социальной теории. При этом нам нужна выработка каких-то новых понятий и подходов и, соответственно, предосторожный пересмотр тех, которые сейчас доминируют. Поясню, что я имею в виду.

Если вы работаете с классическими понятиями социальной теории, вы говорите о классах, социальных группах, о ценностях, интересах. Вы находите некий набор

объективных характеристик: у человека или у группы людей, которых вы выделите на основе этих параметров, и вы можете с большей или меньшей надежностью судить об их ожиданиях и планах. Предполагается, что группа, вычленимая по тем же параметрам, и далее будет проявлять однородное и предсказуемое поведение. И даже если оно будет меняться, то не резко и однородным образом у всей группы. Иными словами, вы предполагаете существование у нее неких устойчивых характеристик, которые лежат в основе индивидуального поведения ее представителей.

Так вот, каждое из перечисленных положений мне кажется в настоящее время ошибочным. Мне кажется ошибочным вычленение таких групп на основе классических параметров, будь то возраст, доход, так называемое социальное положение и т.п. Мне кажется ошибочным предположение, что если мы все это вычленили, то мы тем самым зафиксировали основу для однородного поведения. Мне кажется, говоря иначе, ошибочным допущение, что любой из этих параметров, или все они вместе, или часть из них являются постоянным субстратом однородного поведения. Наконец, мне кажется ошибочным предположение, что поведение будет меняться в соответствии с некими устойчивыми трендами. Скорее, на мой взгляд, оно будет иметь характер, который я называю реактивным.

Какова же альтернатива классическому подходу? Я думаю, надо отказаться как от идеи о том, что для нас самое главное — понять мотивы и ценности отдельного человека, которого мы наблюдаем, так и от того, чтобы находить какие-то устойчивые общности — скажем, группы или классы, состоящие из людей. Субстрат происходящих процессов не так важен, как совершающиеся события. У меня такое ощущение, что, как правило, для нас важнее бывает зафиксировать некий поток или некую сеть однородных событий, у которых могут быть, если угодно, совершенно разные авторы; важно лишь, что при этом события будут одни и те же.

Чтобы мои рассуждения не выглядели слишком абстрактными (не хочу морочить читателям голову, а строго объяснять все на теоретическом уровне было бы слишком долго), приведу конкретный пример. Представьте себе, что существует известная всем коррупционная ситуация, скажем, взяточник на дороге. Нам может быть интересно то, какие мотивы заставляют, условно говоря, инспектора Никс брать взятки и какие мотивы заставляют водителя Игоря эти взятки давать. Но на самом деле мы все прекрасно знаем, что если арестовать их обоих за то, что один дает, а другой берет, то на их месте завтра появятся другие, которые будут делать то же самое. А вместе с тем нет такой социальной группы — «водители». Она не вычленяется ни одним из способов, которые известны социологии. Причем «водитель» — это даже не человек, который находится за рулем автомобиля. Потому что если вы человека, сидящего за рулем автомобиля в России, отправите, условно говоря, во Францию, то он будет вести себя по-другому.

Для нас важно, что существуют некие социальные ситуации с устойчивыми форматами событий. Поэтому на вопрос о том, что мы должны изучать, я мог бы ответить: прежде всего мы должны смотреть на некоторые устойчивые взаимосвязи событий, а уже во вторую очередь на то, какими мотивами или какими ценностями руководствуются их участники.

Добавлю к этому, казалось бы, противоречащее ранее сказанному. Я только что предлагал деперсонализировать социологию. Но в то же время необходимо вернуть в социологию человека. Мне представляется, что не единственной и, может быть, даже не главной, но очень существенной характеристикой поведения человека в наше время является эстетический характер этого поведения. Эстетический не в смысле художественный и не в смысле «любви к искусству», а в том смысле, который был известен еще до Канта, т.е. в смысле чувственного характера поведения. Грубо говоря, все

концепции человека или базовая антропология социологической теории человека, с которой мы имеем дело, предполагают так или иначе, что человек есть существо, во-первых, разумное, а во-вторых (говоря как заведующий кафедрой практической философии), практическая разумное. И, как разумное существо, он способен взвесить некоторые резоны, и даже если у него есть какие-то страсти, какие-то иррациональные предпочтения и интересы, он включит свой разум и примет, руководствуясь им, решение. Но мне-то, честно говоря, кажется, что человек в первую очередь существо чувственное.

Он откликается на некие импульсы, на некие соблазны, на нечто такое, что его привлекает. И при этом он не подвергает свои мотивы рефлексии, он — существо малорефлективное, малорассуждающее, причем не в силу каких-то страстей, или аффектов, или классовых интересов, а в силу чего-то иного, присущего ему от природы. Попробуйте поговорить с каким-нибудь человеком, попытайтесь кого-то хоть в чем-то убедить. Причем лучше — не из своего круга, где, в конечном счете, ваш оппонент может согласиться с вами не потому, что вы его убедили, а из вежливости. Попробуйте переубедить, к примеру, водителя машины, который вас подвозит. Вот он хочет высказать вам какую-то мысль (он думает, что это мысль), и вы начинаете с ним спорить, и пытаетесь ему, как интеллигентный человек, привести какие-то резоны. И вы вскоре непременно обнаружите, что существует некая абсолютная преграда между вами и тем предпочтением определенного характера поведения или определенной реакции на происходящее, которое он для себя выбрал. В конечном счете все упрется в «нравится — не нравится». И все ваши аргументы пройдут мимо него, не затрагивая, как косяк дождя. Вот это и есть та основа, на которой формируется и оказывается единственно возможной политика *ad hoc*, т.е. политика, которая ориентирована в первую очередь на получение эффекта через сиюминутные средства мобилизации, через сиюминутные — будем называть их так — «убеждения». Политика, лишенная стратегического измерения.

И поэтому тот гражданин, который все время мерещится нам на заднем плане наших рассуждений, т.е. некий разумный гражданин, который в идеальном обществе получает полную, добротню аргументированную информацию о программах партий, об их стратегии, размышляет, взвешивает и, наконец, совершает свой рациональный выбор, — это всего лишь наша абстракция. Ничего этого сегодня нет и, думаю, никогда больше не будет. Во всяком случае, у нас этого точно не будет никогда, имея в виду то обозримое время, в котором нам предстоит жить. Вместо этого будет политика как поле чувственной эстетической мобилизации сиюминутно важных поведенческих реакций и персональных решений граждан.

Вопрос в том, кто в таком случае будет формировать повестку дня политики. Будет ли это чисто стихийным процессом или процессом управляемым, в котором число значимых субъектов будет крайне ограничено? Думаю, более вероятно второе. Люди, которых спрашивают социологи, думают, что они заглядывают в «черный ящик». Но, с моей точки зрения, они просто являются трансляторами тех сигналов, которые к ним из него поступают. Я в этом смысле агностик, я не знаю, что творится внутри «черного ящика», но полагаю, что знаю, как он ведет себя во внешней среде. Во внешней среде он ведет себя в значительной степени по модели бессмертного Истона. То есть из него извергаются некие решения в обмен на поддержку, которую он получает из внешней среды; поддержка обеспечивается как раз за счет решений. А является ли такой «черный ящик» политической системой или чем-то другим — это уже опять из другой области понятий.

Ясно, что в данном случае вряд ли уместно говорить о реальной способности общества участвовать в политике. Да этого и вообще нигде нет. Потому что современная

модель политики была придумана, между прочим, тогда, когда не было никакой демократии. Был либерализм, а демократии не было. Движная модель была придумана для взаимодействия с высшими властями богатого образованного меньшинства. Потом в силу разных причин и специфического развития политики, в особенности в XX веке, права, которые раньше были только у образованного ищущего меньшинства, постепенно стали правами всего народа или всех тех, кто имеет права гражданства на данной территории. Естественно, это привело сначала к деградации политики, а затем в значительной степени к вырождению того, что называется демократическим процессом.

Больше всего это беспокоит, надо заметить, идеологов, потому что в такой ситуации они оказываются без работы. Идеологи никому не нужны — ведь средства мобилизации оказываются уже не идеологическими, а совсем другими, так сказать, технологическими. Востребованы лишь эффективные технологии воздействия на массы. Поэтому идеологи бесятся, а их аудитория сокращается до размеров того специфического общественного слоя, представители которого ментально близки ищущему образованному меньшинству, но по социальному положению являются немущими, по реальному образованию малообразованными, а по своему отношению к власти навсегда лишенными каких бы то ни было возможностей влиять на происходящее в ней процессы.

Притупление стратегической чувствительности нашей политической системы рано или поздно нам всем аукнется

Значит ли это, что вообще там, в сфере принятия политических решений, все наглухо закрыто и «они» творят что хотят, а здесь только вопли и больше ничего? Думаю, что это не так. Если бы вся жизнь во всех ее отношениях была чисто политической конструкцией, то так бы оно, конечно, и было. Но, например, если где-то что-то рухнет, падает, взрывается или затопляется, то это происходит независимо от того, хочет того политик или нет. Есть огромное количество вещей, которые прорываются внутрь этого, казалось бы, отрегулированного процесса, причем масштаб их воздействия бывает настолько велик, что нет никаких способов их замаскировать или с ними управиться. И любая *ad hoc* реактивность здесь не помогает, потому что происхождение такого рода неконтролируемых и нерегулируемых «случайностей» имеет стратегический характер.

Безусловно, надо признать, что наша псевдополитическая система («черный ящик») нашла некий весьма эффективный алгоритм превращения большинства этих неприятностей в усиление собственной власти (условно говоря, механизм МГЧС). Большинство, но не всех. Есть определенные события, а их называю абсолютными событиями, и их воздействие на политику чрезвычайно серьезно, оно влечет за собой изменение самой политики. Абсолютное событие — это в первую очередь то, которое невозможно произвольным образом переинтерпретировать. Как правило, оно связано с жизнью или смертью кого-либо, с прекращением существования человека.

Да, любое изменение в политике может быть элементом политической рутин, и тогда это не абсолютное событие: политическая система остается той же, только частично меняется персональный состав. Но изменение может, не дай бог, означать существенные пертурбации, и тогда это будет абсолютное событие, кардинально меняющее ход политического процесса. Кстати, если говорить о предстоящих в марте следующего года президентских выборах, то я считаю, что внутри нашей политической системы нет ровным счетом ничего такого, что не позволило бы ей на достаточном серьезный период пережить связанные с этим перемены в разряд рутинных событий. Но поскольку тем самым еще сильнее притупится восприимчивость системы

к внешним сигналам, то в перспективе она может окончательно потерять чувствительность к надвигающимся угрозам. Это все равно что пить обезболивающее лекарство, когда у вас что-то болит: будете чувствовать себя превосходно, а потом окажется, что вы проспали серьезную болезнь.

Нет никаких оснований сомневаться в том, что со временем притупление стратегической чувствительности нашей политической системы будет лишь прогрессировать. Вместе с тем по-прежнему будет полное отсутствие стратегической деятельности на тех направлениях, которые мы обозначили, и прежде всего — полное отсутствие даже намека на педагогическую работу по созданию солидарного сообщества. А это, конечно, рано или поздно всем нам аукнется.

Сегодня же следует признать эффективность и устойчивость сформировавшейся политической конструкции. Наш «черный ящик» успешно обеспечивает свою властную монополию, во многом — за счет грамотной политики рекрутирования и учета интересов всех ключевых сил. Например, ганшик, который берет взятки на дороге, вполне заинтересован в стабильности сложившегося режима. Зачем ему какой-то другой? То же самое, например, со школьными учителями. Тем более сейчас, когда в образовании пришли реальные деньги, и школьные учителя, директора точно так же сидят на денежных потоках. И никто с этим не будет бороться, потому что интересы корпорации никто под вопрос ставить не будет. Другое дело, что она себя не ощущает как корпорацию; это не корпорация для себя, а корпорация за себя, а солидарности от них, если их начнут сажать за взятки, ждать не приходится. Но и режим не заинтересован в том, чтобы радикально менять ситуацию. Его «говорящие головы» могут декларировать что угодно. Но у социальных групп, составляющих его основу, должна быть возможность кормления. Те же, кому это не нравится, кто чувствует, что их интересы похищаются, — не просто меньшинство, а дисперсное меньшинство. Они не составляют компактной группы, мобилизация которой могла бы дать какие-то результаты.

По сути дела, все те тенденции, которые мы наблюдали в нашем обществе за последние полтора-два десятка лет, — атомизация, разрыв социальных связей, разложение устойчивых прежде социальных общностей — все это нашло достаточно последовательное логичное воплощение в той системе власти, которая у нас сформировалась. Только я не считаю, что она была сознательно выстроена неким стратегом с самого начала. Впрочем, откуда мы можем это знать? Быть может, где-то там и сидел какой-то гениальный мыслительный спрут. Главное, что она сформировалась такой, какая она есть, и ее социально-политическая эффективность на коротких отрезках убедительно подтверждена; не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы видеть, насколько здорово «они» справляются со своими проблемами. И персоналистская конструкция, о которой убедительно написал Михаил Краснов, как бы венчает всю эту систему, будучи для нее органичной.

Вместе с тем думать ее устойчивости вряд ли стоит преувеличивать. Вполне очевидные факторы, стратегически ее дестабилизирующие.

Во-первых, это полная неясность в отношении антропологического ресурса. Мы не знаем, сколько еще возможно будет эффективно управлять людьми, увлекая и соблазна их приятным, отвлекающим, занимательным. Возможен ли новый частичный возврат к рациональной или идеологической мотивации, в силу, например, ограниченности эстетического ресурса. Сохраняются ли некие рудименты идеологических конструкций, когда-то обнаруживших большую мобилизационную пригодность — в том числе нацистские идеи этнического или расового превосходства. Никто из политиков-практиков не решится сегодня жить на вооружение эти идеи во всей их цельности, но что, если использовать какой-то их кусочек? Он же когда-то работал, а вдруг

и сейчас работает? Например, натравливать тех, кто относится к одному этносу, на тех, кто относится к другому. Опасность же заключается в том, что это — не съезмай блок: засунул — вынул. Его использование приведет к необратимым переизменениям. Раз, и уже вместо эстетического человека, который способен прекрасно сочетать ненависть к другим этносам с использованием плодов их цивилизаций (например, на отдыхе), мы получаем человека идеологического, который не тем плох, что идеологически зашорен, а тем, что его вообще невозможно подвинуть ни на какие тактически выгодные уступки никакими доволнительными соблазнами.

Во-вторых, велика вероятность истощения антропологического ресурса в смысле мобилизационной мотивации. Вы рассчитываете на человеческую энергетику, но люди могут сказать: мы устали, мы больше ничего не хотим, мы даже ваш телевизор проклятый смотреть не будем, мы перегружены вашими технологиями управления до отвращения. Это как если человеку его любимое сладкое давать килограммами. Политические последствия такой пресыщенности очевидны. Вы рассчитываете на свою способность мобилизовать определенное количество людей на совершенно бессмысленную, но политически значимую для вас акцию. Но в самых неожиданных ситуациях вдруг могут отказать надежно проверенные способы мобилизации. Как у Пушкина в «Годунове»: все вроде бы сработало по технологии и абсолютно грамотно, а народ безмолвствует.

Наконец, есть такой немаловажный аспект проблемы, как понижение качества решений. В принципе всем был бы хорош отказ от демократии, если бы работала модель квалифицированной рациональной бюрократии. Но способы ее рекрутирования при нынешнем раскладе, скажем так, сильно отличаются от способов рекрутирования, мобилизации и мотивирования, формирующих рациональную бюрократию. Абсолютная невозможность что-либо изменить в персональном или компетентностном составе чиновничества чувствуется сейчас довольно остро; в ряде случаев принимаются решения, которые, мягко говоря, могли быть и лучше. Поясню опять же на примере. Допустим, есть 13 способов доставки груза, среди которых один наилучший, четыре хороших, пять плохих, а оставшиеся три совсем неудачны. Так у нас сегодня будут выбраны самые плохие. Это не значит, что груз вообще не будет доставлен, но он будет доставлен, мягко говоря, не наилучшим способом. И поскольку «Титаник» у нас здоровенный, то дело может продолжаться довольно долго, и весь ужас состоит в том, что лишь в ходе катастрофы выяснится: капитана следовало бы отстранить еще до отправления из порта. Но судью к тому времени уже будет идти ко дну.

Если продолжать эту аналогию, то айсберг может возникнуть на нашем пути откуда угодно, хоть из космоса. Важно лишь то, что у нас в обозримом будущем резко повышается предрасположенность к новой национальной катастрофе. Вот, к примеру, нынешняя организация системы образования. Любой нормальный социолог, который когда-либо интересовался этими проблемами, глядя на то, сколько у нас заведений, дающих высшее образование, понимает: мина уже, собственно, заложена, и не только заложена, но и шнур горит уже довольно давно. Такого количества высших учебных заведений в стране, да еще и с привилегиями, которые предоставляются студенчеству, нельзя было допускать ни в коем случае. Какими бы политическими резонами это ни диктовалось.

Как человек, знающий немножко о высшем образовании, я могу сказать, что здесь — одна из предпосылок возможной катастрофы. Подчеркну — не плохое качество образования, а количественный избыток высших учебных заведений со всеми их возможностями, привилегиями и выпускниками, получающими дипломы о якобы высшем образовании. И с возможностью совершенно легально уходить от армейской службы для огромного количества людей, которые кричат, что они интеллектуальный

потенциал нации. При том, что учатся в каком-нибудь заборостроительном институте и потом выходят оттуда с безумными претензиями на определенный рода работу и зарплату.

Взрывоопасность этой ситуации можно проследить по целому ряду направлений. К примеру, мы уже наблюдаем клинч между военными и «образованцами» (я имею в виду тех, кто отвечает за образование) во власти — при том, что обе стороны принадлежат к одному и тому же «черному ящику». Мы не знаем, как в образовании получилось то, что получилось, и мы не знаем ничего о том, как устроен силовой блок. Мы ни в том, ни в другом случае ничего не знаем о механизмах принятия и реализации политических решений. Поэтому мы можем говорить только о внешней стороне происходящего, когда «говорящая голова» с одной стороны кричит о недопустимости ставить в строй весь интеллектуальный потенциал нации, а «говорящая голова» с другой стороны отвечает, что не хзаетает народа, чтобы расставить хотя бы по периметру границы. И намекает, что хорошо бы в суперсовременный танк посадить выпускника юридического факультета, потому что других у нас нет: кто же лучше справится с танком, чем юрист, экономист, в крайнем случае менеджер? К тому же никого другого по всей стране уже практически и не выпускают.

Я утверждаю, но смысл сказанного состоит в следующем. Понятно, что налицо именно внутренний конфликт во власти, который замаскирован всякими странными словами. Понятно, что система высшего образования — это система производства претензий, т.е. производства людей с определенного рода притязаниями, заведомо не реализуемыми и потому взрывоопасными. Понятно, что и система присуждения ученых степеней есть система производства людей с притязаниями. Громадное количество кандидатов и докторов наук бродит по стране и спрашивает: где то, ради чего, собственно, мы все это делали? Зачем мы столько лет платили взятки, еще раз платили взятки, потом через некоторое время опять платили и находили людей для того, чтобы они нам написали курсовые, дипломы, кандидатские диссертации, докторские диссертации, членом совета платили — зачем мы все это делали? Зачем? И если с кандидатами и докторами, несмотря на их чудовищный избыток, все как-то, может быть, и утрясается, то что происходит на просторах страны с людьми, имеющими всего лишь диплом о высшем образовании, мне страшно подумать.

Сегодняшние меры по сокращению числа вузов, госфинансирования, сокращению времени, затрачиваемого на образование, Болонская система — все это вещи правильные. Плохо то, что кое-чего нельзя было вообще допускать, а кое-что надо было сделать десять лет назад. И что теперь делать с теми, кого десять лет производили в таких диких количествах, никто не знает. Они теперь навсегда, на всю жизнь останутся людьми с высшим образованием, вусильшими некой соблазн и потом неизвестно во что уткнувшимися.

И это — лишь один из примеров того, к чему ведет и куда может завести реактивная политика. Сама же такая политика — закономерный продукт определенного рода системы, в которой нет ни одной инстанции, достаточно компетентной, чтобы оценить стратегические социальные последствия принимаемых решений.

**«БУДУЩЕЕ КАЖДЫЙ РАЗ ИДЕТ В ИНУЮ,
НЕЖЕЛИ БЫЛО ПРЕДСКАЗАНО,
СТОРОНУ»**

Скажу сразу: я не очень верю в прогнозирование социальных процессов. Думаю, что они во многих отношениях просто непознаваемы, а следовательно, и непредсказуемы. Конечно, определенное предвидение будущих событий возможно, «пережимать» здесь не стоит, но большинство значимых событий истории заранее предвидеть нельзя. Однако практически все участники нашей дискуссии так или иначе пытаются спрогнозировать будущее. Это вообще характерная черта российского социального дискурса. В нашем обществе принято рассуждать о том, что было, что есть и что будет: было так, сейчас вот эдак, а будет таким вот образом. То есть все полагают, что знают, как было, как есть и как будет. А я вот не знаю. Я не знаю, как было, как есть и как будет. Это не конитство, не игра в агностицизм, я просто исхожу из того, что даже прошлое мы — профессионалы — знаем плохо, что и выясняется каждый раз, когда доходит до дела. А настоящее, не говоря уже о будущем, еще хуже.

Давно известно, что современники обычно не в состоянии понять существа происшедшего. Кто мог догадаться в 1913 году о том, что случится через четыре года в России? Да никто, ни один человек. А кто предвидел в 1983-м события, происшедшие в 1986-м или в 1989-м? Тем не менее многие участники дискуссии точно знают, что будет. Но ведь каждый день, буквально каждый рождаются новые явления, происходят новые события, которые порождают новую реальность, а потому возможность экстраполяции нашего старого опыта крайне ограничена. Нельзя экстраполировать прошлое на будущее. И настоящее тоже, даже если человек считает, что он его знает.

Речь идет не только об особенностях «русского» будущего, но и любого другого. Будущее обычно идет совершенно в иную, нежели было предсказано, сторону. Разумеется, есть коридор возможностей, но — тем не менее...

Это — своего рода преамбула, поясняющая мои умонастроения, сформировавшиеся на основании анализа социального опыта, который подсказывает, что история нас каждый раз обманывает, даже если мы, казалось бы, внимательно и профессионально отслеживаем ее повороты. Имею в виду не только себя лично, но и гораздо более просвещенных, умных, глубоких людей. Я десятилетия профессионально занимаюсь историей русской мысли и могу сказать: на самом деле она ничему научить не может. Была группа гениальных мыслителей, ими был сформулирован ряд гениальных идей и догадок. Но можем ли мы сегодня утверждать, что у нас есть интеллектуальное наследие, позволяющее нам ясно понимать существо настоящего и будущего? Не знаю, не уверен. И это, повторю, касается не только России.

О методологических трудностях изучения истории и прогнозирования социальных процессов

Конечно, любые теоретические модели, претендующие на описание истории, стремятся выявить в ней некие инварианты, что является необходимым элементом любого мысленного эксперимента. Но я не склонен сейчас углубляться в столь заоблачные теоретические сферы, а хочу поговорить о методологических трудностях изучения истории. К примеру: мы знаем, какую громадную роль в русской жизни XX века сыграли большевики, они попросту изменили нашу историческую траекторию. Но в реальной ситуации того времени большевики представляли собой ничтожнейшую часть русского общества и играли в его движении столь же ничтожнейшую роль. Так как же все это описывать? Исходя из «картинки» начала века или всего века? В обоих случаях мы оказываемся в противоречивом положении. Действительно, с одной стороны, эти полууголовные-полуобразованные типы для будущего XX века в России и во всем мире были в сто раз важнее, чем все прочие российские политики-интеллектуалы, а малоразумительные писания их вождя — важнее, чем все дискуссии кадетов-октябристов относительно того, какой быть русской конституции или Государственной думе. С другой стороны, в начале столетия они ведь и в самом деле были маргиналами, ни на что не влияющими...

Это так же, как в 1920 году в Германии, где в Национал-социалистической рабочей партии, в которую вступил Гитлер, было семь или восемь человек. А вместе с тем в Германии в тот момент были огромные партии — католическая партия центра, социал-демократическая и другие. Оказалось, однако, что история нацистской партии для ближайшего будущего человечества важнее, чем судьба СДПГ. Но нельзя же, описывая историю Веймарской республики, сводить ее к деятельности национал-социалистов!

Что отсюда следует? Отсюда следует, что, изучая историю, следует, во-первых, постоянно менять оптику наблюдения, а во-вторых, использовать — в зависимости от масштабов и задач исследования — различные исследовательские инструменты. И это касается анализа не только прошлого, но и будущего. Ведь когда мы о нем задумываемся, мы все равно, хотим того или не хотим, исходим из настоящего и того, в какой мере настоящее обусловлено прошлым.

При этом нужно очень осторожно относиться к претензиям науки на выявление неких универсальных «исторических закономерностей». Особенно если речь идет о науках негуманитарных. Скажем, с точки зрения теории бифуркации некое течение событий приводит к особой сингулярной точке, в которой малые возмущения оказываются принципиально существенными для определения будущей траектории движения системы в целом. Я, как и многие другие исследователи, пользовался этой терминологией, формулируя (вместе с А. Фурсовым) представления о Русской Системе и Русской Власти. Однако все эти метафоры, взятые из других наук (не наук о человеке), имеют весьма ограниченную и довольно сомнительную, условную ценность. Развивающаяся Пригожинским методом не учитывает самого главного: в позвятиях хаоса и бифуркации он описывал мир, где нет свободы воли. Но человеческая история тем и отличается от прочего, что главная тема в ней — свобода воли.

С детства и по сегодняшний день я твердо знаю — все решает именно свобода воли. 25 октября 1917 года история могла пойти совершенно по другому пути. В ноябре 1918-го в Берлине генерал Людекдорф лег за пулеметы и остановил немецких большевиков, в результате чего немецкая революция пошла по социал-демократическому, а не большевистскому варианту. В октябре 1941 года немцы могли взять Москву, и история сложилась бы иначе. Свобода воли — это то, как люди поведут себя в данный момент, напрягутся или не напрягутся, решатся умирать и стоять до конца или не ре-

шатся. В истории нет железных закономерностей. И чем больше я живу, чем больше читаю и думаю, тем яснее вижу, что история — это результат каждадневного людского делаия. И тем сложнее наша ситуация — ситуация людей, пытающихся осмыслить историю в ее прошлом, настоящем и возможном будущем состоянии.

Я долгое время не мог понять Карла Ясперса, который в одной из своих книг писал, что историк должен очень деликатно обращаться с фактами и всегда исходить из презумпции, что есть тайна истории. При этом Ясперс — глубокий и серьезный философ. Тайна истории — это, конечно, метафора, но смысл ее в том, что огромная часть наблюдаемой нами исторической действительности не поддается строгому осмыслению — возможности исторической науки имеют свои ограничения. Конечно, у человечества есть другие способы познания. Виктор Шкловский когда-то сказал: нет правды о цветах, но есть наука ботаника. Первое впечатление: Шкловский — гений. Однако правда о цветах все-таки есть, почитайте Афанасия Фета. Или Льва Николаевича Толстого: в «Войне и мире» есть правда и о цветах, и о многом другом. Но это — не наука. Оставаясь же в рамках научного подхода к истории, мы должны помнить об ограниченности его возможностей. Прогностический же его потенциал и того меньше, причем несопоставимо.

Поэтому я не то что бы скептически, но с некоторым недоверием отношусь к коллегам, рисующим страшный мир будущего, как делает, например, Михаил Юрьев — яркий, талантливейший, видимо, человек. То, что он предвосхищает, может быть, случится, а может быть, нет. Я не знаю. И я абсолютно равнодушен к такого рода размышлениям. К этому склоняет меня мой жизненный опыт.

О национальной политической традиции

Вернемся теперь к основной теме дискуссии. Сегодняшняя российская государственность в полной мере традиционна, как и французская, польская, немецкая, итальянская и любая другая. Даже украинская государственность — такая, как она есть (если она есть), — тоже традиционная. И российская государственность в этом смысле ничем от прочих не отличается. А у большинства участников нашей дискуссии я вижу совсем другое — стремление во что бы то ни стало подчеркнуть как новизну постсоветской государственности, так и ее производность от западных образцов. Особо обе эти позиции.

Во-первых, я в нашей сегодняшней государственности ничего принципиально нового не вижу, о чем еще скажу. А во-вторых, бывая в Париже, я ни разу не слышал вопроса: господин Пивоваров, а что в нашей французской политической культуре и государственности вы видите заимствованного, усвоенного из русского опыта? И какое русское влияние на ниневисаксонскую государственность в Ганновере вы могли бы отметить? Меня ниниво на Западе никогда о подобном не спрашивали.

Почему же у нас возникают вопросы о том, откуда и что мы заимствовали? Я, конечно, отчасти здесь лицемерно и лукавлю, поскольку знаю причину их возникновения. И тем не менее настаиваю на том, что сама постановка такого рода вопросов уже задает некий идеологический камертон. Она предполагает, как нечто самоочевидное, производность нашего государственного развития от зарубежных моделей. И даже такой тонкий юрист, как Михаил Краснов, говоря о нашей Конституции, опять указывает в качестве образцов ее конструирования и источников заимствований на другие, западные конституции — американскую, французскую... Но верен ли такой подход? Что заимствуется: чужое содержание или всего лишь чужая форма для своего содержания?

Традиция российской политической мысли и политической практики весьма своеобразна. Важным элементом этой традиции оказывается использование заимствованных западных форм в качестве своего рода «приказа». Даже советская государствен-

ность казалось бы в наибольшей степени оригинальная и «самобытная», противостоящая западным образцам (прежде всего «самобытна» сама идея Советов, хотя и она возникла не спонтанно, а, как отмечал евангелист Н. Алексеев, разрабатывалась по крайней мере еще М. Сперанским), — даже она была одета в этот западный «прищип».

Таково коренное своеобразие нашей политической традиции. Русская политическая мысль «сидит на игле» политической мысли Запада. Все русские идеологические течения рождаются по одному и тому же алгоритму: появляется на Западе романтизм и историческая школа права — у нас рождается славянофильство, появляется там какое-нибудь значимое идейное течение — у нас рождается его своеобразно перетолкованный аналог... То есть в основе того, что русские придумывают сами, обнаруживается идейная инъекция с Запада. Была, скажем, инъекция марксизма, и — появляется Ульянов, одевающийся в марксистские одежды нечто совсем не западные. Примеров множество, они известны. Русская государственность давным-давно развивается именно таким образом, что повелось еще задолго до Петра. Причем это — не инстинкт и не случайность, а всегда осознанный выбор. Известно, например, что Соборное уложение 1649 года сознательно делалось с учетом польско-литовских статутов. Да и Лжедмитрий I не случайно привнес в Московию западные формы. И даже Иван Грозный был во многих отношениях «западник». Но все эти чужие костюмы не мешали русскому государству оставаться русским, в своей сути ничего общего с западными образцами не имеющим.

Учитывая данную традицию, необходимо заканчивать истерику по поводу новой государственности и новых институциональных форм. Ничего принципиально нового в стране не возникло и не предвидится. О каком «перечерчении государства» (формула Александра Ауэва) может идти речь? Это примерно то же самое, как если бы человек, которому 75 лет, проснулся и решил: начинаю жизнь заново. Правда, сейчас очень модно молотиться в 75 лет, но моя мысль, надеюсь, понятна. У русской культуры и русского государства за плечами больше тысячи лет существования. Давным-давно сформировались их фундаментальные «параметры». Как митрополит Иларион в середине XI века в своем «Слове о законе и благодати» говорил о Правде, так с тех пор тема Правды в илларионовском смысле уже почти тысячу лет превалирует в российский политическом дискурсе. А все последующие заимствования — это «прищип».

Каково же содержание русской власти при любых ее формах? Идеалистически она есть *власть массовая*. Меня часто критикуют за отрицание наличия в ней договорных, конвенциональных начал. Но я говорю именно об идеальном типе русской власти; в реальной жизни и договоров, и конвенций навалом, и еще В. Ключевский замечательно все это описал. Если же считать, что переговоры — эссенция европейской власти, с чем я соглашусь (в свое время диссертацию написал на эту тему на немецком материале, не самом лучшем в данном отношении), то эссенцией русской власти, безусловно, всегда было и по-прежнему является *насилие*.

О русском праве

А теперь — о праве. С моей точки зрения, эта тема ключевая. Но она именно потому и недоисследована русской мыслью, что русские до сих пор не догадались, что у них — свое, особенное право. Впрочем, тот же Н. Карамзин говорил в своей «Записке о древней и новой России» в начале XIX века: не шлите законы и процедуры в римском праве, поройтесь лучше в собственной истории. Но его призыв не был услышан.

Между тем именно этим как раз и занималась в начале XIX века школа исторического права в Германии. В то время немцы искали свой особый путь (как это делаем мы сегодня), они тогда тоже не хотели считать себя европейцами, признавать безальтернативность римской правовой традиции. Зачем, мол, нам это римское право, когда у нас

есть свое, германское? Но поиски истоков германского права в немецкой истории успехом не увенчались; более того, в определенном смысле поздней репликой этих тенденций оказались впоследствии Гитлер и нацизм. Но, вместе с тем, разве правовые системы Англии и Соединенных Штатов Америки только на римском праве построены? Нет, в их основе common law, общее право, прецедентное право, когда судья сам творит практику правосудия, опираясь на национальную правовую традицию.

Так вот, в России тоже есть своя правовая традиция. Правда, с эпохи Петра Великого она «вписана» в систему европейской континентального права, которая господствует от города Бреста (что в Бретани) до города Токио. Это, конечно, такой же «прикид», неорганичной сущности русской традиции, как и все остальное, но к нему мы уже привыкли — несмотря на то, что почти для всех очевидно его неработоспособность в российских условиях. Владимир Пастухов в «Полисе» (2007, № 3) опубликовал прекрасную статью о двух системах права, сосуществующих в современной России. Одна — официальная, включающая все эти конституции, законы и так далее, по которым никто не живет; она нужна лишь для внешнего вида, для фасада, рекламы. Другая же формируется мелкими ведомственными актами, подзаконными документами, которые чиновник средней руки использует как хочет (хоть, посажу, а хоть — не посажу, хоть, влятку возьму, а хоть — не возьму). Но я веду речь о несколько ином праве. О том, что в русской исторической жизни были свои правовые институты, которые лежали в основе русского общества.

Во-первых, хочу напомнить о судах присяжных, которые возникли в России не после судебной реформы 1864 года, но еще в XVI веке существовали их прообразы — губные суды с губными старостами. Да, устойчивой традиции на их основе не сложилось. Но они были. Во-вторых, существовало право, которое, как почти все здесь, порождалось властью. Так было, и так есть. Когда меня спрашивают об изменениях в современной русской цивилизации, я отвечаю, что все изменялось, но только сама она осталась властocентричной. Я придумал этот термин для своего собственного упорствования: европейская цивилизация антропоцентричная, человекоцентричная. А наша — властocентричная. Итак, русское право — это право, которое порождается властью. И смысл его — обслуживание властью самой себя, своих собственных нужд. Заддадимся вопросом: какое право в России главное? По моему мнению, крепостное, право закрепощения людей. Но зачем оно? И почему именно оно?

Все просто и обусловлено потребностями прагматической жизни. Еще в конце XV века Ивану III понадобилась большая армия, которая не отставившись бы, как презаные русские дружины, в крепостях, а могла бы оперативно контролировать пространства большого государства. Тогда для этого нужна была конница, нужно было создать сословие конников. За неизменным достаточным количеством денег на его содержание, решение нашли в условном земледелии и в содании на его основе дворянского сословия. Поэтому первое сословие, которое возникло в России (со всеми его обязанностями), было сословие дворян. Его-то первым и закрепостили, т.е. заставили служить и лишили права выбора. Только государева служба, и все. Потом, когда крестьяне, не желая работать на старых и новых хозяев, стали разбегаться, закрепостили крестьян. Затем очередь дошла и до горожан: Соборное уложение 1649 года закрепостило посадских людей.

Так крепостное право постепенно закреплялось в законах. В рамках возникших своего рода крепостных корпораций ее членам полагались особые обязанности. Но при этом русское право никогда, даже по своей интенции, не предполагало свободу. Оно наделяло обязанностями, но не давало прав.

Так что еще раз: русское право с самого своего начала — крепостное, запретительное, «обязывающее». И порожденное властью. Что касается прав и свобод, то это такой же «прикид», как и разделение властей, борьба партий и многое другое.

О русской собственности

Я подчеркиваю: суть власти в России всегда была неизменной, а право как было орудием в руках власти, так им и осталось. На этой основе формировалась и русская собственность. Где и на что возникает право частной собственности? Не роясь в исторических даях каменного века, укажу на Европу, на ее сферу земельных отношений. Народу было много, а земли мало. Частная собственность стала решением этой проблемы.

В России же была обратная ситуация. Земли — много, народу мало. В частной собственности на землю просто не было надобности. В русской истории тема собственности вообще не играла большой роли. Когда же всерьез возник вопрос о собственности в России? С появлением перенаселения в условиях передельной общины, ставшего результатом прежде всего демографического взрыва, т.е. ко второй половине XIX века. Вот тут и пришла потребность в праве собственности на землю, появились реформаторы — Витте, Столыпин, надо было принимать жесткие политические решения. Столыпин предложил: хотят выйти из общины — пусть выходят, земли не хватает — пусть едут в Сибирь, целину осваивают. Но чем все это закончилось? Столыпина убили, потом война началась, а в 1917–1918 годах произошло важнейшее событие русской истории — общинная революция: община соарила всех этих собственников, всех, кто покусился на основы Русской Власти.

Я не пытаюсь судить, плохо это или хорошо, я не оцениваю. Субъективно мне община нравится, я считаю, что эсеры в идеале были правы, я сторонник Чапнова, Кондратьева, славянофилов, настаивавших на необходимости развития форм русской социальности. Василий Белов неплохо описал это в романе «Кануны», показав с любовью и, думаю, достаточно аутентично вологодскую деревню, — каким живым, способным к саморазвитию организмом была община в период, когда помещиков уже не стало, а коммунисты еще до нее не добрались.

Но тага к собственности, видимо, заключена в социальной природе человека. Скажем: мой отец имел нечто, что я тоже хочу иметь и не хочу отдавать другому. Это, если угодно, тема трансляции имущества. Один мудрый человек говорил мне еще в 1970-е годы: коммунизм, советская власть неизбежно и скоро падут потому, что они лишены двух центральных оснований любой жизнеспособной политической системы, любой культуры, любой цивилизации — правильной трансляции власти и правильной трансляции собственности. Он говорил мне: посмотри, директор завода в Тольятти, Каданников, все сделал для этого завода как, по сути, его владелец, но, когда он умрет, все достанется не его сыну или племяннику, а какому-то новому начальнику. И поэтому рано или поздно произойдет революция «зрелых директоров», которые захотят все это приватизировать. Здесь — слабое место коммунистической доктрины: она утверждала, что будет общенародная собственность, но не учла, что управляющие общенародной собственностью в конце концов решатся на ее приватизацию.

Однако мы знаем и то, что из этого получилось. Не могла возникнуть частная собственность в стране, в которой ее никогда не было. А прежде в России не возникало частной собственности именно потому, что изначально она не возникла как собственность поземельная. Чему, помимо упомянутой, была и еще одна причина, а именно — скудость ресурсов на огромных пространствах. Об этом многие писали, и я не хочу повторяться. Упомяну лишь академика Леонида Милова, историка, автора книги о «великорусском пахаре», описавшего первую в истории человечества попытку построить культуру и цивилизацию в северных скудных широтах. Милов показывает, что здесь просто не оставалось прибавочного продукта, и злука была регулирующая инстанция, та самая власть, которая, как верхонный собственник, распределяла бы имеющиеся скудные ресурсы («карточная система»). И что бы ни говорили сторонни-

ки рыночной экономики и либеральных преобразований, я убежден в закономерности распределительной системы в подобных условиях.

Как возможен свободный рынок при такой географии и таком климате? Ведь понимали же, скажем, Витте с Александром III, что, построив железную дорогу из Варшавы до Владивостока, билеты на поезд по ней по рыночной цене продавать нельзя. Так что обсуждая сегодня вопрос о нашей нынешней государственности, не следует забывать о традиции, которую она унаследовала, и причинах, обусловивших формирование самой традиции.

У нас власть и собственность неразделимо связаны. Исторически то, что мы называем властью, всегда контролировало то, что мы называем собственностью. Были периоды, когда они отчасти расходились. Для меня борьба «Путин — Ходорковский» — это борьба «Путин-власть — Ходорковский-собственность». Это борьба, в которой обе стороны играли вполне традиционные роли. И власть, как ей и положено в России, показала, кто здесь есть кто. Или, в терминах Русской Системы, что здесь есть субстанция, а что — функция. По сей день Система эта воспроизводится практически в каждом фрагменте нашей жизни. То, что я называю Русской Системой, мой любимый философ С. Франк называл «Мы — мировоззрение», которое пронизывает каждую клеточку нашего бытия. Поэтому и те самые «красные директора», и те самые Чубайсы и Гайдары не смогли развернуть Россию на иной путь.

Это, безусловно, не значит, что все происходит «автоматически», я настаиваю на наличии свободы воли, но тысячелетняя традиция задает навык и коридор возможностей. Поэтому люди, которые приватизировали в начале 1990-х годов бывшее имущество Советского Союза и вроде бы создавали частную собственность, создавали ее по своему, привычному им образу и подобию, будучи сами носителями «русского» начала. Мы все — Русская Система, в которой неразличимость власти и собственности — норма.

Переход к «властной плазме»

Классическая Русская Система в ее самодержавной форме умерла в 1917 году. И возникло то, что мы с А. Фурсовым назвали «властепопуляцией». Это — когда у власти оказывается именно популяция, когда «кухарка управляет государством», когда торжествует принцип «мы», т.е. принцип насилия всех над каждым. Но в начале 1990-х и «властепопуляция» приходит конец. Русская Система снова трансформируется, порождая «властную плазму».

Этот термин мне «подсказал» уже упоминавшийся в ходе дискуссии Ральф Дарендорф, известный немецкий и британский социолог и политолог. Создавая теорию социального конфликта (во многом в противовес марксизму), он утверждал: внимание следует концентрировать не на причинах, а на формах конфликта. Ни в коем случае вообще нельзя посягать на причины конфликтов, так как они суть одна из форм существования общества. Конфликты должны сохраняться. Но поскольку они все же опасны для социальной стабильности и устойчивости, их необходимо поместить в некую среду, которая не поглотит их окончательно, но минимизирует разрушительную силу. Среда, где конфликты локализируются и перестают носить интенсивный характер. Основной элемент этой среды или «социальной плазмы» — обширный средний класс. Главные характеристики — сохранение определенного социального неравенства, наличие различных интересов и воззрений. Важнейшие организационные принципы — институты и процедуры по урегулированию конфликтов, явные правила игры для всех.

В известном смысле, современная Россия столкнулась со схожими проблемами, т.е. такими, которые вызывают необходимость «социальной инженерии» дарендорф-

ского типа. Если коммунистический режим был ориентирован на уничтожение причин конфликта (хотя, как мы знаем, на последней стадии своей эволюции был вынужден смириться с фактом их неизбежности), то нынешний уже не может и не хочет бороться с конфликтами как таковыми. Он вынужден существовать в условиях острейших общественных противоречий. И потому обязан их минимизировать.

Путинские новации («партия власти» и управляемая партийная система в целом, так называемое укрепление властной вертикали, ослабление полномочий субъектов Федерации и многое другое, что хорошо известно) и есть создание русской «плазмы», в которой конфликты будут протекать, но не разрушать общество. Только если на Западе эта плазма — социальная, то здесь — властная. На смену «властопопуляции» приходит «властная плазма». «Властопопуляция», о чем я не раз писал, была сочетанием абсолютной власти и абсолютного беспредела, что строилось на принципах бесконфликтности и превентивного уничтожения причин конфликтов. «Властная плазма» есть принятие конфликта вовнутрь, в себя, где происходит его внутреннее сгорание и, одновременно, энергетическая подпитка.

Но если «социальная плазма» функционирует, как уже отмечалось, с помощью четких процедур и обязательных для всех правил игры, то «властная плазма» строится на основе *коррупции*. Именно коррупционный механизм, механизм передела финансовых и материальных средств является важнейшим измерением «властной плазмы». В определенном смысле коррупция и есть плазма, в которой протекают конфликты-переделы. Коррупция — это среда, в которой разевается себя в пространстве и времени «государство».

Наша «властная плазма» — нечто необычное для Русской Системы: впервые в отечественной истории на уровне власти произошел отказ от стремления к бесконфликтности. И Ельцин, и Путин согласились с тем, что конфликт в обществе неизбежен и «преодолевать» его не нужно. Но необходимо создавать возможности регулирования. Формируется многочисленный властвующий слой людей, пришедший на смену номенклатуре. Он по своему назначению — быть стабилизатором социума — аналог западного среднего класса.

Трудно сказать, есть ли у этой «властной плазмы» предел роста и каков он. Я когда-то выдвинул идею, согласно которой Русская Система способна справиться лишь с определенным количеством вещественной, материальной субстанции, накопленной в обществе, т.е. в состоянии ее перемолоть и освоить. Это близко к тому, что Симон Кордонский говорит о ресурсах. Но я имел в виду прежние формы Русской Системы. А каков основной ресурс «властной плазмы»? Ее ресурс — это монопольное право на посредничество в бесконечном ежедневном переделе ресурсов разнообразными агентами нашего общества. А побочным следствием здесь оказывается вся прочая деятельность, в том числе и та, что традиционно именывается государственным органом.

Правда, в Русской Системе такое наблюдалось и раньше. Например, что такое в России строительство дома? Это способ «попилить», освоить какой-то ресурс, какие-то деньги, а побочным результатом может оказаться построенный новый дом. А может и не оказаться (долгострой). Или дом будет построен, но окажется плохим. Иными словами, в России производство есть именно *побочный* продукт деятельности, к производству прямого отношения не имеющей. Вот боролись с американской гегемонией, и вдруг неожиданно в 1970-х годах у нас появляется электронный. Ничего похожего на то, как она развивалась на Западе или в Японии. Для чего создали ИНИОН в 1970-х? Потому что испугались 1968 года и решили: пусть лучше интеллигенция книжки полузапрещенные будет читать, чем о свободе думать. Пусть также, как С. Аверинцев и Г. Далиженский, пишут рефераты и делают переводы. А в качестве побочного результата возникла общественная наука в СССР.

И так, повторяю, происходило всегда. Чем, например, был ИЭП? Изучая его историю, обнаруживаешь, что за всеми наиболее интересными изобретениями проекта стояли чекисты и партийные работники, которые отмыкали свои деньги, награбленные во время революции. Однако возле всего этого кормилась российская культура 1920-х годов. «Властная плазма» в данном отношении ничего не изменила, но она, похоже, превращает доминировавшую тенденцию в норму.

Не могу не добавить еще один штрих к образу этой «властной плазмы». Я имею в виду интереснейшую тему преемничества власти. Вообще эта тема антиконституционна. Ведь по Основному Закону президента выбирают. Однако общество смирилось с идеей, что нынешний президент «выберет» для нас будущего президента. Его принято называть преемником. Но вот 29 мая 2007 года доктор исторических наук Андрей Юрьевич Шутов на заседании диссертационного совета факультета государственного управления МГУ сказал: речь следует вести не о преемниках, а о сменщиках. Он очень верное слово нашел, за это А. Шутову памятник надо поставить. Преемник — это терминология чрезмерно высокая, архаическая и юридическая. А здесь — рабочие будни, для которых более подходит адекватный технический термин: не преемник, но сменщик. От «высокого стиля» Русская Система, обретя форму «властной плазмы», переходит к прозе...

**«СТОИЛО БЫ ДОГОВОРИТЬСЯ
О ПРЕЗУМПЦИЯХ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Обратившись в своей статье «Фитален ли персоналистский режим в России?» не только к конституционно-правовому аспекту темы, но и затронув вопрос о том, насколько «объективен» для нас такой режим и может ли в России вообще быть иная государственная конструкция, кроме моносубъективной, я сознавал, что выхожу из сугубо юридической сферы. Поэтому лишню с моей стороны было бы ждать, что обсуждение пойдет исключительно вокруг правильности или неправильности проведенного институционального анализа и вытекающих из него выводов.

И все же, будучи конституционалистом — не только в политическом, но и в профессиональном смысле, т.е. зарабатывающим на хлеб насущный исследованием и преподаванием конституционного права, — должен отметить странность самого предмета дискуссии: какая государственность органична для России. Странность в том, что у России есть Конституция, которая уже определила модель государственности в статье 1, провозгласив страну демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления, а в статьях 7 и 14 — государством социальным и светским. Так что, иронизируя по поводу того, что я «воспел преодоление персоналистской организации власти в России во имя торжества демократии» и выложил как «верующий, коленипреклоненно возносящий гимны сакрализованному объекту культа», Дмитрий Володихин, отрекомендовавшийся консерватором, посмеялся на самом деле не над моим либерализмом, а, скорее, над «юридическим кретинизмом». Так обычно сами юристы именуют тех своих коллег, кто, мягко говоря, фетишизирует юридические нормы. Именно в этом я, уже с либеральной стороны, был обвинен Игорем Александровичем Яковенко.

Итак, фетишизирую ли я действующую Конституцию России?

**О конституции, конституционализме
и политической конкуренции**

В каком-то смысле — да. Но только в том, что вижу в этой Конституции не просто правовой акт высшей юридической силы, а акт, являющийся юридическим основанием для конституционного спора, который, в свою очередь, зиждется на конституционализме. Последний же, как его емко определил венгерский исследователь А. Шайо, есть «ограничение государственной власти в интересах общественного спокойствия. Он стремится охладить текущие страсти, не угрожая эффективности управления»¹.

Обратите внимание: в этой дефиниции нет указания ни на большую справедливость, ни на большую свободу. Здесь вообще нет высокого ценностного накала, а есть

¹ Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) / Пер. с венг. М., 2001. С. 20.

лишь указание на вполне прагматичные цели — обеспечение общественного спокойствия и наилучшей среды для эффективного управления. Вот и мною дингало только опасение, что при персоналистском режиме конституционный строй размывается и что страна не гарантирована при нем от политической «аритмии». Или, если применить другой медицинский образ, от «скачков давления». Так что конституционализм, несмотря на морфологию данного слова, вовсе не представляет собой еще один идеологический «изм».

Однако признание инструментального характера конституционализма пока не вошло в плоть и кровь ни нашего общества, ни его элиты, хотя и нельзя отрицать наличия некоторых признаков того, что этот процесс начался. Но он-то как раз и сдерживается архаичной политической практикой, которая, в свою очередь, во многом обязана институциональному устройству. Возможно, и это устройство не имело бы такого сильного, если не решающего, значения, если бы наше нынешнее государство не унаследовало массу стереотипов и мифов предшествующей — советской — государственности, которая имела характер идеократии.

Один из распространенных мифов, поддерживаемых многими интеллектуалами, состоит в том, что и «сталинская» (1936), и «брежневская» (1977) конституции СССР были «вполне демократичными», поскольку закрепляли основные права и свободы граждан. Беда, мол, только в том, что «закрепленное» на бумаге в жизни не соблюдалось. А ведь для познания того, что это миф, не надо даже обладать высокой юридической квалификацией, достаточно просто прочитать те самые конституции. И тогда станет ясно, почему ни власти, ни граждане в СССР никогда всерьез не апеллировали к конституционным положениям. Даже известный политической лозунг, выдвинутый советскими диссидентами в 1970-х: «Соблюдайте собственную Конституцию!» — был скорее способом борьбы, нежели серьезным обращением к правовым нормам, ибо советские власти как раз «соблюдали собственную Конституцию» (не будем здесь вдаваться в смысл слова «соблюдать»). Патерналистская и одновременно репрессивная политика государства прямо и непосредственно вытекала именно из того, что было зафиксировано в советских конституциях.

Во-первых, даже в самих формулировках политических свобод — слова, печати, собраний, митингов, шествий — можно увидеть, что государство разрешало ими пользоваться лишь «в соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя» (ст. 125 Конституции СССР 1936 года). Спустя сорок лет, поскольку «эксплуататорские классы» были окончательно ликвидированы, «интересы трудящихся» в этой формуле были заменены на «интересы народа» (ст. 50 Конституции СССР 1977 года). Поэтому даже об ограниченном «пользовании» тут нельзя говорить. В таком виде свобода уже не есть свобода, и потому не то что об оппозиционной деятельности, но даже о несанкционированной критике власти речь идти не могла.

Во-вторых, Советское государство, как известно, было построено на ленинской доктрине полного разрыва с принципом разделения властей и парламентаризмом, на доктрине, предусматривавшей ликвидацию государственности вообще (см. хотя бы Преамбулу к Конституции СССР 1977 года), отрицавшей всякий намек на частную собственность и признававшей только экономику, основанную на собственности государственной («общественной»). Поэтому такое государство даже формально-юридически не могло быть ничем и никем ограничено.

Так что живя мы при одной из советских конституций, апелляция к ней действительно оказалась бы велепой, ибо то были конституции, даже теоретически отрицавшие конституционный строй. Но мы-то живем при Конституции, которая, как бы кто к ней ни относился, предназначена не для легитимации монополярной

власти, а именно для недопущения этого. И тем не менее именно Конституция такую власть одновременно и легитимирует. Данное противоречие я и попытался проанализировать.

Одно из следствий этого противоречия состоит в том, что конституционализм и по сей день многим представляется как идеологически «меченое» понятие. А это, на мой взгляд, есть, в свою очередь, следствие унаследованного нами за долгие годы большевизма биполярного мировоззрения. Недаром Ленин как мантру повторил: нет, нет «чистой» демократии, а есть лишь демократия классовая — буржуазная и пролетарская (социалистическая). Стоит ли удивляться, почему наша дискуссия мгновенно превратилась в идеологическую, а такая внешность, т.е. вполне инструментальная категория, как политическая конкуренция, без которой названные выше базовые конституционные характеристики нашей государственности перестают быть реальными, стала точкой идейных расхождений экспертов, участвовавших в дискуссии. Выделю три основные позиции.

Первая: «А зачем вообще нужна эта политическая конкуренция? Страна должна управляться одним политическим субъектом, ибо такова наша историческая и культурная специфика».

Вторую позицию — прямо противоположную — отстаивают эксперты, которые согласны с тем, что персоналистский режим можно преобразовать институциональными средствами и что общество наше вполне готово к нормальной политической конкуренции.

Но наибольший интерес вызывает третья позиция, которую можно сформулировать так: «Политическая конкуренция нужна, но пока страна к ней и вообще к демократии, в европейском значении этого понятия, не готова». Разновидность такого взгляда — оптимистическое убеждение, что мы находимся в начале пути, но в принципе идем «верной дорогой».

Среди сторонников этой третьей позиции немало тех, кого сегодня относят к «кремлевским политологам». Считаю такую «маркировку» предной, поскольку — либо дискутировать, либо бороться. А делать одновременно обе вещи не получится. И к тому же, раз существует некая точка зрения, пусть разделяемая официальными инстанциями, значит, и у нее есть своя правда. Вот об этой своей правде каждого эксперта я и хотел бы здесь сказать.

Но предвзвешенно не могу все же не отреагировать на оптимизм, выражаемый аналитиками третьей группы, и их аргументацию.

Дмитрий Тренин, хотя он, кажется, не входит в «кремлевский пул», тем не менее также оптимистичен по поводу возможностей, заложенных в нашем конституционном устройстве. «Конституция РФ, — пишет он, — это конституция „на вырост“. Российское общество 1990-х и 2000-х годов в большинстве своем — уже не масса подданных, но еще и не корпус граждан. Картина, которую РФ пыталась являть внешнему миру в 1990-е (демократия, рынок, независимые СМИ), слабо соответствовала реальности. Вместе с тем институты разделения властей, парламентаризма, независимой судебной власти, зафиксированные в Конституции, — не ширма, подобно многим положениям советских конституций, а своего рода местоблюстители, которые, вероятно, будут заполняться по мере формирования условий для существования перечисленных институтов. В этом смысле демократия и права человека в России — не прошлое („свободные 1990-е“), а будущее, хотя и не очень близкое (курсив мой. — М.К.)». Но на основании чего делается вывод о том, что конституционные декларации будут выполняться со временем соответствующим им политическим и правовым содержанием, — совершенно непонятно. При персоналистском режиме, исключая реальную политическую конкуренцию, такое невозможно в принципе.

Оптимизм Д. Тревина проистекает из его надежды на формирование класса собственников, осознавшего свои интересы и свою гражданскую ответственность. Этому процессу, полагает он, и нужно всемерно способствовать: «На данном этапе в фокусе находится не объем полномочий Президента РФ, а комплекс вопросов собственности. Именно здесь — основной участок работы „лажемеров“ российских реформ (шутка моя. — М.К.)». Получается, что «вопросы собственности» существуют как бы отдельно от институциональной конструкции и могут решаться независимо от нее. Но ведь реальные тенденции сегодня ни о чем таком не свидетельствуют — наоборот, мы наблюдаем движение в прямо противоположном направлении. На чем же основаны в таком случае надежды аналитика?

Примерно ту же позицию выражает и Андраник Мигранян. Он, правда, рассматривает нашу нынешнюю конституционную конструкцию как временную и «переходную», но на сегодняшний день все же полезную. Я же сомневаюсь и в ее сегодняшней полезности, и в том, что заложивший в ней персонализм может быть преодолен той формой правления, в которую данная конструкция должна, по А. Миграняну, трансформироваться в будущем. Потому что этот персонализм неизбежно скажется и на этой предлагаемой экспертом будущей форме. Более того, учитывая особенности последней, проявится в ней еще более отчетливо, чем сейчас.

Чтобы преодолеть роковую «двуглавость» российского государственного устройства, при котором президент и правительство выступают как два разных института, А. Мигранян считает целесообразным в перспективе перейти к президентской модели американского типа. «В нашей стране, — пишет он, — избираемый народом президент сам должен быть главой исполнительной власти и, конечно, сам должен формировать правительство и отвечать за все. Только тогда можно будет преодолеть „двуглавость“ нашей исполнительной власти и не на кого будет перекладывать ответственность. Это очистит нашу государственность от мешающих наслоений и впервые создаст в России реально ответственную перед страной высшую власть». Честно говоря, странно это слышать от опытного политолога и знатока зарубежной конституционной практики.

Автору должно быть известно, что только в США президентская модель работает довольно эффективно, а в государствах Латинской Америки, построенных по такой же модели, то и дело происходит военные перевороты. Подобная конструкция фактически не позволяет выйти из конституционных тупиков. Ее не случайно называют «чистой» моделью разделения властей, ибо в ней нет ни института ветоума недоверия правительству со стороны парламента, ни права роспуска парламента главой государства. Поэтому президентская форма правления требует очень высокой культуры политических компромиссов, а также огромной силы и огромного авторитета судебной власти. Между тем ведь и в США далеко не сразу судебная власть — прежде всего, в лице Верховного суда — обрела силу. Так вот, даже если пройдет несколько лет, сформируется ли в нашей «элите» соответствующая культура компромиссов? Повысится ли при существующем институциональном устройстве авторитет судебной власти как совершенно независимого от политиков института? Какие основания есть для такого оптимизма?

Нетрудно, думаю, заметить, что эти вопросы имеют прямое отношение и к утверждениям А. Миграняна (и не только его) о том, что нынешняя Конституция не исчерпала весь свой потенциал до конца. Какой потенциал, интересно, имеется в виду? Неужели потенциал конституционализма? Но именно он лишь истощает, а никак не наращивается. В том-то и дело, что время в данном случае, вопреки надеждам и Д. Тревина, и А. Миграняна, и многих других, не «лечит», а еще больше «калечит». Поэтому я и не вижу никакой исторической пользы в нынешней конституционной конструкции. Переход же от нее к чисто президентской модели, без сомнения, только сделает российский персоналистский режим более явным. В наших условиях такой переход фактически будет означать окончательное упращение разделения властей.

«Конечно, многое зависит от просвещенности лидера и политического класса, — пишет А. Мигранин. — Это — решающее условие». Но надо ли напоминать о том, что государственное строительство — это не игра в «чет-нечет»? На фоне деградации политического класса и политического лидерства такие надежды нельзя назвать иначе, чем прекраснотушим.

Не устаю поражаться одной из многих Божьих тайн: почему люди примерно одного социального статуса, одного воспитания, одного круга чтения, одного темперамента, достатка и т.п. исповедуют совершенно разные, порой диаметрально противоположные мировоззренческие позиции, почему у них такая разная картина мира. На этот вопрос нет ответа, а потому будем принимать наше мировоззренческое разнообразие как данность.

Однако нам известны и примеры мучительного пересмотра шкалы ценностей — я имею в виду пересмотр глубинный, а не «умо-сердечное порхание» и уж тем более не сознательный конформизм. Лев Шестов в статье о Ф.М. Достоевском писал, что «убеждения вторично рождаются в человеке на его глазах, в том возрасте, когда у него достаточно опыта и наблюдательности, чтобы сознательно следить за этим великим и глубоким таинством души. <...> От прошлых убеждений Достоевского, от того, во что он веровал в молодости, когда впервые вошел в кружок Белинского, не осталось ни следа. Обыкновенно люди считают поверженных кумиров все же богами и оставленные храмы — храмами. Достоевский же не то что смеет — он втоптал в грязь все, чему когда-то поклонялся. Свою прежнюю веру он уже не только ненавидел — он презирал ее². Такие мировоззренческие повороты случаются в жизни самых разных людей. И не только великих. Наши ценности могут меняться — будь иначе, все споры были бы заведомо бессмысленными.

Понятно, что наша дискуссия не предназначена для того, чтобы побудить оппонентов изменить свою позицию. Однако неизвестно, под влиянием каких обстоятельств «вторично рождаются убеждения». Поэтому нельзя исключить возможности, что кто-то из участников если и не пересмотрит свои взгляды, то хотя бы более внимательно вслушается в обоснования коллег.

Я нахожусь в несколько «привилегированном» положении: имея сначала возможность изменить свою позицию, теперь получил еще и «право на заключительное слово». Но основную его часть я хотел бы использовать не для обобщения высказанных мнений и не для углубления своей аргументации, а для выдвижения трех, так сказать, «методологических тезисов», которые попробую сформулировать в виде презумпций — предположений, которые, по умолчанию, считаются «аксиоматическими», пока не будет доказано обратное.

Спешу успокоить коллег: я не страдаю магией величия, чтобы считать свои предположения аксиоматическими. Но, возможно, страдаю назвистостью, поскольку надеюсь, что выдвигаемые презумпции смогут помочь поиску консенсуса. А именно его так не хватает сегодня нашему обществу. Поэтому, кстати, был рад, что на последнем этапе дискуссии появилась статья Николая Розова, который посвятил ее, как он сам заявил, сбору и структурированию основных моментов согласия. Жаль только, что эти «моменты» он распространяет не на всех участников. Но тогда теряется и смысл консенсуса. Ведь он предвзвешен как раз для поиска точек согласия между всеми, какими бы противоположными ни казались их взгляды.

Итак, моя презумпция.

² Шестов Л. Достоевский и Ницше // Шестов Л. Сочинения. М., 1995. С. 26, 28.

Все эксперты движимы мотивом наибольшего блага для своей страны

Некоторые участники дискуссии сетовали на то, что она отклонилась от проблематики, обозначенной в моей статье, и что вместо этого большинство экспертов стали рисовать идеальный образ российской государственности. Думаю, однако, что дискуссия прошла так, как и должна была пройти. Во-первых, моя статья была вынесена «либеральной миссией» только в качестве «затравки» для дискуссии о путях развития российской государственности. Само название дискуссии — «Российское государство: вчера, сегодня, завтра» — выходит далеко за рамки вопроса о фатальности единовластия в России. А во-вторых, отстраненность многих участников от проблемы соответствия институционального устройства власти духу Конституции есть, на мой взгляд, естественное отражение явления фундаментальной важности — потери самой основы российской государственности.

Идентификационная потеря довлечет над всеми нами. Она есть та бездна, которая лишь приоткрылась в ходе обсуждения. Бездна — отнюдь не в теоретическом, а в самом что ни на есть практическом смысле. В том смысле, который ярид ли глубоко осознается массовым сознанием, лишь интуитивно ощущаясь людьми в виде негативных размытых образов, но который касается буквально каждого человека. Самый точный образ такой ситуации, как всегда, дает Священное Писание — в притче Спасителя о доме, построенном на песке: «...И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое» (Мф. 7: 27).

Думаю, все участники дискуссии, вне зависимости от своего мировоззрения, осознали (или ощущают) именно эту трагическую зыбкость фундамента государственности. А иначе не случилось бы такой эмоциональной полемики. Не верю, что столь занятые люди посвятили время написанию своих немаленьких текстов только для того, чтобы блеснуть интеллектом и эрудицией. Конечно, не без этого. Но все равно видно, насколько проблема личностна для всех экспертов. Оно и понятно. Речь идет об одной из важнейших сторон человеческого бытия. Неважно, что в представлениях о российской государственности сплавляются совершенно разные мотивы — от эгоистических до возвышенных. Остроту полемики добавляет и то, что иначе в воздухе носится нечто настолько неопределенное (для кого-то неопределенно-тревожное, для кого-то неопределенно-радостное), что сейчас не то время, когда можно удивляться обычной игрой ума и демонстрацией эрудиции. Мы все в этой дискуссии — не «онтомологи», которых, скажем, исчезновение определенного вида бабочек несомненно опечалит, но все же не заставит задуматься о собственной судьбе и судьбе близких...

Эта личностность, однако, имеет и другую сторону. Сергей Кургузин верно замечает: «Слишком многие путают оптимальное и любимое». Но я бы не стал упрекать за это участников. Субъективный фактор всегда присутствует в обществоведческих изысканиях. В гуманитарной сфере никому не удастся подняться над «объектом изучения», даже если он для этого решит стать пустынным. Поэтому «любимое» если и не полностью замещает «оптимальное», то уж точно кливет на его образ. Но вот с чем нельзя согласиться, так это с продолжением мысли С. Кургузина о том, что эксперты путают «оптимальное для общества с оптимальным для себя».

Что означает это «для себя»? То, что, оставшая какую-то модель государства, эксперт видит себя в ее рамках более востребованным? Или что он является «агентом влияния»? Или думает, что «государю доложат: есть, мол, такой Добчинский/Бобчинский»? Надеюсь, вовсе не подобные вульгарные мотивы имел в виду С. Кургузин. Но даже если в его фразе спрятано что-то более сложное или же она просто попала в текст по инерции, нельзя не споткнуться о нее, ибо она невольно высвечивает проблему, принципиальную для экспертного сообщества, да и для всего нашего общества.

Дело в том, что и вчера, и сегодня, и завтра состояние и потенциал развития государственности зависели, зависят и будут зависеть прежде всего от сути тех или иных идей и характера их носителей. Но в дискуссиях о разных сторонах публичного бытия должна быть основа, объединяющая разные идеальные лагеря. Должна быть некая общепринятая норма, которой все руководствуются. А норма — в естественном стремлении: а) к устойчивой государственности; б) к разумному балансу между свободой и справедливостью; в) к тому, чтобы были открыты перспективы развития — как индивидуального, так и общего. Можно выдвигнуть и более простую конструкцию: поскольку мы все — граждане данного конкретного государства, постольку каждому естественно болеть за его судьбу. И даже если кому-то кажется, что человек, организация, социальный слой «болеет» неправильно, нельзя за это считать его (или их) врагом. Собственно, это банальность. Но в нашем общественном сознании она пока не укоренилась.

Вот почему я против весьма распространенного в нынешних интеллектуальных спорах приема, формулируемого примерно так: «А где ты был тогда-то?» или «Почему раньше молчал?». Использовался этот прием и в данной дискуссии. «Все конструкции и вся судьба постсоветских политических режимов, — пишет Алексей Чадаев, — фактически заложена и определена в 1991–1993 годах. Те, кто ее таковой сделал, несут за нее полную политическую ответственность. И, следовательно, с них в первую очередь должен быть спрос за то, что получилось. Такая постановка вопроса — серьезный удар по магистральной идее современного российского режимоворчества о некоем наметившемся в последние несколько лет «повреждении» России в ее движении к демократии. Дескать, все 1990-е годы страна шла по пути демократического развития, но вдруг почему-то сошла с него в результате какого-то поворачивания в 1999-м и с тех пор так и продолжает двигаться в неверном направлении. Этот миф М. Краснов ломает об коленку, за что ему большое человеческое спасибо».

Конечно, спасибо за «спасибо» — тем более, что я действительно утверждаю: институциональный порок заложен в самой нашей конституционной модели. Но при этом я далек от того, чтобы ставить вопрос «кто виноват?». Не потому, что, будучи причастен к «той команде», боюсь «полной политической ответственности». Для меня существует только одна инстанция ответственности — Тот, Который знает самые потаенные мотивы каждого. А не ставлю так вопрос потому, что считаю его постановку при оценке социальных явлений непродутивной. И еще потому, что не только сам нередко ошибаюсь, но и оставляю это право за другими. Все по той же причине — презумпции того, что каждый участник или наблюдатель событий желает блага своей стране, каковы бы это блага ему ни представлялись. Наконец, назовите хоть одну революцию, которая бы не влекла за собой период неупорядоченности, неразберихи, выплеска бывших под спудом самых темных сторон человеческой натуры. Революцию, после которой ее участники не переосмысливали бы собственные трагические заблуждения. Концентрация же на этом проклятом и, по сути, антихристианском вопросе «кто виноват?» постоянно воспроизводит вражду и разъединяет людей.

Другое дело, что необходимо постараться без приписывания «акторам» злого умысла понять, почему сложилось так, а не иначе. Некоторые гипотезы я высказал в книжке, которая была написана по следам и на основе моей статьи о персоналистском режиме³. Не буду здесь их повторять. Скажу лишь о том, что, возможно, ясность моей мысли привела А. Чадаева к выводу о том, будто я «ломаю миф», на котором основано «современное российское режимоворчество». Из моих рассуждений якобы

³ Краснов М.А. Персоналистский режим в России: Опыт институционального анализа. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2006.

следует, что нынешняя монополизация СМИ, использование правовых институтов для незаконных преференций или, наоборот, для сведения счетов, бюрократизация, шпиономания, антизападная риторика были заложены в первой половине 1990-х. Мол, созданная тогда система и увела страну от демократии. Но моя мысль была о другом: порок сформированной в 1993 году системы отнюдь не в том, что она уведет с избранного пути, а в том, что позволяет использовать демократические институты таким образом, что они оказываются смердящим трупом. Да, суть персоналистского режима не менялась. Он был и остается персоналистским. Но изменилась стилистика правления. Имитация демократии система не требовала. Вся драма в том, что не прелестовала.

Разумеется, этому могло бы воспрепятствовать общество. Но оно в современной России такое, какое есть. Именно поэтому, т.е. с учетом его состояния, я и говорю, что всю тяжесть усилий следует перенести на саму модель организации власти, которая, как минимум, поможет нашему обществу вырваться из персоналистской парадигмы. И, кстати, если уж говорить о режимоборчестве, но только без вкладываемой в это понятие иронии, которая сквозит у моего неоязиданного сторонника, то я бы действительно посоветовал изменить «магистральную идею» — перейти от концентрации на фамилии моно субъекта к концентрации на причинах персонализма и институциональных способах перехода к нормальной системе сдержек и противовесов.

Но, даже говоря об ином, с 2000 года, стилистике прелечения, не хочу никого обвинять в злом умысле. Просто нынешний «главный начальник» именно так видит благо для страны. О том и толкую: мы все зависим от того, что и как видит «начальник страны» (на самом деле — его «референтная группа»). В этом — главная проблема. Единственное, на что я хотел бы получить ответ, — сможем ли мы иметь принципиально иные политические и социальные отношения при *иной* системе. Однако теоретическим путем ответ на такой вопрос получить невозможно. Только опытным. Вот почему я и предпринял попытку сначала доказать, что бессмысленно рассуждать о неудаче «демократического проекта» в России, пока не созданы институциональные условия, как минимум не препятствующие его реализации.

В заключение этой части хотел бы подчеркнуть: мотив наибольшего блага для своей страны — вполне рациональный, а не мистический. Потому что какими бы «высокими» понятиями мы ни оперировали, в основе — вполне земные соображения. Я лично не очень жалую то, что именуют прагматизмом. Мне больше по душе романтизм. Но у романтизма есть свои ограничения — по месту, времени и обстоятельствам. Если же игнорировать эти ограничения, то романтизм становится утопизмом, а всякая утопия расширяет дорогу самым темным силам.

Из этого я вывожу другую презумпцию.

Демократия — всего лишь инструмент для эволюционного развития, а не идеологический проект

Многие выступления в дискуссии есть не что иное, как концептуальные проекты построения (развития, трансформации, модернизации) российской государственности. Занятие древнее, причем столь же благородное, сколь и практически опасное.

Вполне понятно коллег, которые грезят идеальным государством. Не они первые (возможно, и Платон не был первым), не они последние. Многим (мне в том числе) хочется видеть государство отвечающим собственной картине мира. Я вообще думаю, что первично, так сказать, эстетическое чувство в отношении государственности. У разных людей слово «государство» рождает разные образы, а уж за этим следуют рациональные построения. Но одно дело — построения для себя, для «домашнего пользования», и другое — выдвижение своих построений в качестве идеологического про-

екта. Такие проекты игнорируют главное: у разных людей существует свое мировоззрение. Порой я даже по-бытовски думаю, а правильно ли, что социологи обычно в лоб задают свои вопросы о ценностях. Не точнее ли можно узнать о тяге одних к свободе, а других — к деревенности, если задавать вопросы типа: «Любите ли вы ходить строем?», «Нуждаетесь ли в могущественном покровителе?»?

Слава богу, за нами уже длительная мировая история и накопленный опыт ее осмысления, а потому есть основания твердо утверждать, что цивилизации и соответствующие ей типы государственности имеют свою логику. Все попытки, хотя и немногочисленные, строить идеальное государство, не учитывая потребности и даже инстинкты человека, оканчивались провалом. Наиболее, быть может, наглядный пример — большевистская утопия и ее историческая судьба.

Идеалы на земле вообще неосуществимы. Все они — в Царстве Божием. Тем не менее идеалы необходимы, ибо без них общество разлагается. Важно лишь понимать, насколько *оволо* преобразовать идеалы в практические цели. Ибо тут же находится ирреци, которые затем облачают властными полномочиями и уже сами решают, кто «соответствует идеалам», а кто достоин смерти. Земная политика — это конкуренция зримых, понятных практических целей, а не идеалов. Правда, выдвижение целей на политическом рынке происходит (должно происходить) на основе соответствующей идеологии, мировоззрения, системы ценностей, наконец, тех же идеалов, исповедуемых данной политической силой. Но беда для страны приходит тогда, когда один идеал не оставляет легального места для других⁴.

В текстах некоторых участников дискуссии скрыто или явно присутствует тезис: Россия вообще не приспособлена для модернизации. За этим, полагаю, кроется тоже идеальное представление, которое можно назвать патриархальным, но вкладываемая в это негативный смысл. Меня, кстати, тоже порой угнетает современность с ее нарастающим темпом жизни, экологическими проблемами и легитимирующимися пороками. Но это брехание я стараюсь держать при себе, ибо понимаю всю бессмысленность, а главное — катастрофичность попыток «коренного переустройства» мира.

К тому же, когда читаешь «патриархальные сценарии», возникает по-житейски простой вопрос: отчего в России на протяжении всей ее истории было так много модернизационных попыток? Настолько много, что Александр Янов как историк даже возмущился словоупотреблением «тысячелетняя история России», применяемым в смысле «одинаковости» всех периодов этой истории. Хочу, кстати, попросить прощения у него за то, что и сам я таким же образом употреблял понятие «тысячелетняя история». Но это издержки всякой междисциплинарной дискуссии, когда специалист в одной области знания, вторгаясь в иные области, что называется, «злитвет», не об-

4 СБ это хорошо, хотя и в несколько устаревшей терминологии, сказал российский конституционалист Я.М. Магазинер: «...Когда в парламенте, по поводу внесенного законопроекта, борются две политические партии, представляющие два различных общественных класса или даже две фракции одного и того же класса, то никто из них не доказывает, что предлагаемый парламенту закон должен быть принят, хотя бы он проповедал интересам данного государства, лишь бы только он обеспечивал интерес данного класса: наоборот, данный классовый интерес открыто оставляется, как таковой, только тогда, когда уже считается доказанным, что в этом классовом интересе заключается общий интерес, — или же, не отрицая противоречия между своим классовым и общим интересом, признавая даже обязанность покровительства классовым интересом в пользу общего, государственного, класс указывает лишь на неравномерность своих жертв с жертвами других классов, на угрозу для всеобщего интереса от разложения и разрушения класса. Но никто не потребует, чтобы интерес его класса, как самоцель, был поставлен выше интересов всего общества, никто не отвергает верховенства общественного интереса над всеми другими интересами в обществе» (Магазинер Я.М. Общественное учение о государстве: Курс лекций, читанный в Петроградском университете в 1918–1922 гг. П., 1922. С. 156).

лады необходимыми сведениями для дифференциации тех или иных понятий, периодов и проч. Я, например, тоже всегда вижу, юрист или не юрист является автором какого-то текста...

Так вот, А. Янов убедительно показал, сколь различными были разные периоды нашей, еще досоветской, истории. Сколь часты были модернизационные порывы и даже прорывы. И, как он писал еще задолго до настоящей дискуссии, «русское самодержавие — подобно азиатскому деспотизму — тоже всякий раз после очередного „смутного времени“ воспроизводило себя. Но воспроизводило — в отличие от этого деспотизма — на новом уровне сложности»⁵.

Отсюда же в России эта вечная тяга к тому, что нынеменуется модернизацией? Моя позиция (и здесь я, наверное, разоюсь с большинством) состоит в том, что в России как в стране, принадлежащей к христианской цивилизации, существует и до сих пор нигде не делась бытийная неудовлетворенность и диктуемое ею стремление изменить способ публичной жизни. Ради чего? Ради надежды на изменение парадигмы жизни частной. А если еще больше укрупнить масштаб «социального микроскопа», то увидим, полагаю, и первоисточник этой надежды. Она — в поиске не просто допустимого, но предлагаемого христианством такого обустройства земной жизни, которое бы ограждало человека от покушений на его достоинство, ибо такое покушение есть надругательство над образом и подобием Божиим.

Да, для христианского сознания свойственны такие категории, как терпение, смирение, послушание. Но кто мне укажет место в Священном Писании или трудах святых отцов Церкви, где говорилось бы, что вся организация публичной жизни должна быть именно такой, чтобы специально испытываемо было терпение, смирение, послушание? Кто-то, в силу праведности, подвижничества, сознательно ищет более тяжелых условий жизни. Но выбор более высокой степени святости есть именно личный выбор, а не чья-то внешняя воля. Впрочем, и в христианской жизни не всякий личный выбор подвига одобряется. Например, св. Никита, епископ Новгородский, в молодые годы поступил в Киево-Печерский монастырь и вскоре пожелал уйти в затвор. Игумен предупреждал о преждевременности такого подвига для молодого инока, но тот, понадеявшись на свои силы, не послушался. В затворе Никита впал в искушение от дьявола. Киево-печерские старцы пришли к прельщенному и, помолвившись, отогнали от него беса. Впоследствии он был поставлен епископом в Новгород и за свою святую жизнь награжден от Бога даром чудотворений⁶.

Желание человека не быть муравьем в муравейнике отнюдь не тождественно гордыне. Равным образом смирение, кротость, миролюбие не есть основа для слепого гражданского подчинения. Часто для обоснования лояльности любой власти приводятся известные слова из Посланий святых апостолов. Но если не вырывать апостольские слова о послушании властям, то мы увидим, что они исходят из условия правового характера поведения самих властей. И св. Петр, и св. Павел предупреждали христиан лишь о том, чтобы им не стать теми, кого апостол Иуда назвал «ничем не довольными ропотниками»⁷. Возможно, я и ошибаюсь, но, учитывая в Послании апостола, вижу здесь не отрицание всяких общественных изменений, а только отрицание насильственных способов социальных преобразований, отрицание бунтарства ради самого бунтарства.

⁵ Яков А. Л. Некоторые проблемы русской консервативной мысли XV–XVII столетий. М., 1973. С. 11.

⁶ См.: Киево-Печерский патерик, или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской Лавры / Репринтное воспроизведение с издания 1903 года. Киев, 1991. С. 93–96.

⁷ В Послании святого Апостола Иуды эти слова звучат так: «Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям [нечестиво и беззаконно]: уста их произносят надругательные слова; они оказывают надругательство для корысти» (Иуд. 16).

Какая же организация государства дает возможность развиваться мирным, эволюционным путем? Только такая, где нет господствующей идеологии, где сама конструкция публичной власти предназначена и эффективно обеспечивает соревнование выразителей различных взглядов, интересов и даже идеологических и ценностных систем. Но — при одном фундаментальном условии, предполагающем недопустимость покушения на сам механизм обеспечения такой мирной конкуренции.

Из всего сказанного вытекает теоретически простая, но для многих пока мало приемлемая мысль: демократия не является идеологией. Во всяком случае, она предназначена быть только механизмом мирного соревнования целей и способов их достижения, реализуемых через овладение институтами политической власти. Карл Поппер по этому поводу говорил: «Существуют различные методы свержения правительства. Лучшим являются выборы: новые выборы или голосование в свободно избранном парламенте. Вот основа. Поэтому в принципе некорректен вопрос: кто должен править? Народ (даже) или лучше? «Хорошие» рабочие или «плохие» капиталисты, как их противопоставляли от эпохи Платона до эпохи Маркса и позднее? Большинство или меньшинство? Левые, правые или центристы? Все эти вопросы некорректны. Поскольку там, где возможна бесконечная смена правительства, уже не имеет значения, кто правит. Любое правительство, зная, что в любой момент оно может быть смещено, стремится понравиться избирателям. Однако эта тенденция отсутствует там, где смена правительства затруднена»⁸.

Неидеологический характер демократии подтверждается и тем, что родилась она всего лишь как одна из многих форм правления, причем, по Аристотелю, не самая лучшая. Инструментальный характер демократии, между прочим, исповедует и действующая российская Конституция. Ведь, называя Россию демократическим государством, она в ст. 13 запрещает устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной или обязательной. Таким образом, наша Конституция не считает демократию идеологией. Другое дело, что, когда в Европе под воздействием борьбы за социальную мобильность (борьбы с сословностью) начала принципально меняться структура общества, аристотелевское восприятие демократии было утрачено, и она получила «идеологическую метку». Но теперь пора вновь возвращаться к совершенно служебному, инструментальному восприятию демократии. Даже если для этого придется заменить сам термин, который, кстати, действительно стал чрезвычайно широким и оттого слабо защищенным от спекуляций.

В то же время я сознаю, что поскольку так уж сложилась новейшая история России, постольку, видимо, еще долгое время слово «демократия» и все образные от него понятия будут нести именно идеологическую нагрузку. Но для общего блага следует как можно быстрее это преодолеть. И как раз персоналистский режим тут (не важно, кто его олицетворяет или будет олицетворять) — главная помеха. Помеха, повторю, из-за того, что без политического рынка, который невозможен без политической конкуренции, демократия становится как раз идеологически окрашенной и ее инструментальный характер уничтожается. Илы, как минимум, загущиваются. Ведь только при политической конкуренции становятся не просто реальными, а рабочими на цели общественного развития такие понятия, как свобода слова и печати, выборы в парламент, законы, оппозиция. Забавно читать сегодня слова из постановления Конституционного суда почти десятилетней давности (от 17 ноября 1998 года): «Кроме того, следует учесть, что, по смыслу статей 1 и 13 Конституции Российской Федерации, демократия, основанная на политическом многообразии и многопартийности, исходит из необходимости существования оппозиции и не допускает монополии на власть».

⁸ См.: http://www.democracy.ru/courts/ideology/Popper_democracy.html

И все же, на мой взгляд, самое страшное для будущего состоит вовсе не в том, что сегодня урезаются политические права, расширяется полицейский и чиновничий произвол, воссоздается приснопамятная административно-командная система, а в том, что для этого используются институты и механизмы, предназначенные совсем для других целей. Конечно, гвозди микроскопом забить можно, только вот микроскоп будет потом непригоден. Да, есть вроде бы какие-то партии, которые выходят вроде бы на альтернативные выборы. Но что обществу от того, сколько и каких парламентских должностей получат функционеры этих партий? Что изменится от этого в нашей жизни? И разве не угасает гражданское чувство происходящей на наших глазах мистерией под названием: «Кто станет преемником/наследником?»

Я стою на той позиции, что идеалы, ценности нельзя смешивать с интересами, ставить их на одну доску. За идеалы можно пожертвовать жизнью, за интересы — лично я бы не стал. Но, если быть реалистом, придется признать, что даже в самой высокой идее большинство людей ищут именно интерес. Тот же А. Янов, например, показал, что имперская идеология «Москва — Третий Рим» и рождена была во многом под влиянием конкретных интересов, и использовалась для определенных целей... И таких примеров можно назвать множество — в разных странах и в разные времена.

Не будучи материалистом и ненавидя цинизм, вынужден признать, что вовсе не сами по себе лозунги «свободы, равенства, братства», «коммунизма — светлого будущего», «демократии и рынка» и т.п. становились идейной силой соответствующих революций. За каждым из них скрываются вполне земные потребности. Точнее, высокие лозунги перемешиваются с конкретными целями: ликвидация сословности, равные права для всех, ликвидация капиталистов как класса, раздача земли, «будем жить как в Европе»... И винить людей за то, что они смотрят главным образом на выдвигаемые цели, глупо. Поэтому сам тезис о чужеродности какой-то идеи абсурден. Если «внутри идеи» гнездятся что-то чуждое общественному сознанию, точнее, если общество не видит в ней привлекательных для себя возможностей, то оно не захочет расстаться со стабильным существованием и само отбросит такую идею. Так что любые контердизационные сентенции типа «это заимствовано у Запада», «народ не дорос» и т.п. есть лишь манипуляционный способ защиты от модернизации.

Весь вопрос — противопоставляется ли что-то этой, тоже вполне естественной, защитной реакции. И вот тут оказывается крайне важным фактором существование нормального экспертного сообщества, ведущего дискуссии, но на основе договоренности о некоторых презумпциях. Стоит, может быть, даже задуматься об институционализации экспертного сообщества. У нас же оно по-прежнему загоняется на периферию жизни. Возможно, это будет постепенно исчезать по мере того, как у нас появится и будет развиваться та самая политическая конкуренция. Ведь в таком случае идеи, основанные на них концепции и программы станут востребованы разными политическими силами. И это в конечном счете должно вывести из межэтночного состояния интеллигенцию, представителя которой не всегда, но зачастую вынуждены либо становиться «подручными» власти, либо, наоборот, фрондировать по любому поводу.

Порочность пуляния друг в друга «измами» состоит не только в том, что даже единомышленники зачастую по-разному понимают то или иное «учение», но и в том, что мы по привычке мыслим государственность совершенно неверно. Мыслим ее, так сказать, «от Кремля», т.е. сверху. Отсюда и интеллектуально-политические конструкции («учения») как бы спускаются сверху вниз в виде неких догм. И потом еще удивляемся, что там, «внизу», эти «учения» почему-то понимаются вовсе не так, как задумывались. И патриотизм превращается в ксенофобию, а демократия — в «Гуляй-поле»...

Повторюсь, специально отмечал Д. Володихину и близким к его мировоззрению экспертам, я стал искать причину того, почему в России не работает демократия, не потому, что «молось» на нее. Я стал делать это, во-первых, потому, что лично для меня лицемерие хуже даже плохой определенности: раз в Конституции закреплены определенные характеристики государства, моя обязанность исследовать, по каким причинам реальность им не соответствует. А во-вторых, потому, что воспримiamo демократию как строй, при котором в гораздо большей степени, чем при единовластии, можно защитить Аликса Башмачкина, Махара Девушкина и мою соседку по деревне бабу Рыну. И если кто-то мне докажет (покажет), что какая-то иная организация власти может более надежно оградить «маленького человека» от произвола и унижений, я первым замшнусь в антидемократы.

Есть витальные потребности. Личная безопасность, защищенность — на одном из первых мест. А безопасность и защищенность — это не только когда ты спокойно отпускаешь детей погулять, но и когда не допускаешь возможности, что без всяких оснований тебя заберут в полицейский участок или отберут собственность. Это — когда ты уверен в своей неприкосновенности со стороны государства. В этом смысле, конечно, свобода слова, собраний, вестзей, объединений не является витальной. Но без нее попробуйте обеспечить все необходимое. Обеспечить — исходя из картины мира XXI века, а не, скажем, XVI–XVIII веков.

Говорю обо всем этом для того, чтобы убедить своих коллег — и оппонентов, и единомышленников — не зашиваться на «измах», а исходить из совершенно земных представлений о жизни. Причем представлений «среднестатистического» человека. Убедить в том, что государственное и гражданское строительство снизу — единственная надежная основа для страны. Да, на этом уроне, возможно, негде разгуляться интеллекту и эрудиции эксперта. Но тогда уж надо ставить вопрос классически: общество для эксперта или эксперт для общества?

И тут я перехожу к третьей презумпции.

Центр тяжести современной государственности — степень защищенности человеческого достоинства

Боясь ошибиться, но мне показалось, что как раз по главному вопросу — о самоценности категории «достоинство человека» — среди экспертов нет консенсуса. Если так, тогда мы с нашей дискуссией забежали вперед, а значит, действительно бессмысленно обсуждать проблему в параметрах «единовластие — демократия».

Обращусь вновь к тексту С. Кургузяна, ибо он проблему поставил радикально. В переводе на бытовую язык она звучит так: «Ну что вы тут деталями („оптимизацией“) занимаетесь, когда вопрос стоит о бытии самого государства Российской?» Собственно, даже сам заголовок его выступления — о том же. Правда, лично я не увидел, что именно привело его к такой постановке вопроса. Но тут важен ответ. Он отнюдь не оригинален и сводится к обоснованию все того же — особого пути с намеком на мессияство: «Возможность государства для России связана с возможностью вновь построить свой дом. То есть стать состоятельным носителем некоего нового универсалистского замысла. Не сумеет Россия его создать — не будет государства через 10–15 лет. А то и раньше. И ничто не поможет».

Мне показалось, что С. Кургузян здесь как-то небрежно обошелся с аргументами. Так иногда бывает: понравившаяся метафора вдруг начинает диктовать логику выводов. Вот и он бродит вокруг образа «чужого дома» и выжимает из метафоры все возможное. Предупреждает, что никто нас в «чужой дом» не пустит, а если и пустит, то жить русским в нем будет мутно. Правда, тут под «чужим домом» понимаются два разных явления: с одной стороны, «физическое» вхождение России в Европейское со-

общество или блокирование (военно-стратегический союз) с Китаем; с другой стороны, редукция соответствующих социокультурных и политических ценностей.

Я не специалист, чтобы рассуждать на геополитические темы, а потому не знаю, «пустит или не пустят», нужно нам это или не нужно. Но ведь и дискуссия не об этом, а только о том, какой тип государственности нужен России и какой возможен. Дала ли дискуссия ответы на эти вопросы? Напервое. Хотя и расплывчатые. Но вот о чем можно сказать более определенно, так это о том, что дискуссия выявила три довольно четкие позиции, о которых, правда, было известно и раньше. Однако здесь ценны те аргументы, которыми оперировали ее участники. Итак:

1. Любые заигрывания с европейскими ценностями — гибель для страны. Они чужды нам по всем параметрам. Надо возвращаться к патриархальным отношениям. Правда, раз уж настала информационная эпоха и существует иной, чем прежде, строй международных отношений, можно несколько оосовременить архаику. Но — не более того.

2. Владимир Путин — скорее не по проекту, а интуитивно — воплощает особую государственность. Эта особая государственность, если не морочить себе и другим голову сложными политологическими конструкциями, означает, что мы не отказываемся от формальных институтов, относящихся к демократическим, но обихаживаем их по-своему. В том числе совмещая демократические институты с некоторыми монархическими правилами игры. И иначе не можем, ибо таковы наше общество, наша история, наши традиции.

3. Базовые человеческие инстинкты, чувство здравого смысла, массовое желание жить (в материальном смысле) как в Европе объективно требуют установления в стране не имитационной, а нормальной демократической системы. Причина, по которой она до сих пор не создана, — не в народе, а в элите, которую устраивают формально демократические, а по существу, цезаринские правила игры.

Как же нам всем быть, если все эксперты: а) хотят блага для России; б) остались при своем мнении?

На мой взгляд, консенсус именно здесь и необходим. И вопрос для него простой: чего, по мнению экспертов, общество хочет от государства (власти)?

Если общество хочет построения «империи» с бедным и воинственно настроенным населением, жаждет «пушек вместо масла» и полагает, что «есть вещи поважнее человеческого достоинства», то тогда «демократам» придется согласиться: всякая «оптимизация» — ненужная или преждевременная трата сил.

Если же все-таки человеческое достоинство в массовом сознании ощущается как ценность, то хочешь не хочешь, придется обустроить саму конструкцию власти так, чтобы она обеспечивала мирное соревнование идей и политик, ибо только в этом случае возможно построение правового государства с твердыми гарантиями прав человека (вообще, замечу, не в секулярном их понимании). Причем модификация этой конструкции неизбежно будет сугубо российской: ведь во всем мире модели власти в деталях друг от друга отличаются. Главное, чтобы не были убиты родовые черты такого типа государственности.

Антизападникам стоит понять, что при демократическом сценарии речь совершенно не идет об автоматической интеграции в западный мир. И к тому же давайте будем, наконец, доверять своим потомкам. Нам неизвестно, как изменится Россия даже через одно поколение. Пусть же они сами решают, с кем или «против кого» дружить. Наша задача — прекратить холодную гражданскую войну, от которой, воспользуясь метафорой С. Кургузина, не в чужом, а в нашем собственном доме жить неуютно миллионам людей, а главное, опасно для самого дома. Так что не об интеграции в Европу сейчас речь. Мы как-то мало обращаем внимание на то, что оперируем спекулятив-

ним мифом, будто демократия есть европейская ценность, а раз так, то нам она чужда по определению. Но говорить о «европейской» демократии — все равно что говорить о «европейском» законе Бойля–Марьотта.

Однако так уж, наверное, устроен человек: физические законы он принимает (как «осознанную необходимость»), а вот социальные — не очень. Может, оттого, что законы природы действуют мгновенно, и в здравом уме никто не возьмется проверить, например, закон всемирного тяготения, прыгая с пятого этажа. Между тем в социальной сфере мы ведем себя как советские мальчишки 1930–1950-х годов, ходившие десятки раз на фильм «Чапаев» в надежде, что на этот раз главный герой не погибнет. Вот и Уго Чавес недавно решил строить в Венесуэле социализм «с советским лицом», считая, что в СССР он загнулся, потому что «партийные бонзы» оказались такими корыстными и непассионарными. То есть в социальных отношениях никто всерьез, по всему чувствуется, не воспринимает уже установленные эмпирическим путем причинно-следственные связи.

Мы рискуем оказаться в таком же положении, в каком неизбежно окажется Венесуэла, доверившаяся своему харизматичному лидеру, если не воспользуемся инструментом под названием «демократическая (конкурентная) организация власти». Пусть даже этот инструмент «Made in Europe/USA», хотя и это не совсем точно, ибо «инструмент» основан на здравом смысле и отнюдь не был чужд нашим предкам.

О конституционной реформе

В заключение вернусь к более близкому мне как юристу совету — о возможности и «мизологии» преодоления персоналистского режима.

Хотя я и был подвергнут резкой критике за свое «упование» на «самого лидера», который при данной институциональной модели только и сможет инициировать конституционную реформу, направленную на создание условий для политической конкуренции, все же остаюсь при своем мнении. Никто меня пока не убедил, что возможно иным, подчеркну — безболезненным путем провести такую реформу. Понятны сомнения моих оппонентов: какой же президент захочет уменьшения своей власти? На это я бы ответил так.

Первое. Не следует экстраполировать сегодняшнюю ситуацию на будущее. Оно известно Богу, но не нам. А значит — «делай, что должно, а там будет как будет». Мотивы лидера по поводу проведения конституционной реформы могут быть разными, в том числе не обязательно возвышенными. Главное — результат.

Второе. Неправильно смотреть на конституционную реформу только как на способ уменьшения власти главы государства. Речь — вообще не об этом, а о создании более устойчивой и в то же время более эффективной конструкции. Другими словами, конституционная реформа в предлагаемом направлении объективно отвечает и интересам президентской власти. Почему?

Нынешний конституционный статус президента, повторюсь, таков, что его задачи гаранта конституционного строя соединяются с задачами, свойственными инициатору и проводнику партийной политики. Как бы ни хотел сам президент «раздвинуться», одна из его основных ролей обязательно окажется подавленной, подчиненной. Обществу представляется, что президент озабочен главным образом своей ролью стабилизатора государственности. Именно в этом старается убедить сограждан пропагандистская машина, сам факт создания которой, кстати, также произведен от персонализма. Но такая роль — иллюзия, возможно, испытываемая и самими президентами. Иллюзия потому, что, будучи окружен бюрократией и оказываясь в зависимости от нее, президент (подчеркну — любой) объективно вынужден отдавать заботу об удов-

летворении интересов бюрократии, в том числе и корыстных, за заботу об интересах государства в целом.

Основной же смысл трансформации конституционной системы власти состоит в формировании полноценного института главы государства. Под «полноценностью» я понимаю концентрацию задач президентской власти на выполнении роли собственно главы государства, т.е. института, отвечающего за нормальное функционирование всех иных государственных институтов и защиту конституционного строя в целом. Речь идет о такой модификации смешанной формы правления, которая бы конституционно переориентировала президента на выполнение роли главного защитника демократической организации власти, и только ее. Судя по всему, такая роль потребует нам еще на долгие годы. И только в этом или главным образом в этом смысле президент должен быть политиком. Не в качестве субъекта politics, а в качестве субъекта policy в сфере государственного строительства, в том числе играя роль института, не допускающего появления политических тупиков или выходящего из них.

В этих целях президенту должны быть переданы даже некоторые новые (да-да, новые!) полномочия, которые помогут сместить центр тяжести в его деятельности на защиту конституционного порядка. В частности, президент должен самостоятельно назначать и освобождать от должности *Генерального прокурора РФ*. То, что президент сейчас только представляет его кандидатуру Совету Федерации и, соответственно, вносит предложение об освобождении, вовсе не означает, что генеральный прокурор дистанцирован от главы государства. В реальности «шефом» генпрокурора является именно президент. И такое скрытое подчинение лишь добавляет нашей системе лицемерия и непрозрачности.

Целесообразно более четко закрепить конституционное право главы государства самостоятельно назначать референдум. В период правления Б. Ельцина это конституционное полномочие законодательно было фактически «украдено» у президента. Не буду здесь приводить юридические аргументы, доказывающие такую «кражу». Важно другое. Институт референдума, как представляется, вообще не должен быть ordinaryм средством народного волеизъявления. Не столько из-за своей финансовой дороговизны, сколько вследствие того, что для политиков он всегда представляет собою соблазн для спекуляции на «воле народа». В то же время референдум бывает весьма полезен и даже необходим как средство выхода из политических (конституционных) тупиков. В таком случае, если мы ведем речь о президенте как институте, защищающем государственную стабильность, не позволяющем развиваться тенденции хаоса и отвечающем только за это, то естественно будет предоставлять право непосредственно обращаться к народному мнению исключительно главе государства.

Но вот где придется пойти на «урезание» президентских prerogatives, так это прежде всего в вопросе о его взаимоотношениях с правительством. Последнее должно, наконец, стать политически ответственным институтом. К такому положению вещей можно перейти прежде всего путем введения иной модели формирования правительства. В этих целях:

- а) правительство обязано будет слагать свои полномочия перед вновь избранной Государственной думой (сейчас оно слагает их перед вновь избранным президентом), что призвано акцентировать ответственность кабинета именно перед парламентом;
- б) не президент должен представлять кандидатуру премьер-министра для его назначения Госдумой, как это предусмотрено действующей Конституцией, а, наоборот, Дума должна представлять президенту кандидатуру премьера.

Здесь, однако, возникают важные вопросы. Во-первых, как поступать президенту, если расклад политических сил в Думе таков, что вопрос о кандидатуре главы правительства не может быть решен, ибо компромисс не достигается? И, во-вторых, имеет ли президент право выбора — утвердить либо отвергнуть кандидата — или обязан утвердить премьера, представленного Думой?

Я исхожу из того, что президент хотя и не должен вмешиваться в межпартийные отношения и тем более заниматься текущей политикой, но становится, однако, сугубо представительским институтом. Ответственность за стабильность и преемственность функционирования государственной власти в демократическом понимании этой задачи приводит к необходимости наделить главу государства соответствующими властными рычагами.

В связи с этим предлагается следующее: если расклад политических сил в Государстве таков, что не позволяет партийным фракциям в достаточно короткий срок — две или три недели — достичь компромисса по кандидатуре премьер-министра, то президент должен иметь право самостоятельно назначить на эту должность человека по своему выбору. Однако такое назначение действительно лишь в течение одного года. За 20 дней до истечения годовичного срока Дума должна рассмотреть вопрос о доверии данному «временному» правительству. И если последнее получает вотум доверия, то продолжает действовать уже в обычном режиме. Правда, если решение о доверии не набирает необходимого числа голосов депутатов, то президент обязан отправить «свое» правительство в отставку только при наличии нового кандидата в премьеры, выдвинутого Думой, т.е. речь идет о модификации такого института, как «конструктивный вотум недоверия». Если же и на этот раз согласие между фракциями не достигнуто, правительство продолжает работу в обычном режиме.

Таким образом, президент тут выступает в роли «запасного механизма» при формировании кабинета, что предохраняет от «западин безвластия». Между прочим, именно недостаточная «прописанность» этой суперважной процедуры в Конституции Украины на фоне отсутствия демократических обычаев во многом породила кризисы 2006 и 2007 годов.

Президент не устраняется от воздействия на формирование правительства и в том случае, если Государственная дума выдвигает в качестве кандидатуры премьера такого человека, чьи ценностные ориентиры, деловые и личные качества не только не идут на пользу государственной стабильности, но и могут создать угрозу конституционным принципам государственности. В этом случае от президента может потребоваться его институциональная сила, чтобы противостоять назначению такого премьер-министра⁹. Однако если фигура премьера воспринимается в Думе настолько единодушно, что поддерживается 2/3 депутатов, то президент обязан назначить такого человека главой правительства. В конце концов, с назначением премьера президент не устраняется от охраны Конституции.

На чем, однако, основывается уверенность автора в том, что какой-нибудь российский президент не окажется мировоззренчески близок премьеру с антиконституционными взглядами? Теоретически возможно все, и, кстати, не только в России. Но предлагаемая схема в целом направлена как раз на то, чтобы конкуренция на президентских выборах была сосредоточена исключительно вокруг одной идеи: «Если я стану президентом, то лучше других смогу защитить демократию в России». Это не прекраснотушше. Это тот случай, когда сам характер «зоны ответственности» диктует характер и мотивацию конкуренции.

⁹ Хотя и стало печально банальностью сравнение современной России с Веймарской Германией, все-таки скажу: если президент Ганденбург небыл бы волею и конституционные рычаги, он не позволил бы Гитлеру легально стать канцлером.

Сказанным не исчерпывается возможный набор предложений для конституционной реформы. К тому же и этот набор автор не считает безупречным. Важно, чтобы в России созрело убеждение в необходимости самой конституционной реформы. И тогда соответствующие институты смогут обсуждать разные предложения, направленные на устранение препятствий для политической конкуренции.

Я отчетливо сознаю, что данной статьей и особенно последней ее частью только прибавлю аргументов тем, кто считает меня юридическим (конституционным) фетишистом. Предвидя это, утешаю себя тютчевским «мысль изреченная есть ложь». Действительно, в любой дискуссии происходит двойное искажение. Сначала мы, сколько бы ни старались, не в состоянии адекватно выразить в публичном тексте всю гамму своих идей и переживаний — это доступно лишь гениальным единицам. А затем текст воспринимается человеком, у которого в голове своя гамма. И он видит твой текст под своим углом зрения. Происходит «рефракция воли».

Когда я говорю о демократии, политической конкуренции, конституционной реформе, умалю не воспринимать это как «альфу и омегу». Конечно, все это, по большому счету, пустяки, «технологические моменты». Однако же, как известно, и битвы проигрывают из-за того, что в кузнице не было гвоздя и лошадь не подковали. Так что в определенные моменты истории страны эти «гвозди» обретают значение программных требований. Но цель у нас все равно остается одна — создание институциональных условий (подчеркну: только условий) для освобождения пока еще, кажется, не исчерпавшего творческого потенциала нации; для апелляции не к темным, а высоким чувствам людей; для создания системы надежной правовой защиты человеческого достоинства.

Потому лично мне печально видеть, что те силы, кои именуются оппозицией, заняты сегодня (пишутся эти строки летом 2007 года) не выработкой действительно актуальной повестки дня — требованием конституционной реформы, направленной на создание означенных институциональных условий, а лишь требованиями восстановления поправных гражданских свобод. Даже если представить фантастический вариант, при котором президентский пост занимает представитель оппозиции, Россия не сможет сказать себе и миру, что она стала «демократической». По одной причине: весь этот «демократизм» по-прежнему будет держаться на конкретной личности во главе по-прежнему архаичной системы властвования. Народ по-прежнему будет ставиться перед ложным выбором — какого «царя» («вождя») он хочет иметь. А такой выбор не только унизителен для страны, но и действует разлагающе. Мы сами не заметили, как постепенно понятие «популярность» у нас заместилось понятиями «любовь», «преклонение» — не важно, искренни эти чувства или обусловлены карьерными мотивами. Когда так, то слова «гражданское общество» становятся просто неуместными.

Но есть и более опасное следствие — мистического характера. Любовь, часто экзальтированная, к «единственному и неповторимому» правителю не только не имеет ничего общего с христианской любовью к ближнему, но и противостоит ей. Противостоит, поскольку поклонение правителю есть не что иное, как создание кумира, т.е. нарушение Второй заповеди. Подлинная любовь к ближнему не признает различий между людьми. «Любовь» же к властителю есть желание преклониться перед ним, пасть перед ним, отказаться от своей воли и от своей ответственности. Такая «любовь» продуцирует ненависть к тем, кто не любит или недостаточно любит общего кумира. Решусь сказать даже страшную вещь: не так ли будет в последние дни, когда, по слову евангелиста Иоанна Богослова, поклонятся зверю «все живущие на земле, которых шлеме не мыслены в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира» (Откр. 13: 8)?

Понимаю, что вовсе не обязательно вмешивать в проблематику организации государственной власти понятия, взятые «как бы» из совсем другой сферы. Но таково

мое мировоззрение, согласно которому Божий промысл хотя и скрыт от глаз, но сопровождает всю нашу не только частную, но и публичную жизнь. А потому считаю невозможным игнорировать нравственный, духовный аспект политической жизни.

Сказанное нельзя понимать в том смысле, что надо, наоборот, заведомо презирать всякого властвующего. Это — такая же опасность для государства крайность. Замечательно сказал князь Е.Н. Трубецкой: «Присущий нашему национальному характеру максимализм заставляет нас во всех жизненных вопросах ставить дилемму — „или все, или ничего“. Вот почему от чрезмерности возмечения мы так легко переходим к чрезмерности отчаяния. <...> От этого разочарования у нас только одно спасение — не поддаваться крайнему и ложному отчаянию. Как только мы убедимся, что Россия не тождественная с домом Отца Небесного ни в действительности, ни в идее, мы поймем всю неуместность нашего отчаяния. Россия не осуществила все-ленского христианства не потому, что она — ничтожный, презренный народ или „конгломерат“, а потому, что в великом и обширном доме Отчем ей суждено занять лишь одну из обителей»¹⁰.

Сказано, повторяю, замечательно.

¹⁰ Трубецкой Е.Н. Старый и новый национальный messianizm // Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 349–350.

СПРАВКА ОБ АВТОРАХ

Максим Артемьев, кандидат психологических наук, доцент, заведующий отделом политики Интернет-журнала «Новая политика»

Александр Архангельский, литератор

Александр Аухам, доктор экономических наук, профессор, президент Института национального проекта «Общественный договор»

Михаил Афанасьев, доктор философских наук, директор по стратегиям и аналитике ГК «Николао М»

Маргарита Бородавская, кандидат технических наук

Дмитрий Володин, доцент МГУ, председатель координационного совета Лиги консервативной журналистики

Валерий Гаврилов, консультант Резанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

Владимир Гельман, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге

Евгений Гонтмахер, доктор экономических наук, руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН

Лев Гудков, доктор философских наук, директор Аналитического центра Юрия Левады

Иосиф Дискант, доктор экономических наук, сопредседатель Совета по национальной стратегии

Александр Дугин, философ, лидер Международного Европейского движения

Алексей Зудин, кандидат политических наук, доцент кафедры публичной политики Высшей школы экономики, заместитель заведующего кафедрой по научной работе, руководитель Департамента политологических программ Центра политических технологий

Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества, главный редактор журнала «Свободная мысль XXI»

Алексей Кара-Мурза, доктор философских наук, профессор, заведующий Отделом Института философии РАН

Святослав Каспо, кандидат политических наук, руководитель информационно-аналитической службы Российского общественно-политического центра

Игорь Клямкин, доктор философских наук, профессор, вице-президент Фонда «Либеральная миссия»

Симон Кордонский, кандидат философских наук, зав. кафедрой местного самоуправления Высшей школы экономики

Михаил Краснов, доктор юридических наук, профессор ГУ-ВШЭ, вице-президент Фонда «ИНДЕМ»

Виктор Кувалдин, доктор исторических наук, профессор, член исполнительного комитета Горбачев-фонда

Сергей Кургузин, политолог, президент международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр»

Владимир Лапкин, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Аркадий Липкин, доктор философских наук, профессор РГГУ, руководитель семинара «Цивилизации в современном мире»

Владимир Лисенко, кандидат философских наук, президент Института современной политики, профессор Высшей школы экономики

Сергей Марков, кандидат политических наук, член Общественной палаты Российской Федерации

Борис Межуев, кандидат философских наук, главный редактор интернет-портала «Агентство политических новостей»

Вадим Мезюта, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН

Андраник Мигранян, кандидат исторических наук, профессор МГУМО, член Общественной палаты Российской Федерации

Алексей Миллер, доктор исторических наук, профессор Центрально-Европейского университета

Глеб Мусихин, доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики

Эмиль Панин, доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики

Юрий Пивоваров, академик РАН, директор ИНИОН РАН

Николай Розов, доктор философских наук, профессор Новосибирского государственного университета

Георгий Сатаров, президент Фонда «ИНДЕМ»

Павел Солдатов, предприниматель

Валерий Соловей, доктор исторических наук, эксперт Горбачев-фонда

Дмитрий Тренин, кандидат исторических наук, председатель Научного совета Московского центра Карнеги

Александр Филиппов, кандидат экономических наук, зав. кафедрой практической философии Философского факультета Высшей школы экономики, руководитель Центра фундаментальной социологии Института гуманитарных историко-теоретических исследований Высшей школы экономики

Сергей Цирель, доктор технических наук, главный научный сотрудник ОАО «ВНИИМ» (Санкт-Петербург)

Алексей Чадаев, член Общественной палаты Российской Федерации

Илья Шаллинский, доктор юридических наук, профессор кафедры публичной политики Высшей школы экономики

Людия Шевцова, доктор исторических наук, профессор
МГИМО, ведущий исследователь Московского центра
Карнеги

Виктор Шейнис, доктор исторических наук, главный
научный сотрудник ИМЭМО РАН

Михаил Юрьев, предприниматель-инвестор

Игорь А. Яковкин, генеральный секретарь Союза журналистов России

Игорь Г. Яковенко, доктор философских наук, профессор
кафедры теории и истории культуры РГГУ, главный научный
сотрудник Института социологии РАН

Александр Янов, историк, с 1975 года преподаватель
истории и политических наук в университетах Беркли,
Ам-Арбора и Нью-Йорка

Российский государство: вчера, сегодня, завтра

Редактор Елена Мохова
Дизайн Сергей Андреевич
Корректор Мария Смирнова
Верстка Тамара Дюевова
Производство Семен Дымант

Новое издательство
119017, Москва
Петушиная улица, 41
телефон / факс (495)951 6050
e-mail info@novizdat.ru
<http://www.novizdat.ru>

Подписано в печать 22.10.2007
Формат 70х100 1/16
Гарнитура Charter
Объем 52,73 условных печатных листа
Бумага офсетная
Печать офсетная
Заказ №

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Типография Момент»
141406, Московская область
Химки, улица Библиотечная, 11